БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ

От падения Западной Римской империи до Карла Великого

(476–768 гг.)

Составитель

М. М. СТАСЮЛЕВИЧ

3-е издание, исправленное и дополненное



ПОЛИГОН

Санкт-Петербург
АСТ • Москва
2001

ББК 63.3 (0) 4
И 90

История Средних веков: От падения Западной Римской империи до Карла Великого (476–768 гг.) / Сост. М. М. Стасюлевич. – СПб.: ООО «Издательство «Полигон»; М.: ООО «Фирма «Издательство «АСТ», 2001.– 496 с., ил. – (Библиотека мировой истории).
И 90
ISBN 5-89173-115-0 («Полигон»)
ISBN 5-17-009293-8 («АСТ»)

Настоящее издание представляет собой первую книгу классической монументальной хрестоматии «История Средних веков», составленной известным русским историком М. М. Стасюлевичем. Хрестоматия основывается на произведениях писателей и исследователей разных эпох и дает возможность углубленного изучения истории Средневековья.
Для читателей, интересующихся историей.

ББК 63.3 (0) 4

Научно-популярное издание

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ИСТОРИИ

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
От падения Западной Римской империи до Карла Великого (476–768 гг.)

Составитель М. М. Стасюлевич

Главный редактор *Н. Л. Волковский*. Редактор *И. В. Петрова.*
Технический редактор *И. В. Буздалева.* Корректор *И. С. Миляева.*
Компьютерная верстка *Е. М. Петровой.* Компьютерная графика *О. И. Орлова*

Подписано в печать 14.05.2001. Формат 70×100 1/16. Печать офсетная.
Гарнитура TimeRoman. Печ. физ. л. 31,0. Усл. печ. л. 39,99. Тираж 5000 экз. Зак. № .

ЛР ИД № 03073 от 23.10.2000 г.
ООО «Издательство «Полигон»,
194044, С.-Петербург, Б. Сампсониевский пр., 38/40.
Тел.: 542-91-12; тел./факс:542-91-12.
E-mail:polygon@rol.ru

ЛР ИД № 066236 от 22.12.98 г.
ООО «Фирма «Издательство «АСТ»,
129075, Москва, Звездный бульвар, 21

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Санкт-Петербургская типография № 6»,
193144, С.-Петербург, ул. Моисеенко, 10

ISBN 5-89173-115-0 («Полигон»)
ISBN 5-17-009293-8 («АСТ»)

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«История Средних веков» М. М. Стасюлевича (1826–1911) только при жизни автора выдержала три издания и в советское время, как и многие другие труды известных российских историков, стала труднодоступной книгой. А в свое время выход этой монументальной хрестоматии отмечался критикой как важное явление в русской исторической литературе. «Собранный в ней богатый материал предоставляет большие возможности для изучения истории Средних веков и преподавания исторических наук в России»,– отмечалось в печати.

Интересен сам составитель «Истории Средних веков». Михаил Матвеевич Стасюлевич был историком, журналистом, общественным деятелем. Он родился в семье штаб-лекаря. В 1843–1847 гг. учился в Санкт-Петербургском университете, где в то время кафедру всеобщей истории возглавлял М. С. Куторга, «первоначальник у нас науки об эллинизме». М. М. Стасюлевич стал его учеником, и первые его научные труды относятся к области древней истории. В 1852–1861 гг. он доцент, затем профессор кафедры всеобщей истории в университете. Видное участие М. М. Стасюлевич принимал в организации городского самоуправления и в деле народного образования. С 1884 г. являлся членом и председателем городской комиссии по народному образованию. Основал и в течение 42 лет редактировал журнал «Вестник Европы» (1866–1908), ставший при Стасюлевиче одним из главных органов либерализма. В 1881 г. издавал ежедневную политическую и литературную газету «Порядок», фактически закрытую правительством.

«История Средних веков» – один из главных трудов М. М. Стасюлевича. Подготовил он его с целью прийти на помощь ученику средней школы, дать ему в руки подлинный материал, помогающий вжиться в прошлое и оценить его, проникнуться пониманием старины и увлечься ею, вступить в связь с рядом отдаленных поколений человечества, привязаться к его героям и истолкователям, что всегда очень важно при изучении истории. Труд Стасюлевича открывает возможности добросовестному и любящему дело преподавателю ставить курс изучения истории Средних веков достаточно богато и разносторонне даже при отсутствии других подходящих пособий.

М. М. Стасюлевич стремился дополнить свой учебник ценными и колоритными страницами из сочинений лучших авторов по средневековой истории, он вводит читателя в сами произведения далеких веков, приучая вслушиваться в мировоззрения и чувства, понятия и интересы изучаемого прошлого. Сближать ученика с историческими источниками – одна из важных задач. Это дает возможность прикоснуться к теоретическим вопросам исторической науки, побуждает его подумать о том, что такое история, как понимались ее задачи и методы, как строилась ее концепция в разные времена. Хрестоматия Стасюлевича позволяет сроднить учеников с именами Бэкона, Гердера и Вико, Гиббона, Бокля и Маколея, Гизо, О. Тьерри, Фориэля и Мишле, Лорана, Ренана, Раумера, Гизебрехта и Зибеля, Грановского и Кудрявцева. Только это уже большое благо, поднимает душу, обогащает ум.

«История Средних веков» М. М. Стасюлевича состоит из трех книг. Первая начинается с введения – «Общие понятия о науке вообще и об исторической науке в особенности» и захватывает эпоху упадка Римской империи и образования гер-

манских государств. Само включение обзора римской культуры и западных провинций империи в круг вопросов средневековой истории являлось нововведением в господствовавшее тогда механическое деление истории на древнюю, среднюю и новую, убивавшее понимание связи между этими периодами истории. Интересна также попытка представить социальное и духовное развитие отдельных стран – Италии, Испании, Галлии, Британии, а также внутренней Германии в римскую и варварскую эпохи. Здесь читатель имеет возможность ознакомиться с извлечениями из сочинений Цезаря, Тацита, Аммелиана, Марцеллина, Тертуллиана, Сидония Аполлинария, Сальвиана, Кассиодора, Иордана, Павла Дьякона, Григория Турского, Бэда, письмами пап Григория I и Григория III, юридическими текстами и др.

Когда в первый раз приводится отрывок из памятника или сочинения нового историка, автор кратко сообщает данные биографического и критического характера о писателях и тем самым вводит читателя в древнее источниковедение и новую историографию. В конце заголовка указывается год его создания. В начале каждой отдельной части излагается краткий исторический очерк рассматриваемого периода.

Вторая книга охватывает век Карла Великого, Оттона Великого и Григория VII. Здесь отрывки из памятников старины еще больше выступают на первый план. «Каролингское возрождение» представлено достаточным количеством цитат литературного характера из Алкуина, Эйнгарда, Сангалленского монаха, Тегана, Эрмольда Черного, Нитгарда и др. К ним присоединяются образцы из капитуляриев, а также извлечения из поэмы о Нибелунгах. В следующих частях даны фрагменты из наиболее замечательных авторов дальнейших эпох – Лиутпранда, Рикара, Титмара Мерзенбургского, Козьмы Пражского, Адама Бременского, Матвея Парижского и др. Помещены интересные постановления о Божьем мире (XI в.).

Третья книга посвящена истории Крестовых походов. Как и в первых двух книгах, в ней преобладает материал, извлеченный из хроник, причем берутся не одни западные авторы, но также византийские и мусульманские. М. М. Стасюлевич стремился представить не отдельные отрывки, а ознакомить с общим содержанием и характером главных источников, например, трудов Вильгельма Тирского, Бернарда Казначея, Виллардуэна, Жуанвиля, Марина Санудо и других, подбирая ряд особенно типичных мест, приводя также посвящения, прологи, связывая выбранные тексты кратким пересказом недостающего. Перед нами проходит история всех Крестовых походов, рассказанная их современниками, летописцами и биографами. Многосодержательная книга заканчивается текстами из «Ассиз Иерусалимского государства».

Несмотря на то что последнее издание «Истории Средних веков» М. М. Стасюлевича выходило в начале XX в., эта монументальная хрестоматия сохранила силу и значение и сегодня, ее по справедливости следует рекомендовать для внимательного изучения не одним ученикам средней школы, но и студентам, и всем интересующимся историей. В книге даются справочные таблицы и карты; ее современное издание имеет много иллюстраций.

Из предисловия к первому изданию

ОЧЕРК ОБЩЕЙ ИСТОРИОГРАФИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

Под историографией Средних веков следует понимать, во-первых, свидетельства самих современников о целости и внутренней связи мировых событий, совершавшихся на их глазах и записанных ими, и, во-вторых, взгляды нового времени на эпоху Средних веков, как на период, уже закончившийся.

Что касается работ самих современников, которые не могли подозревать, что они переживают «средние» века, то их сознание оставалось постоянно на той точке зрения, что продолжается беспрерывно римская и библейская история. Поэтому все хроники Средних веков начинались с библейской истории, связывали ее с римской, и потом продолжали в порядке следования пап, императоров и королей до своего времени. Так как исключительным языком хроник был латинский, то и история была достоянием одних ученых. Только в конце Средних веков, а именно в XIV и XV столетиях, историография начала обнаруживать совершенно новые явления: сухая форма хроники исчезает, появляются риторические украшения, а латинский язык все чаще уступает место национальным языкам. Это служит доказательством того, что ученые начали переставать писать для самих себя и рассчитывали на читателей и общество. Еще в XII столетии Готфрид из Витербо написал первую всемирную хронику в прозе и стихах; а так как он представлял подвиги королей, богов земли, то его хроника была названа Пантеоном, то есть храмом богов. Но в XIV и XV вв. появилось уже множество различных сборников с целью дать интересное историческое чтение; авторы придумывали самые заманчивые заглавия, чтобы привлечь читателей; так, в XIII столетии были в большой моде: «Историческое зерцало» (Speculum historiale), написанное Винцентом из Бове, и «Цветник истории» (Flores historiarum), составленный бенедиктинским монахом Матвеем Вестминстерским. В XIV столетии Герман Гигас написал, в подражание последнему, «Цветник времен» (Flores temporum). В XV столетии любители исторического чтения были засыпаны подобными сборниками, соперничавшими витиеватостью заглавий: «Cosmo-dromium» (Поприще мира) – составил Гобелинус Персона; «Summa historialis» – архиепископа флорентинского Антонина и «Fasciculus temporum» (Пучок времен) составил Вернер Ролевинк из Кёльна; «Rudimentum novitiorum», «Mare historiarum» (Море историй) и множество других. Эти сборники были написаны на латинском языке и разукрашены множеством басен и сказок с целью заинтересовать читателей. Но среди них начали появляться хроники, написанные на родном языке; так, еще в XIII в. Вильгельм из Нангиса

(современное название города – Нант), известный биограф Людовика IX Святого, перевел свою хронику на французский язык. Чаще начинает использоваться народная речь в хрониках Германии. Особенно были замечательны и пользовались большой популярностью подобные сочинения Фрица Клозенера (хроника от Р. Х. до Рудольфа Габсбургского) и Якова Твингера, от сотворения мира до 1415 г., под следующим замысловатым заглавием: «Hienach folget ein Cronica vô allen kaysern und könnigen die seyder XPi geburt geregiert und gereichnest haben welich. Cronica gar kurzweilig nüczlich und lieplich zu hôren. ist.» (Augsb. 1476–87), то есть «За сим следует Хроника о всех императорах и королях, которые правили и царствовали от Р. Х., Хроника, которую можно слушать скоро, полезно и приятно» (Аугсб. 1476–1487 гг.).

Эти последние произведения пользовались популярностью и в XVI в., когда в западном обществе уже появились убеждения, что в истории его развития совершился какой-то переворот, начавший собой новый порядок вещей. Признаки такого переворота, который мы теперь называем концом Средних веков и началом Нового времени, в ту эпоху могли быть очевидны и для простого глаза в необыкновенном и внезапном развитии успехов общежития и благосостояния. Так, например, во Франции, при Людовике XII, правлением которого открывается в этой стране XVI столетие, современники с изумлением отмечали: «Теперь повсюду, на всем пространстве государства возводятся огромные здания как частные, так и публичные... Внутренности домов украшены разнообразной мебелью гораздо роскошнее, нежели как то бывало до сих пор. Серебряная утварь употребляется всеми состояниями несравненно более прежнего... Точно так же одежды, комфорт жизни (la manièr de vivère) сделались роскошнее... Доходы с земель, усадьб и поместий увеличились повсеместно... Обмен товаров как морским, так и сухим путем, усилился чрезвычайно... Всякого рода люди (исключая благородных, да и между ними я не исключаю всех) занялись торговлей. Число богатых и зажиточных купцов в Париже, Руане, Лионе и других значительных городах (bonnes villes) королевства, живших во времена Людовика XI (то есть во второй половине XV в.), в настоящее правление (то есть при Людовике XII, 1498–1515 гг.) увеличилось почти в пятьдесят раз. В маленьких городах теперь находится больше купцов, нежели прежде то было в больших и главных городах. Так что в настоящее время не строят домов на улице без того, чтобы не оставить внизу помещения для магазина или мастерской... Я разузнал у тех, которые заведуют государственными финансами, людей хороших и с весом, что теперь и подати собираются без затруднения и несравненно с меньшим насилием и издержками, как то было при предшествующих королях» (Hist. de Louys XII Roy de France, ou les louanges du bon Roy de France Louys XII, dict. père du peuple, et de la felicité de son règne; par. Cl. de Seyssel. Par. 1615, с. 111).

Так отразилось в сознании тех, которые жили на рубеже двух эпох, впечатление от наплыва новых идей, лежавших в основании реформационного времени. Вместе с улучшением и изменением общественного быта в XVI столетии произошло возрождение искусств и наук. Начавшееся в то время изучение классических древностей, памятников образованности греков и римлян и сравнение их с жалкими произведениями искусств и наук средневековых обнаружили еще большее различие между прошедшим временем до XVI столетия и наступавшим новым. Гуманисты – так назывались тогда ученые, занявшиеся классической образованностью – смотрели с презрением на период 10 веков, отделявших их от классического мира, павшего в V столетии вместе с Западной Римской империей; для них пространство времени от V до XV столетия было эпохой одного варварства и невежества. Из всех гуманистов XVI столетия в особенности замечателен Ульрих фон Гуттен[1]. Его ненависть к тому периоду времени, как и вообще всех

[1] См. о нем и его времени лучшую монографию: *D. Strauss.* Ulrich von Hutten. 2 Th. 1858.

гуманистов XVI столетия, в XVII в. наследовали так называемые полигисторы, которые заботились в своем увлечении восстановить язык Цицерона, презирая средневековую латынь. Наконец, в XVIII столетии энциклопедисты, хотя и по другим причинам, а именно по своим социальным убеждениям, с тем же отвращением, как и полигисторы, отозвались о Средних веках и феодальном иге; Вольтер прямо объявил, что не стоит изучать эту варварскую эпоху. Но такая крайность в нападениях на Средние века вызвала другую крайность в их защитниках нашего времени. Первым замечательным из таких апологетов Средних веков был Гегевиш, профессор Кильского университета (1760–1815)[1]; в этом же направлении, но еще с большим искусством писал Даниил Бек[2]. Защита Средних веков, наконец, достигла совершенного ослепления у Фр. Шлегеля[3]. Этому направлению историков-апологетов явились на помощь поэты, воспевавшие верность средневековых рыцарей, их честь, храбрость, преданность, уважение к женщине – качества, которыми не может гордиться в той же степени новое время.

При таком направлении господствующих убеждений о значении средневекового времени, наука об истории Средних веков долгое время не могла иметь правильного развития; в течение трех последних столетий европейские ученые – гуманисты, полигисторы и энциклопедисты – даже не считали этого периода достойным изучения. Романтическое и мистическое направления позднее еще более повредили науке об истории Средних веков их слепой защитой. Таким образом, правильное и чисто научное изучение средневековой истории началось не ранее чем в последних десятилетиях первой половины XIX в.

[1] Характер и нравы германцев в Средние века. 1786.– Мысли об истории прогресса у германцев до Максимилиана I, 1788.– См. в его Sammlung der historischen Werke.

[2] Chr. Dan. Beck, проф. ист. в Лейпциге: Wurdigung des Mittelalters und seiner algemeinen Geschichte. 1780.

[3] Vorlesungen uber die neuere Geschichte. 1828.

Впрочем, ученые предпринимали попытки к занятию историей Средних веков уже с середины XVII столетия, когда в первый раз появилось и само выражение: medium aevum, Средние века. До того времени в исторической системе не разделяли историю на древнюю, среднюю и новую, только с первой половины XVII в. появилось это деление. Историки, писавшие всеобщую историю, прежде держались порядка веков; в первой половине XVII в. французский иезуит Phil. Labbe (1607–1667) первый решился изменить прежнюю систему: «До меня,– говорил он,– все довольствовались порядком веков (saeculorum distinctionibus), но я вознамерился, не столько по своей собственной воле, сколько по убеждению и совету других, разделить историю на три эпохи: Mundi, Romae et Christi»[1]. На основании того он и изложил всемирную историю в трех частях: Mundana, Romana и Christiana. Но эта система не удержалась; над ней восторжествовала система немецкого иезуита Келлера (ум. в 1631 г.), известного, по моде того времени, под переводным латинским именем Cellarius. Он был первым (насколько мне известно), который написал на своем труде: «Historia medii aevi», то есть «История Средних веков». С того времени это название стало обычным для известного периода всемирной истории. Но оно имело при первом своем появлении только филологическое значение. Так как в XVII столетии одни филологи занимались исторической наукой, то неудивительно, если они выбрали язык за основание разделения и политической истории. Они разделили судьбу латинского языка на три больших периода: считая последнюю эпоху истории Средних веков за низшую степень падения латинского языка (infima latinitas), они отделили это время от золотого времени римской литературы, окончившегося временем Антонинов, и назвали этот период от Антонинов и до XV столетия средней эпохой латинского языка (media latinitas). Это название «средней латыни», относившееся

[1] *Phil. Labbe.* Breve temporum compendium. 1652, с. 6.

собственно к истории латинского языка, сделалось впоследствии названием соответствующего по времени периода и в политической истории. В таком смысле уже является название «истории Средних веков» у преемника Келлера Лёшера (Löscher), которого можно назвать настоящим основателем господствующей ныне системы разделения всемирной истории на три больших периода. Он в первый раз только определяет крайние пределы средневековой истории, от V до XV столетия, как то делается и до настоящего времени. В одном из своих трудов по истории римских пап, написанном в 1705 г.[1], Лёшер говорил, что ученые занятия средними веками в первый раз только начались за 40 лет перед ним. Его сочинение было издано вторично с дополнениями и исправлениями в 1725 г., и на этот раз оно было озаглавлено на немецком языке: «Historie der mittleren Zeit». Лёшер является первый раз строгим критиком средневековых источников; особенно велики его заслуги в отношении географии и хронологии Средних веков. Сочинение и метод Лёшера оставались господствующими до половины прошедшего столетия, когда его сменил подобный же труд теолога Землера; его исследования об источниках средневековой истории и до сих пор не потеряли своего значения. К такой практической оценке материала истории Средних веков в прошедшем столетии присоединилось философское воззрение на их значение, которому начало положило сочинение Гердера «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit» (Riga, 1784)[2].

Прошедшее столетие для науки об истории Средних веков завершилось появлением в свет «Истории разрушения и падения Римской империи Гиббона»[1]. Он начинает свое исследование с Антонинов и доводит до завоевания Византии турками.

В течение первой половины XIX столетия на судьбу науки об истории Средних веков оказало большое влияние произведение английского ученого юриста Галлама «Взгляд на состояние Европы во время Средних веков»[2] и курс бывшего профессора Сорбонны Гизо «История цивилизации в Европе»[3]. Но первое сочинение имеет в виду главным образом Англию и историю остальных государств только группирует около нее; точно так же общий курс Гизо был собственно введением к его же специальному курсу истории цивилизации во Франции, которая доведена им только до начала XIV столетия. При всем том оба эти писателя оказали большую услугу средневековой истории строгим анализом конституционных и политических идей в Средние века и правильным методом в их изучении. Наконец, во второй половине XIX столетия появился обширный труд английского писателя Heinrich Thomas Buckle «История цивилизации в Англии»[4], замечательная по новизне исторического приема – чисто опытного и практического.

Таков ход и развитие историографии Средних веков в ее главных представителях, от первой половины XVII в. до нашего периода. Под их влиянием время от времени появлялись в последнюю эпоху об-

---

[1] *Dr. Ernst. Lųscher.* Historie des Römischen H...– Regiments der Theodorae und Marosiae, nebst einer Einleitung in die Historia mebii aevi. Leipz., 1705.

[2] К Средним векам относятся только последние 5 глав, от 15-й до 20-й. Это сочинение помещено в полном собрании сочинений Гердера, в числе 60 томов in-18. Отдельное издание философии истории его же сделано известным немецким историком Луденом в 1821 г. с обширным введением. В 1827 г. вышел перевод того же сочинения на французский язык, сделанный Эдгаром Кине.

[1] History of the decline and fall of the Roman Empire. 1755–1788. 6 т.; нем. перевод 1805–1820 гг. с предисловием Д. Бека и в 1841 г. Споршиля; лучший и позднейший франц. перевод Buchon'a в 1841 г.– См.: Мемуары Гиббона, изданные в 1799 г., переведены на французский язык. Marignié. Par. an VIII (1799). См. подробности ниже.

[2] *H. Hallam.* A view of the state of Europe during the middle-age. Lond. 1818. 2 t. 1826. 3 t. Нем. перев. Halem, Leipz. 1820; франц. перев. Borgers et Dudouit, Par. 1822 и 1837. 4 t.

[3] Histoire de la civilisation en Europe depuis la chute de l'empire romain jusqu'a la révolution française. 1828. 6-е изд., 1857. Рус. перев. Н. Барсова (СПб., 1860).

[4] Два первых тома с общими взглядами на цель и задачу исторической науки появились в нем. перев. Arn. Ruge. 1860. См. ниже.

щие обзоры Средних веков, начиная от многотомных сочинений до кратких учебников. Таков труд теолога Эйхгорна «Weltgeschichte» (1799) в 4 т. (позднейшее изд. в 5 т., 1817–1820), весьма научное исследование, но мало критическое; в нем автор уделил слишком много внимания развитию истории Востока. Взгляд Эйхгорна на характер истории Средних веков односторонен, это видно из разделения ее на два периода: до Карла Великого – варварский хаос и после Карла Великого – феодальный хаос. В конце прошедшего столетия проф. в Страсбурге Кох издал «Tableau des Révolutions de l'Europe depuis le bouleversement de l'empire d'Occident jusqu'a nos jours», Strasb. 1771 (продолжено и повторено Par. 3 т. 1807 и 4 т. 1813); это сочинение имеет значение более дипломатическое, чем историографическое. Замечательным явлением в историографии Средних веков было сочинение Шлоссера «Weltge-schichte» (Frf. 1817–1824). Автор имел в виду главным образом средневековую историю, и древняя история составляет у него как бы введение к ней; при своей огромной начитанности Шлоссер собрал богатый материал, расположил его весьма искусно, и потому его труд имел весьма важное историографическое значение. Почти в одно время с ним составлялось много подобных трудов с той же историографической целью. Так, первый профессор истории в Берлине Ruehs издал «Handbush der Geschichte des Mittelalters»; и несколько позже за ним проф. Марбургского университета Rehm – «Handbuch der Geschichte des Mittelalters» (Marburg. 1821–1839, в 4 т., составляющих 8 книг); последнее сочинение замечательно как по объему, так и по тщательному изучению и указанию источников, но по своему изложению оно весьма сухо. Не менее обширен появившийся в то же время труд *Tillier.* Histoire du moyen âge. Par. 1826, 4 т. (нем. перев. Frf. 1829–1830, 4 т.), но он весьма поверхностен, и в нем критика уступает место риторике. Несравненно выше его стоят два немецких историка, писавших с целью популярного изложения: *Rotteck.* Allge-meine Geschichte. Freib. 1822–1824, 7 т. (1838–1839, 9 т.) и *Becker.* Weltgeschichte. Berl. 1824, 12 т. (новейш. изд. с дополнением Лебеля. Berl. 1838, 18 т.).

В 30-х гг. историография Средних веков обогатилась тремя произведениями, которые до сих пор остаются лучшими учебниками средневековой истории: 1) проф. Галле-Виттенбергского университета *H. Leo.* Lehrbuch der Geschichte des Mittelalters. 1830; не надобно смешивать этой специальной истории Средних веков с изложением того же предмета *Leo.* Universal-Geschichte, особенно в последнем издании 1851 г. Автор был увлечен впоследствии созданием богословских и политических теорий и во многом изменил прежние убеждения, а потому эта последняя переделка стоит гораздо ниже издания 1830 г. по верности взгляда на характер исторических событий и лиц; 2) Desmichels Histoire générale du moyen âge. Par. 1837, 2 т. (вышло в сокращении Précis de l'histoire du moyen âge. Par. 1837); замечательно по ясной системе и хорошему выбору фактов (сокр. перев. на русский язык, СПб., 1837, но не совсем удовлетворительно и исполнено ошибок); 3) *Kortuem.* Geschichte des Mittelalters, 1836, 2 т. – замечательно по живописности и картинности изложения, чему много содействовало частое заимствование текста из современных источников[1].

Историография Средних веков в новейшее время заключилась, можно сказать, трудом профессора из Гейдельберга Георга Вебера в его «Allgemeine Weltgeschichte»[2].

Лучший и почти единственный из современных журналов исторической науки, издаваемый профессором Мюнхенского университета Зибелем[3], отдавал труду Вебера первое место среди всех произведений общей исторической литературы; при

---

[1] Немецкий историк Ранке всегда указывал своим университетским слушателям на учебник Кортюма как на лучший из всех существующих.

[2] *Weber.* Allgemeine Weltgeschichte mit besonderer Berucksichtigung des Geistes und Culturlebens der Volker und mit Benutzung der neueren geschichtlichen Forschungen fur die gebildeten Stande bearbeitet. Leipz. 1857–1861.

[3] Historiche Zeitschrift, herausg. v. Siebel. Erst. Jahrg. 1859. I Hft, с. 199.

своем обширном плане всеобщая история Вебера содержит самый богатый материал, тщательно обработанный и ясно расположенный.

Наша отечественная литература до последнего времени не принимала вовсе участия в двухвековой разработке всеобщей истории Средних веков; мы не имеем ни одного самостоятельного труда с историографическим значением; лучшие наши исторические деятели последних десятилетий – Грановский, Кудрявцев, Ешевский и Вызинский – примкнули своими трудами к монографическому направлению западных ученых. Труды на поприще общей истории Средних веков у нас весьма немногочисленны и ограничиваются исключительно учебной целью.

ВАЖНЕЙШИЕ СБОРНИКИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

В течение всех Средних веков никто не думал о необходимости сделать свод исторических памятников; еще менее кому могла прийти в голову мысль проверить текст ходивших в то время по рукам манускриптов древних писателей, уточнить их с показаниями очевидцев и т. п. Изобретение книгопечатания в XV в. дало не только средство к большему распространению исторических произведений в публике, но и содействовало их совокупному изданию. Действительно, вскоре возникла мысль о необходимости соединения рассеянных хроник в одно целое; честь первенства в этом отношении принадлежит Германии, и в этой же стране подобные издания в наше время по своему методу и совершенству оставляют далеко за собой все, что сделано в других государствах.

ГЕРМАНИЯ. Идея первого сборника исторических памятников в этой стране возникла из политических соображений: когда в начале XVI в. австрийско-габсбургский дом, при Максимилиане I, поставил себе целью уничтожить феодальное раздробление Германии и соединить ее в одну монархию, мысль – как то случается нередко – призвать историю на помощь политике побудила императора позаботиться о составлении отдельной национальной всеобщей истории немцев. Таким образом, от истории требовалось укоренить в общественном мнении убеждение о целосности германской нации со времен глубокой древности. Дело было поручено известному ученому того времени Стабию. Меланхтон, друг Лютера, писал: «Мне говорил Стабий (Stabium audivi narrantem), что император хочет дать ему и другим ученым поручение собрать все хроники и из их отрывков составить всецелую историю Германии» (ex fragmentis illis, integram Germaniae historiam componere). Но это поручение не было осуществлено вполне: в 1515 г. Stabius вместе с Poittinger и Cuspinianus издали одного Оттона Фрейзингенского с его продолжателями; важно было то, что они нашли себе скоро подражателей. В том же году Иоанн Миллер издал в Аугсбурге Иордана и Павла Дьякона с императорской привилегией, в которой выражалась мысль о необходимости покровительствовать всем, кто предпримет подобный труд; за ним базельский книгопродавец Гербер, при помощи известного ученого того времени Beatus Rhenanus (Seligbild von Rhein), издал Прокопия, Агатия и Иордана. В 1532 г. Martin Frecht, профессор теологии в Тюбингене, напечатал саксонскую историю Видукинда, присоединив к ней Эгингардта и Лиутпранда. Таковы были первые попытки издать немецких средневековых историков; но это было одно простое печатание манускриптов без всяких признаков критики.

Реформационные войны приостановили деятельность издателей; но после Аугсбургского мира (1555 г.) появился целый поток новых сборников; из них замечательны следующие: 1) *Sim. Schard.* Germaniae rerum quatuor chronographi. Francof. ad M. 1566: Tuprinus, Regina, Lambert et Sigebert; 2) доктор медицины Pistorius, сначала про-

тестант, а потом католик и каноник, что невыгодно отразилось на его труде «Rerum Germanicarum scriptores» (Francof. ad M. 1583. 3 vol.) и 3) профессор математики *Urstisius (Wursteisen)* «Germaniae historicorum illustrium», t. II. Francof. 1585.

С XVII столетия открывается новый период появлением первого общего и более полного сборника, между тем как до того времени издавали писателей по выбору. Marcquardt Freher в 1600 г. издал во Франкфурте «Directorium in omnes fere, quos habemus superstites chronologos. annalium scriptores et historicos potissimum Romani Germanicique imperii». Этот «Директорий», как назвал Фреер свой сборник, был целые полтора века настольной книгой для занимавшихся историей Германии. Последователи Фреера только увеличили объем его издания присоединением к нему новых документов: таковы были два Директория, изданные Кёлером (Köler) в 1720 и 1734 гг.; но особенно замечателен по своей полноте *Hamberger.* Directorium historiae medii potissimum aevi. Götting. 1772. Революция приостановила деятельность издателей, и только по окончании этого времени она была возобновлена вместе с возвращением независимости Германии. Лицо, стоявшее тогда во главе национального движения, а именно прусский министр Штейн обратился к истории, как вернейшему средству поддержать национальное чувство, и написал статью о том, как должно привести в исполнение его мысль об издании «Памятника немецкой исторической литературы» (1818 г.). По его плану образовалось общество во Франкфурте-на-Майне; там находилась центральная дирекция общества, к которому принадлежал и Гёте. Открыта была подписка, и сам Штейн пожертвовал 30 тысяч гульденов на это дело. Во главе всего предприятия был поставлен Пертц (Pertz), род. в 1775 г., в то время известный по своему сочинению «О палатных мэрах при Меровингах», а впоследствии заслуживший европейскую известность как первый знаток и исследователь средневековой эпохи Германии; он занимал место директора Публичной библиотеки в Берлине. Основная мысль Пертца состояла в том, чтобы разделить все издание на пять отделов: 1) Scriptores, 2) Leges, 3) Diplomata, 4) Epistola и 5) Antiquitates – куда поместились бы некрологи, календари, родословные; целое издание получило название «Monumenta Germaniae historica, inde ab anno Christi 500 usque ad annum 1500», то есть «Исторические памятники Германии от 500 г. по Р. Х. до 1500 г.». Труд Пертца и до сих пор остается образцовым для всех подобных изданий как по своей критической разработке, так и по расположению частей. Главная задача издателя состояла в отыскании подлинного текста, очистке его от позднейших вставок (interpolationes) и отыскания источников, из которых заимствовал свой текст составитель той или другой хроники.

Из названных выше 5 отделов начаты были только два: Scriptores и Leges. Первый том вышел в Ганновере в 1826 г., а последний, по общему счету 17-й – в 1861 г. Scriptores заключается в томах: I, II, V–XII, XVI и XVII; Leges отпечатаны в томах III и IV, а именно: капитулярии Меровингов и немецких, французских и итальянских Каролингов в первом из них, а в последнем имперские законы, трактаты и постановления сейма до 1313 г. Тома же XIII и XIV для Scriptores и XV для Leges опоздали, так как не все работы, относящиеся к ним, были окончены; туда предназначались: «Scriptores rerum merovingicarum» и «Gesta pontificum Romanorum». Для удобства справок в 1848 г. был издан подробный «Inhalts-verzeichnisse» к первым десяти томам «Monumenta Germaniae»[1].

---

[1] Пертц для распространения в школе и обществе исторической литературы Средних веков сделал еще два издания, общедоступных по цене и по форме, а именно: 1) «Scriptores rerum germanicarum, in usum scholarum, ex Monumentis Germaniae historicis». Hannov. 1840–1856 (всего вышло до сих пор 13 томов, стоящих 6 тал. 5 згр.). Там можно найти: Adamus Bremensis, Einhardus, Lambertus-Hersfeldendis, Liudprandus, Nithardus, Richerus, Widukindus и др.; 2) «Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeqt», in deutscher Bearbeitung, nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae. Berlin, 1849–1862 (всего вышло 40 выпусков ценой 14 тал. 28 згр.) По времени этот немецкий перевод охватывает главнейших писателей о Германии – от Цезаря, Тацита, Плутарха и т. д. до XIII в. – и заключается хроникой Арнольда Любекского.

Dahlmann. Quellenkunde der deutschen Geschichte. Gцttingen. 1830. 2-е изд. 1838.

Waitz. Ьber die Entwicklung der deutschen Historiographie im Mittelalter – помещено в Schmidt's Zeitschrift für Geschi-chtswissenschaft. II, с. 39, 97 и след.; IV, с. 97 и след.

Wattenbach. Deutschland's Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des XIII Jahrh. Berl. 1858.

ФРАНЦИЯ по обилию трудов своих ученых, занимавшихся собранием и изданием исторических памятников, стоит выше Германии, хотя ее сборники уступают по своим критическим достоинствам «Monumenta Germaniae». В XVI столетии во Франции, как и в Германии, многие занимались изданием древних манускриптов, но это был труд чисто механический. Среди таких сборников по полноте и богатству материалов первое место занимал Pithoeus (1539–1596), знаменитый юрист, гугенот, едва не погибший во время Варфоломеевской ночи, один из авторов известной сатиры на Гизов «Мениппея» и ревностный приверженец Генриха IV Великого. Он издал: 1) «Annalium et historiae Franco-rum ab a. 708–990 scriptores coaetanei XII» (Paris, 1588) и 2) «Historiae Francorum ab. a. 990–1285 scriptores veteres XI» (Paris, 1596). Гораздо более важны труды французских ученых XVII столетия, и не только для истории Франции, но и вообще для изучения средневековой эпохи. Первое место в этом отношении принадлежит Дю-Канжу (1610–1688): *Du Cange.* Charles du Fresne, seigneur; Дю-Шене (1584–1640): Du Chesne в лат. переводе: Quercetanus и Балузию (Baluze, 1630–1678). Дю-Канж сделал известным свое имя изданием Жуанвиля, историка Людовика IX Святого с объяснениями, которые и до сих пор остаются драгоценнейшими (в 1668 г.); но труд, обессмертивший его имя, появился 10 лет спустя – «Glossa-rium mediae et infimae latinitatis» (Par., 1678, в 3 т.); в последующих изданиях XVII столетия этот «Лексикон среднего и нижнего латинского языка» в 6 т. (1733–1766) был распространен учеными бенедиктинцами; а в новом издании F. Didot, более общедоступном, по сравнению с прежними, он составляет 7 томов, из них 7-й том служит лексиконом старофранцузского языка (Paris, 1840–1847). Лексикон Дю-Канжа, результат колоссальной начитанности и глубоких археологических познаний, кладется и до сих пор в основание всякого исследования по истории Средних веков. Современник Дю-Канжа Дю-Шене, сделанный при Ришелье королевским историографом, трудился неутомимо над копировкой манускриптов и их изданием; самым капитальным результатом его усилий стало издание «Historiae Normannorum scriptores antiqui» (Par., 1619); оно весьма редко, и его можно иметь только в позднейших сборниках нашего времени, где оно было перепечатано целиком. Не менее замечательно и другое его собрание – «Historiae Francorum script. coaetanei» (Par., 1639–1649. 5 vol., последние два тома изданы его сыном). Оно доходит до начала XIV в., то есть до конца эпохи Капетингов. Почти в одно время с Дю-Канжем и несколько позже Дю-Шене появился и труд Балузия, юриста, посвятившего всю свою жизнь собранию манускриптов древних законов, которые были им изданы в 1677 г. под заглавием «Capitularia regum Francorum» – богатейший сборник в этом роде, которым пользуются и до настоящего времени (в 1780 г. P. de Chiniac сделал последнее издание Балузия в 2 т., присоединив к нему «Marculphi et aliorum formulae veteres et notae doctiss. virorum»).

Наконец, в XVIII столетии предпринято было самое полное издание всех исторических памятников, которое продолжается и до настоящего времени. Это издание имеет то же значение для истории Франции, как и работа Пертца для Германии; основание ему положил ученый бенедиктинец конгрегации св. Мавра dom Martin Bouquet (1685–1754; библиотекарь в парижском аббатстве St Germain-des-Près). Название сборника – «Scriptores rerum Gallicarum et Francicarum, или Recueil des historiens des Gaules et de la Françe». Буке начал издание в 1738 г. и успел при своей жизни выпустить 8 томов (последний в 1752 г.). До Французской революции это издание продолжали другие бенедиктинцы и успели к 1786 г. выпустить с IX до XIII тома включительно. После революции

Академия надписей в Париже взяла на себя продолжение этого труда и с 1806 до 1855 г. издала с XIV до XXI тома.

Рядом со сборниками Буке и как бы в дополнение к нему стоят: 1) огромный труд бенедиктинских монахов конгрегации св. Мавра «Histoire littéraire de la France, ouvrage commencé par les religieux Bénédictins de la congregation de St Maur et continué par des membres de l'Institut» (Paris, 1735–1763; 1807–1857). Продолженное издание после революции Парижской академией наук достигло 23-го тома и по содержанию охватывает все примечательные произведения письменности во Франции от древнейшей эпохи до конца XIII в.; 2) сборник мемуаров, относящихся к истории Франции, предпринятый в конце прошедшего столетия целым обществом ученых и озаглавленный «Collection universelle des mémoires particuliers relatifs a l'histoire de France» (Londres et Paris, 1785–1789). В течение всего четырех лет вышло в свет 65 томов; по окончании революции взялись продолжать эту работу, и в 1806–1807 гг. выпущено было еще 7 томов, от 66-го до 72-го. Сборник начинается XIII столетием с мемуаров Жуанвиля, к которым присоединена диссертация Дю-Канжа, и доходит до XVII столетия; издание остановилось на 72-м томе.

Но вся слава в области издания исторических памятников Франции принадлежит нынешнему столетию, а именно правлению Людовика-Филиппа и деятельности его министра народного просвещения Гизо. Гизо сделал для Франции то же, что Штейн и Пертц для Германии, соединяя в своем лице государственного человека и отличного специалиста. Вот как он сам говорит в своих мемуарах о предпринятом им систематическом издании всех исторических памятников Франции:

«Никто не обнаруживал такого нетерпения, как я, стремясь к открытию животворных источников для той науки, которая была особенно дорога мне и положение которой становилось опасным. Общественное настроение умов много помогло мне. Хотя в последнее время преподавание истории в высшей школе понесло большие утраты, но любовь к исследованию и историческому рассуждению распространялась все более и более; причина последнего заключалась в том, что после 1830 г. политика не привлекала более к себе деятельные умы и не доставляла им ни удовлетворения, ни средств приобрести литературную репутацию ни в своем кружке, ни в целом обществе. Некоторые из моих друзей начали говорить о своем проекте основать, под именем Société de l'histoire de França, общество со специальной целью издавать оригинальные памятники нашей национальной истории и распространять сведения о малоизвестных или неизвестных трудах по этому предмету как при помощи последовательных сообщений, так и через ежемесячные отчеты. Я поспешил одобрить и содействовать исполнению такого проекта. Мы сошлись 27 июня 1833-го, в числе 20 членов-основателей, определили устав общества, а шесть месяцев спустя Историческое общество Франции, насчитывавшее уже до 100 членов, 23 января 1834 г. открыло свое общее собрание, утвердило окончательно устав, избрало комитет для руководства трудами и немедленно приступило к своей деятельности. Все знают результаты ее за первые 25 лет; общество издало 71 том мемуаров и неизданных памятников, представляющих почти без исключения великий интерес для нашей истории, а некоторые из них могут считаться замечательными историческими открытиями, одинаково любопытными для публики и важными для ученых. Общество издержало на свое издание 360 тысяч франков и разрослось до 450 членов.

Еще при основании общества в ходе бесед с самыми ревностными из его членов мне стало ясно, что у него не достанет сил осуществить задуманное и что одно правительство располагает необходимыми и литературными (в архивах), и финансовыми средствами к выполнению такого предприятия. Поэтому я решился как министр народного просвещения взять на себя это дело и с первого раза придал ему такой значительный размах, что это должно было обратить внимание палат, к которым я обратился за поддержкой. В порядке интеллектуальном, как и в порядке политическом, только большие надежды и великие требования вызывают

симпатию и поддержку. В проекте бюджета, представленного палате депутатов 10 января 1834 г. я требовал ассигновать специально 120 тысяч франков для начала предприятия. Но со всех сторон поднялись возгласы против такого нового и огромного расхода. Комиссия, назначенная для рассмотрения бюджета моего департамента, предложила уменьшить сумму до 50 тысяч франков, а общая комиссия абсолютно отвергла мое предложение. Я настаивал. Прения были весьма сильные и продолжительные, так что мне случалось находить защитников между противниками и противников среди друзей. Гарнье-Паже обвинял меня за то, что я намерен своим предприятием отвлечь молодых людей от журналистики с целью подавить их изучением истории, чуждым политике. Зато Могень (Mauguin) приветствовал меня за намерение сделать архивы и дипломатическую переписку достоянием публики; это – хорошая школа, говорил он, для просвещения во Франции людей политических, в которых она нуждается, и заключил словами: "Если вам удастся просветить хотя бы несколько политических голов, то вы будете вознаграждены сторицей за свои расходы". Палата оказала мне доверие и я выиграл дело».

Результатом деятельности Гизо и его преемников было одно из обширнейших и великолепнейших изданий, которое в настоящее время достигло 125 томов: «Colleñtion de documents inedits sur l'histoire de Françe, publiés par ordre du roi et par les soins du ministre de l'instruction publique etc» (Paris, 1835–1860, с 4 атласами). Все издание разделяется на три серии: 1) Histoire politique, 2) Histoire des lettres et des sciences и 3) Archéologie. В первой серии особенно замечательны: «Recueils de monuments inédits de l'histoire du tiers-état», par *Aug. Thierry*. 1850–1856.

Основатель этого издания, Гизо, был подготовлен к новому труду своими прежними попытками познакомить французское общество с древними, еще прежде изданными памятниками, опубликовав их с примечаниями и объяснениями. Обязанности профессора и кабинетная деятельность много помогли Гизо в этом предприятии, и с 1823 по 1835 г. он успел издать 21 том: «Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis la fondation de la monarchie française jusqu'au XIII siècle; avec une introduction, des supplements, des notices et des notes». Этот сборник замечателен в особенности по своему хронологическому распорядку. Когда Гизо остановился в своем труде, подобную же работу предприняли Michaud и Poujoulat и начали ее с той эпохи, которой кончается издание их предшественников, а именно с XIII в. Изданное ими «Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France, depuis le XIII siècle jusqu'a la fin du XVIII», etc. Par., 1836–1839 (всего 32 тома) намного уступает по своим достоинствам предыдущему труду; этот сборник издан недостаточно тщательно и не вполне надежен. Несравненно выше ценится другой подобный же сборник мемуаров, начинающийся с XIII в. и предпринятый Buchon, но он уступает Michaud и Poujoulat в полноте, потому что ограничивается выбором лучших произведений: «Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de France, avec notices biographiques» (Paris, 1836–1838; вышло всего 17 томов). Некоторые из писателей, помещенных в этом издании, повторены для удешевления в Pantéon littéraire, как, например, Les chroniques de sire Jean Froissart.

Древняя история Франции имеет еще один сборник, подобного которому мы не встречаем в истории других стран, – *Leber.* Collection de meilleurs dissertations, notices et traités particuliers, relatifs a l'histoire de France, composés en grande partie de pièces rares, ou qui n'ont jamais été publiées séparément». Paris, 1826–1838, 20 vol. В этом превосходном издании можно встретить драгоценные исследования ученых прежнего времени, помещенные в журналах или присоединенные к каким-нибудь дорогим и редким изданиям, так, например, только там можно найти собрание документов относительно Жанны д'Арк. Для занимающегося средневековой историей Франции особенно важно, как место для справок, классическое по своему совершенству издание *Lelong.* Bibliothique historique de la Françe, contenant le catalogue de tous les ouvrages tant imprimes que mss., qui traitent

de l'histoire de ce royaume ou qui y ont rapport. Avec des notes historiques et critiques. Par., 1719. Новое издание: Par., 1768–1778, 5 vol.

J. Ampère. Histoire de la littérature française au moyen âge. Par., 1839–1841, 4 vol.

Villemain. Littérature du moyen âge en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Par., 1830, 2 vol.

Nisard. Histoire de la littérature française. Par., 1849, 3 vol.

Fauriel. Histoire de la poésie provençale. Par., 1846, 3 vol.

ИТАЛИЯ имеет по своей средневековой истории только один полный и систематический сборник, который может быть сравнен с изданиями Буке и Пертца; это издание Muratori: 1) «Rerum italicarum scriptores ab anno aerae christianae 500 ad 1500». Mediolani, 1723–1751 (всего 25 томов в 28 книгах, потому что 1, 2-й и 3-й состоят каждый из двух частей) и 2) «Antiquitates italicae medii aevi post declinationem Romani imperii ad a. 1500, Mediolani», 1738–1742. 6 vol. Муратори (1672–1750) был библиотекарем знаменитой Амвросианской библиотеки в Милане и в библиотеке Моденской. В новейшее время прежнее сардинское правительство предприняло для Италии такое же издание, какое делается в Пруссии для Германии, под тем же заглавием «Monumenta historiae patriae edita jussu Caroli Albert». Aug. Taurin. 1836–1857. До сих пор вышло 9 томов.

Muratori. De literarum statu, neglectu et cultura post barbaros in eam in vectos usque ad a. 1100 (в Antiquit. t. III).

Tiraboschi. Historia della letteratura italiana antica e moderna. Modena, 1872–1882, 13 т. (В сокращении на франц. языке. Berne, 1784, 5 том.).

Guinguenè. Histoire littéraire d'Italie, 1811–1819, 10 т.

Gervinus. Geschichte der florentinischen Historiographie bis zum 17 Jahrh. (помещено в его Historische Schriften, I, 1833).

Ozanam. Documents inédits pour servir a l'histoire littéraire d'Italie depuis le VIII siècle jusqu'au XIII. Paris, 1851.

АНГЛИЯ в первые три века Нового времени имела, подобно прочим странам Западной Европы, свои исторические сборники, которые точно так же не отличались критическими достоинствами и составлялись случайно по личному произволу и наклонностям составителя. Но так как Англия и до настоящего времени не имеет для своей средневековой истории ничего подобного колоссальным монументам Пертца, Буке и Муратори или только еще начинает приступать к подобным изданиям, то ее собиратели XVI–XVIII вв. не утратили и до сих пор своей важности для ученых, обращающихся к отдаленным эпохам истории Англии. Замечательно, что первый сборник исторических документов Англии был составлен в Германии и издан в Гейдельберге «Rerum Britannicarum i. e. Angliae, Scotiae, vicinarumque insularum ac regionum scriptores vetustiores ac praecipui» (Heidelb., 1587; весьма редкий теперь сборник). Но вслед за ним обнаружилась большая в этом отношении деятельность внутри Англии: в конце эпохи Елизаветы и там появилось несколько сборников; из них особенно замечательны те два, на которые ссылаются нередко и до настоящего времени: 1) «Camden, Anglica, Normannica, Hibernica, Cambrica, a veteribus scripta» (Francof., 1602) и 2) «Savile, Rerum anglicarum scriptores post Bedam praecipui Londini», 1596. Самый замечательный из старинных сборников появился во второй половине XVII в., вскоре после английской революции; составителями его были Twysden и Selden – «Historiae Anglicanae scriptores decem, cum Seldeni de iisdem judicio, adjectis variis lectionibus, glossario etc.», Lond. 1682. Vol. I, II: 1) Simeon Dunelmensis, 2) Johannes Hagustald, 3) Richardus Hagustald, 4) Aelredus, 5) Radulphus de Diceto, 6) Johannes Brompon, 7) Gervasius Doro-bornensis, 8) Stubbs, 9) Thorne, 10) Knigthon, 11) Glossary.

В 30-х и 40-х гг. XIX в. в Англии обнаружилась необыкновенная частная деятельность единовременно с официальным движением во Франции в пользу сохранения средневековых памятников и их издания. Почти в одно время образовалось до 8 обществ

с такой целью, и каждое общество издавало в свет свои «Publications»: 1) The Anglia christiana society, 2) Bannatyne club, 3) Camden society, 4) Caxton society, 5) English historical society, 6) Maitland club, 7) Roxburghe club, 8) Surtees society. Из них Английское историческое общество издало 30 томов (1838–1856); Общество Кэмден, самое деятельное, издало 69 томов (1838–1857); Общество Какстон, названное в честь первого печатника Англии и основанное в 1845 г., обнародовало древние произведения отдельных авторов. Наконец и в Англии правительство, как во Франции и Пруссии, решилось взять на себя такое предприятие и в тех же размерах, которые представляют «Monument» Пертца; работа была поручена членам так называемого Record com-missions (археологическая комиссия), а главная редакция предоставлена Petrie. В 1848 г. вышел первый том этого сборника под заглавием «Monumenta historica Britanniae, or materials for the history of Britain, from the earliest period to the end of the reign of king Henry VII». Published by command of Her Majesty. Vol. I, extending to the Norman conquest. Prepaired and illustrated with notes by Henry Petrie. Lond. 1848 (то есть «Исторические памятники Британии, или Материалы для истории Британии – от древнейшей ее эпохи до правления короля Генриха VII». Издано по повелению ее величества. Т. I, охватывающий период до норманнского завоевания. Изготовлен и снабжен примечаниями Генр. Петри. Лонд. 1848). План этого издания был составлен еще в 1822 г., но в свет вышел только один первый том. Петри не дожил до выхода его и умер в 1842 г., хотя тем не менее имя его осталось во главе издания, и даже обыкновенно на него ссылаются так: *Petrie.* Collection of the english historians (то есть Петри, собрание английских историков). Содержание первого тома следующее: Gildas–Nennius–Beda, chron. et hist. eccles.–Chronologia breviss.–Anglo-Saxon chronicle–Asserius–Florentius Wigorn–Nomina archiepisc. et episcop.–Genealogia regum Angl.–Simeon Dun–Henricus Hunt.–Gaimar–Annales Cambriae–Brut y Tyw–Carmen de bello Hasting.

Однако это издание имело самую жалкую участь: члены Record commission перессорились между собой. Жалованье, получаемое ими, давно уже обратилось в их синекуру: они медлили с работой, чтобы продлить свое содержание. И наконец, когда вышел первый том, стоивший огромных сумм, парламент, получая отовсюду упреки за растрату общественных денег, должен был закрыть Record commissions и прекратить издание. Но общественное мнение и настояния Маколея принудили парламент, не ограничиваясь такой отрицательной мерой, подумать о выполнении национального предприятия, и в начале 1857 г. Master of the Rolls (начальник государственного архива), Sir John Romilly предложил государственному казначейству взять на себя полнейшее издание всех исторических памятников Англии от Юлия Цезаря до Генриха VIII по системам, уже утвердившимся на этот случай на материке. Результатом новых работ было издание под заглавием «Rerum Britanicarum medii aevi scriptores, or Chronicles and Memorials of Great Britain and Ireland during the middle ages. Publisched by the authority of Her Majesty's treasury, under the direction of the master of the rolls» (London, 1858–1861). До сих пор вышло всего 24 тома в 33 частях. Оно замечательно по удобству формата для кабинетных работ и крайней дешевизне; но, как замечает Зибель в своем «Historische Zeitschrift» (1859, с. 548 и след.) по поводу рецензии этого издания, оно не может выдержать сравнения, например, с изданием Пертца, уже по одному тому, что для главной редакции не избрано никого, кто мог бы ручаться за дело, и все возложено, как служебная обязанность, на официальное лицо, Master of the rolls.

Baleus. Scriptorum illustrium majoris Britanniae, quam nunc Angliam et Scottiam vocant, catalogus. Basileae, 1557–1559, 2 vol. – неоцененный источник всех сведений о древних писателях Англии.

Van Bruyssel. Etude biographiques sur les chroniqueurs anglais, écossais et irlandais depuis les temps les plus reculés jusqu'a l'invention de l'imprimerie, Brux., 1861. Помещено в Compte

rendu des séances de la commission royale d'histoire, и еще не окончено.

Lappenberg. Geschichte von Englands. Hamb., 1838, в предисловии.

Wright. Biographia britannica literaria of Biography of literary characters of Great Britain and Ireland, arranged in chronological order. Lond., 1842–1846, 2 vol. Издание весьма полезное для справок.

Schoell. De ecclesiast. Britonum Scotorumque historiae fontibus. Berol., 1861.

Schmid. Ueber die Chroniken der Angelsachsen, 1828. Помещено в «Hermes». Band 30.

ИСПАНИЯ совершенно отстала в деле исторических сборников от других западноевропейских стран, и для ее средневекового времени надобно довольствоваться деятельностью предшествовавших столетий. Важнейший из старинных сборников Испании, на который обыкновенно ссылаются, был составлен в Германии: *Schott.* Hispaniae illustratae seu rerum urbiumque Hispaniae, Lusitaniae, Aethiopiae et Indiae scriptores varii. Francof., 1603–1608. 4 vol. Из национальных предприятий особенно замечательны только два, принадлежащие прошедшему столетию: 1) *Llaguno Amirola.* Collection de las cronicas y memorias de los reyes de Castilla. Madrid. 1779–1787. 8 vol. и 2) *Florez.* Espana sagrada. Theatro geografico-historico de la iglesia de Espana. Madrid. 1747–1856. 48 т. Последний сборник, по своей полноте и богатству содержания, занимает то же место для Испании, как Муратори и Буке для истории Италии и Франции.

Dozy. Recherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne pendant le moyen age. Leyd. 1860. 2 т.

Bouterweck. Geschichte der Spanischen Poesie und Beredsamkeit. 1804.

L. Wiardot. Etudes sur l'histoire des institutions, de la litterature et de beaux arts en Espagne. Paris, 1835.

Кроме национальных сборников в Западной Европе существуют издания, которые по своему содержанию имеют одинаковый интерес для всех стран и служат одним из главных источников для изучения в особенности первых этапов средневековой истории. Среди них первое место занимает издание болландистов, названное так по имени своего основателя бельгийского иезуита Болланда (ум. в 1665 г.) и известное под заглавием «Acta Sanctorum, quotquot toto orbe coluntur, collegit, digessit, notis illustravit» (Joh. Bollandus). Оно началось издаваться в 1643 г. и продолжалось в XIX в.; последний 56-й том вышел в 1861 г. Это жизнеописания святых, распределенные в календарном порядке следующим образом: январь – 2 т., февраль – 3 т., март – 3 т., апрель – 3 т., май – 7 т., июнь – 7 т., июль – 7 т., август – 6 т., сентябрь – 8 т., октябрь до 21-го числа – 10 т. Второй сборник подобного же содержания составил французский ученый бенедиктинец Mabillon (ум. в 1707 г.): «Acta Sanctorum ordinns s Bene-dicti in saeculorum classes distri-buta. Saecul. I–VI». Par., 1667–1701, 9 т. Десятый том этого важного сборника лежит и до сих пор в манускрипте в библиотеке аббатства С.-Жермен, в Париже.

В новейшее время появился во Франции сборник произведений церковных писателей, какой бы стране они ни принадлежали; он издавался под редакцией *Migne* – «Patrologiae cursus completus, sive bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda. conomica, omnium SS. Patrum, doctorum, scriptorumque ecclesiasticorum, sive Lationorum, sive Graecorum, qui ab aevo apostolico ad tatem Innocentii III (1216 a.) pro Latinis, et ad Photii tempora (863 a.) pro Gr cis fforu-erumt» (Paris, 1844–1857). Всего издано для латинских Отцов церкви 221 том и для греческих – 20 томов.

Для занимающихся историей Средних веков особенно полезен труд немецкого библиофила Потгаста; этот труд может служить весьма важным пособием для справок относительно изданий всех средневековых памятников во всех европейских государствах: «Bibliotheca historica medii aevi oder Wegweiser durch die Geschichtswerke des Europaeischen Mittelalters, von. 375–1500». Von. Aug. Potthast. Berl., 1862, 1010 с.

М. СТАСЮЛЕВИЧ

16 января 1863 г.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О НАУКЕ ВООБЩЕ И ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ В ОСОБЕННОСТИ

И. Г. Гердер

МЫ УЧИМСЯ ДЛЯ ЖИЗНИ, А НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ (1800 г.)

Что значит учиться для жизни? По-видимому, это значит учиться тому, что в жизни бывает полезно, что может быть приложено к чему-нибудь, что дает нам средство жить лучше. Но жизнь предъявляет весьма обширные и разнообразные требования, а с другой стороны, приложимость и полезность редко бывают непосредственны, ибо одно знание строится на другом, и, в свою очередь, само служит основанием новым познаниям; а потому было бы крайне нелепо, при всяком случае, когда я чему-нибудь научусь, тотчас задавать себе вопросы: на что я могу употребить это знание, что оно мне принесет и какую окажет пользу? Но разве ты можешь предвидеть вперед всю свою жизнь и все обстоятельства, с которыми тебе придется столкнуться? Можешь ли ты знать, что тебе будет пригодно во всякую минуту жизни и при каждом новом

ИОГАНН ГОТФРИД ГЕРДЕР (1744–1803). Принадлежит вместе с Ж. Б. Вико (о нем см. ниже) к числу основателей философии истории, задачу которой, главным образом, составляет открытие общих законов человеческой деятельности. Гердер учился в Кенигсберге естественным наукам, потом перешел к теологии, был проповедником в Риге, затем профессором теологии в Геттингене и кончил жизнь проповедником при дворе в Веймаре, который был в конце прошлого столетия интеллектуальной столицей Германии: там жили в то время Шиллер, Гете, Лессинг и др. В Риге Гердер издал свое знаменитое произведение «Ideen zur Philosophie der Geschichte», 1784, 2 т. (Мысли о философии истории; Edgard Quinet перевел на франц. яз. в 3-х т. 1834 г.). Это сочинение было первой попыткой дать философии истории опытные начала, заимствованные из ближайшего изучения свойств человеческого тела и физической природы. Собрание сочинений Гердера (Herder’s Werke zur Philosophie und Geschichte) в 60 томах было издано в 1827 г. Его статья «Nicht für die Schule, für das Leben muss man lernen» помещена в 10-м т., в отделе Schulreden; это была речь, произнесенная им в первый год, которым открылось наше столетие. (Для критического обзора вообще всех главных систем философии истории см.: Essai sur le principe et les limites de la philosophie de l’histoire, par Ferrari. Par. 1843; и Essai sur l’histoire de l’humanite, par M. Antonides Leipz. 1859 г.)

предприятии? Когда ты получаешь деньги, всегда ли спрашиваешь ты себя или можешь ли вперед определить, какую именно вещь приобретешь на них, и когда ты учишься языку, знаешь ли ты, с кем именно тебе придется говорить на нем? Итак, наше выражение «учиться для жизни» сводится на достижение более простой и определенной цели: «приготовить себя в своих средствах и способностях, в качествах души и тела, к тому что называют жизнью, чтоб не остаться грубым невеждой, насколько то дозволяют случай, время и обстоятельства, и трудиться над тем, чтобы образовать из себя здоровую личность, пригодную для всякой деятельности, на какую укажет жизнь». Таким образом, на долю каждого выпадает учить свой урок, который нужен ему самому, а не кому-нибудь другому. Подобно тому как в действительной жизни каждый подвергает испытанию свои душевные и физические силы, свои средства, имеет свои жизненные цели, точно так же каждый учится для себя, а не для кого-нибудь другого, – для своей жизни.

Потому в нашем учении должно быть исключено не только все совершенно бесполезное, но и все чужое, выработанное в нас самих. Было бы ребячеством предпочесть украшение себя чужими тряпками простому, но собственному и цельному платью, пошитому по нашей мерке. Нелепо испортить себе зрение для того, чтобы привыкнуть носить чужие очки. Лучше развивай и образуй свои собственные душевные и телесные силы, в правильном их соотношении друг к другу, тогда ты можешь себе сказать: я учусь для жизни.

Как достигнуть такой цели, на это каждому должны ответить его собственное сердце и добрый совет благоразумного наставника, под руководством которого он образуется. Кто учится в школе тупо, вяло, болезненно; кто развивает одни душевные силы и пренебрегает физическими, как будто бы он был чистый, отвлеченный дух; кто работает исключительно одной из душевных сил, например, воображением, памятью, не заботясь о других, о рассудке; кто учится для головы, не думая о сердце, или кто, заносясь воображением в облака, не вырабатывает хладнокровно правильных воззрений, на все смотрит поверхностно, и от труда тяжелого и продолжительного бежит, как от ада, тот работает не для жизни, потому что для жизни нужен человек цельный, здоровый, вооруженный всеми силами души и тела: он должен работать и головой, и сердцем, и мыслью, и делом, и работать не только охотно, но и изо всех сил: кто того не может, кто себя не приучил к тому заранее, тот не для жизни учился. И кого в этом случае не наказывает его собственная совесть! Сколькому учимся мы и теряем на то время, без чего мы могли бы легко обойтись, и опускаем из виду необходимое, только потому, что изучение его нам казалось неприятным! Мы откладываем в сторону многое, чего требует жизнь, и вследствие этого являемся в жизни хромыми. Бодрствуй, юноша, и учись для жизни! Время, для которого ты растешь и готовишь себя, требует людей опытных, то есть людей, которые изучили жизнь, людей рассудка, со здравыми взглядами, с твердой рукой в деле строения, со здоровым слухом, чтобы хорошо прислушиваться и понимать все сказанное и на все верно ответить, следовательно, людей с правильной и ясной речью, коротко знакомых с природой, с положением мира, с его требованиями и нуждами. Времена, когда люди писали пастушеские идиллии, переводили стихи Анакреона или как-нибудь в этом роде упражнялись в прозе и поэзии, прошли безвозвратно, потому что современная наша жизнь, к которой готовится наше юношество, требует больших сил, нежели было нужно для анакреонтических и пастушеских песнопений. С 1800 г. начинается иное время, и 1801 г. будет только его первым шагом; этот новый ряд годов вызывает новые усилия, требует нового прилежания. Вы, юноши, идете навстречу новому столетию, в которое мы входим полуотжившими людьми; учитесь для нового века, учитесь, чтобы суметь в нем прожить.

Наконец, так как жизнь наша требует не одних новых познаний и мыслей, но и воли, побуждений, а из них-то жизнь в основном и состоит, то наше выражение «учиться для жизни, а не для школы» относится

преимущественно к образованию сердца и характера. К чему послужат тысячи познаний без воли, без наклонностей, без желания жить честно и справедливо? Мы живем прежде всего волей; сердце должно нас осуждать или утешать, подкреплять или ронять, награждать или наказывать; счастье или несчастье нашей жизни опирается не на одни познания, но и на наш характер, побуждения; вся цена жизни заключена в нашей груди. Таким образом, тот учился для жизни, кто умел своим наклонностям дать верное направление, уяснить себе основы жизни и укрепить их, затем громко и твердо стоять за убеждения, и жить не только головой, но и сердцем для людей и для Бога...

Ф. Бэкон

ВООБЩЕ О МЕТОДАХ НАУК И О ХАРАКТЕРЕ ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ НАУКИ (1623 г.)

Научные методы изучались до сих пор или эмпириками, или догматиками. Эмпирики, как муравьи, умеют только накоплять в кучу и накопленное потребляют на месте. Догматики, наподобие пауков, ткут ткань из самих себя. У пчелы же процедура занимает середину между ними; она собирает, как муравей, свой материал на цветах садов, в полях, но она их преобразует и дистиллирует в силу прирожденной ей способности. Таков образ истинной научной работы, которая не считает, как паук, себя источником познания; или, как муравей, не ограничивается наносом в нашу память множества опытных фактов, но влагает их в наш дух видоизмененными и преобразованными. Надобно ожидать великих результатов от тесного соединения этих двух методов, опытного и рационального, соединения до сих пор не встречавшегося (Nov. Org. I, 95 гл.).

Наши науки ведут свое начало почти от одних греков. То, что к ним присоединили римляне, арабы и другие позднейшие народы, не велико и не так важно; и при том, какова бы ни была важность того, все же оно основывается на том, что было открыто греками. Но вся мудрость греков опиралась на одни мудрствования (sapientia professoria) и разливалась в словопрениях; такой характер исследования менее всего выгоден для достижения истины. Потому название софистов, которым обыкновенно пятнали древних риторов, Горгия, Протагора, Гиппия, Пола, одинаково пристало и Платону, Аристотелю, Зенону, Эпикуру, Феофрасту и их преемникам Хризиппу, Карнеаду и другим. Различие между ними состоит разве в том, что первые (то есть софисты) бродили по всему свету и, так сказать, торговали, бегая из одного города в другой, выставляя напоказ свою мудрость и требуя за то платы; другие (то есть философы) оставались, напротив, в определенном месте и были потому и заметнее, и великодушнее: они открыли школы и просвещали даром. Но как те, так и другие, хотя между ними и замечалось различие в некоторых отношениях, были одинаково чем-то вроде наставников, обращали познание в предмет словопрений, творили и защищали секты и ученые расколы, так что ко всем их учениям можно было весьма справедливо применить эпиграмму Дионисия на Платона: «Все это речи праздных стариков к неопытным юношам». Но первые мудрецы Греции – Эмпедокл, Анаксагор, Левкипп, Демокрит, Парменид, Гераклит, Ксенофан, Филолай и другие (исключаем Пифагора за его суеверие), сколько нам известно, не основывали школ, трудились над исследованием истины без шуму, но зато с большей строгостью и простотой, то есть с меньшей аффектацией и без желания выказаться. Вот почему они, по нашему мнению, гораздо более успели; но с течением времени их труды были стерты теми легкими произведениями, которые наиболее соответствовали низкому уровню масс и лучше подходили к их вкусу; время, как река, доносит до нас в своем потоке все, что пусто и легко, и потопляет под собой массивное и солидарное. Но, впрочем, и эти серьезные умы платили иногда дань недостаткам своего общества:

они, побуждаемые честолюбием и тщеславием, также основывали особые школы, с тем, чтобы стяжать себе почести и славу. Исследование истины внушает недоверие, когда оно пускается на такую жалкую спекуляцию; нельзя при этом не вспомнить того приговора или, скорее, прорицания, которое было высказано египетским жрецом относительно греков: «Они всегда останутся детьми; у них не будет ни науки древности, ни древности наук». В самом деле, они обладали всеми свойствами детей: всегда готовые поболтать, они были неспособны действовать; их наука состояла из слов и оказывалась бесплодной в применении. Вот почему происхождение нашей науки и характер народа, из среды которого она вышла, не составляет доброго знака для нее и не служит в ее пользу.

Как время и эпоха, в которую родились наши научные познания, не служат для них хорошим предзнаменованием, так точно неблагоприятен для них и характер страны и народа, среди которых они были начаты. В то время познание прошедшего и настоящего было весьма ограниченно и поверхностно, что чрезвычайно неудобно для каждого, кто хочет все основывать на опыте. История едва восходила на тысячу лет и не заслуживала даже имя истории; басни и темные предания старины – вот все ее материалы. Древние знали самую небольшую часть стран и земель света; они называли безразлично все северные народы скифами, все западные – кельтами; в Африке им были известны одни самые близкие страны к границам Эфиопии; в Азии – по эту сторону Ганга; еще менее знали они о землях Нового Света, ни по слуху, ни по какому-нибудь правдоподобному преданию; они считали не населенными многие климаты и пояса, под которыми живут и действуют бесчисленные народы. В те времена восхваляли, как нечто весьма замечательное, путешествия Демокрита, Платона, Пифагора, которые, без сомнения, не простирались далеко и заслуживают названия прогулок. Теперь же, напротив, нам известны большая часть

ФРЭНСИС БЭКОН (1561–1626). Принадлежал к числу людей, составивших славу времени Елизаветы, королевы Английской; при ее преемнике, Иакове I Стюарте, он был возведен в достоинство великого канцлера, барона Веруламского и графа С.-Альбана. Отец Фрэнсиса, Ник. Бэкон, был одним из замечательных министров при Елизавете. Обесславив себя корыстолюбием в делах управления, Фрэнсис Бэкон был приговорен к пене и тюремному заключению, отставлен от должности (1621 г.) и удален из Лондона. В эту последнюю эпоху он закончил две части своего произведения, которое было трудом всей его жизни и которое составило ему славу разрушителя старых научных методов и основателя науки нового времени. Весь его труд должен был носить название «Instauratio Magns» («Великое восстановление»), но из его 6 предполагаемых частей мы имеем оконченными только две: «De dignitate et augmentis scientiarum» («О достоинстве и возрастании наук») и «Novum Organum» («Новая система»). Труд назван так в подражание произведению Аристотеля, которое до Бэкона было всеобщим руководством и авторитетом науки Средних веков. В этом последнем сочинении Бэкон отвергает господствовавшие до того времени метафизические основы и приемы познания и указывает на необходимость ближайшего и опытного изучения сил природы при помощи наведения (inductio). Вышеизложенная статья, заимствованная из «Novum Organum», заключает в себе одно из лучших объяснений взгляда Бэкона на значение науки у древних, как она сохраняла свой характер в течение всех Средних веков до самого времени Бэкона, и на то направление, которому должны следовать науки Нового времени и которому они действительно следовали до сих пор (для подробностей см.: Bacon, sa vie, son temps, sa philosophie et son influence jusqu'a nos jours, par Ch. de Remusat. Par. 1858; лучшее издание подлинника сочинений Бэкона с примечаниями сделал Bouillet; перевод «Novum Organum» на франц. язык Lorquet в его сборнике «Descartes, Bacon, Leibnitz». Par. 1847).

Нового Света и самые отдаленные страны древнего; число наблюдений увеличилось во много раз. Вот почему, если бы кто захотел, подражая астрологам, отыскивать, под какими знаками явились в свет начатки наших наук у греков, он не нашел бы ничего благоприятного для них.

Так же шатки и маловажны те знаки, которые мы стали бы искать в результатах древней науки. Полезные изобретения служат ручательством и удостоверением истинности всякого умозрения. Что же? Можем ли мы указать, что из умозрения греков и практических наук, на нем основанных, в течение стольких веков, явился бы на свет какой-нибудь опыт, который содействовал бы улучшению или облегчению быта народов, и который можно было бы с достоверностью выводить из их умозрений и философских догматов? Цельс[1] открыто и благоразумно сознается, что медицина, например, началась у греков не с опытов, а с выдумок; потом люди построили на них целые системы, расписали и подвели причины; таким образом, наоборот, дух человека начинал с размышления о причинах вещей и отсюда выводил и творил опыт. Вот почему не нужно удивляться, что египтяне, приписывая божеству искуство изобретений, приносили ему в жертву более животных, нежели людей; животные своим инстинктом сделали более полезных изобретений, нежели древние люди; человек того времени мало или почти ничего не мог вывести пригодного для практики из своих рассуждений и логических умозаключений. Химики достигли еще некоторых результатов, но и то благодаря случайным обстоятельствам и разнообразию попыток (как то делают и механики), а не искусству или какой-нибудь теории; теории же, придуманные ими, были более способны вредить при опытах, нежели им содействовать. Те, которые занимались натуральной магией, как называют эту науку, также успели сделать некоторые открытия, но весьма неважные и более похожие на фокусы. Религия требует доказывать веру добрыми делами; в науке, к которой это требование может быть вполне применено, всякая теория должна быть судима по своим плодам, и бесплодная теория есть пустая теория; еще более это заключение справедливо, если наука, вместо плодов винограда и оливы, производит сучки и тернии рассуждений и словопрений.

Прогресс, сделанный науками древних, также не в их пользу. Все, что основано на природе, растет и развивается само собой; все, что основано на умозрении, может иметь видоизменения, но не рост. Если бы научные системы древних, похожие на растение без корня, почерпали бы свои силы в природе, они не привели бы человечество к тому результату, который они представляют целых 2000 лет: науки, остановившись на своем пути, остаются почти на одной точке и не делают никакого замечательного прогресса; они процветали при своих первых основателях, но с того времени стремились беспрерывно к падению. В одной механике, которая поневоле основывалась на природе и опыте, произошло обратное явление; это искусство, направляемое вкусом, росло и процветало беспрестанно, сначала грубое, потом удобное, наконец изящное, но всегда прогрессивное...

Есть одно убеждение, весьма распространенное, что философия Аристотеля соединила в одно целое разнообразие научных систем, господствовавших в Греции: потому что с появлением ее исчезли все предшествовавшие системы, и затем не появилось ни одной лучшей; так что она является столь прочной, что совмещает в себе все прошедшее и будущее. Но мнение об исчезновении прочих древних систем с появлением Аристотеля весьма ложно: произведения ученых древности читались долго, до самого времени Цицерона и в течение последующих столетий; но затем, когда Римская империя была наводнена варварами, которые затопили и человеческую науку, тогда на поверхность потока этих вод выплыли, как более легкие обломки дерева, системы Аристотеля и Платона. Что касается до всеобщего одобрения, которым пользовались эти системы, то мы объявляем, что всеобщее согласие в подобном деле

[1] Философ II в. эпикурейской школы, писавший против христиан.

может быть ошибочно. Истинное согласие есть то, которое основано на суждении, произнесенном свободно и по зрелом размышлении. Но огромное большинство тех, которые протягивали руки к философии Аристотеля, основывалось в своем суждении на предрассудке или вере в других: тут мы видим не согласие, а уменье повиноваться и поддакивать... Весьма дурно уже и то, что хотели умственные вопросы решить подачей голосов, которая может иметь место только в делах религиозных и политических. Ничто так не нравится толпе, как то, что поражает ее воображение и облегчает ум подчинением авторитету. К науке можно применить слова Фокиона о морали: «Когда толпа одобряет и рукоплещет, нужно тотчас же обратиться к себе с вопросом: в чем же я ошибся или погрешил?» (Nov. Organ. кн. I, гл. 72–74 и 77)...

Наш научный метод легко описать, но трудно следовать ему в практике. Его задача состоит в том, чтобы определить при всяком деле различные степени достоверности; помочь нашему чувственному восприятию, ограничивая его; отвергнуть совершенно работу голой мысли, следующей за чувственным восприятием; наконец, открыть и обозначить нашему разуму новую и несомненную дорогу, которой точка отправления находилась бы в том же самом чувственном восприятии. Без сомнения, такие идеи занимали и тех, которые придавали такое важное значение диалектике; они тем самым уже доказывали, что им были нужны посторонние опоры для мыслительной способности и что они не доверяют произвольной игре наших мыслей. Но все это было поздним противоядием против безнадежного зла диалектики, когда дух человека был испорчен привычками обыденной жизни, обращением с людьми, ложными учениями и окружен со всех сторон пустыми предрассудками (idilis). Потому диалектическое искусство, спеша оказать позднюю помощь мыслительной способности и не исправив ее, было более способно породить новые заблуждения, нежели открыть истину. Единственный путь к спасению, который остается нам, – начать всю работу нашей мыслительной способности сызнова, не предоставлять ее самой себе, непрерывно направлять ее, и дело нашего развития совершить как бы при помощи машин. Без сомнения, если бы люди употребляли на совершение механического труда одни голые руки, не прибегая к содействию и силе инструментов, точно так, как они не боятся приступить к интеллектуальной работе с одними силами мыслительной способности, то количество вещей, которые они могли бы произвести, было бы чрезвычайно мало, даже и при употреблении на то самых больших усилий. Остановимся на этом размышлении и взглянем на следующий пример, как мы смотрим в зеркало; предположим, что вопрос шел бы о перенесении обелиска громадной величины для украшения какого-нибудь триумфа или какой-нибудь великолепной церемонии и что люди решились бы обойтись при этом без инструментов. Человек со здравым смыслом не счел ли бы такое намерение большим безумием? Но если бы вздумали увеличить число рук, в надежде преодолеть препятствия, не было ли бы то еще большим безумием? А если бы предпочли отобрать для того силачей и устранить слабых, не представилось ли бы тут двойное безумие? Но если бы, после напрасных попыток, прибегнули бы к силе атлетов и умастили бы им руки и мускулы по всем правилам искусства, не подумал ли бы человек здравого смысла, что люди решились быть глупцами по всем правилам строгой системы? А между тем, когда дело идет о каком-нибудь умственном подвиге, люди действуют именно в том роде, то рассчитывая на численную помощь, то на превосходство и проницательность ума, или укрепляя мускулы мыслительной способности диалектикой, которую можно рассматривать как известного рода атлетическое искусство; и всякий раз при всех усилиях и ревности, они никогда не перестают употреблять одни, так сказать, голые силы мысли. В ручной же работе всякий понимает, что без инструмента и машины не могут быть достаточны ни силы одного, ни соединенные силы всех.

Nov. Org. Introduct. 2.

Ф. Гизо

О ХАРАКТЕРЕ НАУКИ В НАШЕ ВРЕМЯ (1829 г.)

Какой дух преобладает в настоящее время в интеллектуальном мире, в исследовании истины, каков ее предмет? Дух точности, обдуманности, осторожности; дух научный, метод философский. Он заботливо наблюдает факты, позволяет себе обобщение весьма медленное, прогрессивное, по мере того как они изучаются. Такой дух очевидно господствует более полстолетия в науках, занимающихся материальным миром; он составил их успех и славу. В настоящее время он все более и более стремится проникнуть в науки морального порядка вещей, в политику, историю, философию. Такие научные приемы всюду распространяются и утверждаются; всюду чувствуется необходимость брать факты за основание и мерило; убеждаешься, что именно они составляют сущность науки, что ни одна общая идея не может иметь действительной силы, не истекая из недра фактов, не питаясь ими постоянно по мере своего возрастания. Теперь факты в интеллектуальном порядке вещей составляют силу, в которую более всего верят.

Но в реальном мире, социальном порядке вещей, в управлении, администрации, политической экономии проявляется иное направление. Там преобладают идеи, рассуждения, общие начала, то, что называют теориями. Очевидно, таков характер великого переворота, совершившегося незадолго перед началом нашего времени и всех трудов XVIII в.; и такой характер принадлежит не только самому кризису, не только скоропреходящей эпохе разрушения, но в то же время это постоянный, обыкновенный и нормальный характер общественного быта, который слагается в настоящее время и является всюду. Такое состояние опирается на обсуждение и гласность, то есть на власть общественного мнения, общих всем начал и убеждений. С одной стороны, никогда факты не занимали такого места в науке, с другой – никогда идеи не играли в материальном мире такой важной роли, как в настоящее время.

Иначе было лет за сто перед этим; в интеллектуальном мире, собственно в науке, факты дурно изучались, на них обращалось мало внимания; резонерство и воображение были в полном разгуле; поднимались на крыльях гипотез; пускались в самые смелые предположения, не руководствуясь при этом ничем другим, кроме нити логических выводов. Напротив же, в политическом,

---

ФРАНСУА ГИЗО (GUIZOT, 1787–1874). Французский историк, известный как профессор и писатель, и вместе с тем имевший политическое значение как государственный человек и министр в 30-х и 40-х г. XIX в. С 1847 г. – глава правительства, свергнутого революцией 1848 г. Первое его литературное и вместе с тем профессорское поприще началось при Наполеоне I в 1812 г.; политические перемены в судьбах Франции прервали на несколько лет его профессорскую деятельность, и только в 1828–1830 гг. он возобновил свои лекции в Сорбонне. Тогда-то и был им прочитан курс «Истории цивилизации в Европе» и «Истории цивилизации во Франции», который и составил его славу. Второй курс, изданный в 4 частях, останавливается на начале XIV в. (на русский язык переведена «История цивилизации в Европе» и I том «Истории цивилизации во Франции», который охватывает время до Карла Великого). Главная заслуга Гизо как ученого состоит в том, что он в своих лекциях представил первый образец глубокого анализа исторических фактов той темной эпохи начала европейского общества, которая до того времени была изучена плохо и не полно, и при исследовании прошедшего никогда не забывал, что это исследование может иметь важность только по степени, в которой прошедшее делает нам ясным и вразумительным наше настоящее. Полное издание сочинений Гизо заключает в себе 23 тома. Для изучения его жизни и деятельности служат его собственные мемуары.

реальном мире факты были всемогущи и признавались естественно законными за одно только свое существование. Не рисковали их оспаривать даже и тогда, когда жаловались на них; мятеж был обыкновеннее отваги мысли, и разум тщетно являлся бы требовать за идею, во имя одной только истины, какого-либо участия для себя в наших делах на земле.

Итак, ход цивилизации сломил прежний порядок вещей: он ввел преобладание фактов там, где прежде господствовало необузданное движение мысли, и влияние идей там, где почти исключительно царствовал авторитет фактов. Что такой результат отразился, и сильно отразился, во всем, это видно из того, что печать его носят на себе даже самые упреки, которым подвергается современная цивилизация. Говорят ли ее противники о настоящем умственном состоянии человека, о направлении деятельности его трудов, они обвиняют их в сухости и мелочности. Точный и положительный метод, научный характер, унижает, как говорят они, идеи, леденит воображение, отнимает у мышления все его величие, свободу, суживает и делает его материальным. Идет ли речь о состоянии общества, о том, к чему в нем стремятся, что всех занимает; и там, говорят они, преследуются химеры, или все делается на веру теориям, между тем как нужно изучать, принимать во внимание и ценить только факты, доверять одному только опыту. Так что современную цивилизацию обвиняют разом и в сухости, и в мечтательности, в колебании и торопливости, в робости и в излишней смелости. «Как философы, – заключают они, – мы ползаем по земле, как политики мы пытаемся подражать Икару и будем иметь ту же участь».

Таков двойной упрек или, лучше сказать, двойная опасность, которую мы должны устранить. В самом деле, мы обязаны разрешить следующую задачу. Мы обязаны давать более и более места в интеллектуальном мире фактам, в социальном – идеям; управлять нашим разумом сообразно с действительностью и действительностью сообразно с разумом; удерживать вместе и точность научного метода, и законную силу разума. Здесь нет ничего противоречащего, по крайней мере, настолько, насколько отсутствие противоречия необходимо для каждого дела; напротив того, это противоречие составляет естественный, необходимый результат положения человека как зрителя в мире, и его призвания как деятеля в нем. Мы брошены в мир, который не нами создан или выдуман: мы его находим готовым, мы всматриваемся в него, изучаем; мы принуждены принять его как факт, ибо он существует вне нас, независимо от нас; наш ум изощряется на фактах; факты служат ему материалом; и когда он открывает в них общие законы, эти самые законы есть не что иное, как познанные им факты. Того требует наше положение как зрителей. Как деятели мы поступаем иначе: когда мы сделали наблюдение над внешними фактами, то ознакомление с ними развивает в нас идеи, которые выше их; мы сознаем себя призванными к преобразованию, усовершенствованию, управлению тем, что уже существует; мы сознаем себя способными действовать на мир и расширять в нем торжествующее царство разума. Вот в чем состоит назначение человека: как зритель он подчинен фактам; как деятель он овладевает ими, сообщает им более правильную и чистую форму. Поэтому я имел право сейчас сказать, что нет ничего противоречащего в задаче, которую нам предстоит разрешить. Весьма справедливо, что с таким двойным назначением человека всегда будет двойная опасность; изучая факты, ум может быть раздавлен ими; он может унизиться, сузиться, сделаться материальным; он может поверить, что нет иных фактов, кроме тех, которые поражают его с первого взгляда, которые мы осязаем, которые подпадают, как говорится, под наши чувства: величайшая и грубая ошибка! Есть еще факты отдаленные, неизмеримые, темные, возвышенные, которые трудно наблюдать, описывать, и которые тем не менее факты; они также обязывают человека изучать; и если он не признает или забудет их, в таком случае помыслы его действительно будут в высшей степени унижены, и вся его наука понесет на себе печать такого унижения. С другой

стороны, может случиться, что гордость человеческого ума относительно его влияния на вещественный мир будет слишком заносчива, требовательна, нелепа; что она заблудится, распространяя слишком далеко и слишком быстро власть своих идей над материальным порядком. Но что же доказывает эта двойная опасность, как не двойственность призвания, которое ее порождает? Такое признание необходимо должно быть выполнено, задача разрешена, и современное состояние цивилизации ясно выставляет ее и не дозволяет терять из виду. В настоящее время, если кто-нибудь в исследовании истины отступит от научного метода и не положит изучение фактов в основание всякого интеллектуального развития, и если кто-нибудь в управлении обществом не будет обращать должного внимания на принципы, на общие идеи, на теории, тот не достигнет прочного успеха, будет лишен действительной власти; ибо теперь всякая власть, всякий успех, как умственный, так и социальный, обусловливается гармонией наших трудов с теми двумя законами человеческой деятельности, с теми двумя стремлениями цивилизации.

Это еще не все; нам предстоит еще разрешить иную задачу. Из двух задач, которые были мной представлены, одна – научная, другая – социальная; одна касается чистого разума, учения истины; другая – приложения результатов этого изучения к внешнему миру. Есть еще третья, которая одинаково вытекает из современного состояния цивилизации и которую нам также предстоит разрешить – задача нравственная, относящаяся уже не к науке, не к обществу, а к внутреннему развитию каждого из нас, к личному достоинству и значению индивидуального человека.

Кроме упомянутых мной упреков, предметом которых служит наша цивилизация, ее обвиняют еще в том, что она оказывает на нашу нравственную природу гибельное влияние. Говорят, что, по своему постоянно резонерному характеру, своей страсти все обсуждать, все измерять, все приводить к точной и верной оценке, она охлаждает, сушит, сосредоточивает человеческую душу; что в силу притязаний ни в чем не ошибаться, отрешаться от всяких заблуждений ума и произвола мысли, знать настоящую цену всего, она кончит тем, что от всего получит отвращение, будет заботиться только о себе. В то же время говорят, что вследствие спокойствия современной жизни, легкости и приятности общественных отношений, безопасности, царствующей всюду в обществе, люди изнежатся и ослабеют душой; что, привыкая заботиться только о себе, они привыкают в то же время привязываться ко всему ради самих себя, не умеют ни в чем отказывать себе, ничего не переносят, ничем не жертвуют. Словом, полагают, что, с одной стороны, эгоизм и изнеженность, с другой – сухость и слабость нравов: таковы будут естественные и самые вероятные следствия настоящего состояния цивилизации; что преданность и энергия – две величайшие силы, как и две величайшие доблести человека, которые так блистали во времена, называемые нами варварскими, – оставляют его, и все больше и больше будут оставлять его во времена, называемые нами цивилизованными, и особенно в наше время.

Я думаю, что было бы легко устранить такой двойной упрек и постановить, во-первых, как общее положение, что настоящее состояние цивилизации, рассматриваемое во всей своей сущности и целости, судя по всем нравственным критериям, никоим образом не должно иметь главнейшими результатами эгоизм и вялость; во-вторых, как факт, что и преданность, и энергия, всегда появлялись в случае необходимости в новейшие времена у цивилизованных народов. Но этот вопрос заведет меня далеко, а между тем пора закончить. Правда, настоящее состояние цивилизации ставит новую преграду преданности и нравственной энергии, точно так же, как и патриотизму, как всем достоинствам, так и чувствам человека. Эти высшие способности человеческой природы часто развивались случайно, и, если позволено так выразиться – без разбора, вкривь и вкось. Отныне же они должны направляться разумом. Конечно, все это составляет новое затруднение, но его должна побороть человеческая природа для того, чтобы потом развиться во всем своем вели-

чии. Она одолеет это затруднение; никогда человеческая природа не отказывалась от того, что требовалось от нее обстоятельствами; чем более от нее спрашивают, тем более она дает; богатство ее возрастает вместе с растратами. Энергия и преданность почерпнутся из иных источников, обнаружатся под иными формами. Конечно, мы еще не вполне овладели общими идеями, убеждениями, которые должны внушить: в нас еще слабы, темны, шатки верования, соответствующие нашим нравам; принципы преданности и энергии, когда-то могущественные, лишены теперь всякой доблести, ибо они потеряли наше доверие. Нам нужно искать и найти такие, которые могли бы могущественно овладеть нами, убедить нас и в то же время двигать нами. Они-то и внушат нам преданность и энергию, будут поддерживать нас в состоянии бескорыстной деятельности и постоянной непоколебимости, которая одна составляет нравственное здравие. Те же успехи, которые налагают на нас эту обязанность, укажут и то, как ее удовлетворить.

Вы видите, что в наших занятиях речь идет не об одном знании; в настоящее время интеллектуальное развитие не может и не должно оставаться изолированным явлением; мы обязаны извлекать из него для нашего отечества новые средства цивилизации, для себя же самих – нравственное возрождение. Конечно, знание – прекрасно, и само по себе стоит усилий человека, но оно в тысячу раз прекраснее, когда становится силой и порождает доблесть. Итак, вот что всякому предстоит сделать: открыть истину; и использовать это на пользу общества; обратить ее внутри нас в верование, способное вдохнуть в нас бескорыстную и нравственную энергию, составляющую силу и достоинство человека в этом мире; вот наша тройная задача, вот к чему должен клониться наш труд,– труд тяжелый и медленный, который вследствие успеха расширяется, вместо того, чтобы приходить к концу. Но, может быть, ни в чем не дано человеку достигать цели: идти к ней – вот его слава.

Истор. цивил. во Франц. I, 19.

В. Гумбольдт

О ЗАДАЧЕ ИСТОРИКА (1820 г.)

Задача историка состоит прежде всего в изображении совершившегося. Чем чище и полнее ему удалось такое изображение, тем совершеннее выполнена его задача. Это есть в то же время первое, неизбежное требование, которому должно следовать произведение историка, и вместе с тем высшее предназначение, какое он только в состоянии выполнить. С этой стороны историк является не более как излагающим, воспроизводящим, но нисколько не самодеятельным; тут он лишен творческой силы.

Совершившееся только отчасти доступно нашему чувственному восприятию; еще многое остается к тому присоединить при помощи соображения, аналогии, догадки. Совершившийся факт является нам всегда в чем-то отрывочным, изолированным; то, что его связывает со всем остальным, что его представляет в истинном свете, придает ему вид целого,– все это ускользает от непосредственного наблюдения. Непосредственное наблюдение может подмечать обстоятельства, как они сопровождают одно другое, следуют друг за другом, но для него недоступна внутренняя причинная связь, на которой одной и покоится внутренняя правда. Когда желают изложить какое-нибудь ничтожное событие, но так, чтобы сказать о нем ровно столько, сколько на деле случится, то тотчас же замечают, как при отсутствии крайней осторожности в выборе выражений, начинают примешиваться отовсюду мимоходные дополнения относительно случившегося, из которых потом является ложь и неопределенность. Сам язык наш содействует такому обману: его выражения рождаются из определенного настроения и для определенного случая, а потому эти же самые выражения, употребленные для других случаев и при другом

настроении, заключают в себе постороннюю примесь, то есть то, чего нет в самой вещи. Вот почему так редко встречается точный рассказ; такой рассказ служит лучшим доказательством здоровья, порядка, ясности головы и свободного, объективного настроения духа; оттого-то историческая правда в известном смысле походит на облака, которые принимают различные образы только тогда, когда они удалены от зрителя; оттого же самого и исторические факты, с своими единичными и вместе взятыми подробностями, являются как результаты предания и исследования, которые мы условились принимать за истину, потому что они по большей части правдоподобны и наилучшим образом соответствуют связи целого.

Но голое изложение действительно совершившегося едва составляет остов событий. То, что достигается подобным изложением, конечно, служит необходимой основой истории, материалом для нее; но это еще не сама история. Остановиться на этом – значило бы пожертвовать настоящей истиной, внутренней, основанной на отдаленном сцеплении событий, в пользу истины внешней, буквальной, кажущейся, и предпочесть известную ошибку, чтобы избежать неизвестной опасности ошибиться. Истина совершившегося требует присоединения к внешнему его изложению той вышеупомянутой, неосязаемой части каждого события; ее-то и должен отыскать историк. Рассматриваемая с этой стороны деятельность историка является самодеятельной и даже творческой, не в том смысле, что он вносит в факт то, чего в нем не было, но потому что он из себя добывает то, чего недоставало факту для внутренней его истины, и что не может быть непосредственно воспринято чувствами. Различным путем, но точно так же, как и поэт, историк обязан то, что является в действительности рассеянным и отрывочным, переработать в себе в одно целое.

Может показаться странным, что мы могли найти хотя что-нибудь общее между задачей историка и поэта. Но деятельность их обоих неопровержимо имеет некоторое родство. По вышесказанному, историк не иначе достигает истины в своем изложении совершившегося, как только через совокупление и пополнение того, что являлось перед непосредственным наблюдением как отрывочное и неполное, а для достижения такой цели историку, как и поэту, нужно

ВИЛЬГЕЛЬМ ГУМБОЛЬДТ (1767–1835). По окончании университетского образования в Геттингене, где он получил первое направление под руководством филолога Гейне, долгое время жил в блестящем кругу веймарского общества, в эпоху Шиллера и Гете; потом несколько лет путешествовал по Европе и, возвратившись в Берлин уже известным литератором, В. Гумбольдт вступил на дипломатическое поприще и был отправлен посланником в Рим (1802–1808 гг.); по возвращении оттуда в Пруссию ему была предложена должность министра народного просвещения (1809–1810 гг.), но вскоре он снова обратился к дипломатии, был посланником в Вене, участвовал в Венском конгрессе, но когда после того началась реакция, Гумбольдт находился в оппозиции и в 1819 г. был совсем отставлен. Удалившись от дел политических, Гумбольдт в своем уединении предался научным занятиям, и его рассуждение «О задаче историка» было одним из лучших произведений его пера и наиболее полным отражением его идей, которые явились результатом его научных занятий до поступления на службу и из опыта политической жизни. Основная идея Гумбольдта состоит в том, что историческая наука невозможна без языкознания, так как предмет истории есть судьба человеческого духа, а язык есть самый глубокий и самый древний факт его внутренней жизни. Сам В. Гумбольдт основательно изучил классические языки древности, вместе с санскритским и древнейшими языками Европы; его исследования в этой области оказали большую услугу филологии. О его жизни и трудах см.: *Wilhelm von Humboldt.* Lebensbild und Charakteristik, von Haym. (Berl. 1856). Brandes издал все его сочинения в 7 т. под заглавием «Gesammelte Werke v. Wilhelm von Humboldt» (Berl. 1841–52).

воображение. Но так как историк свое воображение подчиняет опыту и исследованию истины, то в этом заключается его отличие от поэта, парализирующее всякую опасность. При таком подчинении воображение историка не действует как чистая фантазия, и потому справедливо может быть названо способностью предугадывания и соединения частей в единое целое (Ahnungsvermögen und Verknüpfungsgabe). Но такого рода деятельность сама по себе поставила бы историка слишком низко. Правда совершившегося является, конечно, чем-то простым, но вместе с тем она выше всего, что может быть создано воображением. Если бы мы и достигли исторической правды, то в ней осталось бы необъясненным то, что обусловливает всякую действительность. К объяснению такого элемента необходимости и должен стремиться историк; поэт подчиняет материю господству формальной необходимости; историк должен иметь в виду идеи – эти законы необходимости; проникнутый ими, он легко их отыщет при строгом исследовании действительного в его действительности.

Таким образом, историк охватывает все нити условного действия и отпечатки безусловных идей; предмет его работы составляет сумма бытия, и потому дух его должен работать в полную силу. Умозрение, опыт, фантазия не есть изолированные, друг другу противоположные и ограниченные своей областью, силы нашего духа; они составляют различные лучи, различные направления одной и той же душевной способности.

Итак, историку предстоят разом две дороги для достижения исторической правды: 1) точное, беспристрастное, критическое исследование совершившегося и 2) соединение отдельных частей в единое целое, предугадывание того, что первым путем недостижимо. Кто следует по одному первому пути, тот рискует сущностью исторической правды; кто пренебрегает первым путем и прямо идет по второму, тот подвергается опасности погрешить в подробностях. При простом описании предметов физической природы дело состоит не в одном исчислении и описании частей тела и не в одном измерении его сторон и углов; над этими частями носится живое дыхание целого, из них говорит внутренний характер предмета, а то и другое не может быть ни измерено, ни просто описано. Потому натуралист также устремляется на вторую дорогу и говорит нам об общих и индивидуальных формах бытия физических тел. Точно так же и в истории: второй путь ведет не к открытию чего-нибудь особенного, а еще менее к выдумке чего-нибудь. Дух историка через то, что он усваивает себе форму всего совершившегося, лучше постигает исследуемый предмет и изучает его в нем самом лучше, нежели сколько то возможно одной работой мысли. Все дело состоит именно в этом взаимном проникновении лица исследователя и исследуемого предмета. Чем глубже понимает историк человечество и его деятельность силой своего гения и труда, или чем человечнее настроен он природой и обстоятельствами и чем более дает он простора всему человечному, тем полнее он разрешает задачу своих занятий. Доказательством тому служат хроники. При всем обезображении факта и некоторых очевидных побасенках, никто не откажет лучшим из них в основах настоящей исторической истины. К хроникам примыкают древнейшие из называемых мемуаров, хотя, впрочем, ближайшее отношение их к жизни неделимого очень часто причиняет ущерб общим взглядам на человечество, которых требует история даже и при разработке отдельных пунктов.

Несмотря на то что и история, как и всякое другое научное занятие, может служить многим другим второстепенным целям, но тем не менее ее произведения, как и произведения философии и поэзии, могут быть свободным, законченным в себе искусством. Громадный поток отовсюду стремящихся событий, вызванных отчасти характером почвы, человека, народности, неделимых, а отчасти появляющихся как бы из ничего, брошенных на землю каким-то чудом, зависимых от одних темно сознаваемых сил и управляемых, очевидно, вечными идеями, глубоко зароненными в сознание человека,– все это бесконечно, чего дух никогда не будет в состоянии объять в одной форме, но что всегда подталкивает его на такую попытку

и дает ему силы осуществить ее по крайней мере отчасти. Как философия стремится к первооснове вещей, искусство – к идеалу изящного, так и история стремится к созданию образа человечества во всей его правде, живой полноте и ясности, причем всякие личные взгляды, ощущения и притязания должны исчезнуть. Вызвать такую гармонию и питать ее составляет последнюю цель историка, но достигнуть ее, однако, он может не иначе, как преследуя добросовестно ближайшую свою цель – простое изображение совершившегося...

Из всего сказанного можно сделать два вывода: 1) во всем, что совершается, управляет идея, которая не воспринимается непосредственно; но 2) эта идея может быть узнана только из событий. Поэтому историк не должен, ища всего в материалах предмета, упускать из виду господство идеи; он должен во всем оставлять место для ее воздействия; далее, он должен, подвигаясь вперед, настраивать себя для открытия идеи, предугадывать ее, узнавать; но он должен более всего остерегаться навязать действительности свои собственные идеи, или, стремясь к созданию заранее обдуманного целого, пожертвовать живым богатством подробностей. Такая свобода и вместе осторожность воззрения должны быть окончательно усвоены сознанием историка и сопровождать его при всяком обсуждении вопроса; в мире нет ничего совершенно изолированного от общей цепи событий, а с другой стороны, одна часть во всем совершившемся, как выше было показано, всегда лежит вне круга непосредственного наблюдения. Если историку недостает свободы воззрения, он не может постигнуть событий во всем их объеме и глубине; если же в историке нет тщательной осторожности, тогда пострадает живая и простая правда событий.

Ф. Бэкон

О ЦЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Нам кажется, что между человеческими деяниями, без сомнения, самое замечательное то, которое наделяет мир важными изобретениями, и так же думали люди и в древние века. Они оказывали божеские почести изобретателям; тем же, которые отличались в государственной деятельности – основывали города и империи, издавали законы, освобождали отечество от бедствий, свергали тиранов и т. п., – древность давала титул только героев. Если по справедливости сравнить те два рода услуг, то надобно будет одобрить суждение древних: благодеяния изобретателей распространяются на весь мир, а гражданские заслуги относятся к одной стране; одни временные, другие вечные. Очень часто прогресс государственной жизни сопровождается смятением и жестокими потрясениями, но изобретения распространяют свои благодеяния, не вредя никому и не заставляя проливать слез. Изобретение есть вторичное творение; оно подражает делам Творца, как сказал поэт: «Минерва в древности научила людей садить плодоносные деревья, и люди создали вторую жизнь (recreaverunt vitam)». Замечательно, что Соломон, осыпанный всеми благами, наделенный богатством, имуществом, имея армию, слуг, флот, славу, ничем из всего того не гордился и говорил: «Слава Творца – скрывать секреты природы, слава царя – открывать их».

С другой стороны, пусть подумают люди о различии между бытом человека в образованных странах Европы и бытом дикаря Нового Света; это различие так велико, что можно по справедливости сказать: «Человек – бог для человека» (homo homini deus est), не только по услугам, которые первый может оказать последнему, но и по сравнению их внешнего положения. И это различие установлено не землей, не небом, не планетами, но искусствами. Нельзя не обратить внимания на мощь, силу и последствия изобретений: ни в чем это так ясно не выразилось, как в тех трех изобретениях, не известных древнему миру, и которых происхождение, хотя и новейшее, но весь-

ма темно и неясно. Типографский станок, порох и компас изменили вид мира, первый – в литературе, второй – в военном искусстве, третий – в мореплавании; от них произошли столь бесчисленные перемены, что ни одна власть, ни одна философская школа, ни одна страна не могут гордиться тем, что они имели одинаковое с этими изобретениями влияние на человеческие дела. На основании того мы различаем три степени и три вида честолюбия в истории: первая представляет нам людей, которые стремятся увеличить личную власть в своей стране; это – самая пошлая и низкая степень; на второй стоят люди, которые стремятся усилить власть своей страны над остальным человечеством; здесь больше достоинства, но характер страсти тот же; и наконец те, которые стремятся утвердить и расширить власть рода человеческого над материальной природой, они обладают честолюбием (если только так можно назвать то), несравненно более мудрым и более возвышенным, нежели другие. А власть человека над природой основана единственно на искусствах и науках, потому что природой повелевать можно только повинуясь ей...

На это могут возразить, что науки и искуства очень часто служат средством к выполнению злых намерений, удовлетворению худых страстей, но этим не нужно тревожиться. То же самое можно сказать о всех благах мира: таланте, храбрости, силе, красоте, богатствах, о самом древнем свете и о многих других. Пусть род человеческий стремится приобрести власть над материальной природой, которая ему принадлежит, как дар Провидения, и ему будет дано многое: а здравый рассудок и хорошая нравственность направят его на добро.

Nov. Organ. I, 129.

Г. Т. Бокль

ЧТО ТАКОЕ ИСТОРИЯ КАК ОПЫТНАЯ НАУКА?

Всякое совершившееся событие имеет перед собой целый ряд фактов, которые ему предшествуют или внутренним, или внешним образом; отсюда ясно, что все разнообразие событий, или, другими словами, все перемены, которыми преисполнена история, все превратности, постигшие род человеческий, его успехи и его падение, его благополучие и его бедствия,– все это должно быть результатом двоякого действия: действия внешних явлений на дух человека и духа человеческого на внешние явления.

Только из такого материала может быть построена научная история. С одной стороны, перед нами человеческий дух, который повинуется законам своего собственного естества, и если только он не подвергается внешнему влиянию, идет своим путем. С другой стороны, мы имеем перед собой так называемую природу, которая тоже повинуется своим законам, но беспрестанно приходит в столкновение с человеческим духом, будит страсти людей, подстрекает их ум и дает таким образом их действиям то направление, которого они не приняли бы без постороннего вмешательства. Итак, мы всегда имеем перед собой человека, действующего на природу, и природу, действующую на человека; вот то взаимодействие, из которого должны вытекать все события.

Таким образом, непосредственная задача историка состоит в нахождении способа открытия законов этого двойственного обоюдного влияния, а это, как мы сейчас увидим, приводит его к предварительному решению вопроса: которое из этих двух влияний важнее – влияние ли физических явлений на мысли и желания людей, или же влияние этих последних на физические явления. Конечно, более действенное влияние должно быть и прежде исследовано, отчасти потому, что результаты его рельефнее выступают наружу и, следовательно, удобнее могут быть наблюдаемы; отчасти же и потому, что, открыв законы более сильного деятеля, мы на первых порах будем иметь менее необъясненных фактов, чем когда бы

мы начали с исследования законов второстепенной силы. Но прежде, нежели ктонибудь приступит к такому исследованию, ему нелишне будет вспомнить некоторые из самых разительных доказательств правильности, с какой следуют одно за другим явления духа. Это значительно подкрепит приведенное нами выше воззрение и даст нам, в то же время, возможность видеть, что было сделано до сих пор наукой для уяснения этого важного предмета.

Великое значение добытых уже наблюдением результатов явствует не только из обширности круга самих наблюдений, на который простирается обобщение явлений, но и из крайней осмотрительности, с которой при этом действовали. Ибо между тем как большая часть исследований внутренних явлений основывалась до сих пор на какой-нибудь теологической или метафизической гипотезе,– те исследования, о которых я говорю, исключительно основаны на наведении данных. Они опираются на сбор, можно сказать, бесчисленных фактов, объемлющих многие страны и представленных в самой ясной форме – форме арифметических таблиц; наконец, они собраны людьми (большей частью обыкновенными чиновниками), не отстаивавшими никакой теории и не имевшими потому интереса в том, чтобы искажать истину в требуемых от них донесениях.

ГЕНРИ ТОМАС БОКЛЬ (1823–1862). Сын английского банкира, составил себе громкую славу первоклассного историка первым и единственным сочинением, которое осталось неоконченным (History of the civilization in England. Lond. 1858). Оно издавалось в 1860-х гг. в русском переводе; в подлиннике вышло 2 тома, и оба были переведены на немецкий язык Арнольдом Руге. Основная идея Бокля состоит в мысли о необходимости сделать историю точно такой же правильной по своему методу наукой, какими уже давно являются опытные естественные науки. В 14 главах первого тома автор излагает критику господствовавших до него методов в истории и план своего метода; применяет свой метод к изучению хода и развития исторических идей в течение Средних веков; затем делает с той же точки зрения обзор прогресса и различного направления в цивилизации Франции и Англии от XVI до конца XVIII в.; и наконец, во втором томе помещает подобное же сравнение в судьбах двух таких стран, как Испания и Шотландия, совершенно различных по своему направлению, – одна строго католическая, другая строго протестантская, но пришедших почти к одинаковым результатам вследствие общего их фанатизма. Таким образом, эти 2 тома могут быть только рассматриваемы как введение в громадный труд, написанное с целью не только объяснить новый опытный и физиологический метод, но и применить его к частным вопросам. Метод Бокля в своем основании не нов и составляет только определенное и ясное развитие общих идей Бэкона, какого и можно было ожидать в XIX в. при громадных успехах, сделанных другими вспомогательными науками истории. Необыкновенная начитанность Бокля позволила ему всесторонне обследовать каждый частный вопрос, а его светлый и гениальный ум предохранил его от тех преувеличений и легких выводов, которые, при принятом им физиологическом методе, представляют столько опасности для всякого посредственного ума. Метод Бокля прост, ясен, общедоступен, а потому подвержен наибольшим злоупотреблениям. По-видимому, на основании этого метода нужно всегда говорить настолько, насколько видишь, то есть всему предпосылать опыт; но в этом-то и состоит вся бесконечная трудность физиологического метода: нет ничего проще для посредственного ума, как принять свое первое наблюдение, сделанное иногда без всяких условий критики, за основание для дальнейших выводов, и считать свои выводы добытыми физиологическим путем. В таком опытном приеме будет больше метафизики, чем во всей метафизике вместе взятой. Точный опыт есть самый тяжелый труд, в котором человек осужден сомневаться в своих силах до тех пор, пока для сомнения не останется причин.

Самые обширные выводы относительно деятельности людей, неопровержимые истины, которые признаются такими одинаково всеми сторонами, заимствованы именно из этих или подобных им источников; они опираются на статистические данные и выражаются языком математики. Всякий, кто только знает, как много сделано открытий одним этим путем, должен не только признать единообразие, с которым следуют одно за другим явления духовной природы, но и питать надежду, что нам предстоят еще более важные открытия, как скоро будут употреблены в дело те новые действительные средства, которые появляются в изобилии даже при нынешнем состоянии наших знаний. Но здесь дело идет, конечно, только о доказательствах существования единообразия в делах человеческих, которое впервые было подмечено статистиками.

Действия людей разделяются легко и естественно на два класса: на добрые и порочные; так как эти два класса находятся во взаимной связи между собой и, взятые вместе, составляют весь итог нашей нравственной деятельности, то отсюда следует, что увеличение одного класса влечет за собой соответственное уменьшение другого. Таким образом, если нам удастся в какой-нибудь период времени заметить единообразие и некоторую последовательность в проявлении пороков какого-нибудь народа, то должна существовать соответствующая тому правильность в проявлении его добродетелей; или, если бы мы могли доказать правильность в проявлении его добродетелей, то мы с уверенностью могли бы заключить о такой же правильности и в проявлении его пороков; ибо эти две категории действий, согласно нашему подразделению их, служат дополнением одна другой. Выражаясь яснее, мы должны сказать, что если бы можно было подтвердить, что дурные действия людей видоизменяются согласно переменам окружающего их общества, то мы тогда имели бы право отсюда вывести, что и хорошие действия их, составляющие как бы остаток за вычетом дурных, видоизменяются таким же образом: итак, мы придем далее к тому заключению, что эти изменения составляют результат широко распространенных общих причин, которые своим влиянием на все общество должны произвести известные последствия, невзирая на волю отдельных людей, составляющих общество.

Такой-то именно правильности мы и ожидаем в действиях людей, если только эти действия зависят от состояния общества, среди которого они совершаются; если же, напротив, мы не будем в состоянии найти такой правильности, то мы должны верить, что действия людей зависят от какого-то произвольного, личного принципа, усвоенного каждым человеком для себя в виде свободы, воли или чего-то подобного. Потому для нас в высшей степени важно удостовериться в том, существует ли, или не существует правильность во всей нравственной деятельности данного общества; а это и есть именно один из тех вопросов, для разрешения которых статистики дают нам драгоценный материал.

Из главной задачи законодательной власти – ограждения невинного от виновного – естественно следует, что европейские правительства, убедившись раз в важности статистики, стали собирать данные относительно тех преступлений, которым угрожало известное наказание. Сведения эти все более накоплялись, и в настоящее время составили сами по себе обширную отрасль литературы, которая, вместе с необходимыми объяснениями, содержит огромную массу фактов, столь тщательно собранных и так хорошо и наглядно приведенных в порядок, что из них можно более узнать о нравственной природе человека, чем из всей совокупности опытов предшествовавших веков. Но так как в настоящем случае я не могу даже и приблизительно представить вполне выводы, которые мы вправе были бы сделать при настоящем состоянии статистики, то я ограничусь разбором двух или трех важнейших из них и указанием находящейся между ними связи.

Можно было бы предположить, что из всех преступлений самое произвольное и страшное есть убийство. Ибо если мы примем в соображение, что это преступление, хотя оно и составляет, так сказать, венец долгого преступного образа жизни, однако бывает часто непосредственным результатом, по-видимому, внезапного побуждения;

что предумышленное убийство, для того чтобы иметь хотя бы малейшую надежду на безнаказанность, требует редкого стечения благоприятных обстоятельств, которого преступнику часто приходится долго выжидать; что таким образом преступник должен дождаться времени и высматривать удобный случай, от него не зависящий; что в решительную минуту ему может недостать духа исполнить задуманное; что вопрос, совершить ли ему преступление или нет, может часто затрудниться равновесием противоборствующих побуждений, как то: боязни закона, страха наказаний, которыми угрожает религия, голоса собственной совести или опасения угрызений ее после совершения преступления, ревности, жажды мщения, отчаяния. Если же возьмем все это вместе, то тут выйдет такое сплетение причин, что мы вправе усомниться в возможности открыть какой-либо порядок или метод в проявлении тех тонких и неуловимых побуждений, от которых зависит совершение убийства или воздержание от него. Но как это бывает на самом деле? Опыт показывает, что убийства совершаются с такой же правильностью и находятся в таком же постоянном отношении к известным обстоятельствам, как и движение морских приливов и отливов, или смена времен года. Г. Кетле (Quetelet), посвятивший всю жизнь свою собиранию и приведению в систему статистических сведений о различных странах, представляет, как результат своих трудолюбивых изысканий, следующий вывод: «Касательно преступлений одни и те же числа повторяются с таким постоянством, что его нельзя не заметить; то же бывает и с такими преступлениями, которые, по-видимому, вовсе не зависят от человеческого расчета, как, например, убийства, которые совершаются обыкновенно после ссор, возникающих из обстоятельств, по-видимому, случайных. Однако мы знаем из опыта, что не только ежегодно совершается почти одно и то же число убийств, но что и сами орудия, служащие для совершения их, употребляются в тех же пропорциях[1]». Так говорил в 1835 году, бесспорно, первый статистик в Европе, и каждое последующее изыскание подтверждало справедливость его слов. Позднейшие исследования обнаружили тот необыкновенный факт, что равномерное повторение преступлений может быть указано яснее и предусмотрено легче, чем физические законы, от которых зависят болезнь и разложение нашего тела. Так, например, число лиц, обвиненных в преступлениях во Франции между 1826 и 1844 гг., по странному совпадению равнялось числу умерших мужского пола в Париже в течение того же периода времени, с той только разницей, что колебания в итоге преступлений были менее значительны, чем колебания в смертности; в то же время замечена подобная же правильность по каждому из преступлений; каждое следовало одному и тому же закону равномерного, периодического повторения.

Это в самом деле покажется странным для тех, кто полагает, что действия человеческие зависят более от свойств каждого лица, чем от состояния всего общества. Но есть и другое обстоятельство, еще более поразительное. Между официально заявленными преступлениями нет ни одного, которое казалось бы более зависящим от личности, как самоубийство. Покушения на убийство и грабеж могут быть предупреждены и постоянно бывают с успехом останавливаемы иногда сопротивлением самих лиц, подвергающихся нападению, иногда же блюстителями порядка. Покушения же на самоубийство гораздо труднее предупредить. Человек, решившийся убить себя, не встречает в последнюю минуту сопротивления борющегося противника; а так как ему легко уберечься и от вмешательства власти, то действие его становится как бы изолированным; оно устранено от внешних помех и представляется результатом собственной решимости, несравненно с большей очевидностью, чем всякое другое преступление. К тому же, оно редко совершается по внушению сообщников, как то бывает при других преступлениях; и влияние многочисленных внешних случайностей, стесняющих свободу воли, здесь не имеет места, поэтому-то может весьма естественно

[1] Quetelet. Sur l'homme. Par. 1835, vol. I, p. 7 и II. 164, 247.

показаться невозможным подвести самоубийство под общие правила или открыть какую-либо равномерность в преступлении, которое так эксцентрично, так изолировано, так малодоступно законодательной власти, и которое не может быть предупреждено даже самой бдительной полицией. Затем нашим наблюдениям над случаями самоубийства мешает еще другое обстоятельство, а именно то, что и самые лучшие улики самоубийства всегда бывают далеко несовершенны. Так, в случаях утопления ненамеренная смерть легко может быть принята за самоубийство и наоборот. Таким образом, самоубийство представляется чем-то не только произвольным и неуловимым, но и весьма трудным в отношении доказательства; и по всем этим причинам позволительно было бы отчаяться в возможности подвести его под те общие начала, от которых оно может находиться в зависимости.

При таких особенностях этого странного преступления представляется, конечно, весьма удивительным тот факт, что все данные, какие мы имеем о нем, приводят к одному важному заключению и не оставляют в нас ни малейшего сомнения, что самоубийство есть не более, чем продукт известного состояния всего общества, и что каждый отдельный преступник осуществляет только то, что составляет необходимое последствие предшествовавших обстоятельств. При известном состоянии общества, известное число лиц лишают себя жизни. Это общий закон; частный же вопрос о том, кому именно суждено совершить это преступление, зависит, конечно, от частных законов, которые, однако, в совокупном своем действии должны следовать общему закону, которому все они подчинены. А сила главного закона так непреодолима, что ни привязанность к земной жизни, ни опасения в жизни загробной не в силах оказать и малейшего влияния на его действие. Причины этой замечательной правильности я рассмотрю особо, существование же ее хорошо известно всякому, кто знаком с нравственной статистикой. В различных странах, о которых мы имеем сведения, мы находим год за годом одну и ту же пропорцию лиц, добровольно лишающих себя жизни; и если примем в расчет невозможность собрать полные данные по этому предмету, то, не выходя из пределов самых ничтожных погрешностей, мы в состоянии предсказать число добровольных смертей для каждого последующего периода времени, предположив, конечно, что состояние общества не подвергнется в это время значительному изменению. Даже в Лондоне, несмотря на случайности, неизбежные в обширнейшей и роскошнейшей столице в мире, мы находим в этом отношении такую правильность, которой не мог бы ожидать и самый ревностный поклонник социальных законов; ибо политические волнения, движение меркантильное и бедствия, происходящие от дороговизны жизненных припасов, – все это причины самоубийства, постоянно изменяющиеся. Тем не менее в этой обширной столице ежегодно около 240 человек лишают себя жизни, причем годичное число самоубийств колеблется, под влиянием временных причин, между maximum 266 и minimum 213. В 1846 г., в год великого волнения, произведенного железными дорогами (railway panic), самоубийств в Лондоне было 266; в 1847 г. произошло незначительное улучшение, и число это понизилось до 256; в 1848 г. их было 247, в 1849-м – 213, а в 1850-м – 229.

Вот некоторые, и только некоторые, из тех доказательств, которые мы имеем в настоящее время, в пользу правильности, с какой при одинаковом состоянии общества необходимо повторяются те же преступления. Чтобы оценить все значение этих доказательств, мы должны припомнить, что это не произвольный набор частных фактов, а общие выводы из обильных показаний уголовной статистики, сложившейся из многих миллионов наблюдений, и распространяющейся на страны, стоящие на различных степенях цивилизации, имеющие различные законы, мнения, нравы и обычаи. Если мы прибавим, что эти статистические сведения собраны лицами, специально назначенными для этой цели, обладавшими всеми средствами для достижения истины и не имевшими никакого интереса в ложном представлении фактов, то нужно, конечно, допустить, что подчинение преступлений твердой и однообразной норме есть факт, доказанный очевиднее всякого другого факта в нравственной истории человека. Мы

имеем длинные ряды доказательств, составленные с величайшим тщанием и при самых разнообразных обстоятельствах, и все они указывают в одном и том же направлении, все они ведут нас к тому заключению, что проступки людей происходят не столько от пороков отдельных преступников, сколько от состояния общества, в которое эти лица брошены. Заключение это опирается на многочисленные факты и доводы, доступные для всех, и поэтому не может быть опровергнуто, ни даже подвергнуто сомнению со стороны той или другой гипотезы, которыми метафизики и теологи запутывали до сих пор изучение истории.

Те из читателей, которые знают, как законы физической природы постоянно встречают препятствия в своих действиях, без сомнения, ожидают встретить такие же препятствия и в мире нравственном. Как в той, так и в другой сфере подобные уклонения происходят от второстепенных законов, которые в известных пунктах встречаются с главными и нарушают таким образом их нормальную деятельность. Хороший пример этого представляет механика в своей теореме, называемой параллелограммом сил, по которой силы относятся между собой, как диагонали их параллелограммов. Закон этот богат последствиями; он находится в связи с важнейшими вспомогательными средствами механики, с сочетанием и разложением сил; знакомый с доказательствами этого закона не усомнится в его справедливости. Но когда мы применяем этот закон на практике, то замечаем, что действие его нарушается влиянием других законов, например законом сопротивления воздуха и различной плотности тел, смотря по их химическому составу или, как полагают иные, по расположению их атомов. Под влиянием этих препятствий исчезает чистое и простое действие закона механики. Однако же сам закон, несмотря на беспрерывное нарушение его действия, все же остается неоспоримым. Так точно и тот великий общественный закон, что нравственные действия людей есть следствия не их воли, а предшествовавших причин, также подвержен нарушениям, которые изменяют его действия, но не вредят его справедливости. Этого совершенно достаточно для объяснения тех незначительных изменений, которые мы находим по годам в общем итоге преступлений, совершаемых в одной и той же стране. Действительно, имея в виду то обстоятельство, что мир нравственный гораздо изобильнее материалами, чем мир физический, можно удивляться разве только тому, что изменения эти не довольно значительны; из того же, что они так ничтожны, мы можем составить себе некоторое понятие о дивной силе, с какой эти многообъемлющие общественные законы, несмотря на постоянные помехи в их действии, торжествуют, по-видимому, над всеми препятствиями, и, при проверке в числах больших размеров, почти не обнаруживают никаких заметных уклонений.

И не одни только преступления отличаются такой равномерностью и последовательностью. Даже число ежегодно заключаемых браков зависит не только от согласия и наклонностей отдельных лиц, но и от великих, общих событий, на которые лица эти не могут иметь никакого влияния. Теперь уже выяснено, что браки имеют постоянное и определенное отношение к цене на хлеб; в Англии же опыт целого столетия доказал, что браки зависят не столько от личных чувств, сколько просто от средней величины задельной платы для массы народа; так что это важное общественное и религиозное учреждение находится не только в связи с ценами на хлеб и размером задельной платы, но и в полной от них зависимости. В других случаях жизни открыта такая же равномерность, но остаются еще неизвестными ее причины. В качестве отдельного замечательного примера мы в настоящее время можем указать на то, что даже ошибки памяти носят на себе тот же самый общий отпечаток необходимого и неизменного порядка. Почтовые конторы в Лондоне и Париже обнародовали недавно сведения о числе писем, на которых по забывчивости писавших их не были обозначены адреса; и если принять в расчет разницу, причиняемую случайными обстоятельствами, то все же оказывается, что каждый год как бы повторяются одни и те же цифры. Ежегодно одно и то же число лиц, пишущих письма, забывают соблюсти эту простую формальность, так что для каждо-

го последующего периода времени мы теперь действительно можем предсказать, у какого числа лиц память откажется служить при этом ничтожном и по-видимому нечаянном случае. Кто спокойно наблюдает за такой правильностью явлений, кто твердо усвоил себе ту великую истину, что действия людей, под влиянием предшествовавших им причин, в действительности всегда строго последовательны, и при всей кажущейся произвольности своей составляют не более как часть одной обширной системы всеобщего порядка, который при настоящем состоянии наших знаний мы не можем представить только в одном лишь очерке; кто понимает эту истину и через то владеет ключом и основой истории, того приведенные нами выше факты так мало удивят, что они представятся ему самым обыкновенным явлением, которого следовало ожидать и которое давно уже должно было быть известно. Да, успехи исследований становятся до того поразительными и серьезными, что я почти не сомневаюсь, что не пройдет столетия, и ряд доказательств пополнится, так что будет даже трудно найти историка, отрицающего действие определенных законов в мире нравственном, как теперь трудно найти философа, отвергающего закономерность в мире материальном.

Приведенные нами доказательства последовательности наших действий, основанной на законах, извлечены из статистики той отрасли знания, которая, несмотря на то, что сама находится еще в младенчестве, успела уже пролить более света на изучение человеческой природы, чем все науки, взятые вместе. Но хотя статистики первые стали исследовать этот важный предмет этим методом, который оказался столь успешным в других науках, и хотя они из своих чисел сделали весьма сильное орудие для раскрытия истины, мы не должны, однако, полагать, что нет кроме того никаких других вспомогательных средств для разработки того же самого предмета, и не должны заключать отсюда, что если методы естествознания не были до сих пор применены к истории, то они в самом деле неприменимы к ней. Действительно, ввиду беспрестанных столкновений человека с внешним миром, мы не можем не дойти до убеждения в том, что должна существовать связь между деяниями человеческими и законами природы, и что если естествознание еще не было применено к истории, то это или потому, что историки не заметили этой связи, или если они и заметили ее, то не имели достаточных познаний, чтобы доказать ее влияние. Отсюда произошло неестественное разъединение этих двух великих отраслей знания – разъединение изучения внутреннего мира от изучения внешнего; и хотя в настоящее время европейская литература обнаруживает некоторые несомненные признаки желания прорвать эту искусственную преграду, но все же нужно сознаться, что до сих пор еще не было сделано ничего существенного для достижения этой великой цели. Моралисты, теологи и метафизики продолжают свои исследования, обращая мало внимания на труды ученых, предмет исследования которых они относят к низшему разряду; часто они даже нападают на их исследования, как на что-то будто бы враждебное успехам религии и внушающее нам слишком большое доверие к человеческому разуму. С другой стороны, натуралисты, сознавая свои успехи, естественно гордятся ими; они ставят свои открытия рядом со сравнительным застоем своих противников и проникаются презрением к тем занятиям, бесплодность которых теперь всеми признана.

Историк должен стать посредником между этими двумя сторонами и примирить их враждебные притязания, указав пункт, на котором их изучения должны соединяться. Установить условия этого соединения – значит положить основание всякому историческому исследованию. Так как история занимается деяниями людей, а деяния эти есть не что иное, как результат столкновения между явлениями внешнего и внутреннего миров, то необходимо испытать относительную важность этих явлений, исследовать, до какой степени известны их законы, и отыскать вспомогательные средства для будущих открытий, находящиеся в распоряжении этих двух главных классов ученых: естествоиспытателей и исследователей человеческого духа.

Hist. of the civilization in England.
Lond. 1858, t. I, отд. I.

Ф. Гизо

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ, РАЗЛИЧНЫЙ ЕЕ ХАРАКТЕР ПО СОВРЕМЕННЫМ НАРОДНОСТЯМ

Цивилизация, по общему мнению, состоит в основном из двух явлений: развития социального порядка и интеллектуального; развития как внешних и общих условий жизни, так и внутренней и личной природы человека; одним словом, из усовершенствования общественности и человечности. И не только эти два явления просто составляют цивилизацию, но их смежность, тесное и быстрое слияние, их взаимодействие – вот что необходимо для совершенства в цивилизации. Если эти два явления и не всегда происходят одновременно, если иногда развитие общества, а иногда развитие человека идут быстрее и дальше, но тем не менее они необходимы друг для друга и рано или поздно взаимно стремятся и приходят одно к другому. Когда они долго идут раздельно, когда приходится долго ждать их соединения, людьми овладевает мучительное чувство чего-то пустого, неполного, чувство сожаления. Явится ли у какого-либо народа важное общественное улучшение, важный прогресс материального благосостояния, но не сопровождаемый развитием интеллектуальным, соответственным тому прогрессом духа, и самое общественное улучшение кажется тогда непрочным, необъяснимым, почти незаконным. Тогда возникает вопрос: какие общие идеи произвели это материальное улучшение и оправдывают его, каковы его истоки? Все уверены, что оно не должно ограничиваться несколькими поколениями, известной местностью, что оно сообщается, распространяется, делается достоянием всех народов. Но каким же образом материальное улучшение может сообщаться, распространяться, если не с помощью идей, не на крыльях науки? Только идеи смеются над пространством, переходят моря, всюду постигаются и принимаются. Впрочем, такова уж возвышенная природа человека, что он не может видеть великого развития материальной силы, не стремясь вместе с тем к нравственной силе, которая должна соединиться с первой и господствовать над ней; общественное благосостояние отзывается чем-то мелочным, пока оно не приносит иных плодов, кроме самого благосостояния, пока оно не возвышает духа человека до уровня его материального положения. С другой стороны, если проявится в истории какого-нибудь общества высшее развитие ума, не соединенное, по-видимому, ни с каким общественным прогрессом, то удивляешься, боишься за это общество. Как будто видишь прекрасное дерево, не дающее плодов,– солнце, которое не греет, не оплодотворяет. К таким бесплодным идеям, которые не имеют силы овладеть внешним миром, не только чувствуешь презрение, но кончаешь тем, что сомневаешься в их разумной законности и истине; невольно считаешь их призрачными, т. к. они являются бессильными и не могут управлять материальным бытом человека. Так сильно в человеке убеждение, что он здесь, на земле, предназначен переводить идеи в действительность, преобразовывать, управлять миром в духе истины, как она им постигнута; насколько оба великие явления цивилизации, интеллектуальное и общественное развитие, тесно связаны между собой, настолько справедливо и то, что совершенство цивилизации заключается не только в их соединении, но и в их совместимости, равномерности, в той легкости и быстроте, с которой они взаимно вызывают и производят друг друга.

Теперь попытаемся обозреть с этой точки зрения различные страны Европы. Исследуем особенные отличительные черты цивилизации каждой из них и посмотрим, до какой степени эти черты совпадают с существенным, основным, великим явлением, в котором мы теперь видим совершенство цивилизации. Мы разрешим этим путем вопрос, какая из различных европейских цивилизаций полнее всех других, наиболее соответствует типу цивилизации вообще,

следовательно, какая из них имеет преимущественное право на наше изучение и лучше других изображает историю Европы в ее всецелости.

Начинаю с Англии. Английская цивилизация была главным образом направлена к социальному усовершенствованию, к улучшению внешнего и общественного положения людей, к улучшению не только материального, но и морального быта, к введению как наибольшей справедливости в обществе, так и наибольшего благосостояния, к развитию как права, так и благоденствия. Однако все же в Англии материальные интересы, общественные явления занимали больше места, оказывали большее влияние, чем общие идеи; нация представляла больше величия, чем индивидуальный человек. Это так справедливо, что сами философы из Англии, которые, как кажется, по призванию посвятили себя развитию чистого мышления, Бэкон, Локк, вся шотландская школа принадлежит к тому отделу философов, который можно назвать практическим; они в особенности заботятся о непосредственных и положительных результатах; они не доверяют ни порывам воображения, ни логическим выводам: они обладают гением здравого смысла. Я обращаю взгляд на время наибольшей умственной деятельности Англии, на эпохи, в которые идеи, умственное движение занимали, по-видимому, самое важное место в ее истории; я беру политический и религиозный кризис в XVI и XVII в. Всякий знает, какое изумительное движение овладело тогда Англией. Но кто может указать, какую важную философскую систему, какие великие общие положения, и которые сделались бы в то же время всеевропейскими, породило это движение? Оно имело огромные, изумительные результаты; оно положило основу и новым правам, и новым нравам; оно могущественно подействовало не только на общественные отношения, но и на душу; оно произвело сектаторов, энтузиастов; но оно нисколько не возвысило, не расширило, по крайней мере непосредственно, горизонт человеческого духа; оно не зажгло ни одного из тех великих умственных светочей, которые озаряют целую эпоху. Может быть, ни в какой стране религиозные верования не имели, и теперь еще не имеют, больше власти, чем в Англии; но там и они прежде всего практичны; они оказывают огромное влияние на образ действий, благосостояние, чувствования отдельных лиц; но они представляют весьма мало общих и отвлеченных результатов, которые относились бы к целостности человеческого познания. С какой точки зрения вы ни рассматривали бы эту цивилизацию, вы нашли бы в ней повсюду тот же сущностно-практический социальный характер. Я мог бы обозреть все частности английского общества, и меня везде поразило бы то же самое явление. Например, в литературе господствует там и до сих пор заслуга практическая. Всякий скажет, что англичане не слишком искусны в литературной композиции, в умении рационально и вместе с тем художественно распределить части сочинения, выполнить его так, чтобы воображение читателя поражалось тем совершенством искусства формы, которое преимущественно стремится удовлетворить разум. Это чисто интеллектуальная сторона произведений ума составляет слабую сторону английских писателей, но зато они отличаются в умении убеждать ясностью изложения, частым обращением к одним и тем же идеям, очевидностью здравого смысла, и употребляют, наконец, все средства только для того, чтобы привести читателя к практическим результатам. Тем же характером запечатлевается и сам язык англичан: это вовсе не систематический, правильный, рационально построенный язык; он заимствует слова отовсюду, из самых разнородных источников, не заботясь о симметрии и гармонии; в нем очевиден существенный недостаток в том изяществе, в той логической красоте, которая блестит в греческом и латинском языках; он имеет какую-то пеструю и грубую наружность; но он богат, гибок, готов на все, способен удовлетворить вполне потребностям человека, в материальных вопросах его жизни. В Англии начало пользы, приложения господствует всюду, составляет как внешнюю сторону, так и саму силу ее цивилизации.

От Англии я перехожу к Германии; в ней развитие цивилизации было медленное, позднее; в течение многих веков грубость германских нравов была пословицей в Европе. Однако, исследуя под такой грубой наружностью сравнительный ход обоих основных элементов цивилизации, находишь, что интеллектуальное развитие в Германии постоянно обгоняло и превосходило социальное, что там быт интеллектуальный преуспевал преимущественно перед бытом материальным. Сравните, в XVI в., интеллектуальное развитие в лице германских реформаторов, в Лютере, Меланхтоне, Бусере[1] и многих других, – сравните, говорю я, развитие разума, обнаруживающееся в их произведениях, с современными нравами страны и с их собственными нравами: какое различие! В XVII в. сопоставьте идеи Лейбница, труды его учеников и германских университетов с нравами, господствовавшими не только в народе, но и в высших классах: прочтите, с одной стороны, произведения философов, с другой – записки, рисующие двор курфюрстов бранденбургского или баварского: какая противоположность! Переходя к новому времени, мы еще более будем поражены этим контрастом: в настоящее время утверждать, что по ту сторону Рейна идеи и факты, интеллектуальный и действительный порядок, почти совершенно отделены друг от друга,– значило бы высказать общее место. Всякий знает, какова была в Германии умственная деятельность последних 50 лет; она продвинулась далеко вперед во всех родах – в философии, в истории, литературе, поэзии; можно сказать, что она не всегда следовала лучшими путями; можно оспаривать некоторые из результатов, которых она достигла; но что касается энергии, обширности самого развития, то оспаривать того невозможно. Однако общественный быт, быт публичный, развивался там не с одинаковой быстротой. Без сомнения, и в этом отношении был прогресс и усовершенствования; но нет никакого сравнения между обоими явлениями. Поэтому в Германии особенный характер всех произведений ума, поэзии, философии, истории состоит в недостатке знакомства с внешним миром, в отсутствии чувства реальности: читая их, сознаешь, что жизнь и факты оказывали на этих людей мало влияния, не занимали преимущественно их воображения; они жили, углубленные в самих себя, со своими идеями, попеременно, то энтузиасты, то строгие логики. Как в Англии всюду проявляется практический гений, так интеллектуальная деятельность часто составляет господствующую черту германской цивилизации.

В Италии мы не найдем ни того, ни другого характера; итальянская цивилизация не была ни по преимуществу практическая, как английская, ни почти исключительно умозрительная, как германская. В Италии не было недостатка ни в высшем развитии индивидуального ума, ни в навыке и деятельности общественной жизни; человек и общество развивались в ней с одинаковым блеском; итальянцы блистали, отличались и в чистых науках, в искусствах и философии, равно как и в практической деятельности и в жизни. Правда, уже с давнего времени Италия, кажется, остановилась в отношении того и другого развития; в ней, по-видимому, ослабли и парализовались как общество, так и индивидуальный ум; но, всматриваясь в нее ближе, чувствуешь, что это нисколько не вследствие внутренней и национальной ее неспособности. Внешние обстоятельства тяготят и задерживают Италию: она подобна прекрасному цветку, который готов распуститься, но который отовсюду сдавлен холодной и грубой рукой. В Италии не погибли ни интеллектуальная, ни политическая способности; ей недостает того, чего ей недоставало постоянно, но что всюду составляет одно из жизненных условий цивилизации: ей недостает веры, веры в истину. Мне хотелось бы быть точно понятым, хотелось бы, чтобы словам, употребляемым мной, приписывали только тот смысл, который я сам им придаю. В этом случае под словом «вера» я понимаю то доверие к истине, которое не ограничивается одним признанием ее таковой и удовлетворительностью ее для разума, но дает

[1] Настоящая фамилия Бусера была Kuhorn, а Меланхтона – Schwarzerde.

уверенность в праве царствовать над миром, управлять событиями, и в могуществе истины, достаточном для успеха в том. При такой уверенности, если только человек успел овладеть истиной, он вместе с тем сознает свое призвание перевести ее во внешние события, преобразовать и устроить их по началам разума. Но именно этой-то веры почти всегда недоставало Италии; она всегда изобиловала великими умами, общими идеями; в то же самое время она представляла людей с редкой практической ловкостью, опытных в понимании всех условий внешней жизни, в искусстве руководить и направлять общество; но эти два рода людей и явлений оставались чужды друг другу. Люди, проникнутые общими идеями, спекулятивные умы, вовсе не считали своим назначением ни, может быть, правом действовать на общество; даже веруя в истинность своих начал, они сомневались в их силе. С другой стороны, практические люди, руководители общества, почти ни во что не ставили общие идеи; они почти никогда не чувствовали в себе влечения расположить подчиненные их власти явления по известным началам. И те и другие действовали так, как будто бы истина годится только как предмет знания и ничего не требует, ни к чему не обязывает. В этом состоит слабая сторона итальянской цивилизации как в XV, так и в следующих столетиях. Это-то и поразило как ее умозрительный дух, так и ее практический навык в жизни какой-то бесплодностью: в ней обе силы вовсе не жили во взаимном доверии, согласии, в постоянном взаимодействии.

Есть другая обширная страна, о которой, правду сказать, я упоминаю скорее по вниманию, уважению к благородному и несчастному народу, чем по необходимости; я говорю об Испании. В Испании не было недостатка ни в великих умах, ни в великих событиях; иногда интеллектуальное развитие общества являлось там во всем своем блеске; но эти явления изолированы и разбросаны там и сям в истории Испании, как пальмы в песчаной пустыне. В Испании, кажется, и человеческому уму, и обществу было отказано в основном характере цивилизации, в общем, непрерывном прогрессе. Там – или торжественная неподвижность, или бесплодные перевороты. Отыщите какую-либо важную идею, или важное общественное улучшение, философскую систему, или благотворительное учреждение, которое Европа получила бы от Испании; нет ничего подобного: этот народ был изолирован в Европе; он мало получил от нее и мало дал ей. Не упомянув имени Испании, я упрекал бы себя, но ее цивилизация имеет мало значения в истории цивилизации европейской.

Вы видите, что основной, заключительный акт цивилизации, который состоит вообще в тесном и быстром соединении, гармоническом развитии идей и внешних явлений интеллектуального и вещественного мира, не воспроизводится ни в одной из четырех великих стран, рассмотренных нами. В деле цивилизации им всем недостает чего-нибудь существенного; ни одна из них во всех своих положениях, во всех своих отличительных чертах не представляет сколько-нибудь полного ее изображения, чистого типа.

Совершенно другое, я полагаю, представит нам Франция. Во Франции никогда общественное и интеллектуальное развитие не отставали друг от друга. В ней всегда человек и общество шли и росли, не скажу, рядом и в одинаковой степени, но, во всяком случае, на весьма незначительном расстоянии друг от друга. В нашей истории постоянно видишь вместе с великими событиями, общественными переворотами и улучшениями соответствующие им общие идеи и начала. Ничто не произошло в действительном мире, чтобы тотчас же не было воспринято разумом, и из чего бы он не извлек для себя новых богатств; и с другой стороны, ничего не явилось в области разума, что почти с одинаковой быстротой не отозвалось бы и не принесло бы своих результатов в действительном мире. Вообще во Франции идеи предшествовали и вызывали успехи общественного мира; прежде чем они осуществлялись вне, они подготовлялись в теориях, и разум шел вперед на пути цивилизации. Этим двойным характером интеллектуальной деятельности и практического навыка, размышления и приложения, запечатлены все важнейшие события француз-

ской истории, все классы французского общества: он сообщает им особенную физиономию, которая нигде более не встречается. В начале XII в., например, проявляются движения к эмансипации городских общин; конечно, это – великий прогресс в общественной жизни; но в то же время обнаруживается и живое стремление в эмансипации мысли; Абеллар был современником граждан городов Лана и Везеле. Первая сильная борьба свободных мыслителей против безусловной власти в интеллектуальном мире современна борьбе горожан за политическую свободу. Строго говоря, оба движения, по-видимому, были совершенно чужды друг другу; мыслители были даже весьма дурного мнения о восстававших горожанах, которых они считали варварами; и горожане, слушая их, в свою очередь смотрели на них как на еретиков. Но тем не менее двойственный прогресс совершился единовременно. Оставим XII в. и обратимся к одному из учреждений, которое играло самую важную роль в умственной истории Франции: я имею в виду Парижский университет. Всякий знает, каковы были его научные труды, начиная с XIII в. Это было первое европейское учреждение в этом роде; и в то же время ни одно другое не имело столь важного политического значения и такой широкой деятельности. Парижский университет принимал участие в политике королей, в каждой борьбе французского духовенства с римским двором, духовенства со светской властью; в его среде развивались идеи, устанавливались начала, и он старался почти тотчас же перевести их во внешний порядок вещей. Таковы были основы Парижского университета, которые служили знаменем при попытках констанцского и базельского соборов; они же породили и поддержали практическую санкцию Карла VII. В течение многих веков интеллектуальная деятельность и практическое влияние были неразделны в этой великой школе. Перейдем к XVI в.; бросим беглый взгляд на историю реформации во Франции; и ее отличает то, что она была более учена, или, по крайней мере, столь же учена, и вместе с тем более умеренна, рациональна, чем где-либо. Французской реформацией поддерживалась главная борьба учености и науки против Католической церкви; именно во Франции или в Голландии, но всегда на французском языке, писалось множество философских, исторических, полемических произведений, явившихся на помощь этому делу; без сомнения, в ту эпоху ни Германия, ни Англия не обнаружили больше ума и знания; и в то же время французская реформация осталась чуждой заблуждений немецких перекрещенцев и английских сектаторов; в ней нередко недоставало практической мудрости, и между тем нельзя сомневаться в энергии и чистосердечии ее верований, ибо она долго сопротивлялась самым тяжким ударам. В новейшие времена, в XVII и XVIII вв., тесное и быстрое соединение идей и явлений, соответственное развитие общества и человека так очевидны, что даже не стоило бы долго настаивать на том.

Итак, вот четыре или пять важных эпох, важных событий, в которых запечатлелся особенный характер французской цивилизации. Возьмем различные классы нашего общества; всмотримся в их нравы и обычаи: нас поразит то же самое явление. Французское духовенство, например, вместе и учено, и деятельно: оно принимает участие во всех интеллектуальных трудах и во всех делах мира. Оно и мыслитель, и ученый, и администратор; оно не посвящает себя, так сказать, исключительно ни религии, ни науке, ни политике, но постоянно стремится слить их в одно, согласить их. Французские философы представляют также редкое соединение умозрительной деятельности и практического ума; они мыслят глубоко и смело; они ищут отвлеченную истину, без всякой цели применения; но они постоянно сохраняют сознание внешнего мира, явлений, среди которых живут; они поднимаются весьма высоко, но не теряяя из виду земли. Нельзя назвать Монтеня, Декарта, Паскаля, Бейля и почти всех других великих философов Франции ни строгими логиками, ни энтузиастами. Один красноречивый профессор[1] справедливо характеризовал гений Декарта: «Будучи человеком в одно и то же время светским и ученым, прямым, твердым, решительным, отважным,

[1] Кузен, проф. философии в Сорбонне того времени.

Декарт мыслил в своем кабинете с той же неустрашимостью, с какой сражался под стенами Периге»; он одинаково любил как житейские треволнения, так и деятельность мысли. Не все наши философы обладали гением Декарта, и жизнь не всех их представляет столько приключений, как его жизнь; но почти все они в одно и то же время и исследовали истину, и были близки к интересам светской жизни; умели и наблюдать, и размышлять. Наконец, какая черта во французской истории особенно характеризует единственный класс людей, игравших истинно общественную роль, единственный класс, пытавшийся приблизить страну к ее правительству, дать стране правительство в духе законности; какая черта характеризует именно французскую магистратуру и судейское сословие, парламенты и все, что их окружало? Не везде ли мы видим то же соединение учености и практической мудрости, уважение к идеям и фактам, науке и ее применениям? На всех поприщах, где только действует чистый разум, в деле учености, в философии, литературе и истории, всюду вы встретите людей, принадлежащих к французскому парламенту и судейскому сословию; и в то же время эти люди принимали участие во всех общественных и частных делах: они входили во все материальные и духовные интересы общества.

С какой бы стороны мы ни рассматривали французское общество, мы всюду встретим тот двойственный характер: оба существенные явления цивилизации развились в ней в тесном согласии: в ней всегда человек мог достигать индивидуального величия, и оно в то же время не оставалось без последствий и общественной пользы.

Ист. цив. во Фр. I, 5–17.

Г. Т. Бокль

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ И О СОСТОЯНИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА

Европейская образованность обязана своим расширением успеху наук, а успех последних зависит от количества истин, открываемых человеческим духом, и от степени их распространения в массах. Для доказательства справедливости такого положения необходимо обратиться к судьбам исторической науки, понимаемой в широком ее смысле. Исследование общего прогресса человечества тесно связано с исследованием прогресса истории как науки. Последнее проливает свет на успехи развития человеческих обществ, потому что всегда находится тесная связь между теми воззрениями и понятиями, которые составляются людьми об их прошлом, и теми воззрениями и понятиями, которыми они охватывают свое настоящее; все эти воззрения, в сущности, есть не что иное, как различные формы одного и того же способа мыслить; они переносят в прошедшее современные симпатии и сочувствия. При этом всегда оказывается, что подобное исследование истории самой истории, если можно так выразиться, приводит нас к двум весьма замечательным результатам. Во-первых, в течение трех последних столетий историки обнаруживают постоянно возрастающее уважение к человеческому разуму и отвращение к бесчисленным искажениям, которыми он был прежде окован. Во-вторых, в течение того же самого периода времени начала усиливаться наклонность не обращать никакого внимания на те предметы, которые считались прежде весьма важными, и заниматься всем тем, что относится к состоянию народов и содействует распространению познаний.

В этом отношении исследование вопроса о происхождении европейской истории представляет большой интерес, потому что оно дает ключ к разрешению вопросов, которые остаются малоизвестными, и вместе с тем дает средство составить понятие о тех

великих затруднениях, с которыми пришлось иметь дело истории, прежде чем она успела достигнуть современного нам состояния, хотя и удовлетворительного отчасти, но все же еще далекого от совершенства. Материалы для изучения древнейшего быта Европы давно уже погибли, но те разнообразные сведения, которыми мы обладаем в настоящее время о варварских народах, могут служить нам неоценимым пособием, так как все эти сведения черпаются нами из источников, имеющих чрезвычайно много общего друг с другом. В самом деле, мнения крайне невежественных людей везде одни и те же, и в различных странах они видоизменяются только в соответствии с физическими природными условиями. Я потому вовсе не намерен пользоваться теми сведениями, которые были собраны новейшими путешественниками, для того чтобы по ним заключать о периоде европейской образованности, не оставившем по себе непосредственных известий. Такие заключения, весьма естественно, носят на себе умозрительный характер, а в наше время мы чувствуем себя совершенно независимыми от подобных заключений, тем более, что каждая великая европейская народность, начиная с IX в., имеет свои собственные хроники, а Франция даже с VI в. и притом в непрерывной последовательности. В настоящей статье я хочу объяснить примерами, каким образом обыкновенно писалась история лучшими европейскими авторитетами до самого XVI столетия; только в XVII и XVIII столетиях она сделала успехи, но до того времени историческая литература была не чем иным, как сплетением самых грубых заблуждений. Потому мне предстоит прежде всего объяснить главные причины того, что в течение нескольких столетий в Европе не нашлось человека, который изучил бы ее прошлое критически, или, по крайней мере, был бы в состоянии изложить с точностью события собственного времени.

В самый ранний период образованности, прежде чем народ успеет познакомиться с искусством письма, чувствуется потребность чего-то, чем можно было бы во время мира наполнить досуг и возбудить отвагу на случай войны. Эта потребность удовлетворяется появлением баллад. Они служат основой всякого исторического познания и в той или другой форме встречаются у самых грубых народов. Они обыкновенно поются известного рода людьми, которых все назначение состоит в том, чтобы таким способом сохранять запас преданий. Страсть к познанию прошлого до такой степени естественна, что мало найдется народов, которым были бы неизвестны барды или певцы. Они сохраняли те народные саги, которые создавались не только в Европе, но и в Китае, Тибете и Татарии, также в Индии, Белуджистане, на островах Черного моря, в Египте, Западной Африке, Северной и Южной Америке, на островах Тихого океана.

Во всех этих странах искусство письма было долгое время неизвестным; народ для сохранения своей истории не имел другого средства, как устное предание, и облекал его в форму, которая лучше всего приноравливалась к облегчению памяти. Зачатки всякого познания слагались всегда в форме поэзии и были рифмованные. Созвучие нравится уху варвара и вместе служит ручательством того, что детям передается предание в неизменной форме. Это стремление защитить предания от искажений увеличивает их верность и возвышает их от значения простого рассказа до юридического авторитета. Намеки, заключающиеся в них, обращались часто в удовлетворительное доказательство заслуг какой-нибудь фамилии и разрешали споры о первенстве и даже о границах земель. Потому мы часто встречаем, что те люди, которые посвящали себя воспеванию древних саг, признавались судьями в распрях, и так как они были вместе и жрецами, а следовательно, стояли во главе религии, то, вероятно, на этом было основано убеждение в божественном происхождении поэзии. Такие баллады, естественно, по нраву и характеру различных народностей и по климату, в котором они жили, были весьма различны. На Юге приняли они формы упоительные и страстные, на Севере был им придан характер трагический и кровавый; но при всем своем различии такие баллады всегда имели одну общую черту: они не только были

основаны на истине, но и были истинны до самой своей поэтической окраски. Люди, повторявшие беспрестанно народные песни и на основании их произносившие приговоры в случае распри, не могли легко допускать ошибок в вопросах, точность которых представляла для них живой интерес.

Вот древнейшая и самая простая из тех ступеней, через которые всегда и везде должна проходить история. Но с течением времени, если только не помешают неблагоприятные обстоятельства, каждое общество подвигается вперед, и искусство письма составляет важнейшее нововведение, которое может ожидать его на дальнейшем поприще; это искусство через несколько поколений производит решительный переворот в характере и в преданиях народа. В чем состоит переворот, насколько я знаю, не было до сих пор достаточно объяснено, и потому наша попытка объяснить отчасти такой вопрос не будет лишена интереса.

Первое и ближайшее последствие введения письменности состоит в том, что оно сообщает познаниям народа характер прочности и тем самым уменьшает значение устного предания, в котором заключалась вся история безграмотного народа. Таким образом, по мере развития какого-нибудь общества, влияние устных преданий уменьшается, и сами предания становятся менее достоверными. Сверх того, хранители преданий на этой степени развития общества теряют свое прежнее значение. В народе безграмотном певцы баллад являются единственными хранителями тех исторических фактов, от которых зависит слава и нередко даже собственность племенных вождей. Но когда народ знакомится с искусством письма, то он не хочет более доверять важнейшие факты своей жизни памяти странствующих певцов и прибегает к новому искусству, чтобы изложить их в прочной, наглядной форме. Поэтому значение тех, которые прежде повторяли народные предания, значительно уменьшается; они оттесняются в низшие слои общества, теряют свою прежнюю славу, и между ними не появляются более те замечательные люди, талантам которых они были обязаны прежней своей славой.

Таким образом, мы видим, что, хотя без письменности и могли бы сохраняться сколько-нибудь значительные сведения, тем не менее справедливо и то, что ее введение имело в двух отношениях вредное влияние на исторические предания; во-первых, оно ослабило само предание, а, во-вторых, оно уничтожило тот класс людей, который посвящал себя на сохранение этих преданий.

Но это еще не все. Искусство письма не только уменьшает число истин, переходящих из уст в уста, но оно даже прямо содействует к распространению лжи. Это последнее совершается на основании начала, которое можно назвать началом накопления; на нем покоятся все языческие религиозные системы. Так, например, в древние времена имя Геркулеса придавалось многим значительным разбойникам, которые были бичами рода человеческого и которые, если им удавалось в своих преступлениях быть столь же счастливыми, сколько они были ужасны, после смерти своей, наверное, попадали в число героев. Происхождение самого имени Геркулеса неизвестно, но вероятно, что сначала оно принадлежало одному человеку, а потом сообщалось всем тем, которые могли походить на него характером и своими подвигами. Такое распространение имени отдельного человека на многих свойственно каждому варварскому народу, и оно не производит почти никакого смешения в лицах, пока предания народа ограничиваются одной местностью и остаются изолированными. Но лишь только предания начнут получать письменную форму, рассеянные факты собираются воедино, и люди, обманутые сходством имени, приписывают все деяния различных героев одному лицу и через то низводят историю на степень преисполненной чудес мифологии. Таким образом, вскоре после того, как письменность утвердилась на севере Европы, Саксон-Грамматик[1] составил жизнеописание известного Рагнара Лодброка. По случаю или с намерением этому великому скандинавскому герою, заставлявшему трепетать Англию, дано было имя, которое за сто лет перед тем носил один из королей

[1] Датский летописец конца XII столетия.

Ютландии. Такое совпадение имен двух различных лиц не производило никакой запутанности, пока каждая местность сохраняла свои отдельные предания о своем Рагнаре. Но именно искусство письма дало возможность слить разные события в один рассказ и составить из двух достоверных преданий одно ложное. Легковерный летописец Саксон соединил вместе подвиги обоих Рагнаров и, приписав их одному своему любимому герою, затемнил тем самым одну из интереснейших эпох древнейшей истории Европы.

Летописи Севера представляют еще другой замечательный пример подобного источника заблуждений. Одно из финских племен, называемое квинами, владело значительной частью восточного берега Ботнического залива. Их страна называлась Квинландией, и это имя подало повод думать, что на север от Балтийского моря живут амазонки. Это заблуждение легко бы уничтожилось при одном ознакомлении с местностью; но письменность сохранила эту случайную ошибку, и некоторые из древнейших европейских историков положительно уверяли в действительном существовании такого народа женщин. Далее, Або, древняя столица Финляндии, называлась прежде Турку, что по-шведски означает рынок (от шведского слова torg, то есть «место торговли»). На основании этого факта Адам Бременский (XI в.), говоря о странах, прилегающих к Балтийскому морю, утверждает, что в Финляндии живут турки.

К этим примерам можно было бы присоединить еще много других для доказательства, как одни простые имена могли вводить в заблуждение древних историков, поддерживать ложные известия, которые на месте легко было бы исправить, но посредством письменности они перешли в отдаленные страны и стали, таким образом, вне опровержения. Еще один пример из истории Англии. Ричард I, наиболее варварский из английских королей, получил от своих современников прозвание Льва за свою неустрашимость и необузданность. Говорили, что у него сердце льва и назвали его в честь того Львиное Сердце. Это простое обстоятельство подало повод к побасенке, повторяемой бесчисленными писателями, а именно, что будто он собственноручно убил льва. Имя подало повод к рассказу, а рассказ утвердил за Ричардом имя, и таким-то образом эта новая сказка присоединилась к длинному ряду выдумок, из которых состоит почти вся история Средних веков.

Такому искажению истории, вследствие одного только введения письменности, в Европе содействовало еще другое обстоятельство. Вместе с искусством письма в европейские страны проникало и католичество; новая религия не только уничтожала языческие предания, но и уцелевшие из них успела исказить примесью к ним католических легенд. Вопрос о степени такого искажения мог бы служить интересным предметом для исследования, но для большинства читателей будет достаточно одного-двух примеров.

Мы имеем слишком мало положительных сведений о древнейшем быте северных народов; однако до нас дошли многие песни, в которых скандинавские поэты прославляют дела своих предков или современников; несмотря на искажение, которому они подвергались, лучшие знатоки скандинавской поэзии утверждают, что ее произведения заключают в себе историческую истину. Но в IX или X в. католические миссионеры переплыли Балтийское море и познакомили северные народы с началами новой религии, и с того времени древние исторические источники начали искажаться. В конце XI в. Семунд Зигфуссен, католический монах, собрал устные народные предания Севера в так называемую древнейшую Эдду, ограничиваясь на первый раз одной прибавкой к ней нескольких назидательных христианских гимнов. Спустя сто лет появился новый сборник местных преданий; но тогда христианское начало господствовало уже давно, что и отразилось на самом сборнике, известном под именем новейшей Эдды. В ней мы встречаем смесь греческих, еврейских и христианских преданий; и в первый раз в летописях Скандинавии можно найти повсюду распространенное сказание о троянском происхождении ее населения.

Если мы обратимся к другим частям света, то найдем и там обильные подтверждения нашему взгляду. В странах, где религия не изменялась, история достовернее и связнее, чем в тех, где произошла такая перемена. В Индии брахманизм, который и ныне еще господствует, утвердился так давно, что начало его теряется в глубокой древности. Вследствие того туземные исторические источники никогда не были искажаемы каким-нибудь новым суеверием, и индусы владеют более древними преданиями, чем все другие азиатские народы. Точно так же китайцы сохранили в течение более 2000 лет религию Фо, вид буддизма, потому-то, хотя цивилизация их никогда не могла сравниться с индийской, у них существует народная история, если и не такая древняя, как уверяют нас китайцы, но все же она начинается за несколько столетий до Р. Х. и непрерывно продолжается до нашего времени. Напротив, персы, которые по умственному развитию, несомненно, стоят гораздо выше китайцев, не сохранили достоверных известий о первоначальной судьбе своей древней монархии. Я не нахожу другой причины тому, кроме завоевания Персии мусульманами вскоре после начала распространения Корана, который окончательно ниспровергнул религию персов и произвел тем перерыв в нити народных преданий. Вот почему, кроме мифа Зендавесты, мы не имеем никаких сколько-нибудь важных туземных источников персидской истории до появления в XI в. «Шахнаме», в которой Фердоуси смешал легенды обеих религий, господствовавших друг за другом в его отечестве. Вследствие того, если бы не были открыты древнейшие туземные памятники, надписи и монеты, то нам пришлось бы довольствоваться скудными и неточными известиями греков для того, чтобы узнать что-нибудь об истории одной из самых важных азиатских монархий.

Даже у самых варварских народов, мы видим, господствует то же самое начало. Малайско-полинезийское племя, как известно этнографам, населяет огромный ряд островов от Мадагаскара, не доходя 2000 миль до западного берега Американского материка. Первоначальной религией этого широко расселенного племени было многобожие, сохраняющееся и до сих пор в своей чистейшей форме на Филиппинских островах; но в XV в. многие из полинезийских племен обращены были в исламизм, и это обстоятельство принесло те же результаты, которые я указал в других странах: новая религия, изменив направление народных мыслей, исказила чистоту древней народной истории. Из всех островов Индийского архипелага высшей степени образованности достигла Ява, и, несмотря на это, яванцы не только потеряли исторические предания, но в сами списки их царей вставлены имена мусульманских героев. Напротив, на соседнем острове Бали, где сохранилась еще древняя религия, народ до сих пор помнит древние яванские легенды. Других доказательств не нужно. Я замечу только, что подобным образом католические миссионеры затемнили летописи всех европейских народов, которые были ими обращены в христианство. Так они запутали и исказили предания галлов, валлийцев, ирландцев, англосаксов, славян, финнов и даже исландцев.

Ко всему этому присоединились еще и другие обстоятельства, имевшие подобное же влияние. Вскоре после окончательного падения Римской империи европейская литература оказалась исключительно в руках духовного сословия, которое долго считалось единственным наставником человечества. В течение многих столетий весьма редко можно было встретить грамотного мирянина, и, конечно, еще реже встречался такой, который мог бы написать книгу. Таким образом, литература сделалась собственностью одного класса и, естественно, приняла его особенности. Католическое же духовенство всегда считало своим делом более укреплять свою веру, чем поощрять критические исследования; поэтому неудивительно, что и в своих литературных произведениях оно развило дух самого сословия. Потому-то, как я уже заметил, литература в течение многих веков не только не служила на пользу общества, но вредила ему, увеличивая легковерие и тем препятствуя успехам наук. Действительно, люди так привыкли ко лжи, что были готовы все-

му верить. Ничто не поражало их жадного и легковерного слуха. Рассказы о знамениях, чудесах, явлениях и – особенно – худых приметах, чудовищно страшных знаках на небе и другие бессмысленные и пошлые нелепости переходили из уст в уста, переписывались из книги в книгу с такой заботливостью, как будто дело шло о самых редких сокровищах человеческой мудрости. То, что Европа, наконец, вновь пробудилась из такого состояния – это служит убедительнейшим доказательством необыкновенной силы человека, ибо мы не можем даже и вообразить себе чего-нибудь более неблагоприятного для успехов образованности. Но понятно, что доколе такое пробуждение еще не совершилось, всеобщее легковерие и отсутствие самостоятельной мысли отучало людей от исследования, препятствовало им с успехом изучать события прошедшего и даже передать верно то, что совершалось на их глазах.

После всего сказанного мы можем указать три главные причины искажения истории в Средние века. Во-первых, быстрое введение письменности и последовавшее затем смешение различных местных сказаний, которые в отдельности были верны, но взятые вместе – ложны. Во-вторых, перемена религии – перемена, которая не только прервала нить преданий, но и исказила их чуждой примесью; и наконец, в-третьих, без сомнения, сильнейшей причиной искажения было сосредоточение исторических занятий в одном классе людей, нравы и деятельность которых делали их легковерными, и которые, сверх того, имели прямой интерес в том, чтобы увеличивать вообще легковерие, ибо на этом последнем основывалось их значение.

Вследствие этих трех причин история Европы была искажена в такой степени, которая не имеет ничего себе подобного ни в каком другом периоде. То обстоятельство, что тогда совсем не было истории, составляет еще самое меньшее зло; но, к несчастью, люди не удовольствовались утайкой истины: они заменили ее изобретенными вымыслами. Между бесчисленными родами вымыслов особенно замечателен тот, который свидетельствует о любви к археологии, что составляет характеристическую черту людей, писавших в то время историю. Я разумею вымыслы о происхождении народов, вымыслы, в которых ясно виден весь дух Средневековья. В течение многих веков каждый европейский народ верил, что он происходит от предков, участвовавших при осаде Трои. Никому не приходило в голову усомниться в этом факте. Спор шел только о том, от кого именно происходили отдельные нации. Однако относительно этого вопроса образовалось известное единогласие: так – не говоря о второстепенных народах – полагали, что французы происходят от Франка, и всякий знал, что это был сын Гектора; точно так же было тогда известно, что бритты произошли от Брута, отцом которого был не кто иной, как сам Эней.

Великие историки Средних веков сообщали и о происхождении разных городов. В известиях о них, равно как и в биографиях великих людей, рассказ начинается обыкновенно с древнейших времен, и нередко в своих подробностях восходит до того момента, когда Ной оставил свой ковчег, или когда Адам покинул врата Эдема. В других случаях древность, приписываемая ими предмету своего рассказа, бывает не так отдалена; но все же сообщаемые ими известия всегда восходят очень далеко. Так, некоторые утверждают, что Париж (Paris) назван по имени Париса[1], сына Приама, который бежал туда после разорения Трои; город же Тур получил, по их мнению, свое имя оттого, что там был погребен троянец Турон, а город Троя (Troyes, во Франции) построен самими троянцами, т. к. это очевидно из самой этимологии. Все были убеждены, что Нюрнберг получил свое название от императора Нерона; Иерусалим – от царя Иеба (Iebus), лица весьма известного в Средние века, и в подлинном существовании которого позднейшие историки никак не могли убедиться. Река Гумбер названа так потому, что в древние времена здесь будто бы потонул какой-то царь гуннов. Галлы произошли, согласно мнению одних, – от Галатии, ведшей свой род от Иафета, а по мнению других, – от Гомера, сына Иафета.

---

[1] См. об этом в превосходном сочинении *Monteil.* Histoire de divers etats, V, 70.

Пруссаки названы так по имени Прусса, брата Августа. Но эта последняя генеалогия была еще весьма поздняя. Силезия получила свое название от имени пророка Елисая. Напротив, год основания Цюриха составлял предмет спорный; достоверно было только то, что этот город был основан в эпоху Авраама. Непосредственно от Авраама и Сары происходят также цыгане. Кровь же сарацин была не так чиста, ибо они происходят от одной только Сары – каким образом, не говорится, вероятно, от другого брака, и, может быть, она зачала родоначальника сарацин из Египта, как потомки какой-то Скотты, дочери Фараона, от которой они получили само имя. И о многих других предметах средневековые писатели сообщают нам драгоценные сведения в этом же роде. Так, все знали, что Неаполь построен на яйцах; столь же достоверно было известно, что рыцарский орден св. Михаила был основан лично архангелом Михаилом. Он сам был первым рыцарем, и все рыцарство обязано ему своим происхождением. Татары, естественно, происходят от Тартара. Этот же последний, по мнению одних теологов, был только низший слой ада, по мнению же других, – настоящий ад. Но как бы то ни было, не подлежит никакому сомнению, что татары родились в преисподней, а это доказывается различными обстоятельствами, свидетельствовавшими о роковом и таинственном влиянии, которое они могли иметь. Так турки тождественны татарам, и известно, что с тех пор как крест попал в руки турок, у детей христиан стало десятью зубами меньше, чем прежде, – бедствие столь общее, что против него не было даже никакого медицинского средства.

Другие исторические вопросы, касающиеся более древних событий, объяснялись с такой же легкостью. В Европе в течение многих веков свинина составляла единственную общеупотребительную животную пищу; говядина, телятина и баранина были почти не употребляемы. С немалым удивлением услышали в Европе от крестоносцев, возвратившихся с Востока, что они были у народа, который, подобно евреям, считает свинину нечистой и не ест ее. Но это удивление рассеялось, когда узнали причину такого обычая. За этот предмет взялся Матвей Парижский, замечательнейший историк XIII в. и вообще один из замечательнейших средневековых писателей. Этот-то знаменитый историк сообщает нам, что мусульмане не едят свинины вследствие одного довольно странного казуса, случившегося с их пророком. Мы узнаем от него, что Магомет однажды так наелся и напился, что упал без чувств и заснул на навозной куче, где заметило его в этом позорном состоянии стадо свиней. Свиньи бросились на пророка и задушили его. Поэтому мусульмане, его последователи, презирают свинью и не едят свинины. Таким замечательным случаем объясняется одна из главных особенностей мусульманской религии; другой же подобный случай указывает нам, как произошла эта религия вообще. Известно, что Магомет был кардиналом и сделался еретиком потому, что ему не удалось достигнуть папского достоинства.

Средневековые историки были особенно любознательны в отношении древнейшей истории христианства и сохранили нам известия о событиях, которые без того остались бы нам совершенно неизвестны. После Фроасара замечательнейшим историком XIV столетия был, без сомнения, Матвей Вестминстерский, с именем которого знакома, наверное, большая часть наших читателей. Этот-то знаменитый писатель обратил свое внимание, между прочим, на историю Иуды, чтобы раскрыть ближайшие обстоятельства, под влиянием которых развился характер этого архиотступника. Исследования его были, как кажется, очень обширны, но главным результатом их было следующее. Еще в детстве Иуда был брошен своими родителями и оставлен на острове, называвшемся Искариот, – отсюда он получил свое название Искариотский; когда же Иуда вырос, прибавляет этот историк, он, между прочим, убил своего отца и женился на своей матери. В другом отделе своей истории он упоминает об одном случае, который может заинтересовать изучающих древности папского престола. В Средние века было возбуждено сомнение касательно вопроса, прилично ли целовать Папе ноги, и даже теологи не все были

согласны между собой относительно этой странной церемонии; но Матвей Вестминстерский разрешает эти затруднения, сообщая сведения об истинном происхождении самого обычая. Прежде, рассказывает он, было в обыкновении целовать Папе руку, но около VIII в. одна подозрительная женщина не только поцеловала Папе руку, но и пожала ее. Папа – его звали Львом, – считая себя оскверненным таким прикосновением, отрезал себе руку и тем избавился от осквернения, которому подвергся. С тех пор приняли меру предосторожности, и, было повелено вместо руки целовать Папе ногу; а дабы никто не усомнился в справедливости этого известия, историк уверяет, что та рука, отрезанная 500 или 600 лет тому назад, хранится в Риме, а раньше ее можно было видеть в Латеране. Предвидя, что некоторые читатели могли бы захотеть, быть может, узнать что-нибудь об этом Латеране, где хранилась та рука, наш историк и на это обратил свое внимание в другой части своего огромного сочинения, где он восходит до времен Нерона; оказывается, что этот жестокий гонитель веры Христовой выплюнул однажды, по словам нашего историка, лягушку, покрытую кровью, и, считая ее своим детищем, велел заключить ее в склеп, где она долгое время и оставалась. По-латыни же latere значит скрывать, а rana – лягушка; если соединить эти оба слова, то получим Латеран, который в самом деле был построен на том месте, где была найдена лягушка.

Можно было бы наполнить целые тома подобными рассказами, в которые смиренно верили в те времена мрака или, вернее сказать, во времена легковерия. Это было золотое время для католического духовенства, ибо легковерие людей достигло той степени, которая, казалось, упрочила за ним долгое и всеобщее господство. Как эти католические надежды впоследствии помрачились и как человеческая мысль стала потом возмущаться – это мы расскажем в другом месте нашего исследования, где мы попытаемся показать происхождение светского и скептического духа, которому Европа обязана своей цивилизацией. Но прежде всего будет кстати привести еще несколько образчиков средневековых воззрений, и для того я хочу избрать два исторических предания, которые были наиболее популярны, имели наибольшее влияние, и в которые более всего верили.

Таковы были рассказы об Артуре и Карле Великом. Оба эти рассказа составлены весьма важными католическими прелатами и потому передавались с тем уважением, которое подобает их высоким авторам. Рассказ о Карле называется «Летописью Турпина», которая была будто бы написана Турпином, архиепископом реймсским, другом и соратником самого императора. Из некоторых мест летописи можно было бы заключить, что она составлена только в начале XII в.; но в Средние века не были слишком точны в такого рода вопросах, и было бы невероятно, чтобы кто-нибудь тогда вздумал оспаривать подлинность ее. Имя архиепископа Реймсского было, конечно, достаточной рекомендацией, и таким образом мы видим, что в 1122 г. летопись была формально одобрена Папой, и Вицентий Бовезский (Vincent de Bauvais), один из знаменитейших писателей XIII в. и наставник сыновей Людовика IX, упоминает об этой летописи, как о важном сочинении и как о главном источнике истории Карла Великого.

Подобное сочинение, читавшееся тогда повсеместно и одобренное самыми компетентными судьями, может служить достойным образцом для оценки исторических знаний и взглядов того времени. Поэтому для нашей цели будет полезно вкратце познакомить читателя с этим сочинением. Оно покажет нам, как крайне медленно успевала история в умах людей, как она едва заметно продвигалась вперед, прежде чем великие мыслители XVIII в. вдохнули в нее настоящую жизнь.

Из летописи Турпина мы узнаем, что нападение Карла на Испанию было совершено по непосредственному побуждению св. Иакова, брата св. Иоанна. Этот апостол, который был виновником нападения, принял и меры для обеспечения его успеха. Когда Карл Великий осаждал Пампелуну, город этот упорно сопротивлялся; но после того как осаждающие совершили молитву, стены города вдруг пали. Затем импе-

ратор быстро покорил всю страну, истребил почти всех мусульман и построил бесчисленное множество церквей. Но средства сатаны неистощимы. В рядах неприятеля является тогда исполин по имени Ферракут, происходивший от древнего Голиафа. Этот Ферракут был страшнейший противник, какого только встречали христиане. Сила его равнялась силам сорока человек; лицо его было в локоть длины, руки и ноги в четыре локтя, а ростом он был в 20 локтей. Карл Великий посылал против него своих сильнейших воинов, но исполин с легкостью побеждал их. О дивной же силе его можно составить себе понятие по тому факту, что каждый палец его был длиной в три кисти руки. Христиане пришли в отчаяние; напрасно двадцать отборных воинов выступили против него – никто из них не возвращался с поля боя. Ферракут забрал их всех под мышки и унес в плен. Наконец выступил славный Роланд и вызвал его биться не на жизнь, а на смерть. Наступил упорный бой, и христианин, не предвидя желанного успеха, завлек своего противника в богословский спор. На этом поприще язычник легко был побежден, а Роланд, воспламененный диспутом, бросился на противника, ударил великана мечом и нанес ему смертельную рану. Так погибла последняя надежда мусульман; христианское оружие вполне восторжествовало, и Карл Великий разделил Испанию между своими удалыми сподвижниками, помогавшими ему покорить страну.

Об истории Артура Средние века имеют такие же «точные сведения». Относительно подвигов этого знаменитого короля были пущены в ход самые различные рассказы; но их достоинство до сих пор еще не было определено. В начале XII столетия этот предмет обратил на себя внимание Жоффрея (Geoffrey of Monmouth), знаменитого архидьякона Монмаутского. Этот замечательный человек издал в 1147 г. результаты своих исследований в сочинении, названном им «Историей бриттов». В ней он рассматривает вопрос с широкой точки зрения и не только рассказывает историю Артура, но приводит и обстоятельства, приготовившие появление этого великого завоевателя. Описания деяний Артура для Жоффрея собрал его друг Вальтер, архидьякон Оксфордский, также заинтересованный историей. Таким образом, этот труд принадлежит двум архидьяконам и заслуживает потому полного внимания, даже если бы он и не был одним из популярнейших явлений средневековой литературы.

Первую часть этого обширного труда занимают результаты исследования архидьякона монмаутского о состоянии Британии до вступления Артура на престол. Эта часть нас не касается; заметим только, что при этом архидьякон утверждает, что после взятия Трои Асканий бежал из этого города и имел сына, который и был отцом Брута. В то время Англия была населена исполинами, и все они были убиты Брутом. По истреблении этого племени он построил Лондон, привел в порядок земские учреждения и назвал страну по своему имени Британией. Архидьякон продолжает далее рассказывать о деяниях целого ряда королей, следовавших за Брутом. Почти все они были отличные люди, а некоторые из них, сверх того, замечательны по чудесам, совершившимся в их царствование. Так, в царствование Ривалло три дня подряд шел кровавый дождь, а в царствование Морвида какое-то страшное подводное чудовище опустошило морской берег. Оно поглотило бесчисленное множество людей и, наконец, самого короля.

Такие и подобные события архидьякон Монмаутский сообщает как результат своих собственных исследований; но в истории самого Артура ему помогал друг его, архидьякон оксфордский. Оба архидьякона свидетельствуют, что король Артур был обязан своим существованием волшебству знаменитого чародея Мерлина; подробности этого происшествия рассказываются обоими историками с такой точностью, которая кажется странной при духовном сане авторов. Деяния Артура соответствовали его сверхъестественному происхождению. Ничто не могло противостоять его силе. Он умертвил бесчисленное множество саксов, прошел с войском Норвегию, напал на Галлию, поселился в Париже и приготовлялся к завоеванию всей Европы. Он боролся

с двумя исполинами и умертвил их обоих. Один из них жил на горе св. Михаила и был ужасом всей окрестности; он убивал всех воинов, которых против него посылали, если только не забирал их в плен, чтобы съесть живьем. Точно так же действовал другой исполин, Рито, который был, пожалуй, еще страшнее, ибо он не удовольствовался убиением простого народа, но одевался в платье, сотканное из бород убитых им королей.

Вот известия, которые в XII столетии предлагались публике как исторические, и предлагались не какими-нибудь неизвестными писателями, а высокими сановниками церкви. Все служило к обеспечению успеха того произведения. Составителями его были архидьяконы Монмаутский и Оксфордский; посвящено оно было графу Глостерскому, сыну английского короля Генриха I, и считалось таким важным пособием для национальной истории, что первый его автор возведен был в сан епископа азафского (Asaph); причем было именно сказано, что этим повышением он обязан своим исследованиям об истории Англии. Подобное сочинение, удостоившееся всевозможных одобрений, может служить верным мерилом цивилизации того века, в котором ему удивлялись. Это чувство удивления действительно было так всеобще, что в течение многих столетий нашлось только два-три критика, усомнившихся в верности тех показаний. Извлечение из этой книги было издано на латинском языке известным историком Беверлеем, а для дальнейшего его распространения оно было переведено на английский язык Лайямоном и на англонормандский – сперва Гаймаром, а потом Васом (Wace). Эти ревностные люди желали по возможности распространить важные истины, сообщаемые тем творением.

Едва ли нужно приводить другие примеры, чтобы показать, как писалась история в Средние века: приведенные нами примеры взяты не наугад, а выбраны из лучших и знаменитейших писателей; они даже дают нам еще весьма выгодную идею о познаниях и образе мыслей тогдашней Европы. В XIV и XV вв. впервые начинают появляться слабые симптомы приближающейся перемены в понятиях; но только в конце XVI в. или даже в начале XVII в. эта перемена делается чувствительной. Но хотя такое движение и обнаружилось еще в XVII столетии, однако только в половине XVIII в. сделана была настоящая попытка поставить историю на более независимую точку зрения. В это время взялись за такую задачу прежде всего великие французские мыслители, затем один или два шотландца, и несколько лет спустя начали трудиться в этом смысле и немцы. Такая реформа истории находилась в связи с другими реформами, ей соответствующими, которые имели влияние на социальные отношениях всех главных стран Европы. Я не хочу забегать вперед и замечу только, что до конца XVI в. не только не было истории, но состояние общества делало даже невозможным ее появление. Знание в Европе не было еще достаточно зрело, чтобы с успехом можно было его обратить на изучение минувших событий. Мы не должны думать, что ошибки прежних историков произошли от недостатка их природных способностей. Вообще ум человеческий всегда, вероятно, один и тот же, но давление на него общества постоянно изменяется, и таким образом общее состояние массы в прежнее время заставляло умнейших писателей верить в самые нелепые ребячества. Пока не изменилось это состояние, история как наука была невозможна, ибо трудно было встретить человека, который знал бы, чтó достаточно важно, чтобы быть переданным в историю, чтó нужно отвергать, а чему нужно верить.

Потому-то, если история в XV и XVI в. изучалась такими светлыми умами, как Макиавелли и Бодэн[1], то они не могли сделать из нее лучшего употребления, как избрать ее орудием политических теорий, и ни в одном из их сочинений мы не находим ни малейшей попытки возвыситься до общих взглядов, которые могли бы охватить все общественные явления. То же самое можно сказать о Коммине[2], который хотя

---

[1] Bodin – первый публицист Франции; жил в 1-й половине XVI в. и в своих идеях о государственном устройстве был предшественником Монтескье.

[2] Commines – автор мемуаров времен Людовика XI.

стоял ниже Макиавелли и Бодэна, но был необыкновенно тонкий наблюдатель и в оценке отдельных характеров показал много проницательности. Но этим он был обязан своему уму, между тем как XV в., в котором он жил, делал его суеверным, а относительно великих целей истории – крайне близоруким. Близорукость его обнаруживается в полнейшем неведении того великого умственного движения, которое в то время стремительно низвергало феодальные учреждения Средних веков; он ни разу не намекает на это движение и обращает все свое внимание на те тривиальные политические интриги, в которых, по его мнению, заключается история. Что касается его суеверия, то было бы излишне представлять образчики того, ибо человеку XV в. невозможно было сохранить свой ум здравым среди всеобщего легковерия. Замечу только, что хотя он лично был знаком с государственными людьми и дипломатами и имел потому хороший случай усмотреть, что самые многообещающие предприятия разбивались о неспособность тех, которые предпринимали их, тем не менее он во всех важнейших случаях приписывал неудачу не действительным причинам, но непосредственному вмешательству божества.

Такие попытки сделать политику прибавлением к богословию характеризуют то время, и тем более представляют интерес, что они принадлежат человеку с большим талантом и опытом общественной жизни. Если такие мнения высказываются не католическим монахом за монастырской оградой, а выдающимся государственным человеком, искусным в делах общественных, то мы можем себе представить, каково вообще должно было быть умственное состояние тех, кто во всех отношениях стояли ниже его. Очевидно, что от них ничего нельзя было ожидать, и что нужно было сделать много шагов, чтобы Европа могла выйти из того легковерия, в которое была погружена, и одолеть те преграды, которые стояли на пути ее к прогрессу.

Но хотя оставалось еще многое сделать, нельзя усомниться в том, что движение продолжало идти вперед, и даже в то время, когда писал Коммин, начали уже являться несомненные признаки великой и решительной перемены. Впрочем, все это было только намеком на то, что приближалось; и прошло еще около столетия после смерти Коммина, пока прогресс со всеми своими последствиями сделался очевидным; ибо хотя протестантская реформация была следствием этого прогресса, но она, однако, долго еще мешала ему: она направила наиболее талантливых людей на исследование таких вопросов, которые недоступны человеческому разуму, и отвлекала их от таких предметов, где их усилия были бы полезны для общих целей цивилизации. Поэтому-то мы видим, что до конца XVI в. действительно очень мало сделано для истории. Но вскоре теологическое рвение протестантов улеглось как в Англии, так и во Франции, где приготовлен был путь для той философии, толкователями которой (но никак не творцами) были Бэкон и Декарт. Эта эпоха принадлежит XVII столетию, и ее мы можем считать началом умственного возрождения Европы, точно так же, как XVIII столетие считаем началом социального возрождения ее. Но в течение большей части XVI в. легковерие было еще всеобщее, ибо оно было сильно не только в низших и необразованных массах, но и в тех, которые получили самое лучшее воспитание. Это можно подтвердить бесчисленными доказательствами; для краткости я ограничусь двумя, которые наиболее поразительны по сопровождавшим их обстоятельствам и по влиянию их на такого рода людей, которые, казалось бы, не должны были подвергаться подобным заблуждениям.

В конце XV и в начале XVI в. знаменитый астроном Стефлер был профессором математики в Тюбингене. Этот замечательный человек внес большой вклад в развитие астрономии и один из первых указал на способы исправления Юлианского календаря, по которому тогда вели времяисчисление. Но ни талант, ни знания не защитили его от духа времени. В 1524 г. он издал результат мистических исчислений, которыми он долго занимался и при посредстве которых он сделал «замечательное» открытие, что в том же году земля вновь будет залита потопом. Эта публикация, сделанная таким

человеком и с крайней уверенностью, произвела сильное и всеобщее беспокойство. Известие о предстоящем бедствии быстро распространилось и наполнило ужасом всю Европу. Для избежания первой опасности люди покидали свои дома, стоявшие на реках или на морском берегу, между тем как другие поняли, что такие средства могут быть только временной отсрочкой и принимали более действенные меры предосторожности. Предлагали, чтобы император Карл V предварительно назначил людей для осмотра страны и для назначения тех мест, которые наименее могут подвергаться потопу и наверное могли бы послужить убежищем. Этого желал императорский полководец, стоявший тогда во Флоренции, и по настоянию которого написана была книга, предлагавшая эти меры. Но умы людей были слишком взволнованы для такой благоразумной меры, и сверх того, так как никто не знал, какой высоты достигнет потоп, никто не мог сказать, не покроет ли вода вершины даже самых высоких гор. Среди этих и подобных предположений наступил роковой день, а между тем не было еще принято никаких решительных мер против угрожавшей опасности. Перечислить все предложенные и отвергнутые меры было бы слишком долго. Об одной из них стоит упомянуть, так как она была с усердием приведена в исполнение и характеризовала ту эпоху. Некто по имени Авриоль, профессор канонического права в Тулузском университете, размышлял о различных средствах к предупреждению этого всеобщего бедствия. Наконец ему пришла мысль, что можно сделать то же, что совершил с таким успехом патриарх Ной в подобном же случае. Едва только мысль эта была заявлена, как она и была осуществлена. При помощи жителей Тулузы был построен ковчег, в надежде, что хоть часть населения земли будет спасена для продолжения рода человеческого, когда понизится вода и обсохнет земля.

Спустя 70 лет после этой тревоги случилось другое событие, долго занимавшее знаменитейших людей в одном из первоклассных государств Европы. В конце XVI столетия распространился слух, что в Силезии родилось дитя с золотым зубом. Слух этот подтвердился и чудо вскоре сделалось известным во всей Германии, все считали его таинственным предзнаменованием и все в страхе ломали себе голову, что могло бы означать это явление. Впервые раскрыл истину доктор Горст. В 1595 г. этот отличный медик опубликовал результаты своих исследований; он указал на то обстоятельство, что при рождении ребенка солнце сошлось с Сатурном в знаке Овна. Итак, событие это, хотя сверхъестественное, но нисколько не опасно. Золотой зуб был предвестником золотого века, когда император выгонит турок из Европы и положит основание новой империи, которая просуществует тысячу лет. «На все это, – говорит Горст, – есть ясные намеки у пророка Даниила в известной второй главе, где он говорит об изображении с золотой головою».

Hist. of the civil. in Engl. I, гл. 6.

Ж.-Б. Вико

ЭПОХИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВООБЩЕ И СРЕДНИХ ВЕКОВ В ОСОБЕННОСТИ (1725 г.)

Порядок идей следует за порядком вещей, который соответствует следующей последовательности: сначала люди укрываются в лесах, потом в шалашах, затем в селениях, наконец, в городах, где они устраивают академии. Это предположение составляет главное правило этимологии, которая учит нас, что история первых языков может быть легко отыскана и восстановлена на основании порядка человеческих вещей. Так, мы замечаем, что большая часть слов латинского языка имеет происхождение в той эпохе, когда римляне были дикарями и земледельцами. Например, слово lex (за-

кон) означало прежде уборку желудей, откуда произошло слово ilex, или illex, дуб; aquilex (водовоз) означало, без сомнения, собирателя (raccoglitore) вод; позже lex обозначало уборку овощей, откуда происходит слово legumina (овощи); потом, когда еще буквы для написания законов не были изобретены, lex должно было означать собрание граждан, то есть парламент; оно выражало то, что народ сам создавал законы, которые формулировались собранием. Наконец, искусство соединять буквы в отдельные группы или слова было названо legere (читать).

Люди управляются сначала необходимостью; позже они заботятся о полезном; ищут удобного и затем приятного; после этого они опять утопают в роскоши и, в конце концов, безрассудно растрачивают то, чем владеют.

Сначала народы являются жестокими, потом строгими, далее добрыми, нежными и наконец изнеживаются.

История рода человеческого представляет нам сначала людей жестокими и грубыми, какими были Полифемы; затем следуют великодушные и славолюбивые, как Ахиллесы; потом являются мужественные и справедливые, как Аристиды и Сципионы; приближаясь к своей эпохе, мы встречаем людей, которые соединяют с призрачностью великих доблестей действительность величайших пороков и снискивают у толпы репутацию громкой славы. Мы говорим об Александрах и Цезарях; позже являются мрачные, угрюмые, рассчитывающие личности, каковы Тиберии, и все это заключается развратом, бешенством и бесстыдством Калигул, Неронов, Домицианов. Эта аксиома показывает нам, что первого рода люди были необходимы для подчинения человека человеку в семейном быту и для приготовления его к повиновению законам городского быта; люди второго рода необходимы для подчинения семейного быта аристократической республике; третьи открывают путь к общественной свободе; четвертые вводят монархическую форму; пятые устанавливают ее и утверждают; шестые и последние содействуют к ее ниспровержению.

ЖАН-БАТИСТ ВИКО (J.-B. VICO, 1668–1744). Сын бедного книгопродавца в Неаполе, после глубокого изучения философии и юриспруденции занимал кафедру риторики в Неаполитанском университете. Пораженный хаосом и ложными притязаниями наук того времени, он вступил в борьбу со старыми убеждениями в археологии и истории; он первым высказал мысль о несуществовании Гомера. Все это вызвало вражду современников к Вико, и потому в 1722 г. его кандидатура на вакансию юридической кафедры была отклонена, ему предпочли его ограниченного соперника. Тогда-то Вико решился в первый раз изложить в системе сумму всех своих убеждений о необходимости перестроить научный метод вообще и открыть новую дорогу к познанию истории. Результатом его труда и было знаменитое произведение Principi di una Nuova Scienza d'intorno alla natura delle nazioni. Неаполь, 1725 г. (втор. изд. 1739 г., и третье 1744 г.), то есть «Начало Новой науки по отношению к природе народов». Это последнее сочинение Вико было оставлено современниками почти без всякого внимания, и только в XIX веке его оценили как одно из гениальных произведений ума человеческого, составившее эпоху в исторической науке. Вико является в нем отцом философии истории. Но до начала нынешнего столетия Вико был совсем забыт, хотя его идеями воспользовались многие для новейшей разработки филологии и истории, успехи которых он первый поставил в тесной взаимосвязи. Современный нам французский историк Мишле своим переводом «Новой науки» («Principes de la philosophie de l'histoire». Par. 1827 г.), и изданием в переводе Oeuvres choisies de Vico, contenants les Mémoires écrits par lui même, la Science Nouvelle, les Opuscules, les Lettres, вместе с Introduction sur sa vie et ses ouvrages. Par. 1836, 2 vol., сделал наконец имя Вико вполне известным, как того заслуживает гений этого замечательного преобразователя методики наук. В 1822 г. явился немецкий перевод «Новой науки» Вебера. Из монографий замечательно: Ferrari, Vico et l'Italie. Par. 1841–1842.

Это размышление, вместе с предыдущим, дает нам понимание принципов вечной и идеальной истории, в которой мы увидим, что все нации идут одним и тем же путем в своем рождении, развитии, устройстве, разложении и падении...

Единообразный путь наций, на основании разделения по трем возрастам, установленного египтянами, представляет: божеский, геройский и человеческий возрасты, потому что в каждой нации мы замечаем тройную природу. Эта тройная природа представляет три рода нравов, три рода права, три рода языка и письменности, три рода власти, и все это соответствует тем трем возрастам...

Мы несколько раз указывали на поразительное сходство между временами первого варварства (древней истории) и временами второго варварства (средней истории). Последние Варрон называет темными временами. Утвердив сверхъестественными путями истину христианской религии, доблестью мучеников доказав ее превосходство перед римской силой, и чудесами и творениями отцов обнаружив превосходство ее мудрости над греческой мудростью, Бог, предвидя борьбу, которую предстояло религии выдержать против новых воинственных народов, дозволил, чтобы между людьми установился новый порядок образованности, и содействовал занятию им надлежащего места. В начале истории Средних веков католические короли, защитники христианской религии, облачались в ризы дьяконов и посвящали свою королевскую особу Богу, отчего и до сих пор они носят титул священного величества. Они домогались духовных должностей, как то мы видим в генеалогии королей французских Симфориона Шампье (Généalogie des rois de France, par Symphorion Champier), где сказано, что Гуго Капет носил звание графа и аббата Парижского. Мы находим также в анналах Бургундии Парадинона весьма древние известия, в которых французские государи называются герцогами и аббатами, или графами и аббатами. Первые христианские короли учредили военные духовные ордена, при помощи которых они установили христианскую и католическую религию на развалинах арианизма, который заражал, по выражению св. Иеронима, весь мир, исламизма и других неверных. Затем начались героические священные войны, pia et pura bella. В эту эпоху, мы видим, христианские государи носят на своих коронах шар с водруженным на нем крестом; это встречается в первый раз на знаменах во время Крестовых походов. Заметим мимоходом пример поразительного сходства между двумя варварствами (древним и новым). В древности герольды evocabant deos, то есть отзывали богов из городов, которым объявлялась война; этот обычай заставляет думать, что древние народы полагали, что побежденные оставались без богов и, следовательно, без защиты, что лишало побежденных всех публичных, гражданских и частных прав, которые находятся в связи с религиозной службой. Мы находим подтверждение нашей гипотезы в формуле той капитуляции героической эпохи, которую употребил Тарквиний Гордый при г. Коллациуме, и вследствие которой побежденные должны были выдать победителям divina et humana omnia, то есть все божеское и человеческое. Новые варвары точно так же домогались и уносили с собой священные останки, сокрытые в завоеванном городе; оттого осажденные старались зарыть в землю и скрыть такие сокровища от глаз. Мощи святых обыкновенно были запираемы в самых отдаленных частях церкви; а обычай выкупать у победителя городские колокола сохраняется до настоящего времени. Европа, Африка, Азия были наводняемы с пятого века народами варварскими и враждебными христианству. Победители и побежденные не понимали друг друга, и невежество первых в деле наук было причиной того, что мы не имеем ни одного письменного памятника той эпохи на народном языке, итальянском, французском, испанском, ни даже на немецком. Авентин, составитель баварских Анналов (Annales Bojorum), утверждает, что до Фридриха I Барбароссы (XII в.) грамоты не писались ни на одном из этих языков; другие считают это происходило до Рудольфа I Габсбургского (XIII в.). До того времени все писалось на варварской латыни, которая была понятна для весьма малого числа знатных и для духовенства; таким образом, в то несчастное время народы были осуждены на немоту.

Такая бедность письменности должна была ввести в употребление иероглифы, какими и были в Средние века изображения гербов, которыми указывалось по крайней мере имя владельца дома, могилы, земли и стад. Тогда же возродился божеский суд, под именем канонического очищения; геройские разбои придали имени корсаров новый блеск и сделались признаками благородства, как некогда древние герои гордились названием вора и разбойника. Героическая месть, продолжавшаяся до времени Бартольда, появилась снова в связи с войнами, которые, подобно священным войнам древности, были чисто религиозными. Героическое рабство появилось и долгое время удерживалось между христианскими народами, которые, отнимая у побежденных богов, смотрели на них как на животных. Этот взгляд существует и до сих пор между христианами и турками в отношении друг к другу; само имя турка означает собаку, и христиане из снисхождения называют его мусульманином, то есть правоверным. Турки же называют христиан свиньями. Но всего более удивительно встречать во вторичном варварстве (то есть Средних веков) те убежища древнего варварства, которые, по выражению Тита Ливия, послужили основанием первым городам. Совершавшиеся насилия при вторичном возвращении человечества к варварству (в Средние века), точно так же, как и жестокость людей древнего варварства, принуждали слабых укрываться в пещерах, и так как спасением против таких насилий служило религиозное чувство, как и прежде, то обыкновенно преследуемые вместе со своими семействами и имуществом искали убежища у лиц, бывших представителями религии, то есть у епископов и аббатов. Отсюда произошли феоды, и этим объясняется, почему в Германии, самой варварской стране из всех европейских наций, было менее феодов светских, нежели духовных, как то епископств, аббатств, и почему светские государи Франции безразлично принимали титулы графов, герцогов и аббатов. В Европе встречается большое число земель, городов и замков, носящих имя какого-нибудь святого именно потому, что при вторичном возвращении к варварству строили на местах возвышенных и уединенных небольшие церкви – место божественной службы и убежища для христиан; эти последние около церквей ставили свои бедные хижины. Вот почему развалины церквей, построенных в местах почти неприступных, служат древнейшими памятниками того порядка вещей. Аббатство св. Лаврентия в Аверсе, к которому было присоединено аббатство св. Лаврентия в Капуе, заведывало в Кампании, Самниуме, Апулии, древней Калабрии, везде от р. Волтурна до Тирренского моря, 110 церквями или непосредственно, или через аббата или подчиненного ему монаха. Аббаты св. Лаврентия были в то же время и баронами всех тех земель.



Миннезингер Вальтер фон дер Фогельвейде. Миниатюра из Большой гейдельбергской рукописи (ок. 1300 г.). Гейдельберг. Университетская библиотека

После такого добровольного подчинения людей протекторской власти духовных начинается новая эпоха в истории человечества.

Nuova Scienza, кн. I, афор. LXIV–LXVIII;
начало IV и V кн.

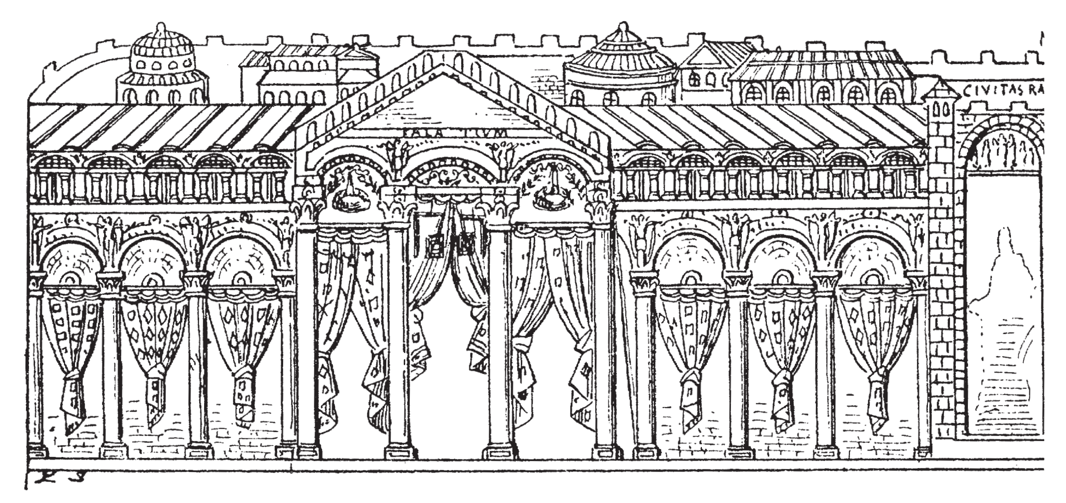
ДРЕВНИЙ МИР В ЭПОХУ ПАДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (V в.)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЭПОХИ (456–476 гг.)

Двадцатилетие, предшествовавшее окончательному падению Западной Римской империи (456–476 гг.), было последней эпохой политического существования Древнего мира. В 476 г. с прекращением императорского титула, выражавшего собой политическое и административное единство всей Западной империи, а именно: Италии с ее придунайскими провинциями, Галлии, Британии, Испании и Западной Африки,– само единство исчезло и во всех поименованных провинциях бывшей империи образовались варварские королевства, послужившие началом соответственных им национальностей Западной Европы. Короли германского происхождения не только привели с собой в провинции дружину, вытеснившую или слившуюся со старой римской аристократией и разнообразными народностями, вошедшими в состав Римской империи, но принесли с собой и новое законодательство, новую администрацию и новые нравы. Все это, вместе взятое, и послужило началом средневековой образованности, которая, после тысячелетнего развития (от 500 до 1500 г.), преобразовалась религиозной реформацией XVI в. и революцией прошедшего столетия в новейшую, современную нам образованность.

Западная Римская империя начала свое отдельное существование вследствие разделения древней единой империи Феодосием Великим (395 г.) на две части между двумя линиями его дома: одна линия, в лице старшего сына Аркадия, утвердилась в Восточной, или Византийской империи (Bas-Empire) со столицей Константинополем; она продолжала свое непрерывное существование до завоевания ее турками-отоманами в 1453 году; другая линия, в лице младшего сына Гонория получила Западную империю со столицей Римом[1]. Последняя империя существовала всего 80 лет (395–476 гг.), а династия Феодосия прекратилась в ней еще ранее, с его внуком Валентином III, умерщвленным в 455 г. Убийца его, Петроний-Максим, провозглашенный императором, имел в том же году ту же участь; с того времени, как в древней империи после Августа преторианцы, императорская гвардия, возводят и низводят императоров по своему произволу. Поэтому в последние 20 лет существования Западной Римской империи (456–476 гг.), сам порядок событий может быть введен не по имени императоров, а по имени возводивших их на престол патрициев. Так, от 456 до 472 г. империей управлял предводитель германской дружины свевов Рицимер, а ти-

[1] Местопребыванием западноримских императоров с 404 г. была Равенна.



Дворец Теодориха в Равенне. Мозаика в церкви Сан-Аполлинаре-ин-Классе

тул императора при нем переходил пять раз, по его воле, от одного лица к другому; таким образом, следовали друг за другом: Флавий-Авит, Юлий-Майориан, замечательнейший из всего этого ряда, Юлий-Север, Антемий-Грек и Аниций-Олибрий. По смерти Рицимера его место занял племянник, предводитель бургундской дружины, Гундобальд (472–474 гг.). С того времени в Риме начинается борьба не столько за императорский престол, не имевший большого значения, сколько за титул патриция, который давал настоящую власть в империи. Гундобальд был изгнан новым патрицием Орестом, одним из сподвижников Аттилы, короля гуннов, который еще при Валентиниане III опустошил Западную империю и вынудил германцев окончить великое переселение народов за Рейн и Дунай. Орест свергнул императора Юлия Непота, возведенного Гундобальдом, и заменил его своим малолетним сыном Ромулом Августом, прозванным в семействе по своей молодости Августулом (Августик). Господство Ореста продолжалось два года (474–476 гг.); его соперник, предводитель дружины герулов, Одоакр (Otacher), получив титул патриция от Юлия Непота, вступил с ним в борьбу. Так в Риме явилось два патриция и два императора. Победа осталась на стороне Одоакра; он умертвил Ореста и сослал его сына Ромула на юг Италии, где он и жил до самой смерти на древней вилле Лукулла, близ Неаполя. Хотя место Ромула, в сане императора, занял Юлий Непот, но и он, подобно Ромулу, продолжал вести частную жизнь в своих далматских поместьях до 480 г., когда один из приближенных, по личной ненависти, умертвил его. С того времени Одоакр не возводил более никого на престол, и начал править Италией с местным титулом короля народов (rex gentium). Таким образом, Италия перестала быть центром всего Запада и сделалась в первый раз самостоятельным государством, со своим правительством, которое впоследствии должно было послужить центром к образованию итальянской национальности. Подобно Италии, около того времени явились и другие самостоятельные правительства в прочих провинциях бывшей Западной Римской империи – в Галлии, Британии, Испании и Западной Африке. Это явление и составляло внешнюю историю так называемого падения Западной Римской империи, имевшего своим последствием происхождение новых правительств, присоединивших к древнему римскому порядку вещей новый порядок, выразившийся в появлении новых законодательств, новых языков и новых нравов. (Подробное, основательное и живое изображение картины этой эпохи падения Западной Римской

империи см. у Am. Thierry: Récits de l'histoire romaine au V-e siècle. Par. 1860; русский перевод Клеванова. Москва, 1861).

Почти накануне падения Западной Римской империи, когда начало разрушаться политическое единство Древнего мира, возникла в первый раз мысль об универсальности (всеобщности) истории человечества, в которой отдельные народы как будто бы сменяют друг друга, стремясь к одной отдаленной общей цели. Древние народы принимали свою собственную историю за историю всего человечества; такова была история у восточных народов, у греков и даже у древних римлян. Универсальная Римская империя и универсальная христианская религия породили универсальную форму истории. Еще в первой половине IV столетия была сделана попытка составить подобный общий кодекс истории человечества: епископ Цезарейский Евсевий, современник Константина Великого, написал в 10 книгах первую Всемирную хронику, начиная с сотворения мира и следуя далее в порядке ассирийских и вавилонских династий, а потом римских консулов и императоров до 20-го года правления Константина Великого, то есть до 329 г. по Р. Х. Оригинальный греческий текст этой хроники дошел до нас только в латинском переводе св. Иеронима (род. в 331 г. в Далмации, ум. в 420 г.; жил большей частью в Вифлееме; полное издание его сочинений Maffei, Venetia, 1770; см. у Collombet: Histoire de St.-Jérôme, Par. 1846), который продолжил хронику Евсевия до 380 г., и в армянском, найденном в 1784 г. и изданном Анжело Майем в 1818 г. Труд Евсевия послужил основанием всех средневековых хроник, и потому справедливо можно считать Евсевия отцом универсальной истории в Средние века. Сто лет спустя после Евсевия явился другой новый кодекс универсальной истории, написанный испанским пресвитером Орозием (жил в конце IV и в начале V в.). Язычники обвиняли в то время христианское учение в падении древней религии и вместе с ней нравственности, что, по их мнению, было источником всех бедствий той эпохи. По совету св. Августина Орозий написал семь книг всемирной истории под заглавием «Adversus paganos historiarum libri VII» (против язычников семь книг истории), с целью защитить христианство и доказать, что бедствия мира предшествовали ему и были результатом язычества. Все средневековые хроники были и по форме, и по сущности продолжением трудов Евсевия и Орозия; особенно Орозий пользовался большой популярностью в Средние века, и еще в конце IX века англосакский король Альфред перевел хронику Орозия на народный язык (лучшее издание трудов Орозия сделал голландский ученый Havercamp, Leyd. 1738 г.,– превосходное исследование об Орозии, как источник всех средневековых хроник Beck, «De Pauli Orosii vita, fontibus et auctoritate». 1834; срав. Moerner «De Pauli Orosii vita, etc. Berol». 1844.

Начиная с V века, историографы переписывают или переделывают хронику Евсевия, и затем по его же методу продолжают, каждый до своего времен включительно. Так, в V столетии испанский епископ Идаций (Idacius) провел хронику Евсевия от того года, на котором остановился его продолжатель, св. Иероним, то есть от 380 г. до 468 г., за 8 лет до падения Западной Римской империи. Сам момент падения Западной Римской империи был занесен в хронику составителями последующего века (VI); между ними замечательнейшими были Marcellinus, канцлер императора Юстиниана, впоследствии comes Illyrici; он начал с того же времени, как и Идаций, но довел до 518 г.; и Cassiodorus, министр Феодорика Великого, остготского короля в Италии; по приказанию последнего он составил хронику по предшествовавшим образцам и довел ее до 519 г. Эпоха Кассиодора, по отношению хронологической системы, ознаменовалась введением нашей эры в историческое летосчисление: современник Кассиодора, Dionysius Exiguus (Дионисий Малый), родом скиф, ввел в первый раз христианскую эру, то есть обычай считать года от Р. Х. (Все поименованные хроники, продолжавшие Евсевия, собраны и изданы вместе у Roncalli, Veterum Latinorum scrirpt. Chron. T. II, с. 1, 161, 266 и др.).

Но все эти хроники времен падения Западной Римской империи, как и продолжа-

тели их в течение Средних веков, ограничиваются одной официальной историей или заносят на свои страницы бессвязные, отрывочные факты, перемежая их рассказами о слухах, не проверенных никакой критикой. Причины исторических явлений, скрывающиеся в экономическом, социальном и интеллектуальном быте общества, ускользали от составителей хроники V века, и современный историк должен потому обращаться, помимо хроник, к тем писателям V века, которые, вовсе не думая составлять историю своего времени, рассуждали сами с собой о совершившемся вокруг них, как Сальвиан, священник Марсельский, или переписывались с друзьями, как Сидоний Аполлинарий, епископ Клермонтский, и тем самым начертили живую картину внутренней жизни римского общества в эпоху его падения, то, что осталось совершенно незамеченным в сухих перечнях летописцев того времени.

Сидоний Аполлинарий

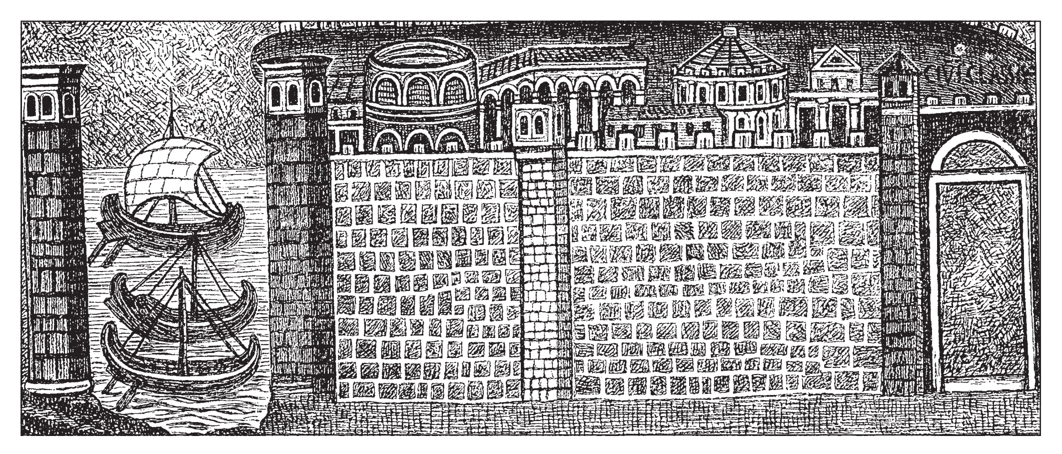
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ИТАЛИИ СОВРЕМЕННИКА ПАДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

(Письмо к Геронию, 467 г.)

По приезде в Рим я получил твое письмо, в котором ты убедительно просишь меня уведомить, идет ли, сообразно со всеобщим желанием, то дело, ради которого я предпринял свое путешествие из Галлии в Италию. Ты желаешь также знать, какими путями и как я странствовал, какие видел на дороге замечательные города, какие известные горы, какие долины, прославленные данными на них битвами; ты находишь удовольствие в том, чтобы познакомиться из верного рассказа очевидца с предметами, описание которых ты читал. Я рад выраженному тобой желанию узнать ближе подробности моего пути; такая любознательность идет прямо от сердца. Против принятого обычая я хочу с Божией помощью изобразить тебе приятную сторону моего путешествия, хотя наши предки любили начинать рассказом о своих бедствиях.

Покинув стены нашего Лиона, я поехал на почтовых (publicus cursus mihi usui fuit), так как я ехал по высочайшему повелению (sacris apicibus). На дороге мне встречалось много родных и знакомых; я опаздывал не по недостатку лошадей на станциях, а по изобилию в друзьях. Все меня обнимали и провожали пожеланиями счастливого пути и возвращения. Так я добрался до Альп; я переехал горы легко и скоро, между крутыми

СИДОНИЙ АПОЛЛИНАРИЙ (CAINUS-SOLLIUS-APOLLINARIS-SIDONIUS, 430–488). Принадлежал к одной из самых знатных фамилий в Галлии; отец и дед Сидония Аполлинария были префектами Галлии; сам он женился на Папианилле, дочери галльского патриция Авита, за которой он получил богатое поместье в Оверни – Авитакум. Возведение Авита на императорский престол открыло Сидонию дорогу к почестям, а панегирик, сказанный им тестю, доставил ему литературную славу. Свержение Авита в 456 г. Рицимером заставило Сидония удалиться в Галлию, где он должен был защищать родину и от Рицимера, и от вторжения вестготов. Майориан, возведенный на престол Рицимером по изгнании Авита, простил восстание Галлии, и Сидоний произнес как ему, так и Рицимеру, новый панегирик, принесший автору титул графа (comes). По умерщвлении Майориана (467 г.), жители Оверни послали к новому императору Антемию того же Сидония ходатайствовать по делам провинции, но Сидоний предпочел произнести третий панегирик Антемию и получил за то должность префекта Рима. Из этого-то путешествия в Италию Сидоний и писал к своим землякам в Галлию письма, составляющие живую картину римского общества перед его падением. Новые перевороты в Италии принудили Сидония по умерщвлении Антемия возвратиться на



Укрепленный порт в Равенне. Мозаика в церкви Сан-Аполлинаре-ин-Классе

скалами ужасающих горных вершин, по дорожке, проложенной по снегу. Если случались несудоходные реки, их можно было без труда перейти вброд или по крайней мере по мостам, укрепленным на сводах, воздвигнутых в древности, и связи которых идут от фундамента до дороги, усыпанной мелким камнем. В Тицино (Тессино) я сел на почтовую лодку (cursoria), на которой мы спустились в р. Эриданум (По); я много смеялся по поводу сестер Фаэтона (сына Аполлона), которых мы часто воспевали за столом, и тех золотых слез, которые они пролили перед обращением в дерево (см. Овидия, «Метаморфозы», кн. II). Мы проехали мимо устьев мутной реки Ламбры, голубоватой Адды, быстрого Адиджа, ленивого Минчио – рек, которые берут свое начало в горах Лигурийских и Эвганских; их берега покрыты лесами дубов. В них слышится сладкое пение птиц, гнезда которых качаются между тростников или на гибких ветвях кустарника, вся эта растительность, питаемая сыростью земли, рассеяна по берегам тех рек. Странствуя таким образом, я прибыл в Кремону, близкое соседство которой было когда-то оплакиваемо мантуанским Титиром (Вергилием). Потом, пока венетские гребцы переменялись с эмилиантскими, я сошел посмотреть Браксилуум (ныне Берселло, в Модене), и тотчас же воротился; взяв направо, мы приехали в Равенну: там, нельзя сказать, разделяет ли, или соединяет, дорога Цезаря старый город от нового порта. Река По расходится двумя рукавами: один пересекает оба города, другой омывает их. Эта река была прежде свернута в сторону от своего естественного

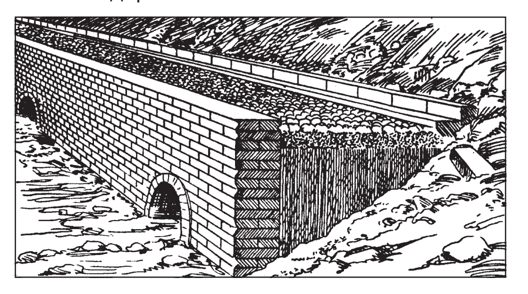
родину, где ему было предложено (471 г.) место епископа в г. Клермоне. В этом новом звании Сидоний принял на себя роль защитника Оверни от притязаний Еврика – вестготского короля, то вооружая против него своих соотечественников, то умилостивляя варваров своими литературными дарованиями и воспевая в стихах подвиги их королей. При такой разнообразной жизни письма Сидония касаются всех главных интересов того времени и служат живым изображением всех сторон тогдашнего общества как римского, так и варварского. По смерти Сидония в 488 г., Галльская церковь причислила его к лику святых. От литературной деятельности Сидония до нас дошли 9 книг его писем и 24 поэмы, написанные на различные случаи. Первое издание сочинений Сидония было сделано в Утрехте в 1473 г.; в XIX в. лучшее издание текста с французским переводом и комментариями принадлежит Grégoire et Collombet: Oeuvres de C.-Sollius Apollinaris Sidonius. Lyon et Paris, 1836 г. в 3 т. В Росии в XIX в. издано исследование проф. Ешевского «Сидоний Аполлинарий и его время» (М., 1855).

Рим. Капитолий. Гравюра. XIX в.

ложа противопоставленными ее течению плотинами; ныне она растекается по каналам таким образом, что в одно и то же время служит защитой города и средством к сообщению. В этом месте все благоприятствует торговле; но вместе с тем, так как морская вода стремится в каналы, а с другой стороны, густая грязь поднимается кверху барками, ходящими вниз и вверх, и шестами лодочников, то мы, среди воды, испытываем жажду. Впрочем, в целом городе не найдешь, чтобы вода в акведуках была чиста, чтобы колодцы были в порядке и чтобы источники не были мутны, а фонтаны грязны.

Выехав из Равенны, мы достигли Рубикона (новое название реки – Луза, а по другим источникам – Пизателла), названного так по красноватому цвету своих камешков. Эта река служила некогда границей цизальпинских галлов и древних италов, когда города, расположенные на побережье Адриатики, были разделены между этими двумя народами. Оттуда я приехал в Ариминум и Фан (Римини и Фано), города одинаково знаменитые: один восстанием Юлия Цезаря, другой смертью Аздрубала. Близ первого города протекает р. Метавр, составивший себе вечную славу в один день, как будто бы и до сих пор он несет на своих мутных волнах

Римская дорога



окровавленные трупы (карфагенян; битва их с римлянами, 297 г. до Р. Х.) в Далматское море. Далее, я только проезжал мимо городов, лежащих на Фламинской дороге (одно из древнейших шоссе Италии от Рима к Адриатическому морю); налево оставалась страна пиценов, направо – умбров. В этой-то местности или калабрийский атабул (холодный ветер), или заразительный воздух Тосканы, наполненный ядовитыми испарениями, или быстрые переезды и перемена теплой и холодной атмосферы истощили меня и я заболел. Лихорадка и жажда пожирали мои внутренности. Для утоления их я предлагал этим жадным гостям не только приятные воды фонтанов и скрытых источников, но и все, что попадалось мне на глаза: и прозрачные воды Фуцина (приток Тибра), и холодные – Клитумна, и голубые – Аниена (ныне Теверона), и серные – Наро, и светлые – Фабариса, и наконец мутные воды Тибра, но все было напрасно.

Наконец представился и Рим моим глазам; мне казалось от внутреннего жара, что я выпью все его водопроводы и навмахии (пруды для морских купаний). Прежде чем я вступил в городскую черту (pomoerium), я распростерся у подножия церкви апостолов (ныне собор св. Петра) и вдруг почувствовал, что утомление моих членов внезапно прошло. Испытав таким образом на себе чудесную помощь свыше, я отправился в гостиницу (conductum diversorium) и взял комнату; здесь-то я в эту минуту пишу тебе, лежа на кровати, чтобы немного отдохнуть. Я еще не подходил к шумным воротам дворца. Во время моего приезда праздновалась свадьба патриция Рицимера с дочерью Августа (Антемия), соединенных ввиду общественного спокойствия.

Среди всеобщей радости не только всех сословий, но и всех партий, я завидую тихому спокойствию, которым вы наслаждаетесь за Альпами. В эту минуту, когда я пишу тебе эти строки, везде наклеивают эпиталамии (брачные оды), на всех театрах, рынках, присутственных местах, площадях и на стенах храмов и гимназий (то есть мест для гимнастических упражнений). Классы в учебных заведениях закрыты, дела прекращены, суды умолкли, депутации отложены, и всякое важное предприятие должно уступить место фарсам и комедиям... Как только кончатся эти удовольствия, если только они могут кончиться, я сообщу тебе о ходе нашего дела. Прощай.

Т. I, кн. I, пис. 5, с. 20.

Ж. Мишле

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН ПАДЕНИЯ ДРЕВНЕГО ОБЩЕСТВА (1833 г.)

Большая часть римских Цезарей III в., провозглашенных провинциями и называемых обыкновенно тридцатью тиранами, были великие люди; но те, которые следовали за ними и восстановили единство империи, Аврелианы Пробы, были еще более велики. И между тем Империя разрушалась в их руках. В этом нельзя обвинять варваров: вторжение кимвров во времена республики было более страшно, чем во времена империи. Так же нельзя объяснить падения Римской империи личными пороками императоров. Наиболее жестокие из них, как частные люди, не были в то же время самыми худшими. Часто провинции отдыхали во время правления наиболее жестоких правителей, которые ручьями проливали кровь римской знати. Правление Тиверия было благоразумно и бережливо[1]; правление Клавдия кротко и снисходительно. Даже Нерон был оплакиваем народом, и долгое время его могила была украшаема живыми цветами[2]. Во время Веспасиана Лже-Нерон был принят с энтузиазмом в Греции и Азии. Гелиогабал, получив верховную власть, гордился тем, что его считали внуком Септимия Севера и сыном Каракаллы.

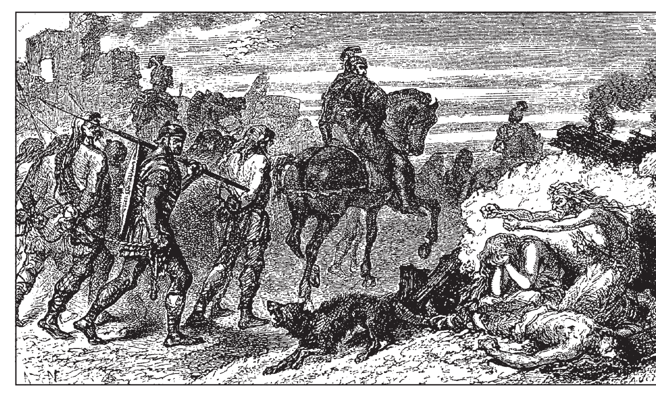
---

[1] О том свидетельствует даже сам Тацит. Annal. VI, 30, 17; Светоний in Tib. c. 32.

[2] Светон. in Nerone, c. 57.

При императорах провинции не меняли ежегодно своих проконсулов, как то было во времена республики. Дион приписывает Августу введение такой новой меры. Светоний порицает небрежность Тиберия за нарушение ее. Но Иосиф Флавий положительно говорит, что и Тиберий действовал в этом отношении как Август, чтобы «облегчить народ». В самом деле, проконсул, оставаясь в провинции более долгое время, знакомился с потребностями, приобретал некоторую привязанность к ней, был гуманнее, и все это умеряло деспотизм. Такой правитель не был, как во времена республики, арендатором, спешившим поскорее нажиться, чтобы после наслаждаться жизнью в Риме. Известна басня о лисице, у которой мухи сосали кровь; она отказывается на предложение ежа смахнуть их: другие налетят голодные, а эти по крайней мере уже насосались досыта, отвечала она.

Прокураторы, люди низкого происхождения, креатуры цезарей и ответственные перед ними, должны были бояться их надзора. Желать обогатиться – значило искушать жестокость властелина, который, по одному корыстолюбию, был уже строг. Этот властелин был судьей как для первых, так и для последних лиц в государстве. Цезари



Пленные

сами творили суд. У Тацита один подсудимый, боясь предубеждений народа и сената, предпочитает суд Тиберия, как стоящего выше всяких интриг; он думал, сверх того, что один судья лучше распознает истину. Во время Тиберия и Клавдия подсудимые избегали осуждения, подавая апелляцию на имя императора. Клавдий, побуждаемый взять на себя суд в одном деле, где были затронуты и его интересы, объявляет, что дело будет разбирать он сам, чтобы показать, в касающемся лично его случае, насколько он может быть справедлив и к интересу другого; никто, без сомнения, не

ЖЮЛЬ МИШЛЕ (JULES MICHELET, 1789–1874). Знаменитый французский историк романтического направления, родился в 1789 г. в семействе бедного типографщика, получил высшее образование под руководством лучших профессоров Сорбонны: Вильменя и Леклерка, и начал свою деятельность учителем истории в коллегии (гимназии) св. Варвары в Париже, 1821 г. В 1826 г. он издал свои синхронистические таблицы новой истории и вслед за тем «Précis de l'histoire moderne» – произведение, которое и до сих пор остается замечательным в этом роде. Известность Мишле началась с издания им перевода «Новой науки» Вико: он первый обратил во Франции всеобщее внимание на забытого всеми гения прошедшего столетия. Наградой Мишле было место профессора истории в Ecole Normale (1827 г.), а в 1838 г. он получил кафедру истории в Collège de France, где и составил себе европейскую славу. Из произведений Мишле самое замечательное и обширное «Histoire de France», начатое в 1833 г.; впрочем, последние тома, начиная с XVII столетия, не представляют серьезного изучения событий. Из дру-гих произведений Мишле обращают на себя внимание: 1. «Histoire romaine», в 2 томах, 1831 г.; 2. «Histoire de la Révolution», 1847–1856 гг., и 3. «Memoires de Luther, écrits par lui-méme, traduits et mis en ordre», 1825. Политические перевороты Франции, последовавшие за Февральской революцией 1848 г., были причиной удаления Мишле от всякой общественной деятельности и сообщили его духу то настроение, под влиянием которого он написал свои последние произведения: «l'Oiseau, l'Insecte» и многие другие. Умер Жюль Мишле в 1874 г.



Разграбление Рима. Средневековая иллюстрация к произведению блаженного Августина «О граде Божием»

осмелился решить дело против выгод императора.

Домициан производил суд весьма тщательно и с умом; часто он уничтожал решения центумвиров, подозреваемых в пристрастии по интриге. Адриан в делах, подлежащих его суду, советовался не с приближенными, а с законоведами. Сам Септимий Север, этот суровый воин, не уклонялся от этой обязанности и, отдыхая на своей вилле, производил суд и охотно входил в мелочные подробности дела. Юлиана также хвалят за его усердие к исполнению должности судьи. Такая ревностность императоров к гражданской справедливости уравновешивала большую часть зол империи; она должна была внушить полезный страх судьям-



Пленный германец. Римский триумфальный барельеф. Рим. Ватиканский музей

притеснителям и уничтожить, в мелочах, бесконечное множество всеобщих злоупотреблений.

Даже во времена самых дурных императоров гражданское право всегда получало счастливое развитие. Юрисконсульт Нерва, дед императора того же имени (ученик республиканца Лабеона, друг Брута и основатель стоической школы законоведения) был советником такого императора, как Тиберий. Папиниан и Ульпиан имели силу во времена Каракаллы и Гелиогабала, как Дюмулен, Л'Опиталь, Бриссон, в эпоху Генриха II, Карла IX и Генриха III. Гражданское право, приближаясь более и более к естественной справедливости и, следовательно, к здравому смыслу народов, сделалось сильнейшей опорой империи и некоторой компенсацией за ее политический деспотизм.

Этот деспотизм императоров и еще более тяжкий деспотизм чиновников не был, таким образом, главной причиной разрушения империи. Существенное зло, которое ее подрывало, не заключалось ни в правительстве, ни в администрации. Если бы оно в самом деле состояло в одной администрации, то сколько было добродетельных и великих императоров, которые могли бы исцелить зло. Но это было общественное зло, источник которого не мог иссякнуть, пока новый человек не сменил древнего. Таким злом было рабство; другие язвы

Надгробие раба с его изображением



империи, по крайней мере, большая часть из них, как, например, поглощение фиском народного богатства, постоянное возрастание нужд правительства, опиравшегося на одну военную силу,– все это было только результатом, прямым или косвенным последствием коренного зла. Рабство не было изобретением императорского правительства. Мы находим его у всех народов Древнего мира. Все историки свидетельствуют о его существовании, например в Галлии еще до покорения ее римлянами. Если рабство представляется нам в более ужасающем и бедственном виде во времена империи, то причина того, во-первых, состоит в том, что римская эпоха нам известна более предыдущих; во-вторых, древняя система государственного устройства была основана на войне и на победе человека над человеком (промышленность же есть победа человека над природой); эта система, от одной войны до другой, от рабства к рабству, должна была наконец заключиться страшным безлюдьем. Какой-нибудь народ древности мог, как американские дикари, гордиться тем, что он успел поглотить, например, пятьдесят наций.

Класс мелких собственников почти исчез во времена империи; их сменили богатые землевладельцы, обрабатывавшие поля силами рабов. Но рабы-земледельцы от тяжелых работ стали вырождаться и редеть, то же случилось и с рабами-ремесленниками. Принадлежа, большей частью, к образованным национальностям древности – это были греки, сирияне, карфагеняне, – они занимались ремеслами для комфорта своих владетелей. Новые рабы, которыми они были заменены – фракияне, германцы, скифы, – могли только грубо подражать образцам, оставшимся от первых. От подражания к подражанию, все предметы, добываемые ремеслом, делались грубее и грубее. Люди, способные к усовершенствованию производства, встречались все реже, с каждым днем поднимались цены на продукты. В той же пропорции должно было расти жалованье тех, которые служили государству. Бедный солдат, получавший нищенскую плату за свой труд, был вынужден беспрестанно жаловаться и стремиться к переворотам, хотя много говорят против насилия и жадности римских солдат, которые для увеличения оклада возводили и низводили императоров. Обвиняли Севера и Каракаллу в жестоких насилиях, которые истощали страну для прокормления солдат, но подумал ли кто-нибудь о чрезмерных ценах на те вещи, которые приходилось им покупать из своего ограниченного жалованья? У Тацита возмутившиеся солдаты говорят: «Нашу кровь и жизнь ценят в день в 10 ассов (в эпоху падения асс = 7 сантимам, и 16 ассов соответствовали 1 франку); а этого не хватит на платье, оружие, палатку; еще надобно платить за отпуск и откупаться от жестокости центуриона» и т. д.

Hist. de France. Par. 1835. I, 90–97.

Сальвиан

РАССУЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННИКА-ОЧЕВИДЦА О ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (около 450 г.)

Мы (то есть римляне) заботимся об обращении в христианство готов и вандалов, но чем мы сами лучше их? В отношении взаимной любви и милосердия (а Господь ставит эту добродетель на первое место и не только через Священное Писание указывает на нее, но и сам говорит: «Если будете любить друг друга взаимно, то тем покажете, что вы мои ученики». Иоан, 13), почти все варвары, принадлежа к одному племени и управляемые одним королем, связаны друг с другом, а у римлян почти все преследуются обоюдно. Какой гражданин у нас не ненавидит другого гражданина? Кто вполне расположен к своему соседу? Все далеки друг от друга если не местом, то сердцем: живут в одном доме, а в мыслях разделены. О, если б это худшее из всех зол ограничивалось согражданами и соседями! Родственники не чтут уз родства.

Кто бывает близок со своими близкими? Кто считает себя обязанным к милосердию хотя бы по имени? Кто из родственников по сердцу или по крови не снедается злобой, у кого чувство не облито желчью, кто не казнится благополучием другого? Кто не считает чужого счастья своим бедствием? Кто доволен своим счастьем настолько, чтобы пожелать того же и другому? Большая часть людей заражена новым и неизмеримым злом: никто не считает себя счастливым, пока не видит других несчастными. А то жестокое зло, которое рождается из того же источника и которое столько же чуждо варварам, сколько привычно для римлян, то зло, что они разоряют друг друга налогами? Впрочем, и не друг друга: было бы гораздо сноснее, если бы каждый заставлял другого терпеть то, что он сам переносит; но хуже всего то, что большинство обирается меньшинством, и общественные подати обратились в частную добычу; так смотрят не только высшие сановники, но и всякая мелочь, не только судьи, но и им подчиненные чиновники.

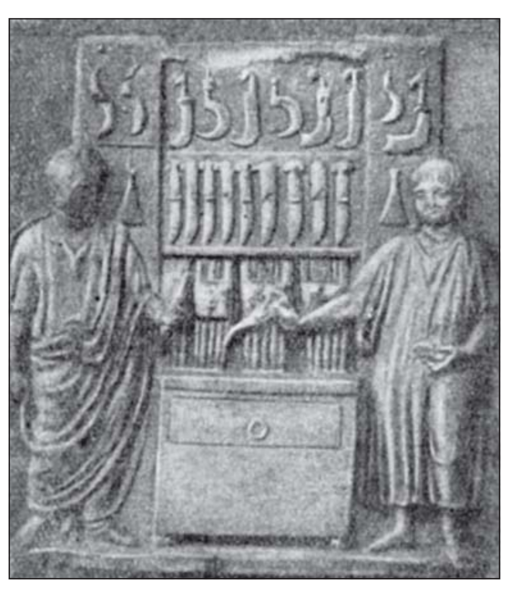
Найдется ли город, община или село, где не было бы столько же тиранов, сколько куриалов (то есть граждан, несущих повинности)? Чиновники гордятся таким прозвищем, потому что оно дает силу и почесть; подобно тому, и воры радуются и торжествуют, когда их считают более ужасными, нежели каковы они на деле. Еще раз повторяю: существует ли такой город, в котором начальники не пожирали бы средства к существованию вдов и сирот, а вместе с тем и всякую святыню? Духовные имеют ту же участь; они не хотят защищать себя или потому, что по своему званию презирают земные блага, или потому, что не могут, не имея другой опоры, кроме своей невинности и смирения. Таким образом, у нас никто не считает себя в безопасности; и если вы исключите тех, которые по своей власти и связям стоят вне грабежа или сами участвуют в нем, то ни один человек не ускользает от жадности этого особенного рода воров. Дело дошло до того, что только тот и безопасен, кто имеет силу подвергать другого опасности.

САЛЬВИАН (SALVIANUS MASSILIENSIS). Марсельский пресвитер, жил и писал в середине V столетия, от его литературной деятельности до нас дошли следующие сочинения: «De gubernatione Dei» («О мироправлении») в 8 книгах; «Adversus avaritiam» («Против жадности») в 4 книгах и 9 писем. Подробности его жизни остались совершенно неизвестными; из отдельных мест его сочинений видно только, что он родился в окрестностях г. Кёльна. Нравственное влияние на современников Сальвиана было так велико, что ближайшее потомство придало ему титул епископа, которого он никогда не имел, оставаясь до смерти простым священником. В своем сочинении «De gubernatione Dei» (в древнейших списках оно называется «De providentia ac justitia Dei») Сальвиан доказывает неосновательность ропота на провидение людей, которые хотели сложить с себя вину в общественных бедствиях, и по этому поводу автор представляет подробный и глубокий анализ нравственного состояния римского общества незадолго до его окончательного падения. Дополнением к этому сочинению служит другое произведение Сальвиана «Adversus avaritiam», в котором автор бичует пороки, вкравшиеся в само христианское общество, и в особенности в его представителей, начиная от самого низшего духовенства и до епископов: «Hoc malum ad Levitas etiam atque Presbiteros, et quod his feralius multo est, etiam ad Episcopos pervenisse», – говорит он в девятом письме, которое служит предисловием к сочинению «Adversus avaritiam», бывшему известным под псевдонимом: «Thimothei ad ecclesiam catholicam», то есть «Послание Тимофея к Католической церкви». Лучшее издание сочинений Сальвиана с подробными комментариями сделано еще в XVII в. Стефаном Балузием: Sanctorum presbyterorum Salviani Massiliensis et Vincentii Lirinensis opera. Par. 1684. Новейшее издание. Gregoire et Collombet; французский перевод P. Bonnet. См. также у *Migne.* Patrologiae cursus competus, etc. 1857, т. XLIII.



Надгробный камень с изображением римской семьи за работой

Лавка ремесленника.
Барельеф императорской эпохи



Но неужели среди этого множества злодеев не найдется людей добродетельных, которые оказали бы покровительство честным людям, которые, по выражению писания, исторгнули бы бедного и нищего от рук грешников? Нет человека, который сделал бы добро; нет, или всего только один. Так мало добрых, что сказано: всего только один (Псал. 13). На самом деле, находят ли несчастные где-нибудь помощь для себя, когда даже пастыри церкви не имеют довольно твердости, чтобы удерживать от насилия угнетателей. Между этими пастырями одни хранят молчание, а другие говорят так, что лучше бы они молчали; нельзя сказать, чтоб им недоставало смелости, но их удерживает расчет и политика. Они не хотят высказывать горькую истину, потому что бесчестные люди не в состоянии вынести ее; их избегают и преследуют ненавистью и проклятиями. Не уважая и не боясь слова пастыря, они презирают его по своей необузданной гордости. И потому молчат те, которые могли бы говорить, пока не трогают их самих. Они не осмеливаются открыто противопоставлять им силу истины, по страху уколоть их истиной и возбудить к большим преступлениям. А между тем бедные разграбляются, вдовы стонут, сироты угнетены до того, что многие, принадлежа к известной фамилии и получив хорошее воспитание (liberaliter instituti), бывают вынуждены искать убежища у неприятелей римского народа (германцев), чтобы не сделаться жертвой несправедливых преследований; они идут искать у варваров римского человеколюбия (romanam humanitatem), потому что не могут перенести у римлян варварской бесчеловечности. Хотя они чужды варварам, к которым бегут, и по нравам, и по языку, хотя их поражает грязный образ жизни варваров, но, несмотря на все то, им легче привыкнуть к варварскому быту, нежели переносить несправедливую жестокость римлян. Они идут на службу к готам или бакаудам, или к каким-нибудь другим повсюду господствующим варварам, и не раскаиваются в своем поступке. Они предпочитают жить свободно, нося звание рабов, нежели быть рабами, сохраняя одно имя свободных. В прежнее время высоко це-

нилось и дорого покупалось звание римского гражданина; теперь же от него отказываются, так как оно сделалось презренным и отвратительным. Итак, я спрашиваю, какое мы могли бы представить более сильное доказательство римской несправедливости, как то, что лучшие люди, которым Рим обязан своей славой и честью, доводятся до того, что не хотят быть римлянами? По той же самой причине и те, которые не бегут к варварам, стараются на месте сделаться варварами: таким образом, большая часть Испании и не малая часть Галлии, наконец, все те, которые на римском шаре (per universum Romanum orbem) оскорблены римской несправедливостью, перестали называть себя римлянами.

Теперь поговорим о бакаудах (bacaudi[1]): с ними обращались жестоко, их грабили и казнили несправедливые и кровожадные судьи; потеряв право римской свободы, они не дорожили честью римского имени. И мы вменяем им в преступление их несчастье, даем им ненавистное имя, которое сами сделали. Мы считаем их мятежниками, называем потерянными людьми, после того как сами принудили их к преступлению. Что же сделало их бакаудами, как не наши насилия и неправда наших судей, как не пени и грабежи со стороны тех, которые обратили общественные подати в свой частный доход и сделали налоги своей добычей? Они, наподобие хищных зверей, не жуют, но глотают свою жертву; они не только грабят, как разбойники, одно имущество, но раздирают жертву и, так сказать, пьют ее кровь; вот каким образом люди, задушенные и раздавленные разбоем судей, обратились в варваров; им не было позволено оставаться римлянами. Пришлось привыкнуть быть тем, чем не были, когда не позволяли быть тем, чем прежде были; им остается защищать жизнь, потому что свобода давно уже потеряна. Теперь продолжается то же, а именно, что те, которые еще не сделались бакаудами, вынуждены скоро сделаться ими. Мы своими насилиями побуждаем их к бакаудству, и только по малодушию некоторые из них не решаются на последний шаг. Они стонут под игом своих врагов и переносят насилия по необходимости, а не по охоте; в душе они желают свободы, но изнемогают под тяжестью рабства. Так бывает со всеми униженными; одно и то же обстоятельство производит в них двоякое явление: насилие, испытываемое ими, побуждает их искать средств сделаться свободными; но в то же время это же самое насилие ставит их в невозможность привести свое намерение в исполнение. Напрасно обвиняют таких людей в том, что они желают иногда того, чего не пожелали бы, если бы их не принудили к тому. Действительно, они часто желают того, что может составить их несчастье; но они не пожелали бы, если бы не были к тому вынуждены. Чего же могут желать эти несчастные при угнетениях их беспрестанными налогами, когда над ними висит тяжелая и нежданная проскрипция, и они покидают свои дома из страха найти в них место своих мучений, так что изгнание представляется им единственным средством против угнетения? Даже сами неприятели кажутся им менее ужасными, чем те, которые разоряют их

Кузница.
Барельеф императорской эпохи



[1] По другим спискам Bagaudi; так назывались в то время восставшие крестьяне в Галлии, что на туземном кельтском языке означало «сжигатель».



Паннонский ростовщик.
Рельефное изображение на надгробном памятнике

поборами; опыт убеждает их в справедливости этого: у неприятеля они спасаются от насилия. Как все это ни бесчеловечно и ни жестоко, не было бы менее тягостно, если бы все одинаково и сообща терпели; всего же недостойнее то, что общая тяжесть выносится не всеми; налоги падают даже на самых бедных людей в пользу богатых, и слабейшие служат опорой сильнейшим. Причина же, почему они не могут выносить такого состояния, заключается в том, что тяжесть, несомая бедными, превышает их силы. Потому-то они вызывают против себя двух весьма различных врагов – корысть и бедность: корысть вооружается против них, потому что они отказываются платить; бедность угнетает их, потому что ставит в невозможность удовлетворять чужой корысти. Судя по тому, что они должны платить, ты сочтешь их богатыми, а по их действительному имуществу ты примешь их за нищих. Кто может одобрить дело такой несправедливости?

Но вот обстоятельство еще более вопиющее. Люди богатые увеличивают налоги, а бедные их платят. Ты скажешь: но богатые принадлежат к высшему цензу, каким же образом они захотят увеличить и свои налоги? Я не говорил, что они себе увеличивают, они именно увеличивают другим, потому что могут в то же самое время не увеличивать себе. Объясню, как это бывает возможно. Являются, например, в провинцию новые посланцы (novi nuntii) или секретари (epistolarii), присланные из высших сфер (a summis sublimitatibus); они снабжены рекомендацией к местным властям, и вот источник всеобщего разорения. Гостям нужно поднести новые подарки, а для того нужно сделать новый побор. Власти и назначают сколько должны внести бедные, и таким образом толпа нищих осуждается заплатить за любезность богатых к своим гостям. Во всех таких случаях богатые назначают количество побора, не испытывая сами его тяжести.

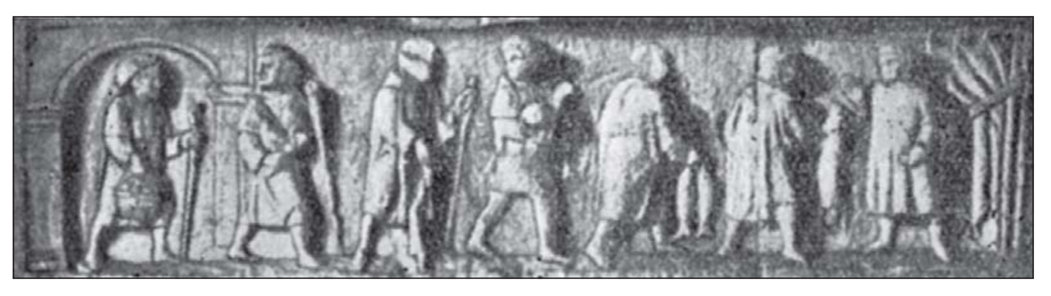
Но ты скажешь, можно ли не почтить и не принять щедро посланного от высших лиц? Пусть так; но вы, богатые, бывая первыми при назначении налогов, будьте первыми и при взносе их. Будьте первыми в щедрости, как вы бываете первыми при расточении комплиментов (in liberalitate verborum). Ты даешь из моего кармана, дай и из своего (qui das de meo, da et de tuo). Было бы даже весьма справедливо, чтобы расходы на всякого рода торжественные приемы падали исключительно на тех, которые рассчитывают при этом на благоволение. Но мы, бедные, повинуемся вашей воле; что вы, немногие, повелеваете, то мы все исполняем. Что же в этом, однако, справедливого и человечного? Над нами тяготеют подати, определенные вашими декретами. Мы желаем не больше как того, чтобы подати были общи и для нас, и для вас. Что может быть несправедливее и недостойнее, как то, что вы освобождаете себя от податей, вы, которые других осуждаете на плату. При этом несчастные бедняки, внося подати, совершенно не знают, для чего и почему они платят. Кому позволено рассуждать, для чего он платит, или кто может исследовать вопрос, сколько платить? Но все это делается очевидным, когда богатые вздумают поссориться друг с другом, когда некоторые из них сочтут себя обиженными тем, что какое-нибудь постановление сделано без их ведома и согласия. Тогда такие сами кричат: «О недостойное дело! Двое или трое определяют то, что давит многих; несколько знатных назначают налог, который придется нести всем бедня-

кам». Но такие люди только по самолюбию протестуют, потому что не спросили их при издании постановления, а не по чувству справедливости, которое не позволило бы им ни в каком случае согласиться на несправедливое. Потом эти же самые люди делают то же, что осуждали в других, или по желанию выместить за оказанное им прежде неуважение, или по заразительности власти (propotestatis praesumptione). Вследствие того, несчастнейшие бедняки видят себя всегда между двух столкнувшихся бурь среди моря: сегодня на них обрушиваются волны с одной стороны, а завтра – с другой.

При увеличении налогов бедных угнетают первыми, и последними вспомнят, когда дело идет об облегчении. Еще недавно, когда бедствия городов принудили высшую власть уменьшить налоги, это облегчение, которое должно было распространяться одинаково на всех, было отнесено к одним богатым. Кто вспомнил при этом о бедных? Кто пригласил униженных и нуждающихся в облегчении налогов? Их первых вспоминают при увеличении, а при уменьшении они остаются позади всех. Короче, о податных бедняках вспоминают только при увеличении налогов; но при облегчении их выключают из числа податных. И мы думаем, обращаясь с бедными с такой жестокостью, что мы не заслуживаем Божеского наказания, и верим, что нам позволено быть несправедливыми, а Бог не будет справедлив в отношении нас. Где и у кого, как не у римлян, можно найти такое зло? Чья несправедливость превышает нашу? Франки не знают такого зла; его нельзя встретить и у гуннов. Ничего подобного у вандалов, ничего подобного у готов. Это зло чуждо готам до того, что даже римляне, живущие среди них, не испытывают его на себе. Единственное желание всех римлян состоит в том, чтобы не пришлось опять когда-нибудь подпасть под римские законы. Единственная и всеобщая мечта римского простолюдина (romanae plebis) относится к тому, чтобы жить с варварами. И мы еще удивляемся, что не можем победить готов, когда сами римляне предпочитают быть с ними, нежели с нами. Итак, наши братья не только не желают перейти от готов к нам, но еще к ним бегут и нас покидают. По этому поводу меня удивляет только одно обстоятельство: отчего не все наши податные бедные и несчастные обращаются к этому средству, чтобы спастись от угнетения? Их удерживает одна трудность перенести с собой в чужую землю свою рухлядь, свои хижины и свое семейство. Многие оставляют свои огородишки и домишки, чтобы спастись от притеснений, и как им не желать уйти оттуда, откуда их гонят, и унести с собой что-нибудь, если откроется к тому возможность. В случае же совершенной невозможности того, чего они так сильно желают, они обращаются к последнему средству. Они отдают себя под покровительство и защиту богатых, делаются их крепостными (dedititii), и, так сказать, предают себя их власти и суду (in jus eorum ditionemque transcendunt[1]). Я не осуждаю, впрочем, эту меру; я был бы даже готов похвалить богатых, в руки которых

[1] Из этого бедственного положения римских поселян могли развиться впоследствии феодальные права; римское правительство строго преследовало такое patrocinium (см. Код. Феодос. г. 395, 396, 399), но факт одержал верх над законом.

Колоны, несущие оброк (один несет зайца, другой – рыб, третий – козленка, четвертый – угря, пятый – петуха, шестой – фрукты). Рельеф надгробного памятника. Современное состояние



предают себя бедные, если бы они предлагали защиту бедным по человеколюбию, а не по своекорыстию, и не торговали бы своим покровительством (patrocinia). Но то ужасно и бесчеловечно, что своим покровительством они грабят бедных и, защищая несчастных, делают их тем еще более несчастными. Всякий для приобретения защиты должен предварительно отдать своему защитнику (defensor) почти все свое достояние, так что отцы получают защиту ценой лишения наследства детей. Безопасность отцов приобретается нищетой их потомства. Вот какова помощь и покровительство богатых. Получая, они ничего не дают и все берут себе. Этими договорами облегчается временно участь родителей, но в будущем все отнимается у детей. Итак, богатые продают свои услуги за высокую цену. Я говорю: продают; о, если бы они только продавали по общепринятому в торговле обычаю, тогда что-нибудь осталось бы и покупателю; но они изобрели новый род покупки и продажи, по которому продавец ничего не продает, а все получает, покупатель же ничего не получает и почти всего лишается. При всякой торговой сделке у покупателя увеличивается число вещей, у продавца оказывается недочет, потому что покупатель приобретает для умножения имущества, а продавец лишается проданной вещи; но что это за неслыханный род торговли: у продавца увеличивается имущество, а покупатель остается при нищенской суме! Что сказать о другом нестерпимом и чудовищном зле, которое не только ум человека не может переварить, но и слух не может вынести: эти бедные и несчастные, потеряв имущество, не теряют обязанности платить за него подати; отказавшись от права владения, несут подушный оклад (capitatio). Имущества уже нет, но налоги гнетут. Кто может себе представить такое зло? Их имуществом владеют злоупотребители, а бедные несут за них подати. Дети, по смерти отца, не наследуют его полей, но угнетаются теми же полевыми повинностями. Вследствие таких злодеяний они от частного грабежа теряют имущество, а от общественных повинностей – жизнь: грабеж отнимает достояние, а подати – живот. Вот почему некоторые из тех, о которых мы говорим, или будучи благоразумнее, или наученные опытом, после того как они потеряли свои дома и поля или от частного завладения, или спасаясь бегством от сборщиков и бросая свое достояние, которое не могли сохранить,– берут землю у знатных в аренду (fundos majorum expetunt) и делаются фермерами (coloni) богатых. Таким образом, подобно тем, которые при вторжении неприятеля ищут спасения в крепости, или тем, которые, потеряв защиту законов, с отчаянием прибегают в места убежища (ad asilum aliquod), фермеры не ищут родного очага, не домогаются достоинства предков, но налагают на себя ярмо и доводятся до такой крайности, что теряют права и имущества и состояния, изгоняются не только из имения, но, так сказать, из самих себя, и, лишаясь всего, лишаются и собственности, и права свободы.

Но ко всему этому вынуждает необходимость, и участь их была бы еще сносной, если бы к ней не присоединялось самое последнее бедствие. Это-то и ужасно, и горько, что с этим злом сопряжено еще большее зло. Фермеров принимают как гостей, но скоро их обращают в туземцев; как одна злая волшебница превращала людей в животных, так и эти несчастные, взявшие аренду у богатых, подвергаются известной метаморфозе, совершенной напитком Цирцеи. В самом деле, богатые собственники, приняв фермеров как поселенцев, начинают с ними обращаться как с крепостными; люди свободные обращаются в рабов. И мы удивляемся, как варвары могут брать нас в плен, когда мы сами полоним своих братьев? Нет ничего удивительного, что наши неприятели (германцы) так легко опустошают и грабят целые страны.

De Gubernatione Dei, кн. V, 4–9.

Ж. Мишле

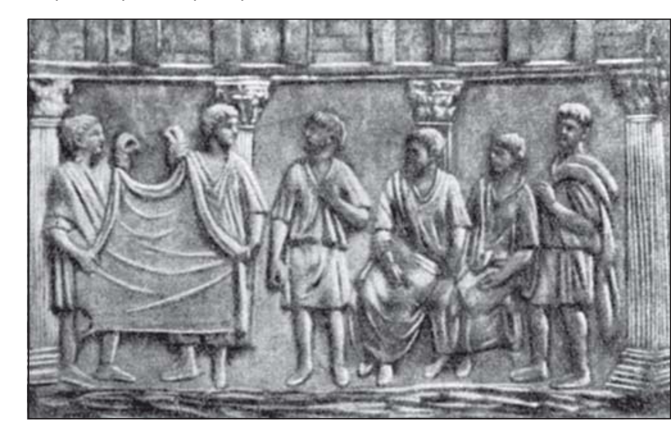
ОБЩАЯ КАРТИНА РИМСКОГО ОБЩЕСТВА ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (1833 г.)

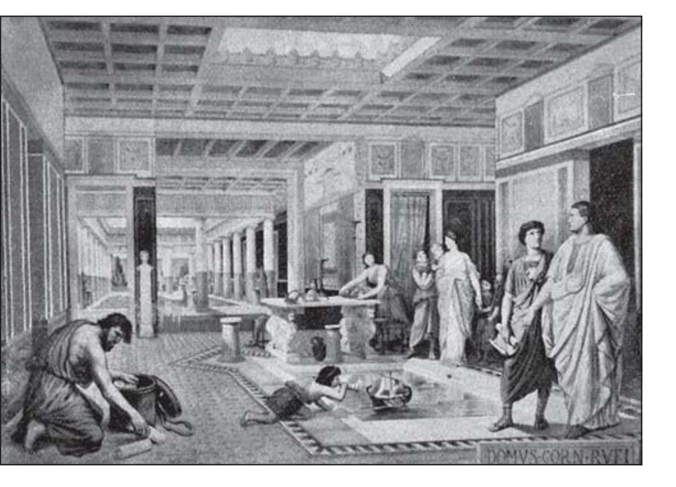
Древнее общество, отличаясь многим от нашего, не умело непрерывно возобновлять свои богатства. Постоянно потребляя, но не производя более, после того как производящие сословия были разорены рабством, общество требовало все более и более от земли, а руки, которыми обрабатывалась эта земля, с каждым днем становились все малочисленнее и неспособнее.

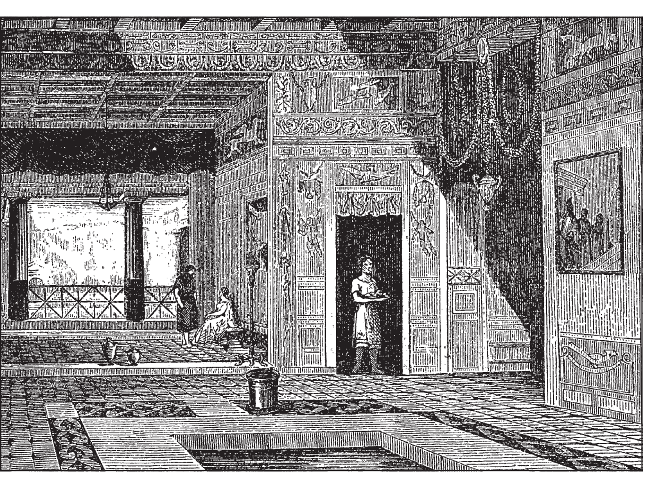
Нет ничего ужаснее картины Лактанция (писатель IV в.), изображающей эту смертельную борьбу между алчным фиском и обессиленным народом, который мог страдать, умирать, но не платить. «Число сборщиков податей,– говорит он,– в сравнении с теми, которые должны были платить столь чрезмерные налоги, сделалось так велико, что у земледельцев не хватило сил; поля обращались в пустыни и обработанные земли покрывались лесами... Я не знаю, сколько должностей и чиновников обрушивалось на каждую провинцию, на каждый город, под именами Magistri Rationales, наместники префектов. Все эти люди пускают в ход одни приговоры, конфискации и насилия, не только часто повторяющиеся, но постоянные и соединенные с невыносимыми оскорблениями... Но всеобщее бедствие, всеобщая печаль последовали только тогда, когда бич ценза проник в провинции и города; цензоры распространились повсюду и разорили все: это было похоже на нашествие неприятелей, город, взятый штурмом. Поля измеряли до последнего клочка, считали деревья, корни винограда. Записывали число животных, переписывали поголовно людей. Слышны были только бичи, крики мучений; мучениями выпытывали ложные показания у верного раба против своего господина, у жены против мужа, у сына против отца; за недостатком свидетельств их самих мучили для вынуждения показаний против самих себя; и когда они уступали, побеждаемые болью, записывалось еще и то, чего они не говорили. Не было снисхождения ни к старости, ни к болезни; приносили больных, дряхлых. Годился возраст всякого, прибавляли лета детям, уменьшали старикам; все было полно уныния и смущения. И еще не удовлетворялись этими первыми агентами, посылали всегда других, чтобы лучше расследовать; и тягости всегда удваивались, потому что эти, не находя ничего, на всякий случай прибавляли, чтобы не показаться недеятельными. Между тем количество животных уменьшалось, люди умирали, и тем не менее установлена была подать за мертвых».

На кого падало столько оскорблений и притеснений, терпимых людьми свободными? На рабов, на колонов или зависимых землепашцев, положение которых с каждым днем приближалось к рабству. На них-то владельцы вымещали все оскорбления и взятки, которыми их отягощали императорские чиновники. Их бедность и отчаяние достигли высшей степени в эпоху, картину которой рисует Лактанций. Тогда все рабы Галлии взялись за оружие, под именем багаудов. В короткое время они овладели всеми селами, сожгли многие города и произвели более опустошений, чем варвары. Они избрали двух предводителей, Элиана и Аманда, которые, по преданию, были христиане. Нет ничего удивительного, что такое

Продажа сукна.
Барельеф императорской эпохи









Интерьер римского дома

обращение к естественным правам человека частью было внушено учением христианского равенства. Сальвиан особенно сожалеет о их злополучии...

Восшествие на престол Константина и утверждение христианства было эпохой радости и надежды. Рожденный в Бретани, как и отец его, Констанций Хлор, был сын и питомец Бретани и Галлии. По смерти отца он уменьшил число тех, которые платили поголовную подать в Галлии, от 25 до 18 тысяч. Армия, с которой он победил Максенция, принадлежала большей частью этой последней провинции.

Законы Константина есть законы руководителя партии, который представляется империи как освободитель и спаситель. «Подальше,– восклицает он,– подальше от народа хищные руки фискальных чиновников! Все пострадавшие от их грабительства могут объявить то правителям провинций. Если и эти будут потворствовать, мы дозволяем всем обращаться с жалобами ко всякому графу (comes) провинции или префекту претории, если он находится в соседстве, для того, чтобы, узнав о таких грабительствах, мы могли искупить их наказанием, которого они заслуживают».

Эти слова оживили империю. Уже один вид торжествующего креста успокаивал сердца. Этот знак всеобщего равенства возбуждал неопределенную и неизмеримую надежду. Всем казалось, что приблизился конец бедствий.

Между тем христианство нисколько не помогло материальным бедствиям общества. Христианские императоры, подобно своим предшественникам, не исцелили их. Все попытки, которые были сделаны, доказывали только окончательное бессилие закона. В самом деле, что он мог сделать, вращаясь в безвыходном кругу? Если он старался, страшась уменьшения народонаселения, облегчить участь колона, защитить его от владельца, тогда владелец кричал, что он не может более платить налогов; если он оставлял колона, предавал его владельцу, погружал его в рабство, усиливался прикрепить к земле – тогда несчастный колон умирал или убегал, и земля оставалась необработанной. Со времен Ав-

густа законы всем жертвовали ради интересов населения, даже нравственностью. Пертинакс обеспечивал собственность и давал льготу от налогов на десять лет тем, которые займут пустопорожние земли в Италии, провинциях и у союзных королей. Аврелиан подражал ему. Проб был принужден переселить людей с их стадами из Германии для обработки земли в Галлию. Он приказал пересадить туда виноградные лозы, уничтоженные Домицианом. Максимин и Констанций Хлор переселили франков и других германцев в пустыни Геннегау, Пикардии и Лангра; а между тем безлюдье увеличивалось в городах и селах. Некоторые граждане переставали платить налоги: потому те, которые еще оставались, платили более. Жадный и безжалостный фиск пополнял дефицит на куриалах и городском магистрате.

Если кто хочет видеть зрелище народной агонии, тому стоит пробежать ужасный свод постановлений, которым империя старалась удержать гражданина в городе, давившем его и обрушившемся на него. Несчастные куриалы, одни имевшие еще поместья при всеобщем обеднении, называются невольниками и рабами общественного дела. Им предоставлена честь управлять городом, распределять налоги по своему усмотрению; но недостаток пополняется за их счет. Они же имеют счастье платить императору aurum coronarium. Они – высокопочтенный сенат города, знаменитейшее сословие курии. Но, несмотря на то, они так мало ценят свое счастье, что беспрестанно стараются избежать его. Законодатель постоянно принужден изыскивать новые предосторожности, чтобы замкнуть, оградить курию. Странно видеть сановников, которых закон старается, так сказать, не выпускать из виду и прикрепить к их куриальскому креслу. Он им запрещает отлучаться, жить в деревне, идти в войско, быть священниками; они могут поступить в другое сословие не иначе, как оставив свое состояние кому-нибудь желающему быть куриалом вместо него. Закон их не щадит: «Некоторые низкие и ленивые люди оставляют обязанности граждан, чтобы предаться созерцательной жизни и проч. Мы не освободим их, или пусть они откажутся от своих родовых поместий. Прилично ли умам, занятым божественным созерцанием, сохранять привязанность к имуществу?..»

Несчастный куриал не имел даже надежды смертью прекратить рабство. Закон преследовал и его сыновей. Его бремя наследственно. Закон требует, чтобы он женился, родил и воспитал ему жертв. Тогда все упали духом. Мертвящее бездействие распространилось во всем обществе. Народ распростерся по земле от усталости и отчаяния, как вьючная скотина ложится под ударами и отказывается подняться. Напрасно императоры предложениями льгот и исключений старались призвать обратно земледельца на его оставленное поле. Ничто не помогало. Пустыня увеличивалась с каждым днем. В начале пятого века в Кампании, лучшей в империи провинции, было пятьсот двадцать восемь тысяч десятин необработанной земли.

Ужас императоров при виде такого опустошения был так велик, что заставил их прибегнуть к отчаянному средству. Они отважились произнести слово свободы. Грациан убеждал провинции устраивать сеймы; Гонорий пытался образовать подобные же собрания в Галлии: он приглашал, просил, угрожал, налагал денежные штрафы на тех, которые отказывались участвовать в этих собраниях. Все это было бесполезно, ничто не возбуждало народа, отупевшего под тяжестью бедствий. Народ обратил взоры в другую сторону. Он не беспокоился более об императоре, бессильном как на хорошее, так и на дурное. Он умолял только о смерти, по крайней мере обещанной смерти, и о вторжении варваров. «Они призывают неприятеля,– говорят писатели того времени,– они домогаются плена... Наши братья, живущие у варваров, остерегаются возвратиться; они оставили нас с тем, чтобы соединиться с ними, и удивляются даже, что все бедные не сделают того же, но это потому, что они не могут унести с собой своих хижин».

Наконец приходят эти варвары. Древнее общество осуждено. Долгая работа победы, рабства и обезлюдения приходит к концу.

Можно ли сказать, однако, что все это совершенно напрасно, что этот всепоглощающий Рим не оставил ничего, например, на галльской почве, откуда он также удалился? То, что он оставил здесь, было в самом деле неизмеримо. Он оставил здесь организацию, администрацию. Он основал общину (cite); Галлия прежде имела только села и, самое большее, города.

Эти театры, цирки, водопроводы, эти дороги, которым мы до сих пор удивляемся, служат прочным символом цивилизации, основанной римлянами, оправданием их покорения Галлии. И такова сила этой организации, что даже тогда, когда жизнь ее, казалось, удалялась, тогда как варвары готовы были ее уничтожить, она подчиняла их себе против их воли. Они принуждены были нехотя жить под этими несокрушимыми сводами, которых не могли поколебать; они склоняют голову, и, несмотря на то, что они победители, получают законы от побежденного Рима. Рим завещал этой земле то великое имя империи, ту идею равенства при одном монархе, столь противоположную аристократическому началу Германии. Короли варваров извлекали отсюда свою выгоду. Сохраняемые церковью, вошедшие в народное предание, те идеи проложат себе дорогу в лице Карла Великого и Людовика Святого. Они же приведут нас, в течение истории веков, мало-помалу к падению аристократии во Франции, равенству и справедливости новейших времен.

Все это относится к гражданскому устройству. Но рядом с этим устройством сложилось другое, долженствовавшее принять в себя и спасти первое во время вторжения варваров. Везде вместе с римским чиновничеством, готовым исчезнуть и оставить общество в опасности, новая религия установила другое, которое его со временем поддержит. Римский титул defensor civitatis (защитник города) везде был присвоен епископами. Разделение на духовные епархии соответствовало разделению на императорские округи. Стремление императоров к всемирной монархии прекратилось, но зато возникла универсальность католицизма. Первосвятительство Рима и св. Петра начинает восходить еще сумрачное и смутное. Мир поддерживается и управляется церковью; его зарождающаяся иерархия служит планом, по которому все располагается и образуется. Она – причина внешнего порядка и внутренней жизни. Последняя более всего заметна у монахов. Устав святого Бенедикта дает Древнему миру, изнуренному рабством, первый пример свободного труда. Гражданин, уничиженный падением города, в первый раз обращает глаза к земле, которою он так долго пренебрегал. Он вспоминает о работе, заповеданной от начала мира приговором Адаму. Это великое нововведение свободного и добровольного труда кладет основание существованию нового порядка вещей.

Hist. de France. I, 98–113.

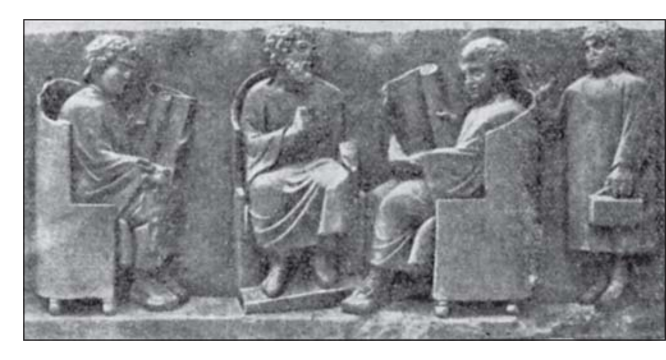
Сидоний Аполлинарий

ДВОР ЦЕЗАРЕЙ В ЭПОХУ ПАДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

(Письмо к Геронию в 467 г.)

...После свадьбы патриция Рицимера, то есть после расточения богатств обеих империй, все возвратилось к покою, и дела приняли обычный ход. Под кровлей бывшего префекта Павла, знаменитого столько же своей ученостью, сколько и добродетелью, я пользуюсь всеми выгодами ласкового и внимательного гостеприимства. Поистине ни в одном роде наук никто не может стать выше этого человека. Боже милосердый, какой он мастер на шарады, какое у него блестящее красноречие, какая легкость стиха, и какие удивительные вещи он умеет делать своими руками! Однако одно из всех его блестящих качеств превосходит все прочие, а именно – он имеет такую душу, которая выше всех его удивительных познаний. Прежде всего я старался разведать через него, нет ли средства получить хороший

прием при дворе; с ним же я обсуждал вопрос, кто из вельмож лучше других мог бы помочь мне осуществить мои надежды. По правде сказать, мы колебались недолго, потому что покровителя приходилось выбирать из весьма небольшого числа лиц. Конечно, сенат представляет много имен, известных огромными богатствами, знатного рода, почтенных по летам, опытных в деле совета, высокопоставленных по званию и равных по общественному положению; но все же, будь сказано не в укор другим, двое знатнейших консуларов, Геннадий Авиен и Цецина Василий, выдавались перед прочими. Они в кругу высших сановников, если исключить военных начальников, были, бесспорно, первыми лицами в государстве после императора. Между ними было, однако, различие в характерах, и скорее они походили друг на друга по общественному значению, чем по нравам. В нескольких словах я хочу сообщить тебе некоторые подробности касательно этих лиц. Авиен достиг консульства счастьем, Василий – заслугами; Авиен был известен по легкости достижения почестей; в Василии поражала их многочисленность, хотя они достались ему и поздно. Около обоих, когда они выходили из дому, теснилась многочисленная толпа клиентов, предшествовавших, сопровождавших и окружавших их со всех сторон; но при одинаковой многочисленности не одинаковы были характеры и надежды их приверженцев. Авиен все свое влияние употреблял на возвышение сыновей, зятьев и братьев; беспокоимый постоянно домашними кандидатами, он не так легко мог заботиться об удовлетворении требований посторонних искателей. В этом отношении предпочитали фамилию Дециев фамилии Корвинов (к которым принадлежали оба консулара), потому что сколько блестящий Авиен помогал своим родственникам, столько скромный Василий делал для лиц, ему совершенно чужих. Авиен очень скоро сближался со всеми, но это сближение приносило немного пользы. С Василием удавалось сойтись немногим и не вдруг, но зато с пользой. Тот и другой не были неприступны и горды в обращении, но если бы заискивать у обоих, то от Авиена можно скорее



Школа в Трире.
Рельеф на надгробном памятнике

дождаться короткости, от Василия – действительного одолжения. Взвесив основательно все эти соображения и попытав обоих, я решился, сохраняя все уважение к старому консулару, у которого я продолжал бывать довольно часто, примкнуть, однако, к толпе клиентов Василия. Между тем как я старался, при помощи этого достойного мужа, сделать что-нибудь для достижения цели овернской депутации, приблизились январские календы, когда Август (то есть император Антемий) во второй раз должен был внести свое имя в консульский список[1]. «Любезный Соллий,– сказал мне мой патрон,– хотя ты обременен занятиями по порученным тебе делам, но мне хотелось, чтобы, в угоду новому консулу, ты вызвал свою старую музу, пусть она, хотя наскоро, продиктует тебе поздравительное стихотворение. Я со своей стороны постарался бы устроить принятие и произнесение панегирика и подготовить успех его. Если ты веришь моей опытности, эта безделица может сильно подвинуть вперед и твое дело». Я повиновался; Василий не оставил стихов моих своей благосклонностью, и, ручаясь за мою преданность, он так обошел моего консула, что тот сделал меня префектом своего сената.

Но, если я не ошибаюсь, проскучав над моим длинным письмом, ты, может быть, с большим удовольствием прочитал бы

[1] В V столетии императоры, как и при Августе, продолжали быть избираемы в древние республиканские должности, хотя это избрание было одной формой.

теперь эти небольшие стихи; моя поэма достигнет тебя с этим же посланием, которое, в ожидании моего прибытия, займет тебя несколько дней моей особой. Если твой голос будет в мою пользу, то я буду этим так же доволен, как если бы в комициях или на кафедре перед народом мои слова были приняты громкими рукоплесканиями сенаторов и трибун. Не пытайся, однако, я тебя прошу, сравнивать эти безделицы с произведениями своей музы. Ибо, сличив мои стихи с твоими, их можно будет уподобить не блестящим героическим песням, а слезливым эпитафиям. Порадуйся, однако же, тому, что мой панегирик имел если не славу, то, по крайней мере, всю выгоду, какой только можно ждать от хорошего произведения. Потому, если можно шутки примешивать к важным вещам, мне хочется, подражая Пиргополинику Плавта, кончить мое письмо хвастовством вроде Тразона. Так как я, по милости Христа, достиг префектуры благодаря моему сочинению, то устрой во уважение моего высокого звания, чтобы общие похвалы и одобрения превознесли до небес или мой панегирик, если он тебе понравится, или, в противном случае, мое счастье. Я вижу отсюда, как ты улыбаешься, сравнивая мои притязания с самохвальством Тразона, героя плавтовской комедии «Именитый воин». Прощай.

Т. I, кн. 1, письмо IX, с. 46.

КОММЕНТАРИЙ. Сидоний, по случаю провозглашения нового императора в Риме, Антемия, на место умерщвленного Майориана, отправляется по назначению своих сограждан из Оверни в Галлии в Италию. Антемий был назначен собственно византийским двором, по просьбе римского сената, который хотел тем самым освободиться от самовластия Рицимера. Лев, византийский император, назначил Антемия, зятя своего предшественника Маврикия, и чтобы склонить на свою сторону Рицимера, предложил Антемию выдать дочь свою за Рицимера. Сидоний явился в Рим именно во время празднования этого политического брака, оставившего все общественные дела, и оттуда писал письмо к своему земляку Геронию о предварительных своих работах для подготовки успеха по делам своей провинции.

Аммиан Марцеллин

НРАВЫ ВЫСШЕГО РИМСКОГО ОБЩЕСТВА В ИТАЛИИ ПЕРЕД ЕГО ПАДЕНИЕМ

Величие древнего Рима было основано на редком и почти невероятном союзе удачи и доблести[1]. Длинный период своего детства Рим провел в борьбе с соседними мелкими племенами Италии, враждебными рождавшемуся городу. Достигнув полной юношеской силы, он с жаром предался великим трудам; он пронес свое победоносное оружие за горы, реки и моря и пожал лавры во многих землях. Наконец, склонившись к старости и все еще иногда торжествуя над неприятелем благодаря величию своего имени, он ищет теперь наслаждения в покое. Уважаемое всеми государство, перед которым склонялись главы могущественных наций, и которое создало кодекс законов для торжества правосудия и свободы, передало, как мудрая и могущественная мать[1], цезарям, своим возлюбленным детям, заботу управлять своими безграничными владениями. Твердый и прочный мир, напоминавший счастливое правление Нумы, сменил кровавую революцию республики. Рим по-прежнему был обоготворяем, как царь вселенной, и побежденные народы не переставали уважать достоинство римлянина и величие его сената.

Но этот врожденный блеск помрачился от испорченности нравов высшего сословия, которое, забыв и собственную честь и честь своей страны, предалось постыдным образом самым ничтожным порокам и раз-

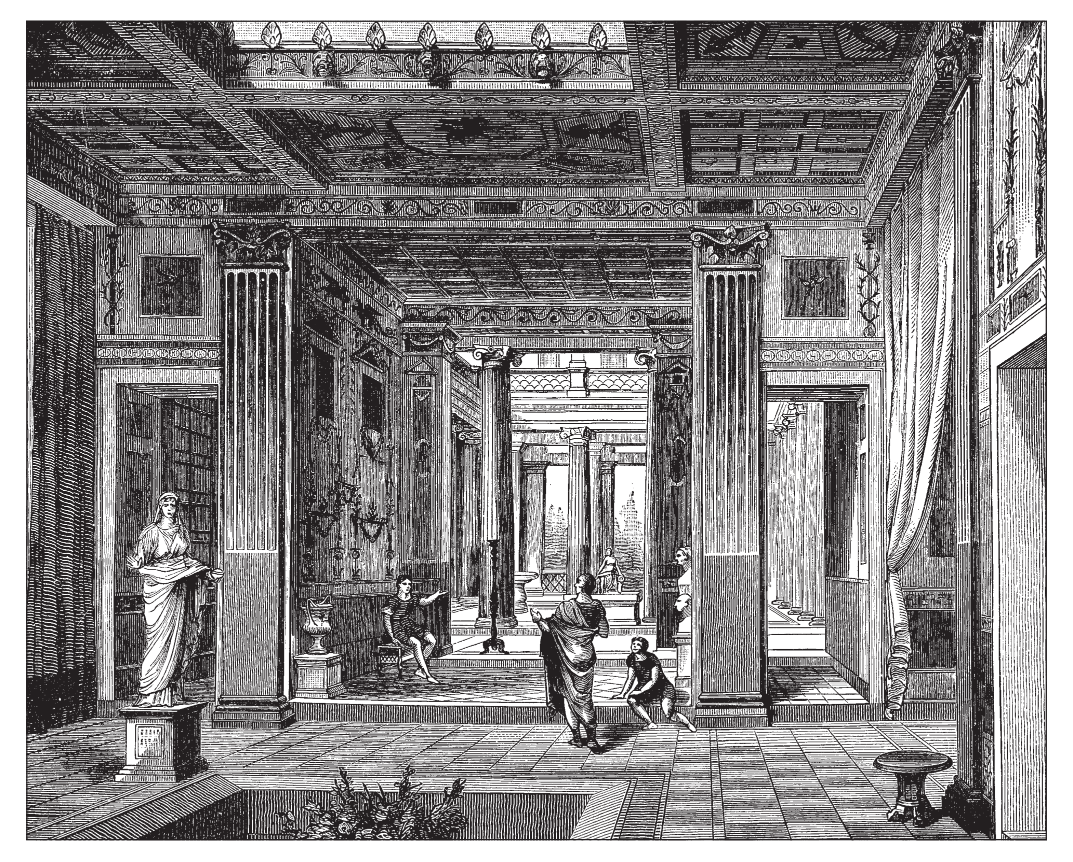
[1] В тексте: foedere pacis aeternae Virtus convenit atque Fortuna.

[1] В тексте: velut frugi parens, et prudens, et dives.

врату. Споря беспрестанно о титулах и рангах, они начинают теперь выдумывать себе звучные прозвища, как то: Reburrus, Fabunius, Pagonius, Terracius, Perrasius, чтобы озадачить тем легковерную толпу и заслужить удивление и уважение. В суетной надежде упрочить о себе память, они заказывают собственные статуи из бронзы и мрамора, и верхом счастья считают возможность отделать их золотом; у предков это считалось отличием для такого консула, как Ацилий, после того, когда он, при помощи своих талантов и храбрости, смог разрушить могущество Антиоха. Хвастовство, с которым они выставляют напоказ списки своих поместий в провинциях Восточной и Западной империи – причем иногда приписываются и лишние – возбуждает негодование, особенно когда припомнишь мужество и бедность наших предков, которые не отличались от простого солдата ни пищей, ни одеждой; но современная нам знать измеряет свое достоинство и важность высотой экипажа и тяжеловесным великолепием своих одежд. Длинные одежды из пурпура и шелка развеваются по ветру и дают возможность рассмотреть под ними богатую тунику, украшенную вышивками, изображающими различных животных (более благочестивые в то время давали вышивать вместо того изображения святых или изречения). Сопровождаемые свитой в пятьдесят человек прислуги, их закрытые колесницы потрясают мостовую и дома, когда они катятся по улице с необыкновенной быстротой. Матроны (знатные дамы) подражают примеру сенаторов, и их экипажи беспрерывно снуют по городу и его окрестностям. Если кто-нибудь из этого блестящего класса удостоит войти в термы (бани, соединенные с ресторанами, магазинами, и т. д.), он распоряжается повелительным тоном и требует, чтобы предметы общего употребления были отданы в его исключительное пользование. Если им случайно придется встретиться там с людьми ничтожными, но которым они чем-нибудь обязаны, они выражают объятиями свое удовольствие от встречи с ними, между тем они проходят, как бы не замечая поклонов других сограждан и с трудом позволяют им поцеловать свою руку или колено. При выходе из ванны эти знатные персоны надевают свои перстни, драгоценные каменья и знаки отличия; потом облекаются в дорогие хитоны, полотна которых хватило бы на 12 человек;

АММИАН МАРЦЕЛЛИН (AMMIANUS MARCELLINUS). Родился в Греции, но вся его жизнь прошла в походах на Восток или на Запад, где он успел усвоить латинский язык, на котором и написал свою история в 31 книге (Rerum gestarum libri XXXI). Год его рождения и смерти не может быть определен точно, как и служебные должности, занимаемые им в империи. Из его же сочинения можно заключить, что он родился при Константине Великом, в начале IV в.; при его сыне, Констанцие, Аммиан поступил на военную службу и продолжал ее при последующих императорах, выполняя иногда и гражданские обязанности; при этом он служил и в Риме, как то доказывает его близкое знакомство с нравами римской знати. Правление преемников Констанция, Юлиана Апостата, Валентинианов, Валента, Грациана и Феодосия Великого, было временем жизни Аммиана. Он умер в самом конце IV в., следовательно, за 80 лет до падения Западной Римской империи, и потому его показания можно принять наравне с показаниями ближайших современников. Сравнение слов Аммиана со словами Сальвиана о тех же предметах, показывает, что римское общество в последние 80 лет, после того, как писал Аммиан, изменилось разве только к худшему.

Аммиан в своей Истории как бы продолжал анналы Тацита, потому что начал там, где остановился древний историк, а именно с правления императора Нервы, и довел до смерти императора Валента, убитого в сражении с германцами при Адрианополе, в 378 г. Но первые 13 книг Аммиана Марцеллина потеряны, и до нас дошли только 18 последних, охватывающих события от восстания узурпатора Галла в 353 г. и до смерти Валента.



Интерьер дома богатого римлянина

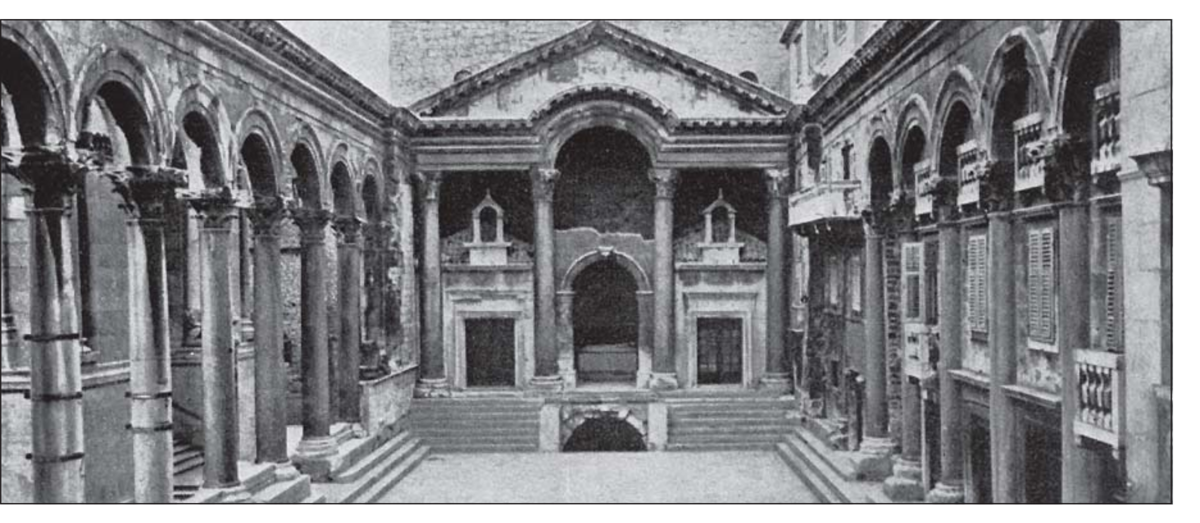
Заимствованная у Аммиана Марцеллина картина нравов высшего римского общества не есть буквальный и подстрочный перевод оригинала. Сочинение его вообще отличается постоянными отступлениями, не идущими к главному предмету рассказа, и различными риторическими прикрасами во вкусе того времени. Известный английский исследователь истории падения Западной Римской империи, Гиббон, привел в порядок разбросанные у Аммиана Марцеллина известия о нравах высшего римского общества в 6-й главе XIV книги и в 4-й главе XXVIII книги и составил связный рассказ; потому в настоящем случае можно предпочесть редакцию Гиббона (Ист. пад. Р. имп. часть I, гл. XXXI) самому тексту оригинала, приняв во внимание предостережение, сделанное знаменитым историком: «Я предупреждаю,– писал Гиббон в примечании,– что в тексте Аммиана сделаны следующие изменения: 1) я слил в одно целое 6-ю главу XIV книги и 4-ю главу XXVIII книги; 2) я привел в порядок и связал в одно разбросанные материалы; 3) я смягчил некоторые причудливые гиперболы и опустил некоторые ни к чему не идущие подробности оригинала; 4) я развил подробнее то, что у автора выражено иногда одним намеком. Приняв в соображение эти отступления от текста, читатель имеет перевод не буквальный, то тем не менее верный и точный».

Из множества изданий Аммиана Марцеллина считается лучшим сделанное в 1768 г. цвейбрикенским обществом филологов: «Ammiani Marcellini Rerum gestarum qui de XXXI supersunt libri XVIII, studiis Societatis Bipontinae», с биографией, написанной Chifflet. 2. ч. Из француз. переводов лучший «Fleutelot», помещенный в «Collection Nisard».

затем следуют верхние одежды, которые льстят их самолюбию, и при всем этом они заботятся принять величественную позу, которая пристала бы разве что великому Марцеллу по завоевании им Сиракуз. Впрочем, иногда и эти герои предпринимают смелые походы: они пускаются в свои итальянские поместья и там предаются охоте, труды и усталость от которой выпадают на долю рабов. Если случайно, особенно в жаркий полдень, они имеют храбрость переплывать на раззолоченных барках озеро Лукрин, отправляясь в свои великолепные дачи, которые окаймляют приморский берег у Пуцциоли и Гаэты, они сравнивают эти трудные предприятия с походами Цезаря или Александра. Если муха проникнет за шелковые занавески палубы, если через складки проникнет луч солнца, они оплакивают бедствие своего положения и со свойственной им аффектацией вздыхают, что они не родились в странах киммерийских, покрытых вечным мраком. Когда они едут в деревню, за господином следует весь его дом; как в походе, предводитель делает распоряжение для кавалерии и пехоты, для

Серебряное блюдо с изображением сцен вакханалий эпохи империи





Дворец Диоклетиана в Сплите, Югославия. Начало IV в. Перистиль

авангарда и арьергарда, так старейшие слуги с жезлом в руке, символом своей власти, расставляют многочисленную свиту служителей и рабов. Багаж и гардероб движутся во главе процессии, затем следуют кухня и толпа поваров со своими учениками. Центр процессии составляют рабы, перемешанные с клиентами. В арьергарде следуют евнухи, расположенные по возрасту, от стариков до мальчиков. Их число и внешнее безобразие внушают ужас и омерзение; зрители проклинают память Семирамиды, которая придумала жестокое средство искажать природу и уничтожать в человеке, при самом его рождении, надежду на потомство.

При домашнем суде и расправе над рабами, которые ждут их при малейшем огорчении господина, знатные обнаруживают безразличное презрение ко всему человеческому роду. Если кто-нибудь из них спрашивает кувшин теплой воды, и слуга промедлит, ему отпускается триста ударов плетью; но если этот же слуга совершит убийство, его господин с совершенным равнодушием замечает ему, что он величайший негодяй, и что другой раз будет наказан по заслугам. В прежние времена римляне отличались гостеприимством: каждый чужестранец имел право на их радушие; они отличали достойных и помогали несчастным. Введите же теперь чужестранца к кому-нибудь из наших богатых сенаторов: он будет принят тоже весьма хорошо, и притом с такими знаками дружелюбия, что уйдет очарованный своим превосходительным другом, даже будет весьма сожалеть, что так долго откладывал свое путешествие в столицу, центр вежливости и хорошего тона. Уверенный, таким образом, в радушном приеме, он повторяет свой визит, как можно

Валентиниан III, Галла Плацидия и Гонория. Миниатюра на золоченом стекле





«Большая охота». Панно на императорской вилле в Пьяцца Армерина. Сицилия. III–IV вв.



Статуя императора Гонория
Мрамор. V в.

скорее, на следующий же день, и к удивлению замечает, что сенатор забыл и его лицо, и страну, откуда он приехал, и само его имя. Если он будет иметь терпение, несмотря на то, продолжать свое знакомство, то непременно попадет в число клиентов и получит дозволение ухаживать бесплодно за своим патроном, не способным ни к признательности, ни к дружбе; его присутствие, приход и уход едва будут даже замечены.

Когда богатый человек дает публичный праздник (distributio sportularum – обычай, сохранившийся и до сих пор на свадьбах: corbeilles des noces), он долго перед тем совещается о выборе гостей. Честных, сведущих и скромных приглашают весьма редко; распорядители, по личным причинам, умеют ловко поместить на первое место в списке приглашенных самых презренных людей. Но лучшими и дорогими гостями у знатных считаются те темные паразиты, которые умеют рукоплескать всякому поступку, всякой улыбке своего патрона; они смотрят с восторгом на мраморные колонны и полы комнат, и рассыпаются в похвалах убранству, которое хозяин считает частью своего личного достоинства. За столом птицы и рыбы необыкновенной величины вызывают всеобщее удивление; являются весы, чтобы удостовериться в их полновесности, и в то время, когда благоразумные гости отворачиваются от такой сцены, паразиты требуют нотариуса, чтобы составить протокол в удостоверение подлинности таких чудес. Профессия игрока есть лучшая рекомендация для знакомства в знатном доме. Игроки связаны между собой неразрывными узами дружбы или, скорее, обоюдного грабежа; хорошее знание игры: ludus duodecim scriptorum (игра в кости на столе, разделенном на 12 линий) составляет лучшее средство приобрести богатство и славу. Если за ужином или в собрании артистов такого искусства знатный господин увидит себя помещенным ниже какого-нибудь сановника, то он обнаружит такое же негодование, какое испытал Катон, когда капризный народ не избрал его в преторы.

Желание научиться чему-нибудь редко овладевает нашей знатью; она боится всякого рода утомления и не ценит преимуществ знания. Сатиры Ювенала, многословные и фантастические побасенки Мария Максима (описывал жизнь императоров от Траяна до Александра Севера) – единственные книги, удостоиваемые их вниманием. Библиотеки их предков заперты, как гробницы, и дневной свет не проникает туда; зато они окружены театральными принадлежностями, флейтами, колоссальными лирами и гидравлическими органами; их палаты оглашаются беспрерывно звуками пения и инструментов; у них звук предпочитается умному слову, и все заботятся больше о теле, нежели о духе. Между ними

принято за правило, что малейшее подозрение в прилипчивости болезни служит извинением, которое освобождает от обязанности посещать самых близких друзей; в этом случае, если и посылают слугу узнать о здоровье, то он, по возвращении, не входя в дом, должен принять ванну. Впрочем, корысть одерживает иногда верх над этим женоподобным страхом. Если смерть приятеля принесет какое-нибудь наследство, то сенатор, даже страдающий от подагры, пройдет пешком до Сполетты. Надежда на наследство или даже на упоминание в завещании истребляет всякую гордость. Богатый и бездетный гражданин у римлян самый почетный и более всего ласкаемый. Они весьма искусны в деле ускорения подписи благоприятного завещания, и даже ускорения самого времени воспользования им. Случалось, что в одном и том же доме муж и жена призывают на свою половину нотариуса, каждый отдельно, и, в похвальном намерении пережить друг друга, делают прямо противоположные завещания. Отчаяние, которое бывает следствием и вместе наказанием чрезмерной роскоши, принуждает гордую знать к самым бесстыдным проделкам. Идет ли дело о займе, они унижаются и ползают, как раб в комедии; но если несчастный кредитор явится с требованием денег, они принимают трагическую и повелительную осанку внуков Геркулеса; если кредитор надоедает слишком, они без всякого труда успевают обвинить его, при помощи одного из своих паразитов, в покушении отравить или в колдовстве, и кредитору редко удается выйти из тюрьмы, не выдав расписки в получении долга.

К тем постыдным порокам присоединяется у них смешное суеверие, оскорбительное для здравого смысла. Они доверчиво выслушивают предсказания гадателей, которые думают открыть знаки их будущего величия и счастья во внутренностях жертвы; большая часть их не осмелится принять ванну, пообедать, выйти на прогулку, не посоветовавшись с правилами астрологии о положении Меркурия или виде луны. Забавно встречать такое суеверие в людях, зараженных возмутительным скептицизмом и осмеливающихся отрицать или подвергать сомнению существование всемогущего Бога.

Kerum gestarum libri XXXI: XIV, 6
и XXVIII, 4
(редакция Гиббона).

Сидоний Аполлинарий

ВИЛЛА ЗНАТНОГО РИМЛЯНИНА В ПРОВИНЦИИ ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

(Письмо к Домицию, около 470 г.)

Ты журишь меня за то, что я живу в деревне, между тем как скорее я могу упрекать тебя за то, что ты остаешься в городе. У нас весна уже уступила место лету, и солнце, достигнув в своем странствовании наибольшей высоты, устремляется к Северному полюсу. Не буду говорить тебе о нашем климате. Творец поместил нас так, что мы находимся под влиянием западных жарких ветров. Что же еще прибавить? Теперь мы в огне: лед тает на вершинах Альп и засуха раскалывает землю. Броды высохли, ил на берегах окреп: поля в пыли, ручейки едва сквозятся и жар почти кипятит воду. Все в поту, один под полотном, другой под шелком. А ты, завернувшись в мантию и прикованный к школьной кафедре в Камерино (в Средней Италии), объясняешь твоим зевающим ученикам, бледным больше от страха, нежели от жары, стихи: Samia mihi mater fuit, то есть мать моя была из Самоса и т. д.[1] Поторопись же, если ты дорожишь своим здоровьем, бросить узкие городские улицы, где трудно дышать, и явись к нам в тихое убежище для борьбы с каникулярной жарой.

---

[1] Из комедии Теренция.



Поместье Юлия: посредине – вилла, по бокам – хозяин виллы на охоте; *внизу:* весна и осень; *вверху:* лето и зима. На рисунке изображены владелец и его жена, их слуги, рабы, колоны, несущие оброк; *справа вверху* – хижина колона, перед которой он пасет скот. Африканская мозаика

Хочешь знать положение моей виллы, куда я тебя приглашаю? Я живу в Авитакуме: так называется мое поместье; я получил его за женой и потому оно мне милее отцовского наследия. Здесь я и все мои – не приписывай того какому-нибудь колдовству, – слава Богу, живем в тихом согласии. На западной стороне у нас гора, довольно крутая; она пускает, как отпрыски от себя, два отрога невысоких холмов на расстоянии четырех десятин один от другого. До самого луга, который раскинут перед нашей виллой, холмы тянутся по прямой линии, окаймляя долину, заключенную между ними, и упираются в саму виллу, один фасад которой обращен на север, другой на юг. На юго-западе помещается баня, прилепленная к скале, заросшей лесом; когда рубят деревья, осеняющие баню, то они скатываются сами к печке, где нагревают воду. Назначенная для того комната, по величине, равна соседней комнате благовонных мазей, если только исключить в последней довольно большую полукруглую ванну, в которую согретая вода втекает по свинцовым трубам, проложенным в стенах. Внутри бань – совершенный день, и такое обилие света увеличивает стыдливость тех, которые там моются. Вблизи находится прохладительная ванна, которая, по обширности, может смело поспорить с общественными купальнями. Крыша, сделанная над нею, оканчивается конусом и по краям обложена черепицей; сама комната четырехугольна, достаточной величины и пропорциональных размеров; прислуга не стесняет здесь при исполнении своих обязанностей, потому что в комнате находится столько сидений, сколько может поместиться лиц в ванне. Архитектор прорубил под сводом два окна, чтобы дать возможность видеть, с каким вкусом устроен потолок. Внутри стены покрыты белым полированным цементом. На них нет никаких нескромных изображений, постыдно обнаженных, и которые, быть может, заставляют удивляться искусству, но унижают художников. Нет никаких карикатур в смешных одеждах и масках, раскрашенных, из подражания Филистиону, разноцветными красками. Нет также изображений бойцов, которые стоят в различных позах, то желая отразить удар, то устремляясь нанести его своему противнику: теперь, если бойцы позволяют себе что-либо нескромное, то распорядитель тотчас же останавливает их своим жезлом скромности. Одним словом, нет ничего, что оскорбляло бы чистоту нравов. Однако несколько стихотворений могут на минуту остановить входящего; они, правда, не возбуждают желания перечитать их снова, но и не оставляют сожаления, что прочитал их раз.

Укрепленная вилла эпохи поздней империи в Римской Африке. Мозаика



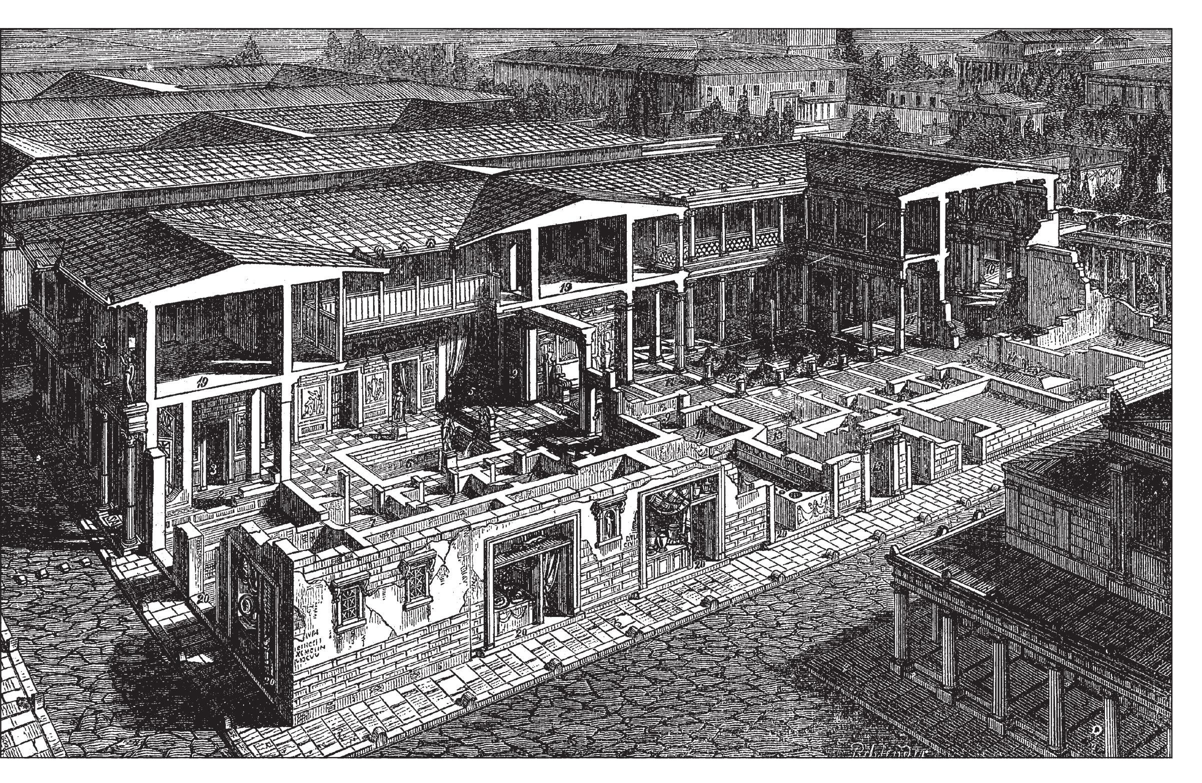
Что касается мрамора, то у меня нет ни паросского, ни каррарского, ни проконисского, ни фригийского, ни нумидийского, ни спартанского, со всеми их видоизменениями; у меня нет ни камней, обделанных наподобие эфиопских скал, ни изделий из раковин пурпурного цвета нашей подделки, с целью обмануть горами, сделанными из стружек. Но если ни один чужеземный мрамор не обогащает наше скромное жилище, то зато оно украшено естественными произведениями страны. К чему же стараться обставлять себя более тем, чего не имеем, нежели тем, что рождается около нас? Далее, с восточной стороны примыкает к вилле купальня, или, если ты хочешь, по-гречески, baptisterium, которая содержит в себе около двадцати тысяч мер воды. Сюда-то и переходят через двери, проделанные в стене, в форме свода, из теплой бани; посреди бассейна возвышаются не пилястры, но колонны, которые хорошими архитекторами почитаются за лучшее украшение. Снаружи, вокруг купальни, проложено шесть труб, по которым стремятся с вершины горы потоки вод; каждая из них заканчивается львиной пастью, так хорошо сделанной, что люди, входящие туда, не быв предупреждены заранее, думают, что действительно видят перед собой зубы, готовые пожрать их, глаза, сверкающие от ярости, и всклоченную гриву. Если хозяин бывает окружен кем-либо из домашних или посторонних, то за шумом падающий воды они совершенно не слышат друг друга и бывают принуждены говорить прямо в ухо; таким образом, их разговор, препятствуемый внешней причиной, принимает вид секрета и со стороны кажется смешным. Выходя оттуда, встречаешь женскую половину, к которой прилегает съестной чулан, отделенный только перегородкой от рабочей комнаты. На восток, с портика, поддерживаемого скорее простыми подпорками, чем великолепными колоннами, открывается пруд. От прихожей начинается длинный, крытый коридор без боковых стен; в нем нет ни одного предмета, его можно назвать если не ипподромом, то по крайней мере галереей. Только в конце коридор суживается и заключается весьма прохладной залой;



Деталь мозаики «Малая охота» перистиля виллы близ Пьяцца Армерина, Сицилия. 300–330 гг.

сюда-то спешат удалиться болтливые клиенты и нянюшки, чтобы воспользоваться часом отдыха на скамьях, расставленных там, когда я и все мои удаляемся в спальню. По этой галерее переходят в зимнюю половину; в ней часто от слишком сильного огня верхние части каминов бывают покрыты сажей. Но к чему тебе все эти подробности, когда я тебя приглашаю не зимой. Лучше поговорим о том, что относится к тебе и к настоящему сезону.

Из этих апартаментов входишь в малую столовую залу, из которой видно все озеро. Там стоит полукруглое ложе и блестящий шкаф; над залой сделана платформа, на которую незаметно поднимаешься из портика по отлогой и широкой лестнице. На платформе, лежа за столом, между блюдами, можно наслаждаться прелестью видов. Если



Римский дом. Реконструкция Рендера

тебе принесут воды из того славного свежестью фонтана, то ты увидишь, что на сосуде, в который ее вольют, вдруг начинают образовываться снежные пятна и ледяная пленка; такое быстрое замерзание, подобно жиру, затемнит блеск сосуда. Питье соответствует сосуду, и оледеневшие края его пугают не только тех, которые не чувствуют охоты пить, но даже и таких, кого мучила жажда. С платформы же ты увидишь, как рыбак скользит в своей лодке над глубиной озера или как закидывает сети, поддерживаемые с одной стороны на поверхности воды поплавками из коры, или как, насадив приманку, он забрасывает леску с крючком на конце и, двигаясь быстро по озеру, подхватывает жадных форелей, бросающихся на угощение.

После обеда ты можешь пройти в рекреационную залу (diversorium), где вовсе не жарко и больше летней прохлады. Так как она обращена на север, то и пропускает один дневной свет, без солнечных лучей; около нее помещается маленькая людская (consistorium), где вечно сонливая прислуга находит уголок скорее для того, чтобы вздремнуть, чем выспаться. Как приятно слушать здесь в полдень стрекотание кузнечиков, в сумерки кваканье лягушек, звонкую песнь лебедей и гусей в полночь, в непогоду крики петухов и ворон, трели соловья, приветствующего из купы деревьев появление багряной зари, и щебетанье прогмена на ветке. К этому концерту присоединяются сельские звуки семиклапанного рожка, на котором в полночь часто соперничают неусыпные титиры (пастухи) наших гор, среди пасомых ими стад с их колокольчиками и мычаньем; все эти голоса и разнообразные звуки еще более расположат тебя ко сну.

Спускаясь от портика к берегу пруда по зеленой лужайке, ты увидишь на небольшом расстоянии рощу, доступную для всех; там широкие липы, с переплетенными ветвями утром бросают длинную тень, и в этой-

то прохладе я иногда играю в мяч с Эндицием, когда он жалует ко мне в гости; это продолжается до тех пор, пока тень не сократится в полдень, и тогда мы садимся под дерево играть в кости и вместе отдохнуть от усталости.

Такова моя вилла; мне еще остается описать тебе озеро. Оно имеет течение на восток и поднимается до фундамента виллы, когда подует сильный ветер. Место, откуда оно получает свои воды, представляет болотистую почву, с провалами и неприступную; там множество ила, который сгущает воду; со всех сторон бьют источники холодной воды, а берега покрыты травой. Если вода в озере стоит спокойно, то вдали небольшие лодочки бороздят колеблющуюся поверхность воды; но когда поднимается вихрь с юга, то страшным образом надуваются волны и, перепрыгивая вершины прибрежных деревьев, с шумом падают на них в виде ливня. Следуя мере, принимаемой моряками, озеро занимает семнадцать стадий в длину. Оно выпускает из себя реку, воды которой, разбиваясь о подводные камни, кажутся совершенно белыми от пены и теряются на время ниже порогов, которые как будто бы хотят остановить ее течение. Эта же река впадает в это же озеро с другой стороны и течет в нем, смешивая свои воды с его водами, пополняемыми подземными источниками; она теряет только рыбу, которая следовала по ее течению: попав в более спокойную воду, рыба быстро кружится, перевертываясь на месте, и белизна ее нижней части делает еще заметнее красноту хребта; не имея свободного выхода, она находит в озере свою темницу, но обширную и пригодную для жизни.

С правой стороны берег озера обрывист, излучист и покрыт лесом; слева же, напротив, все открыто, ровно и подернуто травой. На юго-западе вода представляется зеленой от деревьев, ветви которых купаются в волнах; как песчаное дно принимает цвет воды, так вода, на глаз, окрашивается от деревьев; на восточной стороне тот же зеленоватый цвет налагается другой группой деревьев. С северной стороны вода имеет натуральный цвет. На западе находится множество кустарника, ветви которого сгибаются под проходящей лодкой; тут же колышется слизкий тростник, а на волнах качаются толстые листья болотных растений, и зеленая ива придает воде горький вкус. Посреди озера небольшой островок, а на нем, на камнях, скученных случайно, воткнуты обломки весла, служащие метой при гонке лодочников; около этого места они подвергают друг друга веселым крушениям. Наши предки имели обычай у этого же острова устраивать навмахии (морские игры), которые, по троянскому поверью, были учреждены в Дрепанитате (Drepanum, город на о-ве Сицилии, ныне Трепано)[1].

Об окрестностях скажу одно, так как я вовсе и не думал об этом говорить: все они поросли рощами, раскиданными там и сям; около нас есть луга, покрытые цветами, пастбища с их стадами и пастухами, богатыми своей бережливостью. Но я на этом не остановлюсь дольше: если мое письмо будет бесконечно, то, я боюсь, осень застанет тебя за чтением его. Потому торопись приехать; в таком случае ты облегчишь себе и возвращение домой. Извини, если мое подробное послание перешло обыкновенные границы, из страха что-нибудь пропустить. Все же я не буду говорить о многом, чтобы не надоесть. Хороший судья и умный читатель найдут, что велика не страница, которая описывает пространство, но вилла, которая описана пространственно (non paginam, quae spatia describit, sed villam, quae spatiosa describitur, grandem pronuntiabunt). Прощай!

Т. I, кн. 2, письмо II; с. 132.

КОММЕНТАРИЙ. Сидоний получил Авитакум, богатое поместье в Оверни, в приданое за дочерью императора Авита. Оттуда он писал пригласительное письмо к Домицию, какому-то учителю латинского языка, в небольшой город Средней Италии, Камерино, и, желая расположить его к такому далекому путешествию, представил ему подробное описание своей виллы.

[1] Жители Оверны считали себя потомками троян.

Сидоний Аполлинарий

ГОРОД В ИТАЛИИ ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
(Письмо к Кандидиану, 467 г.)

Ты меня поздравляешь с приездом в Рим, но твои приветствия порядочно пересыпаны насмешками. Ты радуешься тому, что я, твой друг, наконец увидел солнце, с которым мы, пьющие из вод Соны, едва знакомы. Ты мне ставишь в упрек и туманы, среди которых живут бедные жители Лиона, и наши дни, утренняя роса которых едва рассеивается к полудню. И ты, уроженец Цезены (город в Средней Италии), смеешь так упрекать нас, когда твоя родина больше походит на раскаленную печь, нежели на город. Впрочем, ты дал нам понять, как ты смотришь на увеселения своей родины, когда предпочел убежать в Равенну, где тучи комаров лезут вам в уши, а в соседстве – лягушки, ваши согражданки, толпа боязливая и нахальная, которая в свое удовольствие перемежает танцы кваканьем. Что за город или, лучше сказать, что за болото, где ты живешь! У вас извращены все законы природы! Стены плавают, а вода стоит; башни ходят, а корабли сидят на мели; в банях холодно, а в комнатах сгоришь от жара; вот твоя Равенна! Живые у вас хоть умри от жажды, а мертвые плавают в могилах. Сама жизнь, которую вы ведете, представляет прямо обратное тому, что видишь в других местах. У вас бдительность составляет качество воров, а магистрат спит; духовенство отдает деньги в рост, а сирийцы (так называли менял, потому что они были большей частью из Сирии), распевают по улицам, как духовные; купцы ведут войну, а солдаты торгуют; евнухи упражняются в фехтовании, а мирные варвары предаются наукам. Город, в который ты перенес свои лары и пенаты, имеет более земли, чем почвы. Будьте же несколько снисходительнее к нам, бедным заальпийским жителям Галлии; мы по крайней мере умеем наслаждаться благодетельными лучами своего солнца и не думаем, что нам нужно гордиться тем, что мы не можем выдержать сравнения с теми, климат которых ничего не стоит. Прощай.

Т. I, кн. 1, письмо VIII, с. 44.

КОММЕНТАРИЙ. Сидоний отправился из Галлии в Италию сначала на Равенну, рассчитывая встретить там императора Антемия, только что прибывшего из Греции, но опоздал и поспешил оттуда в Рим. В Риме Сидоний получил письмо из Равенны от Кандидиана, на которое и отвечал своими воспоминаниями о Равенне.

Сальвиан

КАРТИНА ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ В ПРОВИНЦИЯХ ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
(около 450 г.)

Кто не видит в Галлии, что люди самые знатные не извлекли других плодов из своих несчастий, как только то, что сделались еще более безнравственными в жизни? Я видел сам, в Трире, людей благородного происхождения и в важном сане, которые, несмотря на то, что лишились своего имущества, среди разграбленной провинции, обнаруживали гораздо больший упадок в нравах, нежели было расстройство их имений. Опустошение страны не было так велико, чтобы не оставалось какого-нибудь средства к исправлению дел; но испорченность нравов была до того глубока, что для нее не было излечения. Римляне наносят себе большие удары, чем их внешние неприятели: варвары их бьют, но еще более они поражают сами себя. Печально описывать картину того, чего я был свидетелем: почтенные старцы, престарелые христиане, любят еще пирушки и чувственные наслаждения. С чего начать упреки? Их сан, возраст, имя христиан, грозящая всем опасность – что



Так называемый «Каноп» на вилле Адриана в Тиволи (лат. Тибур)

из всего этого может вызвать первый упрек? Можно ли подумать, что старцы были бы способны предаться той безнравственности во время мира, которую молодые люди могут позволить себе во время войны, и чего христиане не должны никогда позволять? Сан, возраст, звание, имя – все забыто в вихре распутства. Кто не принял бы правителей этого города за безумных? И такая горячка не могла остынуть после многократных разрушений этого преступного города. Четыре раза Трир, этот самый цветущий город по всей Галлии, был взят варварами и разграблен. Одно первое несчастье должно было бы обратить жителей к искреннему раскаянию, для того, чтобы вторичное падение не навлекло вторичного наказания. Невероятное дело! Число несчастий только увеличивало роковую склонность к пороку. Подобно тому, как в басне нам представляют ту гидру, у которой новые головы росли, по мере того, как их отрубали, в городе Трире происходило то же самое; его несчастья возрастали, и в то же самое время возрастала страсть жителей к распутству. Наказание пороков, можно подумать, было отцом преступлений. Так что было бы легче истребить в Трире жителей, нежели найти одного незамаранного преступлением. Таковы дела в Трире. А что делается в другом, близлежащем от него городе и не менее цветущем? И там не то же ли падение нравов? В этом городе (Сальвиан намекает на Кёльн), кроме тех пороков, преобладает любостяжание и пьянство; но особенно пьянство достигает таких размеров, что однажды начальники города (principes urbis) решились покинуть пирушку только тогда, когда варвары, овладев стенами, со всех сторон врывались в город. Бог допустил это, чтобы яснее показать, за что он наказывал жителей этого города. В этом-то городе я был очевидцем безнравственности, вызывающей слезы. Не было никакого различия в нравах пожилых и молодых людей; та же нескромность в разговоре,

то же легкомыслие, та же роскошь, та же склонность к пьянству делали их похожими друг на друга. Люди преклонных лет, занимавшие с давнего времени общественные должности, видя, что им осталось недолго жить, пили так, как могут пить только одни самые крепкие люди. Силы, не достававшей им на то, чтобы ходить, хватало на то, чтобы пить; и ноги их, во всякое другое время дрожащие, делались твердыми, когда нужно было танцевать. Я сокращаю эту отвратительную картину, и чтобы закончить ее одним росчерком, прибавлю, что в этом городе исполнилось то, что говорил некогда Премудрый: «Вино и женщины отвращают от Бога» (Ecceles, 19). Где так пьют, играют, безумствуют, там отрекаются от Христа. Можно ли удивляться, что они потеряли имущество, когда еще прежде был потерян ум? Никто не поверит, что этот город погиб от опустошения варваров. Где так живут, там погибают прежде, нежели погибли.

Описав то, что творилось в самых знаменитых городах Галлии, мне ничего не остается сказать о городах менее значительных, как то, что и они также все пали вследствие пороков своих жителей. Преступность так ожесточила все сердца, что они и среди самых опасностей, казалось, не тревожились ими. Им угрожало близкое рабство, а они не обращали на то внимания. У этих преступных людей был как бы отнят страх опасности, чтобы они не предпринимали мер к предотвращению разрушения. Варвары стоят в виду города, и никто не обнаруживает страха, никто не думает об охранении стен. Таково всеобщее ослепление, что хотя никто не хотел бы погибнуть, но никто и не действует так, чтобы спастись от погибели. Невоздержанность, лень, небрежность и разгул, пьянство и сон овладели всеми, как сказано о подобных людях в Писании: «Ибо дремота Господа напала на них» (II, Цар. 16).

Такое усыпление, распространяемое Богом, предшествует погибели; и Священное Писание учит нас, что когда беззакония грешника достигают известного предела, то провидение предоставляет его самому себе, и он, преданный таким образом на жертву своей чувственности, стремится сам к своей гибели. Но довольно об этом. Я думаю, что предположенное мной доказано, а именно, что и при величайшей опасности пороки людей прекращаются только с окончательным их истреблением. Таковы люди есть, были и всегда будут. В самом деле, видим ли мы, чтобы какой-нибудь город или провинция, завоеванные или разграбленные варварами, изменили своей образ жизни? Смирились ли там, думали ли изменить нравы и исправиться? Таков характер римлян; они гибнут, но не исправляются. Мы имеем на то доказательство: три раза первый город Галлии был разрушен, три раза служил, так сказать, костром для своих жителей, а пороки после того еще более возросли. Но разрушение не было самым главным злом, которое испытал город; те, которые при этом не погибли, были подавлены нищетой. Кто избежал смерти, тот стонал под бременем бедствия. Одни, покрытые ранами, влачили жалкую жизнь; другие, полуобгорелые, долго чувствовали на себе жестокое последствие ожогов. Одни погибали от голода, другие от наготы; огромное число людей погибло от болезней или от суровости холода. Таким образом, одна и та же смерть являлась в различных видах. Короче, разрушение одного города было всеобщим несчастьем. Я видел и не отказывал в своей помощи тем, которые бедствовали; везде валялись перемешанные трупы мужчин и женщин, нагие, истерзанные, представлявшие печальное зрелище для жителей других городов и брошенные на съедение собакам и птицам. Тяжелый запах от загноившихся мертвых тел увеличивал смертность между живыми; смерть дышала смертью. Но что же произвели все эти бедствия? Трудно вообразить, до какого безумия могут доходить подобного рода люди: несколько знатных, уцелевших во время разорения города, как бы спеша на помощь разоренным, начали хлопотать, чтобы получить от императоров позволение на открытие игр в цирке. Я желал бы, по этому поводу, для изобличения такого бесстыдства, обладать силой красноречия, соответственной делу, и в своем обвинении обнаружить столько же доблести, сколько

заключено горестного в самом иске. Кто может сказать мне, с чего я начну обвинение: говорить ли мне о безбожии, о глупости, о распутстве, о безумии? В этих людях заключено все это и вполне. Что может быть безбожнее, как просить Бога о том, что должно его оскорблять? Что глупее, как не подумать о том, чего просишь? Или, что беспутнее, как среди всеобщего плача просить об увеселениях? И что безумнее, как в печали не иметь о ней сознания? Всего менее при этом нужно обвинять людей в безумии, потому что преступление не относится к воле, когда человек находится в припадке (quia voluntas crimen non habet, ubi furore peccatur). Те, о которых мы говорим, должны быть обвинены тем более, что они безумствовали, обладая рассудком (sani insaniebant). Итак, вы, жители Трира, желали восстановления игрищ (circenses), и вы желали того, разоренные, завоеванные, после поражения, крови, мук, плена, после такого разрушения всего города? Что горестнее такой глупости, что печальнее вашего безумия? Признаюсь, я считал вас несчастнейшими из-за разорения, испытанного вами; но просьба об игрищах делает вас в моих глазах еще более несчастными. Я думал, что вы во время пожаров и грабежа потеряли одно имущество, но я не знал, что вы при этом лишились чувства и разума. Итак, вы просите театров, вы требуете от государей (principes) цирков. Но для кого, для какого народа, для какого города? Не для сожженного ли и погибшего города, не для народа ли (plebi), плененного и погибающего, который страдает и стонет? Оставшиеся в живых между ними оплакивают свою судьбу, дрожат от страха, обливаются слезами и распростерты в нищете: не знаешь, кому лучше, убитым или живым? Столь бедственно положение переживших, что они позавидовали бы несчастью павших. Итак, ты, Трир (Trever), просишь публичных игр? Где же ты полагаешь их устроить? Не на пожарище ли и пепле, не на костях ли и потоках крови погибших сограждан? Где же в целом городе ты найдешь место, не носящее на себе следов бедствия? Где не струится кровь, где не встретишь трупа или растерзанных членов тела? На ваш город наложена печать плена и ужаса, повсюду образ смерти. Спасшиеся остатки народа валяются вместе с трупами павших их родственников, а ты просишь игрищ. Город почернел от пожара, а ты с праздничным лицом. Все плачет, а ты один смеешься. Все это вызывает суровый гнев Бога, а ты своими гнусными предрассудками еще более раздражаешь гнев Господень. Не удивляюсь, не удивляюсь бедствиям, постигшим тебя. Город, который не исправился от троекратного разорения, вполне заслужил и четвертый разгром.

De gubernatione Dei, кн. VI, 13–15.

Сидоний Аполлинарий

РИМСКИЙ ПАРАЗИТ ВРЕМЕН ПАДЕНИЯ ИМПЕРИИ
(Письмо, около 480 г.)

Одно уважаю в тебе, одному радуюсь, удивляюсь, что из любви к безупречной жизни ты избегаешь общества людей постыдных, в особенности тех, которые даже не считают преступными своих грязных стремлений и с отвратительным смехом говорят о них; для красного словца они марают слух другого неприличными выражениями; знай же, что таковы отъявленные паразиты (gnatho, дармоед) нашего отечества. Беспощадные сплетники, они выдумывают слухи о преступлениях и преувеличивают худую молву; они много говорят, но ничего не скажут; желают смешить, но не веселят; высокомерны, но непостоянны; любопытны, но непроницательны; и еще более мужиковаты, от излишнего старания быть изящными в манерах; они удивляются всему настоящему, осмеивают прошедшее и презирают будущее. Паразиты назойливы, когда чего-нибудь домогаются; раздражены, получив отказ; когда им дают, они

жадны, и скупы при возвращении; постоянно жалуются, когда требуют от них должного, и громко кричат о себе, когда выполняют то, что они и без того обязаны сделать. Когда просят их об услуге, они показывают большую готовность, но хитрят, когда нужно сдержать слово; их дело – изменить тайне, оклеветать, отказаться от возвращения полученной вещи. Они ненавидят пустоту в желудке и ищут обедов; хвалят не тех, кто праведно живет, но кто хорошо кормит. Такой человек, однако, сам очень скуп, и для него чужой хлеб – самый вкусный; дома он есть только то, что ему удастся стянуть с обеда среди града пощечин. Но я не могу совершенно умолчать об обжорстве такого человека: он постится всякий раз, когда его никуда не приглашают, но, по привычкам паразита, сначала отказывается, когда его просят; он шпионит, когда его избегают; ворчит, когда его исключают; восхищается, когда приглашают, и ждет, чтобы его побили. За столом, если не поспеет съесть чего, так украдет; плачет, если слишком скоро наестся; жалуется на то, что все хочется пить; опьянев, изрыгает рвоту; шуткой оскорбит других и рассердится, если подшутят над ним. Он решительно походит на помойную яму, которая тем хуже воняет, чем больше раскапывают ее. При такой жизни мало находится людей, которым он нравится; никто его не любит и всякий смеется над ним. Хвастун, привыкший к побоям, любитель попьянствовать, еще больший охотник поклеветать, он, кажется, в одно время извергает изо рта и грязь, и винный запах, и яд своего красноречия: так что не знаешь, чего в нем больше – всякой дряни, или винных паров, или, наконец, нахальства.

Ты скажешь, что лицо всегда отражает качества души, и одна наружность может уже сказать многое. Действительно, у изящного человека и красивого наружность уже обращает на себя всеобщее внимание. А паразит гораздо грязнее, безобразнее трупа полуобгорелого, свалившегося случайно с погребального костра, когда сам могильщик (pollinctor, умащатель), чувствуя отвращение, не соглашается снова толкнуть его в пламя. Скажу более: у него есть глаза, но без свету: они, подобно болотам Стикса, слезятся во тьме. Паразит отличается большими ушами, как у слона, и покрытыми кожей со струпьями; во внутренних же их складках находятся затверделости и бородавки. Нос его с широкими ноздрями и узким переносьем; отсюда противный вид и дыхание спертое. Потом следует рот, окаймленный свинцовыми губами, с звериной пастью, с нечистыми деснами, желтыми зубами; из дупла коренных, почти подгнивших, исходит удушливый запах, с которым смешивается отрыжка от вчерашних блюд, обременяющих желудок, и поднятие худо переваренных ужинов. Лоб его наморщен отвратительным образом, с длинными бровями. Он растит также бороду, которая, несмотря на старческую уже белизну, чернеет от болезни Силлы[1]. Все его лицо, наконец, так бледно, как будто видения и тени приходят пугать его. Я ничего не скажу о его теле, одержимом подагрой и потопленном в жиру. Умолчу и о мозге, почти совсем высохшем от частых побоев по голове, широкий череп которой имеет на себе столько же рубцов, сколько волос. Умолчу и о том, что, вследствие короткости шеи, его плечи сходятся на затылке. Умолчу и о его неграциозных плечах, о его некрасивых руках и бессильных пальцах. Умолчу о руках, разбитых параличом, обложенных пластырем и обвязанных лохмотьями. Умолчу о подмышках, провонявших псиной и обдающих посторонних собеседников двойными испарениями Ампсанкта (город в Южной Италии, известный дурным воздухом). Умолчу о его груди, обвисшей от жиру, как у кормилицы, и что отвратительнее видеть у мужчины. Умолчу о его животе, спустившемся чуть не до земли... Что сказать о его спине, о позвоночном хребте? Хотя от него идут вокруг ребра, чтобы прикрыть грудь, но этот ветвистый скелет затоплен вышедшим из берегов желудком. Умолчу о ребрах, о заде, в сравнении с которым передняя часть тела кажется ничтожной. Умолчу о его бедрах, сухих и погнувшихся, о непропорциональных коленях, о слабых икрах, о сухих голенях,

[1] То есть покрывается червями.

о прозрачных пятах, о маленьких пальцах и больших ступнях. Но, несмотря на всю безобразность частей своего тела, полуживой и бессильный, он не в состоянии ходить без поддержки, и является еще отвратительнее в словах, чем в своей внешности. Бесчестные слова приятно щекотят его язык, и в особенности хозяин должен бояться за свои секреты; он будет хранить их, пока все идет хорошо, а в сомнительном случае выдаст; если случайно удастся ему разузнать семейные тайны, то тотчас же новый Спартак устраняет все преграды, разрушает все предосторожности, и в семействах, против которых нельзя вести открытую войну, он действует тайными подкопами. Таким-то образом наш Дедал строит здание своей дружбы, сопутствуя товарищам в счастии, как Тезей, и оставляя их в несчастии, как Протей.

Итак, ты исполнишь мое желание, если избегнешь сношений с подобного рода людьми, особенно же с теми из них, которых бесстыдные и достойные театра речи не знают никакой узды, никакого предела. Люди, которые в пустой болтовне переступают пределы приличия, и невоздержанный язык которых вязнет в грязи нахальства, эти люди имеют и совесть, замаранную преступлениями. Впрочем, гораздо легче встретить человека, речи которого важны, а жизнь зазорна, нежели человека, который выражается неприлично, а нравами безукоризнен. Прощай.

Т. I, кн. 3, письмо 13, с. 284.

КОММЕНТАРИЙ. Паразит – греческое слово; так назывались в древности лица, распоряжавшиеся в афинском пританее общественным столом; впоследствии этим словом пятнали всякого питавшегося на чужой счет; лучшие писатели Рима, как Плавт, Гораций, Ювенал и другие, боролись с этим осадком деморализации древнего общества; но в их произведениях паразит служит еще только предметом осмеяния; Сидоний старался внушить омерзение к людям, которые, как показывает Аммиан Марцеллин, незадолго перед тем временем пользовались еще большим почетом в римском обществе. Сам Сидоний, бывший уже епископом, вменяет своему другу в число добродетелей его старание избегнуть общественной заразы, и тем самым свидетельствует, что она была и при нем не менее сильна, как и при Аммиане Марцеллине, за сто лет перед тем.

НОВЫЙ МИР В ЭПОХУ ПАДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Варвары и церковь (V в.)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ЭПОХИ

В течение 500-летнего существования Римской империи, почти с самых первых дней ее происхождения, рядом и в недрах самого древнего общества явились зачатки двух цивилизаций, самостоятельных и независимых. Представителями их были христианская община и германская дружина; отношения, связывавшие членов той и другой между собой, их обязанности, права стояли в резкой противоположности с условиями политического и социального быта Римской империи. Превосходя эти цивилизации своей материальной силой и громадностью, имея на своей стороне все выгоды правильной администрации и точного государственного механизма, Римская империя уступала и христианской общине, и германской дружине в том отношении, что все ее учреждения, при всем их высоком развитии, ограничивались одним формализмом; между тем как ее ничтожные по числу соперники были крепко связаны друг с другом; сам акт поступления в христианскую общину или германскую дружину был результатом свободной воли каждого, и оттого все учреждения как той, так и другой, были проникнуты одинаковой свободой взаимных отношений членов между собой и участием каждого члена в управлении общими делами.

В первые три столетия существования империи и христианская община, и германская дружина находились в постоянной борьбе со своим колоссальным противником: для христиан эта борьба была с рядом преследований со стороны языческого общества; христиане могли противопоставить ему оружие тех, которые бывают физически слабы и обладают одними нравственными силами, а именно – пассивную оппозицию. Германская дружина, несмотря на свою малочисленность, находила в борьбе с Римом союзников во внутренних врагах империи, теснимых ее администрацией и деспотизмом администраторов. Таким образом, в IV столетии империя, чувствуя себя побежденной, начала сближаться с двумя своими врагами, чтобы у них почерпнуть силы для дальнейшего существования.

В 312 г. император Константин Великий признал христианство государственной религией империи; в том же столетии империя пришла в более тесные столкновения и с германской дружиной: в 376 г. гунны, азиатские выходцы, потеснили германцев за Рейн и Дунай, отделявшие их до того времени от Римской империи. С того времени римское правительство селило на своих границах и даже внутри империи германские дружины, давало их предводителям чины и сделало их членами своей администрации. Вследствие того, два старых неприятеля древнего мира к V столетию утвердились мало-помалу в недрах самой империи, с одной стороны, обновляя падавшие формы империи, а с другой стороны, и сами, испытывая на себе ее невыгодное влияние: представитель христианской общины, епископ, и представитель германской дружины, ее герцог или король, внесли новые понятия в римскую администрацию, понятия независимости и самостоятельности, но в то же время, сделавшись чиновниками империи, перестали быть только первыми между равными и потребовали себе большей власти, нежели какой они пользовались прежде. Таков был общий характер двух главных зародышей нового мира, когда в V в. они начали в первый раз свое полное историческое существование, не только признанное официально, но и получившее перевес над древним, падшим порядком вещей.

К. К. Тацит

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕЙШИХ ГЕРМАНЦЕВ (98 г. н. э.)

Германцы выбирают своих королей из среды высшего сословия, а вождей из тех, которые отличались доблестью. Но власть королей не безгранична и не произвольна; точно так же и степень власти вождя определяется личным уважением к нему: его пример важнее звания; все смотрят на то, находчив ли он, предусмотрителен ли, идет ли впереди строя. Впрочем, они не имеют права ни выговаривать, ни вязать, ни сечь без позволения жрецов, подвластных лишь воле божества, которое, по их убеждению, присутствует во время битв. Германцы носят на войну изображения и значки, которые они берут с собой из своих священных рощ. Главным возбуждением храбрости в германце служит то обстоятельство, что у них эскадроны и роты составляются не из случайно набранных людей, но по семействам и степеням родства: так что вблизи их все дорогое, и со своего места они могут

КАЙ КОРНЕЛИЙ ТАЦИТ (CAJUS-CORNELIUS-TACITUS, 55–135). Родился, по преданию, в городе Interamna (н. Terni, в Средней Италии) в начале правления Нерона, в 55 г., и умер в 135 г. Его основательное знание быта германцев и сближение имен подали повод к предположению, что Тацит был сыном прокуратора Галльской провинции Бельгики, соседней германскому миру. Его воспитание и первые годы юности остаются совершенно неизвестными; на основании достоинства его литературных произведений и его тесной дружбы с Плинием Младшим можно заключить, что Тацит получил отличное образование и жил в самом лучшем обществе. Близкое знакомство с военным делом, обнаруженное им в исторических произведениях, послужило поводом к догадке, что Тацит начал свою деятельность военной службой: притом в то время военная служба открывала главную дорогу ко всем гражданским должностям. По словам самого Тацита, он «начал отправлять более важные должности при Веспасиане, еще более успел при Тите, но главным образом возвысился при Домициане» (Hist. I, 1). Пройдя должности квестора, эдиля, трибуна, Тацит в правление Домициана достиг звания претора (в 88 г.).





Медная монета в честь победы Германика над херусками, хеттами и ангривариями в 17 г. н. э.

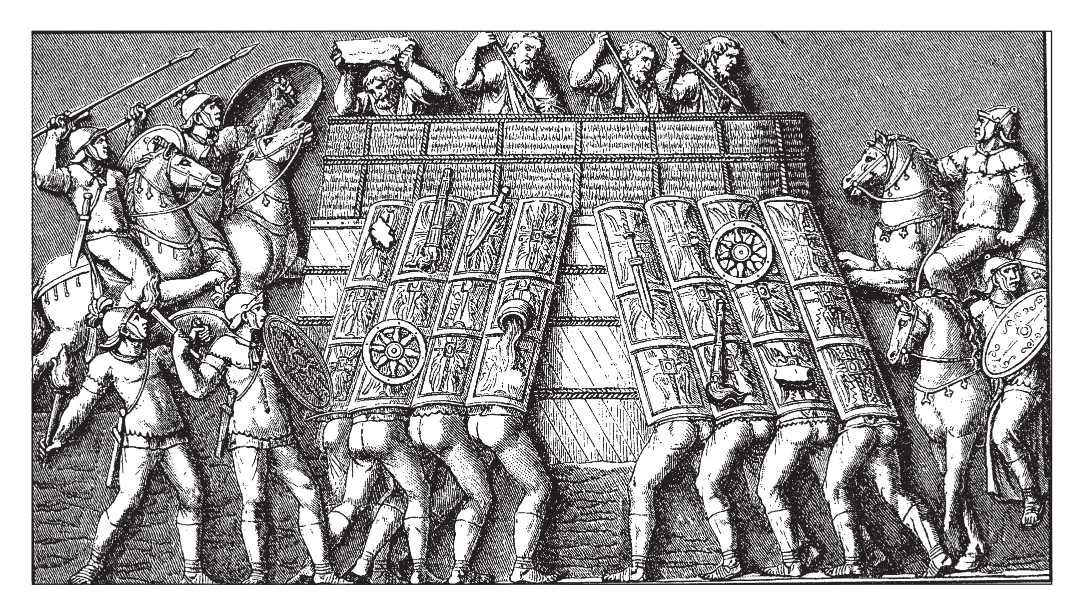
слышать и вопли своих жен, и плач своих детей. В них каждый имеет самых священных свидетелей и лучших ценителей подвига. Они показывают свои раны матерям и женам, и те не боятся считать и рассматривать раны. Они же носят сражающимся пищу и поощряют их.

Есть предание, что иногда ряды войска, уже дрогнувшие и поколебленные, были вновь приводимы в порядок женщинами, их неотступными мольбами; они становились грудью к бегущим, напоминая им об угрожающем плене, которого германцы более всего боятся из-за своих женщин, потому что самое ужасное для германского гражданина то, когда в число заложников требуют девиц из знатных фамилий. Германцы приписывают женщинам особое священное и пророческое значение, не презирают их и не пренебрегают их советами. В царствование покойного (sub divo) Веспасиана мы видели Веледу, которая у многих считалась божеством. Уже и в прежние времена германцы обоготворяли Авринию и многих других, не из низкой лести, как то бывает у нас, а как следует почитать богинь.

Из всех богов германцы наиболее чтут Меркурия (Одина) и в известные дни имеют обычай приносить ему даже человеческие жертвы. Геркулеса (Циу) и Марса они умилостивляют жертвоприношениями животных. Часть свевов приносят, кроме того, жертвы Изиде (Фрейя). Каким образом и откуда перешел к германцам этот чужеземный (то есть египетский) культ, я мало мог разузнать; но само изображение богини в форме либурнского судна указывает на заимствование ее из чужой религии. Впрочем, им кажется более соответственным величию небесных обитателей не держать их заключенными в стенах храма и не придавать им никаких человеческих черт: они посвящают им рощи и леса; и имена богов выражают ту тайну, которую они созерцают в одном благоговении.

Едва ли кто верит так в предзнаменования и гадания, как германцы. Сам способ гаданий у них очень прост: разрезают ветку плодоносного дерева на кусочки и, наметив их разными знаками, разбрасывают наудачу по белому плащу. Затем жрец общины (civitatis), если дело общественное, или отец семейства, если частное дело, призывая богов и поднимая глаза к небу, берет

На следующий же год Тацит, неизвестно, удалился ли добровольно вместе с женой, дочерью Агриколы, знаменитого завоевателя Британи, или был удален из Рима; в 93 г., когда умер или, что вероятнее, погиб его тесть, Тацита не было еще в Риме; но, во всяком случае, он возвратился туда еще до умерщвления Домициана, следовательно, ранее 96 г. Преемник Домициана Нерва, которым начинается счастливая эпоха Римской империи, назначил (в 97 г.) Тацита исполнять должность консула; это звание было более почетным и потому предоставляло Тациту много свободного времени для литературных занятий: в 97 г. он открыл свою писательскую деятельность «Жизнеописанием Агриколы», а в 98 г. было составлено «Описание нравов германцев». В то же самое время Тацит принимал участие в политической жизни своего общества, являясь в сенат как оратор, по поводу процессов государственной важности: так, в 99 г. сенат возложил на него вместе с Плинием Младшим обязанность обличить проконсула Мария Приска, в защиту угнетенных им африканских провинций. Еще до окончания своего труда о нравах германцев Тацит приступил к другим работам и написал «Разговор об ораторах, или О причинах падения красноречия»; это сочинение многие приписывали или Тертуллиану, или Светонию.



Римляне штурмуют германское укрепление. Рим. Колонна Марка Аврелия

три раза по куску и по сделанным на них знакам дает объяснение. Если гадание предвещает неудачу, то всякое совещание об этом деле прекращается на этот день; если же оно счастливо, то требуется еще мнение авгуров, потому что они могут судить по пению и полету птиц. Только одним германцам свойственно умение узнавать будущее по чутью и предчувствию лошадей. Они содержат в тех же священных рощах и лесах на общественный счет несколько белых коней, которые никогда не знали никакой простой работы. Эти кони запрягаются в священную колесницу, и жрец, или король, или князь обязаны править ими и наблюдать их ржание и вздрагивание. Этому гаданию верят больше всего не только народ, но и вельможи, и жрецы, которые себя считают служителями богов, а лошадей знающими даже их помыслы. Германцы имеют еще и другой способ гадать, когда дело идет о том, чтобы узнать исход важной войны: они уст-

Мы не имеем никаких сведений о жизни Тацита во II столетии, от назначения его консулом до смерти (97–135 гг.); очевидно, Тацит не принимал в этот промежуток времени никакого участия в официальной жизни римского общества и посвятил всего себя двум своим самым обширным произведениям, а именно: «Анналам» и «Историям», из которых до нас дошла только небольшая часть. Первые 6 книг «Анналов» (5-я книга с пропусками) заключают правление Тиберия от 14 до 37 г.; следующие 4 книги (7–10), с описанием в них правления Калигулы, и начало 11-й книги потеряны, а затем рассказ начинается с 47-го г., который был пятым годом правления Клавдия. В последних 5 книгах (12–16) недостает окончания 16-й книги: рассказ останавливается на 66-м году, и таким образом описание последних двух лет правления Нерона остается потерянным. Из 20 книг «Историй», которые охватывали собой время от смерти Нерона до смерти Домициана (68–96 гг.), до нас дошли первые четыре книги и начало пятой: правление Гальбы, Оттона, Вителлия и Веспасиана до войны с Цивилисом, в 70 г.

Для средневековой истории Западной Европы самое важное из всех произведений Тацита – его картина древнейшего быта германцев; на нее можно смотреть как на образцовое введение в историю цивилизации Западной Европы; кто хочет подняться

раивают единоборство между пленным, взятым у того народа, с которым предстоит война, и воином из своей среды; каждый из них вооружен отечественным оружием, и победа того или другого определяет будущее.

В делах маловажных совещаются одни только князья, но в более важных – все; однако и те дела, решение которых зависит от воли народа, обсуждаются предварительно старейшинами. Если не случится чего-нибудь внезапного и чрезвычайного, то они собираются в определенные дни, или при новолунии или при полнолунии, считая это лучшим временем для предугадывания участи предпринимаемого дела. Время они считают не по дням, как мы, а по ночам. Ночами они считают время всякого обязательства, всякой сделки, вероятно, потому, что ночь ведет день. Вольность германцев порождает один недостаток: они собираются не все вдруг, не так, как те, которые получают на то предписание, а потому два-три дня теряются на сборы. В собраниях они заседают вооруженными. Жрецы, которые получают в этом случае полицейскую власть (coercendi jus), наблюдают за тишиной. Затем король или князь, смотря по его летам, воинской славе и красноречию, выслушиваются с тем уважением, которое может внушаться более силой убеждения, чем силой власти. Если мнение его не нравится собранию, то оно выражает свое неудовольствие шумом; в случае же согласия потрясает оружием. Шум оружия служит самым почетным выражением одобрения.

В эти собрания могут быть представляемы жалобы, и там же разбираются уголовные дела. Наказания определяются по степени преступления. Изменников и перебежчиков вешают на деревьях. Лентяев, трусов, развратников потопляют в болотах, накрывают их плетнями. Этим различием в наказаниях они, кажется, хотят выразить, что злодеяния должны быть вывешены, а низкие слабости сокрыты. Что же касается более легких проступков, то для них степени наказания выражаются числом лошадей и рогатого скота; часть пени (multa) идет в пользу короля или общины, а часть в пользу истца или его родственников. На этих же собраниях избираются князья (principes), которые чинят суд в округах и селах. Каждому из них дается еще сто графов (comites), избираемых из простого народа (ex plebe), которые составляют его совет и подкрепляют его власть.

Всякое дело, публичное или частное, они разбирают с оружием в руках; но никто не может носить оружия, пока община не признает его достойным того. В последнем случае один из князей, или отец, или родственник, вручает юноше щит и копье. Это их тога, это первая почесть, которой удостаивается молодой человек: до того времени он считался частью семейства, теперь становится частью государства. Высо-

---

к самым источникам новейших учреждений, военных, гражданских и политических, тот должен обратиться к труду Тацита о германцах. Тацита обвиняют только в одном: говорят, что в этом труде он желал не столько изобразить германцев действительных, сколько в лице варваров осмеять деморализацию римского общества; еще Вольтер сравнивал Тацита с тем «педагогом, который для возбуждения самолюбия своих учеников расточает, в их присутствии, похвалы уличным мальчикам, как бы они ни были грязны». Но сравнение показаний Тацита с другими известиями о германцах доказывает, что если историк и руководствовался целями сатирическими, то эти цели не увлекали его за пределы истины.

Между частными изданиями книги Тацита «О германцах» более замечательно то, которое сделал Panckoucke в 1824 г., с французским переводом при латинском тексте, введением, примечаниями и географическим атласом. Из полных изданий всех произведений Тацита новейшее и лучшее сделал Orelli (Zurich. 1848, в 2 т.) и Burnouf (Paris, 1827–1833 гг., в 6 т.). Монографии о Таците: *Meierotto.* De fontibus, quae Tacitus in tradendis rebus ante se gestis videatur secutus. Berol. 1795; *Boetticher.* De vita, scriptis ac stylo Caji Corn. Taciti, etc. Berol. 1834.



Совет у германцев. Рим. Колонна Антонина

кое происхождение и великие заслуги предков передают достоинство князя и детям; иногда же дети знатных сами поступают на службу к более храбрым и уже прежде испытанным людям, и они не считают стыдом быть простыми дружинниками (comites). Степени в самой дружине (comitatus) определяются вождем, за которым она следует; дружинники соперничают за первое место при князе, а князья соперничают многочисленностью и ловкостью дружинников. Все достоинство и могущество князя состоит в том, чтобы быть постоянно окруженным большой толпой молодых сподвижников; во время мира это его украшение, во время же войны – опора. Эти вожди приобретают себе имя и славу не только в своем народе, но и у соседних племен, если могут блистать многочисленностью и храбростью своей дружины. Перед ними заискивают посольствами, осыпают подарками, и нередко одно слово их решает войну.

Когда дело доходит до боя, то для князя считается стыдом, если кто-нибудь превзойдет его храбростью, а дружине стыд, если она не сравняется с князем. Возвратиться живым с боя, в котором пал князь, считается позором на всю жизнь. Защищать и охранять князя, относить к его славе и свои храбрые подвиги составляет священную обязанность дружины. Князья бьются за победу, а дружинники за князей. Если родина томится бездействием и продолжительным миром, большая часть благородных молодых людей идет предлагать свои услуги тем племенам, которые находятся в войне; потому что покой ничего им не приносит, а на войне, среди опасностей, легче блеснуть, и вождю дешевле содержать многочисленную дружину, потому что она и своего боевого коня, и свое кровавое и победоносное копье получает от щедрот князя; его стол и простые, но обильные яства служат дружине вместо жалованья; а война и грабеж доставляют средство к подобной щедрости. Их не так легко убедить в том, что лучше обрабатывать землю и ожидать следующего лета, чем накликать врагов и награждаться ранами. Собирать по́том то, что можно добыть кровью, кажется им леностью и бездействием.

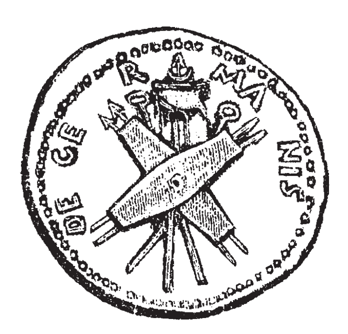
Время, свободное от войны, они проводят отчасти на охоте, а больше в празднос-



Бой германцев с лучниками из римских вспомогательных войск. Рим. Колонна Марка Аврелия

ти, еде и сне. Самые здоровые и воинственные из них, не зная никакого труда, предоставляют заботы о семействе, о пенатах и полях женщинам, старикам и слабейшим в семействе, а сами коснеют в бездействии. Странное противоречие природы: те же самые люди, которые так любят лень, в то же время ненавидят покой. Существует обычай в общинах делать своим князьям поголовные и добровольные приношения скотом и хлебом, которые принимаются в знак почета, но служат также и для удовлетворения их потребностей. Они любят особенно подарки от соседних народов, частные или публичные, как то: отборных коней, оружие больших размеров, сбруи и ожерелья. Мы научили их брать и деньги.

Серебряная монета Клавдия Нерона Друза (Старшего).
В поле изображен трофей, составленный из германского оружия: вексиллума, щитов, копий и труб

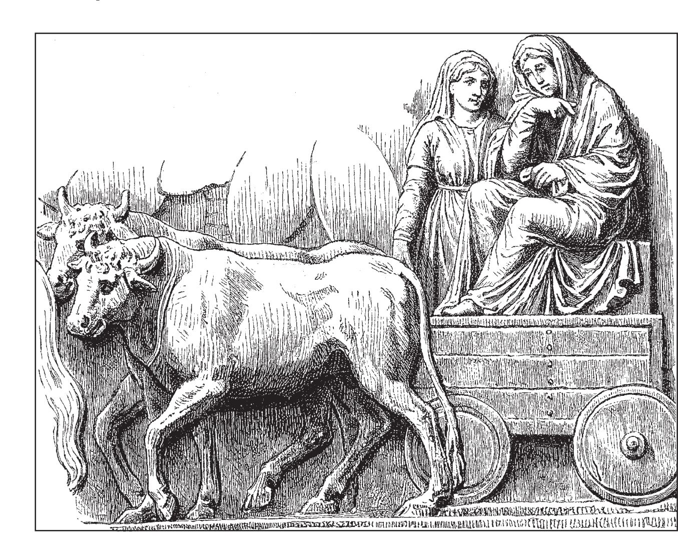


Всем известно, что германцы не любят жить в городах и что они не терпят сплошных жилищ: они живут врассыпную, где кому понравится какой-нибудь ключ, какое-нибудь поле или лесок. Деревни их построены, не по нашему обычаю, дом к дому; каждый окружает свое жилище двором, или ввиду предосторожности от пожара, или по неумению строиться. Они не знают употребления тесаных камней и черепицы, и употребляют грубые материалы, без всякого вида и приятности. Только в некоторых местах строение тщательно вымазывается глиной, столь чистой и блестящей, что она походит на краску и тени цветов. Они имеют также обыкновение копать себе землянки, на которые наваливается толстый слой навоза: они служат складом для хлеба и убежищем во время зимы, потому что умеряют суровость холода; если приходит неприятель, то он может грабить только то, что находится на поверхности земли, но что касается спрятанных и зарытых под землей вещей, то неприятель или не находит их, или они задерживают его, потому что надобно их искать.

Общая одежда их состоит из короткого плаща, застегиваемого пряжкой, а за отсутствием ее – терновником; иногда они

проводят весь день совершенно нагие вокруг очага, перед огнем. Самые богатые из них отличаются одеждой, которая не болтается, как у сарматов и парфян, но сидит в обтяжку, обрисовывая каждую часть тела. Германцы носят также звериные шкуры, более грубые на Рейне и более дорогие в странах внутренних, где они не могут достать себе торговлей другой одежды. Они выбирают лучших зверей и, содрав с них шкуру, раскрашивают ее и убирают кожами животных, получаемых из-за океана и неизвестного моря. Женщины одеваются, как мужчины, за исключением того, что они чаще покрываются полотняными плащами, окрашенными в пурпур, и верхняя часть платья остается без рукавов: руки и плечи голы, и ближайшая к ним часть груди открыта.

Браки у германцев весьма строги, и в этом отношении их нравы заслуживают наибольшей похвалы, потому что они почти единственные из варваров, которые довольствуются одной женой; немногие между ними вступают в браки по несколько раз, и то не для удовлетворения чувственности, а в знак благородства происхождения. Приданое приносит не жена мужу, а муж жене. Родители и родственники бывают при этом посредниками и оценивают свадебные подарки, предназначенные не для женской забавы и не для украшения новобрачной, и состоящие в быках, лошади с упряжью и щите с копьем и мечом. За этими подарками молодая передается мужу и взаимно предлагает ему в подарок что-нибудь из вооружения. Все это составляет самые прочные узы; в этом они видят таинственное священнодействие (arcana sacra); таковы их брачные боги. Чтобы жена не считала себя свободной от мысли о личной храбрости и безопасной от случайностей войны, для того и учреждаются такие приготовления к браку, которые напоминали бы ей, что она обязана быть подругой мужа во всех его трудах и опасностях; что она и во время мира, и на войне должна терпеть и рисковать столько же, сколько и муж ее. Эту-то мысль выражают те парные быки, и лошадь боевая, и изготовленное оружие; брак заключается на жизнь и смерть (sic vivendum, sic pereundum); полученные при браке подарки нужно передать сохранно и честно детям, а через них невесткам, с тем, чтобы они передали их снова внукам.



Германские женщины (вероятно, жрицы).
Рим. Колонна Антонина

Германские жены живут, таким образом, огражденные непорочностью, без обольстительных зрелищ и без разжигающих страсти

Римские легионеры уводят в плен германских женщин.
Рим. Колонна Марка Аврелия





Статуя германки.
Считается, что она изображает Туснельду

пиров. Мужчины, равно как и женщины, не знают секретной переписки (literarum secreta). В таком многочисленном народе весьма редко встречаются случаи прелюбодеяния, за которое наказывает немедленно сам муж. Виновная с обрезанными волосами, нагая, в присутствии родственников, изгоняется из дома мужа, и под розгами прогоняется по всему селению. Женщина, нарушившая законы стыдливости, не имеет для себя пощады. Ни красота, ни молодость, ни богатство не найдут ей мужа. У германцев никто не шутит пороком, и соблазнить или быть соблазненным не называется жить по-светски (nec saeculum vocatur). Еще лучше делают в тех местах, где одни девицы могут выходить замуж, и где можно надеяться и желать быть супругой только один раз в жизни. Подобно тому, как женщина имеет только одно тело и одну жизнь, так точно она должна иметь только одного мужа; затем не должно быть никакой другой мысли, никакого пожелания, чтобы в муже любить не мужа, а брак (ne tanquam maritum, sed matrimonium ament). Ограничивать число детей или умертвить кого-нибудь из младших считается у них преступлением. В Германии хорошие нравы имеют большую силу, чем у других народов хорошие законы.

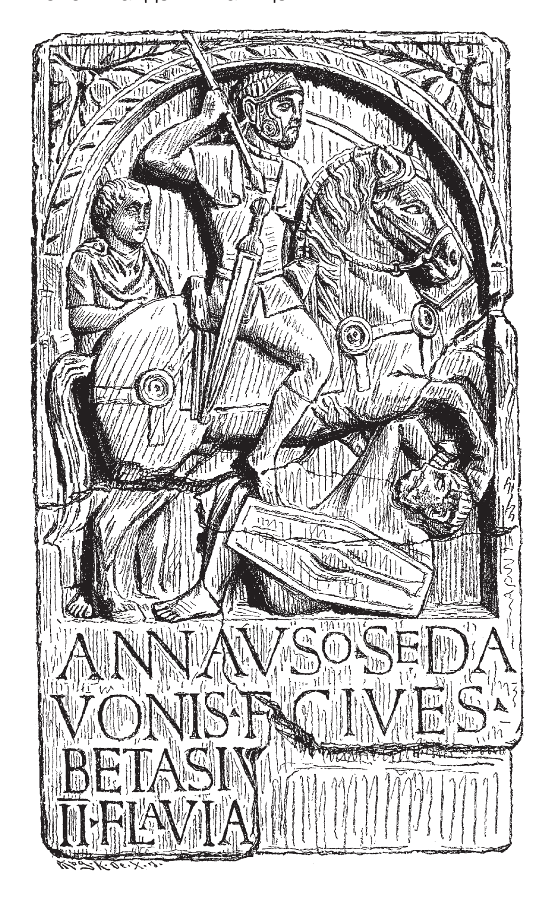
В каждом доме дети растут нагие и грязные, пока они достигают той крепости членов, того телосложения, которому мы удивляемся. Каждое дитя вскармливается грудью своей матери и не передается нянькам и мамкам. Господин не отличается от раба никакой изысканностью воспитания; среди одних и тех же стад, на одной и той же почве они растут вместе до тех пор, пока возраст не отделяет людей родословных и не обнаруживает их доблести. Молодые люди поздно знакомятся с любовью и оттого не бывают истощены уже в юности. Девушки также не выдаются рано замуж; одинаково молодые, равно способные к деторождению, в полной силе, супруги производят и здоровых детей; некоторые считают эти кровные узы еще более тесными, и при выборе заложников требуют по преимуществу племянников, так как эти последние сильнее связывают лицо и обязывают большее число членов в семействе. Наследниками и преемниками каждый считает, конечно, своих собственных детей; завещаний не делают. Если нет детей, то наследуют ближайшие родственники – братья или дяди с отцовской или материнской стороны. Чем больше кто имеет родственников и свойственников, тем почтеннее его старость; бездетность не имеет никакой цены.

Необходимо наследовать вражду и дружбу отца или родственника; но вражда не бывает у них неумолимой. Даже убийство искупается ценой нескольких голов мелкого или крупного скота, и это удовлетворяет все семейство; такое учреждение весьма полезно для общества, ибо личная вражда становится гораздо опаснее при личной свободе. Ни один народ не бывает так внимателен к своим сотрапезникам и гостям, как германцы, отказать кому-либо от своего дома считается бесчестием; каждый угощает тем, что есть, смотря по своему состоянию. Если чего-нибудь недостает, хозяин указывает гостю на соседний дом, вводит его туда без приглашения; это все равно: их обоих принимают с одинаковым радушием. В отношении гостеприимства не различают знакомого от незнакомого. Когда гость уходит и просит чего-нибудь, то обычай требует, чтобы ему не отказывали; обычай же позволяет то же самое и хозяину. Они любят подарки, но не думают обязывать кого-либо своим подарком и не считают обязанными себя, получив что-нибудь от гостя.

Вставая ото сна, который у них продолжается долго после наступления дня, они немедленно моются, чаще всего теплой водой, так как зима у них очень продолжительна. После умывания они едят, сидя каждый на особом стуле и за особым столом. Затем они обращаются к делам, а чаще к пиршеству, на которое являются вооруженными. Пить целый день и целую ночь не считается постыдным. Ссоры, которые у германцев часты, как вообще между выпившими, редко кончаются бранью, и чаще убийствами и ранами. Впрочем и примирения, союзы, выбор князей, мир, война – все это решается на пирах, как будто ни в какое другое время ум не бывает так ясен для обсуждения дел и так настроен для великих предприятий. Этот народ без хитрости и коварства раскрывает тайны своего сердца за вольной пирушкой. Оттого у них то же самое, что говорилось за пиром нараспашку, на следующий день подвергалось вторичному обсуждению; и то, и другое весьма благоразумно: они обсуждают дело тогда, когда человек не может скрывать своих мыслей, а утверждают свой приговор, когда нельзя сделать ошибку (deliberant, dum fingere nesciunt; constituunt, dum errare non possunt).

Напиток их состоит из жидкости, добываемой из ячменя или пшеницы, а брожение делает его похожим на вино. Более близкие к реке (то есть к Рейну) торгуют и вином. Кушанья их просты: дикие плоды, молодая дичь, кислое молоко; все это без всяких затей и приправ. Они менее воздержаны относительно удовлетворения жажды. Если потворствовать их пьянству, давая им пить, сколько они хотят, то этим пороком можно победить их легче, чем оружием. Они имеют только один род зрелищ на всех своих собраниях. Молодые люди – а для них это игра – перескакивают нагие через мечи и воткнутые копья. Упражнение возвысило эту игру до искусства,

Надгробный камень кавалериста из римских войск. Найден в Майнце




Каменная статуэтка германского жреца

а искусство придало ей грацию; участвующие не ищут ни прибыли, ни жалованья; удовольствие зрителей служит наградой смелой ловкости. Игра в кости – это удивительно – занимает их натощак, как серьезное дело и притом с таким ослеплением как при выигрыше, так и при проигрыше, что когда уже ничего нет, они ставят на последнюю ставку свою свободу и самих себя. Проигравшийся добровольно отдает себя в рабство: и хотя бы он был моложе и сильнее того, кто выиграл, но тем не менее он дозволяет последнему связать и продать себя. Они тверды в случае несчастья и называют это честностью. Таких рабов стараются продать, как бы желая избавить себя от стыда выигрыша.

Обыкновенные рабы не имеют определенных в доме занятий, как у нас. Всякий сам заправляет своим двором и своими пенатами. Господин налагает на раба, как на фермера (colonus), известную подать хлебом, животными и платьем; и раб повинуется только в этих пределах. Другие домашние работы выполняются женой и детьми. Редко случается, чтобы раба били, заковывали или изнуряли работой. Они скорее убьют его, но не по жестокости и не наказывая, а в порыве гнева, как убивают врага; и убийца не остается безнаказанным. Вольноотпущенные (liberti) стоят немного выше рабов: они редко приобретают влияние в семейных делах, и никогда в общественных, исключая те народы, которые управляются королями (quae regnantur). У таких народов вольноотпущенные даже возвышаются над людьми свободнорожденными и благородными. Низкое положение вольноотпущенных – признак политической свободы народа.

Дача денег взаймы и увеличение их процентами им неизвестны, а это их охраняет от ростовщичества более, чем запретитель-

Рунический календарь древних германцев. Резьба по липе







Надписи на мече нанесены руническим алфавитом футарк, состоящим из 24 знаков. Использовался для ритуальных целей и гадания. Размеры 122,6×4,9 см

ные законы. Поля, в размере соответственном числу рабочих рук, отводятся в общее владение на известное время (per vices), и потом они сами делят землю между собой, по достоинству лиц. Обширность их полей облегчает такой дележ. Они ежегодно меняют свои поля; у них всегда остается лишнее место: они не заботятся об удобрении земли и не стесняются ее пространством; не разводят фруктовых садов, не ставят заборов, не поливают. От земли требуется только хлеб. Таким образом, они не разделяют года на четыре времени, как мы. Они знают и называют только зиму, весну и лето, но не знают ни имени, ни плодов осени.

У них нет пышных похорон: они соблюдают только одно – чтобы тела знаменитых мужей были сжигаемы на костре из дров известного дерева. Они не кладут на костер никаких одежд, ни благоухающих трав; только оружие покойника, а иногда и его лошадь сжигаются вместе с ним. Могилой служит высокий курган: они не любят ставить колоссальные и дорогие монументы, как гнетущие умершего. Они скоро перестают плакать и стонать, но зато долго хранят свое горе и печаль; одним женщинам прилично оплакивать умершего; мужчинам же дозволяется только вспоминать о нем. Вот все, что я узнал о нравах германцев.

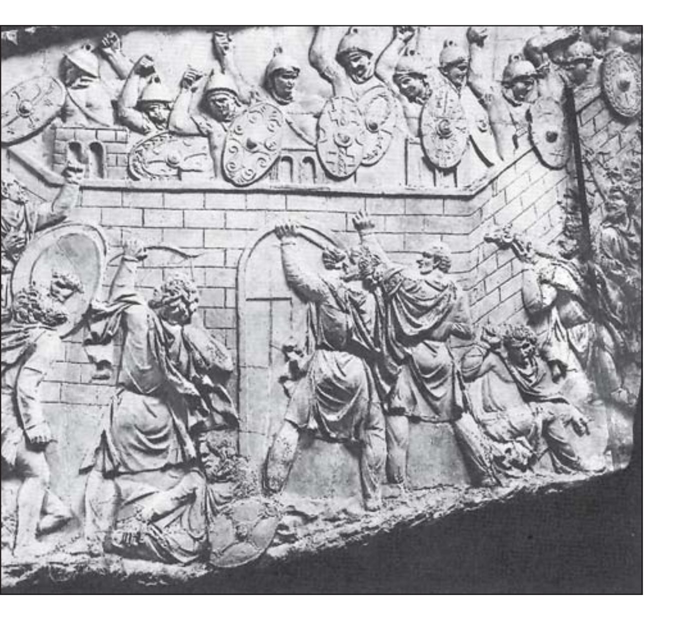
De situ, moribus et populis Germaniae, гл. VII–XXVII.

Ф.-Р. Шатобриан

ОБЩАЯ КАРТИНА ЖИЗНИ ВАРВАРОВ В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ (1831 г.)

В эпоху великого переселения народов глазам римлян явилось то зрелище, какое могут нам теперь представить дикари со всем разнообразием, оригинальностью их жизни и свирепостью обычаев: Рим сначала постепенно, а потом вдруг увидел, в самом сердце и провинциях своей империи, малорослых, худощавых и смуглых людей, или исполинов с зеленоватыми глазами, русыми волосами, омытыми в известковой воде, намазанными горьким маслом или посыпанными ясеневым пеплом; одни – нагие, украшенные ожерельями, железными кольцами, золотыми браслетами; другие – покрыты кожами, броней, в широких шароварах, узких и пестрых туниках; на головах у иных шлемы, сделанные наподобие пасти диких зверей; другие – с бритым подбородком и затылком или с длинной бородой и усами. Одни, пешие, размахивали палицами, дубинами, молотами, копьем, с одним

ФРАНСУА-РЕНЕ ШАТОБРИАН (FRANCOIS-RENÉ VICOMTE DE CHATEAUBRIAND, 1768–1848). Замечательнейший писатель начала нынешнего столетия, имевший в свое время огромное общественное влияние, родился в С.-Мало (Бретань) в 1768 г., умер в Париже в 1848 г. Окончив воспитание в провинциальной гимназии (collège de Dol), он поступил на военную службу за три года перед революцией и был представлен ко двору Людовика XVI. В 1790 г. Шатобриан открыл свое литературное поприще идиллией «L'amour de la campagne». Дальнейшее развитие революции принудило его удалиться в Америку, откуда через год он возвратился в Старый Свет и вступил в войско французских эмигрантов. Но полученная им рана и неудачи ройялистов принудили его удалиться в Англию. Политические несчастья королевских партизан, крайняя их бедность и, наконец, известие о смерти матери наложили печать меланхолии и скептицизма на новые опыты литературной деятельности Шатобриана; падение католичества во Франции, сопровождавшееся суеверием и фанатизмом нового рода, побудило его взяться за труд: «О поэтической и моральной красоте христианской религии», который был после озаглавлен: «Le Génie du Christianisme». Победа, одержанная в то время Наполеоном



Даки осаждают римскую крепость.
Барельеф с колонны Траяна

и двумя крючками, обоюдоострыми секирами, пращами, стрелами с костяным наконечником, веревочными и кожаными арканами, длинными и короткими мечами; другие – на рослых боевых конях, покрытых железными бляхами, или на уродливых и тощих, но быстрых, как орел, лошаденках. На ровном месте эти люди сражались врассыпную, или образовывали угол, или бросались густой толпой; в лесах они влезали на деревья, предмет их поклонения, и сражались, восседая, так сказать, на плечах и на руках своих богов.

Целые тома едва вместили бы в себе описание нравов и обычаев стольких народов.

Агатирсы, как и пикты, раскрашивали тело и волосы голубой краской; у людей низшего класса пятна были невелики и редки; у знатных они были крупнее и ближе одно от другого.

Аланы не занимались земледелием; они питались молоком и мясом животных; странствовали в своих деревянных повозках из степи в степь. Когда их животные поедали всю траву на лугах, они укладывали свой город на повозки и раскидывали его на другом месте. Место, на котором они останавливались, становилось их отечеством. Аланы были высокого роста и красивы; имели почти светло-русые волосы, взгляд страшный и вместе приятный. Рабство у них было неизвесто; они все были детьми свободы.

Готы, как и аланы, скандинавского происхождения, имели с ними сходство; но они менее переняли обычаев у славян, и были

над революцией, и его стремление возвратиться к прошлому на новых основаниях, доставили Шатобриану возможность не только явиться во Францию, но и приобрести важное влияние при реставрации католичества, к которому открывало дорогу его последнее произведение. В 1801 г. к «Гению христианства» был присоединен эпизод «Atala, или Любовь двух дикарей в пустыне»; форма романа и высокое совершенство стиля еще более популяризировали новые идеи Шатобриана в смысле католической реставрации. Между тем автор приобрел в обществе и страстных приверженцев, и непримиримых врагов: на его стороне стояли такие люди, как Ла-Гирп, артисты, молодежь и женщины; остатки революционной партии, видя в нем сильного и счастливого врага, преследовали его с ожесточением. Наполеон, к идеям которого подходила литературная деятельность Шатобриана, принял его под свое покровительство и назначил посланником в Рим (1803 г.). Но согласие этих двух великих людей было кажущееся, и умерщвление герцога Энгиенского (1804 г.) послужило для них поводом к окончательному разрыву. Удалившись от дел, Шатобриан вступил во второй период литературной деятельности, когда он достиг верха своей славы такими произведениями, как роман «Rene» (почти его собственное жизнеописание) и «Martyrs», описывающим страдания первых христиан, во время работы над которым он предпринял в 1806 г. путешествие в Святую землю. В то же время Шатобриан, по духу оппозиции Наполеону, склонился на сторону революционной партии и, вследствие того вскоре

более расположены к восприятию цивилизации. Сидоний Аполлинарий описывает совет готских старейшин: «Следуя древнему обычаю, их старцы сошлись при восходе солнца; лед их возраста скрывал под собой пламя юношей. Нельзя смотреть без отвращения на холстину, покрывающую их тощее тело; кожи, которыми они одеты, едва спускаются ниже колен. Они носят башмаки из лошадиной кожи, которые простым узлом привязываются посредине ноги, большая часть которой остается открытой». И для чего собрались эти готы? Для того, чтобы выразить негодование по случаю взятия Рима вандалами и избрать римского императора!

Сарацины, также как и аланы, были номады: сидя на своем верблюде, они бродили по бесконечным пустыням, переменяя каждую минуту небо и землю; вся жизнь их была постоянным бегством.



Вожди франкских племен

Гунны были страшны даже самим варварам: они с отвращением смотрели на этих всадников с толстой шеей, изрезанными щеками, смуглым, плоским и безбородым лицом, с головой в виде шара из костей и мяса, и глазами, которые скорее можно было назвать щелями, чем глазами; с крикливым голосом и дикими телодвижениями. Римлянам говорили о них, как о животных, ходящих на двух ногах, и сравнивали с теми уродливыми изображениями, которые в древности ставились на мостах. Им приписывали происхождение, оправдывающее ужас, который они внушали: их считали потомками каких-то волшебниц, называемых Aliorumna,

---

после своего избрания в члены Французской академии принужден был удалиться из Парижа в окрестности, где он и выжидал падения своего врага. В 1814 г., при вступлении союзных войск в Париж, он выпустил в свет свою брошюру «De Buonaparte et des Bourbons», которая, по своему влиянию, как выразился Людовик XVIII, стоила целой армии для реставрации. С того времени Шатобриан весь предается политике, но является только человеком партии, увлекающимся оппозицией из честолюбия и изменяющим соответственно тому свой образ мыслей. До революции 30-го г. он был несколько раз министром (1816, 1822–1824 гг.), занимал места посланников в Берлине, Лондоне; удаляемый несколько раз, он то вступал в ряды ультрароялистов из оппозиции либеральному министерству, то присоединялся к либеральной прессе. Июльская революция вызвала протест со стороны Шатобриана и принудила его возвратиться навсегда к частной жизни. Последний ее остаток он посвятил снова литературе; в 1831 г. появились 4 тома его «Etudes historiques», в которых он применяет к общему ходу истории свои прежние теории, изложенные в «le Génie du Christianisme»; в то же время он составляет списки, вышедшие после его смерти под заглавием «Mémoires d'outre-tombe» («Замогильные мемуары»). Он умер во время самого разгара Февральской революции. Лучшее и полное издание сочинений Шатобриана: F. Didot, 5 vols. 1839; Mémoires d'outre-tombe, 12 vols. 1849–1850. См.: *Marin.* Histoire de la vie et des ouvrages de M. de Chateaubriand etc. Par. 1833; *Villemain.* M. de Chateaubriand, sa vie, ses écrits, etc. Par. 1858.



Марк Аврелий и варвары.
Мраморный барельеф с колонны Марка Аврелия

которые, после изгнания их из общества готским королем Фелимером, в пустынях соединились браком с демонами.

Отличные во всем от прочих людей гунны не употребляли огня при изготовлении кушаний. Они питались дикими травами, полусырым мясом, размягченным под сиденьем или согретым между седлом и спиной лошади. Их туники из крашеной холстины и шкурок полевых крыс завязывались около шеи и снимались только тогда, как изнашивались дотла. На голову надевались круглые кожаные шапки, а мохнатые ноги обертывались в козий мех. Можно было подумать, что они были пригвождены к лошадям, малорослым и безобразным, но неутомимым. Часто они садились на них боком, как женщины; сидя верхом, они толковали о делах, рассуждали, продавали, покупали, пили, ели, спали на узкой шее своего бегуна и созерцали в глубоком сне всевозможные сновидения.

Без определенного жилища, без очага, без закона и домашних привычек, гунны блуждали в своих повозках, служивших им жилищами. В этих подвижных шалашах жены изготовляли им одежды, рожали, кормили грудью своих детей до отроческого возраста. Никто среди этих племен не мог сказать, откуда он родом, потому что он мог быть зачат далеко от того места, где рожден, а воспитываем еще далее. Такой образ жизни в подвижных повозках был в употреблении у многих народов, и особенно у *франков*. Император Майориан однажды напал на часть этого племени: «На соседнем холме раздавались звуки брачного пиршества; неприятели праздновали свадьбу одного белокурого юноши, танцуя по образцу скифов. После поражения франков римляне нашли в лагере все приготовления, сделанные для праздника этих номадов: котлы, яства, угощения и благоухавшие венки цветов... Победитель захватил и повозку невесты» (Сидон. Аполлин., в панегирике Майориану).

Сидоний был замечательным свидетелем нравов варваров, вторжение которых совершилось на его глазах. «Я,– говорит он,– среди длинноволосых людей принужден слушать язык германца, рукоплескать песне пьяного бургунда с волосами, густо намазанными прогорклым маслом... Счастливы ваши глаза, счастливы уши, ничего подобного не видящие и не слышащие! Счастлив ваш нос, не обоняющий десять раз в утро заражающий запах чеснока и лука!»

Не все варвары, однако, были так грубы. Франки, перемешанные издавна с римлянами, переняли от них кое-что в опрятности и манерах. «Молодой предводитель шел пешком, окруженный своими; его одежда из пурпура и белого шелка была украшена золотом; его волосы и цвет лица сияли подобно его убранству. Его товарищи (reguli et socii comitantes) были обуты в звериные кожи, вверх мехом; икры и колена оставались голы; пестрые верхние одежды этих воинов подымались высоко, охватывали бедра и едва опускались до подколенок; рукава не достигали локтей. Под этим первым платьем виднелась тога, зеленого цвета с красной опушкой, потом плащ, подбитый мехом и поддерживаемый застежкой. Мечи их висели на узком поясе; оружие служило для них как украшением, так и защитой: в правой руке у них было копье с двумя крючками или короткие топоры для метания; левая рука была защищаема щитом с посеребренными краями и позолоченной выпуклостью»[1].

Сидоний приезжает в Бордо и около Эврика, короля визиготов, находит различных варваров, взятых в плен. «Здесь встречается и саксонец с голубыми глазами: привыкший к морю, он робок на земле. Там старый сикамбр; победитель обстриг ему затылок и он откидывает назад вновь вырастающие волосы на его толстой шее. Далее бродит герул с зеленоватыми щеками, житель берегов отдаленного океана, с растениями которого он может поспорить в цвете; здесь и бургунд, в семь футов ростом, на коленях выпрашивает мир»[2]. Общий всем варварам обычай состоял в том, что они пили брагу, воду, молоко и вино из черепа неприятеля. Одержав победу, они прибегали к всевозможным жестокостям;

---

[1] Сид. Аполлин., т. I, кн. 4, письмо XX, к Домицию.

[2] Сид. Аполлин., т. II, кн. 8, письмо IX.



Печать Хильдерика, короля салических франков (458–481). Король одет в тунику и броню, в руке – копье. Надпись по кругу: CHILDIRICI REGIS (печать короля Хильдерика)

Древнегерманский воин



головами римлян они окружили лагерь Вара, а центурионы были зарезаны на жертвенниках, воздвигнутых богу войны. В случае поражения они обращали ярость против самих себя. Сподвижники первого вторжения кимвров, которых рассеял Марий, были найдены на поле сражения связанными друг с другом: они хотели сделать невозможным бегство и неизбежно погибнуть. Их жены вооружились мечами и копьями: воя, скрежеща зубами от бешенства и отчаяния, они били и кимвров, и римлян: первых как трусов, вторых как неприятелей; в пылу битвы они схватывали голыми руками острые мечи римских воинов, вырывали у них щиты и заставляли убивать себя. Видели, как они, окровавленные, с распущенными волосами, в черных одеждах, входили в повозки с тем, чтобы избить своих мужей, братьев, отцов, сыновей, задушить новорожденных, бросив их под ноги лошадям, и в заключение заколоть себя. Одна из них повесилась на дышле телеги, привязав предварительно за горло двух своих детей к каждой ноге. Из-за отсутствия дерева для совершения подобной казни побежденный кимвр надевал себе на шею веревочную петлю и привязывал конец веревки к ногам или рогам быка; обращая себя таким образом в плуг особенного рода, он гнал животное рожном и удавливался.

Такие жестокие нравы встречаются у варваров V в. Их воинский крик заставлял сильнее биться сердца самых неустрашимых римлян: германцы испускали этот крик, приставляя край щита к губам. Звук готского рога был всем известен.

При сходстве и различии в обычаях, эти народы имели каждый ему только свойственный характер: «Готы – бесстыдны, лукавы, но целомудренны,– говорит Сальвиан,– аланы – откровенны, франки – лживы, но гостеприимны; саксы – жестоки, но враги чувственных наслаждений»[1]. Тот же автор хвалит также скромность готов и особенно вандалов. Тойфалы, племя, обитавшее в Дакии, страдали противоположным пороком[2]. Гунны, вероломно нарушавшие

---

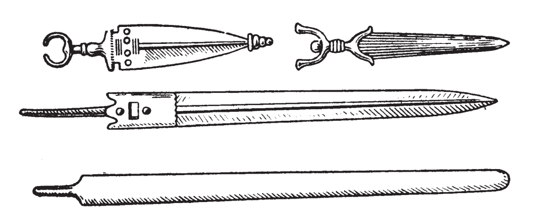
[1] Сальв. De gubernat. Dei, кн. VII.

[2] Амм. Марцелл., кн. XXXI, 9.

всякое перемирие, были снедаемы жаждой золота. Оставаясь на степени животного инстинкта, они не имели понятия о чести и бесчестии. При языке, бедном для выражения мысли, не имея никакой религии ни суеверных преданий, они не были сдерживаемы никаким внутренним страхом. Раздражительные и своенравные, они в один и тот же день покидали друзей, ничем их не оскорбивших, и опять возвращались к ним, хотя бы те ничего не сделали для смягчения их гнева[1].

Некоторые из этих племен были людоеды. Один из сарацинов, весь обросший волосами и нагой до пояса, с хриплым и страшным криком, бросается с мечом в руке в середину готов, подступивших к стенам Константинополя, после поражения Валента; он прильнул губами к горлу сраженного им неприятеля и начал сосать его кровь, к ужасу свидетелей этой сцены[2]. У европейских скифов проявлялся тот же инстинкт хоря и гиены; св. Иероним[3] видел в Галлии аттикотов, бретонскую орду, которые питались человеческим мясом: когда они встречали в лесах стада свиней и других животных, то вырезали груди у женщин, пасущих стадо; самые мягкие части у пастухов – лучшее блюдо их пиршеств. Аланы отрубали голову убитому неприятелю, а из кожи трупа делали попону для лошади. Будины и гелоны также из кожи побежденных выделывали одежды себе и покрывала для лошадей, а голову сохраняли. Эти самые гелоны изрезывали себе щеки; изрубленное лицо, раны, стянутые, как багровые раковины, с красной опухолью, считались высшим знаком отличия.

Независимость была целью жизни для варвара, как для римлянина его отечество, по выражению Боссюэта. Быть побежденным или порабощенным для этих детей войны и пустыни казалось более невыносимым, чем смерть: умирать с улыбкой было геройством. Саксон Грамматик говорит об одном варварском воине: «Он упал, засмеялся и умер». На языке германцев было даже особенное название для таких фанатиков смерти; мир не мог не сделаться добычей подобных людей.



Мечи германцев

Целые народы, в их героическом периоде, бывают поэтами: варвары имели также страсть к музыке и стихам; их муза пробуждалась перед сражением, при празднествах и похоронах. Германцы прославляли древними гимнами своего бога Туистона: когда они бросались в атаку, хором начинали петь военную песню, и по большей или меньшей звучности раздававшегося гимна заключали о результате предстоявшего сражения. Галльские барды были обязаны передавать в потомство воспоминания о подвигах, достойных хвалы.

Иорнанд (Иордан) рассказывает, что в то время, когда он писал, слышали еще готов, распевавших гимны в честь их одного из древних законодателей. На королевском пиру Аттилы два гепида воспевали подвиги древних героев: эти застольные песни старой славе одушевляли лица гостей воинственным жаром. Гуннские всадники, устроившие нечто вроде погребального турнира над могилой этого татарского героя, пели: «Здесь лежит Аттила, король гуннов, рожденный отцом своим Мендзуком. Он победил славнейшие народы и соединил под своей властью Скифию и Германию, чего никто до него не мог сделать. Обе столицы Римской империи трепетали при его имени: удовлетворенный их покорностью, он обратил их в своих данников. Аттила, любимый до конца дней, окончил жизнь не от неприятельского меча, не от измены домашних, но беспечально, среди радости. Есть ли какая-нибудь более приятная смерть, которая не вызывает никакой мести»[1].

[1] Амм. Марцелл., кн. XXXI, 2.
[2] Там же, 16.
[3] T. IV, c. 201, Adv Jovin., кн. II.

[1] Иорнанд, гл. 45.



Франкские пешие воины VI–VIII вв.

В одном оригинальном манускрипте Фульдского аббатства, хранящемся ныне в Касселе, случайно сохранился в целости отрывок тевтонской поэмы, в которой соединены вместе имена Гельдебранда, Теодориха, Германарика, Одоакра и Аттилы. Гельдебранд, которого собственный сын не хочет узнать, восклицает: «Какова моя участь! Я странствовал вдали от своей родины шестьдесят зим и шестьдесят лет, и теперь мое собственное детище должно убить меня своей секирой, или я буду его палачом».

«Эдда» (бабка), сборник скандинавской мифологии, и саги, или исторические предания этой страны, песни скальдов, приводимые Саксоном Грамматиком, или сохраненные Олаем Вормиусом в его рунической литературе, представляют множество образчиков подобного рода. Вот отрывок из одной лирической поэмы о Лодброге, воинственном скальде и пирате: «Мы бились мечами... Орлы и желтоногие птицы испускали радостные крики... Девы плакали долго... Часы жизни текут: мы улыбнемся перед смертью».

Другая песня Эдды выражает ту же энергию и ту же жестокость.

Гогни и Гунар, два героя из племени нибелунгов, находятся в плену у Аттилы. От Гунара требуют указать место, где скрыты сокровища нибелунгов, обещая взамен сохранить ему жизнь.

Герой отвечает:

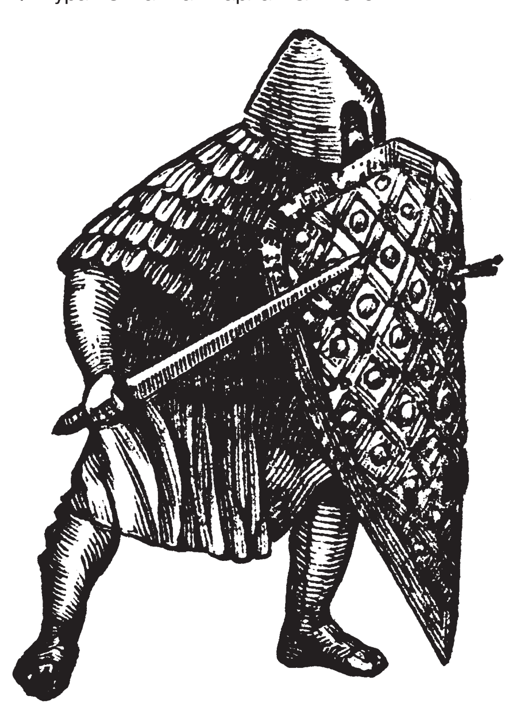
«Я желал бы держать в свой руке сердце Гогни, облитое кровью, прямо из груди мужественного героя вырезанное кинжалом, притупленным о грудь этого королевского сына».

Они вырезали сердце у одного труса, который назывался Гиалли; они положили его, окровавленное, на блюдо, и подали Гунару.

Тогда Гунар, этот вождь народа, запел: «Я вижу пред собой окровавленное сердце Гиалли; оно не похоже на сердце храброго Гогни: оно дрожит вдвое более, чем когда было в груди труса».

Когда же вырывали сердце из груди Гогни, он смеялся; мужественный герой не думал стонать. Его окровавленное сердце положили на блюдо и подали Гунару.

Франкский воин.
Фигура из шахмат Карла Великого



Тогда этот мужественный герой из племени нибелунгов запел: «Теперь я вижу пред собой сердце храброго Гогни, оно непохоже на сердце труса Гиалли; оно мало дрожит на блюде, на котором его положили; оно дрожало вдвое менее, когда было в груди храброго.

Жаль, что ты, о Атли (Аттила), не можешь быть так далеко от моих глаз, как далек ты теперь от наших сокровищ! Отныне в моей власти скрытые сокровища нибелунгов, потому что нет Гогни в живых.

Я всегда был неспокоен, пока мы были живы оба; теперь я не боюсь ничего; я один!»

Эта последняя черта выражает величайшую нежность.

Таков характер первобытной героической поэзии; он одинаков у всех варваров и встречается как у ирокеза, предшествовавшего цивилизации в лесах Канады, так и у грека, вновь сделавшегося дикарем и пережившего свое общество на вершине Пинда, со своей воинственной музой. «Я не боюсь смерти,– говорил ирокез,– я смеюсь над мучениями. Если бы я мог пожрать сердце моих неприятелей!»

«Ешь, птица (так говорит отрубленная голова орлу, в энергическом переводе Фориеля); ешь, птица, ешь мою юность; насыться моим мужеством; твое крыло вырастет от того на аршин, и коготь на пядень» (Fauriel, Chants populaires de la Gréce).

Даже законы принадлежали к области поэзии. Тьерри, человек редкого исторического таланта, очень остроумно заметил, что первые строки пролога салического закона представляются не чем иным, как буквальным текстом одной древней песни; он их переводит так, слогом, соответственным содержанию:

«Народ франкский, знаменитый, получивший начало от Бога, сильный в оружии, твердый в мирных договорах, глубокомысленный в совете, благородный и здравый телом, редкой белизны и красоты, смелый, ловкий и суровый в войне, с недавнего времени обращенный в католическую веру, чуждую ересей; когда он находился еще в языческой вере, то, вдохновляемый Богом, он искал ключа знаний, следуя природным своим качествам; желал справедливости, имел сострадание; салический закон был написан предводителями этого народа, которые в то время начальствовали над ним.

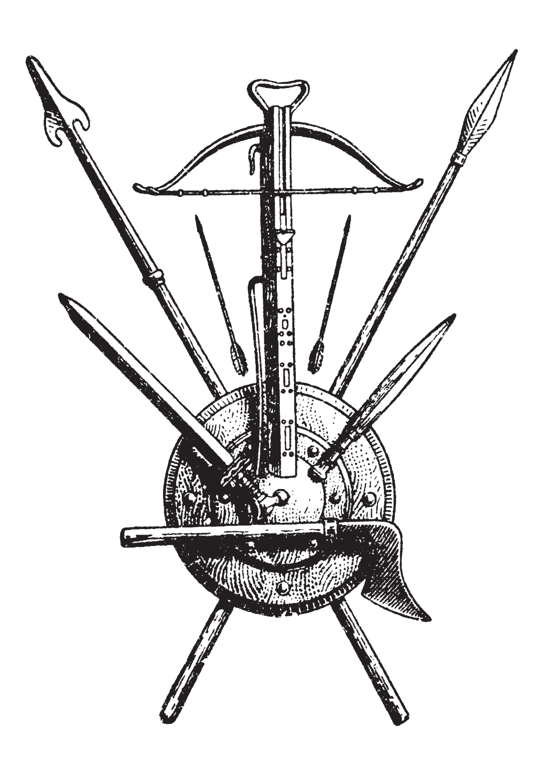
Да будет жив Христос, любящий франков! Да хранит он их королевство... Этот народ, малый числом, но храбрый и сильный, свергнул с себя римское иго».

Метафора господствовала в песнях скальдов: река у них *пот земли* и *кровь долин*, стрелы – *дочери несчастья*, секира – *рука убийцы*, трава – *волосы земли*, земля – *корабль, плавающий в веках*, море – *поле пиратов*, корабль – *их конек* или *бегун волн*.

Скандинавы имели сверх того несколько мифологических преданий в стихах: богини, руководящие сражениями, прекрасные Валькирии, сидели на конях, покрытые шлемами и щитами. «Идем,– говорили они,– пустим наших коней по этим мирам, покрытым зеленью, обиталищам богов».

Начальные правила нравственности также слагались в стихах для потомства: «К вам пришел гость, у него дрожат колени

Оружие франков V–VIII вв.



от холода, дайте ему огня. Нет ничего бесполезнее, как пить много браги: птица забвения поет над опьяневшим и крадет у него душу. Обжора ест свою смерть. Когда человек зажигает огонь, смерть может войти к нему прежде, чем этот огонь догорит. Хвалите хорошую погоду дня, когда он окончится. Не доверяйтесь ни льду, подмерзшему ночью, ни спящей змее, ни обломку меча, ни полю, недавно засеянному».

Наконец, у варваров встречаются песни любви: «В юности моей я сражался с народами Девонстгейма, я убил их юного короля; а русская дева меня презирает».

«Я знаю восемь искусств; твердо сижу на коне, плаваю, бегаю на коньках, мечу дротик, управляю веслом; а русская дева меня презирает!»

Несколько веков спустя после покорения Римской империи пение военных гимнов продолжалось по-прежнему: поражение вызывало стихотворные жалобы на латинском языке; они иногда встречаются в старинных манускриптах: так, Ангельберт оплакивает фонтенейскую битву и смерть Гуго, побочного сына Карла Великого. Страсть к стихотворству была такова, что можно встретить стихи всевозможных размеров в рукописях, хартиях восьмого, девятого и десятого веков. Одна тевтонская песня содержит воспоминание о победе, одержанной над норманнами в 881 г. Людовиком, сыном Людовика Косноязычного: «Я знал одного короля по имени Людовик, который чистосердечно служил Богу, и за что Бог его вознаграждал... Он взял копье и щит, сел поспешно на коня и полетел отомстить неприятелю».

Всем известно, что Карл Великий приказал собрать древние песни германцев.

В саксонской хронике находится стихотворный рассказ о победе, одержанной англами над датчанами, и норвежская история, апофеоза одного датского пирата, убитого с пятью другими предводителями корсаров на берегах Альбиона (Англии).

Нормандские мореходы сами восхваляли свои набеги; один из них говорил: «Я родился в возвышенной стране Норвегии, среди народов, искусных в стрельбе из лука; но я предпочел поднять мой парус, ужас прибрежных земледельцев. Я также устремлял свое судно среди подводных камней, вдаль от обиталищ людей». И этот морской скальд был прав, потому что даны открыли Винляндию, или Америку.

Эти военные песни закончились песнью о Роланде, которая была как бы последней песнью варварской Европы. «В гастингской битве,– говорит Авг. Тьерри,– один норманн по имени Талльефер, устремил свою лошадь в пыл битвы и запел славную во всей Галлии песню о подвигах Карла Великого и Роланда. Он пел и играл своим мечом, бросал его с силой вверх, и подхватывал правой рукой; норманны повторяли припев или кричали: «Помоги, Боже! Помоги, Боже!»

Уас (Wace) сохранил рассказ о том же происшествии на другом языке:

Taillefer, qui moult bien chantoit,
Sur un cheval qui tost alloit,
Devand eus alloit chantant
De Karlemagne et de Rollant,
Et d'Olivier et des vassaux
Qui moururent à Rainschevaux.

Талльефер, который очень хорошо пел,
На лошади скоробегущей
Ехал впереди них, распевая
О Карле Великом и Роланде,
Об Оливьере и вассалах,
Которые погибли при Ронсевале.

Эта баллада, которая должна была найтись в романе о Роланде и Оливьере, в библиотеке королей Карла V, Карла VI и Карла VII, пелась еще в битве при Пуатье (в XIV в.).

Пение народных песен у варваров сопровождалось игрой на флейте, барабане и волынке. Скифы во время празднеств играли на тетиве своего лука. У галлов была в употреблении гитара; на острове Британии арфа; три вещи, которые не могли быть взяты за долги у свободного человека в Валлисе, были следующие: лошадь, меч и арфа.

На каких языках были написаны или пелись эти поэмы? Главными языками были кельтский, славянский, тевтонский и скандинавский; трудно определить, к какому корню принадлежало наречие гуннов. В разговорах франков и татар высокомерное ухо греков и римлян слышало только карканье

воронов, невнятные звуки, без всякого соотношения с человеческим голосом; но когда варвары восторжествовали, то пришлось принимать приказания, даваемые господином рабу. Сидоний Аполлинарий поздравляет Сиагрия с тем, что он мог правильно выражаться на языке германцев: «Я смеюсь,– говорит он,– видя, как варвар остерегается сделать при тебе варваризм на своем собственном языке». Четвертое правило Турского собора повелевает каждому епископу переводить латинские проповеди на романский и германский языки. Людовик Благочестивый приказывает перевести Библию немецкими стихами. Мы знаем, по свидетельству Лупа Феррьерского (Loup de Ferrières), что во времена Карла Лысого посылали монахов из Феррьера в Прюм (Préym) для более короткого ознакомления с германским языком. В ту же эпоху вошли в употребление буквы, используемые норманнами для записывания своих песен; эти знаки назывались runstabath; это рунические письмена: к ним прибавили буквы, изобретенные прежде Этиком, образец которых дал св. Иероним.

Перейдем к религии варваров. Историки свидетельствуют о том, что гунны не имели никакой религии; мы замечаем одно – что они, как и турки, верили в предопределение. Аланы, как народ кельтического происхождения, почитали обнаженный меч, воткнутый в землю. Галлы поклонялись своему ужасному Dis, отцу ночи, которому они закалывали в жертву стариков на dolmen, или друидическом камне; германцы обожали таинственный ужас, внушаемый лесами. Насколько религия этих народов была проста, настолько религия скандинавов была многосложна.

Исполин Имер был убит тремя сыновьями Бора: Одином, Вилом и Ве. Из тела Имера образовалась земля, из его крови – море, из черепа – небо. Солнце еще не имело своего будущего дворца; луна не сознавала своего могущества, и звезды не знали места, которое они должны были занять.

Другой исполин, по имени Норв, был отцом Ночи. Ночь, отданная в замужество за одного из членов фамилии богов, родила День. День и Ночь были помещены в небе, на двух колесницах, влекомых двумя конями: Грим-факс (ледяная грива) везет Ночь: капли его пота производят росу; Скин-факс (светоносная грива) влечет День. Под каждым конем находится мех, наполненный воздухом, что производит свежесть утра.

Мост ведет от земли к небесной тверди: он трехцветный и называется радугой. Он будет разрушен тогда, когда злые гении, перейдя адские реки, проедут верхом по этому мосту.

Город богов помещается под дубом Игг-Дразилл, который осеняет мир. На небе существует много городов.

Бог Тор – старший сын Одина; Тор – божество побед. Гейндалл, с золотыми зубами, рожден десятью девами. Лок – бог обмана. Волк Фенрис – сын Лока; с трудом побежденный богами, он извергает из пасти пену, которая служит источником реки Вама (порока).

Фрига – глава двенадцати богинь-воительниц; они называются валькириями. Гадур, Роста и Скульда (будущее), самая младшая из этих двенадцати фей, всякий день отправляются верхом на поле битвы выбирать жертвы.

На небе есть обширный зал, Валгалла, где обитают храбрые после смерти. Этот зал имеет пятьсот сорок дверей; в каждую из этих дверей выходят восемьсот умерших воинов для битвы с волком. Эти неустрашимые скелеты увеселяются тем, что ломают себе кости и потом вместе сходятся обедать: они пьют молоко козы Гейдруны, которая обгладывает листья дерева Лерады. Это молоко есть мед: им наполняют всякий день кувшин довольно большого размера, чтобы опьянить павших героев. Мир окончится пожаром.

В культе некоторых варваров встречаются волшебницы, феи, предсказательницы, обезображенные боги, заимствованные из греческой мифологии. Сверхъестественное свойственно человеческому духу: что более удивительно, чем толпа эскимосов, собравшихся вокруг волшебника, на берегу их неподвижного моря, при самом входе в этот столь долго отыскиваемый проход, который своей вечной ледяной преградой замыкал путь для корабля неустрашимого капитана Парри?

От религии варваров перейдем к их правительству. Правительство у них вообще имело вид военных республик, начальники которых были избираемы, а иногда на время делались наследственными, под влиянием привязанности, славы или отцовской тирании. Весь древний европейский мир язычества и варваризма знал только избирательную верховную власть: верховная власть наследственная является в христианскую эпоху; такая власть утверждалась внезапно, всякий раз, когда право засыпало ввиду совершившегося факта.

Естественное общество представляет в себе все разнообразие правительств в обществах цивилизованных: там встречаются вместе деспотизм, абсолютная монархия, монархия умеренная, республика аристократическая и демократическая. Часто даже дикие народы изобретали политические формы удивительной сложности и тонкости, как то доказывало правительство гуронов. Некоторые германские трибы избранием короля и военного предводителя создавали две верховные власти, независимые одна от другой: сочетание необыкновенное!

Народы, вышедшие из глубины Азии, своими учреждениями отличались от народов, пришедших с Севера Европы: двор Аттилы представлял вид константинопольского сераля или пекинских дворцов, но с тем отличием, что у гуннов женщины показывались публично; Максимин, византийский посол, был представлен Керке, старшей королеве, или любимой султанше Аттилы: она лежала на софе; ее прислужницы вышивали, сидя вокруг на коврах, разостланных на полу. Вдова Бледы прислала посланникам в подарок красивых рабынь.

Варвары, имея сходство по некоторым из своих обычаев, с нашими дикими, которых я видел в Новом Свете, в то же время существенно отличались от них во многих других отношениях. Сотня гуронов, нагой предводитель которых носил европейскую треугольную шляпу, служила одно время у французского губернатора Канады: можно ли уравнивать их с теми толпами славянского и германского племени, союзниками римских войск? Ирокезы в лучшую пору своего благосостояния не вооружали более десяти тысяч воинов; одни готы выставляли, как остаток от их военного набора, отряд в пятьдесят тысяч человек на службу императорам; в четвертом и пятом веках целые легионы состояли из варваров. Аттила соединял под своими знаменами семьсот тысяч воинов; такое количество теперь едва могла бы выставить самая многочисленная нация Европы. На службе во дворце и в канцеляриях империи были нередко франки, готы, свевы, вандалы; кормить, одевать и снаряжать такую массу людей – есть дело общества, уже далеко подвинувшегося в промыслах и искусствах; принятие участия в делах греческой и римской цивилизации показывает уже замечательное развитие понятий. Странность обычаев варварских и нравов не противоречит такому положению: у народа может быть далеко подвинуто его политическое развитие, и в то же время отдельные личности в этом народе продолжают сохранять привычки естественного состояния.

Рабство было известно у всех этих орд, восставших против Капитолия. И между тем это ужасное право, опирающееся на право победы, было первым шагом цивилизации: человек, совершенно дикий, убивает и ест своих пленников; но не иначе, как восприняв первую идею общественного порядка, он оставляет им жизнь, с целью употреблять их для своих работ.

Сословие благородных также было у варваров, как и рабство; и если сомневаются в этом доказанном факте, то вследствие смешения военного равенства, происходившего от братства по оружию, с равенством рангов. История неоспоримо доказывает, что различные общественные классы существовали в двух больших подразделениях скандинавской и кавказской крови. Готы имели своих азов, или полубогов: две фамилии, Амальты и Бальты, господствовали над всеми другими.

Право первородства было неизвестно большей части варваров, и каноническому праву стоило большого труда принудить варваров к принятию этого закона. У них существовал не только полный раздел, но часто последний рожденный между детьми,



Битва римлян с варварами. Рельеф так называемого саркофага Людовизи. Мрамор. III в.

как более слабый, получал большую в сравнении с другими часть из наследства.

«Когда братья делят имущество своего отца,– говорил закон в Галлии,– то самый младший получает лучший дом, земледельческие орудия, котел своего отца, его нож и топор». В противность тому духу, который господствовал в настоящем салическом законе, материнская линия имела предпочтение перед отцовской в наследстве и делах, к нему относившихся. Пример подобного мы скоро увидим, когда будем говорить о пени за убийство[1].

У многих германских триб личное владение было только годовое; владелец обработанного поля после жатвы возвращал землю общине. У галлов родительская власть простиралась и на саму жизнь дитяти; германцы ограничивали эту власть одной его свободой. В Валлийском княжестве пенсенедит, или предводитель клана, управлял всеми родами.

[1] Правительство применяло к себе законы семейства: король, умирая, делил наследство между своими детьми, без согласия или подтверждения народа; закон политический, в своей простоте, был тот же, как и закон семейный.

Законы варваров, если мы опустим в них все то, что ввели католицизм и Римское право, ограничивались собственно уголовными законами для защиты личности и имущества. В салическом законе находятся наказания за кражу вообще животных, овец, коз, собак, свиней, начиная от поросенка до матки, ведущей стадо, от теленка до быка, от ягненка до барана, от козленка до козла, от лучшей гончей собаки до собаки, стерегущей стадо. Закон в Галлии запрещал бросать камень в быка, запряженного в плуг, и крепко стягивать ему ярмо.

Лошадь пользовалась особенным покровительством: тот, кто сядет на коня или кобылу без позволения хозяина, подвергается пени от пятнадцати до двадцати солидов золота. Кража у франка боевого коня, мерина, жеребца и его кобыл влечет за собой большое наказание. Охота и рыбная ловля были также охраняемы законом: определялась пеня за горлицу и всякую маленькую птицу, похищенную из сетей, куда она попалась; за сокола, пойманного на дереве; за умерщвление оленя, который служит приманкой для диких оленей; за похищение кабана, пойманного другим охотником; за вырытие из земли спрятанной дичи и рыбы, лодки

и мережи. Всякое дерево было под защитой особенных распоряжений: заботиться о сохранении лесов значило заботиться о безопасности отечества.

Военное товарищество, или ответственность трибы и круговая порука членов семьи выражались в постановлениях о присяжных, или очистителях: если кто-нибудь обвинялся в проступке или преступлении, то он мог, по алеманнскому закону и по многим другим, избежать наказания, если находил известное число равных себе по положению (pares), которые поклялись бы вместе с ним, что он невинен. Если обвиняемое лицо – женщина, то ее присяжными должны быть женщины.

Так как храбрость была первым качеством варваров, то всякое ругательство, выражающее ее недостаток, наказывалось: таким образом, назвать мужчину lepus, зайцем или concacatus, замаранным, значило навлечь на себя пеню от трех до шести солидов золота; той же пени подвергался воин, бросивший свой щит на глазах у неприятеля.

Во всей полноте варварство высказывалось в постановлениях о ранах: закон саксов в этом отношении самый подробный: четыре выбитых передних зуба стоят только шесть шиллингов; а за повреждение только одного из близлежащих к этим четырем взималась пеня в четыре шиллинга. Ноготь большого пальца стоит три шиллинга, и столько же урезанная ноздря. Рипуарский закон выражается благороднее: за отнятие пальца, необходимого для спускания стрелы, полагалась пеня в тридцать шесть солидов золота; по этому же закону свободнорожденный за нанесение другому свободнорожденному раны, с пролитием крови на землю, платит восемнадцать солидов золота.

Рана в голову или другом месте оценивалась в тридцать шесть солидов золота, если при этой ране выламывалась кость такой величины, что могла бы произвести звук, ударившись о щит, поставленный на расстоянии двенадцати футов. Домашнее животное, которое убило человека, отдается родственникам убитого, с приложением виры (пени); так же поступалось и в том случае, когда дерево падало на проходящего. Евреи имели подобные же постановления.

И несмотря на то что эти законы кажутся столь жестокими, в сущности они были более мягки, чем наши законы: смертная казнь встречается только пять раз в салическом и шесть раз в рипуарском законе. Но вот что чрезвычайно замечательно: из показанных случаев, за исключением одного, казнь ни разу не была назначена за смертоубийство; убийца не подвергается смертной казни, между тем как похищение, вероломство, нарушение договора наказывают смертью; но и для рассмотрения всех этих проступков и преступлений допускаются присяжные.

Процесс уголовного суда в тех случаях, когда убийство наказывается смертью, может служить лучшей картиной германских нравов. Убивший человека и не имеющий, чем заплатить всю виру сполна, должен представить двенадцать присяжных, которые объявляют, что виновный в преступлении ничего не имеет ни на земле, ни под землей сверх того, что он представил в уплату виры. Тогда виновный входит в свой дом и берет в горсть землю из четырех углов своего дома; с этим он возвращается к двери, становится на пороге, лицом вовнутрь жилища, и левой рукой бросает землю назад через плечо на своего ближайшего родственника. Если его отец, мать и братья отдали уже все, что имели, тогда он бросает землю на сестру своей матери или на детей, или на трех ближайших родственников с материнской стороны[1]. После того обвиненный босиком и в рубашке перепрыгивает, опираясь на шест, через забор, окружающий его дом: тогда три родственника с материнской стороны обязуются заплатить то, чего недостает до полной суммы виры. За отсутствием родственников с материнской стороны призываются родственники со стороны отца. Бедный родственник, будучи не в состоянии заплатить, бросает в свою очередь землю, взятую в четырех уг-

[1] Вот еще доказательство предпочтения женской линии.

лах дома, на родственника более богатого. Если и этот родственник не может доплатить недостающей части виры, то истец обязует ответчика-убийцу явиться на суд подряд четыре раза; и наконец, если никто из родственников последнего не захотел бы за него заплатить, тогда сам преступник осуждался на смерть: de vita componat, то есть платил виру жизнью.

Из таких многочисленных предосторожностей для спасения жизни виновного можно заключить, что варвары смотрели на закон, как на тирана, и старались ограничить его власть; но не ценя высоко ни собственную жизнь, ни жизнь других, они считали соответственным правом каждого убить или самому быть убитым. В законах саксов предусмотрен даже случай убийства предводителя: обвиненный в этом платил пеню в семьсот двадцать фунтов серебра. Германец противился тому, чтобы абстрактное существо, как закон, могло проливать его кровь. Итак, в зарождающемся обществе инстинкт человека отвергал смертную казнь, и, без сомнения, в обществе развитом разум человека также со временем отвергнет ее; смертная казнь могла установиться только в промежутке между обществом совершенно диким и обществом вполне цивилизованным, в том обществе, которое утратило уже независимость своего первого быта, но не успело еще достигнуть совершенства второго.

Вожди варварских народов имели в себе что-то необыкновенное, как и сами народы. Среди всеобщего разрушения Аттила казался рожденным для того, чтобы внушить страх миру; со своей судьбой он соединял какой-то ужас, и народ составил о нем грозное представление. Походка его была горда; его могущество высказывалось в движении тела и во взгляде. Любя страстно войну, он умел сдерживать свой жар, был благоразумен в совете, доступен просителям, благосклонен к тем, которые заслужили его доверие. Его малый рост, широкая грудь, еще более широкая голова, маленькие глаза, редкая борода, с проседью волосы, плоский нос и смуглый цвет лица обличали его происхождение.

Резиденцией его был лагерь или большой деревянный сарай, построенный среди пастбищ Дуная; побежденные короли чередовались у дверей его шатра; жены его жили в других палатках, помещавшихся вокруг его жилища. Обед Аттилы состоял из грубых кушаний, подаваемых на деревянных блюдах, а между тем золотые и серебряные вазы, трофеи побед и произведения греческого искусства он дарил свои товарищам. Там-то, сидя на скамейке, этот татарин принимал римских и константинопольских послов. По обе стороны его сидели не послы, а неизвестные варвары, начальники его армий и отрядов: он пил за их здоровье и заканчивал, после многих возлияний, объявлением своей милости властелинам мира. Когда Аттила вторгся в Галлию, за ним шла целая толпа князей данников, которые со страхом и трепетом ожидали знака повелителя монархов, чтобы исполнить то, что будет им приказано.

Все эти народы и их предводители как бы выполняли какое-то назначение, в котором они сами не могли дать себе отчета, со всех сторон стекались на развалины древнего мира, одни пешком, другие на лошадях или в повозках, иные на верблюдах; те плыли по реке на щитах или в лодках из кожи и древесной коры. Неустрашимо плавая между полярными льдами или носимые бурей юга, они, казалось, проникали в глубь океана. Вандалы, переселившиеся в Африку, сознавались, что они действовали в этом случае не столько по собственному желанию, сколько по какому-то непреодолимому влечению.

Эти новобранцы провидения были какими-то слепыми исполнителями вечной воли; отсюда та страсть к разрушению, та жажда крови, ничем неутолимая; отсюда то стечение всех обстоятельств, благоприятствовавших успеху: низость людей, отсутствие храбрости, добродетели, талантов, гения. Гензерик был мрачной личностью, подверженный припадкам сильной меланхолии; во время мирового переворота он казался великим, потому что стоял на развалинах. Перед одним из своих военных походов, когда все было готово и он сам взошел на корабль, Гензерик не знал, куда идти. «Господин,– говорит ему кормчий,– каким народам ты несешь войну? – Тем,– отвечает

старый вандал,– которые прогневили Бога!» Когда Аларик шел к Риму, какой-то пустынник заступил дорогу победителю; он сказал ему, что небо отомстит за бедствия земли: «Я не могу остановиться,– отвечает Аларик,– кто-то меня толкает и принуждает разрушить Рим». Три раза он осаждает вечный город: Иоанн и Бразилий, посланные к нему во время первой осады, чтобы склонить его удалиться, говорят ему, что если он будет упорствовать в своем предприятии, то ему придется сражаться с многочисленной толпой, доведенной до отчаяния. «Густую траву,– возражает истребитель людей,– легче косить». Тем не менее он склоняется на просьбу и довольствуется тем, что требует у послов выдачи всего золота, серебра, драгоценностей и всех рабов варварского происхождения: «Король,– восклицают послы римского сената,– что же останется римлянам?» – «Жизнь». Надобно было снять с истуканов их украшения, перелить золотые статуи Храбрости и Добродетели. Аларик получил пять тысяч фунтов золота, тридцать тысяч фунтов серебра, четыре тысячи шелковых туник, три тысячи кож, окрашенных пурпуром, и три тысячи фунтов перца; а Камилль и древние римляне железом откупились от галлов.

Атаульф, наследник Аларика, говорил: «Я страшно желал стереть с лица земли имя римлян и образовать вместо империи цезарей, империю готов, под именем Готии. Когда опыт убедил меня в невозможности для моих соотечественников переносить иго законов, я переменил намерение и захотел быть восстановителем Римской империи, вместо того, чтобы быть ее разрушителем». Это рассказал один пастырь по имени Иероним, в 416 г., в своем Вифлеемском гроте, другому пастырю по имени Орозий.

Лань открывает дорогу гуннам через Азовское море и скрывается. Телица одного пастуха ранит свою ногу на пастбище; этот пастух находит меч, скрытый в траве; он приносит его татарскому королю; Аттила схватывает меч, и на этом мече, который он называет мечом Марса, клянется утвердить свое господство над целым миром. Он говорит: «Падает звезда, дрожит земля; я молот вселенной». В число своих титулов он сам помещает прозвание Бича Божия, которое дала ему вселенная.

И это был тот человек, которого тщеславные римляне называли полководцем на службе империи; дань, которую они ему платили, они считали его жалованьем; то же самое они говорили относительно готских и бургундских предводителей. Гунн отвечал на это: «Полководцы императоров – слуги, а полководцы Аттилы – императоры».

В Милане он увидел картину, где готы и гунны были представлены распростертыми перед императорами; Аттила приказал изобразить на ней себя сидящим на троне, а императоров несущими на плечах мешки золота, которое они высыпают к его ногам.

«Неужели вы думаете,– говорил он посланникам византийского императора Феодосия II,– что могла бы существовать крепость или город, если бы мне вздумалось стереть их с лица земли?»

После умерщвления своего брата Бледы он послал двух готов, одного к Феодосию, другого к Валентиниану, передать это известие: «Аттила, мой и твой господин, приказывает тебе приготовить ему дворец».

«Трава не будет более расти,– говорил тот же истребитель,– на том месте, где пройдет конь Аттилы».

Таинственный покров распростерся и над могилой этих посланников провидения. Аларик недолго жил после своего триумфа; готы отвели воды Бузента, около Козенцы (на юге Италии), выкопали могилу на дне русла, положили туда тело предводителя, вместе с огромным количеством серебра, дорогих материй, потом возвратили реку на старое русло, и быстрый поток побежал над могилой победителя. Рабы, употреблявшиеся при этой работе, были убиты, для того, чтобы никакой свидетель не мог указать, где лежит тот, кто взял Рим, как будто бы варвары опасались, чтобы не было взыскано с этого праха за его славу и преступления.

Когда умер Аттила, его сначала положили в лагере между двумя длинными рядами шелковых шатров. Гунны рвали на себе волосы и изрезали щеки, оплакивая Аттилу

не слезами женщин, но кровью мужей. Всадники кружили вокруг катафалка и пели хвалебные гимны герою. По окончании этой церемонии накрыли стол над готовой могилой, и присутствующие сели за пиршество, перемежая веселость печалью. После пира труп погребли тайно ночью; его положили в тройной гроб из золота, серебра и железа. Вокруг гроба оставили оружие, добытое у неприятелей, колчаны, украшенные дорогими камнями, военные украшения и знамена. Чтобы навсегда скрыть от людей эти богатства, погребавшие были брошены вместе с погребенным.

По рассказу Приска, в ту самую ночь, когда умер Аттила, император Маркиан видел во сне, в Константинополе, что лук Аттилы сломался. Этот самый Атилла, после поражения, нанесенного ему Аэцием, имел намерение сжечь себя живого на костре, составленном из седел и сбруи лошадей, для того, чтобы никто не мог похвастаться тем, что убил или взял в плен героя, одержавшего столько побед. Он исчез бы в пламени, как Аларик в потоке: вот те образы величия и разрушения, которыми эти люди наполняли свою жизнь и покрыли землю.

Сыновья Аттилы, которые сами по себе могли составить народ, разделились. Народы, соединенные мечом этого героя, сошлись в Паннонии, на берегах Нетада, чтобы освободиться и растерзать друг друга. Множество воинов без вождя – размахивающий мечом гот, потрясающий дротиком гепид, метающий стрелы гунн, пеший свев, тяжеловооруженный алан, легкий герул,– билось с ожесточением: тридцать тысяч гуннов остались на поле боя, не считая их союзников и неприятелей. Эллак, любимый сын Аттилы, был убит рукой Арика, вождя гепидов. Мир, оставленный в наследство королем гуннов, не имел в себе ничего прочного; это был род фантасмагории, или волшебства, произведенного его мечом: когда был разбит талисман славы, все разрушилось. Народы рассеялись от того же вихря, который их соединил. Все царствование Аттилы было одним нашествием.

Народное воображение, сильно потрясенное сценами беспрестанно повторявшейся резни, создало легенду, в которой, кажется, заключалась аллегория всех тех ужасов и истреблений. В одном отрывке у Дамаския рассказывается, что Аттила дал сражение римлянам перед воротами Рима: все сражавшиеся погибли с обеих сторон, исключая предводителей и нескольких воинов. Когда противники пали, то к небу поднялись души их и продолжали сражение три дня и три ночи; эти мертвые бойцы сражались с тем же жаром, с каким они дрались при жизни.

Но если варвары были безотчетно побуждаемы к разрушению, то, с другой стороны, они были чем-то сдерживаемы: древний мир, близкий к падению, не должен был исчезнуть совершенно там, где начиналось новое общество. Когда Аларик взял вечный город, то назначил для убежища церкви св. Петра и Павла тем, которые хотели там скрыться. На это св. Августин делает прекрасное замечание: «Если основатель Рима, – говорит он, – открыл в своем рождающемся городе убежище, то Христос дал другое, более славное, чем убежище Ромула».

Среди ужасов города, преданного на разграбление, в столице, в первый раз и навсегда упавшей с пьедестала повелительницы и владычицы земли, видели солдат – и каких солдат! – покровительствующих перенесению сокровищ храма; священные сосуды были несены открыто один за другим; с обеих сторон шли готы с мечом в руке; римляне и варвары вместе пели гимны во славу Христа.

То, что было пощажено Аларикомь, не избегло бы рук Аттилы: он шел к Риму; св. Лев идет ему навстречу; бич Божий остановлен служителем Бога, и чудо искусства воспроизводит чудо истории в новом Капитолии, который падает в свою очередь.

Обращенные в христианство варвары присоединили к своей грубости суровость отшельников; Теодорих перед одной битвой провел ночь, одетый во власяницу, и скинул ее, чтобы облечься в кожаную броню.

Если римляне превосходили своих победителей цивилизацией, то те превосходили их доблестью. «Когда мы хотим оскорбить неприятеля,– говорит Лиутпранд, немецкий историк X в.,– то мы называем его римлянином: это имя означает низость,

подлость, скупость, распутство, ложь; оно заключает в себе все пороки». Варвары отвергли изучение наук, говоря: «Дитя, которое дрожит под розгой, не может не дрожать при виде меча». В салическом законе убийство франка ценилось в двести солидов золота, а убийство римского собственника – в сто солидов, как за половину человека.

Достоинство, возраст, звание, религия нисколько не останавливали в римлянах страсти к распутству в то время, как провинции были преданы пламени; они не могли оторваться от зрелищ в цирке и театре; Рим разграблен, а беглые римляне идут в Карфаген, еще римский на несколько дней, развернуть перед его глазами свою безнравственность. Трир четыре раза берется приступом, а остаток его жителей усаживается посреди крови и разрушения, на опустелых скамьях своего амфитеатра. «Беглецы Трира,– восклицает Сальвиан,– вы обращаетесь к императорам с просьбой позволить вам открыть театр и цирк: но где же город, где народ, об увеселениях которого вы хлопочете?»

Кёльн пал в минуту всеобщей оргии; гражданские власти не были в состоянии встать из-за стола в то время, как неприятель, овладев стенами, стремился в город...

Представьте себе, что в это же время один поэт, Рутилий, излагал в стихах свое путешествие из Рима в Этрурию, как Гораций, в счастливые дни Августа, свое путешествие из Рима в Брундизий; что Сидоний Аполлинарий воспевал свои прекрасные сады в Оверне, в которые вторглись вестготы; что ученики прекрасной Ипатии дышали только ею, наслаждаясь наукой и любовью; что Дамаский, в Афинах, придавал более значения какому-нибудь философскому вздору, чем земным переворотам; что Орозий и св. Августин более обращали внимания на ересь Пелагия, чем на опустошение Африки и Галлии; что дворцовые евнухи спорили о местах, которые удавалось им занять на час; что, наконец, были историки, которые, как я, рылись в архивах прошлого среди разрушения настоящего, которые писали сказания о древних революциях под шум новых переворотов; и они, и я хватали вместо скрижалей камень, уже скатившийся с развалин здания к нашим ногам, в ожидании другого камня, который должен обрушиться на наши головы[1].

Теперь можно составить только слабое понятие о зрелище, которое представлял римский мир после вторжения варваров: треть (может быть, половина) народонаселения Европы и части Африки и Азии была подкошена войной, заразой и голодом.

Соединение германских триб, в царствование Марка Аврелия (II в.), оставило на берегах Дуная следы, впрочем, скоропреходящие. Но когда появились готы в правление Филиппа и Деция (III в.), опустошения охватили большее пространство и были продолжительнее. Валериан и Галлиан носили пурпур в то время, когда франки и алеманны грабили Галлию и проникли до пределов Испании.

Во время первого своего морского похода готы опустошили земли, лежащие по берегам Черного моря; второй раз они вторглись в Малую Азию; в третий были обращены в пепел города Греции. Эти вторжения влекли за собой голод и заразу, продолжавшиеся пятнадцать лет. Эта зараза обошла все города и провинции: по пять тысяч человек умирали в один день. Список граждан, получавших в Александрии содержание хлебом, показывает, что в этом городе погибло до половины жителей.

Вторжение трехсот двадцати тысяч готов в царствование Клавдия наводнило Грецию; в Италии, при Пробе, другие варвары причинили те же бедствия, но еще в большей степени. Когда Юлиан прибыл в Галлию, незадолго перед тем сорок пять городов были разрушены алеманнами: жители оставили незащищенные города и обрабатывали только те земли, которые находились внутри стен укрепленных городов. В 412 г. варвары опустошили семнадцать галльских провинций, гоня перед собой, как стадо животных, сенаторов и матрон, господ и рабов,

[1] Eux et moi prenant pour table, dans l’edifice croulant, la pierre tombée a nos pieds, en attendant celle qui devait écraser nos tetes. Время, в которое жил автор, объясняет значение этих слов. См. ниже примечание.

женщин и мужчин, девочек и мальчиков. Пленный, идя пешком среди телег и оружий, имел одно утешение – быть вместе со своим епископом, таким же, как и он, пленником; будучи поэтом и христианином, он брал предметом своих песен несчастья, которых он был свидетелем и жертвой. «Если бы океан потопил галлов, то и тогда не случилось бы таких ужасных разорений, какие произвела эта война. О, если бы у нас отняли только наших животных, наши плоды и хлеб, если бы истребили наши виноградники и оливковые деревья; если бы наши жилища в селах были разорены огнем и водой и если бы (что еще печальней для взора) немного уцелевшее так и оставалось заброшенной пустыней,– все это было бы только самой малой частью наших несчастий. Но, увы! В продолжение десяти лет готы и вандалы режут нас. Замки, построенные на скалах, села, лежащие на самых высоких горах, города, окруженные реками, не могли защитить жителей от ярости этих варваров и предавали их на последние истязания. Если я не могу сожалеть об истреблении, без разбору, целых народов или людей, которые, может быть, получили справедливое возмездие за свои преступления, то, по крайней мере, мне будет позволено спросить, что сделали дурного дети, подвергшиеся той же участи, дети, которые по возрасту своему были неспособны совершить преступление? Отчего Бог попустил опустошить свои храмы?»[1] Вторжение Аттилы увенчало этот разгром; спаслись только два города, на севере от Луары – Троя и Париж. В Метце гунны умертвили всех, даже детей, которых епископ поспешил окрестить; город был предан пламени; долгое время спустя место, где он стоял, узнавали только по часовне, уцелевшей от пожара. Сальвиан видел города, наполненные телами мертвых; собаки и хищные птицы, пресыщенные гнойным мясом трупов, были единственными жильцами этих кладбищ.

Туринги, служившие в армии Аттилы, на обратном пути через землю франков производили неслыханные жестокости, которые Теодорих, сын Клодовея, вспомнил спустя восемьдесят лет, возбуждая франков к мести. «Обрушившись на наших отцов, они похитили у них все. Они вешали их детей по деревьям, за ноги. Они умертвили ужасной смертью более двухсот молодых девушек: одних привязывали за руки к шее лошадей, потом гнали животных острым рожном и разрывали жертву на куски; других растягивали на дороге и прибивали кольями к земле; после того проезжали по ним с нагруженными телегами, раздробляли им кости, и в заключение бросали на съедение воронам и собакам»[1].

В древнейших грамотах, которыми жаловалась земля монастырям, говорится, что эти земли лишены лесов, что они взяты, от пустыни, ab eremo. Правила Анжерского собора (4 октября 453 г.) повелевают духовным, в случае путешествия, приобретать епископские бумаги; они запрещают им носить оружие; запрещают насилие и увечье, и отлучают от церкви того, кто выдаст город; такие запрещения свидетельствуют о беспорядках и бедствиях Галлии.

Сорок седьмой параграф салического закона «О том, кто утвердился на земле, ему не принадлежащей, и о том, кто ею владеет уже двенадцать месяцев», свидетельствует о непостоянстве владения и о большом количестве земель без владельцев. «Если бы кто-нибудь утвердился в чужом владении и прожил в нем двенадцать месяцев без всякого законного протеста, тот может оставаться там в безопасности, как и другие жители»[2]. Если от Галлии мы перейдем к востоку Европы, то нас поразит не менее печальное зрелище. После умерщвления Валента, страны, которые простираются от Константинополя до подошвы Юлийских Альп, были обращены в пустыню; обе Фракии заросли травой, среди которой виднелись одни белеющие груды костей. В 448 г. римские посланники отправились к Аттиле: после тринадцати дней путешествия они достигли истребленного пожаром Сардика, и из Сардика явились в Ниссу; эта родина Константина представляла одну безобразную кучу камней; несколько больных томились в развалинах церквей, а соседние деревни

[1] Сальв. De gubernat. Dei.

[1] Григорий Турский, III, 7.

[2] Lex Salica, гл. IV.



Галльский всадник

были завалены скелетами. «Города были опустошены, люди перерезаны,– говорит святой Иероним,– четвероногие, птицы и даже рыбы исчезли; земля покрылась тернием и дремучими лесами». На Испанию также пала доля этих бедствий. Еще при Орозие Таррагона и Лерида оставались в развалинах, после того как были разрушены свевами и франками; несколько хижин виднелось на месте разрушенных метрополий. Вандалы и готы прошли по этим развалинам; голод и зараза довершили опустошение. В селах животные, привлеченные валявшимися трупами, бросались на людей, которые еще дышали; скопившийся в городах народ был вынужден сначала питаться пометом, а за-

тем пожирал друг друга; одна женщина имела четырех детей; она их убила и съела всех.

Пикты, каледоняне, англосаксы истребили бриттов; спаслись только те, которые убежали в землю Валлиса или в Арморику. Жители Британии послали к Аэцию письмо, надписанное: «Вопль Британии к Азии, трижды избранному консулом». Они говорили: «Варвары гонят нас к морю, а море отталкивает нас на варваров; нам ничего не остается, как выбрать род смерти от меча или волн».

Летописец Гильда довершает эту картину: «От одного моря до другого святотатственная рука варваров, пришедших с востока, разнесла пожар; пламя погасло только тогда, как выжжены были уже все города и нивы на пространстве почти всего острова; огненный язык вылизал все это место до западного Океана, на берегах которого остановился огонь. Все колонны разрушились от ударов тарана: все обитатели сел, со стражами храмов, пастырями и народом погибли от огня или меча. Великолепная башня возвышалась среди публичных площадей; она пала; обломки стен, камни, священные алтари, трупы, облитые кровью, походили на массу, раздавленную ужасным прессом».

«Несколько несчастных, успевших избегнуть этих бедствий, были настигнуты и зарезаны в горах; другие, побуждаемые голодом, возвращались и отдавались неприятелю, чтобы подвергнуться вечному рабству, что считалось несказанной милостью; немногие достигали стран, лежащих за морем, и во время переезда пели, горько рыдая, под парусами: «О, Боже! ты выдал нас, как овец для пиршественного стола; ты нас распял по разным народам».

Бедственное положение Британии вполне изображено в одном из валлийских законов: этот закон освобождает от всякой пени за воровство молока от кобылицы, от собаки и от кошки.

Северная Африка со своими плодоносными полями была опустошена вандалами, как она и теперь покрыта бесплодными песками, раскаленными солнцем. «Эти опустошения,– говорит Посидоний, свидетель их и очевидец,– омрачили последние дни жизни св. Августина; он видел опустошенные города, в селах разрушенные здания, убитых или обращенных в бегство обитателей, церкви, лишенные пастырей, разогнанных монахов и монахинь. Одни умерли от мучений, другие погибли от меча, третьи уведены в рабство, и, потеряв чистоту сердца, ума и веры, осуждены служить грубым и жестоким врагам... Тех, которые убегали в леса, пещеры и скалы или в крепости, хватали и убивали, или они сами умирали с голода. Из того множества церквей в Африке едва осталось три: в Карфагене, Гиппоне и Цитре, которые уцелели вместе с городами, где они находились».

Вандалы вырывали виноградники, фруктовые деревья и особенно оливковые деревья, для того, чтобы жители, удалившись в горы, не могли найти себе пищи. Они сравнивали с землей здания, пощаженные пламенем; в некоторых городах не осталось ни одного человека в живых. Варвары изобрели новый способ брать укрепленные города: они резали пленников и клали их трупы у стен осажденного города; палящее солнце распространяло заразу в воздухе, и вандалы предоставляли ветру нести смерть в город за стены, которых не могли преодолеть.

Наконец, дошли и до Италии друг за другом скатывавшиеся на нее потоки алеманнов, готов, гуннов и ломбардов; можно было подумать, что реки, выходя из Альп по всем направлениям и стремясь сначала к противоположным морям, внезапно переменили свое течение, слились вместе и общей волной хлынули на Италию. Рим, четыре раза осаждаемый и два раза взятый, испытал сам те бедствия, которыми он отягощал землю. «Женщины,– говорит св. Иероним,– не щадили даже детей, которые лежали на их груди, и возвращали назад в утробу свой плод, который только что оттуда вышел (то есть съедали грудных детей). Рим сделался могилой народов, бывши их матерью... Свет народов угас; вместе с головой Римской империи пала голова мира». «До нас дошли ужасные новости,– восклицает св. Августин, с высоты кафедры говоря о разграблении Рима.– Кровопролитие, пожар,

грабеж, истребление! Мы стонем, мы плачем и не можем утешиться».

Изданы были постановления, чтобы облегчить от податей провинции Апеннинского полуострова, именно – Кампанию, Тоскану, Пиценум, Самниум, Апулию, Калабрию, Бруттиум и Луканию; земли, оставшиеся пустопорожними, отдавались чужестранцам, которые брали на себя их обработку. Майориан и Теодорих заботились о восстановлении разрушенных зданий в Риме, из которых ни одно не сохранилось в целости, если верить словам Прокопия. Разрушение делало успехи с каждым днем; каждая новая осада, фанатизм христиан и междоусобные войны увеличивали число развалин. Рим дожил до прежних своих стычек с Альбалонгой и Тибуром; он сражался у самых своих ворот; обширные пустыри, лежавшие внутри городских стен, сделались театром битв, которые в древнее время он давал на оконечностях земли. Число жителей Рима уменьшилось от трех миллионов[1] до восьмидесяти тысяч. В начале VIII в. Италию покрывали леса и болота; волки и другие дикие звери бродили по амфитеатрам, как бы выстроенным для них, но уже им не было кого пожрать.

Остатки империи перешли в руки варваров; повозки готов и гуннов, суда саксов и вандалов были наполнены всем, что только искусство Греции и Рима накопило в продолжение стольких веков; древний мир обирали, как дом, из которого переезжают. Гензерик приказал жителям Карфагена выдать ему, под страхом смерти, все сокровища, которыми они владеют; он разделил земли проконсульских провинций между своими сподвижниками; для себя он оставил византийские владения и плодородные поля Нумидии и Гетулии. Этот же самый король ограбил Рим и Капитолий, во время войны, которую Сидоний называет 4-й Пунической войной[2]; из меди, бронзы, золота и серебра он составил себе сумму в несколько миллионов таланов.

Сокровищницы готов были особенно знамениты; они состояли из ста бочек, полных золота, жемчуга и алмазов, предложенных Атаульфом в дар Плацидии, и из шестидесяти сосудов, пятнадцати чаш и двадцати драгоценных ящиков для хранения Евангелий. Миссорий (missorium), входивший в число этих богатств (так называлось золотое блюдо, украшенное резьбой), весил пятьсот фунтов. Один готский король, Сизенанд, заложил его Дагоберту, королю франков, за отряд вспомогательного войска; гот приказал его украсть в дороге, и успокоил франка суммой в двести тысяч солидов золота – цена еще весьма низкая, сравнительно с действительной стоимостью блюда. Но величайшим чудом готских сокровищниц был стол из изумруда, обложенный в три ряда жемчугом; он поддерживался шестьюдесятью золотыми массивными ножками, усыпанными драгоценными камнями; его ценили в пятьсот тысяч золотых монет; он перешел от вестготов к арабам: приобретение, достойное их воображения.

История, представляя нам общую картину бедствий человеческого рода в ту эпоху, предала забвению отдельные несчастья, не будучи в состоянии перечислить бедствия частных людей. Мы видим только у христианских апостолов одну слезу, утираемую втайне. Общество, потрясенное в своем основании, не могло сохранить неприкосновенности даже в нищих хижинах; хижине угрожала одинаковая опасность наряду с палатами; в то время могил было столько же, сколько и несчастных.

Брагский собор в Лузитании, подписанный десятью епископами, дает понятие о наивности, с которой действовали и терпели в эпоху нашествий. Епископ Панкрациан говорит: «Вы видите, братья мои, как опустошена Испания варварами. Они разрушают церкви, убивают служителей божьих, оскверняют память святых, их кости, гробницу, кладбища... Пусть будет примером всей пастве наша твердость; мы должны за Иисуса Христа перенести небольшую часть тех страданий, которые Он претерпел за нас». Потом Панкрациан читает символ

---

[1] Гиббон насчитывает только до 1 миллиона 200 тысяч, между тем как другие увеличивают от 4 до 8 миллионов.

[2] Три войны между римлянами и карфагенянами в период с 264 по 146 г. до Р. Х. назывались Пуническими; в результате последней Карфаген был разрушен и разграблен римлянами.– *Прим. ред.*

веры Католической церкви и его епископы отвечают: «Мы этому верим».

«Итак, как же поступить с мощами святых?» – спрашивает Панкрациан. Клипанд, коимбрский епископ, отвечает: «Пусть каждый поступит соответственно обстоятельствам; варвары у нас, и теснят Лиссабон; они заняли Мериду; завтра будут у вас. Каждый должен удалиться к себе, утешать верных; мощи святых спрятать осторожно, а нам дать знать о месте или пещере, где их положат, чтобы они не были забыты со временем». Панкрациан говорит: «Идите с миром. Останется только брат наш Понтамий, так как его церковь в Эминии разрушена и разграблена варварами». Понтамий отвечает: «Нет, я пойду также утешать мою паству, и страдать с ней ради Христа. Я получил сан епископа не для того, чтобы оставаться в благоденствии, но для того, чтобы трудиться». Панкрациан опять говорит: «Это очень хорошо сказано. Да сохранит тебя Бог». Все епископы повторили: «Да сохранит тебя Бог». Все вместе: «Пойдем в мире к Иисусу Христу!»

Когда Аттила появился в Галлии, ему уже предшествовал ужас; Женевьева из Нантерра успокаивала жителей Парижа (Parisii); она уговаривала женщин молиться вместе в баптистерии и обещала им спасение города. Мужчины, которые не верили пророчествам пастушки, хотели побить ее камнями или утопить. Оксеррский архидьякон отклонил их от такого пагубного намерения, свидетельствуя о том, что святой Герман[1] говорил о добродетелях Женевьевы: гунны оставили в стороне владения паризиев. Троа был пощажен вследствие заступничества святого Лупа. Во время своего отступления Бич Божий принуждает святого мужа проводить себя: святой Луп, раб и пленник, служит прикрытием Аттилы; это великая черта истории того времени.

Святой Аньан, епископ Орлеанский, был заперт в своем городе, который осаждали гунны, он посылает на стены смотреть и ждать освободителей; никто не является. «Молитесь,– говорит святой,– молитесь с верою», и посылает в третий раз смотреть с вершины башен. Тогда явилось небольшое облачко, как бы поднимающееся с земли. «Это помощь от Господа!»– восклицает святой.

Гензерик привел из Рима в плен Евдоксию с двумя дочерьми, последними отраслями дома Феодосия. Тысячи римлян были брошены на корабли победителя; для увеличения страданий отделили жен от мужей, детей от отцов. Деограциас, епископ Карфагенский, пожертвовал святыми чашами на выкуп пленных; две церкви были обращены в больницы, и епископ, несмотря на преклонные лета, сам прислуживал больным, посещая их днем и ночью. Он умер, и тем, которых он освободил, казалось, что они снова впали в рабство.

Когда Аларик вступил в Рим, Проба, вдова префекта Петрония, главы могущественной фамилии Анициев, бежала в лодке за Тибр; дочь ее, Лета, и внучка, Деметриада, сопровождали ее; эти три женщины, спасаясь в лодке, видели пламя, пожиравшее Вечный город. Проба владела большими имениями в Африке: она их продала, чтоб успокоить своих товарищей по изгнанию и несчастью.

Убегая от европейских варваров, римляне бежали в Африку и Азию; но в этих отдаленных провинциях они встречали новых варваров; их изгоняли из сердца империи к ее пределам, от пределов отбрасывали к центру, так что империя для них сделалась охотничьими угодьями, в которых они со всех сторон были окружены охотниками.

Св. Иероним принимал у себя последних потомков древнего величия Рима, в той самой пещере, где царь царей родился беден и наг. Какое зрелище и какой урок дают эти потомки Сципионов и Гракхов, являясь беглецами к подножию Голгофы! Св. Иероним писал тогда комментарии к Иезекиилю; он применял к Риму слова пророка о разрушении Тира и Иерусалима: «Я воздвигну против вас многие народы, как море воздымает волны. Они в прах разрушат стены. Я возложу на детей Иуды тяжесть их преступлений... Они увидят, как будет следовать страх за страхом»... Но дойдя до слов «... их переселят из одной стороны в другую и уведут пленниками», пустынник взглянул на своих гостей и зарыдал.

---

[1] St. Germain d'Auxerrois.

Между тем и вифлеемская пещера не была безопасным убежищем; другие разрушители ограбили Финикию, Сирию и Египет. Пустыня, как бы увлеченная варварами, пошла вместе с ними, распространяясь в провинциях, когда-то плодоносных; в странах, питавших некогда бесчисленные народы, оставались только земля и небо. Даже пески Аравии, сделавшиеся продолжением этих опустошенных провинций, были поражены общей язвой; св. Иероним едва избежал рук бродячих племен, а монахи Синая были вырезаны: с той поры мир потерял Рим, а пустынники – свою Фиваиду. Когда пыль, поднявшаяся под ногами стольких армий, от разрушения стольких памятников, улеглась, когда столбы дыма над пылающими городами рассеялись, когда смерть заглушила стенания стольких жертв, когда шум от падения римского колосса затих, тогда над всем этим хаосом поднялся крест, и у подножия креста стал новый мир. Несколько пастырей, с Евангелием в руках, сидя на развалинах, начали воскрешать общество среди могил, как Спаситель возвратил жизнь детям тех, которые уверовали в него.

Etudes historiques.

К. Тертуллиан

НРАВЫ ДРЕВНЕЙШИХ ХРИСТИАН (около 200 г.)

Вы, римляне, считаете христиан врагами Империи: не потому ли, что они не оказывают императору почести, ни пустой, ни ложной, ни богохульной, но, исповедуя истинную религию, торжествуют императорские дни чувством сердец, а не развратом? В самом деле, велико то доказательство ревности, когда зажигают иллюминацию, раскидывают палатки на улицах, учреждают пиры, обращают Рим в кабак, разливают вино повсюду, бегают толпами, наносят оскорбления и производят всякого рода беспорядки! Неужели нет лучшего выражения для народной радости, как всенародный срам? Что неприлично сегодня, будет ли то приличнее в дни, посвященные императору? Те, которые соблюдают закон по уважению к императору, могут ли они нарушать закон во имя его же? Своеволие и беспутство выражают ли преданность? День, в который оскорбляется нравственность, может ли быть назван религиозным

ТЕРТУЛЛИАН КВИНТ СЕПТИМИЙ ФЛОРЕНС (QUINTUS-SEPTIMUS-FLORENS-TERTULLIANUS). Родился в Африке, в языческом семействе центуриона, около 160 г. и умер около 245 г., оставив после себя славу одного из замечательнейших западных Отцов церкви III в. Твердость христианских мучеников была причиной его обращения, а ревность, познания и добродетельная жизнь доставили ему звание священника; время и место посвящения не определены. Первое его сочинение, считающееся образцовым, было посвящено защите христианства и сделалось известным под именем «Апологетика» (Apologeticus, то есть защита). Оставаясь женатым, он провел почти всю свою жизнь в Карфагене, и только в 204 г. посетил Рим; там он написал сочинение против публичных зрелищ (De spectaculis). Строгость нравов Тертуллиана поставила его в неприязненные отношения и к самому духовенству. Этому обстоятельству приписывали даже то, что Тертуллиан, по возвращении в Африку из оппозиции духовенству, принял ересь Монтана (ересиарх Фригийский II в.), хотя причина того заключалась скорее в пылкости и увлекаемости характера Тертуллиана, на которого не могло не подействовать строго аскетическое учение Монтана, предписывавшего необыкновенно строгие посты, запрещавшего вторичные браки, и старание скрываться от преследования язычников. Хотя Тертуллиан отделился впоследствии от сектантов, но вскоре он образовал сам новое религиозное общество тертуллианистов. Он умер, примирившись с духовенством;

праздником? Мы, христиане, без сомнения, преступные люди: мы желаем императору всего наилучшего, не переставая быть воздержанными, чистыми и скромными! В те дни радости мы не обвиваем дверей лаврами, не зажигаем лампад среди белого дня: впрочем, не может быть ничего приличнее, как в такие дни украсить свое жилище, подобно какому-нибудь месту публичного разврата.

Кстати будет при этом случае представить в настоящем свете отсутствие откровенности ваших обвинений, по поводу почитания земного величия, когда вы упрекаете нас в богохульстве за то, что мы отказываемся праздновать императорские дни в форме, столь несогласной с приличиями и правилами скромности и стыдливости. Посмотрим: те, которые отказывают нам в имени римлян и считают нас врагами императора, не более ли они преступны нас? Я спрашиваю вас, римляне, я спрашиваю эту громадную массу, наполняющую Семь Холмов, всегда ли римский язык щадит своих императоров? Тибр и гладиаторские школы знают об этом коечто. Если бы природа сделала наше сердце прозрачным, тогда можно было бы прочесть в сердцах римлян предметы их сокровенных желаний, открыть образы новых императоров, которые с быстротой



Изображение Великой Матери.
Вотивный рельеф из Пирея

следовали бы друг за другом, с тем чтобы увеличить число случаев щедрости и раздачи денег народу. Да, таковы сокровенные желания этих римлян, даже и в ту минуту, когда они во всеуслышание кричат: «О, Юпитер! сократи наши дни и дай их императору!» Христианин, правда, не говорит таким образом, но зато он не питает желания иметь нового императора.

впрочем, в его сочинениях нигде не встречается прямого опровержения тех идей, которыми он увлекался. Все его произведения могут быть разделены на два класса: до и после оппозиции. К первому классу, кроме двух вышеупомянутых и капитальных произведений, нужно отнести: 1) убеждение к мученичеству; 2) два послания к жене; 3) две книги против язычников; 4) против иудеев и 5) о покаянии, одно из самых законченных его произведений. Между сочинениями второго класса главное место занимает трактат против Марциона, в 5 книгах, одно из сокровищ древней теологии; к той же эпохи относятся: 1) трактат «О душе»; 2) защита философской мантии, которую в то время предписывалось оставлять по обращении в христианство, и многое другое. Всего Тертуллиан оставил после себя до 32 сочинений; из них 18 потеряны. Лучшее из полных изданий Тертуллиана было сделано в Венеции в 1746 г. Его сочинения вошли также в собрание: Bibliothèque des Saints-Pires. Paris, 1827, и вполне перепечатаны у *J. P. Migne.* Patrologiae cursus completus sive bibliotheca universalis etc., Par. 1844–57, I–III (всего вышел 341 т.). Французский перевод «Апологетика» (не совсем точный) сделан аббатом Meunier, Par. 1822; другой франц. перевод помещен в одном сборнике, составленном аббатом M*** под заглавием: Démonstrations evangéliques. Par. 1842, т. I. См. подробности у *Neander.* Antignosticus: Geist des Tertulllianus und Einleitung in dessen Schiften (Berl. 1825); *Charpentier*. Etude historique et littéraire sur Tertullien (Par. 1839).

Народ, говорите вы, всегда народ. Хорошо: но все же это римляне, а не неприятели. Другие сословия государства, соответственно рангу, который они занимают, без сомнения, отличаются испытанной верностью; никогда не может случиться заговора в сенате, между всадниками, в армии или во дворце. Но откуда же вышли Кассии, Нигеры, Альбины и те, которые покушались на жизнь императоров между двумя группами лавровых деревьев; и те, которые предварительно упражняются в гимнастических заведениях, чтобы искуснее их задушить; и те, которые вооруженными нападают на дворец, более дерзкие, нежели Сигерии и Парфении[1]. Если я не ошибаюсь, все это были римляне, то есть они не были христиане. Все они, до самой минуты восстания, приносили жертвы за здравие императора, клялись его гением и в особенности не пропускали случая дать христианам имя врагов общественного порядка. Участники последних заговоров, открываемых ежедневно, ускользнувший остаток партии, предводители которой погибли, не украшали ли они своих дверей лавровыми ветвями, самыми свежими и самыми густыми? Не были ли их подъезды иллюминованы блестящее других? Не выставляли ли они на площадь великолепного ложа, правда, не с намерением принять участие в народном удовольствии, но как бы для того, чтобы выразить свои личные желания и втайне торжествовать вперед возвышением преемника императору?

Те, которые совещаются с астрологами, птицегадателями, магами о продолжительности жизни императоров, выполняют не религиозные обряды. Христиане никогда не обращаются к наукам, придуманным мятежными демонами, проклятыми Богом. И что может быть источником этой любознательности, с которой справляются о долговечности императоров, как не заговор против них, или, по меньшей степени, желание или ожидание их смерти? О жизни своего господина справляются с гороскопом по иным поводам, нежели о жизни лиц, которых любят: любознательность родственника и друга в этом случае весьма отлична от любознательности раба.

Итак, если достоверно то, что именно те, кого вы называете римлянами, и должны быть названы врагами империи, то не могло ли случиться, что те, кого вы считаете врагами и кому отказываете в имени римлян, именно и есть римляне и всего менее могут быть названы врагами? Нет, верность и преданность императорам не состоит в пустых манифестациях, под маской которых измена умеет так хорошо прятаться. Они заключены в чувстве, которое мы должны иметь одинаково ко всем, как и к императорам. Мы делаем добро без лицеприятия, потому что мы все делаем для себя, не ожидая ни похвалы, ни вознаграждения от кого бы то ни было. Нас вознаграждает один Бог, который дал нам закон всеобщей любви ко всем без различия. Мы одинаковы как в отношении императоров, так и всех, с кем имеем дело. Нам запрещено желать зла кому бы то ни было, делать, говорить, ни даже мыслить во вред. Что не позволено против императора, то запрещено против всех; что запрещено против всех, то еще менее может быть позволено против того, кто провидением так высоко поставлен.

Если нам повелевается любить своих неприятелей, то кого же мы можем ненавидеть? Если нам запрещено мстить обидевшим нас, чтобы не сделаться одинаково преступными с ними, то кого же мы можем обидеть? Я вас избираю судьями: скажите, сколько раз вы свирепствовали против христиан или по собственному побуждению, или из повиновения закону? Сколько раз народ, не ожидая ваших приказаний, бил нас камнями и сжигал наши жилища? В припадке вакханалии не щадили даже мертвых: да, убежище смерти было оскверняемо. Со дна могил, где они покоились, вырывали трупы христиан, уже неузнаваемые, даже истлевшие, для того, чтобы надругаться над ними и разорвать на части. Между тем, заметили ли вы, что мы никогда не старались мстить за это безумие, которое преследует нас и за гробом? Одной темной ночи и нескольких факелов было бы для того достаточно, если

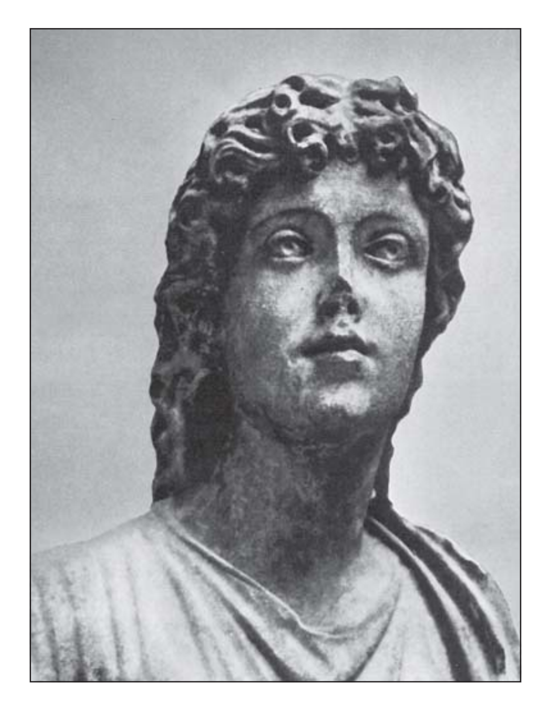
---

[1] Убийцы Домициана, бывшие к нему самыми приближенными лицами.

бы нам было позволено за зло воздавать злом; но не дай Бог, чтобы святая религия обратилась к человеческим мерам для отмщения за себя или чтобы она не устояла против испытаний. При том, если бы мы, вместо тайной мести, захотели бы действовать как открытые неприятели, у нас не было бы недостатка ни в силе, ни в войске. Арабы, маркоманны, даже парфеняне и всякая другая, какая бы то ни была нация, заключенная все же в известных пределах, могут ли они быть так многочисленны, как наша нация, пределами которой служат пределы вселенной? Мы – вчерашние, а уже наполняем собой все ваши города, острова, виллы, деревни, ваши советы, ваш лагерь, ваши трибы, ваши курии, дворцы, сенат, публичные площади: мы оставляем вам одни ваши храмы. Не могли ли бы мы выдержать даже борьбу, хотя бы и при неравных силах, когда мы охотно идем на смерть? Но нам препятствует наше правило, по которому быть убитым лучше, нежели убивать. Мы могли бы бороться с вами, не прибегая ни к оружию, ни к мятежу, просто отделившись от вас; если бы множество людей оставило ваши города и удалилось в другие страны, то одна уже потеря стольких граждан всех состояний испугала бы ваше правительство, и вы были бы довольно наказаны; вас поразило бы уединение, молчание, и мир показался бы вам вымершим; напрасно бы вы искали, кем повелевать: неприятелей было бы перед вами больше, чем граждан. Теперь же масса христиан удерживает ваших неприятелей.

И кто, без нашей помощи, освободил бы вас от тайных неприятелей, пагубных столько же для души, сколько для тела: я имею в виду тех злых духов, которых мы изгоняем, не взимая за то платы или вознаграждения. Мы могли бы отомстить вам одним предоставлением вас на жертву тем отвратительным демонам. И вы, не обращая внимания на эту важную услугу, не подумав, что мы не только не вредны, но даже необходимы для вас, называете христиан своими врагами: да, мы поистине открытые враги, но не человеческого рода, а всякого греха.

Надобно щадить религию, которая не угрожает ничем, из того, чем угрожают другие, справедливо запрещенные учения; или, по крайней мере, христиан нужно отнести к числу дозволенных обществ. Другие учения, если я не ошибаюсь, запрещаются для сохранения общественного спокойствия, чтобы воспрепятствовать противоположным партиям раздирать общество своими междоусобиями, что нарушило бы порядок народных собраний, заседаний сената, речей и спектаклей, особенно в такое время, когда продается все, до руки убийцы. Мы, невозжигаемые ни славолюбием, ни честолюбием, не бываем одержимы страстью к интригам. Мы не вмешиваемся в политические дела: вселенная – вот наше царство. Мы без труда отказываемся от ваших зрелищ; исполненные презрения ко всему, что там совершается, мы чувствуем отвращение к тем предрассудкам, которые рождают их. Мы не имеем ничего общего с увлечениями цирком, грязью театров, варварством арены и распущенностью гимнастических школ. Разве эпикурейцам не дозволено пользоваться чувственными наслаждениями, как им то нравится? Неужели мы


Статуя Христа. Мрамор. III в.

оскорбляем вас тем, что наслаждаемся своими удовольствиями, а не вашими? И если бы мы предавались всевозможным удовольствиям, то тем мы повредили бы себе, а не вам. Я согласен, мы осуждаем ваши удовольствия, точно так же, как и вы не в состоянии оценить наших.

Теперь я покажу вам, как живет общество христиан: защитив его от клеветы, я познакомлю вас с ним. Соединенные в одно целое узами одной и той же веры, одной надежды, одной нравственности, мы составляем одно тело. Мы собираемся для молитвы Богу; мы составляем Ему приятный заговор; мы молимся за императоров, за их министров, за все власти, за настоящее мира сего, за тишину, за отложение конца света. Мы собираемся для чтения писаний, из которых почерпаем, смотря по обстоятельствам, и просвещение, и необходимое предостережение. Святое слово питает нашу веру, поддерживает надежды, укрепляет доверие, утверждает дисциплину, запечатлевая в нас правила. В этих собраниях убеждают и исправляют, порицая во имя Бога. Уверенные в присутствии с нами божества, мы судим по всей строгости; для будущего Суда самое ужасное осуждение то, когда кто-нибудь заслужил быть исключенным из наших молитв, собраний и святого общения. Старейшие председательствуют: они достигли того не деньгами, но ручательством в испытанных достоинствах. Деньги не имеют влияния на такие дела; и если у нас находится нечто вроде казны, то нам не придется краснеть за нее: она собрана не продажей религии. Каждый вносит ежемесячно умеренную сумму, если он того желает, и если хочет, и если может; никого не принуждают: это самое добровольное приношение; это взносы благочестия, которые не расточаются на пиры и распутство: на них питают бедных и хоронят, ими облегчают участь сирот без состояния, слуг, переломленных старостью, несчастных, претерпевших кораблекрушение. Если находятся христиане, осужденные на работу в рудниках, содержащиеся в темницах или сосланные на острова, единственно за исповедание Бога, то и они содержатся на счет религии, которую они признавали.

Тем не менее есть люди, которые вменяют нам в преступление такое человеколюбие. «Посмотрите, – говорят они, – как эти люди любят друг друга»; да, а вы все друг друга ненавидите. «Посмотрите, как они готовы умереть один за другого»; да, а вы больше готовы один другого зарезать. Что касается имени «братьев», которое мы даем друг другу взаимно, то они осуждают нас при этом, потому что родственные названия у них служат выражением обманчивой привязанности. Мы и ваши братья по природе, которая может быть названа общей матерью всех людей. Правда, вы дурные братья; вас едва можно назвать людьми. Истинные братья те, которые признают отцом одного и того же Бога, проникнуты одинаковым духом святости, и, выйдя из недр общего всем невежества, с восторгом взирают на блеснувший луч единой истины. Но, может быть, нас не считают братьями, потому, что наше имя никогда не встречается в ваших трагедиях, или потому, что мы живем сообща, как братья, имея общее достояние, которое у вас каждый день делят и братья. Имея одно сердце и одну душу, можем ли мы быть против общего имущества? У нас все общее, кроме жен; мы разделены именно только в этом отношении, а вы именно только в этом отношении не разделены. Вы производите, так сказать, обоюдный размен супружеского права, без сомнения, следуя примеру таких своих мудрецов, как Сократ у греков, Катон у римлян; они уступали своих жен друзьям, чтобы иметь детей, отцами которых они не были...

Нисколько не удивительно, что христиане, любя друг друга, имеют общий стол. Вы кричите о наших вечерних трапезах, называя их не только преступными, но дорогостоящими. Это, вероятно, о нас сказал Диоген: «Жители Мегары едят так, как будто бы они должны завтра умереть с голоду, а дома строят так, что сочтешь их бессмертными». В глазу ближнего сучок виднее, нежели бревно в своем. Салийские жрецы не делают ужинов без того, чтобы не сделать займа. Расходы на праздники в честь Геркулеса составляют огромные суммы. Для апатурий (праздники в честь различных



Добрый пастырь и рыбы. Живопись из катакомб в Киренаике

божеств), дионисиев (праздников в честь Бахуса) и мистерий Аттики выбирают наилучших поваров. Дым от ужинов в честь Сераписа пробуждает тех, кто напуган пожарами, а между тем только и разговоров, что об ужинах христиан.

Само название наших ужинов объясняет достаточно их значение: они называются αγαπη, что в переводе с греческого значит – человеколюбие. Пусть они нам дорого стоят, но мы вознаграждаемся уверенностью делать добро; мы облегчаем тем участь бедных; но не собираем, как вы, паразитов, которые гордятся тем, что продают свою свободу и приходят отъедаться за вашими столами, оплачивая лестью. Мы обходимся с бедными как с людьми, на которых провидение обращает свои взоры с особенной любовью.

Вы видите, как честна цель наших ужинов: все, что за ними происходит, соответствует тому, чем руководствуется религия; на них не допускаются ни подлость, ни бесстыдство; за стол не садятся иначе, как помолившись Богу. Едят настолько, насколько голодны; пьют столько, сколько то прилично людям чистой нравственности; насыщаются так, чтобы осталась возможность молиться перед сном; при разговорах имеют в виду, что их слышит Бог.

Вымыв руки и засветив лампады, каждый приглашается воспеть хвалу Богу или словами, заимствованными из Святого Писания, или теми, какие кто составил. То αγαπη только можно увидеть, как христиане пьют. Из-за стола встают не для того, чтобы идти делать беспорядки, оскорбления и убийства, но скромно и с приличием; это скорее выход из школы добродетели, нежели из столовой залы.

Осуждайте, преследуйте наши собрания, если они имеют что-нибудь общее с опасными и преступными обществами, если им можно сделать общий упрек с обыкновенными партиями. Собирались ли мы когда-нибудь для того, чтобы вредить кому бы то ни было? Соединены ли мы, или разделены, вместе, или поодиночке, мы никого не оскорбляем, никому не вредим.

Собрание людей благодетельных, добродетельных, благочестивых и невинных не есть партия: это – сенат; имя партии более

прилично обществу тех, которые преследуют добрых людей и громко требуют их крови под предлогом, что христиане виновники всех общественных бедствий. Жалкий предлог! Если Тибр разлился, если Нил не разлился, если случилась засуха, землетрясение, голод, язва, все тотчас же кричат: «Христиан на съедение львам!» Как! Всех христиан – львам?

Но скажите мне, прошу вас: до Тиберия, следовательно, до Рождества Христова, земля, города никогда не испытывали величайших несчастий? Не говорит ли нам история, что острова Делос, Родос и Кос были потоплены со многими тысячами людей? Платон уверяет, что Атлантический океан занял большую часть материка Азии и Африки. Землетрясение высушило Коринфское море. Волны оторвали часть Лукании от Италии и образовали остров Сицилию. Такие перевороты не обошлись без гибели множества людей. Где же тогда были, не говорю христиане, презирающие ваших богов, но сами ваши боги, когда потоп залил всю землю, или, по крайней мере, ее равнины, как свидетельствует о том Платон?..

Нам делают и другой упрек: говорят, что мы совершенно бесполезны для общественной деятельности. Как это возможно? Мы живем с вами, имеем ту же пищу, ту же одежду, то же хозяйство, те же нужды, мы вовсе не похожи на браминов и индейских гимнософистов (мудрецов): мы не удаляемся в леса и не бежим из общества людей. Мы помним, что мы всем обязаны благости Бога, Творца вселенной; мы ничего не отвергаем из того, что он сделал из нас; но мы боимся преувеличения и злоупотребления. Мы с вами на ваших площадях, рынках, в ваших банях, лавках, гостиницах, торжищах, и во всех местах, необходимых в отношениях жизни. Мы с вами плаваем, сражаемся, обрабатываем землю, торгуем, промышляем для вашего же употребления. Я не понимаю, каким образом мы можем быть бесполезными для вас, если мы живем вместе с вами и тратим деньги с пользой для вас.

Если я не посещаю ваших церемоний, то в эти дни я не перестаю жить. Я не принимаю ванны ночью во время сатурналий, чтобы не терять вместе и ночи, и следующего дня; я принимаю ванну в приличный час, чтобы не заморозить кровь в жилах: после смерти мне еще представится случай выйти из воды синим и окоченелым. Я не ем публично на празднике Бахуса; но где бы я ни ел, мне подают то же, что и вам. Я не покупаю цветочных венков, и что вам за дело, как я употребляю цветы? Я предпочитаю видеть их живыми, не связанными вместе для венка или для букета. Даже и венки я люблю подносить к носу, и прошу извинения у тех, кто носит их на голове, и, вероятно, имеет орган обоняния в волосах. Мы не посещаем спектаклей, но когда мне нужно что-нибудь из того, что там продается, я охотнее покупаю то в лавке. Это правда, что мы не покупаем ладан: если арабы могут жаловаться на то, что сабеяне знают, что мы покупаем более дорогие ароматы и в большем количестве для погребения мертвых, нежели те, которые вы теряете для обкуривания ваших богов.

«По крайней мере,– говорите вы,– нельзя отвергать того, что по милости христиан доходы храмов уменьшаются каждый день». Кто теперь кладет в кружки? Но мы не так богаты, чтобы давать и людям, и богам; притом мы считаем себя обязанными давать только тем, которые просят. Пусть ваш Юпитер протянет руку, мы и ему подадим. Наконец, мы раздаем на улице денег больше, нежели вы жертвуете на храмы. Ваша казна не должна отзываться с особенной похвалой о христианах? Если исследовать, сколько страдают общественные налоги от ваших обманов и ложной оценки, и принять во внимание, что христиане платят казне с той честностью, которая не позволяет им сделать ущерба кому бы то ни было, то всякий увидит, что это последнее вознаграждает вполне тот недочет в храмах, по поводу которого нас обвиняют.

Надобно, однако, сознаться, что есть люди, которые основательно считают христиан бесполезными для общественной деятельности. Но что это за люди? Низкие люди, их презренные рабы, грабители, убийцы, отравители, шарлатаны, гадатели, предвещатели, астрологи: выгодно быть бесполезным для такого рода людей. Итак, если справедливо, что наше общество вредит вашим порокам, то, согласитесь, оно

вознаграждает вас в другом. Считаете ли вы маловыгодным иметь среди себя людей, не говорю изгоняющих злых духов и молящихся за вас истинному Богу, но людей, которых вы можете ни в чем не опасаться?

Действительная утрата, невозместимая потеря для государства, и на что никто не обращает внимания: людей добродетельных, безукоризненных преследуют и умерщвляют каждый день. Обращаюсь к свидетельству ваших списков: вы, которые судите ежедневно заключенных, осуждаете такое множество людей виновных во всевозможных преступлениях, убийц, мошенников, святотатцев, обольстителей, – скажите, есть ли между ними хоть один христианин? Или из тех, кто виновен перед вами как христианин, замешан ли он в тех преступлениях? Итак, вашими переполнены тюрьмы, ими откармливаются животные; их криком оглашаются рудники; из них составляют группы, предназначенные для спектаклей. Между ними нет ни одного христианина, или такой и взят только за то, что он христианин; он уже не христианин, если только повинен за другое какое-нибудь преступление...

Притом какой закон может быть назван более мудрым: тот ли, который говорит: не убей! или тот, который предписывает: не предавайся гневу? В котором больше совершенства – в запрещающем прелюбодеяние, или даже и мысленный соблазн, дурные поступки, или даже и дурные слова, оскорбление ближнего, или и саму защиту от оскорбления? И заметьте, что ваши законы заимствованы еще из хорошего древнего и божественного закона. Мы знаем, в какое время жил Моисей.



Добрый пастырь. Статуя из Рима. Мрамор. III в.

Но, повторяю еще раз, как ничтожны все человеческие постановления! Их можно всегда обойти; страсти и крайность всегда могут их нарушить, да и само наказание, которым они угрожают, столь кратковременно! Во всяком случае, оно не простирается за пределы жизни. Вот почему Эпикур презирал боли и мучения. «Если боль легка,– говорил он,– ее можно вынести; если она жестока, то непродолжительна». Мы, судимые всевидящим Богом, зная, что наши наказания вечны, одни можем считаться поистине добродетельными: мы знаем, что такое добродетель, и знаем, что наказание порока не кратковременно, но вечно. Мы боимся верховного божества, которого должен бояться и тот, кто судит людей, боящихся Бога; мы боимся Бога, а не проконсула.

Я заканчиваю защиту христианства от возводимых на него обвинений; кто хочет меня в этом опровергнуть, пусть тот отложит свое красноречие в сторону и выскажет

свои доводы с той простотой и откровенностью, которой я подал пример.

Но некоторые, даже и убедившись собственным опытом в превосходстве христианства, все еще продолжают настаивать на том, что в нем нет ничего божественного, что это такая же философская школа, как и многие другие. «Философы,– говорят они нам,– учат, как и вы: как и вы, проповедуют невинность, справедливость, терпение, воздержание, чистоту нравов». Но, спросим мы их в свою очередь, если наше учение есть не больше, как философская школа, то почему же мы не пользуемся той же свободой слова, которой пользуются представители других школ? Если их школы похожи на нашу, то почему их не принуждают к тому, к чему принуждают нас, и за отказ от чего осуждают на смерть? В самом деле, какого философа вы принуждаете к жертвоприношениям, к клятве богам, к зажиганию лампад среди белого дня? Философам все позволено: они открыто нападают на поклонение вашим богам, они пишут против вашего суеверия, и вы им рукоплещете; большая часть из них вооружает вас против императоров, и вы это допускаете; вместо того, чтобы отдать их на съедение зверям, вы награждаете их и воздвигаете им статуи. Впрочем, вы имеете на то основание: они называют себя философами, а не христианами; от имени философа злые духи не убегают. Что я говорю?! Философы ставят даже злых духов на второе место после богов; если мой дух мне позволит, говорит Сократ. Этот философ, провидевший отчасти истину, потому что отвергал существование духов, тем не менее приказал принести петуха в жертву Эскулапу, вероятно, из признательности к его отцу, Аполлону, оракул которого назвал Сократа мудрейшим из людей. Но какое безумие хвалить мудрость того, кто не признавал богов?!

Есть и другая причина, почему христиан преследуют, а философам покровительствуют. Чем истина суровее, тем более возмущает против себя тот, кто ее проповедует во всей наготе. Вернейшее средство нравиться врагам истины – ослаблять и искажать ее: это именно и делают философы, которые хвалятся тем, что учат истине, а на деле заботятся о своей популярности. Напротив, христиане, имея в виду спасение души, стремятся достигнуть истины и проповедуют ее во всей чистоте. Итак, философов нельзя сравнивать, как вы думаете, с христианами, ни в их учении, ни в чистоте нравов. Фалес, этот великий мудрец, мог ли он дать какой-нибудь положительный ответ Крезу на его вопрос о божестве, несмотря на то, что он взял себе несколько времени подумать? У христиан последний ремесленник не только знает Бога, но и другого научит познавать; он ответит на все вопросы о Творце вселенной, между тем как Платон уверял, что это трудно знать, и не следует даже говорить о том с простым народом.

Apologet. XXXV–XLVI.

Э. Гиббон

УСТРОЙСТВО И ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ДРЕВНЕЙ ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЫ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ (1781 г.)

Беспристрастное и отчетливое исследование обстоятельств, сопровождавших быстрые успехи, с которыми утвердилось христианство, может быть рассматриваемо как самая существенная часть в общем изложении истории Римской империи. В то время как на это огромное политическое тело со всех сторон сыпались удары, наносимые внешним врагом, а скрытые законы падения государственных организмов в глубине подрывали его устройство, в то самое время скромная и чистейшая религия без всякого усилия пускает свои корни в душах людей, растет в тишине и отдалении, черпает новые силы в самих преследованиях, и наконец водружает на развалинах Капитолия торжествующее знамя с изображением кре-

ста. Ее влияние не ограничивается одним временем существования или пределами империи; после ее падения, в течение тринадцати или четырнадцати веков, она продолжает господствовать у европейских народов, которые стали выше всех в целой вселенной силой искусств, знаний, так же, как и своим превосходством в военном деле; религиозное усердие и промышленность европейцев распространили христианство на самых отдаленных берегах Азии и Африки; путем колоний оно утвердило свое господство от Чили до Канады, в тех частях света, которые не были даже и известны древнему миру...

Чем и как объяснить причины таких удивительных успехов христианства и его быстрого торжества над всеми религиями, господствовавшими до него в языческом мире? На этот вопрос весьма не трудно дать самый определенный и естественный ответ: без сомнения, христианство обязано победой очевидному превосходству самого учения и провидению. Но кому неизвестно, как редко разумное и истинное находит себе радушный прием у людей? Вот потому провидение в своей премудрости часто удостаивает обращать наши страсти и ту временную обстановку, которая в данный момент окружает человеческое общество, в орудие к провидению в исполнение своих великих предначертаний. Вследствие того и историк обязан, питая вместе со всеми благоговение к главной и первичной причине быстрых успехов христианской религии, подвергнуть исследованию только одни вторичные (secondary) причины... Между многими такими вторичными причинами торжества христианства среди языческого мира самое важное место принадлежит союзу и дисциплине древнейшей христианской общины, которая, в недрах развалившейся Римской империи, образовала мало-помалу государство свободное, силы которого с каждым днем становились все более и более значительными...

Первые христиане чуждались одинаково и земных забот, и мирских удовольствий.

ГИББОН ЭДУАРД (1737–1794). Один из замечательнейших английских историков XVIII в., составивший себе всю славу единственным произведением, которое было трудом большей части его жизни, – «История разрушения и падения Римской империи». Избрание такого предмета исследования и его направление находятся в тесной связи с личной судьбой автора и отдельными случайностями его жизни. Гиббон, отданный 15-ти лет в Оксфордский университет, при всей своей молодости был скоро поражен сухостью и бесплодностью занятий в этом учреждении, сохранившем весь дух Средних веков. «Нет надежды,– говорил он в своих мемуарах,– чтобы какая-нибудь реформа могла проникнуть туда: Оксфорд и Кембридж до того заглохли в своих предрассудках и изощрились в интригах, что и всемогущество парламента сокрушилось бы при исследовании состояния и злоупотребления этих двух университетов». Неудовлетворенный академической наукой, Гиббон начал образовывать себя чтением всего, что ему попадалось под руку, и следствием того, по его собственному сознанию, была крайняя поверхностность и мнимое всезнание, сопровождаемое самонадеянностью. Гиббон считал уже себя великим историком, и, подражая появившемуся тогда труду Вольтера: «Siécle de Louis XIV», избрал себе темой: «Век Сезостриса». Тогда он в первый раз убедился, что «не имеет никаких познаний, ни навыка рассуждать и писать». Освободившись от одного заблуждения, Гиббон впал в другое: он предался занятиям теологией и после нескольких прочитанных книг дошел до убеждения в превосходстве католичества перед Англиканской церковью и тайно перешел в католичество. За это он был исключен из университета, а отец сослал его в Лозанну к протестантскому пастору для назидания. Следствием пребывания Гиббона в Швейцарии было примирение его с англиканизмом и отцом, а главное – серьезное изучение древних языков и ознакомление с новой континентальной литературой прошедшего столетия.По собственному признанию Гиббона, изучение трех сочинений образовало из него

Они не видели возможности соединить защиту личности и имущества со своим кротким учением о безусловном прощении обид, и которое повелевает на обиду отвечать просьбой о новой обиде. В простоте своих нравов они не понимали необходимости клятвы, официальной торжественности гражданской службы и суеты общественной жизни. При своем неведении мирских дел они не могли убедиться в законности, с которой меч правосудия или военная сила проливают кровь себе подобных даже и в том случае, когда покушение злодея или нападение неприятеля угрожали спокойствию и безопасности общества.

Но дух человека, как бы он ни был взволнован или подавлен преходящим энтузиазмом, снова мало-помалу приходит в равновесие; в нем являются по-прежнему известные наклонности, соответственно его новому положению. Первые христиане не понимали ни суеты жизни деловой, ни мирских удовольствий; но стремление к практической деятельности, к которой располагает нас сама природа, и побуждения которой не могут быть ничем совершенно изглажены, проявилось снова в христианах и нашло себе пищу в управлении делами общины или церкви. Эта община, враждебная господствовавшей религии в империи, была вынуждена сама создать для себя нечто вроде внутреннего управления, и иметь достаточное число администраторов, на которых были бы возложены не только религиозные обязанности, но также и временное управление земными делами ее членов. Безопасность общества, его честь, расширение пределов паствы породили в сердцах даже самых религиозных людей дух патриотизма, похожий на тот, которые воспламенял первых римлян к их отечеству, и иногда члены общины не стеснялись выбором средств, которые могли бы привести их к желаемой цели. Когда они домогались для себя или для своих друзей какой-нибудь должности в церкви, то иногда старались прикрыть свое честолюбие тем, что хотят пожертвовать общей пользе своей властью и значением в свете и что только из-за этого считают своей обязанностью домогаться власти.

При исполнении своих обязанностей им случалось изобличать заблуждение ереси или интриги какой-нибудь партии, бороться с замыслами неверных братий, предавать их заслуженному позору и изгонять из среды общества, мир и благосостояние которого они старались поколебать. Духовные представители христианской общины на Западе

историка: 1) Паскаля «Lettres provinciales»; 2) «Жизнеописание Юлиана», написанное аббатом La Bletterie, и 3) «История Неаполя», сочинение Giannone. Гиббон долго колебался в выборе темы: то он хотел остановиться на истории похода Карла VIII в Италию, то брался за историю Швейцарии или останавливался на судьбах Флоренции при Медичи, наконец чистый случай привел его к теме, которая должна была составить всю его славу. В 1764 г. Гиббон предпринял путешествие по Италии и явился в Рим. «В Риме,– пишет Гиббон 15 октября 1764 г., сидя на развалинах Капитолия,– я углубился в мечты о древнем величии Рима, а в это самое время у моих ног католические монахи пели вечернюю молитву на развалинах храма Юпитера; в такую-то минуту во мне блеснула в первый раз мысль написать историю разрушения и падения Рима».

После двухлетних предварительных работ, по возвращении уже в Англию, где умер в то время его отец, Гиббон приступил к работе. «Сначала,– говорит он,– для меня самого все было сомнительно и темно, до самого заглавия сочинения, точного определения эпохи падения Римской империи, пределов введения, разделения на главы и порядка рассказа. После семи лет труда я был готов бросить всю работу. Стиль писателя есть изображение его духа; но выбор и легкость выражения приобретаются упражнением. Мне пришлось сделать много предварительных этюдов, прежде чем я напал на тон, занимавший середину между нелепой хроникой и риторической декламацией. Три раза я переделывал снова первую главу, два раза вторую и третью, и только тогда остался сколько-нибудь удовлетворенным ими. Затем я подвигался ровным и более легким

понимали всю необходимость соединять мудрость змея с незлобием голубя. Но практика власти впоследствии усовершенствовала одну змеиную мудрость, а незлобие голубя подвергалось постепенной порче. Как и в светском обществе, так и в церковном, те, которые занимали какое-нибудь значительное место, должны были отличаться своим красноречием, энергией, знанием человеческого сердца и умением вести дела. Эти дела требовали иногда скрывать от других, и, может быть, даже от самих себя, сокровенные причины того или другого образа действий, поэтому очень часто приходилось подчиняться влиянию разгоряченных страстей обыденной жизни, которые от религиозного характера самих вопросов приобретали новую степень упорства и раздражения.

Вопрос об управлении древней христианской общины был часто и предметом, и орудием в спорах позднейших ученых. Римские, парижские, оксфордские и женевские ученые, вечно враждебные друг к другу, напрягали все силы к тому, чтобы изобразить первобытную христианскую общину по образцу системы их собственной церковной администрации. Весьма немногие высказывают убеждение, что первые основатели христианской общины избегали случаев выдавать себя за законодателей и предпочитали допускать возможность некоторых несогласий и частных распрей, лишь бы только не лишать христиан последующих веков свободы разнообразить формы управления своей общиной, сообразно времени и обстоятельствам. Жизнь общин в Иерусалиме, Эфесе и Коринфе может дать нам понятие о принятом там плане администрации, с согласия первых основателей, для руководства христианами первых веков. Установившиеся тогда первые общины в Римской империи были связаны между собой только узами веры и любви. Независимость и равенство служили основанием их внутреннего устройства. Чтобы исправить недостаток дисциплины, при неопытности в умении управлять, прибегали к помощи так называемых профетов (prophers); всякий христианин без различия возраста, пола или природных талантов имел право исполнять эту священную обязанность; и каждый раз, когда он чувствовал внутреннее побуждение, он обращался с вдохновенной речью к собранию верующих. Но часто такие профеты первобытной общины злоупотребляли своим положением. Их речи не всегда были кстати; их соображения часто тревожили службу собрания; наконец, увлеченные высокомерием и ложной ревно-

---

шагом; но зато я должен был три раза возвращаться к XV и XVI главам (о христианстве и его отношении к римскому правительству) и, наконец, успел сократить их из толстого тома в тот объем, который они представляют в настоящее время». Первый том «Истории падения Римской империи» явился, после 12 лет труда, в 1776 г.; прошло 25 лет, когда Гиббон издал 6-й и последний том, в 1789 г. «Днем,– говорит автор,– или, лучше сказать, ночью 27 июня 1789 г., в своем саду (в Лозанне) я дописывал последние строчки последней страницы. Положив перо, я прошелся по аллее акаций, откуда открывался вид и на поля, и на Женевское озеро, и на горы. В воздухе было тихо, небо ясно; серебряный щит луны отражался в воде, повсюду царствовала тишина. Я не скрою своей первой радости в ту минуту, когда возвращалась мне свобода и, может быть, восстанавливалась моя репутация; но моя гордость скоро понизилась, и мною овладела печальная задумчивость при мысли, что я простился навсегда с моим старым и приятным спутником, и что как бы ни была продолжительна будущность моей истории, жизнь самого историка не могла уже быть длинной». Вскоре затем, в 1794 г., Гиббон умер. «История падения Римской империи» охватывает собой судьбу Римской империи от Антонинов до падения Западной Римской империи, и обзор судьбы Восточной Римской империи, от 476 г. до завоевания турками Византии в 1453 г. Из переводов на французский язык самый лучший принадлежит M-me Guizot с примечаниями самого Гизо к XV и XVI главам, составляющим важнейшую часть труда; издано в 13 т. в 1828 г. Тот же перевод с исправлениями издал Buchon в 1835 г., в 2 томах, в Panthéon littéraire.



Христос. Мозаика из дома в Хинтон Сент-Мори в Дорсете, Великобритания. IV в.

стью, они иногда производили, как то именно случилось в древнейшей коринфской общине, множество печальных беспорядков (см. Посл. ап. Павла к коринфянам). Так как вследствие этого само учреждение профетов сделалось бесполезным и даже вредным, то власть у них была отнята и сама должность уничтожена. С того времени общественные должности по религиозным делам общины вверялись особым лицам, поставленным самой церковью: епископам и пресвитерам; при первоначальном своем происхождении оба эти названия, по-видимому, обозначали один и тот же сан и одно и то же общественное положение. Название пресвитера (старейшины) выражало собой возраст лица или, скорее, его значение и мудрость; титул епископа указывал на его обязанность наблюдать над делами веры и нравами христиан, порученных его отеческим попечениям. В первое время христианства эти епископальные пресвитеры, число которых было более или менее значительно, смотря по числу христиан, управляли каждой общиной, с общего согласия и с одинаковой степенью власти.

Но при самом полном равенстве членов какого-нибудь собрания всегда необходимо высшее лицо, которое руководило бы им; публичные прения для порядка нуждаются в председателе, хотя бы на первый раз его обязанность ограничивалась простым собиранием голосов и приведением в исполнение определений собрания. Первые христиане, убедившись в том, что выборы на один год или как того потребуют обстоятельства, часто бывают сопряжены с нарушением общественного спокойствия, решились образовать высшее управление, постоянное и более почетное; с этой целью они начали выбирать из среды всех пресвитеров одно лицо, более известное святостью жизни и мудростью, и поручали ему пожизненную власть духовного главы. С того-то времени важный титул епископа начал возвышаться над скромным званием пресвитера, которое обозначало уже не более как члена каждого Христианского собора, между тем как первое отличало его нового председателя. Преимущества этой формы епископального управления, которое, вероятно, было установлено не позже конца первого века, казались столь очевидными и необходимыми для будущего величия и настоящего спокойствия христианства, что она без отлагательства была принята во всех общинах, уже распространенных в империи. С первых моментов своего существования епископальное управление получило санкцию древности, и в настоящее время церкви, самые могущественные и самые обширные на

Западе, чтут его как учреждение первобытное и данное свыше. Совершенно излишне было бы прибавлять, что кроткие и благочестивые пресвитеры, облеченные в первый раз епископской властью, не пользовались, и, вероятно, даже отвергли бы ту власть и блеск, которые теперь окружают тиару римского первосвященника или митру германского прелата. Легко представить в немногих словах узкие пределы той юрисдикции древнейших епископов, которая вначале была чисто духовной, хотя иногда относилась и к светским вопросам. На епископа возлагалась обязанность совершения таинств и наблюдения над дисциплиной церкви и выполнением религиозных обрядов, которые, становясь с каждым днем разнообразнее, незаметно усложнялись; епископу принадлежала власть постановления священнослужителей и определение области их действия; управление имуществом общины и решение судебных споров всякий раз, когда христиане не желали являться в трибуналы язычников. Первоначально, но весьма недолго, епископ спрашивал мнение других пресвитеров, и не иначе действовал, как по согласию и одобрению со стороны полного собрания христиан. На него смотрели тогда, как на первого между равными и уважаемого всеми служителя свободной общины. Всякий раз, когда после смерти епископа его кафедра оставалась вакантной, новый председатель, взятый из среды пресвитеров, был избираем свободной подачей голосов целой общины, и каждый член ее считал себя облеченным в священный и даже священнический характер[1].

С таким миролюбием и равенством управлялись первые христианские общины в продолжение более ста лет после смерти апостолов. Каждая община составляла сама по себе республику, отдельную и независимую; и хотя отдаленнейшие из этих маленьких центров и поддерживали посланиями и посольствами взаимные сношения, содействовавшие к скреплению их единства, но тем не менее различные части христианского мира не признавали над собой никакой общей верховной власти одного лица или какого-нибудь одного законодательного собрания. По мере того, как число верных возрастало, они увидели всю выгоду связать более тесным образом свои планы и интересы. Около конца второго века христианские общины Греции и Азии прибегли с этой целью к полезному учреждению провинциальных синодов, и можно думать, что они при образовании подобного представительного совета приняли за образец знаменитые в древности учреждения своей страны, амфиктионии, Ахейский союз ионийских городов. Епископы независимых церквей сначала по обычаю, а вскоре и по определению закона съезжались в главном городе провинции в известные сроки, весной и осенью. В своих совещаниях они руководствовались мнением небольшого числа лучших пресвитеров и видели себя окруженными массой слушателей, в присутствии которых они должны были рассуждать. Определения таких синодов, называвшиеся канонами, истолковывали все важные пункты относительно веры и дисциплины; весьма естественно, что, по общему убеждению, Святой Дух изливал щедро свои дары на собрание представителей христианского народа. Учреждение синодов так хорошо совпадало и с честолюбием частных лиц, и с общественными интересами, что в самое короткое время оно было принято на всем пространстве империи.

Провинциальные синоды, при помощи непрерывных сношений, сообщались друг с другом и совместно принимали свои определения. Таким образом, вскоре начала формироваться Вселенская церковь и приобретать всю силу огромной конфедеративной республики.

Так как синоды своими определениями начали постепенно уничтожать законодательную власть собраний отдельной общины, епископы, по своим связям, значительно увеличили пределы своей исполнительной власти и придали ей произвольный характер. Соединенные между собой общими интересами, они были в состоянии потрясти первоначальные права своего клира (духовного сословия) и народа. Католические прелаты в VIII в. незаметно стали заменять

---

[1] Nonne et laici sacerdotes sumus? Tertul., Exhort. ad castit. c. 7.



Проповедник с крестом и Евангелием. Мозаика. Мавзолей Галлы Плацидии. Равенна



Баптистский бассейн, используемый при проведении обряда крещения. Сбейтла. Тунис

язык убеждения языком повеления, и таким образом заронили семена своих будущий узурпаций, оправдывая себя, за отсутствием силы и рациональных оснований, аллегориями, извлеченными из Священного Писания, и риторическими декламациями. «Единство и власть церкви, – повторяли они часто, – выражаются в учреждении епископата, каждый член которого обладает равной и нераздельной частью. Пусть князья и сановники тщеславятся своими правами на земную и преходящую власть; одна власть епископа происходит от Бога; она распространяется и в этом, и в том мире». Епископы – наместники Иисуса Христа, наследники апостолов; они соответствуют первосвященнику Моисеева закона[1]. Их исключительная привилегия рукополагать в звание пресвитера положила предел свободе избрания, которое прежде принадлежало клиру и народу, и если в управлении церковью они иногда следовали мнениям пресвитеров или желанию паствы, то старались всеми силами вменить себе такую уступку в особенное достоинство. Католические епископы, правда, признавали над собой высшую власть, которая принадлежала синоду, составленному из их собратий; но каждый из них в управлении своим отдельным диоцезом требовал от своей паствы такого слепого повиновения, что эта любимая метафора на практике получала буквальное значение, и пастырь являлся существом высшего разряда. Подобная власть, разумеется, не могла быть утверждена без некоторых усилий с одной стороны и противодействий с другой.

[1] Св. Киприан. De unitate ecclesiae.



Христос. Мозаика из дома в Хинтон Сент-Мори в Дорсете, Великобритания. IV в.

Во многих местах низшее духовенство, воодушевляемое любовью к независимости или личными выгодами, с жаром поддерживает прежнее демократическое устройство; но такие стремления получают презрительное название мятежа и раскола, и епископская партия торжествует, обязанная своими быстрыми успехами усилию многих своих деятельных прелатов, которые, подобно Киприану Карфагенскому, умели согласовать меры самых честолюбивых государственных людей с христианскими добродетелями, каких только можно ожидать от характера святой личности и мученика.

Те же причины, которые нарушили прежде равенство между пресвитерами, ввели и между епископами различие в рангах, откуда само собой возникло подчинение многих епископов юрисдикции одного. Всякий раз, когда весной и осенью они собирались в провинциальный синод, между членами его естественно обнаруживалось различие, проистекавшее из различной степени уважения, каким мог пользоваться каждый, и совершенных им заслуг. Красноречие и ум немногих всегда отдают им в руки большинство; но порядок прений требовал устройства более нормального и менее возбуждающего зависть. Вот потому должность постоянного председателя в синоде каждой провинции была предоставлена епископам столицы; эти предприимчивые прелаты, украшенные блестящими титулами примасов и митрополитов, решились мало-помалу присвоить себе ту самую власть над епископами, какую они приобрели в свою пользу над пресвитерами. Сами митрополиты вступили скоро друг с другом в спор о преимуществе ранга и власти. Каждый из них старался поставить на вид в самых громких выражениях различные выгоды и светское значение того города, в котором он председательствовал, число и богатство христиан, порученных его отеческим попечениям, важность святых и мучеников, прославившихся между ними; и, восходя таким образом до одного из апостолов или одного из его учеников, основавшего их церковь, они настаивали сверх того на особенной чистоте, с которой предание веры, передаваемое непрерывным рядом ортодоксальных епископов, сохранилось именно в лоне их церкви. Все подобные причины превосходства как гражданского, так и духовного, легко было предвидеть, привлекут всеобщее уважение провинций к римскому епископу, и он рано или поздно потребует их повиновения своей власти. Община христиан в этом городе по своему числу соответствовала величине столицы империи. Римская церковь была самая большая, самая многочисленная и, по отношению к Западу, самая древняя из всех христианских общин, потому что большая часть других была основана религиозным подвигом римских миссионеров. Главнейшее притязание церквей Антиохии, Эфеса или Коринфа ограничивалось признанием за своего основателя одного только апостола. Только Рим мог гордиться тем, что берега Тибра озарены были особенным блеском, вследствие проповеди и мученичества двух величайших апостолов. Его епископ тщательно заботился о присвоении себе всех преимуществ, которые приписывались лицу или достоинству святого Петра. Прелаты Италии и провинций соглашались уступить ему старейшинство в духовной аристократии. Но власть одного была, однако, некоторыми отвергнута с отвращением, и предприимчивый гений Рима, хотевший подчинить всю землю своей духовной власти, испытал

в Африке и Азии такое сопротивление, какого в более отдаленные века все их население не могло противопоставить стремлению Рима к политическому преобладанию. Святой Киприан, управлявший с самой неограниченной властью карфагенской церковью и ее провинциальными синодами, с успехом восстал против честолюбия римского первосвященника. Этот ревностный патриот нашел средство привязать к своему собственному делу интересы восточных епископов, и, как Ганнибал, приобрел себе союзников в сердце Азии. Если эта церковная Пуническая война обошлась без всякого кровопролития, то скорее вследствие слабости, чем умеренности соперничествовавших прелатов. Осуждение, отлучение от церкви были их единственным оружием, и пока продолжалась их вражда, они преследовали ими друг друга с одинаковой ревностью и одинаковым убеждением. Тяжелая необходимость осудить память какого-нибудь Папы, или одного из его противников, и до сих пор стесняет католика, когда ему приходится передавать подробности подобного диспута, в котором защитники религии увлекались так, как можно увлечься только в лагере или во время прений сената.

Успехи централизации власти породили также и то замечательное различие мирян и клира, которое было неизвестно ни грекам, ни римлянам. Под первым из этих наименований разумелась вся масса христианского народа; второе, в переводе с греческого языка (κληρος), означало одну избранную часть, которая, будучи отделена от толпы, посвящалась исключительно служению религии: это и был тот класс людей, который составил себе в Западной Европе громкую славу, и из которого вышли замечательнейшие деятели новой истории, хотя их личный характер не всегда был назидателен. Взаимные неприязненные отношения клира не раз тревожили мир церкви в ее младенчестве; но эти распри побуждали их к деятельности для общего дела; любовь к власти, вкрадываясь в сердца католических прелатов, под самыми обманчивыми прикрытиями, воодушевляла их желанием увеличить число своих подданных, а через это распространялись пределы христианства. Они не имели никакой материальной силы, и в продолжение долгого времени светская власть скорее унижала их и притесняла, нежели поддерживала. Но уже и тогда они успели приобрести и воспользоваться для утверждения себя в кругу своей паствы двумя могущественными рычагами правительства: благотворительностью и правом наказания; первая имела для себя источником благочестивую щедрость мирян; второе опиралось на их религиозные убеждения.

I. Общее имущество, которое занимало воображение Платона и которое в некоторой степени осуществлялось суровой сектой эссениан (у евреев), было принято в продолжение некоторого времени и первобытной церковью. Усердие первых последователей побуждало их продавать свое мирское имущество, презираемое ими, являться к апостолам и класть к их ногам полученные деньги, с тем, чтобы довольствоваться равной частью при общем распределении. Успехи христианства постепенно ослабляли, а потом и совсем уничтожили этот великодушный обычай, который, в других руках, менее чистых, чем апостольские, повел бы к порче нравов: можно было опасаться, что в ком-нибудь вдруг пробудится дурной инстинкт, свойственный человеку, и побудит его употребить во зло эти священные вклады. Новообращенным позволяли потому сохранять свои родовые имения, наследовать по завещанию или дару, и вообще увеличивать свое личное состояние всеми дозволенными путями торговли и промыслов. Вместо полного пожертвования служители Евангелия принимали небольшую часть; и в собраниях, которые происходили каждую неделю или каждый месяц, верующий, соответственно нуждам общины и сообразно со своим имуществом, добровольно, по мере своего усердия, вкладывал свое приношение в общую сокровищницу. Не отказывались ни от какого дара, как бы малозначителен он ни был; всегда, однако, старались при этом объяснять, что десятина, установленная законом Моисея, была обязательна; а если евреи, при правилах менее совершенных, имели повеление

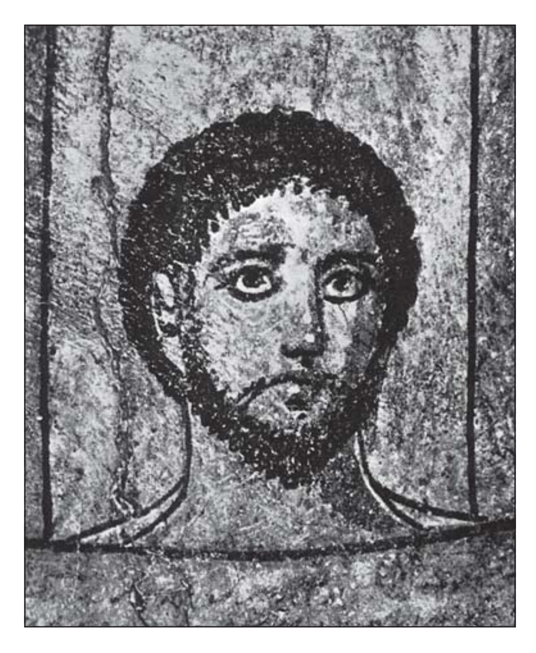
отдавать десятую часть того, чем каждый владел, то ученикам Иисуса Христа надлежит отличиться большей щедростью и совершить заслугу, отказываясь от суетных богатств, которые должны скоро погибнуть вместе с самим миром. Само собой разумеется, что неопределенный и так мало обеспеченный доход каждой отдельной церкви видоизменялся сообразно бедности или зажиточности верных, смотря по тому, были ли они рассеяны по отдаленным деревням, или сосредоточены в больших городах империи. Во времена императора Деция римское правительство удостоверилось в том, что христиане обладают значительными богатствами; что при своем богослужении они употребляют золотые и серебряные чаши, и что многие из самых ревностных продавали свои земли и дома для увеличения казны своей общины, лишая таким образом наследства своих детей, впадавших через это в нищету, ценой которой, как замечали языческие сатирики, родители их приобретали себе святость[1]. Вообще, не надобно быть слишком доверчивым к тем показаниям, которые высказывались по этому поводу посторонними людьми и враждебными христианству; мы имеем перед собой всего только два положительных факта из всех прочих известным нам, при которых названы точные суммы, определяющие ясно степень богатства древних христианских общин. В царствование императора Деция епископ Карфагенский мог за один раз собрать с членов своей общины, гораздо менее богатой, чем римская, сто тысяч сестерций (около 850 фунтов стерлингов, 8000 р. с.), пригласив христиан к пожертвованию для выкупа своих нумидийских собратьев, уведенных в плен степными варварами. За сто лет перед тем один иностранец из Понта, желая оставаться навсегда в Риме, предложил Римской церкви в дар сумму в двести тысяч сестерций. Подобные приношения были, по большей части, денежные; христиане не могли иметь тогда ни желания, ни возможности обременять себя какими-нибудь значительными поземельными приобретениями. В Римской империи было точно определено многими законами, изданными с той же целью, какую имеют и наши постановления относительно выморочных имений, а именно – что никто не имеет права завещать корпорации, существующей в государстве, никакого недвижимого имущества, без особенной привилегии, или без особого разрешения сената или императора, редко расположенных покровительствовать такой секте, которая, вызвав сначала их презрение, внушила им впоследствии зависть и боязнь. Между тем один факт, случившийся во время царствования Александра Севера, доказывает, что те постановления были иногда или обходимы, или не приводимы в исполнение, и христианам разрешалось как домогаться, так и владеть землей, даже в черте самого Рима. Дальнейшие успехи христианства и гражданские раздоры внутри империи содействовали еще большему смягчению строгости законов, и еще до конца третьего столетия многие значительные земли принадлежали богатым церквям Рима, Милана, Карфагена, Антиохии, Александрии и других больших городов Италии и провинций.

Мы видели, каким образом каждый епископ сделался, вследствие обыкновенного хода вещей, полным распорядителем своей общины: он мог располагать ее казной, не давая в том никому отчета. Предоставляя пресвитерам одни только их духовные обязанности, епископ поручал сбор и раздачу церковных доходов сословию дьяконов, как более подчиненному. По свидетельству святого Киприана, в Африке находилось весьма большое число прелатов, которые при исполнении своей обязанности нарушали все правила не только евангельского совершенства, но и всякой нравственности. Некоторые из них, нарушив оказанное им доверие, растратили церковные имущества на удовлетворение своих чувственных удовольствий; другие недостойным образом обращали их в свою собственную пользу, пускались в спекуляции и отдавали общественные деньги в неслыханный рост. Но пока приношения христианского народа были свободны и доброволь-

[1] Et summa pietas creditur Nudare dulces liberos. Prudentius, Peri Eteja nion

ны, такие злоупотребления не могли быть часты; цель, которую поставляла себе щедрость вносивших деньги, делала большую честь христианской общине. Епископ и клир получали достаточную часть для своего содержания. Сверх того, отделялась значительная сумма на издержки, требуемые религиозным богослужением, существенную и блестящую часть которого составляли трапезы бедных или агапии, как их называли тогда. Остальное затем считалось священной собственностью бедных. Последняя сумма отдавалась в распоряжение епископа, который употреблял ее для поддержания вдов, сирот, хромых, больных и стариков общины, для успокоения чужестранцев и странников, и для облегчения страданий заключенных и пленников, особенно если их страдания были следствием твердой привязанности к делу религии. Великодушная любовь к ближнему соединяла провинции самые отдаленные; и какая-нибудь небольшая община находила себе огромную поддержку в приношениях более богатых общин, которые с радостью спешили облегчить своих нуждающихся собратий. Это высокое учреждение, имевшее даже в виду более бедность, нежели заслуги, много способствовало успехам христианства. Те из язычников, которые были воодушевлены сами человеколюбием, хотя и отвращались от учения христиан, не могли не отдать им справедливости за их благотворительность. Немедленная помощь и верное покровительство привлекали в недра христианской общины толпы несчастных, которые, по равнодушию людей, были предоставлены в добычу ужасам бедности, болезней и старости. Можно также думать, что большая часть новорожденных, оставленных родителями после рождения, вследствие бесчеловечного обычая того времени, были часто спасаемы, крещены, воспитываемы и содержимы человеколюбием христиан и на счет общественной казны.

II. Всякое общество имеет неоспоримое право исключать из своей среды и не допускать к участию в его выгодах тех из своих членов, которые отвергают или нарушают правила, установленные общим согласием. Христианская община, на основании этого права, действовала так против членов, уличенных в соблазнительном поведении, в убийстве, обмане и невоздержанности; против авторов или последователей какого-нибудь еретического учения, осужденного приговором епископов, и против тех жалких людей, которые после крещения или по собственному заблуждению, или даже, уступая силе, осквернились участием в языческом богослужении. Такое отлучение для осужденного имело как нравственные, так и материальные невыгоды. Христианин, исключенный из своей общины, лишался своей части при разделе денег, вносимых в общую казну. Для него были прерваны все религиозные и личные отношения. Лица, которых он более всего уважал и которыми он был искренно любим, смотрели на него с ужасом, как на оскверненного, и так как отлучение налагало на него пятно бесчестия, то его общества избегали почти все: никто не доверял человеку, изгнанному из среды честных людей. Как бы ни было печально или горестно само по себе положение таких несчастных вследствие их отлучения, но угрызения совести, весьма



Голова пророка. Деталь росписи из синагоги в Дура-Европос, Сирия. 245–246 гг.

естественно, далеко превосходили все внешние лишения. Христианство давало в себе ручательство вечной жизни за гробом. Отлученных преследовала страшная мысль, что стоявшие во главе христианского общества и произнесшие над ними свой приговор получили из рук самого божества ключи ада и рая. Еретики, правда, поддерживаемые, может быть, силой убеждения и обольстительной надеждой, что именно они-то и открыли истинный путь к спасению, условились в своих отдельных собраниях найти для себя новый источник тех духовных и материальных выгод, которые прекращались для них, как для отлученных из главной массы христианского общества; но все те, которые только по слабости впали в порок или в идолопоклонство, чувствовали себя убитыми нравственно и, трепеща за свою участь, желали возвращения в общину верных.

Относительно наказания, которое следовало наложить на подобных кающихся, два противоположные чувства разделяли первобытных христиан: одно – справедливости, другое – сострадания. Самые суровые и непреклонные казуисты отказывали им навсегда и без исключения даже в последнем месте между членами святой общины, которую они обесчестили или оставили, и, предоставляя их терзаниям преступной совести, указывали им только как на слабый луч надежды, на раскаяние целой жизни до смерти, которое может быть вменено Всевышним в заслугу. Но люди более возвышенные и более уважаемые в Христианской церкви приняли мнение более кроткое как в теории, так и в практике. Врата примирения и неба, по их убеждению, были редко закрываемы кающемуся грешнику; но зато они постановили строгую и торжественную форму покаяния для очищения согрешившего, которая вместе с тем и для зрителей была бы хорошим назиданием и уроком. Кающийся смирялся публичной исповедью, и, изнеможенный постом, в саване лежал распростертый при входе в церковь. Там он умолял, со слезами на глазах, о прощении своих заблуждений, и просил верных молиться за него; если проступок был очень тяжел, то целые годы покаяния считались недостаточными для умилостивления Божьего правосудия. Грешник, еретик или богоотступник не иначе был принимаем снова в лоно церкви, как после медленных и мучительных испытаний. Впрочем, приговор вечного отлучения произносился в случае необыкновенных преступлений, и особенно вторичного вероотступничества тех кающихся, которые, испытав уже однажды милосердие своих духовных отцов, обманули их снова. Епископы, неограниченные судьи в деле покаяния, назначали степень его, смотря по обстоятельствам преступления или по числу виновных. Анкирский и Эльвирский соборы были созваны в одно время, первый в Галатии, второй в Испании; но дух обнародованных ими постановлений, действующих и доныне, по-видимому, весьма различен. Галат, если он, приняв крещение, более одного раза приносил жертвы идолам, получал прощение только после семилетнего покаяния; за совращение им кого-нибудь из своих собратьев прибавлялось еще три года к тому времени его отлучения. Несчастный испанец, напротив, за то же самое преступление не мог надеяться на прощение, даже до самой смерти. Идолопоклонство, в правилах Испанской церкви, помещено во главе списка семнадцати других преступлений, против которых постановлялось решение не менее ужасное. Клевета против епископа, пресвитера или даже дьякона, отнесена была к числу тех преступлений, которые ничто не могло искупить.

Счастливое соединение снисходительности и строгости, благоразумное распределение наказаний и наград, сообразованное с началами как политики, так и справедливости, составляли силу церкви на земле. Епископы, которых отеческое попечение переходило и за пределы земной жизни, сознавали всю важность своих преимуществ и желали убедить, что они воодушевлены только желанием сохранить порядок и мир; но иногда, прикрывая этим предлогом свое честолюбие, они с трудом допускали, чтобы другой соперник разделял их дисциплинарную власть, столь необходимую для предупреждения распадения паствы, собравшейся под знаменем креста, и число которой с каждым днем становилось

значительнее. Настоятельные требования святого Киприана могут вызвать предположение, что начало отлучения от церкви и покаяния составляло самую существенную часть религии, и что паства подвергалась меньшей опасности, пренебрегая обязанностями простой морали, нежели не уважая правил и авторитета своих епископов. От того времени до нас как будто доходит то голос Моисея, когда он повелевал земле раскрыться и поглотить в пожирающем пламене нечестивое колено, которое сопротивлялось первосвященнической власти Аарона; то перед нами как будто восстает тень римского консула, несущего на своих плечах величество древней республики и требующего буквального исполнения законов во всей их строгости. «Если безнаказанно терпеть подобное нарушение правил (так порицал карфагенский епископ мягкосердечие своего товарища), то епископская власть погибла; погибло и духовное, божественное всемогущество, управляющее церковью; погибло даже христианство». Святой Киприан отказался от всех земных почестей, которых он, вероятно, и не достиг бы; но сохранение власти, самой неограниченной, над совестью и умами своей паствы, как бы темна, как бы ничтожна она ни казалась в глазах мира, удовлетворяло более существенно честолюбию, чем самая деспотическая власть, которая принуждает людей подчиняться себе силой оружия и правом победы.

Я старался в своем очерке исследовать одну из тех причин, которые мы называли вторичными, и которые содействовали утверждению истин христианства. Если эти причины сопровождаются некоторыми посторонними атрибутами, обстоятельствами, чуждыми духу христианства, и заключают в себе примесь заблуждений и страстей, то не нужно удивляться тому, потому что человеческие побуждения очень часто вытекают из несовершенства человеческой природы. Как бы то ни было, внешнее устройство первобытной христианской общины и дальнейшее его развитие весьма много содействовало прочности успехов христианства в Римской империи. Тесное соединение верных между собой укрепляло их мужество, ставило определенные цели для борьбы и придавало их силам ту неодолимую стремительность, которая делала возможной победу небольшой, но свободной, хорошо организованной и доведенной до отчаяния горстки людей над хаотической массой и совершенно индифферентной к главной причине борьбы, предмет которой не был даже ей хорошо известен. В многочисленных религиях политеизма весьма небольшое число странствовавших жрецов – фанатиков Египта и Сирии, стараясь захватить врасплох легковерие народа, образовали из себя единичное сословие, умевшее извлекать из своей организации средства к существованию и внушать к себе страх; они одни только были лично заинтересованы сохранением языческого культа. Все же остальные и главные служители политеизма в Риме и в провинциях были, по большей части, граждане знаменитые по рождению и с обеспеченным состоянием; они принимали на себя, как почетное отличие, звание первосвященника в каком-нибудь знаменитом храме или при каком-нибудь торжественном жертвоприношении. Часто они учреждали религиозные празднества за свой собственный счет и в то же время присутствовали на них с холодным равнодушием к древним церемониям, выполняя по наружности законы и обычаи своего отечества. Так как главная деятельность таких жрецов посвящалась делам обыденной жизни, то их религиозная ревность и преданность редко воодушевлялись настоящим духом касты или чувством интереса. Зная каждый свой храм, они все вместе не представляли какого-нибудь административного или дисциплинарного соединения; будучи такими же чиновниками империи, как и все, они имели для себя верховную юрисдикцию в сенате, первосвященнической коллегии и императоре, и затем ограничивались выполнением легкой обязанности поддерживать достоинство и порядок культа государственной религии. Всем известно, как религиозное чувство язычника было изменчиво, неопределенно и шатко; он был предоставлен безусловно естественным впечатлениям своего суеверного воображения. Разнообразные случайности его

положения или жизни определяли как предмет, так и степень его набожности, и, возжигая фимиам перед бесчисленными идолами, едва ли его сердце было способно питать живое и искреннее сочувствие к какому-нибудь из этих истуканов.

Еще перед появлением христианства начали стираться и эти последние слабые проблески языческой религиозности. Разум человека, не способный понять таинства веры, нашел, однако, в собственных своих силах средства одержать легкую победу над заблуждениями язычества. Когда Тертуллиан или Лактанций хотели показать его безумие и ложность, то им ничего не оставалось, как заимствовать готовое оружие у красноречия Цицерона или насмешки Лукиана. Скептицизм, которым были проникнуты их сочинения, оказывал огромное влияние на их читателей. Мода безверия переходила от философа к человеку, преданному удовольствиям или делам, от знатного к плебею, от господина к домашнему рабу, который прислуживал при его обедах и слушал с удовольствием соблазнительный разговор гостей. В публике все эти философы старались с почтением и благопристойностью толковать о религиозных учреждениях своего отечества, но их внутреннее презрение проглядывало сквозь легкий покров, которым они едва умели прикрываться. Когда народ видел свои божества ниспровергнутыми и осмеянными со стороны тех, общественное положение и таланты которых он привык уважать, весьма естественно, что и в нем начало зарождаться сомнение и подозрение в истинности того учения, которое он до того времени принимал с самой чистосердечной верой. Разрушение старых предрассудков поставило весьма значительную часть человеческого рода в тягостное и мучительное положение. Состояние скептицизма и недоумения может занимать только спекулятивные умы, но суеверие так свойственно массе, что, когда для нее очарование уничтожено, она будет жалеть о потере счастливой мечты. Любовь к чудесному и сверхъестественному, которая так присуща человеку, любопытство, которое постоянно влечет его к познанию будущего, непобедимое стремление проникнуть в своих надеждах и боязни за пределы видимого мира – все это было главной причиной, которая благоприятствовала некогда утверждению политеизма. Необходимость верить действует так сильно на толпу, что за падением какой-нибудь мифологической системы обыкновенно следует немедленное принятие какого-нибудь другого суеверия. Божества, созданные по образцу более новому и согласному со вкусом века, быть может, скоро заняли бы тогда опустевшие храмы Аполлона и Юпитера, если бы в этот решительный момент провидение не послало на землю чистое и святое откровение, способное внушить уважение и убеждение более разумное, не уничтожая в то же время того, что удовлетворяет качествам масс. При положениии, в котором тогда находилось общество, почти совершенно освобожденное от своих искусственных предрассудков, но по-прежнему искавшее и жаждавшее религиозных ощущений, всякий предмет, даже и мало достойный культа, был способен наполнить собой пустоту сердца в человеке того времени и удовлетворить неопределенное стремление его пожеланий. Развивая эту мысль далее, во всем ее объеме, мы не только перестали бы удивляться быстрым успехам христианства, но скорее нашли бы, что они были еще не довольно быстры и не довольно повсеместны.

The history of the decline and fall of the
roman empire.
Базель. 1787. Ч. II, 219 и др.

Сидоний Аполлинарий

ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЫ НА ЗАПАДЕ В ЭПОХУ ПАДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

(Из переписки современников, около 476 г.)

Сидоний – своему другу, Дамнулу, привет!

Я спешу поделиться с тобой нашей великой радостью, и притом ты сам желаешь знать, что совершил наш отец во Христе, первосвященник (pontifex, так называли тогда многих епископов, из почтения к ним) Пациент, со своим благочестием и свойственной ему твердостью, во время пребывания в Шалоне (Cabillonum). Он прибыл в этот город, отчасти предшествуемый, отчасти сопровождаемый духовенством провинции, которое соединилось тогда для избрания епископа в этой общине, пошатнувшейся в своей дисциплине по удалении и смерти слишком молодого епископа Павла. Синод духовных нашел в городе различные партии между жителями и частные интриги, рождающиеся всегда в ущерб общему благу и вызванные в Шалоне тремя соискателями. Один из них, не обладая никакими добродетелями, указывал на древнюю знатность своего рода; другой, как новый Апиций, опирался на рукоплескания и крики паразитов, подкупленных его кухней; а третий обязывался тайным договором предать церковное имущество на разграбление своим партизанам (plausoribus suis).

Св. Пациент и св. Евфроний, гнушаясь ненавистью и дружбой партий, решились с твердостью и строгостью приступить к выполнению своего мудрого намерения, хорошо познакомившись с положением вещей. Сначала они посоветовались с обоими собратьями – епископами, не объявляя о том публике; а потом, не обращая внимания на крики разъяренной толпы, они неожиданно возложили руки на святого человека Иоанна, известного своей честностью, человеколюбием и кротостью, и который не только этого не подозревал, но и не желал быть избранным. Иоанн был чтецом (lector) и с детства находился при алтаре; потом, после многих годов и трудов, его сделали архидьяконом. За его достоинства долго держали его в этом чине или звании, и он не мог повышаться, потому что все хотели, чтобы он продолжал заниматься церковным хозяйством. При его маловажном чине и среди рассвирепевших партий никто не говорил о человеке, который ничего не искал; но никто также не осмеливался обвинять того, кто заслужил всеобщие похвалы. К великому удивлению всех партий, к крайнему замешательству злонамеренных людей, при одобрительных восклицаниях всех честных, без всякой оппозиции, епископы и посвятили Иоанна себе в сотоварищи… (Т. I, кн. IV, письмо 25, с. 410).

Сидоний – владыке Папе[1], Перпетую, привет!

В своей любви к назидательному учению, изучив всю библиотеку Католической церкви, и в ее обоих заветах, и в толкователях к ним, ты дошел до того, что пожелал наконец познакомиться и с такими сочинениями, которые мало достойны и твоего слуха, и твоего суда. Таким образом, ты требуешь от меня теперь, чтобы я прислал тебе ту речь, с которой я обратился в церкви к жителям города Буржа, речь, в которой нет ни приличного изящества и стройности риторических подразделений, ни приемов ораторского искусства, ни грамматических фигур; ибо при этом случае я не мог соединить вместе, по общему обычаю ораторов, ни сильных исторических доказательств, ни поэтических вымыслов, ни блестящей игры слов. Заговоры, происки, различные партии увлекали меня, в полном смысле слова, и если случай доставлял мне обильный материал, то дела

---

[1] Титул Папы давался в то время весьма многим епископам и выражал одно личное уважение к ним, а не степень какой-нибудь власти. Так, Перпетуй был простым епископом г. Тура в Галлии.

не давали времени подумать о нем. Было такое множество соискателей епископского достоинства, что не хватало двух скамеек для кандидатов на одно место; все были довольны только собой, никто не был доволен ими. Мы не могли ничего сделать для общего блага, если бы народ, более спокойный, не отказался от своего собственного решения для того, чтобы покориться решению епископов. Некоторые духовные шептались по углам, но всенародно ни один не говорил ни слова, потому что большая часть боялась своего кружка не менее других кружков. Прими же этот прилагаемый к письму листок; я его продиктовал, Христос тому свидетель, в две стражи одной летней ночи; но я боюсь, чтобы ты, читая его, не подумал чего, сверх того, что я тебе говорю. Удостой, владыка папа, вспомнить обо мне.

Речь

«Возлюбленные мои, светская история повествует, что один философ[1] учил своих учеников терпеливому молчанию, прежде чем начинал объяснять им искусство речи, и таким образом новички сохраняли, в продолжение пяти лет, строгое молчание, посреди прений своих соучеников, так что самые быстрые умы не могли быть восхваляемы прежде, чем пройдет достаточно времени для того, чтобы хорошо познакомиться с ними... Что касается меня, то мои слабые силы подвержены совершенно иному условию: я вижу себя принужденным, стоя на кривом распутьи жизни и над бездной порока, взять на себя обязанность наставника других, тогда как я сам еще не прошел смиренных обязанностей ученика при каком-либо почтенном человеке[2]. К моей слабости присоединяется крайнее замешательство; так как вам угодно было, чтобы я избрал вам, с помощью Христа, епископа, исполненного мудрости и в лице которого соединились бы всевозможные добродетели, то знайте, что ваше желание, делая мне честь, налагает на меня еще большее бремя... Прежде всего вы должны знать, какой поток оскорблений ожидает меня, и какой лай человеческих голосов разразится также и против вас со стороны толпы претендентов на епископство... Если я изберу кого-нибудь из монахов, будь он в состоянии сравниться с Павлами, Антониями, Гиларионами, Макариями, я тотчас услышу, как вокруг моих ушей раздастся громкий хохот толпы неблагородных пигмеев, которые будут жаловаться, говоря: «Тот, которого там избирают, исполняет должность не епископа, а аббата; он более способен ходатайствовать за души перед небесным судьей, чем за наши дела перед судьями земли». Кто не был бы глубоко раздражен, видя, что ныне самые истинные добродетели вменяются в порок? Если изберем смиренного человека, его назовут ничтожным; если мы предложим человека с характером гордым, его назовут надменным; если мы возьмем человека мало просвещенного, он прослывет за свое невежество смешным; если, напротив, то будет ученый, его ученость заставит говорить, что он надут чванством; если он строг, его будут ненавидеть, как жестокого; если он снисходителен, его обвинят в излишней слабости; если он прост, его будут презирать, как скота (brutus); если он исполнен проницательности, его отвергнут, как хитреца; если он точен, его назовут мелочным; если он поверхностен, его назовут небрежным; если у него тонкий ум, его объявят честолюбивым; если он спокоен, его будут считать ленивым; если он умерен, его назовут скупцом; если он ест для того, чтобы жить, его обвинят в обжорстве; если он постится, его обвинят в ханжестве... Итак, как бы кто ни жил, всегда хорошее поведение и добрые качества будут жертвой злых языков, клеветников, подобных крючкам двуконечным. И скажу более, народ со своим упорством, духовные со своей распущенностью трудно покоряются монастырской дисциплине.

Если я укажу на лицо духовного звания, то посвященные после него будут завидовать ему, а посвященные прежде очернят его; потому что между ними есть люди (да будет это сказано не в оскорбление прочим), которые воображают, что продолжи-

[1] Пифагор.

[2] Сидоний только что был поставлен епископом, в конце 471 г.

тельное исполнение ими духовной должности есть единственное мерило достоинства, и которые, вследствие того, захотят, чтобы при избрании прелата мы принимали в соображение не общее благо, а лета...

Если я случайно назначу человека, занимавшего военные должности, то я услышу такие слова: «Сидоний не хочет избрать в епископы человека духовного сословия, так как он сам перешел в духовное сословие от светских должностей; гордый своим происхождением, поставленный на первую ступень знаками своего отличия, он презирает бедных во Христе». Вот почему я представлю сию же минуту свидетельство о качествах избираемого мною лица, что необходимо не столько для великодушия добрых людей, сколько для подозрительности злых. Во имя Святого Духа, нашего всемогущего Бога, осудившего, устами Петра, волхва Симона за то, что он думал, будто бы дар благодати может быть куплен за деньги, я объявляю, что в выборе человека, которого я считаю достойнейшим, я не руководился ни деньгами, ни пристрастием; и что, обсудив, насколько то было нужно, и даже более того, каково это лицо, время, провинция и этот город, я решил, что приличнее всего вам назначить человека, жизнь которого я вам хочу привести на память в нескольких словах.

Богом благословенный Симплиций соответствует желаниям обоих сословий и по своему поведению, и по своим занятиям; государство может в нем найти, чему удивляться, церковь – за что ценить. Если мы должны уважать происхождение (а сам Евангелист нам доказал, что не нужно отказывать в этом уважении, ибо Лука, начиная похвальное слово Иоанну, очень ценил то, что он происходил из левитского звания), то родители Симплиция занимали высокие места в церкви и в судах; его фамилия была прославлена епископами и префектами: его предки всегда могли предписывать законы или божеские, или человеческие. Что касается до него самого лично, то мы увидим, какое он занимает место среди значительнейших сограждан. Вы мне скажете, что Евхерий и Паннихий гораздо выше Симплиция; пусть это так было до сих пор; но в настоящем случае они не могут быть допущены к избранию, на основании канонов, потому что они оба вступили во второй брак. Если мы обратим внимание на лета Симплиция, то увидим, что он обладает вместе и деятельностью юноши и благоразумием старика. Если мы сравним его образованность и прирожденные ему таланты, то в нем дары природы спорят с ученостью (certat natura doctrinae). Если вы потребуете от него человеколюбия, то он высказал его с излишком гражданам, духовным, пилигримам, малым и большим: и его хлеб чаще и больше всего был вкушаем тем, кто ему не должен был его возвращать. Если нужно было принять на себя посольство, то Симплиций не раз являлся от имени вашего города перед королями, покрытыми звериными шкурами, и государями, облеченными в порфиру... Наконец, мои возлюбленные братья, Симплиций – это тот самый человек, который был брошен варварами в темницу и увидел, по чуду небес, что двери ее, несмотря на то, что были крепко заперты, отворились сами собой... Я чуть не забыл упомянуть о том, что не следует пропускать. Уже давно, в древние времена Моисея, как говорит псалмопевец, когда нужно было соорудить скинию свидения, то весь Израиль в степях повергь к ногам Безелиила все свои приношения. Потом Соломон поднял все силы народа для построения храма Иерусалимского, хотя он уже имел в своем распоряжении дары царицы полуденной страны Сабы, богатства Палестины и дань соседних царей. Симплиций, еще молодой человек, воин, слабый здоровьем, одинокий сын в семействе и сам уже отец, также построил вам церковь; он не был остановлен в своем благочестивом намерении ни привязанностью стариков к своим богатствам, ни заботой о своих маленьких детях; а между тем таково было его смирение, что он хранил молчание об этом предмете. И в самом деле, если я не ошибаюсь, это человек, чуждый всякого желания быть популярным; он не ищет расположения всех, но только расположения добрых людей; он не унижается до неосторожной фамильярности, но высоко ценит прочную дружбу... Наконец, его в особенности нужно желать

видеть епископом, потому что он того нисколько не желает и заботится не столько о том, чтобы приобрести епископское достоинство, сколько о том, чтобы его заслужить.

Мне, может быть, кто-нибудь скажет: «Но как же ты в такое короткое время узнал так много об этом человеке?» Я ему отвечу: я знал жителей Буржа прежде, чем узнал сам город. Я знал многих из них при их разъездах, в военной службе, в денежных и деловых сношениях, в путешествиях их, в своих собственных. Узнаешь также многое из общественного мнения, потому что добрая слава, по своей природе, не ограничивается узкими пределами отечества...

Жена Симплиция происходит из фамилии Палладиев, которые занимали ученые кафедры и служили при алтарях, вызывая похвалу своих собратий; и так как о характере почтенной женщины нельзя упоминать иначе, как скромно и коротко, то я ограничусь утверждением того, что эта женщина достойным образом соответствует заслугам и чести обеих фамилий, и той, в которой она родилась и выросла, и той, в которую она вошла вследствие хорошего выбора. Оба они воспитывают сыновей достойно и с полным благоразумием; и отец, сравнивая их с собой, находит новый источник счастья в том, в чем дети уже теперь превосходят его.

Так как вы клялись признать и принять выражение моей немощи, по случаю этого выбора, то во имя Отца и Сына и Святого Духа я объявляю Симплиция долженствующим быть избранным в епископы нашей провинции и первосвятителем вашего города; что же касается вас, то, если вы принимаете мое последнее решение о человеке, о котором я вам теперь говорю, то подтвердите его сообразно с вашими прежними обязательствами».

Т. II, кн. VII, письмо 9, с. 192.

КОММЕНТАРИЙ. Оба письма были написаны Сидонием по поводу выборов в епископы в различных городах Галлии и служат верным изображением того последующего развития на Западе автономии древней общины, в которую начала вкрадываться деморализация, присущая всему светскому обществу того времени, о которой говорит Гиббон.

Сидоний Аполлинарий

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ, ЗАНЯТИЯ И НРАВЫ ВЫСШЕГО ЗАПАДНОГО ДУХОВЕНСТВА В ЭПОХУ ПАДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

(Из переписки современников, около 480 г.)

Сидоний – своему другу, Льву, привет!

Я посылаю тебе, по твоей просьбе, жизнь Аполлония Пифагорейца (Тианского), не по тексту Никомаха Старшего, переписывавшего ее из Филострата, но как Тасций-Викториан списал у Никомаха. Поспешность, с которой я хотел выполнить твое желание, была причиной того, что я переписывал слишком скоро и не очень старательно. Не упрекай меня, если я при всем том употребил более времени на эту работу, нежели думал, ибо когда я томился в плену, в стенах Ливии (у Каркассона) – после Христа я тебе обязан своим освобождением, – мой дух, удрученный беспокойством, мог работать урывками; ночью я воздыхал, днем был обременен настоятельными обязанностями. Наконец, когда сумерки отрывали меня, утомленного, от различных занятий, и я возвращался домой, мои глаза не имели возможности вкусить покоя: я осужден был выслушивать крики двух готских старух (quae quaepiam Gothides anus), живших по соседству с моей комнатой, вздорных, пьяных и отвратительных, каких только можно встретить.

По своем возвращении я нашел несколько свободного времени, чтобы скорее препроводить к тебе эту книгу, неподчищенную, полусырую и, как говорят, отзывающуюся новым вином, больше для того, чтобы удовлетворить твое желание, нежели исполнить

свою обязанность. Итак, отложи в сторону лавры Аполлона и покинь берега Иппокрены, забудь гармонию привычного тебе стиха, стиха, который у людей, ученых как ты, льется, подобно струе, а не добывается трудом... Отложи и твои знаменитые оды, в которых ты воспеваешь своего короля, и в которых этот знаменитый государь то наводит ужас на народы, живущие за морями, то заключает победный договор о Верхней Испании с варварами, трепещущими от звука его имени на берегах Ваала.

Теперь ты можешь почерпнуть, на свободе и удобно, из этой книги все сведения, как ты желал, и, предавшись вполне ее чтению, будешь, так сказать, странствовать вместе с философом Тианским, следуя за ним то по Кавказу и Индии, то к гимнософистам Эфиопии и браминам Инда. Читай его жизнь и ты увидишь, что, за исключением католической веры, она похожа на твою. Взыскиваемый богатыми, он не искал богатств; полный любви к знанию, он презирал золото, трезвый среди пиров, он был одет в простое полотно, когда окружавшие его носили багряницу; среди изнеженности, он оставался суровым; с длинной бородой и со всклоченными волосами он ходил среди тщательно раздушенных людей, он отличался простотой и перед королями в тиарах, и среди сатрапов, умащенных и одетых с изысканностью... Сомневаюсь, без обиняков, чтобы между нашими предками мог найтись автор, достойный описать жизнь Аполлония, но, без сомнения, наше время найдет тебя достойным прочесть ее. Прощай.

Т. II, кн. VIII, письмо 3.

Сидоний – своему другу, Ерифию, привет!

Ты, мой Ерифий, все тот же: никогда ни охота, ни город, ни поля не привлекают тебя до такой степени, чтобы любовь к литературе перестала владеть тобой... Я послал тебе стихи, написанные мной по просьбе твоего тестя[1], этого почтенного человека, который в обществе равных ему живет равно готовый повелевать и повиноваться. Но так как ты желаешь знать, где и по какому случаю были написаны те стихи, чтобы лучше понять это маловажное произведение, то пеняй на себя, если предисловие будет длиннее самого сочинения.

Мы собрались у гробницы св. Юста[1], между тем как болезнь препятствовала тебе присоединиться к нам. До наступления дня мы совершили ежегодную процессию, при огромном стечении народа обоего пола, которого не могли вместить базилика и крипта, хотя они окружены обширными портиками. После того, как монахи и белое духовенство (clerici), воспевая попеременно с большим смирением псалмы, отслужили утреню (vigilia), все разошлись в разные стороны, не отходя, однако, далеко, чтобы быть наготове к терциям, когда священники должны совершать таинство. Теснота помещения, народ, толпившийся около нас, и большое количество свечей душило всех; тяжелые испарения ночи, еще близкой к лету, хотя смягчаемой первой свежестью осенней зари, еще более нагрели это здание. Между тем, как различные классы обществ рассыпались в разные стороны, знатнейшие граждане собрались у гробницы консула Сиагрия, которая была на расстоянии полета стрелы. Некоторые сели под тенью беседки, составленной из кольев, покрытых зелеными ветвями винограда; мы легли на зеленой лужайке, пропитанной благоуханием цветов. Разговор шел приятно, весело, шутливо; между прочим (что было всего приятнее) не было и речи о властях, ни о податях; не было ни слова, которое бы могло компрометировать, ни лица, которое могло бы быть компрометировано. Всякий, кто мог красочно рассказать занимательную историю, был уверен, что его выслушают с жадностью. Во всяком случае, не было связных рассказов, потому что веселость слушателей часто прерывала речь. Утомленные наконец этим долгим отдохновением, мы захотели чем-нибудь заняться. В ту же минуту, разделясь на две партии, смотря по летам, одни требовали

[1] Филиматий.

[1] Епископ Лионский, живший в конце IV в. Память его празднуют 2 сентября.

с громким криком игру в мячи (pila), другие – стол и кости (tabula). Что касается меня, то я первый подал знак к игре в мячи, которую, ты это знаешь, я люблю так же, как и книги. С другой стороны, брат мой Домниций, человек чрезвычайно приятный и веселый, овладев уже костями, потрясал ими и стучал рогом, как бы подавая знак трубой, чтобы созвать игроков. Что же касается нас, то мы играли много с толпой школьников, с тем, чтобы расшевелить этим здоровым упражнением бодрость наших членов, онемевших от долгого отдохновения. Сам славный Филиматий, как говорит мантуанский поэт: «Ausus et ipse manu juvenum tentare laborem», –постоянно вмешивался в среду играющих в мячи. Ему удавалась эта игра, когда он был помоложе; но так как его часто сталкивали с средины, где стояли, толчком бежавшего игрока; так как, в другой раз, если он выступал на арену, он не мог ни перерезать дороги, ни уклониться от летевшего мимо или падавшего на него мяча, и часто опрокидываемый с трудом поднимался после своего неловкого падения, то он первый оставил игру, тяжело вздыхая и очень разгоряченный: это упражнение раздуло ему фибры печени, и он почувствовал колотья. Я тотчас же оставил игру, чтобы сделать доброе дело – перестать в одно время с ним и избежать, подобно нашему брату, последствий усталости. Мы снова сели, и вскоре пот заставил его спросить воды, чтобы умыть лицо; ему принесли воды и полотенце, покрытое шерстью: оно, омытое от вчерашней грязи, было случайно повешено на веревке, проходившей по блоку перед двухстворчатой дверью небольшого дома привратника. Отирая на досуге щеки, он сказал мне: «Мне хотелось бы, чтобы ты продиктовал мне четверостишие на тряпку, которая оказала мне эту услугу».– «Пожалуй»,– отвечал я.– «Но,– прибавил он,– диктуй же!» Я ему ответил тогда с улыбкой: «Но знай, что музы разгневаются, если я вздумаю вмешиваться в их хор при таком множестве свидетелей». Тогда он мне возразил очень живо и очень вежливо (это человек пылкий и неистощимый источник острот): «Смотри, господин Соллий, чтоб Аполлон не рассердился скорее, если ты попробуешь втайне и один обольщать его возлюбленных питомиц». Ты можешь посудить, какие рукоплескания вызвал этот быстрый и остроумный ответ. Тогда, уже не медля более, я призвал его писца, который был невдалеке, с дощечками в руках, и продиктовал ему следующее четверостишие:

«В одно утро, выходя из теплой бани, или когда охота увлажит чело, пусть прекрасный Филиматий найдет снова эту тряпку, чтобы осушить лицо, все в поту, и влага пусть перейдет с его чела в эту шерсть, как в глотку пьяницы».

Лишь только наш Епифаний записал эти стихи, как нам объявили, что час настал, когда епископ выходит из своего места, и мы тотчас встали.

Теперь вы оба не забудьте мне секретно возвратить другое, более обширное сочинение, которое вы просили меня написать в форме параболы или какой-нибудь фигуры, против одного господина, который не может переносить хороших дней; вы получите ее завтра. Если оно вам понравится, возьмите его и публикуйте; в противном же случае истребите и забудьте. Прощай.

Т. II, кн. V, письмо 17, с. 52.

КОММЕНТАРИЙ. Оба письма были написаны Сидонием, когда он был епископом: первое письмо было адресовано к известному в то время римскому поэту Льву, жившему при дворе вестготских королей, вскоре после освобождения Сидония из плена. Предмет переписки составляло жизнеописание Аполлония Тианского, жившего в первом веке; этот языческий философ приобрел в свое время обширную известность своей попыткой преобразовать моральный быт языческого общества путем религии, оставаясь притом верным отечественному культу. Из второго письма еще более видно, как классическая древность и старые общественные привычки проникали в высшее католическое духовенство, в эпоху падения Западной Римской империи, в противоположность нравам и обычаям представителей древней христианской общины, как оно изображено у Тертуллиана. Такой переворот был следствием не деморализации самой общины, но изменением ее отношений к высшему светскому сословию империи: христианские епископы, несмотря на отсутствие официального характера, имели более

действительной власти над обществом, нежели сами агенты правительства, а потому высшая аристократия, как то представляет и Сидоний, старалась приобрести епископские места; вот отчего само избрание и жизнь таких епископов отразили на себе характер светского сословия империи, с его распущенной жизнью, его привычками и вместе любовью к изящной и философской литературе древнего римского общества. Но при всем том высшее духовенство продолжало сохранять то же влияние на народные массы, и, при разрушении светского правительства империи, было в то время единственной действительной властью.

Григорий Турский

ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЩЕСТВА К НАРОДНЫМ МАССАМ В ЭПОХУ ПАДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (591 г.)

Во второй год царствования императоров Аркадия и Гонория (397 г.) св. Мартин, епископ Турский, прославившийся великими подвигами и святостью, облагодетельствовавший тысячу несчастных и беспомощных, умер в Кандах (при слиянии р. Вьеннь и Луары, около Тура), городе своей епархии, на восемьдесят первом году жизни, в двадцать шестой год своего епископского служения, и отошел ко Христу. Он преставился в воскресенье, в полночь, в год консульства Аттика и Цезаря. Во время его смерти многие люди слышали в небе пение. С того времени, как святой Господа заболел в городе Кандах, население Пуату и Туреня собралось там, чтобы присутствовать при его кончине. Когда же он умер, между двумя населениями поднялся сильный спор. Жители Пуату говорили: «Он был у нас монахом, а потом аббатом[1]; мы отдали его вам только на время, и потому требуем теперь назад. Будьте довольны и тем, что вы наслаждались его словом, в то время, как он был при жизни епископом; что вы разделяли его трапезу, укреплялись его благословениями и возбуждались его чудесами. Вы получили свою часть, а нам предоставьте взять с собой, по крайней мере, его труп». На это жители Тура отвечали: «Вы утверждаете, что чудеса, которые он совершил у нас, должны нас удовлетворить; так знайте же, что пока он был между вами, он совершил их в гораздо большем числе; не говоря о других случаях, он воскресил у вас двух мертвых, у нас одного; он сам часто говаривал, что его дар чудес был гораздо сильнее до принятия епископского сана. Бог взял его от вас и дал нам. Кроме того, если следовать обычаю, установленному издревле, его могила должна быть, по Божьему соизволению, в том городе, где он был посвящен. И если вы требуете его обратно в силу монастырских привилегий, то знайте, что его первый монастырь был в Милане». Во время этого спора солнце зашло и наступила ночь. Двери были заперты, и около тела расположились на страже обе партии, и из Тура, и из Пуату; пуатунцы могли бы рано утром легко похитить его силой, но всемогущий Бог не допустил, чтобы город Тур лишился своего патрона. Среди ночи вся толпа жителей Пуату была объята сном, так что ни один из этого множества не бодрствовал. Жители Тура, увидев своих соперников уснувшими, схватили поспешно земные останки св. Мартина: одни спускали тело в окно, другие, стоявшие вне дома, принимали его; потом положили в лодку и отправились с ним вниз по реке Вьеннь. Приплыв к руслу Луары, они повернули к городу Туру, с громким пением гимнов и псалмов. Жители же Пуату, разбуженные этими песнопениями и увидев сокровище, которое они стерегли, похищенным, возвратились домой в большом смущении.

Десять книг церковной истории франков, I, 48 (43).

КОММЕНТАРИЙ. Григорий, епископ Турский (Gregorius Turonensis), жил и писал в VI в. и, следовательно, был весьма еще близок ко времени падения Западной Римской империи. См. о его жизни и сочинениях ниже.

[1] Он основал монастырь Legugé около Пуатье.

Амедей Тьерри

Св. СЕВЕРИН И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ РИМСКИХ ПРОВИНЦИЙ НА ДУНАЕ[1] (1860 г.)

На западном склоне горы Каленберга (у древних mons Cettius), в отлогости веселой долины, усаженной виноградом, и теперь еще показывают следы развалин старой кельи, вблизи которой возвышаются две церкви при двух селениях, носящих имя св. Северина. Изредка пилигримы, по преданию, направляются к тем развалинам, которые в Средние века собирали бесчисленных поклонников, стекавшихся с обоих берегов Дуная, чтобы посетить землю, по которой некогда ходил великий апостол Норики. За четырнадцать веков, как и ныне, эти скаты были покрыты виноградниками, на что указывает и старинное латинское название той местности ad Vineas[2]; но в 1-й половине V в., около того времени, к которому относится начало нашего рассказа, война уничтожила земледелие, рассеяла жителей, и веселая долина обратилась в пустыню. Впрочем, несмотря на это, она успела сделаться средоточием нового правительства, влияние которого простиралось на целые четыре провинции и продолжалось около 28 лет; правительство оригинальное, основанное на общем согласии, и вместе с тем неограниченное; оно действовало только во имя Бога, и его кодексом были правила любви человека к человеку. То был деспотизм добровольный, которому Капитолием служила келья, а деспотом был пустынник. Так как история этого странного правительства находится в тесной связи с событиями, совершавшимися в центре империи, то я изложу ее подробнее: читатель увидит перед собой картину бедствий, которые настигали тогда, одну за другой, все провинции Западной Римской империи, и вместе любопытный пример тех временных правительств, которые в ту эпоху возникали сами собой, естественно, из простой потребности какого-нибудь порядка, во время, переходное между правительством римским, уже отживавшим, и владычеством варваров, которое еще не утвердилось (между 452 и 476 гг.).

В том году, который последовал за смертью Аттилы (452 г.), среди ожесточенных междоусобных войн, которые вели тогда на правом берегу Дуная сыновья и полководцы знаменитого завоевателя, неизвестная до того времени личность явилась в Паннонии. То был некто Северин, прибывший с Востока. Между тем как сами жители Паннонии спешили оставлять страну свою, облитую кровью, Северин шел жить туда. И как будто бы именно то, что составляло предмет страха для других, имело для него прелесть, он отправился в самую беспокойную часть страны, на границу Паннонии и Норика, где самые жестокие варвары избрали, по-видимому, место своей деятельности.

Одежда Северина свидетельствовала о крайней нищете; такой внешний вид навлекал на него повсюду, куда бы он ни приходил, только недоверие и грубое обращение. Небольшой городок Астур, где он располагал было поселиться, едва не затворил перед ним ворот. Астур был складочным торговым местом, важным и богатым, на Дунае, при входе в длинное ущелье, которое извивается между рекой и последними отрогами Цеттия. Пришелец не находил там крова, который бы его приютил; все дома затворились перед нищим и бродягой. Он подвергался опасности умереть с голода и холода, если бы привратник церкви, человек почти столько же бедный, как он сам, не поместил его в углу ограды храма, который составлял его собственное жилище. Из глубины этого жалкого убежища Северин предпринял удивительное дело, через которое он, при жизни своей, стал наравне с государями, ему современными, а после смерти приобрел уважение церкви и оставил добрую славу в истории.

---

[1] Пространство между Альпами и течением Дуная: Ретия, Норик и Паннония – ныне восточная часть Швейцарии и южные части Баварии, Австрии и Венгрии с Трансильванией.

[2] То есть при Виноградниках.

Северин мог иметь в то время около 30 лет от роду. По правильному произношению латинских слов легко было узнать в нем итальянца или, по крайней мере, образованного римлянина западных провинций; его ласковое обращение, но чуждое фамильярности, умение держать себя с достоинством и вместе с тем скромно, все, наконец, в нем показывало привычки человека высшего круга. Но глубокая тайна окружила навсегда его происхождение, его род, историю прошлой его жизни; он не высказался никому, ни даже самым приближенным ученикам. Можно было только догадываться по некоторым словам, вырывавшимся у него в минуты, когда он забывал свою всегдашнюю затаенность, что он еще в ранней молодости получил непреодолимую страсть к созерцательной жизни, оставил свой родной край и отправился на Восток, которого все главнейшие города он посетил. После продолжительных странствований по морю и по сухому пути, после многих опасностей, избегнутых им чудесным образом, он, по ясному внушению внутреннего голоса, который он принял за предписание свыше, возвратиться на Запад, отправился в Норику. Вот все, что могли узнать о Северине. На дальнейшие расспросы о себе Северин обыкновенно отвечал веселыми шутками, за которыми иногда следовали слова строгие, которые могли остановить и пристыдить самое нескромное любопытство.

Следующий рассказ обнаружит, до какой степени простирал этот странный человек любовь к таинственному, или, скорее, забвение самого себя и смирение. В позднейшее время, когда слава его имени и деяний наполнила всю Италию, один знатный итальянский духовный, Пирмений, наставник императора Августула, в то время уже низложенного, убежал в Паннонию и жил там в дружественных отношениях с Северином и его учениками. Однажды в откровенном разговоре Пирмений обратился к Северину и решился его спросить: «Скажи нам, достопочтенный пастырь, из какой провинции империи рука промысла Божия удостоила привести тебя для прославления здешнего края?» – «Если ты,– отвечал Северин с усмешкой,– принимаешь меня за беглого раба, то готовь поскорее выкуп на случай, если явится требовать головы мой господин,– потом, приняв тот грустный и торжественный тон, который был ему более

АМЕДЕЙ ТЬЕРРИ (AMEDEE THIERRY, род. в БЛУА в 1797 г.). Начал свое поприще, подобно старшему брату, Августину Тьерри (см. о нем ниже), деятельностью преподавателя в одной из французских провинций. Но вскоре они оба оставили только что открытое ими поприще и исключительно предались литературным занятиям. Результатом первых его трудов было главное его произведение: Histoire des Gaulois (в 3 т.). Par. 1828. За такую замечательную работу Амедей Тьерри в качестве вознаграждения получил кафедру истории в факультете г. Безансона; но опасение его популярности, при ожидаемом тогда политическом перевороте, было причиной прекращения его лекций. Зато правительство, последовавшее за Июльской революцией, призвало его к новой деятельности и назначило префектом департамента Верхней Соны (Haute Saône); Амедей Тьерри обнаружил и при этом блестящие дарования администратора. Февральская революция не изменила его служебного поприща, а новое императорское правительство возвысило Тьерри в звание сенатора (1860 г.).

Практическая деятельность не прерывала его ученых занятий: в 1842 г. Ам. Тьерри окончил издание своей «Histoire de la Gaule sous l'administration romaine», которая служила продолжением и дополнением вышеупомянутого труда. К последним его историческим трудам относятся: 1. Histoire d'Attila et de ses successeurs en Europe, suivie des Légendes et Traditions; 2 vols.; и 2. Récits de l'histoire romaine au V siécle (derniers temps de l'empire d'Occident). 1 vol. К не менее замечательным произведениям Ам. Тьерри принадлежит: Tableau de l'empire romain, depuis la fondation de Rome jusqu'a la fin du gouvernement impérial en Occident. 1 vol.

свойствен, он продолжал, – Отечество, рождение, семейство – что это такое? Не служит ли все это прикрытием гордости, и потому не лучше ли молчать о том? Для того, чтобы судить человека, который служит Богу, к чему знать сан, здесь им носимый? Желательнее знать, какое место достоин он будет занять там, на небесах. Знай, впрочем, что то же божество, которое удостоило тебя быть его служителем, повелело мне явиться в эти страны на помощь людям страждущим». Сказав это, Северин замолчал, и Пирмений не нашелся ничего ему возразить. «С того времени,– говорит жизнеописатель святого, он же и его ученик,– никто не смел более касаться при нем этого предмета».

Назначение, которое Северин поставил себе целью, как указанное ему свыше и которое пришлось ему выполнять в стране Запада, бывшей преимущественно жертвой бедствий и беспорядков, одному, и без всякой другой опоры, кроме своего невозмутимого убеждения, имело вместе характер и религиозный, и политический. Он старался возбудить к жизни силой покаяния общество, которым уже овладевал холод смерти; поощрить к делам милосердия людей, душами которых овладел эгоизм; пробудить любовь к отечеству именем Бога; одним словом, закон религиозный водворить там, где закон человеческий не имел более силы. Не в первый раз при последних предсмертных мучениях римского мира и с целью остановить его неизбежное, по-видимому, разложение, пытались заменить правительство людей правлением Бога, так как первое оказалось во всех отношениях несостоятельным. Не раз и на других пунктах империи новые преобразователи указывали на Евангелие как на единственное средство спасения для народов, которые видели вокруг себя падение одного за другим всех учреждений человеческих, и жили, можно сказать, со дня на день, под угрозами или мечом варваров. В положениях отчаянных нравственное чувство целых обществ искажается точно так же, как то же чувство отдельных личностей. Как неделимый человек не может вынести беспокойства и печали далее известной меры без того, чтобы рассудок не начинал ему изменять, так и общества, будучи жертвой несчастий, которых ни облегчения, ни конца они не видали, теряются и не находят более точки опоры. Они становятся жертвой какого-то самозабвения: идут ощупью, как бы в совершенных потемках, и вместе с сознанием обязанностей утрачивают ясное понятие о добре и зле. То привязываясь к земному, люди бросаются на все, что есть только самого сильного в увлечениях чувств, с целью в несколько часов истощить жизнь, для которой завтра не существует. То в отчаянии люди обращаются к небу: в надежде или спасения, или самозабвения прибегают они к суевериям, лишенным смысла и даже чудовищным, к волшебствам, к добровольным истязаниям, даже к самоубийству; потом, когда эти лихорадочные увлечения утихают сами собой по недостатку для себя пищи, и тогда водворяется спокойствие, но спокойствие могилы: нравственное самоубийство довершено.

Британия, Галлия, Испания представили миру, или еще представляли в некоторых своих провинциях, печальное зрелище отходившего общества. Здесь, например, в некоторых городах Испании, народы, под влиянием зверских страстей, бросались один на другого с целью взаимного истребления. Там, как, например, в Трире, люди, недостойные носить это имя, благородные, декурионы, чиновники ожидали гибели своих родных городов за столом, увенчанные цветами и с чашами в руках; их благополучие, по-видимому, заключалось в том, чтобы кровь свою пролить вместе с вином разбитых сосудов. Были и другие безумства, и другие позорные и преступные действия. В Кукуллах, в Верхнем Норике, часть жителей, отрекшись от христианства – религии, по их мнению, бессильной,– одним скачком переступила пределы самого язычества, возвратясь к жертвам человеческим, как единственному средству умилостивить жестокую судьбу. Когда человек дошел до такой степени нравственного развращения, то в нем не могло быть ни сострадания к другим, ни внутренней энергии. Гражданские связи сделались пустым словом; не существовали более ни общество гражданское,

ни закон, ни отечество. Такие признаки нравственной смерти обнаружились со всей силой в провинциях Верхнего Дуная, которые были подвержены варварским нашествиям. «Самая крайность их пороков и преступлений,– говорит один современник,– довершала их гибель. Без силы и взаимной опоры, они клонились к падению, как клонится хлеб, подрезанный у корня, готовый упасть при малейшем ветре».

Северин взялся врачевать эти невыразимые страдания. Два лекарства были употреблены им: покаяние, как средство восстановить падшее внутреннее достоинство человека, и милосердие, которое, сближая людей и делая их взаимно необходимыми, служит лучшей основой гражданской жизни. Поселясь у привратника церкви Астурской, Северин стал ходить по городу, проповедуя богатым воздержание и выпрашивая для бедных одежду и хлеб; вообще возбуждал он к покаянию, молитве, посту народонаселение, которое было жертвой самых безрассудных увлечений. Он указывал городу орудие гнева небесного в этих варварах, которые день и ночь скитались около стен его. Странное зрелище представляли бедные, питаемые бедным, нищенствующим за нищих. Жалкий пустынник в рубище обращался с укорами и угрозами к великим земли и становился распорядителем их образа жизни. В своей же собственной он подвергался лишениям беспримерным. Ему незнакомы были ни постель, ни обувь; он спал на земле во власянице, ходил босой по снегу и употреблял немного растительной пищи, и то раз в день. Когда ему ставили в вину такую крайность лишений, он отвечал: «Я их переношу, и Бог дает мне на то силу для того, чтобы я мог служить вам примером».

Само духовенство не избегало его упреков, и не без основания: его коснулось также разложение всего гражданского общества. На нравах духовенства отражалось сильно то общее расстройство, с которым бороться поставил себе в обязанность Северин. Если бы миряне не слушали его охотно, то духовенство решилось бы бросить его в волны Дуная, как нового Иону, вместе с его пророчествами и власяницей. Однажды он возвестил в церкви Астурской, что гнев Божий достиг высшей степени, и что он готов разразиться ударом страшным и быстрым, если не последует покаяние скорое и чистосердечное. Он заклинал епископа, духовенство и народ смириться, не медля, распростершись во прахе и слезах: «Варвары стоят у ворот ваших,– так твердил им Северин,– и для того, чтобы сделать вторжение и взять все, что вы имеете, ждут только мановения свыше, которое может быть еще отвращено вашим раскаянием». Даже, как говорит предание, он назначил сам день и час, когда город должен был сделаться жертвой опустошения. С недоверчивым смехом встречены были эти пророческие слова. Тогда Северин воскликнул вне себя: «Итак, я ухожу, оставляя на неминуемую гибель этот город, который сам идет навстречу ей». Он удалился, отрясая, как апостол, прах от ног своих; а жители Астура, освободясь от строгого судьи их образа жизни, предались с новым жаром увлечениям, для них обычным.

Выходя их этого мятежного города, Северин направился к Комагене, большому укрепленному городу, построенному у самого подножия горы Цеттия. С трудом впустили его жители, полагая, что и без того уже довольно среди них нищей братии; но, войдя в город, Северин щедро заплатил за гостеприимство услугами, полезными для сохранения и безопасности города. Впрочем, воззвание его к покаянию встретило и здесь так же мало отголоска, как и в других местах. Между тем город Астур был взят и разграблен. Воспользовавшись тем днем, когда жители не думали о своей безопасности (вероятно, то был день какого-нибудь полуязыческого празднества, которое обыкновенно оканчивалось попойкой), варвары улучили удобную минуту, разбили ворота, напали на жителей, убивая всех, кто им ни попадался навстречу. Старый привратник церкви, веруя глубоко тому, что говорил его прежний гость, был настороже и успел уйти в Комагену. Нельзя было выразить чувство радости, которое он испытал, увидев того, кому обязан был своим спасением. Он рассказывал о том, чему сам был очевидцем в Астуре, о добрых делха Северина, его

предсказаниях, которым никто не внял, но которые осуществились так верно; в восторге провозглашал он его святым и пророком. Простодушное верование этого человека увлекло всех других. Его рассказы были огнем, теплота которого разлилась по всему городу, и жители Комагены, под влиянием безотчетного доверия, стали внимать тем внушениям, которыми до того времени пренебрегали.

Эти события наделали немало шума и по всему Норику только и говорили, что о пророке, который пришел с Востока, о его сверхъестественном воздержании, о мудрости речей его и верности предсказаний. Со всех сторон сбегались и видеть его, и слушать, спрашивали его мнения о делах общественных, совещались даже в делах частных, и советам его, которые постоянно носили печать мудрости и опытности, внимали с уважением. Скоро лица правительственные, не довольствуясь заочными советами святого, приглашали его в стены своих городов. Они спорили, как о милости, о чести владеть им, хотя бы то было на один день. Они были убеждены – так говорит его ученик и биограф Евгиппий,– что присутствие его есть лучшая защита против всех опасностей. Город Фавианы один из первых пригласил к себе Северина; это случилось так.

Ежедневные опустошения варваров в прибрежных областях Дуная уничтожили совершенно их производительность; и эти прекрасные равнины, которые так славились своим плодородием, не в состоянии были даже прокормить своих жителей. Приходилось получать часть своего продовольствия от городов и областей, которые или лучше были защищены от беспрестанных нашествий варваров, или лежали в стороне от пути их переселений. Долины Инна и Энса, особенно первая, сделались житницей Нижнего Норика. Случилось как-то один год, что вследствие ранней зимы эта житница сделалась совсем недоступной: Инн покрылся льдом ранее обыкновенного времени, и флотилия барок, нагруженных хлебом и спускавшихся к Дунаю, замерзла на дороге. Немедленно во всех городах, расположенных по Дунаю, обнаружилось беспокойство, так как запасы продовольствия приходили уже к концу; количество хлеба уменьшалось, наступили холода, и голод приближался быстрыми шагами. Фавианы были менее всего приготовлены к подобному происшествию, из-за непредусмотрительности жителей и беззаботности, или, правильнее сказать, бессилию властей. В хлебе, собственно, не было еще недостатка, но когда нужно было позаботиться о благоразумном распределении его между жителями, никто не распоряжался или, скорее, никто не слушался. Никакой полиции в городе, никакого порядка на рынке. Каждый старался скрыть, как мог, свой частный запас хлеба; то же, что поступало в продажу, или что чернь находила при своих насильственных поисках, делалось жертвой грабежа; безначалие содействовало усилению ужасов голода.

При таком упадке гражданского управления жители Фавиан вспомнили о Северине, как о единственном человеке, который мог помочь их безвыходному положению и добрыми советами, и властью, и наконец своими чудесными дарованиями, которые приписывало ему общественное убеждение. Правители, разделявшие с жителями города их веру в Северина, умоляли его прийти к ним, на что он и согласился. Появление Северина восстановило тотчас спокойствие и порядок. Если не явную помощь с неба принес с собой человек божий – так его называли,– то, по крайней мере, предусмотрительность человеческую и милосердие. Он приказал сначала жителям объявить, сколько каждый из них имел у себя хлеба, и сложить все запасы вместе для того, чтобы и бедные могли иметь в них свою часть; тогда последние перестали грабить, и рынки сделались безопасными. Так распоряжался Северин от имени Бога, и повеления его были исполняемы в точности. Конечно, показания владетелей о количестве хлеба, который у них находился, не всегда были чистосердечны; многие граждане продолжали скрывать свои запасы: одни опасались сами дойти до недостатка, другие поступали так из расчета, чтобы дороже продать после, когда наступит последняя крайность.

К числу таких богатых без сердца принадлежала вдова по имени Прокула,



Мавзолей Константина (церковь св. Константина) на Коментанской дороге в Риме. 2-я четверть IV в. Интерьер

женщина знатного происхождения: она сумела скрыть от всех большой запас хлеба, зарытого в ее доме. Но каково же было ее удивление, когда Северин, которому, вероятно, дали тайно знать о том, публично обратился к ней со следующими словами: «Прокула, как могло случиться, что ты, отрасль благородного рода, обратилась в рабыню своей корысти? Апостол Павел говорит нам, что корысть есть идолопоклонство, а ты добровольно сделалась рабыней корыстолюбия. Выслушай, впрочем, то, что я тебе скажу. Благодаря Господу, который смиловался над своими чадами, ты скоро не будешь знать, что делать с запасами, которые ты бережешь так тщательно. Разве, сделавшись более сострадательной к рыбам, чем к людям, ты бросишь в Дунай тот самый хлеб, в котором теперь отказываешь себе подобным! Опомнись, пока еще есть время: раздай бедным какую-нибудь часть того, что ты дерзаешь беречь для себя, между тем как Христос терпит голод. Этим ты принесешь себе больше пользы, чем другим». Прокула, которая считала себя вне всякого подозрения, выслушала эти слова, как бы пораженная громом, тотчас побежала домой, отрыла свой хлеб, вывезла его на базар и часть раздала неимущим. Несколько дней спустя Инн вскрылся и суда с хлебом пошли по Дунаю в числе, достаточном для продовольствия всей страны. Известили ли Северина заблаговременно о том, во всяком случае, современники приписывали откровению свыше то, что пришлось так кстати. Между тем голод прекратился благодаря заботам Северина, жители Фавиан почувствовали к нему неизменную привязанность. Северин, со своей стороны, полюбил этот город и решил в нем остаться.

Притом положение Фавиан вполне соответствовало тому плану, который задумал Северин, а именно: соединить в одно важнейшие пункты провинций Норика и Ретия для того, чтобы они, под его управлением, могли все вместе содействовать общему делу безопасности и человеколюбия. Расположенный на Дунае, всего в 40 милях от Пассау, имея, посредством Дуная и его притоков, легкое и удобное сообщение со многими другими городами, Фавианы представлял почти центральный пункт для союза, к которому принадлежали бы города Комагена, Пассау, Лавреак, Тибурния, Иоппия и другие местности, лежавшие ниже по течению. Действуя как завоеватель, который мало-помалу подчиняет себе неприятельскую страну, Северин избрал Фавианы главной квартирой, откуда деятельность его могла бы распространяться удобно и быстро по обширной стране, которая простиралась от горы Цеттия к Дунаю и от Дуная до Альп.

Города Норика и Ретия представляли все, более или менее, ту же картину совершенного безначалия, как и Астур и Фавианы. Везде правительственная машина или остановилась, или была повреждена. Высшие сановники, военные и гражданские, наместники императоров, правители провинций, пограничные графы, отступая перед нашествием варварских дружин, ушли в Италию с большей частью гарнизонов, так что вся правительственная власть сосредоточилась в руках муниципальных чиновников. Всякое правильное их сношение с центральным правительством было прервано варварами, которые, спускаясь все ближе в верхние долины Альп, образовали собой цепь, отделившую провинции дунайские от Италии. Ни из Рима, ни из Равенны не получались ни указы, ни определения, и местные власти стали зависеть только от самих себя; порядок судопроизводства был нарушен; ничто не обеспечивало исполнения законов гражданских и административных.

В военном отношении дела были еще хуже. Солдаты, остававшиеся от прежних гарнизонов, были рассеяны по укрепленным городам и замкам для того, чтобы содействовать жителям к их обороне; но каждый из этих пунктов действовал отдельно: не было между ними ни единства власти, ни взаимного согласия. Вследствие прекращения сношения со столицей солдат не получал исправно следовавшего ему жалованья, а вскоре и совсем остался без жалованья: новая причина беспорядков и смут. Гарнизон Лавреака, выведенный из терпения подобными промедлениями, послал несколько человек из своей среды в Италию требовать недоплаченного жалованья. Эти

солдаты перешли Альпы беспрепятственно и успели в том, что военные казначеи выплатили им то, что следовало. Но на обратном пути они были ограблены варварами, которые их умертвили, а тела побросали в Энс. Воды реки принесли их к городу, гарнизон которого узнал таким образом о несчастной участи, постигшей его депутацию. Подобные случаи должны были повторяться не раз. В этих обстоятельствах необходимо было, чтобы города, если они не желали видеть защитников своих умирающими с голода, сами принимали меры для снабжения их съестными припасами и жалованьем. Отсюда возникали новые затруднения между жителями и войском. Солдаты редко находили достаточным вознаграждение за труды и пополняли его грабежом. Многие перешли к варварам, другие сделались разбойниками. Собрав около себя поселян, лишившихся собственности, и бродяг разных наций, они положили начало скамарам[1], организованным шайкам грабителей, которые были в состоянии в открытом поле сопротивляться регулярным войскам, давать сражения и договариваться с римскими полководцами, как равный с равным. Таким-то образом сформировались эти грозные шайки, предмет ужаса для крестьянина Паннонии. История изображает нам их как новый варварский народ, получивший свое начало в лоне самой цивилизации.

Одни города сохраняли еще в себе что-то похожее на порядок; в деревнях его совсем не было; там жили сегодняшним днем. Народонаселение, с приближением опасности, удалялось со своими стадами и движимостью за укрепленные стены; по миновании опасности оно возвращалось к своим жилищам и занятиям. Нередко жатва его была уже убрана варварами, житницы опустошены, сами хижины обращены в пепел. За отсутствием властей законных, правильно установленных, в городах возникли власти, утвердившиеся как факт; в них господствовал безотчетно то здравый смысл, то каприз народа. Высшая власть чаще всего попадала в руки военачальника, представителя нравственной силы. Случалось даже, что обе силы сосредоточивались в одной личности: епископ подпоясывался мечом, а трибун получал посох. Так случилось в Фавианах, где народ избрал епископом военачальника, трибуна Мамертина, за оказанные им услуги. Мамертин был храбрый солдат; он действовал энергично против варваров, строго обходился с войском и кротко с горожанами: это был человек справедливый и набожный, хотя смело можно сказать, что в его руках никогда не бывала книга литургии. Но в тех обстоятельствах он был отличным епископом. Северина несколько раз убеждали принять этот титул, и он постоянно отказывался; даже не хотел быть священником, или по духу смирения, или скорее потому, что осуществление предположенного им плана несовместимо было с тесным кругом обязанностей пастыря, и с необходимым подчинением воле высшего духовенства.

Везде, куда ни призывали Северина, где с ним ни советовались, и везде, где он сам начинал действовать, он был первым заступником бедных и пленных, к какой бы нации они ни принадлежали; он требовал, чтобы прежде всего их обеспечивали пищей и одеждой. В самом деле, эгоизм составлял глубокую язву, которой страдало в самом сердце это больное общество. Добродетель угасла в душе и оставила широкое поле всем самым превратным побуждениям. Между тем как богатый помышлял только о наслаждении, бедный бежал к скамарам и, с мечом в руке, добывал тот хлеб, в котором ему отказывало общество. А потому настала необходимость прежде всего сблизить людей, которые не могли обходиться один без другого. По соглашению с правителями городов Северин установил в пользу бедных налог – десятую часть жатвы и одежд. В случае сопротивления жителей Северин не жалел ни упреков, ни грозных предсказаний, которые и сбывались; весьма понятно, что те местности, где было менее порядка, делались первыми жертвами варваров. Мало-помалу этот налог принял характер обязательства не только нравственного, но и гражданского, от которого никто больше не смел уклоняться.

---

[1] Скамары были на Дунае тем же, чем были багауды в Галлии.

Хлеб, доставленный вследствие таких налогов, ссыпали в житницы, одежды хранили в магазинах; те и другие считались под особенным покровительством Бога, и управлялись в каждой местности, соответственно обстоятельствам. Северин завел неподалеку от каждой из своих многочисленных резиденций одно из таких складочных мест, расположение которым он взял сам на себя, а впоследствии, когда появились монастыри, вверял одному из своих учеников. Такие складочные места находились обыкновенно вне городов, а иногда в местах, совершенно пустынных, но они сделались предметом святого уважения. Ни римляне, ни варвары не осмеливались наложить на них руки; сами грабители щадили их. Люди, которым поручено было собирать и распределять десятину, считались столь же священными, как и сама десятина. Прибрежье Дуная, страна, которая наиболее подвергалась опустошениям и бедствиям, получила большое облегчение, вследствие учреждения этих заведений общественной благотворительности. Города Верхнего Норика и Ретия сочли своей обязанностью, несмотря на отдаленность расстояния, участвовать в этих пожертвованиях одеждами и съестными припасами. Горе тому, кто показывал равнодушие к делу столь святому; наказание было близко! Рассказывали, что когда жители Тибурнии медлили выслать свою часть пожертвования, которую настоятельно требовал св. Северин, он нетерпеливо воскликнул: «Они берегут это для варваров!» В самом деле, несколько недель спустя город был взят и разграблен готами. Так воображение народа окружало непосредственным покровительством неба дела живого и святого милосердия! Каждый день рассказ о каком-нибудь удивительном случае ободрял добрых и стращал злых или равнодушных; один пример даст нам понятие о прочих.

Как-то случилось, что Верхний Норик не доставил вовремя следовавшего с него сбора одежд. Наступила уже зима, и холод свирепствовал с необыкновенной силой. Наконец сбор был окончен, и надобно было препроводить его в келью святого, но такое переезд представлял большие затруднения: горы, отделявшие Верхний Норик от равнин Дуная, вообще были весьма трудны для путешествия во всякое время, но в ту пору года представляли даже большие опасности. Несмотря на то, один гражданин по имени Максим самоотверженно взялся за это дело; он нанял большое количество чернорабочих, которые, навьючив себе поклажу на спину, отправились с ним вместе в путь. Сначала небольшой этот караван без особенного затруднения взобрался по южному скату возвышенности до самой вершины; но когда он достиг ее и искал тут приюта, случилась снежная метель, которая заставила путников остановиться. Они укрылись под огромным деревом, нависшие ветви которого представляли им некоторого рода защиту. Между тем наступила ночь и под влиянием усталости путники заснули. Проснувшись, они увидели, что снег, который не переставал идти в продолжение всей ночи, образовал около них стену, и что они заключены на дне глубокого рва. С трудом вышли они оттуда, но как найти дорогу? А посреди окружавших их пропастей малейший неудачный шаг угрожал неминуемой гибелью. Уже отчаяние начинало овладевать душой путников, как вдруг огромный медведь, вышедший из пещеры, пошел медленно по тому направлению, по которому надлежало следовать путникам. Рассматривая следы медведя, они увидели, что он идет по торной дороге, а потому пошли за ним с полным доверием, как за путеводителем, посланным небом. Благодаря такому странному проводнику Максим и его спутники благополучно миновали все затруднения горного пути, и здравые и невредимые достигли убежища святого. Вот что рассказывали по всей Паннонии: и неблагоразумно было бы уверять крестьян Норика, что этот медведь мог явиться случайно, что навряд ли он шел постоянно в нескольких шагах от путников, как то делает внимательный проводник, и что, наконец, медведь не провожал их на всем расстоянии двухсот миль до самого жилища отшельника.

Ум Северина, в высшей степени практический, охватывал самые разнообразные нужды общества; можно было сказать, что

он все видел, все испытал; и когда представлялась необходимость, он умел устроить и военную засаду, и приготовить неожиданное нападение, с тем же знанием дела, с каким устраивал обычные монастырские занятия. Чудесное предвидение, которым он был одарен, указывало ему во всех случаях, и без колебания, наилучшую меру. Один случай незначительный, свидетелем которого был город Фавианы, даст нам понятие о том верном и быстром соображении Северина, которое народу легко могло показаться чем-то сверхъестественным и которое придавало его малейшим распоряжениям авторитет неопровержимый и почти божественный.

Шайка разбойников-варваров бросилась однажды на окрестности города Фавианы, довольно далеко удаленные от городских укреплений, и потому гарнизон города ничего не знал о том. Шайка разбойников была многочисленна, хорошо вооружена, готова на все, и ее путь везде обозначался ужасными опустошениями. Жилища были разграблены, стада угнаны; жители уведены в рабство с женами и детьми. Все это произошло так неожиданно, так поспешно, что известие о несчастье пришло в Фавианы только тогда, когда несколько пленных, разорвавших свои цепи, явились в город; между тем грабители отступали, обремененные добычей. Несчастные обратились, по обыкновению, прямо к Северину: «Божий человек,– говорили они, обнимая его колени,– возврати нам братьев наших, которых увели варвары; освободи жен наших и детей от самого ненавистного рабства!»

Пустынник велел им рассказать подробно все, что с ними случилось; он разведал о числе грабителей, о дороге, по которой они двинулись, о количестве добычи, которую они влекли за собой. Разведав обо всем, он успокоил поселян: «Имейте веру в Бога, – повторял он им, – те, кого вы оплакиваете, будут вам возвращены!» Не теряя ни минуты, он отправляется к Мамертину, который командовал гарнизоном города, как я говорил о том выше, и рассказывает ему то, что узнал: «Каким числом воинов можешь ты располагать для того, чтобы напасть на этих грабителей и освободить их пленных», – спросил он у трибуна. «У меня,– отвечал тот,– горсть людей, да и те едва вооружены; что касается меня, то я никогда не решусь с подобным отрядом бороться против таких сил неприятеля. Но если ты прикажешь, достопочтенный отец, то я смело пойду, убежденный, что твои молитвы доставят мне победу».– «Ты говоришь правду,– возразил Северин,– тот, кто имеет поддержку Господа Бога, не должен думать ни о числе, ни о храбрости врагов. А потому, во имя Божие, ступай немедленно, иди смело; недостаток оружия твоих воинов пополнят сами враги. Для меня же побереги только тех варваров, которые попадут тебе в руки: они составят мою долю добычи».

Трибун выслушал план атаки, задуманный Северином по рассказу поселян; одобрил его, собрал свой небольшой отряд, к которому присоединилось несколько горожан, и двинулся в путь. В двух милях от города протекала небольшая речка, называемая Дикунция; в извилистом своем течении она омывала, перед впадением в Дунай, широкий луг. Казалось, сама природа назначала это место для привала. Северин предполагал, что грабители, судя по времени, должны остановиться именно там, с целью как разделить добычу, так и воспользоваться награбленными припасами. Мамертин поспешно туда отправился и действительно застал грабителей среди настоящей оргии; одни насыщали себя пищей и вином, а другие были уже пьяны и спали на траве. Разбросанное их оружие лежало там и сям в беспорядке на лугу. С появлением трибуна все, кто мог спастись, бросились бежать и не подумав о сопротивлении; оставалось снять цепи с пленных только для того, чтобы надеть их на шею разбойникам. Возвращение Мамертина в Фавианы было настоящим торжеством. И воины, и поселяне принесли, вместе с отбитым у неприятеля имуществом, столь огромное количество копий и стрел, что ими можно было вооружить целый город. Трибун, исполняя данное им обещание, привел к Северину всех пленных варваров. Северин возвратил им свободу: «Ступайте к своим товарищам,– сказал он им,– расскажите им все, чему вы были свидетелями. Народ, которому

покровительствует Бог, не должен опасаться тех, которые на него нападают: неприятель считал себя победителем; теперь он побежден, и его собственное оружие обратилось против него. Бог принял этот город под свою защиту, и пусть ваши сообщники не приближаются к нему». Урок был тяжел, и святой Северин сделался настолько же грозой скамаров, насколько предметом уважения римлян.

Дни и ночи проводил Северин в подобных тяжких трудах, как вдруг овладело им внутреннее смущение; он устал от этой жизни, полной волнений, и любимая страсть его молодости – стремление к уединению – заговорила в нем с прежней силой. Ее привлекательный для него образ возник перед ним, и манил его своей суровой прелестью, продолжительными постами, бодрствованиями, долгими молитвами, смирением духа, лицом к лицу с могуществом Божиим. Северин не в силах был сопротивляться своему призванию, однажды ушел из Фавиан, тщательно скрываясь от всех. Когда его нашли, он жил в долине у горы Цеттия, о которой я говорил, подле страны виноградников, в келье, которую он построил своими собственными руками. Он там оставался некоторое время, не уступая никаким убеждениям; потом он возвратился в Фавианы, утверждая, что Бог изгнал его из пустыни и велел ему возвратиться в мир. К этому присовокуплял Северин, что он получил повеление свыше основать монастырь недалеко от Фавиан.

Возвращение Северина в Фавианы было празднуемо как счастливое событие для города. В надежде привязать его навсегда к себе, жители принялись с усердием строить монастырь, который составлял предмет желаний Северина. Каждый старался содействовать этому предприятию по мере сил: богатый – кошельком, а бедный своими руками, и святой храм возник почти внезапно, как бы чудом. Он стоял, согласно желанию Северина, недалеко от стен Фавиан, при небольшом заливе Дуная, образовавшем естественный порт, где много барок могло стоять на якоре, служа монастырю. Там и среди учеников Северин вел жизнь уединенную, исполненную таких лишений и строгостей, которые он только один мог перенести. Время от времени, когда настоятельнее проявлялась в нем потребность уединения, он удалялся на гору Цеттия, в свою келью Виноградников. Там он жил и умер, волнуемый двумя противоположными страстями, одинаково требовательными: бесконечной деятельностью среди людей и крайним успокоением перед лицом Божиим.

Монастырь Северина быстро наполнился молодыми людьми, которые привлечены были славой основателя; с жаром и смирением сделались они орудием его подвигов. Северин получил столько хороших плодов от этого первого своего учреждения, что не замедлил основать еще монастырь в городе Пассау, самом важном в Западном Норике. Этот второй монастырь был назван Малым в противоположность Фавианскому, который всегда оставался самым значительным и назывался Большим. Когда эти два монастыря были основаны, деятельность реформатора в дунайских провинциях приняла форму и определенность настоящего правительства. Сношения с Верхним Дунаем и долинами Инна и Энса сосредоточивались в Пассау, а восточными краями в Фавианах; из этих двух центральных пунктов расходились распоряжения и приказы. Сообщение между ними производилось по Дунаю. Такое новое устройство заставило Северина делить свое время между Пассау и Фавианами; но этот последний город и Большой монастырь были его любимым местопребыванием. В Пассау, как и в Фавианах, Северин ощущал нужду в одном из тех убежищ, где он заключался время от времени и откуда выносил свои спасительные и плодотворные вдохновения; он построил себе вторую келью, место которой, думают, находится поблизости Инштадта.

Между мирянами, как в городах, так и в селах, Северин встречал совершенное повиновение его воле и полное верование в его призвание; эти люди составляли его верных и его народ. Что же касается духовенства, то оно, или завидуя его влиянию, или мстя за строгие наставления, которых святой не щадил для него, смотрело на него недоброжелательно, и, за исключением немногих епископов, которые были его чис-

тосердечными и явными приверженцами, миссионер встретил в духовенстве более противодействия, чем содействия. В таком деле, как дело Северина, в реформе общества посредством религии, первая роль должна была принадлежать духовенству, которое жизнью своей обязано служить примером для народа; испорченность нравов, вкравшаяся повсюду, проникла и в духовенство. А потому Северин обращал всю свою строгость на духовных; он проповедовал им постоянно покаяние и, входя в церкви, вносил туда с собой пример лишений, постов, истязаний всякого рода. Таким образом, большинство духовенства с ужасом ожидало появления Северина и с радостью минуты его удаления. Однажды он оставлял Пассау для того, чтобы, по просьбе жителей города, установить торговые сношения с королем алеманов; его сопровождали епископ и духовенство до баптистерия. По этому поводу один из священников обратился к Северину с таким странным приветствием: «Ступай, святой человек, иди скорее отсюда; дай нам хоть сколько-нибудь отдохнуть от тех постов и бдений, которыми твое присутствие нас награждало!»

Посольство Северина не имело успеха; во время его отсутствия Гунимунд, король свевов, давно уже подстерегавший случай проникнуть в Пассау, овладел внезапно воротами в то время, когда жители занимались в полях уборкой хлеба. Он разграбил весь город и саму церковь. Тот самый священник, который так дерзко выразил свою радость в баптистерии, попытался было спрятаться, но был найден и убит варварами. Трагический его конец явился для всех достойным наказанием за его неуважение к Северину. В другом городе жители получили от Северина совет выселиться тотчас, и со своими семействами отправиться в другое место, вследствие приближения герулов; один священник всенародно смеялся над пророком и его предсказаниями. Он не только отказался удалиться, но и удержал всех тех жителей, кого только мог, не исключая и гонца, который принес письмо от Северина. Герулы между тем пришли, и первым делом их было повесить сомневавшегося священника.

Все это доказывает, что новое и случайное правительство придунайских провинций должно было действовать, так сказать, под мечом варваров; таким образом, реформа, задуманная Северином, была не больше как только половиной его дела. Ему было необходимо защищать и от внешних неприятелей, постоянно находившихся настороже, то общество, которое он пытался защитить от внутреннего врага – деморализации. Северин должен был позаботиться о мире с варварами, для успокоения жителей римских провинций, для успеха предпринятого им дела, наконец для самого себя. Может быть, эта вторая половина его обязанностей представляла еще более трудностей и опасностей, чем первая. Во всяком случае, она подала повод преобразователю обнаружить еще с большим блеском те удивительные способности, которыми провидение его наградило, и то непреодолимое влияние, которому он умел подчинять людей. Отношения Северина к народам и королям варварским придали этой личности V века характер политический и жизнь его стала в тесной связи с историей Западной империи.

Récits de l’hist. rom. au V siécle.
Par. 1860, c. 141–171.

К. Фориэль

ОТНОШЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕЛИГИОЗНОГО ОБЩЕСТВА К ВАРВАРАМ-ЗАВОЕВАТЕЛЯМ В ЭПОХУ ПАДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (1836 г.)

Беспримерное разорение, результат вторжений и побед варваров в V веке, не только перевернуло в римском обществе все интересы, смирило тщеславие во всех его видах, отяготило все сословия всякого рода несчастьями и бедствиями, но оно сильно потрясло воображение людей; оно забросило в их душу гибельные сомнения, мрачные взгляды на будущее, горькое сожаление о прошлом; оно сильно потрясло христианские убеждения, недостаточно укоренившиеся, особенно по отношению к вопросам о мироуправлении, об участии провидения в земных событиях нашего мира, направляемых его верховным разумом и справедливостью. Христиане не знали, как согласить с таким миропониманием безмерные и бесчисленные бедствия, которые резко изменяли картину мира и, казалось, предавали варварству результаты, накопленные цивилизацией всего человеческого рода.

Что касается язычников, то они менее затруднялись такими вопросами; они решительно видели в современных им бедствиях следствия и наказание за оставление древнего культа, и чистосердечно приписывали христианству все поношения, несчастья и бедствия империи. Такие возгласы язычества раздались среди ужасов вторжения Радагайза; они удвоились после взятия Рима Аларихом, и последующие затем события были не таковы, чтобы могли заставить язычников молчать.

Церковь, почти одинаково тревожимая и проклятиями своих противников, и сомнениями своих собственных чад, не могла не решиться взять на себя объяснение того, что беспокоило тех и других, и доказать, по возможности, что все несчастья империи и успехи варваров не представляли ничего несовместного с учением о промысле Божьем и его мироправлении. Задача была нелегка; но она не превышала сил того гения, который первый взял на себя решение ее. Это был св. Августин. Стремясь к выполнению своей высокой задачи, знаменитый епископ начал с 413 г., три года спустя после взятия Рима, писать свое обширное и славное творение: «О богоустроенном государстве» («De civitate Dei»), творение

КЛОД ФОРИЭЛЬ (CLAUDE FAURIEL, 1772–1844). Первое время провел на службе, но потом предался исключительно ученым, критическим занятиям; его имя сделалось известным с 1824 г., когда он издал в переводе «Chants populaires de la Gréce moderne»; этот труд содействовал симпатии к грекам, обнаружившим тогда стремление к национальной независимости. В 1831 г. его назначили профессором иностранной литературы в Сорбонне; собственно для него и была создана тогда эта кафедра, которую он умел поддержать своим талантом и редким знанием главных европейских и многих восточных языков. В 1836 г. вышло в свет самое капитальное его произведение: Histoire de la Gaule méridionale sous les conquerants germains, 4 vols, оно доставило ему место в академии надписей. В последние годы жизни он занимался преимущественно провансальской поэзией, но этот труд был издан уже после его смерти, в 1846 г.: Histoire de la poésie provencale (3 vols); к посмертным изданиям его сочинений относится и Etudes sur Dante. Все написанное Фориэлем отличается тонкой наблюдательностью, метким, верным взглядом и новизной выводов; он принадлежит к числу самых замечательных исследователей древней цивилизации Европы. О его жизни и значении его трудов см. превосходную статью, прочтенную в академии надписей профессором Гиньо (Notice sur Fauriel par Guigniaut. 1860).

самое смелое и самое глубокое, какое только могло явиться когда-нибудь в защиту христианства.

Цель этого труда состоит в том, чтобы доказать, что в событиях этого мира никак нельзя искать выполнения последних преднамерений провидения, ни предначертаний для деятельности человека. На самом деле, этот мир исполнен зол и благ, общих для всех добрых и злых, и сама эта общность достаточно показывает все несовершенство, неполноту и переходное назначение земной жизни. Над этим миром, государством перехода и испытаний, есть другое государство, вечное, благоустроенное, где царствует справедливость, где злое существует только как наказание, а доброе служит вознаграждением. Самое сжатое сокращение этого огромного труда св. Августина было бы еще слишком обширно, чтобы найти здесь место для себя. Я могу только привести из него отдельные места, которые идут прямо к нашей цели; так, например, то место, в котором говорится об образе действий вестготов в Риме, по взятии ими города, и представляются доводы, посредством которых св. Августин объясняет поступки варваров сообразно со своей точкой зрения. Вот оно:

«Все, что происходило во время этого последнего злополучия Рима: опустошения, убийства, грабежи, пожары, бедствия, все это повторялось при каждой войне. Но что там было именно нового, неслыханного в других подобных случаях – это то, что жестокость варваров оказалась смягченной, и обширные базилики были назначены для людей, искавших убежища, как места, где никто не мог быть убит, откуда никто не мог быть схвачен, и куда приводили для спасения всех, кого должно было пощадить милосердие неприятеля, где никто не мог быть сделан пленником, даже теми из варваров, которые сохранили бы жестокость. Если кто не видит, что все это должно быть приписано Христу и христианским временам, тот слеп. Если кто видит это и не воздает хвалу Богу, тот неблагодарный; а кто оскорбляется, слыша воздаваемые хвалы, тот безумный. Пусть всякий человек со смыслом остерегается приписывать честь подобных явлений жестокости варваров. Один Он устрашил, оковал и чудесно смягчил эту дикую и грубую натуру варваров, Он, который давно уже сказал: "Я посещу их беззаконие с лозой в руке"». De civit. Dei, lib. I, 7.

В другом месте святой Августин сближает, для сравнения, жестокости проскрипций Силлы с грабежом вестготов, при взятии Рима. После энергичного и мрачного описания первых он продолжает таким образом:

«Где можно встретить у других наций пример такой ярости, или у варваров пример такой жестокости, которую можно бы было сравнить с победой граждан (при Силле) над своими согражданами? Что в глазах Рима было более пагубно, более люто, более свирепо и ужасно: древнее ли вторжение галлов, последнее ли нападение готов или бешенство Мария, Силлы и других именитых их сообщников? Галлы, это правда, перерезали сенат и всех, кто встретился им в городе; но Капитолий все же держался против них, и те, которые там находились, могли купить ценой золота жизнь, которую галлы имели возможность отнять, если не железом, то, по крайней мере, продолжительной осадой. Готы пощадили столько сенаторов, что нужно удивляться, что они погубили только некоторых. Но еще при жизни Мария Силла овладел, как победитель, Капитолием, который спасся от галлов, чтобы назначать оттуда жертвы, и приказал умертвить большее число сенаторов, чем сколько было их ограблено готами». Lib. III, 29.

Нет ли во всем этом доли софистического, что могло бы поколебать авторитет подобного взгляда? В Риме, взятом после приступа дружинами Аларика, происходили опустошения, пожары, грабежи и убийства, оскорбления всякого рода. Но во всем этом св. Августин не находил ничего необыкновенного; все это, как говорит он, случалось и во время других войн. Что же его особенно удивляло? Где же он видел чудо? При взятии Рима, замечает он, не было столько опустошений, убийств и бедствий, сколько могло бы быть: многие были пощажены; сами варвары уводили римлян в

церкви, где их жизнь и свобода были обеспечены. В этой катастрофе нелегко отделить обыкновенное от чудесного; чтобы быть справедливым, не следует ли значительную часть того чуда отнести к влиянию великого имени Рима на варваров – полухристиан, начавших обнаруживать развитие и предводительствуемых вождем с великодушными инстинктами, который был поражен при виде цивилизации, и лучше желал управлять Римом, чем овладеть им для одного грабежа и опустошения.

Как бы то ни было, ответ, данный св. Августином на возражения против провидения, опиравшиеся на факт бедствий, причиненных вторжением германцев, этот ответ и теория, на которой он был основан, имели самое сильное влияние на образ мыслей и действий католического духовенства. В этом-то смелом создании богоустроенного государства ученые теологи Запада учились отыскивать хорошие стороны в правах варваров и божественные причины их успехов. Везде, где были варвары, это учение св. Августина было хорошо принимаемо духовенством. Оно было особенно хорошо принято в Галлии, где варвары были могущественнее и многочисленнее, и где духовенство насчитывало в своей среде много умных людей, способных придать действительное значение этому учению, выражать его сжато, украшать, видоизменять согласно месту и обстоятельствам.

Проспер Аквитанский не удовольствовался тем, что изложил сущность учения Августина в стихах; он сократил его в прозе в небольшом сочинении: «О призвании народов»; автор весьма наивно и без ораторских преувеличений радуется огромному перевороту своей эпохи, который, бросив целые толпы язычников-варваров в среду народов цивилизованных и христианских, тем самым облегчил для первых возможность их обращения в христианство.

Это было то же самое учение, которое Сальвиан Марсельский изложил и сократил в своем сочинении о Мироправлении. Сальвиан хотел доказать, что настоящие бедствия империи должны быть приписаны императорскому деспотизму, корыстолюбию и жестокости его чиновников, ненасытности казны, разврату и эгоизму богатых. Вторжение варваров, в его глазах, было только наказанием за все те пороки как управляющих, так и управляемых; оно было даже счастливым событием, потому что положило предел бедствиям, сделавшимся невыносимыми.

Королевство вестготов представлялось Сальвиану убежищем, на которое провидение указывало несчастным, доведенным до отчаяния императорской администрацией. В этих ужасных вестготах, с именем которых всякий римлянин соединял столько ужасных воспоминаний, Сальвиан видел и хотел видеть одно: людей менее испорченных, чем римляне. Он не спрашивал себя о том, не было ли другого возможного исхода для деспотизма и императорского правительства, кроме господства варваров, не было ли последнее смертельным ударом и для науки, талантов, добродетели? В победах варваров он видел только простой и чистый факт, факт совершившийся, непреложный: прямое и верное выражение высшей воли, следящей за всем и во всем справедливой.

Сальвиан хорошо отзывался о франках и бургундах, но говорил редко, без подробностей и без явного намерения быть их панегиристом. Но чего он не успел сделать, то сделали другие епископы, другие пресвитеры, другие ученики св. Августина. Из всех варваров католическое духовенство более всего сблизилось с франками и расточало преимущественно перед ними свои похвалы. Я ограничусь приведением примера его воззрений, например, на вторжение бургундов.

До нас дошло много проповедей святого Евгерия (Eucherius), епископа Лионского, от 434 до 454 г., которые все носят характер произведений, написанных и произносимых для народа. Между ними одна содержит любопытное место, относящееся к обстоятельствам, сопровождавшим вторжение бургундов, которые, однако, не обозначены в истории, и потому их трудно связать с ней. Там говорится, я думаю, о взятии Лиона: впрочем, точное определение факта из истории утверждения бургундов, к которому относится это место, не пред-

ставляет никакой важности. Там замечательна только характеристика победителей, приводимая епископом.

«Вся страна,– говорит он,– трепетала при приближении могущественного и раздраженного народа; и что же?! Тот, кого считали варваром, является с сердцем совершенно римским. Варвары, служившие у римлян, будучи стеснены со всех сторон и не умея ни выдержать сражения, ни прибегнуть к просьбам для умилостивления сильнейшего, нагло отвергают мир, который им предлагал победитель. Чьей же это рукой делается то, что ныне предводитель (варваров), имея власть делать все, что желает, внезапно обращается к милосердию, несмотря на то, что мы возбуждаем его гнев? Кто же оказал стольким несчастным такую услугу, что ярость обезоружена и победитель смягчается без всяких просьб?»

Говорить таким языком о варварах, помещать так торжественно их победы в число планов провидения, значило открыто объявлять себя за них, идти навстречу их господству, предлагать им свои услуги и советы, в которых они имели нужду для устройства завоеванной страны. Такие знаки преданности и дружбы со стороны галло-римского духовенства не были пренебрегаемы варварами. Это духовенство стояло во главе масс народа; оно имело над ними двойную власть – и религиозную, и судебную. Все это было так очевидно, что варвары не могли того не заметить; они составили себе высокое понятие о духовенстве и желали иметь его своим союзником.

С другой стороны, сами народные массы, опасаясь варварских правительств, с которыми им приходилось иметь дело, были со своей стороны заинтересованы в том, чтобы духовенство могло ходатайствовать за них у победителей, чтобы оно приобрело на них влияние, употребило всевозможные средства к их смягчению, просвещению, и, внушая им идеи порядка, мира и человечности, сделало их продолжателями не императорского деспотизма, но римского правительства. Таково было великое и благородное назначение, которое общий голос галло-римлян возлагал на духовенство по отношению варваров; и это назначение духовенство приняло и выполняло с усердием и искусством. Без сомнения, духовенство нашло при этом возможность преследовать и свои личные интересы, даже кончило тем; но тем не менее оно много сделало для общей пользы; оно оказало истинные услуги и сильнейшему, и слабейшему, как победителю, так и побежденному. Впрочем, духовенству приходилось часто встречать противодействие, и его успехи были далеко неодинаковы при различных правительствах, образованных варварами в той или другой провинции Западной Римской империи.

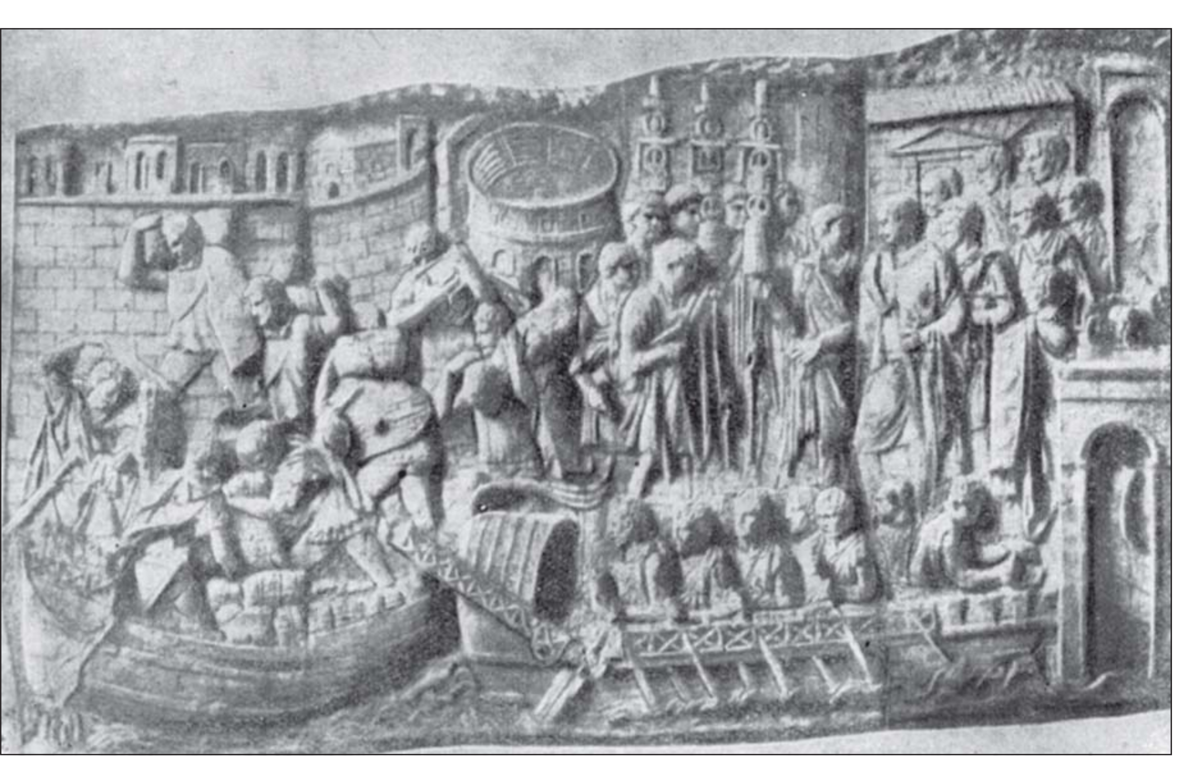
Hist. de la Gaule méridionale. etc. Par. 1836.
I. 562–572.

Амедей Тьерри

СВ. СЕВЕРИН И ВАРВАРСКИЙ МИР НА ДУНАЕ, ПЕРЕД ПАДЕНИЕМ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ (1860 г.)

Внутренние события варварского мира, расположенного на Дунае, и его ближайшее отношение к придунайским провинциям Рима окончательно решили судьбу Западной Римской империи и нанесли ей последний удар.

Завоевания Аттилы, в половине V века, имели ближайшим последствием сосредоточение всех сил варварского мира на северном берегу Дуная: его смерть (452 г.) распустила эту армию народов, а победа при Нетаде, дав германцам перевес над гуннами, имела своим результатом то, что первые овладели всем пространством между Карпатами и Альпами. Равнины Дуная и его притоков населяло сначала множество народов, которые сталкивались друг с другом, перекрещивались, овладевая местностью то на одном берегу, то на другом. Мало-помалу хаос начал превращаться в порядок,



Речной порт на Дунае. Барельеф с колонны Траяна

и вот какое зрелище поразило удивлением и ужасом взоры римлян.

К северу от главной реки (Дуная), в полукружии, которое образуют Карпаты, касаясь ее своими крайними отрогами, гепиды, расхитившие царство Аттилы, расположились в самой столице завоевателя, на развалинах его дощатого дворца. Напротив гепидов стояли лагерем остготы, на правом берегу Дуная и далее вдоль этой реки. Будучи разделены на три племени, под управлением трех королей Теодемира, Валемира и Видемира, братьев как по взаимному расположению, так и по крови, они занимали две паннонские провинции, от извилистого течения Савы до восточного склона горы Цеттия. Теодемир, старший и самый могущественный, разбил свои палатки в окрестностях озера Пельсода, неподалеку от нынешней столицы Австрии, Вены; Валемир – на полях, орошаемых Савой, а Видемир, самый младший, поместился между ними с самым малочисленным коленом готского народа. Таковы были владения остготов.

Жребий оружия сделал соседями гепидов, на правом берегу Дуная и к западу от Карпат, народ ругов, который численностью уступал двум первым, но был не менее страшен. Господствуя в обширной долине, орошаемой рекой Моравой, руги имели там свой центр и главное пребывание своих царей. То была земля ругов, собственно так называемый Ругиланд; но власть его простиралась и на другом берегу Дуная, в Нижнем Норике, который был в некотором смысле местом ругийских колоний. Под предлогом защитить эту провинцию от нападения других варваров, Ругиланд присвоил себе право протекторства, весьма тяжкого для жителей, опустошал поля по произволу, а с городов брал выкуп. Еще далее к западу, по обеим сторонам реки, находились три малочисленные народа; герулы,

турцилинги и сциры, которые были расположены на рубеже области ругов. Будучи одного происхождения с этими последними, они также вышли из прибрежных стран Балтийского моря; герулы и турцилинги отчасти подчинялись ругам, жили под их покровительством и, благодаря этим связям, основанным на необходимости взаимной помощи, руги могли смело вступать в борьбу с великими варварскими племенами, которые окружали их отовсюду.

К числу таких племен принадлежали на северо-западе туринги, а на юго-западе алеманны и свевы. Последние, владея проходами ретийских Альп и гордясь своим могуществом, производили набеги по обоим их скатам, и опустошали то Норик, то Верхнюю Италию. Туринги, напротив, скрываясь в глубине герцинских лесов, как на дне логовища, выходили оттуда только для грабежа, и в своих быстрых набегах не щадили ни поселений германских, ни городов римских. Посреди этих народов, имевших, если не постоянные, то почти определенные места для жительства, скитались племена саксов и франков, которые с берегов Северного моря увлечены были отливом нашествия гуннов. Все эти народы как большие, так и малые, не имели других средств к существованию, кроме меча, копья или секиры. Постоянно в войне между собой эти варварские народы захватывали добычу и никогда не насыщались ею, оспаривали один у другого достояние римских провинциалов, разоряли и опустошали, как кто мог, ту страну, которая должна была их содержать.

Разнообразие племен ставило их к римлянам в весьма различные отношения. Каждый из представителей варварского мира германцев имел свою дикую особенность, которую надлежало исследовать и изучить как для того, чтобы ее смягчить, так и для того, чтобы отразить. «Подобно тому, как у диких зверей их свирепые наклонности видоизменяются по их породам,– говорит один современник,– точно так же у варваров жестокость принимает различные формы, соответственно их характеру, привычкам и особенно суеверию». Большая часть народов, принадлежавших к религии Одина, как то: франки, саксы, туринги, герулы – приносили человеческие жертвы, но с тем различием, что одни убивали только своих врагов и пленных, а другие – своих соотечественников и даже ближайших родных. У некоторых народов только та жертва считалась угодной божеству, которая была непорочной, а потому они проливали с наслаждением кровь существ, обыкновенно считающихся невинными, как то: детей, посвященных девиц и жрецов; таким образом, жреческое одеяние осуждало человека на заклание.

Ничего подобного, правда, не происходило у ругов, которые уже приняли христианство; но народ у них был груб, корыстолюбив и жесток. О нем говорили, пародируя знаменитое изречение римского императора: «Руг считал день для себя потерянным, если он проводил его, не совершая преступления». Свев, гордясь своим значением в Италии со времени возвышения там Рицимера, обращался с равными себе гордо, а с низшими невыносимо грубо. Если алеманн обнаруживал более простодушия, то мнимая кротость его не исключала ни коварства, ни врожденной жадности, ни равнодушия к пролитию крови. Что касается остгота, то он, в своих паннонских кочевьях, играл роль двойственную с двойной для себя выгодой: защищая от варварских племен римлян, в качестве их друзей и союзников, готы в то же время разыгрывали роль покровителей германских племен в отношении к тем же римлянам; а потому они никогда не имели недостатка в поводе грабить ту или другую сторону. Таковы были те народы, посреди которых св. Северин[1] должен был трудиться над преобразованием римских провинций на Дунае; ему было бы легче иметь дело с волками и медведями горы Цеттия.

На Верхнем Дунае для защиты Западного Норика и Ретия Северину приходилось иметь сношение с алеманнами, свевами и герулами. На Среднем Дунае ему приходилось иметь дело с ругами, сцирами,

---

[1] См. о внутренних преобразованиях, совершенных св. Северином в римских провинциях на Дунае.

турцилингами и реже с остготами. Руги держали Северина в его монастыре Фавианском почти в осаде; он зависел от них вполне, и сама жизнь его была у них в руках. И именно с ними начались у Северина первые и самые тесные сношениях. Народ этот, как я уже сказал, исповедовал христианскую религию, но по ариеву расколу, который в римском мире был христианством, так сказать, одних варваров. Северин не старался обратить ругов в католичество, по крайней мере, не показывал того. Он очень хорошо понимал, что ввиду духовенства мрачного, исключительного, притеснительного, каким и было арианское духовенство у германцев, он сильно повредил бы своему делу, придав ему оттенок религиозный. Показать в себе ревнителя веры – значило бы накликать страшное возмездие католичеству. А потому он ограничился тем, что проповедовал ругам веротерпимость и сам подавал пример тому. Только в редких случаях, когда они приходили поверять ему, как бы оракулу, свои надежды и печали, он говорил им, вздыхая: «Все это дела земные; но почему вы не обращаетесь ко мне с вопросами о вашем душевном спасении?» Далее того намеки святого не простирались. В самом деле, назначение его такое, каким он его понимал, относилось к римлянам, а не к варварам: «Бог меня воздвиг,– так говорил он,– чтобы поддержать это гибнущее общество и, может быть, его спасти»; тем ограничивались его обязанности и назначение. Народы так и понимали Северина; предание, дав ему название Апостола Норика, несколько веков уже обращенного в христианство, именно хотело таким названием почтить в нем апостольство более милосердия, чем веры. Это же самое милосердие святого давало ему средства к сильному влиянию на варваров. Его складочные места хлеба и одежд открывались как для римлянина, так и для руга, если он только делался или пленным, или неимущим. Даже вор и скамар, которые прибегали к святому, не уходили от него без утешения. Такое сострадание, которое не исключало никакого бедствия человека, сделало эти складочные места, учрежденные Северином, до того святыми и неприкосновенными, что даже сами варвары иногда считали за честь содействовать столь полезным учреждениям. Северин в продолжение долговременных странствований своей юности и частых удалений в пустыню узнал целебные свойства растений, их употребление в недугах человеческого тела; а еще лучше знакомы ему были болезни души, а также и средства им помочь. Несколько удачных лечений, сделанных во имя Иисуса Христа, привлекли к Северину множество больных; он сделался врачом ругов. Несколько полезных советов, поданных им удачно в мирских делах, доказывали им его мудрость и опытность: он сделался их советником так же, как был уже давно тем у римлян.

С того времени жилище отшельника представляло странное зрелище собравшихся около него людей, пораженных отчаянием или умирающих; их приносили на руках или привозили на повозках и клали у порога двери святого, для того чтобы он, выходя, мог взглянуть на них или прикоснуться. Родные страждущих стояли подле них, проливая слезы и умоляя его о помощи. Излечение одного знатного руга, к погребению которого были сделаны уже приготовления, говорит нам автор биографии Северина, поставило его в прямые отношения к королевскому семейству этого народа, и между Северином и королем ругов, Флакцитеем, завязалась тесная дружба – явление замечательное в истории того времени.

Флакцитей, король этого дикого племени, был человек простой и добродушный. Он чувствовал к Северину какое-то безотчетное влечение, которое, когда они познакомились, обратилось в сильную привязанность. Северин сделался его другом, поверенным, руководителем. Странное дело! Король варварский с того времени не имел более тайн от римлянина, который поставил себе целью вывести своих соотечественников из того унижения, в которое повергли их варвары; вот до какой степени этот преобразователь умел внушить к себе уважение! Овладевало ли Флакцитеем какое-либо тайное беспокойство, случалось ли какое-либо важное происшествие в Руги-

ланде, вооружались ли против ругов свевы или сарматы, смута ли возникала в одном из городов римских, нападали ли руги на поля – во всех этих случаях Флакцитей переправлялся через Дунай на лодке, и спешил к Северину или в Фавианский монастырь, или в его келью у горы Цеттия. И Северин, со своей стороны, оставлял все, чтобы выслушать короля.

В длинных беседах римлянин своими советами просвещал ум варвара и старался руководить им. Он внушал ему идеи мира и кротости, тогда как душа варвара дотоле была доступна одному влиянию буйных страстей. Остготы были самым частым предметом их совещаний. Этот страшный и беспокойный сосед, примыкавший со стороны Цеттия к землям ругов, постоянно вмешивался в их дела: то, в качестве варваров, остготы нападали на ругов, как сильнейший варвар на слабейшего, то, в качестве союзников империи, как взявшие на себя обязанность защищать римские земли. Не раз руги пытались сбросить с себя иго соседей; но война постоянно оканчивалась не в их пользу. Таким образом, для Флакцитея главным и постоянным предметом опасения были остготы и их коварная политика. Хотя он и находился даже в некотором родстве с Теодемиром, старшим из рода Амалунгов, но считал их своими личными и неумолимыми врагами. Северин был не более расположен к готам, приверженцам арианизма и преследователям католиков: между готами и ругами, хотя и те, и другие были арианами, Северин склонялся на сторону ругов, так как они обнаруживали более веротерпимости.

Однажды король ругов в сильном волнении вошел в келью Северина, молча сел подле него и начал рыдать, заливаясь слезами. «О, да,– говорил он прерывающимся голосом,– готы меня ненавидят и ищут моей смерти!» Тогда он рассказал, как, тяготясь соседством готов, он решил переселиться в Италию со своим народом; как он просил у королей готских, владевших горными проходами Юлийских Альп, позволения свободно пройти по их землям, и как получил оскорбительный отказ. «Вижу очень ясно,– воскликнул он с отчаянием,– они меня убьют!» Северин был тронут душевными страданиями этого человека, которого он любил, и, представляя себе ту пропасть, которая отделяла их перед лицом Бога, он не мог удержаться, чтобы не сказать: «Флакцитей, если бы мы оба были почитателями католической веры, то я удивился бы, что сердце твое заботится только о благах мира сего, и что ты не предпочитаешь советоваться со мной относительно жизни вечной. Но так как дело, о котором ты говоришь, интересует тебя и меня почти в равной степени, то я соглашаюсь тебе отвечать. Выслушай и слова мои сохрани в твоей памяти. Знай, что готам не дано располагать ни тобой, ни твоим королевством. Не думай о их успехах и неудачах: они недолго останутся твоими соседями, и первые оставят эту страну, между тем как ты будешь продолжать владеть спокойно Ругиландом. Но прими в руководство мои смиренные советы; сохраняй мир даже с бессильными, не тесни слабого, и не гордись своей силой. Священное Писание говорит: “Горе тому, кто надеется на человека и удаляется сердцем от Господа”. Учись избегать вражеских козней, а не устраивать их; таким образом ты удостоишься спокойной смерти на твоем ложе». Король ругов слушал эти слова с такой жадностью, как бы они раздавались с неба. Известие о скором удалении готов исполнило его радостью, которой он не скрывал, и в счастливом расположении духа Флакцитей дал клятву Северину ничего на будущее время не предпринимать без его согласия. Совершенно обновленный духом, он сел в свою лодку и переехал в Ругиланд.

Несколько времени спустя именно случилось такое происшествие, о котором Флакцитей счел нужным посоветоваться с Северином, и чему был после весьма рад. Соединенная шайка разбойников и варваров прошла по Нижнему Норику, грабя преимущественно дома и земли, принадлежавшие ругам. Они действовали так, чтобы завлечь Флакцитея на правый берег Дуная, давая заметить только часть своих сил и раздражая короля ругов с другого берега. Флакцитей был вне себя; он хотел немедленно переправиться через Дунай и рассеять шайку грабителей, но, верный

данному обещанию, послал прежде к Северину спросить его мнения: «Хорошо ли я сделаю, если перейду реку?» – так спрашивал Флакцитей через посланного.– «Если перейдешь, то ты погиб,– отвечал лаконически Северин,– три засады поставлены в трех различных местах для того, чтобы схватить тебя и убить». Флакцитей остался в Ругиланде, и вскоре двое пленных, убежавшие от грабителей, подтвердили справедливость этих слов. Они имели целью заманить ругов на другой берег реки, окружить их там и схватить самого короля: это было устроено готами на прощание с соседом их, Флакцитеем, накануне того, как они собирались оставить Паннонию, согласно с предсказанием Северина. Таким образом, король ругов обязан был спасением жизни советам отшельника. С того времени признательность его к нему была безгранична, и в продолжение всей жизни, которая с того времени ничем уже не была более тревожима, он постоянно твердил сыновьям своим: «Повинуйтесь божьему человеку, если вы хотите, по моему примеру, царствовать в мире и жить долговременно».

Впрочем, божий человек не во всех членах королевского семейства ругов нашел то же доброе расположение, как и во главе его. Старый король имел двух сыновей: Филетея, по прозванию Фава, будущего его преемника, и Фридриха, младшего брата Фавы. Простой и добрый, как отец его, но с характером более слабым, Фава, который во всем брал с него пример, оказывал Северину то же почтение и то же чистосердечное расположение; не так поступал Фридрих. Все пороки варвара, по-видимому, совместились в сердце этого молодого человека, жестокого, жадного, коварного. Смиряясь перед Северином до низости, он его ненавидел в душе и подстерегал ту минуту, когда, сбросив личину, мог бы сам овладеть всеми складами монастыря, этой милостыней, которая его завистливым глазам казалась неистощимым сокровищем. Северину не трудно было понять его характер и проникнуть в его планы; он, со своей стороны, наблюдал за ним, и не жалел наказаний, единственно доступных этой природе, грубой и извращенной.

По смерти престарелого короля ругов, Фава наследовал Ругиланд и римские области, бывшие от него в зависимости, за исключением нескольких городов прибрежного Норика, которые были предоставлены Фридриху. Несмотря на свою истинную привязанность к Северину и при всем желании подражать Флакцитею, Фава не всегда слушал отшельника. Сильное домашнее влияние противодействовало на каждом шагу его добрым намерениям в лице жены его, Гизы, которую история изображает нам существом злонамеренным и истинно дьявольским. Завидуя влиянию Северина на ум ее мужа, она ненавидела его еще больше, чем Фридрих; между тем как тот старался повредить ему втайне, она, со смелостью страстной женщины, нападала на него прямо. Она оскорбляла его в чувствах самых дорогих, теснила его, затрудняла ему всеми силами успех всякого дела. Потом она вдруг останавливалась, как бы в страхе, что ее поразит достойное наказание; при всей своей дерзости, она была до крайности боязлива и суеверна. Однажды, с целью действовать вопреки внушениям отшельника, который постоянно проповедовал Фаве веротерпимость, она начала сама перекрещивать, или отдавала то же приказание священникам своей церкви в отношении несчастных католиков, которые попадали к ней в руки. Северин жаловался на то; но Гиза встречала его жалобы насмешками. Святой, выведенный из терпения, обратился к ее мужу, угрожая ему небесным мщением в случае, если он не положит конца такому безбожию. Фава вынужден был употребить власть: Гиза смирилась; но ее злоба нашла себе другую пищу.

Перенесенная вдруг в лоно гражданственности римской, эта дочь лесов смотрела с чувством удивления, смешанного с завистью, на поля Норика, на его богатые жатвы, на виноградники, на сады с плодами, и особенно на произведения искусств, выставленные в городах. Она хотела бы унести все это с собой в свой Ругиланд. Для того, чтобы успеть в этом как можно больше, она придумала захватить вооруженной рукой целые толпы римских колонов, которым она и отвела место для жительства по

ту сторону Дуная. Она старалась привлечь также на свою сторону реки приманкой большого жалованья ремесленников городских, которые, раз попавшись в ее власть, должны были навсегда распроститься со своей родиной. Одни были осуждены на обрабатывание полей, другие на самые тяжкие работы; вообще с ними обращались, как с невольниками. Северин протестовал энергично против такого покушения на личную свободу, которое отнимало у римских провинций целые семейства; но Гиза, чтобы показать свое пренебрежение, продолжала свой образ действия под самыми стенами монастыря. Раз она высадила воинов в окрестностях Фавиан, захватила там всех колонов и земледельцев, кого только могла найти; наложила на них оковы и сама распоряжалась их переправой. Северин, которому тотчас дали о том знать, послал просить королеву возвратить свободу людям, на которых она не имела никакого права. «Служитель божий,– отвечала она гонцу с гневом, как бы говоря лично самому Северину,– довольно с тебя, если ты будешь молиться за себя только, во глубине твоей кельи, а мне уж позволь распорядиться с моими невольниками так, как мне вздумается». Эта сцена, переданная отшельнику, тронула его глубоко: «О,– сказал он,– если вера в Бога меня не обманывает, эта женщина вскоре против своей воли сделает то сама, в чем она теперь отказывает мне, по своей испорченности».

Под своей дикой оболочкой Гиза была не чужда женского кокетства: она хотела быть красавицей, и именно в то время на ее глазах и по требованию ее вкуса приготовляли ее королевские украшения. Золотых дел мастера, которым поручена была эта работа, занимались ею в сарае, который находился по соседству с покоями королевы. Там были они заключены от восхода до заката солнца, не имея ни с кем сообщения; никто не имел права их посещать, кроме Гизы и ее маленького сына, который носил имя Фридриха, как и брат короля. Ребенку было лет шесть или семь от роду, и он иногда приходил играть к заключенным, развлекая их своими забавами. Вечером, в тот самый день, когда колоны из Фавиан были насильственно перевезены в Ругиланд, золотых дел мастера, потеряв наконец терпение, совещались друг с другом о своей участи: «Разве мы рабы,– говорили они,– и должны совершенно отречься от надежды на свободу? Лучше раз умереть, чем постоянно влачить наши печальные дни в этом каземате». Тогда, перебирая в уме все средства сбросить с себя свои оковы, они остановились на одном, успех которого им казался несомненным, и которое они решились привести в действие безотлагательно. Когда маленький Фридрих вошел в их сарай и предался своим обычным забавам, золотых дел мастера притворили за ним дверь и изнутри ее загородили. Тогда, схватив поперек ребенка, они показали вид, что хотят убить его, и один уже поднес обнаженный меч к его груди. На крики сына прибежала мать и в щель она увидела, как бился ее сын в руках рабочих. «Королева,– сказали они ей через двери,– не старайся проникнуть сюда против нашей воли, а иначе сын твой погиб. Мы тебе его возвратим, если ты возвратишь нам свободу и поклянешься, что отпустишь нас немедленно здоровыми и невредимыми».

В сущности Гиза была доброй матерью; такое зрелище сделало ее как бы помешанной. Она начала бегать во все стороны, испуская плачевные крики: имя Северина постоянно у нее повторялось в ее словах, вырывавшихся отрывочно: «Служитель божий,– говорила она ему так, как бы он был здесь,– Бог твой всегда готов мстить за малейшие обиды, тебе причиненные; вот Он поражает меня в самых плодах моего чрева». Она отправила на другую сторону Дуная вестников, которым поручила скакать во весь галоп, найти отшельника, где бы то ни было, и выхлопотать от него прощение и жизнь ее сына. Но она не дожидалась ответа Северина для того, чтобы возвратить свободу римским колонам. Относительно же золотых дел мастеров царица, взамен возвращенного Фридриха, выдала им грамоту на свободный пропуск, написанную по всей форме, и они могли спокойно возвратиться в свои дома. Несколько дней спустя Гиза, все еще не оправившаяся от ужаса, пришла вместе с мужем и сыном

в келью отшельника благодарить его и просить благословения. Таковы были эти дикие умы, пылкие страсти которых можно было обуздать одним суеверным ужасом. Флакцитей, Гиза, Фава и Фридрих объясняют нам свойство тех отношений, которые установились между Северином и варварами Норика, ругами, сцирами, турцилингами и герулами, почти накануне разрушения ими Западной Римской империи.

В то время, когда Флакцитей был еще жив, дружина ругов, отправлявшаяся в Италию искать себе службы за Альпами, проходила близ кельи Северина и нарочно свернула с дороги для того, чтобы навестить его и поклониться ему. Келья была низенькая, и один из посетителей, который был выше обыкновенного роста, мог пройти в дверь, только наклонясь, и в келье стоял, нагнув голову. То был человек довольно молодой, воинственной наружности, умное и смелое лицо которого резко противоречило с его бедным одеянием из бараньей кожи, грязному и ободранному. «Ты высок, но будешь еще выше»,– сказал ему Северин, устремив на него тот взгляд, который, казалось, проникал в тайну будущего. Варвар внимал с жадностью словам Северина, как будто в них был ответ на его внутренние помыслы, и весь содрогнулся, когда отшельник, прощаясь с ним, сказал: «Продолжай путь твой, иди в Италию, покрытый этой грубой одеждой; близко то время, когда малейший из даров, которые ты будешь делать друзьям твоим, будет стоить дороже всей твоей ноши, которая теперь составляет твои богатства»[1]. Этот молодой руг был Одоакр, сын Эдекона[2]. Он присоединился к своим спутникам и отправился далее в Италию, исполненный радости и затаив в глубине сердца, как верный залог счастья, слова пророка, которые вполне оправдывались последующими событиями.

Réc. d. l'hist. rom. au V siécle; с. 171–189.

---

[1] Vade, inquit, ad Italiam, vade vilissimis nunc pellibus coopertus, sed multis citra proemia largiturus. Eugip. Vita S. Severini.

[2] Odovacer, Odoacer, Odobagar, Odovachar, Otochar – различные редакции имени предводителя ругов, герулов и других, разрушившего Западную Римскую империю в 476 г.



ОТ ПАДЕНИЯ ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ДО КАРЛА ВЕЛИКОГО (476–768 гг.)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ПЕРИОДА

Первый период истории Средних веков, охватывающий 300 лет, от падения Западной Римской империи до Карла Великого (476–768 гг.), в общем ходе событий западноевропейской истории противоположен последним годам распада Древнего мира: почти с первых дней существования новых варварских правительств, образовавших независимые королевства в прежних провинциях Западной Римской империи, между ними начинается соперничество за преобладание. Разрушив империю, каждое правительство старалось стать наследником власти римских императоров. Стремления римских епископов стать во главе западной церкви совпали с притязаниями варварских королей на исключительное господство, и таким образом вскоре после падения Западной Римской империи является уже мысль о восстановлении ее. В VI в. римские папы ищут себе опоры в германских дружинах, овладевавших Италией, чтобы освободиться от византийского преобладания: Папа Григорий I Великий полагает начало такой политике, и лангобарды, сменившие остготов, покоренных Византией, делаются лучшими союзниками папского престола. Но в VII в. лангобарды, вытеснив византийское влияние, заявляют притязание стать на его место, и светской власти пап угрожает их прежний союзник. Тогда папы поступают с лангобардами, как они поступали прежде с Византией: они ищут нового союзника, чтобы противопоставить его лангобардам. Из всех новых правительств Западной Европы в начале VIII в. представляло более всех ручательств королевство франков в Галлии: Вестготское королевство в Испании было завоевано маврами, последователями Магомета; владения вестготов в Южной Галлии еще в VI в. были захвачены Меровингами, королями франков; Бургундское королевство принадлежало им же; англосаксские королевства были слишком раздроблены и отдалены от Италии; одни франки своими завоеваниями соединили всю Галлию и служили оплотом на юге против исламизма, на севере против нового вторжения северных варваров, саксов и др. Внутреннее положение Франкского королевства как нельзя более благоприятствовало видам папского престола: древняя династия королей Меровингов утратила свою популярность, и франки смотрели как на настоящего главу государства на его министра из фамилии Каролингов. Каролинги для достижения престола нуждались в помощи пап, как папы нуждались в Каролингах для своей

независимости от лангобардов. В 752 г. Пипин Короткий, отец Карла Великого, получил от Папы титул короля франков, а в 754 г. Папа получил от Пипина отнятые им земли от лангобардов в собственное управление. Так положено было начало восстановлению Западной Римской империи, составлявшее главную цель многих политиков этого периода, которой подчинялись все другие второстепенные цели; время Карла Великого, открывающее последующий период, только довершило труды предшествовавших ему трех столетий.

Восстановление Западной Римской империи приводило, естественно, к мысли о восстановлении древней образованности во всем ее объеме: короли германского происхождения, чтобы быть преемниками политической власти императора, всегда старались окружать себя воспоминаниями классического мира, сами изучали латинский язык и его литературу; в последующую эпоху Карла Великого уважение к классической древности дошло до энтузиазма. Под влиянием такого рода стремлений различие между варварами и потомками древних римлян начало мало-помалу исчезать, что особенно выразилось в слиянии римского и германского законодательств. Таким образом, рядом с объединением политическим в первом периоде Средних веков происходит весьма заметное объединение в нравах, обычаях, подготовлявшее общие основы для будущей европейской образованности.

Такой отличительный характер времени первых трех столетий, последовавших за падением Западной Римской империи, всего более отразился на исторических идеях писателей того времени, подготовленных еще римской эпохой. В VII в. представителем универсальной истории, как подражатель Евсевия и Орозия, является Исидор Севильский (Isidorus Hispalensis, ум. в 636 г.); он не только продолжил существовавшие до него хроники до 607 г., но и сделал важный шаг к усовершенствованию, изложив события не по годам, а по небольшим отделам и правлению императоров. В VIII в. универсальная история нашла себе отличного представителя в английском монахе Бэде Преподобном (Beda Venerabilis), бывшем в свое время первой литературной знаменитостью (673–735 гг.). Бэда ввел в хронику периоды и разделил всемирную историю на 6 отделов, отчего его сочинение называется «Chronicou, seu de sex aetatibus mundi»: 1) от Адама до Ноя; 2) от Ноя до Авраама; 3) от Авраама до Давида; 4) от Давида до ассирийского пленения; 5) от пленения до Октавиана Августа; 6) от Октавиана до императора византийского Ираклия. Таким образом, хроника Бэды, начинаясь сотворением мира и доходя до 726 г., служит лучшим образчиком исторического понимания прошедшего, в его целости, в ту эпоху, которая предшествовала Карлу Великому; по ней писали долгое время все хронографы Средних веков, без всякого исключения; потому после Бэды универсальная история ни по своей форме, ни по своим идеям не сделала более успехов до самого времени крестовых походов, то есть до конца XI в.– Сочинения Исидора Севильского: 1) Chronicon seu historia Gothorum; до 628 г.; 2) Historia Vandalorum et Suevorum; 3) De scriptoribus ecclesiasticis, seu de viribus illustribus и др., напечатаны у Roncalli, Vet. lat. script. chron., II, стр. 419. О Бэде Преподобном и его сочинениях см. ниже.

Успех в историческом представлении прошедшего сопровождался улучшением в изложении истории своего времени: первое столетие существования новых германских народов на развалинах Западной Римской империи (VI в.) ознаменовалось исследованиями двух замечательных историков своего времени: для восточных германцев – Иордан, со своим сочинением: «De origine rebusque Gothorum», «О происхождении и деяниях готов»; а для западных – Григорий Турский, составивший обширный труд, в 10 книгах, под заглавием: «Historia ecclesiastica Francorum», («Церковная история франков»). Это одно из капитальных произведений исторической средневековой литературы. В своем введении Григорий ограничивается, по обычаю того времени, кратким очерком библейской истории и переходит от нее к утверждению христианства в Галлии и истории мучеников; далее он говорит о происхождении франков и древних событиях их истории до Клодовея и заключает свой очерк

рассказом о междоусобиях детей Кловодея до смерти Лотаря I, в 561 г. Но с того времени и до 593 г., в течение более 30 лет, Григорий пишет как очевидец и чем далее, тем подробнее и обстоятельнее, так что на долю последних четырех книг приходится всего 7 лет. Труд Григория Турского был продолжен в VII в. Фредегарием и неизвестными лицами до 768 года. Но все продолжатели Григория стоят гораздо ниже его и по таланту, и по искусству изложения, так что VII век оставляет пробел, и только в VIII веке является снова замечательный писатель, Павел Дьякон, сын Варнефрида, родом лангобард; он написал в шести книгах историю лангобардов. («О жизни и сочинениях Иордана, Григория Турского и Павла Дьякона» см. ниже).

Германия

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТРАНЫ

Огромное пространство земель на северо-восток от Рейна и Дуная, вплоть до степей Скифии и Сарматии, известное под общим именем Германии, не изменило своего исторического значения и после падения Западной Римской империи. В течение целых трех столетий, до самого времени Карла Великого, в Германии продолжалась прежняя внутренняя борьба племен, вытеснявших и преследовавших друг друга, и внешняя борьба со своими соплеменниками, наследовавшими Западную Римскую империю и принявшими на себя ее обязанность защищать цивилизацию от вторжения новых варваров. Одни лангобарды были счастливы во внешних предприятиях, и в VI в. овладели Италией, наследием остготов. Но развитие могущества франков в Галлии положило предел другим подобного рода попыткам и вместе с тем сосредоточило борьбу германского мира с преемниками Римской империи на границах Галлии. Племя саксов, самое многочисленное и могущественное в свободной Германии, должно было уступить Каролингам, второй фамилии франкских королей, и Карл Великий, окончательно покорив Германию, разрешил наконец ту задачу, которая со времен Августа беспрерывно занимала римских императоров. Франки при этом завоевании имели для себя союзником церковь; христианские миссионеры, начиная с св. Бонифация, апостола Германии, сделали прочными успехи оружия Каролингов и присоединили Германию навсегда к территории общей европейской образованности. Для знакомства с древним германским бытом мы имеем большей частью чужеземные источники, а именно, греческие и римские; из них главным остается и до сих пор произведение Тацита. Из исследований XIX в. первое место принадлежит Як. Гримму (р. в 1785 г.), который нашел средство в истории языка восстановить историю древних германцев. См. его сочинения: 1) Deutsche Rechtsalterhümer, 1828; 2) Deutshe Mythologie. 1835 и в особенности 3) Geschichte der deutschen Sprache, 1848.

К. К. Тацит

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ДРЕВНИХ О ГЕРМАНИИ (98 г.)

Германия, взятая в целости, отделяется от Галлии, Ретии и Паннонии реками Рейном и Дунаем, а от сарматов и даков – обоюдным страхом или горами. С остальных сторон она окружена океаном, который очертывает ее берега широкими заливами и представляет обширные острова; путем войны мы познакомились с некоторыми из тамошних народов и их королями. Рейн, вытекая из обрывистых вершин Ретийских Альп, поворачивает незаметно на запад и впадает в Северный океан. Дунай же, получив свое начало на легких и отлогих скатах хребта горы Абнобы, протекает по странам многочисленных народов и потом впадает шестью рукавами в Понт Евксинский; седьмой же рукав его теряется в болотах.

Я считаю германцев туземцами, нисколько не смешанными с другими народами, ни через переселение их к ним, ни через принятие других к себе, потому что в древности, кто переменял место жительства, тот отправлялся не сухим путем, но на судах; а безбрежный океан, и, так сказать, противоположный нам, редко посещался кораблями, выходящими из наших стран. Кроме того, кто решился бы бороться с опасностями грозного и неведомого моря, и оставить Азию, Африку или Италию, чтобы переселиться в Германию, в эту необработанную страну с суровым небом, мрачной и дикой природой? Она может быть только родиной своих жителей. В своих древних песнях, которые заменяют им историю и летописи, они прославляют бога Туистона (Tuisto), рожденного Землей, и его сына Манна (Mannus, Mann, человек) как родоначальников и основателей их нации. Они приписывают Манну трех сыновей, по именам которых получили свои названия ингевоны (Ingaevones), самые близкие (proximi) к океану, герминоны (Herminones) живущие посреди (medii), и истевоны (Istaevones) – остальное население (ceteri). Некоторые, пользуясь древностью этих сказаний, приписывают тому богу гораздо большее число потомков, и по их именам называют многие племена, как-то: марсов, гамбривиев, свевов, вандалов – все это действительно существующие и древние названия. Впрочем, Германия есть слово новое и недавно вошедшее в употребление; потому что только те, которые, первыми перейдя Рейн, прогнали галлов, и ныне называются тунграми, в то время назывались германцами. Таким образом, имя рода (gentis) мало-помалу сделалось именем нации: они назывались сначала германцами для внушения страха к победителям, а потом и навсегда удержали это имя за собою.

По их преданию, у них был и Геркулес, которого они воспевают, идя на войну, прежде всех других героев. У них есть и другие песни, под названием барит (baritus, от bar, крик; отсюда производят бард, певец), звуками которых они вдохновляются, и по тону которых предсказывают судьбу предстоящей битвы: ими овладевает страх, или они наводят страх на других, когда раздается гром этой песни.

Это скорее, кажется, возгласы, внушаемые отвагой, нежели связные слова. Они стараются произвести суровые звуки и отрывистый рев, прикладывая щит ко рту, чтобы голос, становясь через то полнее и резче, усиливался отражением звука. Некоторые полагают, что Улисс, в своем долгом и баснословном странствовании занесенный в тот океан, высадился в Германии, и что Асцибург (Asciburgium – неизвестно, где находился), город, ныне лежащий на берегу Рейна, обязан ему своим основанием и именем[1]... Жертвенник, посвященный Улиссу, с присоединением имени его отца, Лаэрта, и найденный в древности на этом же самом месте, и другие памятники и могилы с греческими надписями, в местах пограничных Германии и Ретии, как рассказывают, существуют и до сих пор. Я не имею намерения ни подтверждать какими-нибудь

[1] Здесь пропущено в манускриптах несколько слов.



Германец

доводами, ни опровергать все эти сказания; каждый по своему уразумению может им верить или не верить.

Я присоединяюсь к мнению тех, которые полагают, что народы Германии не смешивались ни с какими другими народами через брачные союзы, что они суть народы туземные, единокровные, расплодившиеся из самих себя. Это доказывается одинаковым характером наружности германцев, несмотря на их многочисленность: у всех грозные и голубые глаза, светло-русые волосы, огромный рост; все они обнаруживают силу при первом порыве, но не имеют равного терпения, если нужен труд и работа; не переносят ни жажды, ни жара, но весьма привычны к голоду и холоду, вследствие своего климата.

Страна их хотя представляет разнообразие видов, но вообще покрыта лесами или болотами; сырая со стороны Галлии, Германия доступна ветру со стороны Норика и Паннония; довольно богатая хлебом, она неблагоприятна для плодоносных деревьев. Скота много, но он не очень хороший. Крупный скот лишен предмета своей гордости – украшения бычачьего чела. Германцы гордятся многочисленностью своих стад: они

составляют их единственное и самое лучшее богатство. По особенной ли милости или по гневу боги отказали германцам в золоте и серебре – не знаю. Впрочем, я не хочу утверждать, что в Германии нет ни золотой, ни серебряной руды. Кто, в самом деле, исследовал ее почву? Германцы не страдают жаждой золота и его растратой. Серебряные вазы, подаренные их послам и князьям, пользуются у них не большим уважением, как и глиняные; впрочем, племена, более близкие к нашим границам, знают цену золота и серебра и умеют различать некоторые из знаков наших монет, вследствие торговых сношений с нами; но обитатели внутренних стран, более простые и более привязанные к старине, придерживаются меновой торговли. Они особенно любят древние и стародавние монеты, именно серраты (serrati, зубчатки) и бигаты (bigati, с изображением bigae, парной колесницы). Они предпочитают серебро золоту, не потому, чтобы оно им более нравилось, а потому, что серебряные монеты более удобны для размена при покупке мелких и дешевых товаров.

Германцы, судя по их вооружению, не богаты также и железом. Редко кто употребляет меч и длинные пики; они имеют при себе копья, или, как они сами называют, frameae (Pfriemen[1]), заостренные тонким и коротким железом, но столь легкие и удобные в деле, что ими можно сражаться, смотря по обстоятельствам, вблизи или издалека. И всадник довольствуется щитом и подобным копьем; пехотинцы же осыпают стрелами, которых каждый имеет по нескольку и пускает весьма далеко. Они ходят или нагие, или в легкой рубашке (sagulo leves); у них нет ни малейшего щегольства (nulla cultus jactatio); только щиты их отличаются разнообразием цветов; немногие имеют панцыри (lorica); едва ли у одного или двух найдется медный или железный шлем. Лошади их не отличаются ни внешностью, ни быстротою бега. Они не обучают, как мы, лошадей различным построениям, но гоняют по прямой линии или поворачивают круто направо, и описывают столь правильный круг, что никто не остается позади. Говоря вообще, германцы наиболее сильны пехотою. Они сражаются нестройными рядами; пехотинцы, избираемые из всего юношества и помещаемые в первых рядах, своею легкостью в движении весьма хороши в случае кавалерийского дела. Число их определено во сто (centeni) человек с селения (pagis), почему и называют их центенариями; но то, что прежде служило численным выражением, ныне сделалось титулом и почетным именем. Войско для битвы строится углом (per cuneos). Обратиться в бегство, с целью снова наступать, считалось скорее делом благоразумия, нежели трусости. Даже и в нерешительном бою они уносят своих убитых. Оставить на поле сражения свой щит считается верхом бесчестия; такое лицо не допускается к участию ни в жертвоприношениях, ни в народных собраниях; и многие кончали подобное воинское бесчестие петлей...

Теперь я изложу постановления и обычаи отдельных германских народов, насколько они отличаются друг от друга произношением, исчислив при этом, какие племена переселялись из Германии в Галлию.

По свидетельству самого достоверного писателя, Юлия Цезаря (divus Julius), галлы были могущественнее всех других народов; потому весьма вероятно, что они переселялись в Германию. В самом деле, какое препятствие могла представлять река (Рейн), чтобы какая-нибудь нация, имевшая на своей стороне перевес, не переселялась и не завладевала землями, еще никому не принадлежащими (promiscuas adhuc) и не подвластными никакому правительству? Таким образом, пространство между Герцинским лесом (Hercynia silva) и реками Рейном и Майном было занято гельветами (ныне Швейцария), а далее бойями (ныне Бавария и Богемия) – оба народа галльского происхождения. До сих пор существует название Бойэмии (Bojemum), указывающее на древние воспоминания этой страны, хотя ее население уже переменилось. Но арависки, переселились ли они в Паннонию, как колония озов, одно-

---

[1] В современном немецком языке значение этого слова – шило.– *Прим. ред.*

го из германских народов, или, наоборот, озы отделились от арависков и переселились в Германию, –вопрос этот остается нерешенным, хотя их язык, постановления и обычаи совершенно сходны между собою; быв в старину одинаково бедными и одинаково свободными, они испытывали на обоих берегах (Дуная) одно и то же добро и зло. Треверы и нервии с хвастовством гордятся своим германским происхождением, как бы желая таким родством заставить забыть свое родство с галлами, по своей лености. По самому берегу Рейна живут, без сомнения, германские народы: ванионы, трибоки и неметы. Даже убии, хотя удостоились чести сделаться римской колонией[1] и охотно называют себя по имени ее основательницы агриппинцами, но они не краснеют, однако ж, за свое германское происхождение. Выселившись некогда с правого берега Рейна, они, по испытании их верности, были поселены нами на самом берегу Рейна, но не с тем, чтобы только сторожить, но и охранять страну.

Первыми по храбрости между всеми этими народами считаются батавы, которые заселяют небольшую часть берегов Рейна и занимают в целости один из ее островов; некогда они составляли часть племени хаттов, и только вследствие внутренних раздоров переселились в те места, где сделались частью Римской империи. Им принадлежит известная честь быть телохранителями императоров, как знак древнего союза; они не унижаются внесением налогов, и наши сборщики податей не теснят их; свободные от всяких тягостей и взносов, они сберегаются только для войны и служат как бы охранительным и наступательным оружием империи. На таком же положении поселены и маттиаки, ибо величие римского народа распространило уважение к империи за Рейн и за древние наши пределы. Таким образом, германцы домами живут на своем берегу, но мыслью и душою – с нами. Во всем остальном они походят на батавов, и разве только почва и климат делают их еще более суровыми. Я не причисляю к германским народам тех, которые возделывают десятинные поля (Decumates agri), хотя они и живут по ту сторону Рейна и Дуная. Это были самые легкомысленные из галлов, которым нищета внушила храбрость, и которые завладели страной, часто переменявшей своих обитателей (dubiae possessionis). По мере того, как расширялись пределы наших владений и администрации, они очутились посреди империи и сделались ее частью.

За батавами живут хатты, поселения которых начинаются у Герцинского леса, не на низменных и болотистых землях, подобно другим странам Германии, но на постепенно понижающихся холмах: Герцинский лес идет вместе с хаттами и с ними же оканчивается. Народ у них отличается самим крепким сложением, мускулистыми членами, грозным видом и большой твердостью духа. Для германцев они имеют много ума и смышленности. Хатты сами избирают начальников; повинуются своим выборным; знают порядки, не пропускают случая, умеют отложить нападение, выбрать днем время, ночью обеспечить себя, в деле сомнительном положиться на случай, в деле же верном – на доблесть; но что весьма редко между германцами и что может быть только следствием дисциплины, хатты полагаются более на вождя, чем на войско. Вся сила их в пехоте, которая несет на себе, кроме аммуниции (ferramenta), и провиант. Другие идут в поход, как бы в сражение, а хатты – как на войну; набеги и неожиданные битвы у них редки. Одной кавалерии свойственно скоро и одерживать победу, и терпеть поражение. Быстрота граничит со страхом, медленность же походит на твердость.

У хаттов обратилось в общий обычай то, что у других германских народов встречается редко и как частный случай; а именно, хатты, достигнув возмужалости, отпускают себе волосы и бороду и считают себя связанными обетом не стричь их, пока не удастся убить кого-нибудь из варваров. Только пролив кровь и овладев трофеями падшего, они стригут волосы на голове и бороде, и тогда только считают себя родившимися недаром и достойными отчизны и предков. Ничтожные и трусливые должны

---

[1] Тацит говорит о Кёльне, Calonia Agrippina.

сохранять свой отвратительный вид. Некоторые из них носят сверх того на пальце железное кольцо, которое считается, как звено цепи, поношением, до тех пор, пока смертью врага не снимут с себя зарока. Этот обычай в употреблении у большей части хаттов: иногда они носят такие кольца до седых волос; подобные лица начинают бой и всегда составляют первый ряд, поражая своим оригинальным видом; даже и в мирное время они не смягчают своей наружности. Хатты не имеют ни домов, ни полей, ни другой какой заботы. К кому придут, у того едят: щедрые за чужой счет, без забот о своем имуществе, они живут так, пока застывшая кровь старости не сделает их неспособными к такой свирепой доблести.

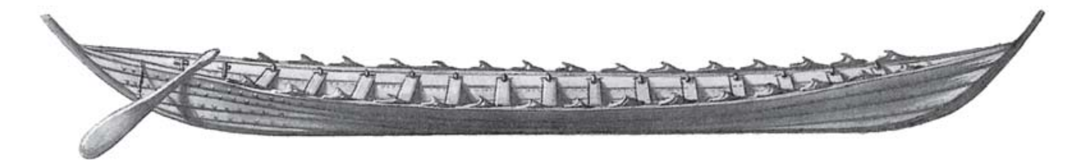
Ближе всех к хаттам, в том месте течения Рейна, где русло его становится глубоким (alveo certum) и может потому служить прочной границей, живут узипии и тенктеры. Тенктеры, сверх других обыкновенных воинских доблестей, особенно отличаются искусством наездничества. Слава пехоты хаттов не выше славы кавалерии тенктеров; так было то у предков, и потомки подражают им. Верховая езда для детей служит забавой, для юношей – предметом соревнования, и даже старики продолжают это упражнение.

При наследстве дома и имущества существует особый закон о праве наследования конем: его получает не старший сын, как все прочее, но отважнейший на войне и самый ловкий. Возле тенктеров жили некогда бруктеры; ныне, говорят, вселились туда хамавы и ангривары, изгнав и почти вырезав, в союзе с соседними народами, бруктеров, или из ненависти к их гордости, или из жажды добычи, или по какой-то милости богов к нам. При этом погибло варваров более шестидесяти тысяч не от римского оружия, но, что еще лучше, только для услаждения наших глаз. Да продлится и сохранится у этих народов, если для них невозможна любовь к Риму, вражда друг к другу, потому что при настоящих трудных обстоятельствах империи (in urgentibus fatis Imperii), судьба не может оказать нам большей милости, как поддерживая междоусобия наших врагов.

Позади ангриваров и хамавов живут дулгибины, хазуары и другие редко упоминаемые народы. Впереди всех встречаются фризии, подразделяемые, по степени их могущества, на великофризиев и малофризиев (majores minoresgue Frisii). Оба эти народа живут по Рейну до самого океана и по берегам огромных озер (как напр., Зюдерзее), по которым ходил римский флот. Таким образом, мы коснулись самого океана. Носится слух, что в этом месте и теперь находятся Геркулесовы столбы (то есть северные), или потому, что туда заходил Геркулес, или потому, что мы привыкли относить все великое к его славе. У Друза и Германика не было недостатка в предприимчивости, но океан отказался открыть им свои и геркулесовские тайны. Никто другой не делал к тому попыток, и всем казалось более достойным святыни и более почтительным верить в творение богов, нежели постигать их.

Насколько нам известно, Западная Германия простирается далеко на север. Первым попадается тут народ хауков, который, хотя граничит с фризами и занимает часть берега, но в то же время тянется по пределам всех вышеисчисленных мною народов и замыкается владениями хаттов. Все это огромное пространство не только принадлежит хаукам, но и густо заселено ими. Это самый благородный из германских народов, предпочитающий поддерживать свое величие справедливостью. Чуждый корысти и насилия, этот тихий и уединенный народ не любит накликать войну и предаваться хищничеству и разбою: главное доказательство его доблести и силы состоит в том, что он, без помощи обид, достиг первенства. Однако оружие у них у всех наготове, и если обстоятельства потребуют, то есть и многочисленное войско пехоты и конницы; во время мира они пользуются одинаковой славой.

Между хауками и хаттами живут изнеженные херуски, которых расслабил и исказил чрезмерно продолжительный мир; но в нем было более удовольствия, чем безопасности, потому что между слабым и сильным мир бывает обманчив, когда же дойдет до войны, то справедлив будет тот, кто одержит верх. Таким-то образом херуски, кото-



Корабль из Сьона Галльского. В описании Тацита указывается, что такие корабли могут подходить к месту причала любым концом, так как они имеют форму носа, и что весла не находились в фиксированном положении, а весла у них съемные, и они гребут ими по мере надобности то в ту, то в другую сторону. Другими словами, у таких кораблей имелось по два носа, и гребцы, повернувшись кругом и пересев со своей скамьи на следующую, могли тут же начинать грести в противоположном направлении. Такая перемена ролей носа и кормы не требовала разворачивать судно, и, следовательно, исключительно хорошо подходила для сражений на реках, каналах и других узких водных путях. В другом месте «Анналов» Тацит говорит, что, поскольку Германик находился в стране Cauci (фризов) и не мог выступить против врага на суше, он велел выстроить тысячу кораблей, «они короткие, с тупым носом… кормила были приложены сзади и спереди, чтобы, гребя то вперед, то назад, можно было причалить где понадобится», он добавляет, что такие корабли также использовались римлянами

рые прежде считались добрыми и справедливыми, ныне слывут трусами и глупцами. У победителей же, хаттов, счастье пошло за мудрость. Фозы, увлеченные падением херусков, как народ смежный с ними, разделяют пополам их горе, тогда как в их счастии они имели гораздо меньшую часть.

В том же северном углублении Германии, ближе к морю, живут кимвры, ныне народ небольшой, но великий своей славой, древние следы которой существуют и до сих пор: на обоих берегах реки видны места прежнего их лагеря, по обширности которого можно судить о многочисленности и силе этого народа и поверить огромности его армий. Рим переживал шестьсот сороковой год своего существования (114 г. до Р. Х.), когда мы впервые услышали звук оружия кимвров, в консульство Цецилия-Метелла и Папирия-Карбона. От этой эпохи до вторичного избрания в консулы императора Трояна прошло почти двести десять лет (96 г.); вот как медленно было завоевание Германии. В течение всего этого огромного периода времени потери были многочисленны и обоюдны. Ни самнитянин, ни карфагенец, ни испанец, ни галл, ни даже парфянин не делали нам столь частых тревог: для германцев свобода дороже, чем для парфян престол Арзакидов. Кроме поражения Красса, когда пал и сам Пакор (полководец парфянский), что еще может представить нам Восток, потрясенный Вентидием? Германцы же разбили или взяли в плен Карбона, Кассия, Скавра-Аврелия, Сервилия-Цепиона, даже Кн. Манлия, истребив у Римской республики пять консульских армий, и поразили Вара, лишив самого Августа трех легионов. Даже Марий в Италии, Цезарь в Галлии, Друз, Нерон и Германик в пределах самой Германии, не безнаказанно для себя наносили им поражения. Позже они обращали в смех громкие угрозы Кайя-Цезаря (то есть Калигулы). Наши несогласия и междоусобные войны дали им возможность отдохнуть и, овладев зимними стоянками наших легионов, покуситься на Галлию; хотя в последнее время их выгнали оттуда, но мы в борьбе с германцами праздновали более триумфов, чем побед.

Теперь следует сказать о свевах, которые не составляют одной цельной нации, подобно хаттам и тенктерам: они занимают большую часть Германии, подразделяясь на отдельные нации с особенными именованиями, хотя вообще все они называются свевами. Внешний признак их составляют закрученные и связанные в узел волосы. Этим свевов можно отличить от прочих германцев, а в их собственной среде так отличается свободный от раба. У других народов редко придерживаются этого обычая, только или по родству с свевами, или, как часто бывает, из подражания, но и то больше между молодыми людьми. У свевов такая взбитая прическа сохраняется даже до седых

волос, и часто они завязывают волосы узлом на макушке. Их князья имеют еще более пышную прическу: такая забота о наружности есть кокетство, впрочем, безвредное; они делают все это не для любви или чтобы пленить собою, но чтобы казаться выше ростом и более страшными, когда они идут на войну, и украшение волос назначается для глаз неприятеля.

Древнейшим и благороднейшим племенем свевов считают себя семноны. Такая древность их подтверждается религией. В определенное время все принадлежащие к этому племени собираются чрез своих депутатов в лесу, освященном при праотцах и наводящем страх своими вековыми деревьями; принесением человека в жертву варвары открывают свой ужасающий обряд. У них есть другой способ выразить свое благоговение пред этим лесом: никто не смеет вступать в него иначе, как с цепью на руке, в знак своей слабости и памятуя могущество божества. Если кто случайно упадет, ему воспрещается подняться и встать: он должен катиться по земле. Этот суеверный обряд указывает на то, что люди вышли из земли (inde initia gentis), что там обитает бог вселенной (omnium deus), и что все остальное подчиняется и повинуется ему. Благоденствие семнонов увеличивает их могущество: их владения разделяются на сто округов, и многочисленность их дает им право считать себя во главе свевов.

Напротив того, лангобарды уважаются и при своей малочисленности; окруженные многими могущественными народами, они обороняются не готовностью быть покорными, а любовью к войне и опасностям. Потом следуют ревдинги, авионы, английи, варины, эвдозы, свардоны и нуитоны, защищаемые реками и лесами. Все эти народы не представляют ничего замечательного; разве только одно – что все они одинаково обоготворяют Нерту (то есть Герту), то есть мать-землю, и верят, что это божество принимает участие в делах людских и посещает народы. На одном острове океана находится священный лес, и посреди него колесница, покрытая холстом и посвященная этому божеству. Коснуться ее дозволяется одному жрецу. Он знает, когда богиня восседает на колеснице, и правит с величайшим благоговением двумя телицами, влекущими ее. Тогда наступают веселые дни; места, которые она удостоивает своим посещением, учреждают празднества. Никто не идет на войну и не берет оружия в руки; все железное прячется; все только и знают, только и любят, что мир и покой, пока тот же жрец не отвезет назад богиню, насытившуюся уже пребыванием среди смертных. Тогда колесница и ее покрывало, а если хотите верить, и сама богиня омываются в уединенном озере; этот обряд совершают рабы, которые тотчас же поглощаются тем же озером. На этом основан таинственный страх и святое неведение относительно вопроса: что может быть заключено там, чего нельзя видеть иначе, как под условием смерти?

Эта часть свевов углубляется в самые отдаленные страны Германии. Теперь, если следовать по течению Дуная, как мы только что сделали с Рейном, то ближайшим к нам народом будут гермундуры, верные римлянам, почему они одни из германцев могут торговать не только по берегам, но и внутри страны, и даже в самой цветущей из наших колоний, в провинции Ретии[1]. Они ходят везде и без конвоя; другим народам мы показываем только наше оружие и наши укрепления, им же открываем наши городские и сельские дома, не возбуждая тем опасной зависти. В стране гермундуров берет свое начало Эльма – эта знаменитая и некогда знакомая нам река: а ныне известная только по имени.

Возле гермундуров живут нариски, а далее маркоманы и квады. У маркоманов больше всех славы и силы; самую землю свою, изгнав давно уже оттуда бойев, они приобрели храбростью. Нариски и квады не уступят им; они образуют как бы авангард придунайских германцев. Маркоманы и квады до нашего времени имели королей из своего же племени, из благородных фамилий Марободуя и Тудра; но теперь они допускают и чужеземцев. Сила и власть ко-

[1] Тацит разумеет, вероятно, Augusta Vindelicorum, ныне Аугсбург.

ролей опирается на Рим; но мы редко помогаем им оружием, чаще деньгами – и тем не менее они могущественны.

Позади, в тылу у маркоманов и квадов, живут марсигны, готины (gothini), озы и бурии. Из них марсигны и бурии походят на свевов языком и одеждой. Галльский язык готинов и паннонский озов доказывают их не германское происхождение; притом же они допускают облагать себя податями. Часть этих податей налагают на них сарматы, а часть – квады, считая их инородцами. Для довершения позора готинов, их употребляют для разработки железа. Все эти народы редко поселяются на равнинах и живут на обрывах и на вершинах горных хребтов. Действительно, вся Свевия разделена на две части непрерывной цепью гор, по которым расселены многочисленные народы; из них более всего распространено имя лигиев, обнимающее собою множество поселений. Достаточно наименовать более значительные из них: арии, гельвеконы, манимы, элизии, наганарвалы. У наганарвалов существует древняя священная роща. Во главе религии стоит жрец, одевающийся по-женски; но боги их, если сравнивать религию наганарвалов с римской религией, могут быть названы Кастором и Поллуксом; значение их одинаково, и называются они алками (Alki). Алки не имеют для себя изображений, и в их культе нет никаких следов заимствования из какой-нибудь чужеземной религии; однако тем не менее они почитались братьями и юношами. Впрочем, арии, превосходя силами все вышеисчисленные народы, особенно свирепы, и умеют еще свою прирожденную свирепость увеличивать искусством и выбором времени для нападения: щиты их черны, тело окрашено, а для битвы они выбирают самую темную ночь. Страшный и мрачный вид их оружия распространяет ужас: никто не может вынести такого небывалого и адского зрелища, потому что во всех битвах прежде всего наносится поражение глазам (oculi primi vincuntur). За лигиями далее живут готоны (gothones; у писателей эпохи падения Западной Римской империи они называются gothi, готы), управляемые королями и потому более дисциплинированные, чем другие германские народы, без ущерба, однако, для свободы. Далее, по направлению к океану, живут ругии и лемовии; отличительный знак этих народов: круглый щит, короткие мечи и подчиненность королям.

Еще далее, на самом океане (Балтийское море), находятся селения суионов (Suiones, откуда позднейшее имя Sueci, шведы), сильных не только войском и оружием, но и флотом. Форма их судов отличается тем, что они имеют с обеих сторон нос, и потому всегда готовы действовать с фронта; не снабжены парусами, и весла не привязаны в порядке по бокам, но, как на некоторых речных судах, оставляются подвижными и употребляются в том или другом месте, смотря по обстоятельствам. Богатство пользуется у них большим уважением, и вследствие того они подчиняются воле одного, без всяких ее ограничений; обязанность повиноваться не имеет условий (non praecario jure parendi). Даже оружие не находится у них в руках каждого, как у других германских народов, а заперто и под стражей, которая состоит притом из рабов: океан охраняет их от внезапных нападений неприятеля, а люди праздные и вооруженные весьма легко развращаются. Наконец, выгода королевской власти требует, чтобы в хранители оружия не был назначаем ни благородный, ни свободнорожденный, ни даже вольноотпущенный.

Далее, за суионами, простирается другое море, спящее и почти неподвижное (то есть вечно покрытое льдами); что оно опоясывает и замыкает со всех сторон вселенную, о том заключают на основании того, что лучи заходящего солнца в тех местах продолжают сиять до самого восхода с таким блеском, который затмевает звезды. Общее убеждение присовокупляет к тому ясный шум (то есть волн от колесницы Аполлона), очертание коней и голову, окруженную лучами. Тут и находятся пределы природы. На правом берегу Свевского моря (Балтийского) живут эстуи (отсюда эстоны), которые по своим обычаям и одежде походят на свевов, но язык их ближе к британскому. Они поклоняются матери богов (то есть Герте, Земле). Особенность их



Остготский воин. Мраморный рельеф первой половины V в. Равенна. Часовня гробницы экзарха Исаака

культа представляют носимые ими на себе фигурки вепря (formas aprorum); это охраняет и защищает, как оружие, так что верный поклонник богини считает себя безопасным даже среди неприятеля. Они редко употребляют железо, но палку – часто. Они сеют хлеб и выполняют другие работы с большей терпеливостью, чем можно бы ожидать от обычной лени германцев. Они промышляют и на море, и только одни занимаются отыскиванием, на дне морском и по берегам, янтаря (succinum), который на их языке называется глез, glesus (ныне Glas, стекло). Ни свойств, ни его происхождения, как варвары, они не пытались узнать. Янтарь долго валялся на морском берегу вместе с прочими предметами, выбрасываемыми морем,– до тех пор, пока наша роскошь ни придала ему ценности: сами же варвары не делают из него никакого употребления, собирают, как есть, в том же грубом виде продают, и удивляются, за что им платят. Янтарь можно принять за остывший древесный сок, потому что в нем часто замечаются ползающие и даже крылатые насекомые, которые, завязнув в жидкости, по затвердении ее остаются внутри прозрачной массы. Я полагал бы, что, подобно тому, как в отдаленных странах Востока находятся рощи и леса сочных деревьев, которые дают ладан и обтекают бальзамом, так и на Западе существуют острова и земли, в лесах которых лучи близкого к ним солнца выгоняют сок из деревьев, и жидкость скатывается в соседнее море, откуда, силою бурь, прибивается к противоположному берегу. Если для открытия свойств янтаря положить его на огонь, то он загорится, как смола, и даст пламя, обратившись в густую и благовонную жидкость, а потом застынет, подобно сере или резине. Племя ситонов составляет продолжение суионов, сходное с ними во всем, отличающееся только в том отношении, что управляется женщиной: таким образом, они не только не свободны, но и в самом рабстве еще рабы (non modo a libertate, sed etiam a servitute degenerant). Тут пределы свевской земли.

Я не знаю, куда отнести певцинов, венедов и феннов (Fenni, ныне финны): к сарматам или к германцам? Если певцины, которых иные называют бастарнами, напоминают германцев языком, одеждой и жилищами, то, с другой стороны, по неопрятности всего народа, по лености знатных, по смешанным бракам, они не выше быта сарматов. Венеды заимствовали многие из своих обыча-

ев у последних. Они опустошили своими грабежами все горные леса, находящиеся между певцинами и феннами. Однако же их можно причислить скорее к германцам, ибо они, как и те, строят себе жилища, носят щиты и любят упражнять своих пехотинцев в ловкости,– все это незнакомо сарматам, проводящим жизнь на конях и в кибитках. Фенны чрезвычайно дики и отвратительно бедны; они не имеют ни оружия, ни лошадей, ни домов; трава – их пища, шкуры – одежда и земля – постель. Вся их защита – стрелы, заостренные, по недостатку железа, костями. Охота составляет занятие одинаково и мужчин и женщин: они отправляются вместе, и каждый имеет свою часть в добыче. Дети не имеют другого спасения от дождя и диких зверей, кроме шалаша из ветвей. Там укрываются и юноши, и старики. Они считают себя счастливее тех, которые вздыхают над плугом, устают при постройке домов, мучатся страхом за свое имущество и жаждой чужого добра. Не боясь ни несправедливости людей, ни гнева богов, они достигли того, что более всего трудно: им ничего не нужно желать! Все другие рассказы об этих странах баснословны: например, геллузии и оксионы, по рассказам, имеют лицо человеческое, а туловище и прочие члены, как у диких зверей; оставляю все это, за неимением доказательств, неразрешенным.

De situ, moribus et popul. Germaniae,
I–VI: XXVIII–XLVI.

Павел Дьякон

ПОЗДНЕЙШИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ О ДРЕВНЕЙ ГЕРМАНИИ (конец VIII в.)

Чем больше северная полоса отдалена от солнечного жара и охлаждена влиянием льдов и снегов, тем она здоровее для человеческого тела и тем более благоприятна для размножения народонаселения; в странах полуденных наоборот: чем ближе они к солнечному зною, тем больше в них болезней, и тем менее они способны к рождению людей крепкой породы. Вот почему на севере образовались такие огромные массы народов, и не без причины также целая полоса земли, западнее Дона называется одним общим именем – Германия, хотя отдельные ее части имеют свои особенные названия. Впрочем, римляне называли Верхней и Нижней Германией только две зарейнские провинции, пока они владели ими. Из этой многолюдной Германии часто увозились бесчисленные толпы пленников и продавались южным народам; нередко также многие народы и сами уходили оттуда, потому что людей рождалось больше, нежели сколько земля могла прокормить: они переселялись иногда в Азию, но преимущественно в Европу, как в страну, лежащую ближе к ним. О том свидетельствуют повсюду разоренные города во всей Иллирии и Галлии, а в особенности в несчастной Италии, которая испытала на себе свирепость почти всех тех народов. Готы, вандалы, руги, герулы, турцилинги и многие другие дикие и варварские племена пришли из Германии. Равным образом, народ винилов или лангобардов, который впоследствии счастливо господствовал в Италии, принадлежал к германскому племени и переселился с острова Скандинавии, что объясняют еще и другими причинами.

Плиний Младший в своем сочинении «О природе вещей» упоминает об этом острове. Он, как мне рассказывали люди, бывавшие там, собственно не лежит среди моря, но его только омывают вокруг морские волны, по плоскости его берегов[1]. Когда народонаселение этого острова до такой степени размножилось, что не могло уже более помещаться на нем, жители, как рассказы-

[1] Non tam in mari est posita (insula), quam marinis fluctibus, propter planiciem marginum terras ambientibus circumfusa, etc. Автор хочет выразить таким образом, что Скандинавия отделяется от материка узкой полосой Балтийского моря и проливами, соединяющими его с Немецким морем.

вают, разделились на три части и решили по жребию, которая из них должна оставить остров и искать нового места для поселения.

Те, которым выпал жребий оставить отечественную землю и идти на чужбину, избрали себе в предводители двух братьев, Ибора и Агиона, бывших еще в самом цветущем возрасте и отличавшихся перед прочими. Затем они простились с соотечественниками и родиной и отправились в путь, искать новой земли для поселения. Мать тех предводителей звали Гамбарой. Это была женщина, прославившаяся своими умом и решительностью характера; в самых трудных обстоятельствах к ней имели большое доверие.

Я считаю небесполезным прервать на короткое время нить рассказа и, так как речь идет о Германии, рассказать, между прочим, о том чуде, которое там у всех на языке. На самых отдаленных западных границах Германии можно видеть, на берегу моря, под высокою скалой, пещеру, где, неизвестно с какого времени, лежат погруженные в глубокий сон семь мужей, у которых не только тела, но даже и одежда нисколько не повреждены, и именно потому, что в продолжение столь многих лет они оставались неиспорченными, тамошние грубые и невежественные народы оказывают им большое уважение. Судя по одежде, их должно принять за римлян. Однажды из любопытства кто-то хотел одного из них раздеть: говорят, что вскоре после того у него отсохли руки. Наказание это до такой степени всех устрашило, что потом никто не осмеливался дотрагиваться до спящих. Последствия покажут, для какой цели божественное провидение сохраняет их так долго. Быть может, их проповедью,– а их считают никем другим, как христианами,– те народы должны быть еще раз призваны к спасению.

Вблизи того места живет народ – скриптовины, у которых даже летом бывает снег. Они немногим отличаются от диких зверей, ничего не едят, кроме их сырого мяса, а из необделанных шкур приготовляют себе одежду. В переводе с варварского языка имя этого народа означает – прыгание: одним ловким прыжком, при помощи кривой, лукообразной дубины, они убивают диких зверей. У них есть животное, похожее на оленя; из его жесткой шкуры я видел платье, достигающее до колена; вроде туники, как его носят вышеупомянутые скриптовины. В этих странах, во время летнего поворота солнца (в июне), в течение нескольких дней светло и ночью, и дни длиннее, чем где-либо; во время же зимнего поворота солнца, наоборот: хотя светло, но солнце невидимо, дни короче и ночи длиннее, чем где-либо; во время же зимнего поворота солнца, тем оно, по-видимому, больше приближается к земле, и тени становятся длиннее. В Италии, на святках, в шестом часу[1], как о том уже пишут древние, от мужчины падает тень длиною в девять футов. В бытность мою в Бельгийской Галлии, в местечке Тотонисвилле (ныне Тионвилль, на Мозеле), я смерил свою тень и нашел, что она имела длины 19$^1/_2$ фута. Наоборот, чем ближе в полдень к югу, тем тени делаются короче, так что около полудня в Египте, Иерусалиме и других соседних местах в период летнего поворота солнца теней совершенно не бывает.

В это же самое время года, в Аравии, около полудня, солнце стоит на севере и тени падают к югу.

Недалеко от морского берега, о котором я упомянул, к западу, куда распространяется бесконечный океан, находится неизмеримо глубокий водоворот, который мы в переносном смысле называем «пупом моря». Два раза в день поглощает он и опять извергает морские воды, в чем нас убеждают морские волны, которые с неимоверной быстротой стремятся к этому берегу назад.

Поэт Вергилий называет подобный водоворот, или пучину, Харибдой, которая, по словам его поэмы (Энеида, III, 420–423), находится в Сицилийском проливе. Он ее описывает следующими словами: «На правой стороне Сцилла, а с левой восседает Харибда: пучина трижды втягивает своей пастью морские волны, и, выкинув их снова, пеной обрызгивает звезды».

---

[1] Полдень.

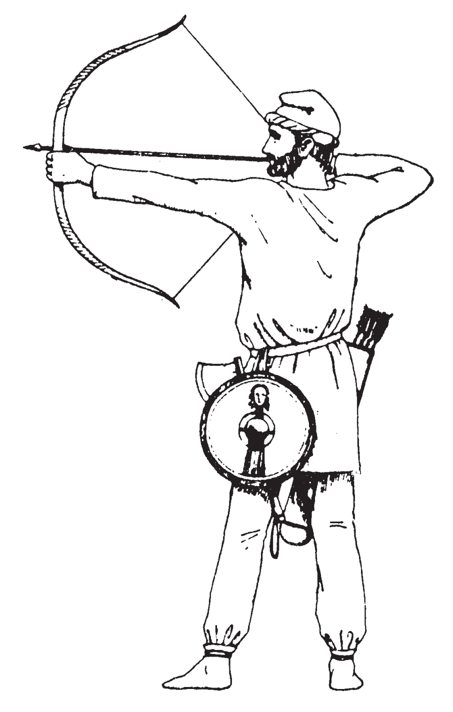
Вышеупомянутый водоворот часто, как уверяют, притягивает корабли, и притом столь внезапно и с такой быстротой, что они летят, подобно стреле, и нередко ужасно погибают в этой пучине. Но часто также случается, что корабль, на краю гибели, силой волн выкидывается назад и летит далее с той же быстротой, с которой был притянут. Утверждают, что будто бы подобный же водоворот находится между островом Британией и провинцией Галлицией (на северо-западе Испании), в доказательство чего указывают на берега при устье Сены и в Аквитании, которые ежедневно два раза столь внезапно наводняются, что с трудом может спастись всякий, кто далеко отошел от берега к морю. Тогда можно увидеть, как реки тех земель быстро возвращаются назад, к своему истоку, и пресная вода их, на несколько миль вверх по реке, получает острый соленый вкус. Миль около тридцати от устьев Сены лежит остров Эбодия (ныне Алдерней, близ Нормандии), на котором, как уверяют его жители, можно слышать шум воды, стремящейся в чертоги Харибды. Я слышал от весьма знатного галла, что один корабль, уже прежде сильно пострадавший от бури, был поглощен этой же самой Харибдой. Все люди, находившиеся на этом корабле, погибли, исключая одного, который был притянут быстрым течением к самому устью страшной пучины. Когда он был уже на краю этой бездонной и широкой пропасти и, полумертвый от страха, готовился низринуться в нее, как вдруг неожиданно очутился на скале; определенное количество воды, которое должно было поместиться в этой пропасти, было уже ею поглощено, и потому ее края осушились. После такой опасности, когда он, дрожа от страха, едва мог сидеть и все еще ожидал отсроченной на время смерти, как вдруг он увидел на дне пучины нечто вроде большой горы, поднимающейся снизу и несущей на себе потопленные корабли. Когда один из обломков находился в близком от него расстоянии, он схватился за него всей силой и быстро вместе с ним полетел к берегу. Так он спасся от страшной погибели, и потом сам рассказывал о своей великой опасности. Можно предполагать также, что и наше, то есть Адриатическое море, хотя оно и с меньшей силой, но подобным же образом выступает на венецианские и истрийские берега, имеет также подобные, только в меньших размерах и более скрытые каналы, которые поглощают в себя отступающую воду и потом снова выкидывают ее на берег. Сделав такое отступление, возвращаюсь опять к начатому рассказу.

История лангобардов. I, 1–6.

Аммиан Марцеллин

ДРЕВНИЕ ИЗВЕСТИЯ О ВОСТОЧНЫХ СОСЕДЯХ ГЕРМАНИИ (около 380 г.)

Дунай (Ister), принимая в себя большие потоки, протекает по земле сарматов (Sauromatae), жилища которых тянутся до Дона (Tanais), отделяющего Азию от Европы. Далее, в безграничных пустынях Скифии, живут аланы, получившие свое наименование от гор; частыми победами покорив мало-помалу пограничные народы, они, подобно персам, распространили свое имя, как благородное, на всех прочих. Между этими народами в средине находятся невры, в соседстве с крутыми скалами, которых обрывистые и обледенелые вершины обхватываются аквилоном (северным ветром). За ними живут будины и гелоны, народы самых жестоких нравов: они, сдирая кожу с убитого неприятеля, делают из нее для себя одежду, а для лошадей попону; воинственное племя агатирсы граничат с гелонами; их узнают по голубому цвету, которым они окрашивают свое тело и волосы. Простолюдины (humiles) делают пятна маленькие и редкие, а благородные – большие, более темные и в большем количестве. Далее, меланхлены и антропофаги, которые,



Лучник из наемных варварских отрядов римской армии. IV в. Современная реконструкция

я слышал, ведут жизнь кочевую и едят человеческое мясо. Такая отвратительная пища заставила их соседей, оставив их, удалиться на большое расстояние. Вот почему все пространство земли на юго-восток до Китая необитаемо. С другой стороны, недалеко от страны амазонок, на восток, живут аланы, рассеянные между бесчисленными народами, жилища которых углубляются далеко в Азию, и, как я слышал, распространяются до реки Ганга, перерезывающего земли индусов и впадающего в Восточное море. Аланы, раскинутые в двух частях света (здесь не место перечислять все их различные народы), хотя удалены на большое расстояние друг от друга, но странствуют, как номады, в виде обширных селений: с течением времени они получили общее имя и все были названы аланами... Они совсем не имеют шатров, не обрабатывают земли, питаются мясом и молоком, живут в кибитках, покрытых древесной корой, и странствуют таким образом по бесконечным пустыням. Когда они приходят на какое-нибудь пастбище, то располагают свои кибитки в виде круга и кормятся тут по способу диких зверей. Как скоро истощится запас, они везут свой складной город далее; внутри кибиток мужчины живут вместе с женщинами, там рождают детей, и там же воспитывают их; это их постоянное жилище; на страну, в которую они приходят, они смотрят как на свое отечество. Гоня пред собою рогатый и мелкий скот, они пасут его; но главная забота их сосредоточена на лошадях. В тех странах луга всегда покрыты травой и перемежаются плодоносными оазисами, так что эти кочующие народы, в какую бы сторону ни направляли свой путь, не имеют нужды заботиться о пище или подножном корме: все это дается влажной почвой, орошаемой многочисленными реками. Слабые, по своему полу или возрасту, сидят около повозок и исправляют домашние работы. Молодые люди, привыкшие с раннего детства ездить на лошади, смотрят на ходьбу пешком, как на унижение. Разнообразная дисциплина делает из них благоразумных воинов. Вследствие того же самого и народы скифского происхождения весьма ловки в сражении. Знатные между аланами почти все красивы: волосы несколько русые, глаза несколько косые и суровый взгляд, легки на ногу и легко вооружены; во всем похожи на гуннов, только опрятнее наружностью и разборчивее в пище. Занимаясь грабежом и охотой, они доходят до Меотийских болот и Киммерийского Босфора, и простирают свои набеги до Армении и Мидии. Как людям тихим и мирным желателен мир, так им приятны война и опасности. Тот почитается счастливым, кто умрет в сражении; состарившиеся и погибшие от несчастного случая преследуются жестокими оскорблениями, как трусы и презренные люди: нет лучшей похвалы, как сказать, что такой-то убит в сражении, а самую славную добычу составляет кожа, содранная с убитого неприятеля, которую они надевают на своих боевых коней вместо чепрака. У них не видно ни храмов, ни капищ, ни молелен, покрытых соломою; меч, наголо вонзенный в землю, внушает им большее почтение, нежели Марс в тех странах, около которых

они кочуют. Будущее они предсказывают удивительным образом: набрав прямых прутьев, они раскладывают их с таинственными песнями в назначенное время, и по ним видят ясно то, о чем гадают. Они не знают рабства, потому что у них все родились в одном благородном племени. Они выбирают себе также судей, испытанных во время продолжительных войн. На этих-то алан, древних массагетов, напал воинственный и неукротимый народ гуннов, горя бесчеловечной жаждой грабежа и насытившись кровью и расхищением своих ближайших соседей.

Гунны, упоминаемые в древних памятниках только мимоходом, живут за Меотийскими болотами, близ Ледовитого моря, и своими нравами превышают всякую меру жестокости. Еще у новорожденных они глубоко разрезают мечом щеки, чтобы стянувшиеся рубцы остановили своевременный рост волос, и потому гунны в старости безбороды и безобразны, как евнухи (spadones). Члены их тела крепки и тверды; шея толстая; с виду они чудовищны и до того сутуловаты, что их примешь за двуногих животных или за грубо высеченные столбы с человеческой фигурой, какие обыкновенно ставятся по краям мостов. Как непривлекателен их внешний вид, так груба и вся обстановка их жизни: они не употребляют огня для согревания пищи и питаются кореньями диких трав и полусырым мясом всякой твари, которое они слегка согревают, положив его между свиденьем и хребтом лошади. У них нет крытых жилищ: они бегут от них, как от могил. Даже нет хижин, покрытых тростником. Кочуя по горам и лесам, они привыкли переносить с колыбели холод, голод и жажду. Они с трудом решаются войти в крытое здание, и то по крайней необходимости: гунн не считает себя безопасным под кровлей. Они употребляют полотняные одежды или сшитые из кожи полевых мышей: в этой одежде они и дома сидят, и выходят. Но рубашка, неопределенного цвета, однажды завязанная на шее, не снимается до тех пор, пока она, износившись, не расползается в лохмотья. Голова покрывается кривой шапкой (galera), а волосатые ноги обертываются козлиными шкурами; их башмаки не имеют никакой формы и мешают им свободно ступать. По этой причине гунны неспособны сражаться пешими. Они как будто прикованы к своим лошадям, сильным, но безобразным; иногда они сидят верхом, как женщины, и в этом положении занимаются своими обыкновенными делами. Нет ни одного из них, который не мог бы провести день и ночь на лошади; сидя на ней, он продает и покупает, ест и пьет, припадает к узкой шее своего животного, и в глубоком сне ему грезятся всевозможные сновидения. Также верхом на лошади они рассуждают сообща о делах важных. Гунны не признают строгой королевской власти, и перед самым вторжением в ряды неприятелей избирают второпях вождя из среды самых знатных.

Они никогда не нападают прямо, а перед сражением, построившись клинообразно, испускают предварительно крик, приводящий в ужас. Так как они быстры и легки на бегу, то внезапно, с намерением рассыпавшись, могут снова соединиться и нестройною толпою разносить повсюду смерть. Во время войны они не нападают на укрепления и, за скоростью, не грабят неприятельского лагеря. По всему этому их можно принять за самых неустрашимых воинов: издалека они пускают дротики, на конце которых прикреплены с удивительным искусством заостренные кости; вблизи сражаются мечами, не щадя самих себя, а раненого неприятеля вяжут скрученными ремнями, с тем, чтобы, скрутив, отнять у него возможность ездить и ходить. Ни один из них не обрабатывает земли и не дотрагивается до плуга; ни у кого нет постоянного жилища, ни домашнего крова, ни законов, или неизменного обычая; они всюду блуждают, как беглецы, со своими кибитками, в которых живут: там их жены занимаются приготовлением безобразных одежд мужьям; там же все вместе спят, рожают детей и вскармливают их до отроческого возраста.

Ни один из них, если его спросить, не знает, откуда он, потому что он в одном месте был зачат, в другом рожден, а воспитан еще где-нибудь далее. При перемирии гунны непостоянны и вероломны; при

случае они изменяются, предаваясь новой надежде с чрезвычайным неистовством. Нравами подобные нерассудительным скотам, они вовсе не знают различия между честным и бесчестным; в разговоре двусмысленны и темны; ни истинная, ни ложная религия не связывает их никаким почитанием; они горят неимоверной страстью к золоту. Непостоянство их и наклонность к гневу столь велики, что часто в один и тот же день они ссорятся со своими друзьями без всякой причины и примиряются без того, чтобы кто-нибудь их убеждал к тому.

Rer. Gest. libri XXXI; кн. XXXI, 2.

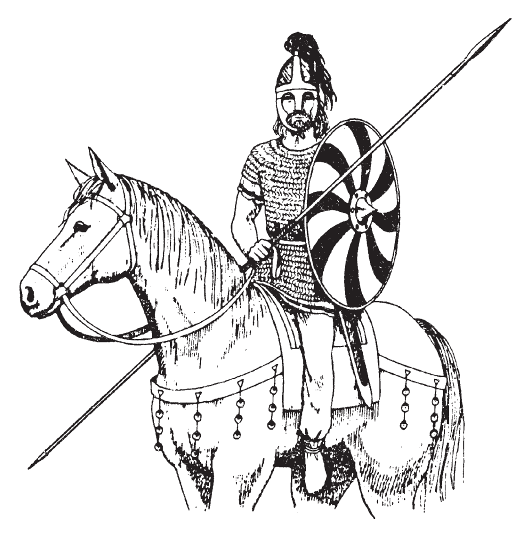
Иордан

НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ (около 550 г.)

Готы положили начало своему могуществу в правлении своих королей Ариарика и Аорика (современников Константина Великого и его союзников). По смерти их королевство наследовал Геберих, знаменитый и по происхождению, и по доблести; рожденный Гельдерихом, имея дедом Овиду и прадедом Нидаду, Геберих своими блестящими подвигами сравнился со славою своего рода. В начале правления он напал на вандалов и пошел на Визимара, их короля, из дома Аздингов, которые, по свидетельству историка Дексиппа, отличаются между всеми другими и составляют самый воинственный род; по его же показанию, вандалы потратили целый год для перехода от берегов океана к нашим границам: так огромно пространство этих земель. В то время они расположились на том самом месте, где ныне сидят гепиды, по берегам рек Маризии, Милиара, Гильпиль и величайшей из всех них, Гризии. На восток от вандалов жили готы, на запад – маркоманы, на север – гермундуры, а на южной границе протекала река Истер, называемая также и Дунаем (Danubius). Когда вандалы жили именно в этих местах, на них напал Геберих, король готов, и после кратковременной борьбы с ними на берегах вышеупомянутой реки Маризии, поразил короля вандалов, Визимара, вместе с большей частью его народа. Но Геберих, знаменитый вождь готов, победив и ограбив вандалов, возвратился домой, откуда пришел. После того те немногие из вандалов, которые уцелели от поражения, захватив с собою старых и малых (inbellium suorum) и оставив несчастную родину, просили у императора Константина Паннонию для поселения, и помещенные там на основании императорских декретов, жили около 60 лет, считаясь вселъниками (incolae). По приглашению Стиликона, начальника всей пехоты, бывшего консула и патриция, вандалы оттуда переселились в Галлию, где, предаваясь грабежу по границам, не имели постоянных жилищ.

По смерти Гебериха, короля готов, спустя некоторое время, вступил в правление Германарик (в начале второй половины IV столетия), благороднейший из фамилии Амалов, который усмирил многие самые воинственные северные народы и подчинил их своим законам. Наши предки справедливо сравнили его с Александром Великим. Ему были подвластны: готы, скифы, твиды, инаунксисы, вазинабронкасы, меренсы (мерь?), мордензимнисы (мордва?), карисы (карелы?), рокасы, тадзансы, атуалы, навего, бубегентасы и колдасы. Но прославившись подчинением такого множества народов, Германарик не мог допустить того, чтобы народ герулов, управляемый Алариком и уже большей частью истребленный, не признавал над собою его власти. Этот народ, населяя топкие места, вблизи Меотийских болот, называемые у греков Hele, оттуда и название герулов, отличался быстротою набегов и тем более был дерзок. В то время все народы вербовали у них легкую пехоту для своего войска. Но быв непобедимы в быстроте против других воинственных племен, герулы уступили стойкости и медлительности готов, и, по воле судьбы, подчинились власти короля готов (Getarum geri)

Германарику, вместе с прочими народами. После поражения герулов тот же Германарик повел войско против венетов; они хотя и неопытны в военном деле, но при своей многочисленности попытались сначала сопротивляться. Но никакая многочисленность людей невоинственных не может устоять против вооруженной силы, особенно если им Бог не поможет. Венеты разделяются на три части: венетов, антов и склавен (славян); все они теперь, за грехи наши, свирепствуют против нас, а тогда все признавали над собою власть Германарика. Равным образом, и народ эстов, занимающий длинные берега Германского океана (Балтийского моря), покорился его уму и доблести; своими трудами он покорил все народы Скифии и Германии.



Остготский кавалерист. Кольчуга и каркасный шлем – характерные элементы защитного вооружения IV в. Круглый щит с заостренным умбоном – форма, продержавшаяся до X в.

По истечении краткого времени (в 376 г.), как рассказывает Орозий, на готов напали гунны, народ, превосходящий всех своей жестокостью. По преданию древности, я узнал следующее о их происхождении. Филимер, король готов и сын Гандарика Великого, пятый в порядке лиц, управлявших королевством готов, по удалении их с острова Скандзы (Скандинавии), и под предводительством которого его народ вступил в земли скифов, узнал, что среди его народа водятся какие-то ведьмы, которых он сам называл на своем родном языке алиорумнами. По его приказанию они были выгнаны и осуждены блуждать в степях, далеко от лагеря готов. Нечистые духи, увидев ведьм, скитавшихся в пустыне, сочетались с ними и породили этот варварский народ – гуннов. Гунны сначала жили в болотах, видом были малорослы, грязны и гнусны, едва похожи на людей, и ни один звук их голоса не напоминал человеческого языка. Так произошли те гунны, которые приблизились к землям готов. Это дикое племя, по словам историка Приска, жило на другом берегу Меотийских болот, занималось единственно охотой и ничем другим; разросшись впоследствии в целый народ, гунны начали тревожить своих соседей грабежами и коварством. Однажды гуннские охотники, преследуя, как обыкновенно, добычу на другом берегу Меотийских болот, заметили внезапно пред собою лань; войдя в болота, лань то шла вперед, то останавливалась, и как бы указывала дорогу. Охотники последовали за ней и таким образом перешли вброд Меотийские болота, которые они считали непроходимыми, как и всякое море. Вскоре, когда показалась скифская земля, неведомая гуннам, лань исчезла. Я убежден, что все это сделали те нечистые духи, от которых произошли гунны, из ненависти к скифам. Не подозревая существования другого мира по ту сторону Меотийских болот, охотники, пораженные удивлением к открытым ими землям Скифии, как люди суеверные, приписали все сверхъестественному указанию того пути, который до того времени никому не был известен. Возвратившись к своим, они рассказали происшедшее, хвалили Скифию, и, убедив свой народ, поспешили в путь той же дорогой, которую они открыли по указанию лани. Все попавшиеся навстречу скифы были принесены в жертву победе, а остальные, по усмирении их, признали над собою власть гуннов. Перейдя это обширное болото, гунны покорили алипзуров, алцидзуров, итимаров, тункассов и боисков, целый рой народов, населявших тот берег Скифии. Затем они завоевали алан, утомив их беспрерывной

борьбой; аланы не уступали им в военном деле, а образованностью, образом жизни и наружностью существенно отличались от них. Гунны, может быть, и не превосходили алан в искусстве войны; но аланы, приводимые в ужас одной их наружностью, обращались в бегство от страха: у гунна лицо было ужасающей черноты и походило, если можно так выразиться, на безобразный кусок мяса с двумя дырами вместо глаз. Такая страшная внешность говорила о мужестве души; гунны свирепы даже со своими новорожденными: они мечом исцарапывают им щеки, чтобы приучить их терпеливо переносить раны, прежде нежели дитя научится сосать. Оттого у гуннов старики остаются безбородыми, и юноши лишены украшения совершеннолетия: раны изрытого лица уничтожают заблаговременно корни бороды и усов. Ростом гунны невелики, но ловки в движении и весьма искусны в наездничестве; широкоплечи и вооружены стрелами и луком; толстошеи и всегда гордо выпрямляются. Имея вообще человеческую фигуру, гунны живут как дикие звери.

Когда готы увидели в первый раз это воинственное племя, покорившее уже многие народы, они пришли в ужас и совещались со своим королем, какими средствами можно спастись от подобного неприятеля. В то время, когда Германарик, хотя он, как я выше сказал, вышел победителем из борьбы со многими народами, однако же начал думать о появлении гуннов, вероломные россомоны (Rossomoni, по др. списк. Roxolani, принимаемые за один народ с тем, который у греческих писателей назывался οιΡϖς – руссы), бывшие у него в рабстве, нашли следующий случай погубить его. Одна женщина, по имени Сванигильда, из племени россомонов, вследствие дезертирства ее мужа, по приказанию раздраженного короля, была привязана к диким лошадям и разорвана на части. Его братья, Сар и Аммий, мстя за смерть золовки, поразили мечом Германарика в бок; истощенный раной, король влачил после того печальную жизнь. Услышав о слабом здоровье Германарика, Баламбер (по другому источнику – Баламир), король гуннов, овладел частью владений остготов; вестготы, вследствие внутренней распри, отделились от их союза. Между тем Германарик, как от раны, так и от горя, которое ему причиняли набеги гуннов, умер на 110-м году жизни, в глубокой старости (grandaevus et plenus dierum). Его смерть дала гуннам возможность получить перевес над теми готами, которые занимали восточный край и потому назывались остготами.

Вестготы, то есть те их союзники, которые жили на западе, устрашенные судьбой своих соотечественников, рассуждали о своей участи по поводу гуннов, колебались, и, наконец, по долгом размышлении, общим приговором решили отправить в римскую землю послов к императору Валенту, брату старшего Валентиниана, прося дать им часть Фракии или Мизии для поселения, на основании римских законов, с повиновением его воле. И чтобы внушить к себе более доверия, они обещали принять христианство, если император пришлет своих богословов (doctores linguae suae). Узнав это, Валент немедленно и с радостью изъявил согласие на то, о чем и сам хотел стараться; поселив остготов в части Мизии, он сделал из них оплот империи против других варваров. Но так как император Валент был проникнут арианской ересью и закрывал все церкви нашего исповедания (nostrarum partium), то он отправил к готам своих лжеучителей, которые и влили в сердца людей грубых и невежественных яд своей ереси. Таким образом, благодаря императору Валенту вестготы сделались скоре арианами, нежели христианами. Впоследствии, проповедуя евангелие своим соотечественникам, остготам и гепидам, они и их научили этой ереси и ввели ее ко всем народам, говорящим тем же языком. Сами же вестготы, как я сказал, перейдя Дунай, с дозволения императора, поселились в береговой Дакии, Мизии и Фракии.

De Gothorum origine et rebus gestis.
XX–XXV.

Иордан

АТТИЛА (около 550 г.)

Этот Аттила был рожден Мундзуком, двоюродные братья которого, Октар и Роас, как рассказывают, царствовали до него в земле гуннов, хотя не в том объеме, как сам Аттила. Он наследовал им после их смерти, вместе с двоюродным братом Бледою; готовясь к походу, который он замышлял, Аттила решил увеличить свои силы братоубийством и стремился вместе с тем погубить всех своих родственников. Бледа, царствовавший в большей части земли гуннов, был коварно умерщвлен. Соединив под своей властью всех гуннов и собрав вместе все народы, подчиненные им, Аттила задумал покорить себе две первые нации в мире – римлян и вестготов. Его войско доходило до 500 тысяч. Этот человек родился в мир для потрясения народов и внушения страха всему миру; не знаю, каким образом одно его имя наводило ужас на всех. Он выступал гордо, озираясь вокруг, чтобы казаться страшным в самых движениях выпрямленного тела. Любя войну, Аттила был умерен в деле, тверд в совете, снисходителен к просьбам и благосклонен к тем, кого однажды принял под свое покровительство. Рост его был невелик, грудь широкая и большая голова, глаза узкие, редкая борода с проседью, плоский нос и тело смуглого цвета, обличающего его происхождение. Хотя уже по самой своей природе он был настроен к великим замыслам, но найденный меч Марса, который все короли скифов считали священным, увеличил самоуверенность Аттилы. По рассказу историка Приска, меч был найден по следующему случаю. «Пастух,– говорит он,– заметив, что одна телица в его стаде хромает, и не понимая, что могло ее ранить, пошел по следам крови и наконец нашел меч, на который телица, щипля траву, ступила по неосторожности; вырыв меч из земли, пастух немедленно отнес его к Аттиле. Аттила был весьма обрадован таким приношением и, как человек честолюбивый, полагал, что меч Марса вручает ему судьбу битв и сделает его властелином всего мира».

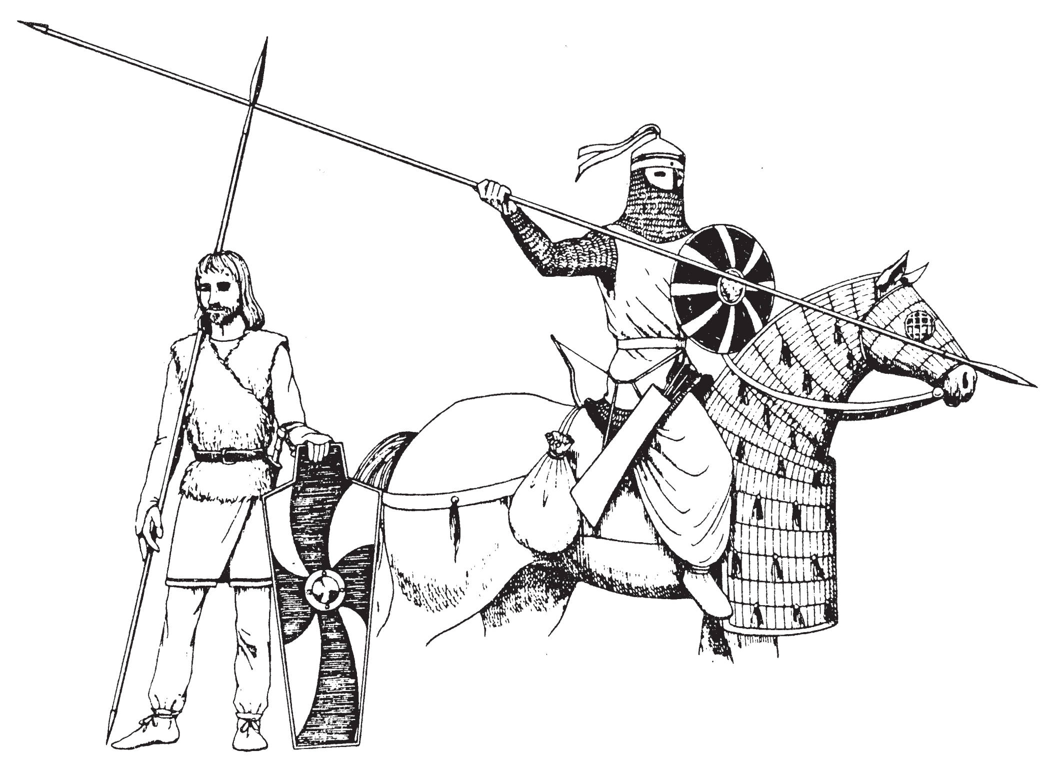
De Gothorum origine. XXXV.

Амедей Тьерри

ДВОР АТТИЛЫ ЗА ДУНАЕМ И ЕГО ОТНОШЕНИЯ С ВОСТОЧНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИЕЙ (1856 г.)

Дворец короля варваров, как рассказывали византийские послы Феодосия II к Аттиле[1], построенный на холме, господствовал над всем городком, и еще издали привлекал взоры своими огромными башнями, поднимавшимися к небу. Названием дворца обозначался обширный круглый двор, посреди которого находилось несколько домов, както: дом самого короля, его любимой жены Керки, некоторых из его сыновей, и, вероятно, также жилище его придворной стражи; двор этот окружен был деревянной стеной; внутренние здания были тоже деревянные. Устроенный в самой середине и один из всех прикрытый с боков башнями, дом Аттилы был обшит удивительно гладко вытесанными и так правильно между собой сплоченными досками, что, казалось, они были сделаны из одного цельного дерева. Дом королевы, архитектуры более легкой и красивой, со всех сторон украшен был рельефными изображениями и резными фигурами, не лишенными грации. Его кровля поддерживалась искусно отделанными столбами, между которыми находился ряд выточенных арок, прикрепленных к вершинам маленьких колонн и образовавших нечто вроде аркады. В некотором расстоянии от дворца виден был

[1] Феодосий II отправил посольство к Аттиле в 449 г. по поводу требований с его стороны новых поземельных уступок, с целью убедить короля гуннов отказаться от своих притязаний и с тайным поручением отделаться от него убийством, что было, однако, уже известно Аттиле.



Остготский воин-пехотинец, конец IV в. *(слева);* сасанидский всадник *(справа),* середина IV в., с барельефа, изображающего царя Хосрова

дом Онегеза, окруженный также оградой и построенный как и дом короля, только попроще. Одна особенность обращала на себя внимание чужеземцев: в этой стране, где не было не только камней для постройки домов, но даже чувствовался недостаток и в дереве, и где надобно было издалека привозить материалы для зданий, Онегез выстроил баню, именно по образцу римских терм. Вот история этой бани, как передана она была византийским послам. В числе пленников, выведенных гуннами из разграбленного Сирмия, находился один архитектор, которого Онегез взял на свою долю из добычи. Министр Аттилы, будучи родом грек, пришедши к гуннам еще в молодых летах, принес туда с собой и любовь к баням в римском вкусе, и эту любовь передал своей жене и детям. Взявши именно архитектора на свою часть из добычи, он хотел приобрести в нем человека, который был бы искусен в строительном деле и мог бы угодить его вкусу; а пленник, прилагая все свое старание, думал тем ускорить минуту, когда спадут наконец с него оковы. Итак, он ревностно принялся за работу: из Паннонии были привезены камни; устроены были печи, купальни, мыльни; но когда все было сделано, как только могли сделать опытные руки, эту, совершенно новую для гуннов, постройку, Онегез обратил архитектора в банщика при себе, и несчастный распростился навсегда со своей свободой.

Аттила в то время вступал в столицу своей империи по церемониалу, который живо заинтересовал послов, и особенно Приска[1], любознательного очевидца, наивного живописателя всего, что только поражало его взгляд какой-нибудь особенностью. Аттилу встретила процессия, состоявшая из женщин этого городка. Выстроившись в два ряда, они

[1] Того самого, на которого ссылается Иордан при описании гуннов (см. выше).

держали над головами переброшенные с одного ряда на другой белые покрывала, во всю их длину, под которыми проходили группами молодые девушки, по семи в ряд, и пели стихи, составленные в честь короля. Все они направлялись ко дворцу, мимо дома Онегеза. У ограды стояла жена любимого министра, окруженная толпой прислужниц, которые держали в руках блюдо с мясом и кубок, наполненный вином. Когда подъехал король, она подошла к нему и просила откушать яств, для него приготовленных; благосклонным знаком Аттила выразил свое согласие; это было величайшим благоволением, какое только мог оказать гуннский король своим подданным. Тотчас же четверо сильных мужчин подняли серебряный стол в уровень с вышиною лошади, и Аттила, не сходя с коня, откушал всех блюд, выпил чашу с вином, и потом вступил в свой дворец. В отсутствие мужа, который, по возвращении из дальнего путешествия, потребован был к королю, жена Онегеза пригласила византийских послов к себе на ужин, вместе с тамошними вельможами, которые почти все были ей родственники. Потом Максимин, глава посольства, получил распоряжение относительно своего помещения; он раскинул свои палатки в таком месте, которое было в одно и то же время близко к дому министра и к королевскому дворцу.

Онегез был родом грек, как видно из самого его имени, но воспитание получил у гуннов, и тогда занимал в гуннской империи после Аттилы первое место как по своей силе, так и по богатству; его можно было бы считать королем, если бы Аттила был императором. Этой высочайшей степенью могущества, пред которой безропотно преклонялись природные гунны, Онегез обязан был самым благородным средствам: храбрости на поле брани, искренности в советах и той твердости, с которою боролся как против насильственных решений, так и против дурных наклонностей Аттилы. Он был для римлян лучшим заступником пред Аттилою, и не из личного интереса или вследствие отдаленного воспоминания о своем происхождении, но по чувству справедливости, по врожденной привязанности ко всему, что носило на себе печать цивилизации. Логика, которая иногда так резко отличается от фактов, в полном праве была бы дать такому министру место близ властителя просвещенного и христианского, а Хризафия, тогдашнего министра Феодосия II, определила бы к Аттиле. Гуннский король, столь самовластный, столь раздражительный, уступал этому характеру, твердому в самой его мягкости; Онегез сделался его неизменным советником, и ему же Аттила поручил воинское образование и заботу о своем старшем сыне, Эллаке, в царстве акатциров, которое только что было покорено тем же самым Онегезом. После долгого отсутствия, отправясь – по желанию повидаться с отцом – на берега Дуная, молодой человек упал дорогой с лошади, и при этом падении переломил кисть руки. Таким образом, Онегезу нужно было переговорить с королем об очень важных предметах, и король задержал его у себя на целый вечер: поэтому-то его и не было во время ужина, данного его женою послам. Но Максимин сгорал от нетерпения видеться с Онегезом, чтобы сообщить ему полученные им от Феодосия II инструкции; кроме того, он надеялся при помощи этого всесильного человека устранить затруднения, которые должны были встретить данное ему поручение. Он почти вовсе не спал и при первом появлении зари отправил своего секретаря Приска к министру с подарками. Ограда была заперта; не видно было ни одного слуги, и Приск должен был дожидаться; отдавши подарки на сбережение посольским служителям, он начал прохаживаться, пока явится кто-нибудь.

Когда сделал он несколько сот шагов, кто-то, прогуливавшийся также, как и он, поровнялся с ним и сказал ему на весьма чистом греческом языке: Ξαιπε[1]. Услышав греческую речь в царстве Аттилы, где обыкновенно употреблялись языки гуннский, готский и латинский, и то при торговых делах, – было необычайностью, которая поразила Приска. Единственные греки, с которыми он мог ожидать встречи, были пленники из Фракии или приморской Иллирии,

[1] Ξαιπε – радуйся, или как мы говорим: здравствуй.

люди жалкие, которых легко было узнать по их длинным, растрепанным волосам, тогда как человек, заговоривший с Приском, был совсем не таков: голова у него была обрита кругом, и на нем была гуннская одежда, какую носят только богатые сословия. Эти размышления промелькнули, как молния, в уме Приска, и, чтобы узнать, что это за человек, после взаимного приветствия, он спросил его: из какой страны света прибыл он сюда жить варварскою жизнью среди гуннов?

– Почему ты меня об этом спрашиваешь? – сказал незнакомец.

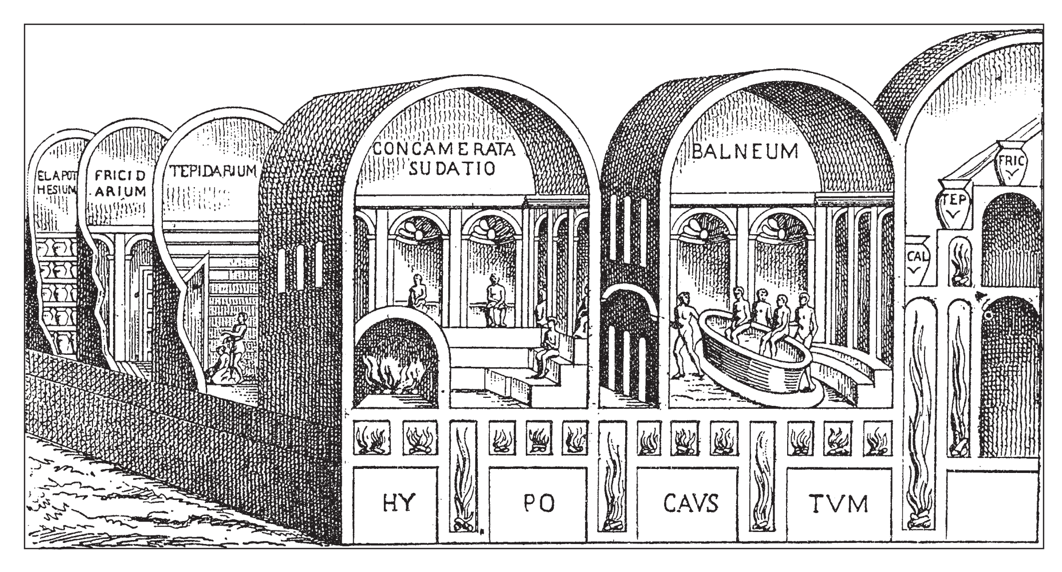
– Потому что ты слишком хорошо говоришь по-гречески.

Незнакомец засмеялся.

– Действительно, я грек,– сказал он.– У меня была обширная торговля в г. Виминацие, в Мизии, и я женат был там на богатой девушке; жил счастливо, но война разрушила мое счастье. Так как я был богат, то и сделался вместе со своим достоянием добычей Онегеза, потому что – тебе, конечно, известно это – королям и вождям гуннов принадлежит привилегия брать себе богатейших пленников. Мой новый господин водил меня с собой на войну; я бился мужественно и возвращался с добычею. Я дрался с римлянами, дрался с акатцирами и, приобретши достаточное количество добычи, принес ее моему господину – варвару, и, в силу скифских законов, получил свободу. После этого я стал гунном; женился на женщине варварского племени и прижил с нею детей; я сотрапезник Онегеза и, взяв все во внимание, мое настоящее положение могу считать даже лучше моего прошедшего.

– О, да,– продолжал этот человек после минутного молчания, – закончивши раз и навсегда военные труды, среди гуннов можно вести совершенно беззаботную жизнь: что каждый нажил для себя, тем и пользуется мирно; никто не обременяет его ничем, ничто не возмущает его спокойствия. Война нас поит и кормит, а тех, которые живут под управлением римлян, война разоряет и губит. Римский подданный ставится в необходимость поручать другим охранение своей безопасности, потому что жестокий закон не позволяет ему носить необходимого для собственной защиты оружия, а те, которым то позволено, как ни храбры, войну ведут плохо, потому что связаны сколько незнанием, столько же и трусостью своих вождей. Но несчастия войны ничего не значат для римлян в сравнении с теми бедствиями, которые терпят они во время мира, потому что тогда являются во всей силе и жестокости налоги, и конфискации, и угнетения вельмож. Да и как быть иначе? Законы не для всех одни. Если богатый или сильный нарушает их, то он делает то безнаказанно; а бедный, а человек, который не знает судебных формальностей – о! такого человека наказание не заставит ждать себя, если только он, измученный, разоренный бесконечной тяжбой, не умрет от отчаяния, прежде нежели будет произнесен приговор. Не иметь возможности получить законного удовлетворения иначе, как только посредством денег – это, по моему мнению, верх несправедливости. Какую бы вам обиду ни сделали, вы не можете обратиться к суду, ни требовать у судьи решения дела, не отдавши за это приготовленной наперед суммы денег, чтобы задобрить судью и его свиту.

Отступник римской цивилизации долго говорил в этом тоне, и проповедовал свои убеждения с жаром, который часто придавал ему вид адвоката, ратующего за самого себя. Когда он, по-видимому, сказал уже все, Приск попросил его в свою очередь дать ему сказать несколько слов и терпеливо его выслушать. «По моему мнению,– начал он,– основатели римского государства были люди мудрые и предусмотрительные; чтобы каждый хорошо знал свое дело, они учредили, с одной стороны, стражей закона, с другой – стражей общественной безопасности. Не имея никакого иного занятия в мире, кроме упражнения в искусстве владеть оружием, воевать и драться, эти последние образовали собою превосходный класс людей, назначение которого составляет защита других. Законодатели наши учредили сверх того еще третий класс – это класс поселян, которые возделывают землю: требование, чтобы этот класс вносил военные подати для содержания своих защитников, совершенно спра-



Римские термы. Реконструкция эпохи Возрождения

ведливо. Это еще не все: они учредили блюстителей правды и права в пользу слабых и бессильных, то есть юридических защитников для тех, которые не умеют защищать сами себя. После этого, что же незаконного в том, если судья и адвокат получают плату от истца, точно так же, как солдат от земледельца? Кто пользуется услугами, естественно обязан давать жалованье тому, кто служит ему – услуга за услугу. Всадник покупает лошадь, пастух – быков, охотник – собак, и каждый заботится о своей покупке. Если есть плохие истцы, которые разоряются на процессы, то тем хуже для них; а что касается до продолжительности судопроизводства, то она зависит большей частью от того, что необходимо разъяснять дело, а это делается не скоро, и, все-таки, хорошее решение дела, которого надо было долго ждать, лучше дурного, произнесенного вдруг, необдуманно. Отважиться на несправедливость, значит не только вредить людям, но и оскорблять Бога, источника всякой правды. Законы обнародуются, их знают или, по крайней мере, могут знать все; им повинуется сам император. Твоя жалоба на безнаказанность вельмож отчасти справедлива, но она удобоприложима ко всем народам; с другой стороны, и бедняк может избежать наказания, если не найдется удовлетворительных доказательств его виновности. Ты радуешься, что дарована тебе свобода: за это благодари судьбу, а не своего господина. Отправляя тебя на войну – человека гражданского, он подвергал тебя опасности быть убитым, или – если бы ты вздумал убежать – сам убил бы тебя. У римлян нет такой жестокости; их законы ограждают раба от излишней суровости господина; они обеспечивают ему пользование приоберетенным имуществом, и потому отпускают его на волю, возвышают до состояния людей свободных, тогда как здесь за малейший проступок грозит смерть».

Этот возвышенный взгляд на цивилизацию, эта картина различных родов защиты, которые окружают человека в благоустроенных государствах, казалось, глубоко тронули собеседника Приска; строя софизмы на софизмах, он, вероятно, старался только заглушить в душе некоторые угрызения совести и изгладить из сердца кой-какие сожаления. На глазах у него навернулись слезы, и затем он сказал: «Законы римлян хороши, их государственный порядок также хорошо устроен, но дурные начальники колеблют и разрушают его». При этих словах один из слуг Онегеза отворил ограду,

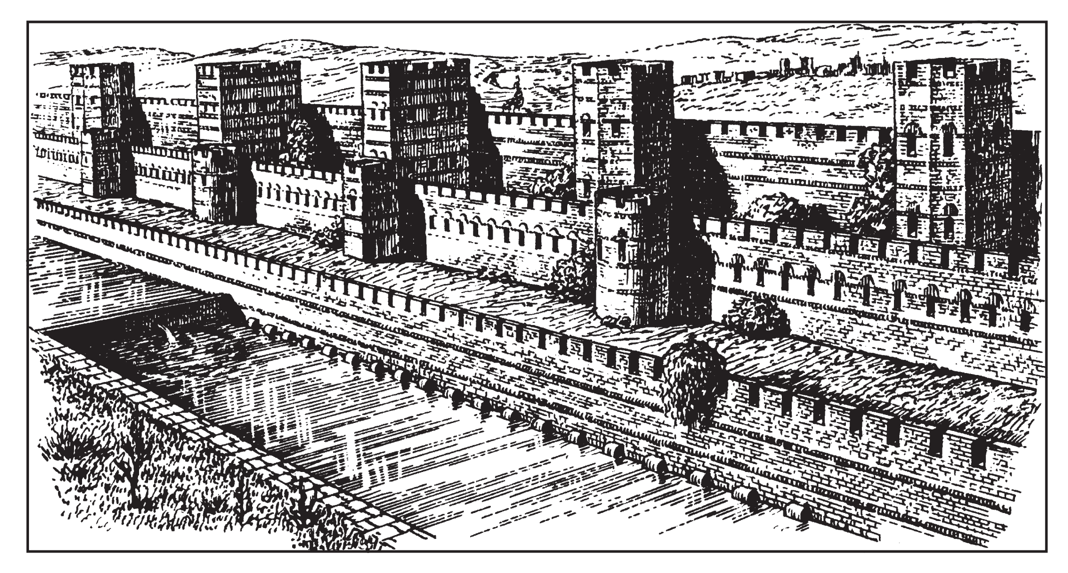
окружавшую дом: Приск оставил незнакомца, и никогда уже более не встречал его...

Онегез принял Приска и, взглянув мельком на подарки, ему поднесенные, приказал оставить их, а сам, узнавши, что византийский посол хотел прийти к нему, счел нужным предупредить его; чрез несколько минут он был уже в палатке у Максимина. Тогда между этими государственными людьми начался разговор, в котором вполне раскрылся характер министра Аттилы. Максимин старался показать ему, что гуннам легко можно было бы заключить с римлянами[1] мир прочный – мир, честь которого принадлежала бы исключительно его благоразумию, и что огромная польза, которую гуннский министр принес бы обоим народам, пролила бы на него и на его детей вечные благодеяния императора и всей его фамилии. «Каким же образом,– наивно спросил Онегез,– мог бы я удостоиться такой чести, и как могу я быть таким самовластным миротворцем между вами и нами?» – «Для того нужно только рассмотреть внимательнее,– отвечал посол,– все пункты, которые нас разделяют, все условия договоров, и взвесить все со свойственным тебе беспристрастием. Император будет совершенно согласен с твоим решением».– «Но,– возразил Онегез,– это не относится к роли посланника, и, если б я был таким, то руководился бы только одним правилом, приказаниями моего государя. Уж не надеятся ли римляне (то есть византийцы) склонить меня своими просьбами к измене? Не думают ли они заставить меня обратить в ничто все мое прошедшее, всю мою жизнь, проведенную среди гуннов, забыть моих жен и детей, родившихся от них? В таком случае, они очень ошибаются. Даже рабство у Аттилы было бы для меня приятнее, нежели почести и богатство в их империи». Эти слова, сказанные спокойным, но решительным тоном, не допускали более никакого возражения. Онегез, как бы желая смягчить суровость сказанного им, поспешно прибавил, что он был более полезен для римлян, находясь при Аттиле, а именно тем, что нередко укрощал его раздражительность – чем если б находился в Константинополе, где его доброжелательство к ним скоро сделалось бы подозрительным. Очевидно, министр Феодосия с этой стороны не мог сделать ровно ничего.

Между тем королева Керка также ждала подарков, поднесение которых было предоставлено тому же Приску. Она приняла Приска в одной из комнат своего красивого дворца, устланной шерстяными коврами. Королева сидела на подушках, окруженная своими женщинами и служителями, которые расположились кругом нее; по одну сторону были мужчины, по другую – женщины; последние занимались работой: вышивали золотом и шелком куски материй, предназначавшиеся для мужских поясов. При выходе из ее покоев Приск услышал большой шум и увидел огромную бежавшую толпу народа. Он смешался с нею, и вскоре заметил Аттилу, который, в сопровождении Онегеза, шел к дверям своего дворца производить суд и расправу. Его походка была величественна, и он сел молча. Те, которые искали суда, подходили к нему поочередно; решив все дела, он возвратился во дворец для принятия депутатов, прибывших к нему из множества варварских земель.

Площадь перед дворцом служила чем-то вроде места для прогулки, где свободно расхаживали послы, в ожидании аудиенции или у самого короля, или у его министра; они могли уходить, приходить, все рассматривать; им не мешал ни один страж. Приск встретился здесь с графом Ромулом и его товарищами по посольству, прибывшими в то же время из Рима от Валентиниана III; они проживали вместе с двумя секретарями Аттилы, Констанцием и Констанциолом, которые оба были паннонцы, и с Рустицием, который еще прежде явился туда, по своей охоте, при прежнем посольстве Восточной империи, и вздумал определиться в качестве писца в канцелярию гуннского короля. «Как идут ваши дела?» – был первый вопрос, предложенный Приску Ромулом. Дела шли одинаково как на той, так и на другой стороне; ничто не могло склонить Аттилу в пользу Западной империи: ему не-

[1] Византийские греки никогда не переставали называть себя римлянами, и здесь речь идет о мире с одной Византией.



Стены Феодосия в Константинополе

пременно нужно было получить или сирмийские сосуды, или ростовщика Сильвана[1]. Многие из присутствовавших жаловались на такое безрассудное упрямство варварского короля: тогда Ромул, которого все и всегда охотно слушали, как мужа опытного в государственных делах, со вздохом сказал: «Да, удачи и могущество до того избаловали этого человека, что он не слушает и справедливых объяснений, если они ему не нравятся. Но надобно согласиться, что ни в Скифии, ни в другом каком-либо месте никто и никогда не совершал более великих дел в такое непродолжительное время: ставши обладателем всей Скифии, до островов океана, он сделал нас своими данниками, а теперь вот строит еще дальнейшие планы: хочет завоевать Персию».– «Персию! – прервал один из присутствующих,– да каким же путем пройдет он из Скифии в Персию?» – «Самым кратчайшим,– отвечал Ромул.– Мидийские горы недалеки от последних пределов гуннов; они знают это очень хорошо. Однажды, во время свирепствовавшего у них голода, так как нельзя было им получать хлеба из Римской империи, потому что в то время вели они войну с нею, – двое из гуннских вождей попытались добыть себе хлеба из Азии. Углубившись в пустыню, они достигли топей, которые, по моему мнению, составляют Меотийское болото; потом, после пятнадцати дней ходьбы, прибыли к подошве высоких гор, перешли их и увидели себя в Мидии. Страна была плодородна; гунны занялись уже жатвой и собрали огромную добычу, как в один день пришли персы и своими стрелами затмили небо. Гунны, захваченные врасплох, бросили все на месте и, отступая назад долгой дорогой, увидели, что и новый путь привел их также на родину. Теперь предположите, что Аттиле пришла бы мысль возобновить этот поход: победить мидян и персов ему не будет стоить ни больших трудов, ни продолжительного времени, потому что ни один народ в свете не может противостоять его войскам». Римляне с любопытством, смешанным со страхом, следили за рассказом Ромула, посетившего столько стран и принимавшего участие в стольких событиях. Один из собеседников выразил желание, чтобы Аттила поскорее пустился в эту отдаленную войну и дал отдохнуть Римской империи.

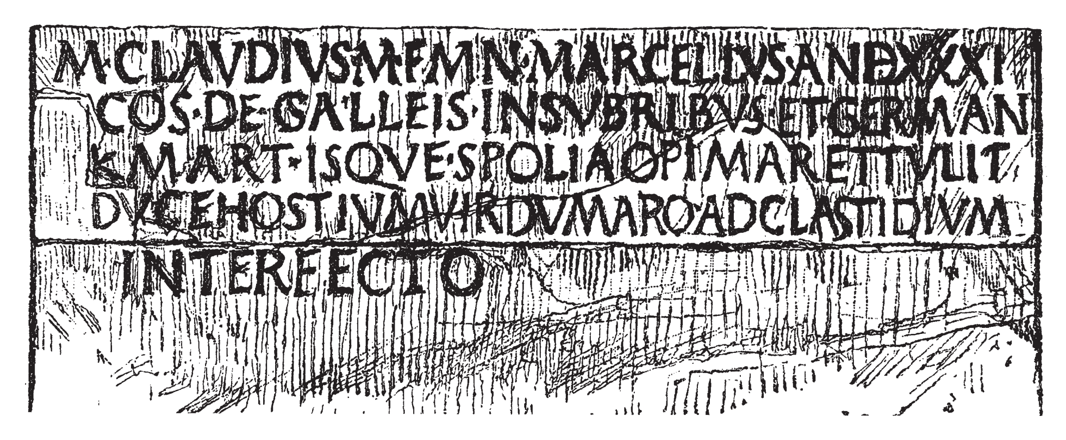
---

[1] При разрушении гуннами г. Сирмия один из секретарей Аттилы скрыл священные золотые сосуды и продал их в Италию Сильвану; Аттила, узнав о том, потребовал выдачи или вещей, или их владельца, и для успокоения Аттилы Валентиниан III отправил это посольство.

«Надобно опасаться,– напротив, сказал Констанциоль,– чтобы, покоривши персов – а это будет нетрудно для него – он не возвратился к нам, и уже не как друг, а как повелитель. Теперь он довольствуется золотом, которое мы даем ему как жалованье, по его званию римского полководца; а когда покорит он Персию, и Римская империя останется пред ним одна, неужели вы думаете, что тогда он пощадит ее? Ему уже и теперь досаден этот титул римского полководца, который мы ему даем, отказывая в титуле короля, и многие слышали, как он громко и с негодованием говорил, что у него есть рабы, которые стоят римских полководцев, а его полководцы стоят императоров». Этот разговор, в котором представители образованного мира сообщали друг другу свои мрачные предчувствия и наперерыв возвышали того, в чьих руках находилась гибель их отечества, был внезапно прерван. Подошел Онегез и заметил Приску, что Аттила с этих пор будет принимать в качестве послов только трех сановников и, перечисляя их имена, упомянул между прочими об Анатолии. Приск, нимало не думая ставить свое правительство в противоречие с самим собою, заметил, что назначать таким образом известных лиц значило бы приводить их в подозрение у императора. Онегез отвечал на это кротко: «Это необходимо, а не то – война!» Приск с грустью возвращался на свою квартиру, но на дороге встретился с отцом Ореста[1], Татуллом, шедшим известить его и Максимина, что Аттила приглашает их к столу в тот же самый день, в девятом часу, то есть около трех часов пополудни. Послы Западной империи также были приглашены.

Зала пиршества была огромная, продолговатая комната, уставленная кругом стульями и маленькими столами, приставленными один к другому; за каждым столом могли усесться четыре или пять человек. Посредине возвышались подмостки, на которых стоял стол для Аттилы и ложе; он уже сидел на своем месте; в некотором расстоянии позади находилось другое ложе, убранное, как и первое, белой тканью и разноцветными коврами, и похожее на thalami, употреблявшиеся в Греции и Риме при брачных церемониях. Как только вошли послы, кравчие подали им кубки, наполненные вином, которые они должны были выпить за здоровье короля; это был церемониал, который непременно должен был исполнить всякий, прежде чем займет свое место. Почетное ложе, поставленное вправо от подмосток, занято было Онегезом, а напротив него сидели двое сыновей Аттилы. Послы были усажены за стол, который стоял на левой стороне и был второй по достоинству; и здесь высшее между ними место занимал один гунн знаменитого рода, по имени Берик, пользовавшийся большим уважением и обладавший множеством селений в Гуннии. Эллак, старший сын Аттилы, занял место на отцовском ложе, но значительно ниже его, он сидел с опущенными глазами и во все продолжение обеда держал себя чрезвычайно почтительно и скромно. Когда все уселись, кравчий подал Аттиле кубок, полный вина, и он выпил его за здоровье одного почетного гостя, который тотчас же встал, взял также кубок из рук кравчего, стоявшего позади, и взаимно приветствовал короля. Затем следовала очередь послов, которые, также с кубками в руках, отвечали на королевское приветствие; все гости были приветствованы один за другим, в порядке их сана, и ответствовали тем же; позади каждого стоял кравчий с кубком в руке. По окончании приветствий вошли столовые прислужники с блюдами, наполненными мясом, и расставили их по столам; на стол Аттилы ставились блюда деревянные, и кубок его тоже был деревянный, тогда как гостям и хлеб, и различные кушанья подавались на серебряных блюдах, и их кубки были или серебряные, или золотые. Гости брали, кому сколько угодно, с блюд, стоявших далее. После первого кушанья опять явились кравчие; снова начались приветствия, с той же церемонией, по местам, начиная с первого до последнего. За вторым блюдом, состоявшим из разнородных яств, следовала третья попойка, во время которой гости, бывшие уже навеселе, опустошали свои кубки как нельзя луч-

[1] Орест, отец Ромула-Августула, последнего римского императора, находился в то время на службе у Аттилы.



Триумфальная доска. Конец IV в. до н. э. Рим. Капитолийский музей. Первое упоминание германцев в исторических памятниках

ше. К вечеру, когда зажжены были факелы, вошли два поэта и на гуннском языке начали петь перед Аттилой стихи своего сочинения, в которых прославлялись его воинские доблести и победы. Их песни произвели в слушателях восторг, доходивший до исступления: глаза гуннов разгорались, лица принимали страшное выражение; многие плакали, говорит Приск, молодые от жажды новых битв, старцы от сожаления о прошлых. Эти гуннские Тиртеи были сменены шутом, которого кривляния и дурачества в одну минуту заставили гостей перейти от энтузиазма к шумной веселости. При этих зрелищах Аттила постоянно оставался важным и неподвижным, так что ни один мускул его лица, ни один жест, ни один звук не обнаруживал в нем ни малейшего внутреннего движения: только когда самый младший из его сыновей, Эрнак, вошел и приблизился к нему, то в глазах его блеснул луч нежности; взяв дитя ласково за щеку, он привлек его к своему ложу. Удивленный такой внезапной переменой в физиономии Аттилы, Приск наклонился к одному из своих соседей-варваров, говорившему немного по-латыни, и спросил его на ухо: вследствие чего этот человек, будучи холоден к другим детям, так ласков с этим ребенком. «Я охотно объясню это тебе, только обещайся сохранить в тайне,– отвечал варвар.– Гадатели предсказали королю, что его поколение прекратится в прочих детях, а Эрнак продолжит его; вот причина такой нежности: он любит в этом ребенке единственную надежду на потомство».

В эту минуту вошел мавр Зеркон, и вдруг вся зала огласилась хохотом и стуком, которые, казалось, способны были поколебать ее: этой интермедией гости обязаны были изобретательности Эдекона[1]. Мавр Зеркон, карлик, горбатый, кривоногий, курносый, или, лучше, вовсе безносый, заика и вместе идиот, скитался уже лет двадцать из одного конца света в другой и переходил от одного господина к другому, как самый редкий необычайный предмет, какой только можно придумать для забавы. Африканцы подарили его римскому полководцу Аспару; но Аспар потерял его во Фракии, во время несчастной войны с гуннами: Зеркон был приведен к Аттиле, но Аттила не хотел его видеть; зато он получил хороший прием у Бледы (двоюродного брата Аттилы). Вскоре гуннский принц так привязался к своему карлику, что не пускал его от себя ни на минуту; вместе с ним обедал, ходил на войну, нарочно приказал сделать для карлика вооружение и любил смотреть, как карлик щеголял своим огромным мечом, и как уродливо принимал поступь героя. Но в один день Зеркон убежал на римскую землю, и Бледа не мог успокоиться

[1] Один из приближенных Аттилы, почти наравне с Онегезом.



Надгробная плита Руфуса Ситы. Фракийский всадник поражает варвара

до тех пор, пока не отыскали его или не выкупили у римлян; поимка была удачна, и карлика привели к нему в оковах. При виде своего раздраженного господина мавр расплакался и сознался, что, оставя его, он сделал важный проступок, но этот проступок, говорил он, имел достаточное извинение. «Какое же?» – спросил Бледа.– «То,– отвечал карлик,– что ты мне не дал жены». Мысль уродца требовать себе жену бесконечно рассмешила Бледу; он не только простил его, но и женил на одной из прислужниц королевы, впавшей в немилость вследствие какого-то важного проступка. По смерти Бледы Аттила послал Зеркона в подарок римскому патрицию Аэцию[1]. Эдекон, встретивший Зеркона в Константинополе, присоветовал ему отправиться в Гуннию и вытребовать оттуда свою жену. Итак, пользуясь праздником, Зеркон вошел в залу с просьбой к Аттиле, и в своей болтовне так уродливо мешал слова латинские с гунскими и готскими, что решительно никто не мог удержаться от смеха; веселый хохот все еще раздавался, когда римляне, убедившись, что они уже довольно пили, украдкой ушли среди ночной темноты, в то время как остальные гости продолжали пировать вплоть до утра.

Между тем послы, не получая ни аудиенции, ни какого-нибудь удовлетворительного ответа, теряли понапрасну время. Они просили уже позволения возвратиться; но Аттила, не отказывая прямо в том, продолжал задерживать их под различными предлогами. Королева Керка хотела угостить их в свою очередь; она пригласила послов в дом министра своего двора, Адама, как говорит Приск, «на великолепное и весьма веселое пиршество», на котором гости, несмотря на свою римскую важность, принуждены были пить и обниматься со всеми. Второй ужин, данный Аттилою, повторил, на глазах Максимина и его спутника, весь церемониал первого; только Аттила держался несколько развязнее. Весьма часто, и чего прежде не было, он обращался к Максимину, и между многим другим рекомендовал ему устроить брак паннонца Констанция, своего секретаря. Этот человек за несколько лет пред тем был отправлен Аттилою в Константинополь, в качестве толмача, причисленного к посольству. Он был предметом внимания всего двора, рассчитывавшего склонить его на свою сторону; и в самом деле, Констанций предлагал свои услуги для поддержания мира с гуннами, но с условием, если Феодосий II даст слово выдать за него какую-нибудь богатую наследницу из своих подданных. Феодосий, которому подобного рода подарки ничего не стоили, предложил ему немедленно руку одной сироты, дочери Сатурнина, бывшего начальника телохранителей, который был обвинен императрицей Атенаидой в заговоре и казнен. Молодая девушка, содержавшаяся под стражей в укрепленном месте, с величайшим отвращением узнала, какая

---

[1] Министру Валентиниана III.

ожидает ее участь и, решившись во что бы то ни стало избавиться от того, допустила похитить себя Зенону, командовавшему войсками на Востоке, который и выдал ее за одного из своих друзей, по имени Руфа. Аттила, взбешенный при этом известии, дерзко писал Феодосию II, говоря, что если он сам не имеет у себя силы заставить повиноваться, то он ему придет помочь в том; но разрыв был предупрежден тем, что Констанцию обещана была другая жена. Это-то последнее обстоятельство и напоминал Аттила Максимину в разговоре с ним. «Неприлично будет,– говорил он послу через переводчика,– Феодосию смеяться над доверчивостью Констанция; ложь унизит достоинство императора». Эти слова он заключил, как будто бы желая представить Максимину самый решительный довод и убедительный аргумент: «Если брак состоится, я разделю приданое со своим секретарем». Вот как обделывались дела при дворе короля гуннов!

Наконец, Аттила, выведав относительно посольства все, что ему нужно было знать, дал ему позволение возвратиться в Константинополь, так как его присутствие сделалось для него совершенно бесполезным.

Hist. d'Attila, etc. Par. 1856. I, 95 c. и след.

Амедей Тьерри

ВОЙНА АТТИЛЫ С ЗАПАДНОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИЕЙ В ГАЛЛИИ (1856 г.)

История сохранила нам мрачный список народов, вошедших в состав армии Аттилы, которая толпилась массами не только на ближайших берегах Дуная, но и в окрестных равнинах перед вторжением в пределы Западной Римской империи в 450 г. Со времени Ксеркса Европа никогда не видела такого скопления известных и неизвестных наций; насчитывали не менее 500 тысяч воинов, а по другим – до 700 тысяч. Азия выслала самых отвратительных и свирепых представителей: черный гунн и акатцир, вооруженные длинными луками; алан с огромным копьем и в роговой кирасе; невр, беллонот; гелон, раскрашенный и татуированный, с косою вместо оружия и в накидке из человеческой кожи вместо одежды. Из равнин Сарматии явились в своих кибитках колена бастарнов, наполовину славянские, наполовину азиатские, по оружию сходные с германцами, по нравам – с скифами, и допускавшие многобрачие, как гунны. Германия выслала с севера и запада самые отдаленные из своих народов: руг с берегов Одера и Вислы, сцир и турцилинг, живших у Немана и Западной Двины, рек в то время еще малоизвестных, но с которыми вскоре затем хорошо познакомились; они шли вооруженные круглым щитом и коротким мечом скандинавов. Там можно было увидеть и герула, быстрого на бегу, непобедимого в битве, ужас прочих германцев, которые кончили тем, что истребили это племя. И остгот, и гепид явились на зов, со своей грозной пехотой, приводившей в отчаяние римлян. Король Ардарик руководил гепидами; три брата, из фамилии Амалов: Валамир, Теодемир и Видемир, стояли во главе остготов. Хотя королевская власть по избранию досталась в руки старшего, Валамира, но он добровольно разделил ее с братьями, которых он искренне любил. Предводители этого муравейника народов, дрожа пред Аттилою, держались от него на некотором расстоянии, как его слуги или стража, устремив глаза на него, внимательные к малейшему движению его головы или к мановению его бровей: немедленно подбегали к нему за приказаниями и исполняли их без прекословия и ропота. Среди этой толпы королей Аттила особенно отличал двух, которых он призывал на все советы: короля гепидов и остготов. Валамир вносил в свои мысли откровенность, соединенную с воздержанностью и мягкостью языка, которые нравились королю гуннов; Ардарик служил образчиком редкого благоразумия и испытанной верности. Такова была та армия, которая, по-видимому, исчерпала весь варварский мир и тем не менее была еще не вся.

Перемещение такого множества народов произвело, так сказать, революцию на громадной равнине севера Европы; славянское племя спустилось к берегам Черного моря, чтобы занять луга, оставленные остготами и некогда принадлежавшие им; задние ряды черных гуннов и передовые линии белых гуннов, авары, болгары, гунугары, турки подвинулись на один шаг к Европе. Опустошители всех родов, будущие властелины Италии, сменившие западных цезарей, заключались в этом хаосе, как предводители, и как простые воины, друзья и враги. Орест мог там встретиться с Одоакром, в то время еще простым солдатом из турцилингов, и отец Теодориха Великого, остгот Теодемир, был одним из полководцев Аттилы: все обломки образованного мира и та часть мира варваров, которой судьба предрекала будущее величие, по-видимому, собрались вместе, чтобы окружить собою гений разрушения, устремившийся на Западную Римскую империю[1].

Чтобы достигнуть берегов Рейна в первых числах марта, как то и случилось, Аттила должен был в январе подняться с берегов Дуная. Он разделил свою армию на два корпуса: один следовал на правом берегу Дуная по военной дороге, соединявшей управления и замки римлян между собою, и на своем пути почти разрушал их до основания; другой, поднимаясь по левому берегу, вербовал по дороге остатки квадов и маркоманов, в Западных Карпатах, и свевов – в Шварцвальде. Соединившись вместе при истоках Дуная, оба отряда расположились поблизости богатых лесов, которые могли доставить им все необходимые материалы для похода в Галлию. Франки, жившие по берегам Неккара, при приближении Аттилы, выгнали, вероятно, или убили молодого короля, поставленного римлянами, с тем, чтобы заместить другим «длинноволосым» князем, которому предстояло приобрести покровительство, внушающее уважение; но этим не кончилось: они стали вместе с ним под знамена гуннов. Колена турингов сделали то же; даже зарейнские бургунды, забыв свои прежние расчеты с королем Октаром, вступили в ряды войска Аттилы. Усилившись таким образом новыми союзниками, гунны начали делать приготовления для перехода через Рейн. Древний Герцинский лес, видевший Цезаря и Юлиана, доставил Аттиле все материалы для переправы; его вековые дубы падали тысячами под ударами секиры: грубые барки, сколоченные из них, соединили оба берега реки плавучим мостом. Все заставляет думать, что Аттила сделал несколько мостов, чтобы переправиться в одно и то же время на различных пунктах, как для избежания скопления масс в одном месте, так и для того, чтобы страна могла тем легче прокормить людей и лошадей. Самый восточный отряд перешел Рейн подле города Augusta, ныне Аугтс, главное место савраков, и затем пошел по военной дороге, между берегом реки и подошвою Вогезского хребта. Сам Аттила, сколько можно догадываться по другим подробностям его похода, избрал для переправы место, лежащее несколько ниже слияния Рейна с Мозелем (около Кобленца), где обыкновенно переходили римские армии; потом, следуя со своим войском по дороге, которая вела от места переправы к Триру, утвердился в древней столице Галлии, среди ужасов опустошения.

Несмотря на многозначащий характер подобного начала, Аттила, верный однажды начертанному плану, издал прокламацию во всей Галлии, объявляя, что он пришел в качестве друга римлян и с единственной целью наказать вестготов, своих беглых подданных и врагов Рима, и что потому галлы должны сделать ему хороший прием как своему освободителю и одному из полководцев Римской империи. Было забавно и вместе ужасно видеть этого калмыка, римского полководца, как он принимал городских куриалов, сидя на табурете и убеждая их на ломаном латинском языке открыть

---

[1] Причиной нападения Аттилы на Западную Римскую империю была смерть восточного императора Феодосия II и твердость его преемника, Маркиана, отказавшего гуннам в обычной дани. Поводом же к вторжению были прежние притязания Аттилы на руку сестры западного императора Валентиниана III, Гонории, и месть гуннов вестготам, поселенным римским правительством в Галлии, которых Аттила считал своими подданными, бежавшими от его власти.

ему городские ворота. Некоторые города повиновались, другие сделали попытку сопротивляться; но те, и другие были одинаково ограблены. Слабые римские гарнизоны, не имея сил выдержать натиск, убегали в хорошо укрепленные места или отступали шаг за шагом к Луаре, сделавшейся местом соединения...

Между тем вся Галлия и в особенности бельгийские провинции были поражены паническим страхом. Все бежало или готовилось к бегству при виде этого вихря народов, которому предшествовали пожары и за которым следовал голод. Каждый спешил укрыть в безопасном месте свои припасы, деньги, домашнюю рухлядь; жители небольших селений сбегались в большие города, но и там не более находили безопасности; жители равнин перебирались в горы, леса населялись крестьянами, оспаривавшими логовища у диких зверей; жившие по берегам морей и рек спускали на воду свои суда, и были наготове переправлять свои семейства и имущества в те места, которые считались подверженными меньшей опасности. Так поступили жители небольшого города Лутеции. Лутеция, или Parisii, Париж – по господствовавшему тогда обычаю называть города по имени тех племен, у которых они были центральным местом жительства – быв незначительным селением во времена Юлия Цезаря, при Констанции Хлоре сделался довольно важным городом. Находя, что пребывание в Трире подвергло его беспрестанным набегам варваров, этот император и его преемники искали далее к югу места спокойного для себя, и в то же время удобного для военных упражнений в зимнюю пору; таким образом, они оставались то в Реймсе, то в Сане, то в Париже. Укрепленный стан, арсеналы, дворец, амфитеатр, храмы, словом – все, что было нужно для помещения значительного количества войск и для местопребывания императора, было этими императорами постепенно устроено на левом берегу Сены[1], и вне старого города (ныне Cite), который весь заключался в то время на одном острове этой реки. Юлиану особенно нравилось это место, и он провел здесь несколько зим. Вследствие восстания войска в 360 г. в Париже, он был возвышен из Цезарей в Августы, и там же, в 383 г., другое восстание низвергло Грациана. Между тем и торговая важность маленького города шла об руку с политическим его значением: он стал складочным местом для торговли на всем пространстве между верхней и нижней Сеной. При других обстоятельствах народонаселение Парижа, состоявшее почти все из рыбаков и славившееся со времен Тиверия, сумело бы внушить уважение к своему острову, защищенному двойной оградой, то есть глубокими рукавами Сены и высокой стеной, установленной по бокам башнями; но панический страх, предшествовавший Аттиле, отнимал бодрость у самых отважных и указывал народу на бегство, как на единственное средство к спасению. Парижане посовещались между собой и решили не дожидаться неприятеля. Уже все было готово к переселению и суда спущены на воду; везде виднелись груды домашней рухляди, дома оставались пустыми и обнаженными; толпы детей и женщин, заливаясь слезами, говорили последнее «прости» своим домашним очагам; но в эту минуту явилась женщина, которая решилась остановить всех. Характер этой необыкновенной личности, то чрезвычайное влияние, которое она имела на окружавших ее, и наконец справедливое почитание, которое уже четырнадцать веков воздает ей город Париж – все это заставляет нас предварительно объяснить, кто была эта женщина и каким образом провела она первые годы своей жизни.

Имя ее было Геновефа, из которого мы образовали другое: Женевьева; несмотря на чисто германский звук этого имени, Женевьева была галло-римлянка. Отец ее, Север, и мать, Геронция, в то время, как родилась Женевьева, жили в городке Неметодуре, ныне Нантерр, в трех лье от Парижа; они не жили трудами рук и даже были довольно зажиточны. В детстве Женевьева вовсе не пасла барашков, как то рассказывается в народном предании. Кроткая, болезненная, искавшая более всего покоя, дочь Севера

[1] Отчего и до сих пор эта часть Парижа, как отстроенная в древности римлянами, латинцами, называется Латинским кварталом (Quartier latin).

находила величайшее удовольствие только в том, чтобы запираться в комнате своей матери, молиться там и мечтать, и, при первой возможности, уходила в церковь. Молчаливый и уединенный характер удалял ее от других детей, и никто не видел, чтобы она принимала участие в их играх. Еще семи лет она говорила себе, что непременно поступит в монастырь, как только достигнет совершеннолетия, и, несмотря на все убеждения своих родителей, которым не нравилось ее намерение, она в душе своей хранила непоколебимую решимость. Случайно около того времени, то есть около 429 г., Нантерр посещен был двумя знаменитыми личностями: Германом, епископом оксеррским (d'Auxerres), и Лупом, епископом троаским (de Troyes), которых, как наиболее славных ученых, галльское духовенство послало в Бретань для поражения ереси Пелагия, заразившей не только бретонский народ, но и самый клир. Эти два миссионера, по приглашению нантеррских жителей, обещали провести у них ночь. Итак, Нантерр был в радости, и в назначенный день мужчины, женщины, дети, все одетые в праздничные платья, вышли на дорогу и ждали своих гостей, чтобы встретить и проводить их до церкви. Посреди толпы, теснившейся вокруг Германа и превозносившей его, он заметил девочку, живые и блестящие глаза которой, казалось, горели сверхъестественным огнем; он подозвал ее к себе, взял на руки и, запечатлев отеческий поцелуй на ее челе, спросил, кто она такова. При кратком и точном ответе Женевьевы (это была она) и при ее твердом взгляде старец задумался; потом, обратившись к родителям, сказал им: «Не делайте ей никакого принуждения, потому что, или я сильно ошибаюсь, или это дитя будет велико пред Богом». На другой день утром возложил на нее руки. С этой минуты решимость Женевьевы стала еще непреклоннее, чем когда-либо, ее характер еще настойчивее, и еще более своими привычками она удалялась от других. Женевьева оставляла церковь только для заботы о бедных; в том возрасте, когда едва имеют понятие о строгих занятиях, ее жизнь была вся посвящена единственно молитве и попечению о больных. Сопротивление родителей только усиливало ее наклонности, и однажды мать до того рассердилась на нее, что ударила по щеке; но ни дурное обращение, ни угрозы не могли поколебать этой непреклонной решимости. Достигши пятнадцатилетнего возраста, она явилась к шартрскому епископу Юлиану, который и возложил на нее девственное покрывало. Родители ее вскоре после того умерли, и Женевьева поселилась у своей крестной матери, жившей в Париже.

Тогда-то Женевьева вполне предалась наклонности к уединению и подвижничеству. Рассказывают, что на свою постель она клала слой глинистой земли, на которой и спала по ночам; единственной пищей ее долгое время был один ячменный хлеб и вода, и только по настоянию своего епископа она начала употреблять рыбу и молоко; она часто приходила в восторженное состояние и имела видения. Три дня считали ее мертвой, и хотели уже было погребать, когда она открыла глаза и рассказала чудесные подробности о том, «как она восхищена была духом в обитель праведных». За состоянием восторженности следовали чудеса, и вскоре только и говорили о нантеррской деве и знамениях, которые Бог совершал ее руками: расслабленные исцелялись, слепым возвращалось зрение, злые духи изгонялись: она узнавала будущее, читала самые сокровенные мысли людей и повелевала стихиями; уверяли, что буря поднималась и затихала по ее голосу. С того времени слава ее, как праведной, упрочилась. Такое состояние святости, обнаружившееся в даре пророчества, соединенном с даром чудес, делалось повсюду известным, и слава о нем распространялась по всему христианскому миру. Имя такого лица обыкновенно переходило из уст в уста; рассказы о его деяниях и беседах разносились из одной провинции в другую, с запада на восток, от римских церквей в церкви варварские; его жизнеописания, писанные с энтузиазмом, всюду читались с жадностью. Все это случилось и с Женевьевой, и таким образом Женевьева, простая девушка, пламенная любовь к добру которой ограничивалась только маленьким островком на Сене, стала неистощимым предметом любопытства

даже в глубине Сирии. Симеон Столпник, проведший сорок лет на одном столпе близ Антиохии, всегда расспрашивал странников, приходивших к нему с Запада, о подвигах пророчицы галлов, Геновефы. Но над нею сбылась евангельская истина: ей верили в чужих землях, а в самом отечестве встречала она одно неверие и гонение. Многие отрицали ее святость, и искусно распространенная клевета сделала ее в глазах народа предметом отвращения. Св. Герман, пришедший посетить ее после своего второго путешествия к бретонцам, в 447 г., должен был бороться с этими злыми предубеждениями, которые отчасти и успел рассеять. Он посылал ей из Оксерра в Париж «евлогии», то есть частицы благословенного им хлеба: поразительна простота сношений между великим епископом, пред которым преклонялись императрицы, и сиротой, которую он сделал своей духовной дочерью.

С тех пор, как стали носиться слухи о скором приходе Аттилы, особенно же, когда начались опустошения войны (Метц и Реймс были уже разорены), Женевьева как будто отложила в сторону всякую другую мысль. Глубоко убежденная, вместе со всеми благочестивыми людьми того века, что земные события суть следствия высших определений божества, и также, что раскаяние и молитва, смягчая гнев Божий, могут отвратить угрожающие нам бедствия, дни и ночи молилась она в храме, со слезами взывая к Богу о помиловании своей страны. Точно так же, как при других общественных бедствиях, другая дщерь Галлии – Жанна д'Арк, Женевьева имела видения: ей было свыше открыто, что город Париж будет пощажен, если принесет покаяние, и что Аттила не приблизится к его стенам. Итак, она стала убеждать своих соотечественников к покаянию, предписывая отложить все приготовления к переселению; но мужчины отвечали ей только грубостями и насмешками. Не получив успеха с этой стороны, она решилась обратиться к женщинам.

Собрав их около себя, она стала говорить им, указывая на их опустевшие дома и улицы. «Женщины, вы – без сердца! Вы оставляете свое пепелище и эти кровли, под которыми были зачаты и вскормлены, и где родились ваши дети, как будто у вас нет кроме бегства, никаких других средств для защиты от меча самих себя и ваших мужей! Почему вы не обратитесь к Господу, избрав своим оружием пост и молитву, как то сделали Эсфирь и Юдифь? Именем Всевышнего предрекаю вам, что город ваш будет помилован, если вы сделаете то; а те места, где думаете найти безопасность, попадут в руки врага, и не останется в них камня на камне». Эти слова, телодвижения и вдохновленный взгляд Женевьевы тронули всех женщин, и они в молчании последовали за нею, куда она их повела. На восточной оконечности острова Лутеции, на том месте, где теперь возвышается собор Богоматери (Notre-Dame de Paris), находилась тогда церковь во имя святого первомученика Стефана. Туда-то Женевьева и привела сопровождавшую ее толпу женщин; они закрылись в баптистерии, и все начали молиться. Удивленные продолжительным отстутствием своих жен, мужья также пришли в церковь и, найдя двери баптистерии запертыми, спрашивали, что это значит; но женщины отвечали изнутри, что они не хотят выходить из города. При этом ответе мужья вышли из себя. Прежде чем решились разбить врата святыни, они совещались и начали рассуждать о роде казни, которой следовало предать лжепророчицу, как называли они Женевьеву – духа лжи, хотевшего искусить их во дни бедствий. Одни советовали побить ее камнями у дверей храма; другие говорили, что ее следовало бросить вниз головой в Сену. Они все еще шумно спорили, когда счастливый случай послал к ним одного из оксеррских клериков, который, услышав о приближении неприятеля, бежал по направлению нижней Сены, надеясь, что там более безопасно. Это был тот самый дьякон, который несколько раз приносил Женевьеве евлогии от св. Германа. Именем епископа, умершего за три года перед тем, он заставил мужчин устыдиться своего варварства, и, убеждая следовать совету Женевьевы, в котором видел перст Божий, говорил им: «Это – святая дева; повинуйтесь ей». Парижане послушались его и остались в городе. Предсказание Женевьевы сбылось: шайки Аттилы,

соединившиеся между Сеной и Марной, не подошли к Парижу, и этот город обязан был спасением непоколебимой твердости бедной и простой девушки. Если бы жители Парижа тогда же рассеялись, многое могло бы воспрепятствовать их возвращению, и городок Лутеция, сохраненный для своих великих судеб, по всей вероятности, стал бы тем же, чем стало множество других городов Галлии, более значительных, а именно, пустыней, развалины которой лежали бы и до сих пор под водой, поросшие травой, и археолог, может быть, искал бы на ее месте следов вторжения Аттилы.

Hist. d'Attilla, ect. 1, 140–170.

Григорий Турский

АТТИЛА ПОД ОРЛЕАНОМ (591 г.)

Король гуннов, Аттила, удалившись от г. Метца, опустошил множество других городов Галлии. Он осадил также Орлеан и, громя его таранами, думал овладеть им. Св. Аниан, муж особенного ума и досточтимой святости, чудеса которого мы описали с верностью, был тогда епископом этого города. Когда народ, доведенный осадой до крайности, обратился к нему как к своему епископу и спрашивал, что делать, то он возложил надежду на Бога, и повелел всем со слезами молить Господа о помощи, всегда готового склониться на просьбы тех, которые имеют в нем нужду. И когда они стали слезно молиться, как он повелел, тогда епископ сказал им: «Взгляните вниз с городской стены, не является ли к нам на помощь милосердие божие?» Аниан действительно знал, что Бог сжалится и Аэций поспешит; предвидя будущее, он еще прежде ходил к нему в Арль. Они смотрели с городских стен и не видели никого. «Молитесь с верою,– говорил снова епископ,– потому что Господь освободит вас сегодня». И во время их молитвы опять послал: «Посмотрите снова». Они посмотрели и опять не увидели никого, кто спешил бы на помощь. Он сказал им в третий раз: «Если вы будете молиться с верою, то и Господь будет скоро с вами». Они с плачем и рыданиями умоляли Бога о милосердии. После молитвы они взглянули в третий раз с городской стены, следуя повелению старца, и увидели, что вдали поднималось как будто облако. Они объявили это епископу, который сказал: «Это помощь от Господа». Между тем стены уже дрожали от ударов тарана и готовы были разрушиться, как вдруг прибыли Аэций, Теодорих, король готов, и его сын, Торнемод; они приблизились к городу со своими войсками, отбросили неприятеля назад и обратили его в бегство. Освободив таким образом город заступничеством святого епископа, они преследовали бегущего Аттилу, который, достигнув полей Мавриака[1], начал готовиться к сражению. Наши при этом известии собрали все силы против него.

Ист. Франк. II, 7.

Амедей Тьерри

КАТАЛАУНСКАЯ БИТВА (1856 г.)

Номады не видят, подобно нам, в бегстве какого-нибудь бесчестия для себя; ища более добычи, нежели славы, они стараются вступить в сражение не иначе, как имея уверенность в победе, и потому при встрече с сильным неприятелем всегда уклоняются от битвы, с тем, чтобы напасть в более благоприятное время. Так поступил и Аттила, отбитый от Орлеана соединенными силами

[1] Mery-sur-Seine: Григорий говорит таким образом о приготовлении к той битве, которую Иордан относит к окрестностям Шалона, и которую называют обыкновенно каталаунской; но о подробностях битвы автор «Истории франков» не говорит и замечает коротко, что гунны были разбиты.

римлян и вестготов: обманутый в своих планах, проклиная Аэция, он не думал ни о чем другом, как о безопасном размещении своего войска и награбленной добычи. Ночью, совершенно тихо, он снялся с лагеря, и следуя той же дорогой, которой пришел, был при восходе солнца уже далеко от Орлеана. За городом Саном (Sans) Аттиле удалось попасть в страну менее опустошенную, нежели окрестности Орлеана, и совершенно открытую, где гуннская кавалерия, в случае битвы, имела бы на своей стороне все преимущества. На север от г. Сана, между долинами рек Ионны и Эн (Aisne), на пространстве 50 лье в длину и от 35 до 40 в ширину, следует целый ряд равнин, прорезанных глубокими реками; с VI века эта сторона носила общее наименование Кампании, Campania, которое она сохраняет и до настоящего времени: Шампань. На северной ее оконечности возвышаются Арденские горы, которые, отделяя эти сухие равнины от плодоносных и низменных равнин Бельгии, образуют на горизонте род стены, покрытой лесом и везде одинаковой высоты. Чтобы достигнуть нижнего течения Рейна, нет другого выхода, кроме опасных ущелий Аргона с северо-востока, а с юго-запада длинный переход через Вогезы и Юру; две римские дороги, ведущие по этим двум направлениям, перекрещивались тогда возле города Durocatalaunum, ныне Шалон-на-Марне. Аттила, идя из Реймса, проходил уже эту страну, и, отступая, поспешно занял город и окрестную равнину, называемую Каталаунскими полями, с тем, чтобы обеспечить себе средства к отступлению, в случае, если бы римская армия, стеснив его со всех сторон, принудила к битве. Не в первый раз в истории Галлии Каталаунские поля избирались театром страшной борьбы народов, и не в последний раз.

Легко догадаться, что Аттила, при быстром отступлении, допускал грабеж не более как настолько, насколько то было необходимо для продовольствия войска. При переходе Сены у г. Троа он совсем не вошел в город; епископ Луп (тот самый, который сопровождал св. Германа во время его путешествия в Бретань) предстал перед Аттилой, прося его пощадить не только жителей такого беззащитного города, каким был Троа, не имевший ни ворот, ни стен, но также и сельское население. «Хорошо – отвечал ему король гуннов с тоном холодной насмешки, которая у него часто следовала за вспышкой гнева,– но ты будешь меня сопровождать до самого Рейна. Святой человек не может не принести счастья мне и моему войску». Аттила хотел иметь его своим заложником, на всякий случай, как пастыря, уважаемого во всей стране и важного в глазах всех римлян. Когда он переходил р. Об (Aube) при Арсиане, ныне Arcis-sur-Aube, в арьергарде оставался отряд гепидов, на равнине, образующей треугольник при слиянии Сены и Оба, близ Мавриака, или Méry-sur-Seine, небольшого городка, сообщившего свое имя самой дельте; Champs de Mauriac. Армия Аэция нагоняла уже гуннов, истребленных голодом, болезнями, засадами крестьян по дороге, и римский авангард, состоявший из меровейских франков, столкнулся с гепидами, прикрывавшими переправу через Об. Стычка произошла ночью; в ужасной сумятице дрались впотьмах до рассвета, и с одной стороны секира франков, а с другой – меч и дротик гепидов работали так усердно, что при восходе солнца 15 тысяч убитых и тяжелораненых[1] покрывали поле сражения. Ардарик, успев перевести гепидов на другую сторону реки, присоединился к главной армии гуннов, которая в тот же день вступила в Шалон.

Более уже не было никаких средств к избежанию генеральной битвы. В нескольких милях за Шалоном, подле места, называемого в древних путеводителях храмом Минервы, (Fanum Minervae), видны и до сих пор следы укрепленного лагеря по римскому образцу; находясь на Страсбургской дороге, он, по-видимому, имел назначение прикрывать собой оба города, Реймс и Шалон, между которыми был расположен. Недалеко от этих развалин, по необозримой равнине, протекает река Везль (Vesle), которая, находясь еще при своем истоке,

[1] У Иордана, по ошибке переписчика, 90 тысяч.

имеет вид ничтожного ручья; это последнее обстоятельство, в соединении с другими топографическими подробностями, упоминаемыми историей, подтверждает то мнение, что на этом самом месте происходила битва римлян с гуннами. На самом деле предание называет лагерем Аттилы развалины укреплений, характер которых чисто римский; они до того хорошо сохранились, после четырнадцати веков, что нет никакой возможности видеть в них остатки какой-нибудь варварской стоянки, устроенной на скорую руку. Может быть, Аттила, найдя годными для себя римские укрепления, воспользовался ими как счастливым случаем? Может быть, римские окопы пригодились для составления центра лагеря? Все это вполне возможно; такое предположение без особенной натяжки согласуется между местным преданием и здравым смыслом. Решившись на битву, Аттила построил свои кибитки в виде круга, внутри которого были раскинуты палатки. В тот же день армия Аэция расположилась на виду гуннов; римские легионы – по всем правилам римского военного искусства становятся лагерем, союзные же варвары – без окопов и палисадов, по национальностям.

Аттила провел всю эту ночь весьма тревожно. Дурное состояние его расстроенной армии, ослабленной лишениями и значительно уменьшившейся и в людях, и в лошадях, делало для него поражение весьма вероятным, и такая вероятность не укрылась бы от глаз даже и менее проницательных. Его солдаты захватили в соседнем лесу пустынника, который слыл за прорицателя между крестьянами; Аттиле пришло на мысль спросить его о своей судьбе. «Ты – бич Божий,– отвечал ему пустынник,– и палица, которою провидение поражает мир; но Бог, по воле своей, ломает орудие своей кары, и по своим предначертаниям передает меч из одних рук в другие. Знай же, что ты будешь побежден в битве с римлянами, и чрез то поймешь, что твоя сила не от мира сего». Такой смелый ответ нисколько не разгневал короля гуннов. Выслушав христианского прорицателя, он хотел в свою очередь обратиться к гадателям, находившимся при войске, потому что у гуннов, как позже и у монголов, для совещаний о будущем в важных случаях существовали, по-видимому, особые общественные учреждения. Аттила велел призвать к себе гадателей и, как говорит о том историк этой войны, Иордан (R. Get. гл. 37), haruspices, следовавших за войском; затем началась оригинальная и вместе страшная сцена; история, изображая ее в общих чертах, предоставляет воображению дополнить целое.

Представьте себе, в татарской ставке, раскинутой посреди долин Шампани, при погребальном свете факелов, собрались на совет всевозможные суеверия Северной Европы и Азии: жрец из остготов или ругов, с руками, запущенными во внутренности жертвы, наблюдает за ее последними содроганиями; жрец из алан, встряхивая гадательные прутики на белой скатерти, видит в их расположении таинственные знаки будущего; кудесник из белых гуннов, вызывая духи умерших, при громе волшебного барабана, кружится с быстротой колеса и в изнеможении падает, с пеной у рта, неподвижным; а в глубине палатки Аттила, на своем табурете, следит за конвульсиями и прислушивается ко всякому взвизгиванию этих адских истолкователей. Но гунны имели еще особенное, им только свойственное и более торжественное гадание, которое, по показанию европейских путешественников, сохраняло свою силу в XIII и XIV столетиях, при дворе потомков Чингисхана: я разумею гадание костями животных и преимущественно бараньими лопатками. Процесс гадания состоял в том, что от костей, для того предназначаемых, отделялось мясо; потом их клали на огонь, и по направлению жил или трещин на кости, от влияния жара, предугадывали будущее. Правила этого искусства были точно определены известным церемониалом, как то было и у римских птицегадателей. Аттила сам смотрел на кости и по ним узнал то же самое о предстоящем ему поражении. Жрецы, по совещании между собой, объявили, что гунны будут поражены, но предводитель неприятелей падет в битве. Аттила разумел под этим Аэция, и на лице его блеснула радость. Аэций был большим препятствием для всех его намерений: он со

своей ловкостью уничтожил искусно составленный план Аттилы для отделения вестготов от римлян; он остановил гуннов в их победоносном шествии; он был душой той массы мелких народов, завидовавших друг другу, и с которыми Аттила, без Аэция, справился бы легко. Во мнении короля гуннов купить его смерть ценой собственного поражения значило бы купить ее еще весьма недорого.

Аттила принял все меры к тому, чтобы открыть битву как можно позже, с целью сделать невозможным окончательное поражение: наступившая ночь дала бы время принять меры. В девятом часу дня, а по нашему около трех часов пополудни, гунны вышли из окопов лагеря. Аттила занял центр со своими гуннами; на левом крыле расположился Валамир с остготами, на правом – Ардарик с гепидами и другими народами, подчиненными Аттиле. Аэций, со своей стороны, распоряжался на левом крыле, занимаемом римскими легионами; на правом вестготы стояли против остготов, а в центре были размещены бургунды, франки, арморики и аланы, предводительствуемые Сангибаном, верность которого была заподозрена еще при осаде Орлеана, и потому войскам более надежным было поручено наблюдать за ним. Распоряжения, сделанные Аттилой, достаточно указывали на его план. Сосредоточив лучшую часть кавалерии в центре позиции и поблизости баррикад, устроенных из кибиток, он, очевидно, хотел повести быструю атаку на неприятельский лагерь и в то же время обеспечить себе отступление к своим укреплениям. Напротив того, Аэций, расположив главные свои силы на флангах, имел целью воспользоваться таким маневром Аттилы, окружить его, если будет то возможно, и перерезать ему отступление, которое тот приготовил себе. Между двумя армиями находилось небольшое возвышение с незначительной покатостью, и овладеть им, как обсервационным пунктом, представляло большую выгоду: гунны отправили туда несколько эскадронов, отделив их от авангарда, а Аэций, быв ближе, послал туда же Торисмонда с вестготской конницей; прибыв первым на возвышение, он атаковал гуннов сверху и опрокинул их без труда. Такое неудачное начало было дурным предзнаменованием для гуннской армии, томимой уже и без того печальным предчувствием. Аттила для воодушевления войска собрал около себя предводителей и обратился к ним с речью, слова которой приводит Иордан (R. Get. 39) в своем рассказе, по готскому преданию. Хотя с первого раза мы можем быть удивлены тем, что до нас дошла речь Аттилы, но наше удивление пройдет, если принять в соображение необыкновенную силу памяти у народов, которые, не зная искусства письма, имеют и в устном предании единственный исторический источник. События общественной жизни варваров, вместе с их мифологическими повествованиями, составляют исключительный предмет их литературы, и потому они удерживают их в памяти с такой точностью, образчик которой нам представляет Эдда; и если им случается что-нибудь прибавить к действительности совершившегося, то они остаются до того верны краскам времени и описываемого общества, что сама выдумка получает в глазах потомства род некоторой достоверности. Допустим, если угодно, что речь, которую Иордан влагает в уста короля гуннов, принадлежит к числу подобных выдумок; во всяком случае, он не был произведением какого-нибудь греческого или латинского ритора, тем более, что, по своей суровой энергии, эта речь представляет величайший контраст со слогом и идеями, которые мог бы добыть из себя наш компилятор истории готов.

«Одержав уже столько побед над народами,– говорил Аттила,– и почти достигнув обладания миром, я был бы бессмыслен и смешон в своих собственных глазах, если бы вздумал возбуждать вас еще словами, как будто бы вы не умели биться. Предоставим такую меру какому-нибудь новичку-полководцу и неопытным воинам: она была бы недостойна ни вас, ни меня. В самом деле, к чему же вы больше привыкли, как не к войне? И что для храброго может быть приятнее, как искать мести с оружием в руках? О! Да, пресыщать сердце местью – величайшее благодеяние природы!.. Нападем смело на неприятеля; кто храбрее, тот

всегда нападает. Смотрите с презрением на эту массу разнообразных народов, ни в чем не согласных между собою: кто при защите себя рассчитывает на чужую помощь, тот обличает собственную слабость пред всем светом. Вы видите, как овладевает ими уже страх, прежде нежели началась битва: они хотят овладеть возвышенностью; они торопятся занять высоты, которые не помогут им, а вскоре им придется не с большим успехом искать спасения в долине. Мы знаем все, с каким трудом римляне переносят тяжесть своего вооружения; я не говорю о первой ране, их может задушить одна пыль. Пока они будут строиться в неподвижные массы, чтоб составить черепаху из своих щитов, не обращайте на них внимания и идите дальше; бегите на алан, бросьтесь на вестготов: мы должны искать быстрой победы там, где сосредоточены главные силы. Если перерезать мускулы, члены опустятся сами собою, и тело не может прямо стоять, когда из него вынуты кости. Итак, возвысьте свою храбрость и раздуйте свой обычный пыл. Покажите как следует гуннам свое мужество; пусть узнают доброкачественность вашего оружия; пусть раненый ищет смерти своего противника, а тот, кто останется невредим, насытится избиением врага: кому суждено остаться в живых, на том не будет ни одной царапины, а кому нужно умереть, того судьба постигнет и среди мира. Наконец, к чему бы фортуна даровала гуннам победу над столькими народами, если бы она не хотела нас осчастливить предстоящею битвою? К чему она указала бы нашим предкам дорогу через Меотийские болота, остававшиеся в течение стольких веков неизвестными и непроходимыми. Я не ошибаюсь нисколько относительно настоящего: пред нами то поле битвы, которое обещали нам наши прежние победы, и этот случайно скученный сброд не выдержит и на одно мгновение вида гуннов. Я бросаю первый дротик в неприятеля; если кто-либо может остаться спокойным в то время, когда бьется Аттила, тот уже погиб» (si quis potuerit, Attila pugnante, otium ferre, sepultus est).

«Затем, – говорит Иордан, сделавшийся в своем рассказе почти столько же диким, как и его герои, – затем началась битва свирепая, повсеместная, ужасная, отчаянная. Древность не повествует нам ни о таких подвигах, ни о такой резне, а тот, кто не был свидетелем этого удивительного зрелища, тому не встретить того другой раз в своей жизни». Полуиссякшие ручейки, протекавшие по долине, внезапно раздулись от потоков крови, смешавшейся с их водами, и раненые, утоляя жажду таким ужасным питьем, умирали мгновенно.

Дело началось на правом римском крыле, которое схватилось с левым крылом Аттилы; западные готы боролись с восточными, братья с братьями. Престарелый король Теодорих ездил по рядам своих воинов, убеждая их движениями руки и голосом; но вдруг он свалился с лошади и исчез под копытами конницы, скакавшей взад и вперед и сталкивавшейся массами. Некоторые уверяют, что один остгот из аланов, по имени Андагиз, поразил его дротиком и проколол наскозь. Сеча продолжалась, и никто не знал о его судьбе; после кровавой борьбы вестготы рассеяли своих неприятелей. В это время гунны Аттилы бросились на центр римской армии, пробили его и удержали в своих руках позицию; но вестготы, победив на правом крыле, атаковали их с фланга. Левое крыло римской армии сделало такое же движение, и Аттила, заметив опасность, отступил к своему лагерю. В этой новой борьбе, преследуемый с яростью вестготами, он едва не был убит и спасся только одним бегством. Его армия, смешавшись, последовала за ним в место, загороженное кибитками; и как ни было слабо подобное укрепление, но туча стрел, пускаемых беспрерывно из-за кибиток, остановила нападающих. В это время наступила ночь и за ней последовал такой мрак, что нельзя было отличить своих от неприятелей; целые отряды сбились с пути. Торисмонд, спустясь с холма, чтобы присоединиться к главной своей армии, сам того не замечая, наткнулся на кибитки гуннов, откуда встретила его туча стрел; он был ранен в голову и сброшен с лошади. Вестготы унесли его, облитого кровью. Сам Аэций, отделившись от своих и отыскивая вестготов, которых он считал погибшими,

бродил некоторое время среди неприятеля. Остальную часть ночи и римляне, и их союзники провели на страже в своем лагере, с щитами на руках.

Солнце взошло над долиной, усеянной трупами. Рассказывают (а именно, Иордан), 160 тысяч убитыми и ранеными остались на месте; по другим, до 300 тысяч. Римляне и их союзники относительно результата битвы знали только то, что Аттила должен был претерпеть страшное поражение: его отступление, сделанное с такой поспешностью и с таким беспорядком, указывало ясно на то; а потом, когда увидели, что Аттила решительно замкнулся в своем укреплении, легко заключили, что он признал себя побежденным. Впрочем, и засев за кибитками, король гуннов держал себя достойно своей храбрости: среди его лагеря раздавался звук трубы и шум оружия, так что, казалось, он угрожал снова нанести нежданный удар. «Как лев, гонимый отовсюду охотниками, большим прыжком удаляется в свое логовище, не смея броситься вперед, и своим рыканием наводит ужас на окрестные места, так,– по словам историка Иордана,– гордый король гуннов среди своих кибиток наводил ужас на своих победителей». Римляне и готы рассуждали между собой, как поступить с побежденным Аттилой, и решили оцепить его лагерь и дать погибнуть самому, не представляя атакой случая к отмщению. Рассказывают (Иордан, R. Get. 40), что в этом отчаянном положении Аттила приказал скучить седла в огромный костер и приготовиться подложить огонь, с тем, чтобы броситься в него, в случае, если неприятель овладеет укреплениями его лагеря.

Между тем Теодорих не появлялся; он один не разделял со своими торжества победы; о его исчезновении ходили различные слухи; его считали в плену или убитым. Прежде всего его стали искать, как храброго воина, на поле битвы, и наконец не без труда нашли его труп, покрытый массой других убитых. При этом зрелище готы запели погребальный гимн, и на глазах гуннов унесли его тело; гунны не сделали ни малейшей попытки к тому, чтобы воспрепятствовать им. Варварские гадатели должны были громко прославлять непогрешимость своих предсказаний, оправданных событиями: они предвещали смерть неприятельского предводителя; правда, это был не тот, на кого рассчитывал Аттила. Торисмонд, оправившись от своей раны, присутствовал при погребении отца, которое было отправлено вестготской армией с большим торжеством, пением, стуком оружия и неблагозвучными криками. Торисмонд явился в качестве короля, потому что готы подняли его на щиты, вместо убитого отца.

Смерть Теодориха, в двухстах лье от его страны, была важным событием для готов, короли которых были избирательные, хотя всегда из среды одной и той же фамилии. Молодой Теодорих, правда, согласился без затруднения на избрание своего брата Торисмонда; но был вопрос, согласятся ли так же легко на этот выбор, сделанный одним войском, те четыре брата, которые остались в Тулузе? Имея в своих руках власть и богатства своего отца, не будут ли они стараться составить себе партию, возмутить толпу и овладеть королевством? Все это было весьма возможно и даже сообразно с привычками вестготов и с честолюбивым и смелым характером молодых принцев. Торисмонд, мучимый беспокойством, хотел бы уже быть в Тулузе, чтобы предупредить или усмирить своих братьев; но стыд удерживал его при Аэции. Он пошел к патрицию, возраст и зрелое благоразумие которого, по его словам, могло быть ему полезно советом, и именем своего отца, Теодориха, смерть которого он желал отмстить, предлагал атаковать лагерь гуннов.

Аэций, зная все коварство и непостоянство варваров, понял, что за несвоевременными сожалениями Торисмонда скрывается угроза оставить лагерь, и потому скрыл досаду на то, что его зрело обдуманный план должен измениться, и что, может быть, счастье от него обратится к союзникам, которые так мало дорожили римскими интересами. Показывая вид, что вполне сочувствует опасениям Торисмонда, он нимало не противоречил его намерению увести с собой вестготскую армию, если только на него не нападет Аттила. Это было настоящее дезертирство; но после

того, как коварно вел себя этот народ пред началом войны, тут нечему было удивляться; потом, римляне были уже приучены к подобным внезапным удалениям, к постоянному колебанию своих союзников, недальновидных, эгоистических, всегда более готовых к тому, чтобы ослабить, нежели подкрепить империю, принявшую их в свои недра. История присоединяет к тому, что Аэций в глубине души своей был даже несколько доволен освободить себя от вестготов, которые играли такую блестящую роль в сражении и, по-видимому, решили его участь. Их хвастовство и притязания оскорбляли, конечно, римскую армию, и Аэций боялся, что после поражения гуннов эти защитники Галлии обрушатся на нее всей своей тяжестью. Такова была по крайней мере политика, которую Иордан приписывает Аэцию, по своему пристрастию к своим соотечественникам, готам. Такой оборот дела до того нравился варварам и до того льстил их самолюбию, намекая на их важность, что и историки франков (как, например, Григорий Турский) делали также притязания (конечно, без всякого основания), что римский полководец подобной же стратегией и в том же намерении удалил с поля сражения небольшой народ Меровея. В самом деле, Аэций показал вид, что он совершенно согласен на удаление Торисмонда; но это равнялось прекращению осадного положения для Аттилы.

Ничего не зная о тех спорах и по-прежнему заключенный в своем лагере, Аттила с грустью видел, как его армия истребляется лишениями и болезнями; он, казалось, ожидал для составления нового плана, чтобы какая-нибудь случайность, вроде той, которая и произошла, разделила армию Аэция. Он хорошо заметил, что бивуаки Торисмонда опустели; но так как в этом обстоятельстве могла скрываться какая-нибудь западня, Аттила оставался настороже. Спустя несколько времени тишина и слишком продолжительное опустение места лагеря вестготов убедили его в справедливости факта, и он предался величайшей радости; «его душа возвратилась к мысли о победе, по энергическому выражению историка, которого мы выше приводили, и его мощный гений овладел своею прежнею фортуной». Приказав немедленно запрячь кибитки, он поднялся с места, сохраняя еще грозный вид. Аттила хотел только уйти: Аэций, с войском, уменьшенным наполовину, считал благоразумным не беспокоить отступающего льва; он только следил за ним на некотором расстоянии и в строгом порядке, чтобы препятствовать грабежу и напасть на него, если бы он вздумал уклониться с прямой дороги.

Hist. d'Att. etc. I, 178–196.

Иордан

РАСПАДЕНИЕ АТТИЛОВОЙ МОНАРХИИ И ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГЕРМАНСКИХ НАРОДОВ (550 г.)

Окончив погребальные обряды, наследники Аттилы, по свойству юношей увлекаться властолюбием, подняли спор о разделе государства; но, безрассудно желая повелевать все вместе, они все вместе потеряли власть. Таким образом, большое число наследников часто бывает более вредно государству, нежели недостаток в них. Сыновья Аттилы, которые, вследствие его крайней чувственности, составляли почти целый народ, требовали, чтобы подданные были разделены между ними поровну, так что воинственные короли и их племена, подобно домашней прислуге, должны были быть пущены по жребию. Ардарик, король гепидов, узнав о том, пришел в негодование за оскорбление столь многих народов, с которыми хотели обращаться, как с презренными рабами, первый восстал против сыновей Аттилы и счастливым исходом дела омыл позорное пятно рабства. Он освободил своим восстанием не только свой,

но и прочие, равно угнетенные народы; легко все поддерживают то, что предпринимается для общей пользы. Таким образом, все вооружились на взаимную погибель. Война ведется в Паннонии, на берегах реки, называемой Нетад. Там сошлись различные народы, находившиеся под властью Аттилы. Королевства распадаются на нации, из одного тела образуются отдельные члены, и один не чувствует боли другого, но, по отсечении головы, наносят взаимно удары. Сильнейшие народы, не находившие прежде равных себе, теперь растерзывают сами себя, всасываясь в раны друг другу. Я полагаю, это было удивительное зрелище, где можно было встретить гота, размахивающего булавой, свирепого гепида с мечом в руках, руга, переламливавшего копье в ране своих единоплеменников, пешего свева и пускающего стрелы гунна, алана в тяжелом и герула в легком вооружении. Наконец, после многих тяжких битв, победа нежданно улыбнулась гепидам; почти тридцать тысяч как гуннов, так и других содействовавших им народов истребил меч Ардарика и его союзников. В одном сражении был убит и старший сын Аттилы, по имени Эллак, которого отец, говорят, любил более прочих до того, что назначил его своим преемником, предпочтительно перед всеми своими многочисленными сыновьями; но судьба не согласилась с желанием отца. Нанося частые поражения своим врагам, он, как известно, погиб с таким мужеством, что и его отец, если бы он оставался еще в живых, мог бы пожелать себе столь славной кончины. Другие же братья, после его смерти, были прогнаны к берегам Понта, где прежде жили готы. Такой конец имели гунны, которым, казалось, уступала вся вселенная. Раздор бывает до того пагубен, что те же люди, которые при внутреннем согласии наводили страх, в разъединении были сокрушены. Эта победа Ардарика, короля гепидов, была счастливым событием для тех различных народов, которые неохотно подчинялись господству гуннов, и их давно уже изнывавшее сердце забилось сильнее от радости желанной свободы; многие отправили послов в римскую землю и, получив радушный прием у тогдашнего императора Восточной империи Маркиана, заняли для поселения отведенные им земли. Гепиды, захватив силой прежнее жилище гуннов и овладев, как победители, пределами Дакии, заключили с римлянами дружеский договор, не требуя от них, как храбрые люди, ничего другого, кроме мира и торжественных ежегодных подарков. Император охотно согласился на то, и до сих пор этот народ получает от римского правительства обычный дар. Готы же, видя, что гепиды не впустят их в земли гуннов, несмотря на то, что гунны владели страной, издревле им принадлежавшей, желали лучше обратиться к римлянам с просьбой о поселении их в пределах империи, нежели с опасностью для себя напасть на чужие владения, и получили Паннонию, которая расстилается широкой равниной, гранича к востоку с верхней Мизией, к югу Далмацией, к западу Нориком, а на севере отделяется Дунаем. Они украсили свою родину многими городами, из которых ближайшим был Сирмий, а отдаленнейшим – Виндомина. Саврамать же, которых мы называем сарматами, и цемандры вместе с частью гуннов заняли данные им земли в империи подле Марсова поля (ad castrum Martis). Отсюда был родом Бливила, герцог Пентаполитанский, его брат Фройла, и наш современник, патриций Бесса. Сциры, садагары и прочие аланы вместе со своим вождем Кандаком получили Малую Скифию и Нижнюю Мизию. При этом Кандаке, пока он был в живых, стоял секретарем (notarius) мой дед Париа, то есть отец моего отца Алановамутиса; сын же его сестры, Гунтигис, которого звали также и Базой, начальствовал над пехотой (magister militum) и, родившись от Андагиза, сын Андалы, происходил из фамилии Амалов. Я, Иордан, также хотя безграмотный (agrammatus – вероятно, по отношению к латинскому языку), был до своего обращения секретарем. Руги же просили позволения занять Биццис и Аркадиопол. Эрнак, младший сын Аттилы, вместе со своим народом избрал для себя самые отдаленные части Малой Скифии. Эмнедзур иУлтцикдур, его родственники, овладели Утом, Гиском и Альмом; много гуннов, мало-помалу нападавших, явилось

в Романии; из них некоторые и до сих пор называются сакромонтизиями и фозатизиями.

Были еще готы, именуемые малыми, народ многочисленный, имевший своим епископом и примасом Вульфилу, который, рассказывают, ввел у них письменность. Они и теперь еще живут в Мизии, населяя никополитанский округ, при подошве Гемуса; это народ бедный и мирный; у них нет ничего, кроме различных пород рогатого и мелкого скота, пастбищ и строевого леса; земля изобилует овощами, но гороху весьма мало. Виноградников не имеют, но употребление вина известно, так как они покупают его у соседей; сами же большей частью питаются молоком.

Остготы, поселившиеся в Паннонии, под управлением Валамира и его братьев, Теодемира и Видемира, разделили между собой страну, но жили совершенно согласно: Валамир господствовал между Скарниунгой и Черной Водой, двумя реками; Теодемир – в окрестностях озера Пельзоиса, а Видемир находился между ними. Вскоре случилось, что сыновья Аттилы, считая готов своими беглецами, спасавшимися от их господства, напали на Валамира, и братья его ничего не знали о том. Но он и с небольшими силами поразил гуннов; утомленные походом, они были стеснены до того, что только небольшая часть их спаслась и, обратившись в бегство, удалилась в те части Скифии, которые орошаются Днепром (Danaper) и на их языке называются Гунниваром.

De Get. prig. etc. гл. L–LII.

Видукинд

КАРТИНА ВНУТРЕННИХ ОТНОШЕНИЙ ГЕРМАНСКИХ ПЛЕМЕН В ЭПОХУ ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ (около 973 г.)

Пусть никто не удивляется тому, что я, изобразив в первых своих произведениях славу сподвижников величайшего государя[1], вознамерился теперь описать деяния наших князей. Так как тем трудом я уже посильно выполнил то, чего требовало мое признание, то и теперь считаю себя не вправе уклониться от обязанности посвятить, сколько возможно, свои силы на прославление своего племени и народа.

Предварительно я коротко упомяну о происхождении и быте саксов, руководствуясь почти исключительно преданием, потому что отдаленность времени не допускает почти никакой точности. Мнения об этом предмете различны: одни думают, что саксы происходят от датчан и норманнов; другие производят род их от греков, так меня в молодости кто-то уверял, что сами греки

[1] Автор разумеет Оттона I Великого (середина X в.); но эти произведения не дошли до нас.

ВИДУКИНД (WIDUKIND, или WITIKIND, или WITTEKIND, ум. около 973 г.). Бенедиктинский монах корвейского аббатства (в Вестфалии), жил в самую цветущую эпоху политического преобладания национальности саксов, к которой он принадлежал. Саксы пали последними в борьбе с новыми представителями римской образованности – франками Каролингской эпохи. Но по распадении империи Карла Великого, слитые им народности воспользовались борьбой его детей и возвратили свою самостоятельность: таким образом, в IX в. Германия является в первый раз отдельным королевством, а в X в. национальные герцоги саксов, Генрих I Птицелов и его сын, Оттон Великий, избираются королями; вследствие того и само племя саксов получает преобладающее политическое влияние. Оно возвысилось еще более, когда саксонская династия пошла по дороге Каролингов, и в лице Оттона I восстановила вторично павшую Священную Римскую империю.

предполагают в саксах остатки македонского войска, следовавшего за Александром Великим и после его преждевременной смерти рассеявшегося по всему лицу земному. Впрочем, без сомнения, это было древнее, благородное племя, о котором упоминается даже в речи Агриппы у Иосифа, как изречение поэта Лукана. Однако мы знаем достоверно, что саксы прибыли в эти страны на кораблях и вышли в первый раз на берег у того места, которое еще и до сегодня называется Гадолаун. Туземцы, вероятно, туринги, недоброжелательно встретили их появление и вооружились; но саксы мужественно дрались и удержали за собой пристань. После этого они еще долго друг с другом боролись, и когда с обеих сторон пало много жертв, то противники решились завести переговоры о мире и заключить договор, который и был совершен на следующем условии: саксы могут покупать и продавать все, но должны воздерживаться от опустошений, убийства и разбоя. Этот договор много дней соблюдался ненарушимо. Но когда у саксов вышли деньги и им нечего было больше ни покупать, ни продавать, то они убедились, что мир для них бесполезен.

В это время случилось выйти на берег одному саксонскому юноше, обремененному тяжелой ношей золота, и сверх того золотой цепью и золотыми поручами. Его встретил один из турингов и сказал: «К чему столько золота вокруг твоей худощавой шеи?» – «Я ищу покупателя,– отвечал тот,– и именно только с этой целью могу носить на себе золото; как бы мог я украшать им себя, когда умираю с голоду?» Туринг спросил о роде и количестве цены.

«О цене,– отвечал сакс,– я не забочусь и приму с благодарностью все то, что ты мне дашь».– «Ну, а что,– сказал тот, насмехаясь,– если я наполню полу твоей одежды этим сором?» На том месте была навалена большая куча земли. Сакс немедленно подставил свою полу, принял землю, отдал тотчас турингу золото, и оба радостно поспешили к своим. Туринги превозносили своего земляка до небес за то, что он так ловко провел сакса и так удачно успел приобресть такое количество золота забавной ценой. Уверенные в своей победе, туринги до известной степени уже торжествовали над саксами. Между тем сакс, без золота и тяжело нагруженный землей, приближался к кораблям. Товарищи, выйдя к нему навстречу, удивлялись его поступку; иные из его друзей даже смеялись над ним, а другие покачивали головой. Все были уверены, что он сошел с ума. Но он, попросив всех молчать сказал: «Следуйте за мной, любезные саксы, и вы убедитесь, что моя глупость для вас полезна». Они недоверчиво пошли за ним, а он, взяв землю, рассыпал ее, как можно реже, по соседним полям и занял это место для лагеря.

Когда туринги увидели лагерь саксов, то не вынесли этого и отправили послов с жалобой, что со стороны саксов нарушен мир и договор. Саксы отвечали, что они продолжают свято соблюдать договор; что же касается до купленной ими на свое золото земли, то они намерены, не нарушая мира, оставить ее за собой, а в противном случае отстоять ее оружием. Услышав это, туземцы

С таким политическим развитием значения саксов должно было явиться стремление к историческому осознанию прошедшего, и потому в X столетии в первый раз является национальная история саксов. Представителем ее и был Видукинд. По просьбе дочери императора, Матильды, аббатисы Кведлинбургской, он написал «Три книги истории саксов» (Res gestae Saxonicae или Annales de gestis Othonum), от 919 до 973 г., а именно время Генриха Птицелова и Оттона I до его смерти. Первые главы первой книги посвящены известиям о древней истории саксов, которая составлена автором, очевидно по народным преданиям и героическим поэмам прежней эпохи. Произведение Видукинда потому неоценено, как единственный национальный памятник, свидетельствующий о том древнем быте Германии до Карла Великого, от которого не осталось никаких других следов, облеченных в историческую форму.– Лучшее издание истории Видукинда помещено у Pertz, Monumenta Germaniae (Scriptorum t. III, 408–467).

прокляли саксонское золото и объявили виновником злополучия их и всего отечества того, кого сами же так недавно прославляли за ловкость. Но потом, распаленные гневом, они в слепой ярости бросились без порядка и без цели на лагерь; саксы же встретили врагов спокойно, опрокинули их и, счастливо покончив битву, завладели, по праву войны, ближайшими окрестностями. Таким образом, после многих междоусобиц, туринги, убедившись, что саксы им не по силам, предложили через переговорщиков, в назначенный день на известном месте собраться обеим сторонам без оружия для составления новых условий мира. Саксы приняли такое предложение. В то время у них были в употреблении большие ножи, какие еще до сих пор носят англы, по примеру предков. Скрыв ножи под одеждой, саксы выступили из своего лагеря и сошлись с турингами в назначенном месте. Увидев, что враги безоружны и что с ними находятся и предводители их, они почли эту минуту за самую благоприятную к завладению всей страной, выхватили ножи, бросились на беззащитных и перепуганных, и всех перекололи, так что ни один из них не спасся. С этих пор имя саксов начало приобретать известность и внушать соседним народам великий страх. Иные полагают, что это приключение дало им и имя, потому что ножи называются по нашему сакс; итак, они были за то и прозваны саксами, что перерезали такое множество людей своими ножами.

Сакс. ист. I, 1–7.

Павел Дьякон

БОРЬБА ЛАНГОБАРДОВ С ТУРИНГАМИ В ГЕРМАНИИ (вторая половина VIII в.)

Винилы, или лангобарды, выселившись из Скандинавии, под предводительством Ибора и Агио пришли в страну, называемую Скоринга, где они и жили в продолжение нескольких лет. В то время два вождя вандальских дружин, по имени Амбри и Асси, разносили повсюду войну в соседних землях. Возгордившись своими многочисленными победами, они отправили послов к винилам и приказали объявить им, что они должны или платить дань вандалам, или готовиться к войне. Ибор и Агио, с согласия своей матери Гамбары, говорили своим, что лучше защищать свободу с оружием в руках, нежели осквернять ее платежом дани; а вандалам через послов ответили, что они лучше хотят сражаться, чем служить. Хотя все винилы были тогда в полной силе мужеского возраста, но число их было невелико, так как они составляли только третью часть народонаселения того весьма небольшого острова.

Старое предание рассказывает об этом следующую забавную сказку: будто бы вандалы обратились к Годану (то есть Одину) с просьбой даровать им победу над винилами; он отвечал им, что даст победу тем, кого прежде увидит при восходе солнца. Потом, будто бы, Гамбара обратилась к Фрее, супруге Годана, и умоляла ее, чтобы победа осталась на стороне винилов. Фрея дала ей совет приказать женщинам пустить волосы по лицу так, чтобы они казались с бородой; потом, как можно раньше, вместе со своими мужьями, выйти на поле сражения и стать на таком месте, где Годан мог бы увидеть их, когда, по обыкновению, он смотрит утром в окно.

Все это так и случилось. Лишь только Годан при восходе солнца взглянул на них, как спросил: «Кто это такие длиннобородые» (по-немецки Langbärte)? Тогда Фрея начала настаивать, чтобы он дал победу тем, кому сам теперь дал имя. И таким образом Годан даровал победу винилам.

Все это, конечно, смешно и ничего не стоит, потому что победа зависит не от рук человеческих и даруется провидением.

Верно одно, что лангобарды, первоначально называвшиеся винилами, впоследствии получили свое название от длинных бород, которых никогда не касалась бритва. А Годан,

которого они, прибавив одну букву, называли Гводаном, есть то же самое божество, которое у римлян было известно под именем Меркурия. Ему поклонялись как верховному божеству все народы Германии, не наших, но самых древних времен. Он собственно принадлежит Греции, а не Германии. Верно также то, что, винилы, или лангобарды, сражались храбро с вандалами, так как дело шло о свободе, и одержали над ними победу.

Истор. лангобард. I, 7–10.

Видукинд

МЕЖДОУСОБИЯ ФРАНКОВ С ТУРИНГАМИ И САКСАМИ (около 973 г.)

Вскоре после переселения саксов в Британию (в первой половине V в.) умер король франков, Гуга, не оставив после себя никакого наследника, кроме единственной дочери, по имени Амальберга, бывшей замужем за Ирминфридом, королем турингов. Однако франкский народ, благодушно и кротко управляемый бывшим повелителем, помазал, из чувства благодарности, своим королем сына его, Тиадрика, прижитого Гугой с одной из своих наложниц. Тиадрик, провозглашенный королем, отправил к Ирминфриду посольство ради мира и согласия. Посол явился и сказал Ирминфриду: «Всемилостивейший и могущественнейший государь мой, Тиадрик послал меня к тебе, и, желая тебе здоровья и долгого господства над обширным и великим государством, велел уведомить, что он не господин твой, а друг, не повелитель, а родственник, и желает сохранить права родства ненарушимыми до самой смерти; но только просит тебя не расстраивать единодушия франкского народа, который повинуется ему, как своему законному королю». Ирминфрид, сообразно королевскому достоинству, милостиво отвечал посланнику, говоря, что он признает постановления франкского народа, и если они единодушны, то он не желает междоусобия, потому что крайне нуждается в мире; касательно же вопроса о престолонаследии он откладывает свой ответ до собрания своих друзей. И он с большим почетом обходился с послом и уговаривал его оставаться на некоторое время. Королева же, услышав о прибытии посла от своего брата и о разговоре его с королем по поводу престолонаследия, уговорила друга своего мужа Иринга внушить общими силами Ирминфриду, что по праву наследства королевство достается ей, как дочери короля и королевы; Тиадрик, как рожденный наложницей, должен считаться его рабом, и неприлично оказывать повиновение собственному слуге. Иринг же был отважный муж, храбрый в бою, крепкий духом, находчивый в совете, твердый в своих предприятиях, способный подчинять других своей воле; такими качествами он уже успел привлечь к себе сердце Ирминфрида. Ирминфрид передал слова посла созванным предводителям и близким друзьям, и те единогласно ему советовали сохранить мирные и согласные отношения, потому что он не выдержит нападения франков, а с другой стороны, ему угрожают еще более воинственные враги. Но Иринг, угождая замыслам надменной женщины, внушал Ирминфриду не уступать франкам, потому что его права на наследство более законны; к тому же государство его обширно, а что касается до числа воинов, оружия и прочих вспомогательных для войны средств, то между ним и Тиадриком небольшое различие. Соответственно таким речам, Ирминфрид отвечал посланнику, что хотя он и не отказывает Тиадрику в своей дружбе и родстве, но не может не удивляться тому, как можно на его месте заботиться прежде о престоле, чем о собственной свободе, и как ему, родившемуся рабом, требовать от других повиновения? Он не может присягать своему собственному рабу. Глубоко возмущенный такими словами посланник отвечал на то: «Я предпочел бы сложить к твоим ногам свою голову, чем слышать от тебя подобные речи,

которые, я уверен, будут искуплены ценою большого кровопролития франков с турингами». С этими словами он возвратился к Тиадрику и не скрыл ничего, что слышал. Но Тиадрик, прикрывая веселым видом вспыхнувший в нем гнев, отвечал: «Поспешим поступить в услужение к Ирминфриду, чтобы нам, лишенным свободы, насладиться, по крайней мере, жизнью». Когда же он с огромным войском подошел к турингской границе, то встретил своего зятя, ожидавшего его также с сильным войском у места, называемого Рунибергун[1]. Началась битва, продолжавшаяся целый день и следующий за ним без всякого результата; на третий же день Ирминфрид был побежден, отступил и, обратившись в бегство, занял со своею свитой замок, называемый Сцитинги и расположенный на реке Унстроде (ныне Унштрут). Но Тиадрик собрал своих полководцев и военачальников и спрашивал о мнении войска: преследовать ли Ирминфрида или воротиться в отечество. Между прочими говорил и Вальдрик, когда к нему обратились за советом: «Я того мнения, что для погребения падших, излечения раненых и для составления большого войска нужно возвратиться в отечество; ибо я не думаю, чтобы мы, после потери стольких тысяч воинов, были в состоянии окончить нынешнюю войну. А если восстанут против нас бесчисленные варварские народы, то кем ты победишь, когда многие из нас ослабели?» У Тиадрика был еще умный слуга, мнение которого он часто признавал основательным, и который пользовался некоторым его доверием. Этот последний, приглашенный высказать свое мнение, отвечал: «В деле чести, я считаю твердость лучше всего, твердость, которую так высоко ценили наши предки, что редко или никогда не отступались от начатого подвига; притом же я не думаю, чтобы их средства могли сравняться с нашими: мы с ничтожными силами одолевали несметные воинства других народов. Теперь страна в наших руках, а мы хотим своим отступлением доставить побежденным случай к победе! И я бы охотно вернулся в отечество, чтобы увидаться со своими, если бы только был уверен, что противник наш будет в это время оставаться в бездействии. Но, быть может, возвращение необходимо для наших раненых? В таком случае лучше же выстроим лагерь и, я думаю, мы тем утешим неусыпное мужество. Ряды нашего войска, говорите вы, не столь густы, как прежде; но разве и враги все уцелели? Без сомнения, только самая малая часть, потому что и сам их предводитель, подобно бессильному зверьку, ищущему защиты в своей норе, забился за стенами замка и не смеет даже свободно взглянуть на небо: такого задали мы им страха! Но у него нет недостатка ни в деньгах, для найма варварских племен, ни в людях, хотя в эту минуту они и утомлены. Все это, чрез наше отступление, будет восстановлено. Нет, неприлично победителям доставлять побежденным случай к победе! Разве нас недостаточно, чтобы снабдить каждый замок гарнизоном? А если мы уйдем и возвратимся в отечество, то потеряем все эти замки». После таких слов Тиадрик и все жаждавшие славы победить решились остаться в лагере и предложить давнишним ожесточенным врагам турингов, саксам, оказать им помощь, за что, в случае взятия замка и победы над Ирминфридом, вся страна предоставлялась им в вечное владение. Без дальних размышлений саксы в ответ на это немедленно послали 9 предводителей, из которых у каждого было по 1000 воинов. Оставив большую часть войска при входе в лагерь франков, они, каждый с 100 воинами, явились к Тиадрику и дружелюбно приветствовали его. Тиадрик с большой радостью отвечал им на это приветствие и после рукобития предложил им говорить. Они же сказали: «Преданный тебе и повинующийся твоим повелениям народ саксов послал нас к тебе; и вот мы пришли – готовые на все, что ты намерен сделать, готовые или победить твоих врагов, или, если иначе будет угодно судьбе, умереть за тебя. Знай, что саксы не знают другой цели, как или одержать победу, или отдать жизнь; мы не можем оказать своим друзьям большей услуги, как встречаясь за них со смертью с пренебрежением, и теперь мы пламен-

---

[1] Ныне – Ронненберг, близ Ганновера.

но желаем доказать это тебе на деле!» Между тем франки дивились саксонским воинам, отличавшимся телесной силой и мужеством; их не менее удивляли в саксах незнакомая одежда, вооружение и волнистые волосы, распадавшиеся по плечам; но более всего были поражены франки их мощью и мужеством. В военных плащах, вооруженные огромными копьями и имея при бедре длинные ножи, саксы стояли, опершись на маленькие щиты. Некоторые говорили, что франки не должны принимать услуг от таких могущественных друзей: это необузданные люди, и если они заселят здешнюю страну, то со временем непременно разрушат франкское государство. Но Тиадрик, заботясь о своей личной пользе, братски принял саксов и приказал им готовиться штурмовать замок. Они возвратились от короля, расположились лагерем к югу от города, на лугах, примыкавших к реке, а на следующий день встали с первым лучом солнца, взялись за оружие, напали на предместье города и зажгли его. Овладев предместьем, они выстроились в боевой порядок против восточных ворот. Когда осажденные увидели пред стенами неприятеля в боевом порядке, угрожавшего им крайней опасностью, то сделали из ворот отчаянную вылазку, бросились в слепой ярости на своих противников, пустили свои стрелы, и тогда началась рукопашная битва. Последовал горячий бой; и с обеих сторон многие остались распростертыми на земле; одни сражались за отечество, за жен и детей, наконец за собственную жизнь; саксы же дрались за славу и с целью приобретения страны. Крик побуждавших друг друга воинов, звук оружия, стоны умирающих раздавались в продолжение целого дня. Везде свирепствовало убийство, везде слышался вопль, но ни то, ни другое войско не отступало, и только угасавший день прекратил битву. Многие из турингов были в этот день убиты, многие ранены; саксов же пало 6000.

Ирминфрид послал Иринга с повинной головой и со всеми сокровищами к Тиадрику для заключение мира и для объявления о добровольной сдаче. Иринг отправился и сказал Тиадрику: «Твой прежний родственник, ныне твой слуга, послал меня к тебе, чтобы ты сжалился, если не из сострадания к нему, то по крайней мере из сострадания к своей несчастной сестре и к своим племянникам, которые терпят крайнюю нужду». Когда он это сквозь слезы выговорил, то подкупленные золотом франкские предводители, со своей стороны, к этому прибавили, что неприлично королевскому милосердию отвергать подобную мольбу, и что, не забывая родственных связей, полезнее сделаться союзником народа побежденного, ослабленного и лишенного возможности восстать против него, нежели необузданного и своевольного народа саксов, от которого Франкское государство не может ничего ожидать, кроме опасности. По последним событиям войны можно судить, до какой степени тверды и непобедимы саксы, и потому лучше соединиться с турингами и выгнать саксов из страны. Такие речи, хотя и с трудом, но все же изменили образ мыслей Тиадрика, и он обещал милостиво принять на следующий день своего зятя и изгнать саксов. Услышав это, Иринг бросился к ногам короля, прославляя его великодушие; потом, обрадовав своего господина желанной вестью и уверив город в безопасности, сам остался в лагере, чтобы ночь не дала делу дурного оборота. Между тем из города, успокоенного обещанием мира, вышел какой-то туринг с соколом и стал искать добычи на противоположном берегу вышеназванной реки. Но когда он пустил птицу, то один из саксов поймал ее на том берегу, и как ни просил его туринг возвратить птицу, тот ни за что не соглашался. Тогда туринг сказал: «Если ты мне ее возвратишь, то я тебе открою тайну, которая принесет пользу тебе и твоим товарищам». Сакс отвечал: «Скажи и получишь, что требуешь».– «Короли,– продолжал тот,– заключили между собою мир и решились, если найдут вас завтра еще в лагере, или захватить в плен, или изрубить, если будете сопротивляться».– «Ты говоришь правду, или шутишь?» – спросил сакс.– «Второй час завтрашнего дня,– отвечал туринг,– покажет, что я предупредил вас не напрасно. Позаботьтесь о себе и ищите спасения в бегстве». Сакс тотчас выпустил сокола и передал своим товарищам, что

слышал. Те, глубоко пораженные этой вестью, не знали в первую минуту, на что решиться.

Но в лагере саксов был тогда поседевший воин, еще полный неодолимой силы, несмотря на преклонные лета. В награду за заслуги его звали отцом отцов: имя ему было Гатагат. Он схватил знамя, считавшееся святыней, украшенное изображениями льва, дракона и парящего над ними орла – символами храбрости, сметливости и других подобных качеств, и, обнаруживая движением тела всю твердость своего духа, сказал: «Я прожил до сих пор между своими дорогими саксами и успел достигнуть почти глубочайшей старости, но никогда еще мне не случалось видеть бегства своих саксов; неужели же теперь мне придется делать то, чему я никогда не учился? Я умею сражаться, но не умею и не хочу спасаться бегством; и если судьбе угодно прекратить мои дни, тогда дозволено мне будет, по крайней мере, вкусить лучшую для меня отраду – пасть с друзьями. Распростертые вокруг нас трупы наших друзей, захотевших лучше умереть, нежели быть побежденными, лучше испустить непоколебимый дух, нежели отступить пред врагом, напомнят мне храбрость наших отцов. Но к чему тратить столько слов о презрении смерти? Ведь мы пойдем на неприготовленных к нашему нападению, пойдем на убийство, а не на сражение; они не чаят беды, имея в виду обещанный мир и нашу тяжелую потерю; утомленные сверх того сегодняшним боем, они не позаботятся о часовых и не примут обычных предосторожностей. Итак, бросимся на безоружных, погруженных в сон; нам придется немного поработать! За мной, как за предводителем, и я отвечаю вам своей седой головой, что все будет так, как я сказал». Воодушевленные этими прекрасными словами саксы употребили остаток дня на укрепление своих сил. Потом, в первую ночную стражу, когда крепчайший сон сковывает людей, взялись по данному знаку за оружие, бросились на стены и, не найдя ни постов, ни стражей, с ужасным криком вторглись в город. Встревоженные враги искали спасения частью в бегстве, частью блуждая, подобно опьянелым, на улицах и укреплениях города; другие, принимавшие саксов за своих сограждан, попадались им в руки. Всех взрослых саксы предавали смерти, а малолетних брали в плен. Эта ночь ознаменовалась криками, убийством, грабежом, и ни одно место в городе не было спокойно, пока не зарделась алая утренняя заря и не осветила безуронной победы. Так как венцом победы был бы плен короля Ирминфрида, то повсюду искали его, но вскоре увидели, что он, с женой, сыновьями и немногочисленной свитой, успел убежать. Когда наступило утро, саксы принесли своего орла к восточным воротам, воздвигли победный алтарь и, следуя ложному учению наших отцов, с особенной церемонией прославляли своего истукана, который изображал бога войны, соответствующего, по виду истукана, Геркулесу, а по положению – солнцу, называвшемуся у греков Аполлоном. Из этого видно, что мнение тех, которые считают саксов потомками греков, все-таки вероятно, потому что бог войны по-гречески называется Хермин, или Хермис – слово, которым мы еще до сегодня бессознательно выражаем одобрение или порицание. После этого еще три дня праздновалась победа, причем делили военные доспехи врагов, оказывали воинские почести падшим и превозносили своего вождя, восклицая, что он воодушевлен божественным духом и небесной доблестью, потому что своей непоколебимостью доставил такую славную победу. По преданию наших предков, все это случилось 1 октября. Эти языческие праздники превращены теперь набожными людьми в посты, молитвы и приношения за всех усопших христиан.

Окончив все это, саксы возвратились в лагерь к Тиадрику, были им приняты с почетом, восхвалены и пожалованы этой страной на вечные времена. Теперь же их называли союзниками и друзьями франков, и они поселились сперва в городе, пощаженном ими, как свое собственное добро, от огня. О дальнейшей участи самих королей я не премину рассказать замечательную сагу. Иринг, посланный в день взятия города к Тиадрику, остался на следующую ночь гостем в лагере. Когда Тиадрик услышал о бегстве Ирминфрида, то старался хитростью

заманить его назад, убеждая в то же время Иринга умертвить короля и обещая ему за то великолепные дары и большую власть в государстве. Сам же Тиадрик казался бы, таким образом, непричастным к убийству Ирминфрида. Неохотно выслушивал Иринг это предложение, но, наконец, обольщенный ложными обещаниями, поддался и выразил свою готовность. Приглашенный Ирминфрид упал к ногам Тиадрика, и тогда Иринг, стоявший возле с обнаженным мечом в качестве королевского оруженосца, умертвил своего коленопреклоненного государя. Тиадрик тотчас же закричал на него: «После такого злодеяния ты ненавистен каждому! Мы не хотим казаться участниками в твоем преступлении, и потому ты можешь бежать от нас куда хочешь».– «Поделом,– отвечал Иринг,– сделался я ненавистным каждому: это за то, что я исполнил твой замысел; но прежде, чем уйду отсюда, я искуплю свое преступление местью за своего господина». С этими словами он поразил Тиадрика мечом; потом, чтобы доставить своему господину, побежденному при жизни, победу при смерти, положил тело его на труп Тиадрика и ушел, прокладывая себе мечом дорогу. Предоставляя судить читателю о степени вероятности этой легенды, все же мы не можем не удивляться тому значению, какое успела приобрести себе эта сага: еще до сего дня именем Иринга обозначается на небе так называемый Млечный Путь.

Саксы после того завладели страной и жили в невозмущаемом мире как друзья и союзники франков. Часть своих поземельных владений они разделили со своими друзьями, пришедшими к ним на помощь, и с вольноотпущенными рабами; остатки же побежденного народа были обречены на податное состояние. Оттого до сегодняшнего дня саксонский народ по происхождению и по закону делится, исключая рабов, на три части. Точно так же и высшее управление всем войском, состоявшее во власти сзывать в определенное время воинов, вверено было трем князьям; известно, что они именовались по их местопребыванию, как-то: остфальский, энгрский и вестфальский. Если же угрожала всеобщая война, то избиралось, по жребию, одно лицо, которому все должны были повиноваться для ведения предстоящей войны. По окончании ее, все три князя, довольствуясь каждый своею властью, жили на основании равных законов и прав. Мы не намерены рассуждать здесь о различии законов, потому что саксонский закон может быть найден у многих тщательно записанным. Швабы той страной, в которой они теперь живут – по ту сторону Боды – завладели, как повествует их история, в то время, когда саксы отправились с лангобардами в Италию. У них другие законы, нежели у саксов. После того, как саксы испытали, таким образом, вероломство франков – о которых мы не будем здесь рассуждать, потому что о них можно достаточно узнать из их истории, – они продолжали упорствовать в ложном учении своих отцов до времен Карла Великого.

Сакс. ист. 1, 9–14.

Отлон

МИССИОНЕРЫ СРЕДИ ГЕРМАНЦЕВ И СМЕРТЬ СВ. БОНИФАЦИЯ (754 г.)

Когда миссионеры разошлись по пространным владениям фризов, для проповедования Евангелия, и пришли к реке, называемой Бортне, которая протекает по границам областей, известных на простонародном языке под именем Остеррихе и Вестеррихе (Oster et Westerriche), св. Бонифаций, идя в сопровождении одних своих учеников, приказал разбить шатры, желая на том же самом месте ожидать прибытия тех, которые были недавно крещены, для совершения над ними таинства причащения. Определенный для того день уже приближался. Но когда этот день наступил, и восшедшее солнце поднялось высоко над горизонтом, все эти люди, которых он ждал как отец своих детей для наделения их благодатью Святого Духа – которая

в тот же день должна была быть им сообщена через святое причащение,– о, ужас! – все они со страшным шумом и вооруженные ворвались в лагерь миссионеров, изменив свою роль: не как друзья, но как враги, не как новые чтители веры, но как новые палачи.

Увидев это, служители (pueri), выскочив из ограды и подпоясавшись оружием, начали действовать для защиты миссионеров от разъяренной толпы народа. Но св. Бонифаций, услышав крики нападавших, обратился прежде всего к защите духовной силы, то есть взял святые мощи, которые обыкновенно носил с собою; потом, собрав около себя клериков вышел из палатки и остановил своих прислужников, приготовившихся к защите, говоря им следующим образом: «Прошу вас, дети мои, не вступать в борьбу с нашими противниками, ибо Священное Писание учит нас не только не платить злом на зло, но, напротив, за зло воздавать добром». Не успел св. Бонифаций окончить слов своего спасительного убеждения, призывавшего учеников принять мученический венец, как бешеная толпа язычников, вооруженная мечами и всякого рода смертоносным оружием, бросилась на них и обагрила их тела, нанеся им блаженную смерть. Совершив это, они, к увеличению вины своей проклятой победы, сначала ворвались в лагерь и расхитили все, что только там находилось, – книги и ящики со священными останками, рассчитывая там найти большие сокровищницы с серебром и золотом. Потом они кинулись на лодки и вытащили оттуда даже то, что там осталось от ежедневной провизии для клериков и прислужников. Там они, между прочим, нашли немного и вина, начали его пробовать и утолять свою разъяренную душу. После того они начали рассуждать и совещаться о том, как им разделить эти сокровищницы золота и серебра, за что они принимали свою добычу. Долго они спорили о дележе денег и не могли решить дела мирным путем; наконец между ними поднялся такой спор и такое несогласие, что они с той же самой яростью, с тем же бешенством и тем же самым оружием, которым перед тем растерзали мучеников, теперь избивали самих себя. Их постиг справедливый суд Божий, попустив впасть в такое помешательство ума, что тот же самый меч, который они обнажили для умерщвления служителей своего спасения, пронзил их собственное сердце. Окончив побоище, оставшиеся в живых снова бросились с радостью на воображаемые деньги, и, взломав ящики, в которых находились книги, вместо золота нашли фолианты, вместо серебра – манускрипты с божественным содержанием. Одни из этих книг были брошены в неприличные места. Однако милостью всемогущего Господа, чтобы разъяснилось как достоинство этих книг, так и то, кому они принадлежали, долгое время спустя они были найдены неповрежденными, и те, кому случалось найти их, относили их в церкви, в которых они, может быть, находятся и теперь.

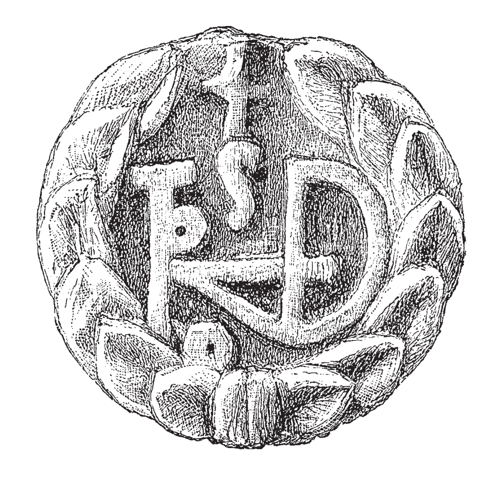
ОТЛОН (OTHLON), жил около 1073 г. Монах сначала в Регенсбурге, а потом в Фульдском монастыре, переписал с поправками в языке жизнеописание св. Бонифация, дурно написанное его современником Вилибальдом (ум. в 754 г.). Оба текста помещены у Pertz, Monumenta Germaniae (Script. t. II, 331–353 и 357–359). Св. Бонифаций (настоящее имя Винфрид) родился в Девоншире (Англия) в 680 г. и умер в 755 г. Он получил разрешение от Папы Григория II распространять христианство в независимой Германии и около 716 г. начал проповедь между фризами; оттуда перешел к саксам, турингам и баварам, везде свергая идолы и основывая церкви и школы. В 723 г. ему был дан сан епископа, а в 751 г. – архиепископа Майнцского и примаса Германии. Он был призываем и франками для восстановления порядка в Галликанской церкви, возвел Пипина Короткого на престол и в 755 г. принял мученическую смерть в Фрисландии вместе со своими спутниками. Его тело было перенесено в Фульдский монастырь. От св. Бонифация сохранились проповеди и письма, которые издал Serrasius в 1605 г. Из многочисленных монографий лучшая: *Seiters.* Bonifacius, der Apostel der Deutschen, nach seinem Leben und Wirken geschildert. Mainz. 1845.

Италия

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТРАНЫ

Падение Западной Римской империи имело для Италии то же самое значение, что и для остальных провинций: если Италия перестала быть политическим центром громадного государства, раскинутого в трех частях света, то, с другой стороны, она, подобно провинциям, составила самостоятельное целое, хотя во главе его стояло чуждое правительство, находившееся в руках варваров-завоевателей, сначала остготов, а потом лангобардов. Но варварское правительство в Италии должно было более, чем где-нибудь, бороться с воспоминаниями о павшей Римской империи; близость Италии и Византии продолжала поддерживать притязания последней; к этим идеалам политического единства древней империи присоединилась христианская идея о единении мира, нравственному значению которой римские епископы, получившие наименование пап, придали материальный характер, клонившийся в пользу их собственной светской власти. Политика пап была самой опасной противницей успехов варварского правительства, которое уже по одному своему германскому характеру имело всегда наклонность к раздроблению, к автономии отдельных местностей, в противоположность римским идеям объединения. Таким образом, римские папы, и во главе их Григорий I Великий, положив начало самостоятельности итальянской национальности, когда дело шло об освобождении Италии от Византии при помощи лангобардов, сделались врагами той самостоятельности, когда их союзники обратились в соперников. Начиная с Григория III, папы ищут себе менее опасных друзей и противопоставляют лангобардам чужеземных франков в Галлии, где новая династия Каролингов нуждалась притом в папах для освящения своей узурпации престола, с которого они свергли древних Меровингов. Руками Меровингов папы успели, наконец, положить начало светской власти в Италии, а Карл Великий, завоевав Лангобардское королевство и присоединив его к своим владениям, получил от пап корону Западной Римской империи (800 г.). Таким образом, триста лет спустя после падения Западной Римской империи, она была восстановлена, но как политическое выражение католического единства Западной Европы, необходимого для притязания папской власти.

Одоакр (476–493 гг.), положивший начало самостоятельности итальянского правительства, не мог устоять против притязаний Византии, которая ему противопоставила Теодориха и его дружину остготов. Но Теодорих (493–526 гг.) немедленно вступил в роль своего противника и из орудия византийской политики обратился в ее врага. Новому королевству остготов предстояло в одно и то же время отстаивать свою независимость от Византии, прибегавшей к внутренним заговорам: Теодориху изменяли самые близкие люди, как Боэций и Симмах, заплатившие своей жизнью за привязанность к римским, антинациональным идеям; и в то же время Теодорих должен был бороться с другими национальными правительствами, особенно с франками в Галлии; враг римского единства, когда дело шло о независимости Италии, Теодорих являлся иногда его представителем, когда находил возможность подчинить своему влиянию правительства, образовавшиеся в провинциях древней империи. По смерти Теодориха, получившего наименование Великого, новое правительство перешло в руки его дочери, Амалазунты, правившей за своего сына, Аталарика (526–534 гг.), под покровительством византийского императора Юстиниана. По смерти сына она вышла вторично за гота Теодата (534–536 гг.), но вскоре была им умерщвлена. Юстиниан, под предлогом мести за Амалазунту, нападает на Италию; его полководцы, Велизарий и Нарзес, почти 17 лет (536–553 гг.) борются с предводителями остготов, Витигесом,



Монограмма Теодориха.
Барельеф на капители колонны. Равеннская базилика

Тотилой и Тейей, которые следуют друг за другом после умерщвления Теодата; наконец, готы уступили, и Италия была обращена в провинцию Византийской империи, под именем Равеннского экзархата (553 г.). Но каждый раз орудия византийской политики обращались в ее врагов; Нарзес, преследуемый придворными интригами, был сменен новым экзархом, и его подозрения именно в том, что он, в отмщение Византии, пригласил в Италию лангобардов. В 568 г. Альбоин, их предводитель, овладевает Северной и Средней Италией за исключением Рима и Равеннского экзархата (то есть Равенны с несколькими городами). Но новое варварское правительство было весьма несчастливо. Вначале: Альбоин был вскоре (574 г.) убит, вследствие мести своей жены, Розамунды; его племянник Клеф (574–575 гг.) правил один год, и затем целые 10 лет (575–585 гг.) отдельные герцоги лангобардов, в числе 36, разделяли между собою завоеванную землю, невзирая на короля. Но внешние враги принудили их снова соединить духовную власть в руках одного, и они избрали королем сына Клефа, Аутари (585–590 гг.). Им начинается расширение владений лангобардов: брак его с дочерью баварского герцога, Теоделиндой, обеспечил Италию с севера; в войне с греками ему удалось отнять у греков в Южной Италии Самниум, из которого он образовал новое герцогство Беневентское (589 г.). По смерти Аутари королевский титул наследовал, вместе с рукой его вдовы, герцог Туринский, Агилульф (590–615 гг.). В его правление усилиями Папы Григория I и содействовавшей ему Теоделинды лангобарды отказались от арианства и сделались орудием пап против Византии.

В последующее, седьмое столетие, от смерти Агилульфа до вступления на престол Лиутпранда (от 615 до 712 г.), несмотря на частую перемену правителей[1], сопровождавшуюся междоусобиями, лангобарды делают новые приобретения за счет греков; вместе с тем многие города, не ожидая лангобардов, сами отделяются от Византии и избирают себе своих правителей: так, в 698 г. Венеция выбрала себе первого герцога (dux, откуда – дож) и начала свое самостоятельное существование как аристократическая республика.

В VIII столетии Лиутпранд (712–744 гг.) открывает собою ряд воинственных королей; но интриги пап и Византии не дали сложиться итальянскому правительству. Лиутпранд овладел даже на короткое время Равенной, но тем только возбудил опасения папского престола: его современник, Григорий III (731–741 гг.), просил помощи у Карла Мартелла, и хотя не успел получить ее, но тем не менее положил начало связи между интересами пап и Каролингов. Преемник Лиутпранда, Ратхис (Рачис) (744–749 гг.) успел примириться с Папой Захарием (741–752 гг.), но его брат Айстульф (749–756 гг.), овладев окончательно всем экзархатом (752 г.), потребовал дани и от Рима. Тогда-то Папа Стефан II (752–757 гг.) отправляется в Галлию к Пипину Короткому, возведенному, с одобрения его предше-

---

[1] За Агилульфом следовали: его сын Адельвальд, 615–625 гг.; герцог Туринский Ариовальд, 625–636 гг.; герцог Бресчианский Ротари, 636–652 гг.; Ариберт I, 652–662 гг.; Гримоальд, герцог Беневентский, 662–671 гг.; сын его Гарибальд, 671 г.; сын Ариберта, Берторид, 671–688 гг.; сын его Кунiберт, 688–700 гг.; сын его Лиутберт, 700–702 гг.; Ариберт II, 702–712 гг.; его свергает родственник Лиутберта, Лиутпранд, 712–744 гг.

ственника, на королевский престол; в два похода Пипин отнимает у лангобардов экзархат с Пентаполисом и передает его Папе: так образовалось первое ядро территории будущей Папской области (756 г.). Айстульфу наследовал Дезидерий (756–774 гг.), при котором сын Пипина Короткого, Карл Великий, завоевал Италию у лангобардов, за исключением южной ее части, где продолжали господствовать наместники Византийской империи, беспокоимые то лангобардскими герцогами, сохранившими еще независимость, то появившимися из Африки сарацинами.

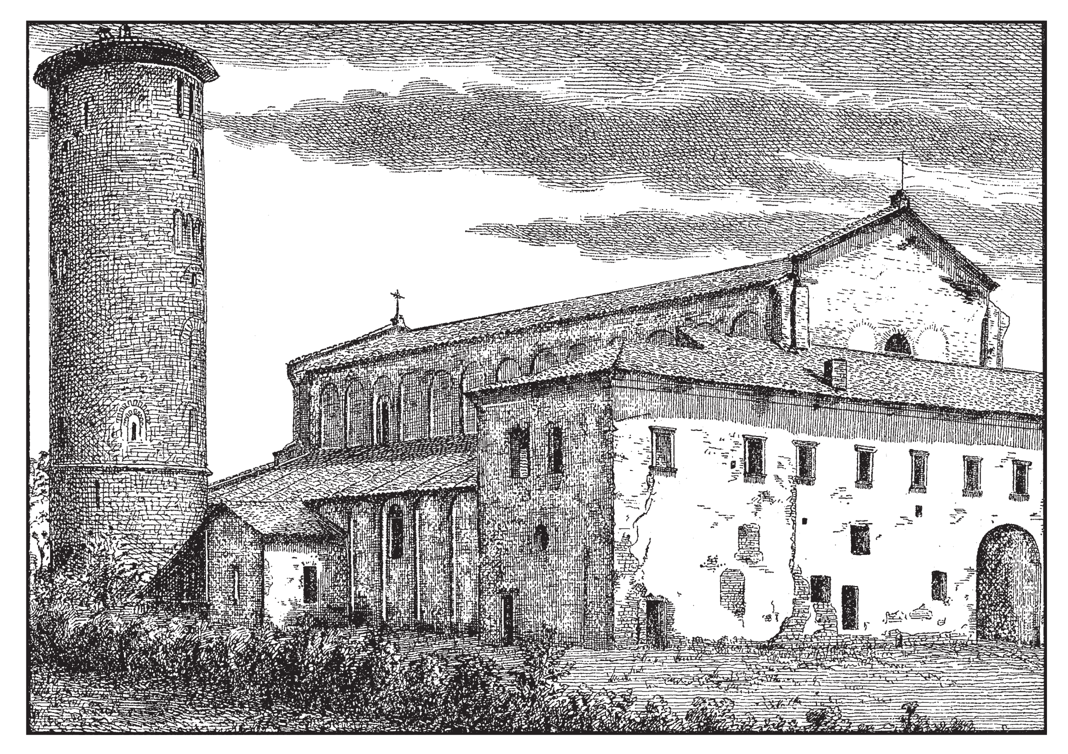
Политическая независимость Италии, в остготскую эпоху и эпоху лангобардскую, имела выгодное влияние на ход ее историографии: остготы, почти накануне падения своего правительства, в середине VI столетия, нашли себе национального историка в епископе Иордане, или Иорнанде; в подобное же время, когда господство лангобардов было уничтожено, а именно в конце VIII в., явился и между ними свой историк, Павел Дьякон, сын Варнефрита (о жизни и сочинениях обоих историков первого периода итальянской истории см. ниже). Из новейших писателей об этом периоде см.: *Sartorius.* Versuch über die Regierung der Ostgothen während ihrer Herrschaft in Italien. Hamb. 1881; *Manso*. Geschichte des ostgothishen Reichs in Italien. Bresl. 1824; *Кудрявцева*. Судьбы Италии от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим. М. 1850; *Bouiller.* Essai sur l'histoire de la civilisation en Italie. Par. 1861; в первых двух томах истории Италии доведена до соединения ее с Германией при императоре Оттоне Великом, в середине X столетия. Из общих сочинений для истории Италии см.: *H. Leo*. Geschichte des italienischen Staaten. Hamb. 1829, 5 т.; *Cantu*. Histoire des Italiens (перев. с итал.). Par. 1859, 5 том. Самым важным и замечательным произведением для древней истории итальянской национальности останется навсегда труд *Muratori.* Antiquitates Italicae medii aevius. Dissertationes de moribus ritibus, religione, regimine etc. Med. 1738–1742. 6 т.

Иордан

ТЕОДОРИХ ВЕЛИКИЙ И ЗАВОЕВАНИЕ ОСТГОТАМИ ИТАЛИИ (550 г.)

В то самое время, когда Валамир, старший из трех остготских королей, отправил к брату Теодемиру радостное известие о поражении им сыновей Аттилы, вестник его в день своего прибытия нашел в доме Теодемира еще более счастливую новость. А именно, в тот самый день родился его сын Теодорих, хотя и от наложницы Эрелиевы, но тем не менее мальчик подавал большие надежды. Немного спустя Валамир и его братья, Теодемир и Видемир, когда император Маркиан запоздал прислать обычные дары, получаемые ими как жалованье за соблюдение условий мира, отправили посольство в Византию. Послы увидели там Теодориха, сына Триария, происходившего из племени готов, но из другого рода, а не из Амалов; он жил на земле византийской счастливо, вместе со

ИОРДАН, ИЛИ ИОРНАНД (IORDANES, IORDANIS, IORNANDES, по различ. списк.) Жил в первой половине VI в.; подробности жизни его малоизвестны; даже само написание его имени остается спорным. Из собственных его сочинений видно, что он был сын какого-то алана, что его дед был нотарием при короле Аланском Кондаке, а по сестре деда он был родственником Амалов. Сам Иордан был также нотарием, но неизвестно, у кого; сомнительно, был ли он вообще епископом, но совершенно ошибочно Иордан назывался епископом Равеннским (см. о том в Magyar. Alterthüm. 1848, с. 293 и след. статью Касселя), потому что он говорит о Равенне по чужим словам. Сочинение



Церковь Сан-Аполлинаре-ин-Классе (в конце XIX в.). Построена в 549 г.

Иордана, писанное им между 540 и 550 г., как то обнаруживается из его же хронологических указаний (так, он вспоминает о чуме, которую «мы имели за 9 лет», а чума была в Италии в 539 г.), носит в манускриптах названия De rebus geticis, или De Gothorum sive Getarum origine. Оно говорит о времени между 200 и 550 г., и служит единственным и драгоценным источником для эпохи переселения народов. Автор черпает свои известия как из произведений римских писателей, так и из национальных, которые при нем еще ходили по рукам: так, Иордан ссылается на одного подобного национального историка Abladius, называя его egregius Gothorum historicus, и также на Heldenlieder, героические поэмы. Из римских источников Иордан пользовался сочинением Кассиодора об истории готов, которое дошло до нас только в этом извлечении Иордана.

Из многочисленных изданий Иордана весьма немногие могут быть одобрены, не исключая даже того, которое было сделано Muratori, Script. rer. Ital. I, p. 191–221; самым лучшим изданием считается *Closs*. Iordanis de Getarum sive Gothorum origine et rebus gesits. Stuttg. 1861. Из специальных сочинений об Иордане замечательны: *Freudensprung*. Comment. de Iornandes., Iordane ejusque libellorum natalibus. Monaci, 1836; *Jac Grimm*. Ueber Iornandes und die Geten. Berl. 1846; *Sybel*. De fontibus libri Jordanis de origine actuque Getarum. Berol. 1838. Иордану приписывают также одну хронику: «De regnorum et temporum successione», или «Liber de origine mundi et actibus Romanorum ceterarumque gentium», или просто: «De gestis Romanorum»; это очерк всемирной истории до времени Юстиниана (552 г.), сокращенный из известного римского историка Florus, жившего во II в., и продолженный в том же роде.



Монеты: Теодориха I, короля франков (511–534); Хильдеберта (511–558) и Храмна, сына Хлотаря I; Хлотаря I (511–561)

своим народом, и пользовался как дружбой римлян, так и ежегодными дарами, между тем как они, паннонские готы, были в пренебрежении. Раздраженные этим известием, три брата берутся за оружие и опустошают почти всю Иллирию, пройдя ее по всем направлениям. Но император, переменив свои намерения, обратился немедленно к прежним дружеским отношениям, и отправив посольство, предлагал дары не только за прошедшее и настоящее время, но обещал и в будущем высылать без всякого спора, а для ручательства прочности мира просил у готов в заложники Теодориха, малолетнего сына Теодемира, о котором я говорил выше; Теодориху в то время уже исполнилось семь лет. Когда отец медлил с выдачей сына, Валамир стал его умолять согласиться, для того, чтобы сделать мир между готами и римлянами более прочным. Таким образом, Теодорих был выдан готами как заложник, отведен в Константинополь к императору Льву (преемнику Маркиана), и так как он был прекрасный мальчик, то и заслужил расположение императора...

По окончании войны готов со швабами (Suavi) и алеманнами Теодемир, возвратившись победителем домой, то есть в Паннонию, получил от императора Льва обратно своего сына Теодориха, которого он отдал заложником в Константинополь, с большими подарками. В то время Теодорих вышел уже из отроческих лет и вступил в юношеский возраст, так как ему был восемнадцатый год. Собрав себе дружину из верных телохранителей своего отца и из охотников в народе, он, без ведома Теодемира, перешел широкий Дунай и напал на Бабая, царя сарматов, который, по одержании им победы над римским полководцем Камундом, управлял с большой гордостью. Теодорих, напав на Сарматию, умертвил его, ограбил весь его дом и казну, и с победой возвратился к отцу. Дорогой завоевав г. Синиидун, которым владели сарматы, он не передал его римлянам, удержал в своей власти...

Вскоре по окончании войны готов в Фессалии король Теодемир тяжко заболел в городе Церрах, он созвал там готов и, назначив наследником своего сына Теодориха, сам в непродолжительном времени умер. Император Зенон, услышав, что народ поставил Теодориха королем, милостиво принял это известие, вызвал его к себе и, приказав явиться в столицу, встретил его с надлежащими почестями и вместе причислил к вельможам своего дворца. Спустя немного времени, для увеличения его воинских почестей, император усыновил его и на свой счет устроил ему триумф в столице. Теодорих был назначен ординарным консулом, что считалось высочайшей наградой и первой в свете почестью. Сверх всего того, для большей славы такого великого мужа, Зенон поставил ему конную статую против той части дворца, где находились собственные покои императора. Между тем Теодорих, связывая себя условиями договора с империей Зенона и пользуясь в столице всеми удобствами, знал, что его народ, обитавший в то время в Иллирии, жил не в особенном довольстве и достатке. Тогда он предпочел, по обычаю своего народа, добыть хлеб своим трудом, вместо того, чтобы самому жить в праздности, пользуясь благами Римской империи, между тем как его народ живет в нужде. Рассуждая так с самим собой, он сказал императору: «Хотя мы, подчиненные вашей власти, ни в чем не нуждаемся, однако, ежели ваша милость (pietas Vestra) удостоит меня, то выслушайте благосклонно желания моего сердца». Так как ему обыкновенно дозволялось

говорить запросто с императором, то он и сказал ему затем: «Равнины Гесперии (то есть Западная Римская империя) с давних времен управлялись вашими предшественниками и предшественниками предшественников, равно как и Рим, глава и владыка вселенной; почему же теперь он должен страдать под тиранией короля турцилингов и ругов (то есть Одоакра)? Если ты повелишь, пошли туда меня с моим народом, и таким образом здесь ты избавишь себя от тяжести расходов на наше содержание, а там, если с Божьей помощью останусь победителем, слава вашей милости воссияет. Гораздо лучше, чтобы я, сын и слуга ваш, оставшись победителем, получил от вас в дар это королевство, нежели он (Одоакр), которого вы не знаете, и который наложил на ваш сенат иго деспотизма, поработив часть вашего государства. В самом деле, если я останусь победителем, то буду владеть Италией, как даром вашей щедрости; если же меня победят, то ваша милость не только ничего не теряет, но даже, как я сказал, еще выигрывает, по случаю прекращения издержек на нас».

Услышав это, император, хотя ему было прискорбно удаление Теодориха, однако, не желая его огорчать, согласился на его просьбу и, наделив его большими подарками, отпустил от себя, вверив ему судьбу римского народа и сената. Итак, Теодорих, оставив императорскую столицу и возвратившись к своим соотечественникам, взял с собой и народ готов, который сам согласился на то, и отправился в Гесперию (то есть Италию); прямой дорогой через г. Сирмий он поднялся до областей, соседних с Паннонией. Оттуда он вступил в пределы венетов (около нынешней Венеции) и расположился лагерем близ того места, которое называлось «Мостом Зонция» (Pons-Sontii). Пока он оставался там некоторое время, для того, чтобы дать отдохнуть и людям, и вьючному скоту, Одоакр двинул против него вооруженную силу. Встретившись с ним на Веронских полях, Теодорих разбил его наголову и, снявшись с лагеря, уже с большей смелостью вступил в пределы Италии, переправился через реку По, и раскинул лагерь в расстоянии не более трех миль от столичного города Равенны, в месте, называемом Пинета. Видя все это, Одоакр укрепился внутри города, откуда и делал часто по ночам вылазки и тем беспокоил войско готов. И это он делал не раз и не два, а часто в продолжение почти трех лет; но напрасны были его усилия, потому что уже вся Италия признала своим властителем Теодориха, все государство повиновалось его мановению. Один только Одоакр с немногими телохранителями и некоторыми там находившимися римлянами постоянно страдал от голода и войны в стенах Равенны. Когда ничто уже не помогало, Одоакр, отправив посольство, просил о пощаде. Теодорих, помиловав его сначала, вскоре потом лишил его жизни, и на третий год вторгшись в Италию, в правление императора Зенона, как я уже о том сказал, оставил привычки жизни частного человека и национальный костюм, и возложил на себя знаки королевского достоинства как повелитель готов и римлян. В то же время Теодорих, отправив посольство к Лодоину (Клодовею), королю франков, просил себе в жены дочь его, Аудефледу. Лодоин охотно и с радостью согласился на то, рассчитывая этим брачным союзом теснее соединить с готами своих сыновей, Целдеберта, Хельдеберта и Тундеберта. Но этот союз вовсе не так много содействовал укреплению мира, потому что эти два народа весьма часто были принуждены вступать друг с другом в тяжелую борьбу за земли в Галлии, и никогда гот не уступал франку, пока был жив Теодорих.

De Get. orig. etc. LII–LVII.

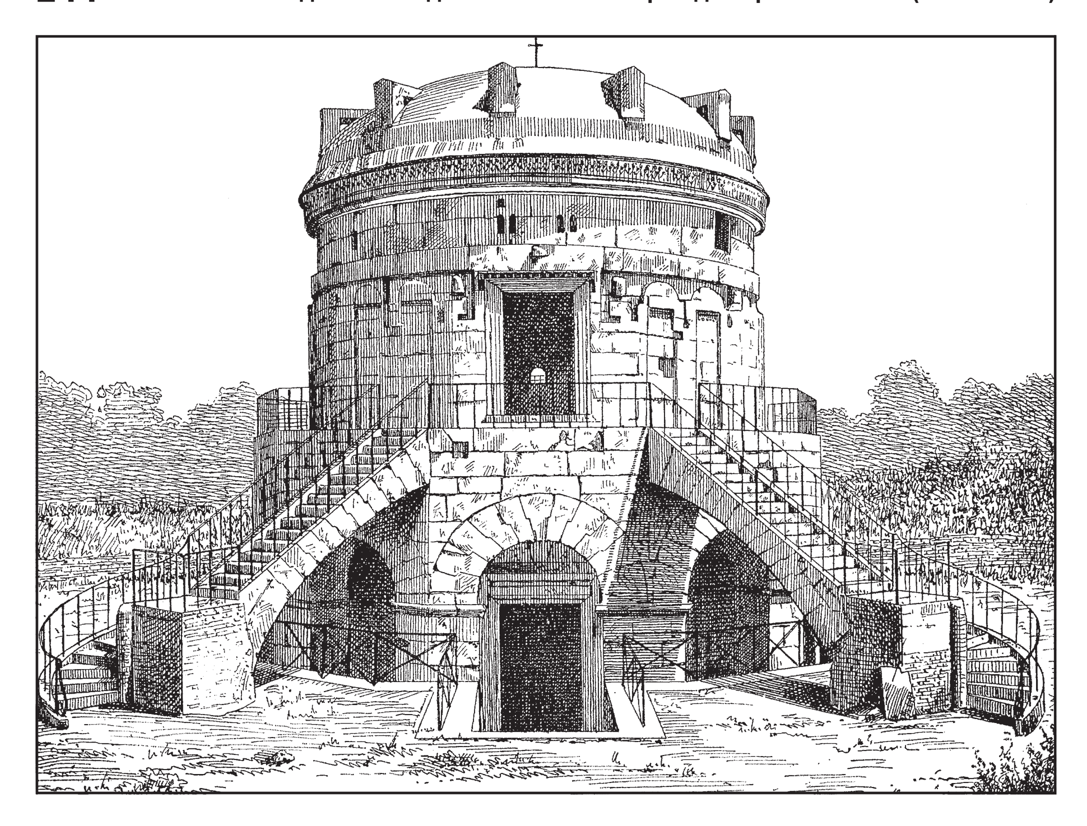
Марк Кассиодор

ОБЩИЙ ХАРАКТЕР НОВОГО ВАРВАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ИТАЛИИ (начало VI в.)

(Из письма Теодориха Великого к правителю провинции Севериану)

Разумная справедливость требует, чтобы сильнейшие были обуздываемы, и чтобы через то прелесть мира и тишины распространялась одинаково на всех. Каким же образом можно будет утвердить равноправность, если не поддерживать силы слабейших? Мы получали часто жалобы наших подданных из провинции на то, что зажиточные собственники в Швабии не только сложили с себя все бремя податей на беднейших, но и предались преступнейшей спекуляции, извлекая, при сборе податей, личные для себя выгоды, так что публичная обязанность обратилась в источник частных доходов. Мы уже возлагали на многих исправление этого зла; но, скажу к твоей похвале, нам казалось более удобным отложить дело до тебя: твоя верность была бы тем приятнее, что, после долгого пренебрежения со стороны других, ты доказал бы самым действенным образом свое усердие. Вследствие того, мы повелеваем, чтобы ты, со свойственным тебе благоразумием и с соблюдением правосудия, навел справки о каждом землевладельце и установил равномерность податей таким образом, чтобы по уничтожении поборов, которые взимались при других, государственная подать (assis publicus) была распределена сообразно качеству имущества и лица (pro possessionum atque dominum qualitate). Таким образом и справедливость утвердится, и силы наших провинциалов будут восстановлены. Закон должен преследовать со всею строгостью тех, о которых будет дознано, что они без нашей воли наложили какую-нибудь подать, и, по своему усмотрению, тяжести одних свалили на других: пусть вознаградят всех за несправедливо причиненные им убытки. Повелеваем также следить за тем, чтобы адвокаты городов (defensores), куриалы (то есть местное начальство) и собственники составляли отчеты о поступивших податях: если собственник докажет, что в последний сбор восьмого индикта им внесено податей более, нежели было установлено, и окажется, что этот взнос не поступил в нашу казну и не был также употреблен на правильные местные расходы, то постарайся всеми средствами наказать такое пагубное злоупотребление. Обрати особенное внимание на то, если сборщик податей взял сумму из нашей казны, и не мог доказать, что эти деньги правильно истрачены: ты должен взыскать с него как с похитителя чужой собственности. Ибо что может быть хуже того, если щедростью нашей, которою мы хотим оказать пользу всем, пользуются воровски немногие. До меня дошли также слухи, что в провинциях даже судьи, куриалы и адвокаты обременяют землевладельцев незаконными требованиями денег на свои разъезды и другие издержки. Мы надеемся, что

КАССИОДОР (MARCUS-AURELIUS-CASSIODORUS,senator, родился в БРИТТИУМЕ,около 470–563). Один из самых замечательных писателей и государственных людей VI в., принимал личное участие во всех делах правления Теодориха Великого как его министр и даже после его смерти продолжал занимать этот пост при Амалазунте и Теодате; но в 538 г., преследуемый интригами Византии и неудовольствиями готов, он удалился не только от дел, но и от мира, запершись в своем поместье Виварезе, где он основал род ученого монастыря, деятельность членов которого ограничивалась литературными беседами и переписыванием древних манускриптов. Из сочинений Кассиодора замечательны: 1) Historiae ecclesiasticae tripartitae ex tribus graecis scriptoribus Sozomeno, Socrate ac Theodoreto ab Epiphanio



Мавзолей Теодориха в Равенне (вид в конце XIX в.)
Ротонда покрыта круглым монолитным каменным блоком диаметром 11 м. Воздвигнут в 530 г. в качестве гробницы Теодориха его дочерью Амаласвинтой. Позже был взломан, гроб вскрыт, останки разбросаны. Впоследствии превращен в католическую часовню

scholastico versis, per Cassiodorum senatorum in epitomen redactae libri XII. Это сочинение определило план образования и круг предметов, составлявших полный курс обучения, под названием trivium и quadrivium; оно оставалось в течение всех Средних веков неизменным руководством схоластического преподавания наук. 2) Libri XII de rebus gestis Gothorum – потеряно и сохранилось только в извлечении, которое из него сделал Иордан, но весьма поспешно, потому что, как он сам говорит, ему удалось достать это сочинение всего на три дня (triduana lectio). Кассиодор писал свою историю готов, по поручению самого Теодориха Великого, что не могло отразиться на духе сочинения. Об этом сочинении мы знаем только из письма Кассиодора к своему другу Кастанию, где он говорит еще о своем намерении писать историю готов в 12 книгах ab olim, то есть с древнейших времен; следовательно, он касался и времени героических преданий. 3) Variarum (то есть epistolarum) libri XII. Это самый замечательный памятник того времени, как богатый сборник частной и официальной переписки Кассиодора, дипломатических нот, писанных им самим от имени Теодориха и его преемников, и различных инструкций.– Издания: 1) Garetii: «Cassiodori opera», 2 vol. Rothomag. 1679; 2) Migne: «Patrologiae cursus completus etc». (всего 241 т.) Par. 1848, в 69-м т. Монографии: St Marthe: «Vie de Cassiodore, chancelier et premier ministre de Théodoric-le-Grand, avec des remarques sur ses ouvrages». Par. 1695; Tross: In Cassiodori Variarum libros sex priores symbolae criticae». Par. 1853 (весьма редкое); Olleris: Cassiodoré, conservateur des livres de l’antiquité latine. Par. 1841 (диссертация).

ты и это исследуешь и установишь законный порядок. Прежние варвары (автор, вероятно, разумеет под словом antiqui barbari герулов, турцилингов и др. варваров, побежденных остготами), которые бы пожелали вступить в брачный союз с римлянками, под каким бы предлогом ни делали притязания на поземельную собственность, обязаны вносить в казну за приобретенное имущество и сверх того нести все другие повинности. Судья же римский, для сокращения издержек, падающих на бедное народонаселение провинции, должен не более одного раза в год приезжать в каждый муниципальный город: от города он получает содержание только на три дня, как то предписывается существующими законами; ибо предки наши установили разъезды судей не для обременения жителей провинций, а для их пользы. Говорят также, что свита одного графа (comitis) готов и наместника (vicedomini) ограбила провинциалов, наведя на них страх. Пусть ваше правосудие, потребовав их к следствию, откроет, что по этому поводу было сделано ими баззаконного, и произнесет правильный приговор, устранив всякие доносы. Мы желаем, чтобы ты, рассмотрев все это и тому подобное, что относится к общей пользе, действовал во всем так, чтобы то не могло быть осуждаемо нашею кротостью. Наша прозорливость требует, чтобы ты, по беспристрастном исследовании всех этих дел, все открытое тобою приказал внести в государственные акты (polyptychis adscribi). Таким образом, и мы будем иметь доказательства вашей верности, да и семена лжи, которые мы желаем истребить, не взойдут снова.

XII libri variar.: V, письмо 14.

Марк Кассиодор

ВНЕШНИЕ ОТНОШЕНИЯ НОВОГО ВАРВАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ИТАЛИИ (начало VI в.)

(Письмо Теодориха Великого к Клодовею, королю франков)

Бог соединяет королей святыми узами родства для того, чтобы на их миролюбивых отношениях основать желаемое спокойствие народов. Ибо только то свято, что не может быть нарушено никакой враждой. На каких заложников можно полагаться, если нельзя будет доверять родственной любви? Короли вступают в родство для того, чтобы нации, разделенные между собою, могли иметь одну волю, и чтобы чрез эти узы, как проводники согласия, объединялись мысли народов. Если же все это справедливо, то мы удивляемся, каким образом вы, раздраженные ничтожными причинами, решились (velitis) вступить в жестокую борьбу с нашим сыном Аларихом (королем вестготов, утвердившихся в Южной Галлии); разве только с тою целью, чтобы обрадовать вашею борьбою всех тех, которые теперь боятся вас? Оба вы короли великих наций; оба вы в цвете своих лет. Война ваша не дешево обойдется обоим народам, если вы, дав волю страстям, столкнетесь друг с другом. Берегитесь, чтобы ваша доблесть не сделалась источником внезапных бедствий для отечества. Большая вражда правителей по ничтожным причинам кончается тяжелым разорением для народов. Скажу откровенно, скажу от всего сердца, что чувствую. Весьма нетерпелив тот, кто после первого посольства немедленно хватается за оружие. Пусть предмет вашей распри исследуется предварительно судьями, избранными со стороны ваших родственников. Что вы сами подумаете о нас, если узнаете, что мы оставили вашу распрю без всякого внимания? Бросьте этот раздор, в котором один из вас может погибнуть, как побежденный. Отложите в сторону ваши мечи, вы, которые хотите своею войной нанести мне позор. Я угрожаю вам по праву отца и друга. Тот будет иметь врагом меня и моих друзей, кто пренебрежет (чего я не ожидаю) такими увещаниями. Поэтому мы сочли весьма нужным отправить

к вашему превосходительству (ad excellentiam vestram) такого-то и такого-то, наших легатов; с ними же мы отправляем другое письмо к вашему (vestrum) брату и моему сыну, королю Алариху, чтобы никоим образом чужая злоба не могла посеять между вами ссору (scandala); но чтобы, напротив, оставаясь в мире, вы кончили полюбовно свои недоразумения, избрав своими посредниками друзей. Мы поручили также нашим посланникам передать вам на словах, чтобы страны, которые среди долговременного мира процветали при родителях ваших, не были опустошены внезапным потрясением. Вы должны доверять тому, кто, вы знаете, радуется вашей пользе. Кто хочет другого толкнуть в пропасть, тот, без сомнения, не даст доброго совета.

XII libri variar.: III, письмо 4.

Павел Дьякон

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ ИСТОРИКА ЛАНГОБАРДОВ (около 790 г.)

Я принужден в этом месте (автор окончил свой рассказ о несчастной для лангобардов войне с аварами около 610 г.) прервать свою всемирную историю и вставить историю своей собственной фамилии, а для того мне нужно вернуться назад. В то время, когда лангобарды перешли из Паннонии в Италию (около 570 г.), вместе с ними переселился сюда и мой прапрадед Леупихис, который был и родом лангобард. Прожив несколько лет в Италии, он умер, оставив после себя пять малолетних сыновей, которые в то время, о котором была выше речь (то есть около 610 г.), попали в плен к аварам и были уведены из Фриоуля (Forum Julii) на чужбину, в Аварию. Испытав там, в продолжение многих лет, все бедствия неволи и достигнув почти совершеннолетия, четверо из них, имена которых не сохранились, остались в узах рабства; пятый же, по имени Леупихис, мой прадед, решился, я

ПАВЕЛ ДЬЯКОН. Сын Варнефрита (Paulus Warnfridus Diaconus), родился в Forum Julii (н. Cividale dal Friuli, на севере Италии) около 730 г. и получил превосходное воспитание при дворе короля Ратихиса (744–749 гг.), в Тицине (ныне Павия), что доказывает преобретенное им еще в школе знание греческого языка, редкое в то время в Западной Европе. Отношения его к преемникам Ратихиса, Айстульфу и Дезидерию, положительно неизвестны и придуманы позже салернским монахом (X века). Достоверно одно, что Павел жил более при дворе герцога Беневентского Аригиза, женатого на дочери Дезидерия. В честь ее он писал оды и для нее же составил «Римскую историю», которая, будучи распространением известной хроники Евтропия (писатель IV в., современник Юлиана-Апостата), продолжила ее до падения Остготского королевства. Эта книга оставалась всеобщим учебником в течение всех Средних веков. Из поэтических произведений Павла и до сих пор поется Католической церковью его гимн в честь Иоанна Крестителя; заглавные слоги стихов этого гимна были избраны Гвидо д'Ареццо (монах-бенедиктинец XI в.) для названия семи нот гаммы: ut, re, mi и т. д. (UTqueant laxis, REsonare fibris, MIra gestorum, FAmuli tuorum, SOLve polluti, LAbiu reatum, sancte Joannes).

Неизвестно, когда и почему Павел поступил в монастырь Монтекассинский, но, во всяком случае, ранее 782 г., и может быть под влиянием печали и тоски при падении независимости родины, завоеванной Карлом Великим. Плен его брата Аригиза, уведенного франками, принудил Павла Дьякона обратиться к Карлу Великому, а его необыкновенная ученость до того пленила этого восстановителя древней образованности, что он удержал Павла Дьякона при себе (783 г.), сблизился с ним и давал ему различные поручения. Но тоска по родине принудила Павла скоро (в 787 г.)

полагаю, по внушению милосердного Бога, сбросить с себя ярмо неволи и опять возвратить свою свободу, вернувшись в Италию, где, как ему было известно, жил еще народ лангобардов. Он убежал из Аварии, взяв с собою только лук с колчаном и несколько продовольствия. Но дорога была ему совершенно неизвестна; он пошел за встретившимся с ним волком, который и сделался его проводником и спутником. Так как волк все бежал перед ним, часто оглядывался на него, останавливался, когда он хотел отдохнуть, и снова бежал впереди него, когда он вставал с места, то Леупихис понял, что этот волк послан ему от Бога указывать дорогу, которой он не знал. Когда таким образом они, в продолжении многих дней, шли по пустынным горам, у путника вышел весь его небольшой запас хлеба. Он продолжал свой путь с пустым желудком, но наконец, совершенно истощенный голодом, решился натянуть лук и стрелой убить волка, чтобы его съесть. Но волк уклонился от стрелы и исчез из глаз. Оставленный волком, Леупихис не знал, куда ему идти, а тут еще голод отнял у него все силы, так что он начал отчаиваться в свой жизни и, бросившись на землю, уснул. Во сне он увидел какого-то мужа, который сказал ему следующие слова: «Восстань от сна, и иди в ту сторону, куда обращены твои ноги: там – Италия, которую ты ищешь». Тотчас встал Леупихис, пошел по направлению, которое было ему указано во сне, и скоро достиг человеческого жилья. В той стране жили славяне. Его заметила старая женщина и тотчас поняла, что он беглец и страдает от голода. Побуждаемая состраданием, она скрыла его в своем доме и тайком давала ему понемногу пищи, чтобы он, наевшись вдруг досыта, не умер. Таким образом она, давая ему умеренное количество пищи, кормила его, пока не вернулись его прежние силы; а когда он достаточно окреп для продолжения своего пути, она дала ему пищи на дорогу и указала, в какую сторону ему нужно идти. Спустя несколько дней, он прибыл в Италию и пришел к тому самому дому, в котором родился. Он нашел его до того запустелым, что дом не только стоял без крыши, но даже зарос тернием и кустарниками. Все это он вырубил, а на огромной осине, найденной внутри стен, повесил свой колчан. С помощью своих родных

возвратиться в Беневент; монах салернский и по этому случаю рассказывает сказку о покушении Павла Дьякона на жизнь Карла и о его наказании за измену. Но исторически верно одно, что Павел Дьякон до смерти оставался в лучших отношениях с Карлом Великим. По смерти герцога Аригиза Павел Дьякон удалился в свой монастырь, где и умер в последние годы VIII в. В эту-то последнюю пору своей жизни Павел Дьякон написал свое лучшее произведение «De gestis Longobardorum» libri VI (оно издано у *Muratori*. Rerum italicarum scriptores. Milan, 1723 – всего 25 томов в 28 книгах – в т. I; там же помещены и другие произведения Павла Дьякона). Павел Дьякон, начиная с древнейших времен, доводит свой рассказ только до смерти Лиутпранда (744 г.), следовательно, до той эпохи, с которой он мог бы писать, как современник. Это сочинение резко отличается от всего, что писалось в то время: язык Павла Дьякона близок к классическому языку лучших времен римской литературы; вместо сухой хроники автор изображает, по героическим поэмам, во всей полноте древнюю жизнь германца, так что его история может быть названа народной эпопеей, и действительно, Павел Дьякон был так популярен в Средние века, что его история лангобардов дошла до нас в 114 списках. Павел Дьякон пользовался произведениями лучших своих предшественников, Григория Турского, Бэды и других, но это не одно механическое переписывание, но и первые опыты критического пользования источниками. Продолжателем Павла Дьякона был Эрхемберт, который довел свой рассказ до 889 г.– Монографии: *Spruner*. Paul Warnefrid, Geschithschreiber der Longobarden, zum ersten Mal nach Codex Bamberger a. d. X Jahrhund. übersetzt und mit Anmerkungen besehen. Hamb. 1838. См. краткую биографию Павла Дьякона в VI т. Die Geschichtschreiber der deutschen Vor zeit, herausg. v. Pertz. Berl. 1849.

и друзей он отстроил дом и потом женился. Из отцовского же имущества ничего не мог добиться, потому что оно сделалось собственностью тех, которые его присвоили себе долголетним владением. Этот-то самый Леупихис и был мой прадед, как я уже выше сказал. Он произвел на свет моего деда Аригиса, а Аригис – моего отца Варнефрита, наконец от Варнефрита и его жены Теуделинды родился я, Павел, и брат Аригис, на которого перешло имя моего деда. Вот то немногое, что я хотел рассказать о своем собственном роде; затем опять возвращаюсь к всемирной истории.

Истор. лангобард. IV, 38.

Павел Дьякон

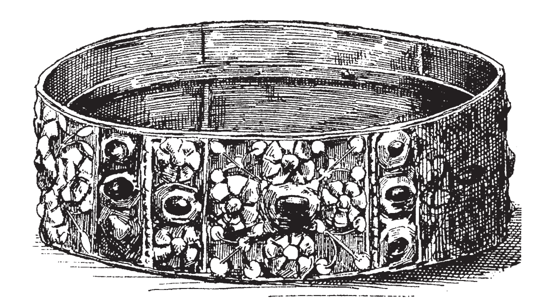
АЛЬБУИН И РОЗАМУНДА (около 790 г.)

Лангобарды, после своего удаления из Скандинавии и долгих странствований от берегов Балтийского моря на юг, при девятом короле Аудуине, переселились в Паннонию. Тогда-то (около 550 г.) вспыхнул наконец давно уже таившийся раздор между гепидами и лангобардами, и обе стороны изготовились к борьбе. В первой битве, которая произошла между ними, когда оба войска дрались храбро и ни одно другому не уступало, случилось, что Альбуин (по другому – Альбоин), сын Аудуина, в разгаре сражения, встретился с Турисмодом, сыном Туризинда, и Альбуин пронзил его мечом, так что тот мертвый упал с лошади. Гепиды, увидев, что сын короля, который главным образом руководил войной, убит, пали духом и обратились в бегство. Лангобарды преследовали их жестоко и, избив большое число, вернулись назад снимать вооружение с убитых. По одержании победы лангобарды возвратились домой и начали упрашивать короля, чтобы он позволил Альбуину сидеть вместе с ним за столом, так как в последней борьбе он своим мужеством одержал победу, и чтобы таким образом Альбуин разделял с отцом стол, как он разделял с ним опасность. Аудуин отвечал, что он никак не может согласиться на то, не нарушая народного обычая. «Вы знаете,– сказал он,– какой у нас господствует обычай, что сын короля не раньше может садиться за стол вместе с отцом, как получив оружие от короля какой-нибудь другой нации».

Альбуин, услышав такие слова отца своего, взял с собой сорок юношей и, переправившись к Туризинду, королю гепидов, с которым он недавно сражался, объявил ему причину своего прибытия. Тот принял его дружелюбно, пригласил к своему столу и посадил возле себя, с правой руки, где когда-то постоянно сидел его сын, Турисмод. Когда уже были поданы различные яства, Туризинд, смотря на прежнее место своего сына и вспомнив о нем, о его смерти, наконец о том, что на его месте сидит теперь его же убийца, начал громко вздыхать, и, не выдержав, дал волю своей болячке и воскликнул: «Мило мне это место, да тяжело мне смотреть на этого человека, который теперь сидит на нем». При этом второй сын короля, присутствовавший на обеде и уколотый словами отца, начал издеваться над лангобардами, говоря, что их можно сравнивать с кобылами, у которых бывают белые ноги до колена: а лангобарды носили белые чулки. Он сказал им: «Те кобылы, на которых вы похожи, считаются самыми плодовитыми». Но на это отвечал ему один из лангобардов: «Выйди только на поле Асфальд (где происходило то сражение), и там ты, без сомнения, убедишься, как крепко бьют копытами эти кобылы; там же лежат и кости твоего брата, рассеянные по полю, как от какой-нибудь ничтожной скотины». Гепиды, услышав это, не могли дольше скрыть своей внутренней ярости; сильно вспыхнул их гнев, и они уже хотели на деле отомстить за позор. Лангобарды, также готовые на битву, положили руки на мечи. Но тогда король вскочил из-за стола, бросился между ними, укротил гнев своих людей и жажду их к бою, угрожая неизбежным наказанием тому, кто первый осмелится начать битву, ибо, сказал

он, такая победа не может быть приятна Богу, когда в своем собственном доме убивают гостя. Таким образом раздор был устранен, и они с веселым расположением духа продолжали свой пир. Туризинд снял оружие своего сына Турисмода и, вручив его Альбуину, отпустил здравым в королевство его отца. Возвратившись домой, Альбуин был наконец допущен к столу своего отца. Довольный собой, вкушал он яства за королевским столом и рассказывал по порядку все, что с ним приключилось у гепидов, в земле Турисмода. Все присутствовавшие удивлялись и хвалили храбрость Альбуина, но не менее также прославляли и великую верность слову Туризинда. (После этих слов автор вставляет краткое описание правления Юстиниана Великого, рассказ о св. Бенедикте, и затем опять возвращается к главному предмету.)

Аудуин, король лангобардов, о котором я говорил выше, был женат на Роделинде, которая и родила ему Альбуина, воинственного и во всех отношениях доблестного мужа. Аудуин умер, и тогда, согласно всеобщему желанию, власть получил Альбуин, по счету десятый король. Так как он за свое могущество, пользовался у всех великим и славным именем, то Клотарь, король франков, отдал ему в жены свою дочь, Клодзуинду, которая родила ему дочь, Альбизинду. Между тем умер Туризинд, король гепидов, и ему наследовал Кунимунд, который, желая отомстить за старые оскорбления, разрушил союз с лангобардами и предпочел войну мирным отношениям (566 г.). Но Альбуин вступил в верный союз с аварами, которые первоначально назывались гуннами, впоследствии же, по имени своего короля, были названы аварами. Затем он отправился на войну, на которую вызывали его гепиды. Последние с поспешностью двинулись против него, но в это время авары вторглись в их землю, согласно договору, заключенному ими с Альбуином. Когда к Кунимунду пришло печальное известие о вторжении аваров, он, несмотря на то, что был очень убит духом и стеснен со всех сторон, тем не менее убеждал своих воинов сразиться сначала с лангобардами и, если удастся победить их, изгнать



Железная корона лангобардских королей. Монца (Италия). Сокровищница. Внутри короны зачеканено железное кольцо, сделанное, по преданию, из гвоздя с Креста Христа

после того армию гуннов из своей земли. Таким образом, дело дошло до битвы; с обеих сторон сражались изо всех сил, но лангобарды остались победителями и до того свирепствовали против гепидов, что почти совершенно истребили их, и от многочисленного войска едва остался в живых, кто мог бы принести известие о поражении. В этом сражении Альбуин убил Кунимунда, и приказал из его черепа сделать себе род бокала, который на лангобардском языке называется скала. Он увел с собой в плен дочь Кунимунда, Розамунду, вместе с огромной толпой людей всякого возраста и пола. Когда умерла Клодзуинда, он взял себе в жены Розамунду, но, как оказалось впоследствии, на свою погибель. При этом случае лангобарды увезли с собой столь великую добычу, что сделались обладателями огромнейшего богатства. Племя же гепидов до такой степени пало, что с того времени они не имели никогда собственных королей, и все, пережившие войну, подчинились лангобардам и до настоящего времени стонут под тяжким игом, потому что гунны продолжают владеть их землей. Имя же Альбуина прославилось далеко и широко, так что даже и доныне его благородство и слава, его счастье и храбрость в бою вспоминаются в песнях у баваров, саксов и других говорящих на том же языке народов. От многих можно слышать и теперь, что во время его правления изготовлялось совершенно особенного рода оружие. Когда слух о многочисленных победах лангобардов

распространился повсюду, Нарзес, императорский секретарь, который в то время управлял Италией и теперь вооружался на войну против Тотилы, короля готов, отправил посольство к Альбуину и просил его, так как он уже и прежде был в союзе с лангобардами, помочь ему в борьбе с готами. Вследствие того Альбуин отправил к нему отборное войско для поддержания римлян против готов. Лангобарды, переплыв в Италию чрез Адриатическое море, в соединении с римлянами открыли войну с готами. Поразив готов вместе с их королем Тотилой почти до совершенного их истребления, они с большими подарками, как победители, вернулись домой. И все время, пока лангобарды владели Паннонией, они постоянно помогали римлянам против их неприятелей. (Затем следует отступление, в котором излагаются мелкие войны Нарзеса и случившаяся в то время моровая язва в Лигурии.)

После того как Нарзес победил и уничтожил весь народ готов и подобным же образом поразил различных герцогов франкских, он успел вследствие того собрать огромную массу золота, серебра и других богатых сокровищ; но тогда между римлянами обнаружилась большая зависть против него, несмотря на то, что Нарзес всегда действовал в их пользу и против их врагов. Они оклеветали его перед императором Юстином и его женой Софией, говоря следующим образом: «Для римлян было действительно лучше служить готам, чем грекам, евнух которых Нарзес господствует и держит нас в угнетающем рабстве. Наш всемилостивейший государь этого не знает; или освободи нас из его рук, или будь уверен, что мы передадим и город Рим и самих себя во власть чужого народа». Когда эти жалобы дошли до слуха Нарзеса, он отвечал на них коротко: «Если говорят, что я худо обращался с римлянами, то и я сам нахожу это худым». Этот ответ до того вооружил императора против Нарзеса, что он немедленно отправил в Италию Лонгина сменить его. Известие об этом весьма встревожило Нарзеса, а возвратиться в Константинополь он не осмеливался, тем более, что в особенности боялся императрицы Софии. София, как рассказывают между прочим, велела ему передать, так как Нарзес был евнухом, что по возвращении она посадит его на женскую половину прясть шерсть вместе с девушками. А Нарзес, говорят, в ответ на это сказал, что он ей так напрядет, что она во всю свою жизнь не распутает. Затем, побуждаемый ненавистью и страхом, он удалился в Кампанию, в город Неаполь, и вскоре отправил послов к лангобардам, приглашая их, оставив бедные поля Паннонии, завладеть Италией, богатой всякого рода сокровищами. Вместе с тем он послал им различные сорты овощей и другие произведения Италии, чтобы тем еще больше привлечь их. Лангобарды приняли дружелюбно это доброе и желанное посольство и, питая великие замыслы, возлагали большую надежду на будущее. В то самое время в Италии по ночам начали показываться страшные знаменья: на небе являлись огненные ряды сражающихся, как предзнаменование большой крови, которая вскоре должна быть пролита.

Собираясь двинуться в Италию со своим народом, Альбуин послал еще за помощью к своим старым друзьям саксам, желая, чтобы завоеватели такой обширной страны, как Италия, были в возможно большем числе. Более 20 000 саксов, вместе с женами и детьми, поднялись со своих мест, чтобы сообразно его желанию, отправиться в Италию. Клотарь и Зигиберт, короли франков, услышав о том, переселили швабов и другие народы на земли, оставленные саксами.

Затем Альбуин предоставил собственную землю, Паннонию, своим друзьям гуннам, однако с условием: если лангобарды когда-нибудь будут принуждены вернуться назад, то они удерживают за собой право требовать обратно свою прежнюю землю. Итак, лангобарды оставили Паннонию, и вместе с женами, детьми и со всем имуществом, отправились в Италию, чтобы овладеть ею. Они прожили сорок два года в Паннонии, и вышли оттуда в апреле, первого индикта, на другой день Святой Пасхи, которая, по вычислению, в том году падала на 1 апреля, а тот год был 568-й по воплощении Господа.

Когда Альбуин со всем своим войском и с большой толпой людей всякого рода подошел к границам Италии, он поднялся на одну гору, которая возвышалась над этой страной, и оттуда озирал Италию, насколько то можно было с той высоты. Потому с того времени, как говорят, эта гора получила название Королевской. На этой же самой горе водятся буйволы, что нисколько не удивительно, так как Паннония, богатая этими животными, продолжается до тех пределов. Мне говорил также один правдолюбивый старик, что он видел на этой самой горе разостланную бычачью шкуру, на которой, по его словам, могли усесться рядом 15 человек.

Достигнув без всякого препятствия Венеции, которая составляет первую провинцию Италии, и вступив в округ города или скорее укрепления Фриоуля (Forum Julii), Альбуин затруднился вопросом, кому он мог бы вручить управление этой первой завоеванной провинции. Вся Италия тянется на юг или скорее на юго-запад и омывается волнами Тирренского и Адриатического морей; с севера и запада ее замыкает цепь Альпийских гор, так что с этой стороны в Италию можно проникнуть или через ущелья, или по хребтам гор. Но с востока, где Италия граничит с Паннонией, находится широкий и удобный проход. Когда Альбуин, как было выше замечено, раздумывал, кого должно сделать герцогом этой страны, он наконец решился, как будет рассказано, поставить над городом Фриоулем и всей той страной своего племянника Гизульфа, весьма доблестного мужа, который был вместе его шталмейстером (marescaltus, откуда маршал). Но Гизульф объявил, что он не примет на себя управления городом и населением, прежде нежели ему не будет предоставлено избрать для себя из лангобардов родовитых мужей (farones, а у других германских племен barones). И вышло так, что король исполнил его желание. Вследствие того он избрал знатнейших из родовитых мужей лангобардских, с тем, чтобы они остались с ним, и только тогда принял почетный титул герцога. Он потребовал еще от короля стадо кровных кобылиц, и на это король согласился весьма охотно. (Следует опять небольшое отступление с кратким изложением современных событий истории франков.)

Между тем Нарзес возвратился из Кампании в Рим и вскоре там умер. Его тело было положено в свинцовый гроб и со всеми богатствами покойного отправлено в Константинополь.

Когда же Альбуин подошел к реке Плаве (Пиаве), ему вышел навстречу епископ Феликс из Тарвизиума (Тревизо). Король, так как он в высшей степени отличался щедростью, предоставил епископу все церковное имущество и утвердил его за ним особенной, длинной на этот случай, грамотой. (Снова отступление по поводу жизнеописания Фортуната, друга Феликса.)

Альбуин между тем завоевал Винценцию, Верону и другие города области Венеции, за исключением Патавии (Падуи), Монс-Силица (Монселиче, на юг от Падуи) и Мантуи. (Еще большое отступление, в котором автор прилагает географический очерк Италии, по 18 провинциям, на которые она разделялась в то время.)

Таким образом, Альбуин достиг Лигурии, и в начале третьего индикта, 5 сентября 569 г., во время управления архиепископа Гонората, вступил в Милан. Оттуда он завоевал все города Лигурии, за исключением приморских. Однако архиепископ Гонорат оставил Милан и убежал в Геную. Патриарх Павел (Аквилейский) умер в то время, после 12-летнего управления паствой; ему наследовал Пробин.

Город Тицин (Павия) выдержал тогда более чем трехлетнюю осаду и защищался мужественно. Армия лангобардов была расположена лагерем недалеко от города, с южной его стороны. В промежуток этого времени Альбуин овладел всей Тусцией, заислючением Рима, Равенны и еще некоторых приморских укреплений. Римляне не имели достаточных сил к сопротивлению, потому что свирепствовавшая еще во время Нарзеса моровая язва похитила большую часть народонаселения, а за наводнением последовал великий голод во всей Италии. Впрочем, известно, что Альбуин привел с собой в Италию людей, собранных из самых различных народов, которые были покорены или им, или его предшественни-

ками; вследствие того мы и до сих пор называем отдельные местности Италии по именам народов, которые в них обитают, гепидскими, булгарскими, сарматскими, паннонскими, швабскими, норическими и т. д.

После трехлетней осады с несколькими месяцами Тицин сдался наконец Альбуину и его лангобардам. Когда Альбуин въезжал в город через восточные ворота св. Иоанна, его конь упал посреди ворот и не мог быть поднят на ноги ни шпорами всадника, ни ударами шталмейстера. Тогда один из лангобардов сказал королю: «Король! Измени произнесенную тобою жестокую клятву и ты немедленно вступишь в город; подумай о том, что обитатели города – истинные христиане». Альбуин клялся истребить мечом все население города за то, что оно не хотело так долго сдаваться. Лишь только он отказался от своей клятвы и обещал жителям пощаду, его конь немедленно встал на ноги; вступив в город, король сдержал свое слово и никому не сделал зла. Весь народ устремился к его дворцу, построенному некогда королем Теодорихом, и после столь долгих страданий снова начал питать утешительную надежду на будущее.

Альбуин, после трех с половиной лет управления Италией, погиб вследствие заговора, составленного его женой. Причина же его умерщвления была следующая: когда он в Вероне, веселясь, остался на пиру долее, нежели то ему следовало, он приказал поднести королеве чашу, сделанную из черепа его тестя, короля Кунимунда, требуя от нее весело пить вместе со своим отцом. Чтоб кто-нибудь не счел всего этого невероятным, клянусь Христом, я говорю сущую правду; я сам видел эту чашу, когда по одному торжественному случаю ее держал в руках князь Ратгиз и показывал гостям.

Розамунда, услышав то, была поражена до глубины сердца печалью, и она не могла ее ничем подавить: в ней загорелось желание убийством мужа отмстить смерть своего отца. Для достижения своей цели она вступила в заговор с Гельмигисом, скильпором, то есть щитоносцем и молочным братом короля. Гельмигис советовал вовлечь в заговор Передея, отличавшегося необыкновенной физической силой. Но когда Передей не хотел согласиться участвовать в таком тяжком преступлении, королева ночью расположилась на месте своей служанки, которая была его наложницей. Передей уснул рядом с королевой, сам того не подозревая. Когда таким образом было уже совершено преступление, Розамунда спросила его, за кого он ее принимает. Он назвал имя своей наложницы, но королева, встав, отвечала ему на то: «Я не та, за кого ты меня принимаешь; я – Розамунда. Теперь ты совершил такое преступление, после которого должен или убить Альбуина, или погибнуть от его меча». Тогда он, поняв совершенное им преступление, был вынужден дать свое согласие на участие в убийстве короля, на что прежде не мог решиться по доброй воли. Около полудня, когда Альбуин лег отдохнуть, Розамунда отдала приказание, чтобы во дворце ничем не нарушалась тишина, спрятала всякое оружие, а меч Альбуина крепко привязала к кровати, так, чтобы тот не мог ни схватить его, ни извлечь из ножен. После того, согласно совету Гельмигиса, эта неестественно свирепая женщина впустила убийцу Передея. Но Альбуин проснулся и тотчас понял угрожавшую ему опасность; он живо схватился за свой меч, но тот так крепко был привязан, что он, не будучи в состоянии оторвать его, овладел подножкой и защищался ею некоторое время. Но, увы! Этот воинственнейший и отважнейший муж ничего не мог сделать против такого врага и погиб; приобретя себе величайшую воинскую славу победой над бесчисленными врагами, он пал жертвой коварства ничтожной женщины. Лангобарды с плачем и рыданием похоронили его тело у одной из лестниц, ведущих во дворец. Альбуин имел гибкий стан, и вообще все его тело было устроено для битвы. В мое время Гизельперт, прежний герцог веронский, приказал открыть гробницу Альбуина, вынул оттуда его меч и все находившиеся там украшения, и после, со свойственным ему легкомыслием, хвастался перед необразованными людьми, будто бы он имел свидание с Альбуином.

После умерщвления Альбуина Гельмигис хотел захватить власть в свои руки, что ему, однако, не удалось, потому что ланго-

барды, оскорбленные смертью своего короля, решились умертвить его. Тогда Розамунда немедленно послала к Лонгину, византийскому префекту, жившему в городе Равенне, просить, как можно скорее прислать ей корабль, на котором она могла бы оттуда убежать. Лонгин, обрадованный таким известием, тотчас отправил корабль, на котором ночью и спаслись бегством Гельмигис и Розамунда, бывшая тогда уже его женой. Они взяли с собой дочь короля, Альбизинду и лангобардские сокровища и поспешно прибыли в Равенну. Тогда префект Лонгин начал уговаривать Розамунду умертвить Гельмигиса и вступить с ним в брак. Способная на всякое зло и горя желанием сделаться владетельницей Равенны, она изъявила свое согласие на то. Однажды, когда Гельмигис вернулся из ванны, она поднесла ему яд, выдавая его за какой-то особенно здоровый напиток. Тот, почувствовав, что он выпил смертную чашу, поднял над Розамундой обнаженный меч, и заставил ее выпить, что оставалось. Таким образом, по правосудию всемогущего Бога, в один час погибли оба убийцы вместе.

Пока все это происходило, префект Лонгин отправил к императору в Константинополь Альбизинду вместе со всей лангобардской сокровищницей. Некоторые уверяют, что Передей прибыл в Равенну вместе с Гельмигисом и Розамундой, и оттуда был отправлен с Альбизиндой в Константинополь, где он на игрищах, перед всем народом и в присутствии императора, убил льва необыкновенной величины. Как рассказывают, ему были выколоты глаза по повелению императора, чтобы он, обладая страшной силой, не сделал какого-нибудь зла. Спустя немного времени Передей достал себе два ножа, спрятал их в рукава и пришел к дворцу, обещая, если его допустят к императору, сообщить ему весьма важное дело. Император выслал к нему двух патрициев из своих приближенных, чтобы выслушать его. Когда они подошли к Передею, то он приблизился к ним, как бы желая говорить по секрету, и, схватив в обе руки спрятанные им ножи, нанес им столь тяжкие раны, что они оба распростерлись по земле бездыханными. Так отомстил он, напоминая собой могущественного Самсона, за причиненные ему страдания, и умертвил двух самых полезных людей для императора за потерю своих двух глаз.

Между тем лангобарды, по общему совещанию, избрали в короли Клефа, знатного лангобарда из г. Тицина. Он приказал умертвить многих могущественных римлян, а других изгнал из Италии. После одного года и шести месяцев управления, вместе со своей женой Анзаной, он был заколот мечом рукой одного их своих рабов (573 г.).

Лангобарды после его смерти оставались 10 лет без короля и управлялись герцогами. Каждый герцог господствовал в своем городе, а именно: Забан в Тицине, Валлари в Бергамо, Алагис в Брикси, Эвин в Триденте, Гизульф в Фриоуле. Кроме них, было еще 30 герцогов в различных городах. В то время многие из знатных римлян были умерщвлены из корысти, а прочие обложены податями, и каждый лангобардский вселльник был наделен таким образом, что туземцы должны были уступать им третью часть своих доходов. Под управлением этих лангобардских герцогов, в седьмой год по вторжении Альбуина и его народа, церкви были ограблены, священники умерщвлены, города разорены, жители, как подкошенная жатва, избиты, и большая часть Италии завоевана и порабощена лангобардами, за исключением тех земель, которые были захвачены еще при Альбуине.

Истор. лангобард. I, 22–27; II, 1–32.

Павел Дьякон

АВТАРИ И ТЕОДЕЛИНДА

Лангобарды, управляемые, после смерти Клефа, в течение 10 лет герцогами, поставили, по общему решению, королем Автари, сына последнего владетеля. За его достоинства они дали ему прозвание Флавия (имя Веспасиана и Тита), и оно счастливо было удерживаемо с того времени всеми лангобардскими королями. В то же время, по случаю восстановления королевства, все тогдашние герцоги уступили половину своего имущества на покрытие королевских расходов, чтобы король мог на это содержать свою свиту и всех, которые ему служили в различных должностях. Порабощенные народы были разделены между лангобардскими пришельцами[1]. И на самом деле, что было удивительно в королевстве лангобардов: в нем не встречалось никакого насилия, никакого тайного заговора, никто несправедливым образом не был принуждаемым к службе, воровство и грабежи не случались, и каждый мог жить, как ему угодно, без страха и заботы.

В это время византийский император Маврикий отправил королю франков, Гильдеперту, 50 тысяч солидов, с тем, чтобы он с войском напал на лангобардов и выгнал их из Италии. Тогда Гильдеперт, взяв большое войско франков, вторгся внезапно в Италию, но лангобарды укрепившись в городах, отправили к Гильдеперту послов с подарками и заключили с ним мир. По возвращении его в Галлию, когда до императора Маврикия дошло известие о заключении им договора с лангобардами, он потребовал от него назад те деньги, которые он ему дал; но Гильдеперт, уверенный в своей силе, оставил это требование без всякого ответа.

При таком положении дел король Автари вознамерился покорить город Брексилл (ныне Бресчелло, в Модене), расположенный на берегу реки По, и осадил его; а туда убежал от лангобардов герцог Дроктульф, который, перейдя на сторону императора, действовал вместе с его гарнизоном и оказал лангобардам мужественное сопротивление. По своему происхождению он был шваб или алеманн, взрос среди лангобардов, и за свою превосходную внешность получил почетный титул герцога; но как только ему представился случай отомстить за свой прежний плен, он поднял оружие против лангобардов. Им пришлось выдержать с ним тяжелую борьбу, но наконец они победили его вместе с союзниками и загнали в Равенну. Город Брексилл был завоеван, и его стены сравнены с землей. Затем король Автари заключил на три года мир с патрицием Смарагдом, который в то время управлял Равенной.

При содействии вышеупомянутого Дроктульфа равеннская армия несколько раз вступала в борьбу с лангобардами, а флот, выстроенный греками под его руководством, изгнал лангобардов из города Классиса. После смерти Дроктульфа его погребли с почестями в церкви св. мученика Виталия (в Равенне), воздав ему хвалу следующей надгробной надписью: «В этой могиле заключено только тело Дроктульфа, потому что своими заслугами он живет и теперь во всем городе» и т. д. (всего 13 стихов).

За Папой Бенедиктом I был избран в 578 г. Пелагий II, не получив на то утверждения от императора, так как в то время лангобарды осаждали Рим со всех сторон, и никто не мог выйти из города. Этот Пелагий отправил наставительное (utilem) письмо к Гелию, епископу Аквилейскому, который не хотел признать 3 глав из постановлений Халкедонского собора (от 451 г.). Оно было сочинено св. Григорием, в то время еще диаконом. (Следует небольшое отступление о войне франков в Испании.)

Император Маврикий снова отправил послов к Гильдеперту и убеждал его послать войско в Италию против лангобардов. Гильдеперт согласился на это и по-

---

[1] Populi tamen aggravati, per Longobardos hospites (по-другому pro Longobardis hospitibus) partiuntur: различие в предлогах per и pro, встречающееся в манускриптах, изменяет значительно смысл этого важного места: был ли народ разделен между (per) лангобардами, и следовательно лишен свободы, или только вносил часть доходов в пользу (pro) лангобардов. См. об этом вопросе у *Savigny*. Geschichte des römisch. Rechts im Mittelalter., I, 118.

слал франкское войско в Италию против лангобардов. Но когда лангобарды вышли к ним навстречу, между франками и алеманнами возникла распря, и они, не сделав ничего, возвратились домой.

В это время случилось наводнение в областях Венеции, Лигурии и в других частях Италии, какого, говорят, не было со времени Ноя. Много погибло имущества, загородных домов, а равно животных и людей. Улицы и дороги были размыты, и река Атезис (Эчь) так тогда разлилась, что в базилике св. мученика Зенона, которая находилась вне стен города Вероны, вода достигла верхних окон; впрочем, св. Григорий, впоследствии папа, писал, что во внутренность базилики вода не проникла нисколько. Также стены того же города Вероны с одной стороны были разрушены наводнением. Случилось же это наводнение в 16-й день перед ноябрьскими календами (17 октября); причем раздавались столь сильные удары грома, блестела молния, как то редко случается видеть и в летнее время. Спустя два месяца, выгорела большая часть города Вероны.

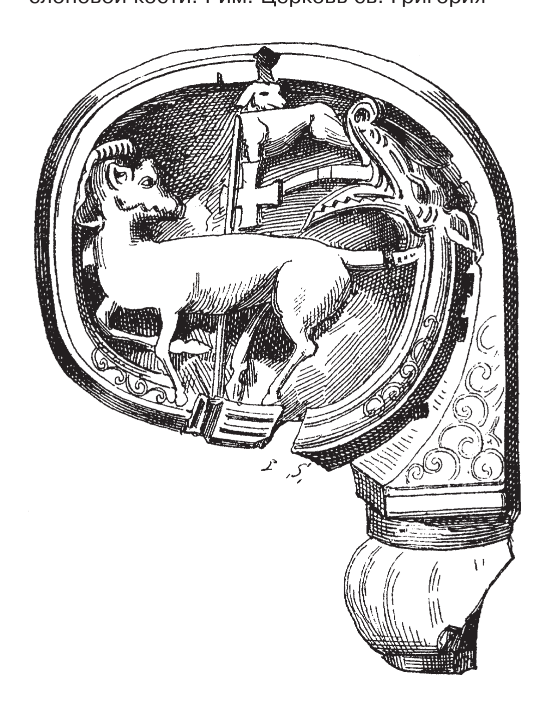
Во время того наводнения воды реки Тибра, в Риме, также поднялись выше стен города и залили в нем большую часть кварталов. Тогда же появился в русле реки дракон удивительной величины, сопровождаемый множеством змей, который и уплыл в море. Вскоре за этим наводнением последовала тяжкая моровая язва, которую называют inguinaria. Она произвела в народе такое опустошение, что из бесчисленного множества остались немногие в живых. Первой жертвой ее сделался папа Пелагий, муж многоуважаемый, и смерть поразила его мгновенно; когда не стало пастыря, язва начала распространяться в народе (590 г.).

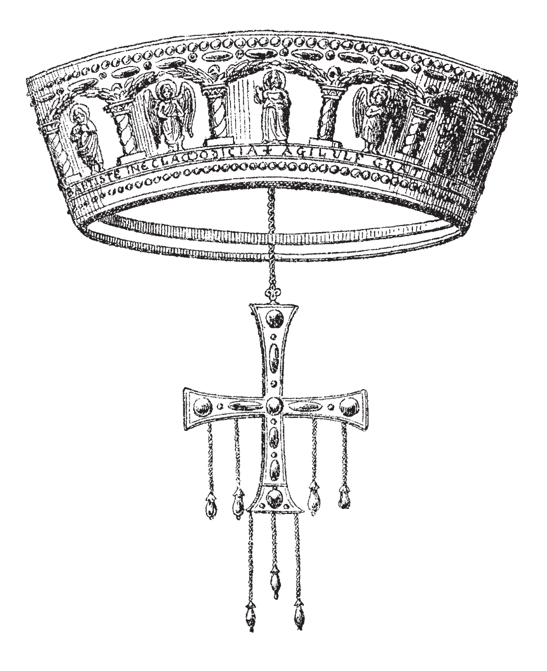
Во время столь великой напасти св. Григорий, бывший тогда дьяконом, был избран Папой всеми единодушно. Когда он установил седьмикратное молебствие, то в течение одного часа 80 человек из участвовавших при этом, внезапно упавши на землю, испустили дух. Седьмикратное же молебствие было названо так потому, что все население города, желавшее обратиться к Господу, было разделено св. Григорием на 7 частей. В первом хоре был весь клир, во втором все аббаты



Золотая корона Теоделинды, королевы лангобардов, супруги Автари (584–590 гг.), впоследствии супруги Агилульфа (591–616 гг.). Привезена в Париж Наполеоном, затем была похищена и в настоящее время известна только по старинным рисункам

Посох Григория I (св. Григория Великого), Римского Папы (590–604 гг.). Навершие слоновой кости. Рим. Церковь св. Григория





Золотая корона Агилульфа (591–616 гг.), аналогичная коронам вестготских королей в музее Клюни (Париж). Привезена в Париж Наполеоном

с своими монахами, в третьем все аббатиссы с своим причтом, в четвертом все дети, в пятом все миряне (laici), в шестом все вдовы и в седьмом все замужние женщины. Более не буду ничего говорит о св. Григории, потому что за несколько лет перед сим, с Божией помощью, я описал его жизнь; там изложено все, что должно быть сказано о нем, как то дозволила мне скудость моих сил.

В то же время св. Григорий послал в Британию Августина, Меллита и Иоанна со многими другими богобоязненными монахами и их проповедью обратил англов ко Христу. (Вставляется рассказ о предшествовавшей борьбе равеннского наместника Смарагда с аквилейским патриархом.)

В это время король Автари послал войско в Истрию, под начальством тридентского герцога Эвина. Это войско, после грабежей и пожаров, заключило мир на один год и доставило королю много денег. Другое же лангобардское войско осадило на острове Комацине (на озере Комо) Франциона, военачальника, служившего еще при Нарзесе и державшегося там в продолжении 20 лет. После шестимесячной осады он вынужден был уступить лангобардам этот остров; сам же, по выраженному им желанию, получил свободный проход, вместе с женой и имуществом, и удалился в Равенну. На острове было найдено множество богатств, которые были там сложены отдельными городами. Между тем король Флавий Автари отправил послов к королю франков, Гильдеперту и просил у него руки его сестры. Хотя Гильдеперт приняв богатые подарки от послов лангобардских, обещал выдать сестру за их короля, но когда явились послы из Испании, и он услышал от них, что готы перешли в католичество, то выдал свою сестру за готского короля.

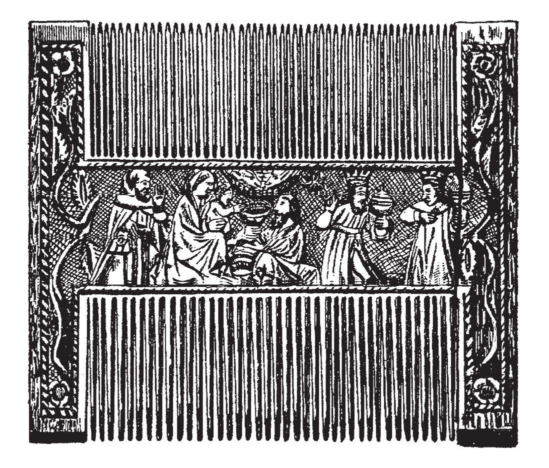
В то же время к Гильдеперту явилось посольство от императора Маврикия, приглашавшее его теперь предпринять снова войну против лангобардов, чего он прежде не исполнил, с тем, чтобы, по его совету, изгнать их из Италии. Гильдеперт немедленно отправил войско свое в Италию для подчинения лангобардов. Но король Автари вместе с лангобардами быстро выступает ему навстречу и мужественно сражается за свободу; в сражении лангобарды одерживают победу; франки потерпели жестокое поражение: многие из них попались в плен, еще большее число бежало и с трудом достигло отечества; франки понесли такой урон, что никто не знает другого подобного. Удивительно, конечно, то обстоятельство, что Секунд, который много писал о деяниях лангобардов, совершенно умолчал об этой победе, между тем как мой рассказ о поражении франков приводится в их летописях почти в тех же самых выражениях.

Король Флавий Автари отправил затем послов в Байоварию (Баварию), просить для себя руки дочери короля Гарибальда. Гарибальд принял их благосклонно и обещал выдать дочь свою, Теоделинду, за Автари. Когда послы, возвратившись, известили о том Автари, он, желая своими глазами увидеть невесту, выбрал себе немногих, но ловких людей, и между ними одного вполне преданного себе мужа, который был назначен в то же время главой посольства, и вместе с ними отправился в Байоварию. Когда

они, по посольскому обычаю, были представлены королю, и тот из них, который стоял во главе прочих, произнес, после приветствия, обычную речь, Автари, неузнанный никем из байоваров, подошел ближе к королю Гарибальду и сказал: «Господин мой, король Автари отправил меня, собственно, затем, чтобы я посмотрел вашу дочь, его невесту и нашу будущую госпожу, с тем, чтобы ему верно донести о ее красоте». Король, услышав то, приказал позвать свою дочь. Автари молча окинул ее взором, и так как она очень понравилась ему за свою красоту, то он сказал королю: «Видя такую красоту вашей дочери, мы желаем, чтобы она, как достойная, сделалась нашею королевою, а прежде всего мы желали бы, если вам то будет угодно, выпить кубок вина из ее рук, как она впоследствии должна то делать для нас». Когда король согласился на это, она, взяв кубок вина, поднесла его сперва тому, который был, по-видимому, старшим послом. Потом, когда она предложила кубок Автари, не зная, что это был ее жених, он выпив вино и возвратив кубок, коснулся ее руки пальцем, незаметно для всех, и провел правой рукой ей по лицу ото лба к носу. Она, покрытая краской стыда, рассказала о случившемся своей кормилице. Кормилица отвечала ей: «Этот человек, если бы он не был сам твоим женихом и королем, не осмелился бы коснуться тебя. А, впрочем, помолчим об этом, чтобы не узнал твой отец; потому что, в самом деле, он достоин того, чтобы править королевством и жениться на тебе». А тогда Автари был в цветущей молодости, строен, со светлыми волосами и весьма красивой наружности. Вскоре после того, получив от короля съестные припасы, они отправились обратно в отечество и быстро прошли по земле нориков. Провинция же нориков, которую населяет народ байоваров, граничит с востока с Паннонией, с запада с Швабией, с юга с Италией, а на севере омывается Дунаем. Автари, когда приблизился уже к границам Италии, сопровождаемый свитой байоваров, вдруг поднявшись на коне, сколько мог, изо всей силы вонзил секиру, которую держал в руке, в ближайшее дерево и, оставив ее в дереве, промолвил: «Вот как поражает Автари». Когда он это сказал, байовары, сопровождавшие его, поняли, что это был сам король Автари. Наконец, спустя несколько времени (589 г.), когда, по причине нашествия франков, король Гарибальд был доведен до крайности, дочь его, Теоделинда, вместе с братом, по имени Гундоальд, убежала в Италию и приказала известить Автари, что она пришла к своему жениху. Он тотчас отправился к ней навстречу, чтобы великолепно отпраздновать свадьбу, на поле Сардис, что выше Вероны, и женился на ней, при всеобщем веселии, в мартовские Иды (13 марта). Был в то время на свадьбе, между прочими герцогами лангобардскими, Агилульф, герцог города Турина. Во время случившейся тогда бури, было поражено молнией, сопровождаемою сильным ударом грома, одно дерево на королевском дворе. В свите Агилульфа случился в то время один гадатель, юноша, который искусством дьявольским постигал то, что предсказывали в будущем удары грома. Когда Агилульф, по естественной нужде, отошел в сторону, он сказал ему: «Эта женщина, на которой теперь женился наш король, вскоре будет твоею женою». Агилульф, услышав то, грозил ему смертью, если он хоть заикнется кому-нибудь о том. Тот ему отвечал: «Меня можно убить, но нельзя изменить приговора судьбы; эта женщина пришла в нашу землю для того, чтобы сочетаться с тобою браком». Впоследствии все так и случилось. В то время, неизвестно по какой причине, Ансуль, родственник короля Автари, был убит близ Вероны.

Когда же (590 г.) Гриппо, посол франкского короля Гильдеперта, возвратился из Константинополя, он рассказал своему королю, как он почетно был принят императором Маврикием, а за обиды[1], которые

[1] Дело, на которое намекает автор, происходило следующим образом: Гильдеперт отправил к Маврикию послов: Бодегизила, Эванция и упомянутого Гриппо. Они прибыли в Карфаген, и один из рабов Эванция украл у тамошнего купца ожерелье. Купец не мог получить своего никакими просьбами и хотел употребить силу, но был убит рабом. Префект, узнав об убийстве, пришел, в сопровождении отряда воинов, к послам, и когда между ними завязалась ссора, Бодегизил и Эванций были убиты. К этому-то событию и относилось обещанное императором удовлетворение.



Гребень Теоделинды.
Слоновая кость. Оправлен в золото
и украшен драгоценными камнями

были нанесены франкским послам на пути их в Византию через Карфаген, император обещал дать удовлетворение франкам за обиду, и Гильдеперт тотчас отправил вторично войско с 22 герцогами в Италию, для подчинения лангобардов. Из этих 22 герцогов славнейшие были: Андуальд, Оло и Цедин. Но когда Оло подошел неосторожно к укреплению Билицио (Беллинцона), его ранили стрелой в грудь, и он пал мертвый. Остальные же франки, рассеявшись для добычи, были захвачены врасплох лангобардами и разбиты поодиночке. Андуальд же и 6 других герцогов франкских, подойдя к городу Милану, расположились лагерем, в некотором расстоянии от него. К ним прибыли туда послы от императора, с известием, что готово на помощь им войско, которое явится к ним через 3 дня. «И вот вам условный знак,– говорили они,– когда вы увидите здание той виллы, на горе, в пламени, и дым от нее поднимется к небесам, знайте, что это мы, исполняя свое обещание, идем к вам с войском». Но герцоги франков, прождав по условию 6 дней, не видали ни одного человека из войска, обещанного послами императора. Цедин же с 13 герцогами, напав на левую сторону Италии, взял 5 крепостей, и даже принудил жителей их дать присягу. Пройдя Плаценцию, войско франков дошло до Вероны; большая часть крепостей сдалась без сопротивления, поверив клятвенным обещаниям не причинять никакого зла. Но следующие крепости в Тридентской области были разрушены: Tesana, Maletum, Sermiana, Appianum, Fagitana Cimbra, Britianum, Brentonicum, Belones, Ennemase, две в Алзуке и одна в Вероне. По разрушении этих крепостей франками жители их были отведены в плен. Но крепость Ферруга, при содействии епископов, Ингенуина из Сабионы и Агнелла из Тридента, откупилась деньгами, заплатив по одному солиду с головы, всего же было заплачено 600. Между тем в войске франков распространился кровавый понос вследствие удушливой жары, к которой они не привыкли, и от этой болезни погибло множество народу. Чем же все кончилось? Войско франков, бродя в продолжение трех месяцев по Италии, без всякого результата и не имея возможности ни вредить врагам, засевшим в укрепленных местах, ни захватить короля, против которого собственно предпринят был поход – он заперся в городе Тицине, – это войско, ослабленное, как мы сказали, тяжестью климата и голодом, решилось возвратиться восвояси. Но во время отступления франки до того страдали от недостатка в съестных припасах, что должны были употреблять в пищу одежду и даже кожаные щиты, прежде нежели успели дстигнуть пределов родины.

Некоторые полагают, что к этому же самому времени относится одно событие, рассказываемое из жизни короля Автари: как повествует предание, в это самое время король Автари через Сполето дошел до Беневента, занял всю страну и достиг г. Регия, крайнего города Италии, соседнего Сицилии. Там-то, среди морских волн, возвышался столб. Автари подъехал к нему на коне, коснулся его острием и при этом сказал: «До этого места должны простираться границы лангобардов». Говорят, что этот столб стоит там и до настоящего времени и называется колонной Автари. Первым лангобардским герцогом в Беневенте был Цотто, который и правил там в течение 20 лет.

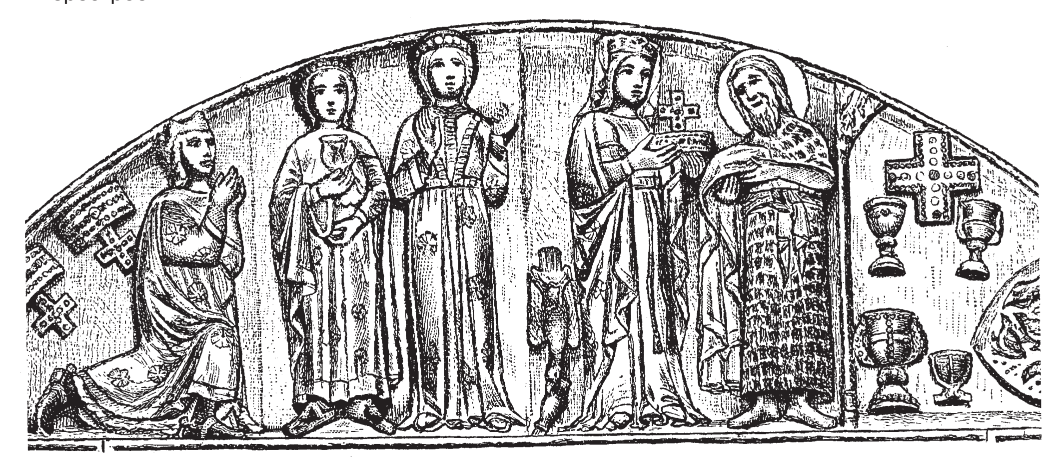
Между тем король Автари отправил послов с мирными предложениями к Гунтрамну, королю франков, дяде Гильдеперта.

Послы были приняты им благосклонно, и отправлены далее к Гильдеперту, чтобы и тот заключил мир с лангобардами и сделал его через то более прочным. Этот Гунтрамн был самый миролюбивый и самый добродушный человек. С ним был случай, весьма удивительный, и я хочу вкратце занести его в свою историю, тем более, что, как мне известно, о нем не упоминается в истории франков. Однажды ему случилось отправиться в лес на охоту, и как обыкновенно бывает в подобных случаях, его свита рассеялась по разным местам, а сам он остался с одним из своих самых верных приближенных, и его начало сильно клонить ко сну; наконец, он, положив голову на колени своего спутника, крепко заснул. Вдруг маленькое животное, вроде пресмыкающегося, выйдя из его рта, поползло к небольшому ручью и начало искать место для перехода. Тогда тот, на коленях у которого покоился король, вынув меч из ножен, положил его над ручейком, и животное переползло таким образом на другой берег. Потом оно залезло в щель горы, и спустя несколько времени возвратилось оттуда, перешло по мечу через ручей и опять проскользнуло в рот Гунтрамна, откуда вышло. Гунтрамн, проснувшись, рассказывает, что он видел чудное видение. Он говорил, что ему представилось во сне, как он по железному мосту перешел через реку, и, взойдя в какую-то гору, увидел там большую кучу золота. Тот же, у которого на коленях спал король, в свою очередь подробно рассказал все, что видел во время его сна. Что же затем? Гора в том месте была немедленно прорыта: и в ней найдены бесчисленные сокровища, положенные туда еще в глубокой древности.

Впоследствии король приказал отлить из этого золота тяжеловесную чашу необыкновенной величины, и затем, украсив ее множеством драгоценных камней, хотел отправить в Иерусалим ко Гробу Господню. Но когда ему не удалось этого исполнить, он приказал поставить ее над гробницей св. мученика Марцелла, который покоится в городе Кабаллоне (Шалон-на-Соне), где она находится и до настоящего дня. Нет в мире ни одной вещи из золота, которая могла бы с ней сравниться. Но коснувшись мимоходом этого удивительного случая, достойного упоминания, возвращаюсь снова к своему рассказу.

Между тем как послы короля Автари оставались во Франции, король Автари умер в Тицине, в сентябрьские Ноны (то есть 5 сентября 590 г.) и, как говорят, от яда, после 6 лет управления государством. Тотчас было отправлено посольство

Теоделинда приносит по обету дары св. Иоанну.
Слева направо: Агилульф, Адальвальд (сын Теоделинды), Гундеберга (дочь Теоделинды), Теоделинда, св. Иоанн. Рельеф над входом в собор в Монце, заложенный Теоделиндой в 595 г. и перестроенный в XIV в.



от лангобардов к Гильдеперту, королю франков, с тем, чтобы оно возвестило ему о смерти короля Автари и убедило его к заключению мира. Гильдеперт при этом известии принял благосклонно послов и обещал сохранять мир на будущее время. Спустя несколько дней он отпустил вышеупомянутых послов с этим обещанием. Королеве Теоделинде, так как она была любима лангобардами, было предоставлено сохранить королевское достоинство, причем ей советовали выбрать себе из всех лангобардов мужа, какого она пожелает, лишь бы он имел достаточно сил для управления государством. Она, посоветовавшись с мудрейшими советниками, избрала себе в мужья, а народу лангобардскому в короли, Агилульфа, герцога Туринского. Этот Агилульф был доблестный и воинственный муж, способный принять бразды правления как по своим физическим, так и душевным силам. Королева немедленно пригласила его к себе и сама вышла к нему навстречу из города Лаумелла (Лумелло). Когда он явился к ней, она, после первых слов, приказала подать себе кубок с вином, и, отпив из него, остальное подала Агилульфу. Он, приняв кубок, почтительно поцеловал руку королевы, а она, улыбнувшись и покраснев, заметила: «Тому, кто может поцеловать меня в уста, не следует целовать руки». Затем она предложила ему встать и поцеловать ее, и объявила о предстоящей свадьбе и возведении его в королевское достоинство. Что же было затем? Отпировали свадьбу с большим торжеством, и Агилульф, бывший по своей матери родственником короля Автари, принял на себя, в начале ноября месяца, королевский титул. Но на престол его возвели только в мае месяце, на всеобщем собрании лангобардов в городе Милане...

Спустя двенадцать лет после того (в 602 г.), королева Теоделинда освятила церковь св. Иоанна Крестителя, которую она выстроила в Модиции (Монце), стоявшую от Милана на 12 миль (почти две немецкие мили), и украсила ее множеством золота и серебра, сделав притом в ее пользу большие пожертвования. Еще прежде, в том же самом месте, Теодорих, король готов, построил дворец, потому что тот край, по случаю своей близости к Альпам, в жаркое время лета отличается умеренным и здоровым климатом.

Королева Теоделинда выстроила себе здесь также дворец, стены которого она приказала расписать сценами из лангобардской истории. На этих картинах можно видеть ясно, как в те времена лангобарды стригли свои волосы, какие носили одежды и вообще какую они имели наружность. А именно, затылок у них был гладко обстрижен, а остальные волосы падали на щеки до рта; пробор делался посредине лба. Одежда их была широкая и по большей части льняная, какую теперь носят англосаксы; для украшения она была окаймлена широкими полосами других цветов. Их обувь была сверху раскрыта почти до большого пальца и зашнуровывалась ремешком. Уже позже того они начали носить панталоны[1], сверх которых натягивались шерстяные рейтузы, при конной езде; это последнее одеяние заимствовали они, впрочем, у римлян.

Истор. лангобар. III, 16–35.

---

[1] Hosis, откуда новейшее немецкое Hosen. В одной переписи имен лангобардских королей, составленной салернским монахом, замечено, что король Адельвальд (615–625 гг.) первый ввел употребление панталон. Но в других странах Европы, как, например, на Рейне, они были приняты только в конце XIV столетия и занесены туда англичанами.

Монталамбер

ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ, ПАПА-МОНАХ (1860 г.)

При первом своем появлении монахи, по-видимому, заняли место мучеников древней церкви и очень часто испытывали их судьбу[1]. Таково было первое время распространения бенедиктинцев в Италии, а завоевание ее лангобардами еще более увеличило опасность их положения. В 580 г. лангобарды овладели Монтекассинским монастырем, разбили и сожгли его, так что монахи успели унести с собой один устав, написанный их основателем, и меру вина и хлеба, назначенную уставом. Они бежали в Рим; Папа Пелагий II сделал им отеческий прием и позволил построить монастырь возле Латеранского дворца.

Но вскоре один монах в первый раз был возведен на апостольский престол. Этот монах, знаменитейший из всех римских пап, приобретет славу, с которой не сравнится ни один из его предшественников, и которая озарит собой и самое то учреждение, из которого он вышел. Григорий, единственный из людей, кому весь мир единодушно дает двойное имя Святого и Великого, будет служить вечным украшением как Бенедиктинского ордена, так и папства. Своим гением, но еще более очаровывая и увлекая за собой своей доблестью, он положит начало светской власти пап, разовьет и облечет в правильную форму их духовную власть, даст ей отеческое первенство над рождавшимися в то время королевствами и новыми национальностями, которые должны были впоследствии сделаться великими народами и образовать собой Францию, Испанию, Англию. Св. Григорий, можно сказать со всей справедливостью, открывает собой Средние века, новейшее общество и христианскую цивилизацию.

Происходя, как и святой Бенедикт (Benoît), от одной из самых знаменитых фамилий древнего Рима, сын чрезвычайно богатого сенатора и правнук Папы Феликса III, из фамилии Анициев, Григорий[1] был рано призван к отправлению должностей,

[1] См. подробности о том ниже, о первых монастырях в Западной Европе и т. д.

[1] Он родился, вероятно, в 540 г. и умер в 604 г.

МОНТАЛАМБЕР (CH. comte de MONTALAMBERT, род. в 1810 г.). Один из знаменитых публицистов и политических деятелей XIX века. Стремление по примеру философа Ламенне соединить католические и демократические начала рано обратило его внимание на изучение средневековой эпохи. Первым результатом его трудов было сочинение, составившее ему большую известность: Vie de Sainte Elisabeth de Hongrie. 1836. Как оратор в палате пэров и как депутат, он принимал участие во всех событиях до 1857 г., когда он удалился для достижения своих целей путем литературы и науки. К последним таким опытам принадлежит его сочинение: Les Moines d’Occident depuis St Bénoit jusqu’a St Bernard. 1860. 2 т. За исключением выводов этого произведения, которых автор хотел добиться в пользу современности, это – превосходное исследование древности, основанное на глубоком изучении фактов. «Но,– говорит один из критиков Монталамбера, проф. Лабуле,– l’erudition n’est que la moitié de ce qu’exige une oeuvre pareille; il est beau d’étre savant et d’ecrire pour cinquante personnes en Europe; cela ne suffit pas quand on est habitué a un grand public, quand on sent le besoin d’agir sur l’opinion. A la science il faut joindre une вme ardente, une imagination féconde, une parole chaleureuse. A force de talent et de conviction, il faut tirer de la poudre et rendre a la vie les siesles endormis dans le tombeau. Je sais qu’il est des erudits de profession qui, sans souci des lesons de l’antiquité, interdisent l’eloquence a l’historien; avec ceux on est d’autant plus vrai qu’on est plus sec et plus ennuyeux» (Etudes moral et politique. Par. 1862, c. 111). Из небольших этюдов. Монталамбера более замечательно: L’avenir politique de l’Angéleterre. 1855.



Римская лавка

на которые падала еще тень древнего римского величия, в недрах новейшего Рима, вассала Византии, беспрестанно оскорбляемого варварами. Он был претором города Рима в эпоху первых вторжений лангобардов, и во время религиозных волнений, возбуждаемых по поводу пятого Вселенского собора. В этой должности он снискал расположение римлян и, приобретя навык к управлению делами, развил в себе склонность к пышности и наслаждению земным величием, причем не переставал, однако, служить безупречно Богу. Но провидение назначило ему другое место. Григорий долго колебался, хотя уже и чувствовал в себе огонь божественного вдохновения, но его беспрерывно отклоняли и увлекали прелести и привычки светской жизни. Наконец он должен был уступить влиянию тех частых и задушевных отношений, которые его связывали с беглецами Монте-Кассино, преемниками и учениками Бенедикта; тогда-то он, как бы свыше озаренный благодатью, внезапно разрывает все свои связи, завещает свои богатства шести новым монастырям в Сицилии, сам основывает седьмой, в своих собственных палатах, во имя святого Андрея, в Риме, на горе Цеттия, вводит там бенедиктинский устав, и постригается в нем в монахи. Все свое остальное имущество он обращает в деньги для раздачи бедным, и Рим, видевший на своих улицах молодого и богатого патриция, разгуливавшего в шелковых одеяниях и украшенного драгоценными каменьями, с удивлением смотрел на него теперь, одетого в рубище и прислуживающего нищим, живущим в здании, которое он построил у входа в свой отцовский дом, обращенный им в монастырь.

Сделавшись монахом, он хотел служить образцом для монахов, и выполнял с не-

обыкновенной точностью все строгости, предписанные уставом, посвящая себя в то же время изучению Священного Писания. Он питался одними мочеными овощами, которые его мать, постригшаяся в монахини после вдовства, присылала ему из своего монастыря в серебряной чаше. Эта чаша была единственным остатком от его прежней роскоши, но она недолго служила ему: какой-то претерпевший кораблекрушение так часто приходил мешать ему в то время, когда он писал в своей келье, что он, не находя более денег в ризнице, приказал отдать ему это последнее свое серебро. Позднее Григорию явился этот человек, в виде его ангела-хранителя, который возвестил ему, что с этого дня Бог предназначил его управлять своей церковью и быть наследником Петра, которому он подражал в любви к ближнему.

Постоянно занятый молитвой, чтением, письмом или диктовкой, он так далеко простирал рвение в соблюдении постов, что здоровье его поколебалось и даже самая жизнь часто была в опасности. Он впадал в такой обморок, что, по собственным его словам, ему нередко случалось быть при смерти, если бы братия не подкрепляла его более питательными яствами. Вследствие желания делать более, чем другие, он скоро принужден был отказываться от постов, которые соблюдались всеми, даже от самых обыкновенных; он приходил в отчаяние, когда не мог поститься в такой день, как Страстная суббота, когда, говорит его биограф (Иоанн Дьякон: Vita S. Greg.), постятся маленькие дети; только молитвами одного св. аббата из Сполето, который явился в монастырь св. Андрея, чтобы сделаться там простым монахом, Григорий получил от Бога, как милость, позволение соблюдать пост по крайней мере в этот день. Но он оставался всю свою жизнь слабым и больным, и когда вышел из монастыря, здоровье его было уже окончательно расстроено.

Папа Бенедикт I вызвал его оттуда в первый раз в 577 г. для посвящения в сан одного из семи кардинальных дьяконов, или окружных, которые управляли семью главными частями Рима. Григорий уступил власти первосвятителя весьма неохотно. «Когда корабль,– говорит он,– не прикреплен хорошо канатами в своей пристани, буря срывает его с якоря, как бы ни были безопасны берега: подобно тому и я опять погрузился в океан света, под церковным предлогом (sub praetextu ecclesiastici ordinis). Покидая тишину монастыря, я в первый раз познаю ее цену; я не умел сберечь ее для себя, когда находился в его стенах». Еще хуже было, когда Папа Пелагий II отправил его послом (apocrisiarius), или нунцием, к восточному императору Тиверию. Во время этого неохотного отсутствия он окружил себя многочисленными монахами своей общины, вместе с которыми он предавался научным занятиям, чтению и, насколько то возможно было, исполнял все правила устава. «По их примеру,– писал он,– я как будто бросал якорь у берегов молитвы, в то время как волны светской жизни обуревают душу мою». Тем не менее он с блестящим успехом выполнил возложенное на него поручение: восстановил между папским престолом и византийским двором добрые отношения, прерванные вторжением лангобардов, и употребил все старание, чтобы получить от Тиверия и его преемника Маврикия помощь, которой искали Рим и Италия против вторжений, становившихся все более и более грозными, и против владычества лангобардов, все более и более стеснявшего завоеванную страну. Он познакомился также с мерами сопротивления и хитростями, которые уже тогда употреблял византийский ум против единства и власти римской. Патриарха Евтихия, не допускавшего осязательного воскресения тела, он принудил к назидательному для других отречению от своего мнения.

После шести лет такого почетного и многотрудного изгнания он возвратился в Рим и снова нашел драгоценный покой в монастыре святого Андрея, члены которого избрали его аббатом вскоре по его возвращении. В продолжение некоторого времени он вкушал там всю сладость избранной им жизни. Нежно любимый своей братией, он отечески разделял их тяжелые испытания, нес с ними их внутренний крест, заботился о их временных и духовных нуждах, и изумлялся более всего святой смерти

многих из них. Подробности всего этого он изложил в своих «Диалогах», как бы превкушая заранее утешение неба. Но нежная доброта, которой он был постоянно проникнут, не мешала ему требовать строгого повиновения предписаниям устава. Он приказал бросить в яму тело одного монаха, который был в то же время искусным врачом, за то, что у него нашли три золотые монеты, а это было противно параграфу устава, запрещавшему всякую личную собственность. Три золотые монеты были брошены на труп, в присутствии всех монахов, которые должны были произносить громким голосом следующий стих: «Деньги твои да будут с тобою в погибель» (Pecunia tua tecum fit in perditionem). Но как только совершено было наказание, милосердие тотчас овладело сердцем аббата, и он приказал, в продолжение тридцати дней сряду, читать мессу, чтобы освободить эту бедную душу из чистилища. В этой заботе о спасении душ он уносился мыслью вдаль от любезного ему монастыря и Рима. Всем известно, как он увидел выставленных на продажу бедных языческих детей чрезвычайной белизны и красоты, которые, как сказали ему, были из страны англов (Angli, то есть англосаксы), на что он ответил, что они и рождены для того, чтобы быть ангелами[1]. За этим он поспешил к Папе, просил его послать миссионеров на этот большой остров Британию, где язычники продавали таких рабов, предложил свои услуги за отсутствием других, получил согласие у папы и тотчас отправился в дорогу. Но при известии о том прежняя любовь к нему римлян воспламенилась. Папа был окружен во время его шествия в церковь святого Петра; ему кричали: «Ты оскорбил святого Петра; ты разорил Рим, отпустив Григория». Папа, удивленный всем этим, уступает народному голосу. Посылают за Григорием, настигают его на расстоянии трех дней пути от Рима, и силой возвращают в монастырь. Итак, не миссионером, но Папой было ему суждено покорить Англию церкви.

В 590 г. Пелагий II умирает от чумы, опустошившей Рим. Тотчас выбирают Григория, по единодушному приговору сената, народа и духовенства. Тщетно он отказывается, посылает письмо к императору Маврикию, в котором умоляет не утверждать его избрания. Римляне перехватывают это письмо; императорское утверждение получено. Тогда он переодевается, убегает из Рима; ища какого-нибудь никому неизвестного убежища, блуждает в продолжение трех дней в лесу. Его преследуют, находят и ведут второй раз в Рим, но на этот раз, чтобы царствовать в нем. Он опускает голову, плача под игом божественной воли и единодушного приговора своих сограждан.

В промежуток времени между его избранием и утверждением императора он приказал торжествовать, в надежде отвратить бич язвы, ту знаменитую трехдневную процессию, в которой в первый раз участвовали все аббаты римских монастырей со своими монахами и все игуменьи с своими монахинями. Когда все эти религиозные общины проходили перед ним, ему явился на вершине здания гробницы Адриана ангел, вкладывавший меч в ножны; изображение этого ангела, поставленное на колоссальном мавзолее, дало ему с того времени название замка св. Ангела (вместо прежнего Moles Hadriana), которое продолжает и до наших дней хранить память о видении св. Григория.

Никогда, может быть, власть первосвятителя не выпадала на долю человека более смущенного и убитого духом, на долю монаха, который видел себя таким образом осужденным променять тишину монастыря на заботы об управлении Вселенской церковью, и о защите в особенности интересов Италии. Не только тогда, но и в течение всей своей жизни он не переставал никогда жаловаться на свою судьбу. Его грусть выразилась прежде всего в его ответах на поздравления, доходившие до него со всех сторон. «Я утратил,– писал он к сестре императора,– душевные радости своего покоя. По наружности я высоко вознесен, а внутри себя я глубоко пал... Постоянно я силился отказаться от мира, от плоти, чтобы духовно созерцать небесное

[1] Bene Angli, quasi angeli, quia angelicos vultus habent et tales in coelis angelorum decet esse concives. Jean. Diac. V. S. Greg. 1, 21.

благословение... Не желая и не боясь ничего в этом мире, я, казалось, стоял выше всего этого. Но буря искушений мгновенно низринула меня в пучину тревог и страха; хотя я по-прежнему ничего не боюсь за себя, но теперь я весьма боюсь за тех, которые возложили на меня эту ношу». В письме к патрицию Нарзесу он говорил: «Я до того удручен горестью, что едва могу писать; глаза моей души окружены мраком печали; я не вижу в жизни ничего, кроме горестного, и то, что, думают, мне приятно, для меня не более, как достойно сожаления. Потому что я беспрестанно вижу, с какой высоты блаженства я пал и на какую гору препятствий мне предстоит подняться». Андрею из сословия сенаторов он писал так: «Услышав о возведении меня в епископский сан, заплачьте, если вы меня любите; потому что этот сан сопряжен со столькими скоропреходящими занятиями, что, по-моему, не может не отдалить меня от любви Божией». Патриций Иоанн, содействовавший его избранию, получил также ответ: «Я сетую на вашу любовь: она отвлекла меня от покоя, которого я, как вы знаете, искал. Да воздаст вам Бог вечными благами за ваше доброе намерение, но пусть Он избавит меня, если на то будет Его воля, от стольких опасностей: потому что, как того заслуживали и мои грехи, я сделался не только римским епископом, но епископом даже лангобардов, которые не знали другого права, кроме права меча, а благосклонность их стоит иного наказания. Вот чего мне стоило ваше покровительство». Позже, избирая для выражения своих мыслей образы, которые он любил заимствовать у моря, он говорил своему задушевному другу Леандру, епископу Толедскому, с которым он встретился в Константинополе: «Я здесь так бываю обуреваем волнами этого мира, что отчаиваюсь привести в гавань этот старый, подгнивший корабль, которым наделил меня Бог... Мне приходится держать руль среди тысячи злополучий... Я слышу уже звон колокола, возвещающего близость кораблекрушения... Я плачу, вспоминая о мирном береге, который я покинул, и воздыхаю, видя вдали другой берег, к которому я не могу пристать».

Долгое время спустя, когда св. Григорий был более чем когда-нибудь удручен тяжестью светских дел, он удалился в уединенное место, чтобы предаться, сохраняя продолжительное молчание, своей грусти; к нему пришел дьякон Петр, его ученик, товарищ его детства и любимых занятий. «Не поразило ли тебя какое-нибудь новое горе,– сказал ему молодой человек,– что ты опечален более обыкновенного?» – «Печаль моя,– отвечал первосвятитель,– печаль повседневная, старая, по времени, которое я испытываю, новая, потому что она ежедневно возрастает. Моя бедная душа вспоминает то, чем она была прежде в нашем монастыре, когда она парила над всем преходящим, над всем, что изменчиво в мире; когда она думала только о небе; когда в своем созерцании она покидала свой телесный монастырь, который душит ее; когда она вперед уже любила смерть, как вход в новую жизнь. А теперь ей нужно, по моей пастырской обязанности, браться за тысячи людских дел, и оскверняться в этом прахе. И когда, вылившись таким образом наружу, она иногда пожелает возвратиться в свое внутреннее уединение, она возвращается, измельчившись. Я размышляю теперь и о том, что я терплю, и о том, что мною утрачено. Я разбит океаном и переломлен бурею. Когда я вспоминаю о своей прежней жизни, мне кажется, что я оглядываюсь на покинутый берег. И, что всего печальнее, носимый вихрем, я едва могу рассмотреть оставленную мною гавань».

Эти крики столь глубокой печали говорят нам все, что нужно знать о влиянии монашеской жизни того времени, которая господствовала с такой силой над святой душой величайшего человека того времени.

Les Moines d’Occident. II, 88–101.

Бэда Преподобный

ЖИЗНЬ ГРИГОРИЯ ВЕЛИКОГО (731 г.)

В то время, то есть в шестьсот четвертом году от воплощения Господня умер блаженный Папа Григорий, после 13 лет 6 месяцев и десяти дней славного управления престолом Римской и Апостольской церкви, и перешел на вечный престол небесного царства. Он был римлянин по происхождению; родился от Гордиана и вел свой род от предков не только благородных, но и принадлежащих к духовному сословию: Феликс, бывший некогда епископом на том же самом апостольском престоле, муж, снискавший великую славу в церкви Христовой, был его прадедом. Но и сам Григорий достиг церковного благородства (nobilitatem religionis) посредством того же доблестного благочестия, которым отличались его родители и родственники; другое же благородство, которым наделил его свет, он отверг, чтобы при помощи божественной благодати приобресть себе вечную небесную славу. Оставив внезапно светский образ жизни, он удалился в монастырь и там подвизался с таким совершенством, что (как сам он впоследствии со слезами обыкновенно рассказывал) дух его мог постигать все сокровенное и возвыситься над всем, что вращается на земле; он думал только о небесном, и, скованный телесными узами, переступал в созерцании преграду плоти, так что для него даже самая смерть, обыкновенно ужасающая других, была желанной гостьей, как начало новой жизни и награда за земные труды.

Когда он был извлечен из монастыря и поставлен служителем алтаря, когда его послали ответчиком (apocrisiarius) от имени апостольского престола в Константинополь, он и при этом случае, живя среди светского двора, не позабыл задачи небесной жизни. Он взял с собой из своего монастыря несколько человек из братии, которые, из дружбы к нему, решились сопровождать его в столицу, он имел целью соблюсти через то монастырскую дисциплину, чтобы, по их примеру, как сам он пишет о том, прикрепить себя якорем к тихому берегу молитвы, в то время, когда беспрерывный поток мирских дел будет волновать его своим напором, и чтобы его ум, смущенный деяниями века, подкреплялся ежедневно серьезным чтением и разговором в их обществе. Благодаря своим спутникам, св. Григорий не только оградил себя от вторжения мирских дел, но даже еще более прилепился к подвигам жизни небесной. Действительно, они убедили его написать истолкование всего таинственного в книге Иова, которая заключает в себе весьма темные места. Он не мог отказаться от труда, который на него возлагала братская любовь, и который в будущем был для многих полезен; в этом сочинении, состоящем из 35 книг (то есть глав), св. Григорий удивительным образом объяснил буквальный смысл книги Иова, его отношение к Христовым таинствам и таинствам церкви, и способ изложения этой книги каждому из верующих. Труд свой он начал, быв апокризиарием в Константинополе, но окончил его только в Риме, сделавшись уже первосвященником. Во время пребывания своего в Константинополе св. Григорий, опираясь на истину Вселенской церкви, уничтожил в самом начале зарождавшуюся тогда ересь относительно вопроса о воскресении тела. Евтихий, епископ Константинопольский, выдавал за догмат, что наше тело, после воскресения из мертвых, будет неосязаемо и тоньше ветра и воздуха. Услышав такое учение, св. Григорий, опираясь на смысл истины и пример воскресения Господня, доказал, что догмат, проповедуемый Евтихием, во всех отношениях противоречит православной вере: Вселенская церковь (catholica fides) учит, что тело наше будет превознесено в той славе бессмертия и под влиянием духовной силы усовершенствуется (subtile fit), но по истинной своей природе останется осязаемым, как то видно на примере тела Господня, о котором Спаситель, восстав из мертвых, говорил своим ученикам: «Осязайте и глядите, ибо дух не имеет ни плоти, ни костей, как, вы видите, Я имею». Св. отец Григорий в этом утверждении веры против возникающей ереси

столько трудился и так в том успел, при содействии благочестивейшего императора Тиверия-Константина, что с тех пор не нашлось ни одного, кто бы эту ересь решился восстановить.

Почти в течение всей своей юности св. Григорий часто страдал болью в желудке, раздражаемый ежечасно и ежеминутно его слабостью, и был подвержен потому хотя легкой, но беспрерывной лихорадке. Между тем, заботливо размышляя о том, что, по словам Писания, любимое чадо испытуется на земле, он чем сильнее страдал от временного бедствия, тем более уверялся в своем вечном блаженстве. Все это сказано мной о его бессмертном духе, чтобы доказать, что его не могли пошатнуть и самые тяжкие страдания тела. Другие первосвященники обращались к тому, чтобы строить и украшать церкви золотом и серебром; он же был весь предан заботам об обогащении души. Сколько бы он ни имел денег, всегда охотно старался раздать их бедным, чтобы правота его перешла из веков в века, и рог был вознесен в славе (et cornu ejus exaltaretur in gloria).

К делам его благочестия и справедливости принадлежит еще и то, что он, посредством посланных проповедников, вырвал наш народ (то есть англосаксов) из зубов старинного врага и сделал его причастником вечной свободы. Он сам, радуясь обращению и спасению нашего народа и воздавая ему заслуженные хвалы, говорит в своих объяснениях на книгу Иова: «Вот язык Британии, который ничего другого не знал, как бормотать по-варварски, теперь начал уже в своих хвалениях божества воспевать еврейское аллилуя. Вот, океан, когда-то бурный, теперь стелется у ног святых мужей и служит им; его варварские волны, которых не мог укротить меч земных властителей, теперь скованы, по внушению страха свыше, простым словом, произнесенным устами служителей Господних. Тот океан, который не боялся толпищ языческих бойцов, теперь трепещет слова смиренных пастырей. Познание Бога вселяется в народ при помощи назидания, божественного слова и явственных чудес; страхом Господним народ обуздывается к тому, чтобы бояться неправды и стремиться всеми помышлениями к достижению вечной славы». Такие слова св. Григория свидетельствуют о том, что св. Августин и его спутники привели англов к познанию истины не одним проповедованием слова, но и небесными знамениями. Св. Папа Григорий установил, между прочим, чтобы в церквях святых апостолов Петра и Павла совершалось богослужение над мощами тех святых. Он даже и к самой обедне прибавил два-три слова, исполненные великого достоинства, а именно: «Ты, о Боже, располагай нашими днями в мире твоем; изведи нас из вечного осуждения и повели нам зачислиться в стадо избранных твоих».



Англосакcские всадники

Нельзя также умолчать об одном предании относительно св. Григория, которое от предков наших дошло до нас; это предание объясняет нам причину, побудившую св. Григория так усердно заняться делом спасения нашего народа. Говорят, что в какой-то день прибыли купцы и привезли с собой множество товаров; множество народу собралось для покупок, между прочими пришел туда и Григорий и увидел вместе с другими предметами торговли мальчиков, выставленных для продажи: телом они были очень белы, красивы лицом, с пышными волосами (capillorum forma egregia). Взглянув на них, св. Григорий спросил: из какого царства или какой страны привезены эти мальчики? Ему отвечали: с острова Британии, где все жители так хороши. Он снова

спросил: а эти островитяне – христиане, или остаются погруженными в заблуждения язычества? Ему отвечали, что они язычники. Он, вздохнув тяжело из глубины сердца, сказал: «Увы! Как горестно, что люди с таким светлым лицом находятся под властью духа тьмы и что они под столь красивым челом скрывают ум, чуждый вечной благодати». Он опять обратился с вопросом: как называется этот народ? Ему отвечали, что этот народ называют англами (angli). «И справедливо,– отвечал св. Григорий,– потому что у них лицо ангельское, и им следовало бы быть сожителями ангелов на небесах».– «Какое,– спросил св. Григорий,– носит название та провинция, из которой привезены эти мальчики?» Ему отвечают, что жители той провинции именуются деирами (Deiri). «И это так,– возразил св. Григорий,– Deiri, это значит: de ira, то есть от злобы исторгнутые и призванные к Христову милосердию. А как зовут короля той провинции?» Отвечают ему: «Элле» (Elle). Св. Григорий, продолжая игру словами, заметил на это: «В этой стране надлежит петь аллилуйю, хвалу Творцу Господу». Отправившись к первосвятителю римского и апостольского престола (сам он еще не был тогда первосвятителем), св. Григорий просил послать к народу англов нескольких проповедников для обращения их ко Христу: он был готов сам, с Божией помощью, взяться за это дело, если, однако, было бы то угодно апостольскому Папе. Но ему не удалось в то время исполнить своего намерения: хотя первосвятитель разрешил ему, но жители Рима не могли согласиться на то, чтобы он отлучился из города на такое долгое время. Когда же он сам вступил в сан первосвятителя, то немедленно позаботился о довершении давно желанного предприятия; хотя он этот раз отправил других проповедников, но зато споспешествовал их проповеди своими советами и молитвой. Вот что, мне казалось, кстати может быть внесено в мою церковную историю, на основании тех известий, которые нам преданы древностью.

Церковн. истор. Англ. II, 4.

Григорий Великий

ПИСЬМО ГРИГОРИЯ I К ИМПЕРАТОРУ МАВРИКИЮ (около 600 г.)

Известно всем, знакомым с евангельским учением, что, по слову Господню, святому Петру, главе всех апостолов (omnium apostolorum principi), вручено управление всею церковью, ибо ему было сказано: «Петр, любишь ли ты меня? Паси овец моих». Ему же было говорено: «Петр, вот сатана выпросил просеять вас, как пшеницу; а я молился за тебя, чтобы не оскудела вера твоя. А ты, обращенный прежде, укрепляй веру братьев своих». Ему же сказано: «Ты камень, и на этом камне созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее.

ГРИГОРИЙ ВЕЛИКИЙ (GREGORIUS-MAGNUS),Папа, от 590 до 604 г. Оставил после себя большое число литературных памятников, из которых собрание его писем служит одним из лучших исторических источников для изучения современной ему эпохи и характера политической деятельности автора, положившего начало тем стремлениям к независимости светской власти пап, которая была достигнута в скором времени его преемниками, следовавшими по его стопам. Особенно замечательно сравнение писем Григория Великого в Галлию к Брунегильде с письмами его к византийскому двору. Лучшее издание «Писем Григория Великого» сделано было в Венеции, 1504 г., в XII кн. Немецкий перевод сделал Feuerabend, 1807–1809, в 6 т.– Монографии: *Maimburg*. Histoire du pontificat de S. Gregoire le Grand. Par. 1687. *Lau*. Gregor der Grosse, nach seinem Lehre geschildert. Leibz. 1845.

Я тебе дам ключи Царства Небесного: что ты свяжешь на земле, будет связано и на небе, и что разрешишь на земле, разрешено будет и на небе». Таким образом, Петр получает ключи Царства Небесного, ему дается власть вязать и решать на земле, ему доверяется забота о церкви и верховная власть в ней (curatotius ecclesiae et principatus), и несмотря на все то он не называется вселенским апостолом (universalis apostolus); а святейший муж, сотоварищ мой по священству, Иоанн (consacerdos meus, так называет Григорий тогдашнего константинопольского патриарха), желает называться вселенским епископом. Я должен при этом воскликнуть и произнести о, tempora, o, mores! (то есть о, времена, о, нравы!). В такое время, когда все подпало под власть варваров, когда города разрушены, крепости срыты, провинции опустошены; когда поля остаются без рук, идолопочитатели свирепствуют и господствуют на погибель верующим: и в такое-то время священнослужители домогаются тщеславных титулов и гордятся тем, что носят новые, языческие наименования, вместо того, чтобы повергаться во прах, обливаясь слезами. Разве я защищаю, благочестивейший государь (piissime domine), свое собственное дело? Неужели я хочу, говоря так, отомстить личную свою обиду? Нет, я говорю в защиту Божиего дела и дела Вселенской церкви. Кто же это осмеливается присвоить себе новое название, вопреки постановлениям евангельским (statuta evangelica) и каноническим определениям (canonum decreta)? Впрочем, разве у вас нашелся только один, кто решился называть себя вселенским? На самом деле в Константинопольской церкви, я знаю, было много таких пастырей, которые пали в бездну ереси и сделались не только еретиками, но даже ересиархами. Таков был ваш Несторий, который допускал два лица в Иисусе Христе, посреднике между Богом и людьми. Он унизился до еврейского неверия, не признавая того, чтобы Бог мог сделаться человеком. Из вашей же среды вышел и Македоний, который отрицал божественность Святого Духа, единосущную Отцу и Сыну. Если кто-либо в такой церкви присвоит себе имя вселенского, то добрые люди подумают: следовательно и Вселенская церковь, чего Боже избави, совратилась с своего пути, когда пал тот, кто назывался вселенским. Но да будет далеко от сердца христиан это богохульное имя (nomen blasphemiae), которое оскорбительно для чести всех пастырей, когда оно безрассудно присваивается одним лицом. Этот титул был предложен высокопочтенным Халкедонским собором римскому первосвященнику, в честь блаженного Петра, князя апостолов. Однако ни один из римских первосвященников не называл себя этим отличительным именем, и даже не согласился принять его, а именно потому, чтобы присвоением себе особенного титула не лишить должной чести прочих священнослужителей. Итак, что же может значить то, что мы, хотя нам был предложен этот титул, однако мы не пользуемся, между тем как другой, кому никто не предлагал, дерзает присваивать его себе? Кто решается пренебрегать каноническими постановлениями, того надобно привести к повиновению властью благочестивейших монахов. Кто оскорбляет святую Вселенскую церковь, в чьем сердце бушует гордость, кто хочет пользоваться особенными титулами и наконец хочет этим титулом поставить себя выше прерогативы вашей власти – того нужно наказать. Таким образом, мы все страдаем от этого скандала (scandalum patimur). Пусть же обратится на путь истины виновник самого скандала, и тогда исчезнут несогласия между пастырями церкви. Я считаю себя настолько слугою всех пастырей, насколько они ведут себя, как то прилично пастырям. Тот же, кто, по тщеславной гордости, в противность воле всемогущего Бога и постановлениям отцов, поднимает свою выю, тот не склонит моей, ни даже мечом, потому что я уповаю на всемогущего Господа.

Epistolarum ex registro Gregorii libri XII:
кн. IV, п. 32.

ПИСЬМО ГРИГОРИЯ ВЕЛИКОГО К ГЕРЦОГУ БЕНЕВЕНТСКОМУ (в 591 г.)

Григорий герцогу Ариеизу, привет! Доверие, которое мы питаем к вашей светлейшей особе, как к нашему истинному сыну, побуждает нас обратиться к вам с просьбою и надеяться, что вы не захотите нас огорчить, и притом в таком деле, которое может принести величайшую пользу душе вашей. Итак, мы извещаем вас, что нам нужно для церкви св. Петра и Павла известное количество бревен, и потому мы поручили нашему помощнику Сабину вырубить их и доставить на место, лежащее вблизи моря. Но так как ему при этом нужна помощь, то мы, посылая вам наше приветствие, с отцовскою любовью просим вас дать предписание своим тамошним чиновникам, чтобы они отправили своих рабочих с волами на помощь Сабину, чтобы он, при вашем содействии, лучше мог исполнить наше поручение. Мы же с своей стороны обещаем, по окончании того, прислать вам достойный и неоскорбительный для вас подарок. Мы умеем оказывать взаимные услуги тем из наших сыновей, которые докажут нам свою дружбу. Потому мы еще раз просим вас, светлейший сын, поступить так, чтобы мы были вашими должниками за оказанные услуги и могли вас наградить за церкви святых.

У Павла Дьякона. Истор. лангобард. IV, 19.

РАССУЖДЕНИЯ ГРИГОРИЯ ВЕЛИКОГО О НАУКАХ

(Письмо к одному из епископов, около 600 г.)

Нам так много хорошего говорили о ваших занятиях, и в сердце нашем потому родилась столь великая радость, что она не позволила бы отказать вам в том, о чем вы (fraternitas vestra) просите. Но потом дошло до нас, и о чем мы не можем вспомнить без стыда, а именно, что ты (frater nitas tua) обучаешь кого-то грамматике. Известие об этом поступке, к которому мы чувствуем великое презрение, произвело на нас впечатление очень тяжелое, так что все то, о чем я говорил выше, обратилось для меня в горе и печаль: одними устами нельзя воздавать хвалу Христу вместе с хвалами Юпитеру (quia in uno se ore, cum Jovis laudibus, Christi laudes non capiunt). Ты сам подумай, как преступно и неприлично поступают епископы, воспевающие то, что не согласится воспевать даже светский набожный человек. И хотя любезнейший наш сын, пресвитер Кандид, впоследствии прибывший сюда, старался опровергнуть тот слух и, своими тонкими рассуждениями, хотели оправдать вас, но все же я еще не успокоился, потому что, если чувствуешь сильное отвращение, слушая такие рассказы о священнослужителе, то необходимы и сильные доказательства, чтобы окончательно удостовериться в их несправедливости. Итак, если вы докажете ясно, что все рассказанное о вас ложно, что вы не занимаетесь вздорными светскими науками, тогда мы будем прославлять Господа нашего, который не допустил оскверниться устам вашим богохульственною хвалою такого, о чем нельзя и молвить. В таком только случае спокойно и без всяких сомнений мы подумаем о разрешении вам того, о чем вы просите.

Epistolarum ex registro Geregorii libri XII: кн. IX, пис. 48.

П. Н. Кудрявцев

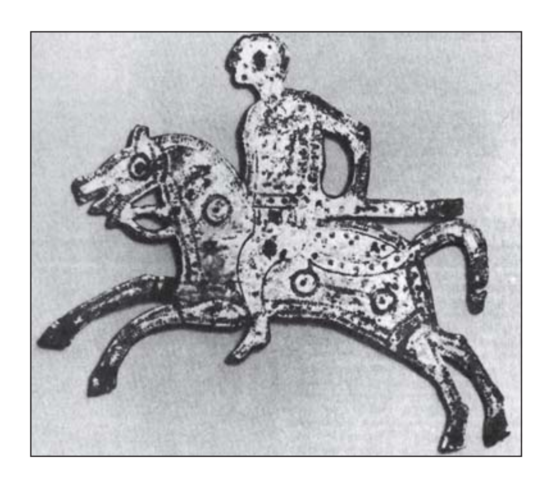
НАЧАЛО СВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПАП (1850 г.)

Со времени Римского собора 732 года, когда Папа Григорий III произнес церковное отделение Римской Италии от власти восточных императоров, освобождение этой страны от византийского владычества перестало быть главным пунктом в деле самостоятельного политического развития новой Италии. Самое разрешение этого вопроса, по мере того, как оно совершалось, больше и больше выводило наружу другое, чисто внутреннее противоборство между двумя туземными началами, которые тогда делили между собой господство на полуострове. Противоборство далеко не новое: оно вело свое начало еще от первого лангобардского завоевания Италии. Католицизм много смягчил прежний резкий характер вражды; но он не мог совершенно убить противоположности, лежавшей в его основании. Из религиозной и национальной, какой эта вражда была в своем начале, она мало-помалу перерождалась в политическую борьбу. Родовые отличия, разделявшие две народности новой Италии, стирались с каждым поколением, и утверждалась новая противоположность между двумя учреждениями, которые, выросши на почве этих различных народностей, стремились подчинить себе от их имени всю Италию. Начиная с короля лангобардов Лиутпранда (712–744 гг.) и Папы Григория III (731–741 гг.), спор был не столько между римской и лангобардской народностями, сколько между римским престолом и государством лангобардов. Кому из них господствовать в Италии, и быть ли в ней одному политическому центру – о том был новый важный спор, который своим решением надолго должен был определить будущую судьбу полуострова.

Лишь по-видимому упростился итальянский вопрос, приняв такую форму. В сущности же, под самою этой формой скрывалась возможность еще большего его усложнения: борьба не могла быть ведена с обеих сторон чисто национальными силами. Об одном государстве лангобардов можно утверждать, что оно, преследуя свои цели, не переставало действовать в духе народном. Нельзя того же сказать о римском престо-

---

П. Н. КУДРЯВЦЕВ, 1815–1858. Он приобрел известность, как профессор истории в Московском университете, и принадлежал к числу историков школы Грановского. Изданный им труд «Судьбы Италии, от падения Западной Римской империи до восстановления ее Карлом Великим», который был назван им скромно, как обозрение остгото-лангобардского периода итальянской истории (М., 1850), представляет обширное исследование важнейшей эпохи в целой истории европейской цивилизации. Автор своим трудом желал осуществить свой весьма правильный взгляд на значение и цель занятий всеобщей историей наряду с отечественной, в форме самостоятельного изучения главных событий историй Запада. «Если нужно, – говорил он (см. введение), – основать независимость наших собственных суждений в деле всеобщей истории, то достигнуть этого мы можем не иначе, как самостоятельным ее изучением. К тому же побуждают нас и успехи русской истории, сделанные ею особенно в последнее десятилетие. Они предполагают известную степень зрелости сознания, на которой историческое знание вообще становится одной из первых умственных потребностей. Не забудем притом, что для полноты исторического созерцания необходима сравнительная точка зрения, а она может быть приобретена лишь основательным знакомством, кроме истории отечественной, с прочими частями всеобщей истории человечества». Автор начинает свой труд картиной Италии в последнее время существования Западной Римской империи и останавливается на венчании Карла Великого императорской короной. Орфография собственных имен у автора оставлена без изменения.



Лангобардский всадник. Бронзовое изображение VIII в.

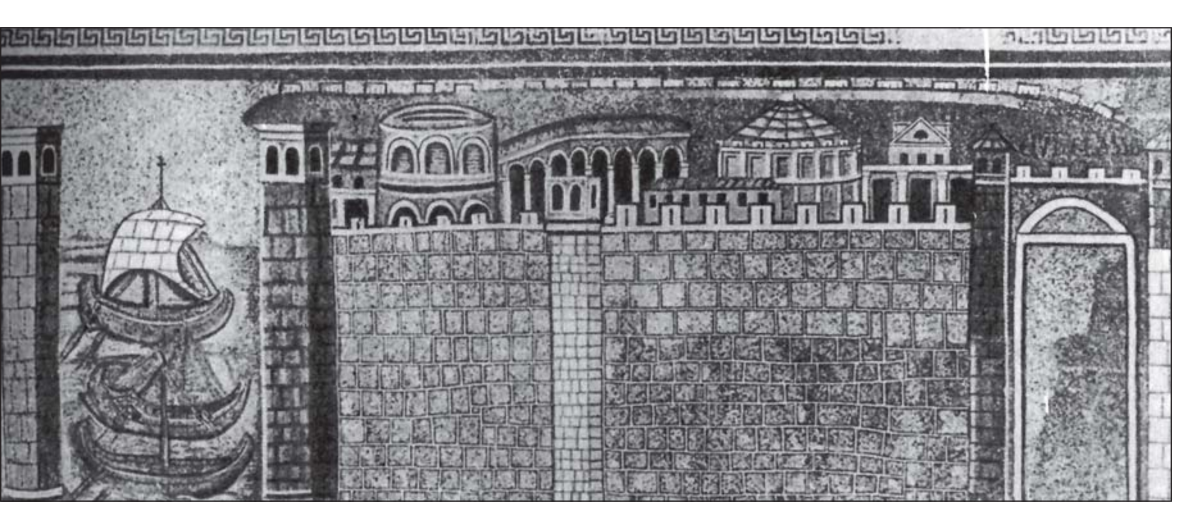
ле. Долгое время истинный представитель римской Италии в борьбе ее с варварскими народами, он в последнее время довольно чувствительно начал отделять интересы своих патримоний, своей собственности вообще, от интересов римского народа. Правда, что римские епископы старались отождествлять эти понятия на своем дипломатическом языке, употребляя их одно вместо другого. Нельзя не признать, что таким смешением понятий очень верно выражалось стремление известного рода; но как мало оно соответствовало истине существовавших отношений, можно судить уже по тому малому участию, которое принимала городская милиция во всех предприятиях римских епископов со времени Григория III. В борьбе с единоверными лангобардами не было больше места тому единодушию между римским престолом и римским народом, какое было во время их же борьбы с лангобардами-еретиками. На лангобардов беневентских и сполетских также нельзя было много полагаться после тех перемен, которые произошли в их политическом состоянии при короле Лиутпранде. Для исполнения своих планов римский престол по необходимости должен был рассчитывать на посторонних, неитальянских союзников, и он уже заготовлял их себе на Западе. На воинственных Каролингов, которые стояли тогда во главе франков, хотел он перевести право патрициата, или патроната, над римским престолом и Римской церковью, которое до сего времени соединено было с властью восточных императоров и их экзархов над Италией. Ибо еще не созрела мысль о возможности перенесения этих прав прямо на римский престол: все еще нужна была посредствующая форма светской власти, чтобы под ее именем он мог благовиднее утверждать за собою самые важные ее преимущества. Впрочем, как на первый раз Каролинги, в лице Карла-Мартела, не показали особенной готовности служить римскому престолу против лангобардов, то римские политики не считали за лишнее приудержать на время и то право на Рим, которое еще оставалось за Восточной империей, чтобы противопоставить его лангобардам, в случае перевеса их оружия. По крайней мере это право, как уже ни мало было оно действительно, не встречало себе никакого явного противоречия в Римской Италии; экзарх, хотя лишенный почти всякого значения, продолжал жить в Равенне, и даже прямо с Византией вновь завязаны были из Рима сношения при сыне Льва, Константине, хотя он наследовал от отца вместе с властью и его религиозные заблуждения. Одним словом, запасая себе новых сильных союзников на Западе, Рим еще не выпускал из своих рук и тех нитей, которые продолжали связывать его с Востоком. Поэтому и политическим противникам римских епископов, в борьбе за преобладание в Италии, неизбежно приходилось иметь дело столько же с ними самими, сколько и с покровительствующими им чужеземцами. Отсюда чрезвычайная трудность задачи для лангобардов, которые не могли ввести в борьбу иных сил, кроме своих национальных; отсюда же и новая запутанность в положении Италии, которая, вместо того, чтобы утверждать свою самостоятельность и преуспевать в стремлении к единству, принуждена была снова открыть к себе вход чужеземцам и в союзе с ними еще раз готовить себе участь зависящей провинции.

Таков последующий ход истории Италии вплоть до начала IX столетия. Обозначив его в общих чертах, мы постараемся, на основании исторических свидетельств, объяснить

и главные подробности событий, которыми приготовлена была печальная развязка отношений между римским престолом и лангобардами, и проложен путь франкскому владычеству на полуострове[1].

Эти события быстро следовали одно за другим. Ни смерть Лиутпранда, ни миролюбивая политика епископа Захария, который, наученный неудачными опытами своего предшественника Папы Григория III, находил, что гораздо вернее действовать на лангобардов силой слова, убеждением, даже авторитетом, чем оружием, и расположен был больше в пользу союза с византийцами, чем с франками,– ничто не могло остановить и даже замедлить на долгое время приближение роковой развязки. Желание мира на одной стороне вовсе не было ручательством сохранения его на другой. Направление, указанное силам лангобардского народа Лиутпрандом, вытекало не из личных только свойств этого короля: потребность его была заложена гораздо глубже. Захарий мог жить в мире с ничтожным Гильдпрандом, пока тот пользовался титулом короля лангобардов, но не в состоянии был погасить воинственного духа, вновь пробудившегося в целом народе. Мы, правда, лишены подробных и обстоятельных известий о том, что происходило в государстве лангобардов после смерти Лиутпранда; тем не менее, однако, некоторые почти несомненные признаки ясно дают заметить, что лангобарды не были более равнодушны к великим начинаниям завоевателя Равенны, Сполето и Беневента. Продолжение его дела стало потребностью народа, долгом правителя. Неспособность к тому Гильдпранда была почувствована очень скоро, и, через месяц после вступления, его уже не было более на престоле. Кем бы ни была ведена интрига против него, во всяком случае выбор его преемника был как бы знаком возвращения государства к началам внешней политики Лиутпранда. Между мужественными сподвижниками этого короля Рахис, или Рачис, герцог Фриульский, занимал одно из самых почетных мест. О подвигах Рачиса, равно как и брата его, Айстульфа, не раз говорит Павел Дьякон (VI, 51, 52 и 56), видимо отличающий их перед другими вождями лангобардского ополчения. Он был обыкновенно впереди в бою с неприятелем, ему поручались самые важные пункты обороны, и самое возведение его в герцогское достоинство было прямым выражением особенной доверенности к нему Лиутпранда. Вверяя ему власть короля, лангобарды хотели, конечно, не воздать только должное заслугам, но и видеть на престоле человека, наиболее способного удовлетворить требованиям национального чувства, гордого недавними победами. Жаль, впрочем, одного: как ни много отваги и предприимчивости сохранил Рачис для своих лет, он принадлежал к одному поколению с Лиутпрандом и делил с ним известную его слабость – излишнюю уступчивость перед католическими авторитетами... Еще при жизни Захария повстречались два обстоятельства чрезвычайной важности, которые вдруг должны были подвинуть на несколько стадий вперед замедлившееся движение итальянской истории в данном

[1] Последующие события в истории Италии, вплоть до падения Лангобардского государства, довольно общеизвестны; несмотря на то, задача историка, который взял бы на себя пересмотреть их по источникам, много затрудняется тем, что, за совершенным отсутствием чисто лангобардских известий поверка оказывается почти невозможной. Главный наш руководитель в истории лангобардов, Павел Дьякон, к крайнему сожалению, оканчивает свои известия смертью Лиутпранда. Остается Анастасий с своими биографиями римских епископов. Прибавив к его повествованию скудные известия современных франкских летописцев, мы получим весьма немногое. Излагая историю эпохи исключительно по римским и франкским источникам, историк неизбежно впадает в односторонность. По счастью, Codex Carolinus, или собрание доверенных посланий римских епископов к Каролингам, дает возможность если не пополнить недостаток лангобардских известий, то по крайней мере лучше узнать внутреннюю сторону событий. Опыт разъяснить историю отношений римских епископов к Каролингам при помощи этих посланий сделан был в довольно обширном объеме Эллендорфом, в сочинении его «Die Karolinger, die Hierarchie und ihre Zeit». Но автор слишком увлекался своей ненавистью к римскому иерархическому началу, и потому сочинение его скорее имеет вид памфлета, чем ученого исследования.



Византийский порт Классис. Мозаика

направлении. Таково было, во-первых, знаменитое посольство, прибывшее в 751 году в Рим от Пипина, майордома Франкского государства, с знаменитым вопросом к римскому епископу: кому должно принадлежать преимущественно право на французскую корону – славному ли роду Каролингов, располагающему всей действительной властью в государстве франков, или титулярным королям меровингского происхождения? В пределах того же года, хотя точно неизвестно – прежде или после, совершилось и другое важное событие, которое также должно было много содействовать ускорению хода внутренней истории Италии: это занятие Равенны, городов Пентаполиса и Истрии войсками Айстульфа, короля лангобардов (749–756 гг.), наследовавшего Рачису...

Папа Захарий решил предложенный ему Пипином вопрос в его пользу и, таким образом, упрочил на будущее время союз папского престола с Каролингами. Этот союз был не только ударом для власти лангобардов в Италии, но и целым переворотом в господствовавших до того времени понятиях германцев о публичном праве: народное избрание уступило место папскому благословению. Завоевание Айстульфом Равенны и Пентаполиса в то же время лишило пап всякой надежды на помощь Византии, и заступничество франков было тем необходимее, что Айстульф, воспользовавшись смертью Захария (752 г.), начал двигаться к Риму, несмотря на заключенный им 40-летний мир с преемником Захария, Стефаном II. Угрожаемый осадой города, Стефан II, после напрасных переговоров то с Айстульфом, то с Византией, решился наконец писать к Пипину и вскоре имел от него ответ с приглашением явиться в Галлию для личных переговоров. Но Папа не решился бежать, а предпочел отправиться предварительно к самому Айстульфу, как будто бы с поручением от византийского императора. Его сопровождали в Павию и послы Пипина. Видя ту же непреклонность короля лангобардов, Стефан II, опираясь на послов франкских, объявил ему, что он имеет намерение отправиться к Пипину. Айстульф не смел задержатьПапу, и, таким образом, Стефан II прибыл в Галлию, где в Понтионе (Pons-Hugonis) и имел свидание с королем. Он короновал его и детей, и Пипин, на совещании со своею дружиной на Мартовских полях, объявил ей о походе в Италию. Что в это время предпринимал Айстульф с своей стороны и были ли ему известны как цель, так и результат путешествия Папы в Галлию?

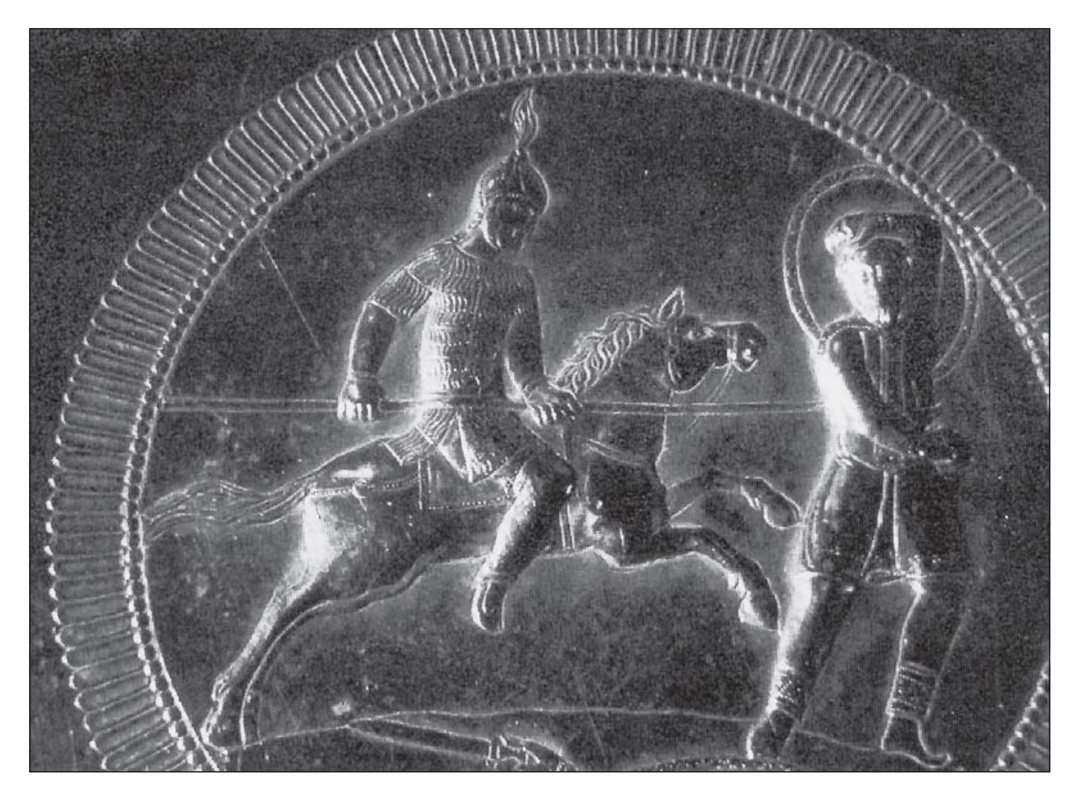
Совещания Папы Стефана II с Пипином, в Понтионе (753 г.) не могли остаться тайной для Айстульфа; цель их была совершенно ясна: есть ли какая вероятность думать,

что неробкий Айстульф смотрел сквозь пальцы на приготовления своих противников и не предпринимал ничего для своей безопасности? К сожалению, мы лишены возможности подтвердить наше предположение прямыми историческими показаниями. Для эпохи, в которой мы находимся, до нас не дошло ни одного лангобардского источника, и потому нет почти никакого средства поверить или хотя пополнить известия, сообщаемые писателями противной стороны, о последних судьбах Лангобардского государства. Лишь одна мера Айстульфа, впрочем, весьма мирного свойства, проникла в рассказ Анастасия и франкских летописцев. Некоторое время он надеялся еще противодействовать интриге римского епископа в самой Франции, и с этой целью отправил к Пипину весьма близкого к нему человека, представления которого, казалось, должны были иметь много веса в его мнении. Это был брат Пипина, Карломан, который за несколько лет перед тем принял монашеский чин и жил в монастыре Монте-Кассино. Иноческая жизнь, как видно, не убила в нем политического смысла; не ясно только, каким образом этот отшельник мог до такой степени забыть интересы римского престола, что расположился, вопреки им, действовать в пользу лангобардов. Прибыв во Францию, он прямо обратился к своему брату и горячо отстаивал перед ним короля лангобардов. Но Пипин до того уже вошел в виды своего союзника, что не внимал ничьим представлениям. Стефан II был близко: ему не стоило большого труда заподозрить в глазах доверчивого короля франков намерения Карломана. С общего согласия они решили не отпускать его обратно в Италию, но, как опасного человека, удержать во Франции, поместив в одном из тамошних монастырей. Вслед за тем, уже в качестве «защитника Римской церкви», Пипин еще раз послал сказать о своем решении Айстульфу, чтобы он оставил в покое церковь, состоявшую под его покровительством, и спешил бы исправить свою несправедливость в отношении к ней. Требование было тем значительнее, что было сделано с самой границы, где Пипин стоял уже с своим войском, готовый каждую минуту вступить в лангобардские владения. Но внушения страха не были известны старому сподвижнику Лиутпранда. Он по-прежнему стоял на своем, позорил, в присутствии послов Пипина, римского епископа и предлагал с своей стороны лишь одну уступку – дозволить ему обратный проезд в Рим через свои земли. На это послы отвечали, что Пипин не отойдет от границы, пока король лангобардов не согласится воздать должное св. Петру, исправить свою несправедливость перед ним. Айстульф хотел положительно знать, какой требуют от него справедливости. «Возврати Пентаполис, Нарни, Чекано (?) и все, что присвоил ты себе вопреки правам римского народа»,– отвечали послы. В случае согласия Айстульфа Пипин обещал ему с своей стороны несколько тысяч солидов: так дороги стали ему в последнее время интересы римского престола. Но Айстульф так же мало способен был сдаваться на посулы, как не сдавался он на одни угрозы: Равенна с Пентаполисом была ему дороже обещаний Пипина и всей его благосклонности. Он не соглашался признать за собою никакой несправедливости перед римскою церковью, и своим отказом вынудил Пипина начать войну.

Весь поход совершен был Пипином в короткое время. Быстрота действия, смелость и сила удара всегда выгодно отличали первых Каролингов от их противников. Правда, что и Айстульф не дал застать себя врасплох: он бодро и отважно вышел франкам навстречу и даже несколько предупредил вступление их в лангобардскую землю. Но излишняя горячность завлекла его слишком далеко и с самого начала лишила тех выгод, которые он несомненно мог иметь перед Пипином, если бы оставался в оборонительном положении. Достигнув с войском горных альпийских проходов, которыми франкские владения отделялись от лангобардских, Айстульф, вместо того, чтобы дожидаться здесь наступательного движения Пипина, увлекся желанием отбросить передовой отряд франков, который стерег выход с противоположной стороны. Рассчитывая на малочисленность франков, Айстульф слишком доверился превосходству

своих собственных сил. Франки, несмотря на численное неравенство, умели дать мужественный отпор лангобардам. Вероятно, они держались до тех пор, пока Пипин не подоспел к ним на помощь с главным ополчением. Тогда стойкое мужество франков, закаленное в боях с свободными германцами, окончательно одолело самоуверенную лангобардскую необузданность, которая, не видя себе достойных соперников в Италии, мало была подготовлена встретить их и во Франции. Айстульф сам едва избежал плена и должен был спасать себя и остатки своего войска поспешным бегством в Павию. Но победитель шел по его следам, скоро явился под стенами самой резиденции и обложил ее со всех сторон. Главный виновник всего предприятия, Стефан II, также находился в лагере франков. Айстульф держался сколько мог в стенах Павии, но, не имея ни одного союзника ни внутри Италии, ни даже за ее пределами, он ниоткуда не мог ждать себе помощи или подкрепления, и, наконец, в крайнем стеснении, должен был принять предложение Пипина. Договор состоялся на условиях, которые еще до похода предложены были со стороны римского епископа и короля франков. Айстульф обязался клятвенно возвратить св. Петру, то есть римскому престолу, Равенну, Пентаполис и все прочие места, занятые им внутри Римской области. Но к прежним условиям прибавлены были еще новые, крайне невыгодные для чести и самостоятельности Лангобардского государства. Уплатив победителю значительную сумму денег единовременно, Айстульф сверх того должен был принять на себя обязательство – и впредь каждый год выплачивать ему же по пять тысяч солидов. Клятву его подтвердили все знатнейшие лангобарды, герцоги и другие находившиеся тогда в Павии. Тогда только победители были удовлетворены сполна. Взяв с собою обетную грамоту и – для большей верности – сорок человек заложников из благородных лангобардов, Пипин выступил вместе с своим войском из лангобардских владений.

Епископ Стефан спешил вернуться в Рим, довольный унижением лангобардской гордости и полным торжеством своего дела. Он надеялся в скором времени вступить, от имени Римской церкви, во владение землями и городами, на которые давал ему право последний договор. Прошло несколько времени в ожидании распоряжений со стороны лангобардского правительства. Думали видеть в Риме комиссаров Айстульфа, но он в январе следующего года (755 г.) двинулся вперед «со всем ополчением своего народа» и подступил к самому Риму. Понятно, что привело его к стенам епископской резиденции и откуда происходила та необузданная ярость, с которой он, по словам биографа, приступил к осаде ее. Лукавое, если не вероломное, поведение Стефана II подало дурной пример его политическому противнику. Обманутый им Айстульф считал себя вправе платить ему той же монетой. Но прежде, чем обнаружилась на деле предполагаемая перемена в его образе мыслей, ему уже приходилось искупать тяжелой ценою свою первую ошибку, то есть излишнюю снисходительность к епископу во время первого своего пребывания в Павии. Не только потерять свои лучшие приобретения, Айстульф был обречен отступиться от них в пользу того, кто так коварно умел воспользоваться его простодушием. Было от чего прийти в ярость и негодование. Тогда, под влиянием страстного раздражения, явилась решимость, которой недоставало прежде. Граница собственно Римской области опять перестала быть для Айстульфа священной. Если ненависть к лангобардам завела римского епископа в самую Францию, то весьма понятное желание мести влекло теперь короля лангобардов в самый Рим. Там хотел он отплатить за бесчестие договора, подписанного в Павии. Силы, приведенные Айстульфом под стены Рима, свидетельствовали о его намерении нанести решительный удар. Чтобы надежнее удержать за собою Равенну и Пентаполис, он не находил лучшего средства, как покорить себе и остальную Италию. Грозой продвигались лангобарды вперед, нигде не встречая открытого сопротивления. Подступив к Риму, они разорили его окрестности и потом плотно обложили город со всех сторон. Началась стеснительная для римлян осада, вовсе не обещавшая им доброго исхода.



Блюдо, найденное в Северной Италии, с изображением византийского вооружения. На всаднике шлем с пером и кираса с короткими рукавами, стремена отсутствуют. Конец VI – начало VII в.

Из рук римского епископа уходила самая дорогая добыча. Ненадежен был даже Рим, независимость которого была главным условием самостоятельности римского престола. Допустить, чтобы лангобарды овладели Римом и утвердились в сердце Италии, значило отказаться и на будущее время от всякой надежды управлять ее судьбами. Пока было время, пока еще стояли крепкие римские стены, надобно было спешить спасать достояние, накопленное веками. И пока еще было горячо усердие нового союзника, приобретенного в последнее время римской церковью – должны мы прибавить, потому что, если и можно было думать о спасении Рима, то не иначе, как его скорой и деятельной помощью. Стефан II знал цену помощи Пипина и не прерывал с ним сношений и после возвращения его из Италии. Как только не стало больше сомнения, что Айстульф не хочет выполнять договора, он писал к королю франков, жалуясь ему в сильных выражениях на вероломство лангобардов. Когда же Айстульф обступил Рим своими войсками и держал его в тесной осаде, когда к горькому чувству одной неудачи присоединилась еще невыносимая для римских епископов мысль о возможности полного торжества лангобардов в Италии, тогда Стефан II, под впечатлением ужасов, сопровождавших это нашествие, написал новое послание к «Пипину, Карлу и Карломану, римским патрициям», и при первом удобном случае отправил его с нарочными послами во Францию. Послание – драгоценное для историка по некоторым содержащимся в нем подробностям об осаждении Рима лангобардами. Так, узнаем из него, что передовое ополчение лангобардов проникло в Римскую область из Тусции и, подступив к Риму с одной стороны, расположилось против ворот св. Петра

и св. Панкрация. Вслед за ним прибыл и сам Айстульф с остальным войском и стал против саларских ворот и других, смежных с ними. Наконец, с юга подошли еще беневентцы и обложили город со стороны ворот св. Иоанна и Апостола Павла: ясный знак, что южные герцогства не думали отлагаться от государства, но действовали заодно с королем. Таким образом Рим был стеснен и заперт со всех сторон. Жители города были в беспрестанной тревоге; день и ночь лангобарды возобновляли на них свои нападения, требуя от них покорности и выдачи ненавистного им епископа. Лишь через 55 дней после того, как началась осада, представилась Стефану возможность переправить нарочных к королям франков с известием о своем крайнем положении. Действия осаждающих изображены в послании самыми черными красками. Все здания, лежащие за стенами, не только простые жилища, но самые церкви и фермы (domi cultae) римских епископов сожжены ими и разорены до основания. Никому нет пощады от неприятеля – ни старикам, ни женщинам, ни даже детям: одних они убивают безжалостно, других бесчестят насильственно, и даже к грудным младенцам не знают никакого снисхождения. «Самые камни, – пишет епископ, – видя наше страдание, жалобно вопиют вместе с нами». Без всякого сомнения, действия лангобардов, когда они стояли под стенами Рима, не отличались особенным великодушием. Ни понятия того времени, ни образ ведения войны вообще не располагали победителей к умеренности и снисхождению. Война еще продолжала носить характер кровавой мести и обыкновенно сопровождалась жестокостями и насилиями. Неудивительно даже, что на этот раз лангобарды, разделяя чувства своего вождя, действительно обнаруживали более непримиримости и раздражения, чем прежде. Впрочем, едва ли можно принять на слово все, что говорит Стефан II об их жестокостях. Уже по тому самому, что в послании его заботливо собраны все черты бесчеловечия, какие только при разных случаях возможны в обращении варваров-победителей с побежденными, можно подозревать, что епископ в своем изображении хотел быть верным не столько истине, сколько чувству своей ненависти к лангобардам и нарочно представил их поступки в преувеличенном виде, чтобы сильнее подействовать на Пипина. По примеру своих предшественников, он также не забыл представить лангобардов посмеивающимися над бессилием франков. «Пусть приходят теперь франки, – говорят у него лангобарды осажденным римлянам, – и попробуют вырвать вас из наших рук». Одним словом, свою ненависть, свой страх опасности и даже самое нетерпение скорее освободиться от нее римский епископ желал передать и своим защитникам. Крайность нужды теснее стягивала узел, завязанный при других, менее трудных, обстоятельствах. Заканчивая свое послание прошением помощи, Стефан II заклинает патрициев Богом истинным и живым и именем верховного Апостола спешить в Италию для спасения Рима. Внутренняя тревога живо отозвалась и в самой речи его. «Помогите нам скорее, возлюбленные наши,– взывал Стефан к покровителям Рима.– Спешите, спешите, пока еще не поздно; пока меч врагов не пронзил сердца нашего». За их помощь он обещает им скорую и верную помощь Божию во всех предприятиях, и наконец – чтобы не было недостатка и в последнем побуждении – показывает им вдали карающую руку Бога, грозит последним судом, если они сверх чаяния останутся глухи ко всем просьбам его и допустят лангобардов восторжествовать над римлянами.

В то же самое время другое послание подобного же содержания и лишь с малыми отличиями в самых выражениях, отправлено было через тех же послов особо к Пипину, как тому из трех названных римских патрициев, на которого собственно возложены были все надежды римского престола. Здесь Стефан II, уже без обиняков, возлагает на Пипина всю ответственность и вменяет ему прямо в «грех», если попущением Божием Рим попадет в руки лангобардов. «Подумай и рассуди сам с собою,– пишет он королю франков,– на чью душу должен будет пасть грех этот, если мы в самом деле погибнем? Поверь мне, христианнейший король, что в случае какого несчастия с нами,

ты со всеми твоими советниками первый ответишь за нас Богу: ибо не кому другому, как тебе, твоим детям и всему народу франков поручили мы под покровительство святую нашу церковь и все наше Римское государство».

Хотя ни одно современное известие не говорит, чтобы Пипин прямо отклонял от себя честь оказать последнюю и самую важную услугу римскому престолу; впрочем, неизвестно почему он не давал Стефану никакого ответа и медлил с походом в Италию. Могло случиться, что, при всей его готовности исполнить желание епископа, повстречались внутренние, домашние обстоятельства, которые неотменно требовали его присутствия в государстве. Да и сами приготовления к походу требовали немало времени и вносили неизбежное замедление в предприятие. Между тем в Риме дорога была каждая проходящая минута. Под гнетом стеснительной нужды, под страхом беспрестанно возрастающей опасности, которая одним разом могла осуществиться и убить все надежды римского престола, там не понимали никаких отсрочек, хотя бы самых законных; там медлительность Пипина готовы были приписать его нерешимости, недостатку усердия, может быть, даже тайным связям с лангобардами, и предавались отчаянию. Но в крайних положениях отчаяние и становится главным советником. Меры, внушаемые подобным советником, не отличаются, конечно, ни большим достоинством, ни даже простым благоразумием; часто он есть не что иное, как этот самый пронзительный вопль, которым нужда кличет себе на спасение; но чем пронзительнее крики, тем сильнее поражают они воображение, тем более возбуждают силы к напряженному действию.

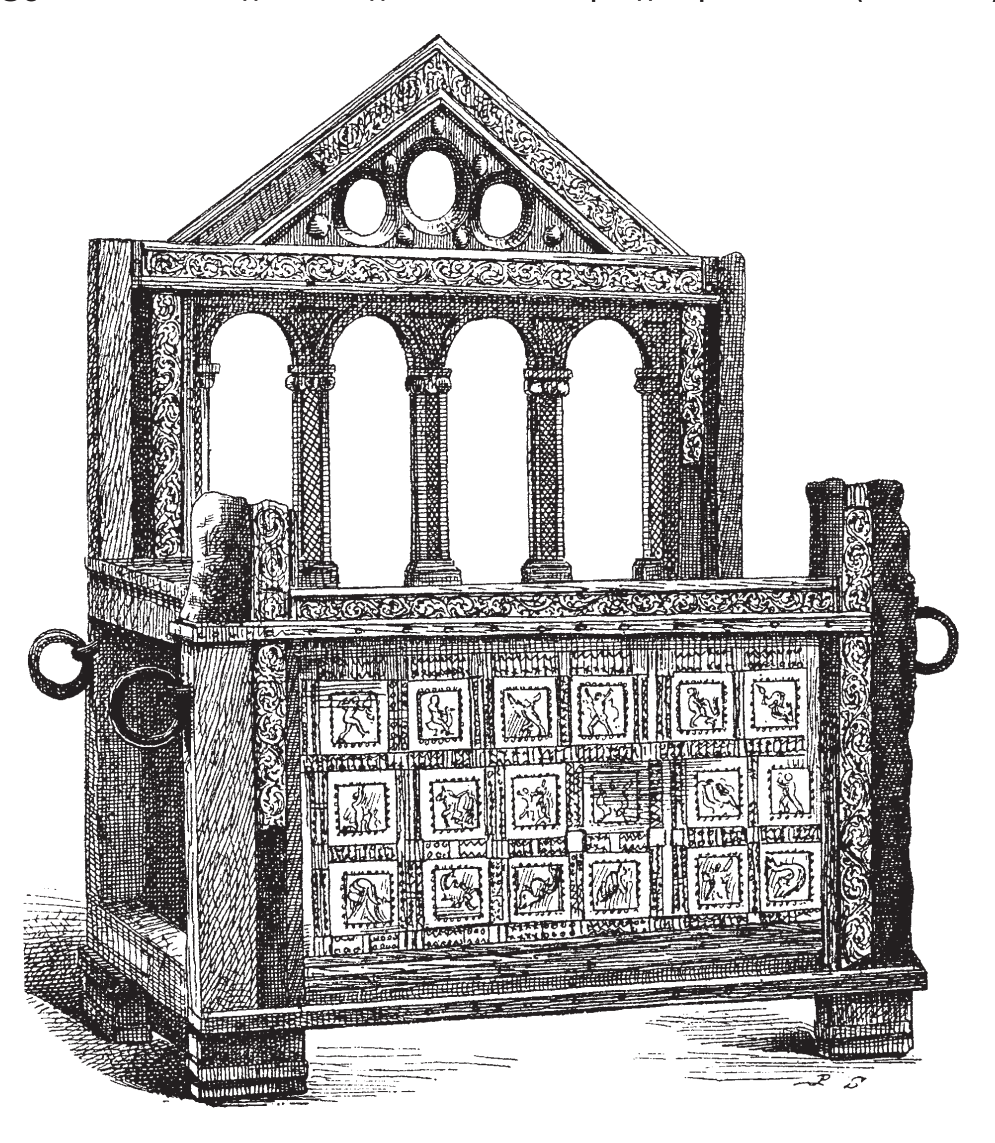
Не лучше было и положение Стефана II. Никакие утешительные, слухи не приходили из Франции. Послание, написанное в самых настоятельных выражениях, по-видимому, не произвело желаемого действия. В нем, однако, истощены были все средства убеждения. Повторять их в другом — значило еще раз обречь себя на пустые ожидания и, следовательно, на потерю драгоценного времени. Отказаться от союзника тоже было нельзя, потому что только к нему и была привязана последняя надежда. Болезненное чувство собственника, предвидящего потерю всего своего достояния, не знало себе покоя. Оно-то породило отчаянную и вместе с тем наглую решимость Стефана II написать свое второе послание к Пипину – прямо от лица св. Петра, как если бы его чувства и действия не отличались от чувств и действий римского епископа: начало несчастного смещения, губительные следствия которого простираются на целый ряд последующих веков. Не приводя целого послания, мы возьмем из него некоторые, самые видные места[1]. Не нужно предупреждать, что тон послания по преимуществу патетический.

«Я, Петр Апостол,– так начинается послание, написанное ко всем трем патрициям,– по воле божественного милосердия званный Христом, Сыном Бога живого, поставлен Его властию быть просветителем всего мира (следуют тексты), посему все, слышавшие мое благовестие и принявшие его, да уверуют несомненно, что, по повелению Божию, им отпустятся все грехи в сем мире, и они без порока перейдут в жизнь будущую. Поелику же просвещение Святого Духа озарило ваши пресветлые сердца, и вы, восприняв евангельскую проповедь, возлюбили святую и единичную Троицу, то во вверенной нам Римской апостольской церкви сберегается и для вас несомненная надежда будущих наград. Итак, к вам, как возлюбленным моим детям, обращаю я глагол мой, и любовию вашею ко мне убеждаю вас, чтобы не оставили вы город Рим и народ, мне Богом вверенный, без защиты, но исхитили бы их из рук врагов, и спасли бы дом, в котором покоятся мои останки, от осквернения, и избавили бы церковь, мне Богом вверенную, от нужды и притеснений всякого рода, которые она принуждена терпеть от злобы лангобардов (a pessima Longobardorum gente).

И пусть не будет у вас никаких сомнений, возлюбленные, но имейте за верное, что я сам обязую и связываю вас сими мои-

---

[1] См. Cod. Car., № 7 (Bouquet, V, 495).



Кафедра св. Петра. Рим. Собор св. Петра.
В действительности изготовлена несколько веков спустя после смерти апостола. Украшена пластинками слоновой кости с изображениями борющихся животных, кентавров и людей

ми увещаниями так же точно, как если бы я предстал пред вами во плоти; ибо по обещанию, данному нам самим Искупителем, вы, франки, любезнее нам всех народов земли.

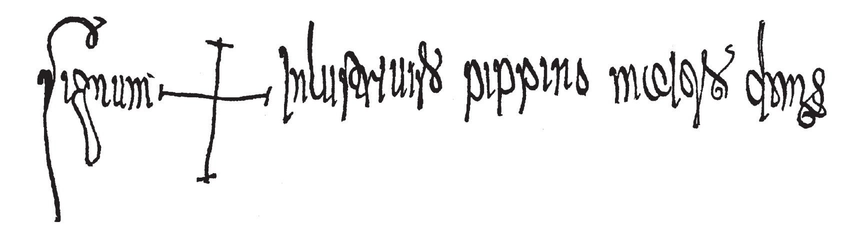
Поспешайте, поспешайте, Богом истинным и живым убеждаю вас, поспешайте нам на помощь, пока еще не иссох тот живой источник, от которого возродились вы, пока еще не погасла последняя искра от того яркого пламени, от которого вы заимствовали свет свой, пока ваша духовная мать, святая церковь, от которой вы чаете будущей жизни, не потерпела последнего унижения и насилия от рук нечестивых.

Заключаю мои вам увещания. Будьте скоры на послушание, и вы уготовите себе великую награду: я обещаю вам мое постоянное заступление, чтобы вы побеждали всех ваших врагов, и были долговечны в сей жизни, и имели бы несомненную надежду на блаженство в будущей. Если же – чего мы, впрочем, не думаем – станете вы медлить или вздумаете под каким-нибудь предлогом откладывать лежащий на вас долг защиты, знайте, что за такое пренебрежение моего к вам увета, властью Святой Троицы и благодатию апостольства, мне данного свыше, я отрешу вас от Царства Небесного и будущей жизни».

Никогда низкая лесть и бесчестный обман не соединялись так бесстыдно с самыми дерзкими угрозами, и никогда самая необузданная фантазия не злоупотребляла так риторикой, как это дозволило себе испуганное воображение римского епископа!

Католические современники Стефана II руководствовались, впрочем, иными понятиями. Сознание их было несвободно. Авторитет римского престола, утвердившись в нем, мало-помалу действительно становился мерилом его верований. Состоя под ним, нельзя было не признать и всех его уверений. Странность форм, если она была, поражала не столько смысл, сколько воображение. Вот почему послание, написанное от лица св. Петра, вместо того, чтобы казаться страстным, должно было произвести сильное впечатление на современников. Пипин не уступал другим в благоговейной преданности к римскому авторитету. Неизвестно наверняка, в какой мере его решимость зависела именно от этого послания; но после того он уже не откладывал более предприятия и опять со всем своим ополчением двинулся к пределам Италии. Его движением решена была участь всего лангобардского похода. Спеша на защиту своих собственных владений, Айстульф принужден был снять осаду Рима, продолжавшуюся целые три месяца. Но он не имел времени, чтобы упредить Пипина, который быстро наступал через Бургундию, Женеву и Мон-Сени, и не мог лично распорядиться защитой горных проходов (Clusae), которые, как доказал двукратный опыт, были ключом к владениям лангобардов с западной стороны. Невоодушевляемые присутствием короля-вождя, лангобарды недолго держались против стремительного напора франков, которые взобрались на самые высоты и оттуда бросились на своих противников. Имея в своей власти горные проходы, Пипин мог свободно продвигаться вперед внутрь страны. Айстульф потерял боевой дух и опять поспешил запереться в Павии. Но положение его оттого не сделалось лучше. Стесненный со всех сторон в многолюдном городе, он не мог долго выдерживать осады, и во второй раз должен был принять условия победителя. Так кончилась вторая война, предпринятая Пипином на защиту и пользу римского престола против лангобардов.

Главный результат двух походов Пипина в Италию выразился в условиях последнего мира, заключенного в Павии. Они, впрочем, были только повторением условий первого. По ясному выражению Анастасия, побежденный король лангобардов вторично обязался клятвой возвратить римскому престолу города и земли, условленные в первом договоре его с Пипином. Единственным прибавлением к прежним уступкам был, по его же словам, лишь укрепленный город Комаккио (Eugubium или Comaclum). Чтобы более обеспечить все эти владения за Римской церковью и как бы засвидетельствовать перед целым миром ее право на них, Пипин, не довольствуясь клятвенным обещанием Айстульфа, дал еще от себя дарственную грамоту, которой римские епископы утверждались на вечные времена во владении городами и землями, возвращенными от лангобардов. Сверх того, решившись твердо не допускать ни малейшей отсрочки в исполнении договора, он тогда же назначил от себя аббата Фульрада, чтобы он немедленно отправился вместе с поверенными Айстульфа во все города экзархата и Пентаполиса и принял их во владение Римской церкви. В силу такого поручения аббат действительно объехал почти весь экзархат и Пентаполис, везде заставил вручить себе ключи от городских ворот, взял потом с собой из каждого города по нескольку первостепенных граждан (primates), может быть, самих магистров, и с этими мирными трофеями отправился в Рим. Города и укрепленные места, принятые



Подпись Пипина Короткого как майордома (крест). Рукопись 751 г. Париж. Национальный архив. Рукой секретаря по-латыни написано «подпись ... именитого мужа Пипина Майордома». На месте «...» Пипин собственной рукой поставил крест

им таким образом во владение, были следующие: Равенна, Римини, Пезаро, Фано, Чезена, Синигалия, Эзи, Форлимпополи, Форли, Монтеферети, Аччераджио, Монте-ди-Люкаро, Серра, Сант-Мариано, Бобио, Урбино, Кальи, Губбио, Комаккио и Нарни. Честно выполняя свой обет, данный римскому престолу, Пипин не забыл также и себя, и своих сподвижников. При заключении мира Айстульф должен был уступить ему третью часть всей своей казны и сверх того щедро наделить всех знатных франков, находившихся в свите короля. Наконец, несколько благородных лангобардов должны были, в качестве заложников, отправиться с Пипином во Францию.

Римскому епископу можно было напутствовать Пипина, возвращавщегося во Францию, всеми благословениями. Благодаря его мужеству, усердию и строгой честности в исполнении данного слова патримонии Римской церкви вдруг увеличились, сверх Нарни, с которой она начала свои притязания, целым экзархатом, Пентаполисом и еще частью Эмилии. Но эти новые патримонии никак не подходили под один разряд с прежними: это были уже не отдельные места, угодья, земли, с колонами, их населяющими, а большие свободные города и даже целые области. Потому и самый характер владения ими должен был быть отличный от первого: тогда как прежние патримонии составляли лишь частное владение Римской церкви, новоприобретенные ею земли необходимо принимали характер владения публичного, которое давало ей право высшего расположения ими и управления. Здесь было, одним словом, начало территориальной власти римских епископов. Напрасно хотят подозревать какие-то условия зависимости, под которыми будто бы Пипин мог уступить Римской церкви владение экзархатом и прочими землями: никто из современников не говорит о подобных условиях, и мы действительно не знаем ни одной претензии Пипина в этом смысле. Ясно, что, даря римскому престолу земли, возвращенные от лангобардов, он не выговаривал себе никаких особенных прав и оставался только ее «защитником», или «патрицием». Но экзархат с прилежащими к нему областями составлял только часть большого государственного целого, недавно разложившегося: достав себе эту важную часть, как было не подумать новому владельцу и о том, чтобы около своего первого приобретения собрать и остальные части и мало-помалу восстановить, хотя под другими формами, и весь государственный организм? Факт владения экзархатом, таким образом, открывал начало римским претензиям и на прочие части Римской Италии, как такие, которые вместе с ним должны быть соединены под одним государственным началом. Это так верно, что не далее, как в следующем же году, принося Пипину благодарность за все его благодеяния римскому престолу, Стефан II не стыдился уже просить у него и еще нескольких городов, как то: Фавенцию, Имолу, Феррару, Болонию, Анкону, под тем предлогом, что они некогда состояли под одним управлением с экзархатом, и выражал свою несомненную уверенность в его помощи, в случае, если бы встретилось какое препятствие со стороны короля лангобардов.

Но точно ли экзархат и Пентаполис были отданы римскому престолу? Не та ли была собственная мысль Пипина, чтобы, переда-

вая эти земли Римской церкви, через ее посредство возвратить их государству, то есть Римской империи? Некоторые выражения посланий Стефана II к Пипину действительно могли бы подать повод к подобному сомнению. Так, жалуется он на Айстульфа, что тот, вопреки своему обещанию, не возвратил ни клочка земли «св. Петру и его церкви, или Римской республике». И впоследствии, когда уже дело состояло в том, чтобы, для округления дарственных земель, присоединить к ним и еще некоторые города, он опять пишет к Пипину, что король лангобардов с своей стороны обещал уступить их «св. церкви, или Римской республике». Каков бы ни был настоящий смысл этих выражений, верно, впрочем, то, что Пипин, принося экзархат в дар св. Петру, или Римской церкви, вовсе не думал о Римской республике в смысле Восточной империи. По отношению к последней истинные намерения Пипина очень ясно обнаружились при одном обстоятельстве. Мы расскажем его так, как оно передано нам современными известиями. Дело происходило во время второго похода Пипина против Айстульфа. Империя, наконец, спохватилась, когда до Константинополя дошли вести о последних происшествиях в Италии. Экзархат переходил из рук в руки, а между тем никто и не думал справляться о правах на него империи. Пора было догадаться, что надобно было или проститься с ним навсегда, или принять деятельные меры для сохранения его за собой. Усилить свою деятельность сверх обыкновенного империя, впрочем, была решительно не в состоянии. Нельзя развертывать сил, которых нет в запасе. Чтобы как-нибудь поправить дело, решили обратиться к Пипину, как победителю лангобардов, в той надежде, что, может быть, он сдастся если не на справедливые представления империи, то, по крайней мере, на ее золото и отступится в ее пользу от своего завоевания. В Константинополе, очевидно, никому и в голову не приходило, чтобы был еще третий претендент на экзархат, или чтобы римский епископ мог требовать его прямо в пользу своего престола. Нарочное посольство, состоявшее из высших императорских чиновников, Григория, и силенциария Иоанна, назначено было для переговоров с королем франков. Путь их лежал на Рим. Здесь с удивлением узнали они от самого епископа, что Пипин уже вторично находится в походе в Италию. Не будучи хорошо извещены о сношениях, происходивших между римским престолом и королем франков, они не могли понять цели этого движения и сначала не хотели ему поверить. Но пребывание в Риме если еще не вполне раскрыло им глаза, то навело на многие подозрения. Догадываясь, в чем дело, и желая предупредить Пипина на счет требований византийского правительства, они поспешно оставили Рим и морем поехали в Массилию. Стефан II, которому это посольство было весьма не желательно, тоже отправил с ними своего поверенного, по-видимому, с той целью, чтоб поддерживать их требования, а в самом деле для того, чтобы лучше наблюдать за их действиями и втайне отстаивать против них интересы римского престола перед Пипином. Лишь в Массилии послы узнали наверняка, что экзархат действительно обещан римскому епископу, и что, исполняя свои обещания, Пипин уже вступил во владения лангобардов. Можно представить, как неприятно подействовала эта новость на послов императора. Тогда стало ясно им и поручение находившегося с ними римского по-

Печать Пипина Короткого (752–768). Париж. Национальный архив





Собор св. Софии.
На рисунке удалены минареты, достроенные турецкими султанами после завоевания города

веренного. Видя себя кругом обманутыми, они пришли в большую досаду, которую особенно дали почувствовать своему спутнику. После всех объяснений они потребовали от него, чтобы он, по крайней мере, не ехал далее и оставался в Массилии, и когда тот упорствовал в своем намерении продолжать путь вместе, то старший из императорских послов, по имени Григорий, отправился вперед, вероятно, предоставив своему товарищу хлопотливую заботу – задержать еще на несколько дней безотвязного римлянина. Григорий настиг Пипина уже неподалеку от Павии. При нем не было ни Стефана и даже никакого поверенного от него; но и это обстоятельство не принесло никакой пользы послу императора. Напрасно расточал он перед Пипином свое красноречие, напрасно кланялся ему и, по византийскому обычаю, сулил богатые дары, неотступно убеждая его отдать Равенну и все прочие города и укрепленные места экзархата снова под императорскую власть. Намерения Пипина были неизменны. Посол империи, приходивший униженно просить о возвращении того, что должно было принадлежать ей по праву, не мог внушить никакого уважения ни к своей особе, ни к силам представляемого им государства. На все просьбы Григория король отвечал решительно, что «никогда он не согласится тем или другим способом взять назад земли и города, однажды поставленные им под власть св. Петра, Римской церкви и апостольского престола», и подтвердил под клятвой, что, «вовсе не в интересе того или другого лица (хотя бы то был и сам император), но единственно из любви к св. Петру и ради оставления своих грехов предпринимал и предпринимает он свои походы в Италию[1]. После того он отпустил от себя посла, пре-

---

[1] Anast. V. Steph. III: Asserens isdem dei cultor, mitissimus rex, nulla penitus ratione easdem civitates a potestate b. Petri et jure ecclesiae Romanae, vel Pontificis Ap. Sedis quoque modo alienari, affirmans etiam juramento, quod pernullius hominis favorem sese certamini saepius dedisset, nisi pro amore b. Petri et venia delectorum; asserens et hoc, quod nulla eum thesauri copia suadere valeret, ut, quod semel b. Petro obtulit, auferret.

доставив ему сообщить византийскому двору не совсем приятное известие, что экзархат отныне принадлежит не империи, но римскому престолу.

Еще менее можно разуметь под «Римской республикой», упоминаемой в посланиях римского епископа, старое Римское государство; оно давно кончило свое существование и не могло принимать на свое имя никаких приношений. Память о нем, память о независимой империи с своим самостоятельным центром внутри полуострова, правда, никогда не умирала в Италии, как это мы видим во многих примерах. Жители Италии весьма охотно возвращались к ней всякий раз, как только обстоятельства казались довольно благоприятны. Но это значит только, что в итальянском народе никогда не переставало жить стремление к восстановлению своего политического единства, и что еще от древних времен «Римская республика» оставалась для него символом этого единства. Не действительно существующий государственный организм, но самый процесс его постепенного образования из разных элементов и всеобщая наклонность к его восприятию скрывались под названием «Римской республики», как наиболее понятном общему смыслу народа в значении единого и самостоятельного государства. С некоторого времени римский престол старался постановить себя исключительным центром всех стремлений итальянского народа к независимости, и мало-помалу обратить их в пользу своего авторитета. Но, предпринимая неслыханное дело – дать своему церковному авторитету и характер власти государственной, римские епископы имели довольно благоразумия, чтобы до времени не называть своих стремлений их настоящим именем. Поэтому, для прикрытия своих видов, они пользовались, вместе с именем св. Петра, и старым названием Римского государства, столь знакомым слуху римлянина и столь ласкающим народное самолюбие. Другого значения не имела «Римская республика» в посланиях римских епископов.

Айстульф недолго пережил несчастие свое и своего государства. Однажды, во время охоты, он упал с лошади и через несколько дней кончил жизнь. Это было в следующем году, после второго похода Пипина в Италию (756 г.). Говорят, впрочем, что до самого конца жизни он не переставал думать о том, как бы возвратить потерянное[1]. Немного спустя (в первой половине 757 г.) умер и Стефан II, завещая своим преемникам, по возможности, увеличивать «дар Пипина» новыми приобретениями.

Судьбы Италии. М., 1850,
С. 487–548.

Франсуа Гизо

ПЕРВЫЕ МОНАСТЫРИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ И НАЧАЛО ИХ ОРГАНИЗАЦИИ В ОРДЕНА (1859 г.)

Около VIII в. в Западной Европе и церковное правительство, то есть внешний механизм управления церкви, и самое духовенство, в своей частной жизни и нравах, дошли до величайшего беспорядка и падения. Нельзя было не предчувствовать необходимости кризиса, реформы. Начало такой реформы обнаружилось в среде самого духовенства, а именно в той его части, которая получила название регламентированного духовенства и состояла из монахов.

Выражение: clergé régulier, то есть регламентированное духовенство, может легко ввести в заблуждение. Оно наводит на мысль, что монахи были всегда лицами духовными, что они составляли существенную часть духовенства. Таково в действительно-

---

[1] См. Einh. Ann. ad an. 756.– С своей стороны, Стефан II также до конца дней не мог забыть своей вражды к нему. В своем благодарственном послании к Пипину, упомянув о смерти Айстульфа, он тут же честит его следующими словами: tyrannus, sequax diaboli, devorator sanguinum christianorum ecclesiarum Dei destructor. Все это, конечно, в пример христианского прощения обид! – Примеч. авт.

сти общее понятие, которое о них составилось, и которое применяют к ним, не обращая внимания ни на время и место, ни на последовательные видоизменения этого учреждения. И на монахов смотрят не только, как на духовных, но в них готовы видеть, так сказать, по преимуществу духовных, наиболее отделившихся от общества гражданского, наиболее чуждых его интересам, его нравам. Вот, если я не ошибаюсь, то впечатление, которое образуется, само собой в уме каждого при одном их имени, и не только теперь, но уже с давнего времени.

Такое впечатление совершенно ошибочно: в начале своего появления, и, по крайней мере, в продолжение двух веков, монахи вовсе не были лицами духовными; это были чистые миряне, связанные, без сомнения, религиозным верованием, чувством и религиозною целью, но, повторяю еще раз, чуждые обществу духовному, духовенству в собственном смысле этого слова.

Каждый знает, что монашество родилось на Востоке. Монахи были там вначале весьма далеки от той формы, в которую они облеклись впоследствии, и в которой мы привыкли себе представлять их. С самых первых времен христианства отдельные люди, более других восторженные, обрекали себя на лишения и чрезвычайно строгую жизнь. Это совсем не было нововведением христианским; оно стояло в связи не только с общими наклонностями человеческой природы, но и с религиозными нравами всего Востока и с некоторыми еврейскими преданиями. Аскеты (так называли таких благочестивых энтузиастов; ασχησις, подвиг, жизнь подвижника) составляли первую степень монахов. Они нисколько не отделялись от светского общества; они совсем не убегали в пустыни; они только обрекали себя на пост, молчание, всякого рода воздержания, особенно на безбрачие.

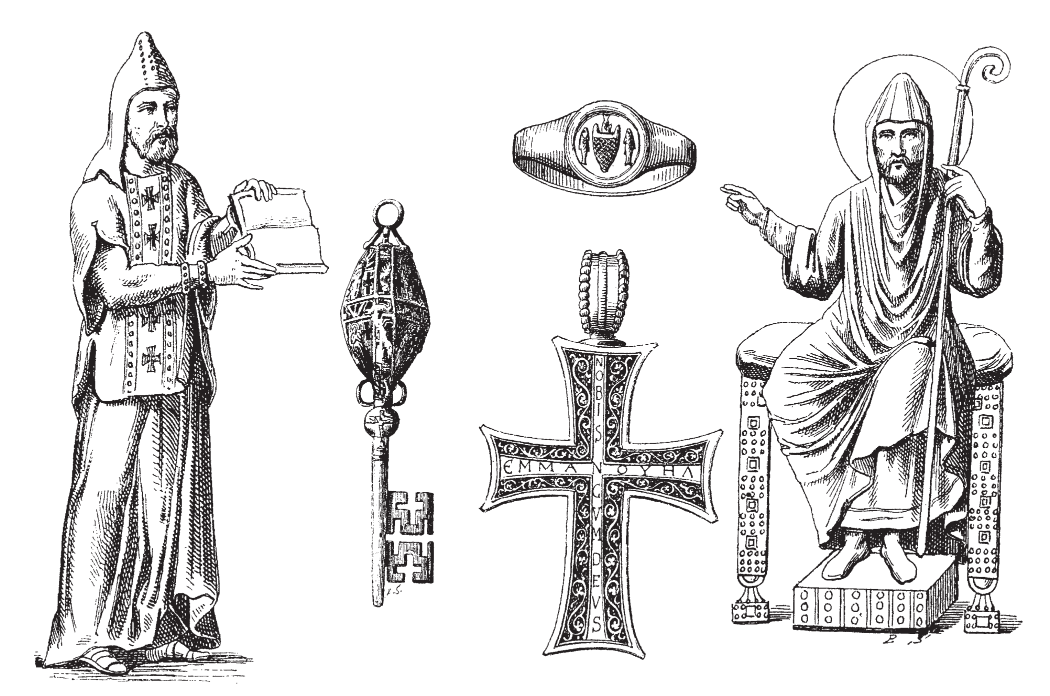
Скоро они удалились от света: они начали жить вдали от людей, в совершенном одиночестве, среди лесов, в глубине пустынь Фиваиды. Аскеты обратились тогда в пустынников, анахоретов. Это – вторая степень монашеской жизни.

Спустя несколько времени, и по причинам, которые не оставили никаких следов, уступая, может быть, притягательной силе какого-нибудь более известного пустынника, св. Антония, например, или, может быть, утомленные совершенным уединением, пустынники сблизились, построили свои кельи одну подле другой, и, продолжая каждый жить в своей, стали, однако, собираться вместе для религиозных упражнений и начали составлять настоящую общину. Тогда-то, как кажется, они получили имя монахов.

Они сделали еще шаг вперед. Вместо того, чтобы оставаться в своих отдельных кельях, они собрались под одну кровлю, в одно здание; соединение сделалось теснее, общая жизнь – полнее. Они стали киновитами (монахами общей обители). Это – четвертая степень монашества; оно достигло тогда своей определенной формы, той, в которой должно было совершаться все ее последующее развитие.

Почти в ту же эпоху создается, для домов киновитов, для монастырей, известная условленная дисциплина, письменные уставы, которые определяют деятельность этих небольших обществ, обязанности их членов. К таким первоначальным относятся уставы св. Антония, св. Макария, св. Илариона, св. Пахомия. Ни один из них не обширен, не подробен; в них находятся предписания частные, случайные; нет никакого притязания на господство и направление целой жизни. Это скорее наставления, нежели постановления, обычаи, нежели законы. Подвижники, пустынники и другие различные виды монашества продолжали существовать в одно время с киновитами, и со всею независимостью своего первоначального быта.

Картина такой жизни, такой суровости и энтузиазма, пожертвований и свободы, сильно потрясла воображение народов. Монахи увеличивались в числе с необычайной быстротой, и разнообразились в формах до бесконечности. Я не войду в подробности всех таких форм, которые принимали под именем монашества экзальтации верующих; я обозначу только крайние пределы того, так сказать, поприща, которое она совершила, и ее два результата, в одно и то же время самые странные и самые противоположные. Меж-



Одежда, атрибуты церковной власти и вещи VII–IX вв. *(слева направо).*
Монах братства св. Бенедикта в повседневной одежде. Ключ от реликвария, хранящийся в Льеже. Епископское кольцо из сокровищницы собора в Меце. Нагрудный крест епископа, найденный в Риме. Бенедиктинский аббат

ду тем как под именем мессалийцев или ευχιτα, многочисленные толпы фанатиков бродили по Месопотамии, Армении и др., понося законный культ, превознося только одну молитву вне правил, самопроизвольную, и предаваясь в городах, на публичных площадях, всякого рода увлечениям; другие, чтоб совершенно отделиться от всякого прикосновения со светом, поселялись, по примеру св. Симеона Антиохийского, на вершине какого-нибудь столпа и под именем стилитов, столпников посвящали свою жизнь такому причудливому уединению; и ни те, ни другие не оставались без поклонников и подражателей[1].

В последней половине IV в. устав св. Василия внес в новое учреждение некоторую правильность. Составленный в форме вопросов и ответов всякого рода[2], он сделался скоро главным руководством монастырей на Востоке, по крайней мере, тех, которые получили какую-нибудь целость и определенность. Таков должен был быть результат влияния светского духовенства на монастырскую жизнь, покровителями которой объявили себя тогда самые знаменитые епископы: св. Афанасий, св. Василий, св. Григорий Назианзен и множество других. Такое покровительство не могло не ввести в монастыри более порядка и системы. Тем не менее монастыри по-прежнему оставались общинами чисто мирскими, чуждыми духовенству, его отправлениям, его нравам. Не было никакого посвящения в сан, никакого церковного обязательства для монахов. Их господствующим характером оставалась всегда религиозная экзальтация и свобода, в общину поступали, выходили из нее; выбирали себе жилища и род лишений; энтузиазм принимал любую форму, и направлялся по какому угодно пути. Монахи, одним словом, не имели со священниками ничего общего,

[1] На Востоке стилиты встречаются до XII в.

[2] Он заключает в себе 203 вопроса и столько же ответов.

кроме верований и уважения, которое они внушали к себе в народе.

Таково было, в последней половине IV в., состояние монастырских учреждений на Востоке. Почти в ту же эпоху монашество было перенесено на Запад. Св. Афанасий, изгнанный из своей епархии и удалившись в Рим[1], привел с собою туда несколько монахов и говорил о их добродетелях и славе. Его рассказы и самое зрелище, которое представляли собой первые монахи, или те, которые последовали их примеру, были дурно приняты западным народонаселением. Язычество было еще слишком сильно на Западе, особенно в Италии. Высшие классы, которые покинули уже свои верования, хотели, по крайней мере, сохранить свои нравы, а часть черни придерживалась еще старых предрассудков. Монахи сделались там, при своем появлении, предметом презрения и злобы. На похоронах Блезиллы, молодой римской монахини, умершей, как говорили, от чрезмерных постов в 384 г., народ кричал: «Когда же, наконец, выгонят из города это ненавистное отродие монахов? Отчего не побьют их каменьями? Отчего не бросят их в реку?» Так передает св. Иероним народные восклицания[2].

«В городах Африки,– говорит Сальвиан,– и особенно в стенах Карфагена, как только показывался человек в плаще, бледный и с бритою головою, народ, столько же злосчастный, как и маловерный, не мог его видеть без того, чтоб не осыпать его проклятиями и оскорблениями; и если какой-либо служитель божий, явившийся из монастырей Египта, или из св. мест Иерусалима, или из уважаемой обители какой-либо пустыни, приходил в город, чтоб выполнить какой-нибудь благочестивый обет, народ преследовал его нанесением обид, гнусным хохотом и отвратительным свистом[3].

Рутилий Нумациан, галльский поэт, который жил долгое время в Риме и оставил нам поэму на свое возвращение в отечество, говорит в ней, при описании проезда мимо острова Горгоны (на котором жили монахи):

[1] В 341 г.

[2] Письма к Павлу; п. 22.

[3] Сальвиан, De Gubernatione Dei, VIII, 4.

«Я ненавижу эти подводные камни, напоминание недавнего кораблекрушения. Там погиб один из моих сограждан, сошедший живым в могилу. Он был прежде из наших; происходя от благородных предков, он владел хорошим имуществом, был счастлив в браке; но, побужденный фуриями, он покинул людей и богов; суеверный изгнанник находил удовольствие в своем грязном логовище. Несчастный, кто думает среди нечистоты питаться благами небесными, и мучить сам себя, более жестокий к себе, нежели оскорбленные боги. Эта секта, я вас спрашиваю, ужели не более гибельна, чем отрава Цирцеи? Цирцея изменяла тела, теперь изменяются души»[1].

Конечно, Рутилий был язычник; но многие на Западе были такими же, как и он, и монашество производило на них те же самые впечатления.

Однако та же самая революция, которая покрыла Восток монахами, продолжала свое развитие на Западе, и влекла за собою повсюду одинаковые результаты. Там также язычество исчезло; новые верования, новые нравы наводнили все общество; и точно так же, как на Востоке, жизнь монашеская нашла скоро себе покровителей в самых великих епископах, и весь народ сделался ее почитателем. Св. Амвросий в Милане, св. Мартин в Турне, св. Августин в Африке прославляли ее святость и сами основывали монастыри. Св. Августин даже дал монахиням своего диоцеза, род устава, и скоро монастырские учреждения получили силу на всем Западе.

Монастыри приняли здесь, при самом своем происхождении, особенный характер, который не трудно объяснить: без сомнения, монахи прежде всего хотели только подражать тому, что происходило на Востоке; осведомлялись с любопытством об обычаях, которым следовали в восточных монастырях; их описание послужило предметом двух сочинений, изданных Марсели Кассианом, и при учреждении многих новых монастырей весьма заботились, чтоб сообразоваться с ними. Но западный гений слишком отличался от восточного и нало-

[1] Itin, I, ст. 517 и след.

жил на них свою печать. Потребность уединения, созерцания, решительного разрыва с светским обществом была источником и основною чертою монахов на Востоке; на Западе, и особенно в Южной Галлии, где были основаны, в начале V в., главные монастыри, напротив, первые монахи соединялись для того, чтобы жить вместе, с целью беседы и религиозного назидания. Монастыри Леринский, св. Виктора, и многие другие были особенно великими школами богословия, средоточием умственного движения: там заботились вовсе не об одиночестве, не об умерщвлении плоти, но о слове и деле.

И не только такое различие расположения и склада ума восточных и западных людей было фактом, что даже сами современники замечали и отдавали себе в том отчет; трудясь над распространением на Западе монастырских учреждений, люди прозорливые заботливо говорили, что не следует рабски подражать Востоку, и объясняли причины того. Касательно постов и лишений, например, правила монастырей Запада были вообще менее суровы. «Много есть,– говорил Сульпиций Север,– считается обжорством у греков, но это – обыкновенное дело у галлов»[1].

«Суровость зимы,– говорит также Кассиан,– не позволяет нам довольствоваться легкою обувью, ни верхнею одеждою без рукавов, ни одною туникою; и тот, кто явился бы одетым в маленьком клобуке или в тонкой шерстяной мантии, произвел бы смех вместо назидания»[2].

Другая причина не менее содействовала тому, чтоб дать новое направление монашеству на Западе. Не ранее, как только в первой половине V столетия, оно там распространилось и утвердилось в действительности. Но в ту эпоху монастыри на Востоке уже получили полное развитие; все увлечения аскетической экзальтации уже выступили на сцену. Великие епископы Запада, представители церкви и умов в Европе, как ни был замечателен их религиозный жар, поражались теми крайностями рождавшегося монашества, поступками исступления, к которым оно приводило, пороками, которые оно часто прикрывало. Ни один человек на Западе не имел, конечно, более религиозного энтузиазма, ни более живого, более восточного воображения, ни характера более пылкого, как св. Иероним. Он нисколько, однако, не был ослеплен относительно заблуждений и опасностей монашеской жизни, образцом которой служили монастыри на Востоке.

[1] Sulp. Sev. Dialog. I, 8.

[2] Кассиан, De Instit. Coenob. II.

Вот некоторые отрывки, в которых он выразил свои мысли об этом предмете; они принадлежат к числу самых интересных памятников эпохи, и дают нам наилучшее о ней понятие:

«Есть монахи,– говорит он,– которые, от сырости келий, от неумеренных постов, от скуки одиночества, от беспрерывного чтения, впадают в меланхолию и нуждаются более в лекарствах Гиппократа, чем в наших советах... Я видел лица того и другого пола, у которых мозг был поврежден от чрезмерного воздержания, особенно между теми, которые жили в холодных и сырых кельях; они не знали ни того, что делают, ни того, как себя вести, ни того, что нужно, говорить или молчать»[1].

И в другом месте:

«Я видел людей, которые, отказываясь от мира, по одежде только и по имени, но вовсе не на деле, ничего не изменяли в своем прежнем образе жизни. Их имущество скорее возросло, чем уменьшилось. Они окружены такими же толпами рабов, тем же великолепием пиров. Ценою золота куплено то, что они едят на ничтожных фаянсовых или глиняных блюдах; и среди роя своих служителей они называют себя отшельниками...»[2].

«Беги также от тех людей, которых ты увидишь обремененными цепями, с козлиной бородой, в черной мантии, босоногими, несмотря на холод... Они проникают в дома знатных, обманывают бедных женщин, покрытых грехами; они всегда учатся и никогда не достигают познания истины; они играют роль печальных, и предаваясь,

[1] Св. Иероним, письмо 95 к Рустику; 97, к Деметриаде.

[2] Св. Иероним, письмо 95, к Рустику.

по-видимому, днем продолжительным постам, вознаграждают себя тайною трапезою по ночам»[1].

И еще в другом месте:

«Я краснею, выговоривая это; из глубины наших келий мы осуждаем свет; покрытые рубищем и пеплом, мы произносим приговоры над епископами. Что значит эта царская гордость под одеждою кающегося?.. Гордость быстро вкрадывается при одиночестве: такой-то попостился несколько времени; он не видел ни души, и уже думает, что он человек с весом; он забывает, кто он такой, откуда он пришел, куда идет; и его сердце, и его язык заблуждаются уже во всех отношениях. Против воли апостола он судит служителей другого, он простирает свою руку к тому, что привлекательно для обжорства; он спит, сколько хочет, он не уважает никого; он делает то, что желает; он считает всех других ниже себя; он чаще находится в городах, чем в своей келье: и он прикидывается скромным среди своих собратий, между тем как в общественных местах беспрестанно толкает прохожих»[2].

Так, наиболее пылкому, самому восторженному из отцов Запада не были безызвестны ни безумие, ни лицемерие, ни невыносимая гордость, которые обнаруживались еще в то время в жизни монашеской; и он характеризовал их со свойственным ему здравомыслием, смешанным с гневом, с красноречием, полным сатиры и страсти; и он громко заявлял о том, из боязни заразы.

Многие из самых знаменитых епископов Запада, между прочими и св. Августин, имели ту же прозорливость и писали в том же духе; они заботились одинаково о предупреждении у себя нелепых увлечений, в которые впали монахи на Востоке. Но, принимая на себя такую заботу, обличая безумие или лицемерие, которым поочередно служила основою монашеская жизнь, они непрестанно трудились над ее распространением. Это было для них средством вырвать часть мирян из среды общества гражданского и языческого, оставшихся на деле тем же, чем они были и прежде, несмотря на свое видимое обращение. Не вступая в духовенство, монахи следовали тому же пути, поддерживали то же влияние; в покровительстве епископов им не могло быть отказано. Да и без того их успех, вероятно, не замедлился бы. Жизнь монашеская была обязана своим происхождением не каким-нибудь соображениям церкви, ни даже движению и особенному направлению, которое христианство могло бы сообщить воображению людей. Ее истинным источником было всеобщее состояние общества в ту эпоху. Это общество было поражено трояким злом: праздностью, развратом и несчастием. Люди были без занятий: испорчены и предоставлены на жертву всякого рода бедствиям; вот отчего находилось столько желавших сделаться монахами. Народ трудолюбивый, честный или счастливый никогда не вступил бы на такой путь. Когда человеческая природа не может развернуться со всей полнотой и гармонией, когда человек не может преследовать действительной цели своего назначения, тогда его развитие делается эксцентричным, и он бросается с большим риском в самые странные предприятия, предпочитая их верной погибели. Чтоб жить и действовать правильно, рассудительно, человечеству необходимо, чтобы события, среди которых оно живет и действует, были в известной степени разумны, правильны, чтобы способности его находили себе употребление, чтобы его положение не было слишком тяжело, чтобы картина разврата и всеобщего унижения не возмущала, не приводила в отчаяние сильные характеры, в которых нравственность не может ничем притупиться. Скука, отвращение к изнеженной порче и потребность бежать от общественных бедствий – вот что скорее породило монахов на Востоке, нежели особенный характер христианства и припадки религиозной экзальтации. Эти же самые обстоятельства существовали на Западе; общество итальянское, галльское, африканское, среди падения империи и опустошений варваров, точно так же бедствовало и так же было испорчено, так же оставалось праздным, как и общество в Малой Азии или в Египте. Действительные причи-

[1] Св. Иероним, письмо 18, к Евстахию.

[2] Св. Иероним, письмо 13, к Марку; 95, к Рустику.

ны постоянного распространения монашеской жизни были, таким образом, одинаковы в обеих странах, и должны были везде произвести одинаковые последствия.

Потому, несмотря на замеченное мною различие, сходство было большое, и увещания самых знаменитых епископов не воспрепятствовали увлечениям восточных монахов найти себе подражателей на Западе. Ни в отшельниках, ни в затворниках, ни в другом каком-либо благочестивом безумии аскетической жизни не было недостатка в Галлии. Св. Сенох, варвар по происхождению, удалившийся в окрестности Тура, приказал замуровать себя в четырех стенах, до того сдвинутых, что он не мог делать туловищем никакого движения, и он жил, в таком положении целые годы, оставаясь предметом почитания окрестных жителей. Затворники: Калуппа в Оверни, Патрокл в земле Лангрской, Госпиций в Провансе, не возбуждали такого удивления, но тем не менее слава их подвигов была велика[1]. Даже стилиты нашли себе последователей на Западе; и рассказ, который оставил нам о них Григорий Турский, рисует с такою верностью и интересом нравы того времени, что я приведу его в целости. Григорий передает свой собственный разговор с монахом Вульфилаиком, без сомнения, варваром, как на то указывает его имя, и который первый на Западе покушался вступить в соперничество с св. Симеоном Антиохийским.

«Я пришел в страну Трирскую,– говорил Вульфилаик Григорию,– я построил здесь, собственными руками, на этой горе, маленькое жилище, которое ты видишь. Я нашел там идол Дианы, который местные жители, еще неверующие, обоготворяли как божество. Я воздвиг там столп, на котором держался с большими страданиями, без всякой обуви; и когда наступало время зимы, я до того страдал от суровых морозов, что очень часто у меня отваливались ногти на ногах, и замерзавшая вода облегчала бороду в виде сосулек; эта земля известна своими весьма холодными зимами». Мы настоятельно



Одеяние каноника. С миниатюры IX в.

просили его сказать нам, какие были его пища и питье и как он свергнул с горы идол; он сказал нам: «Мою пищу составляли кусок хлеба и трава, с небольшим количеством воды. Но ко мне начали стекаться в великом множестве люди из соседних деревень. Я проповедовал им постоянно, что Диана никогда не существовала, что идол и другие предметы, которым поклоняться они считали своим долгом, были решительно ничтожны. Я повторял им также, что те песни, которые они имели обыкновение петь, упиваясь среди оргий, были недостойны божества, и что гораздо было бы лучше возносить приношение святых хвалений

[1] См. Григорий Турский, I, с. 221–232–311, в моем «Collection des Memoires relatifs à l'histoire de France».

всемогущему Богу, который сотворил небо и землю. Я также очень часто просил Господа, чтобы он благоволил низвергнуть идол и исторгнуть эти народы из их заблуждений. Милосердие Господа склонило эти грубые умы и расположило их, по выслушании моих слов, покинуть свои идолы и последовать за Господом. Я собрал некоторых из них, чтоб при их помощи низринуть этот громадный идол, которого я не мог разрушить одною своею силою. Я уже разбил другие идолы: это было легче. Многие собрались вокруг статуи Дианы; они набросили на нее веревки и стали тащить, но все их усилия не могли ее стронуть с места. Тогда я пошел в церковь, пал на землю и умолял со слезами милосердие Божие разрушить могуществом небесным то, для разрушения чего земные усилия были недостаточны. После такой молитвы я вышел из церкви и пошел к работникам; я взял веревку, и лишь только мы начали тянуть, идол немедленно упал на землю; его разбили вслед за тем, и железными молотами обратили в прах... Я предполагал возвратиться к своей обычной жизни, но епископы, которым следовало бы меня подкрепить, чтоб я мог продолжать с лучшим успехом дело, которое начал, вмешались и сказали мне: путь, который ты избрал, не есть прямой путь, и ты, недостойный, ты никогда не сравнишься с Симеоном Антиохийским, который жил на своем столпе. Самая местность, кроме того, не позволяет переносить подобные страдания; сойди лучше и живи с братиею, которую ты собрал. При этих словах, чтоб не быть обвиненным в неповиновении епископам, я сошел и отправился с ними, и вкусил вместе с ними пищу. Однажды епископ, отозвав меня далеко от деревни, послал туда работников с секирами, ломами и молотами, и приказал ниспровергнуть колонну, на которой я имел обыкновение стоять. Когда я возвратился на другой день, я нашел все разрушенным; я горько плакал, но не хотел восстановлять того, что разрушили, из боязни чтоб меня не обвиняли в том, что я противлюсь приказаниям епископов; и с того времени я пребываю здесь и ограничиваюсь тем, что живу с своею братиею»[1].

В этом рассказе замечательно все: и энергическая привязанность, и слепой энтузиазм пустынника, и здравый смысл, может быть, несколько завистливый, епископов; мы узнаем здесь в одно и то же время влияние Востока и характер, свойственный Западу. Итак, епископ Трирский подавлял безумие стилитов; точно также св. Августин преследовал ханженство, блуждавшее под покровом монашеской мантии:

«Лукавый враг людей,– говорит он,– рассеял повсюду лицемеров под одеждою монахов; они обходят провинции, куда их никто не посылал, бродяжничая, в полном смысле этого слова, нигде не утверждаясь, нигде не останавливаясь. Одни продают там и сям останки мощей мучеников, если только это действительно мученики; другие выставляют напоказ их платья и их филактерии»[2].

Я мог бы привести много других примеров, где сходства и различия Востока и Запада отразились одинаковым образом. Среди подобных судорог, когда безумие чередовалось с мудростью, успехи монашеских учреждений продолжались; число монахов постоянно возрастало; они то блуждали, то утверждались на одном месте, волновали народ своими предсказаниями или назидали его зрелищем своей жизни. Со дня на день им оказывали все более и более изумления и уважения: мысль, что они именно представляли собою образец совершенства христианского образа жизни, утверждалась. Их ставили в пример духовенству; некоторые из них рукополагались священниками или даже епископами, и при всем том они были светскими и сохраняли большую свободу, не давая никаких обетов, не вступая ни в какие религиозные обязательства, постоянно отличаясь от духовенства, часто даже заботясь о подобном отличии.

«Это давнишнее сознание отцов, – говорит Кассиан, – сознание, которое всегда сохраняет силу, что монах должен, во что бы то ни стало, избегать епископов и женщин; ибо ни женщины, ни епископы не позволяют монаху, которого они однажды приняли

[1] Григорий Турский, т. I, с. 440–444

[2] Св. Августин. De Opere monac., с. 28.

в свой круг, отдыхать в мире в своей келье, или приковывать глаза к чистому и небесному учению, созерцая святое»[1].

Такая свобода и могущество, такое сильное влияние на народы и такое отсутствие общих форм, правильной организации не могли обойтись без важных беспорядков. Чувствовали сильную необходимость положить тому предел, подчинить одному общему управлению, одной и той же дисциплине, этих миссионеров, этих отшельников, этих затворников, этих киновитов, которые становились с каждым днем более и более многочисленными, не принадлежа ни к народу, ни к духовенству.

Около конца V в., в 480 г., родился в Италии, в Нурсии, в герцогстве Сполетском, среди богатой и знатной фамилии, человек, назначенный разрешить ту проблему и дать монахам на Западе общие постановления, которых они ожидали: я говорю о св. Бенедикте. Еще 12-летним он был послан в Рим для воспитания. То было время падения империи и больших смут в Италии: герулы и остготы оспаривали власть над ней; Теодорих изгонял Одоакра; Рим беспрестанно брали, отнимали и держали в страхе. В 494 г. Бенедикт, едва достигнув 14-летнего возраста, вышел из Рима с Кириллою, своей кормилицей; и немного спустя после того его находят уже отшельником в глубокой пещере в Субиако, в окрестностях Рима. Зачем удалился туда этот ребенок, как он там жил, ничего неизвестно; ибо одна только легенда говорит об этом, помещая на каждом шагу моральные восторги, или чудеса, в собственном смысле. Как бы то ни было, спустя некоторое время, жизнь, которую вел Бенедикт, его молодость, его лишения привлекли пастухов из окрестностей; он проповедовал им; и могущество его слова, сила примера, постоянно увеличивавшееся стечение слушателей сделали его скоро знаменитым. В 510 г. соседние монахи, соединившиеся в Виковаро, пожелали иметь его своим главой; он сначала отказался, говоря монахам, что их поведение было беспорядочно, что в их обители предавались всякого рода безнравственности, что он предпринял бы реформу и подчинил бы их слишком строгому правилу жизни. Они настаивали, и Бенедикт сделался аббатом в Виковаро.

Он предпринял на самом деле, с непреклонной энергией, ту реформу, относительно которой предупреждал; и, как он предвидел, монахам скоро надоел их реформатор. Борьба его с ними сделалась до того отчаянной, что они попытались отравить его. Он заметил это чудесным образом, как говорит о том легенда, оставил монастырь и снова возвратился в Субиако, к своей отшельнической жизни.

Его слава была распространена далеко; уже не только пастухи, но миряне всех сословий, странствующие монахи собирались жить около него. Эквиций и Тертулл, знатные римляне, послали к нему своих сыновей, Мавра и Плацида: Мавра 12 лет, Плацида – еще совсем ребенка. Он основал вокруг своей пещеры несколько монастырей. В 520 г. было уже основано, как кажется, двенадцать, в каждом было по 12 монахов, и в них-то он начал проводить идеи и постановления, которые, по его мнению, должны были руководить монастырской жизнью.

Но тот же дух неповиновения и соперничества, который выжил его из монастыря Виковаро, скоро обнаружился и в тех монастырях, которые он сам основал. Один монах, по имени Флоренций, возбудил против него врагов и строил козни. Бенедикт, раздраженный, уклонился вторично от борьбы, и, уведя с собою некоторых из своих учеников, между прочими Мавра и Плацида, удалился, в 528 г., на границы Абруцц и земли Лабурской, близ Кассино.

Он нашел там то же, что и пустынник Вульфилаик, историю которого я только что привел, нашел около Трира: язычество еще было в полной силе, и храм статуи Аполлона, воздвигнутый на Монте-Кассино, возвышался над городом. Бенедикт разрушил храм и статую, уничтожил язычество, собрал многочисленных учеников и основал новый монастырь.

Это был тот монастырь, в котором он жил и правил до конца своей жизни; там-то, наконец, он в целости применил и обнародовал свой устав монастырской жизни.

[1] Кассиан, De Instit. coenob., XI, 17.

Он сделался скоро, как каждый то знает, общим и почти единственным законом монахов на Западе. Западное монашество, таким образом, было преобразовано и получило свою окончательную форму по этому уставу св. Бенедикта. Остановимся же на нем и исследуем его тщательно; этот небольшой устав общества играл в истории Европы весьма важную роль.

Автор начинает с описания быта западных монахов в ту эпоху, то есть в начале VI в.

«Известно,– говорит он,– что есть четыре рода монахов; во-первых, киновиты, те, которые живут в монастыре, состоя под одним началом или аббатом; во-вторых, анахореты, то есть пустынники; эти люди, которые не по горячности новичка, но по долгому опыту монашеской жизни уже научились, к великой пользе многих людей, побеждать диавола, и которые, быв хорошо подготовленными, выходят одни из воинства своей братии, чтобы вступить в поединок. Третий род монахов составляют сарабаиты, которые, не будучи испытаны никаким правилом, ни уроками опытности, как золото испытывается на горниле, похожие более на мягкий свинец, остаются верными в своих деяниях веку и лгут Богу своим пострижением. Они встречаются в числе двух, трех или и больше, без пастыря, с заботою не об овцах Господа, но о своих собственных стадах; для них закон – их желание; что им вздумается, или что они предпочитают, то и считают святым; что им не нравится, то они находят непозволительным. Четвертый род составляют монахи, которых называют гировагами; они в продолжение своей жизни живут по три или четыре дня в разных пещерах, в различных провинциях, постоянно странствуя и никогда не утверждаясь на месте, повинуясь страстям и пороку обжорства; они хуже во всем сарабаитов. Лучше молчать, нежели говорить о жалком роде их жизни; проходя их молчанием, приступим, с Божией помощью, к устроению могущественного братства киновитов».

Определив таким образом действительное положение своего вопроса, св. Бенедикт разделяет свой устав на 73 главы, а именно:

9 глав об обязанностях братии нравственных и общих;

13 – об обязанностях религиозных и службе;

29 – о дисциплине, проступках, наказаниях и проч.;

10 – об управлении и внутренней администрации;

12 – о различных предметах, как то о гостях, о странствующей братии, и проч.

Таким образом: 1) девять глав морального устава; 2) тринадцать – религиозного; 3) двадцать девять – уголовного, или по дисциплине; 4) десять – политического; 5) двенадцать – о различных предметах.

Возьмем каждый из этих небольших уставов и посмотрим, какие начала в них господствуют, какой был смысл и значение реформы, совершенной их автором.

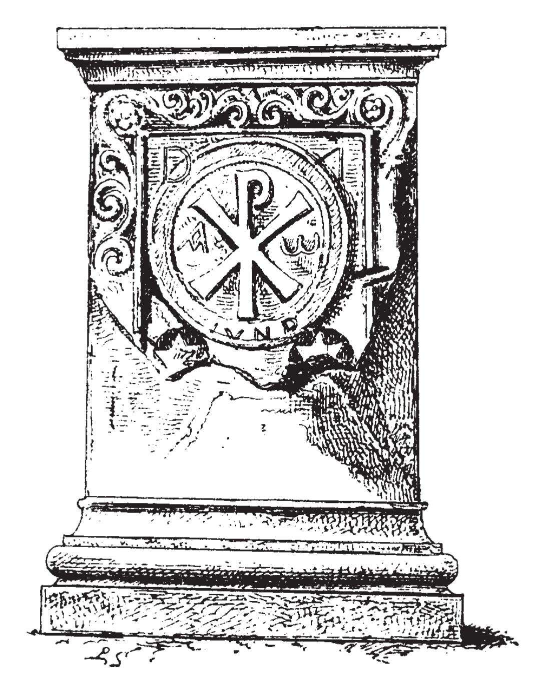
1) Что касается до нравственных и общих обязанностей монахов, начала, на которые опирается весь устав св. Бенедикта, суть: отречение самого себя, послушание и труд. Отдельные личности монахов на Востоке, конечно, старались ввести труд как начало своей жизни; но такая попытка никогда не была общей и не находила последователей. Св. Бенедикт произвел великую революцию в монашеском учреждении; он ввел в него особенно работу ручную, земледелие. Монахи бенедиктинские были пахарями Европы; они были великими пахарями, соединяя земледелие с проповедью. Какая-нибудь колония, толпа монахов, сначала малочисленная, переселялась на места необработанные, или почти такие часто среди населения языческого, в Германии, например, в Британии; и там, будучи миссионерами и в то же время работниками, они выполняли свою двойную обязанность, часто с такой же опасностью, как и с трудом. Вот как св. Бенедикт распределяет занятия дня в своих монастырях; труд занимает при этом важное место:

«Праздность есть враг души, и вследствие того братия должна, в известные часы, заниматься ручною работою; в другие часы – чтением священных книг. Мы полагаем, это должно быть распределено так. С Пасхи до первого октября, выходя с ранней молитвы, они будут работать почти до чет-

вертого часа то, что будет необходимо; с четвертого часа почти до шестого они займутся чтением. После шестого часа, выйдя из-за стола, они будут отдыхать в своих постелях, без шума; или если кто хочет читать, пусть читает, но так, чтобы никому не мешать; чтоб молитва «девятого часа» (попа) была говорена в половине восьмого. Чтоб они работали после того до вечерни над тем, что нужно будет сделать. Если бедность местности, необходимость или уборка плодов держит их в постоянных занятиях, то пусть они нисколько не тяготятся тем, потому что они только тогда истинные монахи, когда живут трудом своих рук, как делали наши отцы и апостолы; но чтоб все делалось в меру, по отношению к слабым.

С первого октября до начала поста пусть они занимаются чтением до второго часа; чтоб во втором часу пели терцию, и чтоб до ноны все работали над тем, что им будет приказано; чтоб с первым звуком ноны все оставляли работу и были готовы к тому времени, когда ударят во второй раз. После обеда пусть читают или говорят псалмы.

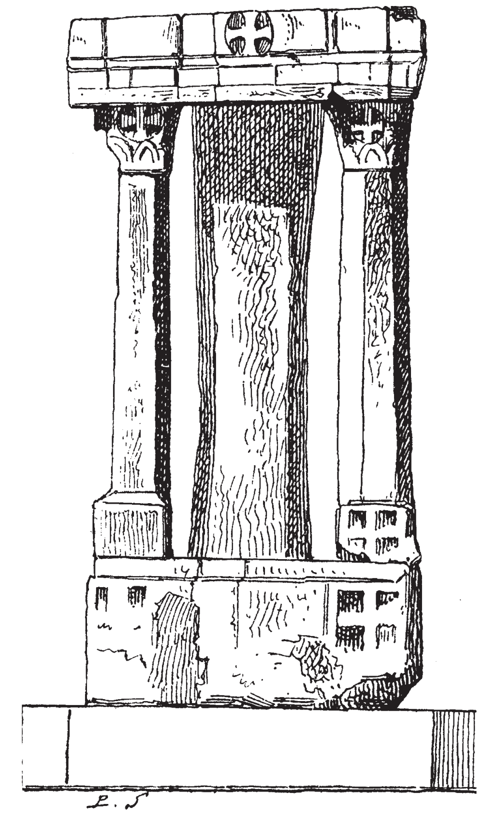
Во дни поста, чтоб они читали с утра до третьего часа, и чтоб работали после, сообразно тому, что им будет приказано, до десятого часа. В эти дни поста все получат из библиотеки книги, которые они будут читать в порядке и до конца. Эти книги должны быть выдаваемы в начале поста. Особенно должно избирать одного или двух старших, чтобы обходить монастырь в часы, когда братия занята чтением, и пусть они смотрят, не встретят ли какого-нибудь нерадивого брата, который предается отдыху или разговору, вовсе не прилежит к чтению, и который не только бесполезен самому себе, но еще и совращает других. Если найдут такого, то ему дать выговор один или два раза; если он не исправится, то подвергнуть его наказанию по правилу, так чтобы устрашить других. По воскресеньям пусть все занимаются чтением, за исключением тех, которые назначены для различных дел. Если кто-нибудь небрежен и ленив до того, что не хочет или не может ни размышлять, ни читать, то ему назначить работу, для того чтоб он не оставался без всякого дела. Что касается до братии расслабленной или нежного здоровья, то пусть таким дают работу или занятие такое, чтоб они не были ни праздными, ни обремененными тяжестью труда... Их слабость должна быть принята в соображение аббатом»[1].



Алтарь из Лозера. Франция. Изначально был погребальным римским алтарем. Потом переделан христианами с добавлением монограммы Христа

Вместе с работой св. Бенедикт предписывает пассивное послушание монахов их настоятелю: правило менее новое, и которое преобладало также и у монахов на Востоке, но св. Бенедикт изложил его гораздо точнее, развив более строго его последствия. Невозможно, при изучении истории европейской цивилизации, не удивляться той роли, которую играла эта идея, и не искать с любопытством ее происхождения. Европа, без сомнения, не получила ее ни от Греции, ни от древнего Рима, ни от христианства в собственном смысле. Она начинает обнаруживаться под покровом Римской империи, и выходить из культа,

[1] Уст. св. Бенедикта, гл. 48.



Алтарь из Тараскона. Франция.
На капителях и столе алтаря добавлены изображения крестов

предметом которого было величество императорское. Но она действительным образом выросла и развилась в учреждении монашеском; она вышла оттуда, чтоб разлиться по всей новой цивилизации. Это роковой удар, который западные монахи предложили Европе и который так долго искажал и парализировал самые их добродетели. Начало слепого повиновения повторяется беспрестанно в правилах св. Бенедикта: многие отделы, озаглавленные De obedientia De humilitate и пр., высказывают это начало в подробностях. Вот две главы, которые покажут, до чего была доведена строгость применения такого правила. Глава 68, поименованная «Если что-либо невозможное приказано брату», изложена так:

«Если случайно что-либо трудное или невозможное приказано брату, пусть он примет со всею кротостью и послушанием повеление, которое ему то предписывают. Если он видит, что дело превосходит совершенно меру его сил, пусть в таком случае представит прилично и терпеливо причину невозможности тому, который старше его, не надуваясь надменностью, не упорствуя, не противореча. И если после его замечания приор будет настаивать на своем намерении и приказании, то пусть ученик знает, что это должно быть так, и пусть, с уверенностью в помощь Бога, слушается».

Глава 69 носит название «В монастыре да не осмеливается никто защищать другого» и содержит следующее:

«Нужно особенно остерегаться того, чтобы ни в каком случае один монах не смел защищать другого, или, так сказать, ему покровительствовать, даже если бы они были соединены кровными узами; и никаким образом монахи да не осмеливаются на то, потому что из того могут произойти важные поводы к скандалу. Если кто нарушит такое правило, то он должен подвергнуться строгому выговору».

Отрицание самого себя есть естественное последствие страдательного послушания. Кто должен повиноваться безусловно и во всех случаях, тот не существует; у него отнята личность. Таким образом, устав св. Бенедикта формально запрещает всякую собственность, точно так же, как и всякую личную волю:

«Нужно в особенности истребить в монастырях, и до самого корня, то зло, чтоб кто-либо обладал какою-нибудь вещью, как собственностью. Чтоб никто не смел ничего давать, ни принимать без разрешения аббата, ни иметь чего-либо в собственность, никакой вещи, никакой книги, ни таблиц, ни стило (заостренная палочка для письма на навощенных таблицах), ни чего бы то ни было; ибо им не дозволено иметь в своей собственности власти ни своего тела, ни своей воли»[1].

Может ли индивидуальность быть более совершенно уничтожена?

2) Я не остановлюсь на тех тринадцати главах, которые определяют культ и рели-

[1] Гл. 33.

гиозное служение; они не представляют случая ни к одному замечанию.

3) Напротив, те главы, в которых говорится о дисциплине и о наказании, обращают на себя все наше внимание. В них встречается едва ли не самое замечательное из изменений, внесенных св. Бенедиктом в монастырское учреждение, а именно, введение торжественных, вечных обетов. До тех пор, хотя самое вступление в монастырь принималось за намерение остаться в нем, хотя монах заключал род нравственного обязательства, которое с каждым днем принимало все более и более определенности, однако никакого обета, никакого формального обязательства еще не произносилось.

Св. Бенедикт ввел их и сделал основой монашеской жизни, от чего первоначальный ее характер исчез совершенно. Восторжение и свобода, вот каков был тот характер; вечные же обеты, быв вскоре поставлены под надзор публичной власти, заменили то законом и постановлением:

«Тот, который должен быть принят, – говорит устав св. Бенедикта, – да обещает в молельной, пред Богом и его святыми, вечность своего пребывания, преобразование своих нравов и повиновение... Пусть он составит акт своего обета во имя святых, которых мощи там положены, и в присутствии аббата. Пусть он напишет этот акт своею рукою; или, если он не умеет писать, пусть другой, по его просьбе, напишет за него; послушник должен сделать на акте крест и положить его собственноручно на алтарь»[1].

Слово «послушник» открывает нам другое нововведение: послушничество было, на самом деле, естественным следствием вечности обетов; и св. Бенедикт, который соединял в себе с восторженным воображением и пылким характером много здравого смысла и практической мудрости, не забыл его предписать. Послушничество продолжалось более одного года; послушнику читали многократно устав от начала до конца, говоря: «Вот закон, повинуясь которому, ты хочешь бороться; если можешь его соблюдать, вступай; если не можешь, иди на волю». Говоря вообще, условия и формы испытания очевидно составлены в видах чистосердечия и с намерением вполне удостовериться в действительной и непоколебимой воле вступающего в орден.

4) В отношении политической стороны, то есть самого управления монастырей, устав св. Бенедикта представляет удивительную смесь деспотизма и свободы. Безотчетное повиновение составляет в нем, как мы то сейчас видели, основное начало; в то же время управление остается избирательным: аббат постоянно избирается братиею. Но когда выбор сделан, монахи теряют всю свободу, они подчиняются безусловно господству своего настоятеля, но именно того настоятеля, которого они выбирали, и только его одного. Скажу более: вменяя монахам в обязанность повиновение, правило предписывает настоятелю совещаться с ними. Глава 3-я, озаглавленная «Должно выслушивать мнения братии», именно говорит:

«Всякий раз, когда что-нибудь важное должно произойти в монастыре, аббат обязуется созвать конгрегацию, рассказать, в чем дело, и, выслушав мнение братии, подумать о том отдельно, и сделать то, что он найдет наиболее удобным. Мы предписываем созывать всю братию на совет, потому что Бог часто открывает наилучшее самому младшему. Братия высказывает свое мнение, сохраняя полное послушание, так чтобы никто не дерзал упорно защищать свою мысль; дело зависит от воли аббата, и все повинуются тому, что он найдет полезным. Но, как ученикам следует повиноваться учителю, так и последний должен устраивать дела с благоразумием и справедливостью. Устав необходимо соблюдать во всем, и никто не смеет от него ни в чем уклоняться...

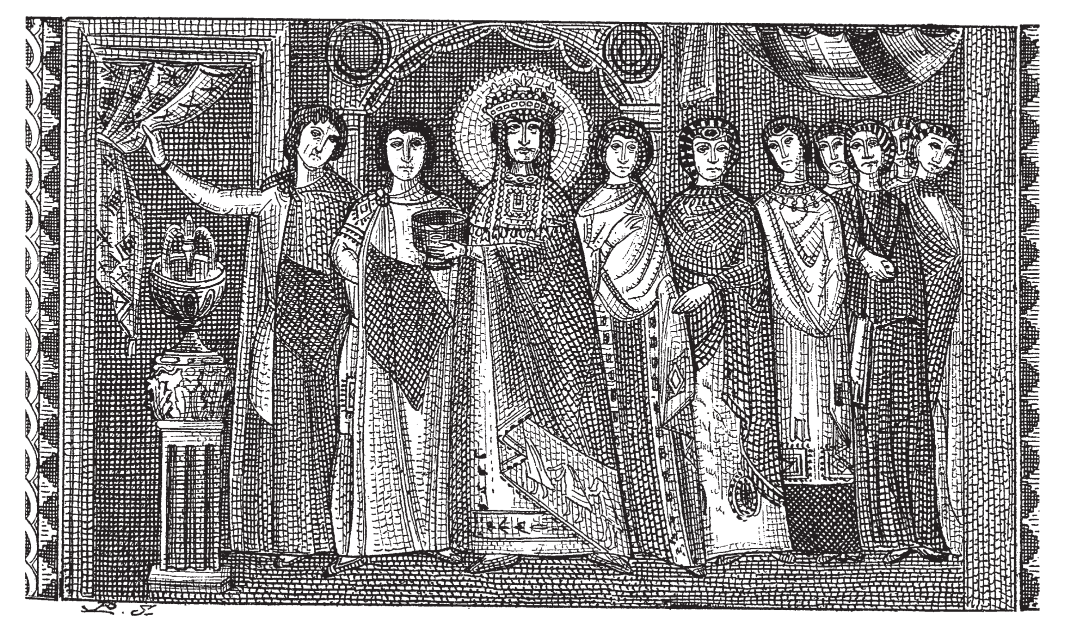
Если нужно предпринять что-нибудь маловажное внутри монастыря, то спрашивается мнение одних старейших, так как написано: “Делай все дела, посоветовавшись, и ты не раскаешься в том, что их сделал”».

Так совмещаются в этом оригинальном управлении начала избирательства, обсуждения и беспрекословной власти.

5) Главы, в которых говорится о различных предметах, не заключают в себе ничего

[1] Гл. 58.





Мозаика в церкви Сан-Витале. Равенна.
Император Юстиниан *(вверху)*. По правую руку от него – придворные и стража, по левую – епископ Равеннский Максимиан и духовенство. Церемония освящения церкви. В руках императора – чаша, предназначенная в дар церкви. Супруга Юстиниана императрица Феодора *(внизу)*, окруженная придворными дамами. В руках у нее – чаша, предназначенная в дар церкви

особенно замечательного, кроме характера здравого смысла и кротости, который, впрочем, высказывается во многих других частях устава, и чему нельзя не удивиться. Идея нравственного и общая дисциплина – строги; но в подробностях жизни самый устав человечен и умерен; он – человечнее и умереннее, чем законы римские, чем законы варваров, чем общие нравы того времени; и я не сомневаюсь в том, что братия, замкнутая внутри монастыря, управлялась авторитетом, говоря вообще, более разумным, и менее жестоко, нежели как то было в обществе гражданском того времени.

Св. Бенедикт был столь озабочен мыслью о необходимости дать устав кроткий и умеренный, что заключил предисловие, присоединенное к труду, следующими словами:

«Мы желаем, таким образом, устроить школу служения Господу, и мы надеемся, что в этом установлении не заключается ничего жестокого и тягостного; но если, по голосу правды, будет помещено в нем, исправления пороков ради и поддержания благодати, что-либо суровое, не избегай, устрашенный тем, путей спасения: при своем начале они всегда узки, но, с успехом правильной жизни и веры, сердце расширяется, и человек стремится с невыразимою сладостью на пути заповедей Господа».

Св. Бенедикт дал свой устав в 528 г.; в 543 г., в эпоху его смерти, он был уже распространен во всех частях Европы; св. Плацидий перенес его в Сицилию; другие – в Испанию; св. Мавр, любимый ученик св. Бенедикта, ввел его во Франции. По просьбе Иннокентия, епископа г. Мана (Mans), он отправился с горы Кассино, в конце 542 г., еще при жизни св. Бенедикта; когда он прибыл в Орлеан, в 543 г., св. Бенедикта уже более не было; но его учреждение тем не менее продолжало свое развитие. Первым монастырем, основанным св. Мавром, был монастырь Гланфейльский (Glanefeuil) в Анжу, или монастырь св. Мавра на Луаре (St. Maure sur Loire). В конце VI в. большая часть монастырей во Франции приняли тот же устав; он стал общей дисциплиной монастырского порядка, так что около конца VIII столетия Карл Великий приказал разузнать, в различных частях империи, не существуют ли другие монахи, кроме монахов ордена св. Бенедикта.

Ист. цив. во Франц. 14-я лекц.

Испания

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТРАНЫ

Эпоха падения Западной Римской империи должна была и для Испании иметь одно и то же значение со всеми другими провинциями и представить для нее те же выгоды; с того времени древняя Иберия, завоеванная некогда римским оружием, могла возвратить себе свою национальность и политическую независимость в лице варварского правительства, основанного там вестготами. Но Испания в своей новой жизни, как отдельное королевство, встретила для своего дальнейшего развития еще большие препятствия, нежели те, с которыми должна была бороться Италия. К интригам пап, вмешивавшихся в дела Испании во имя католического единства мира, и Византии, удержавшей в Испании, как и в Италии, береговые земли, присоединился религиозный фанатизм вестготских ариан и самовластие германской аристократии, образовавшейся из дружинников вестготских королей. Таким образом, история Испании, после падения Западной Римской империи, является не в виде эры нового существования страны, но как простое продолжение падения древнего общества; вестготы в Испании были в худшем положении, чем лангобарды в Италии: не они обновили древнее общество, а оно увлекло их за собой в своем падении.

Соседство арабов после 622 г., с которого начинается мусульманская государственность, распространивших границы своего государства, благодаря деморализации византийских провинций, в какие-нибудь 100 лет по всему берегу Африки, это соседство решило и судьбу Испании. В начале VIII века Испания была покорена маврами, и только Каролинги удержали дальнейшее торжество исламизма и принудили его ограничиться пределами Пиренейского полуострова. Но тем не менее в этот первый период истории Средних веков испанские события, при всем их отрицательном характере для внутреннего национального развития страны едва ли не самые важные по тем последствиям, которые имел акт завоевания Испании маврами на судьбу образования всей Западной Европы вообще, и на особенный тип испанской народности, когда она, свергнув в следующем периоде мусульманское иго, к концу XV столетия явилась великой и преобладающей политической нацией в Западной Европе. Роль Испании в XV и XVI вв., точно так же, как и быстрое ее падение с высоты своего величия, не были результатом одной случайности, но последним выводом из всех предшествовавших событий, и потому справедливая оценка этих событий старого времени необходима для понимания многих последующих явлений. Вот тот хронологический порядок, в котором следовали факты истории Испании друг за другом от свержения ею римского ига при помощи германских дружин до подчинения ее мусульманскому игу.

Иберия, или Испания, была первой провинцией, которую утратила Западная Римская империя еще в первые годы правления императора Гонория. В 408 г., во время борьбы императора со своим противником Константином, когда один из полководцев последнего, Геронций, завоевав сначала Испанию для антиимператора, потом отделился от него и пригласил к себе на помощь вандалов, аланов и свевов, Испания досталась в руки этим варварам и была разделена ими по жребию: вандалы удержали за собой Северную Испанию, аланы – Южную, а свевы утвердились в Португалии. Вслед за тем такой же переворот случился и в Южной Галлии, соседней с Испанией: в 412 г. король вестготов Атаульф, как зять императора Гонория, приобрел с рукой его сестры, Плацидии, всю Южную Галлию. Но новые варварские правительства Испании не могли получить прочного развития: к внутренним их междоусобиям присоединялись беспрерывные войны с римлянами и вестготами. Вандалы успели скоро (422 г.) покорить Аланское королевство и овладели и Южной Испанией (где и до сих пор одна провинция носит их имя: Андалузия); но теснимые в свою очередь вестготами вандалы, воспользовавшись приглашением африканского наместника Бонифация, предоставили вестготам всю Испанию, а сами, под предводительством короля Гензерика, в числе около 80 тысяч, переселились в Африку, где и основали Вандальское королевство.

Вестготы в своем стремлении к завоеванию Испании были побуждаемы, между прочим, и тем, что в Галлии теснили их с севера утвердившиеся там франки Клодовея. Преемник Атаульфа, Валлия (415–419 гг.), как союзник империи, открывает борьбу с вандалами, и в то же время принимает титул короля. Его сын Теодорих I (420–451 гг.) продолжает начатое отцом дело, но погибает, как союзник империи, в ее борьбе с Аттилой, на Каталаунских полях. При его детях, Торисмунде (451–452 гг.) и Теодорихе II (452–467 гг.), вестготское королевство достигает высшего своего развития: Теодорих II возводит Авита на императорский престол и, разрушив Свевское королевство (456 г.), овладевает большей частью Пиренейского полуострова. Его преемник и убийца, родной брат Эврик (467–484 гг.), современник падения Западной Римской империи, берет Испанию, завоеванную вестготами во имя римского правительства, в свои собственные владения (468 г.) и избирает столицей Арль (Arelatum), в Южной Галлии; при нем же вестготы получили в первый раз письменные законы. Но его эпоха была последней для господства вестготов в Галлии. Хотя преемник Эврика, Аларих II (484–507 гг.) был женат на дочери Теодориха Великого,

хотя при нем была сделана попытка уничтожить различие между победителями и побежденными слиянием римского и германского законодательства (Brevi-arium Alaricianum), ничто не могло спасти вестготов от падения в борьбе их с франками. Клодовей, король франков, разбил Алариха II при Вугле (507 г.): сам Аларих пал в сражении. С того времени вестготы удерживают одну небольшую часть приморской Галлии и сосредоточиваются на одном Пиренейском полуострове.

Первые преемники Алариха II до Реккареда (от 507 до 586 г.), а именно: Амаларик (507–531 гг.), Теудес (531–548 гг.), Агила (548–554 гг.), Атанагильд (554–568 гг.), дочери которого, Гальзуинта и Брунегильда, были замужем за франкскими королями, Гильпериком и Сигбертом; и Лиура и Леогивильд (568–586 гг.) вместе, при постоянных внешних войнах с Византией, сохранившей береговые владения и поддерживавшей из политических соображений католичество в Испании против ариан, ознаменовали свое правление страшными гонениями на католиков, истребившими лучшие силы страны. Но преемник Леогивильда, Реккаред (586–601 гг.), современник Папы Григория I Великого, принятием католичества уничтожил зло, препятствовавшее новому правительству слиться с побежденной страной и лишить Византию повода к новым интригам. Впрочем, старое зло было заменено новым: с утверждением католичества, вестготское правительство нашло себе еще более опасное соперничество в честолюбии духовенства, которое становилось между ним и народом; к этому присоединялось самовластие вестготской аристократии, образовавшейся из потомков древней дружины, и ее крайняя деморализация, основанная на порабощении ею других сословий государства. Потому история вестготов в Испании, в течение последних 100 лет, от смерти Реккареда до вступления на престол Витицы (от 601 до 701 г.), а именно при Лиуве II (601–603 гг.), Виттерике (603–610 гг.), Гундамире (610–612 гг.), который сделал епископа Толедского примасом Испании, Сизебуте (612–620 гг.), Свинтиле (620–631 гг.), который изгнал почти окончательно греков из Испании, Сизеналде (631–636 гг.), Гинтиле (636–640 гг.), Тулге (640–642 гг.), Гиндазуинте (642–649 гг.), Рекказуинте (649–672 гг.), который, при всей слабости к духовенству, был замечателен победами в Африке и изданием общего закона для победителей и побежденных (Forum judicum, или Fuero juzgo), Вамбе (672–680 гг.) и Эрвиге (680–687 гг.), при которых еще более возвысилась власть архиепископа Толедского, и наконец при Эгиге (687–701 гг.), который принужден был взять своего сына Витицу соправителем,– была эпохой их падения: соперничество с архиепископом Толедским, восстание евреев, борьба с появившимися сарацинами в Африке, все это расслабляло правительство, и потому, когда Витица (701–710 гг.) восстал против этих злоупотреблений, оно не могло устоять в борьбе даже с внутренними врагами. Витица успел поставить архиепископом своего сына Оппаса, преследовал самовластие грандов, но его жестокость осталась бесплодной и возбудила тем более сильную оппозицию; по смерти его был избран помимо его детей граф Родерик (710 г.). При нем дети Витицы и их партии, во главе



Перстень-печать Алариха II

которой стоял Юлиан, правитель Цеуты, призывают мавров в Испанию. Африканский эмир Муза и его полководец Тарик, после гибели Родерика (711 г.), овладевают всей страной и обращают ее в провинцию Багдадского калифата. Немногие из христиан успели спасти свою независимость, бежав в северные горы Астурии, Галисии и Наварры, где они, избрав своим королем в горах Астурских и Галисийских Пелайо, внука короля Гиндазуинта, основали королевство Леонское, в то время, как в Наварре утвердился другой христианский владетель Петр. Эти два королевства и послужили ядром будущей независимой Испании.

Испания, по завоевании ее маврами, управлялась наместниками Оммиадов, калифов багдадских до 755 г. Наместники, и в особенности один из них, Абдеррахман (725–731 гг.), стремятся к расширению своих владений за Пиренеи, и Абдеррахман дошел до р. Луары, но Карл-Мартелл, предводитель франков, разбил его при Пуатье (732 г.), близ Тура. К этому несчастью для мусульман присоединилась внутренняя революция 755 г., когда последний Оммиад, Абдеррахман I (755–788 гг.), по истреблении его фамилии в Багдаде, явился в Испанию и провозгласил себя независимым калифом, избрав себе столицей Кордову. Эмиры или правители провинций, недовольные такой близостью центральной власти, восстают против нового порядка вещей и призывают на помощь христиан. Так, эмир Сарагосы пригласил Карла Великого, и вследствие того франки отняли у мусульман всю Северную Испанию до р. Эбро (778 г.), где Карл Великий образовал Испанскую мархию (пограничное графство). В то же время преемники Пелайо и Петра распространяют свои владения до р. Дуро, а Альфонс II (791–842 гг.) переносит свою столицу из Леона в Овиедо. Таким образом, в конце VIII века на Пиренейском полуострове образуются троякого рода владения: 1) Кордовский калифат до р. Дуро и Эбро; 2) Овиедское королевство на северо-западе Испании, и 3) на северо-востоке Испанская мархия, как провинция монархии Карла Великого.

При тесной связи историографии с политическим развитием страны легко предвидеть, что Испания в этом периоде не может представить больших материалов, ни обнаружить успехов в форме и содержании своих исторических произведений. Вестготы не оказали таких услуг своей стране, как остготы или лангобарды, и потому между ними не явилось национальных историков, вроде Павла Дьякона или Иордана; в Испании могла существовать одна ученая историческая литература по искаженным преданиям от классических писателей; но и их произведения погибли при вторжении; сохранился труд одного Исидора Севильского, епископа (ум. в 636 г.). Он написал: 1) Chronicon seu historia Gothorum, от 176 до 628 г., а по испанскому летосчислению от 214 до 666 г.; 2) Chronicon regum Visigothorum; 3) Historia Vandalorum et Suevorum и 4) De scriptoribus ecclesiasticis seu de viribus illustris (все его сочинения изданы в лучшем сборнике исторических памятников Испании: Schott, Historia illustrata. Francof. 1603–8, в 4 т.). Но Исидор, при всей славе первого ученого того времени, остается сухим компилятором и отстает далеко от предшествовавших ему историков Италии или последовавшего за ним Павла Дьякона. Потому для этого периода истории Испании надобно довольствоваться или франкскими летописцами, как, например, Григорием Турским, при котором Испания была в тесной связи с франками, или позднейшими национальными историками XIII в., когда при Альфонсе X, вместе с политическим возвышением государства, явилась потребность исследования старины; к числу последних принадлежит епископ Испанский Лука.

Для последнего столетия этого периода являются весьма важными произведения мусульманских писателей, свидетельства которых будут приобретать особенную важность по мере успеха науки восточных языков. В новейшее время лучшим представителем по отделу арабско-испанской литературы считается голландский ученый Дози, произведения которого в первый раз представили в истинном свете судьбу Испании в первом ее периоде до Карла Великого.

Между общими сочинениями об истории Испании лучшими считаются: 1) *Lembke*. Geschichte von Spanien. Hamb. 1831; *Guttenstein*. Geschichte des spanischen Volkes. Manh. 1836–38, 2 т.; к новейшим сочинениям принадлежит история Испании, составленная проф. истор. в Сорбонне Rosseuw St. Hilaire.

Григорий Турский

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ КАТОЛИКОВ В ИСПАНИИ (591 г.)

В Испании в 580 г. было большое преследование католиков; многие были сосланы в ссылку, лишены своего имущества, преданы голодной муке, заточены в темницы, избиты и замучены всякого рода казнями. Главной виновницей таких злодеяний была Гунсвинта, на которой женился король Вестготский Леовигильд, по смерти короля Атанагильда, ее первого мужа. Но она, за поругание и унижение служителей Господа, сама была, по приговору Всевышнего, посрамлена и пристыжена перед лицом всех народов: бельмо закрыло ей один глаз и лишило ее очи того света, которого уже был лишен ее муж. Король Леовигильд имел от первой жены[1] двух сыновей[2], из которых старший был обручен с дочерью короля Сигберта, а младший с дочерью короля Гильперика[3]. Ингунда, дочь короля Сигберта, отправленная в Испанию с большой свитой, была принята с большой радостью Гунсвинтой, своей бабкой[4]. Но последняя могла лишь ненадолго предоставить ей спокойно исповедовать католическую веру, и начала ласковыми словами убеждать ее снова окреститься в арианскую ересь. Ингунда твердо сопротивлялась и говорила: «Для меня достаточно один раз обмыться в спасительном крещении от первородного греха, и признать Святую Троицу единой и единосущной; так я верую и исповедую то от всего сердца и никогда не отступлюсь от этой веры». При этих словах Гунсвинта, воспламененная яростным гневом, схватила женщину за волосы, повалила ее на землю, и била до крови ногами; потом приказала ее раздеть и окрестила в водоеме. Но, как уверяют, сердце Ингунды никогда не уклонялось от нашей веры. Леовигильд дал ей и ее мужу Герменгильду город, в котором они имели свой двор, и которым управляли. Но едва они отправились в путь, как Ингунда начала увещевать своего мужа отказаться от заблуждения арианской ереси и исповедовать истинную веру. Он долго сопротивлялся; наконец, тронутый ее поучениями, он признал истинную веру и получил, вместе с помазанием, имя Иоанна. Когда Леовигильд узнал о том, то начал думать, как бы погубить его. Сын его, заметив то, принял сторону императора и вступил в сношения с его наместником; в то время император вел войну с Испанией. Леовигильд отправил послов объявить сыну: «Приди ко мне, я имею дело, о котором нам необходимо переговорить друг с другом». Тот ему отвечал: «Ни за что не пойду; ты мой враг за то, что я католик». Леовигильд, давши императорскому наместнику 30 тысяч солидов золота с тем, чтобы отвлечь его от союза с сыном, поднялся со своим войском и пошел на сына. Со своей стороны, Герменгильд, призвавши греков на помощь, оставил жену в городе и выступил против отца. Но едва Леовигильд напал на Герменгильда, как союзники оставили последнего, и он, видя себя в невозможности предпринять что-нибудь, убежал в соседнюю церковь, говоря: «Пусть отец не приближается ко мне: преступно отцу убить сына, или сыну отца». Леовигильд, узнав об этих

[1] Феодосия, из Карфагена.

[2] Герменгильд и Реккаред.

[3] Сигберт и Гильперик, франкские короли, из фамилии Меровингов.

[4] Сигберт был женат на Брунегильде, дочери Гунсвинты.

словах, послал его брата, который клятвой обещал, что ему не будет причинено никакого зла, и говорил: «Иди сам, пади к ногам твоего отца, и он простит тебе все». Герменгильд просил позвать отца; и когда тот вошел в церковь, то он упал к его ногам. Леовигильд поднял его, поцеловал, ласково говорил с ним и увел с собой в лагерь. Он не остался, однако, верным данной клятве, и, дав знак своим людям, приказал схватить его, снять одежды и надеть грубое платье. По возвращении в свой город Толедо Леовигильд отнял у сына служителей, и отправил его в изгнание, оставив при нем только одного юношу[1]

Десять книг церковн. истории франк. V, 39 (38).

[1] Позднее, в 586 г., Герменгильд был предан смерти в Таррагоне, по приказанию своего отца, за то, что отказался принять причастие из рук арианского епископа: его причислили к мученикам (Пав. Дьяк., III, 21). Ингунда бежала, но ее успели задержать и отправили в Сицилию, где она и умерла. По словам Григория Турского (VIII, 29), она умерла в Африке, в то время как греки везли ее в Константинополь.

Григорий Турский

ДИСПУТ КАТОЛИКА С АРИАНИНОМ (591 г.)

Между тем (около 580 г.) король Леовигильд отправил к Гильперику, королю франков, Агилу, человека, лишенного всякой ловкости найти нужную мысль и изложить ее с искусством; он был только злейший враг католической веры. Так как ему лежал путь через г. Тур, то, прибыв к нам, он начал нападать на нас по поводу веры и оспаривать догматы нашей церкви. «Несправедливо решили,– говорил он,– те древние епископы, которые утверждали, что Сын равен Отцу; ибо,– прибавил он,– как может быть Сын равен Отцу в могуществе, когда он сам сказал: Отец мой более Меня[1]? Потому-то несправедливо смотреть на него как на равного тому, кому он сам подчиняется, к кому обращался с жалобой в предсмертной тоске, и кому, наконец, умирая, поручил свой дух, как не имеющий никакой власти; отсюда ясно следует, что он ниже своего Отца и по времени, и по могуществу». В ответ на это я его спросил: верил ли он, что Иисус Христос есть Сын Божий, и признает ли в нем ту же божескую премудрость, свет, истину, жизнь и правосудие. Он отвечал мне: «Я верю, что Сын Божий имеет все это». На это я ему: «Скажи же мне, когда Отец не имел мудрости, света, жизни, истины и правосудия? Если же Отец не может быть без этих качеств, то он не мог также быть и без Сына, а эти качества именно и составляют необходимую принадлежность божеской природы. Кроме того, его не называли бы Отцом, если бы он когда-нибудь не имел Сына. Что же касается того места, которое ты мне противопоставляешь: “Отец мой более Меня”, то знай, что он говорил так для уничижения плоти, которую принял на себя, и чтобы показать тебе, что не могущество, но уничижение искупило тебя. Далее, если ты приводишь слова: “Отец мой более Меня”, то надобно тебе вспомнить и то, что в другом месте сказал он же: “Я и Отец одно”[1]. Предсмертный же страх его, и то, что он предавал дух свой Богу, имеют отношение к одной слабости плоти; ибо необходимо было, чтобы в нем признавали истинного человека, как признают истинного Бога». Он мне возразил: «Тот, кто исполняет волю чью-нибудь, стоит ниже; следовательно, Сын ниже Отца, потому что он исполнял его волю; между тем ничто не доказывает, чтобы Отец исполнял волю Сына». На это я ему: «Пойми, что Отец всегда в Сыне, и Сын в Отце, и оба вместе составляют единое божеское существо; и наконец, чтобы ты видел, что и Отец исполняет волю Сына, послушай, если ты имеешь еще веру в Евангелие, что сам Иисус, наш Бог, произнес,

[1] Иоанн, XIV, 28.

[1] Иоанн, X, 30.

когда воскресил Лазаря: “Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. И я знал, что Ты всегда послушаешь Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, дабы поверили, что Ты послал Меня”[1]. И когда он обратился к нему во время страдания, то сказал: “И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира”[2]. И Отец ему отвечал с высоты небес: “Я прославил и еще прославлю”[3]. Итак, Сын равен Отцу, как Бог, и не ниже его; он ни в чем не менее Отца; ибо, если ты признаешь его Богом, то ты должен обязательно признать, что он совершен и не имеет ни в чем недостатка, если же ты утверждаешь, что он несовершен, то ты не признаешь его Богом». На это он мне: «Его начали называть Сыном Божиим с тех пор, как он воплотился; потому что было время, когда он не был таким». На это я ему: «Послушай Давида, который говорит от имени Отца: “Из Моего чрева я родил Тебя еще перед утренней звездой”[4]. Ев. Иоанн говорит: “В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Слово... и Слово стало плотию, и обитало с нами... И все получило Им бытие”[5]. Но вы, ослепленные обольстительным ядом, не постигаете Бога достойным его образом». А он мне на это: «Вы учите также, что Дух Святой есть Бог, и считаете его равносущным Отцу и Сыну?» Я отвечал: «У всех трех одна воля, одно могущество, одно действие. Бог есть един в троице и троичен в единице: три лица, но одна власть, одно величие, одна сила и одно всемогущество».– «Святой Дух,– возразил он,– которого вы считаете равным Отцу и Сыну, подчинен обоим, ибо в Священном Писании сказано, что он был обещан Сыном и послан Отцом; всякий же обещает только то, что находится у него во власти, и всякий посылает только своего подчиненного, как он сам говорит то

[1] Иоанн, XI, 41, 42.

[2] Иоанн, XVII, 5.

[3] Иоанн, XII, 28.

[4] Псал. XC. 3. В славянском переводе: из чрева денницы родих Тя. В лютеровом переводе: Deine Kinder werben dir geboren, wie der Thau aus der Morgenröthe.

[5] Иоанн, I, 1, 14, 3.



Корона вестготского короля Рекесвинта (649–672 гг.). Париж. Музей Клюни. Эту корону (диадему) король, по-видимому, надевал во время коронации. Найдена в Испании

в Евангелии: Ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам»[1]. На это я отвечал: «Сын, пред своим страданием, справедливо ска-

[1] Иоанн, XVI, 7.

зал, что если он не вознесется к Отцу победителем, и, искупив мир ценой своей крови, не приготовит в сердце человека жилища, достойного Бога, то Дух Святой, который и есть сам Бог, не мог бы сойти в сердце язычника, оскверненное пятном первородного греха. Потому что Дух Святой, как говорит Соломон, наказания отбежит льстива[1]. Что же касается тебя, то если ты имеешь какую-нибудь надежду на воскрешение мертвых, то бойся говорить против Святого Духа; потому что, по словам Господа: “Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем”[2]». Он опять возразил: «Богом может быть тот, кто посылает, а не тот, кого посылают». Тогда я его спросил, верит ли он в учение апостолов Петра и Павла. Когда же он отвечал: «Верю», я прибавил: «Апостол Петр, упрекая Ананию за утайку части своего имущества, вот что ему говорил: “Как ты мог солгать Духу Святому? Ибо ты не людям солгал, но Богу”[3]. То же сказал и Павел, когда он делал различие между дарами Духа: “Все же сие производит один и тот же Дух,– говорил он,– раздавая каждому как Ему угодно”[4]. А тот, который делает все, что ему угодно, не подчинен ничьей власти. Но вы, как я уже сказал, не имеете никакого правильного понятия о Святой Троице, а как недостойно и превратно учение вашей секты, то показала смерть вашего ересиарха Ария».– «Не богохульствуй,– отвечал он,– против веры, которую не исповедуешь; мы хотя и не верим в то, во что вы веруете, но не поносим вашей веры, потому что нельзя делать преступлений из того, что один верует так, а другой иначе. У нас даже есть поговорка, что, проходя между языческим храмом и божьей церковью, нет ничего худого поклониться обоим». Заметив его глупость, я прервал его: «Из того, что я замечаю, видно, ты объявляешь себя защитником язычников, также как и служишь представителем еретиков: в одно и то же время ты искажаешь догматы церкви и проповедуешь поклонение языческим бесстыдствам. Ты сделал бы лучше, если бы вооружил себя той верой, которой был проникнут Авраам под дубом, Исаак, при виде овна, Иаков на камне, Моисей перед купиной, которую Аарон носил на своей груди, которую Давид воспевал на тимпане, которую Соломон предвозвестил в своей мудрости, которую все патриархи, пророки и сам закон воспевали в прорицаниях или прообразовали в жертвоприношениях; которую наш заступник, здесь находящийся, наш Мартин, хранил в сердце или обнаруживал в делах: вот, если бы эта вера проникла и в твое сердце, если бы ты обратился и исповедал единосущную Троицу и получил бы наше благословение для очищения своего сердца от яда нечестивого неверия, тогда ты загладил бы свои грехи». На это он, взбешенный и дрожащий, не знаю почему, как безумный, воскликнул: «Душа моя скорее вырвется из оков этого тела, нежели я приму благословение какого-нибудь священника вашей веры». А я отвечал: «Да не восхочет Бог довести ни нашу религию, ни нашу веру до того, чтобы мы были вынуждены бросать его святыни собакам и метать драгоценные перлы перед нечистыми свиньями!» Тогда, оставив спор, он встал и ушел. Впоследствии, по возвращении в Испанию, удрученный болезнью, Агила был принужден обратиться к нашей религии.

Десять кн. церк. ист. франк. V, 43 (44).

---

[1] Премудр. I, 5.
[2] Матф. XII, 32.
[3] Перифраз из Деян. ап. V, 3 и 4.
[4] I Кор. XII, 11.

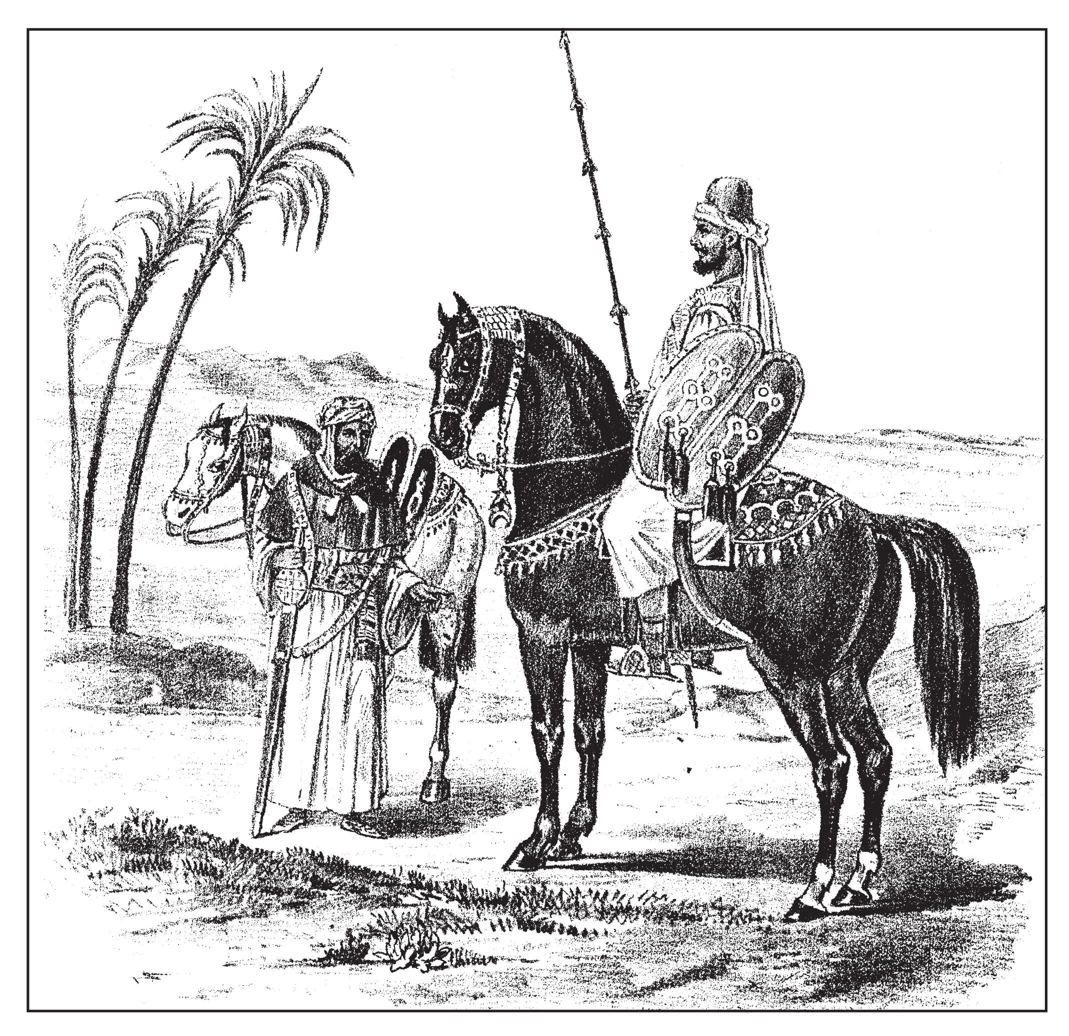
Лука[1]

ЗАВОЕВАНИЕ ИСПАНИИ МАВРАМИ, ПО ЛАТИНСКИМ ПРЕДАНИЯМ (1236 г.)

Витица (701–710 гг.) вступил на престол (Вестготского королевства) еще при жизни своего отца. Но он был весьма порочный и преступный человек, им были посеяны в Испании семена невыразимых и чудовищных пороков; распустив бразды бесстыдства, он предался чувственным наслаждениям и расположил готов к разврату, роскоши и заносчивости. Забвение всякой божественной религии, пренебрежение врачеванием души ввели в народ вестготский (exercitus Gorhorum) страсть к нападению на чужую собственность, к грабежу и расточительности. Епископы же и служители церкви тяготились божественной службой, ни во что не ставили постановления соборов, и, заперев церковные двери, оставляли в пренебрежении святые таинства. Правила святого отца Исидора (Севильского) не уважаются, соборы отвергнуты, святые каноны отменены, и уничтожено все, что только было беспорочного. А чтобы против короля не восстала святая церковь, этот чувственный человек приказал епископам, священникам, дьяконам и прочим служителям церкви вступить в брак (carnales uxores habere), и под страхом смерти запретил повиноваться римскому первосвященнику. Это и было причиной гибели Испании, как сказано в писании: «Будет изобиловать несправедливость и охладение милосердия многих». Кроме того, преступный Витица имел несколько жен и наложниц и приказал своим вельможам делать то же самое. Все дворянство (nobilitas) готов, утопая в пиршествах, страстях и пороках, навлекло на себя гнев Господа, так что над ними исполнилось, что сказано в Писании: «Когда нечестивый дойдет до глубины зла, он осуждается». Так как короли и священнослужители оставили Господа, то и жители Испании были оставлены Господом, и погибали толпами. Итак, Витица был послан, как зло: он разрушил стены всех городов в своем королевстве, чтобы граждане не могли ему сопротивляться и чтобы тем легче можно было завлечь их в свои преступления. Однако стены городов Толедо, Леона и Астурии (Toletanae urbis, Legionensis et Astoricensis) были оставлены неприкосновенными из уважения к их гражданам. Воспламененный злобой и гневом, Витица схватил обманом Теудефреда, герцога Кордовы (Cordubensem ducem), и, лишив его зрения, приказал позорно бить. Теудефред же происходил из готской королевской фамилии, а именно, он был сын короля Гиндазуинда, оставленный отцом в младенческом возрасте. Когда он возмужал, король Эгика, видя его доблести и опасаясь, чтобы он вместе с готами не восстал против него, выгнал его из королевства. Теудефред пришел в Кордову, взял себе жену из королевского рода, именем Рицилону, и от нее родился у него сын по имени Родерик, который, достигнув совершеннолетия, сделался воинственным мужем и построил в Кордове укрепленный замок (palatium fortissimum). Итак, Витица, как я рассказал, лишил Теудефреда зрения, чтобы он не мог ему сопротивляться. Кроме того, он хотел схватить и также ослепить Пелагия, сына герцога Фафилы, за то, что он покушался сделаться после него владетелем Испании, но Пелагий убежал. Изгнав же епископа Толедского Юлиана, Витица поставил на его место сына своего Оппаса, с тем, чтобы он был в одно время архиепископом Севильским и Толедским, хотя это противно определениям святых канонов. Витица, умножая несправедливость несправедливостью, возвратил евреев в Испанию и, уничтожив церковные привилегии, дал привилегии евреям, освободив их от повинностей. Но Бог, ненавидящий такую порочность и такое зло, разорил людей и ниспровергнул народы Испании. Витица царствовал пятнадцать лет и умер собственной смертью в Толедо.

---

[1] Лука (Lucas), дьякон в г. Туи в Галиции и епископ с 1239 до 1250 г., продолжал хронику Исидора Севильского до 1236 г. Его труд помещен в 4-м томе у Schott «Hispania illustrata».



Мавры

По приговору вельмож готской нации (consilio magnorum Gothicae gentis), ему наследовал Родерик, сын Теудефреда, как муж твердый и воинственный, ко всякому делу способный, но по образу жизни и нравам несколько похожий на Витицу. В третий год своего царствования, торопясь отомстить обиду, нанесенную его отцу, он с величайшим позором выгнал из Испании двух сыновей Витицы, Фармария и Экспулиона. Они отплыли в тингитанскую провинцию (в Африке) и присоединились к графу Юлиану, который был любимейшим из щитоносцев короля Витицы. Соболезнуя об их изгнании и посрамлении, Юлиан совещался с ними о призвании мавров, чтобы при их помощи отомстить за причиненные им несправедливости. К такому преступлению Юлиан был вынужден и тем обстоятельством, что король Родерик, взяв его дочь, которая ему понравилась за красоту, с тем, чтобы на ней жениться, держал ее, как наложницу, Юлиан был муж проницательный и коварный: он весьма хитро побуждал франков завоевать Испанию, лежащую по эту сторону Ибера. Притворившись другом Родерика, он в то же время коварно советовал ему отправить лошадей и оружие

в Галлию и в Африку, так как, по его уверению, внутри Испании он мог править совершенно безопасно, и, следовательно, не было никакой необходимости держать в отечестве оружие, которое может служить только для междоусобий. Вследствие того Родерик издал эдикт, которым повелевалось везде, где бы ни были найдены оружия и крепкие лошади, отобрать их у владельцев силой и препроводить в Галлию. Такому предательству благоприятствовал и Оппас, примас севильский и архиепископ Толедский, которого Витица, его отец, поставил во главе двух первоклассных (regalibus) городов, чтобы с его помощью ниспровергнуть Католическую церковь. Таким образом Улит, могущественнейший король (rex) варваров, подкрепленный силами всего африканского герцогства Юлиана, обнадеженный помощью сыновей Витицы и уверенный, что в Испании нет ни оружия, ни лошадей, а города ее без укреплений, послал туда Тарика-Стрибона, одного из вождей своей армии, с двадцатью пятью тысячами храбрых воинов, чтобы он, удостоверившись предварительно в действительности предательства Юлиана, начал войну с королем Испании. Варварский король опасался на всякий случай хитрой ловушки со стороны наместника тингитанского, и, зная его как человека неприязненного, могущественного, богатого средствами и умом, приказал Тарику убедиться во всем лично. Таким образом, сарацины завоевали Севилью (Hispalis) и близлежащие города, потому что нашли их без стен и лишенными всех средств к защите. Король же Родерик только тогда заметил коварство Юлиана, когда узнал о нашествии варваров; собрав войско готов и вооружившись как только можно было, он с мужеством и отвагой вступил в первое сражение, и в продолжении семи дней бился постоянно, без отдыха, так что положил на месте шестнадцать тысяч воинов из армии Тарика. Когда Юлиан и двое сыновей Витицы, оставленные маврами в резерве, увидали короля Родерика, бившегося в первых рядах своего войска, они стали подкреплять силы варваров, замещая убитых и раненых мавров христианскими воинами. Таким образом, верность Юлиана данному слову сделалась известной во всей Африке, и Муза, главный предводитель войск африканского короля, отправился в Испанию с бесчисленным множеством кавалерии и пехоты. Затем возобновилась война, а силы варваров постоянно увеличивались прибытием в их ряды одного отряда за другим. Король Родерик принял бой с обычной отвагой, еще смелее наступал и врезался все далее и далее в ряды неприятелей. Но испанские воины не выдержали сильного напора врагов и начали падать духом; утомленные продолжительностью войны, они уступали врагу. Готы, бывшие на стороне графа Юлиана, с ожесточением нападали на испанцев и воодушевляли варваров к борьбе. А Родерик, увидев, что свои оставляют его, в продолжение нескольких дней отступал, ограничиваясь небольшими стычками, и, полагаем, пал; но о его гибели мы не знаем ничего достоверного. Он правил семь лет и шесть месяцев. Однако впоследствии в городе Визее был найден простой камень, на котором была начертана следующая эпитафия: «Здесь покоится Родерик, король готов». Рука Божия отступила с того времени от Испании и не покрыла ее в день того разорения, потому что короли ее закоснели в пороках своих. Впоследствии все воины готов, рассеянные и изнуренные до смерти, погибли от меча и голода. Они были истреблены не только преследованиями варваров, но и франкским оружием, со стороны Галлии. После того мавры, не встречая сопротивления со стороны готов, подчинили своему владычеству почти всю Испанию, также провинции Бурдигалу (Burdigala, ныне Бордо) и Пиктавию (Pictavia, то есть Пуату), опустошив их мечом, огнем и голодом. Город же Леон (Legionensis civitas), который некогда был столицей королевства свевов, они принудили к сдаче голодом, причем от меча врагов погибло весьма много жителей Галиции (Gallici), которые мужественно сопротивлялись при защите своего города. Даже город Толедо, победитель многих народов, пал побежденный, к торжеству израильтян, но только вследствие измены евреев, потому что он был сильнее и воинственнее

других городов. Когда христиане, в Вербное воскресенье, из уважения к такому великому празднику, отправились за город, в церковь св. Леокадии, слушать слово Божие, евреи предательски известили о том сарацин, и, заперев городские ворота перед христианами, открыли их маврам. Таким образом, верный народ в Толедо, захваченный маврами вне города, был истреблен мечом. После того мавры поставили своих префектов во всех провинциях Испании и в продолжении многих лет платили дань вавилонскому султану (babylonico Soldano), пока, наконец, избрав себе королем Лузу, не основали отдельного царства, столицей которого была Кордова (Corduba). Таким образом, найдя Испанию без укреплений и без Бога истинного Господа Иисуса Христа, которого оставили готы, предавшись разврату, роскоши и святотатству, мавры в несколько лет опустошили страну и истребили тот победоносный народ, который до тех пор был грозой минувших веков. Только немногие готы, засевшие в неприступных местах Пиренейских гор, в Астурии и Галиции, успели коекак спастись; между тем, мавры овладели долинами и всеми лучшими местами силой своего карательного меча, а в церквях, где прежде было прославляемо имя Христа, провозглашалось во всеуслышание безбожное имя Магомета. Кроме того, мавры разрушили стены древних городов и уничтожили укрепления, только что возобновленные королем Родериком; разорили монастыри, предали пламени книги Священного Писания, и много другого совершили чудовищного, в наказание за то, что преславный род готов постыдно забыл заповеди Господни.

Тарик ибн Нагиб

ЗАВОЕВАНИЕ ИСПАНИИ МАВРАМИ, ПО АРАБСКИМ ПРЕДАНИЯМ (IX и X вв.)

Муза, великий астролог, прочел по звездам, что Испания будет завоевана. Но кем? Какого полководца, какие войска отправить для того? Вот этого он и не знал; он знал только то, что есть такой старец, который может все объяснить, и что он находится на корабле румов (греков), который скоро бросит якорь у берегов Африки. Муза приказывает тогда Тарику останавливать все корабли, которые появятся на этих водах. Наконец Тарик находит этого таинственного старца и говорит ему: «Ты знаешь будущее, скажи, кем будет завоевана Испания?» – «Тобою,– отвечал старец,– и народом, который называют варварийцами и который исповедует ту же религию, как и ты». Узнав о таком ответе, Муза дает Тарику странное приказание, а именно: «Сядь на корабль у скалы, которую ты найдешь на нашем берегу; узнай потом, нет ли между твоими спутниками кого-нибудь, кто знал бы сирийские названия месяцев, и когда наступит 21-е число айяра, распусти паруса. Ты приплывешь к зеленому холму, и на восток от него встретишь топкое место и статую, изображающую

ТАРИК ИБН НАГИБ (испанский писатель, жил в IX в. и умер в 238-й год геджиры, то есть в 853 г.). Его сочинение, трактующее всевозможные сведения, в том числе, и о завоевании маврами Испании, до сих пор не издано и остается в манускрипте, который хранится в Оксфордской библиотеке. Несмотря на то, что он жил в Испании, он заимствовал свой рассказ у восточных писателей, на которых испанские мавры смотрели, как на людей неподражаемой учености и в отношении к которым они оставались не более, как варварами. Вот причина того сказочного характера, которым отличаются все легенды о завоевании Испании, заимствованные у восточных поэтов. (См. подробности об этом писателе и французский перевод отрывка из его сочинений у *Dozy*. Recherches sur l'histoire et la litérature de l'Espagne, pendant le moyen âge. 2-е изд. Leyde, 1860. I, c. 32 и след.)

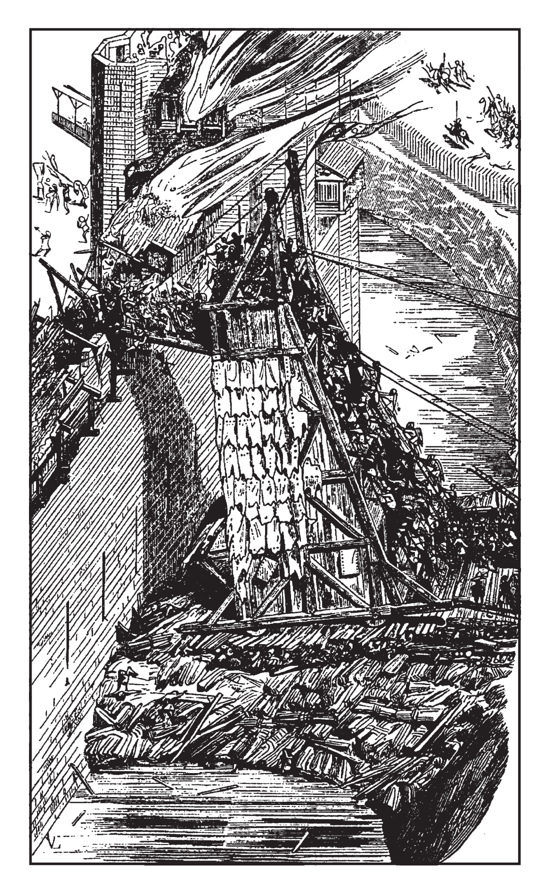
быка. Разбей ее; потом отыщи человека высокого роста, смуглого, с раскосыми глазами и исхудавшими руками; ему поручи начальство над авангардом».– «Я исполню в точности твои приказания,– отвечал Тарик,– но будет совершенно бесполезно искать лицо с данными тобой приметами: это – я».

По завоевании Тангера, Алжезираса и других городов Муза предпринял экспедицию в страну Тамид, на берегу Атлантического океана. Он приблизился к одному мосту, на котором стояла медная статуя, изображающая человека с луком и стрелами в руках. Когда солдаты приблизились к статуе, она вынула стрелу и убила человека; потом она взяла другую и убила еще одного. Затем она свалилась. Солдаты приблизились осмотреть эту статую: она оказалась действительно из меди. Другой раз Музе пришлось осаждать медную крепость. Осадные машины начали работу, как вдруг осажденные стали кричать: «О, царь, мы не то, что ты думаешь, мы – духи. Оставь нас в покое». Муза спросил, что они сделали с солдатами, которые проникли за стены; они отвечали, что солдаты находятся в их власти, но что они согласны выпустить их на свободу. Они сдержали слово. На вопрос предводителя, что пленные видели в крепости и как с ними обращались, они отвечали, что во все время оставались без памяти. «Воздадим хвалу Богу, творцу мира!» – воскликнул Муза, и снял осаду.

Во время своих завоеваний Муза зашел в одно место, где лежали медные ящики. Не зная, что Соломон запер там дьяволов, он приказал открыть один из них. Оттуда вышел дьявол. Думая увидеть перед собой Соломона, дьявол, покачивая головой, обратился к Музе: «Поклон тебе, о, пророк Божий, ты меня строго наказал на этом свете». Потом, заметив, что его освободитель был вовсе не Соломон, он убрался как можно скорее. Муза же счел более благоразумным не открывать других ящиков.

* * *

Муза продолжал свой поход для нападения на береговые города Африки, управляемые наместниками короля Испании, которые овладели ими и всей их землей. Главным из этих городов была Цеута, правителем которой был христианин по имени Юлиан. Многие окрестные города находились в зависимости от него. Муза напал на Цеуту; но, удостоверившись, что подданные Юлиана были гораздо мужественнее и храбрее, чем все народы, с которыми приходилось ему до тех пор иметь дело, он возвратился в Тангер, приказав опустошить поля, соседние с Цеутой. Грабежи (рация), однако, не имели желаемого успеха, потому что корабли, приходившие из Испании, доставляли жителям Цеуты беспрерывно и подкрепление, и жизненные припасы; кроме того, сами осажденные, побуждаемые любовью к женам и детям и исполненные патриотизма, дрались с ожесточением.



Штурм

В это время умер король Испании Витица. Он оставил много детей, и между ними Сизиберта и Оппаса; но так как испанцы были ими недовольны, то в стране произошло междоусобие. Наконец, на престол возвели христианина Родерика. Это был храбрый воин; он не происходил из королевского рода, но считался лучшим полководцем в Испании. Таким образом, он был провозглашен королем.

По тамошнему обычаю, каждый испанский гранд отправлял своих сыновей и дочерей ко двору Толедо, который был в то время столицей Испании. Дети грандов получали там воспитание; они одни имели право служить государю, и впоследствии молодые люди женились на девицах, которых им давал король. Родерик, вступив на престол, был пленен красотой дочери Юлиана и увлек ее. Юлиан, уведомленный письмом о случившемся, пришел в чрезвычайное негодование. «Клянусь Мессией,– воскликнул он,– я свергну его с престола и вырою яму под его ногами». Вследствие того он дал знать Музе, что подчиняется ему, пригласил его к себе и открыл ему городские ворота, заключив предварительно выгодный договор, так что и он, и его подданные могли ничего не опасаться. Потом он указал ему на Испанию и приглашал его завоевать эту страну. Все это случилось в конце 90-го года (то есть около 8 ноября 709 г.). Муза писал Валиду (калифу), извещая его о расширении своих владений и о плане Юлиана. Валид ему отвечал: «Отправь в Испанию легкие войска, но смотри, не подвергни мусульман опасностям моря».– «Это вовсе не море,– отвечал ему Муза,– а небольшой пролив, и отсюда можно видеть противоположный берег».– «Все равно,– возразил Валид,– отправь для исследования страны одни легкие войска». Тогда Муза отправил в Испанию одного из своих подчиненных по имени Абу-Зора-Тариф, с 400 человек и 100 лошадей. Этот отряд, переехав пролив на четырех судах, пристал к полуострову, называемому Андалос, откуда обыкновенно выходили корабли, направлявшиеся в Африку, и где находились испанские верфи. С того времени этот полуостров назывался Тариф, по имени командовавшего отрядом. Когда все были высажены на берег, Тариф начал грабить окрестности Алжезираса, захватил в плен таких красивых женщин, что ни Муза, ни его окружавшие не видели ничего подобного по красоте, овладел большим количеством серебра и возвратился в Африку цел и невредим. Все это случилось в месяц рамадан 91-го года (июль 710 г.).

Счастливый исход первой экспедиции воспламенил в мусульманах желание овладеть той страной, и Муза отправил туда другого из своих вассалов, Тарика ибн-Зийяда. Это был перс из Гамадана; некоторые же утверждают, что он был вассалом не Музы, а одного колена Садиф. Семь тысяч мусульман, которые сопровождали Тарика и были большей частью варварийцы и вассалы (между ними было весьма мало арабов), переехали друг за другом пролив на тех четырех кораблях, о которых мы говорили, так как у мусульман не было других. Это случилось в 92-м г. (29 октября 710 – 18 октября 711 гг.). По мере того, как корабли перевозили людей и лошадей, Тарик собирал их на одной скалистой горе у берега.

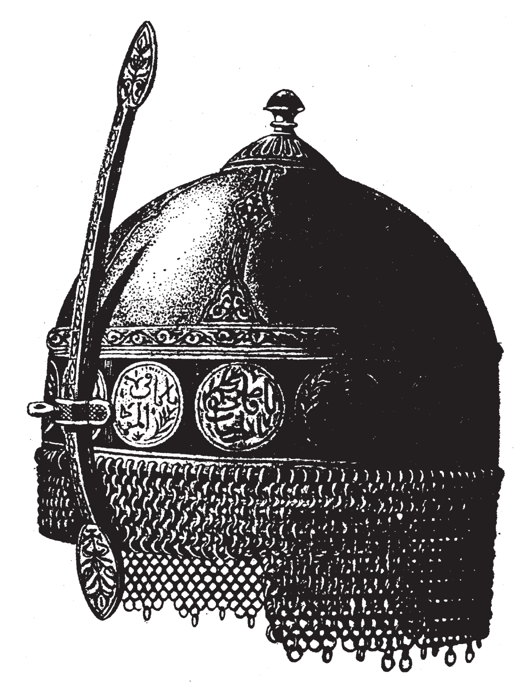
Когда король, бывший в то время на войне с Пампелуной, получил известие об экспедиции Тарифа, он понял всю опасность и, оставив страну пампелунскую, направил свои силы на юг. Когда же высадился Тарик в Испанию, Родерик собрал против него армию, как говорят, около 100 тысяч человек.

Узнав о приготовлениях неприятеля, Тарик писал Музе, прося его о подкреплении и извещая, что, благодаря Аллаху, он завоевал Алжезирас и овладел всеми окрестностями озера; но король Испанский идет теперь против него с армией, которой он не в состоянии побороть. Муза, по отправлении Тарика, начал строить корабли, приготовил большое их число, и послал Тарику 5 тысяч человек. Силы Тарика увеличились до 12 тысяч. Он уже успел приобрести значительную добычу. Юлиан, в сопровождении многих испанцев, находился при нем и оказывал ему значительные услуги, он извещал его обо всем, что доходило до него, и обнаруживал слабые стороны неприятеля.

Родерик, вместе с самыми могущественными грандами королевства, шел, между тем, навстречу неприятелю; но в его войске находились также сыновья Витицы. Узнав, что мусульмане имеют все необходимое для себя и действуют осторожно, эти принцы совещались между собой и один из них говорил так: «Этот тиран лишил нас престола, на который давало нам право наше рождение, и сам он был последним из наших подданных. Между тем эти чужеземцы вовсе не имеют намерения утвердиться в стране; они ищут добычи и, получив ее, вернутся туда, откуда пришли. Обратимся же в бегство во время битвы и оставим этого тирана». Это предложение было одобрено.

Родерик, вручив начальство над правым крылом Сизеберту и над левым Оппасу – оба они были сыновьями Витицы и стояли во главе заговора – двинулся с армией около 100 тысяч человек. Эта армия была бы еще многочисленнее, если бы голод не опустошал страны, начиная с 88-го г. (707 г.), в течение трех лет, окончившись только в 91-м г. (710 г.) – в тот самый год, когда высадка Тарифа в Испанию истребила половину обитателей или даже и более половины.

Король Испанский встретил Тарика, остававшегося до того времени в Алжезирасе, близ озера (Lago de la Sanda). В самом начале сражения оба крыла испанской армии, предводительствуемые Сизебертом и Оппасом, обратились в бегство. Один центр, которым руководил сам Родерик, держался твердо, но наконец он дрогнул, и тогда мусульмане произвели страшную резню между христианами. Так как Родерика не нашли нигде, то неизвестно, что с ним случилось; мусульмане отыскали только его белую лошадь, которая завязла и на которой было парчовое седло, украшенное рубинами и изумрудами; они нашли также его мантию, вытканную золотом с перлами и рубинами; верно также и то, что король завяз в трясине, и что, стараясь выбраться оттуда, он оставил там один из своих башмаков; но все же, так как о нем никто ничего не слыхал и его не нашли ни живого, ни мертвого, то его последняя судьба остается известной одному Аллаху.


Шлем арабского военачальника

После своей победы Тарик пошел на Эчижу. Жители этого города, подкрепленные беглецами главной армии, дали ему сражение. Бой был жестокий и много мусульман осталось убитыми или ранеными; но, при помощи Аллаха, мусульмане тем не менее разбили этих идолопоклонников, хотя им никогда не приходилось встречать такого ожесточенного сопротивления. После сражения Тарик раскинул палатки в 4 милях от Эчижи, на берегу реки, которая омывает город, близ источника, который получил имя Тарика.

Аллах наполнил страхом сердца неверных. Они думали, что Тарик возвратится в Африку, как то сделал Тариф, увидев же, что он подвигается в глубь страны, они поспешно отступили к Толедо и другим городам, приготовляясь к их обороне. «В Испании все кончено,– говорил Юлиан Тарику,– я советую тебе идти с главной армией к Толедо, а отдельные отряды, которым мои спутники будут служить путеводителями, могут напасть на другие города». Тарик последовал этому совету. Он отправил

в Кордову (тогда один из больших городов христиан, а ныне столица Испании) отряд в 700 человек, под начальством Могита-Руми, одного из вассалов Валида. После одержанной победы все мусульмане имели лошадей, и ни один из них не оставался пешим. Другой отряд был назначен против столицы области Рейи (г. Архидона), третий – в Гренаду, столицу области Эльвиры; а Тарик с главными силами пошел на Толедо.

Когда Могит и его отряд достигли Кордовы, они скрылись, близ Секунды (город на Гвадалквивире, против Кордовы), в кустарниках, которые покрывали пространство между Секундой и Тарсалем; после того Могит отправил на рекогносцировку нескольких путеводителей. Они встретили в лесу пастуха, который гнал стадо, и привели его к Могиту. Могит спросил его о количестве гарнизона в Кордове. «Знатные из жителей оставили Кордову и бежали в Толедо,– отвечал пастух,– кроме наместника и 4000 солдат все остальные принадлежат к низшему населению». На вопрос о крепости стен пастух отвечал утвердительно, но при этом заметил, что над воротами Статуи (ныне Мостовые ворота) есть пролом.

Под покровом ночи Могит продолжал свое шествие. Аллах содействовал его предприятию, потому что в ту ночь шел дождь, а время от времени град, так что часовые, промоченные насквозь и продрогшие от холода, худо исполняли свои обязанности и только изредка перекликались между собой. Итак, мусульмане могли совершенно незамеченными перейти реку. После напрасной попытки взобраться на стену они обратились снова к пастуху, указавшему им пролом, который не доходил до земли, но зато снизу росло фиговое дерево. После многих бесполезных усилий один из мусульман достиг вершины дерева, и Могит подал ему кусок ткани, который был свернут на его голове в виде тюрбана. Употребляя эту ткань вместо веревки, многие из мусульман влезли на дерево, и с него перешагнули в пролом. Когда это было сделано, Могит, стоявший на лошади у ворот Статуи, приказал солдатам, достигшим пролома, броситься с мечом в руках на расставленную у ворот стражу (у Мостовых ворот, но тогда еще не было моста; его поставили на этом месте позже, но он был разрушен). Повинуясь приказанию, мусульмане напали на часовых у ворот Статуи (тогда их называли еще воротами Алжезираса), убили многих, других обратили в бегство и разломали запоры, так что Могит мог войти вместе со своими товарищами, соглядатаями и путеводителями. Он направился прямо на дворец.

Правителя уже там не было. Узнав о взятии города, он вместе с солдатами, в числе 400 или 500 человек, и со многими из жителей, вышел из западных Севильских ворот и решился искать убежища в церкви св. Ачискла, стены которой были толсты и надежны. Спустя некоторое время Могит, завладев дворцом, и дав знать Тарику об успехе предприятия, приступил к осаде церкви.

Между тем отряд, посланный против Рейи, завоевал всю область, а жители искали спасения в горах. Третий отряд, отправившийся в Эльвиру, осадив ее столицу, взял ее приступом и вверил охранение города гарнизону, составленному из евреев и мусульман. Так поступали везде, где находили евреев, исключая Малагу, столицу Рейи (составитель хроники называет Малагу по ошибке, вместо Архидоны), потому что там не было найдено евреев, и сами жители все разбежались.

Затем отряд двинулся против Тодмира. Собственно этот город назывался Ориола (ныне Orihuela); но иногда его называли Тодмиром по имени принца (по вестготскому произношению – Теодемир). Этот принц вышел навстречу мусульманам с многочисленной армией; но, после слабого сопротивления его солдаты обратились в бегство по долине, где ничто не могло служить им прикрытием, и потому мусульмане могли всех их перерезать. Многие, однако, спаслись в Ориоле; но они потеряли храбрейших воинов, и притом крепость была плохо укреплена. К счастью для христиан, их предводитель, Тодмир, был человек опытный и весьма умный. Видя малочисленность своего войска, он приказал женщинам распустить волосы, вооружил их

копьями и поставил на стенах сзади солдат; потом он попытался вступить в переговоры с неприятелем. С этой целью он отправился парламентером и так умел расположить в свою пользу предводителя мусульман, что тот согласился заключить с ним договор, в силу которого Тодмир и его подданные сохранили все имущество неприкосновенным. Таким образом, вся страна Тодмира была подчинена господству мусульман, хотя они и не воспользовались никаким правом завоевателя. По заключении договора Тодмир объявил свое имя и пригласил мусульман войти в город. Приняв это приглашение, они успели заметить крайнюю слабость гарнизона и раскаивались в условиях договора, но не нарушили его. После того они уведомили Тарика об успехе своего оружия. Несколько мусульман осталось в Тодмире, но большая часть направилась к Толедо на соединение с Тариком.

Три месяца уже Могит осаждал христиан в церкви, когда в одно утро приходят к нему сказать, что правитель тайно оставил церковь и убежал в Кордовские горы (Сьерра-Морена), чтобы присоединиться к своим единоверцам в Толедо. Не говоря никому ни слова, Могит вскочил на коня и пустился в погоню за правителем. Близ одной деревни он нагнал его, в то время как он искал спасения в бегстве на своем гнедом коне. Христианин оглянулся и, увидев Могита, скакавшего во весь дух, потерял голову. Сбившись с дороги, он остановился перед рвом и понуждал лошадь перепрыгнуть, но она оборвалась и сломала шею. Могит нашел христианина распростертым на своем щите. Это был единственный христианский принц, попавшийся в плен; все прочие заключили договоры и удалились в Галисию. Наконец Могит принудил христиан, запершихся в церкви, сдаться и отрезал им головы. Эта церковь с того времени называлась «церковью пленных». Правитель же был заключен в темницу; Могит имел намерение представить его предводителю правоверных. Заметим при этом, что мусульманский полководец, поручив охрану города евреям, сам продолжал занимать дворец, а городские дома раздал своим товарищам.

Между тем Тарик приблизился к Толедо. Поставив в этом городе свой гарнизон, он пошел в Гвадалаксару, проник в Сьерру через ущелье, называемое «проходом Тарика», и явился перед городом, лежавшим по ту сторону Сьерры (то есть Сьерры-де-Гвадаррамо). Этот город называется Столом, потому что в нем нашли стол Соломона, сына Давида. Края этого стола были усыпаны изумрудами, точно так же, как и его ножки, которых было триста шестьдесят пять. После того Тарик взял город Амайю, где он нашел множество серебра и драгоценностей; в 93-м году Тарик возвратился в Толедо.

Муза ибн Носайр высадился в Испанию, в месяце рамадане 93-го года (июнь 712 г.), сопровождаемый громадной армией, число которой, по мнению некоторых, достигало 18 тысяч. Узнав о подвигах Тарика, он его возненавидел. Когда Муза прибыл в Алжезирас, ему советовали следовать дорогой Тарика, но он отказался, тем более, что христиане, сопровождавшие его, говорили: «Мы покажем тебе лучшую дорогу, по которой можно будет покорить города, несравненно важнее тех, которые завоевал Тарик». Довольный таким предложением и одинаково раздраженный поведением Тарика, Муза направился сначала к столице Сидоне (Medina-Sidonia), взял ее приступом, а потом к Кармоне. Это был один из самых укрепленных городов Испании, и так как его нельзя было взять ни штурмом, ни блокадой, то Муза употребил хитрость: он отправил туда нескольких христиан, которые, подобно Юлиану, подчинились ему добровольно (может быть, они были подданными Юлиана). Они вошли в город с оружием и сказались беглецами. Жители Кармоны впустили их в город, а они ночью открыли Кордовские ворота всадникам Музы, которые и устремились на стражу.

Овладев Кармоной, Муза пошел на Севилью. Это был, между всеми городами Испании, самый обширный, самый важный, лучше обстроенный и самый богатый древними памятниками. До завоевания Испании готами Севилья была столицей (то есть местопребыванием римского правителя); короли готские предпочли ей Толедо, но она



Арабское седло

продолжала оставаться центром науки как светской, так и религиозной, и там продолжала жить римская знать. После нескольких месяцев осады Муза взял ее, а христиане удалились в Бежу (Beja). Составив из евреев гарнизон в Севилье, Муза пошел против Мериды. Там находилось много испанских грандов, древних памятников, мост, дворец и великолепные церкви. Когда Муза хотел приступить к осаде города, жители выступили против него. Кровавая битва произошла в одной миле от города. На следующий день дело возобновилось, но ночью Муза укрыл несколько пехоты и кавалерии в каменоломнях, находившихся поблизости, и когда начался бой, этот отряд напал неожиданно на неприятеля и произвел в его рядах ужасное опустошение. Те, которые имели счастье избежать меча мусульман, отступили в город, отлично укрепленный и стены которого не имели себе подобных. Потому Муза осаждал его без всякого успеха в течение нескольких месяцев. Тогда он приказал сделать подкоп, и мусульмане начали подходить под стены башни; но их остановила в работе почва, необыкновенно твердая, называемая по-испански argamasa, против которой ломы и лопаты оставались бессильными. Пока они трудились пробить это место, христиане ударили тревогу. Все мусульмане погибли мучениками в подкопе, и до сих пор та башня носит название «башни мучеников»; немногим известно такое происхождение этого имени.

После такой катастрофы христиане рассуждали: «Мы сломили силу неприятеля; теперь более нежели когда-нибудь он будет расположен заключить с нами мир; следовательно, надо открыть переговоры». По одобрении такого предложения, они отправили к Музе парламентеров. Переговоры не удались; но накануне праздника они пришли вторично. Придя в первый раз, христиане заметили, что у Музы борода была седая; на этот же раз, напротив, они увидали, что она коричневая: Муза окрасил ее перед тем. Они удивились и говорили между собой: «Я считаю его людоедом, или это не тот человек, кого мы видели вчера». Когда послы явились в третий раз, в день перелома поста, они увидели, что у Музы борода черная, и по возвращении к своим, говорили им: «Безумцы, вы боретесь с про-

роками, которые по своему произволу преобразуются и молодеют. Их король из старца, каким он был, сделался юношей. Нужно принять все условия, какие бы он ни предложил». Тогда осажденные заключили договор, в силу которого вся собственность тех христиан, которые погибли от засады, и тех, которые убежали в Галисию, будет отдана мусульманам, а богатства и украшения церквей достанутся Музе. По заключении этого договора христиане открыли мусульманам городские ворота, в день перелома поста 94-го года (июнь 713 г.).

Вскоре затем севильские христиане составили заговор против мусульманского гарнизона и, подкрепленные христианами из Ниеблы и Бежи, убили 80 человек. Остальной гарнизон бежал и явился в лагерь к Музе под Меридой. По сдаче этого города Муза отправил своего сына Абдалазиза со значительной армией против Севильи. Абдалазиз овладел городом и возвратился к отцу.

В конце месяца шоваля (конец июня 713 г.) Муза оставил Мериду и отправился в Толедо. Тарик, извещенный о его прибытии, выступил ему навстречу, в знак уважения. Они сошлись в одном местечке области Талаверы. Завидев Музу издалека, Тарик сошел с коня; но Муза ударил его плетью по голове и сурово упрекал за неповиновение. Впоследствии, когда Муза прибыл в Толедо, он сказал Тарику: «Покажи мне всю добычу, и в особенности стол». Тарик показал ему стол; но так как у стола недоставало одной ножки, которую вынул Тарик, то Муза спросил его, где находится ножка. «Я ничего не знаю,– отвечал Тарик,– это уже было так». Муза приказал заместить недостающую ножку новой из золота и уложить стол.

Затем он пустился в дальнейший поход и овладел как Сарагосой, так и другими городами той же провинции; но в 95-м году (26 сентября 713 – 15 сентября 714 г.) вестник от калифа Валида явился к нему с приказанием возвратиться ко двору. Муза вручил управление всей Испанией своему сыну Абдалазизу, назначив Севилью резиденцией. Этот город был расположен на берегу реки, столь широкой, что нельзя было вплавь достигнуть противоположного берега. Муза пожелал, чтобы там расположился мусульманский флот, и чтобы Севилья сделалась портом всей Испании. Таким образом, Абдалазиз остался в Севилье, а его отец оставил полуостров, в сопровождении Тарика и Могита. Этот последний вез с собой взятого им в плен кордовского правителя. Муза приказал выдать ему пленника. Но Могит, гордый своим титулом вассала самого калифа, отвечал ему так: «Клянусь, ты не овладеешь им; мне принадлежит право представить его калифу». Тогда Муза отнял пленника силой; но ему говорили: «Мы будем удивлены, если тебе удастся доставить пленника ко двору живым». В самом деле, Могит воскликнул: «Я взял его в плен; теперь у меня отнимают его; я отрежу ему голову» – и он это сделал.

Из Акбар Маджмуа[1]

---

[1] Акбар Маджмуа (Akhbâr Madjmoua, то есть исторический сборник) – собрание древних документов испанско-арабской литературы, которое до сих пор остается в манускрипте (Manuscr. de Paris, anc. fonds, № 706). Он замечателен по своему характеру, отличающему его от ортодоксальных писателей мусульманской исторической школы того времени: в то время, когда все они, в IX и X вв., с недоверчивостью к самим себе смотрели с благоговением на авторитеты Багдада и Каира, и для истории окружающего их мира не смели пользоваться другими сказаниями, кроме восточных, неизвестный автор книги Акбар Маджмуа ограничился чисто испанскими источниками и без фантастических украшений и особенного религиозного фанатизма излагал дело с беспристрастием, возможным для мусульманина. Французский перевод Акбар Маджмуа помещен в VI главе первого тома Recherches sur l'hist. et la littérat. de l'Espagne pendant le moyen âge, par R. Dozy, 2-е изд. Leyden. 1860. См. подробности об этом историческом сборнике во введении к изданию сочинений одного испанско-арабского компилятора Ибн-Адхари; Introduction, p. 10–12, par. Dozy.

Дози

О ХАРАКТЕРЕ ГОСПОДСТВА МАВРОВ В ИСПАНИИ (1861 г.)

Испания при вестготах управлялась еще хуже, чем во времена римского владычества. Государство уже с давнего времени носило в себе зародыш разрушения; слабость его была такова, что с помощью измены было достаточно войска в двенадцать тысяч человек, чтобы ниспровергнуть его в одно мгновение ока.

Правитель Африки, Муза ибн-Носаир, распространил пределы Арабской империи до берегов океана. Одна Цеута еще сопротивлялась ему. Она принадлежала Византийской империи, владевшей прежде всем африканским прибрежьем; но император находился слишком далеко от этого укрепления, чтобы подавать ему действительную помощь, и потому оно вступило в очень тесные отношения с Испанией. Так, Юлиан, правитель города, послал свою дочь к толедскому двору, чтобы дать ей воспитание, соответственное своему рождению; но она имела несчастье понравиться вестготскому королю Родерику, и тот ее обесчестил. Вне себя от гнева, Юлиан открыл Музе ворота своего города, заключив с ним предварительно выгодный договор; вслед за тем он заговорил с ним об Испании, приглашал его попытаться завоевать эту страну, и отдал свои корабли в его распоряжение. Муза послал к калифу Валиду испросить его разрешения. Калиф считал предприятие очень опасным. «Пошли сначала в Испанию несколько легких отрядов, чтобы разведать страну,– отвечал он Музе,– но остерегайся, по крайней мере на время, подвергать большую армию опасностям заморского предприятия». Муза послал потому в Испанию одного из своих подчиненных, по имени Абузор-Тарифа, с четырьмястами человек и сотней лошадей. Это войско переехало пролив на четырех кораблях, которые дал Юлиан, разграбило окрестности Алжезираса и возвратилось в Африку (июль 710 г.).

В следующем году Муза воспользовался удалением Родерика, занятого войной с восставшими басками, и послал в Испанию другого из своих подчиненных, Тарика ибн-Зийяда, начальника своего авангарда, с семью тысячами мусульман. Почти все они были варварийцы; их сопровождал сам Юлиан. Они переехали пролив отдельными отрядами на четырех кораблях, послуживших Тарифу, потому что у мусульман не было других. Тарик соединил их на скале, которая и теперь еще носит его имя (Gebal-Taric, Gibraltar). У подошвы этой скалы лежал город Картея. Тарик послал против него отряд под предводительством одного из немногих арабских начальников, которые находились в его войске, именно Абдальмелика, из племени Моафир. Картея была взята мусульманами, и Тарик уже дошел до озера Лаго-де-Янда, когда узнал, что навстречу ему идет король Родерик во главе многочисленной армии. Так как он имел только всего четыре корабля, то для него

ДОЗИ (REINIER DOZY, род. в ЛЕЙДЕНЕ в 1820 г.). Знаменитый голландский ориенталист из французской фамилии, которая переселилась в Голландию во время преследования протестантов при Людовике XIV. Его исследования по древней литературе арабско-испанской в связи ее с национальной произвели большой переворот в воззрениях на ту эпоху. Дози составил себе первую ученую известность изданием: 1) Dictionnaire détallé des noms des vetements chez les Arabes. Amsterd. 1845; и 2) Historia Abbadidarum (Leyd. 1846–52; в 2 т.). К последним его произведениям, особенно замечательным, относятся: 1) Recherches sur l'histoire politique et littéraire de l'Espagne, pendant le moyen age. Leyd. 1849; 2) Histoire des Musulmans d'Espagne jusqu'a la conquéte de l'Andalousie par les Almoravides (711–1110), Leyd. 1861, в 4 т. Сверх того, он написал множество отдельных исследований, из которых особенно замечательно то, что он писал о Сиде; все они помещены большей частью в Journal Asiatique de la ville de Leyd.



Авангард арабского войска

было трудно в один раз переправить свои войска обратно в Африку, если бы он даже того хотел; но Тарик об этом и не думал: самолюбие, жажда корысти, фанатизм толкали его вперед. Он послал к Музе просить подкрепления, и Муза, воспользовавшись судами, построенными после отправления Тарика, послал ему еще пять тысяч человек. Но это число было еще невелико в сравнении с огромной армией Родерика; зато на помощь мусульманам подоспела измена.

Родерик был собственно похитителем короны. Поддерживаемый многими из грандов, он сверг с престола, и даже, кажется, убил своего предшественника, Витицу. Потому он имел против себя довольно сильную партию, во главе которой стояли братья и сыновья последнего короля. Чтобы склонить на свою сторону предводителей этой партии, он сделал их начальниками войска, и, отправляясь против Тарика, пригласил их присоединиться к нему. Они исполнили то, к чему их обязывал закон, и явились на зов, но с сердцем, полным злобы, ненависти и недоверия. Родерик старался их успокоить, разуверить, привязать к себе, но имел в этом мало успеха, и они составили между собой план изменить ему при первом сражении с неприятелем. В умысле их не только не было, но и не могло быть намерения предать отечество варварийцам, потому что они сами желали власти, трона, а предавая страну африканцам, они не достигли бы такой цели. Дело в том, что, по их мнению (и в сущности они были правы), варварийцы вторглись в Испанию не для того, чтобы утвердить там свое господство, но единственно с целью набега. «Все, чего хотят эти пришельцы,– говорили они,– это добыча; когда они ее приобретут, то снова возвратятся в Африку». Они желали, собственно, того, чтобы Родерик, в случае поражения, потерял славу знаме-

нитого и счастливого предводителя, и тогда они имели бы возможность, с большим успехом, чем прежде, предъявить свои права на корону. Могло также случиться, что Родерик был бы убит, а в таком случае их положение сделалось бы еще лучше. Одним словом, они руководились узким эгоизмом и не умели всего предвидеть; хотя они предали свое отечество неверным, но тем не менее это случилось независимо от их воли.

Сражение произошло на берегах реки Вади-Бекка[1] (19 июля 711 г.). Оба крыла испанской армии были под начальством двух сыновей Витицы и состояли преимущественно из крестьян этих принцев. Они охотно повиновались своим господам, когда эти приказали им прикрыть тыл. Центр, бывший под начальством самого Родерика, некоторое время держался твердо; но наконец он дрогнул, и тогда мусульмане произвели страшную резню между христианами. Родерик, как кажется, был убит; по крайней мере, он больше не появлялся, и страна оставалась без короля именно в то время, когда он более всего был нужен. Тарик воспользовался этим обстоятельством. Вместо того, чтобы возвратиться в Африку, как все полагали и как ему то приказывал Муза, он смело двинулся вперед. Этого было достаточно, чтобы подточенное заранее государство быстро разрушилось. Все недовольные и угнетенные помогли грабителям исполнить их намерение. Рабы не хотели подняться, боясь, что вместе с собой спасут и своих господ. Евреи возмутились везде и помогали мусульманам. Одержав новую победу при Эчидже, Тарик мог уже идти в Толедо с главной частью своих войск и послать отдельные отряды против Кордовы, Архидоны и Эльвиры. Архидона была занята без боя, а жители удалились искать убежища в горы. Эльвира была занята приступом и вверена гарнизону, составленному из евреев и мусульман. Кордову предал африканцам один из пастухов, раб, указавший им пролом, через который они могли проникнуть в город. В Толедо христиане были преданы евреями. Повсюду господствовало невыразимое смятение. Гранды и прелаты, казалось, потеряли голову. «Бог наполнил страхом сердца неверных»,– говорит один мусульманский летописец, и в самом деле, это было всеобщее бегство. В Кордове не нашли ни одного гранда: они бежали в Толедо, а из Толедо – в Галисию. Даже прелат оставил Испанию: для большей безопасности он уехал в Рим. Те, которые не искали спасения в бегстве, предпочли скорее заключить мир, чем защищаться. К числу таких принадлежали принцы из фамилии Витицы. Придавая своей измене значение заслуги в глазах мусульман, они просили и получили коронные владения, которыми короли пользовались только пожизненно[1], и которые состояли из трех тысяч мыз. Сверх того, Оппас, один из братьев Витицы, был назначен правителем г. Толедо.

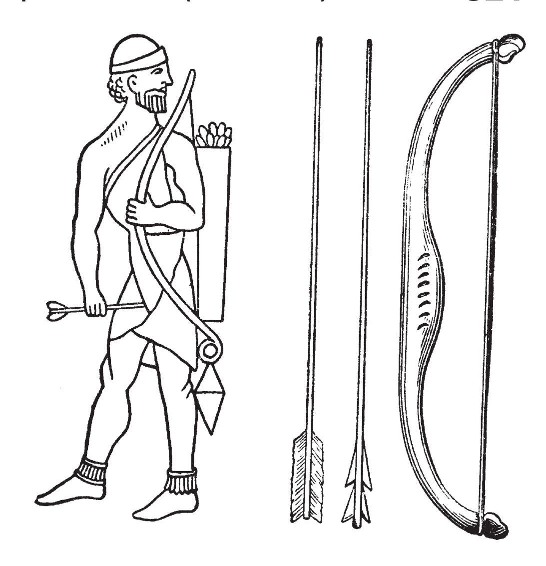
Вследствие неожиданного счастливого стечения обстоятельств простой набег заключился завоеванием. Но Муза был очень недоволен таким результатом. Он, конечно, желал видеть Испанию покоренной, но не хотел, чтобы такой подвиг был совершен кем-нибудь другим: он завидовал славе Тарика и материальным выгодам завоевания. К счастью, еще оставалось довольно дела на полуострове: Тарик овладел не всеми городами и захватил не все богатства страны. Муза решился, вследствие этого, лично отправиться в Испанию, и в июне 712 г. переплыл пролив в сопровождении восемнадцати тысяч мавров. Он овладел Мединой-Сидонией, и испанцы, соединившиеся с ним, взялись выдать ему Кармону. Они подошли с оружием в руках к городским воротам и, сказавшись беглецами, спасающимися от преследования неприятеля, просили и получили позволение войти в город; а затем, воспользовавшись темнотой ночи, они отворили ворота маврам. Гораздо труднее было взять Севилью. Это был самый обширный город в королевстве; надо было осаждать его долгое время, чтобы принудить к сдаче. Мерида также оказала продол-

[1] Эта маленькая речка носит теперь имя Саладо и вливается в море неподалеку от Трафальгарского мыса между Vejer de la Frontera и Conil.

[1] Forum Judicum 1. V, t. I. 1, 2.

жительное и мужественное сопротивление, но, наконец, и она капитулировала (1 июня 713 г.). Тогда Муза направился в Толедо. Тарик вышел к нему навстречу, для выражения своего уважения, и, завидев его еще издалека, сошел с лошади; но Муза был так раздражен против него, что дал ему несколько ударов плетью. «Зачем ты шел вперед без моего позволения?– сказал он ему,– я приказал тебе произвести только набег и немедленно возвратиться в Африку».

Остальная часть Испании, за исключением нескольких северных провинций, была покорена легко. Сопротивление не служило ни к чему; отсутствие начальника лишало его направления и плана. Сверх того, испанцам выгоднее было подчиняться как можно скорее. Поступая таким образом, они заключили мир на довольно выгодных условиях, тогда как, сдаваясь после обороны, теряли свое имущество.



Арабский лук

Вообще завоевание Испании маврами не было большим бедствием. Сначала, правда, явилась на некоторое время анархия, как то случилось и в эпоху вторжения германцев. Мусульмане грабили во многих местах, сожгли несколько городов, повесили грандов, не успевших скрыться, и убивали кинжалами детей; но правительство мавров обуздало вскоре эти беспорядки и жестокости, и когда было восстановлено спокойствие, то изнеможенное с того времени народонаселение покорилось своей участи без большого ропота. И в самом деле, владычество мавров было не более несносно, чем владычество вестготов. Победители оставили побежденным их законы и судей; дали им туземных графов и правителей, обязанных взимать налоги, которые они должны были представлять, и разбирать несогласия, возникавшие между жителями. Земли провинций, покоренных вооруженной рукой, а также земли, принадлежавшие церкви или грандам, убежавшим на север, были разделены между победителями; но рабы, жившие там, там и остались. Это было в порядке вещей, а притом арабы поступали так везде: одни туземцы умели обрабатывать землю, и, кроме того, победители считали это занятие слишком для себя унизительным. Поэтому они заставили рабов обрабатывать поля, как то было прежде, и отдавать владельцу-мусульманину четыре пятых сбора хлеба и других произведений земли. Те же, которые жили на государственной земле – а их было много, потому что под государственной землей разумелась пятая часть конфискованных земель, – те вносили только третью часть сбора. Сначала они представляли ее в казну, но впоследствии такое положение дел изменилось. Из части государственных поместий образовали лены (hefs) и отдавали их маврам, пришедшим в Испанию позже, которые сопровождали Сама и сириян, прибывших под предводительством Бальджи. Однако христианские земледельцы не потеряли ничего от такой меры; вся перемена для них состояла в том, что третья часть произведений земли платилась ими не в казну, а ленникам. Что касается других христиан, то их положение зависело от договоров, которые им удалось заключить, а некоторые из таких договоров были очень выгодны. Так, жители Мериды, находившиеся в городе во время капитуляции, все сохранили свое имущество; они уступили только собственность и украшения церквей. В той провинции, где управлял Теодемир и где, в числе прочих городов, были Лорка, Мула, Оригуэла и Аликанте, христиане не уступили



Эта работа на слоновой кости выполнена после завоевания Египта мусульманами на рубеже VII–VIII в. Примечательно, что всадник использует стремена, а короткий меч и весьма характерная уздечка указывают на их арабское происхождение

решительно ничего. Они обязались только платить подать, частью деньгами, частью натурой. Вообще можно сказать, что христиане удержали большую часть своих имуществ. Кроме того, они приобрели право отчуждать их; этим правом они не пользовались при вестготах. Со своей стороны, они обязаны были платить государству поголовную подать; сорок восемь дирхем[1] с богатых, двадцать четыре с людей, имеющих среднее состояние, и двенадцать дирхем с тех, которые жили трудами рук. Эта подать платилась по одной двенадцатой в конце каждого лунного месяца; но женщины, дети, монахи, калеки, слепые, больные, нищие и рабы были освобождены от нее. Кроме того, владельцы должны были платить kharâdj, то есть налог на произведения земли, сообразно с почвой каждой провинции, но который обыкновенно доходил до двадцати со ста. От поголовной подати освобождался тот, кто принимал исламизм; но kharâdj, напротив, продолжался, несмотря на обращение владельца.

Итак, положение, в котором Испания увидела себя при мусульманах, в сравнении с тем, в каком она была прежде, не было слишком тяжело. Прибавьте к этому, что мавры были очень веротерпимы. В деле религии они не неволили никого. Даже более: правительству, если оно не было очень набожно (и что составляло исключение), не нравилось, когда христиане обращались в исламизм, потому что в этом случае казна много теряла. В свою очередь, христиане не оставались неблагодарными. Они были признательны победителям за их терпимость и справедливость, и предпочитали их господство господству, например, германцев, франков, так что в продолжение всего VIII в. восстания были очень редки; летописцы упоминают только одно, именно возмущение христиан в Бедже, да и в этом случае они, кажется, служили орудием одного властолюбивого араба. Даже священники, по крайней мере, в первое время, редко были недовольны, хотя они имели более к тому причин. Об их взгляде на новый порядок вещей можно судить по одной латинской хронике, писанной в Кордове в 754 г., которую неправильно приписывают известному Исидору Беджскому. Автор этой хроники, хотя духовное лицо, но благоволит мусульманам более, чем какой-нибудь другой испанский писатель до XIV в. Это не потому, чтобы он страдал недостатком патриотизма; напротив, он сожалеет о несчастьях Испании, и владычество мавров есть для него владычество варваров, efferum

[1] Dirhem – 12 су на наши деньги (то есть около 25 к. сер.); следовательно, тариф для 3-х классов был: 28 фр. 80 сант. – 14, 40, – 7, 20 (то есть около 11 р. 35 к. –5,75,–2,80); но ценность серебра в VIII в. относилась к настоящей, как 11 к 1 (см.: *Leber*. Essai sur l'appréclation de la fortune privée au moyen âge), потому действительный налог достигал: фр. 316,80–158,40,–79,20 сантимов.

imperium; но если он и ненавидит победителей, то ненавидит в них людей другого племени более, чем людей другой религии. Поступки, которые заставили бы негодовать духовное лицо иного времени, не вызывают у него ни одного упрека. Он рассказывает, например, что вдова короля Родерика вышла замуж за Абдалазиза, сына Музы; при этом он не оскорбляется таким браком, и, по-видимому, находит его совершенно естественным.

В некоторых отношениях владычество мавров было даже благом для Испании; оно произвело необходимый общественный переворот, уничтожило большую часть зол, которые заставляли страну стенать в продолжение многих веков. Значение привилегированных классов, духовенства и аристократии было уменьшено, даже уничтожено, а так как конфискованные земли были разделены между весьма многими, то явилась, сравнительно, по крайней мере, мелкая собственность. Это было величайшим счастьем и одной из причин цветущего состояния земледелия в Испании при маврах. С другой стороны, завоевание улучшило положение класса рабов. Исламизм более благоприятствовал освобождению рабов, чем христианство, в том виде, как его понимали епископы Вестготского королевства. Магомет, говоря во имя Вечного, повелевал позволять рабам выкупаться. Освободить раба было добрым делом, и таким образом можно было очиститься от многих грехов. Итак, у мавров рабство не было ни продолжительно, ни жестоко. Часто раб объявлялся свободным после нескольких лет службы, особенно когда принимал исламизм. Положение рабов, находившихся на мусульманских землях, также улучшилось. Они сделались чем-то вроде фермеров и пользовались некоторой независимостью, потому что могли обрабатывать землю как умели, так как их мусульманские владетели не обращали внимания на сельские работы. Что касается рабов и слуг христиан, то завоевание дало им очень легкое средство для приобретения свободы. Для того им только стоило убежать на землю мусульманина и произнести несколько слов: «Нет Бога, кроме Бога, и Магомет пророк Его». С этих пор они становились мусульманами и «отпущенниками Аллаха», как выражался Магомет. Число рабов, получивших свободу таким образом, увеличивалось, и нельзя не удивляться легкости, с которой они оставляли христианство. Несмотря на неограниченную власть духовенства во время вестготов, христианская религия не пустила в Испании очень глубоких корней. Испания, почти совершенно языческая в то время, когда Константин сделал христианство религией государственной, оставалась долго верной древнему культу, и даже в эпоху вторжения мавров язычество и христианство спорили еще о первенстве, так что епископы принуждены были прибегать к угрозам и принимать энергичные меры против почитателей ложных богов.

У тех, которые называли себя тогда христианами, христианство было более на языке, чем в сердце. Потомки римлян наследовали от своих предков их скептицизм; потомки готов так мало интересовались религиозными вопросами, что из ариан они вдруг сделались католиками, как только король их Реккаред подал им в том пример. Богатые прелаты Вестготского королевства, отвлекаясь другими заботами, как, например, диспутом с католиками, рассуждениями о догматах и таинствах, государственными делами, преследованием евреев, не могли найти свободного времени «умалиться с малолетними, лепетать с ними первые слова истины, как отец забавляется, лепеча первые слова со своим детищем», по выражению св. Августина, и если они успевали заставлять принимать христианство, то не сделали ничего удивительного, чтобы рабы не могли устоять против искушения, когда победители предлагали им свободу с условием принять исламизм. Некоторые из этих несчастных были еще язычниками; другие же так мало знали христианство, религиозное воспитание, которое они могли получить, было так элементарно, или скорее ничтожно, что таинственность католичества и исламизма была для них одинаково непроницаема[1]; а то, что они

[1] Испанский автор, писавший в XVII в., в правление Филиппа IV – это время напоминало собой вестготскую эпоху Испании – выражается следующим

знали и понимали очень хорошо, было то, что католическое духовенство жестоко обмануло их надежды на освобождение, которые некогда внушило, и они хотели во что бы то ни стало сбросить иго, тяготевшее над ними. Наконец, не одни простолюдины оставляли прежнюю веру. Многие из грандов сделали то же самое, или для того, чтоб не платить поголовную подать, или для того, чтобы сохранить свои имущества, когда мавры начали нарушать договоры, или, наконец, потому, что искренно верили в сверхъестественное происхождение исламизма.

До сих пор мы говорили только об улучшениях, произведенных завоеванием Испании маврами в общественном положении этой страны; но чтобы быть беспристрастными, мы должны прибавить, что если такое завоевание в некоторых отношениях было благом, то во многих других оно было злом. Так, исповедание веры было свободно, но церковь не имела свободы; она находилась в грубом и постыдном рабстве. Право созывать соборы, поставлять и низлагать епископов перешло от вестготских королей к мусульманским султанам, так же как на севере оно было удержано королями Астурии. Это право, вверенное неприятелю христианской религии, сделалось для церкви неиссякаемым источником бедствий, позора и оскорблений. Если случалось, что некоторые епископы не хотели участвовать в соборе, то султаны замещали их места евреями и мусульманами. Они участвовали в оргиях арабских царедворцев, продавали сан епископа тому, кто мог более заплатить, с публичного торга, так что христиане должны были вверять свои самые дорогие и самые святые интересы торжественных церковных праздников неверующим, публично отрицавшим будущую жизнь, людям презренным, которые, не довольствуясь продажей самих себя, продавали свою паству. Однажды чиновники государственной казны жаловались на то, что многие христиане в Малаге прятались, и таким образом им удавалось избавиться от поголовной подати. Тогда Гостегезис, епископ того диоцеза, обещал им доставить полный список обложенных податью. Он сдержал свое слово. Во время своей ежегодной поездки по диоцезу епископ просил прихожан сообщить ему их имена, также их родственников и друзей, для того, чтобы, как говорил он, записать их в поминанье и молиться Богу о каждом из своих духовных детей. Христиане, доверяя своему пастырю, попались в западню. С тех пор никто не мог избавиться от подати: благодаря списку епископа сборщики знали всех несущих подати.

С другой стороны, мавры, упрочив свое господство, соблюдали договоры с меньшей точностью, чем тогда, когда власть их была еще шатка. Подобный случай, например, произошел в Кордове. В этом городе христиане сохранили только собор во имя святого Винцента; все другие церкви были разрушены; но обладание собором было им обеспечено договором. В продолжение многих лет этот договор был исполняем; но когда население Кордовы увеличилось новыми колониями сирийских арабов, и мечети оказались недовольно вместительны, то сирийцы решили, что и в этом городе надобно сделать то же, что они сделали в Дамаске, Эмезе и других городах своего отечества, где они отняли у христиан половину церквей и обратили их в мечети. Правительство утвердило этот взгляд, и христиане принуждены были уступить половину собора. Очевидно, это было насилие, нарушение трактата. Позднее, в 784 г., Абдерам I пожелал, чтобы христиане продали ему другую половину. Они с твердостью отказали ему, говоря, что если бы они со-

---

образом, по поводу того же самого вопроса: «Нисколько не удивительно, что жители Альпухарраса отреклись с такой легкостью от веры предков. Те, которые населяют теперь эти горы, могут быть названы «древними христианами» (Christianos viejos); в их жилах нет ни капли нечистой крови; они – подданные католического короля, и при всем этом, вследствие недостатка наставников и под гнетом, жертвой которого сделали их, они до того невежественны во всем, что необходимо знать для вечного спасения, что в них с трудом можно отыскать какие-нибудь следы христианства. Можно ли подумать, что если бы теперь, и от чего избави Боже, страна их была завоевана неверными, эти люди будут долго думать, чтобы оставить родную веру и принять религию победителей?» Pedraça, Historia ecclesiastica de Granada, fol. 95 v.

гласились, то у них не было бы ни одного здания, где им можно было бы отправлять свое богослужение. Абдерам, между тем, настаивал, и наконец дело кончилось полюбовной сделкой; христиане уступают собор за сто тысяч динариев[1] и получают позволение возобновить разрушенные церкви. В этом случае Абдерам был справедлив; но он не всегда был таков, потому что он же нарушил договор, заключенный между сыновьями Витицы и Тариком и утвержденный калифом; а именно, он конфисковал земли Ардабаста, одного из этих принцев, единственно потому, что находил их слишком обширными для христианина. Другие договоры были ограничены или изменены совершенно произвольно, так что в IX в. от них едва остались некоторые следы. Кроме того, так как муллы поучали, что правительство должно выказывать свое усердие к религии возвышением окладов податей на христиан, то поэтому на них наложили столько чрезмерных податей, что уже в IX в. многие христианские населения, и между прочими население Кордовы, совершенно обеднели и пришли в стеснительное положение. Другими словами, с Испанией случилось то же, что и со всеми другими странами, которые были покорены маврами: их господство из мягкого и человечного, каким оно бывало вначале, перерождалось в невыносимый деспотизм. С IX в. завоеватели полуострова буквально следовали совету калифа Омара, который выразился довольно сурово: «Мы должны поедать христиан, и наши потомки должны поедать их потомков до тех пор, пока будет существовать исламизм».

Впрочем, вовсе не христиане больше всего жаловались на мусульманское господство, спустя один век после завоевания. Самыми недовольными были ренегаты, которых мавры называли мовалладами, то есть усыновленными. Эти вероотступники не все были одинаковых убеждений. Между ними были так называемые тайные христиане, то есть люди, горько упрекавшие себя в отступничестве. Они были весьма несчастны, потому что не могли более обратиться в христианство. Мусульманский закон в этом случае неумолим. Принятое раз исповедание веры, и быть может принятое в минуту неудовольствия, слабости, уныния, крайности, когда не было денег, чтобы заплатить поголовную подать, или от страха быть осужденным на бесчестное наказание христианским судьей, – принятое раз исповедание веры, говорим мы, заставляло ренегата, хотя бы он был ежеминутно раздираем криком совести, оставаться навсегда мусульманином; в случае же отступления закон угрожал ему смертью. Потомки ренегатов, хотевшие возвратиться в лоно церкви, еще более имели причин жаловаться; они страдали за ошибку своих предков. Закон, объявляя их мусульманами, как рожденных от мусульманина, точно так же угрожал смертью и им, если они отвергали Магомета. Мечеть овладевала ими с колыбели и провожала до могилы.

Потому было естественно, что раскаявшиеся ренегаты роптали; впрочем, они составляли меньшинство: большинство было искренне привязано к исламизму. Последние, однако, тоже роптали. С первого раза такое явление должно удивить. Большая часть ренегатов состояла из освобожденных, то есть людей, положение которых улучшилось вследствие завоевания; как же могло случиться, что они не были довольны маврами? Между тем нет ничего проще. «История,– говорит Токвиль,– представляет много таких случаев. Переворот не всегда бывает следствием ухудшающего положения дел; чаще всего можно видеть народ, который безропотно сносит и как будто не чувствует самых обременительных законов, и который сбрасывает с себя их иго именно тогда, когда начнут ему уменьшать их тяжесть». Прибавьте к этому, что общественное положение ренегатов было невыносимо. Обыкновенно мавры отстраняли их от прибыльных должностей и от всякого участия в управлении государством; они показывали вид, что не верят искренности их обращения; обходились с ними с безграничной дерзостью; видя еще печать рабства на множестве лиц, недавно освобожденных, они пятнали всех

---

[1] Около миллиона франков (то есть 400 т. р. с.), но по настоящей ценности серебра около 11 млн франков.

их именем рабов или сыновей рабов, хотя в числе их находились некоторые из самых знатных и самых богатых владельцев страны. Ренегаты не могли привыкнуть к такому обращению. У них было сознание своего достоинства и материальной силы, которой они располагали, потому что составляли большинство народонаселения. Они не хотели, чтобы власть была исключительным достоянием одной касты, тесно заключенной в своем индивидуализме; они не хотели больше переносить своего подчиненного состояния, уничижения в обществе, наглого презрения и господства нескольких шаек чужеземных солдат, живших разбросанно по квартирам. Не удивительно после того, что ренегаты не только первые взялись за оружие, но и смело начали войну.

Восстание ренегатов, в котором христиане приняли участие, по мере своих сил, произошло с тем разнообразием, которого нужно было ожидать от всякого возмущения в то время, когда все было существенно различно и носило частный характер. Каждая провинция, каждый большой город восстал за одно свое собственное дело и в различное время; но борьба должна была сделаться оттого еще более продолжительной.

Ист. мусульм. в Исп. II, 31–53.

Британия

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТРАНЫ

Британия, по замечанию историка Маколея, из всех провинций Римской империи менее всех поддалась влиянию цивилизации своих первых завоевателей; римские предания и язык были там утверждены не столько самими завоевателями острова, сколько романизированными завоевателями самих завоевателей, и притом явившимися туда не в качестве представителей римской администрации, но в качестве религиозных миссионеров римских епископов. Это второе завоевание Британии было несравненно прочнее первого и оставило глубокие следы в общественной жизни английского народа: нигде церковное общество не играло такой роли, как в Англии, и не принимало такого деятельного участия в судьбах страны. Причина того заключалась в особенном положении римских миссионеров при первом их появлении в Британии в конце VI в.: им предстояло распространять христианство в земле, где оно давно было уже утверждено. Еще в IV в. бритты приняли новую религию от рук миссионеров, не имевших в виду личных интересов папского престола, епископы которого в то время не имели и мысли о преобладании. По удалении легионов империи из Британии, ею овладели языческие дружины англосаксов; на их вражде с туземцами-бриттами католичество и основало свои планы о подчинении епископов бриттов папскому престолу. Англосаксы потому нуждались в папах для одержания верха над туземцами, точно так же, как папы нуждались в англосаксах для подчинения Британской церкви своей власти. На этом и был основан тесный союз англосаксов с папами и как бы вторичное распространение христианства в Англии, которое было не чем иным, как подчинением ее церкви римскому престолу пап. Вот тот хронологический порядок, в котором следовали друг за другом важнейшие факты в истории Британии от падения Западной Римской империи до Карла Великого, в эпоху которого был увенчан труд католических миссионеров созданием единого королевства Англии.

Еще в половине V в. бритты, подданные Римской империи, когда императорские легионы были отозваны с острова и горные жители Шотландии, пикты и скотты, пользуясь тем, открыли набеги на страну, учредили у себя национальное правительство, вручив верховную власть одному из своих князей, Вортигерну, а для защиты от гор-

цев, по примеру римского правительства, пригласили германские дружины англосаксов, бродившие на противоположном берегу материка. Первая такая дружина, под предводительством Генгиста и Горзы, прибыла на остров в 499 г. Но союзники за свою услугу овладели самой страной и в юго-восточном углу Британии основали первое Германское королевство Кент. Слух об успехе дружины Генгиста и Горзы привлек в Британию новых предводителей, и с того времени завязалась отчаянная борьба между туземными бриттами и постоянно прибывавшими англосаксами. Так, в 477 г., дружина Эллы овладела далее на запад от Кента приморским берегом против о. Уайта, где и основала королевство Суссекс (то есть Южная Саксония); в 495 г. Цердик, тоже предводитель дружины, продвинулся еще далее на запад до полуострова Корнваллиса, и его завоевания положили начало королевству Вессексу (Западная Саксония). Еще при Генгисте новая дружина англов, приглашенная им на помощь, отделилась от него и на севере Англии, у границ Шотландии, в земле Нортумберланд (то есть северная страна), рассеялась по стране и разделила ее на множество отдельных княжеств, предоставив последующим всельникам соединить их в одно целое; только в течение VI века нортумберландские княжества саксов соединились в два королевства: в 547 г. дружина Иды основала королевство Берницию у самых границ Шотландии, а дружина Эллы – королевство Деиру, на юг от первого, вдоль морского берега. Вообще, как в V веке англы утверждались на южном берегу Англии, так в VI они овладели восточным ее берегом и внутренними землями страны; а именно, в 527 г. Эркензин основал королевство Эссекс (Восточная Саксония), на севере от Кента, в углу, образуемом Темзой и морским берегом; в 575 г. дружина Уффы захватила береговую страну на север от Эссекса и основала королевство Эст-Англию; наконец, в 585 г. прибыла последняя дружина Криды; так как вся береговая линия острова, на востоке и на юге, была уже занята его предшественниками, то Крида вытеснил бриттов из середины острова и положил начало седьмому и последнему Англосаксонскому королевству Мерсии (Middle-England, то есть Средняя Англия). Таким образом, от 449 и до 585 г. в древней Британии постепенно образовывалась группа новых королевств в числе семь, почему Британия получила название англосакской эптархии, то есть седьмивластия[1].

Древние обитатели Британии были или покорены и обращены в рабство англосаксами, или удалились в неприступные для варваров горы Уэльса и Корнваллиса, где и образовали самостоятельные княжества с национальным правительством, или переселялись на материк в Арморику, которая и получила от них название Бретани. Уэльс и Бретань сделались таким образом последним убежищем древнейшей кельтической образованности, которая в глубокой древности была распространена по всей Западной Европе. Вместе с тем, из Бретани и Уэльса в течение V и VI в. выходили национальные герои, беспокоившие беспрерывно новых завоевателей. По удалении римских легионов в середине V в., бритты даже провозгласили одного из своих соотечественников, Аврелия-Амвросия, императором, но Генгист и Горза поразили его; сын Аврелия, Артур (508–542 гг.), продолжал борьбу с Цердиком, уэссекским королем; его подвиги составили новый цикл в национальной поэзии бриттов, но и Артур погиб во время восстания своих вассалов, не принеся никакой пользы для свободы соотечественников.

Между тем дальнейшая история эптархии, от окончательного ее образования в 585 г. до времен Карла Великого, в течение VII и VIII столетий, получила новое направление, вследствие распространения между англами католичества, которое и в Англии, как и везде, вместе с религиозным единением, вносило с собой и политическое единство; уничтожению эптархии содействовали и неопределенность отношений эптархов между собой, и честолюбие сильных, стремившихся к подчинению

[1] Берниция и Деира постоянно то соединялись, то разделялись, и потому их принимали за одно королевство Нортумберланд.

более слабых; все это послужило орудием для католических прелатов. Могущественнейшими из всех эптархов были короли Уэссекса и Кента, потомки Цердика и Генгиста. В конце VI в. в Кенте правил Этельберт, при котором Папа Григорий I отправил Августина распространять христианство между англами и, главное, утвердить супрематию Римской церкви над церковью древних бриттов. Почти в одно время Этельберт принимает католичество (596 г.) и утверждает в своей столице Кентербури власть римского прелата в лице Августина, и отец его зятя, король Нортумберланда, Этельфрид, избивает епископов бриттских – событие не менее благоприятное для утверждения Римской церкви (615 г.). Затем сын его Эдвиг обращается в католичество (624 г.); вскоре католичество было принято и остальными эптархами. Тогда началась внутренняя борьба между ними за первенство: среди беспрерывных перемен в течение VII в. начинает возвышаться над прочими королевство Уэссекс; в течение VIII в. оно успевает подчинить себе одного эптарха за другим, и, наконец, король Эгберт (800–836 гг.), по завоевании Мерсии, провозглашает себя, в 827 г., королем всей Англии. Таков был последний результат истории англосаксов в первом периоде Средних веков: туземные бритты не успели воспользоваться падением Западной Римской империи; чужеземцы, поддерживаемые римским престолом пап, завоевали Англию, и потому национальная история этой страны должна была ожидать более благоприятных для себя обстоятельств в следующем периоде.

Соответственно такому ходу судеб национальности, развивалась и историография Англии после падения Западной Римской империи. Национальная историческая литература прекратилась вместе с уничтожением независимости бриттов; но она заключилась удивительным циклом поэм, воспевших в лице Артура последнюю их борьбу с англами. Новейшие исследования и сборники вызвали на свет эту кельтскую литературу, покорившую воображение самих победителей и послужившую им образцом для вдохновений (см. об этих сборниках ниже). Для завоевателей, англов, обязанных своей цивилизацией римским миссионерам, могла существовать только одна искусственная, ученая историческая литература, на церковном латинском языке, и в форме хроник. Представителем ее явился в VIII в. Бэда Преподобный; его «Церковная история англов» оставалась одной из самых популярных исторических книг в течение всех Средних веков (см. о нем и его сочинениях ниже). Из собраний исторических памятников Англии более замечательны полнотой и отчетливостью: 1) *Camden*. Anglica, Normanica, Cambrica, Francof. 1602; 2) Rerum Britannicarum medii aevi scriptores or Chronicles and memorials of Great Britain. Lond. 1858–61. Vol. 1–12, 14–24, в 32 частях; 3) *Savile*. Rerum anglicarum scrip-tores post Bedam praecipui, Francf. 1701.– Из новейших сочинений: 1) *Lappenberg*. Geschichte von England. Hamb.1834–36, в 2 т.; 2) *D. Hume*. History of England from the invasion of J. Caesar to the revolution in 1668. Loud. 1759–63. 6 том. Ср. первый том: *Aug. Thierry*. Histoire de la conquéte de l’Angleterre par les Normands. Par. 1856.

Т. Б. Маколей

ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД АНГЛИЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (1848 г.)

В древнем быте Британии ничто не говорило о том величии, достижение которого было предназначено этой стране. Ее обитатели, когда впервые пришлось познакомиться с ними финикийским мореходам города Тира, немногим превосходили современных нам туземцев, населяющих Сандвичевы острова. Британия была порабощена римским оружием (56 г. до Р. Х.); но на нее пал только слабый луч римского искусства и науки. Из провинций Западной Европы она последней подчинилась римским цезарям и первой была оставлена ими. В Британии нельзя встретить великолепных развалин портиков и водопроводов римской эпохи. Между представителями римского красноречия и поэзии не встречается ни одного британского уроженца. Невероятно и подумать, чтобы эти островитяне могли когда-нибудь повсеместно усвоить язык своих итальянских властителей. Между тем от Атлантического океана до стран, прилегающих к Рейну, латинский язык в течение нескольких столетий был господствующим. Он вытеснил там собой язык кельтов, не уступил своего места германскому языку, и до настоящего времени служит основой французского, испанского и португальского языков. А на нашем острове латинский язык, по-видимому, никогда не выживал гаэльского наречия и не мог сам устоять против германского языка.

Скудная, поверхностная цивилизация, которую бритты заимствовали у южных своих властителей, и та была изглажена бедствиями пятого века. В континентальных королевствах, на которые распалась тогда Римская империя, германские победители научились многому от побежденного племени. В Британии побежденное племя сделалось таким же варварским, как и победители.

Все вожди, основавшие германские династии в континентальных провинциях Римской империи, Аларих, Теодорих, Клодвиг, Альбоин, были ревностными христианами; а англосакские дружины Иды и Цедрика, напротив, перенесли с берегов Эльбы в свои поселения в Британии все прежние суеверия. Между тем как германские короли, правившие в Париже, Толедо, Арле и Равенне, почтительно внимали наставлениям епископов, поклонялись мощам мучеников и принимали горячее участие в спорах по поводу никейской теологии, англосакские правители Уэссекса и Мерсии продолжали совершать дикие обряды в храмах Тора и Одина.

Континентальные королевства, возникшие на развалинах Западной Римской империи, поддерживали некоторые сношения с теми восточными провинциями, где древняя цивилизация, мало-помалу увядавшая под гнетом дурного управления, могла еще, однако, удивлять и наставлять варваров; где

МАКОЛЕЙ ТОМАС БАБИНГТОН (MACAULAY THOMAS BABINGTON, 1800–1859). Сын богатого негоцианта, прославившегося ревностной преданностью делу уничтожения невольничества, которая по смерти дала ему место в Вестминстере. Он получил образование в Кембриджском университете и в юридической школе Lincoln's Inn; в последней он написал первые свои поэтические произведения, из которых «Армада» и «Сражение при Иври» обратили на автора внимание. В 1826 г. Маколей вступил в адвокатуру и почти в то же время напечатал в «Эдинбургском обозрении» свой первый Essay, этюд о Мильтоне, доставивший ему большую известность; затем в течение 15 лет он опубликовал целый ряд подобных этюдов, которые впоследствии были им соединены в одно целое под заглавием: Critical and historical essays. Lond. 1852, 3 vol. Замечательнейшие из этих этюдов относятся к жизни Аддисона, Галлама, Бэкона, Питта, Вальполя, Фридриха Великого, Байрона и многих других.

двор еще выказывал блеск времен Диоклециана и Константина; где общественные здания были по-прежнему украшены изваяниями Поликлета и картинами Апеллеса, и где трудолюбивые педанты, сами лишенные вкуса, чувства и гения, могли еще читать и объяснять образцовые произведения Софокла, Демосфена и Платона. Британия была отрезана от общения с ними. Ее берега для просвещенной нации, обитавшей при Босфоре, были предметами такого же таинственного ужаса, с каким ионийцы времен Гомера смотрели на пролив Сциллы и на город лестригонских людоедов. Прокопию говорили, что на нашем острове была одна область, в которой почва кишела змеями, а воздух был такой, что ни один человек не мог, вдохнув его, остаться живым. В эту пустыню перевозились в полночь из земли франков души умерших. Эту страшную обязанность исполняла особенная порода рыбаков. Лодочники ясно слышали речь мертвецов; под тяжестью покойников лодка глубоко погружалась в воду; но формы их были незримы для смертного ока. Таковы были чудеса, которые даровитый историк, современник Велисария, Симплиция и Трибониана, серьезно рассказывал в богатом и просвещенном Константинополе о стране, где основатель Константинополя некогда облекся императорской порфирой. О всех других провинциях Западной Римской империи мы имеем непрерывные известия. Только в Британии век баснословия совершенно разделяет собой две исторические эпохи. Одоакр и Тотила, Эрик и Тразимунд, Клодовей, Фредегунда и Брунегильда – все это исторические люди. Но наши Генгист и Горса, Вортигерн и Ровена, Артур и Мордред – лица мифические, само существование которых можно заподозрить, а их приключения следует отнести к одному разряду с приключениями Геркулеса и Ромула.

Наконец мрак начинает рассеиваться, и страна, скрывавшаяся из виду под именем Британии, вновь появляется под названием Англии. Обращение англосакских поселенцев в христианство было началом длинного ряда благодетельных переворотов. Правда, церковь в то время была уже глубоко испорчена и тем суеверием, и той философией, против которых она долго боролась и над которыми, наконец, восторжествовала. Она открыла слишком легкий доступ учениям, почерпнутым из древних школ, и обрядам, заимствованным из древних храмов. Римская политика и готское невежество, греческая замысловатость и сирийский аскетизм содействовали ее искажению. Несмотря на то, она еще сохраняла долю высокой теологии и благодушной морали первоначальных своих времен, достаточную для того, чтобы возвысить многие умы и очистить многие сердца. Притом то, что в наше время справедливо относят к числу главнейших ее недостатков, в VII веке и даже гораздо позже составляло одну из главнейших ее заслуг: если бы духовенство присвоило себе теперь права и обязанности светской власти, это было бы в наше время огромным злом; но то, что в эпоху благоустроенного правительства является злом, при расстроенном управлении может быть благом. Конечно, лучше, чтобы общество управлялось мудрыми, добросовестно исполняемыми законами и просвещенным

Маколей принадлежал к партии вигов, на защиту которой он поставил свое перо, а впоследствии, призванный к государственной деятельности, он защищал свою партию и в парламенте. С 1830 г. он был избираем в палату депутатов; в 1834 г. министерство дало ему место в Индии, что представило Маколею повод издать два превосходных этюда о лорде Клейве и Варрене Гастингсе. По возвращению из Индии он до 1848 г. находился на различных должностях в военном министерстве; его избирали ректором университета в Глазго. Несмотря на политическую и государственную деятельность, он продолжал трудиться в кабинете и в 1848 г. издал два первых тома «Истории Англии от восшествия на престол Иакова II» (History of England from the eccession of James the Second). Это произведение доставило ему всемирную славу и было переведено на все европейские языки (русский перевод всех сочинений Маколея предпринят г. Тибленом: «История Англии» в его издании начинается с VI тома, 1861 г.) Слабое

общественным мнением, нежели кознями духовенства; но также лучше, чтобы люди управлялись кознями духовенства, нежели грубым насилием или таким прелатом, как Дунстан, нежели таким воином, как Пенда. Общество, погрязшее в невежестве и управляемое простой материальной силой, имеет основательную причину радоваться, когда класс людей, отличающийся умственным и нравственным влиянием, достигает господства. Такой класс, без сомнения, также будет злоупотреблять своей властью; но умственное влияние, даже употребляемое во зло, все же благороднее и лучше той власти, которая заключается в одной телесной силе. Мы читаем в наших саксонских хрониках о тиранах, которые на высоте величия терзались угрызениями совести, бежали от удовольствий и почестей, купленных ценой преступлений, отрекались от престола и старались загладить свою вину суровыми эпитимиями и непрестанными молитвами. Эти рассказы вызвали горькие выражения презрения со стороны писателей, которые, гордясь своей свободой мысли, в сущности были ограничены не менее какого-нибудь средневекового монаха, и привыкли ко всем событиям всемирной истории прилагать мерило, принятое в парижском обществе XVIII в. Убеждения того времени, хотя и обезображенные суеверием, вносили, однако, сильные нравственные ограничения в общества, управлявшиеся прежде только силой мышц и дерзостью духа; они внушали свирепейшему и могущественнейшему владыке, что он, подобно ничтожнейшему из его рабов, был существом ответственным, и потому такие убеждения



Кельтский шлем

заслуживают более почтительных отзывов со стороны философов и филантропов.

То же самое замечание можно сделать и о презрении, с каким в прошлом столетии любили говорить о путешествиях к святым местам, о праве убежища церкви, крестовых походах и монастырских учреждениях Средних веков. В те времена, когда ни просвещенная любознательность, ни жажда корысти, почти нимало не побуждали людей к путешествию, посещать Италию и Восток

здоровье Маколея не позволяло ему ускорить окончание работы; только в 1855 г. вышли III и IV тома, но и в них события доведены только до Рисвикского мира, 1697 г. В 1857 г. Маколей за свои литературные заслуги получил титул барона и пэра Англии.

Кроме названных сочинений он оставил: Lays of ancient Rome, 1842 г. (Легенды древнего Рима), поэтическое произведение, написанное под влиянием идей Нибура; и Speaches, 1853 г. (Речи). Из многочисленных французских переводов сочинений Маколея самое лучшее то, которое предпринято для его Essays, Вильг. Гизо (1860 г.), и для «Истории Англии» перевод Pichot (1857 г.). Для подробностей биографических и критического разбора его сочинения см. «Лорд Маколей, его жизнь и сочинения», I. Вызинского; издано при I томе русского перевода сочинений Маколея, изд. Н. Тиблена. 1860; и в Essais de critique et l’histoire, par H. Taine первая статья; M. Macaulay. 1858.

в качестве пилигрима было для грубого жителя севера лучше, нежели никогда не видеть ничего, кроме грязных хижин и непроходимых лесов, среди которых он родился. В те времена, когда жизнь и честь женщины ежедневно подвергались опасности от тиранов и разбойников, нерациональный страх, наводимый пределом святилища, был лучше, нежели совершенное отсутствие убежища, которое было бы недоступно жестокости и распутству. В те времена, когда государственные люди были неспособны к составлению обширных политических комбинаций, восстание и соединение христианских народов для освобождения Гроба Господня было лучше, нежели порабощение их, одного за другим, мусульманским оружием. Как бы ни были справедливы упреки, которыми в позднейшее время клеймились лень и сластолюбие религиозных орденов, все же, к счастью, что в век невежества и насилия существовали тихие обители и сады, где мирные искусства могли находить убежище; где один из братии мог заниматься перепиской Энеиды Вергилия, а другой размышлением над анализом Аристотеля; где тот, кто имел призвание к искусству, мог раскрашивать мартирологию или вырезать распятие, а тот, кто чувствовал влечение к естественным наукам, мог делать опыты, изучая свойства растений и минералов. Не будь рассеяно таких обителей там и сям, среди лачуг жалких поселян и замков свирепой аристократии, европейское общество состояло бы только из вьючных и хищных животных. Теологи не раз сравнивали церковь с ковчегом, о котором мы читаем в книге Бытия; но никогда это сходство не было так поразительно, как в то худое время, когда она одна, среди мрака и бури, царила над потопом, поглотившим все великие произведения древнего могущества и мудрости, и хранила в своем лоне то слабое семя, из которого должна была развиться новая и более славная цивилизация.

Даже духовное преобладание, присвоенное папой, произвело в те времена мрака гораздо более добра, нежели зла. Результатом его было соединение народов Западной Европы в одну великую общину. Чем Олимпийские игры и пифийский оракул были в древности для всех греческих народов, от Трапезунда до Марселя, тем Рим и его епископ были для всех христиан латинского исповедания, от Калабрии до Гебридских островов. Таким образом развились в широких размерах чувства взаимного дружелюбия. Племена, отделенные друг от друга морями и горами, признали братские узы между собой и общий кодекс публичного права. Даже в войне жестокость победителя нередко смягчалась воспоминанием о том, что он и его побежденные враги были христиане.

Наконец в христианство были приняты и наши саксонские предки. Открылось правильное сообщение между нашими берегами и той частью Европы, в которой следы великого величия и просвещения были еще заметны. Многие великие памятники, впоследствии разрушенные или обезображенные, в то время еще сохраняли там свое первобытное великолепие; и англосаксские странники, для которых язык Ливия и Саллюстия был непонятен, могли по римским водопроводам и храмам составлять себе хотя слабое понятие о римской истории. Пантеон Агриппы, еще сиявший тогда бронзой, мавзолей Адриана, еще не лишенный колонн и статуй, амфитеатр Флавия, еще не низведенный до каменоломни, повествовали мерсийским и нортумберландским пилигримам долю истории того великого просвещенного мира, который прошел безвозвратно. Островитяне возвращались с благоговением, глубоко запечатленным в их полупрозревших умах, и рассказывали изумленным обитателям лондонских и йоркских лачуг, что у гроба св. Петра могучая нация, уже угасшая, воздвигнула здания, которые не разрушатся до дня Страшного суда. Ученость сопровождала появление христианства. Поэзия и красноречие времен Августа были прилежно изучаемы в мерсийских и нортумберландских монастырях. Имена Бэды, Алкуина и Иоанна, прозванного Эригеной, справедливо прославлялись всей Европой. Таково было положение нашего отечества, когда в XI в. началось последнее великое переселение северных варваров, а именно датских норманнов.

Hist. of England, I, 3–9. Leipz. 1849.

Ж. Э. Ренан

О КЕЛЬТСКОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ (1859 г.)

Если кто, путешествуя по полуострову Арморике, оставит за собой пределы, ближайшие к континенту, где еще продолжаются веселые и простые Нормандия и Мэн, и вступит в настоящую Бретань, заслуживающую свое имя и языком, и племенным происхождением, его поразит самая резкая перемена во всем окружающем. Холодный ветер, полный безотчетного уныния, поднимается со всех сторон и навевает на душу мысли об ином; верхушки деревьев голы и искривлены, вереск стелет на далекое пространство свой однообразный цвет. Гранит прорезывает на каждом шагу почву, слишком тощую для того, чтобы его покрыть; почти всегда мрачное море замыкает собой на горизонте круг вечно стонущих волн. Тот же контраст между людьми: за нормандским простолюдином, здоровым, зажиточным, довольным своей жизнью, вполне преданным личным интересам, эгоистом, подобно всякому привыкшему к довольству, следует племя робкое, сдержанное сосредоточенное в себе, на вид тяжелое, но глубоко чувствующее и отличающееся в своих религиозных инстинктах благоговейной возвышенностью. Особенно подобный контраст поражает, говорят, при переезде из Англии в Валлийское княжество, из Нижней Шотландии, английской по языку и нравам, в страну северных гаэлов, и также, но с оттенком еще более заметным, когда кто углубляется в те части Ирландии, где древнее племя осталось чистым от всякого смешения с чужеземным. Кажется, что углубляешься в подземные слои другого мира и чувствуешь что-то вроде тех впечатлений, которые заставляет испытывать Данте, когда ведет нас из одного круга своего ада в другой.

Довольно мало обращают внимания на тот удивительный факт, что в Европе одно племя продолжает до сих пор, и почти перед нашими глазами, жить своей собственной жизнью на некоторых забытых островах и полуостровах Запада, хотя, правда, оно все более и более подвергается внешним влияниям, но при всем том остается верным своему языку, своим преданиям, нравам и своему духу. Особенно забывают, что это небольшое племя, теснящееся теперь на пределах мира, среди скал и гор, где неприятели не могли его одолеть, владеет литературой, которая имела в Средние века огромное влияние, изменила ход европейского воображения и в напевах своей поэзии послужила образцом почти для всех христианских народов.

В наше время превосходные работы облегчают задачу всякого, кто взялся бы за изучение этой любопытной литературы. Особенно княжество Валлийское отличает-

---

РЕНАН ЖОЗЕФ ЭРНЕСТ, 1823–1892. Знаменитый французский филолог. Готовясь к духовному званию, он окончил курс теологии в семинарии St. Sulpice в Париже; но там он самостоятельно развил в себе вкус к философии и восточным языкам – еврейскому, арабскому и сирийскому. Разойдясь в своих идеях с католичеством, он посвятил себя преподаванию и литературе; в 1848 г. Ренан по конкурсу получил кафедру философии, а издание им «Histoire generale et systemes compares des langues semitiques» (1845 и 1848 гг.) принесло ему ученую известность. В 1850 г. Ренан получил премию от института за «Etude de la langue grecque au moyen age». Из путешествия по Италии, в 1849 г., он привез новое сочинение «О философе Аверрое и аверроизме» (1853). В 1856 г. он занял место Августина Тьерри в институте, а в 1862 г. его призвали на кафедру в Collige de France, но он не продолжал своих лекций. Собрание отдельных его исследований вышло в «Etude d'histoire religieuse» (1857) и в «Essais de morale et de critique» (1859). Сверх того Ренан издал перевод «Livre de Job» (1859) и «Cantique des Cantiques» (1860). Его единственная лекция, прочтенная им в Collige de France: De la part des peuples semitiques dans l'histoire de la civilisation. Par. 1862 г., издана особо.



Побежденные бритты.
Рельеф с вала Антонина Пия в Шотландии

ся ученой и литературной деятельностью, которая не всегда руководствуется строгой критикой, но тем не менее достойна большой похвалы. Там, труды, которые сделали бы честь самым лучшим ученым школам Европы, предпринимаются простыми любителями. Один крестьянин, Овен Джонс (Owenn Jones), издал в 1801 г., под заглавием «Валлийская археология Мивира», драгоценное собрание, которое до сих пор еще служит лучшим сборником кимврских древностей.

Целое общество ученых и ревностных людей гг. Анёрин Овен (Aneyrin Owenn), Томас Прайс де Крикговель (Thomas Price de Crickhowel), Вильямс Риз (Williams Rees), Джон Джонс (John Jones), следуя по стопам крестьянина Мивира (Mywyr), взялись дополнить его труд и воспользоваться частью сокровищ, которые он собрал. Одна образованная дама, леди Шарлотта Гуест (Charlotte Guest), взяла на себя труд издать в свет сборник «Мабиногион», перл валлийской литературы, самое полное выражение кимврского гения[1].

Если превосходство расы должно цениться по чистоте ее крови и неизменности характера, то нельзя не признаться, что никто не превосходит в благородстве и до сих пор существующие остатки кельтского племени[2]. Никогда человеческая семья не была до того уединена и чужда всякой посторонней примеси. Оттесненная, вследствие вторжений неприятеля, на забытые всеми острова и полуострова, она противопоставила непреодолимую преграду внешним влияниям: она все извлекала из самой себя и жила своими собственными средствами. Отсюда произошла та мощная индивидуальность, та ненависть к чужеземному, которая и до сих пор служит отличительной чертой кельтских народов. Римская цивилизация едва коснулась их и оставила незначительные следы. Германское вторжение потревожило, но нисколько не изменило их. В настоящее время они сопротивляются вторжению более опасному, а именно вторжению современной цивилизации, столь разрушительно действующей на местные характеры и национальные типы. Особенно Ирландия (и, может быть, в этом заключается тайна ее неизлечимой слабости) может быть названа единственной стра-

[1] The Mabinogion, from the Llyfr Coch o Gergest, and other ancient Welsh manuscripts, with an english translation and notes, by lady Charlott Guest. Lond. 1837–49. Слово mabinogi (во множ. mabinogion) выражает форму романических рассказов, свойственных стране валлийцев.

[2] Под кельтским племенем я понимаю, говоря так, не целую великую расу, населявшую некогда всю Западную Европу, но только 4 современные нам группы, в противоположность народам германским и неаполитанским, а именно: 1) жители Валлиса или Камбрии и полуострова Корнваллиса, который и до сих пор носит древнее название Kymris; 2) бретонцы, жители Французской Бретани, говорящие по-нижнебретонски – переселенцы из Кимриса и Валлиса; 3) гаэлы Северной Шотландии, говорящие по-гаэльски, и 4) ирландцы, хотя они резко отличаются от своих единоплеменников.

ной Европы, где туземец в состоянии представить документы своего происхождения и с точностью определить, восходя до времен мифологических, фамилию, из которой он произошел.

Итак, в этой уединенной жизни, в этом презрении ко всему, что происходит извне, следует искать объяснения главных черт характера кельтского племени. Оно заключает в себе все недостатки и преимущества человека, осудившего себя на жизнь пустынника: оно горделиво и вместе с тем робко, сильно чувством и слабо в действительной жизни; у себя – свободно и весело, вне дома – неловко и застенчиво. Оно смотрит с презрением на всякого чужеземца, потому что видит в нем существо более хитрое, которое употребит во зло его простоту. Равнодушное ко всему, что могло бы вызвать удивление к чужеземному, оно просит только дать ему свободу у себя, дома...

Литература валлийского княжества, с первого взгляда, разделяется на три совершенно различные ветви: 1) литературу бардов (bardique), или лирическую, которая в полном блеске является в VI в., благодаря трудам Тальезина (Taliésin), Анёрина (Aneurin); Ливарк-Гена (Liwarc'h-Hen), и продолжается непрерывным рядом подражаний до новейших времен; 2) «Мабиногион» и романическую литературу, утвердившуюся около двенадцатого века, но по существу идей относящуюся к самому отдаленному возрасту кельтского гения; 3) церковную и легендарную литературу, имеющую совершенно особый отпечаток. Эти три литературы, кажется, развивались бок о бок, почти не зная друг друга. Барды, гордые своей риторической торжественностью, презирали народные повести, в которых им не нравился образ изложения; с другой стороны, барды и повествователи, кажется, имели мало общего с духовенством, и иногда можно предположить, что они не имели понятия о существовании христианства. По нашему мнению, именно в «Мабиногионе» следует искать истинного выражения кельтского духа, и удивительно, что такая любопытная литература, источник почти всех романических произведений Европы, оставалась неизвестной до сих пор. Причиной того служит, без сомнения, разбросанность валлийских манускриптов, которые до последнего века преследовались англичанами, как возмутительные книги, компрометировавшие своих владетелей, и также очень часто терялись в руках невежд, которые, вследствие своего каприза и злонамеренности, скрывали их от поисков критики.

«Мабиногион» сохранился для нас в двух главных манускриптах: одном, тринадцатого века в библиотеке Генгурта (Hengurt), принадлежащей семейству Воган (Voughan); другой – четырнадцатого, известный под именем Красной книги Гергеста (Livre rouge d'Hergest); он сохраняется в коллегии Иисуса в Оксфорде. Без сомнения, подобный сборник услаждал некогда скуку несчастного Леолина (Leolin) в Лондонской башне, и был сожжен, после его осуждения, вместе с другими валлийскими книгами, которые были товарищами его плена. Леди Шарлотта Гуест (Charlotte Guest) сделала свое издание по оксфордскому манускрипту: нельзя не сожалеть, что ничтожные соображения отказали ей в первом манускрипте, потому что второй, кажется, копия первого. Вдвойне достойно сожаления то, что многие валлийские оригиналы, которые были в руках, и с которых сняли копии назад тому пятьдесят лет, теперь исчезли.

Общий характер «Мабиногиона» скорее романический (romanesque), чем эпический. Жизнь там изображается просто, без натяжек. Личность героя решительно беспредельна. Это благородные и смелые натуры, действующие совершенно самопроизвольно. Каждый человек представляется почти полубогом, одаренным сверхъестественным даром; этот дар почти всегда связан с каким-нибудь необыкновенным предметом, носящим на себе личный отпечаток своего обладателя. Низшие классы, которые предполагались под этим народом героев, едва показываются, как отправляющие какое-нибудь ремесло, и только при этом условии пользуются уважением. Несколько сложные произведения человеческой промышленности рассматриваются как живые существа, одаренные соответственным магическим значением. Множество известных предметов имеют собственные имена: например,

корабль, копье, меч, щит Артура; шахматная доска Гвендолена (Gwenddolen), на которой черные шашки играли сами собой против белых; рог Бран-Галеда (Bran-Galed), заключавший в себе всякий напиток, по желанию; колесница Моргана (Morgan), сама собой направлявшаяся к тому месту, куда хотели ехать; котел Тирнога (Tyrnog), который не варил, когда в него клали мясо для труса; точильный камень Тудваля (Tudwal), который точил только мечи храбрых; одежда Подарна (Podarn), которую мог надеть только благородный; плащ Тегана (Tegan), который могла надеть только безукоризненная женщина. Животное имело еще более индивидуальности: ему давалось собственное имя, личные качества, роль, которую оно выполняло произвольно и с полным сознанием. Один и тот же герой является как человек и как животное, так что трудно определить точку разграничения между двумя натурами. Сказка «Кильвш и Ольвен» (Kilwch and Olwen), самая фантастическая в «Мабиногионе», вертится около борьбы Артура с королем-кабаном Twrch-Trwyth, который, с семью своими поросятами, теснит всех героев Круглого стола. Похождения трехсот воронов составляют таким же образом содержание «Сна Ронабви». Идея нравственного достоинства и проступка почти не проводится во всех этих сказаниях. Тут есть существа вредные, которые оскорбляют женщин, тиранят своих соседей, любят только зло, вследствие потребности своей натуры; но не видно, чтобы за то презирали их. Рыцари Артура преследуют их не как виновных, но как врагов. Все остальные существа совершенно добры и честны, и более или менее щедро одарены. Это – следствие воображения племени нежного и кроткого, которое понимает зло как факт судьбы, а не как результат человеческого сознания. Вся природа очарована и плодотворна в бесконечно разнообразных созданиях, как само воображение. Христианство выказывается редко, хотя часто чувствуется его соседство; но оно ни в чем не изменяет чисто естественной среды, в которой происходит действие. За столом около Артура встречается и епископ; но его значение тесно ограничивается благословением яств. Ирландские святые, которые на минуту появляются, чтобы благословить Артура и принять от него милости, представляются людьми, сознаваемыми неопределенно, которых не понимают. Ни одна литература Средних веков не была более удалена от всякого монастырского влияния. Надобно, очевидно, предположить, что валлийские барды и рассказчики жили очень изолированно от духовенства, если их образованность и предания остались совершенно своеобразными. Вся прелесть «Мабиногиона» заключается именно в очаровательной безмятежности совести кельта, ни веселой, ни печальной, всегда готовой и на улыбку, и на слезу. Это прозрачный лепет ребенка, не различающий высокого и низкого; это мир вдохновенный, спокойный идеал, к которому переносят нас стансы Ариосто. Болтовня французских и немецких подражателей Средних веков не может дать и понятия о восхитительном уменьи рассказывать, которым отличались кельтские барды.

В фантастических сказаниях кельтских племен, особенно при сравнении их со сказаниями народов германской расы, прежде всего поражает чрезвычайная кротость характера, которой они проникнуты. Нет тех ужасающих мщений, которыми наполнены Эдда и «Песнь о Нибелунгах». Сравните кельтского героя и героя германского, Беовульфа и Передура, например. Какая разница! Там ужас варварства, пресыщенного кровью, опьянение резни, страсть к разрушению и смерти; здесь, напротив, глубокое чувство справедливости, восторженность индивидуальной гордости, это правда, но также великое самопожертвование, чрезвычайная честность. Человек-мучитель, черный человек, чудовище, являются там, как и у Гомера Лестригоны и Циклопы, только для того, чтобы внушать ужас по противоположности их с кроткими нравами; они играют ту же роль, как злой в воображении дитяти, вскормленного своей матерью в идеях кроткой и благочестивой нравственности. Первобытный человек Германии возмущает своей бесцельной жестокостью, любовью ко злу, которая дает ему ум и силу только для того, чтобы ненавидеть и вредить. Кимврский герой, напротив, даже в самых странных своих увлечениях как буд-



Адрианов вал в Северной Англии

то руководствуется привычками благодушия и живой симпатии к слабым существам. Это чувство принадлежит к числу самых глубоких кельтских народов. Они питают сожаление даже к Иуде. Святой Брандан встретил Иуду на скале среди полярных морей; Иуда отправляется туда раз в неделю, чтобы прохладиться от адских огней: плащ, который он подал однажды прокаженному, повис перед ним и утешает его страдания.

«Мабиногион», или сказания, которые леди Шарлотта Гуест думала обозначить этим общим именем, разделяются на два совершенно различные класса: одни исключительно относятся к двум полуостровам, Уэльсу и Корнваллису, и имеют предметом героическую личность Артура; другие, оставляя Артура в стороне, избирают театром действий не только те части Англии, которые остались кимврскими, но всю Великобританию, и доводят нас по лицам и воспоминаниям, которые там излагаются, до последних времен римского владычества. Второй класс, более древний, чем первый, по крайней мере по своему содержанию, отличается сверх того характером более мифологическим, поверьями более смелыми и фантастическими, загадочной формой и игрой слов. К этому числу относятся сказки о Пвиле (Pwyl), Бранвене (Branwen), Манавидане (Manavidan), о Мате, сыне Матонвея (Math, fils de Mathonwy), Сон императора Максима (Songe de l’empereur Maxime), сказка о Ллуде и Ллювелисе (Llud et Llewellys), и легенда о Тальезине (Taliésin). К циклу Артура принадлежат сказания об Овене (Owain), Геренте (Cheraint), Передуре (Péredur), Кильвше и Ольвене (Kilwch and Olwen) и сон Ронабви (Songe de Rhonabwy). Надобно еще заметить, что в этом втором классе два последних сказания отличаются особенным характером древности. Артур, по ним, живет в Корнваллисе, а не в Керлеоне-на-Оске (Caerléon-sur-l’Usk), как то говорится в других. Здесь он является с определенным характером, сам охотится и воюет, между тем как в более новых сказках он всемогущий и бесстрастный император, настоящий ленивый герой, вокруг которого группируется плеяда деятельных героев. Повесть о Кильвше и Ольвене по своему характеру, совершенно первобытному, по роли, которую там играет вепрь, сообразно данным кельтской мифологии, по составу сказания, вполне сверхъестественного и волшебного, по бесчисленным намекам, смысл которых ускользает от нас, составляет сама по себе особый цикл и представляет нам кимврский

образ мысли во всей ее чистоте, без всякой примеси постороннего элемента. Не разбирая в подробностях эту любопытную поэму, я хотел бы в коротком изложении дать понятие о ее древнем характере и высокой оригинальности.

Кильвш, сын Келидда (Killydd), принца келиддонского, услышав, как произнесли при нем имя Ольвены (Olwen), дочери Испаддадена Пенкавра (Yspaddaden Pencawr), влюбился в нее без памяти, не видав ее никогда. Он отправляется к Артуру просить о помощи для совершения подвига, который он задумал: на самом деле, он не знает даже, где живет красавица, которую он любит; кроме того, Испаддаден ужасный тиран, который никого не выпускает живым из своего замка, и смерть его роковым образом связана с замужеством его дочери. Артур дает Кильвшу нескольких из своих самых храбрых сотоварищей для помощи в этом предприятии. После чудесных приключений рыцари приезжают в замок Испаддадена, и им удается увидеть молодую девушку, предмет любви Кильвша. Только после целых трех дней постоянной битвы они получают ответ от отца Ольвены, и он вместе с рукой дочери предлагает условия, которые, по-видимому, невозможно выполнить. Выполнение их образует обширную цепь приключений, нить настоящей романтической эпопеи, которая не дошла до нас в целости. Из тридцати восьми приключений, возложенных на Кильвиша, манускрипт, которым руководствовалась леди Шарлотта Гуест, рассказывает только о семи или восьми. Выбираю наудачу одно из этих сказаний, которое, мне кажется, может дать понятие о всем произведении. Речь идет о том, чтобы найти Мабона, сына Модрона (Mabon, fils de Modron), который был похищен у матери три дня спустя после ее родов и освобождение которого поставлено условием для Кильвша.

Сотоварищи Артура сказали ему: «Государь, ступай домой; ты не можешь вмешиваться с твоими людьми в такие ничтожные похождения». Тогда Артур заметил: «Хорошо бы, Gwrhyr Gwalstawd Jeithoedd, если бы ты принял участие в этом предприятии, потому что ты знаешь все языки, даже язык птиц и животных (у Гврира была та особенность, что из Гелли-Вика, что в Корнваллисе, он видел, как поднимаются мошки вместе с восходом солнца до Пен-Блатаон, на севере Бретани; каждое первое мая, до дня Страшного суда, он сражается с Гвимом (Gwym), сыном Нудда (Nudd), за Крейддиладу (Creiddilad), дочь Лира (Llyr), и тот, кто победит, будет обладателем девушки. Вы, Кай и Бедвир, какое бы дело вы ни задумали, доведете его до конца (Кай имел ту особенность, что мог удерживать дыхание под водой восемь дней и восемь ночей и мог столько же времени не спать; Бедвир же распускал свою красную бороду на сорок восемь локтей в зале Артура; закопавшись в землю на семь локтей, он мог слышать на расстоянии пятидесяти миль, как муравей выходит утром из своей норы). Исполните для меня это предприятие».

И они шли все прямо до тех пор, пока не дошли до черного дрозда Гильври. Гврир заклинал его именем неба, говоря: «Скажи мне, не знаешь ли чего-нибудь о Мабоне, сыне Модрона, который был похищен у своей матери спустя только три дня после рождения?» И черный дрозд отвечал: «Когда я в первый раз пришел сюда, здесь была наковальня кузнеца; тогда я был молодой птичкой. С того времени наковальня подвергалась каждое утро ударам только моего носа, и теперь она величиной всего в орех. Но пусть падет на меня мщение неба, если в это время я когда-нибудь слышал о человеке, которого вы ищете! Тем не менее я сделаю все, что справедливо и что следует сделать для посольства Артура. У нас есть порода животных, которые созданы прежде меня; я вас проведу к ним».

И они пошли к тому месту, где был олень Рединвра: «Олень Рединвра, мы пришли к тебе от Артура, потому что слышали о тебе как о самом старом животном; скажи, знаешь ли ты что-нибудь о Мабоне, сыне Модрона, который был похищен у матери, когда ему было только три дня?» Олень отвечал: «Когда я пришел сюда в первый раз, то на всей окружающей равнине не было никакого другого дерева, кроме молодого дуба, который сделался стоветвистым древом. Этот дуб погиб, и теперь от него остался только высохший пень. С того

дня, как я прибыл сюда, я не покидал этого места и никогда не слышал о человеке, о котором вы говорите. Но, несмотря на то, так как вы посланы Артуром, я проведу вас до того места, где находится одно животное, созданное прежде меня».

И они отправились к сове Кум-Кавлвида: «Сова Кум-Кавлвида, вот посольство Артура: не знаешь ли ты чего-нибудь о Мабоне, сыне Модрона, который был похищен у матери, когда ему было только три дня?» – «Если бы я это знала, то сказала бы вам. Когда я явилась сюда в первый раз, то долина, которую вы видите, была покрыта лесом. Потом пришло племя людей, которое уничтожило деревья. Вырос другой лес, а этот уже третий. Мои крылья не больше, как высохшие перья. Однако в продолжение столь долгого времени я не слыхала ничего о человеке, которого вы ищете. Тем не менее я буду служить проводником посольству Артура к животному, самому старому в мире и более всех путешествовавшему, к орлу Гверн-Абви».

Гврир сказал: «Орел Гверн-Абви, перед тобой посланные Артура, которые спрашивают тебя, не знаешь ли ты чего-нибудь о Мабоне, сыне Модрона, который был похищен у матери спустя три дня после своего рождения?» Орел отвечал: «Я живу здесь в продолжение долгого времени. Когда я в первый раз прибыл в это место, то здесь была скала, о которую я точил клюв каждый вечер при сиянии звезд; теперь она величиной в пядень. С того дня, как я здесь, я не оставлял этого места, и никогда не слыхал о человеке, о котором вы говорите, кроме одного раза, когда я летал в Лин-Лив (Llyn-Llyw) за пищей. Когда я прибыл туда, я схватил когтями лосося, думая, что мне его станет надолго; но он увлек меня в глубину, и я с трудом освободился. Вслед за тем я напал на него со всеми моими родственниками, чтобы овладеть им. Но он отправил ко мне послов, заключил со мной мир, и пришел даже сам просить меня отцепить у него на спине пятьдесят багров, которые были в нее вонжены. Если он ничего не знает о человеке, которого вы ищете, то не думаю, чтобы мог это знать кто-нибудь другой».

Итак, все они отправились туда, и орел сказал: «Лосось Лин-Лива, я прихожу к тебе с посольством Артура, спросить тебя, не знаешь ли ты чего-нибудь о Мабоне, сыне Модрона, похищенном у своей матери, когда ему было всего три дня?» – «Все, что я знаю,– отвечал лосось,– я скажу тебе. При всяком приливе и отливе я отправлялся вверх по реке до Глочестера; там я встретил такое отчаяние, подобного которому я не видал нигде. И для того, чтобы вы могли проверить мои слова, пусть двое из вас сядут на мой хребет. Я принесу их к тому месту». Кай и Гврир сели на хребет лосося и достигли стен одной темницы. Из башни ее раздавались сильный плач и стенания. Гврир спросил: «Кто плачет в этом каменном здании?» – «Увы! Тот, кто здесь находится, имеет большую причину жаловаться. Здесь заключен Мабон, сын Модрона. Никакой плен не был так жесток как мой, ни плен Луса Лава Эрейнта (Lluss Llaw Ereint), ни Грейда, сына Эри (Greid, fils d'Eri)».– «Как тебя освободить: золотом, серебром, подарками, или с боя и силой?» – «Я могу быть освобожден только силой...»

Мы не будем следовать за кимврским героем в его испытаниях, развязку которых легко предвидеть. Более всего поражает в этих странных легендах место, которое там занимают животные, преобразованные валлийским воображением в разумных созданий. Никакое племя не беседовало так задушевно с низшими тварями и не придавало им столь широкой нравственной жизни, как племя кельтское. Близкий союз человека с животным, вымыслы, столь дорогие для средневековой поэзии, о рыцаре льва, рыцаре сокола, рыцаре лебедя, обеты, освященные присутствием птиц, считавшихся благородными, как, например, фазана, цапли,– все это плод бретонского воображения. Даже духовная литература представляет некоторые черты сходства со светской: во всех легендах обнаруживается любовь святых в Британии и Ирландии к животным. Однажды святой Кейвин (Keivin) уснул во время молитвы, простерши свои руки из окна; ласточка, заметив снаружи руку старого монаха, свила в ней гнездо; когда святой проснулся и увидел ее сидящей на

яйцах, то не поднимался до тех пор, пока птенцы не вылупились из яиц.

Эта трогательная симпатия проистекала сама собой из живости, свойственной одним кельтским племенам, которую они вносили в свое чувство к природе. Их мифология есть самый прозрачный натурализм, не антропоморфический натурализм Греции и Индии, где силы вселенной, возведенные в живые существа и одаренные сознанием, стараются более и более отделиться от физических явлений и сделаться существами нравственными, но натурализм вещественный в некотором смысле, любовь к природе для самой природы, живое впечатление ее очарований, сопровождаемое движением какой-то грусти, когда человек, стоя лицом к лицу с ней, думает подслушать ее рассказы о своем происхождении и судьбе. Легенда Мерлина, именно, отражает в себе эту мысль. Увлеченный феей лесов, Мерлин убегает с ней и делается дикарем. После Артура застают его поющим на берегу ручья; они приводят его ко двору; но очарование превозмогает: он бежит в леса, и на этот раз навсегда. Вивиана устроила ему в кустах волшебную темницу; оттуда он предрекает о судьбах кельтской расы; он беседует с девой лесов, то видимой, то невидимой, той девой, которая его держит в плену. Многие легенды об Артуре носят на себе тот же самый характер. Он сам в народном поверье превратился в лесного духа. «Лесники, делая обход при свете луны,– говорит Жерве Тильберийский,– часто слышат звуки рогов и встречают толпы охотников; на вопрос, откуда они, эти охотники отвечают, что они из свиты короля Артура».

Essais de morale et de critique, с 375–404

ПОЭЗИЯ И ЛЕГЕНДЫ КЕЛЬТОВ
Из «Мавириана»[1]

ТРИСТАН И АРТУР
Примирение Артура с Тристаном
(X или XI в.)

Это разговор между Тристаном, сыном Таллура, и Гвальмаем, сыном Гуйара, после того, как Тристан провел три года вдали от двора Артура, снедаемый своей сердечной скорбью. Артур послал двадцать восемь воинов с приказанием взять его и привести к нему; но Тристан побил их всех, одного за другим, и сдался только на просьбу Гвальмая златоязычного.

Гвальмай

Шумны волны, когда вздымается море. Кто ты, таинственный воин?

Тристан

Шумны волны и молния. Пусть они шумят, в своем бешенстве. В день битвы я называюсь Тристан[2].

Гвальмай

Тристан, безупречный в речах, ты, который никогда не бежал в день битвы, ты некогда имел товарища Гвальмая.

Тристан

Я сделаю для Гвальмая в день сечи все, что брат по оружию сделал бы для своего брата.

Гвальмай

Тристан, сияющий доблестями, ты, которого меч горит в бранных подвигах, я – Гвальмай, племянник Артура.

Тристан

Гвальмай, хитрейший из лисиц, если ты будешь когда-нибудь в опасности, я пролью кровь до колен.

Гвальмай

Тристан, я за тебя также буду сражаться, пока моя рука не ослабеет; я буду сражаться, как только могу.

[1] «Myvyrian» – так называется сборник старых кельтских легенд, по имени первого посвятившего свой труд на то. См. подробно в предыдущей статье.

[2] Тристан на кельтском языке обозначает неукротимый.

Тристан

Я спрашиваю тебя (не потому, чтобы боялся, но потому, что презираю), кто эти воины стоят там передо мной?

Гвальмай

Тристан, великодоблестный, разве ты их не знаешь? Это приближается свита Артура.

Тристан

Я не боюсь Артура, я стою против него в девятистах битвах: прежде чем убьют меня, я также убью.

Гвальмай

Тристан, о, друг дам, пред битвой всегда хорошо предложить перемирие.

Тристан

До тех пор, пока у меня будет меч на бедре, а правая рука для защиты, я не испугаюсь никого.

Гвальмай

Тристан, сияющий доблестями, не решайся сражаться с Артуром, твоим другом.

Тристан

Гвальмай, из любви к тебе, я хочу об этом подумать; я тебе скажу поистине: когда меня любят, и я также люблю.

Гвальмай

Тристан, упорная душа, дождь может подмочить сто дубов; иди переговорить с твоим родственником.

Тристан

Гвальмай, ловкий на ответы, пусть дождь мочит сто нив! Я последую за тобой повсюду.

И Тристан идет с Гвальмаем к Артуру.

Гвальмай

Артур, любезный в ответах, дождь мочит сто голов: вот Тристан, радуйся!

Артур

Гвальмай, безупречный в ответах, дождь мочит сто крыш; будь дорогим гостем, Тристан, мой племянник; друг Тристан, предводитель войска; люблю твой род; вспомни о прошедшем и обо мне самом, отце отечества.

Тристан, король битв, будь почтен как самый достойный, и почти меня, как твоего владыку.

Тристан, умный и славный предводитель, люби свою родню; никто не сделает тебе зла; пусть не будет больше охлаждения между двумя друзьями.

Тристан

Артур, я буду тебе повиноваться и подчиняться твоим повелениям; я исполню все, что ты ни пожелаешь.

Archaiology of Wales, t. I, p. 178.

Из «Мабиногиона»[1]

ОВЕН И АРТУР (X в.)

Император Артур был в Керлеоне-на-Оске[2]. Вот, раз он сидел в своей комнате. С ним были Овен[3], сын Уриана, и Кенон, сын Кледно, и Кай, сын Кенера, и Гвеннивара[4], а прочие жены шили и вышивали возле окна.

И нельзя сказать, чтобы был страж у дворца Артура, потому что ничего подобного не было; Глеулуэд, широкорукий воин, исполнял только его должность: он провожал гостей и чужестранцев, принимал их с почестью, объяснял им привычки и обычаи двора, и вводил всякого, кто хотел идти в залу или комнату и кто искал гостеприимства. Вот, император Артур сидел посреди комнаты в кресле из зеленого тростника, на

[1] «Mabinogion» – в переводе значит: «Легенды»; так назвала свой сборник кельтских преданий леди Гуест (Guest) в своем издании: The Mabinogion. Lond. 1837–49, в 3 т. См. подробности о том в предыдущей статье; сравн. Les Romans de la Table ronde et les contes des anciens Bretons, par vicomte Hersart de la Villemarque. Par. 1861; к нему присоединен французский перевод из Mabinogion. Немецкий перевод помещен в Beiträge sur bretanischen und celtischgermanischen Heldensage; von San-Marte (A. Schultz). Leipz. 1847.

[2] Kerleon – столица земли силуров (ныне граф. Монмаут); во время господства римлян там был один из центров администрации; в XII столетии еще видели на его месте обширные развалины, и до сих пор сохраняются следы древнего амфитеатра, как о том свидетельствуют сохранившиеся скамьи; но народ считает и называет это место «Круглым Столом» Артура.

[3] Овен – один из более прославленных героев времени Артура и министр его двора.

[4] Старшая и любимая жена Артура.

розовом ковре, и облокачивался на подушку красного атласа. И говорил он так:

– Не прогневайтесь, господа, я до обеда немного вздремну; а вы позабавьтесь сказками, и прикажите Каю принести вам кувшин меду и мяса.

Тут император задремал.

И Кенон, сын Кледно, спрашивал у Кая того, что обещал им Артур.

– А я так наперед хочу послушать одну из тех прекрасных сказок, о которых он говорил, – сказал Кай.

– Начни с повиновения воле Артура,– отвечал Кенон; – а потом мы тебе расскажем самую лучшую сказку, какую только знаем.

Тогда Кай отправился в кухню и подвал и возвратился оттуда с кувшином меду, золотым кубком и с кусками жареного мяса. И они начали есть мясо и пить мед.

– Теперь,– говорит Кай,– расскажи мне сказку.

– Кенон,– говорит Овен,– расскажи сказку Каю.

– Ты стар,– отвечает Кенон,– ты рассказываешь лучше меня и видел больше меня необыкновенных вещей; расскажи сам сказку Каю.

– Ну, начинай же,– возразил Овен,– и рассказывай нам самую необыкновенную историю, какую ты только знаешь.

– Начинаю,– отвечал Кенон:

«У моего отца и моей матери был только один я; я был исполнен смелости и честолюбия и думал, что нет в мире работы не по моим силам; превзойдя всех живших в моей стране, я собрался и отправился в чужую и пустынную землю[1].

Странствуя долгое время, я пришел в долину, прекраснейшую в мире; там возвышались деревья, все одного роста, текла река по долине, а вдоль реки вилась тропинка; я шел по этой тропинке до полудня; я шел по ней до вечера, и тогда достиг обширной равнины, а на конце этой равнины стоял большой и прекрасный замок, вокруг же замка стояло зеркало воды, и я направился к замку. Вдруг впереди появились двое мальчиков; у них были русые, развевающиеся волосы; каждый из них носил вокруг головы золотой обруч и был одет в желтое атласное платье, а обувь прикреплялась под коленом золотой пряжкой; у каждого в руке был лук из слоновой кости, тетива из жилы оленя, а стрелы и дротики из китового уса, оперенные павлином, с позолоченными наконечниками; у них также были кинжалы с золотой насечкой и рукоятками из китового уса; они забавлялись, подбрасывали кинжалы.

В недалеком расстоянии я увидел стоящего человека, с русыми развевающимися волосами, во всей силе лет; у него была гладко выбритая борода, одет он был в желтый атласный плащ, с золотой бахромой, а на ногах башмаки из разноцветной кожи, укрепленные двумя золотыми пряжками.

Как только я его увидел, пошел навстречу к нему, и приветствовал его; но он был так вежлив, что предупредил мой поклон и повел меня в замок.

Но только в одной комнате замка нашлось общество, и в этой комнате сидели двадцать четыре молодые девицы, которые вышивали по атласу в углублении окна; я тебя уверяю, Кай, что самая некрасивая из них была лучше самой красивой девушки, каких только ты видел на острове Британии, самая немиловидная из них была миловиднее Гвеннивары, жены Артура, когда она появляется, украшенная всеми своими прелестями, к обедне, в день Рождества или Пасхи.

При моем приближении все они встали, и шесть из них взяли моего коня и сняли с меня оружие, а шесть других взяли мое вооружение и вымыли его в водоеме, так что оно заблестело лучше всего, что только есть блестящего; шесть же первых постлали скатерть и приготовили обед, а шесть последних взяли мою запыленную одежду и дали другую, а именно: рубашку и штаны из тонкого полотна, верхнее платье, кирасу и епанчу из желтого атласа, обшитую широкой золотой каймой; и они расстилали большие ковры и подушки, покрытые тонкими красными тканями, которые они положили под меня и вокруг меня, и я сел.

[1] Так в валлийских легендах называется часто Арморика (провинция Франции).

Шесть же девушек, которые взяли моего коня, разнуздали его так же проворно, как будто они были самыми лучшими конюшими острова Британии; потом они принесли серебряные кружки, чтобы вымыть мне руки, и полотняные утиральники: одни зеленые, другие белые, и я обмылся.

Скоро мой хозяин сел за стол, а я около него, и все женщины, исключая тех, которые нам прислуживали, сели ниже меня.

И стол был серебряный, а скатерть из самого тонкого полотна, и все чаши, которые мы употребляли, были или золотые, или из буйволова рога.

Принесли обед. Сказать тебе правду, Кай, я не видел там ни одного кушанья или напитка, которого не встречал бы прежде; но нигде, во всю жизнь, я не видал стола лучше изготовленного.

И мы обедали; но до половины обеда ни хозяин мой, ни молодые девушки не сказали мне ни одного слова.

Когда мой хозяин увидел, что для меня приятней говорить, чем есть, тогда спросил меня, кто я такой.

Я выразил ему свое удовольствие за то, что нашел с кем беседовать, и за то, что в его замке не запрещается говорить.

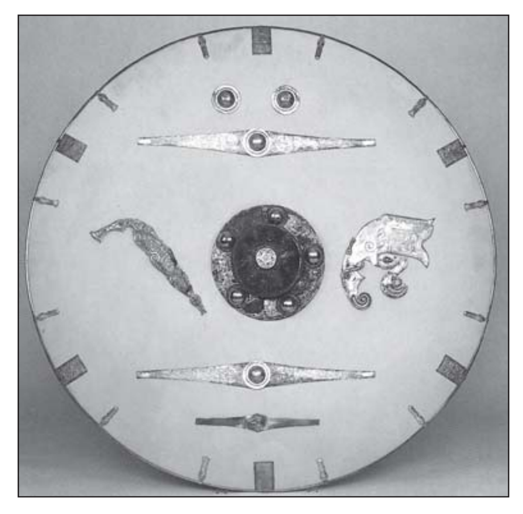
– Господин,– сказал он мне,– мы заговорили бы с тобой прежде, если бы не боялись отвлечь тебя от твоего обеда; но теперь побеседуем.

Тогда я открыл владетелю замка, кто я такой и цель моего путешествия, и сказал ему, что ищу кого-нибудь, кто мог бы меня победить или узнать, должен ли я по-прежнему покорять весь мир. Мой хозяин посмотрел на меня и улыбнулся; потом он сказал мне:

– Если бы я не боялся причинить тебе зло, то указал бы тебе того, кого ты ищешь.

Такие речи смутили меня, и я изменился в лице; мой хозяин заметил это и сказал мне:

– Так как ты предпочитаешь, чтобы я доставил тебе случай испытать неприятность вместо удовольствия, то я удовлетворю тебя: ночуй эту ночь здесь,– прибавил он,– и встань завтра, как можно раньше, потом ступай по дороге, которая пересекает долину, до тех пор, пока не увидишь леса, из которого ты вышел; в небольшом расстоянии от этого леса ты заметишь направо тропинку, и, пойдя по ней, достигнешь широкой темной прогалины, среди которой возвышается пригорок; и на вершине пригорка пред тобой явится высокий черный человек; он в два раза выше людей этого мира: у него одна только нога и один только глаз посреди лба; он носит железную палицу, которую, я тебя уверяю, не подняли бы и вдвоем обыкновенные люди; он вовсе не красив, и, напротив, чрезвычайно уродлив; он-то и сторожит лес: ты увидишь, что около него пасутся тысячи диких зверей; спроси у него о пути, который ведет из прогалины: он тебе ответит голосом, подобным колоколу, раскачанному во все стороны, и укажет дорогу, которая приведет тебя к тому, кого ты ищешь.



Англосакский щит

Эта ночь показалась мне очень длинной; на другой день я встал и оделся, сел на лошадь и поехал по дороге, ведущей от долины к лесу, а потом по тропинке мне указанной, я приехал к прогалине.

Когда я туда приехал, я испугался при виде находившихся там диких зверей; их было в три раза более того, сколько сказал мне мой хозяин.

Черный человек сидел на вершине пригорка; мне сказали, что он был высок, но он показался мне гораздо более высоким, чем мне его описывали; а железная палица,

о которой говорили, что ее едва поднимут два человека, я очень уверен, Кай, что в ней было тяжести на четверых; черный же человек держал ее одной рукой. И когда я его спросил, какую власть он имеет над этими зверямил, то он ответил мне голосом наподобие колокола, раскачанного во все стороны:

– Я тебе сейчас покажу, маленький человечек,– сказал он.

Размахнувши свою палицу, он крепко ударил одного оленя, и тот начал блеять страшным голосом. А по его слову собралось столько зверей, сколько звезд на небе, так что я с трудом мог найти место для себя на прогалине; и между ними я увидел змей и драконов, и всякого рода скотов. Он осмотрел их; потом приказал им идти пастись, и они склонили голову и поклонились ему, как вассалы своему сюзерену.

Черный человек и говорит мне:

– Ты видишь, маленький человечек, какую власть я имею над этими зверями.

Тогда я заговорил с ним о своем пути, и он спросил меня громовым голосом, куда я хочу идти; и я ему сказал, кто я такой и кого ищу; а он мне ответил: «Ступай по тропинке, которая ведет к концу прогалины, и иди по тому лесистому косогору, пока не достигнешь вершины: там ты найдешь открытое место, род длинной долины, и среди этой долины высокое дерево, ветви которого зеленее самой зеленой пихты; а под деревом есть фонтан, и на краю фонтана лежит мраморный камень, и на этом камне есть серебряный ковш, прикрепленный серебряной цепью, для того чтобы нельзя было его похитить. Возьми ковш и наполни водой, и вылей воду на камень, и тогда ты услышишь сильный удар грома, и тебе покажется, что небо и земля дрожат от ярости; и за ударом грома последует такой проливной дождь, что для тебя почти невозможно будет его вынести, не подвергаясь опасности умереть, и ливень будет перемешан с градом; а после ливня настанет опять прекрасная погода. Но после дождя не останется на дереве ни одного листа. И тогда тучи птиц опустятся на дерево, и ты никогда в своей стране не услышишь ничего подобного их пению. И в то время, как ты будешь этим наслаждаться, ты услышишь в долине страшный шум и плач, и ты увидишь всадника на черном коне, одетого в черный атлас, с черной перевязью на конце копья; и он быстро понесется, чтобы сразиться с тобой; если ты побежишь, он тебя нагонит; если же будешь ожидать, то он сбросит тебя на землю так же верно, как верно то, что ты теперь сидишь на коне. И если ты выйдешь жив и здоров из этого похождения, то тебе больше не нужно искать других.

Итак, я поехал, и достиг, наконец, вершины косогора, и увидел там все, что сказал мне черный человек. Подъезжаю я к дереву: вижу под ним фонтан и мраморный камень, и серебряный ковш, прикованный цепью; беру я ковш, наполняю водой, выливаю ее на мраморный камень: и в самом деле, гром загремел еще сильней, чем мне говорил черный человек, а после грома пошел проливной дождь; и я тебе говорю, Кай, нет человека, ни зверя, который мог бы вытерпеть такой ливень, не погибнув, потому что град пронзал кожу и мясо до костей. Я повернул коня задом к вихрю и прикрыл его голову и шею частью моего щита, в то время как другая половина закрывала меня самого; таким образом, я выдержал бурю. Но когда я взглянул на дерево, там не осталось ни одного листа. Наконец небо прояснилось; и вот птицы спустились на дерево и начали петь. И в самом деле, я тебе говорю это, Кай, ни прежде, ни после, я не слышал подобного тому пения. Но в ту минуту, как я наслаждался пением птиц, в долине раздался жалобный голос, который достиг и меня.

– Всадник, кто привел тебя сюда? Что я тебе сделал худого, что ты таким образом действуешь против меня и моей собственности? Разве ты не видишь, что буря сегодня не оставила в живых в моих владениях ни одного человека, ни одного животного, которых она захватила?

И вслед за этим я увидел всадника на черном коне, в черной атласной одежде и с черной перевязью; и мы бросились друг на друга, и удар был так силен, что я тотчас был опрокинут.

Тогда рыцарь продел свое копье в узду моего коня и уехал с двумя конями, оста-

вив меня на месте. Он обратил так мало внимания на меня, что не взял даже в плен и не дал себе труда снять с меня доспехов.

Так я возвратился тем же путем, которым пришел; и когда достиг прогалины, где был черный человек, то, признаюсь тебе, Кай, я желал провалиться сквозь землю, выслушивая его насмешки надо мной. И я пришел спать в замок, где провел ночь накануне; эту ночь меня приняли там еще с большей любезностью, чем в предыдущую; я еще более пировал и мог еще свободнее беседовать с хозяевами замка; и никто не говорил мне о моем похождении у фонтана, так как и я никому о том не рассказывал; и я провел там вторую ночь.

Когда я встал на другой день утром, чтобы отправиться, мне привели гнедого коня, у которого ноздри были красны, как пурпур; и когда он был оседлан, я надел свое оружие, поблагодарил хозяина, и возвратился к себе.

Конь, о котором я только что сказал, до сих пор находится у меня в конюшне; и, право, Кай, я его не променяю на лучшего коня острова Британии.

Бог знает, Кай, рассказывал ли какой-нибудь человек приключение, так мало достойное его; но, право, я удивляюсь, что не слыхал, чтобы о том рассказывал кто-нибудь; а место моего похождения находится в государстве императора Артура, и никто другой не посещал той стороны с мечом в руке».

– Господа,– возразил Овен,– не следует ли нам испытать силу наших мечей в тех местах?

– Клянусь десницей той, которую люблю, – сказал Кай,– твой язык, Овен, более спешит говорить, чем рука действовать!

– Послушай, – вскричала Гвеннивара,– ты заслуживаешь быть повешенным за подобные предположения относительно такого человека, как Овен!

– Клянусь десницей той, которую люблю, добрая госпожа,– отвечал Кай,– ты не более уважаешь Овена, чем меня самого

И тут Артур проснулся и спросил, долго ли он спал.

– Да, государь, довольно,– отвечал Овен.

– Не пора ли обедать?

– Пора, государь,– отвечал Овен.

Тогда раздался звук рога; и, омыв руки, Артур и придворные сели за стол.

После обеда Овен вышел и отправился в свой покой, потом велел себе изготовить коня и оружие.

И на другой день на рассвете он вооружился, сел на коня и отправился в отдаленную землю, к пустынным горам, где и нашел долину, описанную Кеноном; он тотчас узнал ее, и поехал по долине, по берегу реки, и так очутился в равнине, а на равнине он увидел замок.

Когда он приблизился, то заметил двух юношей, игравших кинжалами в том самом месте, где их видел Кенон, а вблизи их стоял человек с русыми волосами, владелец замка.

И когда Овен приветствовал человека с русыми волосами, он предупредил его и привел в замок. Войдя в залу замка, Овен увидел молодых девиц, которые вышивали по атласу, сидя на позолоченных креслах; и он нашел их еще более прекрасными и миловидными, нежели как то рассказывал Кенон; и они поднялись, чтобы прислуживать Овену, как прислуживали Кенону, и услужливость их показалась Овену лучше, чем Кенону.

В половине обеда человек с русыми волосами спросил Овена о цели его путешествия; Овен, рассказав ему все, заключил:

– Я ищу рыцаря, стерегущего фонтан.

Тогда человек с русыми волосами улыбнулся и объяснил Овену, как и Кенону, весь предстоящий путь. Во всяком случае, он удовлетворил Овена, и они пошли спать.

На другой день утром молодые девицы оседлали коня Овена; он отправился и достиг прогалины, где был черный человек; и он показался ему больше того, каким представлял его Кенон, и он спросил у него о дороге, и черный человек объяснил ему.

Тогда Овен поехал по той же дороге, как и Кенон, до зеленого дерева, и увидел фонтан и мраморный камень и на нем ковш.

И он взял этот ковш и наполнил его водой, и вылил ее на камень: и вот ужасный удар грома, и после грома ливень; и то, и другое было гораздо сильнее, чем рассказывал Кенон. И после ливня небо сделалось

ясно; а когда Овен взглянул на дерево, там не осталось ни одного листа. И тотчас птицы спустились на дерево и запели; и в тот миг, как он был очарован пением птиц, в долине показался рыцарь, и Овен выступил ему навстречу.

Удар был силен; они сломали свои копья и бросились друг на друга с мечами в руках; но Овен так ударил рыцаря, что разрубил на нем шлем, забрало, нашлемник и рассек ему кожу, мясо и череп до мозга.

Черный всадник почувствовал, что он ранен насмерть, повернул свою лошадь и поскакал; а Овен стал его преследовать, но не мог приблизиться настолько, чтобы ударить его своим мечом.

Преследуя таким образом, Овен увидел обширный великолепный замок; в одно время они доскакали до ворот замка, но черный рыцарь успел один спастись в них, опустив сверху на Овена тяжелую решетку[1]. Она упала на задок седла его лошади и разрубила ее надвое, отбив концы шпор; а решетка дошла до земли, так что концы шпор с задом лошади остались вне, а Овен с другой половиной коня очутился между двумя воротами. Между тем заперли внутренние ворота; Овен не мог никуда выйти, и оставался там в большом волнении.

Заключенный таким образом, Овен начал посматривать в щели ворот и увидел перед собой улицу, с рядом домов по каждой стороне; потом он разглядел молодую девушку, с русыми развевающимися волосами и золотым обручем на голове, в желтом атласном платье, в полусапожках из разноцветной кожи; она приблизилась к воротам и просила его отворить их.

– Одному Богу известно, прекрасная дама,– сказал Овен,– что я так же мало могу тебе отворить ворота, как ты можешь меня отсюда выпустить.

– Очень досадно,– отвечала молодая девушка,– что я не могу тебя спасти! Все дамы должны бы прийти к тебе на помощь, потому что, клянусь Богом, я не знаю, видала ли я когда-нибудь дамского кавалера более преданного, чем ты. Для дам твоего сердца ты самый нежный поклонник; для своих друзей ты самый лучший друг. Итак,– прибавила она,– я сделаю все, что могу, для твоего освобождения. Возьми этот перстень и надень на твой палец; поверни камнем вниз и зажми руку; и пока ты будешь держать его внутри, он будет делать тебя невидимым. Когда жители замка составят совет, они придут потом, чтобы предать тебя смерти, и будут взбешены, не найдя тебя; я тебя буду ожидать на этом возвышении, и ты меня увидишь, хотя я тебя не буду видеть нисколько; подойди ко мне и положи свою руку на мое плечо; таким образом я узнаю, что ты около меня, и ты следуй за мной по дороге, которой я тебя поведу к выходу.

Сказав это, она оставила Овена, и он сделал все, что приказала ему молодая девушка. И люди замка пришли его умертвить; но придя, они нашли только половину его лошади и были тем очень сконфужены.

А Овен, оставив их там, подошел к молодой девушке и положил ей руку на плечо; и она пошла впереди него, а он за ней следовал, и они подошли к двери большой и прекрасной комнаты; молодая девушка открыла дверь, и они вошли туда; двери затворились.

Овен осмотрел комнату, и в ней не было ни одного гвоздя в стенке, который бы не был раскрашен богатейшими цветами, и ни одной занавески, которую не покрывала бы позолота.

Молодая девушка развела огонь, взяла серебряную чашу, полную воды, и положила себе на плечо утиральник белого полотна, и принесла Овену умыться; потом поставила перед ним серебряный стол с золотой насечкой; она покрыла его скатертью из желтой ткани, и подала ему обед; и Овен нигде никогда не видел столько кушаний всякого рода и нигде так не пировал; и никогда не встречал он стола, так богато уставленного кушаньями и отличными винами. И не было ни одной вещи в приборе, которая не была бы из серебра или золота.

[1] В средневековых замках крытый вход их имел обыкновенно двое ворот, внешние и внутренние; между воротами с потолка могла падать решетка с заостренными зубьями, наподобие ножа гильотины, чтобы остановить неприятеля, успевшего овладеть внешними воротами.

Овен провел за столом большую часть времени после полудня; и когда еще он сидел там, то послышался сильный шум в замке, и он сказал молодой девушке:

– Что это за шум?

– Соборуют елеем здешнего владельца,– сказала молодая девушка.

И Овен лег спать.

А постель, которую ему приготовила девушка, была бы достойна самого Артура: пурпуровое одеяло, меха, атлас, простыни из тонкого полотна.

И в полночь они услышали стон.

– Что это за стон? – спросил Овен.

– Только что умер владетель замка,– отвечала молодая девушка.

И на рассвете они услышали крики и плач; и Овен сказал молодой девушке:

– Что это за плач?

– Несут в церковь тело господина замка.

Тогда Овен встал и оделся, открыл окно комнаты и взглянул на площадь перед замком, и такое было множество воинов, которые наполняли улицы, что он не мог судить о их числе; и они все были вооружены; и много женщин, пешком и верхом, толпились посреди них; и все священники города пели; а ветер разносил их крики, звуки труб и духовные гимны.

Среди толпы он увидел гроб, покрытый белым покрывалом, а вокруг горели восковые факелы во множестве; и всякий из тех, которые несли гроб, был могущественный барон. И никогда Овен не видел такой роскоши в атласе, шелке и тонком полотне.

Вслед за процессией шла дама в трауре[1]; ее волосы, в беспорядке и окровавленные, развевались по плечам; на ней было желтое атласное платье разодранное, а на ногах полусапожки из разноцветной кожи; и было удивительно, как она себе не сломала пальцев, так сильно она всплескивала руками; поистине, она была самая красивая женщина, какую Овен когда-нибудь видел; ее голос покрывал шум людей и даже звук рогов.

Как только Овен ее увидал, то его сердце исполнилось любовью, и он спросил у молодой девушки, кто это такая.

[1] В подлиннике сказано: в желтом.

– Можно смело сказать,– отвечала молодая девушка,– и Бог в этом свидетель, что это прекраснейшая в мире дама, самая целомудренная, самая благородная, самая умная и самая знатная: это моя госпожа, ее называют Дама фонтана; она жена того, кого ты вчера убил.

– Я беру Бога в свидетели,– воскликнул Овен,– эту даму я люблю больше всего на свете.

– А она, разумеется,– сказала молодая девушка,– она тебя не только не любит мало, да пожалуй и нисколько.

Говоря так, молодая девушка встала, зажгла уголья и наполнила котел водой, которую нагрела; взяв полотенце из белого полотна, она обвязала его вокруг шеи Овена, потом взяла кубок из слоновой кости и серебряную кружку, куда налила горячей воды, и вымыла голову Овену; затем она открыла ящик, вынула оттуда бритву, черенок которой был сделан из слоновой кости с золотой насечкой; она его выбрила и вытерла ему полотенцем голову и шею; потом вышла и принесла ему есть, и он нашел, что никогда лучше не кормили его и не служили ему.

После обеда молодая девушка приготовила ему кровать:

– Ложись здесь спать,– сказала она,– пока я буду просить за тебя.

Овен лег; и молодая девушка заперла дверь комнаты и пошла в замок; когда она явилась туда, там было все в трауре и в беспорядке: дама, предавшись печали, заперлась одна в своей комнате, и никого не хотела видеть. И Лунеда (это было имя служанки) вошла и поклонилась даме; но дама ей не ответила; и молодая девушка склонила перед ней колени и сказала ей:

– Что с тобой случилось, что ты никому не отвечаешь сегодня?

– Лунеда,– заговорила дама,– что за перемена произошла в тебе, что ты совсем не пришла навестить меня в печали? Это очень худо с твоей стороны! Я тебя обогатила, а ты не пришла ко мне, когда я в отчаянии... О, это очень худо!

– Право,– сказала Лунеда,– я думала, что ты более рассудительна! Умно ли оплакивать так этого достойного человека или

и всякого другого, который не может тебя услаждать?

– Увы! – сказала дама,– я никогда не найду человека, похожего на моего господина.

– Наверно есть, и не один,– отвечала Лунеда,– который будет такой же или даже лучше его.

– Клянусь небом! – воскликнула дама,– если бы ты не ела моего хлеба, то я приказала бы отрубить тебе голову за такие слова, но я тебя прогоняю со своих глаз.

– Я очень рада быть выгнанной,– сказала Лунеда,– только за то, что хотела тебе услужить, когда ты сама не могла понять, что для тебя лучше. Отныне, что бы ни случилось, одна из нас должна сделать первый шаг к примирению: или я тебя буду просить, или ты меня попросишь о том.

При этих словах молодая девушка вышла; а дама встала и пошла за ней до дверей комнаты; и тут она начала сильно кашлять. Лунеда обернулась; дама подала ей знак, и она возвратилась к даме.

– Право,– сказала дама,– у тебя очень дурной характер! Но так как ты знаешь, что для меня лучше, то скажи же мне.

– Я могу сказать тебе,– отвечала Лунеда,– ты знаешь, что невозможно без воинов и оружия защищать твои владения: поспеши же найти кого-нибудь, кто мог бы их защитить.

– А как же я это сделаю? – сказала дама.

– Я тебе и это скажу,– отвечала Лунеда,– если ты не будешь защищать фонтан, то ты не будешь в состоянии сохранять своих владений, а никто, кроме какого-нибудь рыцаря двора Артура, не может защищать твоего фонтана; и горе мне, если я возвращусь без воина, который мог бы его охранять так же хорошо или даже и лучше того, кто защищал до сих пор!

– Это будет трудно,– сказала дама,– впрочем, ступай и сдержи свое обещание.

Лунеда вышла под предлогом, что хочет идти ко двору Артура, но возвратилась в комнату Овена. И она оставалась около него столько времени, сколько нужно для того, чтобы отправиться ко двору Артура и возвратиться.

И в конце этого времени она оделась и пошла к своей госпоже. И дама была очень обрадована, увидев ее.

– Какие ты вести приносишь от двора Артура? – сказала она.

– Прекрасную новость, госпожа,– отвечала Лунеда,– я достигла цели своего путешествия. Когда ты хочешь видеть рыцаря, которого я привела?

– Приходи с ним ко мне завтра в полдень,– сказала дама,– мой дом будет готов к его услугам.

И Лунеда ушла.

На другой день, в полдень, Овен надел платье и епанчу желтого атласа, окаймленную широким золотым галуном; а ноги обул в полусапожки из разноцветной кожи, прикрепленные золотыми пряжками в виде львиных когтей, и вместе с Лунедой отправился в покои дамы.

Дама выразила им свое удовольствие и посмотрела пристально на Овена:

– Лунеда,– сказала она,– этот рыцарь не походит на странника, прибывшего с дороги.

– Что же из этого, госпожа? – сказала Лунеда.

– Я уверена,– возразила дама,– что это тот человек, который убил моего господина.

– Тем лучше для вас, моя госпожа,– отвечала Лунеда,– потому что если бы он не был сильнее вашего господина, то и не убил бы его. Нельзя ничем помочь,– прибавила она,– тому, что уже случилось.

– Иди в свою комнату, Лунеда,– сказала дама,– я посоветуюсь.

На другой день дама собрала своих баронов и представила им, что земля осталась без защиты, и что у нее нет для того ни лошадей, ни оружия, ни воинов.

– Поэтому я вам даю на выбор: или пусть один из вас возьмет меня замуж, или предоставьте мне взять из другой земли мужа, который защищал бы меня.

Посоветовавшись, они позволили ей взять мужа чужестранца.

И она приказала явиться ко двору епископам и архиепископам, чтобы праздновать свою свадьбу с Овеном, и жители страны дали присягу Овену.

И Овен защищал фонтан копьем и мечом. И вот как он его защищал: всякого

рыцаря, который там показывался, он побеждал, и требовал с него выкупа, более или менее значительного, смотря по достоинству обидчика, и делил этот выкуп между своими баронами и рыцарями; так что в целом мире не было господина, более любимого своими вассалами.

И так это продолжалось три года.

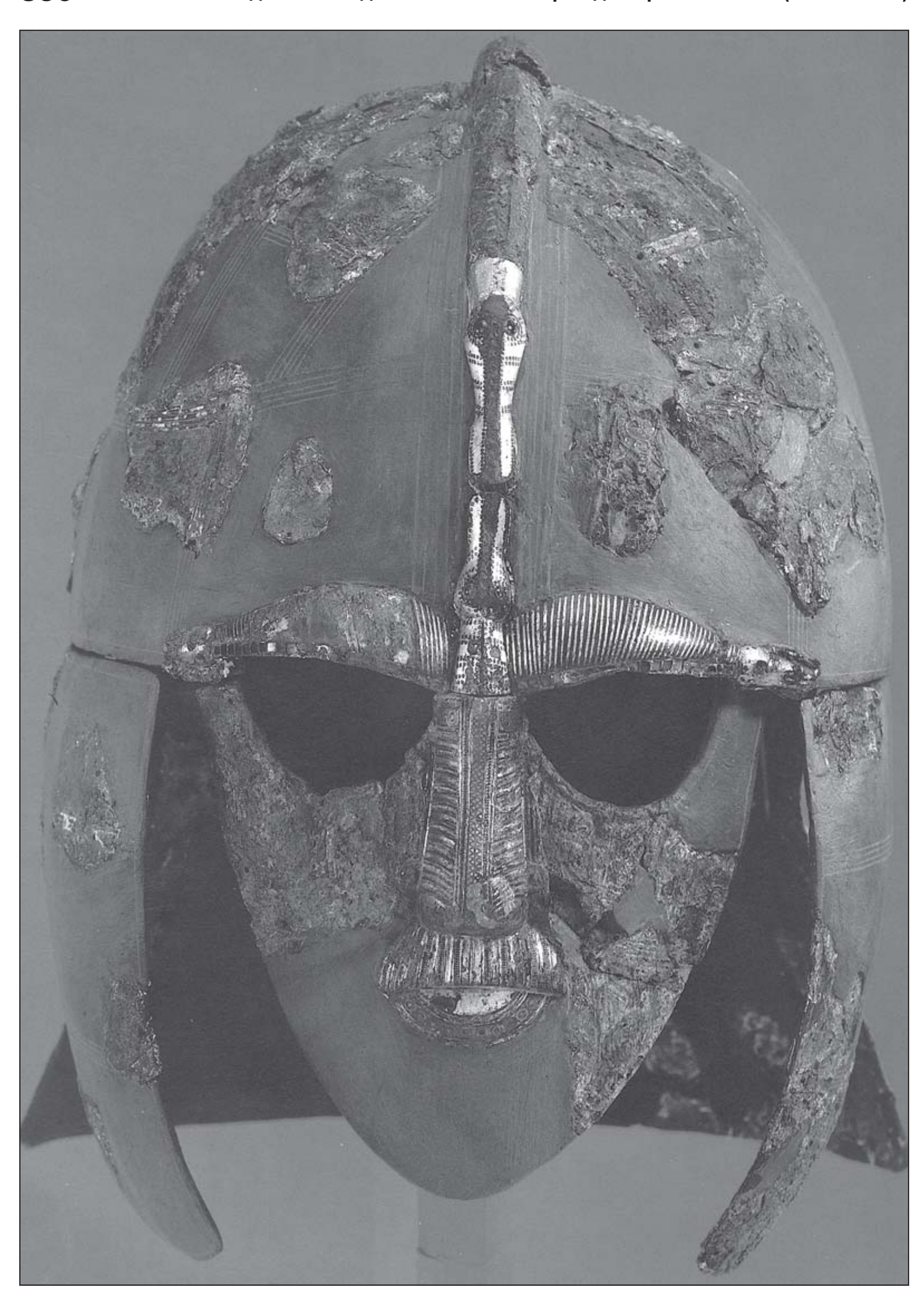
Т. I, с. 1 и след. Лонд. 1838

Видукинд

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АНГЛОСАКСОВ В ГЕРМАНИЮ (около 973 г.)

В то время, когда саксы овладели землей турингов, Британия, которая была задолго перед тем обращена императором Веспасианом в Римскую провинцию и давно уже благоденствовала под управлением римлян, подверглась нападению соседних народов, так как римляне, по-видимому, оставили ее без всякой помощи. Римский народ, после умерщвления императора Марциалиса солдатами, находясь сам в совершенном изнеможении от внешних войн, не мог более доставлять своим друзьям обычного вспомогательного войска. Таким образом, римляне оставили и эту страну; впрочем, они предварительно соорудили в ней для ее защиты огромные укрепления, по границе от одного моря до другого, откуда можно было ожидать неприятельского нападения. Но отважному и воинственному врагу, имевшему перед собой вялый, не привыкший к войне народ, было не трудно разрушить укрепления. Таким образом случилось, что бритты отправили к саксам, вследствие молвы о их победоносных подвигах, покорное посольство для испрошения помощи. Послы явились и сказали: «Возлюбленные саксы! Несчастные бритты, утомленные и пострадавшие от беспрерывных вражеских нападений, слыша о ваших доблестно одержанных победах, прислали нас к вам, для испрошения вашей помощи. Они подчиняют свою обширную страну, благословенную обилием всяких благ, вашей власти. До сих пор мы жили благополучно и свободно под владычеством и защитой римлян; теперь же, не зная никого, после римлян, достойнее вас, хотим укрыться под покров вашей храбрости. И если помощью вашего оружия и вашей храбрости, мы одержим верх над врагами, то охотно будем переносить всякое рабство, которому вы нас подвергнете». Старейшины коротко отвечали на это: «Знайте, что саксы будут надежными друзьями бриттов, постоянно внимательными к их нуждам и выгодам». Послы весело возвратились в свое отечество и чрезвычайно обрадовали вожделенной вестью своих собратий. Обещанное войско вскоре было послано в Британию и радостно принято друзьями. Оно в короткое время освободило страну от разбойников и возвратило жителям их отечество. Это завоевание не стоило больших усилий, потому что бритты, устрашенные давно известной молвой о саксах, были обращены в бегство одним появлением последних. Враждебные бриттам народы были скотты и пикты. Саксы, совершая против них поход, получали все жизненные припасы от бриттов. Счастливые взаимной дружбой с бриттами, они довольно долго оставались в этой земле. Но когда предводители саксонских дружин увидели обширность и плодоносие страны и нерасположение жителей к войне, то, не имея с большей частью саксов прочных жилищ, призвали значительнейшее войско, заключили союз со скоттами и пиктами, восстали общими силами против бриттов, изгнали их из отечества, и разделили землю, как собственное владение. И так как остров лежит некоторым образом в углу моря (angulus), то они до сего дня называются англосаксами. Если кто хочет изучить все это подробнее, то пусть читает историю названного народа, где объяснено, как и при каких предводителях все это случилось, и как они приняли христианскую веру, при посредстве святейшего мужа того времени – Папы Григория. Мы же пойдем дальше по тому пути истории, который избрали.

Сакс. ист. I, 8.



Англосакский шлем, около 625 г.

Бэда Преподобный

УСТРОЙСТВО ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЦЕРКВИ В АНГЛИИ И ЕЕ ОТНОШЕНИЕ К РИМУ (731 г.)

По утверждении христианства в Англии (601 г.), когда Папа Григорий услышал, что у епископа Августина много дела, а сотрудников мало, то послал ему вместе со своими легатами многих помощников и проповедников: между ними первые и главные были: Меллит, Юст, Павлин, Руфиниан. Через них же он препроводил вообще все, что необходимо для богослужения и церковной службы, как-то: священные сосуды, покровы алтарей, даже украшения на церкви и ризы священнослужителям и причетникам, также мощи св. апостолов и мучеников, и даже многие книги. При этом Григорий отправил Августину письмо, которым извещал его о том, что к нему препровожден паллиум; в этом же письме он наставляет Августина, каким образом он должен поставлять епископов в Британию. Вот содержание этого письма.

«Высокопочтеннейшему и святейшему брату Августину, соепископу (coepiscopo), Григорий, раб рабов Божьих.

Хотя все уверены, что трудящиеся во имя всемогущего Бога будут участниками неизрекаемых благ Царствия Небесного, но тем не менее для нас необходимо воздавать им и здесь почести, чтобы они, имея в виду вознаграждение, тем более прилежали к совершению духовного подвига. А так как новая церковь англов, щедростью Господа и твоими трудами, приведена к благодати всемогущего Бога, то я препровождаю тебе паллиум для ношения его только во время торжественного богослужения, чтобы ты мог поставлять 12 епископов в отдельных местностях, которые будут подчиняться твоему ведению (tuae ditioni); но епископ лондонской общины всегда и на будущее время должен посвящаться собственным синодом и получать почетный паллиум от нашего святого и апостольского престола, которому я служу Божиим изволением. В йоркскую же общину мы желаем, чтобы ты послал епископом кого сочтешь нужным поставить; впрочем, с тем, чтобы йоркский епископ, по утверждении слова Божия в соседних местностях с общиной, сам мог поставлять 12 епископов, и пользовался бы почестями митрополита; потому что и ему, если буду жив, я намерен, помощью Божией, предоставить паллиум, и тем не менее полагаю его пока подчинить тебе; после же твоей смерти он будет председательство-

---

БЭДА ПРЕПОДОБНЫЙ (VENERABILIS BEDA, presbyter –латинизированное англосакское имя BEDAN, 673–731). Родился в Нортумбрии, близ границ Шотландии, в местечке Girvum, у самого устья реки Тайна. Был англосакского происхождения, и это обстоятельство наложило особую печать на дух его исторических сочинений; защищая интересы римские и англосаксов, он везде является врагом бриттов и древней их национальной церкви. Получив воспитание в монастыре того же местечка, в котором родился, Бэда на 19-м году был посвящен в дьяконы, а в 30 лет – в пресвитеры; с этого времени он посвящает всю свою жизнь литературному труду и собственному образованию, которое дало ему название «светоча церкви» (candela ecclesiae). Слава Бэды была так велика, что Папа Сергий приглашал его к себе в Рим, но он отказался, хотя легенда настаивает на том, что Бэда посетил Рим и по приговору римского сената и народа получил прозвание Venerabilis за разгадку надписи на воротах Рима: P.P.P. S.S.S. R.R.R. F.F.F. (pater patriae perditus; salus secum sublata; ruet regnum Romae; ferro, flammo, fame). Литературная деятельность Бэды изумительна: он написал до 50 сочинений богословского и дидактического содержания в духе своего времени. Но всю славу его составляют исторические труды, а именно: 1. Chronicon seu Liber de temporibus seu de sex mundi aetatibus ab O. C.–726; хотя эта хроника написана в том же роде, как писались подобные произведения предшественниками Бэды, но Бэда сделал шаг вперед, введя

вать между епископами, им поставленными, но так, чтобы лондонский епископ нисколько ему не подчинялся. На будущее же время мы поставляем между лондонским и йоркским епископами то различие в почестях, что тот из них, кто был прежде поставлен, будет и считаться первым, но действовать в ревности к Христу они должны сообща и согласно; пусть распоряжаются единодушно, справедливо все обсуждают и обсужденное исполняют без распрей. Ты же, мой брат волею Господа нашего Иисуса Христа, имеешь в своем распоряжении не только тобой поставленных епископов и епископов, посвященных йоркским епископом, но и вообще всех священнослужителей Британии; в силу того пусть они и твоим словом, и примером твоей святой жизни поучаются истинно веровать и правильно жить; таким образом, выполняя свои обязанности с верой и в чистоте нравов, они достигнут Царствия Небесного, если то будет угодно Господу. Бог да сохранит тебя невредимым, высокопочтеннейший брат. Дано сие в десятый день июльских календ, царствования государя нашего Маврикия Тиверия, благочестивейшего Августа, в девятнадцатый год, после же консульства того же государя восемнадцатый год, четвертого индикта».

По удалении вышесказанных легатов блаженный отец Григорий вслед за ними отправил письмо, достойное памяти, и доказал тем ясно, как он внимательно заботился о спасении нашего народа. Св. Григорий писал так:

«Возлюбленнейшему сыну Меллиту, аббату, Григорий, раб рабов Божиих (servus servorum Dei).

По удалении нашей братии, которая теперь уже у тебя, я был в большой тревоге, потому что до меня не доходило ни малейшего слуха о благополучии вашего пути. Когда всемогущий Бог доведет вас до высокопочтеннейшего мужа и нашего брата Августина епископа, представьте ему все, что я определил, размышляя сам с собой о деле англов: а именно, храмы идолов в этой стране вовсе не следует разрушать, но ограничиваться только истреблением одних идолов; пусть окропят такие храмы святой водой, построят алтари и поместят мощи; ибо если эти храмы хорошо отстроены, то полезнее просто их обратить от служения демонам на служение истинному Богу; сам народ, видя свои храмы неразрушенными и изъяв из сердца заблуждения, будет тем охотнее стекаться в места, к которым издавна привык, познавая и поклоняясь при том истинному Богу. И так как язычники

новое разделение всемирной истории на 6 возрастов, откуда и сама хроника получила свое название: 1) от Адама до Ноя; 2) от Ноя до Авраама; 3) от Авраама до Давида; 4) от Давида до ассирийского пленения; 5) от пленения до Августа и 6) от Августа до импер. Ираклия. Эта форма универсальной истории оставалась образцом почти до конца Средних веков. 2. Historia ecclesiastica gentis Anglorum, libri V – самое капитальное произведение Бэды, где он является историком своего времени и пишет, по крайней мере в последних книгах, как очевидец; этот памятник тем более важен, что он служит единственным источником для древней истории англосаксов. Бэда начинает свой рассказ от завоевания Британии Юлием Цезарем и доводит его до 731 года, когда он умер. Полное издание сочинений Бэды: Giles, Londini, 1843 и 1844, в 12 т. с английским переводом исторических сочинений; также у *Migne*. Patrologiae cursus completus, etc., Par. 1844–57 (всего 241 т.) в 90, 91, 92, 93, 94 и 95-м томах; при этом в 90-м томе помещены все древние жизнеописания Бэды, из которых замечательнейшая Мабилльона. Для подробностей о Бэде и его сочинениях см. *Gehle*. De Bede Ven. prebs. Anglo-Sax. vita et scriptis. Lund. Bat. 1838; *Cronhelm*. Bedae historia ecclesiastica examinata. Lund. 1841. Ср. у *Wattenbach*. Deutschlands Geschichtsquellen, с. 81.– История Англии Бэды особенно сделалась популярной с X в., когда король Альфред перевел ее на национальный язык; этот перевод был издан при оригинале в 1722 г. *Wheloc*, King Alfred's Anglo-Saxon version of the eccles. history, и считается лучшим изданием.

имеют обычай приносить в жертву демонам многочисленных быков, то необходимо им заменить и это каким-нибудь торжеством; в дни памяти или рождения св. мучеников, которых мощи положены там, пусть народ строит себе из древесных ветвей шалаши около церквей, обращенных из языческих храмов, и празднует такие дни религиозной трапезой; вместо заклания животных в честь дьявола пусть они изготовляют мясо себе на пищу, во славу Божию, и приносят благодарность за свое насыщение подателю всего: когда им будет обеспечено материальное довольство, они легче воспримут и радость духовную. Отнять вдруг все у умов загрубелых, это, без сомнения, невозможно, потому что и тот, кто хочет подняться наверх, идет по ступеням, а не вскакивает в один раз. Так и израильскому народу в Египте Бог хотя давал знать о себе, но тем не менее допустил при богослужении употребление тех жертв, которые он имел обычай приносить дьяволу, и предписал заколоть животных для приношения себе; одно было упущено при этом, другое удержано, но сердце народа изменено: таким образом, хотя животные, приносимые ими на жертву, были одни и те же, но их закололи не идолам, а истинному Богу, и потому это не было больше жертвоприношением. Вот то, что тебе необходимо сообщить вышеназванному брату, чтобы он, обдумав все на месте, решил, насколько вообще многое может быть допущено. Бог да сохранит тебя невредимым, любезнейший брат. Дано сие в 15-й день июльских календ, в правление нашего государя Маврикия Тиверия, благочестивейшего Августа, лето девятнадцатое, в год 18-й его консульства, четвертого индикта».

В это же время св. Григорий отправил письмо к Августину по поводу чудес, которые были, как он слышал, совершены последним, и в этом письме он убеждает его не впасть в гордость от их многочисленности, говоря так:

«Я знаю, любезнейший брат, что всемогущий Бог, по твоей любви к народу, который Он хотел избрать, явил великие чудеса: вот потому необходимо, чтобы ты со страхом радовался, и, радуясь, боялся такого небесного дара. Ты должен радоваться, потому что души англов внешностью чуда привлекаются к внутреннему спасению; но вместе и бойся, чтобы среди совершающихся знамений слабый дух не вознесся в гордости, и то, что извне содействовало бы к увеличению почестей, внутри не привело бы к падению от суетной славы. Мы должны припоминать себе, как ученики, возвращаясь с проповеди, с радостью говорили своему небесному Учителю: «Господи, именем Твоим и демоны подвластны нам»,– и услышали на это в ответ: «Не радуйтесь тому, а радуйтесь скорее другому: что имена ваши написаны на небесах. Те, которые радовались дару чудес, имели в виду личную и временную радость; но их призывали от личной радости к общей, от временной к вечной, говорили им: «Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Ибо не все избранные делают чудеса; но имена всех их записаны на небесах». Ученикам истины радость может доставлять только то благо, которое у них общее с другими. Остается, таким образом, любезнейший брат, чтобы ты о всем, что делаешь при помощи Божией, повсюду и у всех, тщательно совещался с самим собой, и спросил внутренно себя, кто ты сам и какова должна быть милость Господня к тому народу, для обращения которого ты наделен даром творить знамения. И если когда ты или языком, или поступком провинишься пред нашим Творцом, всегда приведи на память сказанное мной, чтобы память придавила поднимающееся славолюбие сердца. И все, что ты получил или получишь для совершения знамений, отнеси не к себе, а к тем, для спасения которых ты наделен даром чудес»...

Между тем Августин, пользуясь содействием короля Эдильберкта (Этельберта), пригласил к себе епископов или теологов (doctores) ближайшей провинции бриттов, назначив для сбора место, которое и до сих пор называется на языке англов Augustinaes ac, то есть сила Августина, и находится на границе гуикциев и западных саксов. И начал Августин братски убеждать их, чтобы они, сохраняя друг с другом католический мир, предприняли общий труд распространять именем Божиим Евангелие между

язычниками. Между тем они праздновали святое Воскресение не в свое время, а от 14 до 20-го дня луны; и многое другое совершалось ими в противоположность церковному единению. После долгого спора, когда ни мольбы, ни убеждения, ни упреки Августина и его друзей не подействовали, и епископы предпочитали свои предания учению Вселенской церкви, которое везде одинаково во всем мире, тогда св. отец Августин положил предел этому длинному прению, сказав следующее: «Помолим Господа об удостоении нас знамения, из которого явствовало бы, какому преданию должно следовать и какими путями скорее можно достигнуть его царствия. Пусть приведут какого-нибудь несчастного, и чьими молитвами он будет излечен, вере того и благопочитанию должны последовать все». Противники его неохотно приняли такое предложение, а между тем принесли какого-то англа, лишенного зрения; священники бриттов, подойдя к нему, ничего не могли сделать для его выздоровления или излечения; наконец, Августин, побуждаемый крайностью, преклонил колени пред отцом Господа нашего Иисуса Христа, умоляя возвратить слепому утраченное им зрение и через телесное просвещение одного зажечь луч духовной благодати в сердцах многих верных. Слепой немедленно прозрел, и Августин был провозглашен всеми истинным толкователем высшего света и истины. Тогда и бритты сознались, что путь правды, проповедуемый Августином, должен считаться непогрешимым; но они не могли без согласия и одобрения своих отказаться от древних нравов. Потому они просили назначить вторичный синод для собрания большего числа членов.

Для опровержения того, что было постановлено, собралось 7 епископов из бриттов и множество ученейших мужей, преимущественно из знаменитого их монастыря, который на языке англов называется Банкорнабург; в то время, как рассказывают, аббатом этого монастыря был Диноот. Отправляясь на этот собор, они зашли сначала к одному святому и мудрому мужу, который вел пустынную жизнь, и спрашивали его, должны ли они, по увещанию Августина, отказаться от своих преданий. Он отвечал им: «Если он божий человек, то последуйте за ним». Они же говорили: «А откуда мы можем в том убедиться?» – А он им на это: «Господь сказал: “Возьмите иго мое на себя, и научитесь от меня; ибо я кроток и смирен сердцем”» (Матв. XI, 29). Итак, если Августин кроток и смирен сердцем, то, вероятно, что, нося сам на себе иго Христа, и вам он предложит нести то же самое; если же он не кроток, а горд, то очевидно, что он не от Бога, и нам нет надобности обращать внимание на его речи». А они снова возразили: «А откуда мы и это можем узнать?» – «Постарайтесь,– говорил им пустынник,– чтобы Августин вместе со своими пришел в место собрания первым, и если при вашем приближении он встанет, то знайте, что он слуга Христов, и слушайте его с повиновением; если же он пренебрежет и не встанет перед вами, то и вы окажите ему презрение: вас же больше и числом». Они послушали, как научил их пустынник, и вышло так, что Августин остался сидеть на своем кресле при входе епископов бриттов. Видя то, они пришли в гнев и, обличая его в гордости, старались противоречить ему во всем, что он ни говорил. Он же им возражал: «Несмотря на то, что вы во многом не соглашаетесь с нашими обычаями и даже с обычаями Вселенской церкви, но если вы захотите повиноваться мне в трех пунктах, а именно: 1) праздновать в свое время Пасху; 2) совершать таинство крещения, которым мы возрождаемся в Боге, по обычаю св. Римской и Апостольской церкви и 3) проповедовать вместе с нами слово Божие народу англов – в таком только случае мы равнодушно будем переносить все прочее, в чем вы противоречите нам». Но они ни на что из того не согласились и отвечали, что и его самого они не будут признавать архиепископом; епископы бриттов рассуждали так: «Если он теперь не хотел встать перед нами, то что будет, если мы ему подчинимся: он будет нас презирать, как последних».

Рассказывают, что божий человек Августин, угрожая им, предсказал, что если они не хотят сохранить мира с братьями, то будут вынуждены вступить в войну с неприя-

телями, и если они не хотят проповедовать англам путь жизни, то от их мстительной руки получат смерть. И все это, как он предсказал, Божиим соизволением совершилось над ними.

Некоторое время спустя после того, король англов, могущественнейший Эдильфрид, собрав великое войско, при городе Легионе, который англы называют Legacaestir, а бритты вернее – Carlegion, нанес великое поражение вероломному народу (613 г.). Когда перед войной он увидел священников бриттов, собравшихся в более безопасном месте для молитвы о победе своим воинам, он спросил, кто они такие и для чего собрались там. Большая часть их была из монастыря Банкор, в котором, как рассказывают, было так много монахов, что хотя монастырь разделен на 7 частей, и каждая со своим отдельным ректором, но тем не менее нет ни одной части, в которой не было бы больше 300 человек, живших трудами рук своих. Большая часть из них, накануне упомянутого сражения, выдержав предварительно трехдневный пост, собралась вместе с прочими для молитвы о победе, а Брокмаил стоял на страже для защиты их от меча неприятеля. Когда король Эдильфрид узнал о цели их собрания, то обратился к окружающим со словами: «Итак, если они взывают к своему Богу против нас, то и они сами хотя и не носят оружия, но сражаются с нами, потому что преследуют нас враждебными пожеланиями». Затем он приказал обратить против них первых оружие, и после того истребил, не без малой опасности для своих воинов, остальную шайку нечестивого войска. В этом бою из собравшихся на молитву, как рассказывают, пало около 1200 человек, и только 50 спаслись бегством. Брокмаил, при первом появлении неприятеля, поворотил тыл и оставил на избиение беззащитных, с голыми руками, кого обязан был прикрывать. Так исполнилось предсказание святого первосвященника (pontificis) Августина, хотя он задолго перед тем отошел в горние области; вероломные получили воздаяние временной гибелью за то, что презрели предлагаемые им советы для вечного спасения.

В год воплощения Господня 604-й Августин, архиепископ всей Британии, поставил двух епископов, а именно, Меллита и Юста: Меллита для проповеди в провинции Эссексе (orientalium Saxonum), которая отделяется р. Темзой от Кента и прилегает к Немецкому морю (Orientali mari); столица ее город Лондон (Lundonia civitas), расположенный на вышеназванной реке и служащий главным рынком для людей, приходящих морем и сухим путем; среди этого народа в то время правил Саберет, внук Эдильберкта, по сестре его Рикуле; впрочем, он находился в зависимости от того же самого Эдильберкта, который господствовал над всеми народами англов до пределов реки Гумбера. Когда и эта провинция, проповедью Меллита, была обращена, король Эдильберкт построил в Лондоне церковь св. апостола Павла, в которой и Меллит, и все его преемники имели свой епископский престол. Юста же поставил Августина епископом в самом Кенте, в городе Кентербори (Doroverni); так назвали этот город англы по имени одного древнего предводителя Hrof–Hrofaescaestrae. То место, где король Эдильберкт построил церковь блаженному апостолу Андрею, отстоит от Кентербори на 1024 шага к западу; епископы обеих церквей получили от него большие дары, а те, которые составляли их свиту, приобрели от него в пользование земли и угодья.

Но умер возлюбленный Богом отец Августин (605 г.), и тело его положено снаружи, близ церкви блаженных апостолов Петра и Павла (построенной самим Августином в Кентербори), потому что она в то время еще не была готова и не освящена. Но по освящении ее тело его было немедленно перенесено внутрь и с почестями положено в северном портике; там же погребены и тела последовавших епископов, исключая только двух, Теодора и Барктуальда, которые положены в самой церкви, потому что вышеупомянутый портик не мог более вмещать. Почти посредине этой церкви находится алтарь, посвященный памяти блаженного Папы Григория, на котором каждую субботу священник того места читает торжественно

его Agendae. На могиле же Августина находится следующая эпитафия:

ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ВЛАДЫКО АВГУСТИН,
ПЕРВЫЙ КЕНТЕРБОРИЙСКИЙ
АРХИЕПИСКОП,

который, быв во время оно отправлен сюда блаженным Григорием, римского города первосвященником, и наделен Богом даром чудес, обратил короля Эдильберкта и его народ от почитания идолов к вере Христа, и, завершив дни своего служения в мире, почил в седьмой день июньских календ в правление того же короля.

Hist. ecclesiast. gentis angl. 1, I, 29–31; II, 2, 3.

Августин Тьерри

О ХАРАКТЕРЕ УТВЕРЖДЕНИЯ КАТОЛИЧЕСТВА В АНГЛИИ (1825 г.)

Около того времени (между 580 и 590 гг.), когда англосаксы только что успели окончить завоевание самой лучшей части острова Британии, достоинство епископа или Папы в Риме наследовал человек, посвятивший себя с искусством и ревностью делу распространения католичества и расширения пределов новой Римской империи, которая начала тогда воздвигаться, опираясь на преобладание престола св. Петра. Это был Григорий; он трудился с успехом над тем, чтобы как можно более усилить в метрополии Запада власть иерархии епископальной, созданной некогда политикой императоров. Франкские короли, католические предводители армий, вполовину еще языческих, были верными союзниками Папы Григория, и их могущество, страшное в своем отдалении, служило верной опорой и подтверждением его папским декретам. Когда он считал полезным подчинить епископов Галлии какому-нибудь новому закону о повиновении Папе или избранным им же наместникам, он посылал свой указ славным особам Гильдеберту, Теодориху или Теодеберту, поручая им привести его в исполнение силой своей королевской власти и наказать непокорных. Преувеличенная лесть, названия: наизнаменитейший, благочестивейший, наихристианнейший, и посылка известных мощей для ношения на шее во время битвы, были, со стороны римского епископа, уплатой выгодной и малостоящей за добрые услуги короля-варвара[1].

[1] См. в Script. rer. gallic. et francic. t. IV, p. 14 et 15; Epistol. Gregorii parae ad episcopos Galliae et Childebertum regem.

АВГУСТИН ТЬЕРРИ (AUGUSTIN THIERRY, 1795–1856). Первоклассный французский историк, содействовавший своими трудами более, чем кто-нибудь другой из его современников, тому перевороту, который совершился в исторической науке и ее приемах в тридцатых и сороковых годах XIX века. Окончив свое образование в Ecole Normale (1811 г.), Авг. Тьерри избрал занятие наставника, но чтение «Martyrs» Шатобриана указало ему настоящее его призвание, и он оставил практическую деятельность для ученых трудов. Случайное сближение с Сен-Симоном (1814–1817 гг.) увлекло его на поприще публициста, и вместе с ним он издал: 1) «De la réorganisation de la société européenne» (1814 г.), где предлагались средства соединить все европейские народы в одно целое, без ущерба национальностям; 2) «Sur les mesures a prendre contre la coalition de 1815»; 3) «Des nations et de leurs rapports mutuels» и мн. др. Разойдясь в идеях с Сен-Симоном, Авг. Тьерри присоединился к редакции журнала «Courrier français» (1820 г.), и при этом одна полемика по поводу привилегий дворянства навела его на мысль основательно исследовать древний быт Галлии; результатом его трудов были знаменитые «Dix lettres sur l'histoire de France»,

Подобного рода союз с завоевателем Великобритании, для блага католической веры и для выгод первенства пап, рано стал предметом забот и честолюбия Григория Великого; рано составил он план обратить англосаксов в католичество и сделать их могущество, подобно могуществу франков, средством к увеличению своей духовной власти, непризнаваемой христианскими туземцами, бриттами. Бедные бритты, христиане, побежденные и лишенные владений, не мешали намерениям Римского Папы; у них не было недостатка ни в вере, ни в усердии, но между ними и их врагами-язычниками никакой мир не был возможен. Ненависть к чужеземному игу, забота о народной защите поглощали все их мысли; они не имели ни досуга, ни охоты пытаться завести дружеские отношения с победителями, отношения, которые могли бы создать в будущем вид какой-нибудь законности для завоевания Британии англосаксами.

Итак, Папе Григорию предстояло свободное поле для действия; чтобы выполнить свое предприятие, он начал повсюду отыскивать, на невольничьих рынках, молодых людей англосакского происхождения, от 17 или 18 лет. Его поверенные покупали их, постригали в монахи, стараясь вместе воспитать в учении Католической церкви настолько, чтобы они могли излагать это учение на родном языке. Кажется, что эти насильственные миссионеры не вполне соответствовали стараниям и видам своих наставников; потому что Папа Григорий, отказавшись вскоре от своей оригинальной попытки, решился, для обращения англосаксов, послать римлян веры испытанной и образования основательного (596 г.). Главой этой миссии был Августин: его посвятили и назвали вперед епископом Англии. Спутники его, пылавшие ревностью, сопровожали его до города Э. в Провансе; прибыв же туда, они ужаснулись своего предприятия и пожелали возвратиться домой. Но один только Августин поехал обратно в Рим, чтобы испросить у Григория, от имени всех, позволения оставить это опасное путешествие, результат которого, говорил он, весьма ненадежен, когда приходится иметь дело с народом неизвестного языка. Но Папа не согласился на это. «Слишком поздно отступать, – отвечал он, – вы должны выполнить свое предприятие, не слушая речей недоброжелателей; я сам от всей души желал бы трудиться вместе с вами над этим добрым делом». Миссионеры принадлежали к монастырю, основанному Папой Григорием на его собственной земле и в том самом доме, где он родился; все поклялись ему повиноваться, как своему духовному отцу; и потому они и теперь повиновались и отправились сначала в Шалонь, где жил Теодорих, сын Гильдеберта, король половины восточной части страны, завоеванной франками (то есть Австразии). Оттуда они направлялись к Мецу, где правил другой половиной Теодеберт, второй сын Гильдеберта.

которые произвели переворот в исторической науке новостью выводов и ниспровержением старых теорий. Вслед за тем явилось и другое произведение Авг. Тьерри: «Histoire de la conqukte de l'Angleterre par les Normands», то есть «История завоевания Англии норманнами» (первое издание 1825 г. в 3-х т., последующие в 4-х). Но труды Авг. Тьерри стоили ему зрения, и с того времени он писал через своих секретарей. В 1834 г. он издал собрание своих отдельных статей под заглавием: «Dix ans d'études historiques», с превосходным введением. Наконец в 1840 г. Авг. Тьерри окончил свое самое капитальное произведение: «Récits des temps mérovingiens précidés des considérations sur l'histoire de France» (2 vols; в 1848 г. был издан русский перевод редакцией «Отеч. Записок»: «Рассказы о временах меровингских»). В то же время, по предложению министра народного просвещения Гизо, он занимался собранием памятников среднего сословия, результатом чего было 4 тома «Recueil des monuments inédits de l'histoire du tiérs-étas». 1846–1856. Под влиянием этого труда, Авг. Тьерри написал свое последнее сочинение: «Essai sur l'histoire de la formation et des progrus du tiérs-état». Par. 1853.



Христос в образе бога Солнца. Роспись на стекле

Римляне вручили обоим королям письма, исполненные лестных для них выражений, которые могли бы вызвать их благосклонность, льстя в высшей степени их тщеславию. Папа Григорий знал, что франки были в войне с саксами, населявшими Германию, своими северными соседями, и, принимая это обстоятельство в соображение, он не усомнился в письме назвать франкскими подданными и тех англосаксов, которые жили за морем и которых его монахи шли обратить в христианство. «Я думал,– писал он сыновьям Гильдеберта,– что вы должны горячо желать счастливого обращения ваших подданных к той вере, которую вы исповедуете сами, вы, их владыки и короли; вот что побудило меня отправить Августина, подателя этой грамоты, вместе с другими служителями Господа, чтобы трудиться там под вашим покровительством».

Миссия доставила также письмо и бабке двух молодых королей, вдове Сигберта, отца Гильдеберта, женщине в высшей степени честолюбивой и редкой интриганке, которая именем своих двух внуков сама правила половиной Галлии. Она происходила из племени готов, в то время оттесненных оружием франков по другую сторону Пиренеев. До замужества она носила имя Бруны, которое на германском языке означало блистательная; но франкский король, женившись на ней, желал украсить и удлинить ее имя, как рассказывает современный ей историк Григорий Турский, и назвал ее Брунегильда, то есть блестящая дева. Из арианки она сделалась католичкой, будучи помазана св. елеем, и обнаруживала с тех пор большую ревность к своей новой религии; епископы наперебой хвалили чистоту ее веры и благочестивые дела и не хотели ничего знать о разврате, обмане и политических преступлениях. «Вас, чье усердие пламенно, дела неоцененны, а душа окрепла в страхе всемогущего Творца, – писал Папа Григорий этой королеве, – вас мы умоляем помочь нам в великом деле. Племя англов обнаружило готовность принять веру Христа, и мы хотим удовлетворить его желание». Франкские короли и их бабка не думали много о том, чтобы удостовериться в пламенном желании англосакского народа, или согласить его с отвращением и страхом самих миссионеров к своему предприятию; они приняли миссию и содержали ее на свой счет во время ее пути до морского берега. Король западных франков (в Нейстрии) хотя находился в войне со своими австроазийскими родственниками, но принял римлян не менее милостиво, и дозволил им избрать несколько человек из франкского племени, как переводчиков у саксов, которые говорили почти на том же самом языке.

По счастливому стечению обстоятельств самым могущественным из королей англосакских того времени был Этельберт, король Кентской страны, а жена его происходила из племени франков и исповедовала католическую веру. Это известие ободрило товарищей Августина, и они с уверенностью пристали в оконечности Танета, уже знаменитого по высадке древних римлян и тех двух братьев, которые открыли саксам дорогу в Британию. Франкские переводчики отправи-

лись к Этельберту; они сообщили ему, что приехали люди издалека и принесли ему радостную весть с предложением вечного царства, если только он захочет поверить их словам. Сначала король саксов не дал никакого положительного ответа, и повелел, чтобы чужеземцы продолжали жить на острове Танете до тех пор, пока он решится на что-нибудь относительно их предложения. Можно полагать, что жена-христианка короля-язычника не бездействовала при этом, и что все выражения супружеской нежности были употреблены для того, чтобы расположить Этельберта к миссионерам. Он согласился войти в переговоры с ними; но, по некоторому недоверию, не решился принять их в своем доме, ни даже в своей столице, а отправился сам переговорить с ними на остров, где они находились; даже там он хотел, чтобы свидание их происходило на открытом воздухе, для предупреждения всякой порчи, в случае, если бы чужеземцы вздумали прибегнуть к тому. Римляне явились на место свидания, приготовившись заранее; они шли процессией друг за другом: впереди них несли большой серебряный крест и изображение Христа; потом была объяснена цель их путешествия и представлены предложения.

«Да, это прекрасные слова и прекрасные обещания,– отвечал им король-язычник,– но так как все это дело для меня совершенно ново, то я не могу тотчас поверить тому и отказаться от религии, которую я исповедую со всем моим народом. Однако, так как вы пришли сюда издалека, чтобы сообщить нам то, что вы сами, как мне кажется, признаете полезным и справедливым, то я не буду обходиться с вами дурно: я доставлю вам содержание и помещение и позволю свободно распространять ваше учение и убеждать кого вы можете».

Монахи отправились в его столицу, которую называли городом людей Кента посаксски Кентвара-Бириг (Kentwara Byryg)[1]; они вошли и туда процессией, неся крест и образ, и пели священные гимны. Вскоре они успели приобрести нескольких последователей; церковь, некогда построенная бриттами и заброшенная после завоевания страны англосаксами, послужила им местом для совершения литургии; они поражали воображение народа строгостью своей жизни, делали даже чудеса, и последнее обстоятельство расположило к ним сердце короля Этельберта, который сначала, по-видимому, боялся волшебства. Когда сам глава Кентской страны принял крещение, то новая религия сделалась средством к приобретению милостей, и многие избирали его, хотя король Этельберт, как говорят историки, никого не хотел принуждать. Он дал, в знак преданности к вере, своим духовным отцам дома и земли; впрочем, и везде это было первое, что требовали проповедники от варваров. «Я прошу твое величество и твою щедрость, – говорил священник новообращенному королю, – дать мне землю со всеми ее доходами, но не для меня, а для Христа, и вручить мне акт на владение ею, дабы взамен того и сам ты получил огромные владения в этом, а еще большие – в том мире». Король отвечал: «Я предоставляю тебе в безусловное владение весь этот участок, принадлежавший мне; пусть эта земля будет тебе отечеством, и с этих пор пусть не будешь ты чужестранцем между нами».

Августин принял титул епископа Кента. Миссия продолжала свою проповедь и за пределами этой территории, и имела успех, благодаря первому примеру в Эссексе, где королем был Сигберт, родственник Этельберта. Папа Григорий чрезвычайно обрадовался, узнав результат миссии, которая успела обратить в христианство и католичество часть завоевателей Великобритании: по правде сказать, последнее обстоятельство было для него важнее всего, потому что его привязанность к символу Никейского собора и к учению св. Августина делала его смертельным врагом всего, что казалось ему ересью или расколом; в своем католическом пуризме он доходил до того, что даже отказывал в благодати еретикам, погибшим за веру в Иисуса Христа. «Жатва велика,– извещал его Августин,– а работников недостаточно для нее». При этом известии отправилась вторая миссия из Рима с письмами, адресованными

[1] Отсюда произошла позднейшая форма Canterburi.

к галльским епископам, и с чем-то вроде дипломатической ноты к Августину, этому великому уполномоченному римской церкви в Британии. Инструкция, данная Меллиту и Лаврентию, главам новой миссии, была следующего содержания:

«Скажите ему (Августину), что после зрелых и глубоких размышлений об обращении народа англов, я решил в своем уме много важных вопросов: во-первых, не следует разрушать языческих храмов, а только идолов; освятив воду, окропить ею храмы, соорудить в них алтари и поставить мощи. Если эти храмы прочно выстроены, то это хорошо и полезно – пусть они перейдут от поклонения демонам на служение истинному Богу; потому что, когда народ увидит, что уцелели их места молитвы, он охотнее пойдет туда, по привычке, чтобы молиться истинному Богу» (Beda Venerab. Hist. eccles. I, 29).

«Во-вторых, говорят, что народ имеет обыкновение приносить в жертву быков; надобно, чтобы этот обычай обратился бы для него в христианское торжество, и чтобы в день освящения храмов точно так же, как и в праздники святых, мощи которых находятся в этих храмах, дозволялось им строить шалаши из ветвей кругом тех же самых храмов, как то было в прошлое время: пусть они собираются туда, пусть приводят туда своих животных, которые тогда будут убиваемы ими не как жертвы дьяволу, но для трапезы христианской, во имя и в славу Бога, которому пусть они воздадут благодарение за свое насыщение. Оставляя людям некоторую долю из материальных удовольствий, скорее доведете их до способности наслаждаться внутренним счастьем». (Henrici Huntind. Hist. I. III, apud rer. anglic. Script. p. 322, ed. Savile).

Меллит и Лаврентий вручили Августину, вместе с этими наставлениями, pallium, который, по обряду, заимствованному Римской церковью от Римской империи, был внешним знаком власти над прочими епископами. Они принесли в то же время проект церковных учреждений, заготовленный вперед в Риме, с целью применить его в Англии к делу, по мере того, как будет расширяться там господство Католической церкви. По этому проекту Августин должен был поставить двенадцать епископов, и город Лондон, когда он сделается христианским, назначить метрополией, от которой будут зависеть прочие двенадцать епархий. Подобным же образом, лишь только обширный северный город, называвшийся по-латыни Eboracum, а по-сакски Эверик (ныне Йорк), примет христианство, Августин обязан будет посвятить туда епископа, который, получая в свою очередь pallium, сделается митрополитом других двенадцати епископов. Будущий митрополит, хотя зависимый от Августина в продолжение всей жизни последнего, при наместниках Августина должен зависеть исключительно от одного Рима.

Рассматривая эти распоряжения только с материальной стороны, подумаешь, что возобновляется, только под другими формами, тот раздел провинций, завоеванных или еще подлежащих завоеванию, который в предшествовавшие века занимал так часто сенат римский. Престол первого епископа саксов не был, однако, основан в Лондоне, как то повелевали папские инструкции; и для того ли, чтоб угодить более новообращенному королю Кента, или с целью ближе наблюдать за ним и иметь больше возможности искоренять в нем старые привычки язычника, Августин поселился в Кентербори и даже в самом дворце Этельберта. Другой римский миссионер утвердился в Лондоне, столице Эссекса (Восточной Саксонии), но как простой епископ; Рофескестер, ныне Рочестер, между Лондоном и Кентербори, сделался местопребыванием другого епископа. Сам прелат и его эти двое подчиненных пользовались славой чудотворцев, и скоро молва о совершаемых ими знамениях распространилась по всей Галлии. Папа Григорий искусно пользовался всеми этими известиями, чтобы питать в сердце королей франкских любовь и страх к Риму; но, извлекая для себя свою пользу из славы Августина, он с опасением смотрел на то, как эта слава возрастает, и как человек, подчиненный ему, ставится наряду с апостолами. До нас дошло весьма двусмысленное письмо, в котором папа, не рискуя высказать прямо свою мысль относительно такого предмета, по-видимому,

старается напомнить апостолу англосаксов, чтобы он не забывал своего ранга и обязанностей и более скромно пользовался своим даром чудес.

«Услышав,– пишет Григорий,– о великих чудесах, которые угодно было Богу совершить твоими руками, перед глазами нации избранной им, я был весьма обрадован тем, потому что внешние чудеса весьма способствуют к тому, чтобы расположить душу к восприятию внутренней благодати; но ты сам берегись, чтобы среди этих знамений твой дух не возгордился и не сделался кичливым; бойся, чтобы то, что извне увеличивает уважение и почести, не послужило внутри тебя причиной падения путем тщеславия». Подобные советы со стороны Григория были не лишены основания, и самолюбивый характер Августина обнаруживался уже не раз самым очевидным образом: не удовлетворяясь достоинством прелата у англов, он домогался первенства более лестного и более прочного у народов, которые издавна были христианами. В одном из его запросов в Рим между прочим находился следующий лаконический и притязательный вопрос: «Как мне обходиться с епископами Галлии и с епископами бриттов?» – «Относительно епископов галльских,– отвечал ему Григорий, видимо, встревоженный таким вопросом,– я тебе не дам и не даю никакой власти над ними: прелат города Арля получил от меня паллиум, и я не могу лишить его власти; он остается главой и судьей галлов, и не позволит тебе заходить с косой твоего суда на чужое поле. Епископов же бриттских я поручаю тебе вполне и без исключения: просвещай невежественных, укрепляй слабых и наказуй по своему произволу худых».

Огромное различие, которое Римский Папа полагает между епископами Галлии, которых он защищает от притязаний Августина, и епископами бриттов, которых он ему предоставляет, легко понять, если вспомнить, что бритты считались еретиками. Этот несчастный остаток великой кельтской расы, прижатый к углу своей древней родины, потерял все, по словам одного из своих поэтов, кроме имени, языка и своего Бога. Потомки кельтов верили в единого Бога в трех лицах, награждающего и мстящего, как учила Римская церковь, потомство за грехи прародителей, распространяющего благодать на всякого, кто поступает справедливо, и не осуждающего умерших младенцев и, следовательно, не впавших в грех. К этому различию в догмате, вытекшему из учения Пелагия (ересиарха Галлии, жившего в V в.) или так называемых полупелагианцев, и сохранившемуся у бриттов, присоединились и другие несогласия относительно дисциплины, источником которых послужили или местные обычаи, или предания восточной церкви: Британская церковь предпочитала, как дочь церквей восточных, их предания и обычаи. Так, форма духовного пострижения и монастырского платья была неодинакова в Британии, Италии и Галлии; бритты не соглашались праздновать Пасху в дни, определенные папскими декретами. Правила монастырей у бриттов, хотя весьма строгие, имели ту особенность, что только малое число духовных получали посвящение в орден, а все прочие, как простые светские люди, трудолюбиво работали целый день, занимаясь искусством или ремеслом для собственного существования или на общую пользу. Бритты имели епископов; но эти епископы большую часть времени оставались без определенных престолов: они жили то в одном городе, то в другом как настоящие епископы, то есть наблюдатели, и их архиепископ пребывал безразлично то в Керлеоне-на-Оске (древняя столица Артура), то в Меневе, ныне Сен-Давиде; этот архиепископ, вполне независимый, не получал никакого паллиума, да и не домогался того. Все это было преступлением в глазах римского духовенства, которое стремилось подчинить всех своему преобладанию; а для папы Григория было совершенно достаточно того, чтобы не признавать власти епископов бриттских, почему он и считал себя вправе отдать их под опеку и на исправление своим миссионерам[1].

Hist. d. l. conquête de l’Anglet. etc. I, 54–67 (10 изд.)

---

[1] О борьбе Августина с бриттскими епископами см. выше.

Августин Тьерри

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ХРИСТИАНСТВА НА СЕВЕРЕ АНГЛИИ (1825 г.)

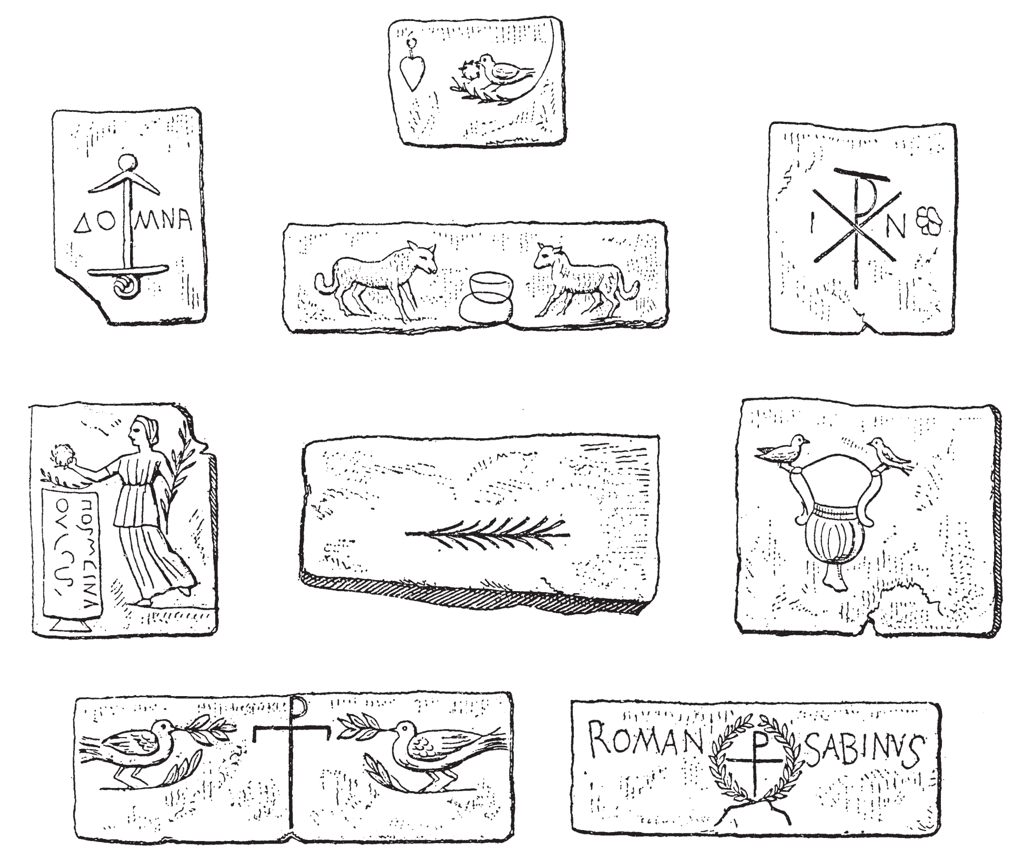
Вскоре после смерти Августина (в 605 г.) и его покровителя Этельберта, при их преемниках, Меллите, архиепископе Кентерборийском, и Эдбальде, сыне Этельберта, короле Кента, сестра последнего, Этельберга, вышла замуж за языческого короля страны, лежащей на север от р. Гумбера[1]. Молодая отправилась (около 615 г.) из Кентской земли, в обществе священника, по происхождению римлянина, по имени Павлин, который заранее был посвящен в архиепископы г. Йорка, сообразно планам папы Григория, который надеялся, что жена христианка обратит мужа идолопоклонника. Король Нортумберланда, Эдвиг, дозволил ей исповедовать христианскую религию под руководством сопровождавшего ее Павлина; его смуглое и худощавое лицо, черные волосы были предметом изумления белокурых туземцев. Когда жена Эдвина сделалась матерью, Павлин объявил торжественно королю англосаксов, что он для нее испросил у Бога милость родить безболезненно, но только при том условии, что дитя будет крещено именем Христа. Желая быть отцом, язычник дозволил все, что желала его жена; что же касается себя, он не хотел и слышать о предложении креститься; однако позволил свободно говорить тем, которые желали обратить его, рассуждал с ними, и иногда ставил их в затруднительное положение.

Чтобы склонить его, сколько будет возможно, уверовать в небесное благо обещанием земных благ, из Рима пришло письмо папы Бонифация, посланное на имя славного Эдвина. «Передаю вам,– писал первосвященник,– благословение вашего покровителя, блаженного Петра, князя апостолов, а именно: полотняную рубашку, украшенную золотым шитьем, и плащ тонкой анконской шерсти». Этельберга получила также, как залог благословения апостола Петра, вызолоченный слоновой кости гребень и серебряное зеркало. Дары были приняты благосклонно; но они нисколько не поколебали Эдвина, ум которого мог быть только побежден силой нравственных доводов.

В жизни этого сакса был необыкновенный случай, который, как он полагал, остается в тайне, никому недоступной; но эта тайна была открыта, вероятно, в интимных беседах с женой. В своей юности, и прежде чем он сделался королем, ему пришлось раз подвергнуться большой опасности: захваченный врасплох врагами, жаждавшими его смерти, он попался в их руки. В темнице, где он томился, не надеясь на пощаду, его разгоряченному воображению во сне явилось неизвестное лицо, которое, приближаясь со строгим видом, говорило ему: «Что обещал бы ты тому, кто захотел бы и мог бы спасти тебя?» – «Все, что будет когда-нибудь в моей власти»,– отвечал сакс. «Хорошо,– возразил неизвестный, – если тот, который может спасти, потребует от тебя только жить по его советам, последуешь ли ты этим советам?» Эдвин поклялся в том, и видение, протянув руку и возложив ее на голову пленника, сказало: «Когда подобное видение представится тебе, вспомни эту минуту и этот разговор». Эдвин избавился от беды счастливым случаем, но воспоминание о сновидении осталось запечатленным в его уме.

Однажды, когда Эдвин был один в своей комнате, вдруг отворяется дверь, и он видит, что к нему кто-то подходит, не говоря ни слова, так же важно, как призрак его сна, и налагает руку на голову. То был Павлин, которому свыше, по словам Бэды (II, 12), было открыто это верное средство для победы над упорством язычника, и победа была совершенная. Сакс, пораженный изумлением, пал ниц на землю, и римлянин, сделавшись его повелителем, поднял его с добродушием. Эдвин обещал сделаться христианином; но обещал за себя одного, говоря, что подданные его сами увидят, что нужно им делать. Павлин попросил его собрать великий народный совет, называвший-

[1] То есть Нортумберланда.



Раннехристианская символика. Устойчивым символом становятся голубь, пальмовая ветвь и монограмма Христа. Но также сохраняется римская символика – Ника, триумфальные венки и пр.

ся на саксонском языке Виттена-Гемот (Witena-Ghemote), собрание старейшин, которое происходило у германских королей во всех важных случаях и на котором присутствовали судьи, богатые владельцы земель, высшее военное сословие и жрецы. Король Эдвин изложил перед этим собранием побудительные причины, заставившие его переменить религию и, обращаясь к каждому из присутствовавших, спрашивал отдельные мнения о новом учении.

Верховный жрец заговорил первый: «Мое мнение таково, что наши боги не имеют власти, и вот, я думаю, почему ни один человек из всего народа не служил им с большей ревностью, чем я, и несмотря на то, я далеко не самый богатый и не более других награжден; наши боги, по моему мнению, не имеют власти». Затем поднялся начальник войска и говорил так: «Государь, ты припомнишь, может быть, случай, который иногда происходит в зимние дни, и когда ты сидишь за столом вместе со своими начальниками и воинами, когда разведут большой огонь, в комнате сделается тепло, а на дворе идет дождь, снег, воет ветер. Вдруг влетает птичка в одну дверь и, быстро пронесясь по зале, исчезает другой дверью: минута этого перелета ее по комнате для нее полна блаженства, она не чувствует ни дождя, ни бури; но эта минута коротка; птичка пролетела в мгновенье ока и от зимы перешла опять в зиму. Таковой мне представляется жизнь человека на земле и его минутное поприще сравнительно с продолжением времени, которое предшест-

вовало его рождению и последует за его смертью. Это время мрачно, и мысль о том неприятна для нас; оно смущает невозможностью знать о нем; итак, если новое учение может дать нам какое-нибудь понятие об этом времени, то оно заслуживает быть принятым нами» (Бэда, II, 13).

После того, как высказались и другие начальники, римлянин представил свое учение, и собрание, подав голоса, как то делается при утверждении народных законов, отказалось торжественно от религии древних богов. Но когда миссионер предложил ниспровергнуть самые истуканы, никто между новыми христианами не чувствовал себя достаточно убежденным, чтобы пренебречь наказанием, которое могло последовать за осквернением древней святыни – никто, исключая верховного жреца. Он попросил у короля вооружение и жеребца, чтобы тем самым нарушить закон своего сословия, запрещавший жрецам военное платье и дозволявший ездить только на кобыле. Опоясанный мечом и потрясая дротиком, он понесся к храму и при всем народе, который принял его за сумасшедшего, нанес удар в стены и изображения. Тогда выстроили деревянный дом, где крестился Эдвин и с ним множество народу. Павлин, приобретя таким образом в действительности епископство, которого он носил одно имя, посетил страны Деиры и Берникии, крестя в водах Свале и Глена тех, которые спешили повиноваться повелению собрания своих старейшин (628 г.).

Политическое влияние огромного королевства Нортумберланда привлекло к принятию христианства население Эст-Англии или восточных англов, живших на юг от р. Гумбер и на север от Эссекса. Этот народ был уже отчасти просвещен южными римскими епископами; но христианство и язычество находились там в таком равновесии, что король Эст-Англии, Редвальд, поставил два алтаря в одном храме, один Христу, а другой – германским божествам, и поклонялся им поочередно. Тридцать лет спустя после распространения христианства на берегах Гумбера (685 г.), одна женщина обратила короля Мерсии, страны, простиравшейся тогда от Гумбера до Темзы. Древний культ более всего сохранялся у южных англосаксов: они отказались от него только в самом конце VII в.

Hist. d. Conquête de l'Anglet. etc. (10 изд.); I, 72–78.

Галлия

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТРАНЫ

Галлия Трансальпийская – обширная страна, заключенная между Альпами, небольшой линией Средиземного моря, Пиренеями, берегами океана и Северного моря до устья Рейна, и, наконец, течением самого Рейна, выходящего из Альм, – была населена с глубочайшей древности коленами кельтского племени, родственного населению Британии и древней Иберии, и до римского завоевания представляла большое развитие национальной цивилизации, поддерживаемое сношениями с образованной Грецией через Массилию (Марсель). Римляне застали галлов уже в эпоху падения ее древней образованности, но, несмотря на близкое соседство с Галлией, они покорили ее[1] позже Испании и только единовременно с Британией, за каких-нибудь 50 лет до Р. Х., когда Юлий Цезарь в несколько походов овладел всей страной до самого Рей-

[1] За исключением береговой ее части на Средиземном море, покоренной римлянами еще в 122 г. и названной Provincia, т. е. покоренная земля, откуда произошло позднейшее нарицательное имя частей административного деления, провинций, и собственное имя той страны, выговариваемое ныне Provence, Прованс. Помпей, современник Ю. Цезаря, распространил оттуда завоевания римлян далее на запад, до течения Гаронны.

на. С того времени Галлия оставалась пять веков провинцией Римской империи, управляемой наместниками императоров. При таком продолжительном господстве римская цивилизация укоренилась в Галлии более глубоко, чем где-нибудь, и даже в эпоху падения Древнего мира Галлия не только посылала в Рим своих императоров, но и лучшие латинские поэты, писатели, ученые выходили из Галлии. Зато в эпоху падения империи Галлия, как наиболее романизированная и, с другой стороны, ближайшая к зарейнским варварам, пострадала более, нежели какая-нибудь другая из римских провинций; но вследствие того ни одна страна в Европе не получила на более сжатом пространстве более разнообразного населения и, следовательно, большей смеси зачатков цивилизации. В V столетии к древним туземцам галлам и слившимся с ними римлянам присоединились германские всельники и притом самых разнообразных племен и нравов: свевы, аланы, бургунды, вестготы, франки овладели всей Галлией; кроме того, с запада появились бритты из Британии, теснимые у себя то пиктами и скоттами, то англосаксами, и утвердились на западных полуостровах Арморики, названной с того времени, по их имени, Бретанью.

После падения Западной Римской империи, когда будущее в истории Западной Европы, очевидно, оказалось в руках католичества, а в Галлии католичество утвердилось прежде и глубже, чем где-нибудь, будущее в истории с того времени должно было принадлежать Галлии, и именно тому из ее племен, которое было избрано католичеством как орудие для достижения своих политико-религиозных целей. Это были меровингские франки. Они, отняв у империи северную часть Галлии, в правление знаменитого Клодовея и его детей (конец V и первая половина VI века), не только подчинили своему влиянию значительную часть независимой Германии, страну турингов, алеманнов, байоваров (остались непокоренными одни фризы и саксы), но при помощи католического духовенства, после крещения Клодовея, завоевали Бургундию, изгнали вестготов в Испанию, так что королевство франков простиралось почти от Пиренеев до Рейна и от Альп до океана и Северного моря.

Такова была первая взаимная услуга, которую оказали друг другу франки и римское католичество. Но вскоре им представились еще большие взаимные потребности, и франки, вследствие того, перешли от первой роли в Галлии к первой роли почти на всем пространстве древней Западной Римской империи, в отношении которой они явились восстановителями и вместе орудием честолюбивой политики римских пап. Папы воспользовались потерей авторитета королей франкских из дома Меровингов, утративших доблести дружинного предводителя и усвоивших из римской цивилизации все, что могло содействовать их нравственному растлению. Между тем, соседство языческих фризов и саксов на севере в VII в. и мусульманских мавров с юга в VII в. требовало от короля качеств более германского дружинника, нежели римского патриция. Меровинги же, посвящая свои досуги латинским стихам и другим литературным упражнениям и запертые в своих палатах, как восточные повелители, передали трудовую часть в руки министров своего двора, называемых потому дворцовыми мэрами, или майордомами (Major-domus). Эти последние вели войну, предводительствовали войском, и потому в глазах франка были скорее королями, нежели Меровинги; в конце VII века майордомы делаются сами наследственными, как короли, в роде, из которого должен будет выйти Карл Великий (по имени его они все названы Каролингами). Эти наследственные майордомы в первой половине VIII в. в лице Карла Мартелла и его сына, Пипина Короткого, оказывают величайшие услуги и королевству, и церкви счастливыми войнами с фризами и саксами на севере, и окончательным поражением на юге мавров, дошедших уже до Луары. Так как самая прочная власть есть та, в которой нуждается общество и которая оказывает ему услуги, то при Пипине майордом был настоящим королем франков. Но в то же время поэтическая сторона общественного духа, несмотря на все услуги новой династии, требует выполнения известных формальностей для того, чтобы

признать власть законной. Презирая Меровингов, тогдашнее общество не могло освободиться от уважения к тому освящению, которое давало католичество этим старым, но ослабевшим и потому бесполезным для него друзьям. Одним словом, Пипин нуждался для последнего шага в благословении Римского Папы, который, как мы видели (см. Историч. очерк Италии), точно так же нуждался в Пипине для освобождения себя от ига лангобардов. Таким-то образом в 752 г. с согласия Папы был удален в монастырь последний Меровинг, а Пипин помазан на престол. Сын его, Карл Великий, оказал папам еще большую услугу окончательным завоеванием Лангобардского королевства, и был потому провозглашен римским императором; так, в 800 г. была восстановлена древняя империя, правда, по одному своему титулу, а на деле, в форме новой империи была довершена политика пап созданием политического единства Западной Европы, во главе которой должен стоять Папа, император же служит его рукой там, где потребуется материальная сила. Следующему периоду предстояло или развить точнее эту новую теорию, осуществлением которой завершалась историческая работа первых трех столетий средневековой истории, или поколебать ее, если Папа увидит, что избранное им орудие обращается в опасного соперника, на помощь которому явятся и национальные стремления к независимости, сдавленные новой теорией католического единства. Последнее могло случиться легче, и оно действительно случилось.

Вот тот хронологический порядок, в котором следовали важнейшие события в истории Галлии от падения Древнего мира до восстановления Западной Римской империи.

В самом начале V в., в правление императора Гонория, в Галлии произошло событие, беспрестанно повторявшееся в провинциях, но на этот раз оно решило навсегда судьбу этой страны. Римские легионы, квартировавшие в Британии, провозгласили (408 г.) своего императора Константина, а вскоре за тем прирейнские легионы в Майнце избрали другого императора, Иовина. Константин явился в Галлию и овладел южными ее частями в то время, когда Иовин господствовал на севере; между тем, в Италии стояли вестготы, приведенные туда Аларихом и управляемые его преемником Атаульфом. Гонорий предложил последнему очистить Бельгию от претендентов, но вестготы за эту услугу удержали (412 г.) часть Галлии на юг от Луары и основали там Вестготское королевство; Атаульф сверх того получил руку сестры императора Плацидии. Незадолго перед тем (406–408 гг.) южная Галлия была опустошена свевами, аланами и вандалами, и римляне могли только вытеснить их за Пиренеи, а следовательно, вместо Галлии потерять Испанию. Атаульф, в качестве представителя римских интересов, вступает в борьбу с завоевателями Испании: вандалы сами удаляются в Африку, а свевы и аланы, оттесненные к горам Астурии и Галисии, шаг за шагом уступают полуостров вестготам.

Найдя так удачно защитников себе в готах, Гонорий следует системе противопоставлять одних варваров другим, и в 413 г. поселяет бургундов в нынешнем Эльзасе, под условием признания власти над собой. Таким образом, по смерти Гонория (423 г.), в руках римского наместника Галлии, Аэция, при Валентиане III (425–455 гг.) оставалась одна северная ее часть между Луарой и Рейном, но и ей угрожали постоянно жившие за Рейном франки салические и рипуарские (то есть по берегам Салы – ныне Иссель, в Голландии, и ad ripas, то есть по берегам Рейна). В 437 г. предводитель дружины салических франков, из фамилии Меровингов, Клодион, овладевает северной частью Галлии, между реками Соммой и Рейном. Таким образом, в половине V в. Галлия представляла в своих пределах три варварских королевства: 1) Франкское, между Рейном и Соммой, где правил тогда преемник Клодиона, Меровей (или Меровинг, 447–456 гг.), давший, как полагают, имя всей последующей фамилии Меровингов; 2) Бургундское, между верховьями Сены и Луары и течением Рейна, где правили Гундиак и Гильперик (443–470 гг.), преемники первого бургундского короля Гундикара и 3) Вестготское, на юг от Луары и далее за Пиренеи, включая область

Террагону (provincia Tarraco-nensis), со столицей Тулузой, где правил в то время Теодорих I, третий преемник Атаульфа (см. Историч. очерк Испании). Сверх того, западный полуостров Арморика был занят бриттами и не зависел от Рима, сохраняя связь с родиной, и управлялся Аврелием-Амвросием, а потом его сыном Артуром. Между всеми этими владениями, в центре их, от Луары до Соммы, сохранился остаток римской провинции, отрезанной от своей метрополии и управляемой наместником Валентиана III, Аэцием. В таком положении застали Галлию гунны, когда они вторглись туда под предводительством Аттилы (450 г.). Франки и бургунды не смели оказать сопротивления; Римская Галлия была вся опустошена до Орлеана: только соединенные силы Аэция и Теодориха I, вестготского короля, остановили Аттилу и опрокинули его назад к Шалону, где в каталаунской битве он был разбит и вследствие того оставил Галлию. Но это была победа не римского правительства, а вестготов и честолюбивого наместника Аэция, начавшего с того времени стремиться к независимости. Хотя Валентиниан III осудил Аэция на смерть (454 г.), но на следующий год умер сам; после него продолжались 20 лет (455–476 гг.) смутные времена империи, когда еще менее было возможно удержать Галлию в руках Рима. Новый наместник Эгидий и его преемник Сиагрий правили римской частью Галлии так же самостоятельно, как и варварские короли; бургундцы дают Риму императора в галле Авите и овладевают частью Гельвеции и Прованса. В то же время сын Меровея Гильдерик (456–481 гг.) отнимает у Эгидия Париж и доходит в своих набегах до Луары, а его сын Клодовей (Clovis, Clodowech, откуда позднейшая форма: Людовик, от 481 до 511 г.), поражает преемника Эгидия, Сиагрия, при Суассоне (486 г.) и овладевает римской частью Галлии до Луары, разделяя, впрочем, власть со своими родственниками, как, например, Рагнаром, в Камбре, Гарариком, Сигбертом, королем рипуарских франков, и других.

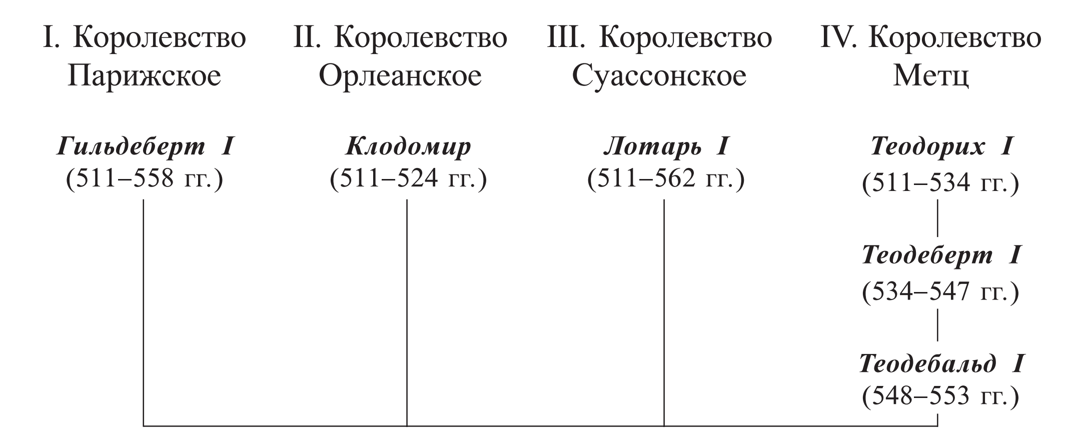
Правление Клодовея было временем огромного переворота в Галлии: смотря на себя как на представителя Римской империи, потому что он сменил Сиагрия и получил от восточных императоров титул консула и тогу, Клодовей считает своей обязанностью защищать римские пределы от варваров и правом – требовать признания своей власти во всей Галлии. Так, в 496 г. он разбил наголову турингов и алеманнов и принял крещение от католического епископа. Это обстоятельство облегчило ему покорение Вестготской Галлии; в 506 г., при Вугле, пал в битве Аларик II, и вся Южная Галлия, кроме Нарбонны и Прованса, досталась в руки Клодовея. Правители Бретани также признали его власть, а умерщвление всех родственников сосредоточило и всех франков в руках одного Клодовея. Внутренние раздоры в Бургундии, где, по смерти Гундиака и Гильперика, их преемники разделили королевство между собой (Гундобальд, 470–516 гг., правил в Лионе, а Годегизил – в Женеве), дали возможность Клодовею вмешаться в дела Бургундии, завоевание которой он подготовил таким образом своим преемникам.

По смерти Клодовея его обширная монархия в течение VI в. два раза, в 511 г. и в 562 г., была разделяема между членами фамилии Меровингов, и каждый раз такой раздел сопровождался кровавыми междоусобицами (особенно разделение 562 г., продолжавшееся непрерывно до начала VII в., а именно, до 613 г.), во время которых древняя династия утратила свой авторитет и начала склоняться к падению.

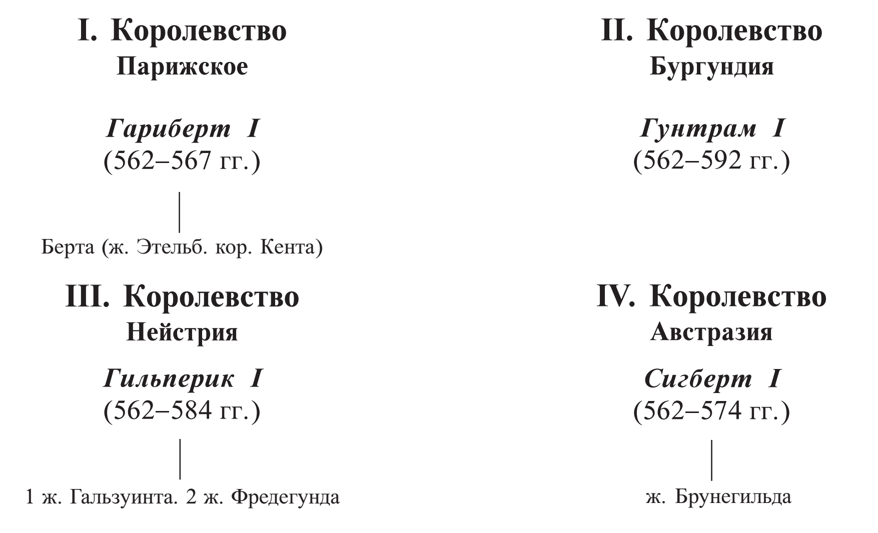
Первый раздел монархии Клодовея. 511–562 гг. Клодовей, умирая, в 511 г., разделил свои владения между детьми.

В 558 году Лотарь I, король Суассона, по смерти своих братьев и их потомства, соединяет на короткое время всю монархию Клодовея в одно целое.

Эпоха первого раздела ознаменовалась как внешними общими предприятиями братьев против Бургундии, так и внутренними междоусобицами. Гильдеберт и Лотарь, воспользовавшись смертью Клодомира Орлеанского, умертвили его детей и разделили между собой владения, дав часть и Теодориху I (533 г.). Таким образом королевство



Парижское простиралось от Амьена, через Бретань, Пуату и почти до Пиренеев; королевство Суассонское – от Суассона и Амьена далее на север до Рейна, занимало западную страну, почему и называлось также Нейстрия (Neustria, то есть невосточная земля); наконец королевство Метцское охватывало собой берег Рейна до Мозеля на юге, и от Кельна на восток до последних пределов Турингии; сверх того, ему принадлежала на юге земля Оверн; по своему восточному положению она называлась Австрией или Австразией (Austrasia, то есть восточная земля). На следующий год по разделении Орлеанского королевства, два брата, Гильдеберт и Лотарь, постоянно побуждаемые своей матерью Клотильдой, принцессой бургундской, успели окончить завоевание Бургундского королевства (534 г.) и разделили его между собой. Таким образом, франки приблизились к границам Италии и не могли не принять участия в открывшейся тогда борьбе между Византией и остготами. За уступку Прованса франки помогали остготам, но не успели сделать дальнейших завоеваний в Италии. Вследствие того, братья соединились против вестготов, но и там были не более счастливы. Бездетная смерть Гильдеберта и Теодебальда соединяет монархию Клодовея в руках Лотаря I от 558 до 562 г., но и это короткое время он провел в войне с одним



из своих сыновей. По смерти его, в 562 г., произошел второй раздел.

Второй раздел монархии Клодовея: 562–613 гг.

За основание вторичного деления были приняты границы первого раздела:

Скоро последовавшая смерть Гариберта, в 567 г., произвела ту перемену, что остальные три брата разделили королевство Парижское на три части между собой. Но с этого самого года начинаются величайшие раздоры между Гильпериком I и Сигбертом I, виновницами которых были их жены, Фредегунда и Брунегильда.

Сигберт был женат на дочери вестготского короля Атанагильда, Брунегильде, а сестра ее, Гальзуинта, вышла за его брата Гильперика и в 567 г. погибла по проискам его наложницы, Фредегунды, сделавшейся с того времени его женой. Родовая месть и споры за границы владений, поддерживаемые интригами жен, произвели войну между братьями. По проискам Фредегунды Сигберт был умерщвлен в своем лагере (574 г.), Брунегильда попалась в плен, но при помощи увлеченного ее красотой Меровея, сына Гильперика, спаслась в Метц и захватила власть в свои руки от имени малолетнего сына Гильдеберта II (574–596 гг.), которого усыновил Гунтрам Бургундский, не принимавший до того времени участия в междоусобии братьев. Вторая эпоха войны Фредегунды с Брунегильдой окончилась умерщвлением самого Гильперика I (584 г.), и Фредегунда сделалась правительницей Нейстрии за малолетством своего сына Лотаря II (584–628 гг.). Третья эпоха войны закончилась смертью Брунегильды; еще в самом начале этой эпохи умерла Фредегунда, но ее сын Лотарь II продолжал войну с соперницей своей матери, и вел ее сначала весьма несчастно: вследствие завещания Гунтрама, после его смерти, Бургундия присоединилась к Австразии, и Брунегильда управляла ими от имени своих сыновей, Гильдеберта II и Теодеберта. Но смерть их обоих и малолетство оставленных ими внуков Брунегильды дали перевес Лотарю II: Брунегильда попала в плен и была казнена; а Лотарь II соединил всю монархию Клодовея в одно целое (613 г.).

Возвышение палатных мэров и Каролинги. 613–768 гг.

По смерти Лотаря II (628 г.) Меровинги мало-помалу теряют всякое значение и, удалившись от дел государственных, заслуживают название «ленивых королей» (les rois fainèants). Действительная власть переходит с того времени в руки майордомов, воспользовавшихся междоусобиями эпохи разделов; простому управлению королевскими доменами и предводительству войском они придали политический характер, а Лотарь II сделал власть майордома наследственной и возобновил только что прекращенное им разделение государства. В 622 г. он отдал старшему сыну Дагоберту I (622–638 гг.) весь север Галлии от р. Луары, то есть Нейстрию, Австразию и Бургундию, а второй сын Гариберт получил Южную Галлию от р. Луары, то есть Аквитанию; это разделение соответствовало и различию народностей по языку: произношение утвердительной частицы да, на юге – oc, и на севере – oil (откуда новейшее oui) дало и особенное название этим двум новым частям меровингской монархии: Langue d’oc и Langue d’oil. Малолетство Дагоберта, открывшего собой длинный ряд ленивых королей, побудило Лотаря вручить верховную власть двум майордомам, родственным между собой и принадлежавшим к двум главным расам Галлии. Один из них, Пипин Ланденский (из Ландена, около Люттиха), был родом франк и происходил из богатой фамилии германского племени, нажившейся в эпоху завоевания. Другой, св. Арнульф, епископ г. Метца, был родом галло-римлянин, следовательно, из завоеванной расы, и принадлежал к древней фамилии Тонанция Ферреола. Его сын, Пипин Геристальский, был женат на дочери Пипина Ланденского, Бегги.

Несмотря на слияние королевства в лице Лотаря и его потомства, каждая из прежних частей раздела продолжала иметь своего майордома, и потому в VII столетии распри королей сменились распрями майордомов. Ни Пипин Ланденский, ни его сын Гримоальд (638–656 гг.) не успели сосредоточить в своих руках власть, и только Пипин Геристальский (637–714 гг.), разбив других

майордомов при Тестри (687 г.), был избран не только майордомом во всех трех частях, но и принял титул герцога и князя франков (dux et princeps Francorum). Хотя после его смерти возникли несогласия между его вдовой Плектрудой, поддерживавшей права своего сына Теодебальда против пасынка Карла Мартелла, но Карл Мартелл разбил приверженцев своего противника и соединил все три части в своих руках, оставив по-прежнему титул короля одному из последних Меровингов, Теодориху IV (720–737 гг.)[1].

Карл Мартелл (714–741 гг.) своим личным характером и совершенными им подвигами в борьбе с независимой Германией и арабами нанес окончательный удар Меровингам, и даже по смерти Теодориха IV мог управлять государством, не возводя никого более на престол. Успехи его оружия против фризов и саксов были укреплены распространением христианства в Германии проповедью Бонифация. В 732 г. Карл Мартелл одержал победу при Пуатье над маврами и воспользовался тем для подчинения себе герцога Аквитании Одо (Eudes), из младшей линии Меровингов. Приглашение папы Захария защитить его против лангобардов могло бы открыть Карлу Мартеллу дорогу в Италию. Перед смертью Карл Мартелл, подобно древним Меровингам, разделил свои владения между сыновьями: Пипин Короткий получил Нейстрию и Бургундию, Карломан – Австразию и прилежавшие к ней Алеманнию и Турингию, и Грифон – отдельные небольшие владения. Но Карломан скоро (747 г.) оставил свет и удалился в монастырь на Монте-Кассино в Италии, Грифон был принужден силой отказаться от своих притязаний, и таким образом Пипин Короткий восстановил единство владений своей фамилии.

Пипин Короткий (741–768 гг.; с 752 г. король) докончил дело, начатое отцом; покорив Фризию, усмирив давно уже подвластных герцогов баварских и аквитанских, завоевав у мавров Нарбону, он, с разрешения Папы, свергнул с престола возведенного им же Гильдерика III (742–752 гг.), последнего Меровинга, и был помазан Бонифацием на царство. Просьба Папы Стефана II защитить его от лангобардов заставила Пипина два раза являться в Италию, где он вручил Папе отнятые им земли лангобардов. Перед смертью (768 г.), Пипин разделил свои владения между сыновьями: Карломан получил Нейстрию и Бургундию, а Карл Великий – Австразию; Аквитания была разделена между обоими братьями. Но так как вскоре Карломан умер, то Карл Великий снова восстановил единство владений своего дома (711 г.). Его время составляет само по себе отдельную эпоху в истории всей Западной Европы и служит чертой, лежащей между двумя первыми периодами истории Средних веков.

Историография Галлии, при том ходе исторических событий, которые совершались в ней, после того, как римское завоевание было сменено варварским, не могла быть представительницей сознания народных масс. Они были подавлены еще более вторичным завоеванием, и, вместе с властью, история досталась в руки победителей. Но варвары не могли воспользоваться сами своим положением, а потому историей овладел верный союзник победителей, католическое духовенство, вооруженное всеми средствами классической образованности. Таким образом, и в Галлии в этот период была возможна одна, так сказать, ученая форма, исторического изложения, то есть форма искусственная, не имевшая корней в историческом сознании общества, чуждая даже по своему искусственному языку, а именно латинскому, и состоявшая в простой компиляции. Таковы были бесчисленные хроники, ведущиеся в ту эпоху при монастырях, служивших убежищами человеческой мысли среди всеобщего разгрома. Из таких хроник особенно замечательны по

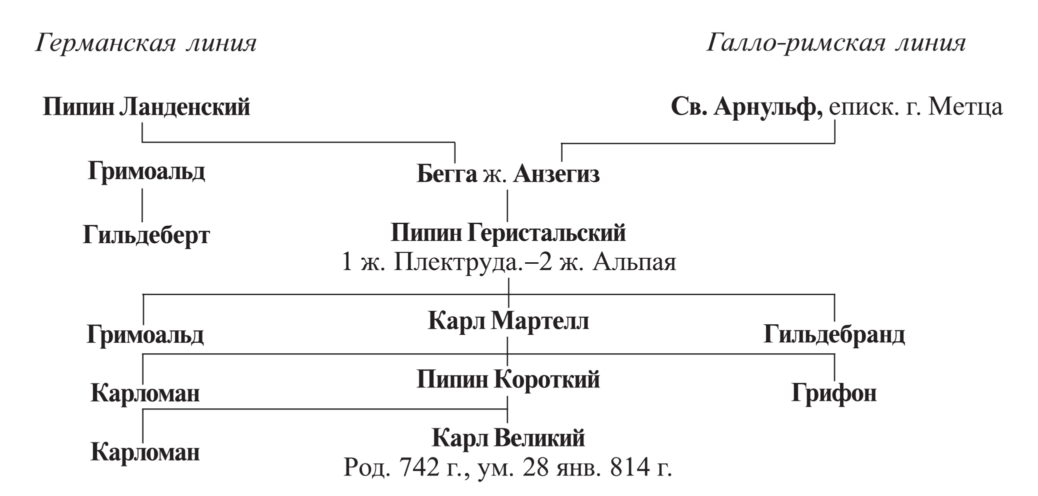
---

[1] Вот ряд ленивых королей, правивших в Галлии от смерти Лотаря II до Теодориха IV, при первых каролингских майордомах: Дагоберт I, 622–638 гг.; Клодовей II и Сигберт III, 638–656 гг.; Дагоберт II, 656–668 гг.; Лотарь III и Гильдерик II; Теодорих II, 673–691 гг.; Клодовей III, 691–695 гг.; Гильдеберт III, 695–711 гг.; Дагоберт III, 711–715 гг.; Теодорих IV, 720–737 гг.. Сверх того, в Аквитании правила младшая линия Меровингов в лице второго сына Лотаря II Гариберта, с титулом герцогов; она пережила старшую линию, свергнутую Каролингами.



Портрет Карла Великого работы Альбрехта Дюрера, 1510 г.

РОДОСЛОВНАЯ КАРОЛИНГОВ



своей полноте: «Gesta Francorum», написанные в С.-Дени, «Annales Lau-bacenses», «San-Gallenses», «Berti-niani», «Metenses», «Fuldenses» и мн. др. Все они ныне изданы в лучших сборниках средневековой исторической литературы (см. о таких сборниках выше). Но среди этого множества безжизненных и сухих летописей выдается вперед «Церковная история франков», в 10 книгах, Григория Турского, епископа, жившего в конце VI в. Его летопись была продолжена Фредегарием, бургундским уроженцем, в его «Chronicon» (IV и V книги), от 584 до 641 г., а за ним еще 4 лица, имена которых неизвестны, продолжали труд Григория до 768 г. Эпоха Меровингов и их майордомов имела для себя специального историка в современнике Карла Мартелла, Эрхемберте, но его труд дошел до нас только в отрывках.

Древнейшая судьба независимой Галлии, еще до римского завоевания и в первое его время, имеет для себя письменные свидетельства, оставленные одними завоевателями, из которых главное место принадлежит Юлию Цезарю и Страбону. Для последнего же времени галло-римской эпохи, в момент варварского завоевания страны, самые живые и подробные известия сообщаются Сидонием Аполлинарием.

Из новейших общих сочинений первое место принадлежит трем современным нашей эпохи писателям: 1) *Sismondi.* Histoire des Francais (всего 25 томов; Paris, 1824–41 г.; доходит до конца XVII в.); 2) *Michelet.* Histoire de France и 3) *Martin.* Histoire de France (16 том. до смерти Людовика XIV; Par. 1833–1855; в 60-х годах автор совершенно переработал по новым открытиям первые тома, относящиеся к древнейшим временам Галлии, и потому последнее издание заключает в себе лучшее из всего, что было сказано до тех пор о галльских древностях). Из более специальных исследований о первом периоде средневековой Галлии особенно замечательны: 1) *Fauriel*. Histoire de la Gaule meridionale sous les conquérants germains, в 4 томах (Par. 1836 г.); 2) *Aug. Thierry*. Lettres sur l'histoire de France (см. ниже.) и «Récits des temps merovingiens» (Par. 1840) и 3) *Am. Thierry.* Histoire de la Gaule sous l'administration romaine; и последние его исследования об Аттиле (см. выше).

Юлий Цезарь

ПЕРВЫЕ ПОНЯТИЯ ДРЕВНИХ ОБ ЭТНОГРАФИИ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ГАЛЛОВ (50 г. до Р. Х.)

Вся Галлия разделяется на три части, из которых одну населяют белги, другую аквитаны, третья же населена народом, который на своем языке называется кельтами, а мы называем их галлами. Они отличаются друг от друга языком, постановлениями и законами. Река Гаронна отделяет галлов от аквитанов, а от белгов они отделены р. Марной и Сеной. Между ними белги самые мужественные, потому что они живут далеко от образованной и просвещенной страны Прованса, и купцы не заходят к ним часто и не ввозят ничего, что могло бы содействовать изнеженности; наконец, они ближайшие соседи германцев, живущих за Рейном, и ведут с ними беспрерывную войну. По этой же причине и гельветы превосходят доблестью прочих галлов: они борются почти ежедневно с германцами, или отражая их от своих границ, или сами вторгаясь в их пределы. Одна часть, населенная, как было сказано, галлами, начинается у р. Роны и ограничивается Гаронной, океаном и пределами Белгии; она достигает даже до Рейна, начинаясь от Сены и земли гельветов, и обращена на север. Белги идут от последних границ Галлии, примыкают к нижним частям течения Рейна и обращены к северу и востоку. Аквитания касается реки Гаронны, близ Пиренеев и той части океана, которая омывает Испанию; она обращена к северо-западу.

У гельветов самым родовитым (nobilissimus) и богатым считался Оргеторикс. В консульство М. Мессалы и М. Пизона (61 г. до Р. Х.) он, побуждаемый жаждой господства, образовал союз (conjurationem) из высшего сословия и убедил общину (civitas) выступить из своих пределов со всем имуществом: нет ничего легче, говорил он, овладеть всей Галлией тем, которые превосходят всех доблестью. И в этом он убедил их тем легче, что гельветы со всех сторон были защищены естественными пределами: с одной стороны их прикрывала широкая и глубокая река Рейн, отделяющая поля гельветов от германцев; с другой стороны между секванами и гельветами поднимается высочайшая гора Юра; с третьей – озеро Леман и река Рона, отделяющая наш Прованс (Provinciam nostram) от гельветов. Вследствие такого географического положения гельветы не могли ни широко распростра-

---

ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ (CAJUS-JULIUS-CAESAR, род. 100 г. до Р. Х., убит в 43 г. до Р. Х.). Римский диктатор, будучи еще триумвиром вместе с Помпеем и Крассом, в 60 г. до Р. Х., при разделении ими управления республикой, получил в свое ведение Галлию Цизальпинскую, вместе с Gallia comata. Поставленный таким образом в ближайшее соседство с Галлией Трансальпийской, он имел постоянно повод к войне с независимыми галлами и вскоре вступил с ними в борьбу, продолжавшуюся 8 лет (58–50 гг. до Р. Х.) и окончившуюся с покорением всей этой страны до Рейна. По окончании войны, перед началом гражданских междоусобий и борьбы с Помпеем, а именно в 50 г. до Р. Х., Цезарь мог иметь свободное время, на основании составленных на месте заметок, собственных донесений в сенат и переписки с друзьями, для составления своих «Мемуаров о галльской войне» в VIII книгах (последнюю книгу приписывали его современнику Авлу Гирцию). Эти мемуары, которые еще Цицерон называл за их простоту и безыскусственность, nudi, recti et venusti, служат древнейшим памятником картины общественного быта Галлии в эпоху первого ознакомления с ней римлян. Из лучших изданий комментариев можно указать на то, которое сделали: Schneider (1852), Hoffmann (1856–57) и Kraner (1850); из исследований замечательны: Einleitung zu Cäsars Commentarien, von Köchly und Rüstow (1857), и в особенности Göler, Cäsars Gall. Krieg in den J. 58 bis 53 v. Chr. (Stuttg. 1858). Франц. перев. Artaud (1832, в Biblioth. de Panckoucke).



Печать Карла Великого. Париж. Национальный архив

няться, ни навязывать войну своим соседям, и потому люди, жаждавшие войны, тяжко сокрушались. Они считали свои пределы слишком тесными и по обширности своего населения, и по своей военной славе и доблести: их страна простиралась в длину на 240 тысяч шагов и в ширину на 153 тысячи[1].

Дойдя до таких убеждений, они постановили, под влиянием власти Оргеторикса, изготовить все необходимое для похода, закупить возможно большее число вьючного скота и повозок, запастись наибольшим количеством хлеба, чтобы его хватило на дорогу, и заключить мир и дружбу с соседними общинами. Для приведения всего этого в исполнение им казалось достаточным двух лет: на третий год определено было выступить, а само исполнение было возложено на Оргеторикса. Он принял лично на себя посольство к соседям; дорогой он убедил Кастика, сына Катаманталеда, секвана, отец которого весьма долго управлял секванами и носил титул друга римского сената и народа, захватить в свои руки власть, которая принадлежала его отцу; точно так же он склонил Думнорикса, гэдуа, брата Дивициана, который в то время управлял государством и был любим низшими сословиями, постараться достигнуть того же, и дал ему в замужество свою дочь. Оргеторикс доказывал им, что нет ничего легче исполнить такие замыслы, потому что и сам он намерен захватить власть в свои руки у себя: нет сомнения, что гельветы сильнейший народ между галлами, и он обещал содействовать им всеми своими средствами к приобретению власти. Убежденные такими доводами, они заключают между собой клятвенный союз, в надежде подчинить себе три самые могущественные и воинственные нации из всей Галлии.

Но все это было доведено до сведения гельветов. По своему обычаю, они принудили Оргеторикса, заковав его, защищаться против обвинения; в случае осуждения он подвергался смертной казни на костре. В назначенный день для процесса Оргеторикс привел с собой на суд весь свой дом, числом до 10 тысяч человек, и собрал отовсюду всех своих клиентов, которых имел весьма много: благодаря им Оргеториксу удалось остановить процесс. Когда же раздраженный народ хотел добыть свое право оружием, и магистрат собрал множество людей из селений, Оргеторикс умер; без сомнения – так думают гельветы – он сам себе причинил смерть.

После его смерти гельветы, тем не менее, решаются привести в исполнение свой план, а именно – выступить за границу. Когда, по их мнению, все было изготовлено для похода, они сжигают все свои города, числом до 20, до 40 сел, равно как и другие частные дома, истребляют весь хлеб, сверх того, что унесут с собой, с целью уничтожить всякую надежду на возвращение и быть тем готовее на перенесение всех опасностей; было приказано каждому взять из дома с собой на три месяца муки. Кроме того, они убеждают раураков, тулингов и латовиков, последовав их совету, сжечь города и села и отправиться вместе с ними, а бойев, которые жили за Рейном и, перейдя в Норик, завоевали Норейю, они приняли к себе и включили их в свой союз.

---

[1] Milia passuum CCXL = почти 48 географ. миль; a milia passuum CLXXX = 36 геогр. м. (1000 шагов составляли одну римскую милю и $^1/_5$ немецкой мили).

Им предстояло два пути для выхода из своей страны: один – через владения секванов, тесный и трудный, между горой Юрой и рекой Роной – едва можно было проехать на повозке в один ряд; над дорогой же нависла высочайшая гора, и горсть людей могла бы защитить проход; другой путь – через наш Прованс, гораздо более легкий и доступный, потому что по границам гельветов и аллоброгов, недавно усмиренных, протекает Рона, и она во многих местах может быть переходима вброд. Последний город аллоброгов и ближайший к границам гельветов – Женева (Genova). Мост, ведущий из города, принадлежит гельветам. Они полагали, что им удастся склонить аллоброгов на свою сторону, потому что аллоброги, как казалось, не были хорошо расположены к римскому народу, или, в противном случае, они хотели принудить их силой дать им проход через свои границы. Изготовив все для похода, гельветы назначают день сбора на берегу Роны. Это был пятый день перед апрельскими календами[1] в консульство Л. Пизона и А. Габиния[2].

Когда пришло известие к Цезарю, что гельветы намерены проложить себе дорогу через наш Прованс, он поспешил из Рима, и, устремясь большими переходами в Трансальпийскую Галлию, явился в Женеву...[3] (Так начались войны Цезаря в Трансальпийской Галлии, которые окончились совершенным покорением этой страны римскому господству до самого Рейна, и вследствие того привели римлян в столкновение с германским миром. В 53 г. до Р. Х. Цезарь, оставив позади себя завоеванную Галлию, вторично перешел Рейн и вступил в борьбу с свевами).

...Так как дело дошло теперь до Германии, то, кажется, будет нелишне рассказать о нравах Галлии и Германии, и чем отличаются эти обе нации одна от другой.

В Галлии, не только между большими ее частями, между всеми общинами и селами, но даже почти между отдельными семействами составляются союзы (factiones), и в этих союзах тот князь (princeps), кто, по общему мнению, пользуется величайшим уважением; его благоусмотрению и суду подвергались все дела и определения. Такое учреждение было сделано в древности, по-видимому, с той целью, чтобы низшее сословие не нуждалось в защите против притязаний сильного: никто не допустит притеснять и оскорблять своих, а кто поступит иначе, тот не будет пользоваться уважением между своими. Те же соображения лежат в основании общего устройства всей Галлии вместе взятой: потому что и ее отдельные общины соединены в два союза. Когда Цезарь явился в Галлию, князьями одного союза были гэдуи, а другого – секваны...

Во всей Галлии, существуют только два класса в ее населении, которые пользуются почестями и имеют цену. Низшее сословие (plebes) занимает место почти рабов, которые сами по себе не имеют никакой воли (nihil audet per se) и не допускаются в народное собрание. Большая часть их, обремененная долгами, огромными налогами и несправедливостью знатных (nobiles), добровольно отдается им в рабство, и знатные в отношении их пользуются всеми теми же правами, какие имеет господин над рабом. Из тех же двух классов одни – друиды (жрецы, druides), другие – всадники (equites). Друиды отправляют богослужение, совершают общественные и домашние жертвоприношения, занимаются истолкованием религии: к ним стекается множество молодых людей для своего воспитания, и жрецы в большом почете у них. Друиды решают почти все общественные и частные распри, а в случае преступления, совершено ли убийство, произошел ли спор о наследстве или несогласие при размежевании,

---

[1] По древнему, еще неизмененному при Ю. Цезаре, календарю, 28 марта, а по юлианскому –16 апреля.

[2] То есть 58 года до Р. Х.

[3] Все сказанное Цезарем до сих пор служит введением в его мемуары о ведении им галльской войны (Commentarii de bello gallico); объяснив причины ее, он излагает затем, в первой книге, первый год войны, 58-й; во второй – 57 г.; в третьей – 56 г.; в четвертой – 55 г.; в пятой – 54 г.; в шестой – 53 г.; когда была им завоевана почти вся Бельгия, и он перешел Рейн вторично. По этому поводу в шестой книге он делает большое отступление для описания нравов галлов, сравнительно с германцами.



Воинское снаряжение времен Каролингов *(слева направо)*.
Изображение воина из Золотой псалтыри Санкт-Галленского монастыря; панцирь напоминает римскую мускульную кирасу, шлем с гребнем аналогичен шлему, найденному в захоронении под Сесто-Календе. Реконструкция каролингского щита *(вверху)*, изготовленного из дерева, обтянутого кожей и обитого железными полосами. Бронзовый шлем *(внизу)* из захоронения под Сесто-Календе. Реконструкция каролингского всадника, сделанная в XIX в.

– во всех подобных случаях они дают свое решение, определяют вознаграждение или наказание. Если какой-нибудь частный человек или весь народ не соглашается на их решение, они запрещают жертвоприношения; у них это самое сильное наказание. Те, которые бывают отлучены (quibus ita est interdictum), считаются нечестивцами и преступниками; все удаляются от них, избегают встречи с ними и разговора, чтобы само прикосновение их не навлекло несчастия; жалобам их не дается в суде удовлетворения, и они не имеют права ни на какую общественную должность (neque honos ullus communicatur). Друиды имеют одного главу, которому принадлежит верховная власть над ними. После его смерти наследует из этого класса или тот, кто пользуется большим уважением, или тот, если многие окажутся равного достоинства, кто будет избран друидами, по большинству голосов; но иногда они решают вопрос об избрании главы с оружием в руках. В известное время года они собираются в одно священное место, в пределах области Карнута[1], которая считается центром всей Галлии. Туда же стекаются со всех сторон те, которые ведут между собой распри и подчиняются суду и приговору друидов. Полагают,

[1] Полагают, что эти собрания друидов происходили около нынешнего города Dreux.

что их учение получило начало в Британии, а оттуда было перенесено в Галлию; и до настоящего времени те, которые желают более основательно познакомиться с этим учением, обыкновенно отправляются для науки на этот остров.

Друиды совершенно не участвуют в войне и не платят, вместе с другими, подати; они освобождены от военной службы и от всякого рода повинностей. Многие, побуждаемые такими большими привилегиями, а другие по собственной охоте идут к ним в науку или посылаются своими родителями и родственниками. Там, говорят, они учат наизусть огромное количество стихов, и есть между ними такие, что двадцать лет проводят в этом учении. Эти стихи, они полагают, нельзя доверить письму, между тем как в публичных и частных делах они употребляют греческие письмена. Мне кажется, есть две причины такого постановления друидов: они не желают, чтобы их знание распространилось в толпе, и чтобы их ученики, полагаясь на письмо, не пренебрегали памятью; действительно, со многими бывает то, что помощь книг ослабляет память и прилежание к изучению. Главный догмат, который друиды особенно стараются утвердить, состоит в том, что душа не погибает, но переходит из одного тела в другое; они полагают таким верованием возбудить именно доблесть, внушив пренебрежение к смерти. Кроме того, они много рассуждают о звездах и их движении, о величине вселенной и земли, о природе вещей, о силе и могуществе бессмертных богов, и передают все это юношеству.

Второй класс составляют всадники. Когда до них доходит дело и начинается война – что до Цезаря бывало почти каждый год, так как они или сами нападали, или отражали нападение других,– то они все идут на войну, окружив себя спутниками и клиентами, в числе, соответствующим знатности рождения каждого или его богатству. У них нет другого средства выразить свое влияние и могущество.

Вся нация галлов отличается суеверием, и потому у них те, которые одержимы тяжкими болезнями или подвергаются военным и другим опасностям, приносят в жертву людей или себя обрекают на жертву, и для подобных приношений пользуются услугами друидов. Они думают, что жизнь человека необходима для искупления жизни другого человека, и что иначе бессмертные боги не могут быть умилостивлены; они даже установили публичные жертвоприношения такого рода. Между ними некоторые приготовляют колоссальной величины фигуры, сплетенные из ивы, и наполняют их живыми людьми, потом зажигают, и пламя душит людей. Они убеждены, что наказание тех, которые изобличены в воровстве, грабительстве или каком-нибудь другом преступлении, более приятно для бессмертных богов; но когда им недостает такого рода людей, то они прибегают к мучению невинных.

Божество, которое они более всего почитают, это Меркурий: ему посвящено огромное количество статуй; его почитают изобретателем всех искусств, путеводителем странников и могущественнейшим хранителем денежных и торговых интересов. После Меркурия они обоготворяют Аполлона, Марса, Юпитера и Минерву. Идея этих божеств у них почти та же, как и у других народов. Аполлон исцеляет больных; Минерва учит правилам торговли и искусств; у Юпитера верховная власть на небе; Марс управляет войной: ему, когда они решают вступить в бой, дают обет посвятить добычу, захваченную у неприятеля. В случае победы уведенных животных закалывают, а прочее сносят в одно место. Во многих местностях можно видеть целые холмы подобных вещей, скученных в священных местах; и редко случается, чтобы галл, нарушив уважение к религии, осмелился тайно присвоить себе то, что взял на войне, или похитить что-нибудь из этих складов: за это назначается самое жестокое наказание, с распятием на кресте.

Галлы считают себя потомками бога Дита (то есть Плутона), на основании предания, сохраняемого, как они говорят, друидами. Поэтому-то они считают время не по дням, а по ночам; и дни рождения, начало месяцев и годов у них соблюдается так, чтобы день следовал за ночью. В прочих

обычаях своей жизни они отличаются только тем от прочих, что не позволяют своим детям подходить к себе при всех, прежде чем они достигнут юношеского возраста и будут способны носить оружие. Они считают постыдным для отца, чтобы его сын в детском возрасте мог находиться публично рядом с ним.

Мужья, сколько бы ни получили за женой приданого, присоединяют к тому приданому равное, по оценке, количество из своего имущества. Этот капитал составляет общее их владение, и доход с него сохраняется (hujus omnis pecuniae conjunctim ratio habetur fructusque servantur): кто кого переживет, тому достаются обе части и доход прежних лет. Муж над женой, как и над детьми, имеет право жизни и смерти. Когда умирает какой-нибудь отец семейства, высоко стоящий по рождению, то собираются его близкие; если есть какое-нибудь подозрение относительно его смерти, то жен допрашивают как рабов, и если преступление доказано, то их наказывают огнем и всеми муками крестной казни. Похороны, в соответствии со средствами галлов, великолепны и дороги. Все, что, по их мнению, было мило для покойника во время жизни, все это бросают в костер, даже животных; и еще недавно для настоящего погребального торжества сжигали, вместе с вещами, рабов и клиентов, которые были известны любовью к ним господина.

В тех местностях, которые считались лучшими по своему управлению общественными делами, были обнародованы законы, чтобы каждый, узнав от соседей, по слуху или молве, что-нибудь касающееся государства, являлся к начальникам и доносил, не сообщая того никому, потому что часто люди безрассудные и неопытные, как известно, устрашаются ложными слухами, возбуждаются к преступлению, и решаются на крайние поступки. Начальники же скрывают, что им кажется необходимым скрывать, и извещают народ, что сочтут полезным сделать общеизвестным. О делах государственных дозволяется толковать только на общем собрании (de republica nisi per concilium lique non conceditur).

Обычаи германцев[1] во многом отличаются от обычаев галлов. У них нет друидов, которые управляли бы религиозными делами, и они не заботятся столько о жертвоприношениях. Германцы относят к числу богов только то, что видят и чьей помощью очевидно пользуются, а именно Солнце, Вулкана и Луну, других же нисколько не признают. Вся жизнь их проходит в охоте и военных упражнениях: с молодых лет они приучаются к труду и лишениям. Кто далее всех остается целомудренным, тот заслуживает наивеличайшую похвалу: по их мнению, от того зависит сложение, силы и мышцы. До двадцатилетнего возраста жениться у них считается самым постыдным делом: никто не может преступить этого правила и тайно, несмотря на то, что все вместе моются в реке и притом носят короткие одежды из шкуры, оставляя нагой большую часть тела.

Германцы не занимаются земледелием, и пища их, по большей части, состоит из молока, сыра и масла. Никто не имеет определенного владения и своей межи; но начальники и князья ежегодно отдают поля, где и сколько им будет угодно, каждому отдельному роду или союзу людей, которые соединяются вместе, а по прошествии года принуждают снова удалиться из своих мест. Это распоряжение имеет много целей: боятся, что продолжительное владение поземельной собственностью вытеснит земледелием любовь к войне, что большие личные владения могут кончиться тем, что богатые изгонят слабых из их земель, что они могут лучше отстроиться против холода и жара, что может развиться страсть к деньгам, откуда рождаются все партии и распри, и, наконец, чтобы своей справедливостью сдерживать низшие сословия, которые увидят, что их имущество уравнивается с имуществами богатых.

Для германской общины величайшая слава состоит в том, чтобы, опустошив соседние земли, окружить себя, как можно далее, окрест пустыней. Они видят всю доблесть в том, чтобы изгнать соседей из их

---

[1] Ср. показания Ю. Цезаря о германцах с описанием у Тацита того же предмета: выше.

владений, и чтобы никто не осмеливался жить поблизости; вместе с тем они и себя считают таким образом в большой безопасности, потому что нет страха внезапного вторжения. Когда какая-нибудь община начинает войну или отражает сделанное на нее нападение, то в таком случае избираются особые начальники (magistratus) для ведения войны, с властью над жизнью и смертью. В мирное время нет общего начальства, но князья округов и селений творят суд между своими и решают распри. Разбой не считается чем-нибудь бесчестным, если произведен за пределами общины, и германцы в нем видят средство для упражнения юношества. Потому, когда какой-нибудь князь в собрании вызовется быть предводителем, то все одобряющие предложение и личность предводителя встают со своих мест, обещают помощь и вызывают похвалы собрания: кто не держит слова, того считают дезертиром и изменником и ни в чем ему после того не верят. Оскорбить гостя считается непозволительным: кто бы и за каким бы делом к ним ни пришел, имеет право на защиту от оскорблений; ему открыт всякий дом и везде предлагается пища.

Было время, когда галлы превосходили германцев доблестью, они сами начинали войну и по многочисленности своего населения и недостатку в полях посылали колонии за Рейн. Таким образом, плодоноснейшие места Германии, около Герцинского леса, которые, были известны, по слухам, Эратосфену и древним грекам, и которые они называли Орцинией, заняли волцы и тектосане и там поселились. Этот народ и до сих пор живет в тех местах и пользуется хорошей славой за свою справедливость и военную доблесть. Ныне же, так как германцы остаются в прежней бедности, нужде и лишениях, употребляют ту же пищу и одежду, то галлы, по близости наших провинций, познакомившись со многими заморскими предметами удобств и роскоши и мало-помалу привыкшие к уступкам и поражениям во многих сражениях, не могут и сравниться с ними в доблести.

Этот Герцинский лес, о котором упомянуто выше, стелется в ширину на 9 дней проходимой дороги: его нельзя определить точнее, и никто не знает расстояний пути. Он начинается у границ гельветов, неметов и рauраков, и, следуя в прямом направлении за течением Дуная, касается пределов земли даков и анарциев; оттуда поворачивает налево, вдоль от реки, и при своей громадности касается пределов многих народов; в Германии нет никого, кто, пройдя 60 дней подряд, мог бы сказать, что он дошел до начала леса или слышал, откуда он начинается. Известно, однако, что в этом лесу водятся различные породы животных, которые не встречаются в других местностях; вот некоторые из них, особенно отличающиеся от прочих и заслуживающие, по-видимому, упоминания.

Там живет бык, похожий на оленя, у него посредине лба между ушей растет рог, более высокий и прямой, нежели те, которые мы видим обыкновенно; от его вершины идут широко ветви, как пальцы на кисти руки. Самка не отличается от самца ни по своему виду, ни по величине рогов.

Есть еще животные, которые называются alces. Более всего они похожи, по внешности и по разнообразию цвета шерсти, на коз, но они несколько выше ростом, без рогов, и колени без узлов и сочленений, никогда не ложатся для покоя, и если по несчастью упадут, то не могут ни подняться, ни привстать. У них дерево служит изголовьем: они приклоняются к нему и, склонившись таким образом, несколько отдыхают. Когда охотники успеют подметить их след и место, где зверь имеет привычку располагаться, они или подкапывают, или подрубают все деревья у корня, но так, чтобы дерево продолжало держаться стоймя. Лишь только зверь по своему обычаю приклонится и наляжет своей тяжестью на едва стоящее дерево, оно падает вместе с ним.

Есть еще третья порода, называемая uri. Величиной они немного меньше слона, а видом, цветом и фигурой напоминают вола. Сила их и быстрота движения необыкновенны: ни человек, ни зверь, которого они завидят, не получит пощады. Их убивают, предварительно запутав в тенета. В этой охоте закаляются юноши, посвящая себя такому труду; кто успеет много убить

и принести в доказательство рога от добычи, того превозносят великими похвалами. Но нет возможности сделать этого зверя ручным, хотя бы удалось достать сосунов. Ширина рога и форма весьма отличаются от рогов наших быков. Германцы, тщательно обделав их, выкладывают отверстие серебром и употребляют на торжественных пирах, вместо чаш.

Commentarii de bello Gallico, I, 1–7; VI, 11–28.

Страбон

СОСТОЯНИЕ ОБРАЗОВАННОСТИ ГАЛЛОВ ПОСЛЕ ЗАВОЕВАНИЯ ИХ СТРАНЫ РИМЛЯНАМИ (в I в. по Р. Х.)

За Испанией следует Заальпийская Галлия (Κελτιχη). Ее очертание и величина были уже прежде описаны; нам остается теперь исследовать частности. Некоторые разделяют Галлию на три части по трем ее народностям — аквитанам, белгам и кельтам: впрочем, аквитаны отличаются от прочих не только языком, но и телосложением, и более подходят к иберийцам (испанцам), нежели к галлам. Другие же две народности хотя по внешнему своему виду принадлежат к галльскому племени, но имеют некоторые отличительные черты; даже сами формы государственной и общественной жизни у них не совсем одинаковы. Ближайшие к стране Пирине (τη Πυρηνη, то есть скаты Пиренейских гор) народности называются аквитанами и кельтами; они отделяются друг от друга Севенскими горами (τϖ Κεμμενω). Я уже говорил выше, что Галлия на западе (?!) граничит с Пиренейскими горами, отроги которых касаются берегов обоих морей, как внутреннего, так и внешнего (то есть Средиземного моря и Атлантического океана); с востока – с Рейном, текущим параллельно Пиренеям; с севера – океаном, начиная от северных оконечностей Пиренеев до устьев Рейна; и, наконец, с юга – морем, омывающим берега Массалии (то есть Массилии, ныне Марсель) и Нарбоны, и Альпами, которые, поднимаясь в Лигурии, тянутся до истоков Рейна. От Пирины вправо идут Севенны по самой середине плоской возвышенности Галлии и кончаются в центре ее близ Лиона, имея в длину 2000 стадий. Аквитанами называют тех, которые живут между р. Гаронной (Γαρουνα) и северными частями Пиренеев и Севенн, до самого океана. Кельты распространяются по другой стороне и живут у берегов моря, омывающего Марсель и Нарбону, до самых Альп. Наконец, белги населяют места, ближайшие к океану до устьев р. Рейна, некоторые же из них живут по берегам Рейна и близ Альп. Так передал нам это в своих мемуарах бо-

---

СТРАБОН (Strabo; род. в Каппадокии, около 50 г. до Р. Х., умер в правление Тиберия, между 14 и 37 г. по Р. Х.). Получив отличное образование в школах Малой Азии и Александрии, Страбон много путешествовал, доходил до нильских катарактов и посещал Испанию, Галлию, долго жил в Риме. Результатом его изучения древних писателей и собственных странствований было «17 книг географии» (из них 7 и 9 весьма испорчены; третья, относящаяся к Испании, особенно замечательна и заключает в себе множество цитат из утраченной истории Полибия). Труд Страбона был предназначен в пополнение его же «Исторических мемуаров», которые не дошли до нас. Лучшее издание греческого текста с латинским переводом и атласом сделали Dübner и Müller (в Греческой библиотеке F. Didot). Французский перевод: «Laporte du Theil, Gosselin, Coray et Letronne». Par. 1805–1819. Монографии: *Heeren*. De fontibus Geographicorum Strabonis. Goetting. 1823; *Hennicke*. De Strabonis geographiae fide. Goett. 1841.



Предметы роскоши времен Каролингов. Музей Клюни.
Слева направо: золотая пряжка от ремня, украшенная бирюзой; серебряная шпилька; накладка на одежду; золотая серьга; золотое украшение с бирюзовыми кабашенами

жественный Цезарь (οΘεος Καισαρ). Но Август Цезарь разделил Галлию на четыре части: кельты образовали Нарбонскую провинцию; аквитаны остались там же, где были при Юлии Цезаре, к ним Август присоединил только четырнадцать народов, живших между Гаронной и Луарой (Λειληρ); остальную часть Галлии он разделил на две части, из которых одна составила Лионскую провинцию до верхних течений Рейна, а другая была присоединена к стране белгов. Обязанность каждого географа заставляет обращать все внимание на естественные или этнографические пределы страны, насколько они заслуживают упоминания; о тех же пределах, которые устанавливаются по политическим временным соображениям правителя, достаточно сказать одно слово, а затем точное их описание можно предоставить другим.

Вся Галлия омывается реками, из которых одни вытекают из Альп, другие – из Севенн и Пиренеев; одни впадают в океан, другие – в наше море (то есть Средиземное). Все эти реки судоходны и проходят большей частью по луговой местности или холмистой. Притом течение рек так хорошо направлено, что товары могут легко по ним переправляться из одного моря в другое: весьма небольшое пространство приходится перевозить их волоком, по сухому пути, а затем по реке, вниз или вверх по течению. Для подобной переправы более всех удобна река Рона (Ῥοδανός): она принимает в себя много притоков, впадает в наше море, что, впрочем, более удобно для жителей, ближайших к океану, нежели для нас, и течет по плодоноснейшим частям Галлии; а в Нарбонской провинции произрастают у себя все роды фруктовых деревьев, которыми богата Италия. Оливки и дикие фиги прекращаются на севере за Севеннами, но другие плоды растут. Встречается также и виноградная лоза в местах отдаленных, но она редко поспевает. Остальная Галлия изобилует хлебом, ячменем, желудями и всякого рода животными; за исключением болот и лесов, в ней нельзя встретить пустопорожних мест, даже и сами леса и болота заселены, но более от избытка в населении, нежели по охоте. Женщины весьма плодовиты и хороши для вскормления детей; мужья же способнее к войне, нежели к земледелию; впрочем, в наше время они вынуждены, положив оружие в сторону, взяться за плуг. Вот что можно сказать вообще о Заальпийской Галлии; теперь опишем каждую

из четырех ее частей поодиночке, и начнем именно с провинции Нарбонской.

Нарбонская Галлия (η Ναρβωνίτις) имеет форму параллелограмма, западная линия которого очерчивает Пирину, а с севера Севенны; на юге – морской берег между Марселью и Пириной, а на востоке – Альпы; промежуток от Альп до отрогов Севенн, тянущихся к Роне, идет по прямой линии. К южной линии примыкает, кроме указанного параллелограмма, морской берег, принадлежащий массалиотам (марсельцам) и салийцам, до самой Лигурии, на границе с Италией, и до реки Вара, которая, как я сказал выше, отделяет Нарбонскую Галлию от Италии. Летом эта речка ничтожна, но зимой она разливается на 7 стадий в ширину. От этого места линия морского берега продолжается до храма Венеры Пиренейской, который отделяет границу этой провинции от Испании (Иберии). Впрочем, другие обозначают таким пределом «Помпеевские Трофеи». Нарбона отстоит оттуда на 3 мили (μιλια); до Немауза (ныне Ним) от Нарбоны считается 88 миль; от Немауза через Угерн и Тарускон до теплых вод, называемых Секстийскими (Aquae-Sextiae, ныне Aix), что близ Марселя, 83; оттуда до Антиполя и р. Вара 73; так что всего 277 миль. Другие считают от храма Венеры до р. Вара 2600 стадий, а иные и к этому прибавляют еще 200; вообще не все утверждают одно, когда дело идет о пространстве. Другая дорога идет через землю воконциев и коттиев: от Угерна же и Тараскона до Немауза – дорога общая; отсюда до пределов воконциев и начала подъема на Альпы через Дуренцию и Кабаллион – всего 63 мили; с другой же стороны, от пределов воконциев, по земле коттиев, 99 миль до селения Эбродуна; такое же пространство до Оцела, пограничного местечка коттиев, через село Бриганций, Сцингомаг и горный альпийский проход: от Сцингомага начинается Италия, которая отстоит от Оцела на 28 миль.

Массалия была основана фокеянами; она расположена на скалистом берегу; ее порт имеет форму амфитеатра, высеченного в скале, и обращен на юг. Как сам порт, так и город великолепно отстроены и замечательны по величине. В городском кремле (εν τη αχρα) находятся Эфезион и храм Аполлона Дельфийского. Последний считается священным у всего ионийского племени, а Эфезионом называется храм Дианы Эфесской. По преданию, фокеяне, оставляя родину, получили приказание признать начальником экспедиции того, кого им даст Диана. Итак, они, пристав к Эфесу, спрашивали, каким образом они могут получить от богини то, что было им приказано. В то время богиня явилась во сне Аристархе, одной из почетнейших матрон города, и повелела ей, взяв с собой одно из священных изображений, сопутствовать фокейцам. По исполнении этого, они, выстроив колонию в Массалии, построили храм и сделали верховной жрицей Аристарху, оказывая ей всевозможные почести; Диана в их колонии занимала первое место: ей была воздвигнута статуя и учреждены те же обряды, как и в метрополии.

Республика массалиотов управляется самыми лучшими законами: государственными делами заведуют аристократы, составляя совет шестисот, члены которого пользуются этой почестью пожизненно, почему и называются тимухами (Τιμουχηι, то есть имеющие почесть). В этом совете председательствуют 15 мужей, заведующие текущими делами; между ними опять председательствуют трое, с высшей властью; и из этих трех один считается старейшим. Никто не может получить звание тимуха, если не имеет детей, или если его род не продолжался в течение трех поколений. Законы у них ионические и выставлены публично. Почва покрыта оливковыми деревьями и виноградом, но, по причине каменистости ее, хлеба мало: потому массалиоты более рассчитывают на море, чем на землю, и пользуются удобством своего положения для мореплавания. В позднейшие времена они успели покорить себе силой многие из окрестных земель, построили в них города с целью иметь в них защиту со стороны Испании против испанцев, которым они передали культ Дианы Эфесской и обряды жертвоприношения; а со стороны Роны и Агаты – против варваров, обитающих по этим рекам; со стороны же Тавроенция, Ольбии, Антиполя и Никеи – против наро-

да салиев и лигуров, живущих вдоль Альп. Массалиоты имеют верфь и арсенал: в древности у них было множество кораблей, оружия и кораблей для плавания и осады городов; они или защищались ими от варваров, или внушали дружбу римлянам, а иногда и служили последним, пользуясь взаимно их помощью. Секстий, покоривший салиев, построил вблизи от Массалии город для себя и для теплых вод (ныне часть их, как говорят, обратилась в холодные источники), и, поставив там римский гарнизон, изгнал варваров из пределов, которые ведут из Массалии в Италию, так как массалиоты не могли их усмирить. Впрочем, и он ничего другого не достиг, как только отбросил варваров от берегов, удобных для пристани, на 12 стадий и от скалистых на восемь; очищенная затем земля была им отдана массалиотам. В Массалии развешено множество трофеев, которые были взяты гражданами в различные времена в морских кампаниях, когда они одерживали победу над оспаривавшими у них господство на море. В древние времена, когда Массалия процветала в особенности, граждане ее из дружбы к римлянам оказывали им большое внимание, и на горе Авентинской, в Риме, посвятили храм той же формы, какую имело капище Дианы в Массалии. Но во время восстания Помпеи против Цезаря, пристав к стороне побежденной, массалиоты много потеряли; впрочем, и до сих пор видны у них следы старинных построек, в особенности тех, которые предназначались для машин и корабельного дела. Когда же варвары, их соседи, были укрощены, и гражданские междоусобия сменились, под владычеством Римской империи, наукой и земледелием, морское искусство уже не занимало у массалиотов прежнего своего места. Это доказывается современным состоянием города: все достаточные люди предаются там изучению красноречия и философии. Таким образом, этот город едва только успел сделаться для варваров доступным, как место их образования, галлы до такой степени увлеклись изучением греческой литературы, что даже писали свои договоры по-гречески; и в настоящее время знатные римляне для своего образования вместо Афин, отправляются в Массалию. Галлы, видя этот мирный образ жизни, сами получили к нему расположение не только частным образом, но и публично, как отдельные лица, так и целые общины приглашали к себе из Массалии медиков и софистов. Доказательством умеренности и скромного образа жизни массалиотов служит то, что у них самое большое приданое простирается до 100 золотых монет, а на платье дозволяется издержать не более как 5 монет, и столько же на украшение. Сам Цезарь и бывшие с ним предводители были умеренны в отмщении массалиотам за измену, и в память своей дружбы сохранили городу его прежнюю свободу, так что ни граждане Массалии, ни ей подвластные города не были обязаны повиноваться отправляемым в провинции полководцам. Вот все, что мы хотели сказать о Массалии.

После этого отступления автор возвращается к дальнейшему описанию Нарбонской провинции, за ней обозревает остальные три провинции, и наконец, в заключение, приводит общую картину нравов и быта древних галлов, как то следует ниже.

Вообще все народы, известные в настоящее время под именем галлов, или галатов (Γαλλιχοι или Γαλατιχοι), воинственны, жестоки, всегда готовы к ссоре, но при всем том чистосердечны и незлобны. Так, малейшее причиненное им раздражение заставляет их массами хвататься за оружие, открыто и без малейшей осмотрительности. Вследствие того их можно легко победить, если кто захочет употребить в дело военную хитрость; стоит только возбудить их к сражению, и какой бы ни был предлог, во всякое время и на всяком месте можно найти их готовыми принять бой, без всякого другого приготовления, кроме силы и удальства. Тем не менее эти качества не мешают им быть переимчивыми, когда дело идет о их собственной пользе; так они обнаружили большую склонность к наукам и литературе.

Сила галлов заключается не только в превосходстве их сложения, но и в их многочисленности: по своему великодушию и круговой поруке (αυϑεχαστον) галл приходит в негодование и в том случае, если обида нанесена его соседу: оттого галлы

восстают большими массами. В наше время, конечно, будучи подчинены римлянам, они должны жить в мире и повиноваться своим победителям: но то, что я теперь буду говорить о галлах, я заимствую из истории их прежнего времени и из обычаев, которые имеют силу у германцев и до сих пор. Действительно, эти два племени и по своему характеру, и по привычкам имеют много общего и родственного: действительно, они ближайшие соседи, отделяются друг от друга Рейном, и во многом схожи между собой. Германия идет, однако, далее на север, хотя ее южные и северные пределы совпадают с южными и северными пределами Галлии. Вот почему в этой стране случаи к переселению были часты: галлы переселялись массами, поднявшись все разом, со всем своим семейством, когда их изгонял превосходящий силами неприятель. И потому римляне покорили галлов с большей легкостью, нежели иберов (испанцев)[1]: с иберами война началась гораздо раньше и окончилась позже, между тем как пространство от Рейна до Пиренеев было покорено уже все. Галлы восстали огромными массами, и потому были побеждаемы все разом: иберы же продлевали войну, ограничиваясь отдельными стычками, и каждый дрался у себя и за себя, наподобие разбойников. Все галлы по природе воинственны, но на коне дерутся лучше, чем пешие, и римляне лучшую часть своей конницы вербуют между галлами. Из галлов самые воинственные те, которые живут в северных странах и соседних океану.

Белги, разделенные на 15 народов, живут между Рейном, Луарой и океаном, и особенно славятся своей доблестью: они одни выдержали напор германцев, кимвров и тевтонов. Между белгами, говорят, храбрейшие белловаки[2] и суэссионы[3]. Страна белгов так густо заселена, что в прежнее время[4] там считали до трехсот тысяч человек, способных носить оружие. У гельветов (Ελουητιοι), арвернов (овернцев) и союзников столь же многочисленное население, и, как я заметил, причина того заключается в том, что у них женщины легко рожают и легко вскармливают детей. Белги носят сагу (плащ), отращивают длинные волосы[1] и ходят в штанах; вместо туник они носят холщовые рубашки с рукавами, спускающиеся ниже пояса и зада. Шерсть их баранов груба, но волос ее длинен; из нее они приготовляют себе плотную ткань (сукно), которая на их языке называется лэна (λαινα). Конечно, у римлян даже и в северных странах бараны дают отличную шерсть, потому что они покрывают их кожами.

Вооружение галлов соответствует их телосложению. Длинный меч привешивается с правой стороны: щиты их также очень длинны; копья того же размера; они употребляют еще одно оружие, вроде копья, называемое у них мадарис (μαδαρις). У некоторых встречаются луки и пращи. Есть у них еще деревянный дротик, похожий на римский; его бросают они рукой, а не с помощью ремня, и на более далекое расстояние, чем стрелу; это оружие особенно употребляется ими на птичьей охоте.

Большая часть галлов сохраняют и до сих пор обычай спать на земле и обедать, сидя на соломе. Обыкновенная пища их состоит из молока и мяса всякого рода; но более всего употребляется свинина, как свежая, так и соленая. Свиньи у них остаются в поле и, превосходя свиней других стран ростом, силой и быстротой в движении, бывают потому опасны, как и волки для тех, кто не умеет с ними обращаться.

Галлы живут в больших круглых домах, построенных из досок и плетня, с высокой кровлей. Они так богаты стадами овец и свиней, что снабжают сукном и соломой не только Рим, но почти целую Италию.

Большая часть народов Галлии имела аристократическое управление; в древности каждый год выбирался князь; народ же назначал одного предводителя для войны: в наше время они почти исключительно по-

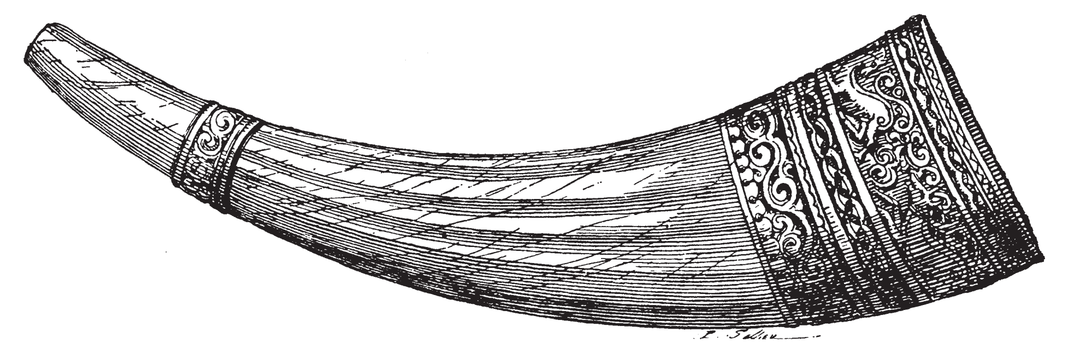
[1] Война с иберами продолжалась 200 лет.

[2] Обитатели окрестностей г. Бове (Beauvais).

[3] Обитатели окрестностей г. Суассона (Soissons).

[4] Во время Цезаря.

[1] Вследствие этого обычая римляне назвали Трансальпийскую Галлию волосатой Галлией (Gallia comata), исключая ее южную часть, провинцию Нарбонскую, которую они называли Gallia brac-cata (то есть «носящая штаны»).



Рог Карла Великого. По преданию, подаренный ему Харуном ар-Рашидом. IX в. Сокровищница капеллы в Ахене

винуются приказаниям римского правительства.

В своих собраниях галлы сохраняют обычай, принадлежащий только им. Если кто-нибудь учиняет беспокойства или прерывает оратора, то страж подходит к нему с поднятым мечом и, угрожая, приказывает ему замолчать; если тот не унимается, то он повторяет свои угрозы второй раз, потом третий; и тогда только страж отрезает у саги виновного такой большой кусок, что остальная ее часть делается никуда не годной. У галлов занятия мужского пола и женского распределены совершенно противоположно тому, что делается у нас, и в этом отношении галлы представляют общие обычаи со всеми другими варварскими народами[1].

Почти у всех галлов встречаются три класса людей, которые пользуются уважением: барды, ваты (ουατεις, то есть vates, гадатели) и друиды. Барды составляют и поют гимны; ваты заведуют жертвоприношениями и наблюдением над природой; друиды же, сверх того, исследуют нравственные вопросы. Правосудие друидов пользуется всеобщим уважением; так что на их суд отдают и частные, и общественные тяжбы. Некогда они служили даже посредниками во время войны, и могли остановить враждующие стороны перед самым началом схватки; их ведению подлежат в особенности уголовные тяжбы. Как друиды, так и ваты верят в бессмертие души и мира, но думают, что впоследствии огонь и вода одержат верх.

[1] На женщин были возложены все домашние и полевые работы, а мужья проводили время на войне или в праздности.

Со своей откровенностью и природной живостью галлы соединяют величайшее неблагоразумие, тщеславие и любовь к нарядам. Они любят носить золотые украшения, как, например, ожерелья, браслеты; те же, которые облечены властью, ходят в разноцветных одеждах, шитых золотом. По легкомыслию, они невыносимо тщеславны в случае победы, и теряются совсем, когда бывают сами побеждены.

К их неразумению присоединяется много варварского и необычного, но что можно видеть у большей части северных народов, а именно: они при возвращении из похода обвешивают шею лошадей головами убитого неприятеля, а потом выставляют напоказ перед входом в дом. Посидоний[1], как он рассказывает, видел во многих местах Галлии этот обычай, который сначала его возмущал, но к которому он наконец привык. Когда между такими головами находились головы замечательных противников, то они их бальзамировали кедровой смолой, показывали чужеземцам и не соглашались продавать подобные трофеи даже на вес золота.

[1] Посидоний, стоический философ, современник Помпея и Цицерона, имел школу в Родосе. Все его труды погибли; они известны только по немногим отрывкам, которые нам сохранены некоторыми из древних авторов. Так, наш автор говорит о посещении им Галлии.

Но римляне принудили их отказаться от столь жестокого обычая, как и от многих других, употреблявшихся при жертвоприношениях и гаданиях, и которые несогласны с нашими нравами: так, например, галлы одним ударом меча рассекали спину человека, обреченного на жертву, и по его судорогам предугадывали будущее. Друиды непременно присутствовали при жертвоприношениях. У галлов приводятся и другие формы жертвоприношений: они пронзали жертву стрелой, или распинали в храмах, или, наконец, загоняли людей вместе с животными вовнутрь колосса, построенного из дерева и начиненного сеном, и всех вместе сжигали.

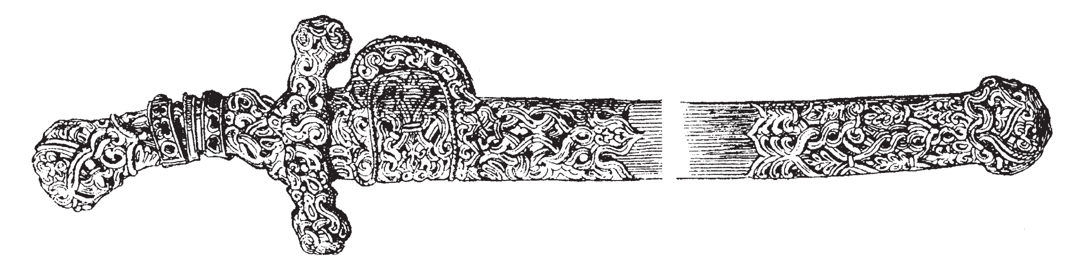
Тот же Посидоний рассказывает, что на океане находится остров, расположенный недалеко от берега против устьев Луары, на этом острове живут жены самнитов (по другому списку — амнитов), которые, под влиянием вакхического самозабвения, совершают таинства и церемонии в честь Вакха (Дионисия). Ни один мужчина не может попасть на остров, и его обитательницы сами переезжают к своим мужьям и возвращаются к себе. У них существует обычай разбирать ежегодно кровлю храма, и в тот же день, перед закатом солнца, восстанавливать, для чего каждая из женщин несет на себе необходимые для того тяжести; кто уронит тяжесть, удаляется из общества; неся таким образом ношу, они с криком ходят около храма, пока не избавятся от восторга, и всегда происходит так, что одна из них уронит тяжесть. Подобное этой сказке рассказывает Артемидор о воронах: есть, говорит он, гавань на берегу океана, называемая гаванью «Двух воронов»; там появляются два ворона, у которых правое крыло с белым оттенком. На то место собираются все, кто имеет тяжбу: соперники кладут на скале дощечки, а на дощечки сухой хлеб: вороны, прилетая, одно съедают, а другое сбрасывают; хозяин последнего выигрывает дело. Все это весьма баснословно, но гораздо вероятнее то, что Артемидор рассказывает о Церере и Прозерпине, а именно: вблизи Британии есть остров, на котором совершается поклонение этим богиням с теми же обрядами, как и в Самофракии. Можно поверить также и тому, что в Галлии растет дерево, похожее на смокву, плод которого имеет форму капители коринфской колонны; из надреза этого плода выходит сок, которым обмазывают стрелы, так как он смертоносен.

Географ., кн IV, гл. I, 1–5; гл. IV, 1–6.

Августин Тьерри

О ХАРАКТЕРЕ ГЕРМАНСКИХ ЗАВОЕВАНИЙ ГАЛЛИИ И СОСТОЯНИЕ ПОБЕЖДЕННЫХ ТУЗЕМЦЕВ (1820 г.)

Я думаю, что теперь настало время для общества обнаружить наклонность к истории более, нежели к какому-нибудь другому серьезному чтению. Может быть, это и в порядке развития всякой цивилизации, чтобы после века, сильно потрясшего идеи, наставало время для пересмотра фактов; или, может быть, мы устали слушать клевету на прошлое, как на какое-нибудь неизвестное лицо; или, наконец, все это – дело одного литературного вкуса. Чтение романов Вальтера Скотта весьма много послужило направлению европейского внимания и воображения на Средние века, от которых прежде отворачивались с презрением; и если в наше время совершается переворот в способе чтения и изложения истории, то надобно сознаться, что творения Вальтера Скотта, хотя по своей внешности фантастические, но в особенности содействовали тому. Любопытство, возбужденное во всех классах читателей по отношению эпохи и людей, прослывших варварскими, сделало то, что и произведения более серьезные имели неожиданный успех.



Меч Карла Великого. По преданию, подаренный ему Харуном ар-Рашидом. IX в. Сокровищница капеллы в Ахене

Без сомнения, нельзя смотреть на романы Вальтера Скотта, как на научные авторитеты; но нельзя также отнять у их автора той заслуги, что он первый вывел на сцену различные народы, постепенное слияние которых сформировало великие нации Европы. Кто из историков Англии говорил об англосаксах и норманнах, изображая время Ричарда Львиное Сердце? Или, кто в восстаниях Шотландии, от 1715 до 1745 г., подметил малейшие следы национальной вражды горцев, детей гаэлов, к англичанам, детям саксов? Все подобные факты и многие другие не меньшей важности оставались до того времени незамеченными: все, что ход цивилизации подвел под один уровень, то подводят под один уровень и новейшие историки.

Одно из важнейших событий истории Средних веков, которое перевернуло сверху донизу весь общественный быт Англии – я имею в виду завоевание этой страны норманнами, – в истории Юма является чем-то вроде завоевания, совершенного каким-нибудь современным владетелем. Вместо того, чтобы явиться нам в характере древних германских вторжений, борьба последнего англосакского короля с герцогом Нормандии, Вильгельмом Завоевателем, в рассказе Юма, походит на самое обыкновенное соперничество двух претендентов на престол. Последствия победы норманнов для побежденной нации, по-видимому, ограничиваются простой переменой правителей; между тем как дело шло не менее как о порабощении и лишении имущества целого народа, в пользу чужеземцев. Территория, богатства, сама личность туземцев сделались предметом добычи, наравне с королевством.

Этот недостаток английской истории в целости повторяется нашей историей, где вторжение, завоевание, порабощение, продолжительная борьба рас и наций принимают точно так же, как и у Давида Юма, какой-то ложный и неопределенный характер. Настоящие исторические вопросы исчезают под массой вопросов фантастических и нелепых, как, например, был ли Клодовей хорошим королем, и была ли его политика согласна с интересами Франции. Именами Франция и французы стирают древнюю нацию германцев; эти имена одни свидетельствуют теперь о ее существовании, между тем как эта нация когда-то оставила иного рода следы, пройдя по той почве, на которой мы теперь живем.

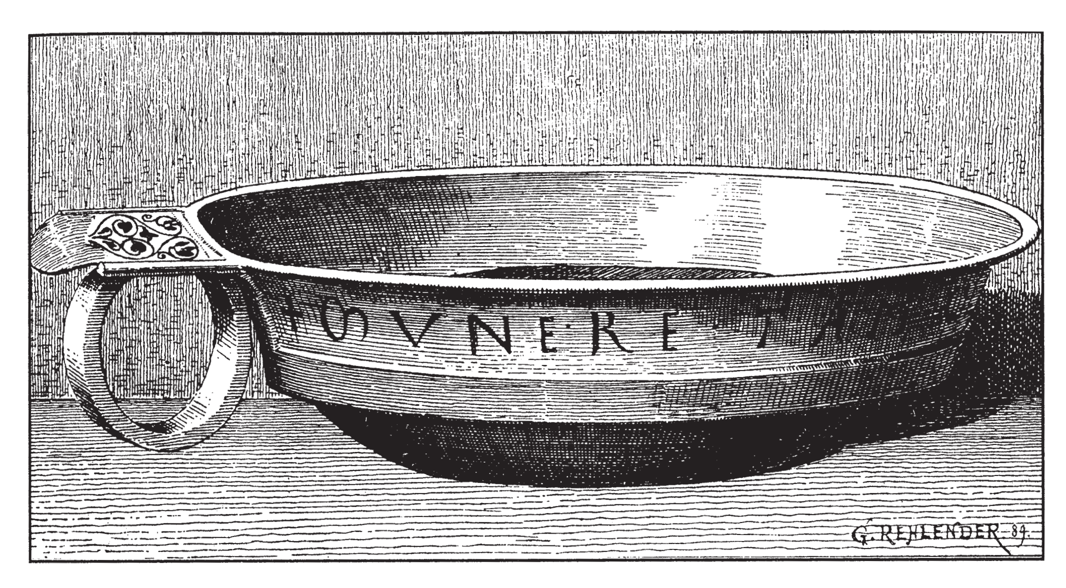
Если я произношу слово «нация», не примите его в буквальном смысле, потому что франки вовсе не были народом; они составляли конфедерацию небольших народов, в древности весьма отличных, даже происхождением, друг от друга, хотя тем не менее они все принадлежали к расе германской. В самом деле, одни принадлежали к западной и северной ветви этой великой расы, первоначальный язык которой породил диалекты и наречия нижненемецкие; другие выходили из центральной ветви, язык которой, несколько смешанный и смягченный, образует нынешний литературный язык Германии. Союз франков, образовавшийся, как и все древнейшие союзы, из соединения господствующего колена и колен вассальных, подвластных первому, простирал, в первый момент своей борьбы

с Римской империей, свое господство по берегам Северного моря, от устьев Эльбы до устьев Рейна, и далее по правому берегу последней реки, почти до того места, где в нее впадает Майн. На востоке и юге союз франков доходил до пределов соперничествовавших с ним союзов саксонского и алеманнского. Но нет возможности определить точно их обоюдных границ. Эти границы видоизменялись по степени успехов войны или вследствие естественного непостоянства варваров; и целые населения, или добровольно, или по принуждению, переходили поочередно из одного союза в другой.

Новейшие писатели уговорились придавать имени франков значение свободных людей; но это не имеет для себя основания ни в одном древнем источнике, и никакое словопроизводство корней германской речи не дает им на то ни малейшего права. Это мнение, появившееся от недостатков критики и распространенное национальным тщеславием, падает само собой при первом критическом исследовании различных значений этого слова, от которого произошло наше имя, и которое на современном языке выражает столько разнообразных качеств. Только со времени завоевания Галлии и вследствие высокого общественного положения, приобретенного в этой стране людьми франкской расы, древнее их наименование получило смысл соответственный всем качествам, которыми обладало или думало обладать благородное сословие Средних веков, а именно – свободу, решительность характера, великодушие, правдивость и т. д. В XIII столетии слово franc выражало соединение богатства, могущества и политической важности; это слово противопоставляли другому: chetif, то есть бедный и низкого происхождения. Но эта идея превосходства, точно так же, как и независимости, перешедшая из французского языка и в прочие языки Европы, не имеет ничего общего с первоначальным значением древнего германского слова.

Будет ли это слово написано через n или без n: frak или frank, оно, подобно латинскому ferox, означает гордый, бесстрашный, свирепый. Известно, что свирепость в то время вовсе не марала характера германских героев, и это замечание идет в особенности к франкам, потому что, как кажется, с первого образования их союза, в связи с поклонением Одину, они разделяли воинственный фанатизм всех последователей этой религии. В сущности, союз франков вытекает не из освобождения многочисленных колен, но из преобладания и, может быть, тирании одних над другими. Таким образом, для дружины дело было вовсе не в том, чтобы провозгласить себя независимой, но она могла, и что, по моему мнению, выражалось в собирательном ее имени, объявить себя обществом храбрых, решившихся показать себя перед неприятелем без страха и пощады.

Войны франков с римлянами, начиная с середины III столетия, вовсе не были войнами оборонительными. В своих военных предприятиях конфедерация варваров преследовала двойную цель: овладеть территорией на счет Римской империи и обогатиться грабежом порубежных провинций. К первым ее приобретениям относится завоевание большого острова реки Рейна, называемого островом батавов. Очевидно, что она питала намерение овладеть левым берегом реки и затем покорить себе весь север Галлии. Поощряемые первыми успехами и донесениями своих соглядатаев к дальнейшему выполнению такого гигантского плана, франки пополняли ограниченность своих средств к нападению неутомимой деятельностью. Каждый год они отправляли со своего берега Рейна шайки молодых фанатиков, воображение которых воспламенялось рассказами о подвигах Одина и наслаждениях, которые ожидают храбрых в палатах Валгаллы. Немногие из этих детей возвращались за реку. Часто такие набеги, были ли они одобрены или не одобрены начальниками колен, кроваво наказывались, и римские легионы опустошали огнем и обливали кровью германский берег Рейна; но лишь только река замерзала, переходы и вторжения возобновлялись. Случалось военным постам, вследствие передвижения войск от одних границ империи к другим, остав-



Крестильная чаша Видукинда, герцога саксов

лять свои временные укрепления, как вся конфедерация, и начальники, и взрослые, и юноши, поднимались с оружием в руках для вторжения, и разрушали крепости, защищавшие римский берег. При помощи подобных попыток, беспрестанно повторяемых, было довершено, наконец, во второй половине V века, завоевание севера Галлии, ставшей частью конфедерации франков.

Между различными коленами, составлявшими конфедерацию франков, не все были расположены одинаково выгодно для вторжения на территорию Галлии. Западные франки, жившие вблизи морских дюн, соседних устьям Рейна, были помещены в этом отношении самым выгодным образом: с этой стороны римская граница не представляла никаких естественных препятствий; крепости были там далеко не так многочисленны, как в верхних течениях Рейна; и наконец, страна, изрезанная болотами и покрытая лесами, представляла столько же неудобств для регулярного войска, сколько была выгодна для случайных набегов германских дружин. В самом деле, первые вторжения, более прочные, на левый берег Рейна, были совершены именно поблизости его устьев; там набеги франков принесли им результат положительный: территория была занята и потом распространялась от одного места до другого. Новая роль, которую с того времени получили приморские франки в качестве поземельных завоевателей, дала им значительный перевес над остальными членами конфедерации. Вследствие ли одного влияния, или путем силы, они сделались господствующим населением, и их главное колено, то, которое обитало у устьев Исселя (р. Сала) в стране Saliland (побережье р. Салы), стало во главе прочих. Салиски, или салияне, считались более благородными между франками, и именно из одной фамилии салиян, из Меровингов, то есть детей Меровинга (или Меровея), конфедерация избирала себе королей, всякий раз, когда она в том нуждалась[1].

Первым из таких королей, действительное существование которого подтверждается достоверными фактами, был Клодион,

[1] Весьма вероятно, что название Merowing древнее существования самого Меровинга, или Меровея, преемника Клодиона. Это имя, вероятно, принадлежало одной древней фамилии, весьма многочисленной, члены которой жили рассеянно по всей территории салических франков. В памятниках VI в. встречаются места, в которых этим именем обозначаются целые массы салических колен.

потому что Фарамонд, сын Маркомира, несмотря на то, что его имя совершенно германское, и само правление его не невозможно, вовсе не встречается в летописях, заслуживающих веры. В последующие эпохи все воспоминания и завоевания тесно связаны с именем Клодиона. Ему, вместе с тем, приписывается честь, как первому, кто вступил на территорию Галлии и распространил господство франков до берегов Соммы. Таким образом, в Клодионе были олицетворены победы, одержанные целым рядом предводителей, имена которых остались неизвестными, и пределами жизни одного человека было ограничено время успеха оружия франков, который на деле был весьма постепенен и исполнен больших превратностей. Вот в каком виде изображались те события историком, правда, весьма уже поздним и баснословным, но который, повидимому, служил верным эхом древних народных легенд:

«Соглядатаи возвратились и донесли, что Галлия была самой благородной страной, богатой всякого рода благами, усаженной лесами фруктовых деревьев; что почва ее плодоносна и может удовлетворить всем потребностям человека. Воодушевленные такими рассказами, франки берутся за оружие, возбуждают свою храбрость, и, чтобы отомстить римлянам за притеснения, которые они от них испытали, изощряют свои мечи и сердца; они вызывают друг в друге презрение и насмешки, чтобы не бежать перед римлянами, но всех их истребить. В те дни римляне жили от реки Рейн, до Луары, а от р. Луары до Испании обитали готы. Король Клодион, послав соглядатаев до самого Камбре, сам переправился через Рейн с большой армией. Вступив в лес Шарбоньера, он овладел городом Турне, и оттуда подвинулся вперед до Камбре. Там он остановился на некоторое время и дал приказание умертвить мечом всех римлян, которые жили в городе. Удержав за собой город, он пошел далее и завоевал всю страну до реки Соммы». (Gesta Francorum per Roriconem monachum, apud Script. rer. gallic. et francic., t. III, p. 4).

Самое любопытное в этом рассказе то, что в нем чрезвычайно живо отражен варварский характер войны, во время которой победители соединяли жажду добычи с ненавистью национальной и с чем-то вроде ненависти религиозной. Все это, однако, не происходило с такой регулярностью и не было беспрерывным рядом успехов: территория второй Бельгийской провинции переходила несколько раз из рук в руки, прежде чем осталась навсегда за франками. Сам Клодион потерпел поражение от римских легионов и был принужден в беспорядке ретироваться к Рейну, или даже за Рейн. Воспоминание об этой битве нам сохранил один латинский поэт V века, Сидоний Аполлинарий. Франки дошли до города, называвшегося Еленой, который считают нынешним Lens. Они, окружив себя повозками, расположились лагерем на холмах у небольшой речки, и, как все варвары, дурно содержали караулы; поэтому римляне под предводительством Аэция и застали их врасплох. В минуту атаки франки пировали и плясали, по случаю свадьбы одного из своих предводителей. Далеко раздавался шум их песен и виднелись огни, на которых изготовлялось пиршественное мясо. Вдруг легионы потянулись сплошными линиями и беглым маршем по узкому шоссе и деревянному мосту, который был перекинут через речку. Варвары едва имели время схватить оружие и построиться в порядок. Разбитые и принужденные к отступлению, они побросали кое-как в повозки приготовления, сделанные к пиршеству, всякого рода яства и огромные котлы, перевитые гирляндами. Но колесницы с тем, что на них находилось, говорит поэт (Sid. Apoll., Carm. in paneg. Majoriani, apud Script. rer. gall. et francic., I, 802 и след.), и сама новобрачная, белокурая, как и ее муж, попали в руки победителя.

Портреты, которые рисуют нам писатели того времени, говоря о франкских воинах той эпохи, и позже до VI века, имеют в себе что-то особенно дикое. Они приподнимали и прикрепляли на верхней части лба свои русые волосы, которые, образовав род узла, падали назад, как хвост у лошади. Их лицо было совершенно выбрито, за исключением двух длинных усов, висевших с двух сторон рта. Они носили льняную одежду,

перетянутую широким поясом, на котором висел меч. Любимым их оружием была секира об одном и о двух лезвиях: само железо широкое и острое, а рукоятка короткая. Сражение они начинали, бросая секиры издалека или в лицо, или в щит неприятеля, и редко не попадали в то место, в которое метили.

Кроме секиры, которая, по их имени, называлась франциской, они имели метательное оружие, которое было свойственно только им, и которое, на их языке, носило название hang, то есть копье: оно было средней величины и могло служить на близком, и на дальнем расстоянии. Наконечник его, длинный и крепкий, был снабжен острыми и загнутыми крючьями. Древко покрывалось железными полосками почти во всю длину, так что не могло ни быть переломлено, ни разрублено мечом. Если такое копье вонзалось в щит, то крючья, которыми оно было снабжено, не позволяли извлечь его назад, и оно влеклось оконечностью по земле: тогда франк, пустивший копье, бросался вперед и, поставив ногу на древко, напирал на него всей тяжестью своего тела и вынуждал тем противника опустить руку с щитом и таким образом обнажить свою голову и грудь. Иногда к копью привязывалась веревка и тогда оно служило арканом для привлечения всего, во что вонзалось. Один франк пускал копье, другой держал веревку, и оба соединенными силами или обезоруживали неприятеля, или притягивали его силой за одежду или вооружение.

Воины франков продолжали сохранять такую внешность и свой способ сражаться целые полвека после завоевания, когда король их Теодеберт переходил Альпы и шел воевать в Италию. Одна только королевская стража сидела на лошадях и была вооружена копьями, по римскому образцу; остальное войско оставалось пешим и было вооружено жалким образом: оно не имело ни панциря, ни поножьев, обделанных железом; немногие носили каски, другие дрались с открытой головой. Чтобы избегнуть влияния жаркого климата, они снимали с себя верхнюю холщовую одежду и оставались в одних кожаных или матерчатых панталонах, доходивших донизу. У них не было ни лука, ни праща, ни другого метательного оружия, кроме копьеца и франциски. Вооруженные таким образом, они мерились силами с войсками императора Юстиниана, правда, с большей храбростью, нежели успехом.

Моральный быт, отличавший франков при появлении их в Галлии, как я сказал выше, вполне соответствовал их верованию в Одина и чувственные наслаждения Валгаллы. Они любили страстно войну, как средство быть богатыми в этом мире, а в другом сделаться союзниками богов. Самые юные и вместе самые отчаянные из них испытывали во время битвы фанатический восторг, который делал их нечувствительными к боли и наделял сверхъестественной жизненной силой. Они едва держались на ногах и все еще сражались, несмотря на многочисленные раны, из которых самая ничтожная была бы достаточна, чтобы положить другого на месте. На скандинавском языке такие герои назывались берсеркерами. Завоевание, совершенное такими людьми, было, конечно, кроваво и сопровождалось бесцельными жестокостями: к сожалению, нам недостает подробностей для изображения отдельных обстоятельств. Такая бедность документов была результатом отчасти обращения франков в католичество: оно сделало их популярными во всей Галлии и стерло пятна крови, пролитой новыми, ортодоксальными христианами. Имя франков было вычеркнуто в тех легендах, которые были предназначены для проклятия памяти убийц служителей божьих; сами убийства, которые были совершены франками, при их вторжении, приписали другим народам – гуннам и вандалам; но несколько отдельных сцен, сближенных критикой и пополненных неведением, могут сделать очевидным то, что прикрыла лесть составителей хроник или религиозная симпатия.

Южные и восточные провинции Галлии были завоеваны вестготами и бургундами, и потому их завоевание далеко не было так опустошительно. Эти два народа, оставив давно уже фанатическое учение Одина, переселились на римскую территорию вследствие необходимости, вместе с женами

и детьми. Они получили место своего нового жительства скорее вследствие частых переговоров, нежели силой оружия. При своем появлении в Галлии они были уже христианами, и хотя принадлежали к арианству, но вообще обнаруживали большую терпимость. Готы, правда, были такими только сначала, но бургунды не изменялись никогда. По-видимому, добродушие, составляющее и до сих пор отличительную черту немецкой нации, было издавна принадлежностью бургундов. До своего появления на западном склоне Юры они блуждали более ста лет по Германии, сталкиваясь со всеми владетелями земель и получая везде отпор. Идея несчастья и поражения была, так сказать, привязана к их имени, и длинный ряд обманутых стремлений, заключившийся народной катастрофой, из которой северная поэзия сложила свою великую эпопею[1], смягчили характер бургундов и сломили в них кичливость варвара и завоевателя.

Сделавшись владетелями земель, принадлежавших галльским собственникам, получив две трети земель и треть рабов, они тщательно заботились о том, чтобы не переступить своих пределов. Они не смотрели на римлянина как на своего колона, или на лита[2], по германскому выражению, но как на равного себе, в границах ему предоставленных. Они даже испытывали на себе неловкое положение пришельцев, стоя перед богатыми сенаторами, которые были наравне с ними собственниками. Расположившись на постое в каком-нибудь знатном доме, где они могли бы распоряжаться, как господа, бургунды старались во всем подражать римским клиентам своего благородного хозяина, и рано утром собирались, чтобы идти откланяться ему и приветствовать, называя его именами: батюшка или дядя – что на германском диалекте составляло обычную формулу, выражавшую уважение к старшему. Потом, вычистив оружие и намазав маслом свои длинные волосы, они начинали петь во все горло какую-нибудь народную песню и с наивным добродушием спрашивали у римлян, как им это нравится.

Закон бургундов, одинаковый для победителей и побежденных, запрещал первым злоупотребление силы. Он даже представлял в этом отношении некоторые предосторожности, которые можно было бы назвать деликатными. Например, закон не дозволял варварам вмешиваться, ни под каким предлогом, в процессы между римлянами. Один из таких параграфов стоит быть приведенным в тексте: «Если кто-нибудь откажет в столе и очаге страннику-чужеземцу, то заплатит пени три солида... Если странник придет в дом бургунда и будет просить крова, а этот укажет на дом римлянина, и будет то доказано, бургунд платит три солида пени и три солида на вознаграждение тому, на чей дом было указано» (Lex Burgundionum, tit. LV).

Для эпохи развития нетерпимости арианского фанатизма вестготы, господствуя в стране, расположенной между Роной, Луарой и двумя морями, отличались тем же духом справедливости, соединенной с большим умственным развитием и большой наклонностью к образованности. Их военные прогулки по Греции и Италии внушали их предводителям честолюбивое стремление превзойти или, по крайней мере, продолжать, в своих учреждениях, римскую администрацию. Преемник знаменитого Аларика, Атаульф, переведя свой народ из Италии в Нарбонскую провинцию, выражал весьма ясно и наивно свои убеждения по этому поводу. «Я припоминаю,– говорит один писатель V века (Павел Орозий, Hist.,

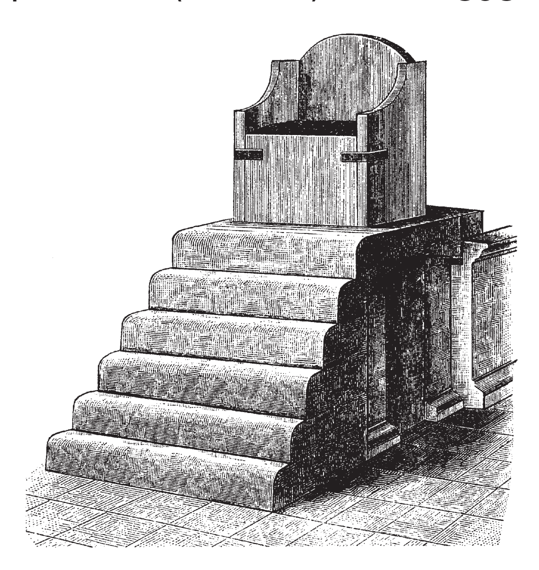
---

[1] То есть «Песнь о Нибелунгах» и героические песни Эдды. В этих эпических преданиях Скандинавии и Германии, вследствие анахронизма, перемешаны воспоминания о разрушении первого королевства бургундов и воспоминания о князьях меровингских, павших жертвой соперничества двух женщин, Брунегильды и Фредегунды. Другой анахронизм соединил там имя Аттилы с именем Теодориха, короля готов, как величайшим именем, которое осталось в памяти зарейнских народов. См. сочинение Roget de Belloguet, под заглавием: Questions bourguignonnes, напечатанное вместе с произведением Courtépée (изд. 1846 г.), с. 132 и след.

[2] Lide, lete, late, latze на древних германских диалектах означало: малый, последний. Так назывались низшие классы, бывшие, по всей вероятности, остатком побежденной расы.

lib. VII, apud Script. rer. gallic. et francic., t. I, p. 598),– мне рассказывал блаженный Иероним, в Вифлееме, как он видел одного жителя Нарбоны, достигшего высших должностей при императоре Феодосии, и притом лицо духовное, мудрое и внушающее уважение: это лицо у себя на родине находилось в близких отношениях к Атаульфу, и житель Нарбоны часто повторял, что король готов, человек великого сердца и высокого ума, обыкновенно говаривал, что его пламенное желание состоит в том, чтобы уничтожить само римское имя и утвердить на всем пространстве римских земель новую империю, называемую готской, так, чтобы, говоря обыкновенным языком, Романия сделалась бы Готией, и чтобы Атаульф играл ту же роль, как и Август Цезарь; но удостоверившись, что готы были неспособны к повиновению законам, вследствие их неукротимого варварства, и полагая, что не следует касаться законов, без которых государство перестанет быть государством, он решился искать славы в восстановлении во всей целости и даже в увеличении могущества римского имени, с тем, чтобы потомство смотрело на него, по крайней мере, как на восстановителя империи. В этом намерении он прекратил войну, и заботился тщательно о мире...»

Такие возвышенные идеи о необходимости законов для правительства, такая любовь к цивилизации, которой Римская империя служила в то время единственным образцом, сохранялись, но еще с большей независимостью, и при преемниках Атаульфа. Их двор в Тулузе, центр политики всего Запада, посредник между императорским двором и германскими королевствами, равнялся в своей изысканности, а в достоинствах может быть и превосходил двор константинопольский. Когда король вестготов не шел на войну, в то время его окружали знатные галлы, а во время войны брали верх германцы. Король Эврик имел своим советником и секретарем одного ритора, наиболее уважаемого в ту эпоху, и с удовольствием смотрел на депеши, писанные от его имени таким изящным языком, что ему удивлялись во всей Италии. Этот король, предпоследний из тех, которые правили в



Мраморное кресло Карла Великого. Ахенский собор

Галлии, вызывал истинное изумление в самых просвещенных умах того времени. Вот стихи, написанные величайшим поэтом V в. Сидонием Аполлинарием, изгнанным из Оверни, своей родины, королем вестготов, по подозрению в привязанности к империи; он явился в Бордо ходатайствовать об окончании ссылки. Это небольшое произведение выражает довольно живо то впечатление, которое произвел на изгнанника один вид людей всевозможных рас, собравшихся у короля готов хлопотать об интересах родины, которой каждый принадлежал:

«Луна два раза совершила свой круг, а я мог добиться только одной аудиенции: повелитель этой страны не находит времени для меня, потому что вся вселенная обращается к нему с вопросами и ждет от него ответа с подобострастием. Тут мы видим и сакса с голубыми глазами: его не удивляет никакое море, и он боится земли, по которой ступает. Тут и старый сикамбр, остриженный после поражения, отращивает снова свои волосы. Тут прогуливается и герул с зеленоватыми глазами, почти одного цвета с океаном, на отдаленных заливах которого он обитает. Тут и бургунд, ростом семи футов, преклоняет свое колено и молит

о мире. Тут и остгот ищет покровительства, которое составляет всю его силу, и при помощи которого он заставляет трепетать гуннов: слабый с одной стороны, с другой он может быть гордым. Тут и ты, римлянин, приходишь вымаливать себе жизнь, и когда Север грозит тебе какой-нибудь опасностью, ты ищешь руки Эврика против толпищ Скифии, ты просишь, чтобы Гаронна, ныне воинственная и мощная, оказала покровительство ослабевшему Тибру» (Sidon. Apollin. Epist. ad Lampridium, apud Script. rer. gall. et francic., t. I, pag. 800[1].

Если от этой картины или другой картины двора готского короля Теодориха II, начертанной в прозе тем же писателем (Sid. Apoll., Epist. ad Agricolam, t. I, pag. 783), перейти к подлинным рассказам о правлении Клодовея, то можно подумать, что мы удалились в самую глубину лесов Германии: и между тем, среди первых королей франкских Клодовей является еще и политическим деятелем. Он, собираясь основать государство, попирает ногами поклонение богам Севера, и вступает в союз с католическими епископами для разрушения двух арианских государств, вестготского и бургундского. Но оставаясь более слепым орудием, нежели двигателем этого союза, несмотря на свою дружбу с прелатами, несмотря на употребление, в своих дипломатических сношениях, римлян, которым предание приписывало испытанную ловкость в подобных случаях – несмотря на все то, Клодовей оставался под влиянием нравов своей нации. Толчок, данный этим нравам привычкой варварской жизни и древней кровавой религией Одина, не был остановлен обращением франков в христианство. Епископ Римский мог говорить новообращенным: «Сикамбр, смягчись, склони твою голову, и боготвори то, что ты предавал сожжению», и тем не менее пожары и грабежи не щадили церквей во время набегов франков, предпринятых ими к берегам Соны и на юг до Луары.

Не надобно, впрочем, себе воображать, чтобы это достопамятное обращение было внезапно и повсеместно. Сначала произошло политическое разделение между последователями нового и древнего культа; большая часть последних покинула королевство Клодовея и перешла за реку Сомму, в королевство Раганара, столицей которого был г. Камбре. Но многие остались при короле, продолжая сохранять древнюю религию и не отказываясь от вассальных отношений. Предание свидетельствует о том, что не только первый христианский король, но и его преемники были часто вынуждены сидеть за столом с упорными язычниками, и таких было много между франками, в самом высшем их классе. Вот по этому поводу два анекдота, которые не были до сих пор переданы ни одним из новейших историков, и которые, однако, вполне заслуживали бы того; опасение показаться доверчивым, в отношении элемента чудесного Средних веков, не должно доходить до пренебрежения подробностями тогдашних нравов, без которых история всегда останется неопределенной и невразумительной.

Возвращаясь по направлению к Парижу, где Клодовей решился утвердить свою резиденцию, он проходил через Орлеан и расположился там на несколько дней, вместе с отрядом своей армии. Во время пребывания короля в городе епископ Пуатвинский Адельфий представил ему аббата Фридолина, которого считали святым, и Клодовей весьма желал его видеть. Оба путника прибыли в лагерь франков, пустынник пешком, а епископ верхом, как и следовало. Король вышел сам к ним навстречу, в сопровождении множества людей, сделал им самый почтительный и дружеский прием, и после нескольких часов беседы с ними приказал приготовить большой стол. За обедом король велел подать себе дорогую чашу, прозрачную, как стекло, и украшенную золотом и драгоценными камнями, наполнив чашу и выпив, он передал ее аббату, который хотя пришел, но отказался пить, извиняясь тем, что вообще не пьет вина; когда же чаша перешла в руки Фридолина, он выронил ее случайно, и чаша, упав на стол, а со стола на пол, разбилась на четыре части. Один из кравчих подобрал куски и положил перед королем, которого опечалила не потеря вазы, но мысль о дурном впечатлении, которое мог этот случай произвести на присутствующих,

[1] См. ниже перевод подлинного письма в целости, более близкий к тексту.



Интерьер Ахенского собора. В центре видно кресло Карла Великого

а между ними было много язычников. Во всяком случае, Клодовей, придав своему лицу веселое выражение, обратился к аббату: «Владыко, это за мою любовь к тебе я лишился этой чаши; если бы она выпала из моих рук, то не была бы разбита. Посмотри, что Богу угодно было сделать для тебя в пользу своего святого имени, для того, чтобы ты между нами, которые предаются еще идолопоклонству, не замедлили уверовать во всемогущего Господа». В самом деле, Фридолин взял все четыре куска, составил их и, сжимая в руках, с головой, наклоненной к столу, начал молить Бога, рыдая и испуская глубокие вздохи. Когда его молитва была окончена, он возвратил чашу королю и тот нашел ее совершенно целой: не осталось даже знаков трещины. Такое чудо привело в восторг христиан, а еще более поразило неверных, которые присутствовали там во множестве. Когда король и все прочие, встав из-за стола, воздавали хвалу Всевышнему, те из присутствовавших, которые были еще помрачены заблуждениями язычества, исповедывали веру в Святую Троицу и получили из рук епископа воду крещения». (Vita S. Fredolini, apud Script. rer. gall. et francic., t. III, p. 388).

«После смерти короля Клодовея, когда его сын Лотарь утвердился в городе Суассоне, случилось, что один франк, по имени Гозин, пригласил его на пирушку, и между придворными его свиты был позван и Ведаст Преподобный (св. Вааст), епископ Арраса. Святой человек принял это приглашение с единственной целью дать спасительное назидание толпе гостей и воспользоваться влиянием короля, для совершения над ними таинства крещения. Войдя в дом, он заметил большое число бочек, уставленных в ряд и наполненных вином. Спросив, что это за бочки, он получил в ответ, что одни из них предназначены для христиан, а другие для язычников, как того требовал обычай последних. Узнав это, Ведаст Преподобный начал безразлично благословлять все бочки во имя Иисуса, творя при этом знамение креста. Когда он благословлял бочки, освященные по языческому обычаю, обручи и перевязи рассыпались, и жидкость разливалась по полу. Это приключение не было бесполезно для спасения присутствовавших, потому что многие были приведены тем к просьбе о благодати св. крещения, и подчинили себя власти религии» (Vita S. Vedasti, apud Script. rer. gall. et francic., III, p. 373).

Если вы посмотрите и другие документы, относящиеся к истории VI и VII вв., то найдется множество доказательств тому, что язычество долго сохранялось между франками и исчезало только постепенно. Византийский историк Прокопий рассказывает с ужасом, что в 539 г. солдаты Теодеберта, короля австразийских франков, при вторжении в Италию, когда они шли против готов, избивали женщин и детей в этом народе, и бросали их трупы в р. По, как первую добычу войны, открываемой ими. «Эти варвары,– говорит Прокопий (Ист. готской войны, II, 38),– такие христиане, что продолжают сохранять многие из древних обрядов язычества, приносят божествам человеческие жертвы и совершают другие бесчинства». Сто лет спустя, на берегу р. Соммы и даже р. Эн (Aisne), язычество сохранялось в деревнях, любимом местопребывании франкского народа. Епископы северных городов делали свои пастырские объезды не без великих опасностей, и надобно было иметь всю ревность мученика, чтобы проповедовать христианство в Генте и по нижнему течению Шельды. В 656 г. ирландский священник потерял жизнь при такой опасной миссии; около той же эпохи другие личности, чтимые церковью, Луп и Аманд, родом римляне, и Одомер и Бертевин (St Omer et St Bertin), родом франки, заслужили в этих же местах свою славу святых.

Когда благородные усилия христианского духовенства вырвали с корнем зверство и суеверие, принесенное на север Галлии ее завоевателями, в нравах этих людей все же оставались следы грубой дикости и были заметны, как во время мира, так и на войне, как в образе действия, так и в их речах. Эти припадки варварства, столь поразительные в рассказах Григория Турского, встречаются повсюду в оригинальных памятниках второго века господства королей меровингских. Я избираю для примера самый важный памятник из всех, а именно, закон салических франков, или салический закон, латинская редакция которого принадлежит правлению Дагобер-

та. Пролог, которым начинается закон – произведение какого-нибудь клерика из рода франков – представляет во всей наготе всю грубость, безобразие, если можно так выразиться, которым отличался склад ума людей этой нации, даже преданных занятиям литературным. Первые строки этого пролога, повидимому, составляют буквальный перевод одной древней германской песни:

«Народ франков, знаменитый, созданный Богом, сильный оружием, твердый в мире, глубокомысленный в совете, благородный и здравый телом, белизны и красоты необыкновенной, отважный, быстрый и крепкий в бою, недавно обращенный в католичество, свободный от ереси, когда он был еще варварской веры, по внушению Бога, отыскивал ключ знания, а по природе своих качеств жаждал правды, и хранил благочестие: закон салический был высказан предводителями этой нации, которые управляли ею в то время».

Из числа многих было выбрано четыре человека, а именно: гаст (Gast, то есть гость) из Визы, гаст из Бода, гаст из Сала, гаст из Винда, в местах, называемых: округ Виза, округ Сала, округ Бода и округ Винда. Эти люди собрались на три совета (per tres mallos), тщательно обсудили все причины ссор, рассмотрели каждую отдельно и произнесли свой приговор, как следует ниже. Потом, так как с помощью Божией Клодовей Пригожеволосый, красивый, преславный король франков, первый получил католическое крещение, то все, что в этом законе было признано неприличным, знаменитые короли, Клодовей, Гильдеберт и Лотарь, выпустили, и таким образом было составлено следующее определение:

«Да будет жив Христос, который любит франков и исполняет их предводителей светом своей благодати; да покровительствует Он войску, и да пошлет им знаки, знаменующие их веру, радость мира и благополучие; да направляет Господь Иисус Христос на путь благочестия бразды тех, которые правят, ибо эта доблестная и храбрая нация свергнула со своей главы суровое иго римлян, и признав святость крещения, богато убрала золотом и драгоценными камнями мощи св. мучеников, которых римляне сжигали огнем, умерщвляли, безобразили мечом или отдавали на растерзание диким зверям» (Legis Salicae prologus, apud Script. rer. gall. et francic., t. IV, p. 122, 123).

Обратимся теперь к вопросу, каково было положение побежденных галлов по отношению к новым пришельцам завоевателям? И вот каким образом отвечают на это самые достоверные памятники того времени, а именно законы:

«Если какой-нибудь свободный человек – так говорит салический закон – убьет франка или варвара, живущего под салическим законом, то он будет осужден на пеню в двести солидов. Если же будет убит римский собственник, то есть имеющий свою собственность в округе, в котором живет, то уличенный в том заплатит сто солидов[1]».

«Тот, кто убьет франка или варвара, состоящего в личной службе (trustis) короля, тот заплатит 600 солидов. Если же убит римлянин, приближенный к королю, то вира равняется 300 солидов» (то есть 59,718 и 29,859 фр. по современной стоимости золота[2])».

«Если кто-нибудь, собрав толпу, нападет в своем доме на человека свободного (франка или варвара) и убьет его, то платит 600 солидов. Если же будет убит лит, туземец или римлянин, подобным же скопом, то платится только половина той виры» (Lex Sal. tit. XLV, §1 и 3).

«Если какой-нибудь римлянин свяжет франка без законной причины, то он платит 30 солидов (2,985 fr.). Но если франк свяжет римлянина, и также без причины, то платит 15 солидов» (L. S. tit. XXXV, § 3 и 4).

«Если римлянин ограбит франка, то платит 62 солида (5,170 фр.). Если франк огра-

---

[1] Lex Salica, tit. XLIV, § 1 и 15 в Script. rer. gallic. et francic., t. IV, p. 147. По стоимости золотого солида, определенной Гераром (см. его мемуар о монетной системе франков при первых двух расах в Revue de la numismatique française, 11 и 12-я книжки 1837 г.: один солид золотой = 9 fr. 28 cts внутренней цены, и сравнительной с современной 99 fr. 13 cts), пеня в первом случае = 1856 фр. внутренней ценности, и сравнительно с современной стоимостью доходила до 19, 906 фр., а во втором случае = 928 фр. и 9,963 фр.

[2] Lex Sal. tit. XLIV, § 4 и 6.

бит римлянина, то он осуждается на виру в 30 солидов» (2,985 fr. Lex Sal. tit. XV).

Вот каким образом салический закон отвечает на вопрос, столько раз оспариваемый, о первоначальном различии в положении, которое существовало между франками и галлами. Законодательные памятники говорят по этому поводу одно, что вира (wehrgeld, то есть цена человека) была, во всех случаях, вдвое больше для варвара, нежели для римлянина. Свободный римлянин и собственник уравнивался с литом, германцем последнего разряда, вынужденным обрабатывать поля завоевательной расы, и происходившим, вероятно, от какого-нибудь еще в древности покоренного племени. Но я опасаюсь, что такое разрешение вопроса, при всей своей неопровержимости, не вполне удовлетворительно и не объясняет еще всего секрета общественного порядка, утвержденного в Галлии завоеванием франков. Текст законов – мертвая буква; более любопытно и полезно изучить саму жизнь эпохи, во всем ее разнообразии и со всеми оттенками, неуловимыми для правильной классификации. В настоящем случае ничто так не разъясняет прошлого, как исследование и сравнение его с теми явлениями нашей современной жизни, которые представляют некоторую аналогию с тогдашним состоянием Галлии, и потому могут быть сближены.

Припомним себе положение новой Греции под господством турок, соберем в нашем уме все, что мы читали или слышали о райях и фанариотах, о массе греческой нации и тех немногих, которых турки возвышали, вручая им отправление некоторых должностей: если я не ошибаюсь, картина грубого притеснения Греции, всеобщего террора, постоянных усилий выйти, всеми средствами и во что бы то ни стало, из положения завоеванных,– все это дает нам живое и осязательное понятие о тех простых словах, которые мы встречаем в салическом законе, а именно: римлянин-собственник, римлянин-податной, римлянин-приближенный короля. Понятно теперь, какие разнообразные формы могло принимать рабство галло-римлян под господством варваров. Несмотря на расстояние во времени и различие, которое должно было произойти вследствие религиозной противоположности у новых греков с турками и общей религии у галлов и франков, в обеих этих странах, и в новой Греции, и в древней Галлии, не только одно положение побежденных, но и их моральные отношения к победителю были аналогичны. В рассказах Григория Турского можно встретить и ежедневные страдания несчастных райев Галлии, угнетенных, ограбленных, перегоняемых с места на место по капризу победителя, и коварный дух интриг туземцев высшего сословия, отдавших себя на службу победителю, напоминающий безнравственность фанариотов, до того возмутительную, что ее можно принять разве за результат крайнего отчаяния.

«При приближении месяца сентября (574 г.) к королю Гильперику явилось большое посольство от готов (с поручением отвезти в Испанию его дочь Ригонту, невесту вестготского короля Реккареда). Возвратившись в Париж, король повелел взять большое число семейств в домах, принадлежавших фиску, и посадить их на повозки для отправления в Испанию. Многие плакали и не хотели уезжать; король повелел бросить их в темницу, чтобы тем легче принудить ехать вместе с его дочерью. Рассказывают, что в отчаянии от горя и страха многие лишали себя жизни. Сына отделяли от отца, мать от дочери; они отправлялись с рыданиями и проклятиями. В Париже плакало столько народу, что это можно было сравнить с плачем египетским. Многие из людей лучших фамилий, принужденные силой к отправлению, составляли духовные, они отдавали имущество церквям и предписывали в то время, когда невеста вступит в Испанию, вскрывать завещания, как будто бы их тем зарывали в землю...» (Greg. Turon., Hist. Franc. VI, 45, apud Script. rer. gall. et franc., II, p. 289).

«Король Гунтрам, получив, как и его братья, часть королевства, лишил Агриколу звания патриция и передал Цельзу, человеку высокого роста, широкоплечему, наделенному силой рук и высокомерием слова, скорому на ответ и ловкому в деле законов. Этот человек был тогда одержим

такой жадностью к деньгам, что часто посягал на церковные имущества и овладевал ими. Рассказывают, что он, услышав однажды в церкви чтение пророка Исайи, где сказано: "Горе тому, кто присоединяет дом к дому, и поле к полю, пока не хватит ему земли!", закричал: "Это слишком дерзко петь здесь несчастие мне и моим детям"...» (Там же, IV, 24).

Эоний, имевший прозвание Муммола, получил патрициат от короля Гунтрама; я полагаю, кстати будет здесь рассказать о происхождении его богатств. Он родился в городе Оксерре, и отца его звали Пеоний. Этот Пеоний управлял городом в качестве графа. Желая возобновить грамоту на место (ad renovandam actionem), он отправил сына к королю с подарками. А сын отдал деньги от своего имени, овладел графством и заместил отца, давшего ему поручение. Таким образом, возвышаясь мало-помалу, он дошел до высоких должностей... (Там же, IV, 42).

«В десятый год правления Теодориха, по настоянию Брунегильды и по королевскому повелению, Протадий был сделан палатным мэром. Это был человек в высшей степени хитрый и ловкий, но в отношении ко многим жестоко несправедливый; приписывая фиску большие права, он употреблял всякие искусные меры, чтобы наполнить его и самому обогатиться чужим добром. Всех людей благородного происхождения он старался унизить, с тем, чтобы не могло явиться ни одного способного человека, который занял бы место, на котором он сидел...» (Fredegarii Chron., гл. 27, у Script. r. g. et franc. II, p. 422).

Все эти названные лица: Агрикола, Цельз, Эоний, Пеоний, Протадий, как показывают их имена, были галло-римляне, вступившие на службу к победителям и продавшие за личные выгоды интересы своих несчастных соотечественников.

Я мог бы привести еще много отрывочных примеров, но я предпочитаю привести целую историю, которая представит все стороны этого вопроса, и в которой будут фигурировать поочередно и знатный галло-римлянин, интригующий, чтобы выслужиться у варваров, и дети большого семейства, проданные как рабы, и, наконец, целая страна, опустошенная военными экзекуциями.



Трапеза герцога с дружиной времен Каролингов. Реконструкция XIX в.

Кай Соллий Аполлинарий Сидоний, овернский сенатор, зять императора Авита и величайший писатель своего времени, был в Галлии последним представителем римского патриотизма. Когда, в 475 г., Арверния, или, как мы говорим ныне, Оверн, была уступлена императором Юлием Непотом в пользу готов, Сидония изгнали из страны, и потому он сохранил до самой смерти глубокое отвращение к правительству варваров. Его сын, того же имени, устроил свои дела лучше: он принял сторону вестготов, и в 507 г. сражался за них с франками в знаменитый день битвы при Вугле. Франки, победители, заняли Оверн, и тогда Аркадий, внук первого Сидония Аполлинария, забыв одинаково и готскую, и римскую родину, думал только об одном, чтобы воспользоваться своим именем, своей ловкостью и богатствами, которые ему еще оставались, чтобы составить колоссальное состояние под покровительством новых властителей. Клодовей умер и, при разделе его завоеваний между четырьмя сыновьями Оверн достался Теодориху, королю австразийских франков, который сам ее завоевал. По-видимому, наследник имени Аполлинариев не имел успеха при этом короле и нашел себе лучший прием у его брата, Гильдеберта, который, владея уже Берри, домогался и Оверна.

Аркадию было не трудно польстить стремлениям короля варваров и убедить его, что жители Оверна страстно желают иметь его владетелем, вместо его брата Теодориха. Может быть, в основании этого уверения и было немного правды: среди страданий, которым правительство завоевателей подвергало туземцев, сама мысль о перемене властителя могла представить уму надежду на облегчение. Как бы то ни было, в 530 г., когда король Теодорих был занят по ту сторону Рейна войной с турингами, слух о его смерти, распространившийся в Оверне, был принят с величайшей радостью. Аркадий поспешил отправить в Париж, столицу короля Гильдеберта, вестников с приглашением овладеть страной. Гильдеберт собрал армию и немедленно отправился в путь. Он подошел к подножию горы, на которой стоял город овернцев, ныне Клермон, в самую туманную погоду; взойдя на гору, король сказал с видом недовольного: «Я хотел бы своими глазами удостовериться в приятностях жизни этого Лиманя Оверни, о которых так много говорят». Но он напрасно смотрел: видно было не больше, как на какую-нибудь сотню шагов.

Подойдя к стенам города, Гильдеберт, в противность своим ожиданиям и несмотря на обещания Аркадия, нашел все ворота запертыми; казалось, жители боялись попасться, если слух о смерти Теодориха окажется ложным, а может быть, они искали случая совершенно освободиться от франков. Король был принужден остановить свое войско и расположиться лагерем до наступления ночи, не зная, прибегнуть ли ему к силе, или возвратиться назад. Но его друг вывел франков из затруднения, разломав при помощи своих клиентов запоры городских ворот, и франки вступили в город. По взятии столицы остальная страна не замедлила подчиниться королю Гильдеберту, но подчинение это было весьма шатко и состояло в клятве быть верными и в выдаче нескольких заложников.

Пока все это устраивалось, пришло известие, что Теодорих возвращается победителем с войны против турингов. При этой новости Гильдеберт, опасаясь быть пойманным на месте или выдержать нападение на собственные владения, удаляется и спешит в Париж, оставив слабый гарнизон в столице Оверни. Но прошло два года, и король Австразии не делал никаких попыток к возвращению городов, которые перестали признавать власть его над собой. Страна оставалась по имени подчиненной королю Гильдеберту, но была управляема туземцами от его имени, и именно партией Аркадия, который, вероятно, достиг тогда всех почестей, составлявших цель его интриг. Но буря, которую он столь неблагоразумно собирал над своей страной, не замедлила разразиться, и эта буря была ужасна.

Королевство бургундов, вынужденное платить дань при Клодовее, продолжало и после его смерти возбуждать честолюбие королей франкских. Первый поход, предпринятый в 523 г. его детьми, Гильбертом, Клодомиром и Лотарем, был поначалу удачен; но вскоре бургунды одержали верх: Клодомир пал в сражении, и франки очистили страну. Девять лет спустя после этого поражения честолюбие королей снова проснулось, возбужденное, как кажется, национальной ненавистью франков к завоевателям берегов Роны. Лотарь и Гильдеберт договорились сделать вторичное вторжение; они пригласили и брата Теодориха, обещая ему долю в разделе. В своем обращении король Гильдеберт не говорил ничего о своем занятии Оверни; Теодорих также не напоминал о том и просто извинялся, что не может принять участия в войне братьев с Бургундией, не давая им ни почувствовать своего неудовольствия, ни заметить своих планов. Короли-братья отправились; но едва весть о их вторжении пришла в Австразию, как австразийские франки подняли ропот против своего короля, лишившего их выгод, которые обещала предпринятая война. Они с шумом собрались около королевского дворца и говорили Теодориху: «Если ты не хочешь идти в Бургундию с твоими братьями, то мы оставим тебя и последуем за ними».

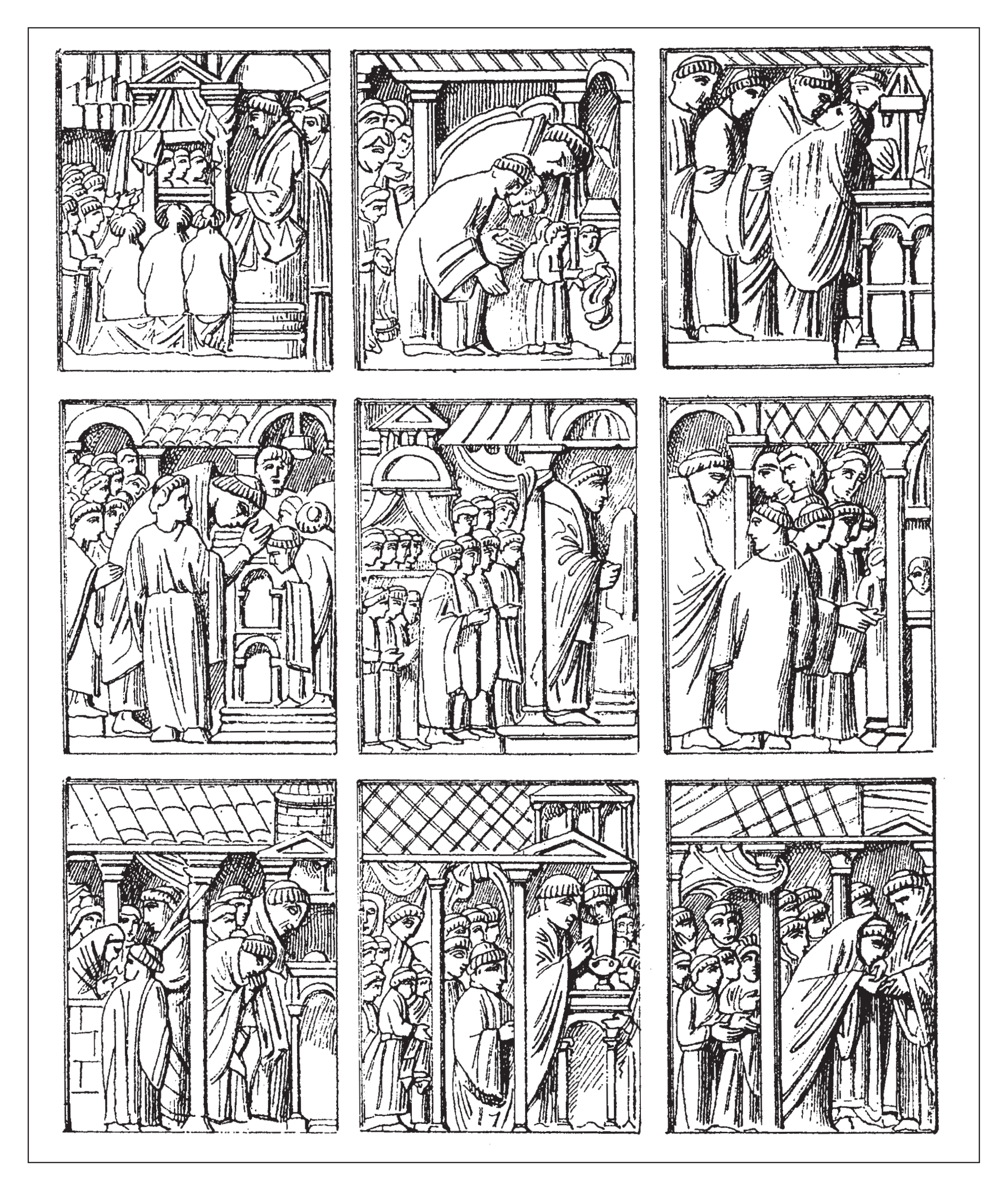
Король, зная, что причиной восстания служит сожаление о добыче, которую можно было бы получить, не смешался и сказал франкам: «Пойдемте в Клермон,

и я приведу вас в страну, где вы найдете золота и серебра сколько хотите, заберете стада, рабов и одежд в изобилии; только не идите за ними» (Григ. Тур., Ист. франк. III, 11). Это предложение имело успех, и франки обещали исполнить волю Теодориха. Чтобы быть вполне уверенным в их слове, он повторял им несколько раз, что они получат позволение захватить там все, что могут унести, и сделать каждого из жителей страны своим рабом. Воины, обрадованные тем, бросились к оружию: и когда франки нейстрийские переходили р. Сону, франки австразийские выступили из Метца, столицы их короля, в отдаленный поход, который им предстояло сделать в Оверн.

Лишь только солдаты короля Теодориха ступили на богатые равнины Нижней Оверни, они начали грабить и разрушать, не щадя ни церквей, ни других святых мест. Плодоносные деревья были срублены и дома опустошены до основания. Тех из жителей, возраст которых и сила делали годными для рабства, связывали по двое за шею и вели за повозками, нагруженными их же имуществом. Франки осадили наконец и Клермон, жители которого, видя с высоты стен грабежи и пожары в окрестностях, решили сопротивляться до последней возможности. Епископ города, Квинциан, разделял труды осажденных и поддерживал мужество граждан. «Во время всей осады, – говорит Григорий Турский (III, 11), – его видели, как он ночью воздвигал башни на стенах, с пением псалмов, и умолял Господа в посте и бдении о помощи и покровительстве».

Но несмотря на молитвы и усилия, жители Клермона не могли долго выстоять против многочисленной и жаждавшей добычи армии: город был взят и разграблен. Король, в своем гневе, хотел сравнять стены с землей; но те, на кого было возложено такое поручение, были остановлены религиозным ужасом, единственным спасением туземцев Галлии против неистовства варваров. Близ укреплений Клермона возвышались местами церкви и капеллы, которых не было возможности пощадить при срытии стен. Один вид этих церквей навел ужас на предводителей франкских, и они отступали при мысли совершить святотатство без всякой пользы. Один из них, по имени Гильпинг, пришел к Теодориху и сказал: «Послушай, преславный король, совета моего ничтожества: стены этого города необыкновенно крепки и снабжены страшными средствами к защите: я разумею под этим церкви святых, которые стоят позади них вокруг, и кроме того епископ этих мест считается великим перед Господом. Не приводи в исполнение того, что ты замыслил, не разрушай города и не оскорбляй епископа» (Vita S. Quintiani, apud Script. rer. gall. et francic., III, p. 408). В следующую ночь король испытал во время сна припадок сомнамбулизма: он встал с постели и, побежав, сам не зная куда, был остановлен своей стражей, которая убеждала его оградиться крестным знамением. Этого обстоятельства было достаточно, чтобы расположить короля к милосердию: он пощадил город и запретил грабеж на 800 шагов в окружности: правда, когда вышло такое запрещение, более уже нечего было грабить.

Овладев столицей Овернь, Теодорих начал нападение по очереди на все укрепленные места, где жители страны заперлись со всем, что они имели драгоценного. Он сжег замок Тигерн, ныне Тиерн, где находилась деревянная церковь, сгоревшая от пожара. В Ловолотре (ныне Volorre), куда франки проникли вследствие измены раба, они разрубили на куски, у подножия самого алтаря, священника Прокула. Город Бриват (Brioude) был разграблен, а церковь св. Юлиана опустошена, несмотря на многие чудеса, слух о которых заставил, впрочем, Теодориха возвратить часть добычи и наказать тех солдат, которые нарушили уважение к святыне. В Ицидоре (Issoire) знаменитый монастырь был обращен, по выражению современников, в пустыню. Замок Мерлиак (Merliac) долго сопротивлялся; это место было укреплено самой природой: его окружали острые скалы, и внутри его стен били из земли источники, вытекавшие ручьями из-под городских ворот. Франки уже отчаялись овладеть этим местом, как неожиданный случай предал в их руки 50 человек гарни-



Пластинка из слоновой кости с переплета молитвенника Дрогона, брата Карла Великого, изображающая таинства мессы

зона, вышедших на фуражировку. Они подвели пленных с руками, связанными на спине, к укреплению города и дали знать, что они умертвят их на месте, если не будет сдан замок. Любовь к землякам и родственникам побудила защитников Мерлиака открыть ворота и заплатить выкуп.

Весьма трогательно описывают историки тех событий отчаяние Оверни: «Все, кто были знаменитого происхождения и бога-

ты, дошли до нищенской сумы и должны были удалиться из страны, выпрашивая кусок хлеба или питаясь поденным трудом. Жителям ничего не было оставлено, кроме земли, и то потому, что варвары не могли унести ее с собой» (Hugonis abb. Chronicon Virdunense, в Script. rer. gall. et franc., III, 356 с.). По срытии всех укреплений и по разделении добычи, длинные ряды повозок и пленников, окруженные франкскими солдатами, потянулись из Оверни на север Галлии. Людей всех состояний, духовных и светских, вели за обозом; особенно много шло детей, юношей и девиц, которых франки продавали с аукциона во всех местах, через которые они проходили.

Большая часть этих пленных следовала за армией до берегов Мозеля и Рейна. Священнослужители и прочие духовные были распределены по церквям Австразии, потому что король, только что истребивший базилики и монастыри Оверни, желал, чтобы у него божественная служба совершалась самым приличным образом. Между такими духовными лицами, уведенными из Оверни, находился некто по имени Галль, из фамилии сенаториальной. Он был насильно приписан к королевской капелле и успел обратить многих язычников среди прирейнских франков. Церковь чтит его под именем Сен-Галла (St Gal.; см. у Григ. Тур. Vita S. Galli, episcopi, в Script. rer. gall. et franc., III, 409 с.). Другой сын сенатора[1], Фидол, успел дойти только до Труа. Там св. Авентин, извещенный, как повествуют легенды, откровением свыше, и весьма вероятно обратив внимание на замечательную внешность и покорность судьбе молодого раба, заплатил варварам все, чего они потребовали за его выкуп, и взял к себе в монастырь. Таким образом, Фидол посвятил себя монашеской жизни и выполнял ее условия с такой строгостью, что его причислили к лику святых. Все вышеизложенные подробности заимствованы мной из жизнеописаний святых. Люди, составлявшие их тринадцать веков назад, не имели в своей работе никакой цели, кроме прославления религиозных доблестей; а ныне их благочестивые сказания сделались почти единственным достоверным источником, который может свидетельствовать перед исторической наукой о состоянии римского мира, истерзанного и опустошенного его завоевателями.

Что сталось с Аркадием, внуком Сидония Аполлинария? Он, весьма естественно, не оставался в Клермоне ожидать прихода короля Теодориха. При первом слухе о вторжении франков он поспешно бежал из города и укрылся в Бурже, на земле своего покровителя. Принудив соотечественников страхом сохранять в тайне его бегство, Аркадий удалился один, оставив на произвол судьбы Плацидину, свою мать, и Алциму, сестру своего отца: обе они, по завоевании страны франками, были лишены своего имущества и осуждены на изгнание. С того времени Аркадий стал самым доверенным лицом у Гильдеберта в Нейстрии; и этот галло-римлянин, слепое орудие воли варварского короля, исполнял его капризы без всякого разбора и без зазрения совести.

Lettres sur l'hist. de France. Par. 1856. 10-е изд., с. 68–107

КОММЕНТАРИЙ. Сочинение Авг. Тьерри, под заглавием «Lettres sur l'hist. de France», принадлежит к числу лучших образцов исторической критики XIX в.; оно имело большое научное влияние и образовало собой целую историческую школу. Авг. Тьерри впоследствии присоединил к «Десяти письмам», появившимся в «Courrier francais» в 1820 г., еще 15; различные вопросы, которых автор касается в своих письмах, могут быть приведены к двум категориям: о происхождении французской национальности и о происхождении городских общин во Франции. Автор сам рассказывает в введении историю развития своих идей: «В 1817 г., занятый мыслью содействовать со своей стороны торжеству конституционных мнений, я начал искать в истори-

---

[1] Титул сенатора, в древности присваиваемый только тем из галлов, которые вступали в римский сенат, сделался в это время, по обычаю, общим названием сословия благородных. Первые люди во всяком городе, главы знатных фамилий, особенно после падения империи, присваивали сами себе название сенаторов. Название архонта в Греции имело ту же судьбу: в новогреческом языке так титулуются обыкновенно все благородные и большие собственники.

ческих сочинениях доводов и доказательств в пользу своих политических верований. Посвятив себя со всем жаром юноши (автору было тогда 22 года) этой работе, я заметил, что история начинает мне нравиться сама по себе, помимо моих целей публициста, как живая картина прошлого, и независимо от выводов, которые я старался добыть для настоящего. Не переставая, впрочем, использовать факты для своих целей, я продолжал наблюдать их с любопытством и в тех случаях, где они ничего не доказывали из того, чего я домогался; и всякий раз, когда какая-нибудь личность или событие Средних веков представляли мне местный колорит или признаки жизни, я испытывал невольный трепет. Такое чувство, повторяясь не раз, совершенно перевернуло во мне мои идеи о литературе. Незаметно я начал предпочитать новым сочинениям старые книги, историям – хроники, и тогда только я увидел, что историческая истина задыхается под условными формулами и великолепным слогом наших писателей. Я постарался тогда изгладить из моей памяти все, чему меня учили, и, так сказать, восстал против своих наставников. Чем лучше была репутация автора, тем в большее приходил я негодование при одной мысли, что множество людей верили ему, как я, и, как я, были обмануты. В таком настроении духа, в последние месяцы 1820 г. я отправил к редактору «Courrier francais» свои первые «Десять писем». По этим словам можно судить о том состоянии исторической критики, в каком она была в начале нынешнего столетия. (См. о жизни и сочинениях Авг. Тьерри выше.)

Сидоний Аполлинарий

ДВОР ВЕСТГОТСКИХ КОРОЛЕЙ В ГАЛЛИИ

(Из переписки современников)

Сидоний другу своему Агриколе[1] *(около 456 г.)*

Ты меня часто просил, так как молва в народе прославляет светскость (civilitas) короля готов, Теодориха (II), дать тебе в письме понятие о его внешности и привычках обыденной жизни[2]. Я удовлетворю твое желание, насколько позволит то страница письма, и хвалю в тебе столь благородную любознательность.

Теодорих – это муж достойный того, чтобы о нем знали и те, которые менее других близки к нему: так наделил его дарами и счастьем Бог, верховный судья, и природа. Его нравы столь безукоризненны, что сама зависть, осуждающая троны, не может отказать ему в похвалах. О его наружности скажу одно: ростом он как следует быть: ниже самого высокого, а в отношении людей среднего роста – и выше, и осанистее. Его голова, заостренная кверху, покрыта курчавыми волосами, спускающимися несколько на лоб. На шее нет напряженных жил. Его глаза под навесом густых бровей в форме лука. Когда он опускает ресницы, они достигают почти до половины щеки: такова их длина. Его уши, по обычаю национальному готов, скрыты под прядями ниспадающих кудрей. Нос его выгнут самым красивым образом (venustissime). Губы тонкие, соответственные величине рта, представляющего углубления по краям; если случайно выкажется ровный ряд зубов, то они напомнят снег своей белизной. Каждый день ему подстригают волосы, вылезающие из ноздрей. Из углубления висков идут бакенбарды (barda concavis hirta temporibus), и каждый день брадобрей вырывает щипчиками волосы, растущие внизу лица, до щек. Его подбородок, горло, шея – не излишне толсты, но полны, и белизной кожи могут спорить с молоком, а вблизи имеют розовый отлив юности; краска на щеках его выступает часто, но не от гнева, а от скромности.

Плечи у Теодориха закругленные, мышцы крепкие, руки здоровые, а кисть их широкая; живот поджатый, а грудь выступает вперед. Спина не горбится, и хребет разделяет поверхность ее в том месте, где начинаются ребра. Бока с обеих сторон поднимаются желваками мускулов. Сила чувствуется в перетянутой талии; верхняя часть ноги, как из рога; икры сильные и мускулистые, всего лучше колени, без малейшей кривизны; щиколотки круглые и маленькие ступни, поддерживающие те огромные члены.

---

[1] Агрикола – брат жены Сидония.

[2] Теодорих II правил с 452 до 467 г.

Ты спросишь меня, что занимает Теодориха в общественной жизни, в течение целого дня? Рано утром, до зари, он отправляется с небольшой свитой в церковь[1], где собираются священники, и усердно молится; хотя, сказать по секрету (sit sermo secretus), ты мог бы заметить, что усердие к молитве у него есть более результат механической привычки, чем набожности. Остаток утра посвящается заботам управления. Возле трона (sella) стоит граф оруженосец (comes armiger): в зал совета вводится отряд телохранителей, покрытых шкурами, чтобы нельзя было сказать, что их нет, но потом они удаляются, из опасения шума, и за дверями болтают на свободе, помещенные между занавесом и внешней оградой. В зал впускают послов от различных народов. Король много слушает и коротко отвечает. Если нужно что-нибудь обсудить, он отлагает дело до другого времени; если же дело важное, то ускоряет ход его.

Вот и второй час (восемь часов); он оставляет трон и отправляется обозревать свои сокровища и конюшни. Если, после того, он отправляется на охоту, то не надевает лука; это ему кажется унизительным для королевского достоинства; но если в дороге, или на охоте ему покажут, или он заметит птицу или зверя, то протягивает назад руку, в которую паж (puer) тотчас вкладывает спущенный лук, потому что ему кажется ребячеством обременять себя луком, покрытым чехлом, а принимать лук с натянутой тетивой может позволить себе только женщина. Поэтому он натягивает его сам, кладет стрелу и стреляет. До выстрела он просит кого-нибудь указать вперед, во что он должен попасть; ему показывают добычу, он убивает ее; если же случится промах, то виноват тот, кто указывал, а не тот, кто стрелял. Что касается его обедов, то обеды в будни ничем не отличаются от обедов частного человека. У него никогда не бывает, чтобы стол гнулся под нечищенным, пожелтелым серебром, которое разносит у других задыхающийся раб. За обедом ничто не имеет столько значения, как сказанное слово, и потому все или молчат, или говорят о серьезных предметах. Убранство обеденного ложа состоит из пурпура или тонкого полотна. Кушаньям придает цену искусство, а не дороговизна; серебро более обращает на себя внимание блеском, чем весом. И кубки здесь не так часто подносятся гостям, чтобы можно было их обвинить в пьянстве. Одним словом, за столом Теодориха соединены греческая изящность, галльское изобилие, итальянская быстрота, общественная пышность, частное внимание и королевский порядок. Что же касается до великолепных воскресных праздников (sabbotorius), то я не говорю о них, потому что они известны людям, живущим и в захолустьях.

Откушавши, король если и предается полуденному сну, то на короткое время, хотя чаще обходится без него. Если ему придет фантазия играть, он поспешно берет кости, рассматривает их тщательно, ловко встряхивает, живо бросает, шутя дает им прозвания и ожидает с терпением. При хороших ударах он молчит, при дурных смеется, ни в каком случае не сердится и всегда благоразумен. Он не желает сам отыгрываться, но не отказывает в том другим; он презирает выгодные для себя условия и охотно идет на противные. Игра кончается без шума, и Теодорих удаляется без насмешек. Играя в кости, как и на войне, он заботится только об одном, а именно – о победе. Как только он начинает игру, то на время отлагает в сторону королевское достоинство, поощряет, убеждает своего партнера быть развязным и общительным, и если сказать все, что я думаю, – он боится испугать (timet timeri).

Он любит видеть своего противника в гневе от проигрыша; такой гнев убеждает его, что ему проиграли не в угоду, но что противник был действительно побежден. Но вот что тебя удивит: удовольствие короля, вытекающее из такой ничтожной причины, может способствовать иногда успеху важных дел. Случалось в такие благосклонные минуты достигнуть разом того, что не удавалось никакой протекцией. Я сам, если играю с королем и имею к нему какую-нибудь просьбу, всегда стараюсь проиграть; партия потеряна, но лишь бы дело было выиграно.

[1] Действие происходит в Тулузе, бывшей в то время столицей вестготских королей.

Около девяти часов (в три часа) начинаются снова тяжести государственных дел; тогда приходят истцы, за ними ответчики, множество ябед, интриг; все это продолжается до королевского ужина. Толпа расходится по придворным, каждый к своему патрону, где и остаются все до наступления ночи. За ужином присутствуют шуты, впрочем, редко, и без всякой опасности для какого-нибудь гостя сделаться предметом их язвительных насмешек. Но здесь никогда не слышно ни водяных органов, ни вокальных концертов, управляемых дирижером (phanasius); никто не играет на лире или на флейте; нет клакера[1], ни женщин, которые играли бы на тимпане или другом каком инструменте. Король любит только те песни, которые больше возбуждают храбрость, чем ласкают слух. Как только он встает из-за стола, ночная стража вступает в караул и становится при входах в королевский дворец, чтобы бодрствовать все время первого сна.

Но какое отношение может иметь все это к моему предмету, когда я обещал сказать тебе немного о правлении и о лице самого короля? Да пора и стиль отложить в сторону: ты хотел знать не больше, как о наклонностях и личности Теодориха, и я имел в виду писать не историю, а письмо. Прощай! (Кн. I, письмо 2-е. Изд. Grégoire et Collombet, т. I, с. 6–14).

Сидоний своему другу Лампридию[2] (476 г.)

Лишь только я прибыл в Бордо (Burdegala или Burdigala, часто служила резиденцией преемнику Теодориха II, Эврику, 467–484 гг.; см. о нем выше), как твой курьер (tabellarius) вручил мне от тебя письмо, полное нектара, благоуханий и перлов; ты упрекаешь меня в молчании и просишь прислать тебе мои поэтические произведения, обращаясь ко мне в стихах, которые вылетают из твоих уст, как с флейты многогласной, и вторятся под отражающими сводами твоего палаццо (palati). Но ты просишь, предваряя свою просьбу царскою щедростью и забыв, без сомнения, известный стих сатиры на сатирика:

Satur est cum dicit Horatius: Evohe! (Horat. Sat. I, 5, v. 12).

Что к этому прибавить? Ты прав, приказывая мне петь от нечего делать, потому что тебе хочется плясать. Пусть по-твоему, я повинуюсь, и повинуюсь не только без принуждения, но даже с совершенною готовностью. Но не суди меня, как какой-нибудь Катон, с насупленными бровями; ты хорошо знаешь страсти поэтов, душевное расположение которых ловится огорчениями, как рыбка сетью; если с поэтом приключится что-нибудь тяжелое или печальное, его поэтическая восприимчивость не скоро сбрасывает с себя оковы набежавшей скорби...

Впрочем, ты сам узнаешь, насколько может тебе понравиться дух эпиграммы, ожидаемой тобою от меня; но мое горе не позволяет мне быть одним в жизни и другим в стихах. Ты будешь, конечно, несправедлив ко мне, если, при настоящих обстоятельствах, захочешь сравнивать мои произведения с своими. Я живу горемыкой, а ты счастливцем; я по-прежнему изгнанник, а ты уже воротился в среду сограждан гражданином; если я пою по-твоему, то я домогаюсь того же, да не могу получить. Если ты каким-нибудь образом примешь благосклонно безделки, написанные мною среди душевных мучений, то ты станешь уверять меня, что они походят на песнь лебедя, голос которого пред смертными муками делается еще более звучным, или на струну лиры: чем более она натянута, тем пронзительнее звук, издаваемый ею. Впрочем, если стихи, написанные без душевного спокойствия и радости, не могут нравиться, то ты не найдешь ничего по вкусу в страничке,

---

[1] В подлиннике: nullus mesochorus (μεζος – средний, и χφρφς – хор). Плиний Младший (Ep. II, 15) называет так того, кто в собраниях имеет около себя людей, которые по данному им знаку должны рукоплескать оратору, что и теперь делается во французских театрах людьми, называемыми claqueurs, которые получают от театральной дирекции за свои услуги даровой билет и даже известную плату.

[2] Один из известных галло-римских поэтов того времени. См. о значении этого письма выше.



Карл Великий преподносит Деве Марии Ахенский собор

которую я прилагаю к письму ниже. Не забудь при этом, что отсутствие автора лишает произведения тех удобств, которые представляет декламация: оно имеет только читателя, но не слушателя. Отправив свои стихи, поэт с наилучшим голосом не может сделать ничего больше, потому что отдаление не позволяет ему прибегнуть к средству пантомимных хоров, которые своим хорошим пением придают цену и дрянным произведениям.

ПОЭМА

«О, Лампридий, украшение нашей музы, Талии! Зачем ты вызываешь меня воспеть Цирру (город в Фокиде, посвященный Аполлону), или муз гиантийских, или премудрую струю Геликона, выбитую когда-то легким прикосновением копыта Пегаса к земле? Зачем ты хочешь заставить меня петь, как будто бы я похитил дельфийские инструменты у твоего делосца, или как будто я сам, новый Аполлон, могу располагать священным ковром, треножником, лютней, колчаном, луком и стрелами? Разве над моим челом колышется лавр?

Ты, счастливый Титир (имя из 1-й эклоги Вергилия), ты воротился к твоим полям и гуляешь среди мирт и платанов: твои уста в гармонии с твоим сердцем, и струны твои, твое пение, твои стихи приводят в восторг.

Уже более двух месяцев луна видит меня здесь заключенным; мне только раз удалось представиться государю: где ему взять для меня свободного времени, когда вся вселенная, покоренная им, ждет от него ответа.

Тут мы видим и сакса с голубыми глазами, привыкшего к морю и робко ступающего по земле. Ножницы, начиная ото лба, оставляют только передние пучки на голове, но затем срезывают все остальное до корней, и волоса, обстриженные таким образом до кожи, делают голову более короткою, а лицо удлиняют.

Тут и ты, старый сикамбр[1]; тебе, побежденному, обрили затылок, и ты отбрасываешь назад на морщинистую шею вновь отращиваемые волоса.

Тут бродит и герул с посиневшими щеками; его родина лежит на самых отдаленных берегах океана, и цвет лица у него почти один с морскими водорослями.

Тут и бургунд, ростом в семь футов, часто преклоняет колено и просит мира.

Тут и остгот ищет покровительства; он теснит соседних ему гуннов и на них вымещает свое унижение пред Эвриком.

И ты, римлянин, притекаешь сюда просить о помощи, и протягиваешь руки к Эврику, чтобы противопоставить его силы фалангам скифских стран, когда Большая Медведица угрожает тебе смятением. Итак, одним присутствием Марса, который царствует на этих берегах, могущественная Гаронна покровительствует обмельчавшему Тибру. Даже парфянин Арзас просит позволить ему, за дань, мирно царствовать в своем дворце, в Сузе. Узнав о больших военных приготовлениях на Босфоре, он не надеется, чтобы Персия, смущенная при первом звуке оружия, могла быть защищена на берегах Ефрата; и тот, который называет себя родственником звезд и гордится родством с Фебом (то есть Эврик), тем не менее снисходит на просьбы, и является простым смертным.

Среди всего этого шума я теряю дни в бесполезном ожидании; но ты, Титир, перестань вызывать мою музу на песни. Я скорее удивляюсь твоим стихам, чем завидую им; не успевая ничего достигнуть и тщетно обращаясь с просьбами, я сделался вторым Мелибеем».

[1] То есть франк.

Вот моя поэма (carmen), ты прочтешь ее на свободе, подобно увенчанному вознице, ты будешь взирать, чрез балюстраду, на меня, покрытого потом и пылью. Впрочем, я не думаю, чтобы я когда-нибудь препроводил к тебе другое произведение в этом роде, даже и в том случае, если чтение моих стихов доставит тебе удовольствие, но утратит дары поэзии, я не перестану петь о своих бедствиях. Прощай.

Т. II, кн. 8-я, письмо IX.

КОММЕНТАРИЙ. При пользовании этими двумя письмами нужно обратить все внимание на различие отношений автора к описываемому им предмету. В 456 г. Теодорих II, король вестготов, находился в лучших отношениях к Сидонию: за год перед тем он поддерживал тестя Сидония, Авита, в его притязаниях на императорский престол; по свержении его Рицимером Теодорих II мстил врагу своего клиента, и Сидоний бежал к нему в Тулузу от преследований нового императора, Майориана. Но через 20 лет положение дел изменилось: Сидоний перешел на сторону римской партии; вестготы, бывшие прежде защитниками Галлии от притязаний римского правительства, воспользовались слабостью Рима, при преемниках Майориана, и подчинили себе Оверн, родину Сидония; в то время Сидоний был уже епископом, и потому для него отечеством сделался город, епископы которого были представителями католического единства, между тем как вестготы были арианами. Преемник Теодориха II, Эврик, удаляет Сидония в изгнание, как человека, заподозренного в привязанности к Риму; и вот почему, в 476 г. Сидоний, интриговавший за 20 лет, как галльский патриот, против Италии, становится римским патриотом и врагом независимости Галлии от Рима, когда представителями ее сделались не галло-римские аристократы, а варвары. Он явился в Бордо к Эврику с целью испросить себе прощение, которое, как видно из письма, уже успел получить его друг, Лампридий, разделявший его политические убеждения и имевший потому ту же участь. О плене Сидония у вестготов см. выше.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ САЛИЧЕСКОГО ЗАКОНА (VII в.)

ГЛАВА XIX

О ранах

§ 1. Если кто-нибудь покушался на жизнь другого, но намерение его не удалось, или, если кто-нибудь имел намерение пронзить другого стрелой, намазанной ядом, и не попал в него, тот должен заплатить 2500 денариев, или 62 солида[1] с половиной золотом.

§ 2. Если кто-нибудь ранит другого в голову, так что кровь прольется на землю, тот должен заплатить 600 денариев, или 15 солидов золота.

§ 3. Если кто-нибудь ранил человека в голову, так что из раны выпало три обломка кости, то виновный должен заплатить 1200 денариев, или 30 солидов золота.

§ 4. Если дошло до мозга, и выпало три куска от черепа, то виновный должен заплатить 1800 денариев, или 45 солидов золота.

§ 5. Если рана нанесена между ребрами и проникла до внутренности тела, то виновный должен заплатить 1200 денариев, или 30 солидов золота.

§ 6. Если рана воспалилась, то зачинщик ссоры осуждается на уплату 2500 денариев, или 62 с половиной солида золота, кроме издержек на болезнь, которые ценятся в 360 денариев, или 9 солидов золота.

§ 7. Если свободнорожденный ударил палкой другого свободнорожденного, то зачинщик ссоры, если не пролита кровь, должен заплатить, за каждый из трех первых нанесенных ударов, 120 денариев, или 3 солида золотом.

§ 8. Если пролита кровь, то зачинщик должен заплатить ту же виру, которая платится за рану, нанесенную каким-нибудь железным оружием, то есть он должен заплатить 600 денариев, или 15 солидов золота.

§ 9. Если кто-нибудь ударит другого кулаком, то платит 360 денариев, или 9 солидов золота; если же иначе, то 3 солида золота за каждый удар.

§ 10. Если кто-нибудь напал на другого на улице, с намерением ограбить его, но тот успел спастись бегством, то виновный платит 1500 денариев, или 30 солидов золота.

§ 11. Если же тот, на кого напали, не мог спастись и был ограблен, то вор присуждается к уплате 2500 денариев, или 62 с половиной солида золота, кроме стоимости украденных вещей и издержек на иск.

ГЛАВА XXXI

Об увечье

§ 1. Если кто-нибудь отрубит другому руку или ногу, повредит глаз или отрежет ухо или нос, тот должен заплатить 4000 денариев, или 100 солидов золота.

§ 2. Если рука не совсем отрублена, то он должен заплатить 1800 денариев, или 45 солидов золота.

§ 3. Если рука совершенно отрублена, то он присуждается к уплате 2500 денариев, или 62 с половиной солида золота.

§ 4. Если кто-нибудь отрубит у другого большой палец ноги или руки, то должен заплатить 1800 денариев, или 45 солидов золота.

§ 5. Если раненый палец не отрублен совершенно, то виновный платит 1200 денариев, или 30 солидов золота.

§ 6. Если кто-нибудь отрубит второй палец, служащий для спускания с лука стрелы, тот должен заплатить 1400 денариев, или 35 солидов золота.

§ 7. Тот, который одним ударом отрубит три других пальца, должен заплатить 1800 денариев, или 45 солидов золота.

§ 8. Тот, кто отрубит средний палец, должен заплатить 600 денариев, или 15 солидов золота.

§ 9. Тот, кто отрубит четвертый палец, должен заплатить 600 денариев, или 15 солидов золота.

§ 10. Если отрубленный палец будет мизинец, то виновный платит 600 денариев, или 15 солидов золота.

---

[1] Солид равняется почти 100 франкам. См. о ценности монеты того времени выше.

§ 11. Если кто разрубит другому ногу, не отрубив ее совершенно, тот должен заплатить 1800 денариев, или 45 солидов золота.

§ 12. Если нога совершенно отрублена, то виновный должен заплатить 2500 денариев, или 62 с половиной солида золота.

§ 13. Если кто-нибудь вырвал глаз другому, тот должен заплатить 2500 денариев, или 62 с половиной солида золота.

§ 14. Тот, кто отрубит другому нос, присуждается к уплате 1800 денариев, или 45 солидов золота.

§ 15. Если кто-нибудь отрубил бы другому ухо, то должен заплатить 600 денариев, или 15 солидов золота.

§ 16. Если у кого-нибудь отрезан язык таким образом, что он не может больше говорить, то виновный должен заплатить 4000 денариев, или 100 солидов золота.

§ 17. Если кто выбьет другому зуб, то должен заплатить 600 денариев, или 15 солидов золота.

ГЛАВА XXXII

Об оскорблении

§ 1. Если кто назовет другого бесчестным, то присуждается к уплате 600 денариев, или 15 солидов золота.

§ 2. Если он назовет его замаранным, то должен заплатить 120 денариев, или 3 солида золота.

§ 3. Если он назвал его лукавым, то должен заплатить 120 денариев, или 3 солида золота.

§ 4. Если он назовет его зайцем (трусом), то присуждается к уплате 240 денариев, или 6 солидов золота.

§ 5. Если кто-нибудь обвинит другого человека в том, что он оставил щит в виду неприятеля, или в бегстве бросил его от трусости, то виновный должен заплатить 120 денариев, или 3 солида золота.

§ 6. Тот, кто назовет другого доносчиком и не будет в состоянии доказать справедливости того, должен заплатить 600 денариев, или 15 солидов золота.

§ 7. Если он назовет его фальшивым, и не подтвердит того доказательствами, то должен заплатить 600 денариев, или 15 солидов золота.

ГЛАВА XLIII

Об убийстве свободнорожденных

§ 1. Если свободнорожденный убил франка или варвара, живущего под покровительством салического закона, то должен заплатить 8000 денариев, или 200 солидов золота.

§ 2. Если он бросил тело в колодезь или в воду, то должен заплатить 24 000 денариев, или 600 солидов золота.

§ 3. Если он скрыл тело под зелеными или сухими ветвями, или каким-нибудь другим образом, или бросил его в огонь, то присуждается к уплате 24 000 денариев, или 600 солидов золота.

§ 4. Если кто-нибудь убил королевского антрустиона[1], то обязан заплатить 24 000 денариев, или 600 солидов золота.

§ 5. Если он скрыл тело этого антрустиона в колодезь или в воду, или покрыл его зелеными или сухими ветвями, или, наконец, бросил его в огонь, то убийца должен заплатить 72 000 денариев, или 1800 солидов золота.

§ 6. Если кто-нибудь убьет римлянина, королевского гостя, то должен заплатить 12 000 денариев, или 300 солидов золота.

§ 7. Если убитый будет римский собственник, то есть будет иметь владение в стране, где живет, то виновный в его смерти должен заплатить 4000 денариев, или 100 солидов золота.

§ 8. Если кто убьет податного римлянина, тот обязан заплатить 1800 денариев, или 45 солидов золота.

ГЛАВА LXII

Об аллодиальной земле

§ 1. Если кто умирает, не оставляя сына, то ему наследуют его отец или мать.

§ 2. За отсутствием отца и матери ему наследуют братья и сестры, которых он оставил.

§ 3. За отсутствием братьев и сестер ему наследуют сестры его отца.

---

[1] Antrustion (in truste regis, под покровительством короля) или гость короля, лицо, возведенное в высшие должности двора короля франков.

§ 4. За отсутствием сестер отца наследуют сестры матери.

§ 5. За отсутствием всех этих родственников ему наследуют ближайшие родственники с отцовской стороны.

§ 6. Относительно же салической земли[1], ни одна часть наследства не переходит к женщинам, но все наследство в целости переходит к мужскому полу.

[1] De terra vero salica nulla portio haereditatis muliebri veniat: sed ad virilem sexum tota terrae haereditas perveniat. Это тот знаменитый параграф, на основании которого Эдуард III, английский король, как потомок по женской линии Капетингов, должен был уступить французский престол фамилии Валуа, происходившей от последней династии по мужскому колену.

Script. rer. gall. et francic. T. IV, с. 35 и след.

КОММЕНТАРИЙ. Салический закон (Lex Salica, то есть закон салических франков) был издан в новейшее время с переводом на французский язык и комментариями французским ученым Peyré. Из критических работ по вопросу о его характере и значении лучшее сочинение: Wiarda, Geschichte und Auslegung des Salischen Gesetzes. Bremen. 1808. Ср. Müller, Der lex Salica und der lex Angliorum et Werinorum Alter und Heimath. Würzb. 1840. О содержании этого древнейшего законодательства, его происхождении и значении см. следующую статью.

Франсуа Гизо

О ХАРАКТЕРЕ САЛИЧЕСКОГО ЗАКОНА (1828 г.)

Относительно настоящего характера так называемого салического закона много и уже давно ошибаются. Салическому закону обыкновенно приписывалось слишком большое значение, впрочем, по весьма естественной причине: при восшествии на престол Филиппа Длинного и в эпоху борьбы Филиппа Валуа с Эдуардом III за французскую корону[1], к салическому закону обращались с целью отвержения прав женской линии на наследство, и с того времени этот закон произносился множеством писателей, как первый источник нашего французского общественного права, как закон, постоянно имевший силу, как основной закон монархии. Даже люди, наиболее чуждые этому заблуждению, Монтескье, например, не могли не подвергнуться отчасти его влиянию и говорили о салическом законе с таким уважением, которое, конечно, трудно иметь к нему, если дать ему в нашей истории то место, какое он должен занять в ней по праву. Можно было бы думать, что большая часть писателей, говоривших об этом законе, не изучали ни его истории, ни содержания, что они в одинаковой мере не знали ни того, откуда он происходит, ни того, что такое он на самом деле. Вот потому и нам предстоит разрешить два вопроса: 1. Каким образом был составлен салический закон; где, кем и для кого? 2. Каков предмет и система его расположения?

Что касается его истории, то при этом не должно забывать вообще о двойственном происхождении и несообразностях всех законов варваров; они существуют и прежде, и после вторжения; они вместе и чисто германские, и германо-римские; и принадлежат двум различным состояниям общества. Этот характер имел влияние на все споры, предметом которых был салический закон; он породил все системы; по одной, этот закон был составлен в Германии, на правом берегу Рейна, гораздо ранее завоевания, на языке франков; в распоряжении его частей все,

[1] Филипп Длинный был один из последних королей третьей династии во Франции, Капетингов; дочери его предшественника и брата, Людовика X, были в первый раз устранены в его пользу по салическому закону. Когда же с его смертью и со смертью его младшего брата, Карла IV, прекратилась старшая мужская линия Капентингов, то точно так же по салическому закону отстранили права их сестры Изабеллы, бывшей за английским королем Эдуардом II, и их сына Эдуарда III, а на престол избрали Филиппа Валуа, из младшей мужской линии Капетингов: три последние Капетинга – Людовик X, Филипп V Длинный и Карл IV – были сыновья Филиппа IV Красивого, родной брат которого, Карл Валуа, оставил сына Филиппа Валуа, пережившего своих двоюродных братьев. Последний Капетинг умер в 1328 г.

что не согласуется с этим временем и древним германским обществом, было введено позднее, вследствие последующих пересмотров, сделанных после вторжения. По другой системе, напротив, салический закон был составлен после завоевания, на левом берегу Рейна, в Бельгии или Галлии, может быть, в VII столетии, и на латинском языке. Естественно, что между этими двумя учеными системами завязалась борьба.

В дошедших до нас манускриптах есть два текста этого закона. Один чисто латинский, другой тоже латинский, но с примесью значительного числа германских слов, глосс, то есть объяснений на древнем франкском языке, вставленный в статьи, числом 253 вставки. Этот второй текст издан в 1557 г., в Базеле, юристом Иоанном Герольдом, по манускрипту Фульдского аббатства. Текст чисто латинский был издан в первый раз в Париже без означения года и имени издателя, и во второй раз Иоанном Дютиллье, тоже в Париже, в 1573 г. И тот, и другой текст имели потом множество изданий.

Есть восемнадцать манускриптов обоих текстов[1], а именно пятнадцать чисто латинского и три текста с примесью германских слов. Эти манускрипты найдены: пятнадцать на левом берегу Рейна, во Франции, а в Германии только три. Можно подумать, что три найденных в Германии манускрипта – именно те, которые заключают германские глоссы: нисколько; из трех манускриптов с глоссами только два были найдены в Германии, третий же – в Париже. Из 15 других четырнадцать найдены в самой Франции, и один в Германии.

Пятнадцать манускриптов чисто латинского текста сходны между собой, за немногими исключениями. Конечно, есть несколько вариантов в предисловиях, эпилогах, в расположении и редакции статей, но они маловажны. Три манускрипта, заключающие в себе глоссы, различаются между собой гораздо более: они различаются в числе глав и статей, в порядке их, в самом содержании и еще более в стиле. Из этих манускриптов два изданы на самой варварской латыни.

[1] Пертц открыл еще два.

Итак, вот два текста салического закона, на которые опираются оба способа разрешения задачи. Один из них, по-видимому, более римского происхождения, другой – более чисто германского. И вопрос принял таким образом такой вид: который из двух текстов самый древний? какой из них может рассматриваться, как первоначальный? Общее мнение, особенно в Германии, приписывает тексту, имеющему германские глоссы, самую глубокую давность.

В самом деле, с первого взгляда есть некоторые основания предполагать то. Три манускрипта этого текста носят название: lex salica antiqua, antiquissima, vetustior; между тем как в манускриптах чисто латинского текста читается обыкновенно: lex salica recentior emendata reformata. Если сослаться на эти заглавия, то вопрос был бы решен. Другое обстоятельство, кажется, также приводит к тому же результату. Многие манускрипты содержат род предисловия, где рассказывается история салического закона: вот самое обширное из таких предисловий. Всякий увидит, какие заключения можно извлечь из него относительно давности салического закона:

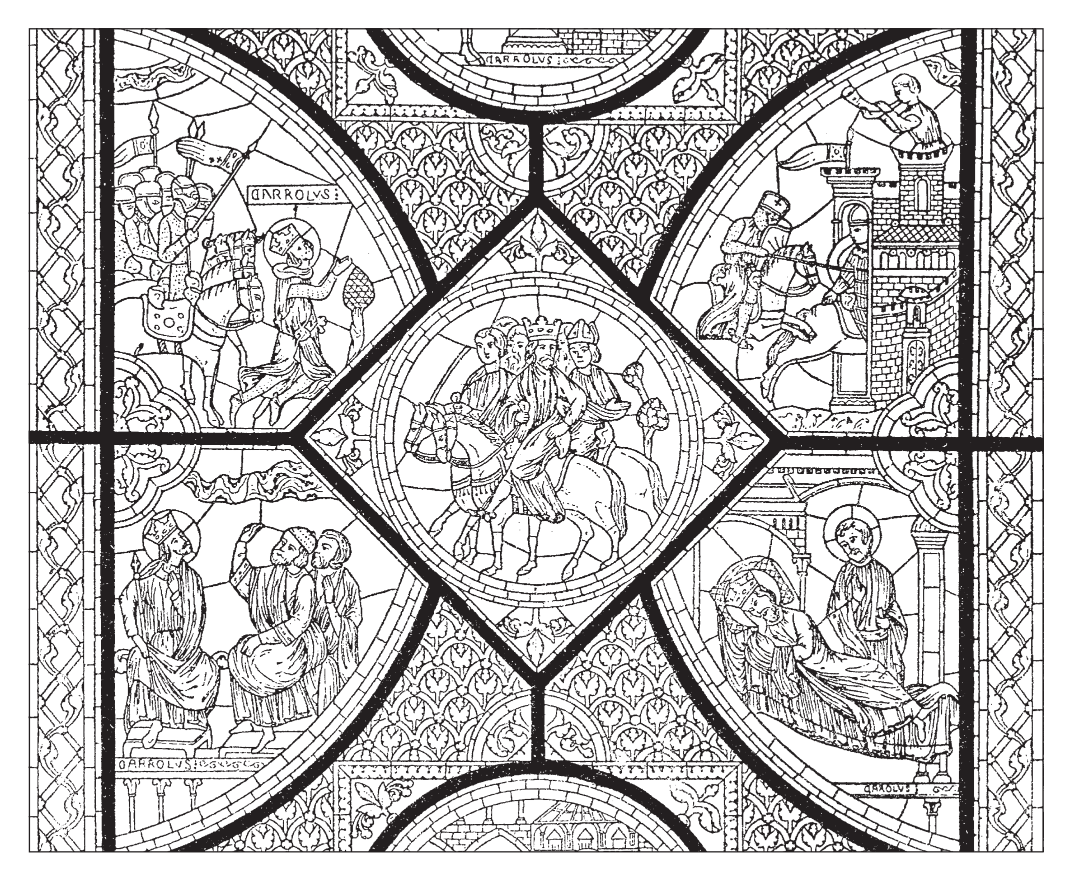
«Народ франков,– славный, основанный Богом, сильный в войне, твердый в мирных договорах, мудрый в совете, благородный и здравый телом, отличающийся белизною и красотою, смелый, быстрый и жестокий в битвах, незадолго обращенный в католическую веру, чистую от ересей; когда он еще держался религии варваров, то, по внушению Бога, уже искал ключа знания, а по свойству своих нравов жаждал справедливости, охранял благочестие.

Салический закон был составлен начальниками этого народа, которые в то время были его правителями.

Выбрали, из многих, четырех человек, а именно: Визогаста, Бодогаста, Салогаста и Виндогаста, в местах, называемых Салагева (Salagheve), Бодогева (Bodogheve) и Виндогева (Windogheve)[1]. Эти люди собрались на три веча[2], обсудили заботливо все

[1] Gast – гость, gheve или gau – округ, волость. Salogast – обитатель округа Сала, Бодогаст,– обитатель округа Бода и пр.

[2] Mallum, собрание свободных людей.



«Витраж Карла Великого» в Шартрском соборе. Изображает мифическое путешествие Карла в Святую землю и мифически истолкованную битву в Ронсевальском ущелье

поводы к процессам, рассуждали о каждом из них особенно, и определили приговором так, как следует ниже. Потом, когда с помощью Божиею Клодовей, длинноволосый, прекрасный и преславный король франков, первый принял католическое крещение, все, что в этом уложении было признано неудобным, было исправлено с большею ясностью преславными королями Клодовеем, Гильдебертом, Лотарем, и таким образом было написано следующее за сим постановление:

«Во имя Христа, любящего франков! Да хранит он их царство и да исполняет их предводителей светом своей благодати! Да покровительствует их войску! Да даст им знаки, свидетельствующие о вере их, радость мира и блаженства. Да направит Господь Иисус Христос на путь благочестия царство тех, которые правят; ибо это народ малый числом, но храбрый и сильный, который свергнут с себя тяжкое иго римлян, и который, познав святость крещения, щедро украсил золотом и драгоценными камнями тела святых мучеников, которых римляне сожигали огнем, убивали и изувечивали железом, или бросали на растерзание зверям».

О составителях законов и о их порядке

Моисей первый из всех передал священными письменами божественные законы еврейскому народу. Царь Фороней первый установил у греков законы и суды; Меркурий Трисмигист дал первый закон египтян; Салон дал первый закон афинянам; Ликург первый установил закон у лакедемонян; по повелению Аполлона, Нума Помпилий,

наследовавший Ромулу, дал первый законы римлянам. Потом, когда мятежный народ не мог сносить своих правителей, он избрал децемвиров для написания законов; и эти децемвиры начертали на двенадцати таблицах законы Солона, переведенные на латинский язык; они были: Аппий Клавдий сабинянин, Т. Л. Генуций, П. Секстий Ватикан, Т. Ветурий Цикурин, К. Юлий Туллий, А. Манилий, П. Сулпиций Камерин, Сп. Постумий Альб, П. Гораций Пулвил, Т. Ромилий Ватикан. Эти децемвиры были назначены для написания законов. Консул Помпей хотел первый установить, чтобы законы были изданы книгами; но он не настаивал на этом, опасаясь клеветников; потом Цезарь начал это дело, но был убит до его окончания. Мало-помалу древние законы вышли из употребления вследствие застарелости и нерадения; и хотя ими не пользовались, но все-таки было необходимо их знать.

Новые законы начались с Константина и его преемников; они были перемешаны и в беспорядке. Потом император Феодосий II, в подражание кодексам Григория и Гермогена, приказал собрать и расположить, по именам каждого императора, постановления, данные со времени Константина; и по имени его этот кодекс был назван Феодосиевым. Затем каждый народ избрал, по своему обычаю, свойственный ему закон, ибо долговременный обычай переходит в закон; закон есть писаное постановление; обычай же есть обыкновение, основанное на давности или неписаный закон: ибо слово lex (закон) назван так от глагола legere (читать), так как он написан; обычай есть долговременная привычка, извлеченная единственно из нравов; привычка есть известное право, установленное обычаем и принимаемое за закон; закон есть все то, что установлено уже разумом, что приличествует доброму порядку и служит на пользу; но привычкой называют то, что составляет общий обычай.

Теодорих, король франков, в бытность свою в Шалоне, избрал мудрых людей своего королевства, знающих древние законы; и, сам диктуя, приказал написать законы франков, алеманнов, баваров и всех народов, бывших под его властью, по обычаю каждого. К ним прибавили, что надо было прибавить, опустили несправедливо постановленное и исправили, по закону христиан, то, что прежде было по древнему языческому обычаю. И что не мог изменить король Теодорих по причине большой древности обычая языческого, то начал исправлять король Гильдеберт, а король Лотарь довершил. Славный король Дагоберт возобновил все это с помощью славных мужей: Клавдия, Хадоина, Домагна и Агилофа, приказал переписать, с улучшениями, старинные законы, и, написав, дал их каждому народу. Законы созданы для того, чтобы человеческая злоба сдерживалась страхом, чтобы невинность была вне всякой опасности среди злых, чтобы злые страшились наказаний и чтобы они обуздывали свою страсть вредить... Это было постановлено королем, начальниками и всем христианским народом, находящимся в королевстве Меровингов.

Во имя Христа: Начинаются положения салического закона

«Издавшие салический закон:
Визогаст, Арегаст, Салогаст, Виндогаст, в Бодгаме, Салегаме и Виндгаме...»

Из этого предисловия, из слов: antiqua, vetustior, вставленных в текст, и из некоторых других подобных указаний заключили: 1) что салический закон был издан прежде вторжения, по ту сторону Рейна, на языке франков; 2) что манускрипт, со вставкой германских слов, древнее всех других и содержит в себе все остатки первоначального текста. Самое ученое сочинение, в котором этот спор представлен в сокращении, это – сочинение Виарда, озаглавленное «История и изложение салического закона»[1], и изданное в Бремене, 1808 г. Я не войду в лабиринт споров, которые завязываются им по различным сторонам различных вопросов, обнимаемых

[1] Geschichte und Auslegung des salischen Gesetzes. Bremen, 1808, in 8.

этим прением; но я укажу главнейшие результаты. Они основываются вообще на прочных доказательствах, и критика их весьма тщательна.

По мнению Виарда, текст со вставкой германских слов, по крайней мере, в тех списках, которые мы имеем, не древнее другого; даже можно было бы полагать, что он новее. Две главы особенно, как кажется, указывают на это: 1) глава LXI, озаглавленная de Chrenecruda[1], и говорящая об уступке имущества, находится, равным образом, в обоих текстах; но чисто латинский текст излагает ее как постановление, имеющее силу, тогда как текст с глоссами прибавляет: «В настоящее время это уже не имеет действия»; 2) в главе LVIII, § 1-й, текст с глоссою говорит: «По древнему закону, кто выроет или ограбит тело, уже погребенное, будет изгнан» и т. д. Этот закон, названный здесь древним, находится в чисто латинском тексте без всякого замечания.

Нельзя было бы отвергать, что эти два места текста с глоссами указывают, по-видимому, на более позднее время.

От такого сравнения текстов Виард переходит к исследованию предисловий и указывает в нем неправдоподобие и противоречия. Большая часть манускриптов вовсе не имеет предисловий: в тех же, в которых есть предисловия, они весьма различны. Даже то, которое мы прочли, составлено из бессвязных частей; другое, начиная со слов: «Составители законов» и т. д., буквально переписано в сочинении Исидора Севильского, писателя VII в.: «Рассуждение об этимологиях и корнях»; третье, начиная словами: «Теодорих король франков» и т. д., равным образом, находится в начале манускрипта баварского закона. Имена первых издателей закона салических франков не одинаковы в предисловии и в самом тексте закона. Из этих и многих других обстоятельств Виард заключил, что эти предисловия суть не что иное, как письменные приложения, помещенные в начале текста переписчиками, которые собрали, каждый посвоему, слухи, ходившие в народе, и потому не следует придавать им действительного значения.

Впрочем, ни один из древних документов, ни один из первых летописцев, рассказывавших подробно историю франков, ни Григорий Турский, ни Фредегарий, например, не говорят об издании их законов. Надо спуститься к VIII в., чтобы найти место, которое упоминало бы о том, и только в одной из хроник этого времени, наиболее запутанных и лживых, а именно: Gesta francorum, можно читать:

«После битвы, данной императором Валентинианом, в которой пал их предводитель, Приам, франки оставили Сикамбрию и водворились в областях Германии, в крайних пределах течения реки Рейна... Там они избрали королем Фарамонда, сына Маркомира, и, подняв его на своих щитах, провозгласили длинноволосым королем; с того времени они начали иметь закон, который издали в германских селениях: Бодгаме, Салегаме и Виндгаме, их древние языческие мудрецы, Визогаст, Виндогаст, Арегаст и Салогаст» (Gesta franc., c. 3).

На этом-то месте основываются все предисловия, надписи и рассказы, помеченные в начале манускриптов; они не имеют иных гарантий и не заслуживают никакой веры.

Устранив таким образом косвенные документы, на которые опирается обыкновенно мнение о глубокой давности и чисто германском происхождении закона, Виард прямо приступает к вопросу, и полагает: во-первых, что салический закон издан в первый раз на левом берегу Рейна, в Бельгии, в местности, расположенной между Арденским лесом, рекою Маасом, Лис и Шельдою, в стране, где водворилось и долго господствовало племя салических франков, которые преимущественно управлялись по этому закону, и от которых он получил свое имя; во-вторых, что ни в одном из текстов, существующих в настоящее время, он не восходит, по-видимому, выше VII в.; наконец, в-третьих, что он был издан только на латинском языке. Это признано справедливым и для всех других варварских законов для рипуарского, баварс-

---

[1] То есть о зеленой траве; слово, вероятно, испорченное, от древних германских слов, которые соответствуют новейшим: grün – зеленый (gren по-английски) и Kraut – трава, растение.

кого, алеманнского, и ничто не указывает на то, чтобы салический закон был исключением. Впрочем, на германских диалектах ничего не писалось прежде царствования Карла Великого, и Готфрид Вейссембургский, переводчик Евангелия, называет, еще в IX в., франкский язык linguan indisciplinabilem.

Таковы общие результаты ученого труда Виарда; вообще, я считаю их основательными; он даже слишком мало давал веса тем доказательствам, которые, по моему мнению, сильнее большей части доказательств, развиваемых им с таким остроумием, то есть самому содержанию салического закона и фактам, которые ясно раскрываются в нем. Мне кажется, из постановлений, идей, духа этого закона очевидно, что он принадлежит к той эпохе, когда франки уже долго находились среди римского населения; он беспрерывно упоминает о римлянах, и не упоминает о них как о жителях, рассеянных там и сям по территории, но как о народонаселении многочисленном, трудолюбивом, земледельческом, уже низведенном, по крайней мере, большею частью, до положения колонов.

Отсюда следует также, что христианство в то время утвердилось между франками не недавно, что оно занимает уже в обществе и умах обширное место; в нем часто поднимается вопрос о церквях, епископах, диаконах, клериках: нельзя не признать во многих статьях влияния религии на нравственные понятия и перемену, уже внесенную ею в варварские нравы. Одним словом, доказательства внутренние, почерпнутые из самого закона, как мне кажется, приводят к заключению в пользу системы, поддерживаемой Виардом.

Я думаю, однако, что предания, которые, сквозь множество противоречий и басен, все еще проявляются в предисловиях и эпилогах, прибавленных к закону, имеют более важности и заслуживают более внимания, чем то обыкновенно им оказывается. Они обнаруживают, что с VIII в. было распространено мнение, народное воспоминание о том, что обычаи салических франков были издавна собраны, еще ранее принятия христианства, на местности с более германским характером, чем та, которую они тогда занимали. Как бы ни были малодостоверны, как бы ни были испорчены памятники, в которых изложены эти предания, они доказывают по крайней мере их существование. Из этого не следует опять заключать, что салический закон в том виде, в каком мы его имеем, относится к весьма отдаленному времени, ни что он издан так, как рассказывается о том, ни даже что он был написан когда-либо на германском языке, но что он связан с обычаями, собранными, передававшимися из рода в род, когда франки жили у устья Рейна, измененными, распространенными, объясненными, изданными в форме закона, в несколько приемов, начиная с того времени и до конца VIII в. Вот, я полагаю, основательный результат, к которому должно привести такое рассмотрение.

Но прежде, чем мы оставим сочинение Виарда, остановим наше внимание еще на двух идеях, которые оно развивает, и которые, как я полагаю, заключают в себе большую долю истины. Салический закон, по его мнению, вовсе не закон в собственном смысле этого слова, то есть не кодекс; он не был издан и обнародован законной, официальной властью, будет ли то король, или же собрание всего народа, или только одних вельмож. В нем можно видеть одно простое исчисление обычаев и судебных решений, сборник, сделанный каким-нибудь судьею, варварским клериком, сборник, подобный Зерцалу саксов, Зерцалу швабов, и многим другим древним памятникам германского законодательства, которые, очевидно, имеют не другой характер. Виард основывает это предположение на примере многих других народов, стоящих на той самой степени цивилизации, и на довольно значительном количестве других остроумных доводов. От него ускользнул один, может быть, самый решительный; это – текст самого закона салического. В нем читается:

«Если кто ограбит мертвого, прежде чем зарыли тело в землю, тот будет присужден заплатить 1800 денариев (что составляет 45 сол.); и по другому решению (in alia sententia) 2500 денариев (что составляет 62 сол. с половиною)»[1].

---

[1] Pact. leg. Salic. изд. Герольда, глава XVII, de expoliationibus, § 1.

Очевидно, здесь не законодательный текст, ибо он содержит для одного и того же преступления два различных наказания, и слова по другому решению – именно такие, как могут встретиться в юридическом языке какого-нибудь сборника приговоров.

Виард думает, кроме того, – и это только подтвердило бы вышеизложенное мнение,– что салический закон заключает не все законодательство, не все право салических франков. В самом деле, в памятниках IX, X и XI вв. встречаются известные случаи, которые отмечены, как разрешенные secundum legem salicam (по салическому закону), и о которых текст этого закона не делает никакого упоминовения. Известные формы брака, известные правила обручения прямо определены secundum legem salicam, и между тем нигде в нем не встречаются. Отсюда можно заключить, что многие из обычаев салических франков никогда не были записаны и не вошли в состав текста, который мы теперь имеем. Вот сколько можно привести подробностей, а я опустил их еще гораздо более; я хотел представить не что иное, как один результат споров, которых предметом была только история салического закона. Именно потому спорили, что не отдавали себе отчета, не заботливо исследовали происхождение и видоизменения этого закона, и потому-то так странно ошибались в его сущности. Теперь мы приступим к исследованию самого законодательства и постараемся внести и туда более точную критику, ибо и в этом отношении впадали удивительным образом в заблуждение и декламацию.

Оба текста не равных размеров. Текст со вставками германских слов заключает 80 глав и 420 статей или параграфов; чисто латинский текст имеет только 70, 71, 72 главы, в различных манускриптах, и 406, 407, 408 статей. Вольфенбюттельский манускрипт, впрочем, действительно весьма перепутанный, имеет их даже больше.

При первом взгляде нельзя не удивиться отсутствию всякого порядка в этом законе. Он говорит обо всем: о политическом праве, о праве гражданском, о праве уголовном, о судопроизводстве гражданском, о судопроизводстве уголовном, о сельской полиции, и все это перемешано, без всякого различия и классификации. Если бы переписать статьи наших разных сводов законов, каждую отдельно, и, перемешав их в урне, вынимать их оттуда одну за другой, то порядок, который установил бы случай в их содержании и расположении, ничем не отличался бы от расположения салического закона.

Всматриваясь ближе в содержание этого закона, видишь, что в сущности это уголовный закон, что уголовное право занимает в нем первое место, почти даже все место. Политическое право является там только косвенно, в намеках на учреждения и на явления, которые рассматриваются, как уже утвержденные, и которые закон не имеет целью ни утверждать, ни даже высказать. Что касается гражданского права, то оно заключает некоторые более точные распоряжения, существенно обязательные и вставленные с намерением. То же самое и в гражданском судопроизводстве. В отношении судопроизводства уголовного салический закон предполагает почти все уже известным, установленным; он только пополняет некоторые пробелы, уясняет в известных случаях обязанности судей, свидетелей и проч.; здесь господствует карательный элемент; он очевидно имеет целью подавить преступления и устрашить наказаниями. Это уголовный кодекс: в нем считается 343 статьи уголовные и только 65 по всем другим предметам.

Таков характер всех рождающихся законодательств; уголовными законами народы делают первый явный шаг, первый письменный шаг, если я могу так сказать, к выходу из варварского состояния. Они вовсе не думают писать политическое право: власти, которые управляют, формы их действия, все это – факты известные, всеми признанные.

Это не такое время, когда рассуждают о конституциях. Равным образом гражданское право существует как факт; соглашения людей и отношения их между собою предоставлены правилам врожденной справедливости, или же они совершаются по известным началам, известным формулам, общепринятым; законное определение этой

части права приходит вместе с дальнейшим развитием общественного состояния. То в религиозной форме, то в форме чисто светской, уголовное право является первым в законодательном развитии народов; их первое стремление к улучшению гражданской жизни состоит в том, чтобы наперед противопоставить преграды, наперед объявить наказания за необузданность личной свободы. Салический закон принадлежит именно к такой эпохе истории нашего общества.

Для того, чтобы узнать его точнее, чтобы освободиться от тех шатких положений и рассуждений, предметом которых он был, постараемся рассмотреть его: 1) при исчислении и определении преступлений, 2) в применении наказаний и 3) в уголовном судопроизводстве. Вот три существенных элемента всякого уголовного законодательства.

I. Предусмотренные салическим законом преступления почти все подводятся под два главных класса: кража и насилие против лиц. Из 343 статей уголовного права 150 относятся к случаям воровства, и в том числе 74 статьи предвидят и наказывают кражу животных, а именно: 20 – кражу свиней; 16 – лошадей; 13 – буйволов, быков и коров; 7 – овец и коз; 4 – собак; 7 – птиц и 7 – пчел. Закон входит по этому предмету в самые мелочные подробности; преступления и наказания разнообразятся, смотря по возрасту, полу, числу украденных животных, месту и времени кражи и прочее. Случаи насилия против лиц занимают 113 статей, из которых 30 по одному только делу увечья, которое также предвидится во всем своем разнообразии; 24 по насилию против женщин и т. д.

Я не стану много распространяться в этом исчислении преступлений: в них явно выражается двойной характер законодательства. Во-первых, оно принадлежит малоразвитому, несложному обществу. Откройте уголовные кодексы прошлых эпох: роды преступлений в них гораздо разнообразнее; и в каждом роде классификация отдельных случаев гораздо менее подробна; в одно и то же время замечаешь и более разнообразные факты, и более общие идеи. Здесь только те преступления, которые должны возникать при первом сближении людей между собой, как бы просты ни были их отношения, как бы ни была однообразна их жизнь. Во-вторых, оно также ясно обнаруживает весьма глубокое и необузданное общество, в котором беспорядок в личной воле и личных силах доходит до крайней степени, в котором никакая общественная власть не предупреждает их необузданности, в котором безопасность лица и собственности ежеминутно стоят на краю погибели. Такое отсутствие всякого стремления обобщить частные случаи, привести преступления к их простому и общему характеру свидетельствует в то же время о малом интеллектуальном развитии и о торопливости законодателя. Он ничего не соображает; он находится под влиянием безотлагательной необходимости; он берет, так сказать, на месте преступления каждое действие, каждый случай воровства, насилия, чтобы тут же определить ему наказание. Будучи сам груб, он борется с людьми грубыми и умеет одно только – вносить новую статью закона при каждом случае, когда только совершается преступление, хотя бы оно было мало отлично от тех, которые были уже указаны.

II. От преступлений перейдем к наказаниям и посмотрим, каков характер салического законодательства в этом отношении. При первом взгляде мы будем поражены его мягкостью. Это законодательство, которое в случаях преступления раскрывает столь необузданные нравы, вовсе не заключает в себе суровых наказаний: и не только оно несурово, но даже имеет, по-видимому, к личности и свободе людей особенное уважение, хотя только тогда, когда дело идет о людях свободных; если же дело коснется рабов или даже колонов, в закодательстве снова появляется зверская жестокость; оно изобилует пытками и смертными казнями; в отношении же свободных людей, франков и даже римлян законодательство крайне умеренно. Встречается только несколько случаев смертной казни, от которой, впрочем, все же можно откупиться: нет ни телесных наказаний, ни тюремных заключений. Говоря справедливо, единственная пеня, внесенная в салический закон, есть вира;

Wehrgeld Widrigeld[1], то есть известная сумма, которую виновный обязан заплатить обиженному или его семейству. С Wehrgeld соединяется довольно часто то, что германские законы называют fred[2] – сумма, платимая королю или магистрату как вознаграждение за нарушение общественного спокойствия. Этим ограничивается карательная система закона.

Вира есть первый шаг уголовного законодательства за пределы порядка, основанного на личном мщении. Право, на которое опирается эта пеня, право, которое лежит в основе салического закона и всех законов варваров, есть право каждого человека самому творить суд и расправу, самому мстить за себя силою; это – война между обидчиком и обиженным. Вира есть попытка заменить войну порядком, основанным на законе; она есть способ, предоставляемый обидчику избавиться, заплатив известную сумму, от мести обиженного; она налагает на обиженного обязанность отказаться от употребления силы.

Не думайте, однако же, чтобы вира уже при своем происхождении приносила такие результаты; обиженный долго еще сохранял право выбора между вирою и войною, право отказываться от Wehrgeld и прибегать к личной мести. Хроники и всех родов документы решительно не дозволяют в том сомневаться. Я готов допустить, что в VIII в. вира окончательно стала обязательной, и что отказ довольствоваться ею считался тогда насилием, а не правом, но можно сказать положительно, что не всегда было так, и в начале вира была только попыткой, довольно малодействительной, положить конец беспорядочной борьбе личных сил, чем-то вроде установленного законом вознаграждения со стороны обидчика обиженному.

В Германии, и особенно в последнее время, сложилось по этому поводу крайне высокое понятие о варварах. Люди, обладающие редкими познаниями и умом, были поражены не только их уважением к личности и свободе человека, которое обнаруживается в таком роде пени, но и многими другими чертами, которые, как им казалось, можно открыть в нем. Я остановлюсь только на одном обстоятельстве.

Если рассматривать дело с возвышенной и моральной точки зрения, то, говорят они, каков радикальный недостаток новейших уголовных законодательств? Они разят, они наказывают, не заботясь о том, принимает ли виновный наказание или нет, признает ли он свой проступок, сообразуется ли воля его с волей закона или нет; они действуют единственно путем принуждения; правосудие нисколько не заботится о том, чтобы предстать пред тем, кого оно касается, в каком-либо другом виде, а не в виде силы.

Вира имеет, так сказать, карательную физиономию, но совершенно отличную; она предполагает и требует признания в преступлении со стороны обидчика; она есть с его стороны свободный акт. Он может отказать в ней и подвергнуться опасностям личной мести обиженного; когда же он подчиняется ей, он признает себя виновным и предлагает вознаграждение за преступление. С другой стороны, обиженный, принимая виру, примиряется с обидчиком; он торжественно обещает забвение, прекращение мести; так что вира, как пеня, имеет гораздо более нравственный характер, чем наказания, определяемые более учеными законодательствами; она свидетельствует о глубоком чувстве нравственности и свободы.

Говоря так, я излагаю, только в более сжатых чертах, идеи некоторых новейших германских писателей, и в числе их одного молодого человека, недавно умершего, к глубокому сожалению науки, г-на Рогге, который развил эти идеи в своем опыте: «О судебной системе германцев» (издано в Галле, в 1820 г.). Помимо многих замечательных взглядов и некоторых, основанных на вероятности, объяснений древнего общественного быта германцев, я полагаю, в этой системе есть общий недосмотр и важный недостаток в понимании человека и варварского общества.

Источник заблуждения, если я не ошибаюсь, состоит в весьма ложной идее, ко-

---

[1] Деньги защиты (от wehren, wahren, bewahren), ручательство. См. мои: Essais sur l'hist. de France, p. 197.

[2] От Friede – мир.



Людовик Благочестивый (в центре).
Миниатюра X в.
Париж. Национальная библиотека

торую часто составляли себе о свободе, встречающейся, по-видимому, в первом возрасте народов. Нет сомнения, что в эту эпоху свобода отдельных лиц была действительно велика. С одной стороны, между первобытными людьми встречается неравенство, не слишком различествующее и не слишком глубокое; неравенство, вытекающее из богатства, древности рода, в те времена не могло еще развиться сильно и производило только весьма преходящие следствия. С другой стороны, у варваров совершенно нет, или почти совершенно, общественной силы, способной сдержать или подавить волю отдельных лиц. Поэтому люди не управляются твердо ни другими людьми, ни обществом. Их свобода фактическая: каждый делает почти все, что хочет, сообразно с собственной силой, на свой риск и страх. Я говорю: сообразно с собственной силой; в ту эпоху такое существование свободных лиц на самом деле было только борьбой сил, то есть войной между отдельными лицами и семействами, борьбой постоянной, изменчивой, жестокой, варварской, как и самые лица, которые ее вели.

Но это еще не общество; оно, однако, не замедлило сделаться заметным уже и в варварскую эпоху; со всех сторон являются всевозможные усилия выйти из хаотического состояния и вступить на путь общественного порядка. Яд всюду ищет себе противоядия. Так того требует та таинственная жизнь, та скрытая сила, которая управляет судьбами человеческого ума.

В настоящем случае обыкновенно являются два противоядия: 1) между людьми обнаруживается неравенство; одни становятся богатыми, другие – бедными; одни – благородного, другие – темного происхождения; одни патроны, другие клиенты; одни господа, другие рабы; 2) развивается общественная власть, возникает собирательная сила, которая, во имя общества и его интересов, провозглашает и применяет известные законы.

Таким образом рождаются, с одной стороны, аристократия, с другой – правительство, то есть два способа подавления воли индивидуальных лиц, два средства подчинять многих людей иной воле; отличной от их собственной.

Но, в свою очередь, само противоядие опять делается ядом; аристократия давит, общественная власть давит; давление влечет за собой новый беспорядок, отличный от первого, но, тем не менее, глубокий и невыносимый. Однако в недрах общественной жизни, вследствие одной продолжительности ее существования и при содействии множества влияний, развиваются, выясняются, усовершенствуются отдельные личности, единственно реальные существа; их ум уже не так узок, и воля их не так беспорядочна; они замечают, что они легко могли бы жить в мире и без такого громадного неравенства и общественной власти, то есть, что общество легко могло бы существовать, не платя за то так дорого своей свободой. Тогда как прежде обнаруживалось усилие создать общественную власть и вызвать неравенство между людьми, теперь начиналось стремление к противоположной цели, к ограничению правительства и аристократии; то есть общество стремилось к состоянию, которое, внешне по крайней мере, и рассматриваемое только с этой стороны, походит на то, в котором оно находилось в первый возраст своей общественной жизни при свободном

развитии личной воли, на то положение, в котором человек делает, что хочет на свой риск и страх.

Если я ясно выразил свою мысль, то понятно теперь, в чем заключается важная ошибка поклонников варварского быта; пораженные в нем, с одной стороны, незначительностью развития или общественной власти, или неравенства между людьми, с другой стороны – обширностью личной свободы, которая там встречается, они заключили из того, что то общество, несмотря на грубость своих форм, в сущности, находилось в своем нормальном состоянии, под властью законных начал; наконец, говорят они, оно было столь совершенно, что и после периода самого блестящего прогресса все, видимо, стремилось возвратиться к древнему быту. Они забыли только одно: они не позаботились сравнить самих людей этих двух эпох общественной жизни; они забыли, что, в первую эпоху, грубые, невежественные, жестокие, управляемые страстью, всегда готовые прибегать к силе, люди были неспособны жить в мире по разуму и справедливости, то есть жить в обществе без внешней силы, которая бы принуждала их к тому. Прогресс общества состоит прежде всего в том, что человек преобразуется, делается способным к свободе, то есть способным управлять самим собою по началам разума. Если свобода погибла при самом вступлении человека на общественное поприще, то это потому, что сам человек был неспособен сохранять ее при своем движении вперед; пусть он снова овладеет и все более и более пользуется ею; это – цель, это совершенствование общества; но отнюдь не таково было первоначальное состояние, условия варварской жизни. В ней свобода была не что иное, как господство силы, то есть разрушение или, скорее, отсутствие общества. Вот что вводило в обман столь многих ученых относительно характера варварских законодательств и в особенности того, которым мы занимаемся. Они видели там главные внешние условия свободы и перенесли на них чувства, идеи и людей другого общественного возраста. Та теория виры, которую я только что изложил, не имеет другого источника: несообразность в ней очевидна; вместо того, чтобы придавать этому роду наказания столько нравственной цены, должно смотреть на него только как на первый шаг к тому, чтобы выйти за пределы вечной войны и варварской борьбы материальных сил.

III. Что касается уголовного судопроизводства, способа преследования и суда преступлений, то салическое законодательство весьма неполно и почти умалчивает об этом предмете; оно рассматривает судебные учреждения как факт, и не говорит ни о трибуналах, ни о судьях, ни о формах судебного исследования. По временам встречаются постановления о вызове и явке в суд, об обязанности свидетелей и судей, об испытании горячей водой и проч.; но все это несколько случайных распоряжений: для того же, чтобы пополнить их, чтобы построить систему учреждений и обычаев, с которыми они были связаны, следовало бы отложить текст совершенно в сторону и даже все то, что составляет предмет законодательства. Из сведений, которые заключены в законодательстве относительно уголовного судопроизводства, я остановлюсь только на двух пунктах: на различии факта и права, и на свидетелях или conjuratores (присяжные).

Когда обидчик по вызову обиженного, явился в mallum, то есть в собрание свободных людей, перед судьями, какими бы то ни было, графами (comes), рахимбургами или ариманами и проч., призванными произвести приговор, их задача состояла в том, чтоб заявить то, что постановлял закон относительно предложенного дела: перед ними не должны были происходить прения об истинности или ложности дела; им представлялись условия, по которым должен был разрешиться тот первый пункт; потом сообразно с законом, которому были подчинены обе тяжущиеся стороны, судьи обязаны были определить количество виры и все подробности наказания. Что касается до постановления самого дела, то оно определялось перед судьями различными способами, посредством Божиего суда, испытания горячей водой, поединка и пр., иногда показания свидетелей, чаще же всего клятвой свидетелей (conjuratores).

Обвиненный являлся в сопровождении известного числа людей, своих родственников, соседей, друзей, шести, восьми, девяти, двенадцати, пятидесяти, семидесяти двух, даже ста, в известных случаях, и эти лица должны были присягать, что он не сделал того, в чем его обвиняют. В некоторых случаях и обиженный имел также своих свидетелей. При этом не было ни допроса, ни разбора показаний, ни исследования дела в собственном смысле этого слова; conjuratores просто подтверждали под присягой истинность того, что утверждал обиженный, или того, что отрицал обвиненный. В этом-то и состояло самое главное средство постановить дело, общая система законодательства варваров; conjuratores гораздо реже упоминаются в законе салических франков, чем в других законодательствах варваров, например, у франков рипуарских: нет сомнения, однако же, что они и у салических франков равно были в употреблении и составляли основу уголовного судопроизводства.

Эта система, как и система виры, служила предметом большого удивления для многих ученых; они видели в ней два редких достоинства: могущество связей семейства, дружбы, соседства и доверие закона к правдивости человека. «Германцы,– говорит Рогге,– никогда не чувствовали потребности в настоящей системе доказательств. Все, что может быть странным в этом утверждении, тотчас же исчезнет само собою, когда кто проникнется, подобно мне, полною верою в благородный характер и, что выше всего, в безграничную правдивость наших предков»[1].

Было бы забавно перейти от этой фразы к чтению Григория Турского, «Песни о Нибелунгах», и всех памятников, поэтических и исторических, заключавших в себе описание древних германских нравов: хитрость, обман, отсутствие честности являются в них на каждом шагу, то в самой утонченной форме, то с самой глубокой дерзостью. Подумает ли кто, что германцы были иными пред судом, чем в жизни, и что протоколы их процессов – если только существовали тогда протоколы – изобличили бы во лжи историков? Я не хочу делать германцам особенного упрека за эти пороки; это – пороки варварских народов во все эпохи, под всеми широтами; о том свидетельствуют американские предания точно так же, как и европейские, «Илиада», как и «Песнь о Нибелунгах». Я далек и от того, чтобы отрицать ту врожденную нравственность человека, которая не оставляет его никогда, ни в каком положении, ни в каком возрасте общества, и примешивается к самому необузданному господству невежества и страсти. Но всякий поймет без труда, чем могли быть очень часто при таких нравах клятвы тех conjuratores.

Что касается духа племенного или семейного, правда, он был силен у германцев, и доказательством тому, в числе многих других, служат conjuratores; но этот дух имел для себя не все причины, и произвел не все моральные последствия, которые ему приписываются; быть обвиненным — значило подвергнуться нападению; близкие к нему люди следовали за ним и окружали его перед судом, как на поле битвы. В недрах варварства семейный быт был состоянием вечной войны; что же тут удивительного, если фамилии группируются и приходят в движение, когда им грозит война в той или другой форме?

Настоящее происхождение conjuratores заключается в том обстоятельстве, что всякое другое средство постановить факт было тогда почти неприложимо к делу. В самом деле, что требуется для настоящего судебного исследования, каковы должны быть интеллектуальное развитие и публичный авторитет для сближения и сопоставления различного рода доказательств, для собрания и обсуждения свидетельств, для того, чтобы только призвать свидетелей перед судьей и добиться от них истины, в присутствии обвинителей и обвиненных? Ничего подобного не могло быть в обществе, которым управлял салический закон; и если прибегали тогда к Божиему суду или к присяге родственников, то не потому, что такой метод был выбран как лучший, и не по каким-либо нравственным соображениям,

[1] Über das Gerichtswesen der Germanen.

а просто потому, что тогда не умели и не могли действовать лучше.

Таковы главные положения этого законодательства, которые, как мне казалось, заслуживают нашего внимания. Я ничего не сказал об отрывках права политического, права гражданского, судопроизводства гражданского, рассеянных местами, ни даже о знаменитой статье, которая постановляет, что «салическая земля не может достаться женщине, и что все наследственные права предъявляются мужескому полу»[1]. Всякому известно теперь, каков ее настоящий смысл. Некоторые распоряжения относительно формальностей, которыми человек может отделиться от своего семейства[2], освободиться от всяких обязанностей родства и получить полную независимость, весьма любопытны и проливают много света на тогдашнее состояние общества; но они занимают мало места в законе и нисколько не определяют своей цели. Повторяю, это законодательство есть в сущности уголовный кодекс. Рассматривая его в целом, нельзя не признать в нем сложное, неустановившееся переходное законодательство. В нем каждую минуту чувствуется переход из одной стороны в другую, от одного общественного состояния к другому, от одной религии к другой, от одного языка к другому языку; на нем запечатлены все превращения, какие только могут совершаться в жизни народа. Потому-то существование этого законодательства было кратко и ничтожно: начиная, может быть, с X в., оно уже было заменено множеством местных обычаев, которым, без сомнения, оно во многом послужило источником, но которые равным образом черпали и в других источниках: в римском праве, в праве каноническом, в потребностях обстоятельств, и когда в XIV в. обратились к салическому закону, чтобы установить престолонаследие, о нем, наверное, уже давно говорили не иначе как только по воспоминанию и в некоторых важных случаях.

Кроме салического закона, народы, утвердившиеся в Галлии, руководились еще тремя другими варварскими законодательствами, а именно: рипуарским, бургундским и вестготским.

Ист. цив. во Франц., I, лекц. 10.

[1] Именно на этой статье основаны были в XIV в. права Филиппа Валуа на престол.

[2] Гл. LIII, § 1–3.

Григорий Турский

ПРАВЛЕНИЕ КЛОДОВЕЯ (591 г.)

Когда умер на дороге в Галлию изгнанный из Италии император Авит и тело его было перенесено и положено у ног св. Юлиана в Бриуде, на престол императорский вступил Марциан[1], а в Галлии начальником войск[2] был назначен Эгидий, родом римлянин (в 457 г.). У народа же франков в то время правил Гильдерик[1], человек распущенных нравов и необыкновенно сластолюбивый; он оскорбил многих франков в лице их дочерей. Раздраженный таким образом народ отнял у него власть (459 г.); и когда он узнал, что франки хотели даже его убить, то ушел в Турингию, оставив вместо себя одного преданного человека[2] с тем, чтобы он льстивыми речами укротил возмущенных франков. Вместе с тем Гильдерик условился с ним о знаке, который он должен был ему подать в случае возможности для него возвратиться в страну,

[1] Автор или позднейший переписчик назвал по ошибке Марциана вместо Майориана.

[2] Magister equitum, являвшийся в то же время наместником императора в той части Галлии, которая не были еще занята варварами.

[1] Гильдерик был третий по числу из исторических королей франков, сын Меровея и внук Клодиона. Его относят ко времени между 456 и 481 г.

[2] По хронике Эмоина (X в.), это был Виомад, но власть над франками вверил ему Эгидий.

ГРИГОРИЙ, ЕПИСКОП ТУРСКИЙ (GREGORIUS TURONENSIS, родился в 540 г. в КЛЕРМОНЕ, главном городе ОВЕРНИ, и умер в ТУРЕ, 17 ноября 594 г. (в епископском звании с 572 г.). Он принадлежит к числу самых замечательных писателей Западной Европы, в первую эпоху ее существования после падения Западной Римской империи. По своему происхождению, образованию и положению в свете Григорий считал своим первым отечеством Католическую церковь и только уже затем он является патриотом Галлии: вот потому франки в его глазах были избавителями Галлии от ига вестгостких ариан и своими заботами содействовали распространению католического единства; само сочинение его, составившее всю его литературную славу, носит название: «Historia ecclesiastica Francorum», то есть «Церковная история франков», не потому, что автор писал историю церкви в Галлии; она может быть названа одинаково и, даже более, светской историей; но в этом названии выражается общая точка зрения автора на цель истории, как ее понимали в то время люди его партии; а именно, деятельность франков явилась в глазах католического писателя орудием торжества церкви. Почему не должно удивляться, если Григорий, рассказав, как мы видели, например, возмутительные поступки Клодовея, наивно заключает: «Каждый день Бог повергал к стопам короля его врагов и расширял королевство, ибо Клодовей ходил с сердцем правым пред Господом и поступал так, как могло быть приятно его очам» (см. выше). Чтобы понять характер произведений Григория, необходимо знать события его жизни, под влиянием которых сложились его политические убеждения.

Григорий происходил из самой знатной галло-римской фамилии в Оверни или, как тогда называли, сенаторской, то есть ведшей свое начало от галлов, которые успели получить во времена империи почетный титул сенатора. Так как церковь, после падения империи, одна открывала дорогу к общественному влиянию, если кто не хотел идти кланяться ко двору новых варварских владетелей, то все знатные фамилии домогались епископских мест, и фамилия Григория, как самая знатная, занимала большую часть епископских престолов в Южной Галлии: в Клермоне, Лангре, Лионе, Туре сидели или родные дяди, или другие родственники Григория. В Туре епископский престол сделался даже наследственным в его фамилии, и Григорий говорит, что, за исключением пяти лиц, все его предшественники были из его дома.

В последние годы существования империи родина Григория, Овернь, за свою честь доставить Риму императора в лице овернца Авита, поплатилась страшным разорением, когда Авит был свергнут. В 474 г. овернцы, несмотря на все усилия Сидония Аполлинария, были завоеваны и разграблены; в борьбе вестготов с франками, после битвы при Вуглэ, гнев Клодовея обрушился на овернцев. При разделении Клодовеем монархии Овернь досталась его сыну Теодориху Австразийскому, и, по случаю войны его с братом Гильдебертом, произведя восстание, была снова опустошена из конца в конец, в 532 и 533 гг. С того времени Овернь составляла постоянный удел австразийских Меровингов; при сыне того Теодориха, Теодеберте, родился Григорий Турский. Но в 555 г. сын Теодеберта, Теодебальд, умер бездетным, и Овернь досталась Лотарю I, который отдал ее в управление своему сыну Крамну. Восстание Крамна против отца и содействие ему в том со стороны овернцев кончилось новым разгромом страны, в 557 г., когда Григорий Турский достиг 17-летнего возраста. Таким образом, юность будущего историка Галлии прошла среди всеобщего бедствия его небольшой родины, которая менее чем в 100 лет была четыре раза подвержена страшному опустошению. Это местное обстоятельство бросило тень на исторический труд Григория, и он невольно принимал падение своей провинции за падение всего мира, чему еще более должны были содействовать последующие обстоятельства его жизни в Туре, который случайным образом сделался центром борьбы Фредегунды и Брунегильды. Вот введение Григория к своему труду: «Так как в Галлии науки впали в пренебрежение, даже совершенно погибли, то не нашлось ни одного ученого, который обладал бы достаточным даром слова, чтобы в прозе или в стихах описать все, что случилось на наших глазах. А между

тем много совершилось и доброго, и худого: дикие толпища людей безбожных свирепствуют, озлобление королей велико; еретики нападают на церкви, верные защищают их; во многих вера во Христа согрета, а у немалого числа она остыла; святые места верными украшены, а людьми безбожными опустошены. Кто-то уже не раз жаловался на такой порядок вещей и говорил: "Горе нашему времени! науки погибли, и в народе не найдется никого, кто бы мог описать совершающееся!" Так как я нередко слышал подобные сожаления, то, чтобы сохранить воспоминание о прошедшем и передать настоящее потомству, я и решился изобразить насилия людей безбожных и жизнь правдивых, хотя, быть может, речь моя будет слишком проста и безыскусственна. Впрочем, я утешался тем, что мне, к величайшему изумлению, приходилось часто выслушивать от наших, а именно, что в наше время весьма немногие понимают ученого и образованного писателя, а писатель, излагающий простым языком, доступен многим[1]. В отношении же летосчисления я счел за лучшее начать с Сотворения мира в первой книге».

Личная история Григория была не менее печальна: он рано лишился отца своего, Флоренция, и матери Арментарии; его родной дядя и воспитатель, Галль, епископ Клермонский, также скончался, прежде нежели Григорий достиг совершеннолетия. Духовное образование расположило его вступить в церковное общество; опасная болезнь привела Григория по обету на гробницу св. Мартина в Тур, в 563 г., где был епископом его родственник Евфроний. Это обстоятельство решило дальнейшую участь Григория.

Незадолго до того времени, в 561 г., умер Лотарь I, и Овернь досталась лучшему из его сыновей, Сигберту, под влиянием которого Григорий успел в 572 г. получить епископский престол в г. Турне. Но еще более Григорий был обязан своим возвышением покровительству жены Лотаря I, знаменитой Радегунды, дочери турингского короля Бергара, которая еще при жизни мужа удалилась в Пуатье и основала женский монастырь, сделавшийся скоро центром образованности в Галлии. Туда собрались все литературные знаменитости того времени и между прочими известный того времени поэт Венанций Фортунат. Дружба с последним и все общество Радегунды имело самое большое влияние на образование Григория как писателя.

Положение епископа Турского при Григории было весьма затруднительно, потому что на это время выпала эпоха борьбы детей Лотаря I, Сигберта с Гильдебертом и их жен, Брунегильды и Фредегунды, и притом борьба постоянно сосредоточивалась около Тура и Пуатье. Григорий был сторонником Сигберта и Брунегильды, и даже не раз подвергал себя за то опасностям со стороны их противника, Гильперика. Насильственная его смерть, в 584 г., вывела Григория из затруднительного положения, потому что Туром овладел третий сын Лотаря I, Гунтрам Бургундский, давно уже стоявший в дружеских отношениях с епископом. Но настоящая политическая роль Григория и преобладающее его влияние в Галлии начинается только по смерти Гунтрама, когда этот усыновил Гильдеберта Австразийского, сына Гильперика и Брунегильды (586 г.). В 592 г. умирает Гунтрам, и Григорий спешит к Брунегильде в Орлеан поздравить ее сына с соединением Бургундии и Австразии в руках ее сына, Гильдеберта. Вместе с тем это было последнее событие, которым заключил Григорий свою историю франков; год спустя он и сам умирает (594 г.).

---

[1] Григорию Турскому, заключенному в монастыре или вращавшемуся в одном высшем сословии тогдашнего общества, могло быть непонятно явление, которое как нельзя более было естественно. Его наивное замечание представляет даже драгоценное свидетельство о весьма любопытном факте, которое должно было поразить современников. Вторжение германских народов и распадение Римской империи было вместе освобождением национальностей Западной Европы, которое и выразилось в появлении народной речи: латинский язык, язык администрации, язык высшего общества начал уступать место местным, народным языкам, и это явление Григорий выразил в своем замечании о том, что писатели, употреблявшие более грубую речь, то есть более народную, читаются легче, чем писатели, подражавшие Цицерону, Вергилию и пр.

От литературной деятельности Григория до нас дошли почти все его труды, а именно: 1) «Десять книг церковной истории франков» (Historiae ecclesiasticae Francorum libri X); 2) «Книга о славе мучеников» (De gloria martyrum): обзор чудес Спасителя, Иоанна Крестителя и позднейших святых; с этой книгой стоят в связи: 3) «Четыре книги о чудесах св. Мартина» (De miraculis St. Martini), 4) «О чудесах св. Юлиана (из Оверни)», 5) «О чудесах исповедников» (De miraculis confessorum); все эти книги сам Григорий в приведенном им списке своих сочинений соединяет под одним заглавием «Семь книг о чудесах» («Libri septem miraculorum»). Это сочинение в то время имело самый живой интерес, потому что назначалось для католической пропаганды, и, по своему содержанию и по форме, было рассчитано для действия на народные массы; тем не менее оно имеет большое историческое значение, доставляя мимоходом драгоценные известия о народном быте, на который историки в собственном смысле этого слова не обращали никакого внимания. Наконец, еще два сочинения Григория: «Молитвенник» («De cursibus ecclesiasticis») и «Истолкование псалтиря», но они не дошли до нас.

Первое из всех поименованных сочинений есть вместе и самое важное. Это – «История франков». Она начинается кратким очерком всемирной истории от сотворения мира, в пользу тех, которые, по словам Григория, «отчаиваются, в ожидании светопреставления (qui appropinquante mundi fine desperant). Для древнейшей светской истории автор посвящает только две небольшие главы, ne videamur unius tantum Hebraeae gentis habere notitiam (чтобы не подумали, что мы знаем только одну еврейскую историю). В этом отделе познания Григория, а это значит и его времени, были крайне поверхностны: он полагает, что египетские пирамиды были хлебными запасными магазинами; Нил у него течет с востока на запад, и т. п. Кроме очерка всемирной истории светской и библейской, Григорий помещает в первую книгу рассказ о введении христианства в Галлии и историю первых ее мучеников. Во второй книге Григорий, оставляя позади себя всемирную и галльскую историю, приступает к франкской истории и излагает самый факт завоевания Галлии франками; хотя в этой книге, как и в первой, автор придерживается старых хроник, но так как Клодовей жил за 50 лет до его времени, то устные предания начинают играть важную роль и сообщают живой интерес историческому изложению Григория. Третья и четвертая книга до 21-й главы касаются событий от смерти Клодовея до соединения его монархии Лотарем I (511–562 гг.); это было время, наполовину прожитое самим автором, и потому рассказ заимствуется исключительно из уст очевидцев. С пятой и до конца (то есть последние шесть книг) Григорий пишет как очевидец и как лицо, принимавшее во многих событиях непосредственное участие, и притом с такой подробностью, что на долю пятой и шестой книги достается всего 23 года, а на долю седьмой, восьмой, девятой и десятой каких-нибудь семь лет, до 591 г.

Относительно критического таланта Григория Турского и степени достоверности его рассказов нельзя произнести общего приговора для всей написанной им истории франков. Первые четыре книги, по духу того времени, могли быть только компиляцией с предшествовавших авторитетов, и потому Григорий является ответственным лицом только в последних шести книгах, где он собирает сведения от живых лиц или наблюдает сам, а следовательно и вопрос о том, мог ли он прилагать критику к своим источникам, решается утвердительно. В этом отношении Григория упрекают за его наклонность к легендам и вообще к легковерию, с которым он объясняет исторические факты посредством чудесного. Но этот упрек должен быть обращен скорее к его времени, нежели лично к нему. Гораздо более справедливо будет заметить недостаток в Григории определенных и точных познаний относительно случавшегося в соседних государствах, и полное отсутствие критики при изложении их. Но соседи франков были большей частью ариане, и потому легко понять причину легковерия Григория относительно их состояния. Так, например, в истории остготов, передавая нелепую выдумку об отравлении Амалазунтой своей матери, Григорий не только не старается проверить этого слуха,

но еще присоединяет замечание о том, что если бы остготы верили в Троицу, как франки, то Амалазунте не удалось бы отравить матери. Но в отношении истории франков Григорий обнаруживает явную попытку проверить факты критикой; так, например, при вопросе о происхождении франков, хотя автор не был счастлив в своих выводах, но тем не менее старался сопоставить различные мнения и выбрать из них то, которое ему казалось более правдоподобным; самая наклонность к легенде и чудесному значительно уменьшается в произведении Григория Турского по мере того, как он обращается к главному своему предмету; так женитьба Клодовея на Клотильде Бургундской, бывшая, без сомнения, предметом многих легенд, у Григория рассказана без всяких особенных прикрас.

В первый раз «История франков» была напечатана в 1511 г. в Париже; но как это издание, так и все последующие были затемнены трудом бенедиктинца dom Ruinart, который сделал первое точное издание текста, на основании строгого выбора между манускриптами и их проверки (1699, Paris). Издание Руинара служит основанием всем последующим до нашего времени. В знаменитом сборнике dom Bouquet «Scriptores rerum gallic. et francic.» оно только перепечатано (II, с. 75–390). В наше время явилось только одно издание, проверившее Руинара: «Guadet et Taranne», Par., 1836–1837, 2 vols (одно издание текста, другое – перевода на франц., и третье – текста с переводом, 4 vols., 1836–1838). Французский перевод Григория Турского у Гаде и Тараня основывался на переводе Гизо, помещенном им в Collect. de mémoires relatifs a l'histoire de France (весь I том и II, с.1–157). В последующие годы перевод Гизо был издан Жакобом (Jacobs, Alfr.) с поправками и превосходно составленной географией по Григорию Турскому: Grégoire de Tours et Frédégaire, trad. de Guizot; nouvelle édition, entièrement revue et augmentée de la géographe ce ces deux historiens. Par. 1860–61, 2 vols. Из немецких переводов лучший и позднейший Giesebrecht, Zehn Bücher fränkischer Geschichte von Bischof Gregorius von Tours; помещено в дешевом издании Пертца, Die Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit in deutscher Bearbeitung. VI Jahrhund. 4 und 5 Bände. Berl. 1851, с весьма обстоятельной биографией Григория Турского, составленной переводчиком. Монографии: в один год явилось две, а именно: Kries, De Gregorii Turonensis episc. vita et scriptis. Wratislav. 1839; и Löbell, Gregor. von Tours und seine Zeit. Leipzig, 1839. Последнее сочинение пользуется самой большой известностью и может быть названо образцовым по практическим приемам автора и искусству изложения. Ср. Des Françs, Etudes sur Grég. de Tours ou de la civilisation en France au VI siècle. Chambery, 1861 (всего 108 с.).

Прочие вышеупомянутые сочинения Григория Турского изданы тем же Руинаром; из них семь книг о чудесах переведены на французский язык: Les livres des miracles et autres opuscules, trad. par. Bordier. Paris. 1857.

а именно, они разрубили золотой солид пополам, и король взял одну половину с собой, а другую оставил себе его друг, говоря: «Когда я тебе пришлю эту половину, и она придется с твоею, так что вместе составят целую монету, тогда ты можешь возвратиться домой без всякого опасения». Итак, отправившись в Турингию, Гильдерик укрылся у короля Бизина и его жены, Бизины. После же его изгнания франки единодушно избрали своим королем того Эгидия, которого Римская республика (то есть империя), как мы сказали выше, послала в Галлию начальником войска[1]. Эгидий правил у них уже восемь лет, и тогда (467 г.) верный друг Гильдерика, уговорив тайно франков, послал к нему вестников с половинкой солида, которую он хранил. Гильдерик, поняв по известному ему знаку, что франки сожалеют о нем, и получив от них просьбу возвратиться, оставил Турингию, и был восстановлен в своем коро-

[1] То есть франки подчинились римскому правительству.

левстве. Когда они[1] таким образом правили в одно и то же время, Бизина, о которой мы упомянули выше, оставила своего мужа и явилась к Гильдерику. Король заботливо расспрашивал ее, что было причиной такого далекого ее странствования, и, как рассказывают, она отвечала следующее: «Я тебя знала как человека храброго и мужественного, и потому пришла жить с тобою; но да будет и тебе известно, что если бы где-нибудь за морем нашелся человек, более тебя храбрый, то я пожелаю жить с ним». Гильдерик, обрадованный такими речами, вступил с ней в брак. Она родила ему сына (около 470 г.) и назвала его Клодовеем. Это был могучий и храбрый воин.

(Рассказав легенду о рождении Клодовея, Григорий Турский, по обычаю всех летописцев, делает большое отступление и рассказывает жизнь епископов овернских, Венеранда и Рустика, епископов турских, в церкви св. Мартина, Евстахия и Перпетуя, говорит о церкви св. Симфориона, еще прибавляет о жизни епископа Намация и его жены, построившей церковь св. Стефана, о жизни многих других епископов и между прочим о Сидонии Аполлинарии, переходит к делам итальянским и вестготским, и наконец возвращается внезапно к главной нити рассказа, прерванного в предании о рождении Клодовея, переходя таким образом от 470 г. к 481 г.)

После всех этих происшествий Гильдерик умер[2], и ему наследовал сын его Клодовей (481 г.). В пятый год правления Клодовея, Сиагрий, король римлян[3], правил в городе Суассоне, который занимал прежде его отец Эгидий, о котором мы говорили выше; когда Клодовей напал на него, с родственником своим Рагнаром[3] – а этот был тоже король – и предлагал Сиагрию выбрать место для битвы, Сиагрий не уклонялся и без боязни выступил вперед. Обе стороны сразились. Сиагрий, видя, что его армия поколебалась, обратил тыл и поспешно бежал к вестготскому королю Аларику в Тулузу. Клодовей немедленно отправляет послов к Аларику, с требованием выдать Сиагрия, угрожая в противном случае пойти войной на него. Аларик боялся из-за Сиагрия навлечь на себя гнев франков – а готы вообще трусливы – и сдал его в руки посланных, в оковах. Клодовей посадил Сиагрия в темницу, овладел его королевством и приказал тайно убить (486 г.). В это время многие церкви были разграблены войсками Клодовея, потому что он тогда еще был погрязшим в заблуждениях язычества. Неприятель похитил в одной церкви чашу необыкновенной величины и красоты, вместе с другими церковными украшениями. Епископ этой церкви[1] отправляет посольство к королю, прося, если он не может возвратить других священных сосудов, то, по крайней мере, пусть возвратит ту чашу. На слова посланного король ответил: «Иди за мной к Суассону, потому что там будет произведен раздел добычи: и если эта чаша выпадет на мою долю, то я охотно исполню просьбу святого отца». Прибыв в Суассон, король приказал разложить всю добычу посреди своих воинов, и сказал: «Я прошу вас, мои храбрые воины, уступить мне, кроме моей части, по крайней мере, вот эту чашу»,– и он указал на ту, о которой мы говорили. На эти слова более рассудительные отвечали: «Славный король, все, что мы видим здесь, принадлежит тебе, и мы сами подчинены твоей власти; поэтому пусть будет так, как ты хочешь, потому что никто не может противиться твоему могуществу». После того, как они это произнесли, один из воинов, легкомысленный, завистливый и вспыльчивый, закричал громким голосом, поднял свою обоюдоострую секиру и разрубил чашу, говоря: «Ты ничего

[1] То есть Эгидий и Гильдерик; но Лёбель (Greg. v. Tours und seine Zeit, c. 542) полагает, что дело идет о Бизине и Гильдерике.

[2] В своей столице Турнэ; его могила была найдена в 1653 г., и плита ее хранится теперь в Лувре в Париже.

[3] Так называет франкский летописец наместника императоров Сиагрия, сына Эгидия, который, после 476 г., мог справедливо носить подобный титул или, по крайней мере, был тем в глазах франков.

[3] Король франков, живших около Камбре.

[1] По показанию Фредегария (гл. XVI) и Фродоарда, это был св. Ремигий, реймсский епископ.

не получишь, кроме того, что достанется тебе по жребию». Все были поражены, но король с кротким терпением перенес оскорбление, и когда чаша досталась ему, отдал ее посланному от епископа, затаив в сердце обиду. Спустя год, он собрал для военного смотра все свои войска на Мартовских полях[1], где всякий должен был представить свое оружие в наилучшем порядке. Когда Клодовей обходил ряды, то подошел, между прочим, и к тому, который ударил по чаше, и сказал: «Никто не содержит оружия так дурно, как ты, твое копье, меч, секира не в порядке». Вырвав у него из рук секиру, король бросил ее на землю, и когда воин наклонился поднять ее, Клодовей, схватив свою секиру обеими руками, разрубил ему череп, говоря: «Вот как ты поступил с чашею в Суассоне». Человек умер; Клодовей приказал другим удалиться, и этим поступком распространил большой страх вокруг себя. Он много воевал и выиграл много сражений. В десятый год своего правления он силою оружия подчинил своей власти турингов.

Жил в то время Гундевей, король бургундов, одного характера с королем Атанариком (вестготским), этим гонителем веры, о котором мы говорили в другом месте. У него было четыре сына: Гундобад, Годегизель, Гильперик и Годомар. Гундобад убил мечом своего брата Гильперика, приказал бросить в воду, с камнем на шее, жену этого самого Гильперика; потом осудил на изгнание двух их дочерей, из которых старшая, пойдя в монастырь, называлась Кроной, а младшая Кротекильдой[2]. Когда Клодовею приходилось часто отправлять послов в Бургундию, они встретили молодую Кротекильду. Заметив ее красоту и ум и узнав, что она королевской крови, они известили о том короля Клодовея. Король немедленно отправил посла к Гундобаду просить Кротекильду в супружество. Тот, не смея отказать, отдал ее на руки посланным, и они поспешили привести ее к королю. Клодовей был вне себя от радости и женился на ней (493 г.) Он имел уже прежде от одной наложницы сына, по имени Теодорих.

Когда у Клодовея родился от королевы Кротекильды первый сын (494 г.), она, желая, чтобы новорожденный был крещен, неотступно убеждала своего мужа, говоря: «Ваши боги, которым вы поклоняетесь, ничтожны; они не имеют власти ни над собою, ни над другими, и вырублены из камня, дерева или металла. Имена, которые вы им даете, были именами людей, а не богов: так, Сатурн, говорят, спасся бегством, чтобы не быть свергнутым с престола своим сыном; Юпитер, постыднейший виновник всякого распутства, бесчестивший мужчин и женщин, бывших с ним даже в родстве, не воздержался от кровосмешения с сестрой, которая сама называет себя сестрой и женой Юпитера[1]. Что творили Марс и Меркурий[2]? Они скорее обладали волшебным искусством, чем могуществом, приличным божеству. Но тот, кому следует поклоняться прежде всего, одним своим словом сотворил из ничего небо, землю и море, и все, что в них заключается; он заставил солнце светить и украсил небо звездами; населил воды рыбами, землю животными и воздух птицами; он по своей воле украшает поля жатвами, деревья плодами, лозы виноградом; рука его сотворила род человеческий, и, по благости его, всякая тварь должна служить и почитать человека, им созданного». Но хотя королева и сказала все это, душа короля не подвинулась к вере. Он от-

[1] Это было вместе и военным смотром и народным собранием, которое происходило обыкновенно до Пипина Короткого 1 марта, а после него, кроме цели сделать смотр, короли франков на Мартовских полях издавали законы и т. д.

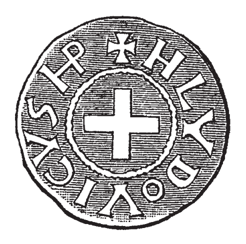
[2] Позднейшая форма: Клотильда.

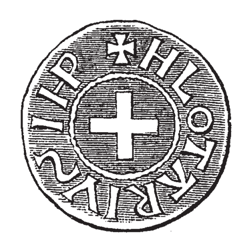
[1] Григорий Турский странным образом влагает в уста Клотильды упреки Клодовею за римскую мифологию, а не германскую, и намекает на соблазнительную историю Юпитера, которая едва ли даже могла быть известна королю франков во всех своих поэтических подробностях, хотя, с другой стороны, Клотильда как принцесса бургундская могла быть хорошо знакомой с римской литературой и знать Вергилия настолько, чтобы сделать ссылку на вышеприведенные слова Юноны у поэта (Верг. Энеида, I, 46).

[2] Говоря о Марсе и Меркурии, Клотильда коснулась наконец германской мифологии, потому что этой латинской формулой обозначали верховных национальных богов Германии: Донара и Одина.




Печати Людовика Благочестивого. Париж. Национальный архив





Монета Людовика Благочестивого и его сына и соправителя Лотаря.
АВЕРС. В поле крест. Надпись по кругу: HLVDOVICVS IMP.
РЕВЕРС. В поле крест. Надпись по кругу: HLOTARIVS IMP

вечал ей: «По воле наших богов все создано и произведено; и ваш бог, очевидно, бессилен, и, что самое главное, всем известно, он даже не из рода богов». Между тем сильная верой королева окрестила своего сына; она приказала украсить церковь завесами и коврами, чтобы блеском легче склонить к вере того, кто не тронулся увещаниями. Новорожденный был окрещен и получил имя Ингомера; но он скоро умер, еще в белых одеждах крещения[1]. Король, опечаленный такою потерей, не упустил случая упрекнуть королеву и с горечью говорил ей: «Если б дитя было освящено во имя наших богов, то наверное осталось бы в живых; но как его окрестили во имя вашего бога, то он и не мог жить». Королева отвечала: «Я благодарю всемогущего Бога, создателя вселенной, за то, что Он не считал меня недостойной видеть плод моего чрева во царствии своем. Моя потеря не огорчила меня: я знаю, что дети, которых Бог берет от мира в белых одеждах, будут наслаждаться его лицезрением». Королева родила вслед за тем другого сына (495 г.), который получил в крещении имя Клодомира. Новорожденный опять заболел, и король говорил: «Иначе и не могло случиться; Клодомир последует за своим братом; его окрестили во имя вашего Христа, он должен немедленно умереть». Но, по воле Господа и молитвам матери, дитя выздоровело.

Между тем королева не переставала проповедовать королю об истинном Боге и отречении от идолов; но ничто не могло привести его к вере, до тех пор, пока наконец не началась война с алеманнами[1], во время которой он по необходимости должен был исповедать то, что до сих пор упорно отвергал. Обе армии, вступив в битву, сражались с ожесточением, и франки были близки к погибели. Видя такую опасность, Клодовей поднял глаза к небу и воскликнул, утопая в слезах, от всего сердца: «Иисусе Христе, ты, которого Кротекильда называет сыном Бога живого, ты, который, говорят, помогаешь находящимся в опасности и даешь победу надеющимся на тебя; с благоговением взываю к твоей небесной помощи. Если ты поможешь мне победить врагов, и если я испытаю на деле твое могущество, которое испытывают народы, верные тебе, то и я уверую в тебя и приму крещение во имя твое. Я взывал к моим богам, но вижу, что они не могут мне помочь; я убежден теперь, что они не имеют власти, потому что не помогают тем, кто им поклоняется. Теперь я взываю к тебе, и в тебя хочу верить. Помоги мне только спастись от моих врагов!» Едва он сказал это, как алеманны дрогнули и побежали; увидев же своего короля мертвым, они подчинились власти Клодовея, говоря: «Остановись, умоляем тебя, избивать наш народ;

[1] То есть на той же неделе: новокрещенный оставался целую неделю в той белой одежде, которую носил при крещении.

[1] В 496 г. На основании слов того же Григория Турского, сказанных мимоходом ниже, эта знаменитая битва происходила при Цюльпихе (Tolbiacum), недалеко от Бонна. По показаниям же одного биографа св. Ведаста, Клодовей после битвы отправился к Тулу, и, следовательно, сражение происходило в верхних частях р. Рейна.

мы твои». Он прекратил кровопролитие и возвратился, заключив мир, по совещании с своими людьми; потом Клодовей рассказал королеве, как, призвав имя Христа, он одержал победу. Случилось же это в пятнадцатый год его правления (496 г.)[1].

Тогда королева тайно призвала святого Ремигия, епископа Реймсского, прося его внушить сердцу короля слово спасения. Святитель пригласил его к себе и начал секретно от других убеждать уверовать в истинного Бога, творца неба и земли, и оставить идолов, которые не могут защищать ни себя, ни других. Клодовей отвечал ему: «Я охотно повиновался бы тебе, святейший отец, но есть препятствие: народ[2], который следует за мной, не потерпит, чтобы оставляли его богов. Потому я пойду к ним и повторю твои слова». Итак, он пошел к своим; но прежде чем он начал говорить, весь народ, при содействии Клодовею божества, воскликнул в один голос: «Благочестивый король, мы оставляем смертных богов, и готовы служить бессмертному Богу, во имя которого проповедует Ремигий». Дали о том знать епископу, и он, вне себя от радости, приказал приготовить священные купели. Улицы были разукрашены разноцветными тканями; церкви обвешаны белыми завесами; приготовили баптистерий; повсюду разливалось благоухание; зажгли благовонные свечи. Бог сподобил такой милости присутствующих, что им казалось, будто они находятся среди благовоний рая. Король просил епископа окрестить его первым. Новый Константин приблизился к купели, которая должна была исцелить в нем древнюю проказу и смыть в новой воде пятна, которые наложены были его прошедшей жизнью. Когда он вошел, чтобы получить святое крещение, то угодник божий начал говорить своими вдохновенными устами: «Склони выю, укрощенный сикамбр[1]; обоготворяй то, что ты истреблял, а истребляй то, что обоготворял». Святой епископ Ремигий был епископ с замечательными познаниями, и в совершенстве изучил красноречие, и по своей святости был столь знаменит, что даром чудес равнялся со Святым Сильвестром. У нас есть и теперь книга[2] о его жизни, где рассказывается, как он воскресил мертвого.

Итак, король, исповедав всемогущество Бога во Святой Троице, был крещен во имя Отца и Сына и Святого Духа, и помазан святым миром, и осенен знаком креста[3]. Таким же образом было крещено более трех тысяч человек из его дружины, так же как и сестра его Альбофледа, которая, спустя несколько времени, отошла к Господу; так как король был опечален ее смертью, то святой Ремигий написал к нему письмо с утешением; оно начиналось так: «Я огорчен и очень огорчен вашею печалью, то есть смертью вашей сестры Альбофледы, блаженной памяти. Но нас может утешать то, что она, оставив мир, достойна более зависти, чем слез». Другая сестра Клодовея, по имени Лантегильда, впавшая в арианскую ересь, также обратилась, признав Сына и Святого Духа равными Отцу, и получила святое помазание.

В это время два брата, Гундобад и Годегизель, правили в стране, которая простирается вдоль Роны и Соны (то есть Бургундия), и в провинции Марсели; они и их народ следовали арианской секте. Братья объявили друг другу войну (500 г.). Годегизель, узнав о победах короля Клодовея,

---

[1] Но южная Алеманния отдалась под покровительство Теодориха Великого; франкам подчинились только части Алеманнии, лежавшие на левом берегу Рейна, и долина Неккара до нижних течений Майна. Последняя страна сделалась с того времени совершенно франкской и даже была известна под именем Франконии.

[2] Во всех подобных случаях выражение «народ» означает собственно дружину, войско.

[1] Сикамбрами называлось одно из колен франкских, жившее на реке Сиге (Sieg), откуда произошло и самое их название. Они были ужасом римлян, и когда в эпоху переселений сикамбры слились с другими коленами и исчезли, их имя сохранялось в народной памяти и сделалось синонимом вообще героя.

[2] Григорий разумеет краткую биография св. Ремигия, приписываемую Фортунату, и которая сохранилась до нашего времени.

[3] Очевидно, Григорий не знал о легенде, по которой голубь в клюве принес μνρο; эта легенда встречается в первый раз в IX веке, у Гинкмара, в его жизнеописании св. Ремигия.

отправил тайно посольство сказать ему: «Если ты мне поможешь в борьбе с братом, так чтобы я мог его убить в сражении или изгнать из королевства, то я буду платить тебе дань, какую ты сам назначишь». Клодовей охотно принял предложение, обещал посылать помощь всюду, где то окажется необходимым, и в назначенное время двинул войско против Гундобада. При этом известии Гундобад, не зная ничего о вероломстве своего брата, послал ему сказать: «Спеши ко мне на помощь, потому что франки идут против нас и нападают на нашу землю, чтоб овладеть ею. Будем единодушны в борьбе с этим народом, нашим врагом, с тем, чтобы разделившись, не испытать участи, которую испытали другие народы». Годегизель отвечал: «Я отправлюсь с моим войском и окажу тебе помощь». Три короля двинули свои войска в одно время, то есть Клодовей пошел против Гундобада и Годегизеля, со всеми боевыми принадлежностями, и достиг крепости Дижона. Там они вступили в бой на берегу реки Уш (Ouche), Годегизель перешел на сторону Клодовея, и они соединенными силами разбили войско Гундобада. Этот последний, узнав о коварстве своего брата, которого он ни в чем не подозревал, обратил тыл, бросился бежать по берегам и болотам Роны, и заперся в городе Авиньоне. Одержав таким образом победу, Годегизель обещал Клодовею часть своего королевства и спокойно удалился; он вступил в город Вьенн с триумфом, как будто бы вся власть находилась в его руках. Король Клодовей, усилив свои войска, начал преследовать Гундобада, чтобы выгнать его из Авиньона, где он находился, и погубить. Гундобад, пораженный ужасом, каждую минуту ожидал смерти. Но с ним был Аридий[1], украшенный титулом illustris (сиятельный), человек храбрый и умный; Гундобад позвал его к себе и сказал ему: «Козни окружают меня со всех сторон; я не знаю, что делать; варвары пришли сюда, чтоб нас убить и опустошить потом всю страну». Аридий отвечал: «Тебе надобно умилостивить жестокость этого человека, чтобы избежать смерти: поэтому я, если ты одобришь мое намерение, притворюсь, будто бы убежал от тебя и желаю перейти на сторону Клодовея; когда же я получу доступ к нему, то буду действовать таким образом, что он не погубит ни тебя, ни твоей страны. Старайся только исполнить все, что он будет от тебя требовать по моему совету, до тех пор, пока Господь, в своей благости, не приведет твоего дела к хорошему концу».– «Я исполню,– сказал король,– все, что ты потребуешь». При этих словах Аридий простился с Гундобадом, желая ему всякого счастья, и, прибыв к королю Клодовею, сказал ему: «Я твой покорный раб, благочестивейший король; я оставил малодушного Гундобада, чтоб предстать пред твое могущество. Если твоя милость удостоит бросить на меня взгляд, то ты и твое потомство будете иметь во мне честного и верного слугу». Король принял его с большим радушием и оставил близ себя, как человека приятного в разговорах, разумного в советах, справедливого в суждениях и верного во всех поручаемых ему делах. Наконец, когда Клодовей подступил со всем своим войском к городу, Аридий сказал ему: «Если слава твоего величия, о, король! соизволит принять с благосклонностью ничтожные советы моей слабости, хотя ты не имеешь надобности в совете, то я поверг бы их на твое благоусмотрение с полною преданностью, и они могли бы быть полезны и для тебя самого, и для городов, на области которых ты желаешь напасть. Для чего,– продолжал он,– содержать армию против неприятеля, который держится в таком сильно укрепленном месте? Ты разоряешь деревни, истребляешь луга, вырываешь виноградники, вырубаешь оливковые деревья, уничтожаешь посевы хлеба в стране, и не можешь между тем нанести ему никакого вреда. Отправь лучше к нему посла, и наложи на него ежегодную дань; таким образом, и страна будет сохранена, и ты будешь иметь всю власть на будущее время над своим данником. Если он откажет, тогда действуй, как хочешь». Королю понравился

[1] Аридий принадлежал к числу тех галло-римских аристократов, которые перешли на службу к варварам-завоевателям, чтобы не потерять своего общественного положения и выгод.

этот совет, и войско франков удалилось по его приказанию; отправив к Гундобаду посла, он потребовал от него ежегодной определенной дани. Гундобад немедленно внес ее и обещал платить на будущее время.

Спустя немного времени, Гундобад, восстановив свои силы, отказался платить королю Клодовею обещанную дань, выступил с войском против своего брата Годегизеля и осадил его в Вьенне. Когда же вследствие того обнаружился у осажденных недостаток в съестных припасах, чувствительный в особенности для простого народа, Годегизель, опасаясь, что дело дойдет и до него, приказал выслать из города всех бедных людей. В числе изгнанных был работник, которому вверен был присмотр за водопроводами. Он, раздраженный тем, что и его выгнали вместе с другими, отправился, в бешенстве, к Гундобаду, и указал ему, каким образом можно проникнуть в город и отомстить брату; сам он повел через водопровод войска, а впереди поставил значительное число людей, вооруженных железными ломами, потому что отверстие было прикрыто большим камнем. Подняв этот камень ломами, под руководством самого работника, они проникли в середину города и очутились в тылу у неприятеля, между тем как осажденные были заняты метанием стрел с вершины стен; при звуке труб осаждающие овладели воротами, отворили их и вторглись все разом. Теснимые войсками с обеих сторон, осажденные были изрублены, а Годегизель убежал в Арианскую церковь, где и был убит вместе с еретическим епископом. Франки, которые находились у него на службе, удалились в одну башню. Гундобад запретил делать им какое-нибудь насилие, и, взяв их в плен, послал в изгнание к королю Аларику, в Тулузу, наперед умертвив сенаторов[1] и бургундов, бывших на стороне Годегизеля; потом он овладел всей страной, которая называется теперь Бургундией[2], и установил для бургундов весьма кроткие законы, с тем, чтобы его народ не угнетал римлян[3].

Гундобад, познав суетность еретических верований и исповедав Христа, Сына Божия и Святого Духа, как равных Отцу, тайно просил помазания у святого Авита, епископа Вьеннского. Святитель сказал ему: «Если ты точно веришь, то должен следовать тому, что преподал нам сам Господь; он сказал: И так, всякого, кто исповедает Меня пред человеками, исповедаю и Я пред Отцем Моим, сущим на небесах. А кто отречется от Меня пред человеками, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим, сущим на небесах[2]. Это же самое он дал уразуметь своим возлюбленным святым, блаженным апостолам, когда объявил им, каким преследованиям будут они подвергнуты для испытания, говоря: «Остерегайтесь людей: ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас. И поведут вас к правителям и царям, за Меня, для свидетельства пред ними и пред язычниками[3]. Но ты, король, который не боится, что тебя возьмут, ты верно трепещешь народного возмущения, когда не решаешься всенародно исповедать Создателя. Оставь эту безрассудную мысль, и то, чему, ты говоришь, веришь, дерзни объявить пред народом, потому что, по словам блаженного апостола: Поелику сердцем веруют, к оправданию, и устами исповедуют, ко спасению[4]. Пророк сказал также: Я буду восхвалять тебя, Господи, среди большого собрания, я восхвалю тебя среди бесчисленного народа[5]. И еще: Я восхвалю тебя, Господи, среди племен и воспою твою славу среди народов[6]. Если ты страшишься народа, о, король! то ты забываешь, что народ должен следовать твоей вере скорее, чем ты должен покровительствовать народному безумию. Если ты отправляешься на войну, то идешь впереди

[1] Senatores – так назывались галло-римские аристократы, потомки древних галлов, заседавших в римском сенате.

[2] Бургундское королевство простиралось от Вогез до Дюрансы и от Альп до Луары.

[3] Lex Gundobada – одно из первых варварских законодательств, в котором положение завоеванных галло-римлян было уравнено с завоевателями.

[2] Матф. X, 32, 33.

[3] Матф. X, 17, 18.

[4] Ап. Павел к Рим. X, 10.

[5] Псал. XXXIV, 18.

[6] Псал. LVI, 9.



Папа Николай I (858–867 гг.).
По фреске из церкви
Сан-Клементе в Риме

своих войск, а они следуют за тобой, куда их поведешь. Таким образом, будет лучше, если они пойдут и к познанию истины, имея тебя впереди, вместо того, чтоб пребывать в заблуждении, погубив тебя; потому что Бога не обманешь[1], и он не обратит своей любви на того, кто для царства земного отказывается исповедать его в этом мире». Гундобад хотя был тронут этим рассуждением, но сохранял свое заблуждение до конца дней, и никогда не хотел всенародно исповедать равенство трех лиц Троицы. Блаженный Авит был в те времена человеком замечательного красноречия; так, когда началась ересь в Константинополе, и когда то Евтихий, то Сабелий[1] утверждали, что Господь наш Иисус Христос не имел ничего божеского, то Авит, по просьбе короля Гундобада, писал против этих заблуждений. У нас сохраняются от этого спора удивительные письма, которые служат и теперь к назиданию церкви, как прежде служили для поражения ереси. Авит написал книгу поучений, шесть книг в стихах о происхождении мира и на различные другие предметы, и девять книг писем, между которыми находятся и те, о которых было говорено выше; в одной проповеди – О днях молитвы – он рассказывает, что те дни, которые мы проводим перед праздником Вознесения Господня, были установлены Мамертом, епископом Вьенны в престольном городе, в котором жил и Авит, по случаю большого числа явлений, которые устрашили город. Там часто случались землетрясения, и дикие звери, как, например, олени и волки, вбегая в ворота, безбоязненно бродили по городу. Так продолжалось это целый год, а когда наступила Пасха, то весь народ в своем благочестии ожидал от божественного милосердия, что, по крайней мере, этот великий день положит конец всеобщему бедствию; а между тем в самую эту великую ночь, когда происходила литургия, королевский дворец, лежавший внутри стен, внезапно был объят небесным пламенем; тогда все, пораженные ужасом, устремились из церкви, опасаясь, что весь город будет пожран огнем или поглощен землею. Святой епископ упал ниц перед алтарем и со слезами и рыданиями умолял Бога о милосердии. Нужно ли прибавлять, что молитва славного святого достигла неба, и потоки слез, пролитые им, угасили пожар? Между тем как все это происходило, приблизился праздник Вознесения Господня, как мы сказали выше; Авит по этому случаю предписал народу пост, установил молитвы, порядок трапезы и щед-

[1] Пос. к Галат. VI, 7.

[1] Сабелий — III в., и Евтихий – V в.

рую раздачу денег. Все ужасы с тех пор прекратились; и слух об этом, распространившийся по всем провинциям, побудил всех епископов подражать тому, что внушила вера Авиту. Установленные им торжества празднуются до сих пор во всех церквах, во имя Христа, с сокрушением сердца и умилением духа.

Аларик, король готов, видя, что король Клодовей беспрестанно покоряет новые народы, отправил послов сказать ему: «Если бы мой брат захотел, то, я думаю, мы могли бы, с помощью Божиею, увидеться друг с другом»[1]. Клодовей не отказывался, и отправился к нему. Встретившись на острове Луары, близ местечка Амбуза, на земле города Тура, они, переговорив, поели, попили, обещали друг другу дружбу и разошлись в мире.

С того времени многие галлы начали сильно желать распространения господства франков[2]. А вследствие того, епископ города Родеца, Квинтиан, был изгнан как приверженец франков; ему говорили: «Вот тебе за твое желание, чтобы владычество франков простиралось над этой страной». Спустя несколько дней, когда возник спор между ним и гражданами, готы, жившие в городе, возымели против него подозрение, потому что граждане укоряли епископа в том, что он желает подчиниться власти франков; по совещании об этом деле, готы составили план убить его; но человек божий, извещенный о том, встал в полночь с самыми верными служителями и, удалившись из города, пришел в Клермон, где ласково был принят епископом, святым Евфразием, который прежде следовал за Апрункулом Дижонским; он наделил Квинтиана домами, землею, виноградниками, и удержал его при себе, говоря: «Дохода с этой церкви будет достаточно для нас обоих; пусть любовь, проповеданная святым апостолом, обитает, по крайней мере, между служителями Бога». Епископ лионский также уделил изгнаннику часть имущества, принадлежавшую его церкви в Оверни. Другие события, относящиеся к святому Квинтиану, перенесенные им испытания, как подвиги, которые Господь удостоил совершить его руками, рассказываются в отдельной книге о его жизни[1].

Король Клодовей сказал, между тем, своим: «Меня крайне печалит то, что эти ариане владеют частью Галлии; пойдем с помощью Божией и, победив их, подчиним страну нашей власти». Когда все одобрили эту речь, король двинул войска (507 г.) и направился к Пуатье, где находился тогда Аларик. Часть франкского войска должна была пройти по землям г. Тура, и Клодовей, из уважения к святому Мартину, запретил в этой стране брать что-нибудь, кроме травы и воды. Один из воинов, найдя сено, принадлежавшее бедному человеку, сказал: «Ведь король приказал не брать ничего, кроме травы? А это именно трава,– заключил он,– и мы не нарушим его повеление, если возьмем себе сено». Сказав это, он прибегнул к насилию и отнял у бедного сено. Дело дошло до короля, и он на месте убил солдата мечом, промолвя: «Как же мы будем надеяться на победу, если кто-нибудь из нас оскорбит святого Мартина?» Этого было совершенно достаточно, чтобы войско воздержалось на будущее время от всякого грабежа в этой стране. Король отправил даже послов в базилику святого, говоря: «Идите, и, может быть, вы получите от святой базилики какое-нибудь предзнаменование победы». Потом, вручив им подарки для святого места, он прибавил: «Господи, если ты мне в этом деле поможешь, и если ты решил передать в мои руки этот неверующий народ, твоего вечного врага, то удостой меня и открой твою благость ко мне при входе в базилику святого Мартина, для того, чтобы я знал, как ты милостив к своему слуге». Послы поспешили, и когда, следуя повелению короля, вошли в базилику, тот, который руководил пением, дал знак запеть следующий антифон: «Господи, ты одел меня силою для брани и подчинил мне тех, которые восставали против

[1] Историки несогласны относительно времени этого свидания. Оно происходило в 506, или 504, или 498 г.

[2] Причины того были религиозные: франки были католиками, а вестготы – ариане.

[1] Григорий Турский ссылается на свое сочинение: «Жизнеописание Отцов», гл. IV.

меня; ты заставил врагов обратить предо мною тыл; и уничтожил тех, которые ненавидели меня»[1]. Посланные, услышав эти слова псалма, воздали благодарение Богу, предложили дары святому исповеднику и, радостные, возвратились дать отчет королю. Король, прибыв с войском к берегам Вьенны, не знал, в каком месте перейти эту реку, которая в то время разлилась, вследствие сильных дождей; но ночью Клодовей молился Господу указать ему брод, где бы он мог перейти; и при рассвете дня лань, росту выше обыкновенного, руководимая Богом, на глазах всех вошла в реку и, перейдя ее вброд, указала народу, где ему пройти. Прибыв к Пуатье, король, находясь еще вдали, из своей палатки, заметил огонь, который, поднявшись от базилики святого Гилария, казалось, направился на него, как будто означая тем, что с помощью наставлений блаженного исповедника Гилария он легче восторжествует над еретическими войсками, против которых этот пастырь часто сражался за веру. Клодовей снова приказал своим никого не грабить ни на месте, ни в походе, и не присваивать собственности чьей бы то ни было.

Жил в то время человек великой святости, аббат, именем Максенций, удалившийся, по страху Господню, в свой монастырь, построенный на земле Пуатье: мы не назвали самого монастыря, потому что он носит и до сих пор имя «кельи святого Максенция»[2]. Монахи этого монастыря, видя толпу приближавшихся солдат, просили аббата выйти из кельи к ним на помощь. Так как он медлил, то монахи, пораженные ужасом, отворили дверь кельи и заставили его выйти. Максенций неустрашимо вышел навстречу неприятелю, как будто с намерением просить мира. Но один из воинов обнажил меч, чтоб отрубить ему голову, и его рука, поднятая уже наравне с ухом, онемела, а меч упал на землю; виновный воин бросился к ногам святого человека, испрашивая у него прощения. При этом другие возвратились поспешно к войску, объятые

[1] Псал. XVIII, 39, 40.

[2] От монастыря это имя перешло и на город St. Maixent.

великим ужасом и боясь быть наказанными смертью. Но блаженный исповедник помазал пораженную руку освященным маслом и, осенив ее знамением креста, исцелил его; а монастырь, по его заступничеству, избавился от всякого насилия. Максенций сделал много и других чудес; если кому любопытно узнать их, он найдет их в книге о его жизни. Был же тогда двадцать пятый год правления Клодовея (506 г.).

Между тем, король Клодовей сразился с Алариком, королем готов, на полях Вуглэ[1], в десяти милях (по нынешнему 2 немец. мили) от Пуатье. Готы сражались дротиками, а франки мечами. Первые, по обыкновению, обратились в бегство, и король Клодовей, с помощью Бога, одержал победу. С ним находился, в качестве союзника, сын Сигберта-Клавдия[2], по имени Клодрик. Сигберт хромал от раны в колене, полученной в сражении против алеманнов под стенами Тольбиака[3]. Король обратил уже в бегство готов и убил короля их, Аларика, как вдруг два воина напали на него и поразили его копьями с двух сторон; но он избегнул смерти, спасенный латами и быстротою коня. Множество овернцев, пришедших с Аполлинарием[4], и знатнейших сенаторов погибло в этом сражении. Амаларик, сын Аларика, убежал в Испанию и мудро управлял королевством своего отца. Клодовей же отправил своего сына Теодориха в Овернь, чрез земли городов Альби и Родеца: он подчинил все эти земли власти отца, от пределов готов до земель бургундов[5]. Аларик правил двадцать два года. Клодовей, простояв зиму в Бордо и захватив с собою в Тулузе все сокровища

[1] In campo Vogladense (Vouglé-sur-le Clain); по другим исследованиям, сражение происходило близ Vivonne, в 507 г.

[2] Короля франков, живших около Кёльна.

[3] Цюльпих, между Бонном и Юлихом.

[4] Сын известного епископа Сидония Аполлинария.

[5] В этой войне Клодовей действовал по плану, составленному Ремигием, епископом Реймсским, и король отдал ему потом отчет в своих действиях. Два любопытных письма, по этому случаю, от Ремигия к Клодовею, помещены в издании произведений Григория Турского, сделанном известным бенедиктинцем dom Ruinat, в 1699 г.

Аларика, подошел к Ангулему и удостоился такой милости от Господа, что стены города распались, в его глазах, сами собою. Тогда он прогнал оттуда готов и подчинил их город своей власти. Довершив таким образом свои победы, он возвратился в Тур, где и одарил щедро базилику святого Мартина (508 г.).

Клодовей получил в это время от императора (Византийского) Анастасия, при грамоте, титул консула, и облеченный в базилике святого Мартина в пурпуровую тунику и хламиду, возложил на свою голову корону[1]; потом, сев на лошадь, он собственной рукой и с большой щедростью раздавал золото и серебро народу, стоявшему по дороге от двора бизилики святого Мартина до городской церкви. С этого дня его называли не иначе, как теми выражениями, которые приличествуют консулу или Августу[2]. Он оставил Тур и прибыл в Париж, где и утвердил резиденцию своего королевства. Вслед затем к нему присоединился и Теодорих.

По смерти Евстахия Турского, епископом этого города был посвящен Лициний, восьмой епископ после святого Мартина. При нем-то и происходила война, о которой мы говорили, и также в его время король Клодовей пришел в Тур. Говорили, что этот епископ был на востоке, посещал святые места, видел Иерусалим и другие места страдания и воскресения Господа, как то описано в Евангелии.

Во время своего пребывания в Париже король Клодовей послал (509 г.) тайно сказать сыну Сигберта[3]: «Твой отец сделался стар и хромает на больную ногу. Если бы он умер, то королевство его перешло бы к тебе вместе с нашей дружбой». Прельщенный желанием достигнуть того, Сигберт задумал убить своего отца. Однажды король, выйдя из Кёльна, переправился за Рейн, чтобы прогуляться в лесу Буконии[2]. В то время, как он отдыхал в своей палатке, сын его подсылает убийц с приказанием убить его, в уверенности после его смерти захватить в свои руки всю власть. Но, по правосудию Господню, он сам попал в яму, которую вражески выкопал своему отцу; а именно, он отправил послов к королю Клодовею сказать: «Мой отец умер, и я овладел его королевством и сокровищами. Пришли ко мне твоих людей, и я охотно отдам им из этих сокровищ все, что тебе понравится». Клодовей отвечал: «Благодарю тебя за твое доброе расположение, и прошу только показать моим послам твои сокровища, а ты оставайся их полным обладателем». Клодерик представил им все сокровища, и когда они рассматривали различные вещи, сказал им: «Вот в этом небольшом ящике мой отец имел обыкновение складывать золотые монеты».– «Опусти,– заметили они,– твою руку на самое дно, чтобы ничего от тебя не укрылось». Он исполнил это, и когда при том очень нагнулся, то один из посланных, подняв руку, вонзил ему в череп секиру; так этот недостойный сын испытал ту же участь, которую приготовил своему отцу. Клодовей же, узнав о смерти Сигберта и его сына, отправился в Кёльн, созвал народ со всей страны и говорил так: «Да будет вам известно, что случилось. В то время как я плыл по реке Шельде, Клодерик, сын моего родственника, беспокоил своего отца, говоря ему, что я ищу его убить. И когда Сигберт убежал в Буконию, он сам послал убийц, которые бросились на короля и, таким образом, умертвили его. Клодерик также погиб, не знаю кем убитый, в то время, как он открывал сокровища своего отца. Что же касается до меня, я совершенно непричастен этому делу. Я не могу проливать кровь своих родственников: это – преступление. Но если все так случилось, то я дам вам совет, которому, если хотите, последуйте: обратитесь ко мне и живите под моею защитою». Услышав такие слова, рипуарские франки, одобрив предло-

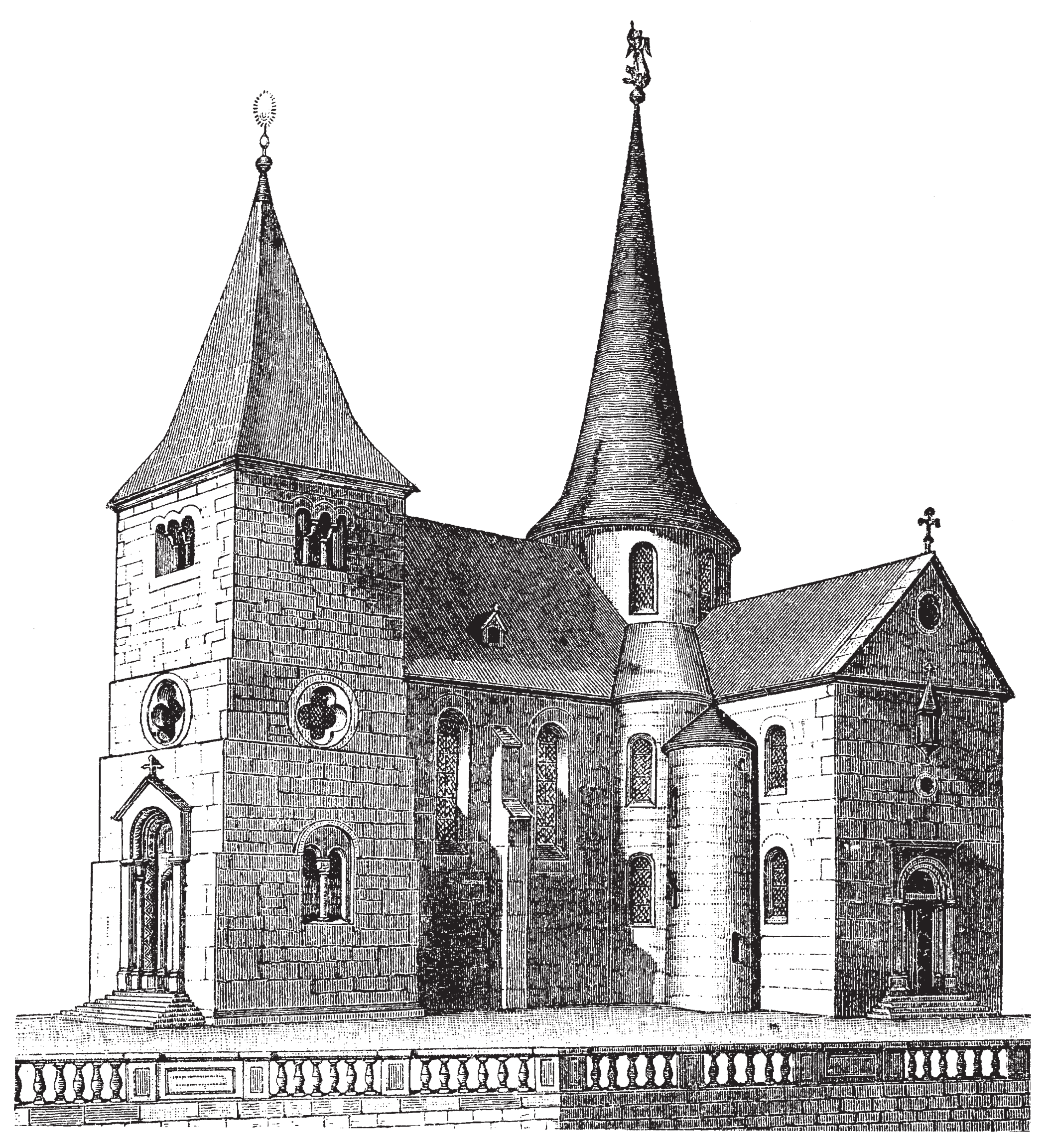
---

[1] В то время Византия имела обычай награждать титулом консула германских королей, как бы в знак своей власти над Западом, и они охотно принимали такую награду, потому что она возвышала их значение в глазах римских подданных.

[2] В прологе к салическому закону Клодовей назван проконсулом, а титул консула встречается только на монетах его преемников; Григорий перевел, очевидно позднейший обычай на старое время.

[3] Короля рипуарских франков, живших по обоим берегам Рейна, на восток от р. Мааса и по крайней мере от Фульды. Столицей был Кёльн.

[2] Buchonia, в Гессене, на Фульде.



Церковь св. Михаила в Фульде. Заложена аббатом Эйгилем в 820–822 гг.

жение криком и шумом оружия, подняли Клодовея на щит[1], в знак признания его королем. Итак, Клодовей, получив королевство и богатства Сигберта, подчинил своей власти и весь его народ. Каждый день Бог повергал к стопам короля его врагов и расширял королевство, ибо Клодовей ходил с сердцем правым пред Господом, и поступал так, как могло быть приятно его очам.

Вслед затем Клодовей обратился против короля Гарарика[1]. Еще во время войны

[1] Меровингские франки не имели такого обычая; у них власть короля была наследственною. См. исследования о том у Лебеля, Greg. v. T. und seine Zeit, с. 224.

[1] Около 509 г. Гарарик, как полагают, был королем одного колена салических франков, живших около Thérouenne, в департаменте Па-де-Кале.

с Сиагрием Гарарик, призываемый на помощь Кловеем, держался в стороне, не приставая ни к кому и ожидая случая заключить союз с тем, кто одержит победу. В отмщение за то, Клодовей напал на него, успел хитростью окружить и взял в плен с сыном; потом, наложив на них оковы, приказал обрезать волосы и сделал Гарарика священником, а сына его диаконом. Когда Гарарик жаловался на такое унижение и плакал, то, рассказывают, его сын сказал ему: «Эти ветви (то есть волоса) были срезаны с зеленого дерева, и не высохли совершенно; скоро они снова вырастут и увеличатся. Дай бог, чтобы тот, кто это сделал, умер так же скоро!» Клодовею показалось это угрозой отпустить себе волосы и умертвить его, а потому он приказал отрубить им головы обоим. После их смерти он овладел их королевством, сокровищами и народом.

В то время (около 509 г.) в Камбре правил король, по имени Рагнар (Ragnacharius), столь порочный, что едва спасались от него самые близкие родственники. У него был советник, некто Фаррон, одинаково погрязший в развратной жизни. Рассказывают, что когда подавали королю какое-нибудь кушанье или приносили подарок, то он имел обыкновение говорить, что это для него и его Фаррона, что раздражало франков. Между тем у Клодовея случились золотые запястья и набедренники – собственно, они были медные, но позолоченные таким образом, что совершенно походили на золотые – он отправил их знатным лейдам[1] Рагнара, чтобы при их помощи занять его место. Затем Клодовей послал против него армию, и когда Рагнар часто посылал соглядатаев и спрашивал их, как велико число войск, то они отвечали: «Это очень большое подкрепление для тебя и твоего Фаррона». Между тем Клодовей приближается и начинает сражение. Рагнар, видя свое войско разбитым, приготовился бежать, но был схвачен своими; они связали ему руки на спину и выдали, вместе с братом его Рикаром, Клодовею. Клодовей сказал ему: «Зачем ты обесчестил свой род, позволив себя связать? лучше было бы погибнуть», – и с этими словами подняв секиру, разрубил ему голову; потом король обратился к Рикару: «Если бы ты помог брату, то, конечно, он не был бы связан»,– и убил его одним ударом секиры. После их смерти те, которые предали Рагнара, узнали, что золото, которое они получили от Клодовея, было поддельное. Рассказывают, что когда они жаловались королю, он отвечал: «Нет никакого греха награждать подобным золотом тех, кто добровольно предает на смерть своего господина»,– и прибавил к тому, что они должны быть довольны и тем, что им оставлена жизнь, и не требовать вознаграждения за измену своим господам. Услышав это, они поспешили снискать его расположение, и уверяли его, что они довольны тем, что им оставлена жизнь. Оба короля, о которых мы говорили, были родственники Клодовея. У них был еще брат, Ригномер, в городе Мане (Mans), но и он был убит по его приказанию. Когда таким образом все погибли, Клодовей овладел их землями и сокровищами. Погубив еще и многих других королей, даже самых близких родственников, из боязни, чтобы они не отняли у него королевства, Клодовей подчинил своей власти всю Галлию. Между тем, собрав однажды своих, он, говорят, с сожалением вспомнил о родственниках, которых сам же погубил: «Горе мне, я остался как странник среди чужой земли, и не имею родственников, которые могли бы мне помочь в случае несчастия!» Но это не значило, что он был опечален их смертью, а говорил так по хитрости, рассчитывая узнать, не остался ли еще кто-нибудь в живых, чтобы умертвить всех до последнего.

Клодовей умер в Париже[1], и был погребен в базилике святых апостолов[2], которую он сам построил, по согласию с королевой Кротекильдой. Он скончался спустя пять

---

[1] Leudes. По мнению проф. Waitz (Deutsche Verfassungsgesch. II, 223), это были дружинники, получившие от короля его землю, под условием верности и службы; а Roth (Geschichte des Beneficialwesens, с. 276) считает ими покоренных жителей.

[1] Ноября 27-го дня 511 г.

[2] Св. Петра и Павла. В X веке эта церковь получила название св. Женевьевы, там погребенной (против нынешнего Пантеона, в Латинском квартале).

лет после битвы при Вуглэ. Если сосчитать все дни его царствования, то оно продолжалось тридцать лет, а жил он сорок пять. От смерти святого Мартина до смерти Клодовея, случившейся в одиннадцатый год епископского служения Лициния Турского[3], считают сто двенадцать лет. По смерти своего мужа королева Кротекильда удалилась в Тур, а там, укрывшись в монастыре святого Мартина, провела остаток дней в добродетели и милосердии, редко посещая Париж.

Десять кн. церковн. истор. франк.: II. 11,12; 27–43.

[3] Григорий Турский ошибается: Лициний был избран в 509 г.

Флодоард

КРЕЩЕНИЕ КЛОДОВЕЯ (около 960 г.)

...Между тем изготовляют переход от королевского дворца до баптистерия; вывешивают полотна, дорогие ткани; украшают дома по обеим сторонам улицы; убирают церковь; умащают баптистерий бальзамическими мазями и наполняют различного рода благоуханиями. Народу, преисполненному Господней благодати, кажется, что он дышет наслаждениями рая. Шествие выходит из дворца: духовенство его открывает с книгами св. Евангелия, крестами и хоругвями, и поет церковные гимны и песни; вслед затем идет епископ, ведя короля за руки; наконец следует королева с народом. Во время шествия, говорят, король спросил епископа, не в Царство ли Небесное, которое он ему обещал, они идут: «Нет,– отвечал прелат,– но это врата, открывающие путь, который ведет туда». Когда они вошли в баптистерий, священник, который нес святой елей, будучи остановлен толпой, не мог приблизиться к святой купели, так что при благословении купели, по предначертаниям провидения, не было святого елея. Тогда первосвятитель поднимает глаза к небу и молча молит небо со слезами. В ту минуту белый, как снег, голубь опускается, неся в клюве склянку, наполненную святым елеем, ниспосланным с неба. Вместе с тем распространяется восхитительное благоухание, которое наполняет присутствующих восторгом, которого они до тех пор не испытывали. Святой епископ берет склянку, кропит елеем воду в купели, и голубь мгновенно исчезает. Вне себя от

ФЛОДОАРД (FLODOARDUS, а по друг. списк. FRODOARDUS; род. в 894 г. (?) в ЭПЕРНО, ум. священником в РЕЙМСЕ, в 966 г.). Один из самых значительных писателей для последующей эпохи истории Франции; замечательный верностью и беспристрастием в своих показаниях относительно ближайших к его жизни событий – оставил после себя: 1) «Historiarum ecclesiae Remensis» libri IV, то есть «Четыре книги истории Реймсской церкви», которая доведена им до 949 г., – лучшее историческое произведение той эпохи и по правильности латинского языка, и по отчетливости изложения. Оно издано у Bouquet, Scriptor, rer. gall. et francic. VIII, c. 154–175. Новейшее издание с франц. перев. сделал Lejeune, 2 vols. Reims, 1854: прежний перевод у *Guizot*. Collect. de mémoires rel. a l'hist. de France, V т. (весь). См. о жизни Флодоарда и его сочинениях у Bähr, Gesch. d. römischen. Literatur im karoling. Zeitalter, c. 274 и след.

От того же автора осталось: 1) «Хроника» (Chronicon) от 919 до 966 г., пользующаяся большим авторитетом; лучшее издание у *Pertz*. Monumenta Germaniae, III, 363–407; отдельное издание текста с французск. перевод.: Flodoardi Chronicon etc. ed. Bandeville, Reims. 1855.– 2) Fragmentum de romanis pontificibus: De Gregorio papa II et de S. Bonifacio doctore et martyre (экзаметром).



Замок и замковая церковь в Кведлинбурге

радости при виде такого великого чуда благодати, король отрекается от сатаны, его суетности и дел, и настоятельно просит крещения. В ту минуту, когда он склоняет голову над источником жизни: «Склони голову со смирением, Сикамбр,– восклицает красноречивый святитель, – обоготворяй то, что ты жег, и жги, что до сих пор обоготворял». По исповедании символа католической веры король три раза погружается в воды купели, и вслед затем, во имя святой и нераздельной Троицы, Отца, Сына и Святого Духа, благочестивый епископ принимает его и освящает божественным помазанием. Альбофледа и Лантекильда, сестры короля, также получают крещение, вместе с 3000 человек из войска франков, не считая множества женщин и детей. Итак, мы можем думать, что этот день был на небе днем радости для святых ангелов, как и на земле люди благочестивые и верные услышали о том с великим восторгом.

Истор. Реймсской церкви, глав. XIII.

Святой Ремигий

ПИСЬМО К КЛОДОВЕЮ (481 г.)

До нас дошла великая новость, что вы счастливым образом получили в свои руки управление военными делами[1]. Но не ново то, что ты начинаешь быть тем, чем были всегда твои отцы. Особенно ты должен действовать таким образом, чтобы Бог не оставил тебя теперь, когда твои достоинства и скромность вознаграждены твоим возвышением на высоту почестей, потому что ты знаешь, как говорят обыкновенно, что по концу судят о действиях человека. Ты должен избрать себе советников, которые придали бы блеск твоему доброму имени, показать себя чистым и честным в управлении твоими бенефициями[1], почитать епископов и всегда прибегать к их советам. Если ты сохранишь согласие с ними, то все пойдет хорошо в твоей провинции[2]. Покровительствуй своим гражданам[3], утешай бедствующих, помогай вдовам, питай сирот, так чтобы все тебя боялись и любили. Пусть из твоих уст исходит справедливость. Не надобно ничего требовать ни у бедных, ни у чужеземцев, и не унижай себя до того, чтобы принимать подарки. Пусть твоя преторня будет открыта всем, и да не выйдет никто из нее огорченным. Все богатства, которые ты получил от своего отца, употреби

[1] Rumor ad nos magnus pervenit, administrationem vos secundum rei bellicae suscepisse. Отец Клодовея, Гильдерик, имел римский титул магистра войск (magister militum), и Ремигий смотрит на Клодовея, как на преемника того звания, которым пользовался его отец.

[1] Земли, уступленные римскими императорами варварам, с условием нести воинские повинности.

[2] Северная Галлия, над которой распространилась его власть как римского военачальника.

[3] Галло-римлян, за которых и ходатайствовал святой Ремигий у Клодовея.

СВ. РЕМИГИЙ (S. REMIGIUS, ST.-REMI, около 438–533 гг.). По услугам, оказанным им распространению католичества в Галлии, называется апостолом франков. Он был в звании епископа г. Реймса с 461 г. и играл весьма важную роль в борьбе Клодовея с вестготами и руководил его действиями; но, к сожалению, до нас дошли самые бедные письменные памятники политической деятельности св. Ремигия; всего несколько писем, собранных знаменитым историком XVII в., историографом Франции при Ришелье Duchesne (или Quercetanus, в переводе его фамилии на латинск. яз., по моде того времени: «Historiae Francorum scriptores coaetanei ab ipsius gentis origine usque ab Philippi IV tempora., cum. epistolis regum. reginarum, pontificum, ducum etc.» Paris. 1636–49. 5 vol. Первый том доходит до Пипина.

на облегчение участи пленных и на освобождение их от ига рабства. Если будет приведен к тебе какой-нибудь странник, не давай ему почувствовать, что он чужеземец. Шути с молодыми людьми, рассуждай о делах со стариками, и если ты хочешь быть королем, то поступай так, чтобы тебя считали достойным того.

Script. Franc., t. I. Изд. Duchesne.

Григорий Турский

МЕЖДОУСОБИЯ ДЕТЕЙ КЛОДОВЕЯ (591 г.)

По смерти Клодовея его четыре сына, а именно: Теодорих, Клодомир, Гильдеберт и Лотарь, овладев королевством, разделили его между собою на равные части[1]. Теодорих имел уже сына по имени Теодеберт, замечательной красоты и отличных качеств. Так как дети Клодовея были сильны своим войском, то Амаларик, король Испании, сын Аларика, просил у них сестру в замужество. Они удостоили его своего согласия и отправили ее в Испанию со множеством драгоценных украшений...

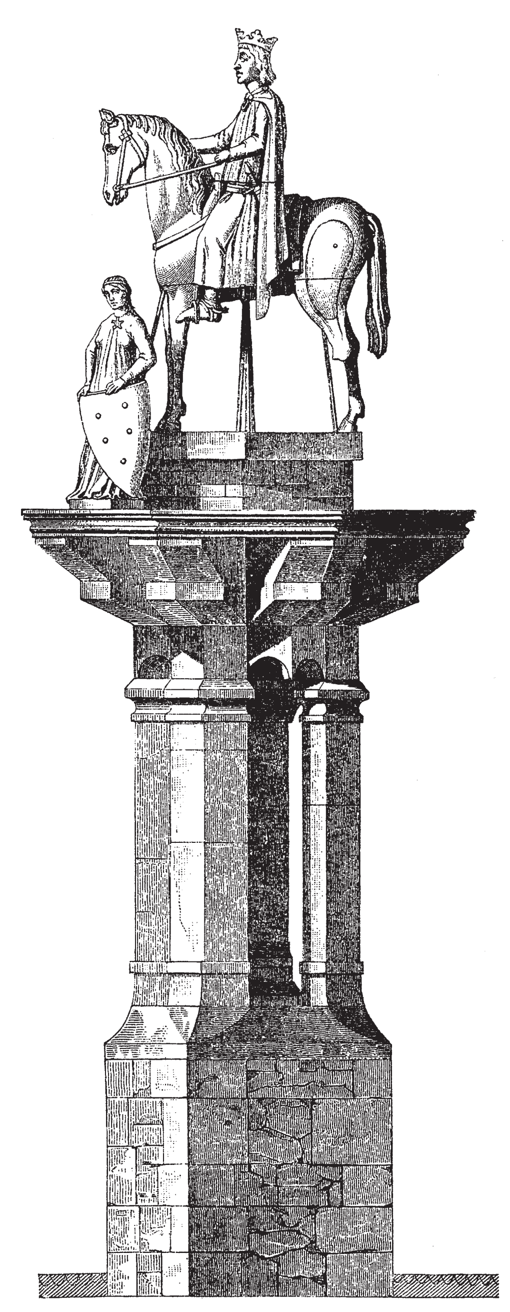
Королева Кротекильда (Клотильда, вдова Клодовея), обратившись к Клодомиру и другим сыновьям, говорила им так: «Любезные дети, если вы не хотите, чтоб я раскаялась в том, что вскормила вас нежностью, то пусть ваше негодование сравняется с моею кровной обидой, и вы приложите ревностное старание к тому, чтобы отмстить смерть моего отца и моей матери»[2]. Они, услышав такие речи, напали на Бургундию, и пошли на ее королей, Сигимунда и его брата Гадомара. Войска бургундские были побеждены, и Гадомар обратился в бегство. Сигимунд же, спасаясь у отшельников Агауна, был схвачен Клодомиром (523 г.) и отведен вместе с женой и детьми в Орлеан, где его заключили и держали пленным. По удалении королей франкских Гадомар сосредоточивает свои силы, соединяет бургундов и овладевает королевством. Тогда Клодомир, вознамерившись идти на него вторично, решился умертвить Сигимунда. Блаженный Авит, аббат в Миси[1], пастырь многоуважаемый в ту эпоху, сказал ему: «Если, обратив свои взоры к Богу, ты изменишь свое намерение, и если не допустишь покуситься на жизнь пленных, то Бог будет с тобою и ты пойдешь на победу; но если ты умертвишь их, то сам попадешь в руки врагов и погибнешь их смертью: с тобою, твоею женой и детьми поступят так, как ты поступишь с Сигимундом, его женою и детьми». Но Клодомир, презирая такое предостережение, отвечал: «По моему мнению, неблагоразумно, идя на одного неприятеля, другого держать в своих руках: оставляя одного в тылу в то время, когда другой нападает с фронта, я могу очутиться между двух неприятелей. Победа достанется легче и будет решительнее, если я отделю одного от другого: умертвив этого, я без труда умерщвлю и того». Вслед затем, умертвив Сигимунда с женой и детьми в Колумне (apud Columnam, ныне деревня Coulmiers, в 18 километрах на восток от Орлеана, где когда-то был колодезь, называемый Puits de St Sigismond; Сигимунд был причислен к лику святых за свою смерть), он приказал бросить их тела в колодезь и отправился в Бургундию, призывая на помощь к себе короля Теодориха (женатого на дочери умерщвленного Сигимунда). Теодорих отказался от права мести за тестя и обещал явиться на войну. По соединении войск обоих братьев при Виронции (ныне Vézérance, на р. Изере), местечке, расположенном на землях города Вьенна, они вступили в бой с Гадома-

---

[1] Теодорих (Thierry) имел свою резиденцию в Реймсе; Лотарь – в Камбре и Турне; Гильдеберт в Париже, и Клодомир – в Орлеане.

[2] В Бургундии правили тогда дети Гундобада, Сигимунд и Гадомар; Гундобад умертвил отца Клотильды Гильперика.

[1] Ныне St. Mémin de Micó, знаменитое аббатство, близ Орлеана.



Конная статуя Оттона I в Магдебурге

ром. Гадомар обратился в бегство, и Клодомир бросился за ним в погоню, не на дальнем расстоянии от своих; но бургунды, подражая воинскому крику франков, звали его к себе: «Сюда, сюда! повороти коня, мы твои!» Он поверил им, обернул коня и попал в самую середину неприятеля, где ему отрубили голову, воткнули ее на пику и подняли в воздух. При виде этого франки, узнав, что Клодомир убит, соединили свои силы, напали на Гадомара, смяли бургундов и покорили всю страну своей власти (524 г.). Лотарь немедленно женился на Гунтеуке, жене Клодомира, своего брата, а вдова Кротекильда, по снятии траура, взяла к себе детей убитого сына: Теодовальда, Гунтара и Клодовальда. Гадомар же снова овладел королевством.

Между тем Теодорих, не забывший вероломства Герминефрида[1], короля турингов, вознамерился идти на него и позвал на помощь брата своего Лотаря, обещая ему часть добычи, если Бог дарует победу (528 г.)... Франки разбили турингов, овладели страной и подчинили ее своей власти.... Но во время еще своего пребывания в Турингии Теодорих вознамерился убить своего брата Лотаря. Спрятав вооруженных людей, он пригласил его к себе как бы для совещания по одному секретному делу. Вооруженные люди были помещены за ковром, протянутым от одной стены до другой; но ковер оказался коротким, и потому из-под него выглядывали ноги убийц. Лотарь, предупрежденный относительно западни, которая его ожидала, явился в сопровождении своих и вооруженный. Теодорих тотчас понял, что его заговор открыт, придумал какую-то басню и начал говорить о разных предметах. Наконец, не зная, как лучше загладить свою измену, он подарил брату большое серебряное блюдо. Лотарь попрощался, поблагодарил за подарок и воротился домой. Но Теодорих начал жаловаться своим, что он напрасно пожертвовал блюдом, и сказал своему сыну Теодеберту: «Пойди к дяде и попроси его уступить тебе мой подарок». Тот пошел и получил желаемое. Теодорих был чрезвычайно искусен в подобного рода хитростях....

[1] Герминефрид незадолго перед тем просил помощи Теодориха против своего брата, но по одержании победы не исполнил условий союзного договора.

Пока Теодорих был в Турингии, разнесся слух по Оверни, что он убит. Аркадий[1], один из городских сенаторов (то есть аристократов галло-римских), пригласил по этому случаю Гильдеберта овладеть страной, и король немедленно отправился в Клермон. В тот день случился столь густой туман, что ничего нельзя было рассмотреть в нескольких шагах. Король часто говорил: «Я хотел бы увидеть своими глазами Овернский лиман, о котором мне говорили, как о самой веселой и восхитительной местности». Но Бог не исполнил его желания. Так как городские ворота были заперты, и не было никаких других средств проникнуть в город, то Аркадий ввел неприятеля, сломав запор у одних ворот. Но вслед за тем пришло известие, что Теодорих здравым возвратился из Турингии. Когда же это известие подтвердилось, Гильдеберт оставил Клермон и отправился в Испанию, где его сестра Кротекильда претерпевала всякого рода мучения, за привязанность к католичеству, от своего мужа, короля Амаларика...

Между тем Лотарь и Гильдеберт, по возвращении своем из Испании, вознамерились напасть на Бургундию. Они пригласили и Теодориха, но этот отказался. Однако франки, повиновавшиеся ему, объявили: «Если ты откажешься идти на Бургундию с братьями, то мы тебя оставим и пойдем за ними». Теодорих же, помня неверность жителей Оверни, отвечал им: «Вы пойдете за мной, и я поведу вас в страну, где вы найдете столько золота и серебра, сколько пожелаете, и где стада, рабы и одежды в изобилии; но не следуйте за ними». Франки, увлеченные такими обещаниями, клялись делать все, что он захочет. Теодорих немедленно начал готовиться к походу, давая несколько раз слово предоставить своим сподвижникам всю добычу и пленных. Между тем Лотарь и Гильдеберт отправились в Бургундию; они осадили Отён и, обратив Гадомара в бегство, покорили всю Бургундию (533 или 534 г.). Теодорих же, явившись с войсками в Овернь, опустошил и разорил всю страну. А Аркадий, виновник преступления, вероломство которого причинило стране такое разорение, убежал в город Буж, который в то время находился в королевстве Гильдеберта.....

Пока все это происходило, королева Кротекильда жила в Париже[1], и Гильдеберт, видя, что его мать сосредоточила всю свою любовь на детях Клодомира, о котором мы говорили выше, стал завидовать и бояться, чтобы, вследствие расположения королевы, они не получили части королевства, и послал тайно сказать своему брату, королю Лотарю: «Наша мать держит у себя сыновей нашего брата, и хочет отдать им королевство. Скорей приезжай в Париж, и мы вместе посоветуемся, как поступить с ними, то есть, обрезать ли им волосы, чтобы сравнять их с народом, или не лучше ли будет убить их и разделить поровну между нами королевство нашего брата?»[2]. Лотарь, обрадованный таким предложением, приехал в Париж. Гильдеберт распустил, между тем, в народе слух, что два короля съезжаются для того, чтобы возвести на престол тех детей. Но когда Лотарь прибыл, то братья приказали сказать королеве, которая жила тогда в этом же самом городе: «Пришли к нам детей для возведения их на престол». Она, исполненная радости и не подозревая коварства, накормила и напоила внучат и отправила их, говоря: «Мне будет казаться, что я не потеряла своего сына, когда увижу, что вы сидите на его месте». Но дети были немедленно схвачены, разлучены со своими служителями и воспитателями, и их отдали всех под стражу, детей отдельно и отдельно служителей. Тогда Гильдеберт и Лотарь послали к королеве Аркадия, о котором мы говорили выше, с ножницами и обнаженным мечом. Когда он пришел к Кротекильде, то показал ей ножницы и меч, говоря: «Что ты предпочитаешь, преславная королева: твои сыновья, наши властители, спрашивают тебя, как ты думаешь относительно тех детей: прикажешь ли им жить с остриженными волосами или

---

[1] Сын знаменитого Сидония Аполлинария.

[2] Ей принадлежала опека над тремя малолетними детьми ее убитого сына, Клодомира Орлеанского.

[2] Из этих слов видно, что дети Клодомира удерживали за собою наследство своего отца.



Оттон I и его супруга Эдита. Статуи в одной из часовен Магдебургского собора

предать смерти?» Королева, пораженная таким вопросом и вне себя от гнева, при виде обнаженного меча и ножниц, отвечала, не дав себе подумать, в припадке горя, которое овладело ею, и сама не сознавая, что она говорит: «Я хотела бы, если их не возведут на трон, скорее видеть их мертвыми, чем остриженными». Но Аркадий, мало обращая внимания на ее отчаяние и не заботясь о том, что она могла бы сказать, обдумав все хладнокровно, поспешно возвратился и передал слышанное им, говоря: «Королева согласна; кончайте ваше дело; она сама дала приказание исполнить намерение». Тотчас Лотарь схватывает старшего за руку, бросает его на землю и с лютостью убивает, вонзая ему нож под мышку. При крике мальчика брат его падает к ногам Гильдеберта и, обнимая его колени, говорит ему со слезами: «Спаси меня, мой добрый отец, чтобы и я не погиб, как мой брат!» Тогда Гильдеберт, с лицом, орошенным слезами, сказал: «Я прошу тебя, мой милый брат, будь великодушен и подари мне эту жизнь; я тебе дам за него все, что ты хочешь; пусть только он не погибнет». Лотарь отвечал ему с яростью: «Или оттолкни его от себя, или ты умрешь за него. Ты, – говорил он, – сам возбуждал меня к этому делу, а теперь обнаруживаешь такую готовность к вероломству». При этих словах Гильдеберт оттолкнул дитя к Лотарю, который, схватив его, поразил его ножом в то же место, как и его брата, и убил. Вслед за тем они умертвили их слуг и воспитателей. После умерщвления детей Клодомира Лотарь сел на лошадь и отправился, не беспокоясь нисколько об убийстве своих племянников; а Гильдеберт удалился в предместье города. Королева положила тела обоих детей в один гроб, и провожала их с большой торжественностью и в глубоком трауре до базилики святого Петра[1], где приказала похоронить их вместе. Один был десяти лет, другой семи. Убийцы не могли поймать третьего брата, по имени Клодовальд: нашлись храбрые люди, которые его спасли. Впоследствии он, презирая царство земное, посвятил себя Господу, остриг сам себе волосы и сделан был клериком. Клодовальд прославил себя добрыми делами и умер священником[1]. Оба короля разделили на равные части королевство Клодомира. Что же касается до королевы Кротекильды, то она обнаружила такое величие, что была уважаема всеми; ревностно подавая милостыню, она посвятила себя благочестивым бдениям и заботилась об одной чистоте нравов и добродетели. Она наделяла церкви, монастыри и святые места всем, что им было необходимо. Она делала благодеяния с таким чистосердечием и усердием, что все смотрели на нее не как на королеву, но как на рабыню Господа, посвятившую себя в целости на служение Ему. Ни королевство детей, ни честолюбие мира, ни богатства не могли увлечь ее своею гордынею на погибель, и через свое унижение она была возвеличена благодатью.

Дес. кн. Церк. ист. франк.: III, 1, 6–12, 18.

---

[1] Ныне церковь св. Женевьевы.

[1] Около 560 г., основал близ Парижа монастырь, в деревне, которая тогда называлась Nogent, и с того времени получила от него наименование Saint-Cloud (ныне дворец).

Григорий Турский

ФРЕДЕГУНДА И БРУНЕГИЛЬДА (591 г.)

Король Лотарь (I)[1], в пятьдесят первый год своего правления (561 г.), отправился в путь для поклонения гробу св. Мартина с большими подарками, приводя себе на память все прегрешения, какие он мог сделать по своей небрежности, и прибыл в Тур. Он умолял с глубокими вздохами блаженного исповедника, испрашивая у Господа помилования за свои грехи и забвения всего, что он совершил по своему неразумию. По возвращении оттуда, в 51-й год своего правления, Лотарь охотился в лесу Кюизе, почувствовав припадок лихорадки, был отвезен в свое поместье в Компиени, и там, жестоко мучимый болезнью, восклицал: «О! что нужно думать о том короле небес, который убивает столь могущественных королей земель!» Его четыре сына перенесли труп в Суассон с великими почестями, и похоронили в базилике блаженного Медара. Лотарь умер, спустя один год и один день по умерщвлении Крамна[2].

Гильперик, после похорон отца, поспешно овладел сокровищами, собранными им в поместье Брень[3], обошел всех могущественных франков и склонил их на свою сторону подарками. Затем он вступил в Париж и овладел резиденцией Гильдеберта; но ему не удалось удержать ее надолго, потому что его братья, соединившись вместе, изгнали его из Парижа, и все четверо, а именно: Гариберт, Гунтрам, Гильперик и Сигберт, разделились между собой. На долю Гариберта досталось королевство Гильдеберта, со столицей Париж; Гунтрам получил королевство Клодомира, со столицей Орлеан; Гильперик – королевство отца Лотаря со столицей Суассон, и Сигберт – королевство Теодориха, со столицей Реймс (561 г.)[1].

По смерти Лотаря на Галлию напали гунны[2]; Сигберт отправил против них армию, и, сразившись с ними, победил их и обратил в бегство; впоследствии король гуннов, отправив посольство к Сигберту, снискал его дружбу. В то время, когда Сигберт был занят войной с гуннами, его брат Гильперик напал на Реймс и овладел другими городами, принадлежавшими его уделу. Вследствие того между ними вспыхнула война, тем более печальная, что она была междоусобной борьбой. Сигберт, возвратившись победителем из похода против гуннов, овладел Суассоном, и, найдя там Теодеберта, сына короля Гильперика, взял его в плен и удалил в изгнание. Потом, выступив против Гильперика, он дал ему сражение, обратил его в бегство и подчинил себе подвластные ему города. Теодеберт же, сын Гильперика, оставался пленником целый год в Понтионе (в Шампани, подле г. Vitrile-Brûlé); будучи милосердным, Сигберт возвратил его отцу живым и здравым, одарив при том подарками; но Теодеберт, дав клятву никогда ничего не предпринимать против него, нарушил впоследствии свою клятву; таковы бывают результаты наших грехов!

Король же Гунтрам, получив, как и его братья, свой удел (то есть Бургундию), отставил патриция[3] Агриколу, возложил это достоинство на Цельза, мужа рослого, широкоплечего, одаренного физической силой, дерзким языком, всегда готового на ответ и искусного законника. Корыстолюбие этого человека доходило до того, что нередко он отнимал имущество церквей и присваивал его себе. Услышав раз, как

---

[1] Лотарь I, сын Клодовея, умертвивший своих племянников и соединивший, в 458 г., по смерти братьев, всю монархию франков.

[2] Chramnus, сын Лотаря I, возмутившийся в Оверни против отца и умерщвленный по его приказанию.

[3] Braine-sur-Vesle – 1 $^1/_2$ мили от Суассона по дороге к Реймсу.

[1] Только столицы остались прежними от первого раздела, но границы были другие; так, например, Тур, принадлежавший прежде Орлеану, теперь достался Парижу.

[2] Под этим именем разумелись тогда авары, прибывшие с берегов Волги и занявшие место древних гуннов.

[3] Так короли бургундские называли своих правителей.

в церкви читали нравоучение из пророка Исайи (V, 8), а именно: «Горе тому, кто к дому присоединяет дом и к земле землю, пока наконец не хватит места», Цельз, говорят, воскликнул: «Вот недобрые слова: горе мне и моим детям!» Он, умирая, оставил сына, который кончил свои дни бездетным и завещал большую часть имущества церквям, которые были ограблены его отцом.

Добрый король Гунтрам избрал сначала своею наложницей[1] Венеранду, служанку одного из своих лейдов, и она родила ему сына, по имени Гундобад. После того он женился на Маркатруде, дочери Магнакара[2], и отправил сына своего Гундобада в Орлеан. Но Маркатруда, родив сама сына, из ненависти к Гундобаду, старалась умертвить его и, рассказывают, приказала отравить его питье. По смерти Гундобада, она, по воле провидения, потеряла и своего сына, и навлекла на себя гнев короля; он удалил ее, и она вскоре умерла. После нее король взял в жены Аустригильду, по прозванию Бабила, от которой он имел сыновей Лотаря и Клодомира.

Король Гариберт взял в жены Ингобергу, от которой он имел дочь, вышедшую впоследствии замуж в Кент[3]. Ингоберга имела в то время в своем услужении двух молодых девиц, дочерей одного бедного человека: одна, по имени Марковьева, носила монашеское платье; другая называлась Мерофледа. Король был к ним весьма расположен, но они были дочерьми, как мы сказали, шерстобоя. Ингоберга, из ревности, призвала этого ремесленника работать у себя, рассчитывая, что вид его внушит королю отвращение к дочерям. Когда он занялся работой, королева позвала мужа. Король, воображая увидеть что-нибудь новое, начал осматривать все и заметил вдали, что их отец чинит сукно. При этом зрелище вспыхнув от гнева, он оставил Ингобергу и взял в жены Мерофледу. Он имел женой еще одну девушку, по имени Теодегильду, отец которой был пастух, то есть овечий сторож, и, как говорят, имел от нее сына, который умер немедленно после рождения.

Во времена этого же короля Леонций (еписк. в Бордо) собрал в городе Сент епископов своей провинции и низложил Эмерия с епископского престола, на том основании, что он удостоился этой чести без соблюдения канонических правил. Действительно, Эмерий был поставлен декретом Лотаря без согласия митрополита[1], находившегося тогда в отсутствии. Когда они его изгнали и выбрали на его место Ираклия, священника в Бордо, подписав собственноручно акт избрания, новый епископ отправился к Гариберту для передачи ему этого акта. Проезжая через Тур, он сообщил блаженному Евфронию о всем случившемся и просил его подписать акт, но божий человек торжественно отказался. Пройдя городские ворота Парижа, священник из Бордо представился королю и сказал ему: «Мой привет преславному королю! Апостольский[2] престол посылает твоей светлости самое щедрое благословение».– «Разве ты был в Риме,– отвечает ему король,– что приносишь нам благословение Папы?» – «Это твой отец Леонций,– заговорил снова посланный,– вместе с епископами своей провинции, шлет тебе приветствие, извещая при этом, что Эмуль (так имели обычай называть Эмерия еще с детства) лишен епископства, потому что он был назначен в город Сент, в противность каноническим правилам. Итак, они препровождают теперь тебе акт нового избрания на его место, дабы преступители канонов были по справедливости наказаны, а могущество вашей власти прошло бы из век в века». Он продолжал еще говорить, но прогневанный король приказал его вывести, посадить в повозку, наполненную терновником, и отправить в заточение, говоря: «Не думаешь ли ты, что у

[1] Франкские короли, несмотря на христианство, держались прежнего обычая иметь наложниц, и духовенство смотрело на то весьма снисходительно, это видно и из того, что Григорий Турский говорит о настоящем случае, как о деле обыкновенном, и не забывает назвать Гунтрама добрым человеком.

[2] Один из значительных франкских герцогов.

[3] Альдеберга или Берта, бывшая за королем Кента, Этельбертом.

[1] Так назывались старшие между епископами.

[2] В то время не один Папа, но и все епископы-митрополиты называли свой престол апостольским.

Лотаря не осталось ни одного сына, чтобы принудить повиноваться постановлениям их отца, и что эти люди могут, без нашего согласия, свергнуть епископа, поставленного его властью?» И вслед затем он восстановил сверженного епископа руками благочестивых людей, отправленных им туда, и послал нескольких из своих приближенных истребовать у Леонция 1000 золотых солидов, а других епископов наказать, каждого по своим средствам. Так наказывается оскорбление, нанесенное князьям.

После того Гариберт женился на Марковьеве, сестре Мерофледы. За это они были оба отлучены от церкви св. Германом; и так как король отказывался оставить ее, то она была сражена по определению Божию и умерла. Вскоре за нею последовал и сам король Гариберт (между 567 и 570 г.). После его смерти одна из его жен, Теодегильда, отправила послов к королю Гунтраму, предлагая ему свою руку. Король отвечал ей: «Пусть она торопится явиться ко мне со всеми своими сокровищами: я возьму ее в жены и возвеличу в глазах народов так, что, живя со мною, она будет пользоваться высшими почестями, нежели как то было с моим братом». Обрадованная таким ответом, она собрала все, что имела, и пустилась с дорогу. Видя это, король сказал: «Гораздо более будет справедливо мне владеть этими сокровищами, чем ей, потому что она была недостойна ложа моего брата». Затем, отобрав у нее большую часть сокровищ и оставив ей безделицы, он отправил ее в монастырь, в Арле. Но она с трудом подчинялась правилам поста и бдения, и тайно обратилась к одному готу, обещая ему, если он согласится увезти ее в Испанию и женится на ней, то она убежит из монастыря со своими богатствами и охотно последует за ним. Она успела уже сложить свои вещи, приготовляясь к бегству из монастыря, но бдительность настоятельницы предупредила ее план и открыла ее намерения: она была жестоко высечена, заперта под стражей, и оставалась там до конца своей жизни в этом мире, подвергаясь великим страданиям.

Король Сигберт, видя, что его братья избирают жен, недостойных себя, и по своему капризу сочетаются браком даже со служанками, отправил посольство в Испанию с богатыми подарками, и приказал просить руки Брунегильды, дочери короля Атанарика. Это была молодая девушка, обходительная, миловидная, благопристойного и скромного нрава, хорошая советчица и приятная в беседах. Отец ее согласился, и послал ее к вышеупомянутому королю с большими сокровищами. Сигберт, собрав своих предводителей и приготовив большой пир, женился на ней, к величайшему своему удовольствию (566 г.). Она исповедовала арианскую веру; но обращенная проповедью епископов и убеждениями мужа, она уверовала и исповедовала блаженную Троицу во едином Боге, получила священное помазание и, сделавшись католичкой, продолжает до сих пор еще пребывать в вере Христа.

Видя это, король Гильдерик, имевший уже многих жен, просил руки Гайлесвинты, сестры Брунегильды, обещая через своих послов оставить других жен, если получит достойную себя руку дочери короля. Отец, взяв с него это обещание, решился послать ему свою дочь точно так же, как и предыдущую, с большими богатствами. Гайлесвинта была старше Брунегильды. Прибыв к королю Гильперику, она была принята им с большими почестями, и соединилась с ним браком. Он даже полюбил ее страстной любовью, и действительно, она принесла ему с собой большие сокровища. Но любовь к Фредегунде, прежней его жене, породила между ними много ссор. Гайлесвинта была уже обращена в католическую веру и миропомазана. Жалуясь королю на то, что она терпит постоянные оскорбления и не пользуется у него никаким уважением, Гайлесвинта просила у него позволения возвратиться в свое отечество, оставляя ему сокровища, которые она принесла с собой. Но король не исполнил этой просьбы под ничтожным предлогом, уговорил ее ласковыми словами, и наконец приказал одному рабу удавить ее. Гильперик нашел Гайлесвинту мертвой в постели. После ее смерти Бог проявил свое могущество в одном чуде. Лампада, которая горела перед ее могилой и висела на шнурке, упала на каменный пол,

вследствие того, что шнурок оборвался, хотя никто не прикасался к ней; при этом пол не обнаружил никакой твердости, так что лампада вошла в него, как в мягкую массу, погрузившись до половины и нисколько не разбилась; всем, бывшим свидетелями этого происшествия, оно показалось большим чудом. Что касается до короля, то, оплакав ее смерть, он опять женился на Фредегунде, спустя несколько дней. После того его братья, возмутившись всем этим, объявили его лишенным власти. Гильперик имел в то время трех сыновей от Авдоверы, своей первой жены: Теодеберта, о котором мы говорили выше, Меровея и Клодовея.

Дес. кн. Церк. истор. франк.: IV, 21–28.

Бэда Преподобный

СВ. КОЛУМБАН И БРУНЕГИЛЬДА (731 г.)

Случилось однажды святому Колумбану явиться к Брунегильде, которая жила в то время близ селения Брокориака (близ г. Autun). Брунегильда, узнав, что он пришел во дворец, привела к святому мужу детей Теодориха[1], прижитых им в незаконном браке. Увидев то, св. Колумбан спрашивает, с какой целью ему представляют этих детей. Брунегильда отвечает на то: «Это сыновья короля; ты укрепи их своим благословением». — «Знай,– говорил Калумбан,– что они никогда не наследуют королевского скипетра, потому что они дети преступной жизни». Брунегильда, придя в ярость от таких слов, приказала немедленно увести детей. Когда святой муж выходил из дворца, то едва он успел переступить через порог, как раздался какой-то удар, потрясший весь дом и наведший ужас на всех; не укротилась одна только ярость той презренной женщины. Брунегильда употребляет против него козни и через нарочных дает приказание ближайшим монастырям не впускать к себе св. Колумбана, не принимать его монахов и не давать им никаких подаяний. Св. Колумбан, узнав, что и король вооружен против него, отправляется к нему, чтобы своими увещаниями переломить его несчастное упорство. Король тогда находился в местечке Списсие. Колумбан прибыл туда перед закатом солнца. Короля известили, что святой муж находится в Писсие, но не хочет остановиться в королевском доме. Теодорих на это отвечал, что лучше оказать все почести святому мужу, наделить его приличными подарками, чем накликать на себя гнев Господа оскорблением его слуг. Затем король приказывает приготовить все необходимое для принятия раба Божия с королевскими почестями, и все это отправить к нему. Посланные явились к Колумбану и, согласно повелению Теодориха, поднесли ему все посланное королем. Заметив, что ему подают кушанья и напитки с королевскими почестями, он спросил, что все это значит? Ему говорят, что все это посылает ему король. Оттолкнув от себя с отвращением поданное ему, Колумбан воскликнул: «Написано, что Всевышний отвергает дары нечестивых, ибо недостойно осквернить уста слуг божиих пищей, посланной человеком, который закрывает им двери не только в своем, но даже и в чужих домах». Сказав это, он разбил вдребезги всю посуду, вылил вино, бросил еду на пол и все другое разбросал. Испуганные слуги рассказали о происшедшем королю, и им овладел страх: вместе со своей бабкой, на рассвете, он отправляется к божьему человеку; оба они просят прощения за свои поступки и обещают впредь исправиться. Успокоенный этими обещаниями, св. Колумбан возвратился в монастырь. Но обещанное исполнялось недолго; оно было скоро нарушено, постыдные поступки следовали один за другим; и король продолжал предаваться обычному распутству. Узнав о том, блаженный Колумбан отправил

[1] То есть правнук Брунегильды: Теодорих был внук Сигберта и правил с 596 до 613 г., по смерти своего отца Гильберта.

к королю послание, полное горьких упреков, и угрожал отлучением от церкви, если он замедлит исправлением. Это привело в негодование Брунегильду. Она старается всеми силами вооружить короля против блаженного Колумбана; уговаривает придворных вельмож (proceres aulicos) и всех знатных (optimates) содействовать ей к возбуждению гнева короля против божьего человека. Она понуждает и епископов, чтобы они, поколебав славу его благочестия, осуждали написанный им устав, которому он подчинил своих монахов. Придворные повиновались презренной королеве и начали возмущать короля против божьего человека. Они настаивали, чтобы король приступил к рассмотрению его устава. Уступая таким настоятельным просьбам, король отправился к божьему человеку в Луксовию (ныне Luxeuil, в депар. Haute-Sâone) и спросил: почему он уклоняется от обычая своих собратий и не всех христиан допускает в свою среду, замкнувшись в своей ограде? Блаженный Колумбан, как муж смелый и сильный духом, ответил королю, говоря, что у него нет обычая людям светским и чуждым благочестия открывать доступ внутрь жилищ слуг божиих, но что у него устроено особое помещение, где удобно можно принимать всех приходящих. На это король отвечал: «Если ты хочешь пользоваться дарами нашей щедрости и получать от нас вспомоществование, то устрой так, чтобы везде в монастыре твоем был открыт доступ для всех». На это божий человек возразил: «Если ты хочешь нарушить то, на что до сих пор наложена была узда монастырской дисциплины, то будь уверен, что не достигнешь своей цели ни твоими вспомоществованиями, ни подарками, какие бы они ни были. И если ты пришел сюда для того, чтобы разрушить убежище слуг господних и осквернить монастырский устав, то знай, что в таком случае твое королевство разрушится до основания и погибнет вместе с твоим родом». Потом оказалось, что король действительно имел такое намерение и уже вошел с этой целью в столовую, но, устрашенный теми речами, вернулся назад. Человек божий жестоко порицал короля за его намерение, так что этот ему возразил: «Не думаешь ли ты, что я возложу на тебя мученический венец? Нет,– продолжал король,– я не дойду до такого безрассудства, чтобы совершить подобного рода преступления; я желаю только того, что мне кажется разумным и полезным. А так как ты уклоняешься от наших обычаев, то можешь себе идти туда, откуда пришел». Его придворные единогласно прибавили, что они не хотят иметь в стране своей человека, который не хочет соединяться с другими. В ответ на это блаженный Колумбан сказал, что он выйдет из ограды монастыря, разве только в том случае, если его изгонят силой. Затем король вышел из монастыря, оставив там одного из своих придворных, по имени Бадольф, который выгнал божьего человека из монастыря и удалил в изгнание в окрестности города Везоциона (Vesotio или Vesontio, ныне Безансон), где он оставался там до тех пор, пока король не решил окончательно этого дела.

Жизнь св. Колумбана, XIX и XX в.

КОММЕНТАРИЙ. «Жизнеописания святых», а между прочими и жизнь св. Колумбана, только приписываются Бэде, но стоят в каталоге тех его сочинений, в подлинности которых ныне сомневаются, и потому текст их можно найти в одних старых изданиях Бэды, как, например, в кельнском, 1688 г. Бэде несомненно принадлежат только жизнеописания св. Феникса, Кутберта и Анастасия, потому что он сам указывает на них. Св. Колумбан родился около 540 г., в Ирландии, и умер в Италии в 615 г. Оставя родину, он переселился во Францию и в 590 г. основал там монастырь в Люксейле. Изгнанный Брунегильдой, Колумбан удалился в Женеву, а оттуда в Италию, где и основал монастырь Боббио, в Сардинии, на северо-востоке от Генуи. Св. Колумбан оставил после себя знаменитый устав, которым долго руководились монастыри во Франции, и текст которого можно найти в полном издании его сочинений: изд. Sirmin, 1667 г.– Настоящим автором жизни св. Колумбана считают одного из ближайших его современников, монаха монастыря Боббио, Иону, который поселился там в 618 г., три года спустя после смерти основателя. Из монографий о Колумбане замечательны: 1) Smith. Life of Colomba, etc. Edinb. 1798; 2) Knottenbelt. Disputatio historica-theologica de Columbano. Lugd. Bat. 1839; 3) Gianelli. Vita di S. Colombano etc. Torin. 1844.

Августин Тьерри

О ПЕРВОЙ ЭПОХЕ МЕЖДОУСОБИЯ ДЕТЕЙ ЛОТАРЯ I ДО СМЕРТИ СИГБЕРТА (1840 г.)

Вскоре по смерти Лотаря I и разделении его четырьмя сыновьями Галлии между собой (561 г.), двое из них, Сигберт Австразийский и Гильперик Нейстрийский, женились на двух сестрах, Брунегильде и Гайлесвинте, дочерях вестготского короля Атанарика (см. выше у Григория Турского). Но Гильперик, по проискам своей наложницы Фредегунды, приказал умертвить Гайлесвинту, и таким образом вызвал родовую месть со стороны ее сестры Брунегильды и мужа ее, Сигберта. Междоусобия продолжались через несколько поколений и окончились гибелью большей части Меровингов и соединением Галлии в руках уцелевшего из них Лотаря II, потомка Фредегунды. Первая же эпоха междоусобий охватывает время от умерщвления Гайлесвинты до убийства Сигберта (567–575 гг.).

У франков и вообще у всех народов германского племени, когда совершалось какое-нибудь убийство, ближайший родственник убитого немедленно назначал съезд всем своим родным и союзникам, призывая их, именем чести, явиться с оружием, потому что с той минуты начиналась война между убийцей и всеми, кто был соединен с жертвой какими-либо узами родства. Как муж сестры Гайлесвинты, Сигберт считал себя обязанным к мести. Он отправил гонцов к королю Гунтраму, который, нимало не сомневался в выборе между двумя враждующими сторонами, пристал к стороне обиженной, быть может, из повиновения народным обычаям, или потому, что отвратительное преступление короля Гильперика изгоняло его из семьи. Вслед затем была объявлена война (568 г.), и начались враждебные действия, хотя не с одинаковой ревностью со стороны двух братьев, восставших на третьего. Сигберт, возбуждаемый местью жены своей, Брунегильды, имевшей над ним неограниченную власть и внезапно обнаружившей свой в высшей степени пылкий характер, хотел биться до последней крайности; он не отступал даже от мысли о братоубийстве. Но Гунтрам, по христианскому ли чувству, или по свойственной ему слабости воли, скоро изменил свою роль союзника на роль посредника. Просьбами и угрозами он принудил Сигберта не быть судьей в своем деле, а законным порядком созвать миролюбиво народ, и ждать его приговора.

Действительно, по закону франков, или, лучше сказать, по народным их обычаям, всякий, кто считал себя обиженным, мог избирать или частную войну, или общественный суд; но лишь только приговор был произнесен, война становилась уже незаконной. Судебное собрание называлось mâl, то есть, свет. Чтоб иметь право участвовать в нем, надлежало принадлежать к разряду поземельных владельцев или, по германскому выражению, к числу почетных мужей, ариманов (arimans)[1]. В большем или меньшем числе, смотря по роду и важности предстоящих дел, судьи являлись в собрание в полном вооружении и, не покидая оружия, усаживались на скамьях, расставленных в кружок. До перехода через Рейн и покорения Галлии франки производили суд на открытом воздухе, на холмах, освященных древними религиозными обрядами. Приняв, после своего завоевания, христианство, они оставили этот обычай, и mâl созывался королями или графами в каменных или деревянных строениях; но, несмотря на такую перемену, место заседаний сохранило название, данное ему прежде в языческой Германии; по старому его продолжали называть на древнегерманском языке, Мальберг, Гора Совета[2].

Когда воззвание, обнародованное в трех франкских королевствах, объявило, что через сорок ночей (таково было принятое в законах выражение) король Гунтрам соберет торжественный сейм для примирения

[1] Этот класс людей, в законах и публичных актах, называется также: Rachimburgii, Racimburdi (Rerinburghe), сильная порука.

[2] Malbergum, Mallobergum, Mallebergium – locus judicii. – Ducange Glossar.

королей Гильперика и Сигберта, то важнейшие вожди и богатые владельцы прибыли со своими дружинами в назначенное место. Открылся торжественный суд, о подробностях которого современные писатели не упоминают; но приблизительно их можно восстановить по различным постановлениям, актам и судебным формулам. Из них не трудно, по аналогии, извлечь следующие факты, правда, только предполагаемые, но которые до некоторой степени могут дополнить пробел исторических свитедельств.

Когда все собрались, король Гунтрам занял место на высоком кресле, а прочие судьи сели на простых скамьях, каждый с мечом при бедре и служителем, стоявшим позади со щитом и копьем его. Призванный как истец, первый явился король Сигберт, и от имени жены своей, королевы Брунегильды, обвинил Гильперика в умышленном участии в убиении Гайлесвинты, сестры Брунегильды. Срок в четырнадцать ночей дан был обвиняемому, чтобы он явился в свою очередь и клятвенно оправдался.

Законы франков требовали, чтобы такая очистительная клятва подтверждена была известным числом свободных людей: шестью в случаях маловажных и семьюдесятью двумя в делах более значительных или по важности фактов, или по высокому званию подсудимых. Обвиняемый должен был явиться посреди круга, обставленного судейскими скамьями, в сопровождении всех тех, которые должны были произнести с ним клятву. Тридцать шесть человек становились по правую и тридцать шесть по левую его руку; после того, по требованию главного судьи, он обнажал меч и клялся оружием в своей невинности; тогда свидетели, разом обнажив свои мечи, приносили на них ту же клятву. Никакое свидетельство, ни в древних хрониках, ни в современных актах, не дает повода думать, чтобы Гильперик старался оправдаться судебным порядком в преступлении, в котором его обвиняли; по всем вероятиям, он предстал один перед собранием франков и сел, не сказав ни слова. Сигберт встал и трижды сказал судьям: «Скажите нам закон салический». Потом он молвил в четвертый раз, указывая на Гильперика: «Я требую от вас сказать ему и мне то, что предписывает закон салический».

Такова была установленная форма для требования суда с противником, уличенным собственным своим признанием; но в настоящем случае ответ на такое требование мог быть дан только после продолжительных прений, потому что дело шло о преступлении, к которому общий закон франков можно было применить только по аналогии. Для предупреждения или, по крайней мере, для скорейшего окончания частных распрей, закон этот постановлял, что, в случае убийства, виновный должен заплатить наследникам убитого известную сумму денег, соразмерную с его званием. За домашнего раба платили от пятнадцати до тридцати пяти золотых солидов, за лейда из варваров или за галло-римского данника — сорок пять солидов, за римлянина-владельца — сто солидов, и вдвое за франка или всякого другого варвара, подчиненного салическому закону[1]. В каждом из этих разрядов пеня утраивалась, если убитый, раб или крепостной, римлянин или варвар, непосредственно зависел от короля, как слуга его, как вассал, или как человек, занимавший какую-либо общественную должность. Таким образом, за королевского поселянина платили девяносто золотых солидов; триста за римлянина, допущенного к королевскому столу, и шестьсот солидов за варвара, украшенного почетным титулом или состоявшего в дружине, antrusti, то есть, королевского наперсника.

Пеня эта, по уплате которой виновный избавлялся от дальнейшего преследования и мести, называлась на германском языке вер-гельд, wehr-geld, охранная плата, а на латинском: композиция, compositio, то есть умирение, потому что она прекращала войну между обидчиком и обиженным. За убийство лиц королевского сана не было установлено вер-гельда; в этом тарифе человеческой жизни они стояли вне и выше

[1] По новейшей оценке Геррара (Guerard), в его «Записке о монетной системе франков, при королях первых двух династий» (Revue de la Numismatique française, novembre et décembre 1837) золотой су, или солид, которого действительная цена была в 9 фр. 28 сант., равнялся нынешним 99 фр. 53 сант.

всякой принятой законом оценки. С другой стороны, варварские обычаи некоторым образом давали князьям право на человекоубийство; и вот почему не распространив, посредством толкований, значения салического закона, нельзя было ни определить, что предписывалось им в деле, возникшем против короля Гильперика, ни назначить пеню, которую следовало уплатить родственникам Гайлесвинты. Не имея возможности с точностью судить по закону, собрание поступило по собственному произволу и произнесло приговор почти в следующих выражениях.

«Вот приговор преславного короля Гунтрама и благородных мужей, заседающих в Маль-Берге. Города Бордо, Лимож, Кагор, Беарн и Бигор, которые Гайлесвинта, сестра наипревосходнейшей госпожи Брунегильды, по прибытии своем в землю франков, получила, как ведомо всякому, в *утренний дар*, вдовий участок перейдут от сего дня во владение королевы Брунегильды и ее наследников, дабы, чрез посредство таковой пени, восстановлен был отныне мир божий между преславными государями Гильпериком и Сигбертом»[1].

Оба короля подошли один к другому, держа в руке небольшие древесные ветви, которыми обменялись в знак честного слова, данного взаимно, одному – не покушаться возвращать того, что утратил он, по приговору народа, другому – не требовать ни под каким предлогом большего вознаграждения. «Брат, – сказал тогда австразийский король, – дарую тебе впредь мир и безопасность за смерть Гайлесвинты, сестры Брунегильды. Отныне тебе нечего бояться ни жалоб моих, ни преследований, и если, чего избави Боже, случится, что ты будешь потревожен или мною, или моими наследниками, или кем-либо другим от их имени, или снова будешь призван в совет за реченное убийство для уплаты мне вознаграждения, то да будет нынешняя вира вдвойне возвращена тебе»[2]. Собрание разошлось, и оба короля расстались, по-видимому, примиренные (569 г.).

[1] Greg. Turon., Hist. Franc. т. II с. 344. (Script. rer. gall. et. francic.).

[2] Marculfi formul., apud. Script. rer. gallic. et. franc., т. IV, с. 495 и 512.

Но король Гильперик никак не мог сродниться с мыслью, что он должен повиноваться решению суда в удовлетворение за обиду; напротив того, он надеялся возвратить со временем свои города или вознаградить себя на счет владений Сигберта. Этот замысел, созревший и хранимый в тайне в продолжение почти пяти лет, внезапно обнаружился в 573 г. Гильперик, не имея точного понятия ни о положении, ни об относительной важности городов, об утрате которых сетовал, знал, однако, что Беарн и Бигор были самые незначительные и самые отдаленные от центра его владений. Размышляя о средствах возвратить силой то, что было уступлено против воли, Гильперик нашел, что план его завоевания будет и удобнее в исполнении и выгоднее, если взамен двух небольших городов, лежавших близ подошвы Пиренеев, он приобретет города Тур и Пуатье, обширные, богатые и совершенно ему сподручные. С этой мыслью он собрал в принадлежавшем ему городе Анжере войско и вверил над ним начальство Клодовею, младшему из трех сыновей от Авдоверы, первой своей жены.

Без всякого предварительного объявления войны Клодовей пошел на Тур. Несмотря на укрепления этого древнего города, он вступил в него без сопротивления, потому что Сигберт, так же как и оба других короля, содержал постоянный гарнизон только в городах, где сам имел пребывание, а граждане, большей частью галльского происхождения, мало думали о том, которому из франкских королей должны они повиноваться. Овладев Туром, сын Гильперика направился на Пуатье, который также скоро отворил перед ним свои ворота. Здесь Клодовей утвердил свою главную квартиру, стоя в центре между Туром и городами Award Лиможем, Кагором и Бордо, завоевать которые ему еще предстояло[1].

Узнав о том неожиданном нападении, король Сигберт отправил гонцов к брату своему Гунтраму, прося его помощи и со-

[1] Greg. Turon., Hist. Franc. II. 227.

вета. Участие, которое Гунтрам принимал шесть лет тому назад в примирении двух королей, казалось, возлагало на него в отношении к ним некоторую обязанность судьи, право взыскания с того, кто не сдержал данного слова и нарушил приговор народный. С этой мыслью, согласной, впрочем, с наклонностью к справедливости, составлявшей особенную черту его характера, он взял на себя труд усмирить враждебное покушение Гильперика и принудить его снова подчиниться условиям раздельного трактата и приговора франков. Не делая нарушителю клятвенного мира, ни представлений, ни предварительного вызова, Гунтрам отправил против Клодовея войско под предводительством лучшего из своих военачальников, Эония Муммола, родом галла, мужеством равного храбрейшим из франков, но превосходившего всех их воинскими дарованиями.

Муммол в то время только что поразил в нескольких битвах и оттеснил даже за Альпы лангобардов, которые, владея севером Италии, покушались проникнуть в Галлию и грозили завоевать области, лежавшие близ Роны. Он двинулся из Шалона-на-Соне, столицы Бургундского королевства, с быстротой, уже стяжавшей ему победы, и пошел на город Тур по дороге через Невер и Бурж. При его приближении молодой Клодовей, возвратившийся в Тур с намерением выдержать там осаду, решился отступить и, в ожидании подкреплений, занял удобную позицию на пути в Пуатье, неподалеку от этого города. Между тем турские граждане миролюбиво приняли галло-римского предводителя, занявшего город именем короля Сигберта. Чтобы на будущее время они были менее равнодушны к политическим событиям, Муммол заставил всех их присягнуть на верность. Если воззвание его к епископу и турскому графу было согласно с другими подобного рода актами, то все горожане и жители городского округа, римляне, франки и всякого иного племени, получили приказание собраться в епархиальную церковь и произнести перед святыней клятву в том, что в совершенной чистоте, как истые лейды, они пребудут верными государю своему, преславному королю Сигберту.

Между тем поджидаемое Клодовеем подкрепление прибыло в его стан близ Пуатье. Оно состояло из толпы, собранной в окрестностях и предводимой Сигером и Василием; первый был франк, второй римлянин, оба усердные сторонники короля Гильперика и сильные по своему богатству. Войско это, многочисленное, но неустроенное, состоявшее большей частью из поселян и крестьян, образовало авангард нейстрийской армии и первое сразилось с воинами Муммола. Несмотря на свое мужество и даже ожесточение в битве, Сигер и Василий не могли преградить пути к Пуатье величайшему или, лучше сказать, единственному тактику того времени. Атакованные с фронта и флангов, они с огромной потерей были опрокинуты на франков Клодовея, которые тотчас же обратились в бегство и рассеялись. Оба предводителя были убиты в сумятице, и сын Гильперика, не имея при себе довольно войска для обороны Пуатье, бежал по дороге в Сент (Saintes). Овладев после такой победы городом, Муммол счел поручение свое оконченным, и, заставив граждан, подобно тому, как в Туре, присягнуть на верность королю Сигберту, возвратился в королевство Гунтрама, не удостоив преследованием нейстрийцев, бежавших в малом числе за сыном своего короля.

Клодовей не заботился о сборе своих рассеянных войск и о возвращении в Пуатье; но боясь встретить преграду к отступлению на север или, может быть, из юношеской удали, вместо того, чтобы двинуться к Анжеру, продолжал следовать в противоположную сторону и направился к Бордо, одному из пяти городов, которыми овладеть было ему приказано. Он явился у ворот этого большого города с горстью людей, плохо вооруженных, и на первый вызов его от отцовского имени городские ворота перед ним растворились; факт удивительный, из которого ясно открывается правительственное бессилие королевской власти Меровингов. В таком большом городе не нашлось довольно войска для защиты прав королевы Брунегильды и верховной власти короля Сигберта от толпы беглецов, бездомных и изнуренных: сын Гильперика мог беспрепятственно водвориться в нем

полным властителем и занять со своими людьми палаты, принадлежавшие в то время фиску, а когда-то составлявшие собственность императоров, доставшуюся королям германским вместе с наследием Цезарей.

Молодой Клодовей почти уже месяц жил в Бордо, величая себя победителем и представляя собой вице-короля, когда герцог Сигульф, один из охранителей пиренейской границы, или мархии, осмелился сделать на него нападение[1]. Эта граница, которую должно было оборонять от готов и басков, вся принадлежала австразийскому королю, и от его имени сделано было воззвание по обоим берегам Адура. Некоторые указания, почерпнутые из последующих фактов, дают повод думать, что, не желая оставить без войск свои укрепления, герцог, или, как говорили на германском языке, маркграф[2], призвал к ополчению всех жителей той страны; охотники, пастухи и дровосеки, почти столь же дикие, как соседи их, баски, заодно с которыми они часто грабили купеческие караваны, налагали дань на небольшие города или противились франкским правителям. Те из горцев, которые отозвались на призыв австразийского вождя, явились на сборное место, кто пеший, кто конный, с обычным своим оружием, то есть, в охотничьей одежде, с рогатиной в руке и с трубой или рогом через плечо. Предводимые маркграфом Сигульфом, они вступили в Бордо, ускоряя ход, чтобы напасть внезапно и направляясь к той части города, где были расположены нейстрийцы (573 г.).

Внезапно настигнутые превосходящим по силам неприятелем, нейстрийцы успели только вскочить на коней, посадить на лошадь своего принца и, окружив его, умчаться с ним по направлению к северу; но враги с ожесточением пустились их преследовать, одушевляемые надеждой захватить в плен королевского сына и истребовать за него богатый выкуп, или, может быть, увлекаясь побуждением народной ненависти к франкскому племени. Для взаимного поощрения к погоне, или чтоб устрашить беглецов, или просто от разгула южной веселости, они трубили на бегу в охотничьи рога и трубы. Целый день, припав к гриве своего коня и побуждая его шпорой, Клодовей слышал за собой звуки рогов и клики охотников, гнавшихся по его следам, как в лесу за оленем. Но к вечеру, по мере того, как становилось темнее, погоня постепенно замедлялась, и вскоре нейстрийцы могли продолжать путь свой не торопясь. Так возвратился юный Клодовей на берега Луары, к стенам Анжера, из которого недавно вышел, предводя многочисленным войском.

Такой ничтожный конец похода, столь дерзко предпринятого, навел на душу Гильперика мрачную и яростную досаду. Не одна корысть, но и оскорбленная гордость побуждали его отважиться на все, лишь бы только возвратить свои завоевания и отвечать на вызов, который, казалось, ему сделали. Решась блистательно отомстить за оскорбление своей чести, он собрал на берегах Луары войско, гораздо многочисленнее первого, и вверил над ним начальство Теодеберту, старшему из своих сыновей.

Осторожный Гунтрам рассудил на этот раз, что вторичное вмешательство с его стороны будет, по всей справедливости, бесполезно для примирения братьев и, конечно, разорительно для него. Отказавшись от посредничества, он распорядился так, что в случае неудачи мог остаться в стороне и не мешаться в распрю. Заботу о примирении обоих королей он возложил на Духовный собор; по его приказанию все епископы королевства, по своему положению не принимавшие участия в королевской ссоре, съехались в нейтральном городе Париже, куда, по раздельному договору, не мог вступить ни один из сыновей Лотаря без согласия двух других. Собор отправил к нейстрийскому королю самые убедительные послания, прося сохранить клятвенный мир и не посягать на права брата. Но речи и послания были бесполезны. Гильперик, не внимая ничему, продолжал готовиться к бою, и члены собора возвратились к королю

---

[1] Greg. Turon., Hist. Franc., т. II, с. 228.– Fredegarii, Hist. Franc., т. II, с. 407.– Aimoini monac. floriac. De gest. Franc. III, с. 71.

[2] Mark – рубеж, граница; graf – начальник округа, правитель, судья.

Гунтраму с единственным результатом своего посольства: вестью о неизбежной войне. Между тем Теодеберт перешел Луару и совершил действие, имевшее некоторое подобие стратегического соображения: вместо того, чтобы, по примеру младшего своего брата, двинуться на Тур, он пошел к Пуатье, где австразийские вожди, начальствовавшие в Аквитании, сосредоточили свои силы. Главнейший из них, Гондебальд, имел неблагоразумную отважность сразиться на равнине с нейстрийцами, превосходившими его своими силами и притом более воодушевленными, нежели войска, состоявшие под его начальством; он был совершенно разбит и в одно сражение лишился всего. Победители вошли в Пуатье, и Теодеберт, владея этим городом в центре Австразийской Аквитании, мог свободно двинуться на каждый из городов, которыми овладеть было предписано. Он избрал направление к северу и вступил в турские земли, лежащие на левом берегу Луары. По отцовскому ли приказанию, или по собственному своему разумению он вел войну жестокую, разнося всюду, где ни проходил, убийство и опустошение. Граждане Тура с ужасом увидели со стен своих облака дыма, который, поднимаясь со всех сторон вокруг, говорил о пожарах соседних деревень. Хотя они и были связаны с королем Сигбертом священной клятвой, однако, заглушив религиозные опасения, сдались на произвол победителя и умоляли его быть только милосердным.

Покорив Пуатье и Тур, нейстрийская армия осадила Лимож, который отворил ей ворота, и из Лиможа пошли на Кагор. Длинный ее путь был обозначен разорением селений, грабежом домов и осквернением святынь. Храмы были опустошены и преданы сожжению, священники умерщвлены, инокини оскорблены и монастыри разрушены до основания. При слухе о таком опустошении общий страх распространился по всей Аквитании, от берегов Луары до Пиренеев. Эта обширная и прекрасная земля, куда шестьдесят лет тому назад вступили франки не врагами туземных жителей, но противниками готов, первых ее властелинов, поборниками православной веры против еретической силы; эта благодатная страна, по которой дважды проносилась брань, не оставив глубокого следа за собой, где римские нравы сохранялись почти не тронутыми, и германские государи, властвовавшие за Луарой, были известны только своей ревностью к благочестию, – страна эта внезапно была лишена того спокойствия, которым наслаждалась около полустолетия.

Зрелище таких жестокостей и святотатств поражало умы изумлением и скорбью. Войну Теодеберта в Аквитании уподобляли гонению Диоклециана; с простодушным удивлением сравнивали преступления и разбои нейстрийских войск с благочестивыми подвигами Клодовея Великого, соорудившего и обогатившего такое множество храмов. Епископы и аквитанские сенаторы[1], весь патриотизм которых заключался в христианском веровании, то разглашали хулы и проклятия в библейском духе, то рассказывали один другому с улыбкой надежды о чудесах, которые, по общим слухам, совершались в разных местах в наказание за бесчинство варваров. Так называли они франков; но слово это не заключало в себе ничего оскорбительного: оно служило в Галлии только для означения господствующего племени, подобно тому, как туземное племя называли римлянами.

Основанием этих народных рассказов, которым изумленное воображение придавало суеверный оттенок, нередко бывал самый простой случай. В нескольких лье от Тура, на правом берегу Луары, был монастырь, знаменитый мощами св. Мартина; пока франки опустошали правый берег, десятка два из них взяли лодку, с намерением переправиться на другую сторону и разграбить богатую обитель. Не имея для управления лодкой ни багров, ни весел, они употребили на то свои копья, держа их острием кверху, и древком упирались в речное дно. Иноки, видя приближение неприятеля, не могли сомневаться в его намерениях и вышли к нему навстречу, восклицая: «Берегитесь, варвары! Берегитесь тут приставать: это монастырь блаженного Мартина». Но несмотря на то, франки высадились, перебили иноков, истребили всю монастыр-

---

[1] То есть аристократы.

скую движимость, похитили все, что только было там драгоценного, и, увязав, уложили на свое судно. Лодка, дурно управляемая и через меру нагруженная, наткнулась на одну из отмелей, засоряющих русло Луары, и села на мель. От колебания, происшедшего во время этой обстановки, многие из тех, которые управляли лодкой, стараясь всеми силами сдвинуть тяжелое судно, оступились и попадали вперед на острие копий, воткнувшихся в их грудь; другие, объятые вместе и ужасом, и страхом, стали кричать о помощи. Тогда прибежали иноки, с которыми франки обошлись так дурно, и, подъехав на лодке, с удивлением увидели случившееся. Взяв назад, по настоянию самих грабителей, всю добычу, похищенную в монастыре, иноки отплыли к берегу с пением за упокой тех, которые погибли таким неожиданным образом.

Между тем, как все это происходило в Аквитании, король Сигберт собирал все силы своего королевства, чтобы идти на Теодеберта, и принудил Гильперика отозвать его и ограничиться пределами, назначенными ему родственным договором. Он призвал к оружию не только франков с берегов Мааса, Мозеля и Рейна, но и все зарейнские германские племена, признававшие власть или покровительство потомков Меровея. Таковы были свевы, или швабы, и алеманны – последний остаток двух некогда могущественных союзов; туринги и бойовары, сохранявшие свою народность под управлением наследственных герцогов; наконец, многие народы Нижней Германии, отделившиеся или по доброй воле, или насильственно, от грозного союза саксов – врагов и соперников франкского владычества. Эти зарейнские народы, как их тогда называли, были совершенные язычники, и если те из них, которые были ближе к галльским пределам, приняли некоторые семена христианства, то странным образом примешивали к ним обряды старой своей религии, принося в жертву животных, и в торжественных случаях даже людей[1]. К таким свирепым наклонностям присоединились хищничество и жажда завоеваний, влекшие их на запад и подстрекавшие искать за рекой, подобно франкам, своей доли в добыче и землях Галлии.

[1] Procopii, De bello gothico, apud Script. rer. galic. et franc., т. II, с. 37.

Франки это знали и с недоверчивостью наблюдали за малейшими движениями своих соплеменников, всегда готовых переселиться по их следам или попытаться покорить их. Для отстранения этой опасности Клодовей Великий сразился со швабами и алеманнами в знаменитой битве при Толбиаке. За поражением этого авангарда зарейнских народов последовали другие победы, одержанные преемниками Клодовея. Теодорих покорил турингский народ и многие племена саксов, а сам Сигберт выказал против последних свою деятельность и мужество. Как король Австразийской Франции и охранитель общей границы он держал германские народы в страхе и уважении к королевской власти франков; но вербуя их в свое войско и ведя под своими знаменами в средоточие Галлии, он должен был возбудить в них старинную зависть и страсть к завоеванию и воздвигнуть бурю, страшную вместе и галлам, и франкам.

Зато, при известии о таком великом вооружении Австразии, чувство беспокойства распространилось между подданными не только Гильперика, но даже и Гунтрама, который сам разделял их опасения. Несмотря на малую наклонность свою начинать распрю без продолжительных и сильных на то побуждений, Гунтрам не поколебался, однако, принять общее восстание зарейнских языческих народов за действие, враждебное всем христианам в Галлии, и на просьбу Гильперика о помощи дал ответ благоприятный: «Оба короля имели свидание,– говорит современный историк,– и заключили союз под взаимною клятвой не доводить своего брата до погибели»[1]. Предвидя, что Сигберт вознамерится идти на юго-запад и занять какой-либо пункт по дороге между Парижем и Туром, Гильперик сосредоточил свои силы на восточном берегу Сены, для воспрепятствования переправе. Гунтрам, со своей стороны,

[1] Greg. Turon. Hist. Franc., т. II, с. 229.

прикрыл войсками северную свою границу, не обозначенную никакими естественными преградами, и сам переехал в Труа, для наблюдения за ходом дел.

В 574 г. войска австразийского короля, после продолжительного похода, подошли наконец к Арсису-на-Обе. Тут Сигберт остановился, и не двигаясь далее, ждал донесений передовых отрядов. Чтобы вступить в королевство Гильперика, не переменяя направления, Сигберт должен был перейти Сену несколько выше слияния ее с Обом, в месте, называвшемся тогда Двенадцать мостов (les Douze-Ponts), а ныне Мост-на-Сене (Pont-sur-Seine); но все мосты были сняты, лодки уведены, и нейстрийский король стоял невдалеке станом, готовый сразиться, если неприятель предпримет переправу вброд. Лье в десяти, без малого, к югу, Сена на обоих своих берегах принадлежала к государству, или, как тогда выражались, к уделу Гунтрама. Сигберт немедленно потребовал от него свободного пропуска. Отправленное им требование было коротко и ясно: «Если ты не дозволишь мне переправиться через реку в твоем уделе, то я пойду на тебя со всем своим войском».

Присутствие такой страшной армии сильно подействовало на воображение короля Гунтрама, и те же самые опасения, которые заставили его соединиться с Гильпериком, побудили разорвать этот союз и нарушить клятву. Все подробности, которые он узнавал через своих лазутчиков и местных жителей о числе и виде австразийских войск, рисовали страшными красками перед ним опасность, в которую отказ мог бы его повергнуть. Действительно, если войска меровингских королей и обыкновенно бывали беспорядочны, то эти диким буйством своим превосходили все, что было известно со времени великих нашествий. Отборные дружины состояли из населявшего берега Рейна франкского народа, наименее образованного и едва лишь проникнутого христианским духом; большая часть войска была ордой варваров в полном смысле слова. Это были странные лица, какие рыскали по Галлии во времена Аттилы и Клодовея, и с тех пор встречались только в народных преданиях; те же воины с повисшими усами и волосами, подобранными в кисть на темени, они метали топором в лицо неприятелю и поражали его издали зубчатыми копьями. Подобное войско не могло пройти без грабительства, даже в стране дружелюбной; но Гунтрам предпочел лучше подвергнуться каким-нибудь кратковременным грабежам, нежели навлечь на себя все случайности вторжения и поражения. Он дал свободный пропуск, вероятно, через мост в Труа, и свиделся в этом городе с братом своим Сигбертом, которому клятвенно обещал ненарушимый мир и искреннюю дружбу.

Узнав о такой измене, Гильперик немедленно снялся с позиции своей на левом берегу Сены и старался поспешным отступлением укрыться внутрь своих владений. Он шел, не останавливаясь, до окрестностей Шартра и расположился станом на берегах Луары, близ селения Аваллоция, что ныне Аллюи (Alluye). Во время этого продолжительного шествия его постоянно преследовали и теснили неприятельские войска. Несколько раз Сигберт, думая, что он остановится, вызывал его, по германскому обычаю, на битву; но нейстрийский король, вместо ответа, ускорял ход и продолжал свой путь. Едва укреплялся он на новой позиции, как вестник из австразийской армии объявлял ему следующее предложение: «Если ты не подлый человек, то готовь поле битвы и прими сражение». Никогда подобный вызов, сделанный франку, не оставался без ответа, но Гильперик потерял всю свою природную гордость. После бесполезных усилий избежать неприятеля, доведенный до последней крайности, и не чувствуя в себе мужества вепря, окруженного псами, он прибегнул к мольбам и просил мира, обещая дать полное удовлетворение (574 г.).

Сигберт, несмотря на свой строптивый характер, был однако великодушен; он согласился предать все забвению, с тем только, чтобы немедленно были ему отданы города Тур, Пуатье, Лимож и Кагор, и чтоб войска Теодеберта возвратились из-за Луары. Побежденный без боя и вторично разочарованный в своих надеждах, Гильперик присмирел, как зверь, пойманный в тенета. Он даже выказал добродушие, которое, ка-

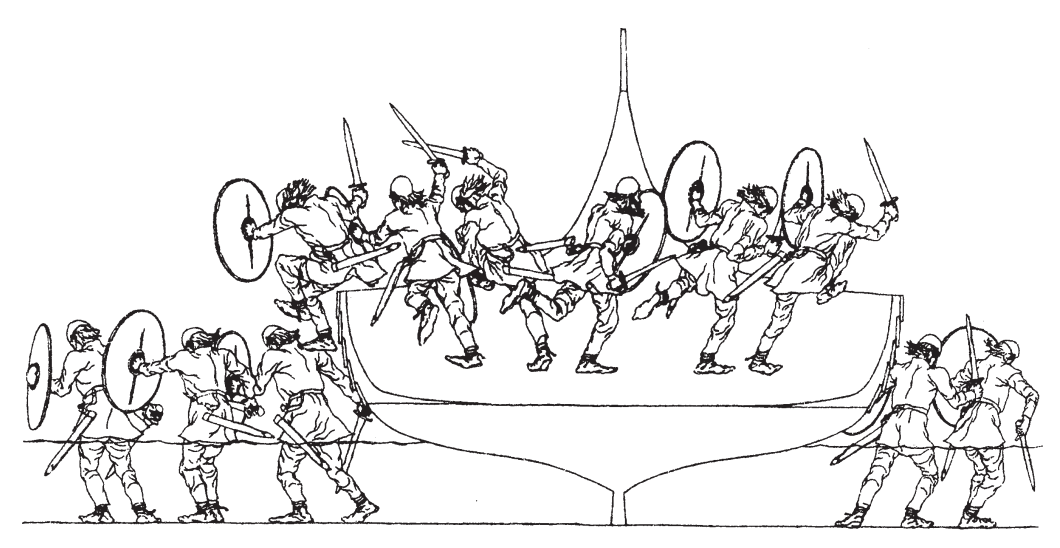
залось, смешано было в германском характере с самой зверской свирепостью и самым хитрым эгоизмом, и беспокоился о том, что постигнет жителей четырех городов, которые ему подчинились. «Прости им, – говорил он брату, – и не взыскивай с них; ибо если они тебе и изменили, то потому только, что я мечом и огнем к тому их принудил». Сигберт был столько человеколюбив, что внял такому заступничеству.

Оба короля казались очень довольными друг другом, но в австразийской армии возникло сильное неудовольствие. Войска, набранные за Рейном, роптали на неожиданный мир, лишивший их добычи, которую они надеялись приобрести в Галлии. Они негодовали на то, что были приведены издалека не для битв и поживы, обвиняли короля Сигберта в том, что он примирился, когда должен был сразиться. Весь стан был в волнении и готовился страшный бунт. Король, не обнаружив никакого смущения, вскочил на коня и прискакал к толпам, где кричали мятежники. «Что у вас,– спросил он, – чего вы хотите?» – «Битвы! – закричали они со всех сторон,– дай нам случай сразиться и добыть сокровищ, иначе мы не воротимся домой». Эта угроза могла повлечь за собой новое завоевание земель в недрах Галлии и раздробление франкского господства; но Сигберт нимало не смутился и, сохраняя твердость, успел без большого труда усмирить гнев дикарей кроткими речами и обещаниями.

Стан сняли и войско тронулось обратно к берегам Рейна. Оно пошло по Парижской дороге, но не вступало в этот город, потому что Сигберт, верный своим обязательствам, уважал его неприкосновенность. В продолжении всего пути австразийские дружины разоряли места, по которым проходили, и окрестности Парижа долго помнили их шествие. Большая часть селений и деревень была выжжена, дома разграблены, и множество жителей отведено в неволю, так что король не мог ни предупредить, ни остановить подобных насилий. «Он просил и увещевал,– говорил Григорий Турский,– не делать этого, но не мог превозмочь буйства народов, пришедших с другого берега Рейна».

Эти язычники входили в церкви только для того, чтоб обворовать их. В богатой базилике Сен-Дени один из вождей взял кусок шелковой ткани, вышитой золотом и усыпанной драгоценными каменьями, покрывавшей гробницу мученика; другой не побоялся влезть на самую гробницу, чтобы оттуда достать и снять копьем изображение Святого Духа – золотого голубя, привешанного к карнизу придела. Эти грабежи и святотатства оскорбляли Сигберта как короля и как христианина; но чувствуя слабость влияния своего на дух войска, он поступил с ним, как дед его Клодовей с воином, разбившим реймскую чашу. Пока армия шла, он смотрел сквозь пальцы и скрывал свой гнев; но по возвращении, когда все эти неукротимые воины, расходясь в свои племена и жилища, рассеялись по разным местам, он велел схватить поодиночке и предать смерти тех, которые наиболее отличились разбоем и неповиновением.

Подобные опустошения, кажется, ознаменовали переход австразийцев и через северные пределы Бургундского королевства, и эта обида, тяжко оскорбившая Гунтрама, повлекла разлад между ним и Сигбертом. С другой стороны, миролюбие нейстрийского короля было непродолжительно; увидев себя вне опасности, он возвратился к своей постоянной мысли и снова обратил жадные взоры на аквитанские города, которыми владел короткое время. Ссора, возникшая между братьями, казалась ему благоприятным обстоятельством для возобновления своего предприятия; он поспешил воспользоваться случаем, и менее нежели через год по заключении мира послал сказать Гунтраму: «Пусть брат мой пойдет со мною, мы повидаемся, и сообща пойдем на врага нашего, Сигберта». Предложение это было очень охотно принято; оба короля имели свидание, одарили друг друга в знак дружбы и заключили наступательный союз против австразийского брата. Гильперик, в полной надежде на успех, послал к берегам Луары новые войска под начальством сына своего, Теодеберта, вторично переправившегося через нее в 575 г., а сам вступил в реймсские земли, составлявшие западный предел Австразийского королевства. Его



Высадка викингов на берег.
Современная реконструкция тактической схемы действий

нашествие сопровождалось такими же опустошениями, как война Теодеберта в Аквитании; он жег селения, уничтожал жатвы и грабил все, что только можно было взять с собой. Слух об этих разбоях дошел до Сигберта в одно время с известием о составленном против него союзе. Он уже раз простил Гильперика вопреки настояниям своей жены, не хотевшей ни мира, ни перемирия с убийцей Гайлесвинты; теперь негодование его было взрывом человека, простого сердцем, но горячего характером, который вдруг узнает, что его обманули. Он разразился ругательствами и проклятиями. Но этот кипучий гнев, род горячки, припадок, который мог снова утихнуть от покорности врага, не был надежен и не удовлетворял Брунегильду. Она привела в действие все влияние свое на мужа, чтобы вселить в душу его более обдуманную жажду мщения и направить его злобу к единственной цели, братоубийству. Кончить со злодеем – таков был вопль сестры Гайлесвинты. На этот раз Сигберт ее послушал, и с целью биться на смерть снова воззвал к восточным франкам и зарейнским народам, призывая их к войне на Гильперика.

Для возбуждения этих людей, трудно сговорчивых, к борьбе отчаянной, австразийский король обещал им все: денег, добычи, даже города и земли в Галлии. Он пошел прямо к западу, на помощь Реймсской области, что избавило его от забот насчет перехода через Сену. При его приближении Гильперик, избегая битвы, как и в прежнюю войну, отступил вдоль по течению Марны и искал удобной позиции около нижней Сены. Сигберт преследовал его до самых стен Парижа; но тут остановился, польстясь мыслью завладеть городом, который считался в то время весьма крепким, и устроить в нем склад для военных запасов, а в случае нужды и верное убежище. Как ни благоразумна была такая мысль, однако, подчиняясь ей, король австразийский поступил дерзко, чего, без сомнения, не решился бы сделать, если б жажда мщения не заглушила в нем всякого голоса совести и страха.

По смыслу раздельного договора, заключенного восемь лет назад, Париж, размежеванный на три участка, считался городом нейтральным, вход в который воспрещен был каждому из трех сыновей Лотаря под самой священной клятвой – под опасением всевозможных религиозных угроз. До сих пор ни один из братьев не осмеливался преступить клятвы и презреть проклятия, призванные на того, кто ее нарушит. Сигберт на это отважился: он предпочел ско-

рее пожертвовать своей душой, нежели пренебречь единственным средством для успешного достижения своей цели. Париж, действительно, был ему необходим как опорный пункт, или, употребляя новейшее выражение, как базис дальнейших его действий, смотря по тому, хотел ли он идти на запад, против Гильперика, или на юг, против Теодеберта. Итак, вопреки договору, он потребовал сдачи города и вступил в него без всякого сопротивления.

Учредив свое пребывание в Париже, король Сигберт прежде всего занялся отправлением войск против Теодеберта, который, пройдя Аквитанию по прошлогодней дороге, вступил уже в Лимож. Полоса земли между городами Туром и Шартром, заключавшая в себе области Шатодён и Вандом, принадлежала Австразийскому королевству; Сигберт решился набрать там войско, чтобы сберечь тем силы, приведенные им с собой. Вестники его ходили из села в село, призывая всех свободных мужей явиться в назначенном месте, в каком кто мог оружии, от кирасы и копья до простого ножа и окованной железом дубины. Но ни в городах, ни в окрестностях никто не отвечал на воззвание, и несмотря на пеню в шестьдесят золотых солидов, налагаемую на ослушника королевских повелений, жители Шатодёна, Вандома и окрестностей Тура не вооружались и не покидали жилищ своих. Эти люди знали только одно — что земля их составляет участок Сигберта, и что взимаемые с них подати принадлежат австразийской казне; а так как король, от которого они зависели, не давал им прежде чувствовать своей правительственной власти никаким действием, и как приказание это впервые от него исходило, то они и не обратили на него большого внимания.

Если б такое пассивное сопротивление было продолжительно, то оно заставило бы австразийского короля разделить свои силы. Для скорейшего и миролюбивого прекращения этого сопротивления Сигберт отправил искуснейших своих переговорщиков, Годегизеля, палатного мэра, и Гунтрама, по прозванию Бозэ, то есть человека хитрого, пронырливого и сметливого, одаренного, несмотря на свое германское происхождение, той гибкостью ума, которая составляла, обычно, принадлежность только галло-римского племени. Оба австразийца успешно выполнили свое поручение и вскоре перешли через Луару с войском, плохо вооруженным, но довольно многочисленным для того, чтоб осмелиться померить силы свои с франками Теодеберта.

Эти франки, и без того сильно напуганные известием об австразийском вторжении, встревожились еще более, когда узнали, что на них идет войско и что отступление им отрезано. Но Теодеберт, как ни упало духом его войско, решился, как истинный германец, идти навстречу неприятелю. Он выступил из Лиможа и шел занять позицию на берегах Шаранты, в восьми или десяти милях от Ангулема; во время этого перехода часть его войска разбежалась, так что перед началом битвы он был почти всеми оставлен; несмотря на то, он сражался с большим мужеством и был убит в схватке. Галльские поселяне, составлявшие войско Годегизеля и Гунтрама-Бозе, не питали такого благоговения к потомкам Меровинга, как франки: без уважения к длинным волосам, отличавшим сына короля Гильперика от прочих, они обобрали его наравне с другими трупами и оставили нагим на поле битвы. Но вождь австразийский, по имени Арнульф, не хотел такого нечестия, и хотя был врагом Теодеберту, однако с почтением поднял тело юного принца, обмыл его по обыкновению и, облачив в богатые одежды, похоронил на собственный счет в городе Ангулеме.

Между тем король Гунтрам, вторично уступив своим миролюбивым наклонностям, или побуждаемый страхом, примирился с Сигбертом. Гильперик узнал об этой новой измене в одно время с вестью о смерти сына и истреблении аквитанского войска. Приведенный этим двойным несчастием в совершенное отчаяние и помышляя только о спасении жизни, он оставил берега Сены, поспешно прошел через все свое королевство и укрылся в стенах Турне с женой, детьми и преданными ему воинами. Крепкое положение этого города, первоначальной столицы Франкского государства, побудило Гильперика избрать

в нем убежище. В ожидании осады он занялся набором людей и пополнением боевых запасов, пока Сигберт, свободный в своих движениях по всей Нейстрии, овладевал городами этого королевства.

Заняв те, которые лежали к северу и востоку от Парижа, он направился на запад, решась все завоеванное, и города, и земли, отдать в уплату своим зарейнским воинам. Намерение это возбудило во всех франках, даже австразийских, сильные опасения. Австразийцы не желали иметь своих природных врагов соседями в Галлии, а нейстрийцы, со своей стороны, страшились утраты собственности, порабощения и всех бедствий, неразлучных с завоеванием страны. Первые представили королю возражения и роптали; вторые с ним переговаривались. Обсудив между собой, как поступить в таких затруднительных обстоятельствах, вожди и ариманы Нейстрии отправили к Сигберту послание в следующих выражениях: «Франки, которые прежде стояли за короля Гильдеберта, а потом сделались ленниками (hommes-liges) короля Гильперика, хотят ныне предаться тебе, и предлагают, если придешь к ним, поставить тебя королем над собою».

Таков был несколько странный язык германской политики, и таким-то образом франки пользовались правом покидать правившего ими государя и переходить под власть другого потомка Меровея. Королевская сила каждого из сыновей Лотаря заключалась не столько в обширности и богатстве земель, составлявших их владения, сколько в числе воинов, которые состояли под их покровительством, и, по германскому выражению, повиновались устам их[1]. Не было ничего положительного и постоянного в распределении франкского народонаселения между королями, силу которых оно составляло; не соответствуя в точности очертанию земель, так что иной государь мог иметь вассалов даже в чужом королевстве. Между этими вассалами, или лейдами, самые преданные, самые полезные, как тогда выражались, были те, которые, живя близ короля и составляя его постоянную стражу, пользовались, в виде платы, общим с ним столом или произведениями его поместий. Менее можно было полагаться на верность тех, которые поселялись вдалеке, в собственных своих жилищах, пользовались, с королевского согласия, феодом или землями в виде вознаграждения[1]. Они-то, для спасения своей собственности, изменили деду Гильперика и предложили королевство Сигберту; напротив того, первые, более верные, но не столь многочисленные, последовали за бежавшим королем своим в Турне. Сигберт с радостью принял посольство и предложение нейстрийцев; он уверил их клятвой, что ни один город не будет предан войскам на разграбление и обещал прибыть в собрание, где, по обычаю предков, его должны были провозгласить королем. Потом он совершил род военной рекогносцировки до пределов Руана и, удостоверясь, что ни один из крепких городов на западе не намерен ему сопротивляться, возвратился в Париж.

Брунегильда, желая отклонить мужа от обращения к братской любви и для личного надзора за исполнением своего мщения, оставила город Мец и прибыла к Сигберту. Она была так уверена в несомненности своего торжества, что предприняла это путешествие с обеими дочерьми, Ингундой и Клодесвиндой, и сыном Гильдебертом, четырехлетним ребенком. Повозки с ее имуществом были наполнены сокровищами и всем, что только было у нее лучшего из золотых уборов и драгоценных вещей. Казалось, она, из женского тщеславия, хотела всех ослепить и явиться в одно и то же время и великолепной в своем уборе, и грозной для врагов. Брунегильда, еще юная и замечательная по красоте своей, лучше других меровингских жен соответствовала понятию о королеве, которое галльский народ создавал себе по преданиям Римской империи. Дочь короля, рожденная в стране, где королевская власть, хотя и в варварском племени, являла вели-

---

[1] Mund, от которого происходят слова mundeburdis, mundiburdium, mundeburde и пр. (Marculfi formul. IV, с. 757).– Судя по некоторым корням германских языков, рот в древней Германии был символом власти, а ухо – подчиненности.

[1] О значении феода и аллода см. Lettres sur l'hist. de Françe, par. A. Thierry; письмо X.– См. ниже.

чие совершенно царственное, Брунегильда вселяла общее уважение высоким родом и достоинством своего обхождения. В день ее вступления в Париж жители толпами стремились к ней навстречу; духовенство и особы сенаторских фамилий спешили приветствовать ее; но человек, который, по духовному и вместе с тем административному значению, стоял во главе всего города, епископ Герман, чтимый ныне во святых, не вышел ей навстречу.

То был поборник просвещения и христианской веры, одна из тех нежных натур, которым зрелище римского мира, подвластного варварам, причиняло нестерпимое отвращение, и которые истощали силы свои в тщетной борьбе со свирепым насилием и страстями франкских королей. С самого начала междоусобной войны святой Герман старался быть посредником между Гильпериком и Сигбертом, а по прибытии последнего тщетно возобновлял свое ходатайство и увещания. Утомление и печаль расстроили его здоровье: он занемог и во время телесных страданий настоящая и будущая судьба Галлии представлялась ему в красках еще более мрачных. «Отчего,– восклицал он,– не имеем мы ни минуты спокойствия? Отчего не можем сказать, подобно апостолам, в промежутке двух гонений: вот наконец сносные дни?[1]». Одержимый недугом, не будучи в состоянии высказать Брунегильде своих увещаний в пользу мира, он изложил их письменно. Письмо это, переданное ей клериком франкского происхождения, по имени Гондульфом, и дошедшее до нас, начинается почтительными извинениями и уверениями в преданности, потом продолжается следующим образом:

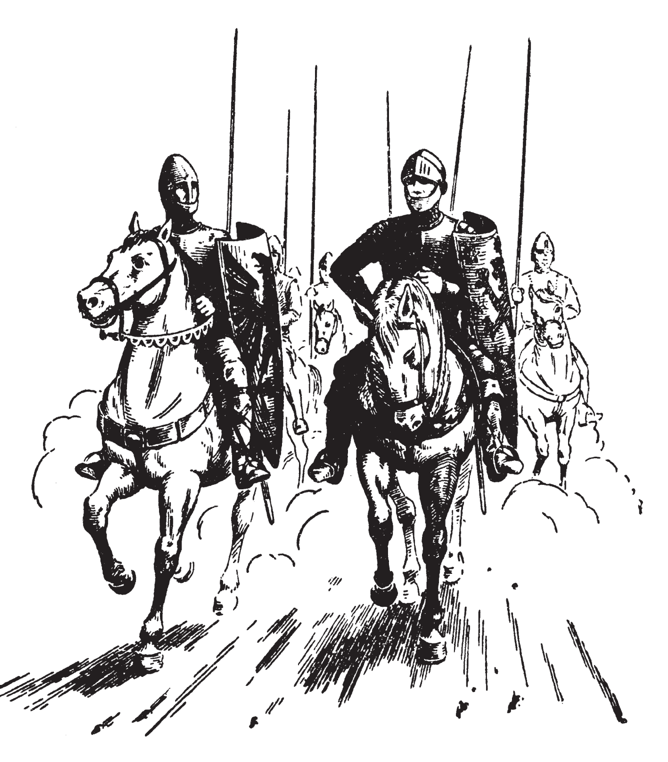
«Стану ли повторять слухи, которые ходят в народе? Они смущают меня, и я желал бы иметь возможность скрыть их от вашего сведения. Говорят, что ваши советы и наущения побуждают преславного короля Сигберта к упорному ожесточению на погибель нашего края. Если я повторяю подобные толки, то не потому, что им верю, но чтобы упросить вас не доставлять никакого повода к таким важным обвинениям. Хотя земля наша с давних уже пор не может назваться счастливою, однако мы еще не отчаиваемся в Божием милосердии, которое властно остановить мстительную руку, лишь бы те, на ком лежит бремя правления, не увлекались жаждою убийства, любостяжанием, источником всякого зла, и гневом, потемняющим здравый разум.

Богу это известно, мне и того довольно: я желал бы умереть для продления их дней, желал бы умереть прежде них, дабы не видеть на глазах своих погибели ни их самих, ни нашего края. Но они не перестают пребывать в беспрерывной войне и распре, обвиняя друг друга, ни мало не помышляя о суде Божием и не желая ничего предоставить определению его всемогущей воли. Как ни один из них мне не внемлет, то я к вам обращаю мое моление, ибо если, ради их раздоров, королевство склонится к гибели, то ни вам, ни детям вашим великого торжества в том не будет, да возрадуется же эта страна, приняв вас к себе; докажите, что вы призваны для спасения, а не для погибели ее; укротив гнев короля, склонив его терпеливо ждать суда Божьего, вы рассеете в прах все дурные толки народа.

С горестью пишу к вам об этом, ибо знаю, как ниспровергаются короли и народы, оскорбляющие Господа. Кто надеется на силу собственной руки своей, будет попран и не стяжает победы; кто доверчиво полагается на многочисленность своих воинов, тот далек от безопасности и впадет в страх смерти; кто величается сокровищами сребра и злата, тот подвергнется поруганию и бедствию прежде, нежели насытит свое любостяжание. Так мы читаем в Святом Писании.

Бесславно победить собственного брата, подвергнуть унижению родное семейство и разорить владение, основанное предками. Кто ратует друг против друга, тот ратует сам против себя, каждый из них стремится к разрушению собственного своего блага, а враг, стерегущий их и уже близкий к ним, радуется, видя их погибель... Мы читаем, что царица Эсфирь была орудием Бога для спасения целого народа; воссияйте же и вы благоразумием и чистотою вашей веры, отклоняя

[1] Germani Paris, episc. Epist., apud. Script. rer. gallic. et franc., т. IV, с. 80.



Конница франков

государя короля Сигберта от намерения, противного божескому закону, и даруя народу наслаждение благами мира, пока вечный Судия не изречет суда своего. Кто отвергнет любовь братскую, пренебрежет увещаниями супруги, не внемлет гласу истины, на того все пророки ополчатся глаголом, того все апостолы поразят проклятием, и сам Бог осудит его по своей всемогущей воле».

Чувство горести, запечатленное на каждом слове этого письма, несколько высокомерная важность слога и даже презрительный способ речи о королях, не называя их,– все это имело в себе нечто повелительное; но все было бесполезно. Брунегильда имела характер в высшей степени мстительный и непреклонный, образец которого олицетворен в древней германской поэзии в женщине того же имени[1]. Она не обратила внимания ни на угрозы религии, ни на эти старые предостережения людской опытности относительно превратности счастья. Нимало не помышляя о своем положении, действительно затруднительном в том случае, если бы муж подвергся какой-нибудь неудаче, она более нежели когда-либо сгорала нетерпением дождаться отъезда его в Турне, чтоб нанести там последний удар и увенчать свою победу братоубийством.

Сигберт послал сначала часть войска обложить Турне и начать осаду; сам же готовился к отправлению туда, где предназначено было поставить его королем западных франков. Ни Париж, ни другой какой город не могли быть удобны для этого обряда, которому надлежало совершиться на открытом воздухе, посреди воинского стана. Сборным местом избрано было королевское поместье Нейстрии, Витри-на-Скарпе, потому ли, что оно лежало невдалеке от Турне, или, может быть, потому, что северное положение делало его более удобным для сбора франкского народа, который, чем ближе к северу, тем гуще населял Галлию. В минуту отъезда, когда король отправлялся в путь, в сопровождении отборной дружины всадников, всех одинаково вооруженных раскрашенными щитами и копьями со значком, внезапно предстал перед ним муж, бледный, в святительском облачении, то был епископ Герман, восставший с болезненного одра для последней и торжественной попытки к примирению. «Король Сигберт,– сказал он,– если ты идешь не с тем, чтобы умертвить своего брата, то возвратишься здрав и победоносен; но если у тебя другая мысль, то умрешь сам, ибо рек Господь устами Соломона: копая яму для брата впадет в ню». Король нимало не был смущен этой неожиданной речью, намерение его было твердо, и он уверен был в победе. Он проехал мимо, не ответив ни слова, и скоро потерял из виду городские ворота, за которыми жена и трое детей остались до возвращения его.

Проезд Сигберта через королевство, которое принадлежало ему по праву избрания, казался предварительным торжеством. Городские жители галльского происхождения и духовенство встречали его с крест-

---

[1] Брингильда в скандинавской Эдде, и Брунгильда в «Песни о Нибелунгах». Это сходство имен совершенно случайно.

ным ходом; франки садились на коней и примыкали к его поезду. Всюду раздавались клики на латинском и древнегерманском языках. От берегов Сены до Соммы галло-римляне по численности были господствующим народом; но к северу от этой реки германский оттенок обнаруживался все более и более. Чем далее подвигались вперед, тем чаще в массе туземцев являлись лица франкского происхождения: они не составляли, подобно тому, как в центре Галлии, только небольшие дружины праздных воинов, расселенных вдалеке одни от других, но жили племенами и земледельческими поселениями по берегам болот и окраинам лесов бельгийской провинции. Витри, близ Дуэ, находился, так сказать, на рубеже между этими двумя полосами; франки северные, хлебопашцы и фермеры, и франки южные, боевые вассалы, с равным удобством могли там сойтись для провозглашения нового короля. Один только из числа богатых владельцев и вождей Нейстрийского королевства, по имени Ансовальд, не явился на сборище; отсутствие его было замечено и впоследствии прославило его за верность королю в несчастии.

Обряд совершили на равнине, окруженной шатрами и ставками тех, кому, за недостатком помещения в домах Витри, пришлось расположиться в открытом поле. Франки, в полном вооружении, образовали обширный круг, в средине которого стал король Сигберт, окруженный своими чиновниками и вельможами. К нему подошли четыре сильные воина, держа щит, на который они посадили короля и подняли на плечи. На таком подвижном троне Сигберт трижды обнесен был по кругу, сопровождаемый вождями и приветствуемый толпой, которая, желая придать более шума своим криком, ударяла мечами плашмя о щиты, окованные железом. После третьего круга посвящение короля по древним германским обрядам было совершено вполне, и с этой минуты Сигберт имел право воспользоваться названием короля франков, как Остертак и Неостер-Рика. Остальная часть дня и несколько последовавших затем дней прошли в увеселениях, потешных битвах и великолепных пирах, на которых король, не жалея запасов, собранных в Витри, угощал всех и каждого в своем новом поместье.

В нескольких милях оттуда Турне, осажденный австразийским войском, был театром сцен иного рода. Насколько Гильперик мог по своей грубой натуре предаваться душевным страданиям, он чувствовал горесть человека, всеми покинутого и низложенного; Фредегунда, волнуясь от страха и отчаяния, приходила, как дикий зверь, в бешенство. Во время приезда в Турне она была беременна, и вскоре посреди тревог осады и опасений смерти, одолевавших ее днем и ночью, родила сына. В первую минуту, по неимению присмотра и пищи, она хотела бросить и погубить ребенка, которого считала новой причиной опасности; но это было одной мгновенной мыслью, и материнская нежность превозмогла. Новорожденный был окрещен и воспринят от купели епископом Турне, причем, вопреки франкским обычаям, получил чуждое германскому языку имя Самсона, которое родители его, бедствуя, избрали в предзнаменование своего освобождения (575 г.).

Считая положение свое почти безнадежным, король ждал развязки с каким-то бесстрастием; но королева, не столь слабая духом, придумывала тысячу различных средств, составляла проекты для бегства и, осматриваясь кругом ловила малейший луч надежды. Между воинами, пришедшими в Турне делить участь своего государя, она заметила двух, которые лицом и речами обнаруживали ей глубокое сочувствие и преданность: то были двое юношей, родом из Теруанской области, происхождением франки, склонные к тому фанатическому самоотвержению, которым так тщеславились вассалы Средних веков. Для привлечения этих двух воинов Фредегунда употребила все свое искусство, все обаяние своей власти: она призвала их к себе, говорила о своем злополучии и безнадежности положения, отуманила головы их хмельными напитками, и когда уверилась, что они совершенно обворожены, стала убеждать их отправиться в Витри и умертвить короля Сигберта. Молодые воины обещали исполнить все, что бы ни приказала им королева; тогда, вручив каждому из них по длинному

ножу, или, как называли их франки, скрамасаксы, лезвие их, для большей предосторожности, она намазала ядом. «Идите,– сказала она им,– и если воротитесь живы, я осыплю почестями и вас, и потомство ваше; если же падете, то во все святые места раздам за вас милостыню»[1].

Юноши вышли из Турне и, выдав себя за беглецов, прошли сквозь австразийское войско и направились по дороге, ведшей к королевскому поместью Витри. Когда они прибыли туда, во всех покоях дворца раздавалось еще веселие пиров и празднеств. Они объявили, что пришли из Нейстрийского королевства поклониться королю Сигберту и переговорить с ним. В эти первые дни правления Сигберт старался быть приветливым и принимать всякого, кто требовал от него суда или защиты. Нейстрийцы просили свидания наедине и были без труда к тому допущены; ножи, заткнутые за поясом, не возбудили ни малейшего подозрения, потому что составляли принадлежность германской одежды. Пока король слушал их благосклонно, одного с одной, а другого с другой стороны, они разом выхватили свои скрамасаксы и одновременно нанесли ему два удара в бок. Сигберт вскрикнул и упал мертвый. На этот крик вбежали с обнаженными мечами королевский окольничий (camerier) Гарегизель и один гот, по имени Сигила; первый был убит, а второй ранен убийцами, оборонявшимися с исступленной яростью. Но вслед затем подоспели другие вооруженные воины; комната наполнилась народом, и оба нейстрийца, окруженные со всех сторон, пали в неравном бою (575 г.).

Узнав об этом происшествии, австразийцы, осаждавшие Турне, поспешно снялись и пошли обратно в свою землю. Каждый из них нетерпеливо желал узнать, что происходит у него дома, потому что неожиданная смерть короля должна была возбудить в Австразии тьму беспорядков, насилий и грабежей. Таким образом, эта страшная и многочисленная армия направилась обратно к Рейну, оставив Гильперика и дав ему свободу двинуться куда угодно. Избежав почти несомненной гибели, он покинул Турне, дабы сперва вступить во владение своим королевством. Поместье Витри, свидетель стольких событий, было местом, куда он прежде всего отправился. Он не нашел уже там блистательного собрания нейстрийцев; все они возвратились к своим занятиям; только несколько австразийских слуг стерегли тело Сигберта. Гильперик увидел труп этот без угрызений совести и без вражды, и пожелал, чтобы похороны брата были достойны королевского сана. По его приказанию Сигберт был облачен, по германскому обычаю, в драгоценные одежды и оружие, и великолепно погребен в деревне Ламбар-на-Скарпе.

Такова была развязка этой длинной драмы, начавшейся убийством и окончившейся тем же, – настоящей трагедии, в которой есть все: и страсти, и характеры, и суровый рок, составлявший душу древней трагедии и придающий событиям действительной жизни высокое величие поэзии. Нигде не видна так ясно печать непреодолимой судьбы, как в истории меровингской династии. Эти сыны полудиких завоевателей, рожденные с отцовскими понятиями в наслаждениях роскоши и искушениях власти, не знали страстям своим ни меры, ни воздержания. Тщетно люди, более их опытные в делах мира и способе жизни, возвышали голос свой, склоняя их к умеренности и благоразумию: они не внимали ничему и губили себя по невежеству. И тогда говорили: перст Божий на них. Таково христианское изречение; но видя, как слепо увлекались они потоком своих грубых побуждений и беспорядочных страстей, подобно ладье, уносимой течением, можно было, даже не быв пророком, угадать и предсказать конец, ожидавший почти всех их.

Однажды, когда семейство Гильперика, восстановленное в своем величии, жило в бренских хоромах, два галльские епископа, Сальвий Альбийский и Григорий Турский, прогуливались вдвоем вокруг дворца, после аудиенции. Среди беседы, как бы пораженный внезапной мыслью, Сальвий вдруг прервал разговор и сказал Григорию: «Не видишь ли чего над кровлей этого здания?» – «Вижу,– отвечал турский епископ,– новый

---

[1] Greg. Turon., Hist. Franc., c. 230.– Gasta rer. franc., c. 562.– Скрамасакс – нож для защиты.

терем, выстроенный королем» – «И больше ничего не замечаешь?» – Ничего,– возразил Григорий,– если ты заметил еще что-нибудь, скажи мне, что такое?» – Епископ Сальвий глубоко вздохнул и сказал: «Я вижу меч гнева Божия, висящий над этим домом»[1]. Через пять лет король нейстрийский погиб жестокой смертью.

[1] Greg. Turon., Hist. Franc., т. II, с. 264.

Брунегильда получила известие об этой катастрофе в Париже, куда и поспешил Гильперик, чтобы захватить ее в свои руки.

Rec. des temps Méroving. Рассказ второй.

КОММЕНТАРИЙ. Полный перевод всех семи рассказов на русский язык сделан редакцией журнала «Отечественные записки» как прибавление к 5-й книжке 1848 г., за исключением Préface и Considérations sur l'histoire de France, в семи главах.

Эгингард

ЛЕНИВЫЕ КОРОЛИ (820 г.)

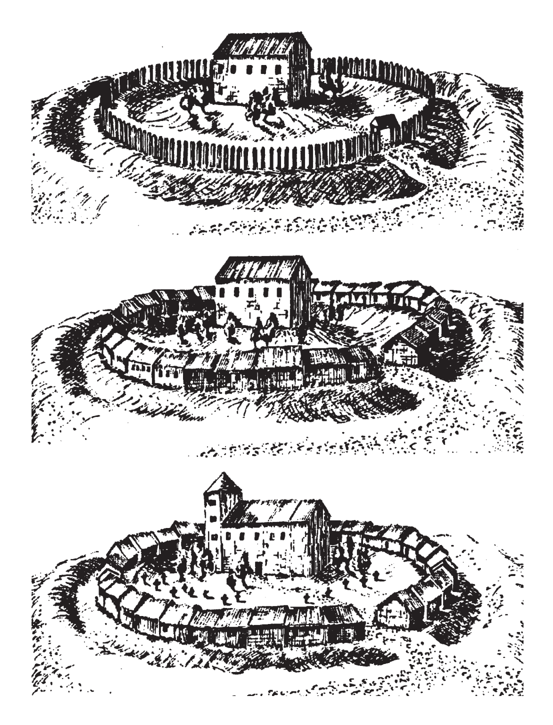
Дом Меровингов, из которого в прежнее время франки избирали себе королей, прекратился, как обыкновенно то принимают, вместе с королем Гильдериком (III), который по приказанию Римского Папы Стефана[1] был низложен, острижен и заточен в монастырь. Хотя этот род угас только с его смертью, но он уже давно не имел никакой жизненной силы и обращал на себя внимание одним тщеславным титулом королей, потому что могущество и государственная власть находились в руках высших сановников двора, называвшихся майордомами, которые собственно управляли государством. На долю короля оставалось только довольствоваться одним королевским титулом и изображать правителя, восседая на троне с длинными волосами и отпущенной бородой[1] и выслушивая отовсюду являвшихся к нему посланников, которым он давал, при прощании, ответы, заранее ему продиктованные и заученные наизусть таким образом, что можно было подумать, будто он говорил от самого себя.

Король, кроме бесполезного титула и скудного содержания, которое выдавал ему майордом по своему усмотрению, имел единственное, впрочем очень малодоходное, поместье, составлявшее его собственность, помещение и прислугу, весьма немногочисленную и едва достаточную для самого необходимого. Всюду, куда бы король ни отправлялся, он ехал в повозке, запряженной парою волов, которыми правил пастух. Так он ездил во дворец, на народные собрания, которые ежегодно происходили для блага

[1] Еще Папа Захарий, умерший в 755 г., незадолго перед своею смертью дал такое приказание, которое его преемник Стефан только подтвердил.

[1] «Волосы и борода были признаками и украшением, свойственными классу знатных свободных. Кто позволял остричь себе волосы и бороду, тот подчинялся как бы отцовской власти того, кто его остриг. (См. у Павла Дьякона, IV, 40; VI, 52). Свободный мог переходить в рабство одной передачей своих остриженных волос». J. Grimm., Deutsche Rechtsalterthümer, с. 146 и 239.

ЭГИНГАРД (EGINHARDUS, или EINHARDUS, год рожд. неизв., ум. в 844 г.). Родом франк из земли гессенской, получил воспитание при дворе Карла Великого и был впоследствии самым приближенным к нему лицом. Между прочими его сочинениями самое замечательное «Жизнь Карла Великого» («Vita Karoli Magni imperatoris: 750–815»); оно составило эпоху в историческом искусстве Средних веков и по своему содержанию и форме отступило от принятого изложения хроник. Эгингард написал этот труд вскоре после смерти Карла (814 г.), и во всяком случае ранее 821 г. Он умер аббатом монастыря Фонтенельского. – О жизни и сочинениях Эгингарда см. подробнее во II томе.



Возникновение замка. Реконструкция

государства; тем же порядком он отправлялся и обратно домой. Самое же управление государством и все, что только нужно было привести в исполнение или устроить во внутренних или внешних делах, о всем этом заботился майордом[1].

[1] Пояснительным примером значения майордома может служить одно место в «Хронике города Метца» (Annales Mettenses у Pertz, Mon. Germ. I, 314–336) под 692 г., где говорится о Пипине Геристальском, отце Карла Мартелла:

«Каждый год, первого марта, по старому обычаю, он созывал франков на всеобщее собрание, в котором, при уважении Пипина к королевскому имени, председательство предоставлялось тому, кого он сам в своем уничижении и кротости поставил выше себя. На этом собрании принимались подарки от всех франкских вельмож, рассуждали о мире и защите церкви Господней, вдов и сирот, определялись наказания за похищение женщин и за поджоги, отдавались приказания людям военным быть наготове, чтобы иметь возможность, как только получат приказание, двинуться по назначению. Покончив все эти дела, Пипин отправлял короля с почетной свитой в его поместье Мамакку» (ныне Maumagues, на левом берегу р. Оазы, в окрестностях г. Нойона).

В то время, когда Гильперик был низложен, звание майордома носил отец короля Карла, Пипин, и притом по праву наследства. Отец Пипина, Карл (Мартелл) отлично действовал в этом звании, полученном им от своего отца Пипина (то есть Геристальского); в это же звание выбирали только тех из франков, которые превосходили других древностью своего высокого рода и богатством владений. Карл (Мартелл) отнял у вельмож ту огромную власть, которую они себе присвоили было во всей франкской земле; прогнал обратно в Испанию сарацин, помышлявших о завоевании Галлии, разбив их наголову в двух больших сражениях, сперва в Аквитании, у города Пиктавия[1], а потом на реке Бирре, близ Нарбонны.

После нескольких лет, в течение которых Пипин, отец короля Карла (Великого) вместе со своим братом Карломаном отправлял наследованную ими от отца должность в совершенном согласии друг с другом, оставляя тень власти королю Гильдерику (III), Карломан отказался от забот о мирских делах по неизвестным причинам, но, вероятно, из любви к жизни созерцательной, и удалился на свободе в Рим. Там он сложил с себя светскую одежду, сделался монахом и несколько лет, вместе с прочей братией, прибывшей с ним для той же цели, пользовался желанным спокойствием на горе Саракте[2], где он построил монастырь при церкви св. Сильвестра (747 г.). Но скоро он принужден был искать другого убежища, потому что его любимое спокойствие очень часто было нарушаемо многими знатными франками, которые, исполняя свои обеты, совершали путешествия в Рим и заходили с приветствиями к своему прежнему повелителю. Когда он увидел, что эти многочисленные посещения мешают его цели, то оставил гору и удалился в провинцию Самниум, в монастырь св. Бенедикта, на горе Казино, где и провел остаток дней своих, ведя благочестивый образ жизни[3].

[1] То есть Пуатье.

[2] Monte-Orete, к северу от Рима.

[3] Он умер в Виенне, 17 августа 755 г.

Пипин, по определению Римского Папы, был возведен из майордомов в короли (752 г.). После того как он с небольшим пятнадцать лет (752–768 гг.) правил единовластно франками и кончил войну против герцога Вайфара Аквитанского, продолжавшуюся 9 лет сряду; он умер в Париже от водяной болезни, оставив после себя двух сыновей, Карла и Карломана, которые милостью Божией наследовали королевство. Сами франки, на всеобщем собрании народа, поставили их обоих королями, однако с условием, чтобы они разделили государство на две равные части: Карл должен был получить ту часть, которой владел отец его Пипин, а Карломан другую, которой когда-то управлял дядя его Карломан. Это условие было принято с обеих сторон, и каждый вступил во владение своей частью, которая ему досталась по определению (768 г.).

Мир между ними сохранялся с величайшим трудом, потому что приверженцы Карломана старались рассорить братьев и хотели даже возбудить между ними войну. Но такое опасение, как показали последствия, не имело твердого основания: после смерти Карломана, жена[1] его со своими детьми и знатнейшими приверженцами убежала в Италию и, бросив без всякой причины брата своего мужа, отдалась вместе с семейством под покровительство лангобардского короля Дезидерия. Карломан, после двух[2] лет правления вместе со своим братом, умер от болезни. Карл же, по смерти брата, был, по всеобщему признанию, провозглашен королем франков (771 г.).

Жизнь Карла Великого. I–IV.

[1] Гирберга, как ее называют другие летописцы; она родила в 770 г. сына Пипина.

[2] Это показание не точно: Пипин Короткий умер 24 сент. 768 г., в том же году, 18 окт., был коронован Карломан, и умер 4 дек. 771 г., следов., он правил не два, а три года с лишком.

Ф.-Р. Шатобриан

О ЗНАЧЕНИИ И ПРОИСХОЖДЕНИИ ВЛАСТИ ПАЛАТНОГО МЭРА (1831 г.)

Первым палатным мэром, упоминаемым в летописях, был Гоггон (Goggon), посланный в Испанию к Атанагильду просить от имени Сигберта руки Брунегильды (около 565 г.). Самое звание палатного мэра имеет римский, франкский или германский источники происхождения. В Римской империи, при дворе Цезарей, таким палатным мэром может считаться так называемый magister officiorum, который, при императорах, успел приобресть такое же могущество, как мэр в доме короля франков. Если таким образом рассматривать звание мэра с точки зрения его римского происхождения, то мы должны будет сказать, что оно при Сигберте и его предшественниках было временным, при Лотаре пожизненным и наследственным при Клодовее II: оно не могло соединяться со званием пресвитера и епископа. У писателей того времени палатный мэр носил различные названия: magister palatii, praefectus aulae, rector aulae, gubernator palatii major domus, rector palatii, moderator palatii, praepositus palatii, provisor aulae regiae, provisor palatii.

Рассматривая со стороны франкского происхождения, палатный мэр был именно тем dux, герцогом (Heerzog), или военным предводителем, избрание которого зависело сколько от короля, столько и от дружины; еще Тацит сказал: «Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt»[1]. Вот причина необыкновенности того явления, что у одного и того же народа совмещались две независимые друг от друга верховные власти. Могло легко случиться, и действительно случилось, что одна из них получила перевес. Мэры, обнаружив в себе качества великих людей, чего не представляли их властители, кончили тем, что вытеснили их. Начав с уничтожения

[1] «Короли выбираются по знатности происхождения, а герцоги (duces) по доблести». Тац., Герм.

общих сеймов, они захватили в свои руки и королевство, овладев таким образом единовременно и властью, и свободой. Но палатные мэры нисколько не были мятежниками: они имели право одержать верх, потому что их власть проистекала или от народа, или от того, кто был избран его представителем, а не от короля; их народное избрание, как начальников армии, давало им законную власть. Необходимо потому отложить в сторону те старые мнения, по которым палатные мэры рассматривались, как мятежные подданные, притеснявшие своих властителей и покусившиеся на их корону. Один – король, другой – начальник армии, но властвующий тем не менее на основании избрания (reges et duces sumunt), сталкиваются; последний торжествует над первым, вот и все. Представитель одного сана погибает, и звание палатного мэра соединяется с королевским достоинством, чрез одно и то же избрание. Не было бы потеряно столько времени на чтения и изыскания, с целью порицать или оправдать узурпацию палатных мэров, не было бы столько пущено в ход глубоких соображений об опасностях должности, берущей перевес, если б обратили все внимание на двойственное происхождение звания палатного мэра, который вовсе не был исключительным magister officiorum, то есть министром королевского двора, а следовательно королевским чиновником, но который был в то же время, и еще более, военным предводителем, свободно избранным своими сподвижниками. Слово «избрание» встречается в летописях очень часто, когда речь идет о назначении палатного мэра, и не раз повторяется в них выражение вроде следующего: Omnes Austrasii, cum eligerent Chrodinum majorem domus, etc., то есть «Все австразийцы, избрав Кродина майордомом» и т. д.

Analyse raisonnée de l'hist. de France.

КОММЕНТАРИЙ. «Анализ истории Франции» Франсуа Реве Шатобриана стоит в связи с «Etudes historiques» того же автора и имеет то же самое значение. Шатобриан оказывает услугу науке не микроскопическим исследованием памятников и анализом их по буквам, но проницательностью воззрения и свежестью мысли, которая отразилась на последующих поколениях и вызвала их к ученой деятельности. Потому Вильмень (Villemain. M. de Chateaubriand, sa vie, ses écrits etc., с. 555) весьма справедливо замечает, говоря: «Шатобриан, надобно в том сознаться, подействовал живительно и на воображение людей, и на критику, и на историю. Вот в чем заключается его право на великое место, которое ему принадлежит в судьбах современной образованности, несмотря на все его собственные заблуждения и превратность времени. Начиная с Байрона до Августина Тьерри, почти на каждом таланте нашей эпохи отпечатался гений Шатобриана, а при помощи этих талантов он проник и в дух самого века».

Адо

КАРЛ МАРТЕЛЛ МАЙОРДОМ (874 г.)

Карл, бывший майордомом и князем австразийцев (Karolus major domus et princeps Austrasiorum), предав опустошению и разорив владения саксов, дошел до местечка Визора. Ратбод, герцог фризов, умер, и Карл начал войну с саксами, и с той, и с другой стороны пало множество воинов. Несколько лет спустя он вторгся в Байоварию и подчинил ее своей власти, хотя и с большим трудом. Когда же она снова восстала, он прибыл туда вторично и при помощи своего храброго войска усмирил ее.

АДО (ADO, ум. в 874 г.). Епископ города Вьенн, составил «Chronicom, sive Breviarium chronicorum de sex mundi aetatibus ab Adamo usque ad a. 869». Издание: у Pertz: Monum, Germaniae, II, с. 315–323, с двумя безымянными продолжениями до 1031 г. Этот труд может дать понятие вообще о форме и характере бесчисленных средневековых хроник; о сражении при Пуатье с маврами, например, говорится также как о какой-нибудь стычке с саксами.

Затем Карл опять отправился в Саксонию, а оттуда пошел на свевов против Лантфрида, и наказал их за причиненные ими большие опустошения. Из земли саксов он двинул свое войско против Эвдона (Eudo, Odo), герцога аквитанцев, и дошел до самой Гаскони, обратив неприятеля в бегство.

Сарацины же, придя в Галлию с многочисленным войском и сопровождаемые огромным флотом, опустошили множество городов Аквитании Вьеннской провинции. Карл вступил в поход против них, разбил их жестоко и принудил вернуться в Испанию. Эта битва произошла в октябре месяце. Он вел много и других войн в различных странах и по истечении нескольких лет снова прибыл в Гасконию, опустошил Аквитанию, а после смерти Эвдона Карл начал войну с его сыновьями и довел их до крайнего положения. Исход этой войны был сомнителен, потому что с обеих сторон много пало, и они решились заключить мир, который, впрочем, продолжался недолго.

Сарацины же, опустошив почти всю Аквитанию и широко разнеся огонь и железо по прочим провинциям, причинили злейшее опустошение Бургундии. Эта страна почти вся была предана пламени, монастыри осквернены, равно как и прочие святые места, и бесчисленное множество народу захвачено в плен и отправлено в Испанию. Карл опять отправился в поход против сарацин. Он сразился с ними храбро, множество истребил, а прочих, которые пережили поражение, принудил к бегству; но между ними спаслись немногие.

В городе Вьенн Виликарий наследовал преподобному епископу Австреберту. Во время нашествия сарацин, когда они сожгли знаменитую церковь святых мучеников, находившуюся по ту сторону Роны, Виликарий перенес кости блаженного Ферреола, вместе с головой Юлиана-мученика, в город. Вскоре он построил там небогатую церковь в честь этих святых, в которой он и положил их мощи. Тот же Виликарий, когда ожесточенные и несколько обезумевшие франки начали присваивать себе святую церковную утварь, видя, что и его Вьеннская церковь недостойно унижается, отказался от епископской власти и вступил в монастырь святых мучеников в Агауне, где он вел благочестивую жизнь.

После опустошения Вьеннской и Лионской провинций церкви обеих этих стран в продолжение нескольких лет оставались без епископов, а святая церковная утварь перешли в святотатственные и варварские руки светских людей. В семьсот сорок второй год по воплощении Господнем умер Карл, сын Пипина, герцог франков (dux Francorum), власть его перешла к Карломану и брату его Пипину; Гильперика же помещают (substituitur) на престол франков.

Сокращ. хроника о шести возраст. мира.
714–741 г.

Григорий III

ПИСЬМО К КАРЛУ МАРТЕЛЛУ (740 г.)

Мы находимся в крайней нужде, и денно и нощно льются слезы из очей наших, ибо мы должны постоянно смотреть на то, как церковь Господня оставлена теми, на которых она возложила свои надежды, и как Луитпранд, и Гильпранд, короли лангобардов, огнем и мечом уничтожают в Равенне все, что уцелело от прошлогоднего опустошения. Они даже и сюда, в римские пределы, прислали свои войска и подобный же вред причинили нам и теперь еще причиняют: они разрушили все крыльцо св. Петра и, что только нашли, все унесли с собою. А от тебя[1], наш светлейший сын, к которому мы обратились как к нашему прибежищу, до сих пор нет еще никакой помощи. По крайней мере заставьте этих королей, оставив все притязания, вывести назад свои войска, если их ложные представления имеют

[1] Папа обыкновенно называет Карла subregulus.

для вас более весу, чем наша истина. Они теперь насмехаются над нами и говорят: «Может себе приходить ваш Карл, которого вы призывали на помощь, вместе с войском франков; пусть они, если в состоянии, помогут вам и вырвут вас из наших рук».

Не верь, мой сын, льстивым доносам и советам этих королей; это чистая ложь, что они тебе пишут о герцогах Сполеттском и Беневентском, будто бы те провинились пред ними. Они сами преследуют герцогов, и единственно потому, что те не хотели, в прошедшем году, напасть на нас и, вместе с этими королями, ограбить римский народ, но, напротив, объявили, что не будут сражаться против святой церкви Господней и против ее народа. Оба герцога были теперь готовы дать королям, по древнему обычаю, присягу в верности. Но эти короли ищут только предлога к тому, чтобы погубить и их, и нас, и извещают вас ложно с одной целью, чтобы изгнать светлейших герцогов и на их места поставить своих собственных злых людей, которые еще более притесняли бы церковь Господа и лишили бы ее имущества св. Петра, а народ его увести в неволю.

Для того же, чтобы узнать настоящее положение дела, ты, наихристианнейший сын мой, пришли сюда верного человека, неспособного быть подкупленным, чтобы твоя благочестивая душа собственными очами могла узреть, как преследование нас, так и унижение церкви Господней.

Умоляю тебя во имя живого и истинного Бога и ради святых ключей от гроба св. Петра, которые мы при сем посылаем тебе, не предпочитай дружбы королей лангобардских любви к князю Апостолов, но докажи нам, что ты – вся наша после Бога опора; и тогда твоя вера и доброе имя будут известны всем народам, а мы скажем вместе с пророком (Псал. 28); «Да услышит Господь тебя в нужде, и имя Бога Иаковля да защитит тебя».

Фориэль

БИТВА ПРИ ПУАТЬЕ (1836 г.)

За сто лет до времени Карла Мартелла, в начале VII в., Южная Галлия, а именно Аквитания, получила отдельного герцога в лице младшего сына Лотаря II, Гариберта. Между тем как на севере Меровинги уступали свое место Каролингам, их аквитанская линия должна была сделаться предметом нападения со стороны последних. Кроме того, с 711 г., по завоевании Испании маврами, герцоги аквитанские имели на своих руках нового неприятеля и стали между двух огней. Современник Карла Мартелла, Одон, или Эвдон, герцог Аквитанский, принужден был в одно время бороться и с властелином франков и с вали Испании Абд эль-Рахманом; один из подчиненных последнего, Аби-Несса, женившись на дочери Одона и рассчитывая на помощь тестя, восстал на севере Испании против вали. В 731 г. Абд эль-Рахман двинулся на непокорного вассала; но Одон был не в состоянии помочь зятю: Карл Мартелл, без всякой причины, перешел Луару и, опустошив северные части Аквитании, удалился; но он тем отвел Одона от мавров. Между тем, Абд эль-Рахман, истребив своего противника, решился преследовать и его тестя Одона: весной следующего года (732 г.), с значительным войском, он перешел Пиренеи,

ПАПА ГРИГОРИЙ III правил от 731 до 741 г. Он первый обратил внимание на значение франков для будущей власти пап в Италии и несколько раз обращался к Карлу Мартеллу. Карл, занятый беспрерывными домашними войнами, не отвечал Папе; но из этого письма видно, что могли быть и другие причины, остановившие Карла. Это письмо приводится во многих летописях того времени; так, например, в летописи г. Моиссиака (ю.-з. Фр.), где подробно объясняются обстоятельства, при которых было писано и получено письмо. Изд. у Pertz, Mon. Germ., I, 280–313.

и таким образом – 30 лет спустя после первого утверждения мусульман в Испании– Галлии, а вместе с нею и всему Западу, могла предстоять та же самая участь.

План Абд эль-Рахмана[1] состоял в том, чтобы с высот Пиренеев обрушиться прямо на Гасконию и Аквитанию. До того времени мавры всегда претерпевали неудачу во всех своих покушениях проникнуть в эти провинции по долине р. Од (Aude) и через Септиманию. На этот раз Абд эль-Рахман хотел провести туда свое войско новым путем, и открыть таким образом исламизму новую дорогу в Галлию. Впрочем, он нисколько не был намерен вести серьезную войну, делать завоевание, в том смысле, какой мавры придавали этому слову; он хотел только пройтись вдоль и поперек, ограбить, опустошить возможно большее пространство страны, и в самое короткое время отомстить за смерть своих предшественников, Эль-Самаха и Анбессы, и восстановить или даже и увеличить по эту сторону Пиренеев ужас перед мусульманским оружием. В этом отношении все арабские историки выражаются точно и говорят в один голос; сверх того, наш взгляд на значение и цель похода Абд-эль-Рахмана подтверждается всеми подробностями, дошедшими до нас об этой экспедиции. Мы ни в чем не видим прямого намерения завоевать и утвердиться в завоеванной земле; мавры никогда не употребляют обыкновенных военных мер упрочения успехов оружия, и вследствие или совершенного незнания этого факта, или отвлеченного понимания его, многие новейшие историки весьма ошиблись в своих суждениях относительно общественных и политических результатов битвы при Пуатье, о которой я намерен говорить.

Сосредоточив свою армию у верховьев Эбро, Абд эль-Рахман направился к Пиренеям через Пампелуну, прорезал страну иберийских басков, прошел долиной Генги (Hengui), перешагнул вершину, прославленную с того времени в героических романах Средних веков под именем «Ронсевальских ворот» (Porte de Roncevaux), и вступил в Галльскую Гасконию, по долине реки Бидузы. Кажется, арабы совершили этот переход, идя по одному ущелью и в одну колонну, что позволяет сделать предположение о немногочисленности их. Лучшие памятники, относящиеся к этому походу Абд эль-Рахмана, представляют его армию грозной по числу, но ничего не определяют с точностью, а потому всякое соображение с нашей стороны относительно этого вопроса было бы совершенно произвольно. Армия состояла из разноплеменных отрядов, а именно: 1) из народонаселения арабского и варварийского, утвердившегося в Испании с первых дней ее покорения, 2) из арабских подкреплений, прибывших позже из Египта, 3) из подкреплений арабо-африканских, явившихся с другой стороны пролива, и наконец, 4) из добровольных искателей приключений, прибывших поодиночке или небольшими отрядами из различных частей империи калифов, чтобы разделить судьбу Абд эль-Рахмана. Один арабский писатель, говоря о подкреплениях, переправившихся из Африки, называет их многочисленными, что дает возможность считать их приблизительно в числе десяти или двенадцати тысяч человек. По понятиям и привычкам испанских и африканских арабов, такой отряд войска считался уже армией; предположить, что египтян было вполовину менее, я думаю сказать слишком много; отдельных же волонтеров нельзя насчитывать более нескольких сотен; итак, если предположить, что чужеземная часть армии Абд эль-Рахмана, прибывшая извне полуострова, состояла из двадцати или двадцати пяти тысяч человек, то, я полагаю, что это будет наибольшее число, какое только можно допустить. Что же касается остальной армии, состоявшей из испанских мусульман, то вычисление ее объема должно быть еще более сложным, и, следовательно, тем произвольнее; но если кто захотел бы более преувеличить, нежели уменьшить, то я допустил бы цифру от сорока до сорока пяти тысяч человек, так что вместе с иностранными двадцатью пятью тысячами вся армия Абд эль-Рахмана была maximum от шестидесяти

[1] У латин. писателей: Abderamus.



Главные силы арабского войска в походе

пяти до семидесяти тысяч человек. История не упоминает ни о каком сопротивлении Абд эль-Рахману в узких пиренейских горных проходах, которые ему пришлось преодолевать; он уже достиг равнин, когда встретил Эвдона (Eudona), который, с главным своим отрядом, приготовился пересечь ему дорогу и отбросить в горы. Один арабский писатель, достойный доверия в этом случае, утверждает, что Эвдон, которого он титулует не совсем удачно графом этой страны, дал арабам несколько сражений, из которых некоторые выиграл, но чаще бывал побежденным и принужден отступать перед своим противником из города в город, от реки к реке, с вершины на вершину, и наконец дошел до Гаронны, по направлению к Бордо.

Очевидно, что проект Абд эль-Рахмана состоял в том, чтобы овладеть этим городом, древняя слава и богатство которого не могли быть ему неизвестны. Поэтому герцог перешел Гаронну и стал на правом берегу реки, впереди города, с той его стороны, которую он считал необходимым или более удобным защищать; но Абд эль-Рахман, не дав ему времени утвердиться на позиции, переправился через Гаронну и дал аквитанцам большое сражение, в котором последние были разбиты с огромным уроном; один Бог знает число тех, которые там погибли, говорит Исидор Беджский[1]. Абд эль-Рахман, одержав победу, напал на Бордо, взял его приступом и отдал своему войску на разграбление. По франкским хроникам, церкви были сожжены и большая часть жителей истреблена мечом. Хроника города Моассака[2], Исидор Беджский и арабские историки не говорят ничего подобного; но некоторые из последних дают понять, что приступ был из самых кровавых. Неизвест-

[1] Isidore de Beja – летописец испанский VIII в.

[2] Mussiacum – близ Montauban, в долине Гаронны.

но, какое значительное лицо, неясно обозначенное названием графа, было там убито в числе других; вероятно, граф города, которого мавры приняли за Эвдона, и которому, вследствие этой ошибки, сделали честь, отрубив голову. Грабеж был чрезвычайный, историки победителей говорят о нем с преувеличением, истинно восточным; если придавать веру всему, что они рассказывают, то на каждого солдата пришлось множество топазов, аметистов, изумрудов, кроме золота, о котором уже и не говорят в подобных случаях. Верно одно, что мавры вышли из Бордо, отягощенные добычей, и что с того времени их движение не было так быстро и свободно, как прежде.

Оставив за собой Гаронну и взяв направление к северу, они достигли р. Дордоны, переправились через нее и устремились на грабеж в страну, открывшуюся перед ними, с единственной целью добычи, и даже без определенного плана, хотя бы и для такой цели. Вероятно только то, что они разделились на отряды, чтобы легче добывать фураж и грабить страну. Если верить тому, что говорят современные легенды и предания, и что весьма вероятно, один из этих отрядов прошел через Лимузин, а другой проник за скалистые горы, где берут начало Тарн и Луара; а в таком случае нетрудно будет заключить, что мавры успели перебывать в самых доступных и самых богатых местностях Аквитании; даже вероятно, что некоторые из отрядов армии Абд эль-Рахмана, более других предприимчивые или более жаждавшие корысти, переправились чрез Луару и проникли до Бургундии. То, что говорят легенды и хроники о разрушении Отёна (Autum) и осаде Санса (Sens) сарацинами, не может быть простым вымыслом; потому что из многочисленных вторжений мавров в Галлию ни к одному нельзя отнести этих происшествий с такой достоверностью, как к вторжению Абд эль-Рахмана. О разрушении Отёна не сохранилось никаких частностей; но то, что говорит хроника г. Моассака о разрушении этого города, не должно быть принимаемо буквально. Что же касается до Санса (Sens), то он или не был атакован таким сильным войском, как Отён, или лучше защищался. Город, как кажется, несколько дней был осаждаем и сильно стеснен; но Эббон (Ebbon), тамошний епископ, а, может быть, и светский его сеньор, храбро выдержал частые приступы, стоя во главе осажденных, и, наконец, в одной вылазке захватил врасплох и разбил мавров, которые, будучи принуждены удалиться, ограничились разорением окрестных мест.

Можно полагать, что в течение трех месяцев отряды Абд эль-Рахмана в полном смысле слова обошли все долины, горы и берега Аквитании, не встречая ни малейшего сопротивления в чистом поле. Армия Эвдона была до того разбита на Гаронне, что даже остатки ее исчезли и перемешались с массой доведенного до отчаяния народонаселения. Поля, деревни, местечки пустели при приближении какого-нибудь из тех отрядов, которые мстили беглецам, разрушая и сжигая все, что они оставили за собою: жатву, сады, жилища, церкви. Мусульмане были особенно враждебны монастырям: они их грабили с исступлением и редко оставляли на месте после грабежа. Города, окруженные стенами, и крепости были единственными местами, где христианское население могло им сопротивляться более или менее, а так как цель вторжения ограничивалась только тем, чтобы взять и разграбить все, что было легко и доступно, то иногда самый незначительный отпор мог заставить их удалиться от места, в котором они жадно рассчитывали получить добычу.

Только в последнее время пребывания Абд эль-Рахмана в Аквитании можно было заключить по распоряжению этого предводителя, что он имел в виду какой-то определенный план действия и предполагал сконцентрировать свои силы, до тех пор разбросанные по различным местностям. В Испании или, вероятнее, во время своего вторжения в Галлию он мог слышать о городе Туре и о существовании там знаменитого аббатства, сокровища которого превосходили все, что могла иметь какая-нибудь другая церковь Галлии. По этим сведениям, Абд эль-Рахман решился идти на Тур, взять его и похитить, вместе с сокровищами аббатства, останки, чем, как он знал, не следовало пренебрегать. Для того

он соединил свои силы и во главе всей армии направился к Туру; прибыв в Пуатье, мавры нашли ворота запертыми, а жителей на стенах, в полном вооружении и с решимостью смело защищаться. Обложив город, Абд эль-Рахман взял одно из его предместий, где находилась знаменитая церковь святого Гилария (St Hilaire), ограбил ее вместе с близлежавшими домами и в заключение поджег, так что от всего предместья осталась куча пепла. Но этим и ограничился его успех; храбрые жители Пуатье, заключенные в своем городе, продолжали мужественно держаться; и потому мавры, не желая тратить времени, которое надеялись с большей выгодой употребить в Туре, направились к этому последнему городу. Некоторые арабские историки утверждают, что город был взят; но это очевидная ошибка: неизвестно даже, дошло ли дело до осады. Достоверно одно, что Абд эль-Рахман был уже близко к городу, когда непредвиденные препятствия помешали исполнению его плана.

Я должен при этом случае возвратиться к герцогу Аквитанскому, храброму и несчастному Эвдону; легко понять его печальное и горькое положение как правителя после сражения при Бордо. Без войска, как потерянный, видя свою страну во власти всепоражающего неприятеля, он мог обратиться только к одному лицу, способному быстро восстановить его власть в стране, но таким лицом был Карл; его враг, которого он боялся и которому он не мог простить изменнической войны предшествовавшего года, в тот самый момент, когда он был готов порешить дело с теми испанскими мусульманами, которые его же теперь победили. Однако крайняя необходимость на минуту превозмогла его гордость, память прошедшего и опасения в будущем; Эвдон с поспешностью отправился в Париж, явился к Карлу, рассказал ему свое бедствие и заклинал его вооружиться против мавров, прежде чем они, опустошив и ограбив Аквитанию, покусятся повторить то же самое в Нейстрии. Карл согласился на все, но с условием, которое должно было очень уменьшить для Эвдона бремя его признательности. Тотчас же были приняты меры к тому, чтобы в возможно короткий срок собрать все силы франков.

Один арабский историк приводит довольно любопытный разговор, который, по его предположению, произошел между королем и одним лицом, явившимся просить его помощи против Абд эль-Рахмана. «О! Какое бесчестие наследуют от нас наши внуки,– говорит это лицо,– арабы нам угрожали; мы устремились поразить их на востоке, а они пришли к нам с запада! Эти-то самые арабы, которые в таком малом числе и с такими незначительными средствами покорили Испанию, страну столь населенную и с такими огромными средствами; отчего никто не может им сопротивляться, между тем как они не употребляют даже кольчуг в сражении?!» – «Я думаю,– отвечал Карл, по словам историка,– что их не следует останавливать в начале их набега; они подобны быстрому потоку, который уносит все, что сопротивляется ему. В начале дела смелость заменяет им численность и броню; но если дать им время остыть, обременить себя добычей и пленниками, поссориться за право предводительства, то при первой неудаче они наши»[1].

Эти речи, разумеется, не что иное, как выдумка историка, который их приводит, но тем не менее они любопытны и заслуживают внимания истории, в том смысле, что близко подходят к происшествию и верно рисуют то состояние, в котором франки нашли мавров. Карлу, для того, чтобы собрать свои войска, понадобилось почти столько же времени, сколько нужно было Абд эль-Рахману для совершенного опустошения Аквитании; и в то время, в которое последний соединил свои силы, чтобы идти к Туру, должно было довольно точно соответствовать тому времени, когда Карл, со своей стороны, готов был начать поход; это было около середины сентября. Ни один историк не говорит о месте, в котором Карл переправился через Луару; но все заставляет думать, что этот переход происходил при Орлеане.

---

[1] Achmed-el-Mocri. MS. an 704, fol. 72.

Абд эль-Рахман находился еще под стенами или в окрестнотях Тура, когда узнал, что франки приближались к нему большими переходами. Считая невыгодными ожидать их в этой позиции, он снялся с лагеря и отошел к Пуатье, преследуемый по пятам гнавшимся за ним неприятелем; но огромное количество добычи, обоза, пленников, которые находились при его армии, затрудняло его марш, и сделало отступление более опасным, нежели сражение. По словам некоторых арабских историков, была минута, когда он думал приказать своим солдатам бросить всю эту пагубную добычу и сохранить только боевых лошадей и оружие. Такой приказ был в характере Абд эль-Рахмана; между тем он не решился на него и рассудил ожидать неприятеля на полях Пуатье, между р. Вьеной и р. Кленом (Vienne et Clain); возлагая всю надежду на храбрость мавров, франки не замедлили показаться. Христианские хроники, каролингские и другие не заключают в себе ни малейших подробностей относительно этой замечательной битвы при Пуатье. Одна только хроника Исидора Беджского представляет что-то вроде описания, но описания, замечательного только своими варваризмами и неясностью. Тем не менее, за недостатком лучшего, оно имеет свою цену и представляет даже интересные черты, из которых многое, кажется, записано со слов очевидца, мавра. Я постараюсь извлечь эти черты, соединяя их с теми немногими указаниями, которые встречаются у арабских историков последующих времен и представляются достоверными.

Обе армии приблизились друг к другу с некоторой смесью любопытства и ужаса, очень естественного между народностями столь различными, одинаково храбрыми и с одинаковой воинской славой. Нет сомнения в том, что в армии Карла находилось много галло-римлян, и Исидор Беджский называет ее европейской (Europenses); а арабы говорили, что она состояла из людей различных языков. Но главную часть армии, лучше вооруженную, самую значительную, составляли франки, особенно франки Австразии. В первый раз они встретились с маврами на поле сражения, и все позволяет думать, что эти последние никогда до тех пор не видали армии, так хорошо устроенной, сплоченной, и воинов столь рослых, украшенных дорогими перевязями, покрытых крепкими латами, с блестящими щитами, и походивших, по длине своих рядов, на железные стены. Поэтому неудивительно, что в рассказе Исидора проглядывает, несмотря на неловкость и варваризмы выражения, желание дать понятие о том изумлении, которое поразило мавров при первом их взгляде на франкскую армию. Что касается ее численности, то она неизвестна; должно, однако, полагать, что она была, по крайней мере, не меньше, чем и у арабов; историки последних называют ее бесчисленною.

Целую неделю Абд эль-Рахман и Карл стояли лагерем друг против друга, откладывая с часу на час, со дня на день решительное сражение и ограничиваясь угрозами, засадами, стычками; но в начале седьмого или восьмого дня Абд эль-Рахман, став во главе своей конницы, подал знак к атаке, которая скоро сделалась всеобщей. Успех сражения колебался между обеими сторонами до приближения вечера, когда один отряд франкской конницы проник в неприятельский лагерь, или для того, чтобы грабить, или для того, чтобы зайти в тыл маврам, которые сражались впереди и закрывали его своими рядами. Заметив такой маневр, мусульманская конница оставила свой пост и бросилась защищать лагерь, или, лучше сказать, добычу, которая была там сложена. Это отступление конницы испортило весь порядок битвы у мавров, и Абд эль-Рахман быстро поскакал, чтобы остановить отступавших, но франки, уловив благоприятную минуту, бросились в то место, где произошел беспорядок, и произвели кровавую стычку, во время которой погибло множество мавров, и в числе их сам Абд эль-Рахман.

Таков был, по словам одного мусульманского писателя, ход самого пагубного сражения для мавров, которое произошло при Пуатье. Теперь, чтобы согласить с последующим этот случай, очень вероятный сам по себе, и которому ничто не противоречит в самой ясной и достоверной части рассказа

Исидора, надобно предположить, что мавры, потеряв своего предводителя и тысячи убитых, тем не менее к ночи овладели своим лагерем, между тем как франки, со своей стороны, возвратились в свой, считая это сражение скорее началом победы, нежели окончательным поражением; поэтому-то они располагали возобновить битву на другой день. На рассвете франки вышли из своего лагеря и построились для битвы, в том же порядке, как накануне, ожидая, что и мавры, со своей стороны, сделают то же самое; но к величайшему их удивлению, в лагере мавров не слышно было никакого движения, ни шума, еще менее волнения и тревоги, обыкновенно предшествующих сражению. Из палаток не показывался никто; никто не выходил, не входил, и чем более франки смотрели или слушали, тем более увеличивались их удивление и сомнение.

Были посланы лазутчики для более точного разузнания дела; они проникли в лагерь, осмотрели палатки; все было пусто. Мавры ночью, в глубочайшей тишине, вышли из лагеря, оставив на месте все разграбленное богатство, и таким поспешным отступлением признали себя более побежденными, чем были на деле.

Франки продолжали изумляться этому бегству, не могли поверить лазутчикам и полагали сначала, что все это военная хитрость: они ожидали, подходили, осматривали лагерь со всех сторон, прежде чем убедились, что мавры действительно ушли и оставили им поле сражения и свою добычу.

Но они и не думали преследовать неприятеля и весело делили награбленное варварами у несчастных аквитанцев, которым пришлось таким образом переменить только одного врага на другого.

Вот все, что я мог собрать, определенного и достоверного об этой битве при Пуатье, столь знаменитой и столь же малоизвестной. Без сомнения, она прославила имя христиан, франков и Карла, которому, говорят, доставила прозвание Мартелла (то есть молота), равносильное бичу сарацин; но историки, конечно, преувеличили важность и результаты этой победы, когда полагали, что она доставила Европе окончательное торжество христианства и западной цивилизации над арабским исламизмом и его духом, и думали, что она была важнее, значительнее или решительнее многих других, одержанных прежде и после нее над теми же самыми неприятелями, и за то же дело, силами галло-римлян и франков. Это утверждение и предположение не вытекают из фактов и даже не могут быть согласованы с ними.

Странно одно, что как арабские, так и христианские историки до того мало знали о битве при Пуатье, что беспрерывно смешивали ее с тулузской и даже переносили ее подробности на первую. У многих арабско-испанских писателей обе битвы обозначены одним именем Balat-el-choada (то есть мостовая мучеников); но вероятнее то, что первоначально это название давалось исключительно тулузской битве...

Действительные последствия сражения при Пуатье для аквитанцев были не менее ужасны, чем для арабов. Карл Мартелл взялся за оружие против последних единственно в надежде обратить его против первых: он слишком долго домогался овладеть Аквитанией, чтобы пропустить такой прекрасный случай. Он стоял в сердце государства Эвдона, во главе армии, могущественной, победоносной, преданной, когда Эвдон не успел еще собрать остатков своей рассеянной армии. Соблазн был велик, и Карл ему не сопротивлялся. Недовольный спасением Аквитании, он хотел ее завоевать и уже считал завоеванной; Эвдон принужден был признать Карла Мартелла верховным властителем всех своих владений и дать ему клятву в верности и подчинении как его подданный.

Hist. d. 1. Gaule méridion. etc. III, c. 118–135.

Адо

ВОЗВЕДЕНИЕ ПИПИНА НА ПРЕСТОЛ И ЕГО ВОЙНА С ЛАНГОБАРДАМИ (в 875 г.)

Пипин послал (749 г.) Утгарда, вюрцбургского епископа, и своего капеллана Фульрада к Захарию, бывшему в то время святителем римским (pontifex romanus) с целью спросить его, должны ли продолжать оставаться короли франков, если они не имеют почти никакой власти и ограничиваются одним королевским титулом? Святитель Захарий дал им такой ответ: «Королем должно называть того, кто правит государством»[1]. По возвращении послов, франки, свергнув Гильперика, носившего в то время королевский титул, и следуя советам послов и святителя Захария, избрали и поставили у себя королем Пипина. Гильперик же был пострижен и отправлен в монастырь. Затем Пипин, сделавшись королем франков, пошел войной на Саксонию, где в крепости, называемой Vuitberg, саксоны убили епископа Гильдегария. Победив врага, Пипин дошел до самого того места, которое называется Риме (Rhime). По возвращении оттуда король получил известие, что брат его, Грифон, имевший намерение вторгнуться в Италию, был убит под Моривенной; смерть брата, хотя и изменившего своему отечеству, была ему прискорбна. По смерти святителя Захария ему наследовал Стефан. В это время св. Бонифаций, архиепископ, управлял Майнцской церковью (Mogontiacensem ecclesiam). Этот преподобный проповедник обратил ко Христу великое множество фризов. Виликарий, покинув престол церкви г. Вьення, отправился сперва в Рим и там сделался известным Папе Стефану; спустя же немного времени он получил в управление монастырь св. мучеников в Агауне. Айстульф, король лангобардов, самым вероломным образом нарушил завещания, которыми его предшественники одарили св. Петра, и передал имущество Римской церкви в управление своим сподвижникам (facultates romanae ecclesiae militibus suis dedit). Побуждаемый этим обстоятельством, Папа Стефан прибыл к Пипину во Францию (in Franciam)[1], с намерением просить у него помощи. В то же время явился во Францию брать короля Пипина, Карломан, по совету, как обыкновенно полагают, короля Айстульфа, и с согласия своего аббата, державшего сторону лангобардов: Карломану было поручено противодействовать успехам просьбы святителя Стефана. Святитель Стефан, помазав Пипина королем, вместе с ним помазал и двух его сыновей, Карла и Карломана. Блаженный Бонифаций, архиепископ, проповедуя слово Божие во Фризии, умер мученической смертью. Король Пипин, после помазания апостольского, поспешил с войском в Италию и, проходя через город Вьенн, оставил там своего брата Карломана, монаха, вместе с королевой Бертрадой; Карломан и умер там от болезни. Айстульф же, услышав о прибытии короля Пипина, преградил альпийские проходы и, вместе с лангобардами, вышел навстречу Пипину. Но король Пипин, сильно наступая на врага при содействии св. Петра, открыл себе проход в Италию. Стефана же, Папу, отправил в его резиденцию, в сопровождении Фульрада и других слуг, а сам осадил Павию, где заперся Айстульф. Но видя невозможность спастись, король лангобардов обещал возвратить все блаженному Петру и Римской церкви. Вместе с клятвой он дал сорок заложников. Таким образом, Айстульф был освобожден от осады, а король Пипин вернулся во Францию. Но Айстульф, как человек вероломный, во всем солгал. По этой причине король Пипин вторично вторгся в Италию, осадил Павию и запер в ней Айстульфа. Айстульф, стесненный отовсюду, еще раз клятвенно обещал возвратить все. Сверх того, король Пипин передал святым апостолам, Петру и Павлу, Равенну и весь Пентаполь. По возвращении Пипина, Айстульф, отправясь на охоту,

---

[1] Responsum dedit, regem potius illum debere vocari, qui rem-publicam regeret.

[1] Под Францией в то время еще разумелись одни места древнего жительства франков, следовательно именно то, что теперь не называется Францией.

погиб, пораженный внезапно правосудием Божиим.

Сокращ. хроника о шести возраст. мира. 749–756 гг.

КОММЕНТАРИЙ. Сравните эту хронику, написанную на юге Галлии, и притом позже, с северной хроникой, ближайшей по времени к описываемому событию, и составленной партизаном Каролингов, в следующей ниже статье.

Эгингард

ВРЕМЕННИК ПРАВЛЕНИЯ ПИПИНА КОРОТКОГО (830 г.)

741 г. В этом году майордом Карл (Karlus majordomus, то есть Карл Мартелл) кончил дни свои, оставив наследниками трех сыновей, а именно: Карломана, Пипина (Pipinum) и Грифона; последний из них, Грифон, самый младший, родился от Сванагильды, племянницы Одилона, герцога байоаров (то есть баваров). Она своими дурными советами возбудила в сыне надежду овладеть всем королевством, так что Грифон, нимало не медля, занял город Лаудун (ныне Laon), и вызвал тем братьев на борьбу. Они, собрав войско и осадив Лаудун, принудили брата к сдаче, и потом приступили к устройству государства и возвращению провинций, которые, после смерти их отца, вышли из союза франков (a Francorum societate)[1]. А чтобы, по прибытии их домой, сохранить везде внешнюю безопасность, Карломан взял с собой Грифона, приказал держать его под стражей в «Новом замке» (Novum Castellum, ныне Neufchateau, в Люксембурге, на востоке от г. Мезьера), находящемся вблизи Арден; говорят, что Грифон оставался под стражей до самого того времени, когда Карломан отправился в Рим.

742 г. Карломан и Пипин, овладев королевством франков, сначала вознамерились возвратить (recipere) себе Аквитанию, вступив с войском в ту Аквитанию, и, взяв крепость, называемую Луккас (ныне Loches, в области Тура, за Луарой), прежде нежели выступили из провинции, они разделяют между собой в местечке, называемом Старый Пиктавис (ныне Vieux Poitiers, на реке Кленне, близ ее слияния с р. Вьеннь), королевство, которым до того времени управляли сообща; в том же году, по возвращении домой, Карломан вторгся с войском в Алеманнию, которая отложилась от союза франков (a societate Francorum), и опустошил ее огнем и мечом.

743 г. Карломан и Пипин пошли соединенными силами на Одилона, герцога байоаров, и после битвы рассеяли его войско; возвратившись оттуда, Карломан отправился один в Саксонию и, овладев крепостью, называемой Hohseoburg (ныне Seeburg в графстве Мансфельд, на ю.-з. от Галле), взял при этом в плен Теодориха-саксонца, правителя (primarium) того места.

744 г. Те же братья, Карломан и Пипин, соединенными силами напали на Саксонию и вторично взяли в плен вышепоименованного Теодориха.

745 г. (746 г.)[1]. В этом году Карломан открыл своему брату Пипину то, о чем давно уже помышлял, а именно – свое намерение оставить мирские дела и служить Богу, в монашеском одеянии. Поэтому на нынешний год экспедиция была отложена, и, что-

[1] Латинское выражение чисто германского понятия о государстве, которое состояло в союзе, то есть в соединении людей для завоевательной цели, а когда завоевание было довершено, для целей административных. Слово Societas было бы потому всего лучше перевести названием дружины, которая обратилась, после завоевания, в высшее сословие, имевшее политическое значение, то есть участие в управлении. В то время не признавать власти короля значило не признавать власти всей его дружины (Societas).

[1] Рассказ о событиях 745 г., по-видимому, совершенно опущен, потому что события, отмеченные под годами 745, 746, 747, 748, 749, 750, совершились все годом позже, а именно: 746, 747, 748, 749, 750, 751. Доказательством тому служит рассказ о перенесении мощей св. Германа (у Bouquet, V, 426), где порядок всех этих событий определен с точностью.

бы дать возможность Карломану привести в исполнение его желание и приготовить его в дорогу – решился же он отправиться в Рим, – Пипин также ничего не предпринимал, прилагая старание в том, чтобы брат явился туда, куда он желал, прилично и почетно.

746 г. (747). Карломан отправился в Рим и, отложив в сторону мирскую славу, изменил свое одеяние. Он построил на горе Сопакте монастырь в честь св. Сильвестра (ныне San Silvestro на горе Monte-Oreste), где некогда во время гонений, воздвигнутых при императоре Константине, этот святой, как рассказывают, скрывался. Прожив там некоторое время, он изменил свое намерение и, оставив то место, перешел с мыслью служить Богу, в монастырь св. Бенедикта (в провинции Самнии), построенный на горе Казино, и там принял монашескую одежду.

747 г. (748). Брат Карломана и Пипина, именем Грифон, не желая быть в подчинении у своего брата, Пипина, хотя он жил у него в почете, собрав войско, убежал в Саксонию, за реку Овакру, и там, окружив себя саксонами, заперся в местечке, называемом Оргейм. Пипин же отправился с войском франков через Турингию и, борясь против замыслов брата, вторгся в Саксонию и укрепился за рекой Миссага (ныне Meissau) в местечке, называемом Сканинги (ныне Schoeningen, в Брауншвейге). Сражения между ними не произошло, и они разошлись миролюбиво.

748 г. (749). Грифон, не доверяя саксонам, ушел в Байоарию и при помощи войск, которые к нему стекались из Франции (de Françia)[1], покорил своей власти самое герцогство, захватив Тассилона и Гильтруда, а Свитгера, явившегося к нему на помощь, принял. Когда слух о том дошел до Пипина, он отправился в Байоарию (Баварию) с огромным войском, взял в плен брата вместе со всеми его сопровождавшими или явившимися к нему, восстановил Тассилона на герцогстве, и, возвратившись домой, одарил Грифона, как герцога, двенадцатью графствами. Но Грифон, не довольствуясь таким даром (beneficio), в тот же самый год бежал к Вайфарию, герцогу Аквитании.

749 г. (750). Буркард, вюрцбургский епископ, и капеллан пресвитер Фольд отправлены в Рим к Папе Захарию, чтобы совещаться с ним относительно королей, которые были в то время во Франции, и которые только носили титул королей, но не имели никакой королевской власти; вышепоименованный святитель (pontifex) отвечал через посланных, что лучше называться королем тому, у кого находится верховная власть, и, дав свое полномочие, повелел поставить Пипина королем.

750 г. (751). В этом году, по благословению римского святителя, Пипин получил титул короля франков, и в честь такого достоинства был помазан освященным елеем от руки блаженной памяти Бонифация, архиепископа и мученика; в то же время, по обычаю франков, его возвели на престол королевства (solium regni), в городе Свессоне (ныне Суассон). Гильдерик же, носивший ложно титул короля, по острижении головы был отправлен в монастырь.

752 г. (Пропуск).

753 г. В этом году король Пипин с большим войском вторгся в Саксонию, и хотя саксоны упорно сопротивлялись ему, однако же смирились после поражения, а он сам дошел до места, называемого Рими (ныне Remen, близ Миндена), на берегах реки Визуры. Во время этого похода был убит Гильдигарий, архиепископ (Кёльнский), у горы, называемой Юбург (ныне Ибург, на юг от Оснабрюка). По возвращении короля из Саксонии явился вестник смерти брата его Грифона, рассказавший, кем и как он был убит. В том же году прибыл к королю Пипину Папа Стефан, в город, называемый Каризиак (ныне Kiersy-sur-Oise, на север от Суассона), умоляя короля защитить его и Римскую церковь от враждебных действий лангобардов. Явился туда и Карломан, брат короля, уже поступивший в монахи, с тем, чтобы по приказанию своего аббата противодействовать просьбам римского святителя у короля; полагают, однако, что Карломан поступал таким образом против своей

---

[1] Под словом «Françia», в ту эпоху, разумелось только место жительства франков, то есть берега Рейна, Бельгия и северная часть нынешней Франции.

воли, потому что не смел пренебрегать приказаниями своего аббата, да и аббат не дерзал противиться настояниям короля лангобардов, который ему то повелел.

754 г. Папа Стефан, получив от короля Пипина уверение относительно защиты римской церкви, сам помазал его елеем в честь королевского достоинства, и вместе с ним двух его сыновей, Карла (Karlum) и Карломана; всю зиму он оставался во Франции. В том же году Бонифаций, архиепископ Майнцский (Magontiacensis), проповедуя слово Божие в Фризии, был убит язычниками и принял мученический венец.

755 г. Король Пипин, по приглашению и мольбе вышеназванного римского святителя, вторгся в Италию с войском, чтобы потребовать от короля лангобардов должного блаженному апостолу Петру (propter justitiam Sancti Petri apostoli exigendam). Так как лангобарды оказали сопротивление и преградили все горные проходы в Италию, то жестокая битва произошла в ущельях самых гор; лангобарды уступили, и франкские войска проникли в Италию, хотя по тяжелой дороге, но без особенного труда. Гейстульф же (Heistulfus), а по другому Айстульф (Aistulfus), король лангобардов, не дерзая помериться в рукопашном бою, был осажден королем Пипином в городе Папии (то есть Павии); осада не снималась до тех пор, пока Пипин не получил 40 заложников для удостоверения в том, что Гейстульф возвратит должное святой Римской церкви (pro reddenda sanctae Romanae ecclesiae justitia). По выдаче 40 заложников и по клятвенном подтверждении обещаний, Пипин возвратился в свое королевство, а Папу Стефана отпустил в Рим с капелланом пресвитером Фольрадом и с немалым отрядом франков. Карломан, монах, брат короля, оставшийся в Вьенне с королевой Бертрадой, еще до возвращения Пипина из Италии, схватил лихорадку и кончил дни свои; тело его, по приказанию короля, было перенесено в монастырь св. Бенедикта, где он принял монашескую одежду.

756 г. Гейстульф, король лангобардов, хотя в предшествовавшем году дал заложников и клятвенно обязался, что как сам, так и его вельможи (optimates), возвратят должное святой Римской церкви, но ничего из обещанного не выполнил на деле. Потому король Пипин снова вступил в Италию с войском и, осадив запершегося в Папии Гейстульфа, принудил тем к выполнению данных обещаний. Равенна, Пентаполь и весь экзархат, принадлежащий Равенне, были сданы Пипину (redditam sibi), а он передал (tradidit) их святому Петру. По совершении этого Пипин возвратился в Италию. Гейстульф же, по удалении его, помышляя не столько о том, как не выполнить обещанного, сколько о том, какую найти хитрость для изменения того, что уже было выполнено, на охоте упал с лошади, и при этом получил такое повреждение, что в несколько дней кончил жизнь. Ему наследовал в королевском сане его маршал (comes stabuli), Дезидерий.

757 г. Император Константин отправил к Пипину королю множество подарков, между которыми был и орган; когда византийские послы прибыли к нему в Компендий (ныне Compiègne), он имел там, в то время общее собрание своего народа (populi sui generalem conventum). Туда же явился и Тассилон, герцог байоариев, вместе с вельможами (primoribus) своего племени, и, по франкскому обычаю, вложив свои руки в руки короля, объявил себя в вассальной зависимости (in vassalicum semetipsum commendavit) и клятвенно обещал над телом св. Дионисия сохранить верность как самому королю Пипину, так и его детям, Карлу и Карломану; и не только там, но еще и над телом св. Мартина и св. Германа он подтвердил подобной же клятвой обещание верности вышеназванным государям до конца дней жизни. Равным образом, и все вельможи, и старейшины из байоариев, явившихся к королю, обещали в вышепоименованных святых местах хранить верность королю и его детям.

758 г. Король Пипин вторгся с войском в Саксонию, хотя саксоны мужественно сопротивлялись и оборонялись в своих укреплениях, но он, поразив передовые отряды, проник за вал, которым они старались оградить свою родину. В нескольких стычках Пипин множество из них положил на месте и принудил дать обещание полнос-

тью подчиниться его воле и, в знак уважения к нему, присылать ежегодно на общее собрание 300 лошадей в дар. Заключив такой договор и, по саксонскому обычаю, подтвердив клятвою для большего обязательства, Пипин возвратился в Галлию вместе с войском.

749 г. Родился у короля Пипина сын, которого он желал назвать по своему имени Пипином. Но младенец был похищен преждевременной смертью на третьем году от рождения. В этом году король праздновал Рождество Господне в Лонкларе (ныне Glare, в Арденнах), а Пасху в Иопиле (ныне Jupille, близ Люттиха), и не предпринимал ни одного похода за пределы своего королевства.

760 г. Вайфарий, удерживая в своей власти имущество, принадлежавшее церквям, основанным под покровительством короля Пипина, не хотел возвратить его епископам (rectoribus) тех святых мест, и, пренебрегая самим королем, увещевавшим его чрез своих посланных, заставил Пипина, своим упорством, предпринять против него войну. Король, созвав отовсюду войска, вторгся в Аквитанию и объявил, что он намерен силою восстановить имущество и права церквей (res et justitias ecclesiarum exacturum). Когда же Пипин расположился лагерем на месте, называемом Tedoad (ныне Doué, близ г. Saumur, на Луаре), Вайфарий, не дерзая сразиться, отправил к королю посольство и обещал исполнить всякое приказание, возвратить должное церквям и выдать заложников, какие будут потребованы: он выдал даже двух знатнейших вельмож из своего племени, Адалгерия и Итерия. Этим поступком он до того смягчил короля, что тот немедленно отказался от войны. Взяв с собой заложников, выданных для большей верности в исполнении обещанного, Пипин прекратил войну, и, по возвращении домой, распустив войска, зимовал в Каризиаке, где отпраздновал и Рождество Господне и Пасху.

761 г. Герцог Вайфарий хотя и выдал заложников и клялся сохранить мир, однако, предпочитая отомстить за войну, нанесенную ему в предшествовавшем году, повел свое войско для опустошения владений франков и дошел до г. Кабиллона (ныне Шалон-на-Соне). Когда дошел слух о том до Пипина, занятого в то время общим собранием в местечке Дурие (ныне станция железной дороги Düren, между Кёльном и Ахеном), король, собрав отовсюду многочисленное войско, вторгся в Аквитанию и взял приступом несколько городов и укреплений: между ними главными были Борбонис (ныне Bourbon), Кантила (ныне Chantelle, близ Клермона) и Клармонтис (Clermont). Некоторые города сдались победителю добровольно, и в особенности укрепления жителей Оверни, которые более других страдали от войны. Король же, предав огню и мечу все, что лежало вне укреплений, и дойдя до города Лимовиков (Limovicae, ныне Limoges), возвратился домой. Зиму он провел в поместье Каризиаке, где и отпраздновал Рождество Господне и Пасху. В этой экспедиции с королем был его перворожденный сын Карл, к которому, по смерти отца, перешла верховная власть (imperii summa).

762 г. Король Пипин, желая положить конец начатой им войне, снова вторгся в Аквитанию с великим войском: по взятии же г. Битурики (ныне Bourges) и крепости Тоарков (Toarci, ныне Thouars), возвратился. Зиму провел в поместье Гентилиаке (ныне Gentilly, близ Парижа), и там же торжественно праздновал дни Рождества Господня и Пасхи.

763 г. Когда настало удобное время года, Пипин король, окончив общее собрание в Нивернах (ныне Nevers) и собрав отовсюду войска, напал на Аквитанию и, опустошив огнем и мечом все, что лежало вне укреплений, подошел к г. Кадурции (ныне Cahors). Оттуда же, возымев намерение возвратиться во Францию со всем своим войском, отступил через Лемовику (Lemovica, вышеназванный Limevicae, ныне Limoges). Тассилон, герцог Байоарии, коварно притворившись больным, воротился из этой экспедиции домой с твердым намерением никогда больше не показываться на глаза королю. Король же, распустив войска по зимним квартирам, расположился на зимовку в поместье Лонклар и там праздновал Рождество Господне и Пасху. В то

время случилась такая сильная и суровая зима, что с нею не могла сравниться, по стуже, ни одна зима предшествовавших годов.

764 г. Король Пипин, находясь в нерешительности, что выбрать между двумя войнами – аквитанская была уже давно начата, а байоарская, по случаю отпадения герцога Тассилона, еще предстояла – созвал общее собрание своего народа в Вормации (ныне Wormas, на Рейне). Экспедиция была отложена на будущее время, и в этот год Пипин оставался дома. Он провел зиму в поместье Каризиале, и там торжественно праздновал дни Рождества Господня и Святой Пасхи. В этом году произошло солнечное затмение за день до июньских нон (nonae – в римском календаре девятый день пред idus, которые разделяли месяц почти пополам, и следовательно пятое число месяца; затмение же произошло, по нашему календарю, 4 июня), в шестом часу (то есть, по-нашему, в полдень).

765 г. В этом году король Пипин оставался дома и не переступал пределов своего королевства во время аквитанской войны, хотя она не была еще окончена. Но он присутствовал на общем собрании своего народа в поместье Аттиниаке (ныне Attigny-sur-Aisne, между Реймсом и Седаном), зимовал в Аквегране (Aquaegrani, ныне Aix-la-Chapelle или Aachen), где и праздновал как Рождество Господне, так и Пасху.

766 г. Король Пипин, созвав в Аврелианах (ныне Orleans) совет (conventu habito) по поводу вопроса об аквитанской войне, отправился в Аквитанию, восстановить разрушенное Вайфарием укрепление Аргентомаг (ныне Argenton, на ю.-з. от Chateauroux), и оставив как там, так и в Битурике франкский гарнизон, возвратился домой и отпраздновал Рождество Господне в Салмонциаке (ныне Samoucy, близ г. Laon), а Пасху в Гентилиаке.

767 г. Когда поднялся вопрос о св. Троице и святых иконах между восточной и западной церквями, то есть между римлянами и греками, король Пипин, созвав совет в поместье Гентилиаке, назначил синод для того же вопроса; по окончании же этого дела, он отправился в Аквитанию на вышеупомянутую войну, после праздника Рождества Господня. Направившись через Нарбону, Пипин взял приступом Толозу (Toulouse), и покорил Альбиензийский и Гавульдонский округ (Albiensem et Gavuldonum pagas, ныне почти весь департамент Tarn и Lozere, в Лангедоке). Возвратившись оттуда в г. Вьенн, где отпраздновал и Пасху, он восстановил силы войска; потом, почти в конце лета, отправился оканчивать войну. В Битурике, по франкскому обычаю, король сделал собрание на открытом поле. Оттуда, придя к реке Гаронне, он овладел многими крепостями, скалами и пещерами, в которых защищалась многочисленная неприятельская армия; главными из завоеванных мест были Скоралиа, Торинна и Петроция (ныне Scoraille, Turenne и Peiruce). По возвращении в Битурику Пипин распустил войско на зимовку, а сам, оставаясь в том месте, отпраздновал Рождество Господне. В том году умер Папа Римский, Павел, и с вестью о том посланный явился туда к королю.

768 г. Когда король Пипин увидел, что наступило удобное время для ведения войны, то, собрав отовсюду войско, направился к г. Сантонике (ныне Saints). Захватив по дороге Римистайна, король подошел к вышеупомянутому городу, и там ему были выданы мать, сестра и племянники герцога Вайфария. Приняв их милостиво, он приказал смотреть за ними, а сам отправился к реке Гаронне, где к нему явился Эровин с другой сестрой вышепоименованного герцога, в местечке, называемом Montes (неизвестно где), и выдал королю, как самого себя, так и ее. После таких счастливых дел король возвратился и праздновал Пасху в крепости, называемой Сельс (Sels). Потом, взяв с собою жену и семейство, Пипин снова пошел в г. Сантонику. Оставив их в том месте, он решился со всем войском преследовать герцога Вайфария, и не успокаиваться, пока не возьмет в плен или не убьет мятежника. Умертвив же герцога Вайфария на земле Петрагорика (ныне Perigueux) и окончив, как ему казалось, аквитанскую войну, он возвратился в Сантонику. Оставаясь там некоторое время, король впал в болезнь. Его перенесли больного в Тур, где он молился св. Мартину. Оттуда прибыв в Париж, Пипин

умер в восьмой день пред октябрьскими календами (23 сентября); тело его было погребено в базилике блаженного Дионисия мученика (ныне St. Denis, близ Парижа). Сыновья же его, Карл и Карломан, с согласия всех франков провозглашенные королями, облеклись в знаки королевского достоинства, Карл в г. Новиоме (ныне Noyon), а Карломан в г. Свессоне (ныне Soissons). Карл, старший по рождению, отправился в Ахен, где праздновал Рождество Господне, а Пасху в Ратумаге (ныне Rouen).

Annales, a. 741–768.

КОММЕНТАРИЙ. Автору «Жизни Карла Великого» приписывают, между прочим, также и «Анналы», которые начинаются 741 г. и оканчиваются 829 г.; в пользу этого мнения стоял известный издатель Monitenta Germaniae, Pertz. Впрочем, и он полагает, что до 788 г. «Анналы» Эгингарда представляют исправленную в языке и дополненную копию с «Annales Laureshatenses» (monast. Laureshatense, ныне Lorsch между р. Неккаром и Майном), составитель которых был в близких сношениях с Эгингардом; на этом обстоятельстве основывается вместе с тем и мнение, что копия должна принадлежать именно Эгингарду; кроме того, «Annales» останавливаются именно на 829 г., когда окончилась политическая деятельность Эгингарда, что опять служит подтверждением мнения Пертца.– Для дополнения, проверки и критической оценки «Анналов» Эгингарда обыкновенно принимаются: 1) «Annales Laureshatenses», помещенные у Pertz, I, 22–39, как источник Эгингарда, и 2) «Annales Mettenses» (г. Метца), изданные там же, I, 314–336, хотя составленные только в конце X века, но составитель их пользовался древними документами, не дошедшими до нас.

Августин Тьерри

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРАВЕ У ФРАНКОВ В ЭПОХУ МЕРОВИНГОВ (1820 г.)

Наши историки, отзываясь вообще довольно благосклонно о королях франков, делают им, однако, все без исключения, один упрек, по их мнению, чрезвычайно важный, а именно, новейшие критики говорят, что короли франков обнаружили большое незнание политики, постановляя многих наследников, или, как выражаются, разделяя корону, которая по своей природе должна быть нераздельна. Другие писатели старались снять этот укор с памяти Клодовея и Карла Великого, и для достижения своей цели утверждали, что, несмотря на кажущуюся внешность, достоинство королевское оставалось всегда нераздельным; что старший из братьев пользовался превосходством над прочими; что, одним словом, тогда, как и после, был один только король Франции. Но нет никакой необходимости в таком предположении, и притом мало основательном, чтобы оправдать Клодовеев и Карлов за то, что они не действовали как Людовик XV. Можно даже, нисколько не унижая чести тех королей, живших во время, совершенно отличное от нашего, признаться, что они нимало не были знакомы с началом нашей политики.

И в самом деле, что может быть менее сообразно нашим представлениям о короле, как те дети Меровея, с длинными волосами, жирно умащенными, не прогорклым маслом, подобно простым германским воинам, но благовонными мазями? Являясь в стране цивилизованной настоящими предводителями номадов, они кочевали или проходили через города Галлии, грабя повсюду и руководясь при этом одной простой мыслью: набрать побольше богатств деньгами, драгоценными камнями и утварью; приобрести дорогие одежды, лучших лошадей и красивых жен; и наконец, окружить себя теми, посредством кого можно добыть вышеисчисленные предметы, а именно, дружиной смелых сподвижников, «людей отважных сердец», как выражались древние хроники. По праву завоевания, и как первые люди среди воинственной нации, короли обратили, во всех частях Галлии, большое число домов и земель в свою собственность, сделавшуюся их наследием, их al-od,

как говорилось на языке франков[1]. Самые города рассматривались ими как части таким алодов, и были потому предметом владения и наследства. Приобрести новые богатства, увеличить число удальцов, которые обеспечивали бы своему предводителю владение прежними богатствами и добыли что-нибудь вновь – такова была единственная цель политики. Постоянно озабоченные материальными интересами, короли употребляли в то же время всевозможные меры к тому, чтобы возвратить себе то, что они должны были при разделении добычи отдать, то есть они старались отнять у своих сподвижников их fehods, феоды[2], или награды землей, которыми они платили им за прежние заслуги. Страсть к приобретению и наслаждению стихала в них только во время болезни или при приближении смерти. Тогда их воображению представлялись ужасы, которыми угрожала христианская религия, и которые удваивались смутными воспоминаниями о древних поверьях их отцов. Чтобы божество не гневалось, они полагали лучше всего употребить в отношении его те меры, которые были бы хороши против них самих, и приносили в церкви свои золотые чаши, пурпуровые одежды, жертвовали лошадей и земли из своей казны. Наконец, в минуту смерти, они отечески разделяли между всеми своими сыновьями алоды, которые наследовали от предков, и все, что успели преобрести сами. Эти сыновья и жили и умирали, как отцы; и всякое поколение возобновляло подобный раздел утвари, полей, городов, не думая при этом ни о чем другом, кроме того, что занимает каждого отца, а именно обеспечить интересы и притязания своих детей.

Будут или нет порицать разделы, которые делали короли франков, перед смертью, между своими детьми, во всяком случае ошибочно видеть в них настоящее распадение общества и публичной власти. В Галлии в VI–VIII вв. не было ничего подобного, что мы обыкновенно разумеем под этими словами, употребляя их в новейших языках. В то время разделение того, что называют монархией, не имело в сущности характера политического акта; этот характер сообщился впоследствии, мало-помалу, и притом косвенным образом. Так как королевские домены (уделы), раскинутые по всему лицу завоеванной страны, находились в большем количестве именно в тех местах, где колена франков утверждались чаще всего, то сыновья королей, получив каждый долю своего наследства, имели весьма естественно перевес над небольшими собственниками, феодалами, теми воинами, которые расположились в окрестностях их уделов.

Таким образом, правительственная власть была следствием, а не предметом раздела, и раздел в действительности относился к одной личной собственности как движимой, так и недвижимой. Ничто так не доказывает справедливость этого положения, как жребий, к которому часто прибегали дети короля в случае раздела. Даже и ныне, в известных обстоятельствах, разделяют наследство посредством жребия; но никогда и никому не приходило в голову делить таким образом общественную администрацию и государственные должности. Личные убеждения детей франкских королей содействовали много такому способу воззрения. По-видимому, они мало придавали значения территориальным доменам, и обращали главное внимание на серебро и драгоценную утварь; они спешили овладеть последним и оспаривали с жаром друг у друга добычу. Они рассуждали так, что раздача золота и драгоценностей предводителям и удальцам составляет для них вернейшее средство сделаться королями, подобно отцам, то есть быть признанными числом солдат, достаточным для поддержания провозглашенного ими главы. Иногда в ту самую минуту, когда отец закрывал глаза, дети, не заботясь о его

---

[1] Od или ot, на древних германских диалектах, означает богатство, собственность; al-od в буквальном переводе: собственность всего, целость собственности; от al – новейшее alles, то есть все.

[2] Feh или feo, на франкском языке, означает высокого рода движимую собственность, как то: стада, деньги, и, в более широком смысле, доход, военное жалованье; feh-od буквально – propriété-solde, жалованная собственность. Отсюда происходит латинское выражение feodum и feudum, точно так же, как и наше fief, которое послужило материалом столь многим бесполезным прениям.



У ворот замка

последней воле, спешили ограбить сокровищницу, уносили оттуда, сколько могли, и удалялись с добычей в свои области, чтобы приобрести новых сподвижников, а верность прежних еще более укрепить. Именно это случилось после погребения Лотаря I, в 561 г., и при смерти Дагоберта, в 638 г. Вот каким образом два современных историка рассказывают о том.

«Король Лотарь был на охоте в лесу Кюиз, его схватила лихорадка, и он был перенесен в Компьен. Там, мучимый жестоко болезнью, он часто повторял на своем языке (то есть на германском): «Увы! (wa!) что должно думать о короле небесном, который убивает столь великих королей?» Преисполненный печали, он отдал душу. Его четыре сына, Гариберт, Гунтрам, Гильперик и Сигберт, перенесли тело в Суассон с большими почестями и погребли в базилике св. Медара. После похорон отца Гильперик овладел сокровищами, хранимыми в области Брэн и, обратившись к самым могущественным франкам, уговорил их, при помощи подарков, служить под его начальством. Вслед затем Гильперик пошел на Париж и овладел городом; но он не мог удержать его надолго, потому что остальные братья соединились с целью изгнать его оттуда. После того они разделили по частям и по жребию и земли города. Гариберт получил королевство своего дяди Гильдеберта, со столицей Париж; Гунтрам – королевство другого дяди Клодомира, со столицей

Орлеан; Гильперику досталось королевство отца, со столицей Суассон (оно называлось впоследствии Нейстрией), наконец, Сигберт получил в свою долю королевство дяди Теодориха, со столицей Реймсом. Немного спустя, когда Сигберт пошел на войну против гуннов, делавших вторжение в Галлию, Гильперик воспользовался его отсутствием, чтобы овладеть Реймсом и другими ему принадлежащими городами; между ними последовала междоусобная война. Победив гуннов, Сигберт овладел Суассоном и, найдя там Теодеберта, сына Гильперика, взял его в плен; потом он пошел на самого Гильперика, дал ему сражение, победил и овладел снова своими городами...» (Григорий Турский. Ист. франк., IV, 21 и след.).

«По смерти Дагоберта, Пипин, королевский майордом, и другие предводители австразийских (восточных) франков, пожелали и сделали королем Сигберта, старшего из его детей. Самый младший, по имени Клодовей, был объявлен королем нейстрийских (западных) франков, под опекой матери Нантильды. Сигберт не замедлил отправить вестников к Нантильде и к королю Клодовею с требованием принадлежавшей ему части из сокровищ отца. Куниберт, кельнский епископ, Пипин и несколько других главных предводителей в Австразии (Oster), отправились в Компьен, куда, по приказанию Клодовея и с согласия Эги, его майордома, принесли сокровища Дагоберта, и они были разделены поровну. Часть, следующую Сигберту, доставили в Метц, представили ему самому и сделали опись...»[1].

Случалось иногда, что франкские короли, при своей жизни, посылали своих сыновей для управления теми частями территории, где они имели большие домены, или с целью собирания доходов, или с тем, чтобы наблюдать за действиями соседних собственников, или, наконец, чтобы упрочить и распространить свои учреждения в стране, куда они направили свои походы. Такие назначения, имевшие более домашний, нежели политический характер, но даваемые иногда с большой торжественностью, а именно с согласия вождей той территории, где сын короля должен был расположиться, такие назначения всегда представлялись нашими историками чем-то подобным официальному разделу государства. Такой ложный взгляд поддерживался злоупотреблением политических терминов латинского языка со стороны составителей хроник. В сущности, дело шло только о том, чтобы предоставить детям прежде времени пользование отцовским имуществом; но эта совершенно частная сделка влекла за собой обыкновенно иного рода последствия. Сын, утвердившись в королевских доменах, в той или другой обширной провинции, сближался с соседними собственниками, легко приобретал их расположение, и когда королевство делалось вакантным, он делался их вождем, преимущественно перед всеми другими; все, по выражению хроник, желали их единодушно. Таким образом, дела шли самым естественным порядком, и ничего не происходило такого, что могло бы случиться, например, в случае политического разделения монархии Людовика XIV.

Когда факты разъяснены, то и вопрос о том, был ли раздел совершаем волей одних королей франков, или не иначе как с согласия народного собрания, делается ясным сам собой. Пока дело шло о разделении между детьми богатств или земель, король не нуждался ни в чьем согласии: он действовал в этом случае, как всякий собственник, как отец семейства. Но чтобы сын был признан главой со стороны сподвижников, живших в той или другой местности, необходимо было их согласие на то, и обычай требовал такого согласия. Отсюда и произошло кажущееся смешение абсолютной власти королей франкских с началом совещательным, как то беспрерывно встречается у составителей хроник.

Весьма ошибаются те, которые, приписывая титулу короля или слишком древнее, или слишком новое значение, полагают, что завоевание франков дало Галлии центральную и однообразную администрацию. Даже

[1] Chunibertus... cum aliquibus primatibus Auster... (Fredegarii Chron., cap. LXXXV, apud Script. rer. gall. et francic., t. II, p. 445). Auster или Oster, на франкском языке, означает Восток; Austria и Austrasia есть его латинизированные формы; трудно угадать, каким искажением языка дошли до последней формы.

и в те времена, когда дети Клодовея присутствовали на публичных играх в амфитеатре города Арля, и чеканили в Марселе золотую монету, их правительство, собственно говоря, существовало только на север от Луары, где обитали франкские колена. Вне этих пределов вся их администрация ограничивалась военным постоем. Толпы солдат бродили по территории, вроде подвижных колонн, для поддержания страха, или располагались в замках городов, заставляли выкупать граждан, но не управляли ими, предоставляя эту заботу или их муниципалитету, или безусловной власти епископов. Таким образом, когда являлось несколько королей вместе, они не выбирали себе отдельных определенных провинций, но жили в нескольких милях друг от друга. За исключением местности, колонизированной завоевателями (то есть Северной Галлии), все остальное пространство Галлии было предметом собственности, но не правительства. Результатом этого было то, что столицы четырех королевств (Париж, Орлеан, Суассон и Реймс) находились на пространстве каких-нибудь шестидесяти лье; что, при разделении, в один удел входили такие отдаленные друг от друга местности, как Вермандуа и Алби, и что, наконец, один и тот же город разделялся на несколько частей; если ближе всмотреться во все эти странности, то нельзя не убедиться, что во всех этих политических сделках идея собственности преобладала над идеей об администрации.

Города, лежавшие на юге, были несравненно обширнее северных городов, и, следовательно, могли скорее быть избраны для резиденции, по нашим понятиям; но тем не менее короли, владевшие ими, не избирали их своим местопребыванием. Они смотрели на них, как на поместья богатые, но чуждые. Единственный король первой расы, Гариберт, брат Дагоберта I, устроился на юг от Луары (в Аквитании); но и он обратился к тому, после тщетной попытки добыть себе королевство на севере; самые выражения заключенного им договора с братом доказывают, что в то время, по понятиям франков, владение даже особой обширной территорией, но лежавшей за пределами их колоний, не сообщало никакого политического характера лицу владетеля[1]. Вот сам рассказ историков: «Лотарь (II) умер, и его старший сын, Дагоберт, приказал всем лейдам Австразии (Остера), которыми он начальствовал, собраться в поход[2]. Он отправил послов в Нейстрию (Неостер) и Бургундию, предлагая избрать себя в короли[3]. Когда он пришел в Реймс и приближался к Суассону, все епископы и лейды королевства бургундов подчинились ему. Большая часть епископов и вождей Нейстрии выразили также желание иметь его правителем. В то же время Гариберт, его брат, делал все усилия, чтобы получить королевство; но, по собственному неумению вести дела, имел мало успеха. Дагоберт овладел всем королевством Лотаря, как в Неостеррике, так и в стране бургундов, и захватил все сокровища[4]. Наконец, побуждаемый состраданием к брату Гариберту и по совету старейших, вступил с ним в переговоры, и уступил ему, для частной жизни, страну на юг от Луары до Пиренеев, заключающую в себе округи г. Тулузы, Кагоры, Ажана, Сента и Периге. Он утвердил эту уступку договором, под условием, чтобы Гариберт никогда не делал притязаний на королевство их отца. Таким образом, Гариберт, избрав

---

[1] Хотя со времени правления детей Клодовея южные чужеземцы, как то: греки и итальянцы, называли всю Галлию Францией, Francia, а англосаксы и скандинавы – Франкландом, то есть землей франков, но это название, на языке самих франков, давалось исключительно только той части территории, которая разделялась на Австразию и Нейстрию.

[2] Leude, leute, liude, на древних тевтонских диалектах, означало собственно народ, люд. Иногда это название давали специально одним сподвижникам короля. Здесь оно принято в более обширном смысле. Наши историки не совсем справедливо обратили это название в выражение известного ранга, и писали в единственном числе un leude, что так же нелепо, как сделать из слова gens единственное число, откинув букву s.

[3] Neuster, по-видимому, сложное слово из отрицательной частицы ni или ne и oster, восток. Так франки в эпоху завоевания вместо est и ouest говорили est и non-est.

[4] Neosterric, то есть Neoster-rike или Neosterreich – Западное государство; как Osterric или Osterreich – Восточное государство.

Тулузу столицей, правил в Аквитании...» (Фредегарий, Хрон., в Script. rer. gall. et francic. II, с. 453).

Между многообразными разделами галльской территории, которые производились династией Меровингов, ни один не был продолжителен и не повторялся в определенных границах, исключая одного раздела территории, к северу от Луары, на Остер и Неостер, или Остеррик и Неостеррик (Австразия и Нейстрия). Это было единственное деление, которое в течение этого периода представляло характер политического отделения, и, по-видимому, образовало два особенных государства. Но и это явление вовсе не было результатом фантазий королей франкских, которым, худо ли, хорошо ли, пришло в голову разрубить таким образом свои владения; тот раздел имел для себя более важные причины. Одно наименование частей: Восточная и Западная, что, по-видимому, выражало их географическое положение, на самом же деле это наименование, по отношению к племенному составу франкской нации, говорило о более глубоком различии. Страна, расположенная на востоке от Арденн и течения реки Шельды, образующая восточный край, была если не населена в целости, то, по крайней мере, под властью племени, совершенно отличного от того, которое господствовало на западе и юге, от Арденн до пределов Бретани. Принадлежа к одной племеной конфедерации, франки, утвердившиеся между Рейном и Маасом, назывались рипуарскими (ripewares), то есть береговыми людьми: имя, по всей вероятности, сложное из латинского корня и германского[1]; но они никогда не смешивались с франками салическими, разместившимися между Маасом и Луарой. Эти последние, образовав собой авангард, при всеобщем переселении, сделались с самого начала племенем преобладающим, которое могло давать другим властителей и подчинять всех своей политике.

Клодовей, распространив свои владения далеко на юг Галлии, обратил оружие против своих сподвижников и истребил одного за другим королей восточных франков. Под управлением этого грозного вождя и его детей, вся конфедерация франков, по-видимому, составляла один народ; но, несмотря на внешность соединения, старый дух племенного различия и даже соперничества разделял между собой две главные трибы завоевателей Галлии, отличных друг от друга законом, нравами и, может быть, самым диалектом: потому что верхненемецкий язык (hochdeutsch, если будет дозволено употребить это новейшее выражение) должен был преобладать у франков австразийских, а нижненемецкий (plattdeutsch) – у нейстрийцев. Первые, австразийцы, населяя последние пределы галло-франкских владений и служа защитой их против возобновлявшихся вторжений языческих народов Германии, не могли не питать, среди занятий бранной жизни, желания быть независимыми и даже достигнуть политического преобладания над своими южными единоплеменниками. Они старались не только освободиться, но даже образовать свою собственную конфедерацию. Для достижения такой цели первым средством было иметь отдельных королей; на этом основывалось усердие, с которым толпились лейды Остера, как выражались франки, около детей короля, отправляемых к ним: они наделяли их действительным королевством, иногда с согласия, а иногда против воли их отцов. Они доходили до того, что побуждали детей к восстанию, которое льстило их национальному чувству и подавало надежды образовать у себя независимое государство. Такое соперничество произвело междоусобные войны, которые длились все VII столетие и борьба могла заключиться только переменой династии, которая перенесла господство от салических франков к рипуарским, от Меровингов к Каролингам.

---

[1] Ripa, кажется, было названием, исключительно усвоенным в течение VI и V вв. римскому берегу Рейна. Что же касается слияния его со словом тевтонским ware, то есть муж, то в этом нет ничего удивительного, и подобные примеры нередки. Свевы, занимавшие древнюю страну бойев, при истоках Дуная, получили название байоваров, то есть людей бойев, ныне баварцы. Саксы, утвердившиеся в Кенте, в Англии, переменили свое национальное имя на новое: Cantwares.

В этой борьбе северо-восточных франков с юго-западными, первые должны были восторжествовать, и сама резиденция нового правителя могла быть легко перенесена с берегов Сены или Энь (Aisne) на берега Мааса или Рейна. На самом деле, австразийское население вовсе не было так рассеяно, как нейстрийское, расположившееся среди галло-римлян: австразийцы, поддерживаемые новыми выходцами из Германии, которых увлекала или страсть к приключениям или побуждала новая религия стать в ряды войска королей христианских, образовали собой сплошную массу, менее расслабленную от праздности, роскоши и примера римских нравов. Воинственная энергия древних завоевателей скоро переродилась у нейстрийцев в мелкие междоусобия, грабежи и оспаривание друг у друга клочков завоеванной земли. Богатые фамилии, и в особенности королевская, предались чувственным наслаждениям. Даже можно утверждать, что Меровинги, которых сами историки называют львиными королями (rois fainéants), были развращаемы с намерением и весьма искусно теми, которые захватили в свои руки опеку над ними; и если бы нейстрийские франки не были так деморализованы, то фамилия Пипина, несмотря на всю свою политику, делала бы напрасные усилия для приобретения королевского титула.

Первый король этой второй фамилии (то есть Каролингов) опять разделил Галлию между своими двумя сыновьями, как то делали и древние короли, именно по градусам долготы. Но и в этом разделе королевства Остер и Неостер были одни рассматриваемы, как государства, прочая же обширная территория, лежавшая вне их, присоединилась к ним, как дополнение. Нейстрия, доставшаяся Карлу Великому, простиралась до Пиренеев через Аквитанию, часть которой также принадлежала ему; другое королевство, полученное его братом Карломаном, имело своими последними пределами Рейн и Средиземное море. Но когда смерть последнего соединила под одним скипетром оба королевства, этот способ раздела не воспроизводился никогда более с такой точностью. Нейстрия, потеряв прежнее преобладание, утратила свой национальный характер; между тем другая галльская провинция, Аквитания, рассматриваемая при древних королях, как удел, при новых разделах составила отдельное государство. Такая огромная перемена не могла произойти случайно: она была результатом могущественной реакции национального духа южных туземцев против правительства государства, основанного завоеванием. Эта страна, освобожденная в первый раз, хотя и не безусловно, несмотря на частные восстания, пользовалась в то время странной привилегией сообщать сыновьям королей королевский титул и власть, нередко направленную враждебно против их отцов. Сын императора Карла Великого, Людовик Благочестивый, был королем Аквитании совершенно в ином смысле, нежели брат Дагоберта I; и после, когда Людовик вступил на императорский престол, аквитанцы избрали себе королем одного из его сыновей против воли отца. Таково было начало переворота, которое, после упорных и кровавых войн, завершилось окончательным распадом государства франков; но и этот вторичный распад так же мало может быть вменен в ошибку Каролингам, как и первые разделы при Меровингах. Все это было дело развития национального духа и того напора масс, которому не может противостоять никакое могущество в мире.

Lettr. sur l'hist. de France. Письмо X.



Содержание

Британия

Галлия